



Уильям ТеккереЙ

Ярмарка тщеславия



## Annotation

Вершиной творчества английского писателя, журналиста и графика Уильяма Мейкписа Теккерея стал роман «Ярмарка тщеславия». Все персонажи романа – положительные и отрицательные – вовлечены, по словам автора, в «вечный круг горя и страдания». Насыщенный событиями, богатый тонкими наблюдениями быта своего времени, проникнутый иронией и сарказмом, роман «Ярмарка тщеславия» занял почетное место в списке шедевров мировой литературы.

---

- [Уильям Теккерей](#)

- 
- [Глава I](#)
- [Глава II,](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII,](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII,](#)
- [Глава XIII,](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV,](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII,](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX,](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)

- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV,](#)
- [Глава XXV,](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII,](#)
- [Глава XXVIII,](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI,](#)
- [Глава XXXII,](#)
- [Глава XXXIII,](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL,](#)
- [Глава XLI,](#)
- [Глава XLII,](#)
- [Глава XLIII,](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV](#)
- [Глава XLVI](#)
- [Глава XLVII](#)
- [Глава XLVIII,](#)
- [Глава XLIX,](#)
- [Глава L](#)
- [Глава LI,](#)
- [Глава LII,](#)
- [Глава LIII](#)
- [Глава LIV](#)
- [Глава LV,](#)
- [Глава LVI](#)
- [Глава LVII](#)
- [Глава LVIII](#)
- [Глава LIX](#)

- [Глава LX](#)
- [Глава LXI,](#)
- [Глава LXII](#)
- [Глава LXIII,](#)
- [Глава LXIV](#)
- [Глава LXV,](#)
- [Глава LXVI](#)
- [Глава LXVII,](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)

- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)

- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)

- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)



- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)

- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)

- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)

- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)

- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)

- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)

- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)

- [436](#)
  - [437](#)
  - [438](#)
  - [439](#)
  - [440](#)
-



# Уильям Теккерей

## Ярмарка тщеславия

### *Роман без героя*

Чувство глубокой грусти охватывает Кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на Ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется; здесь курят, плутуют, дерутся и пляшут под пиликанье скрипки; здесь шатаются буяны и забияки, повесы подмигивают проходящим женщинам, жулье шныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны (не мы, а другие, чума их задави) бойко зазывают публику; деревенские олухи таращатся на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старикашек-клоунов, между тем как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, *Ярмарка Тщеславия*; место нельзя сказать чтобы назидательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делом и Том-дурак, смыв со щек краску, садится полдничать со своей женой и маленьким глупышкой Джеком, укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю плотку: «Наше вам почтение!»

Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилит его или позабавит: румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками; хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок; или Том-дурак – прикорнувший позади фургона бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление скорее грустное, чем веселое. И, вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженный в глубокие думы, не чуждые сострадания к человеку, и беретесь за книгу или за прерванное дело.

Вот и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему рассказу о Ярмарке Тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами; быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом ленивым, снисходительным или насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные: кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические, в легком жанре, – и все это обставлено подходящими декорациями и щедро иллюминировано свечами за счет самого автора.

Что еще может сказать Кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало и где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местная знать и дворянство. Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке; кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием; фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет преестественно и презабавно; многим понравился танец мальчиков. А вот, обратите внимание на богато разодетую фигуру Нечестивого Вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек и которую в конце этого замечательного представления унесет черт.

Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, Кукольник уходит, и занавес поднимается.

*Лондон, 28 июня 1848 г.*

# Глава I

## Чизикская аллея

[1]

Однажды ясным июньским утром, когда нынешний век был еще зеленым юнцом, к большим чугунным воротам пансиона для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, расположенного на Чизикской аллее, подкатила со скоростью четырех миль в час вместительная семейная карета, запряженная парой откормленных лошадей в блестящей сбруе, с откормленным кучером в треуголке и парике. Как только экипаж остановился у ярко начищенной медной доски с именем мисс Пинкертон, чернокожий слуга, дремавший на козлах рядом с толстяком кучером, расправил кривые ноги, и не успел он дернуть за шнурок колокольчика, как, по крайней мере, два десятка юных головок выпянуло из узких окон старого внушительного дома. Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик добродушной мисс Джемаймы Пинкертон, выпянувший из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной.

– Это карета миссис Седли, сестрица, – доложила мисс Джемайма. – Звонит чернокожий лакей Самбо. Представьте, на кучере новый красный жилет!

– Вы закончили все приготовления к отъезду мисс Седли, мисс Джемайма? – спросила мисс Пинкертон, величественная дама – хэммерсмитская Семирамида<sup>[2]</sup>, друг доктора Джонсона<sup>[3]</sup>, доверенная корреспондентка самой миссис Шапон<sup>[4]</sup>.

– Девочки поднялись в четыре утра, чтобы уложить ее сундуки, сестрица, – отвечала мисс Джемайма, – и мы собрали ей целый пук цветов.

– Скажите «букет», сестра Джемайма, так будет благороднее.

– Ну, хорошо, букет, и очень большой, чуть ли не с веник. Я положила в сундук Эмили две бутылки гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления.

– Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет мисс Седли? Ах, вот он! Очень хорошо! Девяносто три фунта четыре шиллинга.

Будьте добры адресовать его Джону Седли, эсквайру, и запечатать вот эту записку, которую я написала его супруге.

Для мисс Джемаймы каждое собственноручное письмо ее сестры, мисс Пинкертон, было священо, как послание какой-нибудь коронованной особы. Известно, что мисс Пинкертон самолично писала родителям учениц только в тех случаях, когда ее питомицы покидали заведение или же выходили замуж, да еще как-то раз, когда бедняжка мисс Берч умерла от скарлатины. По мнению мисс Джемаймы, если что и могло утешить миссис Берч в утрате дочери, то, конечно, только возвышенное и красноречивое послание, в котором мисс Пинкертон сообщала ей об этом событии.

На этот раз записка мисс Пинкертон гласила:

«Чизик, Аллея, июня 15 дня 18.. г.

Милостивая государыня!

После шестилетнего пребывания мисс Эмилии Седли в пансионе я имею честь и удовольствие рекомендовать ее родителям в качестве молодой особы, вполне достойной занять подобающее положение в их избранном и изысканном кругу. Все добродетели, отличающие благородную английскую барышню, все совершенства, подобающие ее происхождению и положению, присущи милой мисс Седли; ее *прилежание и послушание* снискали ей любовь наставников, а прелестной кротостью нрава она расположила к себе все сердца, как *юные*, так и более *пожилые*.

В музыке и танцах, в правописании, во всех видах вышивания и рукоделия она, без сомнения, осуществит самые *пламенные пожелания* своих друзей. В географии ее успехи оставляют желать лучшего; кроме того, рекомендуется в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в день спинной линейкой, как средством для приобретения той достойной осанки и грации, которые столь необходимы каждой *светской* молодой девице.

В отношении правил благочестия и нравственности мисс Седли покажет себя достойной того Заведения, которое

было почтено посещением *Великого лексикографа* и покровительством несравненной миссис Шапон. Покидая Чизик, мисс Эмилия увозит с собою привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть вашей,

милостивая государыня,  
покорнейшей и нижайшей слугой,

*Барбарою Пинкертоном.*

P. S. Мисс Седли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба: пребывание мисс Шарп на Рассел-сквер не должно превышать десяти дней. Знатное семейство, с которым она договорилась, желает располагать ее услугами как можно скорее».

Закончив письмо, мисс Пинкертоном приступила к начертанию своего имени и имени мисс Седли на титуле Словаря Джонсона – увлекательного труда, который она неизменно преподносила своим ученицам в качестве прощального подарка. На переплете было вытиснено: «Молодой девице, покидающей школу мисс Пинкертоном на Чизикской аллее – обращение блаженной памяти досточтимого доктора Сэмюела Джонсона». Нужно сказать, что имя лексикографа не сходило с уст величавой дамы и его памятное посещение положило основу ее репутации и благосостоянию.

Получив от старшей сестры приказ достать Словарь из шкафа, мисс Джемайма извлекла из упомянутого хранилища два экземпляра книги, и когда мисс Пинкертоном кончила надписывать первый, Джемайма не без смущения и робости протянула ей второй.

– Для кого это, мисс Джемайма? – произнесла мисс Пинкертоном с ужасающей холодностью.

– Для Бекки Шарп, – ответила Джемайма, трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры румянец, заливший ее увядшее лицо и шею. – Для Бекки Шарп: ведь и она уезжает.

– МИСС ДЖЕМАЙМА! – воскликнула мисс Пинкертоном. (Выразительность этих слов требует передачи их прописными

буквами.) – Да вы в своем ли уме? Поставьте Словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте себе подобных вольностей!

– Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга десять пенсов, а для бедняжки Бекки это такая обида.

– Пришлите мне сейчас же мисс Седли, – сказала мисс Пинкертон.

И бедная Джемайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств.

Мисс Седли была дочерью лондонского купца, человека довольно состоятельного, тогда как мисс Шарп училась в пансионе на положении освобожденной от платы ученицы, обучающей младших, и, по мнению мисс Пинкертон, для нее и без того было довольно сделано, чтобы еще удостаивать ее на прощанье высокой чести поднесения Словаря.

Хотя письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям, однако случается, что почивший и на самом деле заслуживает всех тех похвал, которые каменотес высек над его останками: он действительно был примерным христианином, преданным родителем, любящим чадом, супругой или супругом и воистину оставил безутешную семью, оплакивающую его. Так и в училищах, мужских и женских, иной раз бывает, что питомец вполне достоин похвал, расточаемых ему беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Седли принадлежала к этой редкой разновидности молодых девиц. Она не только заслуживала всего того, что мисс Пинкертон написала ей в похвалу, но и обладала еще многими очаровательными свойствами, которых не могла видеть эта напыщенная и престарелая Минерва вследствие разницы в положении и возрасте между нею и ее воспитанницей.

Эмилия не только пела, словно жаворонок или какая-нибудь миссис Биллингтон, и танцевала, как Хилисберг или Паризо, она еще прекрасно вышивала, знала правописание не хуже самого Словаря, а главное, обладала таким добрым, нежным, кротким и великодушным сердцем, что располагала к себе всех, кто только к ней приближался, начиная с самой Минервы и кончая бедной судомойкой или дочерью кривой пирожницы, которой позволялось раз в неделю сбывать свои изделия пансионерам. Из двадцати четырех товаров у Эмилии было двенадцать закадычных подруг. Даже завистливая мисс Бригс никогда

не отзывалась о ней дурно; высокомерная и высокородная мисс Солтайр (внучка лорда Декстера) признавала, что у нее благородная осанка, а богачка мисс Суорц, курчавая мулатка с Сент-Китса, в день отъезда Эмилии разразилась таким потоком слез, что пришлось послать за доктором Флоссом и одурманить ее нюхательными солями. Привязанность мисс Пинкертон была, как оно и должно, спокойной и полной достоинства, в силу высокого положения и выдающихся добродетелей этой леди, зато мисс Джемайма уже не раз принималась рыдать при мысли о разлуке с Эмилией; если бы не страх перед сестрой, она впала бы в форменную истерику, под стать наследнице с Сент-Китса (с которой взималась двойная плата). Но такое роскошество в изъявлении печали позволительно только воспитанницам, занимающим отдельную комнату, между тем как честной Джемайме полагалось заботиться о счетах, стирке, штопке, пудингах, столовой и кухонной посуде да наблюдать за прислугой. Однако стоит ли нам ею интересоваться? Весьма возможно, что с этой минуты и до скончания века мы уже больше о ней не услышим, и как только узорчатые чугунные ворота закроются, ни она, ни ее грозная сестра не покажутся более из них, чтобы шагнуть в маленький мирок этого повествования.

Но с Эмилией мы будем видеться очень часто, а потому не мешает сказать в самом же начале нашего знакомства, что она была прелестным существом; а это великое благо и в жизни, и в романах (последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства), когда удастся иметь своим неизменным спутником такое невинное и доброе создание! Так как она не героиня, то нет надобности описывать ее: боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглы и румяны для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы – свежестью улыбки, а глаза сверкали искренней, неподдельной жизнерадостностью, кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто: эта дурочка способна была плакать над мертвой канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди... Впрочем, тем хуже для них! Даже сама мисс Пинкертон, женщина суровая и величественная, после первого же случая

перестала бранить Эмилию, и хотя была способна к пониманию чувствительных сердец не более, чем алгебры, однако отдала особый приказ всем учителям и наставницам обращаться с мисс Седли возможно деликатнее, так как строгое обхождение ей вредно.

Когда наступил день отъезда, мисс Седли стала в тупик, не зная, что ей делать: смеяться или плакать, – так как она была одинаково склонна и к тому и к другому. Она радовалась, что едет домой, и страшно горевала, что надо расставаться со школой. Уже три дня маленькая Лора Мартин, круглая сиротка, ходила за ней по пятам, как собачонка. Эмилии пришлось сделать и принять по крайней мере четырнадцать подарков и четырнадцать раз дать торжественную клятву писать еженедельно. «Посылай мне письма по адресу моего дедушки, графа Декстера», – наказывала ей мисс Солтайр (кстати сказать, род ее был из захудалых). «Не заботься о почтовых расходах, мое золотко, и пиши мне каждый день!» – просила пылкая, привязчивая мисс Суорц. А малютка Лора Мартин (оказавшаяся тут как тут) взяла подругу за руку и сказала, пытливо заглядывая ей в лицо: «Эмилия, когда я буду тебе писать, можно называть тебя мамой?»

Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, читающий эту книгу у себя в клубе, не замедлит рассердиться и назовет все это глупостями – пошлыми и вздорными сантиментами. Я так и вижу, как оный Джонс (слегка раскрасневшийся после порции баранины и полпинты вина) вынимает карандаш и жирной чертой подчеркивает слова: «пошлыми, вздорными» и т. д. и подкрепляет их собственным восклицанием на полях: «Совершенно верно!» Ну что ж! Джонс человек обширного ума, восхищающийся великим и героическим как в жизни, так и в романах, – и лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения.

Итак, будем продолжать. Цветы, сундуки, подарки и шляпные картонки мисс Седли уже уложены мистером Самбо в карету вместе с потрепанным кожаным чемоданчиком, к которому чья-то рука аккуратно приколола карточку мисс Шарп и который Самбо подал ухмыляясь, а кучер водворил на место с подобающим случаю фырканьем. И вот настал час разлуки. Его печаль была в значительной мере развеяна примечательной речью, с которой мисс Пинкертон обратилась к своей питомице. Нельзя сказать, чтобы это прощальное



слово побудило Эмилию к философским размышлениям или же вооружило ее тем спокойствием, которое осеняет нас в результате глубокомысленных доводов. Нет, речь эта была невыносимо скучна, напыщенна и суха, да и самый вид грозной воспитательницы не располагал к бурным проявлениям печали. В гостиной было предложено угощение: тминные сухарики и бутылка вина, как это полагалось в торжественных случаях, при посещении пансиона родителями воспитанниц; и когда угощение было съедено и выпито, мисс Седли получила возможность тронуться в путь.

– А вы, Бекки, не зайдете проститься с мисс Пинкертон? – обратилась мисс Джемайма к молодой девушке: не замеченная никем, она спускалась с лестницы со шляпной картонкой в руках.

– Я полагаю, что должна это сделать, – спокойно ответила мисс Шарп, к великому изумлению мисс Джемаймы; и когда мисс Джемайма постучалась в дверь и получила разрешение войти, мисс Шарп вошла с весьма непринужденным видом и произнесла на безукоризненном французском языке:

– *Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux*<sup>[5]</sup>.

Мисс Пинкертон не понимала по-французски, она только руководила теми, кто знал этот язык. Закусив губу и вздержнув украшенную римским носом почтенную голову (на макушке которой покачивался огромный пышный тюрбан), она процедила сквозь зубы: «Мисс Шарп, всего вам хорошего». Произнеся эти слова, хэммерсмитская Семирамида сделала мановение рукой, как бы прощаясь и вместе с тем давая мисс Шарп возможность пожать ее нарочито выставленный для этой цели палец.

Мисс Шарп только скрестила руки и с очень холодной улыбкой присела, решительно уклоняясь от предложенной чести, на что Семирамида с большим, чем когда-либо, негодованием тряхнула тюрбаном. Собственно говоря, это была маленькая баталия между молодой женщиной и старой, причем последняя оказалась побежденной.

– Да хранит вас бог, дитя мое! – произнесла она, обнимая Эмилию и грозно хмурясь через ее плечо в сторону мисс Шарп.

– Пойдем, Бекки! – сказала страшно перепуганная мисс Джемайма, увлекая за собой молодую девушку, и дверь гостиной навсегда закрылась за строптивицей.

Затем начались суматоха и прощание внизу. Словами этого не выразить. В прихожей собралась вся прислуга, все милые сердцу, все юные воспитанницы и только что приехавший учитель танцев. Поднялась такая кутерьма, пошли такие объятия, поцелуи, рыдания вперемежку с истерическими взвизгиваниями привилегированной пансионерки мисс Суорц, доносившимися из ее комнаты, что никаким пером не описать, и нежному сердцу лучше пройти мимо этого. Но объятиям пришел конец, и подруги расстались, – то есть рассталась мисс Седли со своими подругами. Мисс Шарп уже несколькими минутами раньше, поджав губки, уселась в карету. Никто не плакал, расставаясь с нею.

Кривоногий Самбо захлопнул дверцу за своей рыдавшей молодой госпожой и вскочил на запятки.

– Стой! – закричала мисс Джемайма, кидаясь к воротам с каким-то свертком.

– Это сандвичи, милочка! – сказала она Эмили. – Ведь вы еще успеете проголодаться. А вам, Бекки... Бекки Шарп, вот книга, которую моя сестра, то есть я... ну, словом... Словарь Джонсона. Вы не можете уехать от нас без Словаря. Прощайте! Трогай, кучер! Благослови вас бог!

И доброе создание вернулось в садик, обуреваемое волнением.

Но что это? Едва лошади тронули с места, как мисс Шарп высунула из кареты свое бледное лицо и швырнула книгу в ворота.

Джемайма чуть не упала в обморок от ужаса.

– Да что же это!.. – воскликнула она. – Какая дерзкая...

Волнение помешало ей кончить и ту и другую фразу. Карета покатила, ворота захлопнулись, колокольчик зазвонил к уроку танцев. Целый мир открывался перед обеими девушками. Итак, прощай, Чизикская аллея!

## **Глава II,** ***в которой мисс Шарп и мисс Седли готовятся к открытию кампании***

После того как мисс Шарп совершила геройский поступок, упомянутый в предыдущей главе, и удостоверилась, что Словарь, перелетев через мощеную дорожку, упал к ногам изумленной мисс Джемаймы, лицо молодой девушки, смертельно-бледное от злобы, озарилось улыбкой, едва ли, впрочем, скрасившей его, и, со вздохом облегчения откинувшись на подушки кареты, она сказала:

– Так, со Словарем покончено! Слава богу, я вырвалась из Чизика!

Мисс Седли была поражена дерзкой выходкой, пожалуй, не меньше самой мисс Джемаймы. Шутка ли – ведь всего минуту назад она покинула школу, и впечатления прошедших шести лет еще не померкли в ее душе. Страхи и опасения юного возраста не оставляют некоторых людей до конца жизни. Один мой знакомец, джентльмен шестидесяти восьми лет, как-то за завтраком сказал мне с взволнованным видом:

– Сегодня мне снилось, будто меня высек доктор Рейн!

Воображение перенесло его в эту ночь на пятьдесят пять лет назад. В шестьдесят восемь лет доктор Рейн и его розга казались ему в глубине души такими же страшными, как и в тринадцать. А что, если бы доктор с длинной березовой розгой предстал перед ним во плоти даже теперь, когда ему исполнилось шестьдесят восемь, и сказал грозным голосом: «Ну-ка, мальчик, снимай штаны!» Да, да, мисс Седли была чрезвычайно встревожена этой дерзкой выходкой.

– Как это можно, Ребекка? – произнесла она наконец после некоторого молчания.

– Ты думаешь, мисс Пинкертон выскочит за ворота и прикажет мне сесть в карцер? – сказала Ребекка, смеясь.

– Нет, но...

– Ненавижу весь этот дом, – продолжала в бешенстве мисс Шарп. – Хоть бы мне никогда его больше не видеть. Пусть бы он провалился на самое дно Темзы! Да, уж если бы мисс Пинкертон

оказалась там, я не стала бы выуживать ее, ни за что на свете! Ох, поглядела бы я, как она плывет по воде вместе со своим тюрбаном и всем прочим, как ее шлейф полощется за ней, а нос торчит кверху, словно нос лодки!

– Тише! – вскричала мисс Седли.

– А что, разве черный лакей может нафискалить? – воскликнула мисс Ребекка со смехом. – Он еще, чего доброго, вернется и передаст мисс Пинкертон, что я ненавижу ее всеми силами души! Ох, как бы я хотела этого. Как я мечтаю доказать ей это на деле. За два года я видела от нее только оскорбления и обиды. Со мной обращались хуже, чем с любой служанкой на кухне. У меня никогда не было ни единого друга. Я ласкового слова ни от кого не слышала, кроме тебя. Меня заставляли присматривать за девочками из младшего класса и болтать по-французски со взрослыми девицами, пока мне не опротивел мой родной язык! Правда, я ловко придумала, что заговорила с мисс Пинкертон по-французски? Она не понимает ни полслова, но ни за что не признается в этом. Гордость не позволит. Я думаю, она потому и рассталась со мной. Итак, благодарение богу за французский язык! Vive la France! Vive l'Empereure! Vive Bonaparte!<sup>[6]</sup>

– О Ребекка, Ребекка, как тебе не стыдно! – ужаснулась мисс Седли (Ребекка дошла до величайшего богохульства; в те дни сказать в Англии: «Да здравствует Бонапарт!» – было все равно что сказать: «Да здравствует Люцифер!»). – Ну, как ты можешь... Откуда у тебя эти злые, эти мстительные чувства?



– Месть, может быть, и некрасивое побуждение, но вполне естественное, – отвечала мисс Ребекка. – Я не ангел.

И она действительно не была ангелом. Ибо если в течение этого короткого разговора (происходившего, пока карета лениво катила вдоль реки) мисс Ребекка Шарп имела случай дважды возблагодарить бога, то первый раз это было по поводу освобождения от некоей ненавистной ей особы, а во второй – за ниспосланную ей возможность в некотором роде посрамить своих врагов; ни то, ни другое не является достойным поводом для благодарности творцу и не может быть одобрено людьми кроткими и склонными к всепрощению. Но мисс Ребекка в ту пору своей жизни не была ни кроткой, ни склонной к всепрощению. Все обходятся со мной плохо, решила эта юная мизантропка. Мы, однако, уверены, что особы, с которыми все обходятся плохо, полностью заслуживают такого обращения. Мир – это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь – и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас; засмейтесь ему и вместе с ним – и он станет вашим веселым, милым товарищем; а потому пусть молодые люди выбирают, что им больше по вкусу. В самом деле, если мир пренебрегал Ребеккой, то и она, сколько известно, никогда никому не сделала ничего хорошего. Так нельзя и ожидать, чтобы все двадцать четыре молодые девицы были столь же милы, как героиня этого произведения, мисс Седли (которую мы избрали именно потому, что она добрее других, – а иначе что помешало бы нам поставить на ее место мисс Суорц, или мисс Крамп, или мисс Хопкинс?); нельзя ожидать, чтобы каждая обладала таким смиренным и кротким нравом, как мисс Эмилия Седли, чтобы каждая старалась, пользуясь всяким удобным случаем, победить угрюмую злобность Ребекки и с помощью тысячи ласковых слов и любезных одолжений преодолеть, хотя бы ненадолго, ее враждебность к людям.

Отец мисс Шарп был художник и давал уроки рисования в школе мисс Пинкертон. Человек одаренный, приятный собеседник, беспечный служитель муз, он отличался редкой способностью влезать в долги и пристрастием к кабачку. В пьяном виде он нередко колачивал жену и дочь и на следующее утро, поднявшись с головной болью, честил весь свет за пренебрежение к его таланту и поносил – весьма остроумно, а иной раз и совершенно справедливо – дураков-художников, своих собратий. С величайшей трудностью поддерживая свое существование и задолжав всем в Сохо<sup>[7]</sup>, где он жил, на милю



кругом, он решил поправить свои обстоятельства женитьбой на молодой женщине, француженке по происхождению и балетной танцовщице по профессии. О скромном призвании своей родительницы мисс Шарп никогда не распространялась, но зато не забывала упомянуть, что Антраша – именитый гасконский род, и очень гордилась своим происхождением. Любопытно заметить, что по мере житейского преуспевания нашей тщеславной молодой особы ее предки повышались в знатности и благоденствии.

Мать Ребекки получила кое-какое образование, и дочь ее отлично говорила по-французски, с парижским выговором. В то время это было большой редкостью, что и привело к поступлению Ребекки в пансион добродетельной мисс Пинкертон. Дело в том, что, когда мать девушки умерла, отец, видя, что ему не оправиться после третьего припадка *delirium tremens*<sup>[8]</sup>, написал мисс Пинкертон мужественное и трогательное письмо, поручая сиротку ее покровительству, и затем был опущен в могилу, после того как два судебных исполнителя поругались над его трупом. Ребекке минуло семнадцать лет, когда она явилась в Чизик и была принята на особых условиях; в круг ее обязанностей, как мы видели, входило говорить по-французски, а ее права заключались в том, чтобы, получая даровой стол и квартиру, а также несколько гиней в год, подбирать крохи знаний у преподавателей, обучающих пансионеров. Ребекка была маленькая, хрупкая, бледная, с рыжеватыми волосами; ее зеленые глаза были обычно опущены долу, но, когда она их поднимала, они казались необычайно большими, загадочными и манящими, такими манящими, что преподобный мистер Крисп, новоиспеченный помощник чизикского викария мистера Флауэрдью, только что со студенческой скамьи в Оксфорде, влюбился в мисс Шарп: он был сражен наповал одним ее взглядом, который она метнула через всю церковь – от скамьи пансионеров до кафедры проповедника. Бедный юноша, иногда пивший чай у мисс Пинкертон, которой он был представлен своей мамашей, совсем одурел от страсти и в перехваченной записке, вверенной одноглазой пирожнице для доставки по назначению, даже намекал на что-то вроде брака. Миссис Крисп была вызвана из Бакстона и немедленно увезла своего дорогого мальчика, но даже мысль о появлении такой вороны в чизикской голубятне приводила в трепет мисс Пинкертон, и она обязательно удалила бы Ребекку из

своего заведения, если бы не была связана неустойкой по договору; она так и не поверила клятвам молодой девушки, что та ни разу не обменялась с мистером Криспом ни единым словом, кроме тех двух случаев, когда встречалась с ним за чаем на глазах у самой мисс Пинкертон.

Рядом с другими, рослыми и цветущими, воспитанницами пансиона Ребекка Шарп казалась ребенком. Но она обладала печальной особенностью бедняков – преждевременной зрелостью. Скольких несговорчивых кредиторов приходилось ей уламывать и выпроваживать за отцовские двери; скольких торговцев она умасливала и улещала, приводя их в хорошее расположение духа и приобретая тем возможность лишней раз пообедать. Дома она обычно проводила время с отцом, который очень гордился своей умненькой дочкой, и прислушивалась к беседам его приятелей-забулдыг, хотя часто разговоры эти мало подходили для детских ушей. По ее же собственным словам, она никогда не была ребенком, чувствовала себя взрослой уже с восьмилетнего возраста. О, зачем мисс Пинкертон пустила в свою клетку такую опасную птицу!

Дело в том, что старая дама считала Ребекку смиреннейшим в мире созданием – так искусно умела та разыгрывать роль *ingInue*<sup>[9]</sup> в тех случаях, когда отец брал ее с собой в Чизик. Всего лишь за год до заключения условия с Ребеккой, то есть когда девочке было шестнадцать лет, мисс Пинкертон торжественно и после подобающей случаю краткой речи подарила ей куклу, которая, кстати сказать, была конфискована у мисс Суиндл, украдкой нянчившей ее в часы занятий. Как хохотали отец с дочерью, когда брели домой после вечера у начальницы, обсуждая речи приглашенных учителей, и в какую ярость пришла бы мисс Пинкертон, если бы увидела карикатуру на самое себя, которую маленькая комедиантка умудрилась смастерить из этой куклы! Ребекка разыгрывала с нею целые сцены на великую потеху Ньюмен-стрит, Джерард-стрит и всему артистическому кварталу. И молодые художники, заходившие на стакан грога к своему ленивому и разгульному старшему товарищу, умнице и весельчаку, всегда осведомлялись у Ребекки, дома ли мисс Пинкертон. Она, бедняжка, была им так же хорошо известна, как мистер Лоренс<sup>[10]</sup> и президент Уэст<sup>[11]</sup>. Однажды Ребекка удостоилась чести провести в Чизике несколько дней и по возвращении соорудила себе другую куклу – мисс



Джемми; ибо хотя эта добрая душа не пожалела для сиротки варенья и сухариков, накормив ее до отвала, и даже сунула ей на прощанье семь шиллингов, однако чувство смешного у Ребекки было так велико – гораздо сильнее чувства признательности, – что она принесла мисс Джемми в жертву столь же безжалостно, как и ее сестру.

И вот после смерти матери девочка была перевезена в пансион, который должен был стать ее домом. Строгая его чинность угнетала ее; молитвы и трапезы, уроки и прогулки, сменявшие друг друга с монастырской монотонностью, тяготили ее свыше всякой меры. Она с таким сожалением вспоминала о свободной и нищей жизни дома, в старой мастерской, что все, да и она сама, думали, что она изнывает, горюя об отце. Ей отвели комнатку на чердаке, и служанки слышали, как Ребекка мечется там по ночам, рыдая. Но рыдала она от бешенства, а не от горя. Если раньше ее нельзя было назвать лицемеркой, то теперь одиночество научило ее притворяться. Она никогда не бывала в обществе женщин; отец ее, при всей своей распушенности, был человеком талантливым; разговор с ним был для нее в тысячу раз приятней болтовни с теми представительницами ее пола, с которыми она теперь столкнулась. Спесивое чванство старой начальницы школы, глупое добродушие ее сестры, пошлая болтовня и свары старших девиц и холодная корректность воспитательниц одинаково бесили Ребекку.

Не было у бедной девушки и нежного материнского сердца, иначе щебетание и болтовня младших детей, порученных ее надзору, должны были бы смягчить ее и утешить, но она прожила среди них два года, и ни одна девочка не пожалела о ее отъезде. Кроткая, мягкосердечная Эмилия Седли была единственным человеком, к которому в какой-то мере привязалась Ребекка. Но кто не привязался бы к Эмилии!

Те радости и жизненные блага, которыми наслаждались молодые девицы, ее окружавшие, вызывали у Ребекки мучительную зависть. «Как важничает эта девчонка – только потому, что она внучка какого-то графа! – говорила она об одной из товарок. – Как они все пресмыкаются и подличают перед этой креолкой из-за сотни тысяч фунтов стерлингов! Я в тысячу раз умнее и красивее этой особы, несмотря на все ее богатство! Я так же благовоспитанна, как эта графская внучка, невзирая на пышность ее родословной, а между тем

никто здесь меня не замечает. А ведь, когда я жила у отца, разве мужчины не отказывались от самых веселых балов и пирушек, чтобы провести вечер со мной?» Она решила во что бы то ни стало вырваться на свободу из этой тюрьмы и начала действовать на свой страх и риск, впервые строя планы на будущее.

Вот почему она воспользовалась теми возможностями приобрести кое-какие знания, которые предоставлял ей пансион. Будучи уже изрядной музыкантшей и владея в совершенстве языками, она быстро прошла небольшой курс наук, который считался необходимым для девиц того времени. В музыке она упражнялась непрестанно, и однажды, когда девицы гуляли, а Ребекка оставалась дома, она сыграла одну пьесу так хорошо, что Минерва, услышав ее игру, мудро решила сэкономить расходы на учителя для младших классов и заявила мисс Шарп, что отныне она будет обучать младших девочек и музыке.

Ребекка отказалась – впервые и к полному изумлению величественной начальницы школы.

– Я обязана разговаривать с детьми по-французски, – объявила она резким тоном, – а не учить их музыке и сберегать для вас деньги. Платите мне, и я буду их учить.

Минерва вынуждена была уступить и, конечно, с этого дня невзлюбила Ребекку.

– За тридцать пять лет, – жаловалась она, и вполне справедливо, – я не видела человека, который посмел бы у меня в доме оспаривать мой авторитет. Я пригрела змею на своей груди!

– Змею! Чепуха! – ответила мисс Шарп старой даме, едва не упавшей в обморок от изумления. – Вы взяли меня потому, что я была вам нужна. Между нами не может быть и речи о благодарности! Я ненавижу этот пансион и хочу его покинуть! Я не стану делать здесь ничего такого, что не входит в мои обязанности.

Тщетно старая дама взывала к ней: сознает ли она, что разговаривает с мисс Пинкертон? Ребекка расхохоталась ей в лицо убийственным, дьявольским смехом, который едва не довел начальницу до нервного припадка.

– Дайте мне денег, – сказала девушка, – и отпустите меня на все четыре стороны! Или, еще лучше, устройте мне хорошее место

гувернантки в дворянском семействе – вам это легко сделать, если вы пожелаете.

И при всех их дальнейших стычках она постоянно возвращалась к этой теме:

– Мы ненавидим друг друга, устройте мне место – и я готова уйти!

Достойная мисс Пинкертон, хотя и обладала римским носом и тюрбаном, была ростом с доброго гренадера и оставалась до сих пор непререкаемой владычицей этих мест, не обладала, однако, ни силой воли, ни твердостью своей маленькой ученицы и потому тщетно боролась с нею, пытаясь ее запугать. Однажды, когда она попробовала публично отчитать Ребекку, та придумала упомянутый нами способ отвечать начальнице по-французски, чем окончательно сразила старуху. Для поддержания в школе престижа власти стало необходимым удалить эту мятежницу, это чудовище, эту змею, эту поджигательницу. И, услышав, что семейство сэра Питта Кроули ищет гувернантку, мисс Пинкертон порекомендовала на эту должность мисс Шарп, хотя та и была поджигательницей и змеей.

– В сущности, – говорила она, – я не могу пожаловаться на поведение мисс Шарп ни в чем, кроме ее отношения ко мне, и высоко ценю ее таланты и достоинства. Что же касается ума и образования, то она делает честь воспитательной системе, принятой в моем учебном заведении.

Таким образом начальница пансиона примирила свою рекомендацию с требованиями совести; договорные обязательства были расторгнуты, и воспитанница получила свободу. Борьба, описанная здесь в немногих строчках, длилась, разумеется, несколько месяцев. И так как мисс Седли, которой в ту пору исполнилось семнадцать лет, как раз собиралась покинуть школу и так как она питала дружеские чувства к мисс Шарп («единственная черта в поведении Эмилии, – говорила Минерва, – которая не по душе ее начальнице»), то мисс Шарп, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей гувернантки в чужой семье, получила от подруги приглашение погостить у нее недельку. Так открылся мир для этих двух юных девиц. Но если для Эмилии это был совершенно новый, свежий, блистательный мир, в полном, еще не облетевшем цвету, то для Ребекки он не был совершенно новым (уж если говорить правду,

то пирожница намекала кое-кому, а тот готов был под присягой подтвердить эти слова кому-то третьему, будто дело у мистера Криспа и мисс Шарп зашло гораздо дальше, чем о том стало известно, и что письмо его было *ответом* на другое). Но кто может знать, что происходило на самом деле? Во всяком случае, если Ребекка не впервые вступала в мир, то все же вступала в него сызнова.

К тому времени, когда молодые девушки доехали до Кенсингтонской заставы, Эмилия еще не позабыла своих подруг, но уже осушила слезы и даже залилась румянцем при виде юного офицера, лейб-гвардейца, который, проезжая мимо на коне, оглядел ее со словами: «Чертовски хорошенькая девушка, ей-богу!» И прежде чем карета достигла Рассел-сквер, девушки успели вдоволь наговориться о парадных приемах во дворце и о том, являются ли молодые дамы ко двору в пудре и фижмах и будет ли Эмилия удостоена этой чести (что она поедет на бал, даваемый лорд-мэром, это Эмилии было известно). И когда наконец они доехали до дому и мисс Эмилия Седли выпорхнула из кареты, опираясь на руку Самбо, – другой такой счастливой и хорошенькой девушки нельзя было найти во всем огромном Лондоне. Таково было мнение и негра, и кучера, и с этим соглашались и родители Эмилии, и вся без исключения домашняя челядь, которая высыпала в прихожую и кланялась и приседала, улыбаясь своей молодой госпоже и поздравляя ее с приездом.

Можете быть уверены, что Эмилия показала Ребекке все до единой комнаты, и всякую мелочь в своих комодах, и книги, и фортепьяно, и платья, и все свои ожерелья, броши, кружева и безделушки. Она уговорила Ребекку принять от нее в подарок ожерелье из светлого сердолика, и бирюзовые серьги, и чудесное кисейное платьице, которое стало ей узко, но зато Ребекке придется как раз впору! Кроме того, Эмилия решила попросить у матери позволения отдать подруге свою белую кашемировую шаль. Она отлично без нее обойдется! Ведь брат Джозеф только что привез ей из Индии две новые.

Увидев две великолепные кашемировые шали, привезенные Джозефом Седли в подарок сестре, Ребекка сказала вполне искренне: «Должно быть, страшно приятно иметь брата!» – и этим без особого

труда пробудила жалость в мягкосердечной Эмилии: ведь она совсем одна на свете, сиротка, без друзей и родных!

– Нет, не одна! – сказала Эмилия. – Ты знаешь, Ребекка, что я навсегда останусь твоим другом и буду любить тебя как сестру, – это чистая правда!

– Ах, но это не то же самое, что иметь таких родителей, как у тебя: добрых, богатых, нежных родителей, которые дают тебе все, что бы ты ни попросила, – и так любят тебя, а ведь это всего дороже! Мой бедный папа не мог мне ничего давать, и у меня было всего-навсего два платица. А кроме того, иметь брата, милого брата! О, как ты, должно быть, любишь его!

Эмилия засмеялась.

– Что? Ты его не любишь? А сама говоришь, что любишь всех на свете!

– Конечно, люблю... но только...

– Что... только?

– Только Джозефу, по-видимому, мало дела до того, люблю я его или нет. Поверишь ли, вернувшись домой после десятилетнего отсутствия, он подал мне два пальца. Он очень мил и добр, но редко когда говорит со мной; мне кажется, он гораздо больше привязан к своей трубке, чем к своей... – Но тут Эмилия запнулась: зачем отзываться дурно о родном брате? – Он был очень ласков со мной, когда я была ребенком, – прибавила она. – Мне было всего пять лет, когда он уехал.

– Он, наверное, страшно богат? – спросила Ребекка. – Говорят, индийские набобы<sup>[12]</sup> ужасно богаты!

– Кажется, у него очень большие доходы.

– А твоя невестка, конечно, очаровательная женщина?

– Да что ты! Джозеф не женат! – сказала Эмилия и снова засмеялась.

Возможно, она уже упоминала об этом Ребекке, но девушка, по-видимому, пропустила слова подруги мимо ушей. Во всяком случае, она принялась уверять и клясться, что ожидала увидеть целую кучу племянников и племянниц Эмилии. Она крайне разочарована сообщением, что мистер Седли не женат; ей казалось, что Эмилия говорила ей о женатом брате, а она без ума от маленьких детей.

– Я думала, они тебе надоели в Чизике, – сказала Эмилия, несколько изумленная таким пробуждением нежности в душе подруги. Конечно, будь мисс Шарп постарше, она не скомпрометировала бы себя, высказывая мнения, неискренность которых можно было так легко обнаружить. Но следует помнить, что сейчас ей только девятнадцать лет, она еще не изощрилась в искусстве обманывать – бедное невинное создание! – и вынуждена прокладывать себе жизненный путь собственными силами. Истинный же смысл всех вышеприведенных вопросов в переводе на язык сердца изобретательной молодой девушки был попросту таков: «Если мистер Джозеф Седли богат и холост, то почему бы мне не выйти за него замуж? Правда, в моем распоряжении всего лишь две недели, но попытка – не пытка!» И в глубине души она решила предпринять эту похвальную попытку. Она удвоила свою нежность к Эмилии – поцеловала сердоликовое ожерелье, надевая его, и поклялась никогда, никогда с ним не расставаться. Когда позвонил колокол к обеду, она спустилась вниз, обнимая подругу за талию, как это принято у молодых девиц, и так волновалась у двери гостиной, что едва собралась с духом войти.

– Посмотри, милочка, как у меня колотится сердце! – сказала она подруге.

– Нет, не особенно! – сказала Эмилия. – Да входи же, не бойся. Папа ничего плохого тебе не сделает!

## Глава III

### Ребекка перед лицом неприятеля

Очень полный, одутловатый человек в кожаных штанах и в сапогах, с косынкой, несколько раз обматывавшей его шею почти до самого носа, в красном полосатом жилете и светло-зеленом сюртуке со стальными пуговицами в добрую крону величиной (таков был утренний костюм щеголя, или денди, того времени) читал газету у камина, когда обе девушки вошли; при их появлении он вскочил с кресла, густо покраснел и чуть ли не до бровей спрятал лицо в косынку.

– Да, это я, твоя сестра, Джозеф, – сказала Эмилия, смеясь и пожимая протянутые ей два пальца. – Ты знаешь, я ведь совсем вернулась домой! А это моя подруга, мисс Шарп, о которой ты не раз слышал от меня.

– Нет, никогда, честное слово, – произнесла голова из-за косынки, усиленно качаясь из стороны в сторону. – То есть да... Зверски холодная погода, мисс! – И джентльмен принялся яростно размешивать угли в камине, хотя дело происходило в середине июня.

– Какой интересный мужчина, – шепнула Ребекка Эмилиии довольно громко.

– Ты так думаешь? – сказала та. – Я передам ему.

– Милочка, ни за что на свете! – воскликнула мисс Шарп, отпрянув от подруги, словно робкая лань. Перед тем она почтительно, как маленькая девочка, присела перед джентльменом, и ее скромные глаза столь упорно созерцали ковер, что было просто чудом, как она успела разглядеть Джозефа.

– Спасибо тебе за чудесные шали, братец, – обратилась Эмилия к джентльмену с кочергой. – Правда, они очаровательны, Ребекка?

– Божественны! – воскликнула мисс Шарп, и взор ее с ковра перенесся прямо на канделябр.

Джозеф продолжал усиленно греметь кочергой и щипцами, отдуваясь и краснея, насколько позволяла желтизна его лица.

– Я не могу делать тебе такие же щедрые подарки, Джозеф, – продолжала сестра, – но в школе я вышила для тебя чудесные

подтяжки.

– Боже мой, Эмилия! – воскликнул брат, придя в совершенный ужас. – Что ты говоришь! – И он изо всех сил рванул сонетку, так что это приспособление осталось у него в руке, еще больше увеличив растерянность бедного малого. – Ради бога, взгляни, подана ли моя одноколка. Я не могу ждать. Мне надо ехать. А, чтоб ч... побрал моего грума! Мне надо ехать!

В эту минуту в комнату вошел отец семейства, побрякивая печатками, как подобает истому британскому коммерсанту.

– Ну, что у вас тут, Эмми? – спросил он.

– Джозеф просит меня взглянуть, не подана ли его... его одноколка. Что такое одноколка, папа?

– Это одноконный паланкин, – сказал старый джентльмен, любивший пошутить на свой лад.

Тут Джозеф разразился диким хохотом, но, встретившись взглядом с мисс Шарп, внезапно смолк, словно убитый выстрелом наповал.

– Эта молодая девица – твоя подруга? Очень рад вас видеть, мисс Шарп! Разве вы и Эмми уже повздорили с Джозефом, что он собирается удирать?

– Я обещал Бонэми, одному сослуживцу, отобедать с ним, сэр.

– Негодный! А кто говорил матери, что будет обедать с нами?

– Но не могу же я в этом платье.

– Взгляните на него, мисс Шарп, разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно?

В ответ на эти слова мисс Шарп взглянула, конечно, на свою подругу, и обе залились смехом, к великому удовольствию старого джентльмена.

– Видали ли вы когда такие штаны в пансионе мисс Пинкертон? – продолжал отец, довольный своим успехом.

– Боже милосердный, перестаньте, сэр! – воскликнул Джозеф.

– Ну вот я и оскорбил его в лучших чувствах! Миссис Седли, дорогая моя, я оскорбил вашего сына в лучших чувствах. Я намекнул на его штаны. Спросите у мисс Шарп, она подтвердит. Ну, полно, Джозеф, будьте с мисс Шарп друзьями, и пойдете все вместе обедать!



– Сегодня у нас такой пилав, Джозеф, какой ты любишь, а папа привез палтуса, – лучшего нет на всем Биллингсетском рынке<sup>[13]</sup>.

– Идем, идем, сэр, предложите руку мисс Шарп, а я пойду следом с этими двумя молодыми женщинами, – сказал отец и, взяв под руки жену и дочь, весело двинулся в столовую.

Если мисс Ребекка Шарп в глубине души решила одержать победу над тучным щеголем, то я не думаю, сударыни, что мы вправе хоть сколько-нибудь осуждать ее за это. Правда, задача уловления женихов обычно с подобающей скромностью препоручается юными особами своим маменькам, но вспомните, что у мисс Шарп нет любящей родительницы, чтобы уладить за нее этот деликатный вопрос, и если она сама не раздобудет себе мужа, то не найдется никого в целом мире, кто оказал бы ей эту услугу. Что заставляет молодых особ «выезжать», как не благородное стремление к браку? Что гонит их толпами на всякие воды? Что принуждает их отплясывать до пяти часов утра в течение долгого сезона? Что заставляет их трудиться над фортепьянными сонатами, разучивать три-четыре романса у модного учителя, по гинее за урок, или играть на арфе, если у них точеные ручки и изящные локотки, или носить зеленые шляпки линкольнского сукна и перья, – что заставляет их делать все это, как не надежда сразить какого-нибудь «подходящего» молодого человека при помощи этих смертоносных луков и стрел? Что заставляет почтенных родителей, скатать ковры, ставить весь дом вверх дном и тратить пятую часть годового дохода на балы с ужинами и замороженным шампанским? Неужели бескорыстная любовь к себе подобным и искреннее желание посмотреть, как веселится и танцует молодежь? Чепуха! Им хочется выдать замуж дочерей. И подобно тому, как простодушная миссис Седли в глубине своего нежного сердца уже вынашивала десятки маленьких планов насчет устройства Эмилии, так и наша прелестная, но не имевшая покровителей Ребекка решила сделать все, что было в ее силах, чтобы добыть себе мужа, который был для нее еще более необходим, чем для ее подруги. Она обладала живым воображением, а кроме того, прочла «Сказки Тысячи и одной ночи» и «Географию» Гютри. Поэтому, узнав у Эмилии, что ее брат очень богат, Ребекка, одеваясь к обеду, уже строила мысленно великолепнейшие воздушные замки, коих сама она была

повелительницей, а где-то на заднем плане маячил ее супруг (она его еще не видела, и потому его образ был не вполне отчетлив); она наряжалась в бесконечное множество шалей-тюрбанов, увешивалась бриллиантовыми ожерельями и под звуки марша из «Синей Бороды»<sup>[14]</sup> садилась на слона, чтобы ехать с торжественным визитом к Великому Моголу. О упоительные мечты Альнашара! Счастливого преимущество молодости в том, чтобы предаваться вам, и немало других юных фантазеров задолго до Ребекки Шарп упивались такими восхитительными грезами!

Джозеф Седли был на двенадцать лет старше своей сестры Эмилии. Он состоял на гражданской службе в Ост-Индской компании<sup>[15]</sup> и в описываемую нами пору значился в Бенгальском разделе Ост-Индского справочника в качестве коллектора<sup>[16]</sup> в Богли-Уолах – должность, как всем известно, почетная и прибыльная. Если читатель захочет узнать, до каких еще более высоких постов дослужился Джозеф в этой компании, мы отсылаем его к тому же справочнику.

Богли-Уолах расположен в живописной уединенной, покрытой джунглями болотистой местности, известной охотой на бекасов, но где нередко можно спугнуть и тигра. Ремгандж, окружной центр, отстоит от него всего на сорок миль, а еще миль на тридцать дальше находится стоянка кавалерии. Так Джозеф писал домой родителям, когда вступил в исправление должности коллектора. В этой очаровательной местности он прожил около восьми лет в полном одиночестве, почти не видя лица христианского, если не считать тех двух раз в году, когда туда наезжал кавалерийский отряд, чтобы увезти собранные им подати и налоги и доставить их в Калькутту.

По счастью, к описываемому времени он нажил какую-то болезнь печени, для лечения ее вернулся в Европу и теперь вознаграждал себя за вынужденное отшельничество, пользуясь всю удобствами и увеселениями у себя на родине. Приехав в Лондон, он не поселился у родителей, а завел отдельную квартиру, как и подобает молодому неунывающему холостяку. До своего отъезда в Индию он был еще слишком молод, чтобы принимать участие в развлечениях столичных жителей, и с тем большим усердием погрузился в них по возвращении домой. Он катался по Парку<sup>[17]</sup> на собственных лошадях, обедал в модных трактирах (Восточный клуб не был еще изобретен),

стал записным театралом, как требовала тогдашняя мода, и появлялся в опере старательно наряженный в плотно облегающие панталоны и треуголку.

Впоследствии, по возвращении в Индию и до конца своих дней, он с величайшим восторгом рассказывал о веселье и забавах той поры, давая понять, что они с Браммелом<sup>[18]</sup> были тогда первыми франтами столицы. А между тем он был так же одинок в Лондоне, как и в джунглях своего Богли-Уолаха. Джозеф не знал здесь ни одной живой души, и если бы не доктор да развлечения в виде каломели и боли в печени, он совсем погиб бы от тоски. Это был лентяй, брюзга и бонвиван; один вид женщины из общества обращал его в бегство, – вот почему он редко появлялся в семейном кругу на Рассел-сквер, где был открытый дом и где шутки добродушного старика отца задевали его самолюбие. Тучность причиняла ему немало забот и тревог; по временам он делал отчаянные попытки освободиться от излишков жира, но лень и привычка ни в чем себе не отказывать скоро одерживали верх над его геройскими побуждениями, и он опять возвращался к трем трапезам в день. Он никогда не бывал хорошо одет, но прилагал невероятные усилия к украшению своей тучной особы и проводил за этим занятием по многу часов в день. Его лакей составил себе целое состояние на гардеробе хозяина. Туалетный стол Джозефа был заставлен всевозможными помадами и эссенциями, как у престарелой кокетки; чтобы достигнуть стройности талии, он перепробовал всякие бандажи, корсеты и пояса, какие были тогда в ходу. Подобно большинству толстяков, он старался, чтобы платье шилось ему как можно уже, и заботился о том, чтобы оно было самых ярких цветов и юношеского покроя. Завершив наконец свой туалет, он отправлялся после полудня в Парк покататься в полнейшем одиночестве, а затем возвращался домой сменить свой наряд и уезжал обедать, в таком же полнейшем одиночестве, в «Кафе Пьяцца». Он был тщеславен, как молодая девушка; весьма возможно, что болезненная робость была одним из следствий его непомерного тщеславия. Если мисс Ребекке удастся заполонить Джозефа при самом ее вступлении в жизнь, она окажется необычайно ловкой молодой особой...

Первый же шаг обнаружил ее незаурядное искусство. Назвав Седли интересным мужчиной, Ребекка наперед знала, что Эмилия

передаст это матери, а уж та, по всей вероятности, сообщит Джозефу или же, во всяком случае, будет польщена комплиментом по адресу ее сына. Все матери таковы. Скажите Сикораксе, что сын ее Калибан<sup>[19]</sup> красив, как Аполлон, и это обрадует ее, хотя она и ведьма. Кроме того, может быть, и сам Джозеф Седли слышал комплимент – Ребекка говорила довольно громко, – и он действительно его услышал, и от этой похвалы (в душе Джозеф считал себя очень интересным мужчиной) нашего коллектора бросило в жар, и по всему его телу пробежал трепет удовлетворенного самолюбия. Однако тут же его словно обдало холодной водой. «Не издевается ли надо мной эта девица?» – подумал он и бросился к сонетке, готовясь ретироваться, как мы это видели; однако под действием отцовских шуток и материнских уговоров сменил гнев на милость и остался дома. Он повел молодую девушку к столу, полный сомнений и взволнованный. «Вправду ли она думает, что я красив, – размышлял он, – или же только смеется надо мной?!» Мы уже упоминали, что Джозеф Седли был тщеславен, как девушка. Помоги нам бог! Девушкам остается только перевернуть это изречение и сказать об одной из себе подобных: «Она тщеславна, как мужчина!» – и они будут совершенно правы. Бородатое сословие столь же падко на лесть, столь же щепетильно в рассуждении своего туалета, столь же гордится своей наружностью, столь же верит в могущество своих чар, как и любая кокетка.

Итак, они сошли в столовую – Джозеф, красный от смущения, а Ребекка, скромно потупив долу свои зеленые глаза. Она была вся в белом, с обнаженными белоснежными плечами, воплощение юности, беззащитной невинности и смиренной девственной чистоты. «Мне нужно держать себя очень скромно, – думала Ребекка, – и побольше интересоваться Индией».

Мы уже слышали, что миссис Седли приготовила для сына отличное карри<sup>[20]</sup> по его вкусу, и во время обеда Ребекке было предложено отведать этого кушанья.

– А что это такое? – полюбопытствовала она, бросая вопрошающий взгляд на мистера Джозефа.

– Отменная вещь! – произнес он. Рот у него был набит, а лицо покраснелось от удовольствия, которое доставлял ему самый процесс

еды. – Матушка, у тебя готовят карри не хуже, чем у меня дома в Индии.

– О, тогда я должна попробовать, если это индийское кушанье! – заявила мисс Ребекка. – Я уверена, что все, что из Индии, должно быть прекрасно!

– Ангел мой, дай мисс Шарп отведать этого индийского лакомства, – сказал мистер Седли, смеясь.

Ребекка никогда еще не пробовала этого блюда.

– Ну что? Оно, по-вашему, так же прекрасно, как и все, что из Индии? – спросил мистер Седли.

– О, оно превосходно! – произнесла Ребекка, испытывая адские муки от кайенского перца.

– А вы возьмите к нему стручок чили<sup>[21]</sup>, мисс Шарп, – сказал Джозеф, искренне заинтересованный.

– Чили? – спросила Ребекка, едва переводя дух. – А, хорошо! – Она решила, что чили – это что-нибудь прохладительное, и взяла себе немного этой приправы.

– Как он свеж и зелен на вид! – заметила она, кладя стручок в рот. Но чили жег еще больше, чем карри, – не хватало человеческих сил вытерпеть такое мученье. Ребекка положила вилку.

– Воды, ради бога, воды! – закричала она.

Мистер Седли разразился хохотом. Это был грубоватый человек, проводивший все дни на бирже, где любят всякие бесцеремонные шутки.

– Самый настоящий индийский чили, заверяю вас! – сказал он. – Самбо, подай мисс Шарп воды.

Джозеф вторил отцовскому хохоту, находя шутку замечательной. Дамы только слегка улыбались. Они видели, что бедняжка Ребекка очень страдает. Сама она готова была задушить старика Седли, однако проглотила обиду так же легко, как перед тем отвратительный карри, и, когда к ней снова вернулся дар речи, промолвила с шутливым добродушием:

– Мне следовало бы помнить о перце, который персидская принцесса из «Тысячи и одной ночи» кладет в сливочное пирожное. А у вас в Индии, сэр, кладут кайенский перец в сливочное пирожное?

Старик Седли принялся хохотать и подумал про себя, что Ребекка остроумная девочка. А Джозеф только произнес:

– Сливочное пирожное, мисс? У нас в Бенгалии плохие сливки. Мы обычно употребляем козье молоко, и, знаете, я теперь предпочитаю его сливкам.

– Ну как, мисс Шарп, вы, пожалуй, не будете больше восторгаться всем, что идет из Индии? – спросил старый джентльмен.

И когда дамы после обеда удалились, лукавый старик сказал сыну:

– Берегись, Джо! Эта девица имеет на тебя виды.

– Вот чепуха! – воскликнул Джо, весьма, однако, польщенный. – Я помню, сэр, в Думдуме была одна особа, дочь артиллериста Катлера, потом она вышла замуж за доктора Ланса. Так вот она тоже собиралась в тысяча восемьсот четвертом году взять меня за горло... меня и Маллигатони, я еще говорил вам о нем перед обедом... Чертовски славный малый этот Маллигатони... Сейчас он судьей в Баджбадже и, наверное, лет через пять будет советником. Так вот, сэр, артиллеристы устраивали бал, и Куинтин из четырнадцатого королевского полка и говорит мне: «Слушай, Седли, держу пари тринадцать против десяти, что Софи Катлер поймает на крючок либо тебя, либо Маллигатони еще до больших дождей!» – «Идет!» – говорю я, и, ей-богу, сэр... прекрасный у вас кларет! От Адамсона или от Карбонеля? Первый сорт!

Легкий храп был единственным на это ответом: почтенный биржевик уснул; таким образом, рассказ Джозефа остался на сей раз неоконченным. Но Джозеф был страшно словоохотлив в мужской компании, и этот восхитительный анекдот он рассказывал уже десятки раз своему аптекарю, доктору Голлопу, когда тот приходил справляться о состоянии его печени и о действии каломели.

В качестве больного Джозеф Седли удовольствовался бутылкой кларета, помимо мадеры, выпитой за обедом, и уписал тарелки две земляники со сливками и десятка два сладкого печенья, оставленного невзначай на тарелке около него, причем мысли его (ведь романисты обладают даром всеведения) были, конечно, заняты молодой девушкой, удалившейся в верхние покои.

«Экая хорошенькая, молоденькая резвушка, – думал он. – Как она взглянула на меня, когда я за обедом поднял ей платок! Она его дважды роняла, плутовка. Кто это поет в гостиной? Черт! Не пойти ли взглянуть?»

Но тут на него нахлынула неудержимая застенчивость. Отец спал; шляпа Джозефа висела в прихожей; близехонько за углом на Саутгемптон-роу была извозчичья биржа.

«Не поехать ли мне на «Сорок разбойников»<sup>[22]</sup>, – подумал он, – посмотреть, как танцует мисс Декамп?» И, ступая на носки своих остроносых сапог, он тихонько выбрался из комнаты и исчез, не потревожив сна достойного родителя.

– Вот идет Джозеф, – сказала Эмилия, смотревшая из открытого окна гостиной, пока Ребекка пела, аккомпанируя себе на фортепьяно.

– Мисс Шарп спугнула его, – заметила миссис Седли. – Бедный Джо! И отчего он такой робкий?

## Глава IV

### Зеленый шелковый кошелек

Страх, овладевший Джо, не оставлял его два или три дня; за это время он ни разу не заезжал домой, а мисс Ребекка ни разу о нем не вспомнила. Она не знала, как благодарить миссис Седли, выше всякой меры восхищалась пассажирами и модными лавками и приходила в неистовый восторг от театров, куда ее возила добрая дама. Однажды у Эмилии разболелась голова, она не могла ехать на какое-то торжество, куда были приглашены обе девушки, – и ничто не могло принудить подругу ехать одну.

– Как, оставить тебя? Тебя, впервые показавшую одинокой сиротке, что такое счастье и любовь? Никогда! – И зеленые глаза затуманились слезами и поднялись к небесам.

Миссис Седли оставалось только удивляться, какое у подруги ее дочери любящее, нежное сердечко.

На шутки мистера Седли Ребекка никогда не сердилась и неизменно смеялась им первая, что немало тешило и трогало добродушного джентльмена. Но мисс Шарп снискала расположение не одних только старших членов семьи, она обворожила и миссис Бленкинсоп, проявив глубочайший интерес к приготовлению малинового варенья, каковое священнодействие совершалось в ту пору в комнате экономки; она упорно называла Самбо «сэром» или «мистером Самбо», к полнейшему восторгу слуги; она извинялась перед горничной за то, что решалась беспокоить ее звонком, – и все это с такой деликатностью и кротостью, что все в людской были почти так же очарованы Ребеккой, как и в гостиной.

Однажды, рассматривая папку с рисунками, которые Эмилия присылала домой из школы, Ребекка неожиданно наткнулась на какой-то лист, заставивший ее разрыдаться и выбежать из комнаты. Это произошло в тот день, когда Джо Седли вторично появился в доме.

Эмилия бросилась за подругой – узнать причину такого расстройства чувств. Добрая девочка вернулась одна и тоже несколько взволнованная.



– Ведь вы знаете, маменька, ее отец был у нас в Чизике учителем рисования и, бывало, все плавное рисовал сам.

– Душечка! А по-моему, мисс Пинкертон всегда говорила, что он и не прикасается к вашим работам... а только отделяет их.

– Это и называлось отделать, маменька. Ребекка вспомнила рисунок и как ее отец работал над ним; воспоминания нахлынули на нее... и вот...

– Какое чувствительное сердечко у бедняжки! – участливо заметила миссис Седли.

– Мне хочется, чтобы она погостила у нас еще с недельку! – сказала Эмилия.

– Она дьявольски похожа на мисс Катлер, с которой я встречался в Думдуме, но только посветлее. Та теперь замужем за Лансом, военным врачом. Знаете, матушка, однажды Куинтин, из четырнадцатого полка, бился со мной об заклад...

– Знаем, знаем, Джозеф, нам уже известна эта история! – воскликнула со смехом Эмилия. – Можешь не трудиться рассказывать. А вот уговори-ка маменьку написать этому сэру... как его... Кроули, чтобы он позволил бедненькой Ребекке пожить у нас еще. Да вот и она сама! И с какими красными, заплаканными глазами!

– Мне уже лучше, – сказала девушка со сладчайшей улыбкой и, взяв протянутую ей сердобольной миссис Седли руку, почтительно ее поцеловала. – Как вы все добры ко мне! Все, – прибавила она со смехом, – кроме вас, мистер Джозеф.

– Кроме меня? – воскликнул Джозеф, подумывая, уж не обратиться ли ему в бегство. – Праведное небо! Господи боже мой! Мисс Шарп!

– Ну да! Не жестоко ли было с вашей стороны угостить меня за обедом этим ужасным перцем – и это в первый день нашего знакомства. Вы не так добры ко мне, как моя дорогая Эмилия.

– Он еще мало тебя знает, – сказала Эмилия.

– Кто это смеет обижать вас, моя милочка? – добавила ее мать.

– Но ведь карри был превосходен, честное слово, – пресерьезно заявил Джо. – Пожалуй, только лимону было маловато... да, маловато.

– А ваш чили?

– Черт возьми, как вы от него расплакались! – воскликнул Джо и, будучи не в силах устоять перед комической стороной этого

происшествия, разразился хохотом, который так же внезапно, по своему обыкновению, оборвал.

– Вперед я буду относиться осторожнее к тому, что вы мне предлагаете, – сказала Ребекка, когда они вместе спускались в столовую к обеду. – Я и не думала, что мужчины так любят мучить нас, бедных, беззащитных девушек.

– Ей-богу же, мисс Ребекка, я ни за что на свете не хотел бы вас обидеть!

– Конечно, – ответила она, – я уверена, что не захотели бы! – И она тихонько пожала ему руку своей маленькой ручкой, но тотчас же отдернула ее в страшном испуге и сперва на мгновение заглянула в лицо Джозефу, а потом уставилась на ковер. Я не поручился бы, что сердце Джо не заколотилось в груди при этом невольном, робком и нежном признании наивной девочки.

Это был аванс с ее стороны, и, может быть, некоторые дамы, безукоризненно корректные и воспитанные, осудят такой поступок, как нескромный. Но, видите ли, бедненькой Ребекке приходилось самой проделывать всю черную работу. Если человек по бедности не может держать прислугу, ему приходится подметать комнаты, каким бы он ни был франтом. Если у какой-нибудь милой девочки нет любящей мамыши, чтобы налаживать ее дела с молодыми людьми, ей самой приходится этим заниматься. И какое это счастье, что женщины не столь уж усердно пользуются своими чарами. А иначе что было бы с нами! Стоит им оказать нам – мужчинам – хотя бы малейшее расположение, и мы тотчас падаем перед ними на колени, даже старики и уроды! И вот какую неоспоримую истину я выскажу: любая женщина, если она не безнадежная горбунья, при благоприятных условиях сумеет женить на себе, кого захочет. Будем же благодарны, что эти милочки подобны зверям полевым и не сознают своей собственной силы, иначе нам не было бы никакого спасения!

«Ей-богу, – подумал Джозеф, входя в столовую, – я начинаю себя чувствовать совсем как тогда в Думдуме с мисс Катлер!»

За обедом мисс Шарп то и дело адресовалась к Джозефу с замечаниями то нежными, то шутливыми о тех или иных блюдах. К этому времени у нее установились довольно близкие отношения со всем семейством. С Эмилией же они полюбили друг друга, как

сестры. Так всегда бывает с молодыми девушками, стоит им только прожить под одной кровлей дней десять.

Как будто задавшись целью помогать Ребекке во всех ее планах, Эмилия напомнила брату его обещание, данное ей во время последних пасхальных каникул, – «когда я еще училась в школе», – добавила она, смеясь, – обещание показать ей Воксхолл<sup>[23]</sup>.

– Как раз теперь, – заявила она, – когда у нас гостит Ребекка, это будет очень кстати!

– О, чудесно! – воскликнула Ребекка, едва не захлопав в ладоши, но вовремя опомнилась и удержалась, как это и подобало такому скромному созданию.

– Только не сегодня, – сказал Джо.

– Ну так завтра!

– Завтра мы с отцом не обедаем дома, – заметила миссис Седли.

– Уж не хочешь ли ты этим сказать, что я туда поеду, мой ангел? – спросил ее супруг. – Или что женщина твоего возраста и твоей комплекции станет рисковать простудой в таком отвратительном сыром месте?

– Надо же кому-нибудь ехать с девочками! – воскликнула миссис Седли.

– Пусть едет Джо, – сказал отец. – Он для этого достаточно велик.

При этих словах даже мистер Самбо, стоя на своем посту у буфета, прыснул со смеху, а бедный толстяк Джо поймал себя на желании стать отцеубийцей.

– Распустите ему корсет, – продолжал безжалостный старик. – Плесните ему в лицо водой, мисс Шарп, или, лучше, снесите его наверх: бедняга, того и пляди, упадет в обморок. Несчастная жертва! Несите же его наверх, ведь он легок, как перышко!

– Это невыносимо, сэръ, будь я проклят! – взревел Джозеф.

– Самбо, вызови слона для мистера Джоза! – закричал отец. – Пошли за ним в зверинец, Самбо! – Но, увидев, что Джоз чуть не плачет от гнева, старый шутник перестал хохотать и сказал, протягивая сыну руку: – У нас на бирже никто не сердится на шутку, Джоз! Самбо, не нужно слона, дай-ка лучше нам с мистером Джозом по стакану шампанского. У самого Бони<sup>[24]</sup> в погребе не сыщешь такого, сынок!

Бокал шампанского восстановил душевное равновесие Джозефа, и, еще до того как бутылка была осушена, причем лично ему, на правах больного, досталось две трети, он согласился сопровождать девиц в Воксхолл.

– Каждой девушке нужен свой кавалер, – сказал старый джентльмен. – Джоз увлечется мисс Шарп и наверняка потеряет Эмми в толпе. Пошлем в девяносто шестой полк и пригласим Джорджа Осборна, авось он не откажется.

При этих словах, уж не знаю почему, миссис Седли взглянула на мужа и засмеялась. Глаза мистера Седли заискрились неопишным лукавством, и он взглянул на дочь; Эмилия опустила голову и покраснела так, как умеют краснеть только семнадцатилетние девушки и как мисс Ребекка Шарп никогда не краснела за всю свою жизнь – во всяком случае, с тех пор как ее, еще восьмилетней девочкой, крестная застала у буфета за кражей варенья.

– Самое лучшее, пусть Эмилия напишет записку, – посоветовал отец, – надо показать Джорджу Осборну, какой чудесный почерк мы вывели от мисс Пинкертон. Помнишь, Эмми, как ты пригласила его к нам на крещение и написала «и» вместо «е»?

– Ну, когда это было! – возразила Эмилия.

– А кажется, будто только вчера, не правда ли, Джон? – сказала миссис Седли, обращаясь к мужу; и в ту же ночь, во время беседы в одном из передних покоев второго этажа, под сооружением вроде палатки, задрапированным тканью богатого и фантастического индийского рисунка, подбитой нежно-розовым коленкором, – внутри этой разновидности шатра, где на пуховой постели покоились две подушки, а на них два круглых румяных лица – одно в кружевном ночном чепчике, а другое в обыкновенном бумажном колпаке, увенчанном кисточкой, – во время, повторяю, ночной супружеской беседы миссис Седли упрекнула мужа за его жестокое обращение с бедным Джо.

– Очень гадко было с твоей стороны, мистер Седли, – сказала она, – так мучить бедного мальчика.

– Мой ангел, – ответил бумажный колпак в свою защиту, – Джоз – тщеславная кокетка, такой и ты не была никогда в своей жизни, а этим много сказано. Хотя лет тридцать назад, в году тысяча семьсот восьмидесятом – ведь так, пожалуй, – ты, может быть, и имела на это

право, – не спорю. Но меня просто из терпения выводит этот скромник и его фатовские замашки. Он, видимо, решил перещегоолять своего тезку, Иосифа Прекрасного. Только и думает о себе, какой, мол, я расчудесный. Увидишь, что мы еще не оберемся с ним хлопот. А тут еще Эммина подружка вешается ему на шею – ведь это же яснее ясного. И если она его не подцепит, так подцепит другая. Скажи спасибо, мой ангел, что он не привез нам какой-нибудь черномазой невестки. Но запомни мои слова: первая женщина, которая за него возьмется, сядет ему на шею...

– Завтра же она уедет, лукавая девчонка, – решительно заявила миссис Седли.

– А чем она хуже других, миссис Седли? У этой девочки, по крайней мере, белая кожа. Мне нет никакого дела, кто его на себе женит; пусть устраивается, как хочет.

На этом голоса обоих собеседников затихли и сменились легкими, хотя отнюдь не романтическими носовыми руладами. И в доме Джона Седли, эсквайра и члена фондовой биржи, на Расселсквер воцарилась тишина, нарушаемая разве лишь боем часов на ближайшей колокольне да выкриками ночного сторожа.

Наутро благодушная миссис Седли и не подумала приводить в исполнение свои угрозы по отношению к мисс Шарп; хотя нет ничего более жгучего, более обыкновенного и более извинительного, чем материнская ревность, миссис Седли и мысли не допускала, что маленькая, скромная, благодарная смиренная гувернантка осмелилась поднять глаза на такую великолепную особу, как коллектор Богли-Уолаха. Кроме того, просьба о продлении отпуска молодой девице была уже отправлена, и было бы трудно найти предлог для того, чтобы внезапно отослать девушку.

И словно все сговорилось благоприятствовать милой Ребекке, даже самые стихии не остались в стороне (хоть она и не сразу оценила их любезное участие). В тот вечер, когда намечалась поездка в Воксхолл, когда Джордж Осборн прибыл к обеду, а старшие члены семьи уехали на званый обед к олдермену<sup>[25]</sup> Болсу в Хайбери-Барн, разразилась такая гроза, какая бывает только в дни, назначенные для посещения Воксхолла, и молодежи волей-неволей пришлось остаться дома. Но, по-видимому, мистер Осборн ничуть не был опечален этим обстоятельством. Они с Джозефом Седли распили не одну бутылку

портвейна, оставшись вдвоем в столовой, причем Седли воспользовался случаем, чтобы рассказать множество отборнейших своих индийских анекдотов, – как мы уже говорили, он был чрезвычайно словоохотлив в мужской компании. А потом мисс Эмилия Седли хозяйничала в гостиной, и все четверо молодых людей провели такой приятный вечер, что, по их единодушному утверждению, нужно было скорее радоваться грозе, заставившей их отложить поездку в Воксхолл.

Осборн был крестником Седли и все двадцать три года своей жизни считался членом его семьи. Когда ему было полтора месяца, он получил от Седли в подарок серебряный стаканчик, а шести месяцев – коралловую погремушку с золотым свистком. С самой ранней юности и до последнего времени он регулярно получал от старика к Рождеству деньги на гостинцы. Он до сих пор помнил, как однажды при его отъезде в школу Джозеф Седли, тогда уже рослый, заносчивый и нескладный парень, основательно вздул его, дерзкого десятилетнего мальчишку. Одним словом, Джордж был настолько близок к этой семье, насколько его могли сблизить с нею подобные повседневные знаки внимания и участия.

– Помнишь, Седли, как ты полез на стену, когда я отрезал кисточки у твоих гессенских сапог, и как мисс... гм!.. как Эмилия спасла меня от трепки, упала на колени и умолила брата Джоза не бить маленького Джорджа?

Джон отлично помнил это замечательное происшествие, но клялся, что совершенно позабыл его.

– А помнишь, как ты приезжал на шарабане к нам, в школу доктора Порки, повидаться со мной перед отъездом в Индию, подарил мне полгиней и потрепал меня по щеке? У меня тогда осталось впечатление, будто ты не меньше семи футов ростом, и я очень удивился, когда при твоём возвращении из Индии оказалось, что ты не выше меня.

– Как мило было со стороны мистера Седли поехать в школу и дать вам денег! – воскликнула с увлечением Ребекка.

– Особенно после того, как я отрезал ему кисточки от сапог. Школьники никогда не забывают ни самые дары, ни дающих.

– Какая прелесть эти гессенские сапоги, – заметила Ребекка.

Джоз Седли, бывший весьма высокого мнения о своих ногах и всегда носивший эту изысканную обувь, был чрезвычайно польщен сделанным замечанием, хотя, услышав его, и спрятал ноги под кресло.

– Мисс Шарп! – сказал Джордж Осборн. – Вы, как искусная художница, должны были бы написать большое историческое полотно на тему о сапогах. Седли надо будет изобразить в кожаных штанах, в одной руке у него пострадавший сапог, другою он держит меня за шиворот. Эмилия стоит около него на коленях, воздевая к нему ручонки. Картина должна быть снабжена пышной аллегорической надписью, вроде тех, какие бывают на заглавных страницах букварей и катехизиса.

– К сожалению, я не успею, – ответила Ребекка. – Обещаю вам написать потом, когда... когда я уеду. – И голос ее упал, а сама она приняла такой печальный и жалостный вид, что каждый почувствовал, как жестока к ней судьба и как грустно будет им всем расстаться с Ребеккой.

– Ах, если бы ты могла еще пожить у нас, милочка Ребекка! – воскликнула Эмилия.

– Зачем? – промолвила та еще печальнее. – Для того чтобы потом я была еще несча... чтобы мне еще труднее было расстаться с тобою? – И она отвернулась.

Эмилия была готова дать волю своей врожденной слабости к слезам, которая, как мы уже говорили, была одним из недостатков этого плутовского созданья. Джордж Осборн глядел на обеих девушек с сочувствием и любопытством, а Джозеф Седли извлекал из своей широкой груди нечто очень похожее на вздох, не сводя, однако, глаз со своих нежно любимых гессенских сапог.

– Сыграйте-ка нам что-нибудь, мисс Седли... Эмилия, – попросил Джордж, почувствовавший в эту минуту необычайное, почти непреодолимое желание схватить в свои объятия упомянутую молодую особу и расцеловать ее при всех. Эмилия подняла на него глаза... Но если бы я заявил, что они влюбились друг в друга в эту самую минуту, то, пожалуй, ввел бы вас в заблуждение. Дело в том, что эти двое молодых людей были с детства предназначены друг другу и последние десять лет об их помолвке говорилось в обоих семействах как о деле решенном. Они отошли к фортепьяно, находившемуся, как это обычно бывает, в малой гостиной, и, так как было уже довольно

темно, мисс Эмилия, естественно, взяла под руку мистера Осборна, которому, разумеется, было легче, чем ей, проложить себе путь между кресел и оттоманок. Но мистер Джозеф Седли остался, таким образом, с глазу на глаз с Ребеккой у стола в гостиной, где та была занята вязанием зеленого шелкового кошелька.

– Едва ли нужно задавать вопрос о ваших семейных тайнах, – сказала мисс Шарп. – Эти двое сами выдают себя.

– Как только он получит роту, – отвечал Джозеф, – я думаю, дело будет слажено. Джордж Осборн – чудесный мальчик.

– А ваша сестра – прелестнейшее в мире создание, – добавила Ребекка. – Счастлив тот, кто завоеует ее сердце! – С этими словами мисс Ребекка Шарп тяжело вздохнула.

Когда молодой человек и девушка сойдутся и начнут толковать на такие деликатные темы, между ними устанавливается известная откровенность и короткость. Нет нужды дословно приводить здесь разговор, который завязался между мистером Седли и Ребеккой; беседа их, как можно судить по приведенному выше образчику, не отличалась ни особенным остроумием, ни красноречием; она редко и бывает такой в частном кругу, да и вообще где бы то ни было, за исключением разве высокопарных и надуманных романов. И так как в соседней комнате занимались музыкой, то беседа, разумеется, велась в тихом и задушевном тоне, хотя, если говорить правду, нашу парочку у фортепьяно не мог бы потревожить и более громкий разговор, настолько она была поглощена своими собственными делами.

Чуть ли не в первый раз за всю свою жизнь Джозеф Седли беседовал без малейшей робости и стеснения с особой другого пола. Мисс Ребекка засыпала его вопросами об Индии, что дало ему случай рассказать много интересных анекдотов об этой стране и о самом себе. Он описал балы в губернаторском дворце и как в Индии спасаются от зноя в жаркую пору, прибегая к опахалам, циновкам и тому подобному; очень остроумно прошелся насчет шотландцев, которым покровительствовал генерал-губернатор, лорд Минто; описал охоту на тигра и упомянул о том, как вожак его слона был стащен со своего сиденья разъяренным животным. Как восхищалась мисс Ребекка губернаторскими балами, как она хохотала над рассказами о шотландцах-адъютантах, называя мистера Седли гадким, злым насмешником, и как испугалась, слушая рассказ о слоне!



– Ради вашей матушки, дорогой мистер Седли, – воскликнула она, – ради всех ваших друзей, обещайте никогда больше не принимать участия в таких ужасных экспедициях!

– Пустяки, вздор, мисс Шарп, – промолвил он, поправляя свои воротнички, – опасность придает охоте только большую прелесть!

Джозеф никогда не участвовал в охоте на тигра, за исключением единственного случая, когда произошел рассказанный им эпизод и когда он чуть не был убит, – если не тигром, то страхом. Разговорившись, Джозеф совсем осмелел и наконец до того расхрабрился, что спросил мисс Ребекку, для кого она вяжет зеленый шелковый кошелек. Он сам удивлялся себе и восхищался своей грациозной фамильярностью.

– Для того, кто у меня его попросит, – отвечала мисс Ребекка, бросив на Джозефа пленительный взгляд.

Седли уже собирался произнести одну из самых красноречивых своих речей и начал было: «О мисс Шарп, вы...», как вдруг романс, исполнявшийся в соседней комнате, оборвался и Джозеф так отчетливо услышал звук собственного голоса, что умолк, покраснел и в сильном волнении высморкался.

– Приходилось ли вам видеть вашего брата в таком ударе? – шепнул Эмилии мистер Осборн. – Ваша подруга просто творит чудеса!

– Тем лучше, – сказала мисс Эмилия.

Подобно всем женщинам, достойным этого имени, она питала слабость к сватовству и была бы в восхищении, если бы Джозеф увез с собой в Индию жену. Кроме того, эти несколько дней постоянного пребывания вместе разожгли в Эмилии чувство нежнейшей дружбы к Ребекке и открыли ей в подруге миллион добродетелей и приятных качеств, которых она не замечала в Чизике. Ведь привязанность молодых девиц растет так же быстро, как боб Джека в известной сказке, и достигает до небес в одну ночь. Нельзя осуждать их за то, что после замужества эта *Sehnsucht nach der Liebe*<sup>[26]</sup> ослабевает. Люди сентиментальные, любящие выражаться пышно, называют это «тоской по идеалу», но на самом деле это просто значит, что женщина чувствует себя неудовлетворенной, пока не обзаведется мужем и детьми, на которых и может излить всю свою нежность, растрчиваемую дотопле по мелочам.

Истоцив весь свой небольшой запас романсов или же достаточно пробыв в малой гостиной, мисс Эмилия сочла своим долгом попросить подругу спеть.

– Вы не стали бы меня слушать, – заявила она мистеру Осборну (хотя знала, что говорит неправду), – если бы до этого услышали Ребекку.

– А я предупреждаю мисс Шарп, – ответил Осборн, – что считаю мисс Эмилию Седли первой певицей в мире, правильно это или неправильно!

– Вот увидите, – возразила Эмилия.

Джозеф Седли был настолько любезен, что перенес свечи к фортепьяно. Осборн заикнулся было, что прекрасно можно посидеть и в потемках, но мисс Седли, рассмеявшись, отказалась составить ему компанию, и наша парочка последовала за мистером Джозефом. Ребекка пела гораздо лучше подруги (хотя никто, конечно, не мешал Осборну оставаться при своем мнении), а на этот раз она превзошла самое себя и, по правде сказать, изумила Эмилию, которая не знала за ней таких талантов. Она спела какой-то французский романс, из которого Джозеф не понял ни единого слова, а Осборн даже сказал, что ничего не понял, а затем исполнила множество популярных песенок – из тех, что были в моде лет сорок тому назад, – где воспеваются британские моряки, наш король, бедная Сьюзен, синеокая Мэри и тому подобное. Как известно, они не блещут музыкальными достоинствами, но зато больше говорят сердцу и принимаются публикой лучше, чем приторно-слащавые *lagrime*, *sospiri* и *felicità*<sup>[27]</sup> бессменной Доницеттиевой музыки<sup>[28]</sup>, которою нас угощают теперь.

В антрактах между пением, которое соблаговолили прослушать также Самбо, подававший чай, восхищенная кухарка и даже экономка миссис Бленкинсоп, собравшиеся на лестничной площадке, велась подобающая случаю сентиментальная беседа.

Среди песенок была одна такого содержания (ею и завершился концерт):

Над топиями нависла мгла,  
Уныло ветер выл,  
А горница была тепла,

В камине жарок пыл.  
Малютка сирота прошел,  
Заметил в окнах свет,  
Почувствовал, как ветер зол,  
Как снег крутится вслед.  
И он замечен из окна,  
Усталый, чуть живой,  
Он слышит: чьи-то голоса  
Зовут к себе домой.  
Рассвет придет, и гость уйдет.  
(В камине жарок пыл...)  
Пусть небо охранит сирот!  
(Уныло ветер выл...)

Здесь звучало то же чувство, что и в ранее упомянутых словах: «Когда я уеду». Едва мисс Шарп дошла до последних слов, как «звучный голос ее задрожал»<sup>[29]</sup>. Все почувствовали, что тут кроется намек на ее отъезд и на ее злополучное сиротство. Джозеф Седли, любивший музыку и притом человек мягкосердечный, был очарован пением и сильно расчувствовался при заключительных словах романса. Если бы он был посмелее и если бы Джордж и мисс Седли остались в соседней комнате, как предлагал Осборн, то холостяцкой жизни Джозефа Седли пришел бы конец и эта повесть так и осталась бы ненаписанной. Но, закончив романс, Ребекка встала из-за фортепьяно и, подав руку Эмили, прошла с ней в полумрак большой гостиной; тут появился мистер Самбо с подносом, на котором были сэндвичи, варенье и несколько сверкающих бокалов и графинов, немедленно обративших на себя внимание Джозефа Седли. Когда родители вернулись из гостей, они нашли молодежь настолько погруженной в беседу, что никто из них не слышал, как подъехала карета; мистер Джозеф был застигнут на словах:

– Дорогая мисс Шарп, возьмите ложечку варенья – вам надо подкрепиться после вашего замечательного... вашего... вашего восхитительного пения!

– Bravo, Джоз! – сказал мистер Седли.

Услышав насмешку в хорошо знакомом отцовском голосе, Джоз тотчас же впал в тревожное молчание и вскоре распрощался. Он не провел бессонной ночи в размышлениях, влюблен он в мисс Шарп или нет; любовная страсть никогда не служила помехой ни аппетиту, ни сну мистера Джозефа Седли; он подумал только, как было бы чудесно слушать такие романсы, возвратившись домой после службы, какая *distinguee*<sup>[30]</sup> эта девица и как говорит по-французски, лучше самой генерал-губернаторши, а уж какую сенсацию она произвела бы на калькуттских балах! «Несомненно, бедняжка влюбилась в меня! – думал он. – В сущности, она не беднее большинства девушек, уезжающих в Индию. Право же, она не хуже других!» И среди таких размышлений он заснул.

Нужно ли говорить, что мисс Шарп долго томилась бессонницей, все думая, приедет он завтра или нет. Ночь прошла, и мистер Джозеф Седли самым исправным образом явился в отчий дом – и когда же? – до второго завтрака! Подобной чести он еще не оказывал Расселсквер. Джордж Осборн каким-то образом тоже оказался уже здесь, расстроив все планы Эмилии, которая села писать письма своим двенадцати любимейшим подругам на Чизикской аллее, в то время как Ребекка занималась вчерашним рукоделием. Когда подкатила коляска Джо и в то время как, после обычного громоподобного стука в дверь и торжественной суеты в передней, совершалось трудное восхождение богли-уолахского экс-коллектора по лестнице в гостиную, между Осборном и мисс Седли произошел телеграфный обмен многозначительными взглядами, и наша парочка с лукавой улыбкой воззрилась на Ребекку, которая, представьте, даже заалелась и поникла головкой, свесив свои рыжеватые локончики до самого вязанья. Как забилося ее сердце при появлении Джозефа – Джозефа в сияющих скрипучих сапогах, пыхтевшего от подъема по лестнице, Джозефа в новом жилете, красного от жары и волнения, с румянцем, пылавшим из-за его стеганой косынки! Это был волнующий миг для всех; а что касается Эмилии, то, мне кажется, сердечко у нее билось даже сильнее, чем у непосредственно заинтересованных лиц.





Самбо, широко распахнув двери и доложив о прибытии мистера Джозефа, вошел следом за коллектором, скаля зубы и неся два красивых букета, которые наш галантный волокита приобрел на

Ковент-Гарденском рынке<sup>[31]</sup>. Они не были так объемисты, как те копны сена, которые нынешние дамы носят с собой в конусах из кружевной бумаги, но девицы пришли в восторг от подарка, поднесенного Джозефом каждой с чрезвычайно церемонным поклоном.

– Bravo, Джо! – воскликнул Осборн.

– Спасибо, Джозеф, голубчик, – сказала Эмилия, готовая расцеловать брата, если бы он только пожелал. (А за поцелуй такой милой девушки, как Эмилия, я, не задумываясь, скупил бы все оранжереи мистера Ли!)

– О божественные, божественные цветы! – воскликнула мисс Шарп, изящно нюхая и прижимая их к груди и возводя в экстазе взоры к потолку. Очень может быть, что она прежде всего освидетельствовала букет, чтобы узнать, нет ли там какого-нибудь *billet doux*<sup>[32]</sup>, спрятанного среди цветов; но письма не было.

– А что, Седли, у вас в Богли-Уолахе умеют разговаривать на языке цветов? – спросил, смеясь, Осборн.

– Чепуха, вздор! – отвечал этот нежный воздыхатель. – Купил букеты у Натана. Очень рад, если они вам нравятся. Ах да, Эмилия! Я заодно купил еще ананас и отдал Самбо. Вели подать к завтраку. Очень вкусно и освежает в такую жаркую погоду.

Ребекка заявила, что никогда не пробовала ананасов и просто жаждет узнать их вкус.

Так завязалась беседа. Не знаю, под каким предлогом Осборн вышел из комнаты и почему Эмилия вскоре тоже удалилась, – вероятно, чтобы присмотреть, как будут нарезать ананас. Джоз остался наедине с Ребеккой, которая опять принялась за свое рукоделие; зеленый шелк и блестящие спицы быстро замелькали в ее белых тонких пальчиках.

– Какую изумительную, и-зу-у-мительную песенку вы спели нам вчера, дорогая мисс Шарп, – сказал коллектор. – Я чуть не прослезился, даю вам честное слово!

– Это потому, что у вас доброе сердце, мистер Джозеф. Все семейство Седли отличается этим.

– Я не спал из-за вашего пения всю ночь, а сегодня утром еще в постели все пробовал припомнить мотив. Даю вам честное слово! Голлоп, мой врач, приехал ко мне в одиннадцать (ведь я жалкий

инвалид, как вам известно, и мне приходится видеть Голлопа ежедневно), а я, ей-богу, сижу и распеваю, как чирик!

– Ах вы, проказник! Ну, дайте же мне послушать, как вы поете!

– Я? Нет, спойте вы, мисс Шарп. Дорогая мисс Шарп, спойте, пожалуйста!

– В другой раз, мистер Седли, – ответила Ребекка со вздохом. – Мне сегодня не поется; да к тому же надо кончить кошелек. Не можете ли вы мне, мистер Седли? – И мистер Джозеф Седли, чиновник Ост-Индской компании, не успел даже спросить, чем он может помочь, как уже оказался сидящим tête-à-tête<sup>[33]</sup> с молодой девицей, на которую бросал убийственные взгляды. Руки его были протянуты к ней, словно бы с мольбою, а на пальцах был надет моток шелка, который Ребекка принялась разматывать.

В этой романтической позе Осборн и Эмилия застали интересную парочку, вернувшись в гостиную с известием, что завтрак подан. Шелк был уже намотан на картон, но мистер Джоз еще не произнес ни слова.

– Я уверена, милочка, вечером он объяснится, – сказала Эмилия, сжимая подруге руку.

А Седли, посоветовавшись с самим собою, мысленно произнес:

– Черт возьми, в Воксхолле я сделаю ей предложение!

## Глава V

### Наш Доббин

Драка Кафа с Доббином и неожиданный исход этого поединка надолго останутся в памяти каждого, кто воспитывался в знаменитой школе доктора Порки. Последний из упомянутых юношей (к нему иначе и не обращались, как: «Эй ты, Доббин!» или: «Ну ты, Доббин!», прибавляя всякие прозвища, свидетельствовавшие о мальчишеском презрении) был самым тихим, самым неуклюжим и, по видимости, самым тупым среди юных джентльменов, обучавшихся у доктора Порки. Отец его был бакалейщиком в Лондоне. Носились слухи, будто мальчика приняли в заведение доктора Порки на так называемых «началах взаимности», – иными словами, расходы по содержанию и обучению малолетнего Уильяма возмещались его отцом не деньгами, а натурой. Так он и обретался там – можно сказать, на самом дне школьного общества, – чувствуя себя последним из последних в грубых своих плисовых штанах и куртке, которая чуть не расплзлась по швам на его ширококостном теле, являя собой нечто равнозначное стольким-то фунтам чаю, свечей, сахара, мыла, чернослива (который лишь в весьма умеренной пропорции шел на пудинги для воспитанников заведения) и разной другой бакалеи. Роковым для юного Доббина оказался тот день, когда один из самых младших школьников, бежавших потихоньку в город в недозволенную экспедицию за миндалем в сахаре и копченой колбасой, обнаружил фургон с надписью: «Доббин и Радж, торговля бакалейными товарами и растительными маслами, Темз-стрит, Лондон», с которого выгружали у директорского подъезда разные товары, составлявшие специальность этой фирмы.

После этого юный Доббин уже не знал покоя. На него постоянно сыпались ужаснейшие, беспощадные насмешки. «Эй, Доббин! – кричал какой-нибудь озорник. – Приятные известия в газетах! Цены на сахар поднимаются, милейший!» Другой предлагал решить задачу: «Если фунт сальных свечей стоит семь с половиной пенсов, то сколько должен стоить Доббин?» Такие замечания сопровождались дружным ревом юных сорванцов, надзирателей и вообще всех, кто искренне



думал, что розничная торговля – постыдное и позорное занятие, заслуживающее презрения и насмешек со стороны порядочного джентльмена.

«Твой папенька, Осборн, ведь тоже купец!» – заметил как-то Доббин, оставшись с глазу на глаз с тем именно мальчуганом, который и навлек на него всю эту бурю. Но тот отвечал надменно: «Мой папенька джентльмен и ездит в собственной карете!» После чего мистер Уильям Доббин забился в самый дальний сарай на школьном дворе, где и провел половину праздничного дня в глубокой тоске и унынии. Кто из нас не помнит таких часов горькой-горькой детской печали? Кто так чувствует несправедливость, кто весь сжимается от пренебрежения, кто с такой болезненной остротой воспринимает всякую обиду и с такой пылкой признательностью отвечает на ласку, как не великодушный мальчик? И сколько таких благородных душ вы коверкаете, уродуете, обрекаете на муки из-за слабых успехов в арифметике или убогой латыни?

Так и Уильям Доббин из-за неспособности к усвоению начал названного языка, изложенных в замечательном «Итонском<sup>[34]</sup> учебнике латинской грамматики», был обречен прозябать среди самых худших учеников доктора Порки и постоянно подвергался плумлениям со стороны одетых в переднички румяных малышек, когда шел рядом с ними в тесных плисовых штанах, с опущенным долу застывшим взглядом, с истрепанным букварем в руке, чувствуя себя среди них каким-то великаном. Все от мала до велика потешались над ним: ушивали ему эти плисовые штаны, и без того узкие, подрезали ремни на его кровати, опрокидывали ведра и скамейки, чтобы он, падая через них, ушибал себе ноги, что он выполнял неукоснительно, посылали ему пакеты, в которых, когда их открывали, оказывались отцовские мыло и свечи. Не было ни одного самого маленького мальчика, который не измывался бы и не потешался бы над Доббином. И все это он терпеливо сносил, безгласный и несчастный.

Каф, напротив, был главным коноводом и щеголем в школе Порки. Он тайком приносил в спальню вино. Он дрался с городскими мальчишками. По субботам за ним присылали его собственного пони, чтобы взять молодого хозяина домой. У него в комнате стояли сапоги с отворотами, в которых он охотился во время каникул. У него были

золотые часы с репетицией, и он нюхал табак не хуже самого доктора Порки... Он бывал в опере и судил о достоинствах главнейших артистов, предпочитая мистера Кина<sup>[35]</sup> мистеру Кемблу<sup>[36]</sup>. Он мог за один час вызубрить сорок латинских стихов. Он умел сочинять французские вирши. Да чего только он не знал, чего только не умел! Говорили, будто сам доктор его побаивается.

Признанный король школы, Каф правил своими подданными и помыкал ими, как непререкаемый владыка. Тот чистил ему сапоги, этот поджаривал ломтики хлеба, другие прислуживали ему и в течение всего лета подавали мячи при игре в крикет. «Сливу», иначе говоря, Доббина, он особенно презирал и ни разу даже не обратился к нему по-человечески, ограничиваясь насмешками и издевательствами.

Однажды между обоими молодыми джентльменами произошла с глазу на глаз небольшая стычка. Слива сидел в одиночестве, трудясь над письмом к своим домашним, когда Каф, войдя в классную, приказал ему сбегать по какому-то поручению, предметом коего были, по-видимому, пирожные.

– Не могу, – говорит Доббин, – мне нужно закончить письмо.

– Ах, ты *не можешь*? – говорит мистер Каф, выхватывая у него из рук этот документ (в котором было бог весть сколько помарок, поправок и ошибок, но на который было потрачено немало дум, стараний и слез: бедный мальчик писал матери, безумно его любившей, хотя она и была только женой бакалейщика и жила в комнате за лавкой на Темз-стрит). – *Не можешь*? – говорит мистер Каф. – А почему, например? Не успеешь, что ли, написать своей бабке Сливе завтра?

– Не ругайся! – сказал Доббин, в волнении вскакивая с парты.

– Ну, что же, сэръ, пойдете вы? – гаркнул школьный петушок.

– Положи письмо, – отвечал Доббин, – джентльмены не читают чужих писем!

– Я спрашиваю тебя, пойдешь ты наконец?

– Нет, не пойду! Не дерись, не то в лепешку расшибу! – заорал Доббин, бросаясь к свинцовой чернильнице с таким яростным видом, что мистер Каф приостановился, спустил засученные было обшлага, сунул руки в карманы и удалился прочь с презрительной гримасой. Но с тех пор он никогда не связывался с сыном бакалейщика, хотя, надо сказать правду, всегда отзывался о нем презрительно за его спиной.

Спустя некоторое время после этого столкновения случилось так, что мистер Каф в один ясный солнечный день оказался поблизости от бедняги Уильяма Доббина, который лежал под деревом на школьном дворе, углубившись в свои любимые «Сказки Тысячи и одной ночи», вдали от всех остальных школьников, предававшихся разнообразным забавам, – совершенно одинокий и почти счастливый. Если бы люди предоставляли детей самим себе, если бы учителя перестали донимать их, если бы родители не настаивали на руководстве их мыслями и на обуздании их чувств, – ибо эти мысли и чувства являются для всех тайной (много ли, в сущности, вы или я знаем друг о друге, о наших детях, о наших отцах, о наших соседях? А насколько же более прекрасны и священны мысли бедного мальчугана или девочки, которыми вы беретесь управлять, чем мысли той тупой и испорченной светом особы, что ими руководит!), – если бы, говорю я, родители и учителя почаще оставляли детей в покое, то особого вреда от этого не произошло бы, хотя латыни, возможно, было бы усвоено поменьше.

Итак, Уильям Доббин позабыл весь мир и вместе с Синдбадом Мореходом был далеко-далеко в Долине Алмазов или с принцем Ахметом и феей Перибану в той удивительной пещере, где принц нашел ее и куда все мы охотно совершили бы экскурсию, как вдруг пронзительные вопли, похожие на детский плач, пробудили его от чудных грез. Подняв голову, он увидел перед собой Кафа, избивавшего маленького мальчика.

Это был мальчуган, наболтавший о фургоне. Но Доббин не был злопамятен, в особенности по отношению к маленьким и слабым.

– Как вы смели, сэр, разбить бутылку? – кричал Каф маленькому сорванцу, размахивая над его головой желтой крикетной битой.

Мальчику было приказано перелезть через школьную ограду (в известном местечке, где сверху было удалено битое стекло, а в кирпичной кладке проделаны удобные ступеньки), сбегать за четверть мили, приобрести в кредит пинту лимонаду с ромом и под носом у всех докторских караульщиков тем же путем вернуться на школьный двор. При совершении этого подвига малыш поскользнулся, бутылка выпала у него из рук и разбилась, лимонад разлился, пострадали панталоны, и он предстал перед своим властелином, весь дрожа в предвидении заслуженной расплаты, хотя и ни в чем не повинный.

– Как посмели вы, сэръ, разбить ее? – кричал Каф. – Ах ты, мерзкий воришка! Вылакал весь лимонад, а теперь врешь, что разбил бутылку. Ну-ка, протяни руку!

Палка тяжело опустилась на руку ребенка. Раздался крик. Доббин поднял голову. Фея Перибану исчезла в глубине пещеры вместе с принцем Ахметом; птица Рох подхватила Синдбада Морехода и унесла из Долины Алмазов далеко в облака, и перед честным Уильямом снова были будни: здоровенный малый лупил мальчугана ни за что ни про что.

– Давай другую руку, – рычал Каф на своего маленького школьного товарища, у которого все лицо перекошилось от боли.

Доббин встрепнулся, все мышцы его напряглись под узким старым платьем.

– Получай, чертенок! – закричал мистер Каф, и палка опять опустилась на детскую руку. Не ужасайтесь, дорогие леди, каждый школьник проходит через это. По всей вероятности, ваши дети тоже будут колотить других или получать от них трепку. Еще удар – но тут вмешался Доббин.

Не могу сказать, что на него нашло. Мучительство в школах так же узаконено, как и кнут в России. Пожалуй, даже не поджентльменски (в известном смысле) препятствовать этому. Быть может, безрассудная душа Доббина возмутилась против такого проявления тиранства, а может быть, он поддался сладостному чувству мести и жаждал помериться силами с этим непревзойденным драчуном и тираном, который завладел здесь всей славой, гордостью и величием, развевающимися знаменами, барабанным боем и приветственными кликами солдат. Каковы бы ни были его побуждения, но только он вскочил на ноги и крикнул:

– Довольно, Каф, перестань мучить ребенка... или я тебе...

– Или ты что? – спросил Каф, изумленный таким вмешательством. – Ну, подставляй руку, гаденыш!

– Я тебя так вздую, что ты своих не узнаешь! – отвечал Доббин на первую часть фразы Кафа, и маленький Осборн, захлебываясь от слез, с удивлением и недоверием воззрелся на чудесного рыцаря, внезапно явившегося на его защиту. Да и Каф был поражен не меньше. Вообразите себе нашего блаженной памяти монарха Георга III, когда он услышал весть о восстании североамериканских колоний;

представьте себе наглого Голиафа, когда вышел вперед маленький Давид<sup>[37]</sup> и вызвал его на поединок, – и вам станут понятны чувства мистера Реджинальда Кафа, когда такое единоборство было ему предложено.

– После уроков, – отвечивал он, но сперва внушительно помолчал и смерил противника взглядом, казалось, говорившим: «Пиши завещанье и не забудь сообщить друзьям свою последнюю волю!»

– Идет! – сказал Доббин. – А ты, Осборн, будешь моим секундантом.

– Как хочешь, – отвечал маленький Осборн: его папенька, видите ли, разъезжал в собственном экипаже, и потому он несколько стыдился своего заступника.

И в самом деле, когда настал час поединка, он, чуть ли не стыдясь, сказал: «Валяй, Слива!» – и никто из присутствовавших мальчиков не издал этого поощрительного возгласа в течение первых двух или трех раундов сей знаменитой схватки. В начале ее великий знаток своего дела Каф, с презрительной улыбкой на лице, изящный и веселый, словно он был на балу, осыпал своего противника ударами и трижды подряд сбил с ног злополучного поборника правды. При каждом его падении раздавались радостные крики, и всякий добивался чести предложить победителю для отдыха свое колено.

«Ну и вздует же меня Каф, когда все это кончится», – думал юный Осборн, помогая своему защитнику встать на ноги.

– Лучше сдавайся, – шепнул он Доббину, – велика беда лупцовка! Ты же знаешь, Слива, я уже привык!

Но Слива, дрожа всем телом, с раздувающимися от ярости ноздрями, оттолкнул своего маленького секунданта и в четвертый раз ринулся в бой.

Не имея понятия о том, как надо отражать сыпавшиеся на него удары, – а Каф все три раза нападал первый, не давая противнику времени нанести удар, – Слива решил перейти в атаку и, будучи левшой, пустил в ход именно левую руку, закатив изо всех сил две затрещины: одну в левый глаз мистера Кафа, а другую в его красивый римский нос.

На сей раз, к изумлению зрителей, свалился Каф.

– Отменный удар, клянусь честью! – сказал с видом знатока маленький Осборн, похлопывая своего заступника по спине. – Двинь его еще раз левой, Слива!

Левая рука Сливы до самого конца действовала без промаха. Каф каждый раз валился с ног. На шестом раунде почти столько же человек вопило: «Валяй, Слива!» – сколько кричало: «Валяй, Каф!» На двенадцатом раунде наш чемпион, как говорится, совершенно скис и не знал, на каком он свете: то ли ему защищаться, то ли нападать. Напротив, Слива был невозмутим, точно квакер. Его бледное как полотно лицо, широко открытые сверкающие глаза, глубоко рассеченная нижняя губа, из которой обильно струилась кровь, придавали ему вид свирепый и ужасный, вероятно, наводивший страх не на одного зрителя. И тем не менее его бестрепетный противник готовился схватиться в тринадцатый раз.

Если бы я обладал слогом Немира<sup>[38]</sup> или «Белловой жизни»<sup>[39]</sup>, я постарался бы достождным образом изобразить этот бой. То была последняя атака гвардии (вернее, *была бы*, только ведь все это происходило задолго до битвы при Ватерлоо), то была колонна Нея, грудью шедшая на Ля-Эй-Сент<sup>[40]</sup>, ошетилившихся десятью тысячами штыков и увенчанная двадцатью орлами, то был рев плотоядных бриттов, когда они, низринувшись с холма, сцепились с неприятелем в дикой рукопашной схватке, – другими словами, Каф поднялся, неизменно полный отваги, но едва держась на ногах и шатаясь, как пьяный. Слива же, бакалейщик, по усвоенной им манере, двинул противника левой рукой в нос и повалил его навзничь.

– Я думаю, теперь с него хватит! – сказал Слива, когда его соперник грянулся о землю так же чисто, как на моих глазах свалился в лузу бильярдный шар, срезанный рукой Джека Спота. В самом деле, когда закончился счет секунд, мистер Реджинальд Каф либо не мог, либо не соблаговолил снова подняться на ноги.

Тогда все школьники подняли такой крик в честь Сливы, что можно было подумать, будто это ему они с первой минуты желали победы. Доктор Порки, заслышав эти вопли, выскочил из кабинета, чтобы узнать причину такого шума. Он, разумеется, пригрозил жестоко выпороть Сливу, но Каф, тем временем пришедший в себя и омывавший свои раны, выступил вперед и заявил:

– Это я виноват, сэр, а не Слива... не Доббин. Я издевался над мальчуганом, вот он и вздул меня, и поделом.

Такой великодушной речью он не только избавил победителя от розги, но и восстановил свое верховенство над мальчишками, едва не утерянное из-за поражения.

Юный Осборн написал домой родителям следующий отчет об этом событии.

«Шугеркейн-Хаус.  
Ричмонд, марта 18.. г.

Дорогая маменька!

Надеюсь, вы здоровы. Пришлите мне, пожалуйста, сладкий пирог и пять шиллингов. У нас здесь был бой между Кафом и Доббином. Каф, как вы знаете, был заправилкой в школе. Сходились они тринадцать раз, и Доббин ему всыпал. Так что Каф теперь на втором месте. Драка была из-за меня. Каф меня бил за то, что я уронил бутылку с молоком, а Слива за меня заступился. Мы называем его Сливой, потому что отец его бакалейщик – Слива и Радж, Темз-стрит, Сити. Мне кажется, раз он дрался за меня, вам следовало бы покупать у них чай и сахар. Каф ездит домой каждую субботу, но теперь не может, потому что у него два синяка под глазами. За ним приезжает белый пони и грум в ливрее на гнедой кобыле. Как бы мне хотелось, чтобы папенька тоже подарил мне пони! А затем остаюсь

ваш почтительный сын

*Джордж Седли Осборн.*

P. S. Передайте поклон маленькой Эмми. Я вырезаю для нее карету из картона. Пирог пришлите, пожалуйста, не с тмином, а с изюмом».

Вследствие одержанной победы Доббин необыкновенно вырос в мнении своих товарищей и кличка «Слива», носившая сперва презрительный характер, стала таким же почтенным и популярным

прозвищем, как и всякое другое, обращавшееся в школе. «В конце концов, он же не виноват, что отец его бакалейщик!» – заявил Джордж Осборн, пользовавшийся большим авторитетом среди питомцев доктора Порки, несмотря на свой чрезвычайно юный возраст. И все согласились с его мнением. С тех пор всякие насмешки над Доббином из-за его низкого происхождения считались подлостью. «Старик Слива» превратилось в ласкательное и добродушное прозвище, и ни один ябеда-надзиратель не решался над ним плумиться.

Под влиянием изменившихся обстоятельств окрепли и умственные способности Доббина. Он делал изумительные успехи в школьных науках. Сам великолепный Каф, чья снисходительность заставляла Доббина только краснеть да удивляться, помогал ему в разборе латинских стихов, репетировал его после занятий, с торжеством перетасил из младшего в средний класс и даже там обеспечил ему хорошее место. Оказалось, что хотя Доббин и туп по части древних языков, но зато по математике необычайно сметлив. К общему удовольствию, он прошел третьим по алгебре и на публичных летних экзаменах получил в награду французскую книжку. Надо было видеть лицо его матушки, когда «Телемак»<sup>[41]</sup> (этот восхитительный роман!) был поднесен ему самим доктором в присутствии всей школы, родителей и публики, с надписью: «Gulielmo Dobbin». Все школьники хлопали в ладоши в знак одобрения и симпатии. А румянец смущения, нетвердая походка, неловкость Сливы и то количество ног, которое он отдал, возвращаясь на свое место, – кто может все это описать или сосчитать? Старый Доббин, его отец, впервые почувствовавший уважение к сыну, тут же при всех подарил ему две гинеи; большую часть этих денег Доббин потратил на угощение всех школьников от мала до велика и после каникул вернулся в школу уже в сюртучной паре.

Доббин был слишком скромный юноша, чтобы предположить, будто этой счастливой переменой во всех своих обстоятельствах он обязан собственному мужеству и великодушию: по какой-то странности он предпочел приписать свою удачу единственно посредничеству и благоволению маленького Джорджа Осборна, к которому он с этих пор воспылал такой любовью и привязанностью, какая возможна только в детстве, – такой привязанностью, какую питал, как мы читаем в прелестной сказке, неуклюжий Орсон<sup>[42]</sup> к



прекрасному юноше Валентину, своему победителю. Он сидел у ног маленького Осборна и поклонялся ему. Еще до того, как они подружились, он втайне восхищался Осборном. Теперь же он стал его слугой, его собачкой, его Пятницей. Он верил, что Осборн обладает всяческими совершенствами и что другого такого красивого, храброго, отважного, умного и великодушного мальчика нет на свете. Он делился с ним деньгами, дарил ему бесчисленные подарки – ножи, пеналы, золотые печатки, сласти, свистульки и увлекательные книжки с большими раскрашенными картинками, изображавшими рыцарей или разбойников; на многих книжках можно было прочесть надпись: «Джорджу Осборну, эсквайру, от преданного друга Уильяма Доббина». Эти знаки внимания Джордж принимал весьма благосклонно, как и подобало его высокому достоинству.

И вот лейтенант Осборн, явившись на Рассел-сквер в день, назначенный для посещения Воксхолла, возвестил дамам:

– Миссис Седли, надеюсь, я не очень стесню вас. Я пригласил Доббина, своего сослуживца, к вам обедать, чтобы потом вместе ехать в Воксхолл. Он почти такой же скромник, как и Джоз.

– Скромник! Вздор какой! – заметил грузный джентльмен, бросая победоносный взгляд на мисс Шарп.

– Да, скромник, но только ты несравненно грациознее, Седли! – прибавил Осборн со смехом. – Я встретил его у Бедфорда<sup>[43]</sup>, когда разыскивал тебя; рассказал ему, что мисс Эмилия вернулась домой, что мы едем вечером кутить и что миссис Седли простила ему разбитую на детском балу чашу для пунша. Вы помните эту катастрофу, сударыня, семь лет тому назад?

– Когда он совершенно испортил пунцовое шелковое платье бедняжке миссис Фламинго? – сказала добродушная миссис Седли. – Какой это был увалень! Да и сестры его не отличаются грацией! Леди Доббин была вчера в Хайбери вместе со всеми тремя дочками. Что за пугала! Боже мой!

– Олдермен, кажется, очень богат? – лукаво спросил Осборн. – Как, по-вашему, сударыня, не составит ли мне одна из его дочерей подходящей партии?

– Вот глупец! Хотела бы я знать, кто польстится на такую желтую физиономию, как у вас!

– Это у меня желтая физиономия? Что же вы скажете, когда увидите Доббина? Он трижды перенес желтую лихорадку: два раза в Нассау и раз на Сент-Китсе.

– Ну, ладно, ладно! По нашим понятиям, и у вас физиономия достаточно желтая. Не правда ли, Эмми? – сказала миссис Седли. При этих словах мисс Эмилия только улыбнулась и покраснела. Взглянув на бледное интересное лицо мистера Джорджа Осборна, на его прекрасные черные вьющиеся выхоленные бакенбарды, на которые молодой джентльмен и сам взирал с немалым удовлетворением, она в простоте своего сердечка подумала, что ни в армии его величества, ни во всем широком мире нет и не было другого такого героя и красавца.

– Мне нет дела до цвета лица капитана Доббина, – сказала она, – или до его неуклюжести. Знаю одно – мне он всегда будет нравиться! – Несложный смысл этого заявления заключался в том, что Доббин был другом и защитником Джорджа.

– Я не знаю среди сослуживцев лучшего товарища и офицера, – сказал Осборн, – хотя, конечно, на Адониса он не похож! – И он простодушно взглянул на себя в зеркало, но перехватил устремленный на него взгляд мисс Шарп. Это заставило его слегка покраснеть, а Ребекка подумала: «Ah, mon beau monsieur!<sup>[44]</sup> Кажется, я теперь знаю вам цену!»

Этакая дерзкая плутовка!

Вечером, когда Эмилия вбежала в гостиную в белом кисейном платье, предназначенном для побед в Воксхолле, свежая, как роза, и распевая, как жаворонок, навстречу ей поднялся очень высокий, нескладно скроенный джентльмен, большерукий и большеногий, с большими оттопыренными ушами на коротко остриженной черноволосой голове, в безобразной венгерке со шнурами и с треуголкой, как полагалось в те времена, и отвесил девушке самый неуклюжий поклон, какой когда-либо отвешивал смертный.

Это был не кто иной, как капитан Уильям Доббин, \*\*\* пехотного полка его величества, вернувшийся по выздоровлении от желтой лихорадки из Вест-Индии, куда служебная фортуна занесла его полк, между тем как столь многие его храбрые товарищи пожинали военные лавры на Пиренейском полуострове<sup>[45]</sup>.

Приехав к Седли, он постучался так робко и тихо, что дамы, бывшие наверху, ничего не слышали. Иначе, можете быть уверены,

мисс Эмилия никогда не осмелилась бы влететь в комнату распевая. Во всяком случае, звонкий и свежий ее голосок прямехонько проник в капитанское сердце и свил себе там гнездышко. Когда Эмилия протянула Доббину ручку для пожатия, он так долго собирался с мыслями, прежде чем заключить ее в свою, что успел подумать:

«Возможно ли! Вы та маленькая девочка, которую я помню в розовом платьице, так еще недавно – в тот вечер, когда я опрокинул чашу с пуншем, как раз после приказа о моем назначении? Вы та маленькая девочка, о которой Джордж Осборн говорил как о своей невесте? Какой же вы стали цветущей красавицей, и что за сокровище получил этот шалопай!» Все это пронеслось у него в голове, прежде чем он успел взять ручку Эмилии и уронить треуголку.

История капитана Доббина, с тех пор как он оставил школу, вплоть до момента, когда мы имеем удовольствие встретиться с ним вновь, хотя и не была рассказана во всех подробностях, но все же, думается, достаточно обозначилась для догадливого читателя из разговоров на предыдущих страницах. Доббин, презренный бакалейщик, стал олдерменом Доббином, а олдермен Доббин стал полковником легкой кавалерии Сити, в те дни пылавшего воинственным азартом в своем стремлении отразить французское нашествие. Корпус полковника Доббина, в котором старый мистер Осборн был только незаметным капралом, удостоился смотра, произведенного монархом и герцогом Йоркским. Полковник и олдермен был возведен в дворянское достоинство. Сын его вступил в армию, а вскоре в тот же полк был зачислен и молодой Осборн. Они служили в Вест-Индии и в Канаде. Их полк только что вернулся домой; привязанность Доббина к Джорджу Осборну оставалась и теперь такой же горячей и беззаветной, как в то время, когда оба они были школьниками.

И вот все эти достойные люди уселись за обеденный стол. Разговор шел о войне и о славе, о Бони, о лорде Веллингтоне<sup>[46]</sup> и о последних новостях в «Газете»<sup>[47]</sup>. В те славные дни каждый ее номер приносил известие о какой-нибудь победе; оба храбреца жаждали видеть и свои имена в списках славных и проклинали свой злосчастный жребий, обрекший их на службу в полку, который не имел случая отличиться. Мисс Шарп воспламенилась от таких увлекательных разговоров, но мисс Седли, слушая их, дрожала и вся

слабела от страха. Мистер Джоз припомнил несколько случаев, происшедших во время охоты на тигров, и на сей раз довел до конца свой рассказ о мисс Катлер и военном враче Лансе. Он усердно потчевал Ребекку всем, что было на столе, да и сам жадно ел и много пил.

С убийственной грацией бросился он отворять двери перед дамами, когда те покидали столовую, а вернувшись к столу, начал наливать себе бокал за бокалом красного вина, поглощая его с лихорадочной быстротой.

– Здорово закладывает! – шепнул Осборн Доббину, и наконец настал час, и была подана карета для поездки в Воксхолл.

## Глава VI

### Воксхолл

Я знаю, что наигрываю самый простенький мотив (хотя вскоре последует и несколько глав потрясающего содержания), но должен напомнить благосклонному читателю, что мы сейчас ведем речь только о семействе биржевого маклера на Рассел-сквер; члены этого семейства гуляют, завтракают, обедают, разговаривают, любят, как это бывает в обыкновенной жизни, и никакие бурные или необычайные события не нарушают мирного течения их любви. Положение дел таково: Осборн, влюбленный в Эмилию, пригласил старого приятеля пообедать и потом прокатиться в Воксхолл. Джоз Седли влюблен в Ребекку. Женится ли он на ней? Вот главная тема, занимающая нас сейчас.

Мы могли бы разработать эту тему в элегантном, в романтическом или бурлескном стиле. Предположим, мы, при тех же самых положениях, перенесли бы место действия на Гровнер-сквер. Разве для некоторой части публики это не было бы интересно? Предположим, мы показали бы, как влюбился лорд Джозеф Седли, а маркиз Осборн воспылал нежными чувствами к леди Эмили – с полного согласия герцога, ее благородного отца. Или вместо высшей знати мы обратились бы, скажем, к самым низшим слоям общества и стали бы описывать, что происходит на кухне мистера Седли: как черномазый Самбо влюбился в кухарку (а так оно и было на самом деле) и как он из-за нее подрался с кучером; как поваренка изобличили в краже холодной бараньей лопатки, а новая *femme de chambre*<sup>[48]</sup> мисс Седли отказывалась идти спать, если ей не дадут восковой свечи. Такие сценки могли бы вызвать немало оживления и смеха, и их, пожалуй, сочли бы изображением настоящей жизни. Или, наоборот, если бы нам пришла фантазия изобразить что-нибудь ужасное, превратить любовника *femme de chambre* в профессионального взломщика, который врывается со своей шайкой в дом, умерщвляет черномазого Самбо у ног его хозяина и похищает Эмилию в одной ночной рубашке, с тем чтобы продержать ее в неволе до третьего тома, – мы легко могли бы сочинить повесть, полную

захватывающего интереса, и читатель замирал бы от ужаса, пробегая с жадностью ее пламенные страницы. Вообразите себе, например, главу под названием:

## **НОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ**

«Ночь была темная, бурная, тучи черные-черные, как чернила. Буйный ветер срывал колпаки с дымовых труб и сбивал с крыш черепицу, нося и крутя ее по пустынным улицам. Ни одна душа не решалась вступить в единоборство с этой бурей; караульные ежились в своих будках, но и там их настигал неугомонный, назойливый дождь, и там их убивали молнии, с грохотом низвергавшиеся с неба, – одного застигло как раз насупротив Воспитательного дома. Обгорелая шинель, разбитый фонарь, жезл, разлетевшийся на куски от удара, – вот и все, что осталось от дородного Билла Стедфаста. На Саутгемптон-роу порывом ветра сорвало с козел извозчика и умчало – куда? Увы! ветер не доносит к нам вестей о своих жертвах, и лишь чей-то прощальный вопль прозвенел вдалеке. Ужасная ночь! Темно, как в могиле. Ни месяца – какое там! – ни месяца, ни звезд. Ни единой робкой, дрожащей звездочки. Одна выплянула было, едва стемнело, померцала среди непроглядной тьмы, но тут же в испуге спряталась снова.

– Раз, два, три! – Это условный знак Черной Маски.

– Мофи, – произнес голос на лестнице, – ты что там копаешься? Давай сюда инструмент. Мне это раз плюнуть.

– Ну-ну, мели мелево, – сказал Черная Маска, сопровождая свои слова страшным проклятием. – Сюда, ребята! Заряжай пистолы. Если кто заорет, ножи вон и выпускай кишки. Ты загляни в чулан, Блаузер! Ты, Марк, займись сундуком старика! А я, – добавил он тихим, но еще более страшным голосом, – займись Эмилией.

Настала мертвая тишина.

– Что это? – спросил Черная Маска. – Никак, выстрел?»

А то предположим, что мы избрали элегантный стиль.

«Маркиз Осборн только что отправил своего *petit tigre*<sup>[49]</sup> с любовной записочкой к леди Эмили.

Прелестное создание приняло ее из рук своей *femme de chambre mademoiselle* Анастаси.

Милый маркиз! Какая предупредительность! Его светлость прислал в своей записке долгожданное приглашение на бал в Девоншир-Хаус.

– Кто эта адски красивая девушка? – воскликнул весельчак принц Дж-дж К-мбр-джский в тот вечер в роскошном особняке на Пикадилли (он только что приехал из оперы). – Дорогой мой Седли, ради всех купидонов, представьте меня ей!

– Монсеньор, ее зовут Седли, – сказал лорд Джозеф с важным поклоном.

– *Vous avez alors un bien beau nom!*<sup>[50]</sup> – сказал молодой принц, с разочарованным видом поворачиваясь на каблуках и наступая на ногу старому джентльмену, стоявшему позади и не сводившему восхищенных глаз с красавицы леди Эмили.

– *Trente mille tonnerres!*<sup>[51]</sup> – завопила жертва, скорчившись от *agonie du moment*<sup>[52]</sup>.

– Прошу тысячу извинений у вашей милости, – произнес молодой *etourdi*<sup>[53]</sup>, краснея и низко склоняя голову в густых белокурых локонах. (Он наступил на любимую мозоль величайшему полководцу своего времени.)

– Девоншир! – воскликнул принц, обращаясь к высокому, добродушному вельможе, черты которого обнаруживали в нем кровь Кэвендишей. – На два слова! Вы не изменили решения расстаться с вашим бриллиантовым ожерельем?

– Я уже продал его за двести пятьдесят тысяч фунтов князю Эстергази.

– *Und das war gar nicht teuer, potztausend!*<sup>[54]</sup> – воскликнул вельможный венгерец»

– и т. д., и т. д.

Таким образом, вы видите, милостивые государыни, как можно было бы написать наш роман, если бы автор этого пожелал; потому что, говоря по правде, он так же знаком с нравами Ньюгетской тюрьмы, как и с дворцами нашей почтенной аристократии, ибо наблюдал и то и другое только снаружи. Но так как я не знаю ни языка и обычая воровских кварталов, ни того разноязычного говора, который, по свидетельству сведущих романистов, звучит в салонах, то нам приходится, с вашего позволения, скромно придерживаться середины, выбирая те сцены и те персонажи, с которыми мы лучше всего знакомы. Словом, если бы не вышеприведенное маленькое отступление, эта глава о Воксхолле была бы такой короткой, что она не заслужила бы даже названия главы. И все же это отдельная глава, и притом очень важная. Разве в жизни всякого из нас не встречаются коротенькие главы, кажущиеся сущим пустяком, но воздействующие на весь дальнейший ход событий?

Сядем поэтому в карету вместе с компанией с Рассел-сквер и поедем в сады Воксхолла. Мы едва найдем себе местечко между Джозом и мисс Шарп, которые сидят на переднем сиденье. Напротив жмутся капитан Доббин и Эмилия, а между ними втиснулся мистер Осборн.

Сидевшие в карете все до единого были убеждены, что в этот вечер Джоз предложит Ребекке Шарп стать миссис Седли. Родители, оставшись дома, ничего против этого не имели. Между нами будь сказано, у старого мистера Седли было к сыну чувство, весьма близкое к презрению. Он считал его тщеславным эгоистом, неженкой и лентяем, терпеть не мог его модных замашек и откровенно смеялся над его рассказами, полными самого нелепого хвастовства.

– Я оставлю этому молодцу половину моего состояния, – говорил он, – да и, помимо этого, у него будет достаточно своего дохода. Но я вполне уверен, что, если бы мне, тебе и его сестре грозило завтра умереть с голоду, он только сказал бы: «Вот так штука!» – и сел бы обедать как ни в чем не бывало. А потому я не намерен тревожиться о его судьбе. Пускай себе женится на ком хочет. Не мое это дело.

С другой стороны, Эмилия, девица столь же благоразумная, сколь и восторженная, страстно мечтала об этом браке. Раз или два Джоз



порывался сообщить ей нечто весьма важное, что она очень рада была бы выслушать, но толстяка никак нельзя было заставить раскрыть душу и выдать свой секрет, и, к величайшему разочарованию сестры, он только испускал глубокий вздох и отходил прочь.

Тайна эта заставляла трепетать нежное сердечко Эмилии. И если она не заговаривала на столь щекотливую тему с самой Ребеккой, то вознаграждала себя долгими задушевными беседами с Бленкинсоп, экономкой, которая кое-что намеками передала старшей горничной, которая, возможно, проболталась невзначай кухарке, а уж та, будьте уверены, разнесла эту новость по всем окрестным лавочкам, так что о женитьбе мистера Джоза теперь судили и рядили во всем околотке.

Миссис Седли, конечно, держалась того мнения, что ее сын роняет себя браком с дочерью художника. «Бог с вами, сударыня! – с жаром возражала миссис Бленкинсоп. – А разве сами мы не были только бакалейщиками, когда выходили замуж за мистера Седли? Да и он ведь в ту пору служил у маклера простым писцом! У нас и всех-то капиталов было не больше пятисот фунтов, а вот ведь как разбогатели!» То же самое твердила и Эмилия, и добродушная миссис Седли постепенно дала себя уговорить.

Мистер Седли ни во что не желал вмешиваться. «Пусть Джоз женится на ком хочет, – говорил он, – не мое это дело. У девочки нет ничего за душой, а много ли я взял за миссис Седли? Она, кажется, веселого нрава и умна и, быть может, приберет его к рукам. Лучше она, дорогая моя, чем какая-нибудь черномазая миссис Седли, а со временем дюжина бронзовых внучат».

Счастье, по-видимому, улыбалось Ребекке. Когда шли к столу, она брала Джоза под руку, словно это было в порядке вещей; она усаживалась рядом с ним на козлах его коляски (Джоз и в самом деле был совершенный денди, когда, восседая на козлах, невозмутимо и величаво правил своими серыми), и, хотя никто еще и слова не произнес насчет брака, все, казалось, понимали, в чем тут дело. Она жаждала только одного – предложения, и, ах, как ощущала теперь Ребекка отсутствие маменьки – милой нежной маменьки, которая обстрипала бы дельце в десять минут и в коротеньком деликатном разговоре с глазу на глаз исторгла бы важное признание из робких уст молодого человека!

Таково было положение вещей, когда карета проезжала по Вестминстерскому мосту.

Но вот общество высадилось у Королевских садов. Когда величественный Джоз вылезал из закрихтевшего под ним экипажа, толпа устроила толстяку шумную овацию, и надо сказать, что смущенный и красный Джоз имел весьма солидный и внушительный вид, шагая под руку с Ребеккой. Конечно, Джордж принял на себя заботы об Эмилии. Та вся сияла от счастья, как розовый куст под лучами солнца.

– Слушай, Доббин, будь другом, – сказал Джордж, – присмотри за шальями и прочим!

И вот, пока он в паре с мисс Седли двинулся вперед, а Джоз вместе с Ребеккой протискивался в калитку, ведущую в сад, честный Доббин удовлетворялся тем, что предложил руку шальям и заплатил за вход всей компании.

Он скромно пошел сзади. Ему не хотелось портить им удовольствие. Ребекка и Джоз его ни капельки не интересовали, но Эмилию он считал достойной даже блестящего Джорджа Осборна, и, любуясь на эту чудесную парочку, гулявшую по аллеям, и радуясь оживлению и восторгу молодой девушки, он отечески наблюдал за ее безыскусственным счастьем. Быть может, он чувствовал, что ему самому было бы приятнее держать в руке еще что-нибудь, кроме шалей? (Публика посмеивалась, глядя на неуклюжего молодого офицера с такой странной ношей.) Но нет: Уильям Доббин был мало склонен к себялюбивым размышлениям. И поскольку его друг наслаждался, мог ли он быть недоволен? Хотя, по правде сказать, ни одна из многочисленных приманок Воксхолла – ни сто тысяч «добавочных» лампионов, горевших, однако, ежевечерне; ни музыканты в треуголках, наигрывающие восхитительные мелодии под золоченой раковиной в центре сада; ни исполнители комических и сентиментальных песенок, до которых так охоча публика; ни сельские танцы, отплясываемые ретивыми горожанами обоего пола под притопывание, выклики и хохот толпы; ни сигнал, извещающий, что madame Саки готова взобраться по канату под самые небеса; ни отшельник, запертый в своей ярко освещенной келье; ни темные аллеи, столь удобные для свиданий молодых влюбленных; ни кружки крепкого портера, которые не уставали разносить официанты в

старых, поношенных ливреях; ни залитые огнями беседки, где веселые собутыльники делали вид, будто насыщаются почти невидимыми ломтиками ветчины, – ни все это, ни даже милейший, неизменно приветливый, неизменно улыбающийся своей дурацкой улыбкой Симпсон<sup>[55]</sup>, который, помнится, как раз в ту пору управлял этим местом, ничуть не занимали капитана Уильяма Доббина.

Он таскал с собой белую кашемировую шаль Эмилии и, постояв и послушав у золоченой раковины, где миссис Сэмон исполняла «Бородинскую битву» (воинственную кантату против выскочки-корсиканца, который незадолго перед тем хлебнул горя в России), попробовал было, двинувшись дальше, промурлыкать ее про себя и вдруг обнаружил, что напеваает тот самый мотив, который пела Эмилия, спускаясь к обеду.

Доббин расхохотался над самим собой, потому что пел он, говоря по совести, не лучше филина.

Само собою разумеется, что наши молодые люди, разбившись на парочки, дали друг другу самое торжественное обещание не разлучаться весь вечер – и уже через десять минут разбрелись в разные стороны. Так всегда делают компании, посещающие Воксхолл, но лишь для того, чтобы потом сойтись к ужину, когда можно поболтать о приключениях, пережитых за это время.

Какие же приключения достались в удел мистеру Осборну и мисс Эмилии? Это тайна. Но можете быть уверены в одном: оба были совершенно счастливы, и поведение их было безупречно. А так как они привыкли за эти пятнадцать лет бывать вместе, то такой tête-à-tête не представлял для них ничего нового.

Но когда мисс Ребекка Шарп и ее тучный кавалер затерялись в глубине пустынной аллеи, где блуждало не больше сотни таких же парочек, искавших уединения, то оба почувствовали, что положение стало до крайности щекотливым и критическим. Теперь или никогда, говорила себе мисс Шарп, настал момент исторгнуть признание, трепетавшее на робких устах мистера Седли. До этого они посетили панораму Москвы, и тут какой-то невежа, наступив на ножку мисс Шарп, заставил ее откинуться с легким вскриком прямо в объятия мистера Седли, причем это маленькое происшествие в такой степени усилило нежность и доверчивость нашего джентльмена, что он снова

поведал Ребекке, по меньшей мере в десятый раз, несколько своих излюбленных индийских историй.

– Как бы мне хотелось повидать Индию! – воскликнула Ребекка.

– В самом деле? – спросил Джозеф с убийственной нежностью и, несомненно, собирался дополнить этот многозначительный вопрос еще одним, более многозначительным (он уже начал пыхтеть и отдуваться, и ручка Ребекки, находившаяся у его сердца, ощутила лихорадочную пульсацию этого органа), но вдруг – какая досада! – раздался звонок, возвещавший о начале фейерверка, началась толкотня и суматоха, и наши интересные влюбленные были невольно подхвачены стремительным людским потоком.

Капитан Доббин подумывал было присоединиться к компании за ужином: он, честно говоря, находил развлечения Воксхолла не слишком занимательными. Дважды прошелся он мимо беседки, где обосновались обе соединившиеся теперь пары, но никто не обратил на него никакого внимания. Стол был накрыт на четверых. Влюбленные парочки весело болтали между собою, и Доббин понял, что он так основательно забыт, как будто его никогда и не было на свете.

«Я буду тут только *de trop*<sup>[56]</sup>, – подумал капитан, глядя на них с унынием. – Пойду лучше побеседую с отшельником». И с этими мыслями он побрел прочь от гудевшей толпы, от шума и гама веселого пира в темную аллею, в конце которой обретался пресловутый затворник из папье-маше. Особенного развлечения это Доббину не сулило, – да и вообще мыкаться в полном одиночестве по Воксхоллу, как я убедился на собственном опыте, одно из очень небольших удовольствий, выпадающих на долю холостяка.

Тем временем обе парочки благодушествовали в своей беседке, ведя приятный дружеский разговор. Джоз был в ударе и величественно помыкал лакеями. Он сам заправил салат, откупорил шампанское, разрезал цыплят и съел и выпил большую часть всего поданного на стол. Под конец он стал уговаривать всех распить чашу аракового пунша: все, кто бывает в Воксхолле, заказывают араковый пунш.

– Человек! Аракового пунша!

Араковый пунш и положил начало всей этой истории. А чем, собственно, чаша аракового пунша хуже всякой другой причины? Разве не чаша синильной кислоты послужила причиной того, что

прекрасная Розамонда<sup>[57]</sup> покинула этот мир? И разве не чаша вина была причиной смерти Александра Великого<sup>[58]</sup>? По крайней мере, так утверждает доктор Лемприер<sup>[59]</sup>. Таким же образом чаша пунша повлияла на судьбы главнейших действующих лиц того «романа без героя», который мы сейчас пишем. Она оказала влияние на всю их жизнь, хотя большинство из них не отведало из нее и капли.

Молодые девицы не притронулись к пуншу, Осборну он не понравился, так что все содержимое чаши выпил Джоз, этот толстый гурман. А следствием того, что он выпил все содержимое чаши, явилась некоторая живость, сперва удивившая всех, но потом ставшая скорее тягостной. Джоз принялся разглагольствовать и хохотать так громко, что перед беседкой собралась толпа зевак, к великому смущению сидевшей там ни в чем не повинной компании. Затем, хотя его об этом не просили, Джоз затянул песню, выводя ее необыкновенно плаксивым фальцетом, который так свойствен джентльменам, находящимся в состоянии подпития, чем привлек к себе почти всю публику, собравшуюся послушать музыкантов в золоченой раковине, и заслужил шумное одобрение слушателей.

– Браво, толстяк! – крикнул один. – Бис, Дэниел Ламберт<sup>[60]</sup>! – отозвался другой. – Ему бы по канату бегать при такой комплекции! – добавил какой-то озорник, к невыразимому ужасу девиц и великому негодованию мистера Осборна.

– Ради бога, Джоз, пойдем отсюда! – воскликнул этот джентльмен; и девицы поднялись с места.

– Стойте, душечка, моя любезная-разлюбезная! – возопил Джоз, теперь смелый, как лев, и обхватил мисс Ребекку за талию. Ребекка сделала движение, но не могла вырвать руку. Хохот в саду усилился. Джоз продолжал колобродить – пить, любезничать и распевать. Подмигивая и грациозно помахивая стаканом перед публикой, он приглашал желающих в беседку – выпить с ним по стаканчику пунша.

Мистер Осборн уже приготовился сбить с ног какого-то субъекта в сапогах с отворотами, который вознамерился воспользоваться этим предложением, и дело грозило кончиться серьезной передрагой, как вдруг, по счастью, джентльмен по фамилии Доббин, прогуливавшийся в одиночестве по саду, показался у беседки.

– Прочь, болваны! – произнес этот джентльмен, расталкивая плечом толпу, которая тотчас рассеялась, не устояв перед его

треуголкой и свирепым видом, после чего он в крайне взволнованном состоянии вошел в беседку.

– Господи боже! Да где же ты пропадал, Доббин? – сказал Осборн, выхватывая у него белую кашемировую шаль и закутывая в нее Эмилию. – Присмотри-ка тут, пожалуйста, за Джозом, пока я усажу дам в экипаж.

Джоз хотел было встать и вмешаться, но достаточно было Осборну толкнуть его одним пальцем, как он снова, пыхтя, повалился на свое место, и молодому офицеру удалось благополучно увести девиц. Джоз послал им вслед воздушный поцелуй и захныкал, икая: «Господь с вами, господь с вами!» Затем, схватив капитана Доббина за руку и горько рыдая, он поведал этому джентльмену тайну своей любви. Он обожал девушку, которая только что их покинула; своим поведением он разбил ее сердце, он это отлично понимает, но он женится на ней не далее чем завтра, в церкви Св. Георгия, что на Ганновер-сквер. Он достучится до архиепископа Кентерберийского в Ламбете<sup>[61]</sup> – честное слово, достучится! – и поднимет его на ноги. Играя на этой струне, капитан Доббин умненько уговорил его уехать пока что из сада и поспешить в Ламбетский дворец. А когда они очутились за воротами, Доббин без труда довел мистера Джоза Седли до наемной кареты, которая и доставила его в целости и сохранности на квартиру.

Джордж Осборн благополучно проводил девиц домой, и когда дверь за ними захлопнулась и он стал переходить через Рассел-сквер, он вдруг так расхохотался, что привел в изумление ночного сторожа. Пока девушки поднимались по лестнице, маленькая Эмилия только жалобно посмотрела на подругу, а затем поцеловала ее и отправилась спать, не сказав ни слова.

«Он сделает мне предложение завтра, – думала Ребекка. – Он четыре раза назвал меня своей душенькой, он жал мне руку в присутствии Эмилии. Он сделает мне предложение завтра». Того же мнения была и Эмилия. Вероятно, она уже думала о том, какое платье наденет, когда будет подружкой невесты, о подарках своей миленькой невестушке и о той, другой, церемонии, которая последует вскоре за этой и в которой она сама будет играть главную роль, и т. д., и т. п.

О неопытные молодые создания! Как мало вы знаете о действии аракового пунша! Что общего между вечерними напитками и утренними пытками? Насчет этого могу засвидетельствовать как мужчина: нет на свете такой головной боли, какая бывает от пунша, подаваемого в Воксхолле. Двадцать лет прошло, а я все еще помню последствия от двух стаканов – да что там – от двух рюмок! – только двух, даю вам честное слово джентльмена! А Джозеф Седли, с его-то больной печенью, пролотил по меньшей мере кварту этой отвратительной смеси!

Следующее утро, которое, по мнению Ребекки, должно было явиться зарей ее счастья, застало Джоза Седли стенающим в муках, не поддающихся никакому описанию. Содовая вода еще не была изобретена, и легкое пиво – можно ли этому поверить? – было единственным напитком, которым несчастные джентльмены успокаивали жар похмелья. За вкушением этого-то безобидного напитка Джордж Осборн и застал бывшего коллектора Богли-Уолаха охающим на диване в своей квартире. Доббин был уже тут и по доброте души ухаживал за своим вчерашним пациентом. При виде простертого перед ними почитателя Бахуса оба офицера переглянулись, и даже лакей Джоза, в высшей степени чинный и корректный джентльмен, молчаливый и важный, как гробовщик, с трудом сохранял серьезность, глядя на своего несчастного господина.

– Мистер Седли очень буйствовали вчера, сэр, – доверительно шепнул он Осборну, поднимаясь с ним по лестнице. – Все хотели поколотить извозчика, сэр. Пришлось капитану втащить их на руках, словно малого ребенка.

Мгновенная улыбка пробежала при этом воспоминании по лицу мистера Браша, но тотчас же черты его снова приняли обычное выражение непроницаемого спокойствия, и, распахнув дверь в приемную, он доложил:

– Мистер Осборн!

– Как ты себя чувствуешь, Седли? – начал молодой человек, производя беглый осмотр жертвы. – Все кости целы? А там внизу стоит извозчик с фонарем под глазом и повязанной головой и клянется, что притянет тебя к суду.

– То есть как это к суду?.. – спросил Седли слабым голосом.

– За то, что ты поколотил его вчера, – не правда ли, Доббин? Вы боксируете, сэр, что твой Молине<sup>[62]</sup>. Ночной сторож говорит, что никогда еще не видел такой чистой работы. Вот и Доббин тебе скажет.

– Да, у вас была схватка с кучером, – подтвердил капитан Доббин, – и вообще вы были в боевом настроении.

– А этот молодец – помнишь, в Воксхолле, в белом сюртуке? Как Джоз на него напустился! А дамы как визжали! Ей-богу, сэр, сердце радовалось, на вас глядя. Я думал, что у вас, штатских, не хватает пороха, но теперь постараюсь никогда не попадаться тебе на глаза, когда ты под мухой, Джоз!

– Правда, я становлюсь страшен, когда меня выведут из терпения, – изрек Джоз с дивана, состроив такую унылую и смехотворную гримасу, что даже учтивый капитан не мог больше сдерживаться и вместе с Осборном прыснул со смеху.

Осборн безжалостно воспользовался представившимся ему случаем. Он считал Джоза размазней и, мысленно разбирая со всех сторон вопрос о предстоящем браке между ним и Ребеккой, не слишком радовался, что член семьи, с которой он, Джордж Осборн, офицер \*\*\* полка, собирался породниться, допустит мезальянс, женившись бог знает на ком – на какой-то гувернанточке!

– Ты потерял терпение? Бедный старикан! – воскликнул Осборн. – Ты страшен? Да ты на ногах не мог стоять, над тобой все в саду потешались, хотя сам ты заливался горькими слезами! Ты распустил нюни, Джоз. А помнишь, как ты пел?

– То есть как это пел? – удивился Джоз.

– Ну да, чувствительный романс, и все называл эту Розу, Ребекку – или как ее там, подружку Эмили! – своей душечкой, любезной-разлюбезной.

И безжалостный молодой человек, схватив Доббина за руку, стал представлять всю сцену в лицах, к ужасу ее первоначального исполнителя и невзирая на добродушные просьбы Доббина помилосердствовать.

– Зачем мне его щадить? – ответил Осборн на упреки своего друга, когда они простились с бедным страдальцем, оставив его на попечении доктора Голлопа. – А по какому, черт возьми, праву он принял на себя покровительственный тон и выставил нас на всеобщее посмешище в Воксхолле? Кто эта девчонка-школьница, которая строит



ему глазки и любезничает с ним? К черту! Семейка уже и без того неважная! Гувернантка – дело почтенное, но я бы предпочел, чтобы моя невестка была настоящая леди. Я человек широких взглядов, но у меня есть гордость, и я знаю свое место, – пусть и она знает свое! Я собью спесь с этого хвастливого набоба и помешаю ему сделаться еще большим дураком, чем он есть на самом деле. Вот почему я посоветовал ему держать ухо востро, пока он окончательно не угодил ей в лапы!

– Что же, тебе видней, – сказал Доббин с некоторым, впрочем, сомнением. – Ты всегда был заядлый тори, и семья твоя одна из старейших в Англии. Но...

– Пойдем навестить барышень, и приударь-ка лучше ты за мисс Шарп, – перебил лейтенант своего друга.

Но на сей раз капитан Доббин отклонил предложение отправиться вместе с Осборном к молодым девушкам на Рассел-сквер.

Когда Джордж с Холборна<sup>[63]</sup> спустился на Саутгемптон-роу, он засмеялся, увидев в двух различных этажах особняка Седли две головки, кого-то высматривавшие.

Дело в том, что мисс Эмилия с балкона гостиной нетерпеливо поглядывала на противоположную сторону сквера, где жил мистер Осборн, поджидая появления молодого офицера. А мисс Шарп из своей спальни в третьем этаже наблюдала, не появится ли на горизонте массивная фигура мистера Джозефа.

– Сестрица Анна караулит на сторожевой башне<sup>[64]</sup>, – сказал Осборн Эмили, – но никто не показывается! – И, хохоча от души и сам в восторге от своей шутки, он в смехотворных выражениях изобразил мисс Седли плачевное состояние, в котором находился ее брат.

– Не смейся, Джордж, не будь таким жестоким, – просила вконец расстроенная девушка, но Джордж только потешался над ее жалостной и огорченной миной, продолжая находить свою шутку чрезвычайно забавной; когда же мисс Шарп сошла вниз, он начал с большим оживлением подтрунивать над ней, описывая действие ее чар на толстяка-чиновника.

– О мисс Шарп, если бы вы только видели его утром! – воскликнул он. – Как он стонал в своем цветастом халате! Как

корчился на диване! Если бы вы только видели, как он показывал язык аптекарю Голлопу!

– Кто это? – спросила мисс Шарп.

– Кто? Как кто? Капитан Доббин, конечно, к которому, кстати, все мы были так внимательны вчера!

– Мы были с ним страшно невежливы, – заметила Эмми, сильно покраснев. – Я... я совершенно забыла про него.

– Конечно, забыла! – воскликнул Осборн, все еще хохоча. – Нельзя же вечно думать о Доббине, Эмилия! Не правда ли, мисс Шарп?

– Кроме тех случаев, когда он за обедом опрокидывает стаканы с вином, – заявила мисс Шарп, с высокомерным видом вскидывая голову, – я ни одной секунды не интересовалась существованием капитана Доббина.

– Отлично, мисс Шарп, я так и передам ему, – сказал Осборн.

Мисс Шарп готова была возненавидеть молодого офицера, который и не подозревал, какие он пробудил в ней чувства.

«Он просто издевается надо мной, – думала Ребекка. – Не вышучивал ли он меня и перед Джозефом? Не спугнул ли его? Быть может, Джозеф теперь и не придет?» На глазах у нее выступили слезы, и сердце сильно забилося.

– Вы все шутите, – улыбнулась она через силу. – Продолжайте шутить, мистер Джордж, ведь за меня некому заступиться. – С этими словами Ребекка удалилась из комнаты, а когда еще и Эмилия с упреком взглянула на него, Джордж Осборн почувствовал нечто недостойное мужчины – угрызения совести: напрасно он обидел беззащитную девушку!

– Дорогая моя Эмилия, – сказал он. – Ты слишком мягка. Ты не знаешь света. А я знаю. И твоя подружка мисс Шарп должна понимать, где ее место.

– Неужели ты думаешь, что Джоз не...

– Честное слово, дорогая, не знаю. Может – да, а может, и нет. Ведь я им не распоряжаюсь! Я только знаю, что он очень глупый, пустой малый и вчера поставил мою милую девочку в крайне тягостное и неловкое положение. «Душечка моя, любезная-разлюбезная!» – Он опять расхохотался, и так заразительно, что Эмми не могла не смеяться вместе с ним.

Джоз так и не приехал в этот день. Но Эмилия ничуть не растерялась. Маленькая интриганка послала своего пажа и адъютанта, мистера Самбо, на квартиру к мистеру Джозефу за какой-то обещанной книгой, а заодно велела спросить, как он себя чувствует. Ответ, данный через лакея Джоза, мистера Браша, гласил, что хозяин его болен и лежит в постели – только что был доктор. «Джоз появится завтра», – подумала Эмилия, но так и не решилась заговорить на эту тему с Ребеккой. Та тоже ни единым словом не обмолвилась об этом в течение всего вечера.

Однако на следующий день, когда обе девушки сидели на диване, делая вид, что заняты шитьем, или писанием писем, или чтением романов, в комнату, как всегда приветливо скаля зубы, вошел Самбо с пакетом под мышкой и письмом на подносе.

– Письмо мисс от мистера Джозефа, – объявил он.

Как дрожала Эмилия, распечатывая письмо! Вот его содержание:

«Милая Эмилия!

Посылаю тебе «Сиротку в лесу». Мне вчера было очень плохо, и потому я не приехал. Уезжаю сегодня в Челтнем<sup>[65]</sup>. Пожалуйста, попроси, если можешь, любезную мисс Шарп извинить мне мое поведение в Воксхолле и умоли ее простить и позабыть все, что я наговорил в возбуждении за этим злополучным ужином. Как только я поправлюсь – а здоровье мое сильно расстроено, – я уеду на несколько месяцев в Шотландию.

Остаюсь преданный тебе

*Джоз Седли».*

Это был смертный приговор. Все было кончено. Эмилия не смела взглянуть на бледное лицо и пылавшие глаза Ребекки и только уронила письмо на колени подруги, а сама вскочила и побежала наверх к себе в комнату выплакать там свое горе.

Бленкинсоп, экономка, тотчас же пришла утешать свою молодую госпожу. И Эмми облегчила душу, доверчиво поплакав у нее на плече.

– Не огорчайтесь, мисс, – уговаривала ее Бленкинсоп. – Мне не хотелось говорить вам. Но все у нас в доме ее невзлюбили, разве

только сперва она понравилась. Я собственными глазами видела, как она читала письмо вашей маменьки. Вот и Пиннер говорит, что она вечно сует нос в вашу шкатулку с драгоценностями и в ваши комоды, да и во все комоды, и что она даже спрятала к себе в чемодан вашу белую ленту.

– Я сама ей подарила, сама подарила! – воскликнула Эмилия. Но это не изменило мнения мисс Бленкинсоп о мисс Шарп.

– Не верю я этим гувернанткам, Пиннер, – заметила она старшей горничной. – Важничают, задирают нос, словно барыни, а жалованья-то получают не больше нашего.

Теперь всем в доме, кроме бедняжки Эмилии, стало ясно, что Ребекке придется уехать, и все от мала до велика (тоже за одним исключением) были согласны, что это должно произойти как можно скорее. Наша добрая девочка перерыла все свои комоды, шкафы, ридикюли и шкатулки, пересмотрела все свои платья, косынки, безделушки, вязанья, кружева, шелковые чулки и ленты, отбирая то одну вещь, то другую, чтобы подарить целый ворох Ребекке. Потом она отправилась к своему отцу, щедрому английскому коммерсанту, пообещавшему подарить дочери столько гиней, сколько ей лет, и упростила старого джентльмена отдать эти деньги Ребекке, которой они очень нужны, тогда как сама она ни в чем не нуждается.

Она обложила данью даже Джорджа Осборна, и тот с величайшей готовностью (как и всякий военный, он был щедрой натурой) отправился в магазин на Бонд-стрит и приобрел там самую изящную шляпку и самый щегольский спенсер<sup>[66]</sup>, какие только можно было купить за деньги.

– Это подарок от Джорджа тебе, милая Ребекка! – сказала Эмилия, любуясь картонкой, содержавшей эти дары. – Какой у него вкус! Ну кто может сравниться с Джорджем!

– Никто, – отвечала Ребекка. – Как я ему благодарна! – А про себя подумала: «Это Джордж Осборн расстроил мой брак», – и возлюбила Джорджа Осборна соответственно.

Собралась она к отъезду с величайшим спокойствием духа и приняла все подарки милой маленькой Эмилии без особых колебаний и отнекиваний, поломавшись только для приличия. Миссис Седли она поклялась, конечно, в вечной благодарности, но не навязывалась чересчур этой доброй даме, которая была смущена и явно старалась

избегать ее. Мистеру Седли она поцеловала руку, когда тот наградил ее кошельком, и испросила разрешения считать его и впредь своим милым добрым другом и покровителем. Старик был так растроган, что уже собирался выписать ей чек еще на двадцать фунтов, но обуздал свои чувства: его ожидала карета, чтобы везти на званый обед. И он быстро удалился со словами:

– Прощайте, дорогая моя, господь с вами! Когда будете в городе, заезжайте к нам непременно... Во дворец лорд-мэра, Джеймс!

Наконец пришло время расставаться с мисс Эмилией... Но над этой картиной я намерен задернуть занавес. После сцены, в которой одно действующее лицо проявило полную искренность, а другое отлично провело свою роль, после нежнейших ласк, чувствительных слез, нюхательных солей и некоторой толики подлинного душевного жара, пущенных в ход в качестве реквизита, – Ребекка и Эмилия расстались, причем первая поклялась подруге любить ее вечно, вечно, вечно...

## Глава VII

### Кроули из Королевского Кроули

В числе самых уважаемых фамилий на букву К в Придворном календаре за 18.. год значится фамилия Кроули: сэр Питт, баронет, проживающий в Лондоне на Грейт-Гонт-стрит и в своем поместье Королевское Кроули, Хэмпшир. Это почтенное имя в течение многих лет бессменно фигурировало также и в парламентском списке, наряду с именами других столь же почтенных джентльменов, представлявших в разное время тот же округ.

По поводу городка Королевское Кроули рассказывают, что королева Елизавета в одну из своих поездок по стране остановилась в Кроули позавтракать и пришла в такой восторг от великолепного хэмпширского пива, поднесенного ей тогдашним представителем фамилии Кроули (красивым мужчиной с аккуратной бородкой и стройными ногами), что возвела с той поры Кроули в степень избирательного округа, посылающего в парламент двух представителей. Со дня этого славного посещения поместье получило название «Королевское Кроули», сохранившееся за ним и поныне. И хотя с течением времени, вследствие тех перемен, какие вносят века в судьбы империй, городов и округов, Королевское Кроули перестало быть тем многолюдным городком, каковым оно было в эпоху королевы Бесс<sup>[67]</sup>, – или, лучше сказать, просто докатилось до того состояния парламентского местечка, когда его обычно именуют «гнилым»<sup>[68]</sup>, – это не мешало сэру Питту Кроули с полным основанием и с присущим ему изяществом говорить: «Гнилое? Еще чего! Мне оно приносит добрых полторы тысячи в год!»

Сэр Питт Кроули (свое имя получивший в честь Великого коммонера<sup>[69]</sup>) был сыном Уолпола Кроули, первого баронета, который служил по Ведомству Сургуча и Тесьмы<sup>[70]</sup> в царствование Георга II, когда, как и многие другие почтенные джентльмены того времени, был обвинен в растрате. А Уолпол Кроули был, о чем едва ли нужно распространяться, сыном Джона Черчилля Кроули, получившего это имя в честь знаменитого военачальника эпохи царствования королевы

Анны<sup>[71]</sup>. Родословное древо (висящее в Королевском Кроули) упоминает далее Чарльза Стюарта, позднее прозванного Бэйрбоуном Кроули, сына Кроули – современника Иакова I, и, наконец, того самого Кроули времен королевы Елизаветы, изображенного на переднем плане картины, с раздвоенной бородой и в латах. Из его-то груди, как водится, и растет дерево, на главных ветвях которого начертаны вышеупомянутые славные имена. Рядом с именем сэра Питта Кроули, баронета (героя настоящей главы), значатся имена его брата, преподобного Бьюта<sup>[72]</sup> Кроули (звезда Великого коммонера уже закатилась, когда его преподобие родился), приходского священника в Кроули-и-Снэйлби, а также разных других представителей фамилии Кроули, мужского и женского полу.

Сэр Питт был женат первым браком на Гризели, шестой дочери Манго Бинки, лорда Бинки, и, стало быть, родственнице мистера Дандаса<sup>[73]</sup>. Она подарила ему двух сыновей: Питта, названного так не столько в честь отца, сколько в честь дарованного нам небом министра<sup>[74]</sup>, и Родона<sup>[75]</sup> Кроули, названного по имени друга принца Уэльского, который, став его величеством Георгом IV, так основательно забыл этого друга. Много лет спустя после кончины леди Кроули сэр Питт повел к алтарю Розу, дочь мистера Дж. Досона из Мадбери, от которой у него было две дочери, и вот для них-то и была теперь приглашена мисс Ребекка Шарп на должность гувернантки. Из чего следует, что нашей молодой особе предстояло войти в семейство, обладавшее весьма аристократическими связями, и вращаться в гораздо более изысканном кругу, чем скромное общество на Рассел-сквер, которое она только что покинула.

Распоряжение выехать к своим воспитанницам она получила в записке, начертанной на старом конверте и гласившей:

«Сэр Питт Кроули просит мисс Шарп и багаш быть здесь во вторник, так как я уезжаю в Королевское Кроули завтра рано утром.

*Грейт-Гонт-стрит».*

Ребекка, насколько ей было известно, никогда еще не видела ни одного баронета, и вот, как только она распрощалась с Эмилией и

пересчитала гинеи, которые положил ей в кошелек щедрый мистер Седли, как только осушила платочком глаза (закончив эту операцию в тот момент, когда карета завернула за угол), она принялась мысленно рисовать себе, каким должен быть баронет. «Интересно, носит ли он звезду? – думала она. – Или это только у лордов бывают звезды? Но, уж конечно, он в придворном костюме с кружевным жабо, а волосы у него слегка припудрены, как у мистера Ротона в Ковент-Гарденском театре. Наверно, он страшно гордый и на меня будет смотреть с презрением. Что ж, придется мне нести свой крест безропотно, но, по крайней мере, я буду знать, что нахожусь в благородном семействе, а не среди каких-то вульгарных торгашей». И она задумалась о своих друзьях на Рассел-сквер с той самой философической горечью, с которой лисица в известной басне высказывается о винограде.

Выехав через Гонт-сквер на Грейт-Гонт-стрит<sup>[76]</sup>, карета остановилась наконец у высокого мрачного дома, зажатого между двух других высоких и мрачных домов, на каждом из которых поверх среднего окна гостиной красовался траурный герб. Таков обычай домов на Грейт-Гонт-стрит – из этих мрачных кварталов, по-видимому, никогда не уходит смерть. Ставни на окнах в доме сэра Питта были закрыты и только внизу, в столовой, приоткрыты, и за ними виднелись шторы, аккуратно обернутые старыми газетами.

Грум Джон, на сей раз правивший лошаадьми, не пожелал спуститься с козел, чтобы позвонить, и попросил пробежавшего мимо мальчишку-молочника исполнить за него эту обязанность. Когда раздался звонок, между створками ставен в столовой показалась чья-то голова, и вслед за тем дверь открыл человек в линялых штанах и гетрах, в грязном старом сюртуке и обтрепанной косынке вокруг заросшей волосами шеи, плешивый, с плутоватой физиономией, на которой похотливо поблескивали серые глазки и плотоядно ухмылялся рот.

– Здесь живет сэр Питт Кроули? – окликнул его с козел Джон.

– Да, здесь, – отозвался человек у двери, утвердительно кивнув головой.

– Стащи-ка тогда пожитки, – сказал Джон.

– Тащи сам, – ответил швейцар.

– Не видишь, что ли, мне нельзя отойти от лошадей. Ну, бери, любезный, авось мисс даст на пиво, – прибавил Джон и насмешливо



заржал, уже нисколько не стесняясь, так как отношения мисс Шарп с его хозяевами были прерваны и она ничего не дала слугам, уезжая.

Лысый человек в ответ на это обращение вынул руки из карманов, подошел к экипажу и, вскинув на плечо чемодан мисс Шарп, понес его в дом.

– Возьмите-ка эту корзину и шаль и откройте мне дверцу! – сказала мисс Шарп и вышла из кареты в страшном негодовании. – Я напишу мистеру Седли и сообщу ему о вашем поведении, – пригрозила она груму.

– Ах, пожалуйста, не пишите, – ответил носитель этой должности. – Надеюсь, вы ничего не забыли? А как насчет платьиц мисс Эмилии, которые должны были пойти барыниной горничной? Захватили их? Надеюсь, они вам будут впору! Закрой дверцу, Джим, из нее ничего не выжмешь, – продолжал Джон, указывая большим пальцем на мисс Шарп. – Плохая от нее пожива, скажу тебе, плохая! – И с этими словами грум мистера Седли тронул лошадей. Сказать по правде, он был влюблен в названную горничную и негодовал, что ее ограбили, отдав другой то, что ей полагалось по праву.

Войдя, по указанию субъекта в гетрах, в столовую, Ребекка нашла это помещение таким же малоуютным и унылым, какими обычно бывают подобные апартаменты, когда знатные семейства уезжают из города. Верные покои как будто оплакивают отсутствие своих хозяев. Турецкий ковер сам скатался и смиренно уполз под буфет; картины притаились под листами оберточной бумаги; висячая лампа закуталась в коричневый холщовый чехол; оконные занавески натянули на себя всякую ветошь; мраморный бюст сэра Уолпола Кроули глядит из своего темного угла на голые столы, на медный каминный прибор, обильно смазанный жиром, и на пустые подносы для карточек на каминной доске; ящик с бутылками укрылся под ковром; стулья, перевернутые вверх тормашками и поставленные друг на друга, жмутся к стенам; а в темном углу, против мраморного сэра Питта, взгромоздился на столик старомодный грубый поставец, запертый на замок.

Однако поближе к камину собралось кое-какое общество: два табурета, круглый стол, погнутая старая кочерга и щипцы, а на слабо потрескивавшем огне грелся сотейник. На столе лежали кусочек сыра

и ломоть хлеба, а рядом с жестяным подсвечником стояла кружка с остатками черного портера.

– Обедали? Так я и думал. Вам не жарко? Хотите поток пива?

– Где сэр Питт Кроули? – надменно произнесла мисс Шарп.

– Хе-хе! Я и есть сэр Питт Кроули! Помните, вы должны мне пинту пива за то, что я перенес ваши вещи. Хе-хе-хе! Спросите у Тинкер, кто я такой! Миссис Тинкер, познакомьтесь: мисс Шарп. Мисс гувернантка – миссис поденщица! Ха-ха-ха!

Леди, к которой адресовались, как к миссис Тинкер, только что вошла в комнату с трубкой и пачкой табаку, за которыми она была послана за минуту до прибытия мисс Шарп. Она вручила требуемое сэру Питту, занявшему свое место у камина.

– Где фартинг сдачи? – сказал он. – Я дал вам три полупенса. Где же сдача, старуха?

– Вот! – ответила миссис Тинкер, швыряя монету. – Только баронетам и под статью хлопотать о каких-то фартингах!

– Фартинг в день – семь шиллингов в год, – отвечал член парламента. – Семь шиллингов в год – это проценты с семи гиней. Берегите фартинги, старуха Тинкер, – и к вам потекут гиней.

– Можете быть уверены, барышня, что это сэр Питт Кроули, – угрюмо заявила миссис Тинкер, – судя уже по тому, как он трясется над своими фартингами. Вы скоро его узнаете!

– И, наверное, полюбите, мисс Шарп, – добавил старый джентльмен почти любезным тоном. – У меня уж такое правило: сперва справедливость, а уж потом щедрость.

– Он за всю свою жизнь и фартинга никому не подал, – проворчала Тинкер.

– Верно! И никогда не подам! Это против моих правил. Ступайте и принесите еще один табурет из кухни, Тинкер, если хотите сидеть. А потом мы поужинаем.

Тут баронет полез вилкой в сотейник, стоявший на огне, и вытащил оттуда немного требухи и луковицу. Разделив все это на две более или менее равные части, он одну протянул миссис Тинкер.

– Видите ли, мисс Шарп, когда меня не бывает здесь, Тинкер получает на харчи. Если же я в городе, то она обедает за семейным столом. Ха-ха-ха! Я рад, что мисс Шарп не голодна. А вы, Тинк?

И они принялись за свой скудный ужин.

После ужина сэра Питта Кроули закурил трубку, а когда совсем стемнело, зажег тростниковую свечу в жестяном подсвечнике и, вытащив из бездонного кармана целый ворох бумаг, принялся читать их и приводить в порядок.

– Я здесь по судебным делам, моя дорогая, этому я и обязан тем, что буду иметь удовольствие ехать завтра с такой хорошенькой спутницей.

– Вечно у него судебные дела, – заметила миссис Тинкер, взявшись за кружку с портером.

– Пейте, пейте себе на здоровье! – сказал баронет. – Да, моя дорогая, Тинкер совершенно права: я потерял и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. Вот посмотрите: Кроули, баронет, – против Снэфла. Я его в порошок сотру, или не быть мне Питтом Кроули! Поддер и еще кто-то – против Кроули, баронета. Попечительство о бедных прихода Снэйлби – против Кроули, баронета. Им нипочем не доказать, что земля общинная. Плевать я на них хотел – земля моя! Она в такой же мере принадлежит приходу, как вам или вот Тинкер! Я побью их, хотя бы мне это стоило тысячу гиней. Посмотрите-ка бумаги! Можете почитать их, если хотите! А что, у вас хороший почерк? Я воспользуюсь вашими услугами, когда мы будем в Королевском Кроули, так и знайте, мисс Шарп. Мамашу я похоронил, и, значит, мне нужна какая-нибудь переписчица.

– Старуха была не лучше его! – заметила Тинкер. – Тянула к суду каждого поставщика и прогнала за четыре года сорок восемь лакеев.

– Прижимиста была, что говорить, – спокойно согласился баронет. – Но очень ценная для меня женщина – сберегала мне расходы на управителя.

И в таком откровенном тоне, к великой потехе вновь прибывшей, беседа продолжалась довольно долго. Каковы бы ни были свойства сэра Питта Кроули, хорошие или дурные, но только он ни малейшим образом не скрывал их. Он не переставая разглагольствовал о себе – то на грубейшем и вульгарнейшем хэмпширском наречии, то принимая тон светского человека. Наконец, раз десять наказав мисс Шарп, чтобы она была готова в пять часов утра, он пожелал ей спокойной ночи.

– Вы ляжете сегодня с Тинкер, – сказал он. – Кровать большая, места хватит на двоих. На этой постели умерла леди Кроули. Спокойной ночи!

После такого пожелания сэр Питт удалился, и угрюмая Тинкер, с тростниковой свечою в руке, провела девушку по большой холодной каменной лестнице наверх, мимо больших мрачных дверей гостиной, у которых ручки были обернуты бумагой, в большую, выходящую на улицу спальню, где леди Кроули почилла вечным сном. Кровать и комната имели такой похоронный и унылый вид, что можно было вообразить, будто леди Кроули не только умерла в этой спальне, но что дух ее и до сих пор здесь обитает. Пока старая поденщица читала молитвы, Ребекка с величайшей живостью обежала всю комнату, заглянула в огромные гардеробы, шкафы и комоды, попробовала, не открываются ли ящики, которые оказались запертыми, и осмотрела мрачные картины и туалетные принадлежности.

– Кабы не то, мисс, что совесть у меня чиста, мне было бы не по душе улечься на эту постель, – промолвила старуха.

– Тут места хватит на нас обеих да еще на пяток духов! – заметила Ребекка. – Расскажите-ка мне все о леди Кроули, сэре Питте Кроули и о всех, о всех решительно, миленькая моя миссис Тинкер!

Но из старухи Тинкер нашему маленькому следователю ничего не удалось вытянуть. Указав Ребекке, что кровать служит местом для сна, а не для разговоров, она подняла в своем уголке постели такой храп, какой может производить только нос праведницы. Ребекка долго-долго лежала не смыкая глаз, думая о завтрашнем дне, о новом мире, в который она вступила, и о своих шансах на успех в нем. Ночник мерцал в тазу. Каминная доска отбрасывала большую черную тень на половину пыльного, выцветшего старого коврика на стене, вышитого, без сомнения, еще покойной леди, и на два маленьких портрета, изображавших двух юнцов – одного в студенческой мантии и другого в красном мундире, вроде солдатского. Засыпая, Ребекка именно его выбрала предметом своих сновидений.

В четыре часа такого нежно-розового летнего утра, что даже Грейт-Гонт-стрит приняла более приветливый вид, верная Тинкер, разбудив девушку и наказав ей готовиться к отъезду, отодвинула засовы и сняла крюки с большой входной двери (их звон и скрежет спугнули спящее эхо на улице) и, направив свои стопы на Оксфорд-стрит, взяла там на стоянке извозчичий экипаж. Нет никакой надобности даваться здесь в такие подробности, как номер этой

колесницы, или упоминать о том, что извозчик расположился в такую рань по соседству с Суоллоу-стрит в надежде, что какому-нибудь молодому повесе, бредущему, спотыкаясь, домой из кабачка, может понадобится его колымага и он заплатит ему со щедростью подвыпившего человека.

Равным образом нет надобности говорить, что извозчик, если у него и были надежды, подобные только что указанным, жестоко разочаровался, ибо достойный баронет, которого он отвез в Сити, не дал ему ни единого гроша сверх положенного. Тщетно возница взывал к лучшим чувствам седока, тщетно бушевал, пошвыряв картонки мисс Шарп в канаву у постоянного двора и клянясь, что судом взыщет свои чаевые.

– Не советую, – сказал один из конюхов, – ведь это сэръ Питт Кроули.

– Совершенно правильно, Джо, – одобрительным тоном подтвердил баронет, – желал бы я видеть того человека, который с меня получит на чай.

– Да и я тоже! – добавил Джо с угрюмой усмешкой, втаскивая багаж баронета на крышу дилижанса.

– Оставь для меня место на козлах, капитан! – закричал член парламента кучеру, и тот ответил: «Слушаю, сэръ Питт!», дотрагиваясь до своей шляпы и кляня его в душе (он пообещал место на козлах молодому джентльмену из Кембриджа, который наверняка наградил бы его кроной), а мисс Шарп была устроена на заднем сиденье внутри кареты, увозившей ее, так сказать, в широкий мир.

Едва ли нужно здесь описывать, как молодой человек из Кембриджа мрачно укладывал свои пять шинелей на переднее сиденье и как он мгновенно утешился, когда маленькой мисс Шарп пришлось уступить свое место в карете и перебраться на империал, и как он, укутывая ее в одну из своих шинелей, пришел в отличнейшее расположение духа; как заняли свои места внутри кареты страдающий одышкой джентльмен, жеманная дама, заверявшая всех и каждого, что она еще в жизни не ездила в почтовой карете (в карете всегда найдется такая дама – вернее, увы! находилась, – ибо где они теперь, почтовые кареты?), и, наконец, толстая вдова с бутылкой бренди; как работник Джо требовал денег за свои услуги и получил всего шесть пенсов от джентльмена и пять засаленных полупенсов от

толстой вдовы; как в конце концов карета тронулась, осторожно пробираясь по темным переулкам Олдерсгета; как она одним духом прогремела мимо увенчанного синим куполом собора Св. Павла и бойко пронеслась мимо въезда на Флитский рынок, давно уже вместе со зверинцем отошедший в область теней; как она миновала «Белого Медведя» на Пикадилли и нырнула в утренний туман, курившийся над огородами, что тянутся вдоль улицы Найтсбридж; как остались позади Тэрнхем-Грин, Brentford и Бегшот, – едва ли нужно говорить здесь обо всем этом. Однако автор этих строк, не раз совершавший в былые дни в такую же ясную погоду такое же замечательное путешествие, не может не вспоминать о нем без сладостного и нежного сожаления. Где она теперь, большая дорога и ее веселые приключения, обыкновенные, как сама жизнь? Неужто для старых честных кучеров с угреватými носами не нашлось своего рода Челси или Гринвича<sup>[77]</sup>? Где они, эти славные ребята? Жив ли старый Уэллер<sup>[78]</sup> или умер? И куда девались трактирные слуги да и сами трактиры, в которых они прислуживали, и увесистые куски холодного ростбифа? Где красноносый коротышка-конюх с звенящим ведром, – где он и все его поколение? Для тех великих гениев, что сейчас еще ковыляют в детских платьицах, а когда-нибудь будут писать романы, обращаясь к милым потомкам нынешнего читателя, эти люди и предметы станут такой же легендой и историей, как Ниневия<sup>[79]</sup>, Ричард Львиное Сердце или Джек Шеппард<sup>[80]</sup>. Пассажирские кареты будут представляться им романтической небывальщиной, а четверка гнедых уподобится таким баснословным созданиям, как Буцефал<sup>[81]</sup> или Черная Бесс<sup>[82]</sup>. Ах, как лоснилась их шерсть, когда конюхи снимали с них попоны, и как они дружно пускались вперед! И ах, как дымились их бока и как они помахивали хвостами, когда, добравшись до станции, с нарочитой степенностью въезжали на постоялый двор. Увы! Никогда уже не услышим мы звонкого рожка в полночь и не увидим взлетающего вверх шлагбаума! Но куда же, однако, везет нас скорая четырехместная почтовая карета «Трафальгар»? Давайте же высадимся без дальнейших проволочек в Королевском Кроули и посмотрим, как там поживает мисс Ребекка Шарп.

## Глава VIII, *приватная и конфиденциальная*

*«От мисс Ребекки Шарп к мисс Эмили Седли,  
Рассел-сквер, Лондон  
(Свободно от почтовых сборов. Питт Кроули)»*

Моя драгоценнейшая, любимейшая Эмилия! С каким смешанным чувством радости и печали берусь я за перо, чтобы написать своему самому дорогому другу! О, какая разница между сегодняшним днем и вчерашним! Сегодня я без друзей и одинока; вчера я была дома, с нежно любимой сестрой, которую всегда, всегда буду обожать!

Не стану рассказывать, в каких слезах и тоске провела я роковой вечер, в который рассталась с тобой. Тебя ожидали во вторник радость и счастье в обществе твоей матушки и преданного тебе юного воина, и я поминутно представляла себе, как ты танцуешь у Перкинсов, где ты была, конечно, украшением бала. Меня в старой карете отвезли в городской дом сэра Питта Кроули, где я была передана на попечение сэра П., подвергшись сперва самому грубому и нахальному обращению со стороны грума Джона. (Увы, бедность и несчастье можно оскорблять безнаказанно!) Там мне пришлось провести ночь на старой жуткой кровати, бок о бок с ужасной, мрачной старухой служанкой, которая присматривает за домом. Ни на один миг не сомкнула я глаз за всю ночь!

Сэр Питт ничуть не похож на тех баронетов, которых мы, плуменькие девочки, воображали себе, зачитываясь в Чизике «Сесилией»<sup>[83]</sup>. Право, трудно себе представить кого-нибудь менее похожего на лорда Орвиля<sup>[84]</sup>. Представь себе коренастого, приземистого, неимоверно вульгарного и неимоверно грязного старика в заношенном платье и обтрепанных старых гетрах, который курит ужасную трубку и сам готовит себе какой-то ужасный ужин в кастрюле. Говорит он как последний мужлан, и надо было бы тебе слышать, какими поносными словами он ругал старуху служанку и извозчика, отвезшего нас на постоялый двор, откуда отправлялась

каре́та – та самая, в которой мне и пришлось совершить путешествие, сидя большую часть пути на империале.

Служанка разбудила меня чуть свет, и мы отправились на постоянный двор, где мне сперва было отведено место внутри кареты. Но когда мы прибыли в селение, называемое Ликингтон и полил страшный дождь, то – поверишь ли? – меня заставили занять наружное место. Сэр Питт – один из владельцев этих карет, и, когда в дороге явился новый пассажир, пожелавший получить место внутри, я была вынуждена пересесть наверх, под дождь; впрочем, мой сосед, молодой джентльмен из Кембриджского колледжа, очень любезно закутал меня в одну из своих многочисленных шинелей.

И этот джентльмен и кондуктор хорошо знают, по-видимому, сэра Питта и изрядно потешались над ним. Оба с полным единодушием называли его старым сквалыгою, что обозначает очень прижимистого, скупого человека. Он дрожит над каждым грошом, говорили они (а такую мелочность я ненавижу). Молодой джентльмен пояснил мне, что два последних перегона мы плелись так тихо потому, что сэр Питт восседал на козлах, а он владелец лошадей, которых запрягают на эту часть пути. «Зато и буду же я их стегать до самого Скуошмора, когда вожжи перейдут в мои руки!» – говорил молодой студент. «Жарьте всюю, мистер Джек!» – поддакивал кондуктор. Когда я уяснила себе смысл этой фразы, поняв, что мистер Джек намерен сам править остальную часть пути и выместить свою досаду на лошадях сэра Питта, то, разумеется, расхохоталась тоже.

Однако в Мадбери, в четырех милях от Королевского Кроули, нас ожидала карета с четверкой великолепных лошадей, в сбруе, украшенной гербами, и мы самым парадным образом совершили свой въезд в парк баронета. К дому ведет прекрасная аллея в целую милю длиной, а около сторожки у ворот (над столбами которых красуются змея и голубь, поддерживающие герб Кроули) привратница сделала нам тысячу реверансов, открывая во всю ширь старые резные чугунные ворота, напомнившие мне такие же у нас в противном Чизике.

– Эта алеа тянется на целую милю, – сказал сэр Питт. – Тут строевого лесу на шесть тыщ фунтов. Как, по-вашему, пустячки?

Он вместо «аллея» говорит «алеа», а вместо «тысяч» – «тыщ», представляешь? Усадил с собой в карету некоего мистера Ходсона,



своего приказчика из Мадбери, и они повели беседу о каких-то описях за долги и продаже имущества, об осушке и пропашке и о всякой всячине насчет арендаторов и фермеров, – многого я совершенно не поняла. Сэма Майлса накрыли с поличным, когда он охотился в господском лесу, а Питера Бэйли отправили наконец в работный дом.

– Так ему и надо! – сказал сэр Питт. – Он со своей семейкой обдувал меня на этой ферме целых полтора года!

Наверное, это какой-нибудь старый арендатор, который не мог внести арендной платы. Сэр Питт мог бы, конечно, выразиться по деликатнее, говорить, скажем, «обманывал» вместо «обдувал», но богатым баронетам не приходится особенно стесняться насчет стиля, не то что нам, бедным гувернанткам!

По дороге мое внимание привлек красивый церковный шпиль над купой старых вязов в парке, а перед вязами, посреди лужайки и между каких-то служб, – старинный красный дом, весь увитый плющом, с высокими трубами и окнами, сверкавшими на солнце.

– Это ваша церковь, сэр? – спросила я.

– Разумеется... провались она! – сказал сэр Питт (но только он, милочка, употребил еще более гадкое выражение). – Как поживает Бьюти, Ходсон? Бьюти – это мой брат Бьют, – объяснил он мне. – Мой брат – пастор! Ха-ха-ха!

Ходсон тоже захохотал, а затем, приняв более серьезный вид и покачивая головой, заметил:

– Боюсь, что ему лучше, сэр Питт. Он вечером выезжал верхом взглянуть на наши хлеба.

– Подсчитать, сколько ему придется с десятины, чтоб его (тут он опять ввернул то же самое гадкое слово)... Неужели же грог его не доконает? Он живуч, словно сам... как бишь его? – словно сам Мафусаил!

Мистер Ходсон опять захохотал.

– Молодые люди приехали из колледжа. Они отколотили Джона Скроггинса так, что тот едва ноги унес.

– Как? Отколотили моего младшего лесника? – взревел сэр Питт.

– Он попался на земле пастора, сэр, – ответил мистер Ходсон.

Тут сэр Питт, вне себя от бешенства, поклялся, что если только уличит их в браконьерстве на своей земле, то не миновать им каторги,

ей-богу! Потом он заметил:

– Я продал право предоставления бенефиции<sup>[85]</sup>, Ходсон. Никто из этого отродья не получит ее.

Мистер Ходсон нашел, что баронет поступил совершенно правильно; а я поняла из всего этого, что оба брата не ладят между собой, как часто бывает с братьями, да и с сестрами тоже. Помнишь в Чизике двух сестер, мисс Скретчли, как они всегда дрались и ссорились, или как Мэри Бокс постоянно колотила Луизу?

Но тут, завидев двух мальчиков, собиравших хворост в лесу, мистер Ходсон по приказанию сэра Питта выскочил из кареты и кинулся на них с хлыстом.

– Вздуйте их, Ходсон! – вопил баронет. – Выберите из бродяг их мерзкие душонки и тащите обоих ко мне домой! Я их отдам под суд, не будь я Питт Кроули!

Мы услышали, как хлыст мистера Ходсона заходил по спинам несчастных мальчуганов, ревавших во все горло, а сэр Питт, убедившись, что злоумышленники задержаны, подкатил к парадному подъезду.

Все слуги высыпали нам навстречу, и мы...

На этом месте, милочка, я была прервана вчера страшным стуком в дверь. И кто же, по-твоему, это был? Сэр Питт Кроули собственной персоной, в ночном колпаке и халате. Ну и фигура! Я отшатнулась при виде такого посетителя, а он вошел в комнату и схватил мою свечу.

– Никаких свечей после одиннадцати, мисс Бекки, – сказал он мне. – Можете укладываться в потемках, хорошенькая вы плутовка (так он меня назвал). И если не желаете, чтобы я являлся к вам каждый вечер за свечкой, запомните, что надо ложиться спать в одиннадцать часов.

Сказав это, он и мистер Хорокс, дворецкий, со смехом удалились. Можешь быть уверена, что я не стану поощрять в дальнейшем подобные визиты. Поздно вечером были спущены с цепи две огромные собаки-ищейки, которые всю ночь лаяли и выли на луну.

– Этого пса я зову Хватом, – сообщил мне сэр Питт. – Он загрыз как-то человека, право слово, и справляется с быком. Мать его прежде

звали Флорой, но теперь я дал ей кличку Аврора, потому что она от старости не может кусаться. Хе, хе.

Перед господским домом – вообрази себе пребезобразное старомодное кирпичное здание с высокими печными трубами и фронтонами в стиле королевы Бесс – тянется терраса, охраняемая с обеих сторон фамильной змеей и голубем, а отсюда вход прямо в огромную залу. Ах, моя милочка, эта зала такая же пустынная и унылая, как в нашем дорогом Удольфском замке<sup>[86]</sup>! Там огромный камин, куда можно было бы упрятать половину пансиона мисс Пинкертон, и решетка таких размеров, что на ней можно при желании изжарить целого быка! Кругом по стенам развешано уж и не знаю сколько поколений Кроули: одни с бородами, в жабо; другие в чудовищной величины париках и в диковинных башмаках с загибающимися кверху носками; дамы облачены в длинные прямые корсеты и платья-панцири, а некоторые с длинными локонами и – представь себе, милочка! – пожалуй, и вовсе без корсетов. В одном конце залы – широкая лестница, вся из черного дуба, такая мрачная, что уж мрачнее и быть не может, и по обеим ее сторонам высокие двери с прибитыми над ними оленьими головами, – они ведут в бильярдную, библиотеку, большую желтую залу и в гостиные. На втором этаже по меньшей мере двадцать спален, и в одной из них кровать, на которой спала королева Елизавета. По всем этим великолепным покоям меня водили сегодня утром мои новые ученицы. Могу тебя уверить, что ни одно помещение не выигрывает от того, что в нем постоянно закрыты ставни, и не становится от этого более уютным; а когда их открывали, я так и думала, что на нас откуда-нибудь из угла выскочит привидение! Наша классная помещается во втором этаже, и из нее одна дверь ведет в мою спальню, а другая в спальню девиц. Затем идут апартаменты мистера Питта – мистера Кроули, как его здесь называют, – старшего сына, и покои мистера Родона Кроули – он офицер, как и еще *некто*, и находится сейчас в полку. Словом, недостатка в помещении тут нет, могу тебя уверить! Мне кажется, в этом доме можно было бы разместить все население Рассел-сквер, да и то еще осталось бы место!

Через полчаса после нашего приезда зазвонил большой колокол к обеду, и я спустилась в столовую со своими двумя ученицами (это

худенькие, невзрачные создания десяти и восьми лет). Я сошла вниз в твоём чудном кисейном платье (из-за которого мне так нагрубил противная мисс Пиннер, когда ты мне подарила его); дело в том, что я буду здесь на положении члена семьи, кроме дней больших приемов, когда мне положено обедать с барышнями наверху.

Ну, так вот, большой колокол прозвонил к обеду, и мы все собрались в маленькой гостиной, где обыкновенно проводит время леди Кроули. Миледи – вторая жена сэра Питта и мать девочек. Она дочь торговца железным и скобяным товаром, и ее брак с сэром Питтом считался блестящей для нее партией. Видно, что когда-то она была хороша собой, но теперь глаза у нее вечно слезятся, словно они оплакивают ее былую красоту. Она бледна, худа, сутуловата и, очевидно, не умеет за себя постоять. Пасынок ее, мистер Кроули, тоже находился здесь. Он был в полном параде, важный и чинный, как гробовщик! Он бледен, сухощав, невзрачен, молчалив. У него тонкие ноги, полное отсутствие груди, бакенбарды цвета сена и волосы цвета соломы. Это вылитый портрет в бозе почившей матушки – Гризельды из благородного дома Бинки, чье изображение висит над камином.

– Это новая гувернантка, мистер Кроули, – сказала леди Кроули, подходя ко мне и взяв меня за руку, – мисс Шарп.

– Гм! – произнес мистер Кроули, мотнув головой, и опять погрузился в чтение какой-то объемистой брошюры.

– Надеюсь, вы будете ласковы с моими девочками, – сказала леди Кроули, взглянув на меня своими красноватыми глазами, вечно полными слез.

– Ну да, мама, конечно, будет! – отрезала старшая.

Я с первого же взгляда поняла, что этой женщины мне нечего опасаться.

– Кушать подано, миледи! – доложил дворецкий в черном фраке и огромном белом жабо, напомнившим мне одно из тех кружевных украшений времен королевы Елизаветы, которые изображены на портретах в зале. Леди Кроули, приняв руку, предложенную ей мистером Кроули, направилась впереди всех в столовую, куда последовала за ними и я, ведя за руку своих маленьких учениц.

Сэр Питт уже восседал там с серебряным жбаном в руках, – он, видимо, только что побывал в погребке. Он тоже приоделся – то есть снял гетры и облек свои пухлые ножки в черные шерстяные чулки.

Буфет уставлен сверкающей посудой – старинными чашами, золотыми и серебряными, старинными блюдами и судками, словно в магазине Рандела и Бриджа. Вся сервировка тоже из серебра, и два лакея, рыжие, в ливреях канареечного цвета, вытянулись по обе стороны буфета.

Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву, сэр Питт сказал «аминь», и большие серебряные крышки были сняты.

– Что у нас на обед, Бетси? – спросил баронет.

– Кажется, суп из баранины, сэр Питт, – ответила леди Кроули.

– Mouton aux navets<sup>[87]</sup>, – важно добавил дворецкий (он произнес это «мутонгонави»), – на первое potage de mouton à l’Ecoissaise<sup>[88]</sup>. В качестве гарнира pommes de terre au naturel и chou-fleur à l’eau<sup>[89]</sup>.

– Баранина есть баранина, – сказал баронет, – и ничего не может быть лучше. Какой это баран, Хорокс, и когда его зарезали?

– Из черноголовых шотландских, сэр Питт... Зарезали в четверг.

– Кто что взял?

– Стил из Мадбери взял седло и две ноги, сэр Питт. Он говорит, что последний баран был чересчур тощ, – одна, говорит, шерсть да кости, сэр Питт.

– Не желаете ли potage, мисс... э... мисс Скарп? – спросил мистер Кроули.

– Отличная шотландская похлебка, моя милая, – добавил сэр Питт, – хоть ее и называют как-то по-французски.

– Мне кажется, сэр, в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал, – произнес мистер Кроули высокомерно.

И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с mouton aux navets. Затем был подан эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я не большой знаток эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду.

Пока мы наслаждались трапезой, сэру Питту пришло на мысль спросить, куда девались бараньи лопатки.

– Вероятно, их съели в людской, – ответила смиренно миледи.

– Точно так, миледи, – подтвердил Хорокс, – да ведь это, почитай, и все, что нам досталось.

Сэр Питт разразился хриплым смехом и продолжал свою беседу с мистером Хороксом.

– А черный поросенок от кентской матки, должно быть, здорово разжирел?

– Да не сказать, что лопается от жиру, сэра Питт, – ответил дворецкий с серьезнейшим видом. Но тут сэра Питт, а за ним и обе девочки начали неистово хохотать.

– Мисс Кроули, мисс Роза Кроули, – заметил мистер Кроули, – ваш смех поражает меня своей крайней неуместностью.

– Успокойтесь, милорд, – сказал баронет, – мы отведаем в субботу поросятинки. Заколоть его в субботу утром, Джон Хорокс! Мисс Шарп обожает свинину. Не правда ли, мисс Шарп?

Вот, кажется, и все, что я запомнила из застольной беседы. По окончании трапезы перед сэром Питтом поставили кувшин с кипятком и графинчик из поставца, содержащий, по-моему, ром. Мистер Хорокс налил мне и моим ученицам по рюмочке вина, а миледи – целый бокал. Когда мы перешли в гостиную, леди Кроули вынула из ящика своего рабочего стола какое-то бесконечное вязанье, а девочки засели играть в крибедж, вытащив засаленную колоду карт. У нас горела всего только одна свеча, но зато в великолепном старинном серебряном подсвечнике. И после нескольких весьма скурых вопросов, заданных миледи, мне для собственного развлечения был предоставлен выбор между томом проповедей и той самой брошюрой о хлебных законах<sup>[90]</sup>, которую мистер Кроули читал перед обедом.

Так мы и просидели около часа, пока не послышались шаги.

– Бросьте карты, девочки! – закричала миледи в страшном испуге. – Положите на место книги мистера Кроули, мисс Шарп! – И едва мы успели выполнить эти приказания, как в комнату вошел мистер Кроули.

– Мы продолжим нашу вчерашнюю беседу, молодые девицы, – сказал он, – каждая из вас будет поочередно читать по странице, так что мисс... э... мисс Шорт будет иметь случай послушать вас. – И бедные девочки принялись читать по складам длинную унылую проповедь, произнесенную в капелле Вифезды в Ливерпуле по случаю обращения в христианство индейцев племени Чикасо. Не правда ли, какой восхитительный вечер!

В десять часов слугам было приказано позвать сэра Питта и всех домочадцев на общую молитву. Сэр Питт пожаловал первый, с

изрядно покрасневшимся лицом и довольно неуверенной походкой. За ним явились дворецкий, обе канарейки, камердинер мистера Кроули, еще трое слуг, от которых сильно несло конюшной, и четыре женщины, причем одна из них, разодетая, как я заметила, в пух и прах, прежде чем бухнуться на колени, смерила меня уничтожающим взглядом.

После того как мистер Кроули покончил со своими разглагольствованиями и назиданиями, нам были вручены свечи, а затем мы отправились спать. И вот тут-то меня и потревожили, не дав дописать письмо, о чем я уже сообщала моей драгоценной Эмилии.

Спокойной ночи! Целую тысячу, тысячу, тысячу раз!

*Суббота.* Сегодня в пять часов утра я слышала визг черного поросенка. Роза и Вайолет вчера познакомили меня с ним, а также водили на конюшню, на псарню и к садовнику, который снимал фрукты для отправки на рынок. Девочки клянчили у него по кисточке оранжерейного винограда, но садовник уверял, что сэр Питт пересчитал каждую ягоду и он поплатится местом, если даст им что-нибудь. Милые девочки поймали жеребенка на конном дворе и предложили мне покататься верхом, а потом давай скакать на нем сами, пока прибежавший со страшными ругательствами грум не прогнал их.

Леди Кроули вечно вяжет что-то из шерсти. Сэр Питт вечно напивается к концу дня. Мне кажется, он коротает время с Хороксом, дворецким. Мистер Кроули вечно читает проповеди по вечерам. Утром он сидит запершись в своем кабинете или же ездит верхом в Мадбери по делам графства, а то в Скуошмор – по средам и пятницам, – где проповедует тамошним арендаторам.

Передай от меня сто тысяч благодарностей и приветов своим милым папе и маме. Что твой бедный братец, поправился ли он после аракового пунша? Ах, боже мой! Как мужчинам следовало бы остерегаться этого гадкого пунша.

Вечно, вечно твоя

*Ребекка».*

Принимая все это в соображение, я считаю совершенно правильным и полезным для нашей дорогой Эмилии Седли на Рассел-

сквер, что она и мисс Шарп расстались. Ребекка, разумеется, шаловливое и остроумное существо; ее описания бедной леди, оплакивающей свою красоту, и джентльмена с «бакенбардами цвета сена и волосами цвета соломы», бесспорно, очень милы и указывают на известный житейский опыт. Хотя то, что она могла, стоя на коленях, думать о таких пустяках, как ленты мисс Хорокс, вероятно, немало поразило нас с вами. Но пусть любезный читатель не забывает, что наша повесть в веселой желтой обложке носит наименование «Ярмарки Тщеславия», а Ярмарка Тщеславия – место суетное, злонравное, сумасбродное, полное всяческих надувательств, фальши и притворства. И хотя изображенный на обложке моралист, выступающий перед публикой (точный портрет вашего покорного слуги), и заявляет, что он не носит ни облачения, ни белого воротничка, а только такое же шутовское одеяние, в какое наряжена его паства, однако ничего не поделаешь, приходится говорить правду, поскольку уж она нам известна, независимо от того, что у нас на голове: колпак ли с бубенцами или широкополая шляпа; а раз так – на свет божий должно выйти столько неприятных вещей, что и не приведи бог.

Я слышал в Неаполе одного собрата по ремеслу, когда он, проповедуя на морском берегу перед толпой откровенных и честных бездельников, вошел в такой азарт, изобличая злодейство своих выдуманных героев, что слушатели не могли устоять: вместе с сочинителем они разразились градом ругательств и проклятий по адресу выдуманного им чудовища, так что, когда шляпа пошла по кругу, медяки щедро посыпались в нее среди настоящей бури сочувствия.

С другой стороны, в маленьких парижских театрах вы не только услышите, как публика выкрикивает из лож: «Ah, gredin! Ah, monstre!»<sup>[91]</sup> – и осыпает ругательствами выведенного в пьесе тирана, – бывает и так, что сами актеры наотрез отказываются исполнять роли злодеев, вроде, например, *des infâmes Anglais*<sup>[92]</sup>, неистовых казаков и тому подобное, и предпочитают довольствоваться меньшим жалованьем, но зато выступать в более естественной для них роли честных французов. Я сопоставил эти два случая, дабы вы могли видеть, что автор этой повести не из одних корыстных побуждений желает вывести на чистую воду и строго



покарать своих злодеев; он питает к ним искреннюю ненависть, которую не в силах побороть и которая должна найти выход в подобающем порицании и осуждении.

Итак, предупреждаю моих благосклонных друзей, что я намерен рассказать о возмутительной низости и весьма сложных, но – как я надеюсь – небезынтересных преступлениях. Мои злодеи не какие-нибудь желторотые разини, смею вас уверить! Когда мы дойдем до соответствующих мест, мы не пожалеем ярких красок. Нет, нет! Но, шествуя по мирной местности, мы будем поневоле сохранять спокойствие. Буря в стакане воды – нелепость. Предоставим подобного рода вещи могучему океану и глухой полночи. Настоящая глава – образец кротости и спокойствия. Другие же... Но не будем забегать вперед.

И я хочу просить позволения, на правах человека и брата, по мере того как мы будем выводить наших действующих лиц, не только представлять их вам, но иногда спускаться с подмостков и беседовать о них; и если они окажутся хорошими и милыми, хвалить их и жать им руки; если они глуповаты, украдкой посмеяться над ними вместе с читателем; если же они злы и бессердечны, порицать их в самых суровых выражениях, какие только допускает приличие.

Иначе вы можете вообразить, что это я сам язвительно насмехаюсь над проявлениями благочестия, которые мисс Шарп находит такими смешными; что это я сам добродушно подшучиваю над пошатывающимся старым Силеном<sup>[93]</sup> – баронетом, тогда как этот смех исходит от того, кто не питает уважения ни к чему, кроме богатства, закрывает глаза на все, кроме успеха. Такие люди живут и процветают в этом мире, не зная ни веры, ни упования, ни любви; давайте же, дорогие друзья, ополчимся на них со всей мощью и силой! Преуспевают в жизни и другие – шарлатаны и дураки, и вот для борьбы с такими-то людьми и для их обличения, несомненно, и создан Смех!

## Глава IX

### Семейные портреты

Сэр Питт Кроули был философ с пристрастием к тому, что называется низменными сторонами жизни. Его первый брак с дочерью благородного Бинки совершился с благословения родителей, и при жизни леди Кроули он частенько говорил ей, что хватит с него одной такой анафемски сварливой клячи хороших кровей и что разрази его бог, если он после ее смерти возьмет еще раз жену такого сорта. После кончины миледи он сдержал обещание и выбрал себе второй женой мисс Розу Досон, дочь мистера Джона Томаса Досона, торговца железным и скобяным товаром в Мадбери. Каким счастьем было для Розы стать леди Кроули!

Давайте же подведем итог ее счастью. Прежде всего она отказалась от Питера Батта, молодого человека, с которым до этого водила дружбу и который вследствие разочарования в любви пошел по плохой дороге, начал заниматься контрабандой, браконьерством и другими непохвальными делами. Затем она, как это и подобало, разошлась со всеми друзьями юности и близкими, которых миледи, конечно, не могла принимать в Королевском Кроули. Но и в своем новом положении и новой жизненной сфере она не нашла никого, кто пожелал бы отнестись к ней приветливо. Да и что тут удивительного? У сэра Хадлстона Фадлстона было три дочери, и все они рассчитывали стать леди Кроули. Семейство сэра Джайлса Уопшота было оскорблено тем, что предпочтение не оказано одной из девиц Уопшот, а остальные баронеты графства негодовали на неравный брак своего собрата. Мы умалчиваем о простых смертных, которым предоставляем ворчать анонимно.

Сэр Питт, по собственному его заявлению, никого из них в медный грош не ставил. Он обладал своей красавицей Розой, – а что еще может потребоваться человеку, чтобы жить в свое удовольствие? Он только и знал, что напиваться каждый вечер, иногда поколачивал красавицу Розу и, уезжая в Лондон на парламентскую сессию, оставлял ее в Хэмпшире без единого друга на белом свете. Даже

миссис Бьют Кроули, жена пастора, отказалась поддерживать с ней знакомство, заявив, что ее ноги не будут в доме дочери торговца.

Так как единственными дарами, которыми ее наделила природа, были розовые щеки да белая кожа и так как у нее не было ни ярко выраженного характера, ни талантов, ни собственного мнения, ни любимых занятий и развлечений, ни той душевной силы и бурного темперамента, которые часто достаются в удел совсем глупым женщинам, то ее власть над сердцем сэра Питта была весьма кратковременной. Розы на ее щеках увяли, от прелестной стройности фигуры не осталось и помину после рождения двух детей, и она превратилась в доме своего супруга в простой автомат, от которого было столько же пользы, сколько и от фортепьяно покойной леди Кроули. Как и большинство блондинок с нежным цветом лица, она носила светлые платья преимущественно оттенка мутно-зеленой морской волны или же грязновато-небесно-голубого цвета. День и ночь она вязала что-нибудь из шерсти или сидела за другим рукоделием. В течение нескольких лет она изготовила покрывала на все кровати в Кроули. Был у нее цветничок, к которому она, пожалуй, питала привязанность, но, кроме этого, она ко всему относилась равнодушно. Когда супруг обращался с нею грубо, она оставалась апатичной, когда он бил ее – плакала. У нее не хватало характера даже на то, чтобы пристраститься к вину, и она только горько вздыхала, целыми днями просиживая в ночных туфлях и папильотках. О Ярмарка Тщеславия, Ярмарка Тщеславия! Если бы не ты, Роза была бы жизнерадостной девушкой, а Питер Батт и мисс Роза стали бы счастливыми мужем и женой на уютной ферме, среди любимой семьи и с достаточной долей удовольствий, забот, надежд и борьбы. Но на Ярмарке Тщеславия титул и карета четверней – игрушки более драгоценные, чем счастье. И если бы Генрих VIII<sup>[94]</sup> или Синяя Борода были еще живы и если бы который-нибудь из них пожелал обзавестись десятой по счету супругой, как, по-вашему, разве они не добились бы красивейшей из тех девиц, которые должны представляться ко двору в нынешнем сезоне?

Тягостное томление матери, как и следует предположить, не пробудило особой привязанности к ней в ее маленьких дочках, и они чувствовали себя куда лучше в людской и в конюшнях; а так как у садовника-шотландца, по счастью, была добрая жена и хорошие дети,

то девочки нашли у них в домике небольшое, но здоровое общество и кое-чему научились – в этом и состояло все их образование до приезда мисс Шарп.

Приглашение Ребекки в замок объяснялось настояниями мистера Питта Кроули, единственного друга или покровителя, какого когда-либо имела леди Кроули, и единственного человека, кроме ее детей, к которому она питала хотя бы слабую привязанность. Мистер Питт пошел в благородных Бинки, своих предков, и был очень вежливым, благовоспитанным джентльменом. Окончив курс и вернувшись домой из Крайст-Черча<sup>[95]</sup>, он начал налаживать ослабевшую домашнюю дисциплину, невзирая на отца, который его побаивался. Он был человек столь непреклонных правил, что скорее умер бы с голоду, чем сел за обед без белого галстука. Однажды, вскоре после того как он вернулся домой, закончив курс наук, дворецкий Хорокс подал ему письмо, не положив оное на поднос. Мистер Питт бросил на слугу суровый взгляд и отчитал его так резко, что с тех пор Хорокс боялся его как огня. Весь дом трепетал перед ним: папильотки леди Кроули снимались в более ранний час, когда Питт бывал дома, грязные гетры сэра Питта исчезали с горизонта, и хотя этот неисправимый старик продолжал держаться других застарелых привычек, он не накачивался ромом при сыне и обращался к прислуге лишь в самой сдержанной и вежливой форме. И слуги замечали, что сэр Питт в присутствии сына не посылал леди Кроули к черту.

Это Питт научил дворецкого докладывать: «Кушать подано, миледи!» – и настоял на том, чтобы под руку водить миледи к обеду. Он редко разговаривал с мачехой, но когда разговаривал, то с величайшим уважением, и никогда не забывал при уходе ее из комнаты подняться самым торжественным образом, открыть перед нею дверь и отвесить учтивый поклон.

В Итоне его прозвали «Мисс Кроули», и там, как я вынужден с прискорбием сказать, младший брат Родон здорово его поколачивал. Хотя его способности были не блестящи, но он восполнял недостаток таланта похвальным прилежанием и за восемь лет пребывания в школе, насколько известно, ни разу не подвергся тому наказанию, которого, как принято думать, может избежать разве только ангел.

В университете карьера его была в высшей степени почтенной. Здесь он готовился к гражданской деятельности – в которую должно

было ввести его покровительство дедушки, лорда Бинки, – ревностно изучая древних и современных ораторов и участвуя в студенческих диспутах. Но хотя речь его лилась гладко, а слабенький голос звучал напыщенно и самодовольно и хотя он никогда не высказывал иных чувств и мнений, кроме самых избитых и пошлых, и не забывал подкреплять их латинскими цитатами, все же он не добился больших отличий, – и это несмотря на свою посредственность, которая, казалось бы, должна была стяжать ему лавры. Сочиненная им поэма не была даже удостоена приза, хотя друзья наперебой пророчили его мистеру Кроули.

Окончив университет, он сделался личным секретарем лорда Бинки, а затем был назначен атташе при посольстве в Пумперникеле<sup>[96]</sup>, и этот пост занимал с отменной честью, добросовестно отвозя на родину, министру иностранных дел, пакеты, состоявшие из страсбургского пирога. Пробыв в этой должности десять лет (в том числе и после безвременной кончины лорда Бинки) и находя, что продвижение на дипломатическом поприще совершается слишком медленно, он бросил службу, успевшую набить ему оскомину, предпочитая стать помещиком.

По возвращении в Англию мистер Кроули написал брошюру о солоде – как человек честолюбивый, он любил быть на виду у публики – и горячо высказывался за освобождение негров. По этому случаю он был удостоен дружбы мистера Уилберфорса<sup>[97]</sup>, политикой которого восторгался, и вступил в знаменитую переписку с преподобным Сайласом Хорнблоуэром об обращении в христианство ашантиев. Он ездил в Лондон если не на парламентские сессии, то, по крайней мере, на происходившие в мае религиозные собрания. В своем графстве он был судьей и неустанным ревнителем христианского просвещения, разнося и проповедуя его среди тех, кто, по его мнению, особенно в нем нуждался. Ходили слухи, что он питает нежные чувства к леди Джейн Шипшенкс, третьей дочери лорда Саутдауна, сестра которой, леди Эмили, написала такие восхитительные брошюры, как «Истинный компас моряка» и «Торговка яблоками Финчлейской общины».

То, что мисс Шарп писала о его занятиях в Королевском Кроули, отнюдь не карикатура. Он заставлял слуг предаваться благочестивым упражнениям, как уже упоминалось, и (что особенно служит ему к

чести) привлекал к участию в них и отца. Он оказывал покровительство молитвенному дому индипендентов<sup>[98]</sup> прихода Кроули, к великому негодованию своего дяди-пастора и, следовательно, к восхищению сэра Питта, который даже соблаговолил побывать на их собраниях раз или два, что вызвало несколько громовых проповедей в приходской церкви Кроули, обращенных в упор к старой готической скамье баронета. Впрочем, простодушный сэр Питт не почувствовал всей силы этих речей, ибо всегда дремал во время проповеди.

Мистер Кроули самым серьезным образом считал, что старый джентльмен обязан уступить ему свое место в парламенте – в интересах нации и всего христианского мира, но Кроули-старший и слышать об этом не хотел. Оба были, конечно, слишком благоразумны, чтобы отказаться от тысячи пятисот фунтов в год, которые приносило им второе место в парламенте от округа (в ту пору занятое мистером Кводруном с *carte blanche*<sup>[99]</sup> по невольничьему вопросу). Да и в самом деле, родовое поместье было обременено долгами, и доход от продажи представительства приходился как нельзя более кстати дому Королевского Кроули.

Поместье до сих пор не могло оправиться от тяжелого штрафа, наложенного на Уолпола Кроули, первого баронета, за учиненную им растрату в Ведомстве Сургуча и Тесьмы. Сэр Уолпол, веселый малый, мастер и нажить и спустить деньгу (*Alieni appetens sui profusus*<sup>[100]</sup>, – как говаривал со вздохом мистер Кроули), в свое время был кумиром всего графства, так как беспробудное пьянство и хлебосольство, которым славилось Королевское Кроули, привлекали к нему сердца окрестных дворян. Тогда погреба были полны бургонского, псарни – собак, а конюшни – лихих скакунов. А теперь те лошади, что имелись в Королевском Кроули, ходили под плугом или запрягались в карету «Трафальгар». Кстати, упряжка этих самых лошадей, оторвавшись в тот день от своих бесчисленных повинностей, и доставила в поместье мисс Шарп, – ибо, как ни мужиковат был сэр Питт, однако у себя дома он весьма щепетильно охранял свое достоинство и редко выезжал иначе, как на четверке цугом; и хотя у него к обеду и была лишь вареная баранина, зато подавали ее на стол три лакея.

Если бы скаредность вела к богатству, сэр Питт Кроули, наверное, был бы Крезом; с другой стороны, окажись он каким-нибудь стряпчим

в провинциальном городке, где единственным принадлежащим ему капиталом была бы его голова, он, возможно, с ее помощью добился бы весьма значительного положения и влияния. Но, на свою беду, он был наделен громким именем и большим и даже не заложенным еще поместьем, – и оба эти обстоятельства скорее вредили ему, чем помогали. Он питал к сутяжничеству страсть, которая обходилась ему во много тысяч ежегодно, и, будучи, по его словам, слишком умен, чтобы дать себя грабить одному агенту, предоставил запутывать свои дела целой дюжине и никому из них не верил. Он был таким прижимистым землевладельцем, что только вконец разорившиеся горемыки решались арендовать у него землю, и таким расчетливым сельским хозяином, что буквально трясся над каждым зерном для посева; и мстительная природа платила ему тем же – обсчитывая его на урожай и награждая более щедрых хозяев. Он участвовал во всевозможных спекуляциях: разрабатывал копи, покупал акции обществ для постройки каналов, поставлял лошадей для почтовых карет, брал казенные подряды и был самым занятым человеком и судьей во всем графстве. Так как ему не хотелось платить честным управителям на своих гранитных каменоломнях, то он имел удовольствие узнать, что четверо его надсмотрщиков удрали в Америку, захватив с собой по целому состоянию. Из-за непринятия вовремя мер предосторожности его угольные шахты заливало водой; казна швыряла ему обратно контракты на поставку мяса, оказавшегося испорченным; и любому содержателю почты в королевстве было известно, что сэр Питт терял больше лошадей, чем кто-либо другой во всей стране, потому что плохо их кормил, да и покупал по дешевке. В обращении с людьми он был обходителен и прост и даже предпочитал общество какого-нибудь фермера или барышника обществу джентльмена, вроде милорда – своего сына. Он любил выпить, загнуть крепкое словцо и переброситься шуткой с фермерскими дочками. Всем было известно, что он и шиллинга не даст на доброе дело, но у него был веселый, лукавый, насмешливый нрав, и он мог пошутить с арендатором или распить с ним бутылку вина, а наутро описать его имущество и продать с молотка; мог балагурить с браконьером, которого он с таким же неизменным добродушием на следующий день отправлял на каторгу. Его галантность по отношению к прекрасному полу была уже отмечена мисс Ребеккой Шарп. Словом,

среди всех баронетов, пэров и членов палаты общин Англии вряд ли нашелся бы другой такой хитрый, низкий, себялюбивый, вздорный и малопорядочный старик. Багровая лапа сэра Питта Кроули готова была полезть в любой карман, только не в его собственный. Как почитатели английской аристократии, мы с величайшим огорчением и прискорбием вынуждены признать наличие столь многих дурных качеств у особы, имя которой занесено в генеалогический словарь Дебрета.





То влияние, какое мистер Кроули имел на отца, объяснялось преимущественно денежными расчетами: баронет позаимствовал у сына некоторую сумму из наследства его матери и не находил для

себя удобным выплатить эти деньги. По правде сказать, он чувствовал почти непреодолимое отвращение ко всяким платежам, и заставить его расплатиться с долгами можно было только силой. Мисс Шарп подсчитала (она, как мы скоро услышим, оказалась посвященной в большую часть семейных тайн), что одни лишь платежи по процентам его кредиторам обходились почтенному баронету в несколько сот фунтов ежегодно. Но тут таилось для него неизъяснимое наслаждение, от которого он не мог отказаться: он испытывал какое-то злобное удовольствие, заставляя несчастных томиться и ждать, перенося дела из одной судебной инстанции в другую, оттягивая от сессии к сессии и стараясь всячески отдалить момент уплаты. Что пользы быть членом парламента, говорил он, если все равно приходится платить долги! Таким образом, его положение сенатора приносило ему немало преимуществ.

Ярмарка Тщеславия! Ярмарка Тщеславия! Вот перед нами человек едва грамотный и нисколько не интересующийся чтением, человек с привычками и хитрецей деревенщины, чья жизненная цель заключается в мелком крючкотворстве, человек, никогда не знавший никаких желаний, волнений или радостей, кроме грязных и пошлых, — и тем не менее у него завидный сан, он пользуется почестями и властью. Он важное лицо в своей стране, опора государства. Он верховный шериф<sup>[101]</sup> и разъезжает в золоченой карете. Великие министры и государственные мужи ухаживают за ним; и на Ярмарке Тщеславия он занимает более высокое положение, чем люди самого блестящего ума или незапятнанной добродетели.

У сэра Питта была незамужняя сводная сестра, унаследовавшая от матери крупное состояние. Хотя баронет и предлагал ей дать ему эти деньги займы под закладную, но мисс Кроули предпочла найти своим капиталам более надежное помещение. Впрочем, она выражала намерение разделить свое состояние по духовной между вторым сыном сэра Питта и семейством пастора и раз или два уже оплачивала долги Родона Кроули в бытность того в колледже и за время его службы в армии. Мисс Кроули была предметом великого почитания, когда приезжала в Королевское Кроули, потому что на ее счете у банкиров значилась такая сумма, которая делала старушку желанной гостьей где угодно.

Какой вес придает любой старой даме подобный вклад у банкира! С какой нежностью мы взираем на ее слабости, если она наша родственница (дай бог каждому нашему читателю десятков таких!), какой милой и доброй старушкой мы ее считаем! С какой улыбкой младший компаньон фирмы «Хобс и Добс» провожает ее до украшенной ромбом кареты, на козлах которой восседает разжиревший, страдающий одышкой кучер! Как мы, ошарашенные ее приездом, ищем случая оповестить всех друзей о том положении, какое она занимает в свете! Мы говорим (и вполне искренне): «Хотел бы я иметь подпись мисс Мак-Виртер на чеке в пять тысяч фунтов!» – «Ну, для нее это пустяк!» – добавляет ваша жена. «Она мне родная тетка», – отвечаете вы рассеянным, беспечным тоном, когда ваш друг спрашивает, не родственница ли вам мисс Мак-Виртер. Ваша жена постоянно посылает ей маленькие доказательства своей любви, ваша дочурка вышивает для нее шерстью бесконечные ридикюли, подушки и скамеечки для ног. Какой славный огонь пылает в приготовленной для нее комнате, когда тетушка приезжает к вам погостить, хотя ваша жена зашнуровывает свой корсет в нетопленной спальне! Весь дом во время ее пребывания принимает праздничный, опрятный и приветливый вид, какого у него не бывает в иную пору. Вы сами, мой милый, забываете вздремнуть после обеда и внезапно оказываетесь страстным любителем виста (хотя неизменно проигрываете). А какие у вас бывают прекрасные обеды: ежедневно дичь, мальвазия и самая разнообразная рыба, выписанная прямо из Лондона. Даже кухонная челядь приобщается к общему благоденствию, и, пока у вас проживает толстяк-кучер мисс Мак-Виртер, пиво становится значительно крепче, а потребление чая и сахара в детской (где кушает ее камеристка) и вовсе не учитывается. Так это или не так? Я обращаюсь к вам, средние классы! О силы небесные, если б вы ниспослали мне какую-нибудь старую тетушку с ромбовидным гербом на дверцах кареты и с накладкой светло-кофейного цвета! Ах, какие ридикюли стали бы ей вышивать мои дочки, и оба мы с Джулией как старались бы ее ублажать! О сладостное видение! О безумные мечты!

## Глава X

### Мисс Шарп приобретает друзей

И вот, когда Ребекка заняла столь доверенное положение в милом семействе, портреты которого мы набросали на предыдущих страницах, эта юная леди натурально сочла своим долгом, как она говорила, стать приятной своим благодетелям и всячески завоевать их доверие. Можно ли не восхищаться таким чувством признательности со стороны бедной сироты? А если тут и был известный расчет и некоторая доля корысти, то кто не увидит в этом проявления вполне естественного благоразумия? «Я одна на свете, – рассуждала эта безродная девушка. – Я могу надеяться только на то, что заработаю своим трудом. И если у этой дурехи с розовой мордашкой – Эмилии, которой я вдвое умнее, есть десять тысяч фунтов и обеспеченное положение, то бедная Ребекка (а ведь я сложена куда лучше Эмилии) может полагаться только на себя да на собственный ум. Ну что ж, посмотрим, не выручит ли меня мой ум и не удастся ли мне в один прекрасный день доказать Эмилии мое действительное над нею превосходство! И не потому, что плохо отношусь к бедной Эмилии, – кто может не любить такое безобидное, добродушное создание? Но все же счастлив тот день, когда я займу в обществе место выше ее. Да почему бы, собственно, и нет?» Так наш маленький романтический друг рисовал себе картины будущего. И нас не должно смущать, что неизменным обитателем ее воздушных замков был преданный супруг. О чем же и думать молодым особам, как не о мужьях? О чем ином помышляют их милые маменьки? «Я сама должна быть своей маменькой», – думала Ребекка, не без болезненной досады вспоминая о неудаче с Джозом Седли.

Итак, она пришла к мудрому решению сделать свое положение в семействе Королевского Кроули приятным и прочным и с этой целью положила завязать дружбу со всеми, кто мог так или иначе помешать ее планам.

Поскольку леди Кроули не принадлежала к числу таких лиц и, больше того, была женщиной столь вялой и бесхарактерной, что с нею никто не считался в ее собственном доме, то Ребекка скоро нашла, что

не стоит добиваться ее расположения, – да и, по правде говоря, его и невозможно было снискать. В разговорах с ученицами она обычно называла миледи «бедной мамочкой», и хотя относилась к ней со всеми знаками должного уважения, но главную часть своего внимания благоразумно обратила на остальных членов семейства.

В отношении своих питомиц, чьей симпатией она полностью заручилась, ее метод был более чем прост. Она не забивала их юных мозгов чрезмерным учением, но, наоборот, предоставляла им полную самостоятельность в приобретении знаний. И правда, какое образование скорее достигает цели, если не самообразование? Старшая девочка отличалась пристрастием к чтению, а в старой библиотеке Королевского Кроули было немало произведений изящной литературы прошлого столетия как на французском, так и на английском языках (книги были приобретены министром по Ведомству Сургуча и Тесьмы в период его опалы); и так как никто никогда не тревожил книжных полок, кроме одной Ребекки, то она и получила возможность играючи преподать мисс Розе Кроули немало полезных сведений.

Таким образом, они с мисс Розой прочли много восхитительных французских и английских книг, среди которых следует упомянуть сочинения ученого доктора Смоллета, остроумного мистера Генри Фильдинга, изящного и прихотливого *monsieur* Кребийона-младшего<sup>[102]</sup>, необузданной фантазией которого так восхищался наш бессмертный поэт Грэй<sup>[103]</sup>, и, наконец, всеобъемлющего месье Вольтера. Однажды, когда мистер Кроули осведомился, что читает молодежь, гувернантка ответила: «Смоллета». – «Ах, Смоллета! – отозвался мистер Кроули, совершенно удовлетворенный. – Его история скучновата, но хотя бы не столь опасна, как история мистера Юма<sup>[104]</sup>. Вы ведь историю читаете?» – «Разумеется», – ответила мисс Роза, не прибавив, однако, что это была история мистера Хамфри Клинкера<sup>[105]</sup>. В другой раз он был неприятно поражен, застав сестру с книгой французских комедий, но гувернантка заметила, что таким путем легче усвоить французский разговорный язык, и мистеру Кроули пришлось с этим согласиться. Мистер Кроули, как дипломат, чрезвычайно гордился своим умением говорить по-французски (ибо все еще был светским человеком), и ему доставляли немалое



удовольствие комплименты, которыми гувернантка осыпала его за успехи в этой области.

У мисс Вайолет наклонности были более грубые и буйные, чем у ее сестры. Она знала заповедные местечки, где неслись куры; она ловко лазила по деревьям и разоряла гнезда пернатых певцов, охотясь за их хорошенькими пестрыми яичками. Первым ее удовольствием было объезжать лошадь и носиться по полям, подобно Камилле<sup>[106]</sup>. Она была любимицей отца и конюхов. Она была кумиром и грозой кухарки, потому что всегда находила укромные уголки, где хранилось варенье, и когда добиралась до банок, учиняла на них опустошительные набеги. С сестрой у ней бывали постоянные баталии. Мисс Шарп если и открывала ее проделки, то не сообщала о них леди Кроули, которая могла бы насплетничать отцу или, чего доброго, мистеру Кроули, но давала обещание не говорить никому, если мисс Вайолет станет хорошей девочкой и будет любить свою гувернантку.

С мистером Кроули мисс Шарп была почтительна и послушна. Она часто советовалась с ним относительно тех или иных французских выражений, которых не понимала, хотя ее мать и была природной француженкой, и мистер Кроули, к ее полному удовлетворению, растолковывал ей трудные места. Но, помимо оказания ей помощи по части светской литературы, он бывал настолько любезен, что подбирал для Ребекки книги более серьезного содержания и в своих беседах особенно часто обращался к ней. Она безмерно восхищалась его речью в Обществе вспомоществования племени Квошимабу; проявляла интерес к его брошюре о солоде; нередко бывала растрогана, и даже до слез, его вечерними назиданиями и произносила: «О, благодарю вас, сэръ!» – с таким вздохом устремляя взоры к небесам, что мистер Кроули иной раз удостаивал Ребекку рукопожатия. «Как-никак, а кровь сказывается, – говаривал этот аристократ-проповедник. – Как благотворно действуют на мисс Шарп мои слова, тогда как никого другого они здесь не трогают! Я слишком тонок, слишком изыскан, придется упростить свой слог, – но она его понимает: ведь ее мать была Монморанси<sup>[107]</sup>».

Да, да, представьте, по материнской линии мисс Шарп происходила из этого славного рода. Конечно, она не упоминала о

том, что мать ее подвизалась на сцене: этого не вынесла бы щепетильность набожного мистера Кроули. Какое множество знатных эмигрантов повергла в нищету эта ужасная революция! Не успела Ребекка хорошенько осмотреться в доме Кроули, как в запасе у нее оказалось множество рассказов о ее предках. Некоторые из них мистеру Кроули вскоре посчастливилось найти в словаре д'Озье, имевшемся в отцовской библиотеке, но это обстоятельство лишь укрепило его веру в их подлинность и в знатность происхождения Ребекки. Можем ли мы предположить, основываясь на такой любознательности и поисках в словаре, – могла ли наша героиня предположить, что мистер Кроули заинтересовался ею? Нет, речь могла идти разве только о дружеском участии. Ведь мы уже упоминали, что мистер Кроули дарил своим вниманием леди Джейн Шипшенкс.

Раз или два он делал Ребекке замечание насчет ее обычая играть с сэром Питтом в триктрак<sup>[108]</sup> и говорил, что это богопротивное занятие и лучше бы ей заняться чтением «Наследия Трампа», или «Слепой прачки из Мурфильдса», или какого-либо другого серьезного произведения, на что мисс Шарп отвечала, что ее дорогая маменька часто играла в эту игру со старым графом де Триктраком или достопочтенным аббатом дю Корнетом, – и всегда у нее находилось оправдание как для этого, так и для других мирских развлечений.

Но не только игрой в триктрак маленькая гувернантка снискала расположение своего нанимателя, она находила много способов быть ему полезной. С неумолимым терпением перечитала она судебные дела, с которыми еще до ее приезда в Королевское Кроули обещал познакомить ее сэра Питта; она вызвалась переписывать его письма и ловко изменяла их орфографию в соответствии с существующими правилами; она интересовалась решительно всем, что касалось имения, фермы, парка, сада и конюшни, и оказалась такой приятной спутницей, что баронет редко предпринимал свою прогулку после раннего завтрака без Ребекки (и детей, конечно!). И тут она советовала ему, какие деревья подрезать шпалерами, какие грядки вскопать, и обсуждала с ним, не пора ли уже приступить к уборке и каких лошадей взять под плуг, а каких запрячь в подводы. Она не пробыла и года в Королевском Кроули, как уже приобрела полнейшее доверие сэра Питта; застольные беседы, прежде происходившие

между ним и дворецким, мистером Хороксом, теперь велись только между сэром Питтом и мисс Шарп. Она была почти хозяйкой в доме, когда отсутствовал мистер Кроули, но вела себя в своем новом высоком положении с такой скромностью и осмотрительностью, что нисколько не задевала кухонных и конюшенных властей, с которыми была всегда приветлива и мила. Она стала совсем другим человеком – не той надменной, болезненно самолюбивой и обидчивой девочкой, какую мы знали раньше; и эта перемена характера доказывала большое благоразумие, искреннее желание исправиться и, во всяком случае, свидетельствовала о незаурядной выдержке и твердости характера. Сердце ли диктовало эту новую систему покорности и смирения, принятую нашей Ребеккой, покажут дальнейшие ее дела. Система лицемерия, которой надо следовать годами, редко удается особе двадцати с небольшим лет. Впрочем, читателям следует помнить, что наша юная по годам героиня была взрослой по своему жизненному опыту, и мы напрасно потратили время, если не убедили их, что Ребекка была на редкость умна.

Старший и младший сыновья семейства Кроули – подобно джентльмену и даме в ящичке, предсказывающим погоду, – никогда не жилали вместе, они от души ненавидели друг друга; нужно сказать, что Родон Кроули, драгун, питал величайшее презрение к родительскому дому и редко туда навещался, если не считать того времени, когда тетюшка наносила свой ежегодный визит.

Мы уже упоминали о выдающихся заслугах этой старой дамы. Она обладала капиталом в семьдесят тысяч фунтов и почти что усыновила Родона. Зато она решительно не выносила старшего племянника, считая его размазней. В свою очередь, мистер Питт без малейших колебаний заявлял, что душа ее безвозвратно погибла, и высказывал опасение, что шансы его брата в загробном мире немногим лучше. «Она величайшая безбожница, – говаривал мистер Кроули. – Она водится с атеистами и французами. Все во мне трепещет, когда я подумаю о ее ужасном, ужаснейшем положении и о том, что она, стоя одной ногой в могиле, может так предаваться суетным, греховным помышлениям, мерзкой распущенности и сумасбродству!» И в самом деле, старая дама наотрез отказывалась выслушивать его вечерние назидания, и во время ее приездов в



Королевское Кроули мистеру Кроули приходилось на время прекращать свои благочестивые беседы.

– Никаких проповедей, Питт, когда приедет мисс Кроули, – говорил ему отец, – она писала, что не намерена выносить пустословие.

– О сэр, вспомните о благе ваших слуг!

– Да ну их в болото! – отвечал сэр Питт; но сыну казалось, что им угрожает место и похуже, если они лишатся благодати его поучений.

– Ну и наплевать, Питт! – говорил отец в ответ на возражения сына. – Не такой же ты болван, чтобы дать трем тысячам ежегодного дохода уплыть из наших рук?

– Что такое деньги по сравнению с душевными благами, сэр! – упорствовал мистер Кроули.

– Ты хочешь сказать, что старуха не оставит этих денег тебе?

И – кто знает, – может быть, таковы и были мысли мистера Кроули.

Старая мисс Кроули, вне всякого сомнения, была нечестивицей. У нее был уютный особнячок на Парк-лейн, и так как во время лондонского сезона она позволяла себе пить и есть довольно неумеренно, то на лето уезжала в Харроугет или Челтнем. Это была на редкость гостеприимная и веселая старая весталка; в свое время, по ее словам, она была красавицей (все старухи когда-то были красавицами – мы это отлично знаем!). Ее считали *bel esprit*<sup>[109]</sup> и страшной радикалкой. Она побывала во Франции (где, говорят, Сен-Жюст<sup>[110]</sup> внушил ей несчастную страсть) и с той поры навсегда полюбила французские романы, французскую кухню и французские вина. Она читала Вольтера и знала наизусть Руссо, высказывалась вольно о разводе и весьма энергично о женских правах. Дома в каждой комнате у нее висели портреты мистера Фокса<sup>[111]</sup>, боюсь, не поигрывала ли она с ним в кости, когда этот государственный муж находился в оппозиции; когда же он стал у власти, она кичилась тем, что склонила на его сторону сэра Питта и его сотоварища по представительству от Королевского Кроули, хотя сэр Питт и сам по себе перебежал бы к Фоксу, без всяких хлопот со стороны почтенной дамы. Нужно ли говорить, что после смерти великого государственного деятеля-вига сэра Питт счел за благо изменить свои убеждения.

Сия достойная леди привязалась к Родону Кроули, когда тот был еще мальчиком, послала его в Кембридж (потому что второй племянник был в Оксфорде), а когда начальствующие лица предложили молодому человеку покинуть университет после двухлетнего в нем пребывания, купила племяннику офицерский патент в лейб-гвардии Зеленом полку.

Молодой офицер слыл в городе первейшим и знаменитейшим шалопаем и денди. Бокс, крысиная травля, игра в мяч и езда четверней были тогда в моде у нашей английской аристократии, и он с увлечением занимался всеми этими благородными искусствами. И хотя Родон Кроули служил в гвардии, еще не имевшей случая проявить свою доблесть в чужих краях, поскольку ее обязанностью было охранять особу принца-регента, он имел уже на своем счету три кровопролитные дуэли (поводом к которым была карточная игра, любимая им до страсти) и таким образом в полной мере доказал свое презрение к смерти.

– И к тому, что последует за смертью, – добавлял мистер Кроули, возводя к потолку глаза, цветом напоминавшие ягоды крыжовника. Он никогда не переставал печься о душе брата, как и о душах всех тех, кто расходился с ним во мнениях: в этом находят утешение многие серьезные люди.

Взбалмошная, романтическая мисс Кроули, вместо того чтобы приходить в ужас от храбрости своего любимца, после каждой такой дуэли уплачивала его долги и отказывалась слушать то, что ей нашептывали про его беспутства. «Со временем он перебесится, – говорила она. – Он в десять раз лучше этого нытика и ханжи, своего братца».

## Глава XI

### Счастливая Аркадия

Познакомив читателя с честными обитателями замка (чья простота и милая сельская чистота нравов, несомненно, свидетельствуют о преимуществе деревенской жизни перед городской), мы должны представить ему также их родственников и соседей из пасторского дома – Бьюта Кроули и его жену.

Его преподобие Бьют Кроули, рослый, статный весельчак, носивший широкополую пасторскую шляпу, пользовался несравненно большей популярностью в своем графстве, чем его брат – баронет. В свое время он был загребным в команде Крайст-Черча, своего колледжа, и укладывал лучших боксеров в схватках студентов с «городскими». Пристрастие к боксу и атлетическим упражнениям он сохранил и впоследствии: на двадцать миль кругом ни одного боя не обходилось без его присутствия; он не пропускал ни скачек, ни рысистых испытаний, ни лодочных гонок, ни балов, ни выборов, ни парадных обедов, ни просто хороших обедов по всему графству и всегда находил способ побывать на них. Гнедую кобылу пастора и фонари его шарабана можно было встретить за десятки миль от пасторского дома, торопился ли он на званый обед к Фадлстону, или к Роксби, или к Уопшоту, или к знатым лордам графства – со всеми ними он был на дружеской ноге. У него был отличный голос, он певал: «Южный ветер тучи погоняет...» – и лихо гикал в припеве под общие аплодисменты. Он выезжал на псовую охоту в куртке цвета «перца с солью» и считался одним из лучших в графстве рыболовов.

Миссис Кроули, супруга пастора, была пребойкая маленькая дама, сочинявшая проповеди для этого достойного священнослужителя. Будучи домовитой хозяйкой и проводя время по большей части в кругу своих дочерей, она правила в пасторской усадьбе полновластно, мудро предоставляя супругу делать за стенами дома все, что ему угодно. Он мог приезжать и уезжать, когда ему хотелось, и обедать в гостях сколько вздумается, потому что миссис Кроули была женщиной экономной и знала цену портвейна. С тех самых пор, как миссис Бьют прибрала к рукам молодого священника

Королевского Кроули (она была хорошего рода – дочь покойного полковника Гектора Мак-Тэвиша; они с маменькой ставили на Бьюта в Харроугете и выиграли), она была для него разумной и рачительной женой. Впрочем, несмотря на все ее старания, он не вылезал из долгов. Ему пришлось по меньшей мере десять лет выплачивать долги по студенческим векселям, выданным еще при жизни отца. В 179... году, едва освободясь от этого бремени, он поставил сто против одного (из двадцати фунтов) против Кенгуру, победителя на дерби. Пришлось пастору занять денег под разорительные проценты, и с тех пор он бился как рыба об лед. Сестра иногда выручала его сотней фунтов, но он, конечно, возлагал все свои надежды на ее смерть, когда «Матильда, черт ее побери, – говаривал он, – *должна* будет оставить мне половину своих денег!»

Таким образом, у баронета и его брата были все причины ненавидеть друг друга, какие только могут существовать у двух братьев. Сэр Питт неизменно одерживал верх над Бьютом в бесчисленных семейных распрях. Молодой Питт не только не увлекался охотой, но устроил молитвенный дом под самым носом у дяди. Родон, как известно, притязал на большую часть состояния мисс Кроули. Эти денежные расчеты, эти спекуляции на жизни и смерти, эти безмолвные битвы за неверную добычу внушают братьям самые нежные чувства друг к другу на Ярмарке Тщеславия. Я, например, знаю случай, когда банковый билет в пять фунтов послужил яблоком раздора, а затем и вконец разрушил полувековую привязанность между двумя братьями, и могу только радоваться при мысли, сколь превосходна и нерушима любовь в нашем меркантильном мире.

Трудно предположить, чтобы прибытие в Королевское Кроули такой личности, как Ребекка, и постепенное снискание ею благосклонности всех тамошних обитателей остались незамеченными для миссис Бьют Кроули. Миссис Бьют, которой было в точности известно, на сколько дней хватало в замке говяжьего филе, сколько белья поступало в большую стирку, сколько персиков созревало на южной шпалере, сколько порошков принимала миледи, когда была больна, – ибо такие вопросы горячо принимаются к сердцу провинциальными кумушками, – миссис Бьют, говорю я, не могла оставить без внимания объявившуюся в замке гувернантку и не произвести самого тщательного расследования ее прошлого и

репутации. Между прислугой обоих семейств было самое полное взаимопонимание. На кухне у пасторши всегда находилась добрая кружка эля для замковой челяди, весьма неизбалованной по части выпивки, – пасторше было, разумеется, в точности известно, сколько солоду идет в замке на каждую бочку пива, – а кроме того, слуг, так же как их господ, связывали родственные узы. И таким-то путем каждое семейство бывало великолепно осведомлено о том, что делается у другого. Кстати, это общее правило: пока вы друзья с вашим братом, его поступки для вас безразличны; но если вы поссорились, то каждый его шаг становится известен вам так подробно, словно вы за ним шпионите.

Очень скоро Ребекка стала занимать постоянное место в бюллетенях, получаемых миссис Бьют Кроули из замка. Содержание их было примерно таково:

«Закололи черного поросенка – весил столько-то – грудинку посолили – свиной пудинг и окорока подавали к обеду. Мистер Кремп из Мадбери совещался с сэром Питтом относительно заключения в тюрьму Джона Блекмора – мистер Питт был на молитвенном собрании (с перечислением имен всех присутствовавших) – миледи в обычном своем здоровье – барышни проводят время с гувернанткой».

Затем поступило донесение: «Новая гувернантка всеми командует – сэр Питт в ней души не чает – мистер Кроули тоже – он читает ей брошюры».

«Негодная тварь!» – кипятилась маленькая, живая, хлопотливая черномазая миссис Бьют Кроули.

Наконец последовали донесения, что гувернантка «обошла» всех и каждого, пишет для сэра Питта письма, ведет его дела, составляет отчеты – словом, прибрала к рукам весь дом: миледи, мистера Кроули, девочек и всех, всех, – на что миссис Кроули заявила, что гувернантка хитрющая бестия и что все это неспроста. Таким образом, жизнь в замке давала пищу для разговоров в пасторском доме, и зоркие глазки миссис Бьют видели все, что происходило во вражеском стане, да и еще многое сверх того.

*«От миссис Бьют Кроули к мисс Пинкертон,  
Чизикская аллея.  
Пасторский дом в Королевском Кроули,*

*декабрь 18.. года.*

Милостивая государыня!

Хотя уже столько лет прошло с тех пор, как я пользовалась вашими *чудными и драгоценными* наставлениями, я по-прежнему питаю самые нежные и самые почтительные чувства к мисс Пинкертон и милому Чизику. Надеюсь, вы в добром здоровье. В интересах общества и *дела воспитания* все мы молим Провидение, чтобы оно сохранило нам мисс Пинкертон еще на долгие, долгие годы. Когда мой друг, леди Фадлстон, в разговоре со мной упомянула, что ее милые девочки нуждаются в воспитательнице (пусть я *слишком бедна*, чтобы нанять гувернантку для своих девочек, но разве я не получила образования в Чизике?), я, разумеется, воскликнула: «С кем же нам посоветоваться, как не с превосходнейшей, несравненной мисс Пинкертон?» Словом, нет ли у вас, милостивая государыня, на примете какой-нибудь молодой особы, чьи услуги могли бы пригодиться моему доброму другу и соседке? Смею вас уверить, что она решится взять гувернантку только *по вашему выбору*.

Мой милый супруг пользуется случаем заявить, что он одобряет *все, что исходит из школы мисс Пинкертон*. Как мне хотелось бы представить его и моих любимых девочек другу моей юности, предмету *восхищения* Великого лексикографа нашей страны! Мистер Кроули просит меня передать, что, если вам когда-либо случится попасть в Хэмпшир, он надеется приветствовать вас в нашем сельском *пасторском доме*. Это скромный, но счастливый приют любящей вас

*Марты Кроули.*

P. S. Брат мистера Кроули, баронет, с которым мы, увы, не находимся в тех отношениях тесной дружбы, какие подобают братьям, пригласил для своих маленьких дочерей гувернантку, удостоившуюся, как мне передавали, чести

получить образование в Чизике. До меня доходят различные толки о ней. И так как я принимаю горячее участие в своих драгоценных маленьких племянницах и хотела бы, невзирая на семейные разногласия, видеть их среди своих собственных детей, и так как я стремлюсь оказать внимание *всякой вашей воспитаннице* – то, пожалуйста, дорогая мисс Пинкертон, не откажите рассказать мне *историю* этой молодой особы, которой я, *из любви к вам*, мечтаю оказать самое дружеское расположение.

М. К.».

*«От мисс Пинкертон к миссис Бьют Кроули.  
Джонсон-Хаус, Чизик,  
декабрь 18.. г.*

Милостивая государыня!

Честь имею подтвердить получение вашего любезного письма, на которое спешу ответить. Сколь радостно для особы, пребывающей в неусыпных трудах и тревогах, убедиться, что ее материнские заботы вызывают ответное расположение, и узнать в милой миссис Бьют Кроули мою превосходнейшую ученицу минувших лет, *жизнерадостную и блестящую многими талантами* мисс Марту Мак-Тэвиш. Я счастлива иметь на своем попечении дочерей многих леди, которые были вашими сверстницами в моем заведении, – и какое же бы мне доставило удовольствие, если бы и ваши драгоценные девочки нуждались в моем воспитательном руководстве!

Свидетельствуя чувства своего полного уважения к леди Фадлстон, я имею честь (через посредство письма) рекомендовать ее милости двух моих друзей, мисс Таффин и мисс Хоки.

Каждая из этих юных особ способна в *совершенстве* обучать греческому, латыни и начаткам древнееврейского, затем математике и истории, испанскому, французскому и итальянскому, а также географии, музыке – вокальной и

инструментальной, танцам без помощи учителя и основам естествознания. В обращении с глобусом обе они очень искусны. Вдобавок ко всему этому мисс Таффин – дочь покойного преподобного Томаса Таффина (члена совета колледжа Corpus Christi в Кембридже) – изрядно умеет по-сирийскому и сведуща в вопросах государственного устройства. Но так как ей всего лишь восемнадцать лет от роду и она обладает на редкость привлекательной наружностью, то, быть может, приглашение этой молодой особы встретит известные препятствия в семействе сэра Хадлстона Фадлстона.

С другой стороны, мисс Летиция Хоки в отношении наружности менее счастливо одарена. Ей двадцать девять лет, и лицо у нее сильно изрыто оспой. Она немножко прихрамывает, у нее рыжие волосы и легкое косоглазие. Обе девицы отличаются всеми *нравственными и христианскими* добродетелями. Их условия, конечно, соответствуют тому, чего заслуживают их совершенства. Посылая свою благодарность и свои почтительные приветствия его преподобию Бьюту Кроули, имею честь быть, милостивая государыня,

вашей верной и покорной слугой,

*Барбарою Пинкертон.*

P. S. Мисс Шарп, о которой вы упоминаете, гувернантка сэра Питта Кроули, баронета и члена парламента, была моей воспитанницей, и я не могу сказать о ней ничего дурного. Правда, она не хороша собой, но мы не в силах руководить предначертаниями природы. Правда и то, что ее родители славились дурной репутацией (отец у нее был художник и несколько раз банкротился, а мать, как я потом узнала, к своему ужасу, танцевала в опере), но все же у нее значительные дарования, и я не могу сожалеть о том, что взяла ее в свой пансион из милости. Боюсь только, как бы принципы ее матери, которая была представлена мне в качестве французской графини, вынужденной эмигрировать



от ужасов минувшей революции, но которая, как я потом открыла, была особой *самого низкого происхождения и нравственности*, – как бы эти принципы в один прекрасный день не оказались *унаследованными* несчастной молодой женщиной, которую я призрела вследствие того, что она была всеми *отвергнута*. Но *до сей поры* ее принципы (насколько мне известно) были безупречны, и я уверена, что не произойдет ничего такого, что изменило бы их к худшему в избранном и утонченном кругу высокославного сэра Питта Кроули».

«От мисс Ребекки Шарп к мисс Эмили Седли.

Я не писала моей милой Эмили уже много недель, ибо что нового могла бы я сообщить тебе о тех разговорах и происшествиях, которые имеют место в Замке Скуки, как я окрестила его. Какое тебе дело до того, хорошо или плохо уродился турнепс, сколько весил откормленный боров – тринадцать стоунов или четырнадцать, и идет ли впрок скоту откармливание свекловицей? Со времени моего последнего письма к тебе все дни у нас проходили, как один. Перед завтраком прогулка с сэром Питтом и его потомством; после завтрака – занятия (какие ни на есть) в классной; после классной – чтение и писание бумаг с сэром Питтом касательно судебных дел, аренды, каменноугольных копей, каналов (я превратилась в его секретаря); после обеда – поучения мистера Кроули или игра в триктрак с баронетом; за любым из этих развлечений миледи наблюдает с одинаковой невозмутимостью. Она стала несколько интереснее, потому что за последнее время начала прихварывать, и это обстоятельство привлекло в замок нового посетителя в лице молодого доктора. Ну, душечка, молодым женщинам никогда не следует отчаиваться! Молодой доктор дал понять одной твоей приятельнице, что если она пожелает стать миссис Глаубер, то окажется желанным украшением его врачебного кабинета! Я ответила нахалу, что золоченый пестик и ступка уже являются достаточным для него украшением. В самом деле, как будто я рождена для того, чтобы быть женой деревенского лекаря!

Мистер Глаубер отправился восвояси, серьезно опечаленный таким отпором, принял жаропонижающее и теперь совершенно исцелился. Сэр Питт весьма одобрил мое решение; мне кажется, ему было бы жаль потерять своего маленького секретаря. Я уверена, что старый пройдоха расположен ко мне, насколько вообще в его натуре питать расположение к кому-либо. Вот еще – выйти замуж! И притом за деревенского аптекаря, после того как... Нет, нет, нельзя так скоро забывать старые отношения, о которых не стану больше распространяться. Вернемся к Замку Скуки.

С некоторых пор это уже не Замок Скуки. Дорогая моя, сюда приехала мисс Кроули, на раскормленных лошадях, с жирными слугами, с жирной болонкой, – великая богачка мисс Кроули, с семьюдесятью тысячами фунтов в пятипроцентных бумагах, перед которой – или, вернее, перед *которыми* – раболепствуют оба ее брата. У бедняжки весьма апоплексический вид; неудивительно, что братья страшно тревожатся за нее. Если бы ты только видела, как они чуть не дерутся, бросаясь поправить ей подушки или подать кофе! «Когда я приезжаю в деревню, – говорит гостья (она не без юмора!), – то оставляю свою приживалку, мисс Бригс, дома. Мои братцы у меня за приживалок, милочка! И что это за достойная пара!»

Когда она прибывает в деревню, двери нашего замка открываются настежь и по крайней мере целый месяц кажется, будто сам сэр Уолпол восстал из мертвых. У нас устраиваются званые обеды; мы выезжаем в парадных каретах четверней; лакеи облачаются в новенькие ливреи канареечного цвета; мы пьем красное вино и шампанское, словно привыкли пить их каждый день; даже в классной горят восковые свечи, и мы греемся у разведенного в камине огня. Леди Кроули заставляют облачаться в самые яркие ее платья, цвета зеленого горошка, а мои воспитанницы сбрасывают свои грубые башмаки и старые узенькие клетчатые платица и щеголяют в шелковых чулках и кисейных оборках. Роза попала вчера в большую беду: уилтширская свинья (ее любимица, преогромных размеров)

сбила девочку с ног и изорвала на ней очень миленькое шелковое сиреневое платье с цветочками. Случись это неделю назад, сэр Питт страшно изругал бы дочку, нахлестал бы ее по щекам и целый месяц продержал на хлебе и воде. Но он только сказал: «Вот я задам вам, мисс, когда уедет тетушка!» – и посмеялся над происшествием, словно это был сущий пустяк. Бог даст, до отъезда мисс Кроули гнев его пройдет. Надеюсь на это ради мисс Розы. Каким очаровательным успокоителем и миротворцем являются деньги!

И особенно благотворно воздействие мисс Кроули и ее семидесяти тысяч фунтов сказывается на поведении обоих братьев. Я имею в виду баронета и пастора (не наших братьев), которые ненавидят друг друга круглый год и только на Рождестве проникаются взаимной любовью. Я писала тебе в прошлом году, что у этого омерзительного жокея-пастора хватает нахальства читать нам в церкви нескладные проповеди, на которые сэр Питт неизменно отвечает храпом. Но с приходом сюда мисс Кроули о ссорах нет и помину. Замок наносит визиты пасторскому дому и *vice versa*<sup>[112]</sup>. Пастор и баронет беседуют о свиньях и браконьерах и о делах графства в самой дружелюбной форме и не затевают свар за стаканом вина, насколько мне приходится наблюдать; правда, мисс Кроули и слышать не хочет ни о каких сварах и клянется, что оставит деньги шропширским Кроули, если ее будут оскорблять здесь. Мне кажется, будь эти шропширские Кроули умными людьми, они могли бы получить все. Но шропширский Кроули – священник, такой же, как его хэмпширский кузен, и он смертельно оскорбил мисс Кроули (которая бежала к нему в припадке гнева на своих несговорчивых братьев) какими-то слишком чопорными суждениями о нравственности. Он, кажется, не прочь был бы перенести богослужения к себе на дом!

С приходом мисс Кроули наши душеспасительные книжки откладываются, а мистер Питт, которого мисс Кроули не выносит, находит для себя более удобным отправиться в город. Зато здесь появился молодой денди –

«шалопай», так, кажется, они называются, – капитан Кроули, и, мне думается, тебе небезынтересно узнать, что это за личность.

Так вот, это молодой денди очень крупных размеров. Он шести футов ростом, говорит басом, не стесняется в выражениях и помыкает прислугой, которая тем не менее его обожает. Он щедро сыплет деньгами, и слуги готовы сделать для него все. На прошлой неделе сторожа чуть не убили бейлифа<sup>[113]</sup> и его помощника, которые явились из Лондона арестовать капитана и подстергали его у ограды парка, – их избили, окатили водой и собирались было застрелить, как браконьеров, но тут вмешался баронет.

Капитан, сколько я могла заметить, от всей души презирает отца и называет его старым чертом, старым греховодником и старым хреном, не говоря уж о всяких других миленьких прозвищах. Среди местных дам он пользуется *ужаснейшей репутацией*. Он привозит с собой своих охотничьих лошадей, водит компанию с окрестными помещиками, приглашает к обеду кого вздумает, а сэр Питт и пикнуть не смеет из боязни обидеть мисс Кроули и лишиться наследства, когда она умрет от удара. Рассказать тебе, каким вниманием удостоил меня капитан? Непременно расскажу, это так мило. Как-то вечером у нас вздумали потанцевать; был сэр Хадлстон Фадлстон с семейством, сэр Джайлс Уопшот с дочерьми и еще много гостей. Так вот я услышала, как капитан сказал: «Черт возьми, премилая девчурка!» – имея в виду вашу покорнейшую слугу, и тут же оказал мне честь протанцевать со мною в контрдансе. Он очень недурно проводит время с помещичьей молодежью, кутит, бьется об заклад, устраивает верховые прогулки и разговаривает только об охоте и стрельбе. О наших деревенских барышнях говорит, что с ними «тощица», и, право, мне кажется, что он не так уж ошибается. Поглядела бы ты, с каким презрением они смотрят на меня, бедняжку! Когда они танцуют, я сажусь за фортепьяно и смирененько играю. Но как-то капитан пожаловал в гостиную из столовой, несколько

разрумянившись, и, увидев меня за таким занятием, заявил во всеуслышание, что я здесь танцую лучше всех, и поклялся, что пригласит музыкантов из Мадбери.

– Я сыграю вам контрданс, – с большой готовностью предложила миссис Бьют Кроули (маленькая черномазая старушка в тюрбане, несколько сутулая и с бегающими глазками). И после того как капитан и твоя бедненькая Ребекка протанцевали, она, представь себе, удостоила меня комплимента, похвалив грацию моих движений! Раньше ничего подобного не бывало. И это – гордячка миссис Бьют Кроули, двоюродная сестра графа Типтофа, не устаивающая своими посещениями леди Кроули, кроме тех случаев, когда в имении гостит ее золовка! Бедненькая леди Кроули! Во время таких увеселений она обычно сидит у себя наверху и плотает пилюли.

Миссис Бьют внезапно вспылала ко мне нежными чувствами. «Дорогая моя мисс Шарп, – говорит она мне как-то, – отчего вы с девочками никогда не заглянете к нам в пасторский дом? Их кухни будут так счастливы с ними повидаться!» Я поняла, куда она метит. Синьор Клементи недаром обучал нас играть на фортепьяно. Миссис Бьют рассчитывает получить бесплатную учительницу музыки для своих детей. Я насквозь вижу все ее подходы, словно она сама их мне расписала. Но я пойду к ней, так как решила быть любезной со всеми, – разве это не обязанность бедной гувернантки, у которой нет ни одного друга, ни одного покровителя на свете? Супруга пастора наговорила мне уйму комплиментов по поводу успехов, сделанных моими ученицами, и, несомненно, думала тронуть этим мое сердце – бедненькая простодушная провинциалка! – словно я хоть капельку интересуюсь моими ученицами.

Твоя индийская кисея и розовый шелк, драгоценная моя Эмилия, по общим отзывам, очень мне к лицу. Теперь эти платья уже порядком поизносились, но ведь мы, бедные девушки, не можем заводить себе *des fraîches toilettes*<sup>[114]</sup>. Счастливица, счастливица ты! Тебе стоит только поехать на

Сент-Джеймс-стрит, и твоя добрая маменька накупит тебе всего, что ты попросишь. Прощай, моя милочка.

Любящая тебя

*Ребекка.*

Р. С. Хотела бы я, чтобы ты видела физиономии девиц Блекбрук (дочерей адмирала Блекбрука), милочка, – красивых молодых особ в платьях, выписанных из Лондона, когда капитан Родон избрал меня, бедняжку, своей дамой! Вот они. Вышло очень похоже. Прощай, прощай!»

Когда миссис Бьют Кроули (подвохи которой наша умница Ребекка так легко разгадала) заручилась у мисс Шарп обещанием навестить ее, она убедила всемогущую мисс Кроули походатайствовать перед сэром Питтом, и добродушная старая леди, сама любившая повеселиться и видеть всех вокруг себя веселыми и довольными, пришла в полный восторг и выразила готовность установить мирные и родственные отношения между братьями. Было решено единогласно, что младшие представители обоих семейств будут отныне часто посещать друг друга; и дружеские отношения продолжались ровно столько времени, сколько жизнерадостная старая посредница гостила тут и поддерживала общий мир.

– Зачем ты пригласила к нам на обед этого негодяя Родона Кроули? – пенял пастор супруге, когда они возвращались к себе домой парком. – Я этого молодца не желаю видеть. Он смотрит на нас, провинциалов, сверху вниз, как на негров. Все ему не нравится, да подавай ему непременно моего вина с желтой печатью, а оно обходится мне по десять шиллингов за бутылку, чтоб ему неладно было! А ко всему прочему у него такая ужасная репутация: он игрок, он пьяница, – свет не видел такого распутника и негодяя. Он убил человека на дуэли, он по уши в долгах и ограбил меня и мое семейство, оттягав у нас большую часть состояния мисс Кроули. Уокси говорит, что она отказала ему по завещанию, – тут пастор погрозил кулаком луне, произнеся что-то весьма похожее на ругательство, – целых пятьдесят тысяч фунтов, так что в дележку пойдет не больше тридцати тысяч, – прибавил он меланхолически.

– Мне кажется, она долго не протянет, – ответила его супруга. – Когда мы встали из-за стола, у нее было ужасно красное лицо. Пришлось распустить ей шнуровку.

– Она выпила семь бокалов шампанского, – заметил его преподобие, понизив голос. – Ну и дрянным же шампанским отравляет нас мой братец; но вы, женщины, ни в чем не разбираетесь.

– Мы решительно ни в чем не разбираемся, – подтвердила миссис Бьют Кроули.

– После обеда она пила вишневую наливку, – продолжал его преподобие, – а к кофе – кюрасо. Я и за пять фунтов не выпил бы рюмки этой гадости: от ликера у меня убийственная изжога! Она не перенесет этого, миссис Кроули! Она обязательно помрет! Тут никакое здоровье не выдержит. Ставлю пять против двух, что Матильда не протянет и года.

Предаваясь таким важным размышлениям и задумавшись о долгах, о сыне Джиме в университете, и о сыне Фрэнке в Вуличе<sup>[115]</sup>, и о четырех дочерях – бедняжки далеко не красавицы, и у них нет ни гроша сверх того, что им достанется из наследства тетки, – пастор и его супруга некоторое время шли молча.

– Не будет же Питт таким отъявленным негодяем, чтобы продать право на предоставление бенефиций. А этот размазня-методист<sup>[116]</sup>, его старший сынок, так и метит попасть в парламент, – продолжал мистер Кроули после паузы.

– Сэр Питт Кроули на все способен, – заметила его супруга. – Надо убедить мисс Кроули, пусть заставит его пообещать приход Джеймсу.

– Питт пообещает тебе что хочешь! – отвечал его достойный брат. – Обещал же он оплатить мои студенческие векселя, когда умер отец; обещал же пристроить новый флигель к пасторскому дому; обещал отдать мне поле Джибса и шестиакровый луг, – а выполнил он свои обещания? И сыну эдакого-то человека – негодяю, игроку, мошеннику, убийце Родону Кроули – Матильда оставляет большую часть своих денег! Не по-христиански это, ей-богу! Этот молодой нечестивец наделен всеми пороками, кроме лицемерия, то досталось его братцу!

– Тише, друг мой! Мы еще на земле сэра Питта! – остановила его жена.

– Я говорю – он вместилище всех пороков, миссис Кроули. Не раздражайте меня, сударыня! Разве не он застрелил капитана Маркера? Разве не он ограбил юного лорда Довдейла в «Кокосовой Пальме»? Разве не он помешал бою между Биллом Сомсом и Чеширским Козырем, из-за чего я потерял сорок фунтов? Ты знаешь, что это все его проделки! А что касается женщин, то чего тут рассказывать!.. Ты же знаешь – в моей судейской камере...

– Ради бога, мистер Кроули, – взмолилась дама, – избавьте меня от подробностей!

– И ты приглашаешь этого негодяя к себе в дом! – продолжал пастор, все более распаляясь. – Ты – мать малых детей, жена священнослужителя англиканской церкви! Черт возьми!

– Бьют Кроули, ты дурак! – заявила пасторша с презрением.

– Ну, ладно, сударыня, пускай я дурак, – я ведь не говорю, Марта, что я так умен, как ты, да и не говорил никогда. Но я не желаю встречаться с Родоном Кроули, так и знай! Я поеду к Хадлстону – обязательно, миссис Кроули, – посмотреть его черную гончую. И поставлю против нее пятьдесят фунтов за Ланселота. Ей-богу, так и сделаю! А то и против любого пса в Англии! Лишь бы не встречаться с этой скотиной Родоном Кроули!

– Мистер Кроули, вы, по обыкновению, пьяны, – ответила ему жена.

Но на следующее утро, когда пастор выспался и потребовал пива, миссис Кроули напомнила ему его обещание съездить в субботу к сэру Хадлстону Фадлстону. Пастор знал, что там предстоит крупная выпивка, и потому было решено, что он вернется домой в воскресенье утром, пораньше, чтобы не опоздать к богослужению. Таким образом, мы видим, что прихожанам Кроули одинаково повезло и на помещика, и на священника.

Прошло не так много времени с водворения мисс Кроули в замке, а чары Ребекки уже пленили сердце благодушной лондонской жуирки, как пленили они сердца наивных провинциалов, которых мы только что описывали. Однажды, собираясь на свою обычную прогулку в экипаже, она сочла нужным приказать, чтобы маленькая гувернантка сопровождала ее до Мадбери. Они еще и вернуться не успели, как



Ребекка завоевала ее расположение: она заставила мисс Кроули четыре раза рассмеяться и всю дорогу ее потешала.

– Это что еще за выдумка – не разрешать мисс Шарп обедать с гостями! – выговаривала старуха сэру Питту, затеявшему парадный обед и пригласившему к себе всех окрестных баронетов. – Милейший мой, уж не воображаешь ли ты, что я стану беседовать с леди Фадлстон о детской или же обсуждать всякие юридические кляузы с этим простофилей, старым сэром Джайлсом Уопшотом? Я требую, чтобы мисс Шарп обедала с нами. Пусть леди Кроули обедает наверху, если больше нет места! Но мисс Шарп должна быть! Во всем графстве с нею одной только и можно разговаривать!

Конечно, после такого приказа мисс Шарп, гувернантка, получила распоряжение обедать внизу со всем знатным обществом. И когда сэр Хадлстон с весьма торжественным и церемонным видом предложил руку мисс Кроули и, подведя ее к столу, уже готовился занять место с нею рядом, старая леди пронзительно крикнула:

– Бекки Шарп! Мисс Шарп! Идите сюда, садитесь со мной и развлекайте меня, а сэр Хадлстон пусть сядет с леди Уопшот.

Когда вечер закончился и кареты покатали со двора, ненасытная мисс Кроули сказала: «Пойдем ко мне в будуар, Бекки, и разберем-ка там по косточкам всю честную компанию!» И парочка друзей отлично выполнила это, оставшись с глазу на глаз. Старый сэр Хадлстон ужасно сопел за обедом; у сэра Джайлса Уопшота смешная манера громко чавкать, когда он ест суп, а миледи, его жена, как-то подмаргивает левым глазом. Все это Бекки великолепно изображала в карикатурном виде, не забывая посмеяться и над темой обеденных бесед – политика, война, квартальные сессии, знаменитая охота с гончими – и над другими тяжеловесными и скучнейшими предметами, о которых беседуют провинциальные джентльмены. А уж туалеты барышень Уопшот и знаменитую желтую шляпу леди Фадлстон мисс Шарп разнесла в пух, к великому удовольствию своей слушательницы.

– Милочка, вы настоящая *trouvaille*<sup>[117]</sup>, – повторяла мисс Кроули. – Я очень хочу, чтобы вы приехали ко мне в Лондон. Но только мне нельзя будет подтрунивать над вами, как над бедняжкой Бригс... Нет, нет, маленькая плутовка, вы слишком умны! Не правда ли, Феркин?

Миссис Феркин (приводившая в порядок скудные остатки волос, которые еще росли на макушке у мисс Кроули) вздернула нос кверху и сказала с убийственным сарказмом:

– Я нахожу, что мисс *очень* умна!

В миссис Феркин, естественно, говорила ревность, ибо какая же честная женщина не ревнива.

Отвергнув услуги сэра Хадлстона Фадлстона, мисс Кроули приказала, чтобы Родон Кроули впредь предлагал ей руку и вел ее к столу, а Бекки несла бы за нею ее подушку; или же она будет опираться на руку Бекки, а подушку понесет Родон.

– Мы должны сидеть вместе, – заявила она. – Ведь во всем графстве, прелесть моя, нас всего трое честных христиан (в каком случае необходимо признаться, что религия в Хэмпширском графстве стояла на весьма низком уровне).

Такое похвальное благочестие не мешало мисс Кроули, как мы уже говорили, придерживаться весьма либеральных убеждений, и она пользовалась всяким случаем, чтобы высказывать их в самой откровенной форме.

– Что значит происхождение, милочка? – говорила она Ребекке. – Посмотрите на моего брата Питта, посмотрите на Хадлстонов, которые живут здесь со времен Генриха Второго, посмотрите на бедного Бьюта, нашего пастора, – разве кто-нибудь из них может сравниться с вами по уму или воспитанию? Да уж какое там с вами! Они не ровня даже бедной милой Бригс, моей компаньонке, или Боулсу, моему дворецкому. Вы, прелесть моя, маленькое совершенство, вы положительно маленькое сокровище! У вас больше мозгов, чем у половины графства, и если бы заслуги вознаграждались по достоинству, вам следовало бы быть герцогиней. Впрочем, нет! Вовсе не должно быть никаких герцогинь, – но вам не пристало занимать подчиненное положение. И я считаю нас, дорогая моя, равной себе во всех отношениях и... подбросьте-ка, пожалуйста, угля в огонь, милочка! А потом – не возьмете ли вы вот это мое платье, его нужно немножко переделать, ведь вы такая мастерица!

И старая филантропка заставляла равную себе бегать по ее поручениям, исполнять обязанности портнихи и каждый вечер читать ей вслух на сон грядущий французские романы.

В описываемое нами время, как, возможно, помнят более пожилые наши читатели, великосветское общество было повергнуто в немалое волнение двумя происшествиями, которые, как пишут газеты, «могли бы дать занятие джентльменам в мантиях<sup>[118]</sup>». Прапорщик Шефтон похитил леди Барбару Фицзурс, дочь и наследницу графа Брейна, а бедняга Вир Вейн, джентльмен, пользовавшийся до сорока лет безупречной репутацией и обзаведшийся многочисленным семейством, самым внезапным и гнусным образом покинул свой дом из-за мисс Ружемон, шестидесятипятилетней актрисы.

– Это было поистине неотразимой чертой милого лорда Нельсона, – говорила мисс Кроули, – ради женщины он готов был на все. В мужчине, способном на это, должно быть что-то хорошее. Я обожаю безрассудные браки. Больше всего мне нравится, когда знатный человек женится на дочери какого-нибудь мельника, как сделал лорд Флауэрдейл. Все женщины приходят от этого в такое бешенство! Я хотела бы, чтобы какой-нибудь великий человек похитил вас, моя дорогая. Не сомневаюсь, что вы для этого достаточно миленькая!

– С двумя форейторами!.. Ах, как это было бы восхитительно! – призналась Ребекка.

– А еще мне нравится, когда какой-нибудь бедняк убегает с богатой девушкой. Я мечтаю, чтобы Родон похитил какую-нибудь девушку!

– Какую девушку, богатую или бедную?

– Ах вы, дурочка! У Родона нет ни гроша, кроме тех денег, что я даю ему. Он *crible de dettes*<sup>[119]</sup>. Ему нужно поправить свои дела и добиться успеха в свете.

– А что, он очень умен? – спросила Ребекка.

– Умен? Да что вы, душечка! У него в голове и мыслей никаких не бывает, кроме как о лошадях, о своем полку, охоте да игре! Но он должен иметь успех – он так восхитительно испорчен! Разве вы не знаете, что он убил человека, а оскорбленному отцу прострелил шляпу? Его боготворят в полку, и все молодые люди у Уотъера<sup>[120]</sup> и в «Кокосовой Пальме» клянутся его именем!<sup>[121]</sup>

Когда мисс Ребекка Шарп посылала своей возлюбленной подруге отчет о маленьком бале в Королевском Кроули и о том, как капитан Кроули впервые выделил ее из ряда других, она, как это ни странно,

дала не совсем точный отчет об этом случае. Капитан отличал ее и раньше бесчисленное количество раз. Капитан раз десять встречался с нею в аллеях парка. Капитан сталкивался с нею в полсотне разных коридоров и галерей. Капитан по двадцати раз в вечер наваливался на фортепьяно Ребекки, когда та пела (миледи по нездоровью проводила время у себя наверху, и никто не вспоминал о ней). Капитан писал Ребекке записочки (какие только был в силах сочинить и кое-как накропать неуклюжий верзила-драгун, – но женщины охотно мирятся с тупостью в мужчине). Однако, когда он вложил первую свою записочку между нотных страниц романа, который Ребекка пела, маленькая гувернантка, поднявшись с места и пристально глядя в лицо Родону, грациозно извлекла сложенное треугольником послание, помахала им в воздухе, как треугольной шляпой, и, подойдя к неприятелю, швырнула записочку в огонь, а затем, сделав капитану низкий реверанс, вернулась на место и начала снова распевать – веселее, чем когда-либо.

– Что случилось? – спросила мисс Кроули, потревоженная в своей послеобеденной дремоте неожиданно прерванным пением.

– Фальшивая нота! – отвечала со смехом мисс Шарп, и Родон Кроули весь затрясся от гнева и досады.

Как мило было со стороны миссис Бьют Кроули, увидавшей явное пристрастие мисс Кроули к новой гувернантке, позабыть о ревности и ласково встретить молодую особу в пасторском доме, и не только ее, но и Родона Кроули, соперника ее мужа по части пятипроцентных бумаг старой девы! Между миссис Кроули и ее племянником установилась нежная дружба. Он бросил охотиться; он отклонял приглашения к Фадлстонам, у которых одни торжества сменялись другими; он перестал обедать в офицерском собрании в Мадбери. Самым его большим удовольствием было забрести в пасторский дом, куда ездила теперь и мисс Кроули. А так как маменька была больна, то почему бы и девочкам баронета не прогуляться туда с мисс Шарп? Вот дети (милые создания) и приходили с мисс Шарп. А вечерами часть гостей обычно возвращалась домой пешком. Конечно, не мисс Кроули – та предпочитала свою карету. Но прогулка при лунном свете по нивам пастора, а потом (если пройти через парковую калитку) среди темных деревьев и кустов, по лабиринту аллей вплоть до самого

Королевского Кроули приводила в восторг двух таких любителей природы, как капитан и мисс Ребекка.

– Ах, эти звезды! Эти звезды! – вздыхала мисс Ребекка, обращая к ним свои искрящиеся зеленые глаза. – Я чувствую себя каким-то бесплотным духом, когда взираю на них!

– О... да! Гм!.. Черт!.. Да, я тоже это чувствую, мисс Шарп, – отвечал второй энтузиаст. – Вам не мешает моя сигара, мисс Шарп?

Напротив, мисс Шарп больше всего на свете любила запах сигар на свежем воздухе и как-то даже попробовала покурить – с прелестнейшими ужимками выпустила облачко дыма, слегка вскрикнула, залилась тихим смехом и вернула деликатес капитану. Тот, покручивая ус, тотчас же раскурил сигару так, что на конце ее появился яркий огонек, пылавший в темных зарослях красной точкой.

– Черт!.. Э-э!.. Ей-богу... э-э, – божился капитан, – в жизни не курил такой чудесной сигары! – Его умственное развитие и умение вести беседу были одинаково блестящи и вполне подобали тяжеловесному молодому драгуну.

Старый сэра Питт, сидевший с трубкою за стаканом пива и беседовавший с Джоном Хороксом насчет барана, предназначенного на убой, заметил как-то из окна кабинета эту парочку, поглощенную приятной беседой, и, разразившись страшными ругательствами, поклялся, что, если бы не мисс Кроули, он взял бы Родона за шиворот и вытолкнул за дверь, как последнего мерзавца.

– Да, хорош! – заметил мистер Хорокс. – Да и лакей его Флетерс тоже гусь лапчатый. Такой поднял содом в комнате экономки из-за обеда и эля, что любому лорду впору! Но, мне думается, мисс Шарп ему под стать, сэра Питт, – прибавил он, помолчав немного.

И в самом деле, она была под стать – и отцу, и сыну.

## Глава XII, весьма чувствительная

Но пора нам распрощаться с Аркадией и ее любезными обитателями, упражняющимися в сельских добродетелях, и отправиться обратно в Лондон, чтобы узнать, что случилось с мисс Эмилией.

«Мы ею нимало не интересуемся, – пишет мне какая-то неизвестная корреспондентка красивым бисерным почерком в записочке, запечатанной розовой печатью. – Она бесцветна и безжизненна». – Тут следует еще несколько не менее любезных замечаний в том же роде, о коих я бы не упомянул, если бы они, в сущности говоря, не были скорее лестными для упомянутой молодой особы.

Разве любезный читатель, вращающийся в обществе, никогда не слышал подобных замечаний из уст своих милых приятельниц, которые не перестают удивляться, чем обворожила его мисс Смит или что заставило майора Джонса сделать предложение этой ничтожной дурочке и хохотушке мисс Томпсон, которой решительно нечем гордиться, кроме личика восковой куклы? «Ну что, в самом деле, особенного в розовых щечках и голубых глазках?» – спрашивают наши милые моралистки и мудро намекают, что природные дарования, совершенство ума, овладение «Вопросами мисс Меннол»<sup>[122]</sup>, дамские познания в области ботаники и геологии, искусство стихоплетства, умение отбарабанить сонаты в духе герцовских<sup>[123]</sup> и тому подобное являются для особы женского пола куда более ценными качествами, чем те мимолетные прелести, которые через короткий срок неминуемо поблекнут. Слушать рассуждения женщин о ничтожестве и непрочности красоты – вещь крайне назидательная.

Но хотя добродетель несравненно выше и злополучным созданиям, которые, на свою беду, наделены красотой, нужно всегда помнить об ожидающей их судьбе и хотя весьма вероятно, что героический женский характер, которым так восхищаются женщины,

объект более славный и достойный, чем милая, свежая, улыбающаяся, безыскусственная, нежная маленькая домашняя богиня, которой готовы поклоняться мужчины, – однако женщины, принадлежащие к этому последнему и низшему разряду, должны утешаться тем, что мужчины все-таки восхищаются ими и что, несмотря на все предостережения и протесты наших добрых приятельниц, мы продолжаем упорствовать в своем заблуждении и безумии и будем коснеть в них до конца наших дней. Да вот хотя бы я сам: сколько ни повторяли мне разные особы, к которым я питаю величайшее уважение, что мисс Браун – пустейшая девчонка, что у миссис Уайт только и есть, что ее *petit minois chiffonne*<sup>[124]</sup>, а миссис Блек не умеет слова вымолвить, однако я знаю, что у меня были восхитительные беседы с миссис Блек (но, конечно, сударыня, они не для разглашения), я вижу, что мужчины целым роем толкуются пред креслом миссис Уайт, а все молодые люди стремятся танцевать с мисс Браун: поэтому я склоняюсь к мысли, что презрение своих сестер женщина должна расценивать как большой комплимент.

Молодые особы, составлявшие общество Эмилии, не скупилась на такие изъявления дружбы. Например, едва ли существовал другой вопрос, в котором девицы Осборн – сестры Джорджа, и *mesdemoiselles* Доббин выказывали бы такое единодушие, как в оценке весьма ничтожных достоинств Эмилии, выражая при этом изумление по поводу того, что могут находить в ней их братья.

– Мы с нею ласковы, – говорили девицы Осборн, две изящные чернобровые молодые особы, к услугам которых были наилучшие гувернантки, модистки и учителя. И они обращались с Эмилией так ласково и снисходительно и покровительствовали ей так несносно, что бедняжка и в самом деле лишалась в их присутствии дара слова и казалась дурочкой, какой они ее считали. Она старалась изо всех сил полюбить их, как этого требовал долг по отношению к сестрам ее будущего мужа. Она проводила с ними долгие утра – скучнейшие, тоскливейшие часы. Она выезжала с сестрами на прогулку в их огромной парадной карете в сопровождении сухопарой мисс Уирт, их целомудренной гувернантки. Они развлекали Эмилию тем, что возили ее на всякие душеспасительные концерты, на оратории и в собор Св. Павла полюбоваться на приютских детей, но наводили такой страх на свою юную подружку, что она не решалась приходить в волнение от

пропетого детьми гимна. Дом у Осборнов был роскошный; стол у их отца богатый и вкусный; их общество – чинно и благородно; их самодовольство – безгранично; у них была самая лучшая скамья в церкви Воспитательного дома; все их привычки были торжественны и добропорядочны, а все их развлечения невыносимо скучны и благопристойны. И после каждого визита Эмилии (о, как она бывала рада, когда они заканчивались) мисс Джейн Осборн, мисс Мария Осборн и мисс Уирт, целомудренная гувернантка, с возрастающим изумлением вопрошали друг друга:

– Что нашел Джордж в этом создании?

Как же так? – воскликнет придирчивый читатель. Возможно ли, чтобы Эмилия, у которой было в школе столько подруг и которую так любили там, вступив в свет, встретила лишь пренебрежение со стороны своего же разборчивого пола? Милостивый государь, в заведении мисс Пинкертон не было ни одного мужчины, кроме престарелого учителя танцев. Не могли же девицы в самом деле ссориться из-за него! Но когда Джордж, их красавец брат, стал убегать сейчас же после утреннего завтрака и не обедал дома раз шесть в неделю, то нет ничего удивительного, что заброшенные сестры сочли себя вправе на него дуться. Когда молодой Буллок (совладелец фирмы «Халкер, Буллок и К<sup>о</sup>» – банкирский дом, Ломбард-стрит<sup>[125]</sup>), ухаживавший за мисс Марией последние два сезона, позволил себе пригласить Эмилию на котильон, то как, по-вашему, могло это понравиться вышеозначенной девице? А между тем, как существо бесхитростное и всепрощающее, она сказала, что очень рада этому. «Я в таком восторге, что вам нравится милочка Эмилия, – заявила она с большим чувством мистеру Буллоку после танца. – Она обручена с моим братом Джорджем; правда, в ней нет ничего особенного, но она предоброе и пренаивное создание. У нас все *так* ее любят!» Милая девушка! Кто может измерить всю глубину привязанности, выраженную этим восторженным *так*?

Мисс Уирт и обе эти любящие молодые особы столь упорно и столь часто внушали Джорджу Осборну, как велика приносимая им жертва и какое это сумасбродное великодушие с его стороны снизойти до Эмилии, что я, признаться, боюсь, не возомнил ли Джордж, будто он и в самом деле один из замечательнейших людей во



всей британской армии, и не позволял ли поэтому любить себя из беззаботной покорности судьбе.

Впрочем, хоть он и уходил куда-то каждое утро, о чем мы уже упоминали, и обедал дома только по воскресеньям, причем его сестры думали, что влюбленный юноша сидит пришитый к юбке мисс Седли, на самом деле он не всегда бывал у Эмилии, когда, по мнению окружающих, должен был проводить время у ее ног. Во всяком случае, не раз случалось, что, когда капитан Доббин заходил проведать друга, старшая мисс Осборн (она всегда бывала очень предупредительна к капитану, с большим интересом слушала его военные рассказы и осведомлялась о здоровье его милой матушки), со смехом указывая на противоположную сторону сквера, говорила:

– О, вам следует пройти к Седли, если вам нужен Джордж! Мы его не видим с утра до поздней ночи!

На каковые речи капитан отвечал смущенным и натянутым смехом и, как подобает человеку, знающему тонкости светского обращения, менял разговор, переводя его на какие-нибудь интересные для всех предметы, вроде оперы, последнего бала у принца в Карлтон-Хаусе<sup>[126]</sup> или же погоды – этой благодарной темы для светских разговоров.

– Ну и простофиля же твой любимчик! – говорила мисс Мария мисс Джейн после ухода капитана. – Ты заметила, как он покраснел при упоминании о дежурствах бедного Джорджа?

– Как жаль, что Фредерик Буллок не обладает хотя бы долей его скромности, Мария! – отвечала старшая сестра, вскинув голову.

– Скромности? Ты хочешь сказать – неуклюжести, Джейн! Я вовсе не хочу, чтобы Фредерик обрывал мне кисейные платья, как это было на вечере у миссис Перкинс, когда капитан Доббин наступил тебе на шлейф.

– Ну, Фредерику было трудно наступить на твое платье, ха-ха-ха! Ведь он танцевал с Эмилией!

На самом же деле капитан Доббин так покраснел и смутился только потому, что думал об одном обстоятельстве, о котором считал излишним оповещать молодых особ. Он уже заходил к Седли – конечно, под предлогом свидания с Джорджем, – но Джорджа там не было, и бедняжка Эмилия с печальным, задумчивым личиком одиноко сидела в гостиной у окна. Обменявшись с капитаном пустячными,

ничего не значащими фразами, она решилась спросить: правда ли, будто полк ждет приказа выступить в заграничный поход, и видел ли сегодня капитан Доббин мистера Осборна.

Полк еще не получал приказа выступить в заграничный поход, и капитан Доббин не видел Джорджа.

– Вероятно, он у сестер, – сказал капитан. – Не пойти ли за ним и не привести ли сюда лентяя?

Эмилия ласково и благодарно протянула ему руку, и капитан отправился на ту сторону сквера. Эмилия все ждала и ждала, но Джордж так и не пришел.

Бедное нежное сердечко! Оно продолжает надеяться и трепетать, тосковать и верить. Как видите, о такой жизни мало что можно написать. В ней так редко случается то, что можно назвать событием. День-деньской одно и то же чувство: когда он придет? Одна лишь мысль, с которой и засыпают, и пробуждаются. Мне думается, что в то самое время, как Эмилия расспрашивала о нем капитана Доббина, Джордж был в трактире на Суоллоу-стрит и играл с капитаном Кенноном на бильярде. Джордж был веселый малый, он любил общество и отличался во всех играх, требующих ловкости.

Однажды, после трехдневного его отсутствия, мисс Эмилия надела шляпу и помчалась к Осборнам.

– Как! Вы оставили брата, чтобы прийти к нам? – воскликнули молодые особы. – Вы поссорились, Эмилия? Ну, расскажите нам!

Нет, право, никакой ссоры у них не было.

– Да разве можно с ним поссориться! – говорила Эмилия с глазами, полными слез. Она просто зашла... повидаться со своими дорогими друзьями: они так давно не встречались. И в этот день она казалась до того глупенькой и растерянной, что девицы Осборн и их гувернантка, провожая гостью взором, когда та печально возвращалась домой, пуще прежнего дивились, что мог Джордж найти в бедной маленькой Эмилии.

Да и ничего в этом нет странного! Как могла Эмилия раскрыть свое робкое сердечко для обозрения перед нашими востроглазыми девицами? Лучше ему было съезжиться и притаиться. Я знаю, что девицы Осборн отлично разбирались в кашемировых шالях или розовых атласных юбках; и если мисс Тернер перекрашивала свою в пунцовый цвет и перешивала потом в спенсер или если мисс Пикфорд

делала из своей горностаевой пелерины муфту и меховую опушку, то, ручаюсь вам, эти изменения не ускользали от глаз двух проницательных молодых особ, о которых идет речь. Но, видите ли, есть вещи более тонкого свойства, чем меха или атлас, чем все великолепие Соломона, чем весь гардероб царицы Савской, – вещи, красота которых ускользает от глаз многих знатоков. Есть кроткие, скромные души, которые благоухают и нежно расцветают в тихих тенистых уголках; и есть декоративные цветы величиной с добрую медную грелку, способные привести в смущение само солнце. Мисс Седли не принадлежала к разряду таких подсолнечников, и, мне кажется, было бы ни с чем не сообразно рисовать фиалку величиной с георгин.



Поистине, жизнь юной простодушной девушки, еще не выпорхнувшей из родительского гнезда, не может отличаться такими волнующими событиями, на какие претендует героиня романа. Силки

или охотничьи ружья угрожают взрослым птицам, вылетающим из гнезда в поисках пищи, а то и ястреб налетит, от которого то ли удастся спастись, то ли придется погибнуть; между тем как птенцы в гнезде ведут очень спокойный и отнюдь не романтический образ жизни, лежа на пуху и соломе, пока не наступает и их черед расправить крылья. В то время как Бекки Шарп где-то в далекой провинции носилась на собственных крыльях, прыгала с ветки на ветку и, минуя множество расставленных силков, успешно и благополучно поклевывала свой корм, Эмилия безмятежно пребывала у себя дома на Рассел-сквер. Если она и выходила куда, то лишь в надежном сопровождении старших. Никакое бедствие, казалось, не могло обрушиться на нее или на этот богатый, приветливый, удобный дом, служивший ей ласковым приютом. У матери были свои утренние занятия, ежедневные прогулки и те приятные выезды в гости и по магазинам, которые составляют привычный круг развлечений, или, если хотите, профессию богатой лондонской дамы. Отец совершал свои таинственные операции в Сити, жившем кипучей жизнью в те дни, когда война бушевала по всей Европе и судьбы империй ставились на карту; когда газета «Курьер» насчитывала десятки тысяч подписчиков; когда один день приносил известие о сражении при Виттории<sup>[127]</sup>, другой – о пожаре Москвы, или в обеденный час раздавался рожок газетчика, трубивший на весь Рассел-сквер о таком, например, событии: «Сражение под Лейпцигом<sup>[128]</sup> – участвовало шестьсот тысяч человек – полный разгром французов – двести тысяч убитых». Старик Седли раз или два приезжал домой с очень озабоченным лицом. Да и неудивительно, ведь подобные известия волновали все сердца и все биржи Европы.

Между тем жизнь на Рассел-сквер, в Блумсбери, протекала так, как если бы в Европе ничего решительно не изменилось. Отступление от Лейпцига не внесло никаких перемен в количество трапез, которые вкушал в людской мистер Самбо. Союзники вторглись во Францию, но обеденный колокол звонил по-прежнему в пять часов, как будто ничего не случилось. Не думаю, чтобы бедняжка Эмилия хоть сколько-нибудь тревожилась за исход боев под Бриенном и Монмирайлем<sup>[129]</sup> или чтобы она серьезно интересовалась войной до отречения императора, но тут она захлопала в ладоши, вознесла молитвы – и какие признательные! – и от полноты души бросилась на

шею Джорджу Осборну, к удивлению всех свидетелей такого бурного проявления чувств. Свершилось, мир объявлен, Европа собирается отдыхать, корсиканец низложен, и полку лейтенанта Осборна не придется выступать в поход. Вот ход рассуждений мисс Эмилии. Судьба Европы олицетворялась для нее в поручике Джордже Осборне. Для него миновали все опасности, и Эмилия благословляла небо. Он был ее Европой, ее императором, ее союзными монархами и августейшим принцем-регентом. Он был для нее солнцем и луной. И мне кажется, Эмилия воображала, будто парадная иллюминация и бал во дворце лорд-мэра, данный в честь союзных монархов, предназначались исключительно для Джорджа Осборна.

Мы уже говорили о корысти, эгоизме и нужде, как о тех бессердечных наставниках, которые руководили воспитанием бедной мисс Бекки Шарп. А у мисс Эмилии Седли ее главной наставницей была любовь; и просто изумительно, какие успехи сделала наша юная ученица под руководством этой столь популярной учительницы! После пятнадцати— или восемнадцатимесячных ежедневных и постоянных прилежных занятий с такой просвещенной воспитательницей какое множество тайн познала Эмилия, о которых понятия не имели ни мисс Уирт, ни черноглазые девицы, жившие по ту сторону сквера, ни даже сама старуха мисс Пинкертон из Чизика! Да и, по правде говоря, что могли в этом понимать такие чопорные и почтенные девственницы? Для мисс П. и мисс У. нежной страсти вообще не существовало: я не решился бы даже заподозрить их в этом. Мисс Мария Осборн питала, правда, «привязанность» к мистеру Фредерику-Огастесу Буллоку, совладельцу фирмы «Халкер, Буллок и К°», но ее чувства были самые респектабельные, и она точно так же вышла бы замуж за Буллока-старшего, потому что все ее помыслы были направлены на то, на что и полагается их направлять всякой хорошо воспитанной молодой леди: на особняк на Парк-лейн, на загородный дом в Уимблдоне, на красивую коляску, на пару чудовищно огромных лошадей и выездных лакеев и на четвертую часть годового дохода знаменитой фирмы «Халкер, Буллок и К°», — словом, на все блага и преимущества, воплощенные в особе Фредерика-Огастеса. Если бы был уже изобретен флердоранж (эта трогательная эмблема женской чистоты, ввезенная к нам из Франции,



где, как правило, дочерей продают в замужество), то, конечно, мисс Мария надела бы на себя венок непорочности и уселась бы в дорожную карету рядом со старым, лысым, красноносым подагриком Буллоком-старшим и с похвальным усердием посвятила бы свою прекрасную жизнь его счастью. Только старый-то джентльмен был уже давно женат, и потому мисс Мария отдала свое юное сердце младшему компаньону. Прелестные распускающиеся цветы померанца! На днях я видел, как некая новобрачная (в девичестве мисс Троттер), разукрашенная ими, впорхнула в дорожную карету у церкви Св. Георга (Ганновер-сквер), а за нею проковылял лорд Мафусаил. С какой чарующей скромностью она опустила на окна экипажа шторы – о милая непорочность! На бракосочетание съехалась чуть ли не половина всех карет Ярмарки Тщеславия.

Не такого рода любовь завершила воспитание Эмилии и за какой-нибудь год превратила славную молодую девушку в славную молодую женщину, которая станет хорошей женой, едва лишь пробьет счастливый час. Юная сумасбродка эта (быть может, со стороны родителей было очень неразумно поощрять ее в таком беззаветном поклонении и глупых романтических бреднях) полюбила от всего сердца молодого офицера, состоявшего на службе его величества и нам уж несколько знакомого. Она начинала думать о нем с первой же минуты своего пробуждения, и его имя было последним, которое она поминала в своих вечерних молитвах. В жизни не видела она такого умного, такого обворожительного мужчины; как он хорош верхом на коне, какой он танцор – словом, какой он герой! Рассказывают о поклоне принца-регента! Но разве можно сравнить это с тем, как кланяется Джордж! Эмилия видела мистера Браммела, которого все так превозносили. Но можно ли этого человека ставить рядом с ее Джорджем? Среди молодых щеголей, посещавших оперу (а в те дни были щеголи не нынешним чета, они появлялись в опере в шапокляках!), не было ни одного под стать Джорджу! С ним мог сравниться только сказочный принц; как великодушно с его стороны снизойти до ничтожной Золушки! Будь мисс Пинкертон наперсницей Эмилии, она, несомненно, попыталась бы положить предел этому слепому обожанию, но едва ли с большим успехом. Такова уж природа некоторых женщин. Одни из них созданы для интриг, другие для

любви; и я желаю каждому почтенному холостяку, читающему эти строки, выбрать себе жену того сорта, какой ему больше по душе.

Под властью своего всепоглощающего чувства мисс Эмилия самым бессовестным образом оставила в небрежении всех своих двенадцать милых подруг в Чизике, как обычно и поступают такие себялюбивые особы. Разумеется, у нее было только одно на уме, а мисс Солтайр была слишком холодна для наперсницы, писать же мисс Суорц, курчавой и смуглой наследнице с Сент-Китса, Эмилии и в голову не приходило. Она брала к себе на праздники маленькую Лору Мартин и, боюсь, сделала ее поверенной своих тайн, пообещав бедной сиротке взять ее к себе после своего замужества и преподав ей бездну всяких сведений относительно любовной страсти, которые, вероятно, были исключительно полезны и новы для этой юной особы. Увы, увы! Боюсь, что ум у Эмилии был недостаточно уравновешен!

Но что же делали ее родители, как они не уберегли это сердечко, позволив ему так сильно биться? Старик Седли, по-видимому, мало обращал внимания на творившееся вокруг. В последнее время он казался очень озабоченным, дела в Сити поглощали его целиком. Миссис Седли была такой покладистой и безучастной натурой, что даже не ревновала дочь. Мистер Джоз находился в Челтнеме, где выдерживал осаду со стороны какой-то ирландской вдовушки. Весь дом был в распоряжении Эмилии, и – ах! – иной раз она чувствовала себя в нем слишком одинокой, – не то чтобы ее одолевали сомнения, ибо Джорджу нужно же бывать в казармах конной гвардии и он не всегда может отлучиться из Чатема<sup>[130]</sup>! Кроме того, он должен навещать друзей и сестер и показываться в обществе (ведь он – украшение всякого общества!), когда бывает в Лондоне; а когда бывает в полку, то слишком утомляется, чтобы писать длинные письма. Я знаю, где Эмилия прячет пакет с письмами, и могу пробраться в ее комнату и исчезнуть незаметно, как Иакимо<sup>[131]</sup>... Как Иакимо? Нет, это некрасивая роль. Лучше я поступлю, как Лунный Свет, и, не причиняя вреда, заляну в постель, где грезят во сне вера, красота и невинность.

Но если письма Осборна были кратки и отличались слогом, свойственным воину, то нужно признать, что, вздумай мы напечатать письма мисс Седли к мистеру Осборну, нам пришлось бы растянуть этот роман на такое количество томов, что он оказался бы не под силу



и самому чувствительному читателю. Эмилия не только исписывала целые листы вдоль и поперек и даже крест-накрест, в самых противоестественных комбинациях, не оставляя живого места на полях и между строк, но и без зазрения совести выписывала целые страницы из стихотворных сборников и подчеркивала отдельные слова и фразы с самым неистовым жаром, являя все признаки расстройства, свойственного такому душевному состоянию. Она не была героиней. Ее письма были полны повторений. Она нередко забывала о грамматике, а в стихах не соблюдала размера. Но, о mesdames, если вам не разрешается взволновать преданное вам сердце иной раз и не по правилам синтаксиса или если вас нельзя любить, пока вы не усвоите разницы между трехстопником и четырехстопником, то пусть тогда поэзия летит к чертям и да погибнут самым жалким образом все школьные учителя.

## **Глава XIII,** ***чувствительная, но богатая и другим*** ***содержанием***

Боюсь, что джентльмен, к которому были адресованы письма мисс Эмилии, отличался критическим складом ума. Где бы ни находился поручик Осборн, за ним по пятам следовало такое множество записок, что в офицерском собрании ему покоя не было от всяких шуточек. В конце концов он приказал слуге передавать их ему, только когда он будет один у себя в комнате. Кто-то видел, как он зажигал одной из них сигару, к ужасу капитана Доббина, который, я уверен, не пожалел бы банковского билета за такой автограф.

Долгое время Джордж старался держать свои сердечные дела в секрете. Что тут была замешана дама – этого он не скрывал. «И не первая, – говорил прапорщик Спуни прапорщику Стаблу. – Этот Осборн – настоящий дьявол! В Демераре дочка судьи просто с ума по нем сходила, и потом еще эта красавица кварталонка мисс Пай в Сент-Винсенте. А уж с тех пор как полк вернулся домой, он, говорят, стал сущим Дон Жуаном, ей-богу!»

По мнению Стабла и Спуни, стать «сущим Дон Жуаном, ей-богу» – значило обладать самым лестным для мужчины качеством. Да и вообще репутация Осборна среди полковой молодежи стояла очень высоко. Он отличался во всех видах спорта, и в пении застольных песен, и на смотрах; сыпал деньгами, которыми его щедро снабжал отец, и одевался лучше всех в полку, обладая самым богатым и добротным гардеробом. Солдаты его обожали. Он мог перепить всякого другого офицера в собрании, не исключая старика Хэвитона, полковника; он мог устоять в боксе даже против рядового Наклза, который раньше выступал на ринге и которого давно произвели бы в капралы, не будь он отпетым пьяницей; был лучшим игроком в крикетной команде полкового клуба; скакал на собственной лошади Молнии и выиграл гарнизонный кубок на Квебекских скачках. Не только Эмилия боготворила Осборна – Стабл и Спуни видели в нем некоего Аполлона; Доббин считал его Чудо-Крайтоном<sup>[132]</sup>, а супруга

майора, миссис О'Дауд, соглашалась, что он блестящий кавалер и напоминает ей Фицджеральда Фогарти, второго сына лорда Каслфогарти.

Итак, Стабл, Спунни и вся остальная компания предавались самым романтическим догадкам насчет корреспондентки Осборна, высказывая мнение, что в него влюбилась некая герцогиня в Лондоне, или что это дочь генерала – она сговорена с другим, а сама без памяти от Джорджа, или жена некоего члена парламента, которая спит и видит, как бы бежать с ним на четверке вороных; называли и другие жертвы страсти, восхитительно пламенной, романтической и одинаково компрометантной для обеих сторон. Но в ответ на все эти догадки Джордж хранил упорное молчание, предоставляя своим юным почитателям и друзьям изобретать всякие истории и разукрашивать их всеми средствами своей фантазии.

В полку так бы ничего и не узнали, если бы не нескромность капитана Доббина. Однажды капитан сидел за завтраком в офицерском собрании, когда Кудахт, помощник полкового лекаря, и оба ранее названных достойных джентльмена обсуждали на все лады интрижку Осборна. Стабл твердил, что его дама сердца – герцогиня и что она близка ко двору королевы Шарлотты, а Кудахт божился, что она оперная певица самой незавидной репутации. Услышав это, Доббин так возмутился, что, хотя рот его был набит яйцами и хлебом с маслом и хотя ему вообще следовало бы молчать, не удержался и выпалил:

– Кудахт, ты совершеннейший болван! Вечно вы несете чепуху и сплетничаете. Осборн не собирается убегать с герцогинями или губить модисток. Мисс Седли – одна из самых очаровательных молодых особ, какие когда-либо жили на свете. Джордж давным-давно с ней помолвлен. И я никому не советовал бы говорить о ней гадости в моем присутствии!

На этом Доббин прервал свою речь, весь красный от волнения, и едва не поперхнулся чаем. Спустя полчаса эта история облетела весь полк, и в тот же вечер жена майора, миссис О'Дауд, написала своей сестре Глорвине в О'Даудстаун, чтобы та не торопилась с отъездом из Дублина: молодой Осборн, оказывается, давно помолвлен.

В тот же самый вечер за стаканом шотландского грога она, как водится, поздравила поручика, и Осборн, взбешенный, отправился

домой отчитать Доббина (который отклонил приглашение на вечер к майорше О'Дауд и сидел у себя в комнате, играя на флейте и, как мне думается, сочиняя стихи самого меланхолического свойства) – за то, что он выдал его тайну.

– Кой черт просил тебя трезвонить о моих делах? – набросился Осборн на приятеля. – За каким дьяволом нужно знать всему полку, что я собираюсь жениться? К чему позволять этой болтунье, старой ведьме Пегги О'Дауд, трепать мое имя за ее распроклятым ужином и звонить в колокола о моей помолвке на все три королевства? Да, кроме того, Доббин, какое ты имел право говорить, что я помолвлен, и вообще вмешиваться в мои дела?

– Мне кажется... – начал капитан Доббин.

– Наплевать, что тебе кажется! – перебил его младший товарищ. – Я тебе кругом обязан, я это знаю, знаю слишком хорошо! Но не хочу я вечно выслушивать всякие твои наставления только потому, что ты меня на пять лет старше! Не стану я, черт возьми, терпеть твой тон превосходства, твое проклятое снисхождение и покровительство. Да, снисхождение и покровительство! Хотелось бы мне знать, чем я тебя хуже?

– Ты помолвлен? – прервал его капитан Доббин.

– Какое, черт подери, дело тебе или кому угодно, помолвлен я или нет?

– Ты стыдишься этого? – продолжал Доббин.

– Какое вы имеете право, сэр, задавать мне подобный вопрос, хотелось бы мне знать?

– Великий боже! Уж не собираешься ли ты отказаться от помолвки? – спросил Доббин, вскакивая с места.

– Иными словами, вы меня спрашиваете, честный ли я человек или нет? – окончательно разъярился Осборн. – Это вы имеете в виду? За последнее время вы усвоили себе со мной такой тон, что будь я... если стану и дальше это терпеть!

– Что же я такого сделал? Я только говорил тебе, что ты невнимателен к очень милой девушке, Джордж. Я говорил тебе, что, когда ты едешь в Лондон, тебе нужно сидеть у нее, а не в игорных домах в районе Сент-Джеймса.

– Очевидно, вы не прочь получить обратно свои деньги, – сказал Джордж с усмешкой.

– Конечно, не прочь и всегда был не прочь, разве тебе это не известно? – ответил Доббин. – Ты говоришь, как подобает благородному человеку.

– Нет, к черту, Уильям, прошу прощения! – перебил его Джордж в порыве раскаяния. – Ты выручал меня по-дружески один бог знает сколько сотен раз! Ты вызволял меня из множества всяких бед! Когда гвардеец Кроули обыграл меня на такую огромную сумму, я пропал бы, если бы не ты. Непременно пропал бы, не спорь! Но только зачем ты вечно изводишь меня, пристаешь со всякими расспросами. Я очень люблю Эмилию, я обожаю ее... и тому подобное. Не смотри на меня сердито. Она само совершенство, я знаю это. Но, видишь ли, всякий интерес теряется, когда что-нибудь само дается тебе в руки. Черт побери! Полк только что вернулся из Вест-Индии, надо же мне немного побеситься, а потом, когда я женюсь, я исправлюсь... Честное слово, я образумлюсь! И... слушай, Доб, не сердись, я отдам тебе в следующем месяце ту сотню фунтов – отец, я знаю, раскошелится! И я отпрошусь у Хэнитона в отпуск, съезжу в Лондон и завтра же повидаюсь с Эмилией... Ну, как? Удовлетворен?

– На тебя, Джордж, нельзя долго сердиться, – промолвил добряк-капитан, – а что касается денег, старина, то ты ведь сам знаешь: нуждайся я в них, и ты поделишься со мной последним шиллингом.

– Конечно, Доббин, честное слово! – заявил Джордж с необычайным великодушием, хотя, по правде сказать, у него никогда не бывало свободных денег.

– Одного я только желал бы: чтобы ты, Джордж, наконец перебесился. Если бы ты видел личико бедняжки мисс Эмми, когда она на днях справлялась у меня о тебе, ты послал бы свои бильярдные куда-нибудь подальше. Поезжай утешь ее, негодный! Поди напиши ей длинное письмо. Сделай что-нибудь, чтобы ее порадовать. Для этого так мало нужно.

– Она и в самом деле чертовски в меня влюблена, – сказал Осборн с самодовольным видом и отправился в офицерское собрание заканчивать вечер в кругу веселых товарищей.

Тем временем на Рассел-сквер Эмилия смотрела на луну, озарявшую тихую площадь так же, как и плац перед Чатемскими казармами, где был расквартирован полк поручика Осборна, и размышляла, чем-то сейчас занят ее герой. Быть может, он на бивуаке,

думалось ей; быть может, делает обход часовых; быть может, дежурит у ложа раненого товарища или же изучает военное искусство в своей одинокой комнатке. И ее тихие думы полетели вдаль, словно были ангелами и обладали крыльями, вниз по реке, к Чатему и Рочестеру, стремясь заглянуть в казармы, где находился Джордж... Если принять это в соображение, то, пожалуй, удачно, что ворота оказались запертыми и часовой никого не пропускал в казармы, – бедному ангелочку в белоснежных одеждах не привелось услышать, какие песни орали наши молодые люди за стаканом пунша.

На другой день после упомянутой беседы в Чатемских казармах молодой Осборн, решив показать другу, как он держит слово, собрался ехать в Лондон, чем вызвал горячее одобрение капитана Доббина.

– Мне хотелось бы сделать ей какой-нибудь подарочек, – признался Джордж другу, – но только я сижу без гроша, пока отец не расщедрится.

Доббин не мог допустить, чтобы такой порыв великодушия и щедрости пропал зря, и потому ссудил Осборна несколькими фунтовыми билетами, которые тот и принял, немного поломавшись.

И я осмеливаюсь утверждать, что Джордж непременно купил бы для Эмилии что-нибудь очень красивое, но только при выходе из экипажа на Флит-стрит он загляделся на красивую булавку для галстука в витрине какого-то ювелира – и не мог устоять против соблазна. Когда он заплатил за нее, у него осталось слишком мало денег, чтобы позволить себе какое-нибудь дальнейшее проявление любезности. Но ничего: поверьте, Эмилии вовсе не нужны были его подарки. Когда он пожаловал на Рассел-сквер, лицо у нее просияло, словно Джордж был ее солнцем. Маленькие горести, опасения, слезы, робкие сомнения, тревожные думы многих дней и бессонных ночей были мгновенно забыты под действием этой знакомой неотразимой улыбки. Когда он появился в дверях гостиной, великолепный, с надушенными бакенбардами, разливая сияние, словно какое-то божество, Самбо, прибежавший доложить о капитане Осборне (на радостях он произвел молодого офицера в следующий чин), тоже просиял сочувственной улыбкой, а увидев, как девушка вздрогнула, залилась румянцем и быстро поднялась, оставив свой наблюдательный пункт у окна, поспешил ретироваться; и как только дверь за ним закрылась, Эмилия, вся трепеща, бросилась на грудь к Джорджу

Осборну, словно это было естественное убежище, где она могла укрыться. О бедная, растревоженная малютка! Самое красивое дерево в лесу, с самым прямым стволом, с самыми крепкими ветвями и самой густой листвой, на котором ты собираешься вить свое гнездо и ворковать, может быть, обречено на сруб и скоро с треском рухнет... Какое старое-старое сравнение человека со строевым лесом!

Джордж между тем нежно целовал Эмилию в лоб и сияющие глаза и был весьма мил и добр; а она думала о том, что его брильянтовая булавка в галстук (которой она еще на нем не видала) – самое прелестное украшение, какое только можно себе вообразить.

Наблюдательный читатель, от которого не ускользнуло кое-что и в прошлом поведении нашего молодого офицера и который сохранил в памяти наш рассказ о краткой беседе, имевшей место между ним и капитаном Доббином, вероятно, пришел уже к кое-каким заключениям касательно характера мистера Осборна. Некий циник-француз сказал, что в любовных делах всегда есть две стороны: одна любит, а другая позволяет, чтобы ее любили. Иногда любящей стороной является мужчина, иногда женщина. Не раз бывало, что какой-нибудь ослепленный пастушок по ошибке принимал бесчувственность за скромность, тупость за девичью сдержанность, полнейшую пустоту за милую застенчивость, – одним словом, гусыню – за лебедя! Быть может, и какая-нибудь наша милая читательница наряжает осла во всю пышность и блеск своего воображения, восхищаясь его тупоумием, как мужественной простотой, преклоняясь перед его себялюбием, как перед мужественной гордостью, усматривая в его глупости величественную важность; словом, обходясь с ним так, как блистательная фея Титания с неким афинским ткачом<sup>[133]</sup>. Мне сдается, я видел, как разыгрываются в этом мире подобные «комедии ошибок»<sup>[134]</sup>. Во всяком случае, несомненно, что Эмилия считала своего возлюбленного одним из самых доблестных и неотразимых мужчин во всей империи. Вполне возможно, что и сам Осборн придерживался этого мнения.

Джордж был несколько легкомыслен. Но разве не легкомысленны многие молодые люди? И разве девушкам не нравятся больше повесы, чем рохли? Просто он еще не перебесился, но скоро перебесится. Выйдет в отставку – ведь мир уже объявлен, корсиканское чудовище

заклучено на острове Эльба, всякому продвижению по службе настал конец, и нет никаких перспектив для дальнейшего применения его несомненных военных талантов и его доблести. Получаемых от отца средств в добавление к приданому Эмилиии хватит на то, чтобы уютно устроиться где-нибудь в деревне, в какой-нибудь местности, где можно развлекаться спортом. Джордж стал бы немножко охотиться, немножко заниматься сельским хозяйством, и они с Эмилиией были бы счастливы. О том, чтобы оставаться в армии в качестве женатого человека, наш герой и думать не хотел. Представьте себе миссис Джордж Осборн на офицерской квартире в какой-нибудь провинциальной дыре. Или, еще того хуже, в Ост- или Вест-Индии, в обществе офицеров, под крылышком майорши миссис О'Дауд. Эмилиия умирала со смеху, слушая рассказы Осборна о майорше. Нет, он слишком горячо любит Эмилиию, чтобы заставлять ее сносить вульгарные выходки этой ужасной женщины и обречь на суровую долю жены военного. О себе-то он не заботится, но его дорогая девочка должна занять в обществе место, подобающее его жене. Можете быть уверены, что она соглашалась со всеми этими планами, как согласилась бы со всякими другими, лишь бы они исходили от того же лица.

Поддерживая такой разговор и строя бесчисленные воздушные замки (которые Эмилиия украшала всевозможными цветниками, тенистыми аллеями, деревенскими церквями, воскресными школами и тому подобным, тогда как мысли Джорджа были направлены на конюшни, псарни и винный погреб), наша юная чета провела очень весело часа два. А так как в распоряжении поручика был всего лишь один день и его ждала в Лондоне куча самых неотложных дел, то было внесено предложение, чтобы Эмилиия пообедала у своих будущих золовок. Это предложение было с радостью принято. Джордж проводил Эмилиию к сестрам и там оставил ее (причем Эмилиия на этот раз болтала и щебетала с таким оживлением, что удивила молодых девиц, решивших, что Джордж, пожалуй, может сделать из нее что-нибудь путное), а сам отправился по своим делам.

Другими словами, он вышел из дому, съел порцию мороженого в кондитерской на Чаринг-Кросс, примерил новый сюртук на Пэл-Мэл, забежал к «Старому Слотеру»<sup>[135]</sup> поведать капитана Кеннона, сыграл с капитаном одиннадцать партий на бильярде, из которых



выиграл восемь, и вернулся на Рассел-сквер, опоздав на полчаса к обеду, но зато в отличнейшем расположении духа.

В совершенно ином состоянии духа был старый мистер Осборн. Когда этот джентльмен приехал из Сити и был встречен в гостиной дочерьми и чопорной мисс Уирт, они сразу увидели по его лицу – оно и в лучшую-то пору было одутловатым, торжественно-важным и желтым – и по нахмуренным, судорожно подергивающимся черным бровям, что за его широким белым жилетом бьется сердце, чем-то расстроенное и взволнованное. Когда же Эмилия подошла к нему поздороваться, что она всегда делала с превеликим трепетом и робостью, старик что-то плухо проворчал вместо приветствия и выпустил ее руку из своей большой волосатой лапы, не сделав ни малейшей попытки пожать эти маленькие пальчики. Он мрачно оглянулся на старшую дочь, которая безошибочно поняла значение этого взгляда, вопрошавшего: «На кой черт она здесь?» – и сейчас же ответила:

– Джордж в городе, папа. Он поехал в казармы и будет к обеду.

– Ах, вот как, он здесь? Имей в виду, Джейн, ждать с обедом мы его не будем!

С этими словами достойный муж опустился в свое любимое кресло, и в аристократически холодной, пышно обставленной гостиной воцарилась мертвая тишина, нарушаемая только испуганным тиканьем больших французских часов.

Когда этот хронометр, увенчанный жизнерадостной бронзовой группой, изображавшей жертвоприношение Ифигении<sup>[136]</sup>, гулко, словно почтенный осипший соборный колокол, отсчитал пять ударов, мистер Осборн яростно дернул за сонетку, и в гостиную поспешно вошел дворецкий.

– Обедать! – рявкнул мистер Осборн.

– Мистер Джордж еще не вернулся, сэр, – доложил слуга.

– К черту мистера Джорджа, сэр! Разве я не хозяин в доме? Обедать!

Мистер Осборн грозно насупился, Эмилия задрожала. Остальные три дамы обменялись взглядами, посылая друг другу телеграфные знаки. Послушный колокол на нижнем этаже зазвонил, извещая о трапезе. Когда звон замолк, глава семейства засунул руки в широкие карманы длинного синего сюртука с бронзовыми пуговицами и, не

дожидаясь дальнейшего приглашения, стал спускаться по лестнице один, хмурясь через плечо на четырех женщин.

– В чем дело, дорогая? – спрашивали они друг дружку, сорвавшись со своих мест и на цыпочках поспешая за родителем.

– Должно быть, фонды упали на бирже, – прошептала мисс Уирт; и с трепетом, в молчанье, оробевшая дамская компания трусцой последовала за своим мрачным главою. Все молча расселись за столом. Старик пробурчал молитву, прозвучавшую с суровостью проклятия. Большие серебряные крышки были сняты с блюд. Эмилия дрожала, сидя на своем месте, – она была ближайшей соседкой грозного Осборна, и, кроме нее, по ту сторону стола никого больше не было – свободное место принадлежало Джорджу.

– Супу? – замогильным голосом спросил мистер Осборн, схватив разливательную ложку и пронизывая взглядом Эмилию. Налив ей и всем остальным, он некоторое время не произносил ни слова.

– Уберите тарелку мисс Седли, – приказал он наконец. – Она не может есть этот суп, да и я не могу. Он никуда не годится. Уберите суп, Хикс, а ты, Джейн, завтра же прогони кухарку!

Сделав эти замечания насчет супа, мистер Осборн очень кратко высказался относительно рыбы, также в весьма свирепом и ядовитом тоне, и помянул недобрым словом Биллингсетский рынок с решительностью, вполне достойной этого места; после чего он в полном молчании стал пить вино, принимая все более и более грозный вид, пока резкий стук в дверь не возвестил о прибытии Джорджа, отчего все несколько оживились.

Он не мог прийти раньше. Генерал Дагилет заставил его дожидаться в конногвардейских казармах. Все равно, супу или рыбы. Дайте что-нибудь. Ему совершенно безразлично. Чудесная баранина, да и все чудесно!

Радужное настроение молодого офицера представляло разительный контраст с суровостью его отца. И Джордж в течение всего обеда без умолку болтал, к полному восхищению всех, а особенно одной из присутствующих, называть которую нет надобности.

Как только молодые леди покончили с апельсинами и стаканом вина, которым обычно завершались унылые трапезы в доме мистера Осборна, был дан сигнал к отплытию, и дамы поднялись со своих

мест и удалились в гостиную. Эмилия надеялась, что Джордж скоро присоединится к ним. Она принялась играть его любимые вальсы (лишь недавно ввезенные в Англию) на большом, одетом в кожаный чехол рояле с высокими резными ножками. Но эта маленькая уловка не привлекла Джорджа. Он оставался глух к призыву вальсов; звуки становились все нерешительнее и постепенно замирали. Огорченная музыкантша оставила наконец в покое огромный инструмент. И хотя три ее приятельницы исполнили несколько бравурных пьесок, представлявших самое свежее и блестящее пополнение их репертуара, Эмилия не слышала ни единой ноты и сидела задумавшись, предчувствуя сердцем какую-то беду. Нахмуренные брови старика Осборна, и обычно-то грозные, никогда еще так не страшили Эмилию. Его взгляд провожал ее до порога столовой, словно она была в чем-то виновата. Когда ей подали кофе, она вздрогнула, точно дворецкий, мистер Хикс, предложил ей чашу с ядом. Какая тайна скрывалась за всем этим? О женщины! Они возятся и нянчатся со своими предчувствиями и любовно носятся с самыми мрачными мыслями, как матери с увечными детьми.

Угрюмый вид отца заронил некоторые опасения и в душу Джорджа Осборна. Если родитель так хмурит брови, если у него такой невероятно желчный вид, то как выжать из него деньги, в которых молодой офицер отчаянно нуждался? И Джордж пустился расхваливать родительское вино. Это был обычный способ умаслить старого джентльмена.

– Мы никогда не получали в Вест-Индии такой мадеры, как ваша, сэр. Полковник Хэвитон вылакал три бутылки из тех, что вы послали мне прошлый раз.

– Правда? – сказал старый джентльмен. – Она обходится мне по восемь шиллингов за бутылку.

– Не возьмете ли вы шесть гиней за дюжину такой мадеры, сэр? – продолжал Джордж со смехом. – Один из самых великих людей в королевстве хотел бы приобрести такого винца.

– Да что ты? – проворчал старик. – Что ж, желаю ему удачи!

– Когда генерал Дагилет был в Чатеме, сэр, Хэвитон давал завтрак в его честь и попросил меня ссудить ему несколько бутылок вашей мадеры. Генералу она страшно понравилась, и он пожелал

приобрести для главнокомандующего целую бочку. Он правая рука его королевского высочества!

– Да, вино недурное! – заметили нахмуренные брови, и настроение их явственно улучшилось. Джордж собирался уже воспользоваться благоприятной минутой, чтобы поговорить о деньгах, когда отец, опять напустивший на себя важность, велел сыну, впрочем, довольно сердечным тоном, позвонить, чтобы подали красного вина.

– Посмотрим, Джордж, уступит ли оно мадере, которая, конечно, к услугам его королевского высочества. А пока мы будем распивать вино, я хочу поговорить с тобой об одном важном деле.

Эмилия, сидевшая наверху в тревожном ожидании, слышала звонок, требовавший красного вина. Невольно она подумала, что это какой-то зловещий звонок, предвещающий недоброе. Если вас постоянно томят предчувствия, то некоторые из них обязательно сбудутся, будьте уверены!

– Вот что мне хотелось бы знать, Джордж, – начал старый джентльмен, смакуя первые плотки вина. – Вот что мне хотелось бы знать: как у тебя и... гм... и у этой малышки наверху обстоят дела?

– Мне кажется, сэр, это нетрудно заметить, – сказал Джордж с самодовольной усмешкой. – Достаточно ясно, сэр... Какое чудесное вино!

– Что это значит – достаточно ясно, сэр?

– Черт возьми, сэр, не нажимайте на меня так энергически! Я человек скромный. Я... гм... не считаю себя покорителем сердец, но должен признаться, что она чертовски влюблена в меня!.. Всякий это заметит, если он не слепой.

– А ты сам?

– Да разве, сэр, вы не приказывали мне жениться на ней? А ведь я пай-мальчик! И разве наши родители не уладили этот вопрос в незапамятные времена?

– Нечего сказать, пай-мальчик! Вы думаете, я не слышал о ваших делах, сэр, с лордом Тарквином, с капитаном гвардии Кроули, достопочтенным мистером Дьюсэйсом и тому подобное? Берегитесь, сэр, берегитесь!

Старый джентльмен произносил эти аристократические имена с величайшим смаком. Где бы он ни встречал вельможу, он раболепствовал перед ним и величал его милордом с таким пылом, на

какой способен только свободнорожденный бритт. Приезжая домой, он выискивал в Книге пэров биографию этого лица и поминал его на каждом третьем слове, хвастаясь сиятельным знакомством перед дочерьми. Он простирался перед ним ниц и грелся в его лучах, как неаполитанский нищий греется на солнце. Джордж встревожился, услышав перечисленные фамилии. Он испугался, не осведомлен ли отец о некоторых его делишках за карточным столом. Но старый моралист успокоил его, заявив невозмутимо:

– Ну, ладно, ладно! Молодые люди все одинаковы. Меня утешает, Джордж, что ты возвращаешься в лучшем английском обществе... надеюсь, что это так, верю и надеюсь... мои средства дают тебе эту возможность.

– Благодарю вас, сэра, – сказал Джордж, сразу хватая быка за рога. – Но нельзя жить среди такой знати, не имея ни гроша в кармане. А мой кошелек – вот, взгляните, сэра! – И он поднял двумя пальцами подарочек, связанный Эмилией и содержащий в себе последний фунтовый билет из числа полученных от Доббина.

– Вы не будете нуждаться, сэра. Сын английского купца не будет нуждаться, сэра! Мои гинеи не хуже, чем у них, Джордж, мой мальчик! И я не трясусь над ними. Зайди к мистеру Чопперу, когда будешь завтра в Сити: у него найдется кое-что для тебя. Я не жалею денег, когда мне известно, что ты в хорошем обществе, потому что в хорошем обществе ты не свихнешься. Не думай, что во мне говорит гордость. Я рожден в скромной доле, но тебе больше повезло. Воспользуйся же своим положением, водись со знатной молодежью. Многим из них не под силу истратить шиллинг там, где ты можешь кинуть гинею, мой мальчик. А что касается розовых шляпок (тут из-под нависших бровей был брошен многозначительный, но не очень приятный взгляд) – что ж, мальчишки все одинаковы! Есть только одна вещь, которой я приказываю тебе избегать, а в случае непослушания не дам тебе больше ни шиллинга, клянусь богом! Это касается игры, сэра!

– Ну конечно, сэра! – сказал Джордж.

– Однако вернемся к вопросу об Эмили. Почему бы тебе не жениться на какой-нибудь девице познатнее дочери биржевого маклера, Джордж? Вот что мне хотелось бы знать!

– Ведь это дело семейное, сэр, – сказал Джордж, пощелкивая орехи. – Вы с мистером Седли договорились о нашем браке чуть ли не сто лет тому назад!

– Так-то оно так, но времена меняются, сэр. Я не отрицаю, что Седли помог мне сколотить состояние, или, вернее сказать, направил мои способности и таланты по верному пути, вследствие чего я и завоевал то руководящее положение, которое, смею надеяться, я занимаю в торговле свечным салом и в Сити. Я доказал Седли свою признательность, и он подверг ее слишком серьезным испытаниям за последнее время, сэр, как это вам подтвердит, сэр, моя чековая книжка. Джордж! Скажу тебе по секрету: мне не нравится, как идут дела у мистера Седли. Мой главный конторщик, мистер Чоппер, придерживается того же мнения, а он человек опытный и знает биржу, как никто в Лондоне. «Халкер и Буллок» сторонятся Седли. Боюсь, что он промахнулся в своих расчетах. Говорят, будто судно «Jeune Emilie»<sup>[137]</sup>, захваченное американским капером «Меласса», принадлежало ему. Так и знай: пока я не буду уверен, что за Эмилией дают десять тысяч приданого, ты не женишься на ней. Не желаю вводить в свою семью дочь банкрота! Ну-ка, налей мне еще вина... или лучше позвони, чтобы подали кофе!

С этими словами мистер Осборн развернул вечернюю газету, и Джордж понял по этому намеку, что беседа кончена и папаша хочет немножко вздремнуть.

Он поспешил наверх к Эмили в очень веселом расположении духа. Что заставило его быть в этот вечер таким внимательным к ней, чего уж давно не замечалось, так усердно занимать ее, быть таким нежным, таким блестящим собеседником? Великодушно ли его сердце прониклось теплотой в предвидении несчастья, или же мысль об утрате этого маленького сокровища заставила Джорджа ценить его больше?

Эмилия много дней потом жила впечатлениями этого счастливого вечера, вспоминала слова Джорджа, его взгляды, романсы, которые он пел, его позу, когда он склонялся над ней или же смотрел на нее издали. Ей казалось, что никогда еще ни один вечер в доме мистера Осборна не проходил так быстро. И впервые наша молодая девица едва не рассердилась, когда за нею раньше времени явился мистер Самбо с ее шалью.

На следующее утро Джордж зашел к Эмилии и нежно с нею распрощался, а затем поспешил в Сити, где посетил мистера Чоппера, главного конторщика отца, и получил от этого джентльмена документ, который и обменял у «Халкера и Буллока» на целую кучу денег. Когда Джордж входил в банкирскую контору, старый Джон Седли выходил из приемной банкира с очень мрачным видом, но крестник был слишком весело настроен, чтобы заметить угнетенное состояние достойного биржевого маклера или печальный взгляд, которым окинул его старый добряк. Молодой Буллок не выпянул из приемной с веселой улыбкой, чтобы проводить старика, как это бывало в прежние годы.

И когда широкие двери банкирского дома «Халкер, Буллок и К°» закрылись за мистером Седли, кассир мистер Квил (чье человеколюбивое занятие состоит в том, чтобы выдавать хрустящие банковые билеты из ящика конторки и выбрасывать медной лопаточкой соверены) подмигнул мистеру Драйверу, конторщику, сидевшему справа от него. Мистер Драйвер подмигнул в ответ.

– Не выгорело, – шепнул мистер Драйвер.

– Да, дело дрянь! – сказал мистер Квил. – Как позволите уплатить вам, мистер Джордж Осборн?

Джордж живо рассовал по карманам кучу банковых билетов, и в тот же вечер в офицерском собрании он рассчитался с Доббином, вернув ему пятьдесят фунтов.

И в этот самый вечер Эмилия написала ему нежнейшее из своих длинных писем. Сердце ее было преисполнено любви, но все еще чуяло беду. Почему мистер Осборн так мрачен? – спрашивала она. Не вышло ли у них чего-нибудь с ее отцом? Бедный папа вернулся из Сити таким расстроенным, что все домашние за него в тревоге, – словом, целых четыре страницы любви, опасений, надежд и предчувствий.

– Бедняжка Эмми... милая моя маленькая Эмми! Как она влюблена в меня, – говорил Джордж, пробегая глазами ее послание. – Черт возьми, до чего же голова трещит от этого пунша!

В самом деле – бедняжка Эмми!

## Глава XIV

### Мисс Кроули у себя дома

Около того же времени к чрезвычайно уютному и благоустроенному дому на Парк-лейн подъехала дорожная коляска с ромбовидным гербом на дверцах, с недовольною особою женского пола, в зеленой вуали и локончиках, на заднем сиденье и с величественным слугой на козлах – очевидно, доверенным лицом своих господ. Это был экипаж нашего друга мисс Кроули, возвращающийся из Хэмпшира. Стекла кареты были подняты; жирная болонка, чья морда и язык обычно высывались в одно из окошек, покоилась на коленях недовольной особы. Когда экипаж остановился, из кареты был извлечен объемистый сверток шалей, – для чего оказалась необходимой помощь нескольких слуг и молодой леди, сопровождавшей эту груду одежды. Сверток содержал в себе мисс Кроули, которая была немедленно доставлена наверх и уложена в постель, в спальне, надлежащим образом протопленной для приема болящей. За доктором для мисс Кроули были разосланы гонцы. Врачи явились, посоветовались, прописали лекарства и исчезли. Молодая спутница мисс Кроули по окончании консилиума вышла к ним, выслушала наставления, а затем употребила по назначению противогорячечные средства, прописанные учеными мужами.

На следующий день из Найтсбриджских казарм прискакал капитан лейб-гвардии Кроули. Его вороной взрыл копытами солому, разостланную перед домом страждущей тетушки. Капитан с большим участием расспросил о здоровье своей любезной родственницы. По-видимому, имелись основания для самых худших опасений: он нашел горничную мисс Кроули (недовольную особу женского пола) необычайно сердитой и удрученной; мисс Бригс, компаньонку тетушки, он застал всю в слезах, одиноко сидящей в гостиной. Мисс Бригс поспешила домой, услышав о болезни своего любимого друга. Она хотела лететь к ее ложу, к тому ложу, которое она, Бригс, так часто опраивала в часы болезни. Но ее не допустили в апартаменты мисс Кроули. Какая-то чужая подавала ей лекарства, чужая из провинции, какая-то противная мисс... Тут слезы прервали речь



компаньонки, и она спрятала свои оскорбленные чувства и свой бедный старенький красный носик в носовой платок.

Родон Кроули послал сердитую горничную доложить о его приезде, и новая компаньонка мисс Кроули, живо спустившаяся из спальни больной, протянула маленькую ручку капитану, предупредительно поспешившему ей навстречу, смерила презрительным взглядом растерявшуюся Бригс и, поманив за собой молодого гвардейца, увела его вниз, в пустынную теперь парадную столовую, видевшую в своих стенах столько званых обедов.

Здесь они беседовали вдвоем минут десять, обсуждая, несомненно, симптомы болезни старой хозяйки дома. К концу этой беседы резко зазвонил звонок в столовой, и на него немедленно отозвался мистер Боулс, величественный дворецкий мисс Кроули (который – разумеется, случайно – оказался у замочной скважины и простоял у двери в течение большей части разговора). Капитан вышел из дому, покручивая усы, и вскочил на своего вороного, рывшего копытами солому, к восхищению маленьких сорванцов, собравшихся на улице. Он взглянул на окна столовой, сдерживая лошадь, которая выкидывала курбеты и красиво приплясывала на месте. На одно мгновение в окне показалась молодая особа, но затем ее фигурка исчезла, – без сомнения, она удалилась наверх и опять приступила к выполнению трогательных обязанностей милосердия.

Кто же была эта молодая женщина, хотелось бы мне знать? Вечером в малой столовой был подан скромный обед на две персоны (тем временем миссис Феркин, горничная миледи, бросилась в опочивальню хозяйки и все хлопотала там, пока, за временной отлучкой самозванки, место оставалось свободным), и новая сиделка уселась с мисс Бригс за мирную трапезу.

Бригс от волнения не могла пролотить ни кусочка. Молодая особа с отменным изяществом разрешила курицу и так отчетливо попросила подливки из яиц, что бедная Бригс, перед которой находилась эта великолепная приправа, вздрогнула и после неудачных попыток удержать в руке непослушную соусную ложку снова впала в состояние истерики, разразившись рыданиями.

– Может быть, вы дадите мисс Бригс стакан вина? – обратилась молодая особа к мистеру Боулсу, величественному дворецкому.

Тот подал вино. Бригс машинально схватила стакан, судорожно проглотила вино, тихо постонала и принялась ковырять вилкой курицу.

– Мне кажется, мы обойдемся и без любезных услуг мистера Боулса, – заявила молодая особа с величайшей мягкостью. – Мистер Боулс, сделайте милость, мы позвоним, когда вы нам понадобится.

Боулс отправился вниз, где, между прочим, накинудся с самыми страшными ругательствами на ни в чем не повинного лакея, своего подчиненного.

– Какая жалость, что вы принимаете все это так близко к сердцу, мисс Бригс, – сказала молодая леди спокойным, чуть насмешливым тоном.

– Мой бесценный друг так болен и не же-е-е-лает видеть меня! – воскликнула мисс Бригс в неудержимом порыве горя.

– Она вовсе не так плоха. Утешьтесь, дорогая мисс Бригс. Она просто обьелась, вот и все. Ей уже гораздо лучше. Скоро она выздоровеет. Она ослабела от банок и лекарств, но теперь ей станет легче. Прошу вас, утешьтесь и выпейте еще вина.

– Но почему же, почему она не хочет меня видеть? – захныкала мисс Бригс. – О Матильда, Матильда, после двадцатитрехлетней привязанности так-то ты платишь своей бедной, бедной Арабелле?

– Не проливайте столь обильных слез, бедная Арабелла, – заметила ее собеседница с легкой усмешкой. – Она не хочет вас видеть только потому, что вы будто бы не так хорошо за ней ухаживаете, как я. Мне же не доставляет никакого удовольствия просиживать без сна все ночи. Я хотела бы, чтобы вы меня заменили.

– Разве я не дежурила у этого дорогого ложа в течение многих лет? – возопила Арабелла. – А теперь...

– А теперь она предпочитает других. Знаете, у больных людей бывают подобные фантазии, и им приходится потакать. Когда она поправится, я уеду.

– Никогда, никогда! – воскликнула Арабелла, с остервенением вдыхая из флакона нюхательную соль.

– Никогда не поправится или я никогда не уеду? Что вы имеете в виду, мисс Бригс? – спросила ее собеседница с тем же вызывающим добродушием. – Вздор! Через две недели она будет здоровехонька, и я уеду к своим маленьким ученицам в Королевское Кроули и к их

матери, которая больна гораздо серьезнее, чем наш друг. Вам нечего ревновать ее ко мне, дорогая моя мисс Бригс. Я бедная молоденькая девушка, без единого друга на свете и никому не делаю зла. Я не хочу оттеснить вас и лишиться благосклонности мисс Кроули. Она позабудет меня через неделю после моего отъезда, а ее привязанность к вам создавалась годами. Пожалуйста, налейте мне немного пива, дорогая мисс Бригс, и давайте будем друзьями. Право, я нуждаюсь в друзьях!

В ответ на этот призыв миролюбивая и мягкосердечная Бригс безмолвно протянула сопернице руку, но с тем большей остротой почувствовала свою обиду и стала горько сетовать на непостоянство Матильды. Через полчаса, когда обед окончился, мисс Ребекка Шарп (потому что, как ни странно, таково было имя той, которую до сей поры мы изобретательно называли «молодой особой») отправилась снова наверх в покои своей пациентки и с самой изысканной вежливостью выпроводила оттуда бедную Феркин.

– Благодарю вас, миссис Феркин, так будет хорошо. Как чудесно вы все делаете! Я позвоню, когда понадобится.

– Благодарю вас! – И Феркин сошла вниз, охваченная бурей ревности, тем более опасной, что ей приходилось таить ее в своей груди.

Не эта ли буря распахнула дверь гостиной, когда горничная проходила по площадке первого этажа? Нет, дверь была тихонько приоткрыта рукою мисс Бригс. Бригс стояла на страже. Бригс ясно слышала, как скрипнули ступени лестницы, когда Феркин спускалась по ним, и как звенела ложка в кастрюльке из-под кашицы, которую несла женщина, в чьих услугах не нуждались.

– Ну, Феркин, – сказала Бригс, когда горничная вошла в комнату. – Ну, Джейн?

– Час от часу не легче, мисс Бригс, – ответила та, покачав головой.

– Разве ей не лучше?

– Она всего только один раз и заговорила со мной. Я спросила ее, не полегчало ли ей, и она велела мне попридержаться мой глупый язык. Ох, мисс Бригс, никогда я не думала, что доживу до такого дня!

И чувства ее неудержимо хлынули наружу.

– Скажите, Феркин, что за особа эта мисс Шарп? Вот уж не думала я, когда предавалась святочному веселью в благородном доме

моих близких друзей, преподобного Лайонеля Деламира и его любезной супруги, что мне придется увидеть, как чужой человек вытеснил меня из сердца моей любимой, все еще горячо любимой Матильды!

Мисс Бригс, как можно судить по оборотам ее речи, отличалась склонностью к изящной литературе чувствительного толка и даже выпустила как-то в свет – по подписке – томик своих стихотворений «Трели соловья».

– Все они там с ума посходили от этой девицы, мисс Бригс, – отвечала Феркин. – Сэр Питт ни за что не хотел отпускать ее сюда, да не посмел отказать мисс Кроули. Миссис Бьют, пасторша, – еще того хуже: просто жить без нее не может! Капитан совсем от нее без ума. Мистер Кроули смертельно ее ревнует. С тех пор как мисс Кроули занемогла, она никого не хочет возле себя видеть, кроме мисс Шарп. А почему и отчего – не знаю. Скорее всего, она их всех околдовала!

Ребекка провела эту ночь в неусыпном бдении у постели мисс Кроули; но на следующую ночь старая леди так спокойно спала, что Ребекке тоже удалось чудесно отдохнуть несколько часов, устроившись на диванчике, поставленном в ногах у ложа ее покровительницы. Очень скоро мисс Кроули настолько оправилась, что могла уже сидеть и от всей души хохотать над импровизацией Ребекки, с большим искусством изображавшей разобиженную мисс Бригс. Всхлипывания и причитания Бригс и ее манера прибегать к помощи носового платка передавались ею с таким совершенством, что мисс Кроули совсем развеселилась, к изумлению приехавших докторов, которые при малейших заболеваниях этой достойной светской дамы обычно находили ее в состоянии самого жалкого уныния и страха смерти.

Капитан Кроули заезжал ежедневно и получал от мисс Ребекки бюллетени о здоровье тетушки. Оно столь быстро улучшалось, что бедной Бригс было позволено повидаться со своей благодетельницей. Люди с нежным сердцем могут себе представить чувства этой сентиментальной особы и трогательный характер свидания.

Вскоре мисс Кроули стала чаще допускать к себе верную Бригс. Ребекке пришлось в голову передразнивать почтенную даму в лицо с самым невинным видом и неподражаемой серьезностью, что

придавало этим мимическим сценам двойную пикантность в глазах ее достойной приятельницы.

Причины, повлекшие за собой прискорбную болезнь мисс Кроули и ее отъезд из имения брата, были столь непоэтического свойства, что их едва ли удобно пояснить на страницах нашей благопристойной и чувствительной повести. В самом деле, можно ли сказать о деликатной особе женского пола, принадлежащей к лучшему обществу, что она объелась и опилась и что обильный ужин из горячих омаров в доме пастора послужил причиной заболевания, упорно приписываемого самой мисс Кроули исключительно действию сырой погоды? Припадок был такой острый, что Матильда – как выразился его преподобие – едва не «окочурилась». Памятуя о ее духовной, все семейство было охвачено лихорадкой ожидания, а Родон Кроули уже твердо рассчитывал, что к началу лондонского сезона у него будет по крайней мере сорок тысяч фунтов. Мистер Кроули прислал тетушке пачку тщательно подобранных брошюр, дабы подготовить ее к переходу с Ярмарки Тщеславия и с Парк-лейн в лучший мир. Но какой-то сведущий саутгемптонский врач, приглашенный вовремя, одержал победу над омаром, чуть было не оказавшимся роковым для мисс Кроули, и влил в нее достаточно сил для возвращения в Лондон. Баронет не скрывал своей досады при таком обороте дел.

В то время как все ухаживали за мисс Кроули и гонцы из пасторского дома ежечасно привозили нежным родственникам вести о ее здоровье, в самом замке лежала тяжелобольная дама, на которую никто не обращал внимания, – леди Кроули. Добряк доктор только покачал головой, осмотрел больную (сэр Питт согласился на его визит, так как платить за него особо не приходилось), и леди Кроули предоставили тихонько угасать в ее одинокой спальне, уделяя ей не больше внимания, чем какой-нибудь сорной траве в парке.

Молодые девицы тоже оказались в небрежении, лишившись бесценных благ, приносимых им уроками гувернантки. Мисс Шарп была такой нежной сиделкой, что мисс Кроули соглашалась принимать лекарства не иначе как из ее рук. Феркин была низложена еще задолго до отъезда своей хозяйки из деревни; эта верная служанка по возвращении в Лондон нашла для себя горькое утешение в том, что

мисс Бригс терзается теми же муками ревности и терпит такое же поношение, как и она, миссис Феркин.

Капитан Родон получил продление отпуска по случаю болезни тетки и, послушный долгу, нес дежурство в ее доме. Он все время торчал у тетки в передней (больная лежала в парадной спальне, в которую можно было войти через маленькую голубую гостиную). Здесь он то и дело сталкивался с отцом; а если Родон тихонечко проходил по коридору, то можно было наперед знать, что дверь, за которой скрывается его отец, приотворится и в щель выпянит лицо старого джентльмена, похожее на морду гиены. Что заставило их так выслеживать друг друга? Несомненно, благородное соперничество: кто из них окажется внимательнее к дорогой страдальце, лежащей в парадной спальне. Ребекка выходила и утешала их обоих, вернее – то одного, то другого. Оба достойных джентльмена горели нетерпением узнать новости о больной из уст ее маленькой доверенной посланницы.

За обедом, к которому Ребекка спускалась на полчаса, она поддерживала мир между отцом и сыном, а потом исчезала на всю ночь. Тогда Родон уезжал верхом в 15-й полк, стоявший в Мадбери, и оставлял папашу в обществе мистера Хорокса и рома. Ребекка провела у одра мисс Кроули такие томительные две недели, какие только могут выпасть на долю смертного; но нервы у нее, как видно, были железные, и ее ничуть не изнуряли ни уход за больной, ни скука такого существования.

Лишь много, много времени спустя она позволила себе признаться, как тяжелы были ее обязанности; какой несносной пациенткой оказалась веселая старуха, какой она была капризницей и злоюшкой, какими страдала бессонницами, как боялась смерти; сколько долгих ночей лежала она, стелая, словно в безумном мучительном бреду, осаждаемая видениями того будущего мира, о котором и слышать не хотела, когда бывала в добром здравии. Представь себе, о прекрасная юная читательница, суетную, себялюбивую, противную, неблагодарную, неверующую старуху в корчах от боли и страха, да еще без парика! Представь ее себе и, пока ты еще не состарилась, научись молиться и любить!

Мисс Шарп с неистощимым терпением бодрствовала у этого неприглядного ложа. Ничто не ускользало от ее внимания, и, как

мудрая управительница, она научилась извлекать пользу из всего решительно. В последующие дни она рассказывала множество забавных историй о болезни мисс Кроули, – историй, которые заставляли эту даму заливаться краской смущения под слоем искусственного румянца. Но за время ее болезни Ребекка ни разу не вышла из себя и всегда была начеку; засыпала легко, как человек с чистой совестью, и в любую минуту могла погрузиться в освежающее забытие. Да и по ее внешнему виду вы не заметили бы следов большой усталости. Правда, лицо у нее немного побледнело, а круги под глазами стали чуть темнее. Но когда бы мисс Шарп ни выходила из комнаты болящей, она всегда улыбалась, всегда была свежа и опрятна и так же мила в своем халатике и чепце, как в самом прелестном вечернем туалете.

Так думал капитан, – он бешено, до безумия влюбился в Ребекку. Зубчатая стрела любви пробила его толстую кожу. Шесть недель тесной близости и вынужденных встреч обрекли его на заклятие. Его наперсницей каким-то образом оказалась тетушка-пасторша. Миссис Бьют сначала подняла племянника на смех – она заметила эту сумасбродную страсть – и стала его предостерегать, но кончила тем, что признала малютку Шарп самым умным, самым забавным, чудесным, добродушным, наивным и милым созданием во всей Англии. Однако Родону не следует шутить с ее чувствами: милая мисс Кроули никогда ему этого не простит. Ведь она тоже без ума от гувернанточки и любит эту Шарп, как дочь. Родон должен уехать, вернуться в свой полк, в гадкий Лондон, и не играть чувствами бедной простодушной девушки.

Много, много раз эта участливая дама, снисходя к отчаянному положению лейб-гвардейца, доставляла ему, как мы видели, случай встретиться с мисс Шарп в пасторском доме и проводить ее домой. Милостивые государыни, когда мужчина известного сорта влюблен, то хоть он и видит крючок и леску и весь тот снаряд, с помощью которого будет пойман, тем не менее он заплатывает приманку – он вынужден к ней подойти, он вынужден ее проглотить, – и вот его подсекают и вытаскивают на берег. Родон догадывался о намерении миссис Бьют поймать его Ребеккой, – он не отличался умом, но кой-какой опыт успел приобрести. Свет забрезжил в потемках его души – или так ему показалось – после одного его разговора с миссис Бьют.

– Попомни мое слово, Родон, – сказала она. – В один прекрасный день мисс Шарп будет твоей родственницей.

– Какой родственницей? Кузиной, э, миссис Бьют? Уж не Джеймс ли страдает по ней, а? – осведомился игривый офицер.

– Ищи ближе, – сказала миссис Бьют, сверкнув черными глазами.

– Не Питт ли? Ну нет, ему она не достанется. Подлец ее не стоит. К тому же у него расчеты на леди Джейн Шипшенкс.

– Вы, мужчины, ничего не замечаете. Эх ты, простак, слепец! Ежели что случится с леди Кроули, мисс Шарп станет твоей мачехой, так и знай.

Родон Кроули, эсквайр, протяжно свистнул в знак своего изумления при таком открытии. Отрицать это было трудно: явная склонность отца к мисс Шарп не ускользнула и от него. Прodelки почтенного родителя были ему известны. Более бессовестного старого греховодника... фью-ю!.. И, не окончив фразы, он зашагал домой, покручивая усы и вполне уверенный, что им найден ключ к загадочному поведению миссис Бьют.

«Ну и ну, честное слово! – думал Родон. – До чего дошло! Эта баба хочет погубить бедную девочку для того, чтобы она не могла войти в семью в качестве леди Кроули!»

Встретившись с Ребеккой наедине, он с присущим ему изяществом пошутил над привязанностью к ней отца. Она гневно вскинула голову, взглянула ему прямо в лицо и сказала:

– Ну, хорошо, предположим, он привязался ко мне. Так ведь не только он один, не правда ли, капитан Кроули? Не думаете ли вы, что я боюсь его? Или вы полагаете, что я не сумею защитить свою честь? – заявила маленькая женщина с высокомерием королевы.

– О... а... почему же... я просто предостерегаю вас... будьте, знаете, осторожны... вот и все! – ответил растерявшийся усач.

– Вы намекаете на что-то неблагоприятное? – сказала она, вспыхнув.

– О... черт... да что вы... мисс Ребекка, – защищался неповоротливый драгун.

– Уж не полагаете ли вы, что у меня нет чувства собственного достоинства только потому, что я бедна и одинока, или потому, что им не обладают богачи? Вы думаете, что если я гувернантка, так я лишена понятий, тех правил чести и хорошего воспитания, какие есть



у вас, хэмпширских дворян? Я – Монморанси. Чем, по-вашему, Монморанси хуже Кроули?

Когда мисс Шарп пребывала в волнении и ссылалась на свою родню со стороны матери, она всегда говорила с легким иностранным акцентом, который придавал особую прелесть ее чистому, звонкому голосу.

– Нет, – продолжала она, все больше воспламеняясь, – я могу перенести бедность, но не позор, пренебрежение, но не надругательство, да еще от кого – от вас!

Ее чувства вырвались наружу, и она залилась слезами.

– К черту, мисс Шарп... Ребекка... ей-богу... клянусь своей душой... я и за тысячу фунтов не стал бы... Погодите, Ребекка!..

Она ушла. В тот день она выезжала кататься с мисс Кроули. Это было еще до болезни последней. За обедом Ребекка была необычайно остроумна и весела, но не желала обращать ни малейшего внимания на все намеки, кивки, неловкие оправдания посрамленного, безумно влюбленного гвардейца. Такого рода стычки постоянно происходили во время этой маленькой войны – о них утомительно рассказывать, – и кончались они всегда одинаково: тяжелая кавалерия Кроули терпела поражения в изматывающих схватках с противником и, что ни день, обращалась в бегство.

Если бы баронет из Королевского Кроули не боялся упустить сестрино наследство, он никогда бы не позволил, чтобы его милые девочки лишались тех благ образования, которыми их наделяла бесценная воспитательница. Старый дом казался без нее опустевшим – столь полезной и приятной сумела сделать себя Ребекка. Письма сэра Питта не переписывались и не исправлялись; книги велись неаккуратно; все его домашние дела и многообразные проекты оставались в небрежении, с тех пор как уехал его маленький секретарь. Уже самый тон и орфография многочисленных писем, которые сэр Питт посылал Ребекке, умоляя ее и повелевая ей вернуться, показывали, сколь необходим ему этот личный секретарь. Чуть ли не каждый день приносил освобожденное от почтовых сборов письмо баронета к Ребекке с настоятельными просьбами вернуться или же с обращенными к мисс Кроули убедительными представлениями насчет печального положения дел с образованием

его дочерей. Но мисс Кроули не устаивала вниманием эти дипломатические ноты.

Мисс Бригс не получила формальной отставки, но ее положение в качестве компаньонки превратилось в пустую видимость и насмешку. Компанию ей в пустой гостиной составляла отныне жирная болонка да иной раз – в комнате экономки – недовольная Феркин. С другой стороны, хотя старая леди и слышать не хотела об отъезде Ребекки, однако та не занимала никакой определенной должности на Парк-лейн. Подобно многим состоятельным людям, мисс Кроули привыкла пользоваться услугами низших до тех пор, пока это было ей нужно, и, нимало не задумываясь, отпускала их от себя, едва эта надобность проходила. Некоторым богатым людям органически несвойственна благодарность, да и трудно ждать ее от них. Они принимают услуги людей неимущих как нечто должное. Но и у вас, бедные паразиты и смиренные блюдолизы, мало оснований жаловаться. В ваших дружеских чувствах к богачу столько же искренности, как и в его ответном к вам расположении. Вы любите деньги, а не самого человека! И если бы Крез и его слуга поменялись ролями, то ты отлично знаешь, о несчастный плут, в чью пользу расположило бы тебя твое подобострастие!

И я не уверен, что, несмотря на всю простоту, живость, кротость и неутомимую веселость Ребекки, хитрая лондонская старуха, на которую расточались все эти сокровища дружбы, не относилась с первых же дней с затаенной подозрительностью к своей нежной сиделке и приятельнице. Должно быть, в голове у мисс Кроули не раз мелькала мысль, что никто ничего не делает даром. Если она отдавала себе отчет в своих собственных чувствах по отношению к миру, то должна была знать цену чувствам этого мира по отношению к себе. Быть может, задумывалась она и над тем, что таков обычный удел людей – не иметь ни одного истинного друга, если сам никого не любишь.

Но пока Бекки была для нее очень нужна и полезна; поэтому она подарила ей два-три новых платья, старое ожерелье и шаль и выказывала свою дружбу тем, что перемывала с новой фавориткой косточки всем близким знакомым (можно ли найти более трогательное доказательство расположения?) и довольно неопределенно подумывала о каком-то великом благодеянии для

Ребекки в будущем – не выдать ли ее замуж за аптекаря Клампа, или не устроить ли ее счастье каким-нибудь еще образом? В крайнем случае, когда Ребекка ей прискучит и начнется разгар лондонского сезона, ее можно будет отослать обратно в Королевское Кроули.

Когда мисс Кроули перешла на положение выздоравливающей и начала спускаться в гостиную, Бекки пела ей и всячески ее развлекала; когда же она настолько оправилась, что могла выезжать, Бекки сопровождала ее. И во время этих выездов какое из всех мест на свете могло привлечь мисс Кроули, преисполненную благодушия и чувства дружбы, как не дом Джона Седли, эсквайра, на Рассел-сквер в Блумсбери.



Мы знаем, что еще до этого события между обеими любящими подругами шла горячая переписка. Однако за короткий срок пребывания Ребекки в Хэмпшире вечная дружба молодых девиц

(следует ли в том признаться?) значительно ослабела и так износилась и выдохлась с возрастом, что грозила окончательно захиреть. Да и немудрено. Ведь каждая из них была занята собственными важными делами: Ребекке надо было думать о своем преуспевании у нанимателей, а у Эмилии была своя всепоглощающая тема. Когда обе приятельницы встретились и бросились друг другу в объятия с пылкостью, отличающей молодых девиц при свидании, Ребекка разыграла свою роль с отменной стремительностью и энергией. Бедная же маленькая Эмми густо покраснела, целуя подругу, ибо ее мучило чувство, что она виновата перед нею в чем-то очень похожем на холодность.

Первая их встреча была весьма краткой. Эмилия как раз собиралась идти гулять. Мисс Кроули ждала внизу в коляске, и слуги ее дивились на эту часть города, где они очутились, и глазели на честного Самбо, черного лакея из Блумсбери, принимая его за одного из забавных туземцев этой местности. Но когда Эмилия вышла на улицу, прелестная, с ласковой своей улыбкой (ведь должна же была Ребекка представить ее своему другу; и мисс Кроули безумно хотелось взглянуть на нее, но только она была слишком тяжело больна, чтобы выйти из экипажа), когда, говорю я, Эмилия вышла на улицу, парк-лейнская ливрейная аристократия и вовсе растерялась, не будучи в состоянии понять, как подобное существо могло появиться на свет божий в Блумсбери. Мисс Кроули была положительно пленена нежным, зардевшимся от смущения личиком девушки, так робко и так грациозно приближавшейся к ней, чтобы засвидетельствовать уважение покровительнице своей подруги.

– Что за цвет лица, душенька! Какой милый голосок! – говорила мисс Кроули, когда их экипаж после этого краткого свидания покатило в западную часть города. – Милая моя Шарп, ваша юная подруга очаровательна. Привезите ее ко мне на Парк-лейн, слышите?

У мисс Кроули был отличный вкус. Ей нравилась естественность манер, а легкая робость только выгодно ее оттеняла. Она любила видеть около себя хорошенькие личики в такой же мере, как красивые картины и дорогой фарфор. В тот день она раз десять с восхищением отозвалась об Эмилии и упомянула о ней и при Родоне Кроули, когда тот, по чувству долга, прибыл разделить с тетушкой ее цыпленка.

Конечно, Ребекка не преминула сообщить, что Эмилия уже просватана... за поручика Осборна... ее давнишняя любовь!

– Не служит ли он в армейском полку? – спросил капитан Кроули и вспомнил не без труда – как оно и подобает гвардейцу – номер полка: – Не в \*\*\* ли?

Ребекка подтвердила, что, кажется, полк именно этот самый.

– Фамилия его капитана, – прибавила она, – Доббин.

– Неуклюжий, долговязый малый, – продолжал Кроули, – на всех натывается? Я знаю его. А этот Осборн такой смазливый хлыщ с большими черными бакенбардами?

– Огромнейшими, – подтвердила Ребекка Шарп, – и он ими необычайно гордится, могу вас уверить.

Капитан Кроули довольно заржал в ответ. И так как дамы потребовали от него объяснений, он удовлетворил их любопытство, как только справился с овладевшим им приступом веселости.

– Он воображает, что умеет играть на бильярде, – сказал Родон. – Я обыграл его на двести фунтов в «Кокосовой Пальме». Никакой он не игрок. В тот день он все спустил бы, не уведи его вовремя приятель – капитан Доббин, чтоб ему провалиться!

– Родон, Родон, не будь таким гадким! – заметила мисс Кроули, придя в полный восторг.

– Но позвольте, сударыня, из всех армейских молокососов, которых я знавал, этот молодец, пожалуй, самый желторотый! Тарквин и Дьюсэйс вытягивают у него столько денег, сколько их душе угодно. Он готов продаться самому дьяволу, лишь бы его увидели в компании с лордами. Платит в Гринвиче за их обеды, а они приводят с собой целую ораву гостей.

– И, надо думать, миленьких гостей!

– Совершенно верно, мисс Шарп! Как всегда, справедливо, мисс Шарп. Необычайно милых, хо-хо-хо! – И капитан хохотал все раскатистее и громче, очень довольный своей остротой.

– Родон, не будь таким противным! – воскликнула его тетка.

– Ну, что ж! Отец у него деляга: говорят, он чудовищно богат. К черту этих торгашей, их не мешает маленько распотрошить. Я еще не покончил счетов с Осборном, так и знайте. Хо-хо-хо!

– Фи, капитан Кроули! Надо предостеречь Эмилию. Муж – игрок!

– Ужасно, не правда ли, а? – сказал капитан с превеликой важностью. И вдруг прибавил, словно осененный счастливой мыслью: – Ей-богу, сударыня, давайте пригласим его сюда!

– А его можно принимать в обществе? – осведомилась тетушка.

– Можно ли его принимать? Ну конечно! Вполне! Вы и не отличите его от других! – отвечал капитан Кроули. – Давайте пригласим его, когда вы понемногу возобновите свои приемы. Да и эту... как бишь это говорится... а, мисс Шарп?.. Ну, его пассию... Пусть и она приходит! Ей-богу, напишу ему записку и позову его. Посмотрим, умеет ли он играть в пикет так же хорошо, как и на бильярде. Где он живет, мисс Шарп?

Мисс Шарп сообщила капитану Кроули городской адрес Осборна, и через несколько дней после этого разговора Осборн получил написанное каракулями письмо капитана Родона с вложением пригласительной записочки от мисс Кроули.

Ребекка, в свою очередь, отправила приглашение милой Эмилии, и та немало обрадовалась, смею вас уверить, узнав, что Джордж будет в числе гостей. Эмилия провела все утро на Парк-лейн с дамами и была прекрасно ими принята. Ребекка обращалась с ней покровительственно и чуть свысока: ведь она была много умнее Эмилии, а ее кроткая и миролюбивая подруга всегда готова была уступить, если кому-нибудь припадала охота ею командовать; она выслушивала приказы Ребекки с полнейшей покорностью и смирением. Мисс Кроули тоже встретила ее необычайно милостиво. Она продолжала восторгаться маленькой Эмилией, говорила о ней вслух, не смущаясь ее присутствием, словно та была служанкой, куклой или картиной, и выражала свое восхищение с величайшей благосклонностью. Меня восхищает то восхищение, с каким зная взирает порой на обыкновенных смертных. Нет приятнее зрелища, чем то, когда обитатели Ярмарки проявляют снисходительность. Чрезмерное благоволение мисс Кроули, пожалуй, утомило их бедную гостью, и мне сдается, что из всех трех особ женского пола на Парк-лейн Эмилии больше всего понравилась честная мисс Бригс. Она сразу почувствовала к ней симпатию, как и вообще ко всем приниженным и кротким людям. Эмилия не была, как говорится, женщиной с запросами.



Джордж получил приглашение отобедать вместе с капитаном Кроули «en garçon»<sup>[138]</sup>.

Парадная карета Осборнов доставила его с Рассел-сквер на Парк-лейн. Надо сказать, что сестры Джорджа, которые не были приглашены, проявили величайшее равнодушие к такому пренебрежению, но все-таки отыскиали в списке баронетов имя сэра Питта Кроули и прочитали все, что этот труд мог сообщить о семействе Кроули, его родословной, о Бинки, их родственниках и пр., и пр. Родон Кроули встретил Джорджа Осборна с чрезвычайным радушием и любезностью: расхвалил его игру на бильярде, осведомился, когда ему будет угодно получить реванш, интересовался полком Осборна и тут же предложил бы ему сыграть в пикет, если бы мисс Кроули решительно не запретила в своем доме всякую игру на интерес. Поэтому кошелек молодого офицера не был облегчен гостеприимным хозяином – по крайней мере, в этот день. Во всяком случае, они условились встретиться где-нибудь в ближайшее же время – взглянуть на лошадь, которую собирался продать Кроули, и испытать ее в Парке, а затем пообедать вместе и провести вечерок в веселой компании.

– Конечно, если вам не надо дежурить подле этой хорошенькой мисс Седли, – сказал Кроули, многозначительно подмигивая. – Впрочем, она чертовски мила, клянусь честью, Осборн! – соблаговолил он добавить. – Куча денег, я полагаю, а?

Осборн не собирался дежурить – он с удовольствием составит Кроули компанию. И когда они встретились на следующий день, капитан похвалил мастерскую езду своего нового приятеля – что мог сделать, не покрывив душой, – и познакомил его с тремя или четырьмя молодыми людьми самого высшего круга, весьма польстив этим простоватому молодому офицеру.

– Кстати, как поживает маленькая мисс Шарп? – с фатовским видом осведомился Осборн у своего друга за стаканом вина. – Славная девчурка! Пришлась ли она вам ко двору в Королевском Кроули? Мисс Седли очень к ней благоволила прошлый год.

Капитан Кроули свирепо глянул на лейтенанта узенькими щелочками своих голубых глаз и все время наблюдал за ним, когда тот отправился навверх, чтобы возобновить знакомство с хорошенькой гувернанткой. Однако поведение ее должно было успокоить Родона,



если бы в груди нашего лейб-гвардейца и шевельнулось нечто вроде ревности.

Когда молодые люди поднялись наверх, Осборн был представлен мисс Кроули, а затем направился к Ребекке с покровительственной небрежной развязностью; он намеревался быть ласковым и протезировать ей. Желая обойтись с ней, как с подругой Эмилии, он даже протянул ей левую руку со словами: «Ну, как поживаете, мисс Шарп?», ожидая, что она будет сражена такой честью.

Мисс Шарп подала ему свой правый указательный палец и кивнула с такой убийственной холодностью, что Родон Кроули, наблюдавший за ними из соседней комнаты, едва не прыснул, увидя полное поражение лейтенанта, – тот вздрогнул, осекся и в невероятном смущении соблаговолил наконец взять протянутый ему пальчик.

– Да она и самому дьяволу не даст спуску, ей-богу! – воскликнул в восторге капитан. А поручик для начала любезно осведомился у Ребекки, как ей нравится ее новое место.

– Мое место? – холодно произнесла мисс Шарп. – До чего же с вашей стороны мило напомнить мне об этом! Место довольно сносное, жалованье достаточно хорошее – не такое, пожалуй, высокое, как мисс Уирт получает у ваших сестриц на Рассел-сквер. А как они, кстати, поживают?.. Впрочем, мне не следовало бы об этом спрашивать.

– Почему же? – спросил озадаченный мистер Осборн.

– Да потому, что они никогда не удостоивали меня разговора или приглашения к себе, пока я гостила у Эмилии. Но мы, бедные гувернантки, как вам известно, привыкли к таким щелчкам.

– Дорогая мисс Шарп, что вы! – воскликнул Осборн.

– По крайней мере, в некоторых семействах, – продолжала Ребенка. – Впрочем, вы и представить себе не можете, какая иногда наблюдается разница. Мы не так богаты в Хэмпшире, как вы, счастливы из Сити. Но зато я в семье джентльмена из хорошего старинного английского рода. Быть может, вы знаете, что отец сэра Питта отказался от звания пэра? И вы видите, как со мной обращаются. Мне тут очень хорошо. Право, у меня, пожалуй, отличное место. Но как вы любезны, что справляетесь об этом!

Осборн был вне себя от бешенства. Маленькая гувернантка издевалась над ним до тех пор, пока наш юный британский лев не почувствовал себя крайне неловко. К тому же он не сумел проявить достаточного присутствия духа и найти какой-нибудь предлог, чтобы уклониться от этой в высшей степени усладительной беседы.

– Мне казалось, что раньше вам весьма даже нравились семейства из Сити, – сказал он надменно.

– Вы хотите сказать – в прошлом году, когда я только что выскочила из этой ужасной вульгарной школы? Конечно, нравились! Разве каждой девушке не приятно бывает приезжать домой на праздники? Да и могла ли я судить тогда? Но, ах, мистер Осборн, эти полтора года научили меня смотреть на жизнь совершенно другими глазами! Полтора года, проведенных – простите меня, что я так говорю, – среди джентльменов... Что же касается милой Эмилии, то она, я согласна с вами, настоящее сокровище и будет одинаково мила в любом обществе. Ну вот, я вижу, вы начинаете приходить в хорошее расположение духа. Ах, уж эти чудачки из Сити! А мистер Джоз? Как поживает наш несравненный мистер Джозеф?

– Сдается мне, что несравненный мистер Джозеф был вам не так уж неприятен в прошлом году, – любезно отпарировал Осборн.

– Как это жестоко с вашей стороны! Ну, что ж, говоря *entre nous*<sup>[139]</sup>, сердце мое из-за него не разбилось. Однако, если бы он тогда попросил меня сделать то, на что вы намекаете своими взглядами (кстати, весьма выразительными и учтивыми), я не ответила бы ему «нет»!

Взгляд мистера Осборна, казалось, говорил: «В самом деле? Вы весьма бы его обязали!»

– Вы думаете, что для меня была бы большая честь породниться с вами? Быть невесткой Джорджа Осборна, эсквайра, сына Джона Осборна, эсквайра, сына... кто был ваш дедушка, мистер Осборн? Ну, не сердитесь! Вы не можете изменить свою родословную, а я не отрицаю, что могла бы выйти замуж за мистера Джо Седли. А что еще оставалось делать бедной девушке без гроша в кармане? Теперь вы знаете мой секрет. Как видите, я с вами откровенна. И если принять в расчет все эти обстоятельства, ваши намеки делают вам честь – очень любезно и вежливо с вашей стороны. Эмилия, милочка! Мы с

мистером Осборном беседуем о твоём бедном брате Джозефе. Что, как он?

Таким образом, Джордж был разбит наголову. Нельзя сказать, чтобы Ребекка была права, но она с величайшей ловкостью повела дело так, что Осборн оказался кругом неправым. И он обратился в постыдное бегство, чувствуя, что, продлись эта беседа еще минуту, его поставили бы в дурацкое положение в присутствии Эмилии.

Хотя Ребекка и одержала над ним победу, но Джордж был выше низких сплетен или мести по отношению к женщине; он только не мог удержаться, чтобы не шепнуть на следующий день капитану Кроули кое-какие свои соображения относительно мисс Ребекки: она, мол, особа лукавая, опасная, отчаянная кокетка и т. д. Со всеми этими мнениями Родон, смеясь, согласился – и со всеми ими, без исключения, мисс Ребекка ознакомилась в тот же день, и они только подкрепили ее давнишнее отношение к мистеру Осборну. Женский инстинкт говорил ей, что это Джордж помешал успеху ее первой матримониальной затеи, и она питала к поручику соответствующие чувства.

– Я просто предостерегаю вас, – говорил Джордж Родону Кроули с многозначительным видом (он купил у Родона лошадь и проиграл ему после обеда несколько десятков гиней), – просто лишь предостерегаю. Я знаю женщин и советую вам держать ухо востро.

– Спасибо вам, мой милый, – ответил капитан, и взгляд его выражал особую благодарность. – Вы, как я вижу, малый не промах!

И Джордж ушел, в полном убеждении, что Кроули молодечина.

Он рассказал Эмилии обо всем, что сделал, и как он посоветовал Родону Кроули – чертовски хорошему, прямому малому – быть настороже и опасаться этой хитрой шельмы Ребекки.

– Кого опасаться? – изумилась Эмилия.

– Твоей приятельницы, гувернантки. Что ты так на меня смотришь?

– О Джордж! Что ты наделал! – воскликнула Эмилия.

Взор ее женских глаз, обостренный любовью, мгновенно обнаружил тайну, которой не видели ни мисс Кроули, ни бедная девственница Бригс, ни тем более глупые пяделки этого молодого, довольного собою и своими бакенбардами поручика Осборна.

Дело в том, что, когда Ребекка закутывала Эмилию в шали в одной из комнат верхнего этажа, нашим приятельницам удалось незаметно переглянуться и вступить в один из тех маленьких заговоров, которые составляют прелесть женской жизни. Эмилия вдруг подошла к Ребекке и, взяв обе ее руки в свои, проговорила:

– Ребекка, я все понимаю!

Ребекка поцеловала ее.

И больше ни звука не было произнесено обеими девушками об этом восхитительном секрете. Но ему суждено было очень скоро выплыть наружу.

Невдолге после описанных выше событий, когда мисс Ребекка Шарп все еще гостила на Парк-лейн в доме своей покровительницы, среди множества траурных гербов на Грейт-Гонт-стрит, которые всегда украшают этот мрачный квартал, можно было заметить некое прибавление семейства: теперь герб висел и на доме сэра Питта Кроули, но возвещал он не о кончине достойного баронета – это был женский траурный герб. Несколько лет тому назад он служил поминальной данью старухе матери сэра Питта, вдовствующей леди Кроули. Когда кончился срок его службы, траурный герб вышел в отставку и с тех пор отлеживался где-то в недрах дома. Теперь его снова извлекли на свет божий – в честь бедной Розы Досон. Сэр Питт опять овдовел. Геральдические знаки, красовавшиеся на щите рядом с собственным гербом сэра Питта, не имели, конечно, никакого отношения к бедняжке Розе. У нее не было своего герба. Но представленный здесь херувим годился для нее в такой же мере, как и для матери сэра Питта, а под херувимом, охраняемым справа и слева голубем и змеей рода Кроули, вилась надпись: «Resurgam»<sup>[140]</sup>. Гербы, траурные щиты и надпись «Resurgam» – какая благодарная тема для размышлений моралиста!

Только один молодой мистер Кроули навещал всеми забытое ложе. Она покинула этот мир, ободренная теми словами утешения, которые он оказался в состоянии ей преподать. На протяжении многих лет она видела ласку только от него; лишь его дружба хоть сколько-нибудь согревала эту слабую, одинокую душу. Ее сердце умерло гораздо раньше тела. Она продала его, чтобы стать женой сэра Питта Кроули. Матери и дочери повседневно совершают такие сделки на Ярмарке Тщеславия.

Когда леди Кроули скончалась, ее супруг обретался в Лондоне, поглощенный одним из своих бесчисленных проектов и занятый бесконечными тяжбами. Тем не менее он находил время частенько заглядывать на Парк-лейн и отправлять Ребекке массу писем, умоляя ее, предписывая, приказывая ей вернуться в деревню к своим юным ученицам, которые остались без всякого призора из-за болезни их матери. Но мисс Кроули и слышать не хотела об отъезде Ребекки. Хоть в Лондоне не было ни одной светской дамы, которая более хладнокровно покидала бы своих друзей, как только ей надоедало их общество, и хоть мало было дам, которым так скоро надоедали бы их друзья, – однако, пока ее прихоть длилась, привязанность ее не знала предела, и старуха все еще с величайшей энергией цеплялась за Ребекку.

Известие о смерти леди Кроули вызвало в семейном кругу мисс Кроули не больше огорчения или толков, чем этого следовало ожидать.

– Придется, пожалуй, отложить прием, назначенный на третье, – сказала мисс Кроули. И прибавила, помолчав: – Надеюсь, у моего братца достанет приличия не жениться еще раз!

– То-то взбесится Питт, если старик снова женится! – заметил Родон с обычным уважением к своему старшему брату.

Ребекка ничего не сказала. По-видимому, она была поражена и опечалена больше всех. Она вышла из комнаты, прежде чем Родон уехал от них в тот день, но случайно они встретились внизу, когда племянник уезжал, распрощавшись с тетушкой, и между ними произошла какая-то беседа.

На следующее утро Ребекка, выпянув в окно, напугала мисс Кроули, мирно занятую чтением французского романа, тревожным восклицанием:

– Сударыня, сэр Питт приехал!

Вслед за этим сообщением раздался стук баронета в дверь.

– Дорогая моя, я не могу его видеть. Я не хочу его видеть. Передайте Боулсу, что меня нет дома, или ступайте вниз и скажите, что я чувствую себя очень плохо и никого не принимаю. Мои нервы сейчас положительно не в состоянии выносить моего братца! – вскричала мисс Кроули и снова принялась за чтение.

– Она очень больна и не может принять вас, сэр, – заявила Ребекка, сбегав вниз к сэру Питту, который уже собирался подняться.

– Тем лучше, – ответил сэр Питт, – мне нужно видеть вас, мисс Бекки. Пойдемте со мной в столовую. – И оба они прошли в эту комнату.

– Я хочу, чтобы вы вернулись в Королевское Кроули, мисс, – сказал баронет, устремив взор на Ребекку и снимая черные перчатки и шляпу, повязанную широкой креповой лентой. Взгляд его имел такое странное выражение и следил за Ребеккой с таким упорством, что мисс Шарп стало страшно.

– Я надеюсь скоро приехать, – промолвила она тихим голосом, – как только мисс Кроули станет лучше, я вернусь к... к милым девочкам.

– Вы говорите так все эти три месяца, Бекки, – возразил сэр Питт, – а сами по-прежнему вешаетесь на шею моей сестре, которая отшвырнет вас, как старый башмак, когда вы ей прискучите! Говорю вам: вы мне нужны! Я уезжаю на похороны. Едете вы со мной? Да или нет?

– Я не смею... мне кажется... будет не совсем прилично... жить одной... с вами, сэр, – отвечала Бекки, по-видимому, в сильном волнении.

– Говорю вам, вы мне нужны, – сказал сэр Питт, барабанив пальцами по столу. – Я не могу обходиться без вас. Я не понимал этого до вашего отъезда. Все в доме идет кувырком! Он стал совсем другим. Все мои счета опять запутаны. Вы должны вернуться. Возвращайтесь! Дорогая Бекки, возвращайтесь!

– Вернуться... но в качестве кого, сэр? – задыхаясь, произнесла Ребекка.

– Возвращайтесь в качестве леди Кроули, если вам угодно, – сказал баронет, комкая в руках свою траурную шляпу. – Ну! Это вас удовлетворит? Возвращайтесь и будьте моей женой. Вы заслуживаете этого по своему уму. К черту происхождение! Вы такая же достойная леди, как и все другие, кого я знаю. В вашем мизинчике больше мозгов, чем у жены любого нашего баронета во всем графстве. Хотите ехать? Да или нет?

– О сэр Питт! – воскликнула Ребекка, взволнованная до глубины души.

– Скажите «да», Бекки, – продолжал сэр Питт. – Я старик, но еще крепок. Меня хватит еще лет на двадцать. Вы будете счастливы со мной, увидите! Можете делать, что вашей душе угодно. Тратьте денег, сколько хотите. И во всем решительно поступайте по-своему. Я выделю на ваше имя капитал. Я все устрою. Ну вот, глядите!

И старик упал на колени, уставившись на нее, как сатир.

Ребекка отшатнулась, являя своим видом картину изумления и ужаса. На протяжении нашего романа мы еще ни разу не видели, чтобы она теряла присутствие духа. Но теперь это произошло, и она заплакала самыми неподдельными слезами, какие когда-либо лились из ее глаз.

– О сэр Питт! – промолвила она. – О сэр... я... я уже замужем!

## **Глава XV,** ***в которой на короткое время*** ***появляется супруг Ребекки***

Всякому читателю, склонному к чувствительности (а других нам и не надобно), должна понравиться картина, которой закончился последний акт нашей маленькой драмы; ибо что может быть прекраснее образа Амура на коленях перед Психеей?

Но когда Амур услышал от Психеи ужасное сообщение, что она уже замужем, он поднялся с ковра, где стоял в униженной позе, и разразился восклицаниями, от которых бедная маленькая Психея, и без того повергнутая в ужас собственным признанием, пришла в полное расстройство чувств.

– Замужем? Вы шутите! – закричал баронет после первого взрыва ярости и изумления. – Вы смеетесь надо мной, Бекки! Да кому придет в голову жениться на вас, когда у вас гроша нет за душой?

– Замужем! Замужем! – повторила Ребекка, горько рыдая. Голос ее прерывался от волнения, носовой платочек был прижат к глазам, источающим потоки слез, и она бессильно прислонилась к каминной доске, подобная статуе скорби, способной растрогать самое зачерствелое сердце.

– О сэр Питт, дорогой сэр Питт, не считите меня неблагодарной, неспособной оценить вашу доброту. Только ваше благородство исторгло у меня мою тайну.

– К чертям благородство! – завопил сэр Питт. – За кем это вы замужем? Где вы поженились?

– Позвольте мне вернуться с вами в деревню, сэр. Позвольте мне ухаживать за вами так же преданно, как и раньше. Не разлучайте, не разлучайте меня с милым Королевским Кроули!

– Значит, молодчик вас бросил, так, что ли? – сказал баронет, начиная, как он воображал, понимать. – Ладно, Бекки! Возвращайтесь, если хотите. Что с возу упало, то пропало. Во всяком случае, я сделал вам предложение по всем правилам. Возвращайтесь ко мне гувернанткой, все равно – все будет по-вашему.



Ребекка протянула ему руку. Она рыдала так, что сердце у нее разрывалось. Локончики упали ей на лицо и рассыпались по мраморной каминной доске, на которую она уронила голову.

– Так, значит, негодяй удрал, а? – повторил сэр Питт, делая гнусную попытку утешить ее. – Ничего, Бекки, я позабочусь о вас.

– О сэр! С какой гордостью вернулась бы я в Королевское Кроули, чтобы взять на себя заботу о детях и о вас, как было прежде, когда вы говорили, что вам по сердцу услуги вашей маленькой Ребекки. Когда я подумаю о том, что вы мне только что предложили, сердце мое переполняется благодарностью – право, так. Я не могу быть вашей женой, сэр... позвольте же мне... позвольте мне быть вашей дочерью.

С этими словами Ребекка с трагическим видом в свою очередь упала на колени и, схватив корявую черную лапу сэра Питта и сжав ее в своих ручках (красивых, беленьких и мягких, как атлас), взглянула ему в лицо с выражением трогательной мольбы и доверия, как вдруг... как вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мисс Кроули.

Мисс Феркин и мисс Бригс, чисто случайно оказавшиеся у дверей вскоре после того, как баронет с Ребеккой вошли в столовую, увидели – также чисто случайно прикинув к замочной скважине – старого джентльмена, распростертого перед гувернанткой, и услышали великодушное предложение, сделанное ей. Не успело оно вырваться из его уст, как миссис Феркин и мисс Бригс устремились вверх по лестнице, вихрем ворвались в гостиную, где мисс Кроули читала французский роман, и передали старой леди ошеломляющую весть: сэр Питт стоит на коленях и предлагает мисс Шарп вступить с ним в брак! И если вы подсчитаете, сколько времени занял вышеозначенный диалог и сколько времени понадобилось Бригс и Феркин, чтобы долететь до гостиной, а мисс Кроули – чтобы удивиться и выронить из рук томик Пиго-Лебрена<sup>[141]</sup>, а затем спуститься вниз по лестнице, то вы увидите, что наша история излагается совершенно точно и что мисс Кроули должна была появиться именно в ту минуту, когда Ребекка приняла свою смиренную позу.

– На полу дама, а не джентльмен, – произнесла мисс Кроули с величайшим презрением во взоре и голосе. – Мне передали, что вы стояли на коленях, сэр Питт. Ну, станьте же еще раз и дайте мне посмотреть на такую чудесную парочку.

– Я благодарил сэра Питта Кроули, сударыня, – сказала Ребекка, вставая, – и говорила ему, что... что я никогда не стану леди Кроули.

– Отказала?! – воскликнула мисс Кроули, не веря своим ушам. Бригс и Феркин, вытаращив глаза и разинув рот, застыли в дверях.

– Да, отказала, – продолжала Ребекка скорбным голосом, полным слез.

– Возможно ли, что вы действительно сделали ей предложение, сэр Питт?! – спросила старая леди.

– Да, сделал, – ответил баронет.

– И она отказала вам, как она говорит?

– Отказала! – подтвердил сэр Питт, и лицо его расплылось в довольную улыбку.

– По-видимому, это обстоятельство не сокрушило вашего сердца, – заметила мисс Кроули.

– Ни капельки, – отвечал сэр Питт с хладнокровием и благодушием, которые привели изумленную мисс Кроули в полное неистовство. Как! Старый джентльмен высокого звания падает на колени перед нищей гувернанткой и потом только хохочет, когда та отказывается выйти за него замуж; а эта самая нищая гувернантка отвергает баронета с четырьмя тысячами фунтов годового дохода! Тут была тайна, которую мисс Кроули не могла постигнуть и которая оставляла далеко позади замысловатые интриги любезного ей Пиго-Лебрена.

– Я рада, что вы считаете это забавным, братец, – продолжала она, ощупью пробираясь через дебри изумления.

– Ну и ну! – восхищался сэр Питт. – Кто бы мог подумать! Вот хитрый бесенок! Вот лисичка-то! – бормотал он про себя, хихикая от удовольствия.

– Что – кто мог бы подумать? – закричала мисс Кроули, топая ногой. – Что же, мисс Шарп, уж не дожидаетесь ли вы, когда разведется принц-регент, если считаете наше семейство мало для себя подходящим?

– Моя поза, – сказала Ребекка, – когда вы вошли сюда, сударыня, не показывает, чтобы я отнеслась без должного уважения к той чести, которую этот добрый... этот благородный человек соблаговолил оказать мне. Неужели вы думаете, что у меня нет сердца! Вы все полюбили меня и были так ласковы к бедной сироте, всеми кинутый

девушке, и я этого не чувствую? О мои друзья! О мои благодетели! Неужто вся моя любовь, моя жизнь, мое чувство долга недостаточны, чтобы отплатить вам за ваше доверие? Неужто вы не хотите допустить во мне даже чувства благодарности, мисс Кроули? Это уж слишком!.. Сердце мое разрывается на части!.. – И она опустила в кресло с видом такого отчаяния, что большинство присутствовавших было растрогано ее горем.

– Выйдете вы за меня замуж или нет, но только вы хорошая девочка, Бекки, и я ваш друг, запомните это, – заключил сэр Питт и, надев свою траурную шляпу, вышел из комнаты, к великому облегчению Ребекки. Ясно было, что ее тайна осталась не открытой для мисс Кроули, и Ребекка могла воспользоваться краткой передышкой.

Приложив платок к глазам и отмахнувшись от услуг честной Бригс, которая собиралась было последовать за ней наверх, она поднялась к себе в комнату. Тем временем Бригс и мисс Кроули, обе в состоянии величайшего возбуждения, принялись обсуждать странное событие; Феркин же, не менее взволнованная, нырнула в кухонные сферы, где разгласила о происшедшем всему тамошнему обществу, как мужскому, так и женскому. Эта новость так поразила миссис Феркин, что она сочла необходимым отписать о ней с вечерней же почтой, свидетельствуя «свое нижайшее почтение миссис Бьют Кроули и пасторскому семейству... а сэр Питт приезжал сюда и сделал предложение мисс Шарп, а она отказала ему, и все очень удивляются».

Обе дамы, усевшись в столовой (куда достойная мисс Бригс, к своему великому восхищению, была снова допущена для доверительного разговора со своей благодетельницей), не могли вдоволь надивиться предложению сэра Питта и отказу Ребекки. Бригс весьма проницательно намекнула, что тут обязательно должно быть какое-нибудь препятствие в виде прежней привязанности, иначе ни одна молодая здравомыслящая женщина не отвергла бы столь выгодного предложения.

– А вы сами, Бригс, приняли бы его, конечно? – любезно осведомилась мисс Кроули.

– Разве я не приобрела бы тогда права назваться сестрой мисс Кроули? – ответила Бригс с робкой уклончивостью.

– А ведь, в сущности, из Бекки вышла бы прекрасная леди Кроули! – заметила мисс Кроули (растроганная отказом девушки, она проявляла терпимость и великодушие теперь, когда никто уже не требовал от нее жертв). – Она смысленная девушка (у нее больше ума в одном мизинчике, чем во всей вашей голове, бедная моя Бригс). Манеры у нее стали великолепные, после того как я их отшлифовала. Она – Монморанси, Бригс, а кровь все-таки сказывается, хоть я лично плюю на это. И она сумела бы поставить себя среди этих напыщенных, плутовых хэмпширцев куда лучше, чем та несчастная дочь торговца железом.

Бригс, по своему обыкновению, поддакнула, и затем собеседницы стали обсуждать вопрос о предполагаемой «прежней привязанности».

– Вам, бедным одиноким созданиям, трудно обойтись без какого-нибудь дурацкого увлечения, – заметила мисс Кроули. – Да вот и вы, разве не были влюблены в учителя чистописания (не ревите, Бригс, вечно вы ревете, он от этого не воскреснет)? Я думаю, что несчастная Бекки тоже оказалась сентиментальной дурочкой... и какой-нибудь аптекарь, домоправитель, живописец, молодой викарий, вообще кто-нибудь в этом роде...

– Бедняжка, бедняжка! – сказала Бригс, мысленно возвращаясь на двадцать четыре года вспять, к чахоточному молодому учителю чистописания, чей русый локон и чьи письма, прекрасные в своей неразборчивости, она благоговейно хранила у себя наверху в старой конторке. – Бедняжка, бедняжка! – повторила Бригс. Снова она была восемнадцатилетней девушкой со свежими щечками, сидела в церкви во время вечерней службы, и оба они с чахоточным учителем чистописания пели дрожащими голосами псалмы по одному молитвеннику.

– После такого поступка Ребекки, – с энтузиазмом заявила мисс Кроули, – наше семейство обязано что-нибудь для нее сделать. Выведайте, кто ее предмет, Бригс. Я помогу ему обзавестись аптекою и стать на ноги. Или прикажу написать мой портрет. А то поговорю о нем с моим родственником епископом... И дам Ребекке приданое; мы сыграем свадьбу. Бригс, вы займетесь устройством завтрака и будете подружкой невесты.

Бригс объявила, что это будет восхитительно, клятвенно заверила, что ее дорогая мисс Кроули всегда была добра и великодушна, и

побежала вверх, в спальню Ребекки, утешить ее и поболтать о предложении, об отказе и причинах последнего. А заодно намекнуть о благих намерениях мисс Кроули и выпытать, кто тот джентльмен, который завладел сердцем мисс Шарп.

Ребекка была очень ласкова, очень нежна и растрогана. Она отозвалась с благодарной горячностью на участливое отношение к ней Бригс, призналась, что у нее есть тайная привязанность, восхитительная тайна. (Какая жалость, что мисс Бригс не пробыла еще с полминутки у замочной скважины!) Может быть, Ребекка сказала бы и больше, но через пять минут после мисс Бригс в комнату Ребекки пожаловала сама мисс Кроули – неслыханная честь! Нетерпение ее одолело, она не в состоянии была больше ждать свою медлительную посланницу. И вот она явилась самолично и приказала Бригс удалиться из комнаты. Похвалив благоразумие Ребекки, она осведомилась о подробностях свидания и предшествовавших обстоятельствах, приведших сэра Питта к столь неожиданному шагу. Ребекка сказала, что она уже давно имела случай заметить расположение, которым достаивал ее сэр Питт (поскольку у него была привычка обнаруживать свои чувства весьма откровенным и непринужденным образом), но возраст баронета, его положение и склонности таковы, что они делают брак с ним совершенно немислимым, не говоря уже о других причинах частного свойства, изложением коих ей не хотелось бы сейчас утруждать мисс Кроули. Да и вообще, может ли сколько-нибудь уважающая себя и порядочная женщина выслушивать признания вздыхателя в момент, когда еще не преданы земле останки его скончавшейся супруги?

– Вздор, моя милая, вы никогда бы ему не отказали, не будь тут замешан кто-то другой, – заявила мисс Кроули, сразу приступая к делу. – Расскажите мне про ваши причины частного свойства. Какие у вас причины частного свойства? Тут кто-то замешан. Кто же тронул ваше сердце?

Ребекка опустила глазки долу и призналась, что это так и есть.

– Вы отгадали верно, дорогая леди, – сказала она нежным, задушевным голосом. – Вас удивляет, что у бедного одинокого существа может быть привязанность, не правда ли? Но я никогда не слыхала, чтобы бедность ограждала от этого. Ах, если бы это было так!

– Мое дорогое дитя! – воскликнула мисс Кроули, всегда готовая впасть в сентиментальную слезливость. – Значит, наша страсть не встречает ответа? Неужели мы томимся втайне? Расскажите мне все и позвольте вас утешить.

– Ах, если бы вы могли меня утешить, дорогая леди! – ответила Ребекка тем же печальным голосом. – Право, право же, я нуждаюсь в утешении!

И она положила головку на плечо к мисс Кроули и заплакала так естественно, что старая леди, поневоле растрогавшись, обняла Ребекку почти с материнской нежностью, сказала ей много успокоительных слов, уверяя ее в своей любви и расположении, клялась, что привязана к ней, как к дочери, и сделает все, что только будет в ее власти, чтобы помочь ей.

– А теперь, моя дорогая, скажите, кто он? Не брат ли этой хорошенькой мисс Седли? Вы упоминали о какой-то истории с ним. Я приглашу его сюда, моя дорогая, и он будет ваш.

– Не спрашивайте меня сейчас, – сказала Ребекка. – Вы скоро все узнаете. Право, узнаете. Милая, добрая мисс Кроули! Дорогой мой друг, если я могу вас так называть!

– Конечно, можете, дитя мое, – отвечала старая леди, целуя ее.

– Сейчас я не в силах говорить, – прорыдала Ребекка, – я слишком несчастна. Но только любите меня всегда... Обещайте, что будете всегда меня любить! – И среди взаимных слез – ибо волнение младшей женщины передалось старшей – мисс Кроули торжественно дала такое обещание и покинула свою маленькую протезе, благословляя ее и восхищаясь ею, как чудным, бесхитростным, мягкосердечным, нежным, непостижимым созданием.

И вот Ребекка осталась одна, чтобы подумать о внезапных и удивительных событиях дня, о том, что произошло и что могло произойти. Какие же, по вашему мнению, были у мисс... – простите, у миссис Ребекки – причины частного свойства? Если несколькими страницами выше автор этой книги притязал на право заглядывать украдкой в спальню мисс Эмили Седли, чтобы со всеведением романиста рассказать о нежных муках и страстях, обступивших ее невинное изголовье, то почему бы ему не объявить себя также и наперсником Ребекки, поверенным ее тайн и хранителем печати ее святая святых?

Так вот, Ребекка прежде всего дала волю искренним и горьким сожалениям о том, что счастье наконец-то постучалось к ней в дверь, а она была вынуждена от него отказаться. Эту естественную печаль, наверное, разделит с Ребеккой всякий здравомыслящий читатель. Какая добрая мать не пожалеет бедную бесприданницу, которая могла бы стать миледи и иметь свою долю в ежегодном доходе в четыре тысячи фунтов? Какая благовоспитанная леди из подвизающихся на Ярмарке Тщеславия не посочувствует трудолюбивой, умной, достойной всяческой похвалы девушке, получающей такое почетное, такое выгодное и соблазнительное предложение как раз тогда, когда уже вне ее власти принять его? Я уверен, что разочарование нашей приятельницы Бекки заслуживает всяческого сочувствия и обязательно его возбудит.

Помню, я как-то и сам был на Ярмарке, на званом вечере. Я заметил среди гостей старую мисс Тодди, обращавшую на себя внимание тем, как она лебезила и заискивала перед маленькой миссис Бриффлес, женой адвоката, которая, правда, очень хорошего рода, но, как нам всем известно, бедна до того, что уж беднее и быть нельзя. В чем же заключается, спрашивал я себя, причина такого раболепия? Получил ли Бриффлес место в суде графства или его жене досталось наследство? Мисс Тодди сама рассеяла мои недоумения с той откровенностью, которая отличает ее во всем.

– Видите ли, – сказала она, – миссис Бриффлес приходится внучкой сэру Джону Рэдхенду, который так заболел в Челтнеме, что не протянет и полугода. Папаша миссис Бриффлес вступает в права наследства, а следовательно, как вы сами понимаете, она станет дочерью баронета.

И Тодди пригласила Бриффлеса с женой отобедать у нее на следующей же неделе.

Если одна возможность стать дочерью баронета может доставить даме столько почестей в свете, то как же мы должны уважать скорбь молодой женщины, утратившей случай сделаться женой баронета! Кто мог думать, что леди Кроули так скоро умрет! «Она принадлежала к числу тех болезненных женщин, которые могут протянуть и добрый десяток лет, – размышляла про себя Ребекка. – А я могла бы стать миледи! Могла бы вертеть этим стариком, как мне заблагорассудится. Могла бы отблагодарить миссис Бьют за ее покровительство и

мистера Питта за его несносную снисходительность. Я велела бы заново обставить и отделать городской дом. У меня был бы самый красивый экипаж во всем Лондоне и ложа в опере. И меня представили бы ко двору в ближайшем же сезоне...» Все это могло бы осуществиться, а теперь... теперь все было полно сомнений и неизвестности.

Однако Ребекка была слишком решительной и энергичной молодой особой, чтобы долго предаваться напрасной печали о непоправимом прошлом. А потому, посвятив ему надлежащую долю сожалений, она благоразумно обратила все свое внимание на будущее, которое в эту минуту было для нее много важнее, и занялась обзором своего положения и связанных с ним сомнений и надежд.

Прежде всего она замужем – это очень важное обстоятельство. Сэру Питту оно известно. Признание вырвалось у нее не потому, что она была застигнута врасплох, – скорее ее побудил к этому внезапно мелькнувший у нее расчет. Рано или поздно ей нужно будет открыться, так почему не сейчас? Тот, кто не считал для себя зазорным сделать ее своей супругой, не должен возражать против нее как против своей невестки. Но как отнесется к такому известию мисс Кроули – вот в чем вопрос. Некоторые опасения на этот счет у Ребекки были, но она помнила все то, что мисс Кроули говорила по этому поводу: открытое презрение старой леди к вопросу о происхождении; ее смелые либеральные взгляды; ее романтические наклонности; ее страстную привязанность к племяннику и неоднократно выраженные добрые чувства к самой Ребекке. Она так его любит, думалось Ребекке, что все ему простит. Она так привыкла ко мне, что без меня ей будет трудно, я в этом уверена. Когда же выяснится, произойдет сцена, будет истерика, страшная ссора, а затем наступит великое примирение. Во всяком случае, что пользы откладывать? Жребий брошен, и теперь ли, завтра ли – все равно. И вот, решив, что мисс Кроули нужно поставить обо всем в известность, молодая особа принялась размышлять о том, как сделать это лучше. Встретить ли ей лицом к лицу бурю, которая обязательно разразится, или же обратиться в бегство и переждать, пока первый бешеный порыв не уляжется? В состоянии такого раздумья Ребекка написала следующее письмо:



«Мой бесценный друг!

Роковая минута, которую мы так часто предвидели в наших разговорах, наступила. Моя тайна известна – наполовину. Я думала и передумывала, пока не пришла к выводу, что настало время открыть все. Сэр Питт явился ко мне сегодня и сделал мне – что бы ты думал? – формальное предложение. Вот неожиданный пассаж! Бедная я, бедная! Могла бы стать леди Кроули. Как обрадовалась бы миссис Бьют, да и ma tante<sup>[142]</sup> если бы я заняла положение выше ее! Я могла бы стать кому-то маменькой, а не... О, я трепещу, трепещу при мысли о том, что скоро все раскроется!

Сэр Питт знает теперь, что я замужем, но, видимо, не слишком огорчен, так как ему неизвестно, кто мой муж. Ma tante чуть ли не сердится, что я отказала ему. Но она – сама доброта и любезность – соблаговолила сказать, что я была бы хорошей женой сэру Питту, и клялась, что станет матерью для твоей маленькой Ребекки. Нужно ли нам опасаться чего-либо, кроме минутной вспышки гнева? Не думаю. Более того, я уверена, что нам ничто не грозит. Она так к тебе благоволит (гадкий, негодный ты сорванец!), что все простит тебе. А я положительно верю, что следующее место в ее сердце принадлежит мне и что без меня она будет просто несчастной. Милый друг! Что-то говорит мне, что мы победим. Ты оставишь свой противный полк, бросишь игру и скачки и станешь пай-мальчиком. Мы будем жить на Парк-лейн, и ma tante завещает нам все свои деньги.

Я постараюсь выйти завтра гулять в три часа в обычное место. Если мисс Б. будет сопровождать меня, приходи к обеду, принеси ответ и вложи в третий том проповедей Портиаса. Но, во всяком случае, приходи к своей

*P.*

*Мисс Элизе Стайлс.*

*По адресу мистера Барнета,*

*седельщика, Найтсбридж».*

Я уверен, что не найдется ни одного читателя этой маленькой повести, у которого не хватило бы проницательности догадаться, что мисс Элиза Стайлс, заходившая за этими письмами к седельщику (по словам Ребекки, это была ее старая школьная подруга, с которой они за последнее время возобновили оживленную переписку), носила медные шпоры и густые вьющиеся усы и была, конечно, не кем иным, как капитаном Родоном Кроули.

## Глава XVI

### Письмо на подушечке для булавок

Как они поженились, это ровно никого не касается. Что могло помешать совершеннолетнему капитану и девице, достигшей брачного возраста, выправить лицензию и обвенчаться в любой лондонской церкви? Всякий знает, что если женщина чего-нибудь захочет, то непременно поставит на своем. Мне думается, что в один прекрасный день, когда мисс Шарп отправилась на Рассел-сквер провести утро со своей милой подружкой мисс Эмилией Седли, вы могли бы увидеть некую особу, весьма похожую на Ребекку, входящей в одну из церквей Сити в сопровождении джентльмена с нафабранными усами, который через четверть часа проводил свою даму до поджидавшей ее наемной кареты, – и что все это означало не что иное, как скромную свадьбу.

Да и кто из живущих станет отрицать безусловное право джентльмена жениться на ком угодно, судя по тому, что мы ежедневно наблюдаем? Сколько умных и ученых людей женились на своих кухарках! Разве сам лорд Элдон<sup>[143]</sup>, рассудительнейший человек, не увез свою невесту тайком? Разве Ахилл и Аякс не были влюблены в своих служанок?<sup>[144]</sup> И можем ли мы ждать от тяжеловесного драгуна, наделенного сильными желаниями и карликовым мозгом, никогда не умевшего владеть своими страстями, чтобы он внезапно взялся за ум и перестал любой ценой добиваться исполнения прихоти, которая засела ему в голову? Если бы люди заключали только благоразумные браки, какой урон это нанесло бы росту народонаселения на земле!

На мой взгляд, брак мистера Родона был, пожалуй, одним из самых честных поступков, какие нам придется отметить в той части биографии этого джентльмена, которая связана с настоящим повествованием. Никто не скажет, что недостойно человека увлечься женщиной или, увлекшись, жениться на ней. А удивление, восторг, страсть, безграничное доверие и безумное обожание, какими этот рослый воин мало-помалу начал проникаться к маленькой Ребекке, – все это чувства, которые – во всяком случае, по мнению дам – скорее

делают ему честь. Когда Ребекка пела, каждая нота заставляла трепетать его ленивую душу и отдавалась в его грузном теле. Когда она говорила, он напрягал все силы своего ума, чтобы внимать и удивляться. Если она бывала в шутливом настроении, он долго переваривал ее шутки и лишь полчаса спустя, уже на улице, начинал громко хохотать над ними – к изумлению своего груга, сидевшего рядом с ним в тильбюри, или товарища, с которым он катался верхом на Роттен-роу<sup>[145]</sup>.

Ее слова были для него вещаниями оракула, самый пустячный ее поступок носил отпечаток непогрешимой мудрости и такта. «Как она поет! Как рисует! – думал он. – Как она справилась с этой норовистой кобылой в Королевском Кроули!» И он говаривал Ребекке восхищенно:

– Ей-богу, Бек, тебе бы быть главнокомандующим или архиепископом Кентерберийским, клянусь честью!

И разве это такой редкий случай? Разве мы не видим повседневно добродушных Геркулесов, держащихся за юбки Омфал<sup>[146]</sup>, и огромных бородатых Самсонов, лежащих у ног Далил<sup>[147]</sup>?

И вот, когда Бекки сообщила Родону, что великая минута наступила и пора действовать, он выразил такую же готовность слушаться ее приказа, с какою пустился бы со своим эскадром в атаку по команде полковника.

Ему не понадобилось вкладывать письмо в третий том Портиаса. На следующий день Ребекка легко нашла способ отделаться от своей спутницы Бригс и встретиться со своим верным другом в «обычном месте». За ночь она все обдумала и сообщила Родону результат своих решений. Конечно, он был на все согласен, а также уверен, что все обстоит отлично, что ее предложение лучшее из всех возможных, что мисс Кроули обязательно смягчится со временем, или «утихомирится», как он выразился. Если бы Ребекка пришла к противоположному решению, он принял бы его так же безоговорочно. «У тебя хватит ума на нас обоих, Бек, – говорил он, – ты наверняка выручишь нас из беды. Я не знаю никого, кто мог бы с тобой сравниться, а я на своем веку встречал немало пройдох». И с этим невинным признанием, в котором заключался его символ веры, уязвленный любовью драгун распростился с Ребеккой и отправился

приводить в исполнение свою часть плана, который Ребекка составила для них обоих.

План этот состоял в найме скромной квартирki для капитана и миссис Кроули в Бромптоне или вообще по соседству с казармами. Дело в том, что Ребекка решила – и, по нашему мнению, весьма благоразумно – бежать. Родон был вне себя от счастья, он склонял ее к этому уже несколько недель. Со всем пылом любви помчался он нанимать квартиру и с такой готовностью согласился платить две гинейи в неделю, что квартирная хозяйка пожалела, что запросила мало. Он заказал фортепьяно, закупил пол-оранжереи цветов и кучу всяких вкусных вещей. Что же касается шалей, лайковых перчаток, шелковых чулок, золотых французских часиков, браслетов и духов, то он послал их на квартиру с расточительностью слепой любви и неограниченного кредита. Облегчив душу подобным излиянием щедрости, он отправился в клуб и там пообедал, с волнением ожидая великого часа.

События предыдущего дня – благородное поведение Ребекки, отклонившей столь выгодное предложение, тайное несчастье, тяготевшее над нею, кротость и безропотность, с какими она сносила превратности судьбы, – еще больше расположили к ней мисс Кроули. Такого рода события, как свадьба, отказ или предложение, всегда приводят в трепет женское население дома и пробуждают все истерические наклонности представительниц прекрасного пола. В качестве наблюдателя человеческой природы я регулярно посещаю в течение сезона светских свадеб церковь Св. Георга, близ Ганноверсквер. И хотя я никогда не видал, чтобы кто-либо из мужчин, друзей жениха, проливал слезы или чтобы приходские сторожа и церковнослужители проявляли хоть малейшие признаки расстройства чувств, но зато сплошь и рядом можно увидеть, как женщины, не имеющие никакого касательства к происходящему торжеству, – старые дамы, давно вышедшие из брачного возраста, дородные матроны средних лет, обремененные большим семейством, не говоря уж о хорошеньких молоденьких созданиях в розовых шляпках (они ожидают своего производства в высший чин и потому, естественно, интересуются церемонией), – так вот, говорю я, вы можете сплошь и рядом увидеть, как присутствующие женщины проливают слезы, рыдают, сморкаются, прячут лица в крошечные бесполезные носовые

платочки, и все – и старухи, и молодые – вздыхают от глубины души. Когда мой друг, щеголь Джон Пимлико, вступал в брак с очаровательной леди Белгрейвией Грин-Паркер, все так волновались, что даже маленькая, перепачканная нюхательным табаком старушка, присматривавшая за церковными скамьями и проводившая меня на место, заливалась слезами. «А почему? – спросил я себя. – Ведь ее-то не выдают замуж».

Словом, после истории с сэром Питтом мисс Кроули и Бригс предавались безудержной оргии чувств, и Ребекка стала для них предметом нежнейшего интереса. В ее отсутствие мисс Кроули утешалась чтением самого сентиментального романа, какой только нашелся у нее в библиотеке. Малютка Шарп с ее тайными горестями стала героиней дня.

В тот вечер Ребекка пела слаще и беседовала занимательнее, чем когда-либо на Парк-лейн. Она обвила круг сердца мисс Кроули. О предложении сэра Питта вспоминала с шутками и улыбкой, высмеивая его как стариковскую блажь; когда же она сказала, что не хотела бы для себя никакого иного жребия, кроме возможности остаться навсегда со своей дорогой благодетельницей, глаза ее наполнились слезами, а сердце Бригс – горестным сознанием собственной ненужности.

– Дорогая моя крошка, – промолвила старая леди, – я не позволю вам тронуться с места еще много, много лет – можете в этом не сомневаться. О том, чтобы возвратиться к моему противному брату, после всего происшедшего не может быть и речи. Вы останетесь здесь со мною, а Бригс – Бригс часто выражала желание навестить родных. Бригс, теперь вы можете ехать куда угодно! Ну, а вам, моя дорогая, придется остаться и ухаживать за старухой.

Если бы Родон Кроули присутствовал здесь, а не сидел в клубе и не тянул в волнении красное вино, наша парочка могла бы броситься на колени перед старой девой, признаться ей во всем и в мгновение ока получить прощение. Но в таком счастливом исходе было отказано молодой чете – несомненно, для того, чтобы можно было написать наш роман, в котором будет рассказано о множестве изумительных приключений этих супругов – приключений, которые никогда не были бы ими пережиты, если бы им предстояло обитать под кровом

удобного для них, но не интересного для читателя прощения мисс Кроули.

В доме на Парк-лейн под командой миссис Феркин состояла молодая девушка из Хэмпшира, которой вменялось в обязанность наряду с прочими ее делами стучать в дверь мисс Шарп и подавать кувшин горячей воды, так как Феркин скорее наложила бы на себя руки, чем стала оказывать подобные услуги незваной гостье. У этой девушки, выросшей в фамильном поместье, был брат в эскадроне капитана Кроули, и если бы все тайное вышло наружу, то, пожалуй, оказалось бы, что она осведомлена о многих делах, имеющих весьма близкое касательство к нашей истории. Во всяком случае, девушка приобрела себе желтую шаль, пару зеленых башмаков и голубую шляпу с красным пером на три гинеи, подаренные ей Ребеккой; а так как малютка Шарп вовсе не отличалась чрезмерной щедростью, то, надо полагать, Бетти Мартин получила эту взятку за оказанные ею услуги.

Наутро после предложения, сделанного сэром Питтом Кроули своей гувернантке, солнце встало, как обычно, и в обычный час Бетти Мартин, горничная, прислуживавшая наверху, постучала в дверь мисс Шарп.

Ответа не последовало, и Бетти постучала вторично. По-прежнему полная тишина. Тогда Бетти, не выпуская из рук кувшина с горячей водой, открыла дверь и вошла в комнату.

Беленькая постелька под кисейным пологом оставалась такой же аккуратной и прибранной, как и накануне, когда Бетти собственноручно помогала привести ее в порядок. Два чемоданчика, перевязанные веревками, стояли в одном углу комнаты, а на столе перед окном – на подушечке для булавок, на большой пухлой подушечке для булавок, с розовой подкладкой, просвечивавшей сквозь сетку, связанную, наподобие дамского ночного чепца, в диагональ, – лежало письмо. Вероятно, оно пролежало тут всю ночь.

Бетти подошла к нему на цыпочках, словно боялась разбудить его, обвела взглядом комнату с видом изумленным, но и довольным, взяла письмо с подушечки, ухмыляясь, повертела в руках и наконец понесла вниз, в комнату мисс Бригс.

Желал бы я знать, каким образом Бетти могла решить, что письмо адресовано мисс Бригс? Все обучение Бетти свелось к тому, что она посещала воскресную школу миссис Бьют Кроули, так что в писанных буквах она разбиралась не лучше, чем в древнееврейских текстах.

– О мисс Бригс! – воскликнула девушка. – О мисс! Наверное, что-нибудь случилось: в комнате мисс Шарп никого нет, на постели никто не спал, а сама она сбежала, вот только оставила вам это письмо, мисс!

– Что?! – закричала Бригс, роняя гребень и рассыпая по плечам жидкие пряди выцветших волос. – Побег? Мисс Шарп убежала? Что же это, что же это? – И, живо сломав аккуратную печать, она принялась, как говорится, пожирать глазами содержание письма, ей адресованного.

«Дорогая мисс Бригс, – писала беглянка, – столь нежное сердце, как ваше, отнесется с жалостью и сочувствием ко мне и простит меня. Обливаясь слезами и вознося небу молитвы и благословения, покидаю я тот дом, где бедная сиротка всегда встречала ласку и любовь. Обязательства, стоящие даже выше обязательств перед моей благодетельницей, отзывают меня. Я иду, послушная велению долга, к *мужу*. Да, я замужем. Мой супруг *приказывает* мне следовать за ним в *скромное жилище*, которое мы зовем своим.

Дражайшая мисс Бригс, сообщите эту весть моему дорогому, моему возлюбленному другу и благодетельнице, – ваше доброе сердце подскажет вам, как это сделать. Скажите ей, что, прежде чем уйти, я оросила слезами ее дорогое изголовье – то изголовье, которое столь часто опраивляла во время ее болезни... у которого мечтаю *снова* бодрствовать. О, с какой радостью я вернусь на дорогую мне Парк-лейн! Как трепещу в ожидании ответа, который решит мою судьбу! Когда сэр Питт соблаговолил предложить мне руку, оказав мне честь, которой я *заслуживаю*, по словам возлюбленной моей мисс Кроули (благословляю ее за то, что она сочла бедную сиротку достойной стать ее сестрой!), я призналась сэру Питту в том, что я замужем. Даже он



простил меня. Но у меня не хватило смелости сказать ему все: что я не могу быть его женой – потому что *я его дочь*. Я связала свою жизнь с достойнейшим, благороднейшим человеком: Родон мисс Кроули – *мой Родон*. Это по его распоряжению я открываюсь теперь перед вами и следую за ним в наше скромное жилище, как последовала бы *на край света*. О мой добрый и ласковый друг, заступитесь перед любимой тетушкой моего Родона за него и за бедную девушку, к которой вся его *благородная* родня проявила такую *ни с чем не сравнимую* приязнь. Упросите мисс Кроули принять *своих детей*. Не могу ничего больше прибавить, но призываю тысячу благословений на всех в том милом доме, который я покидаю.

Ваша любящая и

*заранее благодарная Ребекка Кроули.*

*Полночь».*

Не успела Бригс дочитать этот трогательный и захватывающий документ, восстанавливавший ее в положении первой наперсницы мисс Кроули, как в комнату вошла миссис Феркин.

– Приехала с почтовой каретой из Хэмпшира миссис Бьют Кроули и просит чаю. Не позаботитесь ли вы о завтраке, мисс?

К изумлению Феркин, мисс Бригс, запахнув полы своего капота, устремилась вниз к миссис Бьют с письмом, содержащим изумительную новость, причем жиденькая косичка ее растрепалась и развевалась сзади, а папильотки все еще гроздьями окаймляли ее чело.

– О миссис Феркин, – задыхаясь, доложила Бетти, – вот оказия! Мисс Шарп взяла да и сбежала с капитаном. Они удрали в Гретна-Грин<sup>[148]</sup>.

Мы посвятили бы целую главу описанию чувств миссис Феркин, если бы нашу великосветскую музу не занимали в большей степени страсти, обуревавшие ее высокопоставленных хозяек.

Когда миссис Бьют Кроули, окоченевшая от ночного путешествия и гревшаяся у только что затопленного и весело потрескивающего камина в столовой, услышала от мисс Бригс о тайном браке, она

заявила, что само провидение привело ее в такое время для оказания голубушке мисс Кроули поддержки в постигшем ее горе и что Ребекка – хитрая маленькая бестия, лично она никогда ни минуты в том не сомневалась. Что касается Родона, то для нее всегда было загадкой, как он сумел так ловко обойти старуху, ведь это пропащая душа, мот, распутник, – она, миссис Бьют, давно это говорила. Хорошо еще, что его мерзкий поступок откроет голубушке мисс Кроули глаза на истинный характер этого невозможного человека. Затем миссис Бьют с аппетитом напилась чаю с горячими гренками, а так как в доме оказалось теперь свободное помещение, то ей уже не надо было больше уютиться в Глостерской кофейной, куда доставила ее портсмутская почтовая карета, и она приказала лакею, состоявшему под началом у мистера Боулса, доставить ей оттуда ее чемоданы.

Мисс Кроули, надо вам сказать, не покидала своей комнаты почти до полудня – она пила по утрам шоколад в постели, пока Бекки Шарп читала ей «Морнинг пост», или как-нибудь иначе убивала время. Заговорщицы внизу условились между собой щадить чувства дорогой леди, пока она не появится в гостиной. Тем временем старухе доложили, что миссис Бьют Кроули прибыла с почтовой каретой из Хэмшира, остановилась в «Глостере», шлет свой привет и любовь мисс Кроули и просит разрешения позавтракать с мисс Бригс. Прибытие миссис Бьют в другое время не вызвало бы особого восторга, но теперь оно было принято с удовольствием. Мисс Кроули радовалась возможности посудачить с невесткой о покойной леди Кроули, о предстоящих приготовлениях к похоронам и о внезапном предложении сэра Питта, сделанном Ребекке.

Лишь после того как старая леди погрузилась в свое обычное кресло в гостиной и между дамами произошел предварительный обмен приветствиями и расспросами, заговорщицы решили, что пора приступить к операции. Кто не восхищался искусными и деликатными маневрами, какими женщины «подготавливают» друзей к дурным новостям! Обе приятельницы мисс Кроули пустили в ход такую машинерию таинственности, прежде чем преподнести той новость, что довели старуху до надлежащего градуса сомнений и тревоги.

– И она отказала сэру Питту, моя голубушка, голубушка мисс Кроули, потому что... мужайтесь, – говорила миссис Бьют, – потому

что не могла поступить иначе.

– Конечно, тут были причины, – заметила мисс Кроули. – Она любит кого-то другого. Я так и сказала вчера Бригс.

– Любит кого-то другого! – произнесла, задыхаясь, Бригс. – О мой дорогой друг, она уже замужем!

– Уже замужем! – повторила миссис Бьют. Обе они сидели, стиснув руки и поглядывая то друг на друга, то на свою жертву.

– Пришлите ее ко мне, как только она вернется. Этакая негодница! Как же она посмела не рассказать мне? – воскликнула мисс Кроули.

– Она не скоро вернется. Приготовьтесь, дорогой друг: она ушла из дому надолго... она... она совсем ушла.

– Боже милосердный, а кто же будет мне варить шоколад? Пошлите за нею и доставьте ее обратно. Я желаю, чтобы она вернулась, – кипятилась старая леди.

– Она исчезла этой ночью, сударыня! – воскликнула миссис Бьют.

– Она оставила мне письмо, – добавила Бригс, – она вышла замуж за...

– Подготовьте ее, ради бога! Не мучайте ее, моя дорогая мисс Бригс.

– За кого она вышла замуж? – крикнула старая дева, приходя в бешенство.

– За... родственника...

– Она отказала сэру Питту! – закричала жертва. – Говорите же. Не доводите меня до сумасшествия!

– О сударыня!.. Подготовьте ее, мисс Бригс... она вышла замуж за Родона Кроули.

– Родон женился... на Ребекке... на гувернантке... на ничтож... Вон из моего дома, дура, идиотка! Бригс, вы – безмозглая старуха! Как вы осмелились! Это ваших рук дело... вы заставили Родона жениться, рассчитывая, что я лишу его наследства... Это вы сделали, Марта! – истерически выкрикивала несчастная старуха.

– Я, сударыня, буду уговаривать члена такой фамилии жениться на дочери учителя рисования?

– Ее мать была Монморанси! – воскликнула старая леди, изо всей мочи дергая за сонетку.

– Ее мать была балетной танцовщицей, да и сама она выступала на сцене или еще того хуже, – возразила миссис Бьют.

Мисс Кроули издала заключительный вопль и откинулась на спинку кресла в обмороке. Пришлось отнести ее обратно в спальню, которую она только что покинула. Один припадок следовал за другим. Послали за доктором – прибежал аптекарь. Миссис Бьют заняла пост сиделки у кровати больной.

– Ее родственники должны быть при ней, – заявила эта любезная женщина.

Не успели перенести старуху в ее спальню, как появилось новое лицо, которому тоже необходимо было преподнести эту новость, – сэр Питт.



– Где Бекки? – сказал он, входя в столовую. – Где ее пожитки?  
Она поедет со мной в Королевское Кроули.

– Разве вы не слышали умопомрачительной вести о ее утаенном от всех союзе? – спросила Бригс.

– А мне какое до него дело? – возразил сэр Питт. – Я знаю, что она замужем! Не все ли равно? Скажите ей, чтобы она сейчас же спускалась и не задерживала меня.

– А разве вы не осведомлены, сэр, – продолжала мисс Бригс, – что она покинула наш кров, к ужасу мисс Кроули, которую чуть не убила весть о браке ее с капитаном Родоном?

Когда сэр Питт Кроули услышал, что Ребекка вышла замуж за его сына, он разразился такой бешеной бранью, которую неудобно повторять здесь. Бедная Бригс, содрогаясь, выскочила из комнаты. Вместе с нею и мы закроем дверь за обезумевшим стариком, дошедшим до неистовства и потерявшим разум от ненависти и несбывшихся желаний.

День спустя, вернувшись в Королевское Кроули, он как сумасшедший ворвался в комнату, которую занимала Ребекка, растоптал ногами ее коробки и картонки и расшвырял ее бумаги, одежду и прочие пожитки. Мисс Хорокс, дочь дворецкого, завладела некоторыми вещами Бекки; другие достались девочкам, и они разыгрывали в них свои комедии. Это произошло через несколько дней после того, как их бедная мать отправилась в место своего последнего упокоения и была положена, никем не оплаканная и никому не нужная, в склеп, где лежали одни чужие.

– А вдруг старуха не угомонится? – говорил Родон своей маленькой жене, когда они сидели вдвоем в уютной бромптонской квартирке. Ребекка все утро пробовала новое фортепьяно. Новые перчатки пришлись ей удивительно впору; новые шали замечательно были ей к лицу; новые кольца блестели на ее маленьких ручках, и новые часы тикали у ее талии. – А вдруг она не утихомирится? А, Бекки?

– Тогда я сама устрою твою судьбу, – ответила она.

И Далила потрепала Самсона по щеке.

– Нет того, что ты не могла бы сделать! – согласился он, целуя маленькую ручку. – Ей-богу. А пока едем в «Звезду и Подвязку» обедать, честное слово.

## **Глава XVII,** *о том, при каких обстоятельствах капитан Доббин приобрел фортепьяно*

Если есть на Ярмарке Тщеславия выставка, на которую рука об руку приходят и Чувство и Сатира, где вы натываетесь на самые неожиданные контрасты, как смехотворные, так и печальные, где одинаково уместно и горячее сочувствие, и открытое, беспощадное осмеяние, – так это одно из тех публичных сборищ, объявления о коих пачками публикуются ежедневно на последней странице газеты «Таймс» и на коих с таким достоинством председательствовал покойный мистер Джордж Робинс. Мне думается, в Лондоне нет человека, который не побывал бы на этих сборищах, и каждый, кто чувствует в себе жилку моралиста, не может не задуматься с внезапным и странным холодком в душе о том, когда настанет и его черед и когда по иску Диогена или указанию судебного исполнителя аукционист пустит с молотка библиотеку покойного Эпикура, его мебель, посуду, гардероб и изысканные вина.

У любого из посетителей Ярмарки Тщеславия, будь он самый черствый себялюбец, сердце сжимается от сострадания при виде этой неприглядной стороны похорон скончавшегося друга. Останки милорда Богача покоятся в семейном склепе; ваятели вырежут надпись на могильной плите, правдиво вещающую о его добродетелях и о скорби наследника, который уже распоряжается его добром. Какой гость, сидевший за столом Богача, пройдет без вздоха мимо знакомого дома, где в семь часов так весело загорались огни, где так гостеприимно распахивались парадные двери и подобострастные слуги звонко выкрикивали ваше имя от площадки к площадке, пока вы поднимались по удобной лестнице и пока оно не достигало того покоя, где радушный старый Богач приветствовал своих друзей! Сколько их у него было и с каким благородством он их принимал! Как остроумны бывали здесь люди и как они становились угрюмы, едва за ними закрывалась дверь! И сколь обходительны бывали здесь те, кто поносил и ненавидел друг друга во всяком ином месте. Он был

чванлив, но при таком поваре чего не проглотишь! Он был, пожалуй, скучноват, но разве такое вино не оживляет всякой беседы? «Нужно раздобыть несколько бутылок его бургонского за любую цену!» – кричат безутешные друзья в его клубе. «Я приобрел эту табакерку на распродаже у старого Богача, – говорит Пинчер, пуская ее по рукам, – одна из метресс Людовика Пятнадцатого; миленькая вещица, не правда ли? Прелестная миниатюра!» И тут начинается разговор о том, как молодой Богач расточает отцовское состояние.

Но как, однако, изменился дом! Фасад испещрен объявлениями, на которых жирными прописными буквами перечисляется по статьям все выставленное на продажу. Из окна верхнего этажа свесился обрывок ковра; с полдюжины носильщиков толчется на грязном крыльце; сени кишат потрепанными личностями с восточной наружностью, которые суют вам в руки печатные карточки и предлагают за вас торговаться. Старухи и коллекционеры наводнили верхние комнаты, щупают пологи у кроватей, тычут пальцами в матрацы, взбивают перины и хлопают ящиками комодов. Предприимчивые молодые хозяйки вымеряют зеркала и драпировки, соображая, подойдут ли они к их новому обзаведению (Сноб будет потом несколько лет хвастать, что приобрел то-то или то-то на распродаже у Богача), а мистер Аукционист, восседая на большом обеденном столе красного дерева внизу в столовой и размахивая молоточком из слоновой кости, выхваливает свои товары, пуская в ход все доступные ему средства красноречия – энтузиазм, уговоры, призывы к разуму, отчаяние, – орет на своих помощников, подтрунивает над нерешительностью мистера Дэвидса, насаждает на мистера Мосса, умоляет, командует, вопит – пока молоток не опускается с неумолимостью рока и мы не переходим к следующему номеру. О Богач, кто мог бы подумать, сидя за широчайшим столом, на котором сверкало серебро и столовое белье ослепительной белизны, что в один прекрасный день мы увидим на почетном месте такое блюдо, как орущий Аукционист!

Распродажа подходила к концу. Великолепная гостиная работы лучших мастеров, знаменитый ассортимент редких вин (все они приобретались по любой цене покупателем-знатоком, обладавшим отличным вкусом), богатейший фамильный серебряный сервиз были



проданы в предшествующие дни. Некоторые из самых тонких вин (пользовавшихся большой славой среди любителей-соседей) были куплены дворецким нашего друга, Джона Осборна, эсквайра, с Рассел-сквер, для своего хозяина, знавшего их очень хорошо. Небольшая часть самых расхожих предметов из столового серебра досталась каким-то молодым маклерам. И вот, когда публику стали соблазнять всякой мелочью, восседавший на столе оратор принялся расхваливать достоинства портрета, который он хотел сбить с рук какому-нибудь наивному покупателю: это было уже далеко не то избранное и многочисленное общество, которое посещало аукцион в предшествовавшие дни.

– Номер триста шестьдесят девять! – надрывался Аукционист. – Портрет джентльмена на слоне. Кто даст больше за джентльмена на слоне? Поднимите картину повыше, Блоумен, и дайте публике полюбоваться на этот номер!

Какой-то долговязый бледный джентльмен в военном мундире, скромно сидевший у стола красного дерева, не мог удержаться от улыбки, когда этот ценный номер был предъявлен к осмотру мистером Блоуменом.

– Поверните-ка слона к капитану, Блоумен! Сколько мы предложим за слона, сэр?

Но капитан, весь залившись краской и совершенно сконфузившись, отвернулся. Аукционист тем временем продолжал, повергая его в еще большее смущение:

– Ну, скажем, двадцать гиней за это произведение искусства? Пятнадцать? Пять? Назовите вашу цену! Да ведь один джентльмен без слона стоит пять фунтов.

– Удивляюсь, как слон не свалится под ним, – заметил какой-то присяжный шутник. – Уж больно седок-то упитанный.

Это замечание (едущий на слоне был изображен весьма дородным мужчиной) вызвало дружный смех в зале.

– Не пытайтесь сбить цену этой редкостной вещи, мистер Мосс, – сказал мистер Аукционист, – пусть уважаемая публика хорошенько рассмотрит этот шедевр; поза благородного животного вполне отвечает натуре; джентльмен в нанковом жакете, с ружьем в руках, выезжает на охоту; вдали виднеется баньяновое дерево и пагода; перед нами, очевидно, какой-то примечательный уголок наших славных

восточных владений. Сколько даете за этот номер? Прошу вас, джентльмены, не задерживайте меня здесь на целый день.

Кто-то дал пять шиллингов. Услыхав это, военный джентльмен взглянул в ту сторону, откуда исходило такое щедрое предложение, и увидел другого офицера, под руку с молодой дамой. Оба они, казалось, весьма забавлялись происходившей сценой; в конце концов картина пошла за полгинеи и досталась им. Заметив эту парочку, сидевший у стола еще больше прежнего удивился и сконфузился: голова его ушла в воротник, и он отвернулся, как будто желая избежать неприятной встречи.

Мы не собираемся перечислять здесь все другие предметы, которые Аукционист имел честь предложить открытому соисканию в этот день, кроме лишь одной вещи: это было маленькое фортепьяно, доставленное вниз с верхнего этажа (большой рояль из гостиной был вывезен раньше). Молодая дама попробовала его быстрой и ловкой рукой (заставив офицера снова покраснеть и вздрогнуть), и, когда настала очередь фортепьяно, агент дамы стал торговать его.

Но тут он встретил препятствие. Еврей, состоявший в роли адъютанта при офицере у стола, стал надавать цену против еврея, нанятого покупщиками слона, и из-за маленького фортепьяно загорелась оживленная битва, которую Аукционист усиленно разжигал, подбодряя обоих противников.

Наконец, когда соревнование уже порядочно затянулось, капитан и дама, купившие слона, отказались от дальнейшей борьбы; молоток опустился, Аукционист объявил: «За мистером Льюисом, двадцать пять!» И таким образом шеф мистера Льюиса стал собственником маленького фортепьяно. Сделав это приобретение, он выпрямился в своем кресле с видом величайшего облегчения и в эту самую минуту был замечен своими неудачливыми соперниками. Дама сказала своему кавалеру:

– Слушай, Родон, ведь это капитан Доббин!

Вероятно, Бекки была недовольна новым фортепьяно, взятым для нее напрокат, или же хозяева инструмента потребовали его обратно, отказав в дальнейшем кредите; а может быть, ее особенное пристрастие к тому фортепьяно, которое она только что пыталась приобрести, объясняется воспоминаниями о давно минувших днях, когда она играла на нем в комнате нашей милой Эмилии Седли?

Ибо аукцион происходил в старом доме на Рассел-сквер, где мы провели несколько вечеров в начале этого повествования. Старый добряк Джон Седли разорился. Его имя было объявлено в списке неисправных должников на Лондонской бирже, а за этим последовали его банкротство и коммерческая смерть. Дворецкий мистера Осборна скупил часть знаменитого портвейна и перевез его в погреб по другую сторону сквера. Что же касается дюжины столовых серебряных ложек и вилок прекрасной работы, продававшихся на вес, и дюжины таких же десертных, то нашлось три молодых биржевых маклера (фирма «Дейл, Спигот и Дейл» на Треднидл-стрит), которые раньше вели дела со стариком и видели с его стороны много хорошего в те дни, когда он был так мил и любезен со всеми, с кем ему приходилось вести дела, — они-то и послали доброй миссис Седли эти жалкие обломки крушения, выразив тем свое уважение к ней. Что же касается фортепьяно, то, поскольку оно принадлежало Эмилии и та могла больно чувствовать его отсутствие и нуждаться в нем теперь, а капитан Уильям Доббин умел играть на нем так же, как танцевать на канате, нам остается предположить, что капитан приобрел его не для собственной надобности.

Словом, фортепьяно было в тот же вечер доставлено в крошечный домик на улице, идущей от Фулем-роуд, — на одной из тех лондонских улочек, которые носят такие изысканно-романтические названия (эту, в частности, именовали: Виллы Св. Аделаиды, Анна-Мария-роуд, Вест) и где дома кажутся кукольными; где обитатели, выплядывающие из окон бельэтажа, должны, как представляется зрителю, сидеть, опустив ноги в гостиную нижнего этажа; где кусты в палисадниках круглый год цветут детскими передничками, красными носочками, чепчиками и т. п. (*polyandria polygynia*); где до вас доносятся звуки разбитых клавикордов и женского пения; где пивные кружки висят на заборах, просушиваясь на солнышке; где по вечерам вы встретите конторщиков, устало бредущих из Сити. На одной из таких улиц и находилось жилище мистера Клепа, конторщика мистера Седли, и в этом убежище приклонил голову добрый старик с женой и дочерью, когда произошел крах.

Джоз Седли, когда известие о постигшем семью несчастье дошло до него, поступил так, как и следовало ожидать от человека с его

характером. Он не поехал в Лондон, но написал матери, чтобы она обращалась к его агентам за любой суммой, какая ей потребуется, так что его добрые, удрученные горем старики родители могли на первых порах не страшиться бедности. Совершив это, Джоз продолжал жить по-прежнему в челтнемском пансионе. Он ездил кататься в своем кабриолете, пил красное вино, играл в вист, рассказывал о своих индийских похождениях, а ирландка-вдова по-прежнему утешала и улещала его. Денежный подарок Джона, как ни нуждались в нем, не произвел на родителей большого впечатления; и я слышал, со слов Эмилии, что ее удрученный отец впервые поднял голову в тот день, когда был получен ящичек с ложками и вилками вместе с приветом от молодых маклеров; он разрыдался, как ребенок, и был растроган гораздо больше, чем даже его жена, которой было адресовано это подношение. Эдвард Дейл, младший компаньон фирмы, непосредственный исполнитель этого поручения, давно уже заглядывался на Эмилию и теперь воспользовался случаем, чтобы сделать ей предложение, невзирая ни на что. Женился он много позже, в 1820 году, на мисс Луизе Катс (дочери владельца фирмы «Хайем и Катс», видного хлеботорговца), взяв за нею крупный куш. Сейчас он великолепно устроен и живет припеваючи со своим многочисленным семейством на собственной элегантно вилле на Масуэл-Хилл. Однако воспоминание об этом добром малом не должно отвлекать нас от главной темы нашего рассказа.

Надеюсь, читатель составил себе слишком хорошее мнение о капитане и миссис Кроули, чтобы предположить, будто им могла прийти в голову мысль наведаться в столь отдаленный квартал, как Блумсбери, если бы они знали, что семейство, которое они решили осчастливить своим посещением, не только окончательно сошло со сцены, но и осталось без всяких средств и не могло уже пригодиться молодой чете. Ребекка была чрезвычайно поражена, когда увидела, что в уютном старом доме, где она была так обласкана, хозяйничают барышники и маклаки, а укромное достояние жившей в нем семьи отдано на поток и разграбление. Через месяц после своего бегства она вспомнила об Эмилии, и Родон с довольным ржанием выразил полнейшую готовность опять повидаться с молодым Джорджем Осборном.

– Он очень приятный знакомый, Бек, – заметил шутник. – Я охотно продал бы ему еще одну лошадь. И я с удовольствием сразился бы с ним на бильярде. В нашем положении он был бы нам, так сказать, весьма полезен, миссис Кроули. Ха-ха-ха! – Эти слова не следует понимать в том смысле, что у Родона Кроули было заранее обдуманное намерение обобрать мистера Осборна. Он только искал этим своей законной выгоды, которую на Ярмарке Тщеславия каждый гуляка-джентльмен считает должной данью со стороны своего ближнего.

Старуха тетка не слишком торопилась «угомониться». Прошел целый месяц. Мистер Боулс продолжал отказывать Родону в приеме; его слугам не удавалось получить доступ в дом на Парк-лейн; его письма возвращались нераспечатанными. Мисс Кроули ни разу не вышла из дому – она была нездорова, – и миссис Бьют все еще жила у нее и не оставляла ее ни на минуту. Это затянувшееся пребывание пасторши в Лондоне не предвещало молодым супругам ничего хорошего.

– Черт, я начинаю теперь понимать, почему она все сводила нас в Королевском Кроули, – сказал как-то Родон.

– Вот лукавая бабенка! – вырвалось у Ребекки.

– Ну что же! Я об этом не жалею, если ты не жалеешь! – воскликнул капитан, все еще страстно влюбленный в жену, которая вместо ответа наградила его поцелуем и, конечно, была немало удовлетворена великодушным признанием супруга.

«Если бы он не был так непроходимо глуп, – думала она, – я могла бы что-нибудь из него сделать». Но она никогда не давала ему заметить, какое составила себе о нем мнение: по-прежнему с неиссякаемым терпением слушала его рассказы о конюшне и офицерском собрании, смеялась его шуткам, выказывала живейший интерес к Джеку Спатердашу, у которого пала упряжная лошадь, и к Бобу Мартингейлу, которого забрали в игорном доме, и к Тому Синкбарзу, который предполагал участвовать в скачках с препятствиями. Когда Родон возвращался домой, она была оживленна и счастлива; когда он собирался куда-нибудь, она сама торопила его; если же он оставался дома, она играла ему и пела, приготовляла для него вкусные напитки, заботилась о его обеде, грела ему туфли и баловала как могла. Лучшие из женщин – лицемерки (я это слышал от

своей бабушки). Мы и не знаем, как много они от нас скрывают; как они бдительны, когда кажутся нам простодушными и доверчивыми; как часто их ангельские улыбки, которые не стоят им никакого труда, оказываются просто-напросто ловушкой, чтобы подольститься к человеку, обойти его или обезоружить, – я говорю вовсе не о записных кокетках, но о наших примерных матронах, этих образцах женской добродетели. Кому не приходилось видеть, как жена скрывает от всех скудоумие дурака-мужа или успокаивает ярость своего не в меру расхोлившегося повелителя? Мы принимаем это любезное нам рабство как нечто должное и восхваляем за него женщину; мы называем это прелестное лицемерие правдой. Хорошая жена и хозяйка – по необходимости лгуны. И супруг Корнелии<sup>[149]</sup> был жертвой обмана так же, как и Потифар<sup>[150]</sup>, – но только на другой манер.

Эти трогательные заботы превратили закоренелого повесу Родона Кроули в счастливого и покорного супруга. Его давно не видели ни в одном из значных мест, которых он был завсегдатаем. Приятели спрашивали о нем раза два в его клубах, но не особенно ощущали его отсутствие: в балаганах Ярмарки Тщеславия люди редко ощущают отсутствие того или другого из своей среды. Сторонящаяся общества, всегда улыбающаяся и приветливая жена, удобная квартирка, уютные обеды и непритязательные вечера – во всем этом было очарование новизны и тайны. Их брак еще не стал достоянием молвы; сообщение о нем еще не появилось в «Морнинг пост». Кредиторы Родона слетелись бы к ним толпой, если бы узнали о его женитьбе на бесприданнице. «*Мои* родные на меня не ополчатся», – говорила Ребекка с горьким смехом. И она соглашалась спокойно ждать, когда старая тетка примирится с их браком, и не требовала для себя места в обществе. Так жила она в Бромптоне, не видя никого или видясь лишь с теми немногими сослуживцами мужа, которые допускались в ее маленькую столовую. Все они были очарованы Ребеккой. Скромные обеды, смех, болтовня, а потом музыка восхищали всех, кто принимал участие в этих удовольствиях. Майору Мартингейлу никогда не пришлось бы в голову спросить у них их брачное свидетельство. Капитан Синкбарз был в полнейшем восторге от искусства Ребекки готовить пунш. А юный поручик Сптердаш (он необычайно пристрастился к игре в пикет, и потому Кроули частенько его приглашали) был явно и без промедления пленен миссис Кроули. Но

осмотрительность и осторожность ни на минуту ее не покидали, а репутация отчаянного и ревнивого вояки, укрепившаяся за Кроули, была еще более надежной и верной защитой для его милой женушки.

В Лондоне есть немало высокородных и высокопоставленных джентльменов, никогда не посещавших дамские гостиные. Поэтому, хотя о женитьбе Родона Кроули, может быть, и говорили по всему графству, где, разумеется, миссис Бьют разгласила эту новость, но в Лондоне в ней сомневались или на нее не обращали внимания, а то и вовсе о ней не знали. Родон с комфортом жил в кредит. У него был огромный капитал, состоявший из долгов, а если тратить его с толком, такого капитала может хватить человеку на много-много лет. Некоторые светские жуиры умудряются жить на него во сто раз лучше, чем живут даже люди со свободными средствами. В самом деле, кто из лондонских жителей не мог бы указать десятка человек, пышно проезжающих мимо него, в то время как сам он идет пешком, – людей, которых балуют в свете и которых провожают до кареты поклоны лавочников; людей, которые не отказывают себе ни в чем и живут неизвестно на что. Мы видим, как Джек Мот гарцует в Парке или катит на своем рысаке по Пэл-Мэл; мы едим его обеды, подаваемые на изумительном серебре. «Откуда все это берется? – спрашиваем мы. – И чем это кончится?» – «Дорогой мой, – сказал как-то Джек, – у меня долги во всех европейских столицах». В один прекрасный день должен наступить конец, но пока Джек живет в свое удовольствие; всякому лестно пожать ему руку, все пропускают мимо ушей темные слушки, которые время от времени гуляют о нем в городе, и его называют добродушным, веселым и беспечным малым.

Увы, надо признаться, что Ребекка вышла замуж как раз за джентльмена такого сорта. Дом его был полная чаша, в нем было все, кроме наличных денег, в которых их ménage<sup>[151]</sup> довольно скоро почувствовал острую нужду. И вот, читая однажды «Газету» и натолкнувшись на извещение, что «поручик Дж. Осборн, вследствие покупки им чина, производится в капитаны вместо Смита, который переводится в другой полк», Родон и высказал о поклоннике Эмили то мнение, которое привело к визиту наших новобрачных на Рассел-сквер.

Когда Родон с женой, увидев капитана Доббина, поспешили к нему, чтобы расспросить о катастрофе, обрушившейся на старых

знакомых Ребекки, нашего приятеля уже и след простыл, и кое-какие сведения им удалось собрать только от случайного носильщика или старьевщика, попавшегося им на аукционе.

– Посмотри-ка на этих носатых, – сказала Бекки, весело усаживаясь в коляску с картиною под мышкой. – Точно коршуны на поле битвы.

– Не знаю. Никогда не бывал в сражении, моя дорогая. Спроси у Мартингейла, он был в Испании адъютантом генерала Блейзиса.

– Он очень милый старичок, этот мистер Седли, – заметила Ребекка. – Право, мне жаль, что с ним случилась беда.

– Ну, у биржевых маклеров банкротство... они к этому, знаешь, привыкли, – заявил Родон, сгоняя муху, севшую на шею лошади.

– Как жаль, Родон, что нам нельзя приобрести что-нибудь из столового серебра, – мечтательно продолжала его супруга. – Двадцать пять гиней чудовищно дорого за это маленькое фортепьяно. Мы вместе покупали его у Бродвуда для Эмилии, когда она окончила школу. Оно стоило только тридцать пять.

– Этот... как его там... Осборн... теперь, пожалуй, даст тягу, раз семейство разорилось. Недурной афронт для твоей хорошенькой приятельницы. А, Бекки?

– Думаю, что она это переживет, – ответила Ребекка с улыбкой. И они покатали дальше, заговорив о чем-то другом.



## Глава XVIII

### Кто играл на фортепьяно, которое приобрел Доббин

Но вот наш рассказ неожиданно попадает в круг прославленных лиц и событий<sup>[152]</sup> и соприкасается с историей. Когда орлы Наполеона Бонапарта, выскочки-корсиканца, вылетели из Прованса, куда они спустились после короткого пребывания на острове Эльба, и потом, перелетая с колокольни на колокольню, достигли наконец собора Парижской Богоматери, то вряд ли эти царственные птицы хотя бы краешком глаза приметили крошечный приход Блумсбери в Лондоне – такой тихий и безмятежный, что вы бы подумали, будто шум и хлопанье их могучих крыльев никого там не встревожили.

«Наполеон высадился в Каннах». Это известие могло вызвать панику в Вене, спутать карты России, загнать Пруссию в угол, заставить Талейрана и Меттерниха переглянуться или озадачить князя Гарденберга и даже ныне здравствующего маркиза Лондондерри; но каким образом эта новость могла смутить покой молодой особы на Рассел-сквер, перед домом которой ночной сторож протяжно выкликал часы, когда она спала; молодой леди, которую, когда она гуляла по скверу, охраняли решетка и приходский сторож; которую, когда она выходила из дому всего лишь затем, чтобы купить ленточку на Саутгемптон-роу, сопровождал черномазый Самбо с огромною тростью; леди, о которой всегда заботились, которую одевали, укладывали в постель и оберегали многочисленные ангелы-хранители, как состоявшие, так и не состоявшие на жалованье? *Von Dieu*, – скажу я, – разве не жестоко, что столкновение великих империй не может свершиться, не отразившись самым губительным образом на судьбе безобидной маленькой восемнадцатилетней девушки, воркующей или вышивающей кисейные воротнички у себя на Рассел-сквер? О нежный, простенький цветочек! Неужели грозный рев военной бури достигнет тебя здесь, хоть ты и приютился под защитой Холборна? Да, Наполеон делает свою последнюю ставку, и счастье бедной маленькой Эмми Седли каким-то образом вовлечено в общую игру.

В первую очередь этой роковой вестью было сметено благосостояние отца Эмми. Все спекуляции злосчастного старого джентльмена за последнее время терпели неудачу. В то время смелые коммерческие начинания рушились, купцы банкротились, государственные процентные бумаги падали, когда, по расчетам старика, им следовало бы повышаться. А впрочем, стоит ли вдаваться в подробности! Если успех наблюдается редко и достигается медленно, то каждому известно, как быстро и легко происходит разорение. Старик Седли ни с кем не делился своим горем. Казалось, все шло по-старому в его мирном и богатом доме: благодушная хозяйка, ничего не подозревая, проводила время в обычной хлопотливой праздности и несложных повседневных заботах; дочь, неизменно поглощенная одной – эгоистической и нежной – мыслью, не замечала ничего в окружающем мире, пока не произошел тот окончательный крах, под тяжестью которого пала вся эта достойная семья.

Однажды вечером миссис Седли писала приглашения на званый вечер. Осборны уже устроили таковой у себя, и миссис Седли не могла остаться в долгу. Джон Седли, вернувшийся из Сити очень поздно, молча сидел у камина, между тем как жена его оживленно болтала; Эмми поднялась к себе наверх, чем-то удрученная, почти больная.

– Она несчастлива, – говорила мать, – Джордж Осборн невнимателен к ней. Меня начинает раздражать поведение этих господ. Вот уже три недели, как девицы к нам глаз не кажут, и Джордж два раза приезжал в город, а к нам не заходил – Эдвард Дейл видел его в опере. Эдвард охотно женился бы на Эмили, я уверена, да и капитан Доббин, по-моему, тоже не прочь, но у меня, откровенно говоря, сердце не лежит к этим военным. Подумаешь, каким денди стал Джордж! И эти его военные замашки! Надо показать некоторым людям, что мы не хуже их. Только подай надежду Эдварду Дейлу – и ты увидишь! Нам следует устроить у себя вечер, мистер Седли. Что же ты молчишь, Джон? Не назначить ли, скажем, вторник, через две недели? Почему ты не отвечаешь? Боже мой, Джон, что случилось?

Джон Седли поднялся с кресла навстречу жене, кинувшейся к нему. Он обнял ее и торопливо проговорил:

– Мы разорены, Мэри. Нам придется начинать снова, дорогая. Лучше, чтобы ты узнала все сразу.

Произнося эти слова, он дрожал всем телом и едва держался на ногах. Он думал, что это известие сразит его жену – жену, которая за всю жизнь не слышала от него резкого слова. Но хотя удар был для нее неожиданным, миссис Седли проявила большую душевную выдержку, чем ее муж. Когда он бессильно упал в кресло, жена приняла на себя обязанности утешительницы. Она взяла его дрожащую руку, покрыла ее поцелуями и обвила ею свою шею; она называла его своим Джоном – своим вялым Джоном, своим старичком, своим любимым старичком; она излила на него множество бессвязных слов любви и нежности. Ее кроткий голос и простодушные ласки довели это скорбное сердце до невыразимого восторга и грусти, подбодрили и успокоили исстрадавшегося старика.

Только один раз на протяжении долгой ночи, которую они провели, сидя вместе, когда бедный Седли излил перед ней душу, рассказав историю своих потерь и неудач, поведав об измене некоторых стариннейших друзей и о благородной доброте других, от кого он всего меньше этого ожидал, – словом, принес полную повинную, – только в одном случае его верная жена не сумела справиться со своим волнением.

– Боже мой, боже мой, это разобьет сердце Эмми! – сказала она.

Отец забыл о бедной девочке. Она лежала наверху без сна, чувствуя себя несчастной. Дома, среди друзей и нежных родителей, она была одинока. Много ли найдется людей, которым вы, читатель, могли бы все рассказать? Как возможна откровенность там, где нет сочувствия? Кто захочет излить душу перед теми, кто его не поймет? Именно так одинока была наша кроткая Эмилия. У нее не было никакой поверенной, с тех пор как ей было что поверять. Она не могла поделиться со старухой матерью своими сомнениями и заботами; будущие же сестры с каждым днем казались ей все более чужими. А у Эмми были дурные предчувствия и опасения, в которых она не смела признаться даже себе самой, хотя втайне терзалась ими.

Ее сердце упорствовало в убеждении, что Джордж Осборн достоин ее и верен ей, хотя она чувствовала, что это не так. Сколько раз она обращалась к нему, не встречая никакого отклика! Сколько у нее было случаев заподозрить его в эгоизме и равнодушии! Но она

упрямо закрывала на это глаза. Кому могла рассказать бедная маленькая мученица о своей ежедневной борьбе и пытке? Сам герой Эмми слушал ее только вполуха. Она не решалась признаться, что человек, которого она любит, ниже ее, или подумать, что она поторопилась отдать ему свое сердце. Чистая, стыдливая, Эмилия была слишком скромна, слишком мягка, слишком правдива, слишком слаба, слишком женщина, чтобы, раз отдав, взять его обратно. Мы обращаемся, как турки, с чувствами наших женщин, да еще требуем, чтобы они признавали за нами такое право. Мы позволяем их телам разгуливать довольно свободно, их улыбки, локончики и розовые шляпки заменяют им покрывала и чадры. Но душу их дозволено видеть только одному-единственному мужчине, а они и рады повиноваться, и соглашаются сидеть дома не хуже рабынь, прислуживая нам и выполняя всю черную работу.

В таком одиночестве и в таких мучениях пребывало это нежное сердечко, когда в марте, в лето от Рождества Христова 1815-е Наполеон высадился в Каннах. Людовик XVIII бежал, вся Европа пришла в смятение, государственные бумаги упали, и старый Джон Седли разорился.

Мы не последуем за достойным маклером через все те пытки и испытания, через которые проходит всякий разоряющийся делец до наступления своей коммерческой смерти. Его несостоятельность огласили на бирже; он не появлялся у себя в конторе; векселя его были опротестованы; признание банкротства оформлено. Дом и обстановка на Рассел-сквер были описаны и проданы с молотка, и старика с семьей, как мы видели, выбросили на улицу, предоставив им искать себе приюта где угодно.

У Джона Седли не хватило мужества произвести смотр своим слугам, которые время от времени появлялись на наших страницах, но с которыми он теперь, по бедности, вынужден был расстаться. Всей этой почтенной челяди было выплачено жалованье с той точностью, какую обычно выказывают в таких случаях люди, задолжавшие большие суммы. Слуги с сожалением покидали хорошее место, но сердце их не разрывалось от горя при расставании с обожаемыми хозяином и хозяйкой. Горничная Эмилии не скупилась на соболезнования, но ушла, успокоившись на том, что устроится лучше в каком-нибудь более аристократическом квартале города.

Черномазый Самбо в ослеплении, свойственном его профессии, решил открыть питейное заведение. Честная миссис Бленкинсоп, помнившая рождение Джоза и Эмили, да и пору жениховства Джона Седли и его жены, пожелала остаться при них без содержания, так как скопила себе на службе у почтенной семьи кругленький капиталец; и потому она последовала за своими разоренными хозяевами в их новое скромное убежище, где еще некоторое время ухаживала за ними и ворчала на них, прежде чем уйти окончательно.

В пререканиях Седли с его кредиторами, которые начались теперь и до того истерзали униженного старика, что он за шесть недель состарился больше, чем за пятнадцать предшествовавших лет, – самым несговорчивым, самым прямым противником оказался Джон Осборн, его старый друг и сосед, Джон Осборн, которому он помог выйти в люди, который был ему кругом обязан и сын которого должен был жениться на его дочери. Любого из этих обстоятельств было бы достаточно, чтобы объяснить жестокосердие Осборна.

Когда один человек чрезвычайно обязан другому, а потом с ним ссорится, то обыкновенное чувство порядочности заставляет его больше враждовать со своим бывшим другом и благодетелем, чем если бы это было совершенно постороннее лицо. Чтобы оправдать собственное жестокосердие и неблагодарность, вы обязаны представить своего противника злодеем. Дело не в том, что вы жестоки, эгоистичны и раздражены неудачей своей спекуляции – нет, нет, – это ваш компаньон вовлек вас в нее из самого низкого вероломства и из самых злостных побуждений. Хотя бы для того, чтоб быть последовательным, гонитель обязан доказывать, что потерпевший – негодяй, иначе он, гонитель, сам окажется подлецом.

К тому же, как общее правило (и это позволяет всем неумолимым кредиторам жить в ладу со своей совестью), человек, попавший в бедственное положение, редко бывает честен до конца, – во всяком случае, такова видимость. Банкроты всегда что-то утаивают; они преувеличивают свои шансы на удачу; они скрывают истинное положение вещей; они говорят, что их предприятие процветает, когда оно безнадежно; на краю банкротства они не перестают улыбаться (невеселая это улыбка); они готовы ухватиться за любой предлог для получения отсрочки или каких-нибудь денег, лишь бы отдалить, хотя бы на несколько дней, неизбежное разорение. «Ну и погибай, когда ты

так бесчестен», – говорит кредитор, торжествуя, и на чем свет стоит ругает потерпевшего крушение. «Глупец, ну стоит ли хвататься за соломинку!» – говорит здравый смысл утопающему. «Негодяй, чего ты брыкаешься, не лучше ли примириться и упокоиться в «Газете», откуда уже нет возврата!» – говорит преуспеяние бедняге, который отчаянно барахтается в темной пучине. Кто не замечал, с какой готовностью ближайшие друзья и честнейшие люди подозревают и обвиняют друг друга в обмане, как только дело коснется денежных расчетов! Все так поступают. Мне думается, каждый из нас прав, а все остальные – мошенники.

Осборна, ко всему прочему, беспокоила и злила память о прежних благодеяниях старика Седли, а это всегда служит к усилению враждебности. Наконец – ему нужно было расстроить свадьбу своего сына и дочери Седли. А так как дело зашло действительно далеко и было затронуто счастье, а может быть, и репутация бедной девушки, то требовалось представить сильнейшие резоны для разрыва, и Джону Осборну нужно было доказать, что Джон Седли поистине гнусная личность.

И вот на собраниях кредиторов он держал себя с такой неприязнью и презрением по отношению к Седли, что едва не довел бедного банкрота до разрыва сердца. Он тотчас же запретил Джорджу всякое знакомство с Эмилией, угрожая сыну проклятием, если тот нарушит приказ, и всячески чернил невинную девушку, понося ее как низкую лукавую интриганку. Как часто злоба и ненависть порой порождаются тем, что вам приходится клеветать на ненавистного человека и верить клевете, как мы уже говорили, единственно для того, чтобы быть последовательным.

Когда окончательный крах наступил, когда было возвещено о банкротстве, был покинут Рассел-сквер и заявлено, что между Эмилией и Джорджем все кончено – кончено все между нею и ее любовью, между нею и ее счастьем, между нею и ее верой в людей, – заявлено в форме грубого письма от Джона Осборна, сообщавшего в нескольких коротких строках, что в силу недостойного поведения ее отца все обязательства, связывавшие оба семейства, считаются расторгнутыми, – когда пришел этот неотвратимый приговор, он не поразил ее так сильно, как ожидали родители, вернее – мать (потому что сам Джон Седли был совершенно сражен крахом своих дел и

ударом, нанесенным его чести). Эмилия приняла это известие очень спокойно и только сильно побледнела. Оно было лишь подтверждением мрачных предчувствий, уже давно появившихся у нее. Это было простое чтение приговора, вынесенного за преступление, в котором Эмилия была повинна с давних пор, – преступление, заключавшееся в том, что она полюбила неудачно, слишком горячо, вопреки рассудку. Своих мыслей она по-прежнему никому не высказывала. Едва ли она была несчастнее теперь, когда убедилась, что все ее надежды рухнули, чем прежде, когда чувствовала сердцем беду, но не смела в этом признаться. Она переехала из большого дома в маленький, не замечая ничего или не ощущая никакой разницы; старалась как можно больше оставаться в своей комнатке, молча чахла и таяла день ото дня. Я не хочу сказать, что все особы женского пола таковы. Милая моя мисс Буллок, не думаю, чтобы ваше сердце от этого разбилось. Вы здравомыслящая молодая женщина, с надлежащими правилами. Не стану утверждать, что и мое сердце разбилось бы. Оно страдало, – однако, сознаюсь, все-таки выжило. Но есть души, которые так уж созданы – нежными, слабыми и хрупкими.

Всякий раз, когда старый Джон Седли задумывался о положении дел у Джорджа с Эмилией или заговаривал об этом, он проявлял почти такое же озлобление, как и сам мистер Осборн. Он осыпал бранью Осборна и его семью, называл их бессердечными, низкими и неблагодарными. Нет силы на земле, клялся он, которая понудила бы его отдать дочь за сына такого негодяя; он приказал Эмми гнать Джорджа из своих помыслов и вернуть ему все подарки и письма, какие она когда-либо от него получила.

Она обещала исполнить это и пыталась повиноваться. Собрала две-три безделушки, достала письма из шкатулки, перечла их – словно не знала наизусть, – но расстаться с ними не могла, это было выше ее сил. И она спрятала их у себя на груди – так мать баюкает умершее дитя. Юная Эмилия чувствовала, что умрет или немедленно сойдет с ума, если у нее вырвут это последнее утешение. Как, бывало, она заливалась румянцем и как зажигались у нее глаза, когда приходили эти письма! Как она убегала к себе с бьющимся сердцем, чтобы прочесть их, когда никто ее не увидит! Если они бывали холодны, то с какой настойчивостью эта маленькая влюбленная сумасбродка

старалась истолковать их в противоположном смысле! Если они бывали кратки или эгоистичны, сколько она находила извинений для писавшего их!

Над этими-то ничего не стоящими клочками бумаги она думала, думала без конца. Она переживала свою прошедшую жизнь – каждое письмо, казалось, воскрешало перед нею какое-нибудь событие прошлого. Как хорошо она помнила их все! Взгляды Джорджа, звук его голоса, его платье, что он говорил и как – эти реликвии и воспоминания об умершей любви были для Эмилии единственным, что осталось у нее на свете. Делом ее жизни стало стеречь труп Любви.

Какой желанной представлялась ей теперь смерть. «Тогда, – думала она, – я всегда буду с ним». Я не восхваляю поведения Эмилии и не собираюсь выставлять его в качестве образца для мисс Буллок. Мисс Буллок умеет управлять своими чувствами гораздо лучше, чем это бедное создание. Мисс Буллок никогда не скомпрометировала бы себя, как безрассудная Эмилия, которая отдала свою душу в бессрочный залог и отписала сердце в пожизненное владение, а взамен ничего не получила, кроме хрупкого обещания, вмиг разлетевшегося вдребезги и превратившегося в ничто. Затянувшаяся помолвка – это договор о товариществе, который одна сторона вольна выполнить или порвать, но который поглощает весь капитал другого участника.

Поэтому будьте осторожны, молодые девицы; будьте осмотрительны, когда связываете себя обещанием. Бойтесь любить чистосердечно; никогда не высказывайте всего, что чувствуете, или (еще того лучше) старайтесь поменьше чувствовать. Помните о последствиях, к которым приводят неуместная честность и прямота; и не доверяйте ни себе самим, ни кому другому. Выходите замуж так, как это делается во Франции, где подружками невесты и ее наперсницами являются адвокаты. Во всяком случае, никогда не обнаруживайте чувств, которые могут поставить вас в тягостное положение, и не давайте никаких обещаний, которые вы в нужную минуту не могли бы взять обратно. Вот способ преуспевать, пользоваться уважением и блистать добродетелями на Ярмарке Тщеславия.



Если бы Эмилия могла слышать все замечания по ее адресу, исходившие из того круга, откуда разорение отца только что изгнало ее, она увидела бы, в чем заключаются ее преступления и до какой степени она рисковала своей репутацией. Подобного преступного легкомыслия миссис Смит никогда не встречала, такую ужасную фамильярность миссис Броун всегда осуждала, и да послужит этот финал предостережением для ее собственных дочерей.

– Капитан Осборн, разумеется, не женится на дочери банкрота, – говорили обе мисс Доббин. – Достаточно того, что ее папаша их надул. Что же касается маленькой Эмили, то ее сумасбродство положительно превосходит все...

– Что все? – взревел капитан Доббин. – Разве не были они помолвлены с самого детства? И разве это не тот же брак? Да смеет ли кто на земле произнести хоть слово против этой прекраснейшей, чистейшей, нежнейшей девушки, истинного ангела?

– Перестань, Уильям. Ну что ты распетушился? Мы ведь не мужчины, мы с тобой драться не можем, – уговаривала его мисс Джейн. – Да и что мы, собственно, такого сказали о мисс Седли? Только что поведение ее было от начала до конца *чрезвычайно неблагоприятным*, чтобы не сказать больше. А родители ее, конечно, вполне заслужили свое несчастье.

– А не сделать ли тебе самому предложение, Уильям, раз мисс Седли теперь свободна? – язвительно спросила мисс Энн. – Это было бы весьма подходящее родство. Ха-ха-ха!

– Мне жениться на ней? – горячо воскликнул Доббин, багрово краснея. – Если вы, мои милые, так швыряетесь своими привязанностями, то не думайте, что она на вас похожа. Смеяться и издеваться над этим ангелом! Она ведь вас не слышит, а к тому же бедная девушка так несчастна и одинока, что вполне заслуживает насмешек. Продолжай свои шуточки, Энн! Ты у нас известная острячка, все в восторге от твоих острот.

– Я должна еще раз напомнить тебе, что мы не в казарме, Уильям, – заметила мисс Энн.

– В казарме? Ей-богу, я очень хотел бы, чтобы кто-нибудь заговорил так в казарме! – воскликнул этот разбуженный британский лев. – Хотелось бы мне услышать, как кто-нибудь произнес бы хоть слово против нее, клянусь честью! Но мужчины не говорят таких

вещей; это только женщины соберутся вместе и давай шипеть, гоготать и кудахтать. Ну, брось, Энн, не реви! Я только сказал, что вы обе гусыни, – добавил Уил Доббин, заметив, что красные глазки мисс Энн начинают, по обыкновению, увлажняться. – Ладно, вы не гусыни, вы павы, все, что хотите, но только оставьте, пожалуйста, мисс Седли в покое.

«Это просто неслыханно, это такое ослепление – увлечься глупенькой девочкой, ничтожной кокеткой!» – в полном согласии думали мамаша и сестры Доббина. И они трепетали, как бы Эмилия не подцепила второго своего поклонника и капитана, раз ее помолвка с Осборном расстроилась. Питая подобные опасения, эти достойные молодые девушки судили, несомненно, по собственному опыту, вернее, на основании собственных представлений о добре и зле (потому что до сей поры у них не было еще случая ни выйти замуж, ни отказать жениху).

– Слава богу, маменька, что полку приказано выступить за границу, – говорили девицы. – Одной опасности наш братец, во всяком случае, избежал.

Так оно действительно и было; и, таким образом, на сцене появляется французский император и принимает участие в представлении домашней комедии Ярмарки Тщеславия, которую мы сейчас разыгрываем и которая никогда не была бы исполнена без вмешательства этого августейшего статиста. Это он погубил Бурбонов и мистера Джона Седли. Это его прибытие в столицу призвало всю Францию на его защиту и всю Европу на то, чтобы выгнать его вон. В то время как французский народ и армия клялись в верности, собравшись вокруг его орлов на Марсовом поле, четыре могущественные европейские рати двинулись на великую *chasse à l'aigle*<sup>[153]</sup>, и одной из них была британская армия, в состав которой входили два наших героя – капитан Доббин и капитан Осборн.

Известие о бегстве Наполеона и его высадке было встречено доблестным \*\*\* полком с энтузиазмом, понятным всем, кто знает эту славную воинскую часть. Начиная с полковника и кончая самым скромным барабанщиком, все преисполнились надежд, честолюбивых стремлений и патриотической ярости и, как за личное одолжение, благодарили французского императора за то, что он явился смутить мир в Европе. Настало время, которого так долго ждал \*\*\* полк, –

время показать товарищам по оружию, что он сумеет драться не хуже ветеранов испанской войны<sup>[154]</sup> и что его доблесть и отвага не убиты Вест-Индией и желтой лихорадкой. Стабл и Спуни мечтали получить роту, не приобретая чина покупкой. Супруга майора О'Дауда надеялась еще до окончания кампании (в которой она решила принять участие) подписываться: «жена полковника О'Дауда, кавалера ордена Бани». Оба наших друга (Доббин и Осборн) были взволнованы так же сильно, как и все прочие, и каждый по-своему – мистер Доббин очень спокойно, а мистер Осборн очень шумно и энергически – намеревался исполнить свой долг и добиться своей доли славы и отличий.

Волнение, охватившее страну и армию в связи с этим известием, было столь велико, что на личные дела не обращали внимания. Поэтому, вероятно, Джордж Осборн, только что произведенный, как извещала «Газета», в командиры роты, занятый приготовлениями к неизбежному походу и жаждавший дальнейшего повышения по службе, был не так уж сильно затронут другими событиями, хотя во всякое другое время они не оставили бы его холодным. Признаться, он был не слишком удручен катастрофой, постигшей доброго старого мистера Седли. В тот самый день, когда состоялось первое собрание кредиторов несчастного джентльмена, Джордж примерял свой новый мундир, удивительно ему шедший. Отец рассказал ему о злом, мошенническом и бесстыдном поведении банкрота, напомнил о том, что уже и раньше говорил об Эмилии, что их отношения порваны навсегда, и тут же подарил сыну крупную сумму денег для уплаты за новый мундир и эполеты, в которых Джордж выглядел таким красавцем. Деньги всегда нужны были этому юному расточителю, и он взял их без лишних разговоров. Особняк Седли, где Джордж провел столько счастливых часов, был весь обклеен объявлениями, и, выйдя из дому и направляясь к «Старому Слотеру» (где он останавливался, приезжая в Лондон), он увидел, как они белеют в лунном сиянии. Итак, этот уютный дом закрыл свои двери за Эмилией и ее родителями; где-то они нашли себе пристанище? Мысль об их разорении сильно опечалила молодого Осборна. Весь вечер он сидел, угрюмый и мрачный, в общей зале у Слотера и, как было замечено его товарищами, много пил.

Некоторое время спустя туда заглянул Доббин и сделал приятелю замечание, но Джордж заявил, что пьет потому, что у него скверно на

душе. Когда же Доббин пустился в непрошеные намеки и спросил многозначительно, нет ли чего новенького, молодой офицер отказался разговаривать на эту тему, признавшись, впрочем, что он чертовски расстроен и несчастлив.

Три дня спустя Доббин зашел к Осборну в казарму. Молодой капитан сидел, опустив голову на стол с разбросанными на нем бумагами, явно в состоянии полнейшего уныния.

– Она... она вернула мне вещицы, которые я ей дарил... какие-то проклятые безделушки. Вот, посмотри!

На столе лежал пакетик, надписанный хорошо знакомым почерком и адресованный капитану Джорджу Осборну, а кругом валялось несколько вещиц: кольцо, серебряный ножик, купленный Джорджем для Эмми на ярмарке, когда он был еще мальчиком, золотая цепочка и медальон с прядью волос.

– Все кончено, – произнес Осборн со стоном скорбного раскаяния. – Вот, посмотри, Уил, прочти, если хочешь.

Он указал на письмецо в несколько строк:

«Папенька приказал мне вернуть вам эти подарки, сделанные в более счастливые дни, и я пишу вам в последний раз. Я думаю – нет, я знаю, – что вы чувствуете так же больно, как и я, удар, обрушившийся на нас. Но я сама возвращаю вам слово, ввиду его невыполнимости при нашем теперешнем несчастье. Я уверена, что вы тут ни при чем и не разделяете жестоких подозрений мистера Осборна – самого горького из того, что выпало на нашу долю. Прощайте! Прощайте! Молю бога, чтобы он дал мне силы перенести эту невзгду, как и все другие, и благословлять вас всегда.

Э.

Я буду часто играть на фортепьяно – на вашем фортепьяно. Это так похоже на вас – прислать его мне».

У Доббина было на редкость доброе сердце. Вид страдающих детей и женщин всегда его расстраивал. Мысль об Эмилии, одинокой и тоскующей, терзала его безмерно. И он пришел в волнение, которое

всякий, кому угодно, волен счесть недостойным мужчины. Он поклялся, что Эмилия ангел, с чем от всего сердца согласился Осборн. Джордж снова переживал всю историю их жизней, – он вновь видел перед собой Эмилию от раннего ее детства до последних дней, такую прекрасную, такую невинную, такую очаровательно простодушную, безыскусственно влюбленную и нежную.

Какое несчастье потерять все это; иметь – и не сохранить! Тысячи милых сердцу воспоминаний и видений толпой нахлынули на него – и всегда он видел ее доброй и прекрасной. И Джордж краснел от раскаяния и стыда, ибо воспоминания о собственном эгоизме и холодности были особенно мучительны рядом с этой совершенной чистотой. На время и слава, и война – все было позабыто, и оба друга говорили только об Эмилии.

– Где они? – после долгой беседы и продолжительного молчания спросил Осборн, по правде сказать, немало удрученный мыслью, что он не предпринял ничего, чтобы узнать, куда Эмилия переехала. – Где они? В записке нет адреса.

Доббин знал. Он не только отослал фортепьяно, но и отправил миссис Седли письмо, испрашивая позволения навестить ее. И накануне, перед тем как отправиться в Чатем, он видел миссис Седли, а также и Эмилию; больше того: это Доббин привез с собой прощальное письмо Эмилии и пакетик, которые так растрогали его и Джорджа.

Добряк убедился, что миссис Седли страшно рада его приходу и очень взволнована прибытием фортепьяно, которое, по ее догадкам, было прислано Джорджем в знак его дружеского расположения. Капитан Доббин не стал разуверять почтенную даму; выслушав с большим сочувствием ее жалобную повесть, он вместе с ней скорбел об их потерях и лишениях и порицал жестокую неблагодарность мистера Осборна по отношению к своему бывшему благодетелю. Когда же она несколько облегчила переполненную душу и излила все свои горести, Доббин набрался смелости и попросил разрешения повидаться с Эмилией, которая, как всегда, сидела у себя наверху. Мать привела ее вниз, трепещущую от волнения.

Вид у нее был такой истомленный, а взгляд выражал такое красноречивое отчаяние, что честный Уильям Доббин испугался; на бледном застывшем личике девушки он прочел самые зловещие

предзнаменования. Просидев минуту-другую в обществе капитана, Эмилия сунула ему в руку пакетик со словами:

– Передайте, пожалуйста, это капитану Осборну и... и... надеюсь, он здоров... и очень мило с вашей стороны, что вы зашли нас проведать... нам очень нравится наш новый дом! А я... я, пожалуй, пойду к себе, маменька, мне нездоровится.

С этими словами бедная девочка присела перед капитаном, улыбнулась и побрела к себе. Мать, уводя ее наверх, бросала через плечо на Доббина тревожные взгляды. Но добряк не нуждался в таком призыве. Он и сам горячо полюбил Эмилию. Невыразимая печаль, жалость и страх овладели им, и он удалился, чувствуя себя преступником.

Услышав, что его друг разыскал Эмилию, Осборн начал горячо и нетерпеливо расспрашивать о бедной девочке. Как она поживает? Что она говорила? Какой у нее вид? Товарищ взял его за руку и взглянул ему в лицо.

– Джордж, она умирает! – сказал Уильям Доббин и больше не в силах был вымолвить ни слова.

В домике, где семейство Седли нашло себе пристанище, служила прислугой жизнерадостная девушка-ирландка. Не раз в течение этих дней веселая толстушка пыталась отвлечь внимание Эмилии от грустных мыслей и развеселить ее, но тщетно: Эмми была слишком удручена и не только не отвечала, но даже не замечала ее ласковых попыток.

Четыре часа спустя после беседы Доббина и Осборна добродушная девушка вбежала в комнату Эмилии, где та сидела, по обыкновению, одна и размышляла над письмами – своими маленькими сокровищами. Войдя с лукавым и радостным видом, служанка всячески старалась привлечь внимание Эмилии, но та не поднимала головы.

– Мисс Эмми! – окликнула наконец служанка.

– Иду, – отвечала Эмми, не оглядываясь.

– Вас спрашивают, – продолжала служанка. – Тут что-то... тут кто-то... словом, вот вам новое письмо... не читайте больше тех... старых.

И она подала ей письмо, которое Эмми взяла и стала читать.

«Я должен тебя видеть, – было написано в нем. – Милая моя Эмми, любовь моя... дорогая моя суженая, приди ко мне».

Джордж и мать Эмми стояли за дверью и ждали, когда она прочтет письмо.

## Глава XIX

### Мисс Кроули на попечении сиделки

Мы уже видели, что, как только какое-нибудь событие, более или менее важное для семейства Кроули, становилось известным горничной, миссис Феркин, эта особа считала себя обязанной сообщить о нем миссис Бьют Кроули в пасторский дом; и мы уже упоминали о том, с каким особенным дружеским расположением и приязнью относилась эта доброжелательная дама к доверенной служанке мисс Кроули. Такой же преданной дружбой дарила она и мисс Бригс, компаньонку, и приобрела ее ответную преданность тем, что не жалела никаких посулов и знаков внимания, которые так дешево обходятся и все же очень ценны и приятны для получающего их. В самом деле, всякий хороший хозяин и домоправитель должен знать, как дешевы и вместе с тем полезны такие средства и какой приятный вкус они придают даже самым постным блюдам. Что за враль и идиот сказал, будто «соловья баснями не кормят»? В обществе, как известно, басни считаются чем-то вроде универсального соуса, и нет такого куска, который они не помогли бы вам проглотить. Подобно тому как бессмертный Алексис Суайе<sup>[155]</sup> приготовит вам за полушку чудесный суп, какого иной невежда-повар не сварил бы из многих фунтов овощей и говядины, так искусный художник может с помощью нескольких простых и приятных фраз достичь гораздо большего успеха, чем какой-нибудь пачкун, обладай он целым запасом благ, куда более существенных. Мало того, мы знаем, что блага существенные часто отягощают желудок, между тем как большинство людей способны переварить любое количество прекрасных слов и всегда с восторгом принимают за новую порцию этого кушанья. Миссис Бьют так часто говорила Бригс и Феркин о своей горячей любви к ним и о том, что она, на месте мисс Кроули, сделала бы для таких замечательных и таких верных друзей, что означенные дамы возымели к почтенной пасторше глубочайшее уважение и питали к ней такую благодарность и доверие, как если бы она уже осыпала их драгоценными знаками своего внимания.



С другой стороны, Родон Кроули, как и подобает такому себялюбивому и недалекому драгуну, никогда не старался улещать адъютантов своей тетушки и с полнейшей откровенностью выказывал обоим свое презрение – заставлял Феркин при случае стаскивать с себя сапоги, гонял ее в дождь с каким-нибудь унижительным поручением, а если когда и дарил ей гиню, то швырял деньги так, словно давал пощечину. А поскольку тетушка избрала Бригс мишенью для своих насмешек, то капитан следовал ее примеру и отпускал по адресу компаньонки шуточки такого же деликатного свойства, как удар копытом его боевого коня. Между тем миссис Бьют советовалась с мисс Бригс по всем вопросам, требующим тонкого вкуса и суждения, восхищалась ее стихами и на тысячи ладов доказывала, как высоко она ее ценит. Поднося Феркин какой-нибудь грошовый подарок, она сопровождала его столькими комплиментами, что медные гроши превращались в золото в благодарном сердце горничной, которая, между прочим, не упускала из виду и будущее и весьма уверенно ждала каких-то баснословных выгод в тот день, когда миссис Бьют вступит во владение наследством.

На различие в поведении племянника и тетки почтительно предлагается обратить внимание каждому, кто впервые вступает в свет. Хвалите всех подряд, скажу я таким людям, бросьте чистоплюйство, говорите комплименты всякому в глаза – и за глаза, если у вас есть основание думать, что они дойдут по назначению. Никогда не упускайте случая сказать ласковое слово. Подобно тому как Колингвуд не мог видеть ни одного пустого местечка у себя в имени, чтобы не вынуть из кармана желудь и не посадить его тут же, так и вы поступайте с комплиментами на протяжении всей вашей жизни. Желудь ничего не стоит, но из него может вырасти огромный дуб.

Словом, пока Родон Кроули процветал, ему повиновались лишь с угрюмой покорностью; когда же он впал в немилость, никто не желал ни помочь ему, ни пожалеть его. Зато, когда миссис Бьют приняла командование домом мисс Кроули, весь тамошний гарнизон с восторгом отдался под начало такой предводительницы, ожидая всяких наград и отличий от ее посулов, щедрости и ласковых слов.

Миссис Бьют Кроули была далека от мысли, что Родон признает себя побежденным с первого же раза и не сделает попытки снова

овладеть потерянной позицией. Она считала Ребекку слишком ловкой, умной и отчаянной противницей, чтобы та могла покориться без борьбы, и заранее готовилась к сражению и была постоянно начеку в ожидании вылазки, подкопа или внезапной атаки.

Прежде всего, хотя город и был ею взят, могла ли она быть уверена в самой главной его обительнице? Устоит ли мисс Кроули и не лелеет ли она в тайниках сердца желания встретить с распростертыми объятиями изгнанную соперницу? Старая леди была привязана к Родону и к Ребекке, которая ее развлекала. Миссис Бьют отдавала себе отчет в том, что никто из ее приверженцев не умеет быть приятен этой искушенной горожанке. «Пение моих девочек после этой противной гувернантки невыносимо слушать, это я отлично знаю, – чистосердечно признавалась себе жена пастора. – Старуха всегда отправлялась спать, когда Марта и Луиза разыгрывали свои дуэты. Неуклюжие манеры Джима и болтовня моего бедняги Бьюта о собаках да лошадях донельзя ей докучали. Если я перевезу ее к себе домой, она со всеми нами переругается и сбежит, в этом нет ни малейшего сомнения, и, того гляди, опять попадет в лапы ужасному Родону и станет жертвой гадючки Шарп. Впрочем, сейчас, как я понимаю, она очень больна и в течение нескольких недель не сможет двинуться с места. Тем временем надо придумать какой-нибудь план для ее защиты от происков этих бессовестных людей».



Если бы мисс Кроули даже в самые благополучные ее минуты сказали, что она больна или что у нее плохой вид, перепуганная старуха послала бы за домашним врачом. Теперь же – после

внезапного семейного происшествия, которое могло бы расшатать и более крепкие нервы, она и в самом деле чувствовала себя прескверно. Во всяком случае, миссис Бьют сочла своим долгом объявить и доктору, и аптекарю, и компаньонке, и прислуге, что мисс Кроули чуть ли не при смерти. Она приказала по колению устлать улицу соломой и снять с парадных дверей молоток, сдав его на хранение мистеру Боулсу. Она настояла на том, чтобы доктор заезжал дважды в день, и через каждые два часа пичкала свою пациентку лекарством. Когда кто-нибудь входил в комнату, она испускала такое злое «тсс!», что пугала бедную старуху, лежавшую в постели, и так бдительно оберегала ее покой, что больная не могла повернуть голову, не увидев устремленных на нее бисерных глазок миссис Бьют, которая прочно обосновалась в креслах у ее ложа. Глаза эти, казалось, светились в темноте (миссис Бьют держала занавески спущенными), когда она бесшумно двигалась по комнате, как кошка на бархатных лапках. Так мисс Кроули и лежала целыми днями – много дней подряд, – а миссис Бьют читала ей вслух душеспасительные книги и бодрствовала долгими, долгими ночами, прислушиваясь к протяжным крикам ночного сторожа да к потрескиванию ночника. В полночь – на сон грядущий – больную посещал вкрадчивый аптекарь, а затем ей предоставлялось смотреть на искрящиеся глазки миссис Бьют и на желтый отсвет, отбрасываемый тростниковой свечой на темный потолок. Сама Гигейя<sup>[156]</sup> не выдержала бы такого режима, а тем более бедная старуха, жертва больных нервов. Мы уже говорили, что когда эта почтенная обитательница Ярмарки Тщеславия бывала в добром здравии и хорошем расположении духа, то придерживалась таких свободных взглядов насчет религии и морали, каким мог бы позавидовать сам месье Вольтер; но, когда она хворала, болезнь ее усугублялась ужаснейшим страхом смерти, и старая грешница малодушно ему поддавалась.

Поучения и благочестивые размышления у ложа страждущего, конечно, неуместны в беллетристике, и мы не собираемся (по примеру некоторых нынешних романистов) заманивать публику на проповедь, когда читатель платит деньги за то, чтобы посмотреть комедию. Но и без проповедей следует держать в памяти ту истину, что смех, суэта и шумное веселье, которые Ярмарка Тщеславия выставляет напоказ, не всегда сопутствуют актеру в его частной

жизни, и нередко им овладевают уныние и горькое раскаяние. Воспоминание о самых пышных банкетах едва ли способно подбодрить заболевшего прожигателя жизни. Память о самых красивых платьях и блестящих победах в свете очень мало способна утешить отцветшую красавицу. Быть может, и государственные деятели в известные периоды своей жизни не испытывают большого удовольствия, вспоминая о самых замечательных своих триумфах. Ведь успехи и радости вчерашнего дня теряют свое значение, когда впереди забрежит хорошо известное (хотя и неведомое) завтра, над которым всем нам рано или поздно придется задуматься. О братья по шутовскому наряду! Разве не бывает таких минут, когда нам тошно от зубоскальства и кувырканья, от звона погремушек и бубенцов на шутовском колпаке? И вот, дорогие друзья и спутники, моя приятная задача в том и состоит, чтобы прогуляться вместе с вами по Ярмарке для осмотра ее лавок и витрин, а потом вернуться домой и после блеска, шума и веселья, оставшись наедине с собою, почувствовать себя глубоко несчастным.

«Если бы у моего бедного мужа была голова на плечах, – думала миссис Бьют Кроули, – то при нынешних обстоятельствах как бы он мог быть полезен этой несчастной старой леди! Он мог бы заставить ее раскаяться в своем ужасном вольнодумстве; он мог бы понудить ее выполнить свой долг и окончательно разорвать с этим гнусным нечестивцем, опозорившим себя и свою семью; мог бы склонить ее воздать должное моим дорогим девочкам и обоим мальчикам, которые требуют, да и, несомненно, заслуживают всяческой помощи, какую только могут оказать им родственники».

И так как ненависть к пороку всегда есть шаг вперед на пути к добродетели, то миссис Бьют Кроули старалась внушить своей невестке должное отвращение к многообразным провинностям Родона Кроули, предъявив такой их перечень, которого, право же, было бы вполне достаточно, чтобы осудить целый полк молодых офицеров! Когда человек и совершит дурной поступок, ни один моралист не указывает всему свету на его ошибку с большей готовностью, чем его собственные родичи. Так и миссис Бьют проявила самый родственный интерес к истории Родона, обнаружив необычайную осведомленность. Она собрала все подробности о его безобразной ссоре с капитаном

Маркером, завершившейся тем, что Родон, виноватый во всем, застрелил капитана. Она знала, что несчастный лорд Довдейл, мать которого переехала в Оксфорд, чтобы руководить воспитанием юноши, и который до приезда в Лондон не прикасался к картам, попал в лапы к Родону в клубе «Кокосовой Пальмы», и этот гнусный соблазнитель и развратитель юношества напоил его до бесчувствия и обчистил на четыре тысячи фунтов. Она описывала в живейших подробностях и страдания помещичьих семейств, разоренных Родоном: сыновей, ввергнутых в пучину бесчестия и нищеты, дочерей, обольщенных и доведенных до гибели. Она знала бедных торговцев, которых Родон обобрал до нитки, не брезгуя самыми низкими мошенническими проделками; знала, с каким возмутительным коварством он надувал великодушнейшую из теток и какой неблагодарностью и насмешками отплатил за все ее жертвы. Она сообщала эти сведения мисс Кроули постепенно, не щадя старухи, полагая это своей священной обязанностью христианки и матери семейства и не чувствуя ни малейших угрызений совести или сострадания к жертве, которую обрекал на заклятие ее язык; наоборот, она, по всей вероятности, считала свой поступок весьма похвальным и кичилась той решительностью, с которой его совершала. Да, если требуется очернить человека, то уж, будьте уверены, никто не сделает этого лучше его родственников. А в отношении злополучного Родона Кроули должно признать, что и одной голой истины было бы достаточно, чтобы осудить его, а потому все клеветнические измышления друзей только доставляли им напрасные хлопоты.

Ребекке, на правах новой родственницы, также было уделено обширнейшее место в бескорыстных дознаниях миссис Бьют. Эта неутомимая правдоискательница (отдав строжайшее приказание не принимать гонцов или писем от Родона) взяла карету мисс Кроули и отправилась к своему старому другу мисс Пинкертон, в дом Минервы на Чизикской аллее, и, объявив ужасную весть об обольщении капитана Родона девицей Шарп, в свою очередь, узнала от мисс Пинкертон немало странных подробностей относительно рождения и детства экс-гувернантки. У друга лексикографа оказалась масса всяких интересных сведений. Мисс Джемайме было приказано принести все расписки и письма учителя рисования. Одно было из долгового отделения, другое умоляло об авансе, третье благодарило



чизикских дам за их готовность приютить Ребекку. Последним документом, вышедшим из-под пера незадачливого художника, было письмо, в котором он, на смертном одре, поручал свою осиротевшую девочку покровительству мисс Пинкертон. Среди этой коллекции были также и детские письма Ребекки, умолявшей о помощи отцу или выражавшей свою признательность. Пожалуй, на Ярмарке Тщеславия нет лучших сатир, чем письма. Возьмите связку писем от человека, бывшего вашим закадычным другом лет десять тому назад – закадычным другом, которого вы сейчас ненавидите. Взгляните на пачку писем от вашей сестры: вы с ней души не чаяли друг в друге, пока не поссорились из-за наследства в двадцать фунтов! Достаньте детские каракули вашего сына – того самого, который впоследствии разбил вам сердце своей черствостью и непочтительностью; а то возьмите связку своих собственных писем, исполненных неудержимой страсти и бесконечной любви и возвращенных вам вашей невестой, когда она вышла замуж за набоба, – невестой, до которой вам теперь столько же дела, сколько до королевы Елизаветы. Клятвы, любовь, обещания, признания, благодарность – как забавно читать все это спустя некоторое время. На Ярмарке Тщеславия следовало бы издать закон, предписывающий уничтожение всякого письменного документа (кроме оплаченных счетов от торговцев) по истечении определенного, достаточно короткого промежутка времени. А всем этим шарлатанам и человеконенавистникам, публикующим о продаже вечных японских чернил, пожелаем провалиться в тартарары вместе с их злополучным изобретением! Лучшими чернилами на Ярмарке Тщеславия будут те, которые совершенно выцветают в два-три дня, оставляя бумагу чистой и белой, чтобы на ней можно было написать кому-нибудь другому.

От резиденции мисс Пинкертон неутомимая миссис Бьют прошла по следам Шарпа и его дочери до квартиры на Грик-стрит, где проживал покойный живописец и где на стенах гостиной до сих пор висели портреты хозяйки в белом атласе и ее супруга в медных пуговицах, написанные Шарпом в счет квартирной платы. Миссис Сток, женщина словоохотливая, сразу же рассказала все, что знала, о мистере Шарпе: какой это был беспутный малый и какой добродушный весельчак; как за ним вечно охотились судебные исполнители и надоедливые заимодавцы; как он, к ужасу своей

домохозяйки, жил с женой в свободном браке и обвенчался с ней лишь незадолго до ее смерти (впрочем, она всегда терпеть не могла эту женщину); какой забавной хитрой лисичкой была его дочка; как она потешала их своими шуточками и передразниванием, как бегала за джином в трактир и была известна во всех студиях квартала, – короче сказать, миссис Бьют собрала такой полный отчет о родственниках своей новой племянницы, а также о ее воспитании и поведении, который едва ли бы пришелся той по вкусу, узнай она, что о ней производится такое следствие.

Обо всем этом доскональном розыске было во всех подробностях доложено мисс Кроули. Миссис Родон Кроули – дочь балетной танцовщицы. Она и сама танцевала. Служила моделью художникам. Была воспитана, как и подобает дочери ее матери: пила джин вместе с отцом, и т. д., и т. п. Словом, это пропащая женщина, вышедшая замуж за пропащего человека. А мораль рассказа миссис Бьют была такова: эта милая парочка – отъявленные проходимцы, и ни одному приличному человеку не следует с ними знаться.

Таков был материал, собранный предусмотрительной миссис Бьют на Парк-лейн, – так сказать, провиант и боевые припасы на случай осады, которой, как она знала, мисс Кроули обязательно подвергнется со стороны Родона и его жены.

Но если в действиях миссис Бьют была допущена ошибка, то таковая заключалась в ее чрезмерной ретивости: она, пожалуй, перестаралась. Без сомнения, она пеклась о здоровье мисс Кроули гораздо больше, чем это было необходимо. И хотя старуха всецело отдалась в ее власть, последняя была столь тягостна и сурова, что жертва была склонна освободиться от нее при первом же удобном случае. Женщины-правительницы – украшение своего пола, – женщины, устраивающие все для всех и каждого, знающие гораздо лучше самих заинтересованных лиц, что для них полезно, иной раз не принимают в расчет возможности домашнего бунта или каких-либо других нежелательных последствий, проистекающих от превышения власти.

Вот и миссис Бьют, действуя, несомненно, с самыми лучшими намерениями, – она изнуряла себя до полусмерти, отказываясь от сна, обеда и чистого воздуха ради болящей невестки, – так далеко зашла в



своих попечениях о здоровье старой дамы, что едва не вогнала ее в гроб. Как-то в разговоре с мистером Клампом, постоянным аптекарем мисс Кроули, она указала на принесенные ею жертвы и на их результат.

– Могу сказать, дорогой мой мистер Кламп, – говорила она, – я делаю все, чтобы поставить на ноги нашу драгоценную больную, чье сердце растерзал неблагодарный племянник. Я никогда не считаюсь ни с какими лишениями и готова на любые жертвы.

– Ваша преданность поистине изумительна, – отвечал мистер Кламп с низким поклоном, – но...

– Со времени своего приезда я, кажется, ни разу и глаз не сомкнула. Я готова поступиться сном, здоровьем, любыми удобствами, если этого требует долг. Когда у моего бедного Джеймса была оспа, разве я позволила какой-нибудь наемнице ухаживать за ним? Ни в коем случае.

– Вы поступили, как истинная мать, сударыня... как лучшая из матерей, но...

– Как мать семейства и жена английского священника, я смиренно верю, что держусь добрых правил, – произнесла миссис Бьют с несокрушимой твердостью духа, – и пока мое естество позволяет мне, никогда, никогда, мистер Кламп, не покину я поста, на который поставил меня долг. Другие могут разными огорчениями довести до одра болезни эту седую голову (тут миссис Бьют взмахнула рукой, указывая на одну из принадлежащих мисс Кроули накладок кофейного цвета, надетую на подставку в ее будуаре), но я никогда не покину ее. Ах, мистер Кламп! Я боюсь, я знаю, что это ложе нуждается в духовном утешении столько же, сколько и во врачебной помощи.

– Я хотел заметить, сударыня, – снова перебил ее Кламп кротко, но решительно, – я хотел заметить, когда вы стали выражать чувства, делающие вам честь, что, мне кажется, вы понапрасну тревожитесь о нашем милом друге и жертвуете ради нее своим здоровьем слишком расточительно...

– Я жизни не пощажу для исполнения своего долга или ради любого родственника моего мужа, – прервала его миссис Бьют.

– Да, сударыня, если бы это было нужно. Но мы не желаем, чтобы миссис Бьют Кроули стала мученицей, – галантно промолвил

Кламп. – Поверьте, доктор Сквилс и я – мы оба обсудили положение мисс Кроули с величайшим усердием и тщательностью. Мы находим, что у нее удрученное состояние духа, что она нервничает. Семейные события взволновали ее...

– Племянник доведет ее до гибели! – воскликнула миссис Кроули.

– ...взволновали ее, а вы явились, как ангел-хранитель, сударыня, положительно, как ангел-хранитель, уверяю вас, чтобы облегчить ей бремя невзгод. Но доктор Сквилс и я – мы думаем, что наш любезный друг вовсе не в таком состоянии, которое вызывает необходимость пребывания в постели. Она в угнетенном состоянии духа, затворничество только увеличивает угнетенность. Ей нужна перемена: свежий воздух и развлечения – это самые восхитительные средства, какие знает медицина, – сказал мистер Кламп, улыбаясь и показывая свои прекрасные зубы. – Убедите ее встать, сударыня, стащите ее с постели и заставьте воспрянуть духом, настаивайте на том, чтобы она предпринимала небольшие прогулки в экипаже. Они восстановят розы и на ваших щеках, если только я смею дать такой совет уважаемой миссис Бьют Кроули.

– Она может случайно увидеть своего ужасного племянника в Парке; мне говорили, что этот субъект катается с бесстыжей соучастницей своих преступлений, – заметила миссис Бьют (выпустив кота из мешка), – и это нанесет ей такой удар, что нам придется опять уложить ее в постель. Пока я при ней, я не позволю ей выезжать. А что касается *моего* здоровья, то что мне до него! Я с радостью отдаю его, сэр. Я приношу эту жертву на алтарь семейного Долга.

– Честное слово, сударыня, – объявил тут напрямик мистер Кламп, – я не отвечаю за ее жизнь, если она по-прежнему будет сидеть взаперти в этой темной комнате. Она так нервна, что мы можем потерять ее в любой день. И если вы желаете, чтобы капитан Кроули стал ее наследником, то предупреждаю вас откровенно, сударыня, вы делаете буквально все, чтобы угодить ему.

– Боже милостивый! Разве ее жизнь в опасности? – воскликнула миссис Бьют. – Почему, почему же, мистер Кламп, вы не сказали мне об этом раньше?

Накануне вечером, за бутылкой вина в доме сэра Лаппина Кроля, супруга которого собиралась подарить ему тринадцатое благословение неба, у мистера Клампа было совещание с доктором Сквилсом относительно мисс Кроули и ее болезни.

– Что за гарпия эта бабенка из Хэмпшира, Кламп! Зацапала в свои лапы старуху Тилли Кроули, – заметил Сквилс. – Отличная мадера, не правда ли?

– Что за дурак Родон Кроули, – ответил Кламп, – взял да и женился на гувернантке! Хотя в девчонке что-то есть.

– Зеленые глазки, прекрасный цвет лица, чудесная фигурка, хорошо развитая грудная клетка, – заметил Сквилс. – Что-то в ней есть... А Кроули и всегда был дурак, поверьте мне, Кламп.

– Еще бы не дурак, – согласился аптекарь.

– Конечно, старуха от него откажется, – сказал врач и после минутного молчания прибавил: – Надо думать, что, когда она умрет, наследникам достанется немало.

– Умрет? – подхватил Кламп с усмешкой. – Да предложи мне кто двести фунтов в год, я и то не пожелаю ей смерти.

– Эта хэмпширская баба доконает ее в два месяца, мой милый, если будет с ней еще возиться, – продолжил доктор Сквилс. – Женщина старая, охотница покушать, нервный субъект; начнется сердцебиение, давление на мозг, апоплексия – и готово. Поднимайте ее на ноги, Кламп, вывозите гулять – иначе плакали ваши двести фунтов в год – никто их вам тогда не предложит.

И вот на основании этого-то совета достойный аптекарь и поговорил с миссис Бьют Кроули так откровенно.

Захватив в свои руки старуху, одинокую, без близких людей, прикованную к постели, миссис Бьют не раз приставала к ней с разговорами о завещании. Но у мисс Кроули такие мрачные разговоры еще больше усиливали страх смерти. И миссис Бьют поняла, что надо сперва вернуть пациентке бодрое расположение духа и поправить ее здоровье, а тогда уж можно будет подумать о благочестивой цели, которую почтенная пасторша имела в виду. Но куда вывозить ее – вот новая головоломка! Единственным местом, где старуха, по всей вероятности, не встретила бы с противным Родоном, была церковь, но миссис Бьют справедливо считала, что посещение церкви не очень развеселит мисс Кроули. «Надо будет съездить осмотреть

замечательные окрестности Лондона, – решила миссис Бьют. – Я слышала, что во всем мире нет таких живописных уголков». И вот у нее пробудился внезапный интерес к Хэмпстеду и Хорнси; она нашла, что и Далич по-своему очарователен, и, усадив свою жертву в карету, стала таскать ее по всем этим идиллическим местам, разнообразя их маленькие путешествия беседами о Родоне и его жене и рассказывая старой леди всевозможные истории, которые могли бы еще больше вооружить ее против этой нечестивой четы.

Пожалуй, миссис Бьют натянула струну чересчур уж туго. Хоть она и добилась того, что мисс Кроули и слышать не хотела о строптивом племяннике, но зато старуха возненавидела и свою мучительницу и втайне боялась ее, а потому жаждала от нее отделаться. Вскоре она решительно взбунтовалась против Хайгета и Хорнси. Ей хотелось прокатиться по Парку. Миссис Бьют знала, что они могут встретиться там с ненавистным ей Родоном, и была права. Однажды на круговой аллее показалась открытая коляска Родона. Ребекка сидела рядом с мужем. Во вражеском экипаже мисс Кроули занимала свое обычное место, имея слева от себя миссис Бьют, а напротив – пуделя и мисс Бригс. Момент был захватывающий, и у Ребекки сердце забилось быстрее при виде знакомого выезда. Едва оба экипажа поравнялись, она всплеснула руками и обратила к старой деве лицо, дышащее любовью и преданностью. Сам Родон вздрогнул, и щеки его под нафабренными усами покрылись густым румянцем. Однако в другом экипаже только старая Бригс почувствовала волнение и в превеликой растерянности уставилась на своих прежних друзей. Капор мисс Кроули был решительно обращен в сторону Серпентайна<sup>[157]</sup>, а миссис Бьют в эту минуту как раз восторгалась пуделем, называя его милочкой, деткой, красавчиком. Оба экипажа продолжали путь в веренице других, каждый в свою сторону.

– Все пропало, ей-богу, – сказал Родон жене.

– Попробуй еще разок, Родон, – отвечала Ребекка. – Не удастся ли тебе сцепиться с ними колесами, милый?

У Родона не хватило смелости проделать такой маневр. Когда экипажи опять встретились, он только привстал в своей коляске и выжидательно поднес руку к шляпе, глядя на старуху во все глаза. На этот раз мисс Кроули не отвернулась; она и миссис Бьют взглянули племяннику прямо в лицо, словно не узнавая его. Родон с проклятием

упал на сиденье и, выбравшись из вереницы экипажей, пустился во весь дух домой.

Это был блестящий и решительный триумф для миссис Бьют. Но она чувствовала опасность повторения подобных встреч, так как видела явное волнение мисс Кроули, и потому решила, что для здоровья ее дорогого друга необходимо оставить на время столицу, и весьма настоятельно рекомендовала Брайтон.

## **Глава XX,** ***в которой капитан Доббин берет на себя роль вестника Гименея***

Сам не зная как, капитан Уильям Доббин оказался главным зачинщиком, устройтелем и распорядителем свадьбы Джорджа Осборна и Эмилии. Если бы не он, брак его друга не состоялся бы; капитан не мог не признаться в этом самому себе и горько улыбался при мысли, что именно ему на долю выпали заботы об этом брачном союзе. И хотя такое посредничество было, несомненно, самой тягостной задачей, какая могла ему представиться, однако, когда речь шла о долге, капитан Доббин доводил дело до конца без лишних слов и колебаний. Придя к неоспоримому выводу, что мисс Седли не снесет удара, если будет обманута своим суженым, он решил сделать все, чтобы сохранить ей жизнь.

Не стану вдаваться в мельчайшие подробности встречи между Джорджем и Эмилией, когда наш бравый капитан был приведен обратно к стопам (не лучше ли сказать – в объятия?) своей юной возлюбленной стараниями честного Уильяма, своего друга. И более холодное сердце, чем Джорджа, растаяло бы при виде этого милого личика, столь сильно изменившегося от горя и отчаяния, и при звуках нежного голоса и простых и ласковых слов, которые рассказали ему ее многострадальную повесть. И так как Эмилия не лишилась чувств, когда трепещущая мать привела к ней Осборна, а только склонила голову на плечо к возлюбленному и залилась сладостными, обильными и освежающими слезами, облегчавшими ей сердце, старая миссис Седли, также почувствовав величайшее облегчение, сочла за лучшее предоставить молодых людей самим себе. Поэтому она покинула Эмми, которая плакала, припав к руке Джорджа и смиренно ее целуя, как будто Осборн был ее верховным властелином и повелителем, а она, Эмилия, – кающейся грешницей, ожидающей милости и снисхождения.

Такое преклонение и нежная безропотная покорность необычайно растрогали Джорджа Осборна и польстили ему. В этом

простом, смиренном, верном создании он видел преданную рабыню, и душа его втайне трепетала от сознания своего могущества. Он пожелал быть великодушным султаном, поднять до себя эту коленопреклоненную Эсфирь<sup>[158]</sup> и сделать ее королевой. К тому же ее горе и красота растрогали его не меньше, чем покорность, поэтому он ободрил девушку и, так сказать, поднял ее и простил. Все надежды и чувства, увядавшие и иссыхавшие в ней, с тех пор как солнце ее затмилось, сразу ожили под его щедрыми лучами. Вы не узнали бы в сияющем личике Эмилии, покоившемся в тот вечер на подушке, ту самую девушку, которая лежала тут накануне такая измученная, безжизненная, такая равнодушная ко всему окружающему. Честная горничная-ирландка, восхищенная переменой, попросила разрешения поцеловать это личико, так внезапно порозовевшее. Эмилия, словно дитя, обвила руками шею девушки и поцеловала ее от всего сердца. Да она и была почти что дитя. В эту ночь она и спала, как ребенок, глубоким здоровым сном, – а какой источник неопишуемого счастья открылся ей, когда она проснулась при ярком свете утреннего солнца!

«Сегодня он опять будет здесь, – подумала Эмилия. – Нет человека благороднее и лучше». И, по правде сказать, Джордж считал себя одним из самых великодушных людей на свете и полагал, что приносит невероятную жертву, женись на этом юном создании.

Пока Эмилия и Осборн проводили время наверху в восхитительном tête-à-tête, старая миссис Седли и капитан Доббин беседовали внизу о положении дел и о надеждах и будущем устройстве молодых людей. Миссис Седли, соединив влюбленных и оставив их крепко обнявшимися, с истинно женской логикой утверждала, что никакая сила не может склонить мистера Седли к согласию на брак его дочери с сыном человека, который так бесстыдно, так чудовищно обошелся с ним. И она начала пространно рассказывать о более счастливых днях и былом великолепии, когда Осборн жил очень скромно на Нью-роуд и жена его была предовольна, получая кое-какие обноски Джоза, которыми миссис Седли снабжала ее при рождении какого-нибудь из маленьких Осборнов. Дьявольская неблагодарность этого человека – она в том уверена – разбила сердце мистера Седли. Нет, никогда, никогда не согласится он на этот брак.

– Так, значит, им придется бежать, сударыня, – сказал Доббин, смеясь, – по примеру капитана Родона Кроули и приятельницы мисс

Эмми, маленькой гувернантки.

– Да неужели? Вот никогда бы не подумала! – Миссис Седли пришла в необычайное волнение, услышав эту новость. Рассказать бы об этом Бленкинсоп: Бленкинсоп всегда относилась с недоверием к мисс Шарп. «Счастливо отделался Джоз!» – И она пустилась описывать хорошо нам знакомую историю любовных походов Ребекки и коллектора Богли-Уолаха.

Впрочем, Доббин не так страшился гнева мистера Седли, как другого заинтересованного родителя, и признавался себе, что его весьма беспокоит и смущает поведение старого угрюмого тирана, коммерсанта с Рассел-сквер. «Ведь он решительно запретил этот брак, – размышлял Доббин, которому было известно, каким диким упорством отличался Осборн и как он всегда держался своего слова. – Единственным для Джорджа шансом на примирение, – рассуждал его друг, – было бы отличиться в предстоящей кампании. Если он умрет, за ним умрет и Эмилия. А если ему не удастся отличиться?.. Что ж, у него есть какие-то деньги от матери – их хватит на покупку майорского чина... А то придется ему бросить армию, уехать за море и попытаться счастья где-нибудь на приисках Канады или грудью встретить трудности жизни где-нибудь в деревенской глуши». Сам Доббин с такой спутницей жизни не побоялся бы и Сибири. Странно сказать: этот бестолковый и в высшей степени неосмотрительный молодой человек ни на минуту не задумался над тем, что недостаток средств для содержания изящного экипажа и лошадей и отсутствие надлежащего дохода, который позволил бы его обладателям достойно принимать своих друзей, должны были бы явиться безусловным препятствием к союзу Джорджа и мисс Седли.

Все эти веские соображения заставили его прийти к выводу, что брак должен состояться как можно скорее. Как знать, уж не хотелось ли ему самому, чтобы со всем этим было раз навсегда покончено? Так иные, когда умирает близкий человек, торопятся с похоронами или, если решено расстаться, спешат с разлукой. Несомненно одно: мистер Доббин, взяв дело в свои руки, повел его с необычайным рвением. Он неотступно доказывал другу, что надо действовать твердо и решительно, уверял, что примирение с отцом не заставит себя ждать, пусть только в «Газете» будет с похвалой упомянуто имя Джорджа. Если понадобится, он сам отправится и к тому и к другому родителю



и поговорит с ними. Во всяком случае, он молил Джорджа покончить с этим до приказа о выступлении полка в заграничный поход, которого ждали со дня на день.

Поглощенный этими матримониальными проектами, мистер Доббин с одобрения и согласия миссис Седли, не пожелавшей обсуждать этот вопрос со своим супругом, отправился на поиски Джона Седли в кофейню «Тапиока», обычное его теперь пристанище в Сити, где с закрытием его собственной конторы, с тех пор как на него обрушилась судьба, бедный разбитый старик ежедневно проводил время, – здесь он писал письма, получал письма, связывал их в какие-то таинственные пачки, которые постоянно торчали из карманов его сюртука. Я не знаю ничего более плачевного, чем деловитость, суетливость и таинственность разорившегося человека. Он показывает вам письма от богачей, он раскладывает перед вами эти затасканные, засаленные документы, говорящие о сочувствии и обещающие поддержку, и в глазах его светится тоскливый огонек: здесь все его надежды на восстановление доброго имени и благосостояния. Моего любезного читателя, без сомнения, не раз останавливал такой злосчастный неудачник. Он отводит вас куда-нибудь в уголок, вытаскивает из оттопырившегося кармана сюртука связку бумаг, развязывает ее и, взяв веревочку в зубы, отбирает излюбленные письма и раскладывает перед вами. Кому не знаком этот скорбный, спокойный, полубезумный взгляд, устремленный на вас с выражением безнадежности?

Доббин в таком именно состоянии и застал Джона Седли, некогда жизнерадостного, цветущего и преуспевающего. Сюртук его, обычно такой щеголеватый и опрятный, побелел по швам, а на пуговицах сквозила медь. Лицо осунулось и было небрито; жабо и галстук повисли тряпкой над мешковатым жилетом. Бывало, в прежние времена, угощая приятеля в кофейне, Седли кричал и смеялся громче всех, и все лакеи суетились около него. А теперь просто больно было смотреть, как смиренно и вежливо разговаривал он в «Тапиоке» с Джоном, старым подслеповатым слугой в грязных чулках и стоптанных туфлях, на обязанности которого было подавать рюмки с облатками, оловянные чернильницы вместо оловянных кружек и клочки бумаги вместо сэндвичей посетителям этого мрачного увеселительного заведения, где, кажется, ничего иного и не

употреблялось. Что же касается Уильяма Доббина, которому мистер Седли частенько жертвовал монету-другую в дни его юности и над которым сотни раз подшучивал, то старый джентльмен очень робко и нерешительно протянул ему руку и назвал его «сэром». Под впечатлением этой робости и искательности бедного старика чувство стыда и раскаяния овладело Уильямом Доббином, словно он и сам был как-то повинен в неудачах, доведших Седли до такого унижения.

– Очень рад вас видеть, капитан Доббин, сэр, – произнес старик, несмело взглянув на посетителя (чья долговязая фигура и военная выправка вызвали искру какого-то оживления в подслеповатых глазах лакея, шмыгавшего взад-вперед в стоптанных бальных туфлях, и разбудили старуху в черном, дремавшую за стойкой, среди грязных надбитых кофейных чашек). – Как поживают достойный олдермен и миледи, ваша добрейшая матушка, сэр? – Произнося это «миледи», он оглянулся на лакея, словно желал сказать: «Слышите, Джон, у меня еще есть друзья, и к тому же особы знатные и почтенные». – Вы пожаловали ко мне по какому-нибудь делу, сэр? Мои молодые друзья, Дейл и Спигот, ведут за меня все дела, пока не будет готова моя новая контора. Ведь я здесь только временно, капитан. Чем мы можем служить вам, сэр? Не угодно ли чего-нибудь выпить или закусить?

Доббин в величайшем замешательстве стал отказываться, уверяя, что ничуть не голоден и не испытывает жажды. Дел у него никаких решительно нет, и он зашел только осведомиться о здоровье мистера Седли и пожать руку старому другу. И, безбожно кривя душой, капитан добавил:

– Матушка моя вполне здорова... то есть была очень нездорова и только ожидает первого ясного дня, чтобы выехать и посетить миссис Седли. Как поживает миссис Седли, сэр? Надеюсь, она в добром здоровье?

Тут он умолк, пораженный полнейшим несообразием своих слов, ибо день был такой ясный и солнце так ярко светило, как только это возможно в Кофин-Корте, где находится кофейня «Тапиока»; мистер Доббин также вспомнил, что видел миссис Седли всего час тому назад, когда подвез Осборна в Фулем на своем шарабане и оставил его там tête-à-tête с мисс Эмилией.

– Моя жена будет счастлива повидаться с миледи, – отвечал Седли, вытаскивая свои бумаги. – У меня тут очень любезное

письмецо от вашего батюшки, сэр. Прошу передать ему от меня почтительнейший привет. Леди Доббин найдет нас в домике, который несколько меньше того, где мы привыкли принимать наших друзей. Но он уютен, а перемена воздуха полезна для моей дочери... она все хворала в городе... Вы помните маленькую Эмми, сэр?.. Да, она сильно прихварывала.

Взоры старого джентльмена блуждали, пока он говорил. Он думал о чем-то другом, перебирая в руках бумаги и теребя красный истертый шнурок.

– Вы человек военный, – продолжал он, – и я спрашиваю вас, Уил Доббин, мог ли кто рассчитывать на возвращение этого корсиканского злодея с Эльбы? Когда союзные монархи были здесь в прошлом году и мы задали им обед в Сити, сэр, и любовались на Храм Согласия, на фейерверки и китайский мост в Сент-Джеймском парке<sup>[159]</sup>, мог ли какой разумный человек предположить, что мир на самом деле не заключен, хотя мы уже отслужили благодарственные молебны? Я спрашиваю вас, Уильям, мог ли я предполагать, что австрийский император – изменник, проклятый изменник, и ничего больше? Я говорю то, что есть: это подлый изменник и интриган, который только и думает, как бы вернуть своего зятя. И я утверждаю, что бегство Бони с Эльбы – это не что иное, как заговор и хитрый обман, сэр, в котором замешана добрая половина европейских держав, – они спят и видят, как бы вызвать падение государственных бумаг и разорить нашу страну. Вот почему я здесь, Уильям. Вот почему мое имя пропечатали в «Газете». Я доверился русскому императору и принцу-регенту. Вот посмотрите. Вот мои бумаги. Вот какой был курс на государственные бумаги первого марта и что стоили французские пятипроцентные, когда я купил их на срок. А какой их курс теперь? Тут был сговор, сэр, иначе этот мерзавец никогда не удрал бы. Где был английский комиссар? Почему он позволил ему убежать? Его следовало бы расстрелять, сэр, – предать военно-полевому суду и расстрелять, ей-богу!

– Мы собираемся прогнать Бони, сэр, – сказал Доббин, встревоженный яростью старика: жилы вздулись у него на лбу, и он гневно барабанил кулаком по своим бумагам. – Мы собираемся прогнать его, сэр, – герцог уже в Бельгии<sup>[160]</sup>, и мы со дня на день ждем приказа о выступлении!

– Не давайте ему пощады! Привезите нам голову негодяя, сэр! Пристрелите подлеца, сэр! – ревел Седли. – Я и сам пошел бы в армию, клянусь... Но я разбитый старик, разоренный этим проклятым негодяем... и шайкой воров и мошенников, наших же англичан, которых я сам вывел в люди, сэр, и которые катаются теперь в каретах, – добавил он дрогнувшим голосом.

Доббин был немало взволнован при виде этого некогда доброго старого друга, почти обезумевшего от горя и кипевшего старческой злобой. Пожалейте падшего джентльмена, вы все, для кого деньги и репутация – главнее блага. А ведь так оно и есть на Ярмарке Тщеславия.

– Да, – продолжал старик, – бывают же такие ехидны – ты их отогреваешь, а потом они жалят тебя. Бывают такие нищие – ты помогаешь им сесть на лошадь, а они же первые давят тебя. Вы знаете, на кого я намекаю, Уильям Доббин, мой мальчик. Я говорю об этом гордце, об этом разбогатевшем негодяе с Рассел-сквер, которого я знавал без гроша в кармане. Молю бога и надеюсь, что увижу его таким же нищим, каким он был до того, как я ему помог.

– Я кое-что слышал об этом, сэр, от моего друга Джорджа, – заметил Доббин, стараясь поскорее подойти к цели. – Ссора между вами и его отцом крайне огорчила его, сэр. И я даже имею к вам поручение от Джорджа.

– А, так вот какое у вас дело! – крикнул старик, вскочив со своего места. – Что? Пожалуй, он еще шлет мне соболезнование? Так, что ли? Весьма любезно со стороны этого напыщенного нахала с его фатовскими замашками и вест-эндским чванством. Он, чего доброго, все еще шатается около моего дома. Если бы мой сын обладал храбростью настоящего мужчины, он пристрелил бы его. Это такой негодяй, как и его отец. Не желаю, чтобы его имя упоминалось в моем доме. Проклинаю тот день, когда я позволил ему переступить мой порог. Я предпочту увидеть свою дочь мертвой, чем замужем за ним.

– Джордж не виноват в жестокости своего отца, сэр. Если ваша дочь любит его, то вы сами немало способствовали этому. Кто дал вам право надругаться над привязанностью двух молодых людей? Неужели ради своего каприза вы готовы сделать их несчастными?

– Запомните, это не его отец разрывает брак! – выкрикнул старый Седли. – Это я запрещаю! Его семья и моя расстались навеки. Я низко

пал, но не настолько. Нет, нет! И вы так и скажите всему их отродью – сыну, отцу и сестрам, всем, всем!

– Я убежден, сэр, что у вас нет ни власти, ни права разлучать этих молодых людей, – отвечал Доббин тихим голосом. – И если вы не дадите дочери своего согласия, она никоим образом не должна считаться с вашей волей. Нет разумного оправдания тому, чтобы она умерла или влачила жалкое существование только из-за вашего упорства. По моему мнению, она уже так крепко связана брачным обязательством, как если бы оглашение их брака было сделано во всех лондонских церквах. И может ли быть лучший ответ на обвинения Осборна, – а ведь он вас действительно обвиняет, – чем просьба его сына позволить ему войти в вашу семью и жениться на вашей дочери?

Казалось, проблеск чего-то похожего на удовлетворение пробежал по лицу старого Седли, когда перед ним был выдвинут этот довод. Но он все еще продолжал твердить, что никогда не даст согласия на брак Эмилии с Джорджем.

– Придется обойтись без вашего согласия, – заявил, улыбаясь, Доббин и рассказал мистеру Седли, как давеча рассказывал миссис Седли, о побеге Ребекки с капитаном Кроули. Это, очевидно, позабавило старого джентльмена.

– Вы, господа капитаны, ужасный народ! – промолвил он, перевязывая свои бумаги, и на лице его показалось какое-то подобие улыбки, к изумлению только что вошедшего подслеповатого лакея, который еще ни разу не видал подобного выражения лица у мистера Седли, с тех пор как тот повадился в эту унылую кофейню.

Мысль о нанесении своему врагу, Осборну, такого удара, видимо, смягчила старого джентльмена, и, когда их беседа закончилась, они с Доббином расстались добрыми друзьями.

– Сестры говорят, что у нее брильянты с голубиное яйцо, – смеясь, говорил Джордж. – Представляю, как они идут к ее цвету лица! Когда она увешается своими драгоценностями – должно быть, получается настоящая иллюминация. А ее черные волосы вьются, как у Самбо. Наверное, она продела себе в нос кольцо, когда ездила представляться ко двору... Ей бы в волосы пучок перьев – и это будет настоящая *belle sauvage*!<sup>[161]</sup>

Так Джордж, беседуя с Эмилией, потешался над наружностью молодой особы, с которой недавно познакомились его отец и сестры и которая была предметом величайшего поклонения для семейства на Рассел-сквер. Говорили, что у нее без счета всяких плантаций в Вест-Индии, куча денег в государственных бумагах и что имя ее отмечено тремя звездочками в списке акционеров Ост-Индской компании. У нее был дворец за Темзой и дом на Портленд-плейс. Имя богатой вест-индской наследницы было упомянуто весьма лестно в «Морнинг пост». Миссис Хаггистон, вдова полковника Хаггистона, ее родственница, вывозила ее в свет и вела ее дом. Она только что вышла из школы, где заканчивала образование, и Джордж с сестрами встретился с нею на вечере в доме старого Халкера, на Девоншир-плейс («Халкер, Буллок и К<sup>о</sup>» были постоянными лондонскими агентами ее семьи в Вест-Индии); обе мисс Осборн осыпали ее любезностями, и наследница принимала их авансы весьма добродушно. «Быть сиротой в ее положении и при ее деньгах – как это интересно!» – говорили девицы Осборн. Вернувшись с бала, они просто бредили новой подругой и без конца рассказывали о ней своей компаньонке мисс Уирт. Сестры сговорились с новой знакомой о постоянных встречах и на следующий же день взяли карету и поехали ее навестить. Миссис Хаггистон, вдова полковника Хаггистона и родственница лорда Бинки, беспрестанно о нем говорившая, неприятно поразила неискушенных девиц своим надменным видом и слишком большой склонностью вспоминать на каждом слове своих знатных родственников. Но сама Рода была выше всяких похвал – искреннейшее, милейшее, приятнейшее создание – правда, нуждающееся в легкой шлифовке, но зато уж такое безобидное. Девушки сразу стали называть друг друга по имени.

– Посмотрела бы ты на нее в придворном туалете, Эмми, – рассказывал Осборн, смеясь. – Она примчалась к сестрам показать его, перед тем как ехать представляться ко двору во всем параде. Вывозит ее миледи Бинки, родственница Хаггистон. Эта Хаггистон в родстве буквально со всеми. Брильянты у нее горели огнями, как Воксхолл в тот вечер, когда мы там были (помнишь Воксхолл, Эмми? И как Джоз распевал там своей душечке, м-милоч-чке?). Брильянты и бронза, дорогая, – подумай, какое чудесное сочетание. А в волосах – то есть в шерсти – белые перья. Серьги величиной с подсвечник, их

прямо можно зажечь, ей-богу! А желтый атласный шлейф волочился за нею, словно хвост кометы.

– Сколько ей лет? – спросила Эмми, которой Джордж трещал про смуглолицую красотку в утро их примирения, – трещал так, как, наверно, не мог бы никто в мире.

– Да этой чернокожей принцессе, хотя она только что со школьной скамьи, должно быть, года двадцать два – двадцать три. А посмотрела бы ты на ее каракули! Полковница Хаггистон пишет за нее все письма, но как-то в минуту откровенности она сама вооружилась пером и написала моим сестрам. Она пишет вместо «атлас» – «атласт», а вместо «дворец» – «творец».

– Ах, это, наверно, мисс Суорц, наша пансионерка, та, что жила в отдельной комнате, – догадалась Эмми, вспомнив добродушную девочку-мулатку, которая так бурно сокрушалась, когда Эмилия покидала пансион мисс Пинкертон.

– Она, совершенно верно! – подхватил Джордж. – Отец ее был немецкий еврей, говорят – рабовладелец, имевший какое-то отношение к Каннибальским островам. Он умер в прошлом году, и мисс Пинкертон завершила ее образование. Она может сыграть на фортепьяно две пьески, умеет петь три романса, может писать, когда рядом сидит миссис Хаггистон и исправляет ей ошибки. Джейн и Мария уже полюбили ее, как сестру.

– Жаль, что они меня не полюбили, – промолвила задумчиво Эмми. – Они всегда обходились со мной так холодно.

– Дорогое мое дитя, они полюбили бы тебя, если бы у тебя было двести тысяч фунтов, – отвечал Джордж. – Так уж они воспитаны. В нашем обществе поклоняются чистогану. Мы живем среди банкиров и крупных дельцов Сити, черт бы их всех побрал, и каждый, кто разговаривает с тобой, побрякивает в кармане гинейями. Таков этот осел Фред Буллок, который собирается жениться на Марии, таков Голдмор, директор Ост-Индской компании, таков Дипли, торговец салом, – это по нашей линии, – добавил Джордж с принужденным смехом и краснея. – Проклятие всей этой шайке пошляков и загребателей денег! Я засыпаю на их торжественных обедах. Я стыжусь дурацких парадных вечеров у моего отца. Я привык жить с джентльменами, с людьми светскими и благовоспитанными, Эмми, а не с кучкой торгашей, объедающихся черепаховым супом. Милочка,

ты одна в нашем кругу настоящая леди и по наружности, и по речам, и по образу мыслей. И это потому, что ты ангел, и иначе быть не может. Не возражай! Ты у нас одна-единственная леди. Разве не говорила того же мисс Кроули, которая вращалась в лучших кругах Европы? А что касается Кроули, лейб-гвардейца, то, черт его побери, он славный малый. И мне он нравится тем, что женился на девушке, которую полюбил.

Эмилия тоже восхищалась мистером Кроули, и по той же причине. Она была уверена, что Ребекка будет с ним счастлива, и, смеясь, выражала надежду, что Джоз утешится. Наша парочка продолжала болтать, как в старые времена. К Эмили вернулась ее прежняя вера в Джорджа, хоть она то и дело из милого кокетства поминала мисс Суорц и даже призналась – какая лицемерка! – что ее ужасно пугает, как бы Джордж не позабыл ее для этой наследницы, ради ее капиталов и угодий на Сент-Китсе. На самом деле она была слишком счастлива, чтобы испытывать какие-либо опасения, сомнения или предчувствия, и, видя опять рядом с собой Джорджа, не боялась никаких наследниц, никаких красавиц, да и вообще ничего на свете.

Капитан Доббин вернулся к молодым людям, преисполненный сочувствия к ним, – и на сердце у него потеплело, когда он увидел, как Эмилия опять расцвела, как она смеется, щебечет и распевает за фортепьяно старые знакомые романсы; исполнение их прервал звонок, возвещавший о приходе мистера Седли. Еще до его появления Джорджу было приказано ретироваться.

Если не считать первой приветственной улыбки – да и та была лицемерной, так как Эмилия сочла прибытие капитана Доббина несвоевременным, – мисс Седли ни разу не обратила внимания на Доббина в течение его визита. Но он был доволен уж тем, что видел Эмилию счастливой и сам содействовал этому счастью.



## Глава XXI

### Ссора из-за наследницы

Нетрудно воспылать любовью к молодой особе, наделенной такими достоинствами, как мисс Суорц. И вот в душу старого мистера Осборна вкралась великая честолюбивая мечта, и мисс Суорц призвана была ее осуществить. Он поощрял с величайшим рвением и дружелюбием нежную приязнь своих дочерей к молодой наследнице и заявлял, что ему, как отцу, доставляет искреннейшее удовольствие видеть, что любовь его девочек избрала себе достойный предмет.

– В нашем скромном особняке на Рассел-сквер, моя дорогая, – говаривал он мисс Роде, – вы не найдете того великолепия и не встретите того круга, к которому привыкли в Вест-Энде. Мои дочери простые, бесхитростные девочки, но сердце у них золотое, и они питают к вам привязанность, которая делает им честь, – да, делает им честь. Я простой, обыкновенный скромный английский купец, честный, как могут засвидетельствовать мои почтенные друзья Халкер и Буллок, бывшие доверенные вашего покойного батюшки, царствие ему небесное. Вы найдете у нас дружную, простую, счастливую и – надеюсь, могу так сказать – почтенную семью; простой стол, простых людей, но горячий прием, дорогая моя мисс... Рода, – позвольте мне так вас называть, потому что сердце мое, право, полно горячей к вам приязни. Я человек откровенный, и вы мне нравитесь. Бокал шампанского! Хикс, шампанского мисс Суорц!

Нет никакого сомнения, что старик Осборн верил всему, что говорил, а его дочери совершенно искренне заявляли о своей любви к мисс Суорц. На Ярмарке Тщеславия люди, естественно, льнут к богачам. И если самый заурядный обыватель с умилением взирает на большое богатство (вызываю любого представителя нашей так называемой порядочной публики положи руку на сердце сказать, что понятие «богатство» не включает в себе чего-то приятного ему и внушающего благоговение; да и вы сами, если вам шепнуть, что ваш сосед за столом – счастливый обладатель полумиллиона, – разве не будете разглядывать его с особым интересом?), если даже заурядный обыватель тает при виде богатства, то что уж говорить об испытанных

людях света. Их чувства, можно сказать, рвутся наружу, чтобы приветствовать большие деньги, а сердце готово вспылать любовью к неотразимому обладателю оных. Я знаю многих почтенных особ, которые не считают себя вправе снизить до дружбы с человеком, не имеющим известного веса или положения в обществе. Они дают волю своим чувствам только в подобающих случаях. И вот вам доказательство: большинство членов семьи Осборн на протяжении пятнадцати лет не способно было проявить хоть сколько-нибудь сердечное отношение к Эмили Седли, а к мисс Суорц они за один вечер вспылали такой любовью, которой только может пожелать самый восторженный поклонник дружбы с первого взгляда.

Какая это была бы партия для Джорджа (в полном единодушии заявляли сестры и мисс Уирт) и насколько же мисс Суорц лучше этой ничтожной Эмили! Такой блестящий молодой человек, как Джордж, с его прекрасной внешностью и положением, с его дарованиями, был бы для нее самым подходящим мужем. Картины балов на Портленд-плейс, представлений ко двору, знакомства с доброй половиной пэров волновали воображение молодых девиц, и они только и говорили что о своей милой новой подруге, о Джордже да о его важных знакомых.

Старик Осборн тоже думал, что мулатка будет отличной партией для его сына. Джордж выйдет в отставку, пройдет в парламент, займет видное место и в высшем свете, и в государстве. Кровь у него вскипела радостным волнением от переизбытка верноподданнических чувств, и он уже видел, как имя Осборнов украшено дворянским титулом, пожалованным его сыну, и мечтал о том, что станет родоначальником славной линии баронетов. Он усиленно разнюхивал в Сити и на бирже, пока не разузнал все относительно состояния наследницы, порядка и способа размещения ее капиталов и местоположения принадлежащих ей недвижимостей.

Фред Буллок, один из его главных осведомителей, был бы не прочь и сам поторговаться за нее (как выразился наш юный банкир), но только он уже записал себе на приход Марию Осборн. Не имея возможности заполучить мисс Суорц в качестве жены, бескорыстный Фред весьма одобрял ее в качестве невестки. «Пусть Джордж вступает в игру и выигрывает ее, – таков был его совет. – Но только куй железо, пока горячо. Сейчас ее еще не знают в Лондоне, а через несколько недель явится из Вест-Энда какой-нибудь распроклятый молодчик с

титолом и разоренным родовым поместьем и выставит за двери всех нас, дельцов из Сити, как это сделал в прошлом году лорд Фицруфус с мисс Грогрем, даром что она уже была просватана за Подера из фирмы «Подер и Браун». Чем скорее, тем лучше, мистер Осборн. Вот мое мнение», – советовал наш мудрец. Впрочем, когда мистер Осборн покинул приемную Панка, мистер Буллок вспомнил Эмилию, какая она хорошенькая, как привязана к Джорджу Осборну, и потратил по крайней мере десять секунд своего драгоценного времени на сожаления о злой беде, обрушившейся на несчастную девушку.

Таким образом, в то время как благие намерения самого Джорджа Осборна и его добрый друг и гений Доббин влекли нашего повесу обратно к ногам Эмилии, родители Джорджа и его сестры занимались устройством для него этой великолепной партии, ни на минуту не помышляя, что он может воспротивиться их плану.

Когда Осборн-старший, по его собственному выражению, изъяснялся «намекami», то даже самый заведомый тупица не мог понять его превратно. Так, спуская лакея с лестницы основательным пинком, он как бы давал ему понять, что в его услугах больше не нуждаются. Миссис Хаггистон он заявил со своей обычной прямоотой и деликатностью, что выпишет ей чек на пять тысяч фунтов в тот самый день, когда его сын женится на ее подопечной. Это тоже был тонкий намек и чрезвычайно ловкий дипломатический ход. В конце концов он и Джорджу сделал соответствующий намек – то есть приказал ему жениться на мисс Суорц, и баста, – как приказал бы дворецкому откупорить бутылку вина или конторщику составить деловое письмо.

Этот властный намек сильно смутил Джорджа. Он переживал первые восторги и сладость своего второго романа с Эмилией, невыразимо для него приятного. Контраст между манерами и внешностью Эмилии и наследницы делал самую мысль о союзе с последней смешной и ненавистной. Что толку в пышных экипажах и оперных ложах, думал он, если его увидят там в обществе черномазой прелестницы! Прибавьте ко всему, что Осборн-младший не уступал в упрямстве старшему: когда ему чего-либо хотелось, он был так же тверд в стремлении добиться своего и так же быстро приходил в ярость, когда бывал раздражен, как и его отец в свои наиболее грозные минуты.

В первый день, когда мистер Осборн сделал ему недвусмысленный намек, что он должен повергнуть свои чувства к ногам мисс Суорц, Джордж попытался оттянуть решение.

– Вам следовало бы подумать об этом раньше, сэр, – сказал он. – Сейчас ничего не сделаешь, когда мы каждую минуту ждем приказа выступить в заграничный поход. Подождите до моего возвращения, если только я вернусь. – И тут он стал доказывать, что время выбрано крайне неудачно, так как полк со дня на день может покинуть Англию; что те немногие дни и недели, которые ему еще остается пробить дома, должны быть посвящены делам, не ухаживаниям. Это успеется, когда он вернется домой в майорском чине. – А я обещаю вам, – сказал он с самоуверенным видом, – что так или иначе, но вы увидите в «Газете» имя Джорджа Осборна.

Ответ на это отца основывался на сведениях, полученных им в Сити; при малейшем промедлении вест-эндские молодчики обязательно зацапают наследницу. Если сын не женится на мисс Суорц сейчас, то, во всяком случае, может заручиться письменным ее обещанием, которое вступит в силу по его возвращении в Англию. А кроме того, человек, который может получать десять тысяч в год дома, должен быть дураком, чтобы рисковать своей жизнью за границей.

– Значит, вы хотите, чтобы я оказался трусом, сэр, а ваше имя было опозорено ради денег мисс Суорц? – перебил его Джордж.

Это замечание озадачило старого джентльмена, но так как ему все-таки нужно было ответить сыну, а решение его было непреклонно, то он сказал:

– Вы будете обедать завтра у меня, сэр. И всякий раз, когда у нас бывает мисс Суорц, извольте быть дома, чтобы засвидетельствовать ей свое уважение. Если вам нужны деньги, обратитесь к мистеру Чопперу.

Таким образом, на пути Джорджа возникло новое препятствие, мешавшее его планам относительно Эмилии. И об этом у него с Доббином было не одно тайное совещание. Мы уже знаем мнение его друга насчет того, какой линии поведения ему следовало держаться. Что же касается Осборна, то, когда он задавался какой-нибудь целью, всякое новое препятствие, или скопление их, только усиливало его решимость.

Смуглолицый предмет заговора, составленного старейшинами клана Осборнов, – мисс Суорц – знать не знала всех планов, ее касавшихся (как ни странно, ее приятельница и наставница предпочла о них умолчать), и, принимая лесть молодых девиц за неподдельные чувства, да и обладая к тому же, как мы уже имели случай показать, горячей и необузданной натурой, отвечала на их любовь с чисто тропическим жаром. Хотя, признаться, были у мисс Суорц и другие, более личные мотивы, которые влекли ее в дом на Рассел-сквер. Короче говоря, она находила, что Джордж Осборн очаровательный молодой человек. Было что-то в повадке Джорджа, одновременно развязной и меланхолической, томной и пылкой, что заставляло угадывать в нем человека, обуреваемого страстями, скрывающего какие-то тайны и пережившего на своем веку много мучительного и опасного. Голос у него был звучный и проникновенный. Он мог сказать: «Какой чудный вечер!» – или предложить своей соседке мороженого таким печальным и задушевым тоном, точно сообщал ей о смерти ее матушки или собирался признаться в любви. Он оставлял далеко за флагом всех молодых щеголей отцовского круга и был героем среди этих людей третьего сорта. Кое-кто из них подшучивал над ним и ненавидел его. Другие, вроде Доббина, фанатически восторгались им. Так и сейчас его бакенбарды возымели свое действие и начали обвиваться вокруг сердца мисс Суорц.

Как только представлялся случай встретиться с Джорджем на Рассел-сквер, эта наивная простушка рвалась навестить своих дорогих девиц Осборн. Она безрассудно сорила деньгами, покупая новые платья, браслеты, шляпы и чудовищные перья. Она украшала свою особу с невероятным старанием, чтобы понравиться завоевателю, и выставляла напоказ все свои простенькие таланты, чтобы приобрести его благосклонность. Девицы с величайшей серьезностью умоляли ее немного помузицировать, и она с готовностью принималась петь три своих романса и играть две свои пьески столько раз, сколько ее о том просили, причем каждый раз все с большим и большим удовольствием. Во время этих усладительных развлечений ее покровительница и мисс Уирт сидели рядом, склонившись над «Книгой пэров» и сплетничая о знати.

На другой день после разговора с отцом Джордж, незадолго до обеда, сидел, небрежно развалясь на диване в гостиной, в очень милой

и естественной меланхолической позе. Он побывал, по указанию отца, у мистера Чоппера в Сити (старый джентльмен хотя и давал сыну крупные суммы, но никогда не устанавливал ему определенного содержания и награждал, только когда бывал в хорошем расположении духа). После этого он провел три часа в Фулеме с Эмилией, со своей дорогой маленькой Эмилией, вернувшись домой, застал в гостиной сестер, разодетых в накрахмаленный муслин, обеих вдов, кудахтавших на заднем плане, и простушку Суорц в атласном платье излюбленного ею янтарного цвета, в браслетах, украшенных бирюзой, в бесчисленных кольцах, цветах и всевозможных финтифлюшках и побрякушках. Во всем этом убранстве она была так же элегантна, как трубочист в воскресный день.

После тщетных попыток вовлечь брата в разговор девушки затараторили о модах и последнем приеме во дворце. Джорджу вскоре стало тошно от их болтовни. Он сравнивал их поведение с поведением маленькой Эмми; их резкое визгливое кудахтанье – с мелодическими звуками нежного голоса; их позы, их локти, их накрахмаленные платья – с ее скромными мягкими движениями и застенчивой грацией. Бедняжка мисс Суорц сидела на том месте, которое прежде занимала Эмми. Ее покрытые драгоценностями руки лежали растопыренные на обтянутых желтым атласом коленях. Ее побрякушки и серьги сверкали, и она усиленно вращала глазами. Она утопала в самодовольстве и считала себя очаровательной. Сестры уверяли, будто никогда не видывали, чтобы к кому-нибудь так шел желтый атлас.

«Черт побери, – рассказывал потом Джордж Осборн своему закадычному другу, – она была похожа на китайского болванчика, который только и делает, что скалит зубы да кивает головой. Ей-богу, Уил, я едва-едва сдержался, чтобы не запустить в нее диванной подушкой!» Однако он ничем не обнаруживал своих чувств.

Сестры заиграли «Битву под Прагой».

– Бросьте играть эту треклятую пьесу! – взревел Джордж со своего дивана. – Я от нее взбешусь. Сыграйте что-нибудь вы, мисс Суорц, пожалуйста. Спойте что хотите, но только не «Битву под Прагой».

– Не спеть ли мне «Синеокою Мэри» или арию из «Кабинета»? – предложила мисс Суорц.

– Спойте эту миленькую арию из «Кабинета»! – подхватили сестры.

– Уже слышали! – подал реплику с дивана наш мизантроп.

– Я могла бы спеть «Флюви дю Тахи», – продолжала мисс Суорц кротким голосом, – но только не знаю слова. – Это был самый свежий номер из репертуара достойной молодой особы.

– О, «Fleuve du Tage»<sup>[162]</sup>, – сказала мисс Мария, – у нас есть ноты. – И она отправилась за нужной тетрадью.

А ноты этого романса, весьма в то время популярного, были подарены молодым девицам одной их юной приятельницей, написавшей свое имя на обложке. Мисс Суорц, закончив песенку под аплодисменты Джорджа (ибо он вспомнил, что это был любимый романс Эмилии) и надеясь, что ее, быть может, попросят бисировать, сидела, перелистывая страницы нотной тетради, как вдруг взгляд ее упал на заголовок и она увидела надпись: «Эмилия Седли», выведенную в уголке.

– Боже! – воскликнула мисс Суорц, быстро повернувшись на фортепьянном табурете. – Неужели это моя Эмилия? Эмилия, которая училась в пансионе мисс Пинкертон в Хэммерсмите? Я знаю, это она. Это ее ноты... Расскажите мне о ней... где она?

– Не упоминайте этого имени, – поспешно сказала мисс Мария Осборн. – Ее семья себя опозорила. Отец ее обманул бабушку, и здесь, у нас, лучше о ней не вспоминать. – Так мисс Мария отомстила Джорджу за его грубое замечание о «Битве под Прагой».

– Вы подруга Эмилии? – воскликнул Джордж, вскакивая с места. – Да благословит вас бог за это, мисс Суорц! Не верьте тому, что говорят мои сестрицы. Ее-то уж, во всяком случае, не за что бранить. Она лучшая...

– Не смей говорить о ней, Джордж, – взвизгнула Джейн. – Папенька запрещает!

– Кто может мне запретить? Хочу и буду говорить о ней! – возразил Джордж. – Я говорю, что она лучшая, милейшая, добрейшая, прелестнейшая девушка во всей Англии. Обанкротился Седли или нет, но только мои сестры не стоят и мизинца Эмилии. Если вы ее любите, навестите ее, мисс Суорц. Ей нужны сейчас друзья. И повторяю: да благословит бог всякого, кто отнесется к ней по-дружески. Каждый, кто отзовется о ней хорошо, – друг мне! Всякий, кто скажет о ней

дурное слово, – мой враг! Благодарю вас, мисс Суорц. – И он подошел к мулатке и пожал ей руку.

– Джордж! Джордж! – взмолилась одна из сестер.

– Заявляю, – яростно продолжал Джордж, – что буду благодарен каждому, кто любит Эмилию Сед... – Он остановился: старик Осборн стоял в комнате с помертвевшим от гнева лицом; глаза у него горели, как раскаленные угли.

Хотя Джордж и замолк, не докончив фразы, все же кровь в нем вскипела, и сейчас его не испугали бы все поколения дома Осборнов. Мгновенно овладев собой, он ответил на гневный взгляд отца взглядом, столь откровенным по таившейся в нем решимости и вызову, что старший Осборн в свою очередь смутился и отвернулся. Он почувствовал, что ссора неизбежна.

– Миссис Хаггистон, позвольте мне проводить вас к столу, – сказал он. – Предложи руку мисс Суорц, Джордж. – И шествие тронулось.

– Мисс Суорц, я люблю Эмилию, и мы с ней помолвлены чуть ли не с детства, – заявил Осборн своей даме. И в течение всего обеда он болтал с таким оживлением, которое удивляло даже его самого, а отца заставило нервничать вдвойне, потому что битва должна была начаться, как только дамы выйдут из-за стола.

Разница между отцом и сыном заключалась в том, что, в то время как отец был в гневе раздражителен и лют, сын обладал гораздо большей выдержкой и отвагой и мог не только наступать, но и отражать наступление. Он тоже приготовился к решительной схватке с отцом, но это не помешало ему приступить к обеду с полнейшим хладнокровием и прекрасным аппетитом. Наоборот, старший Осборн нервничал и много пил. Он путался в разговоре со своими соседками; хладнокровие Джорджа только пуще его бесило, и он чуть не обезумел, когда Джордж, взмахнув салфеткой, с преувеличенным поклоном распахнул перед дамами двери из столовой, а затем, налив себе вина, принялся смаковать его, глядя отцу прямо в глаза и как будто говоря: «Господа гвардейцы, стреляйте первыми!» Старик тоже возобновил запас картечи, но, когда он наливал себе вино, графин предательски зазвенел о стакан.

После продолжительной паузы, весь побагровев, с перекошенным лицом, он наконец начал:



– Как вы смели, сэр, упомянуть имя этой особы у меня в гостиной, да еще в присутствии мисс Суорц? Я вас спрашиваю, сэр, как вы посмели это сделать?

– Остановитесь, сэр, – сказал Джордж, – я не потерплю ни от кого таких слов, сэр. Выражение «как вы смели» неуместно по отношению к капитану английской армии.

– Я буду говорить своему сыну то, что захочу. Я могу оставить его без единого шиллинга, если захочу. Я могу превратить его в нищего, если захочу. Я буду говорить, что хочу! – воскликнул старик.

– Я джентльмен, хотя и ваш сын, сэр, – надменно отвечал Джордж. – Всякого рода сообщения, которые вы имеете мне сделать, или приказания, какие вам угодно будет мне отдать, я попросил бы излагать таким языком, к какому я привык.

Когда Джордж напускал на себя высокомерный тон, это всегда преисполняло родителя или великим трепетом, или великим раздражением. Старый Осборн втайне боялся своего сына, как джентльмена более высокой марки. Вероятно, моим читателям по собственному опыту, приобретенному на нашей Ярмарке Тщеславия, известно, что люди низменной души ни перед кем так не теряются, как перед истинным джентльменом.



– Мой отец не дал мне образования, какое получили вы, он не предоставил мне ни тех преимуществ, какие имелись у вас, ни тех денежных средств, какими вы располагаете. Если бы я возвращался в том

обществе, где некоторые господа бывали благодаря моим средствам, пожалуй, у моего сына не было бы никаких резонов, сэр, кичиться своим превосходством и своими вест-эндскими замашками (эти слова старик Осборн произнес самым язвительным тоном). Но в мое время не считалось достойным джентльмена оскорблять своего отца. Если бы я сделал что-либо подобное, мой отец спустил бы меня с лестницы, сэр!

– Я никак не оскорбил вас, сэр. Я сказал, что прошу вас помнить, что ваш сын такой же джентльмен, как и вы сами. Я очень хорошо знаю, что вы даете мне кучу денег, – продолжал Джордж (ощупывая пачку банковых билетов, полученных утром от мистера Чоппера). – Вы упоминаете об этом довольно часто, сэр. Незачем опасаться, что я это забуду!

– Я хочу, чтобы вы помнили и о другом, сэр! – отвечал отец. – Я хочу, чтобы вы запомнили, что в этом доме – пока вам желательно, капитан, оказывать ему честь своим присутствием – я хозяин и что это имя... что вы... что я...

– Что прикажете, сэр? – спросил Джордж с легкой усмешкой, наливая себе еще стакан красного вина.

– ...! – выругался отец непечатным словом. – ...Чтоб имя этих Седли никогда здесь не произносилось, сэр!.. Ни одного имени из всей этой проклятой шайки, сэр!

– Это не я, сэр, упомянул имя мисс Седли. Мои сестры стали отзываться о ней дурно в разговоре с мисс Суорц. А я, клянусь, буду защищать ее где бы то ни было. При мне никто не посмеет пренебрежительно отзываться об этой девушке. Наше семейство уж и без того нанесло ей достаточно всяких обид и могло бы, я полагаю, вести себя приличнее теперь, когда она находится в унижении. Я застрелю всякого, кроме вас, кто скажет против нее хоть слово.

– Продолжайте, сэр, продолжайте, – произнес старый джентльмен: от гнева глаза его готовы были выскочить из орбит.

– Продолжать? Но о чем же, сэр? О том, как мы обошлись с этой девушкой, с этим ангелом? Кто твердил мне, чтобы я любил ее? Вы! Я мог бы выбирать и в другом месте, поискать, пожалуй, где-нибудь повыше, а не в вашем кругу, но я повиновался. А теперь, когда ее сердце стало моим, вы приказываете мне отшвырнуть его прочь и наказать ее, может быть, даже убить, – за чужие ошибки. Клянусь

небом, это позор! – говорил Джордж, взвинчивая себя все больше и больше, с нарастающей горячностью, словно в каком-то экстазе. – Стыдно играть чувствами молодой девушки... такого ангела, как она. Эмилия настолько выше всех, среди кого она живет, что могла бы возбудить зависть; но она так добра и кротка, что просто удивительно, как кто-то мог ее возненавидеть. Если я брошу ее, то, как, по-вашему, забудет она меня?

– Я не желаю, сэр, выслушивать всякие сентиментальные благоглупости и чепуху! – закричал отец. – У меня в семье не будет браков с нищими. Если вам не терпится выбросить восемь тысяч годового дохода, которые только ждут знака вашего, чтобы свалиться вам в руки, поступайте как знаете. Но тогда, клянусь богом, забирайте свои пожитки и убирайтесь из этого дома на все четыре стороны! Ну, что же, сэр? Намерены вы поступить, как я вам приказываю, или нет? Спрашиваю в последний раз.

– Женюсь ли я на этой мулатке? – проговорил Джордж, поправляя свои воротнички. – Мне не нравится ее масть, сэр. Предложите ее негру, сэр, который подметает улицу у Флитского рынка. Я не собираюсь жениться на готтентотской Венере.

Мистер Осборн рванул шнурок звонка, которым обычно требовал дворецкого, когда надо было подать еще вина, и с почерневшим лицом приказал ему вызвать карету для капитана Осборна.

– Все кончено, – сказал страшно бледный Джордж, входя час спустя к Слотеру.

– Что случилось, мой мальчик? – спросил Доббин.

Джордж рассказал, что произошло у него с отцом.

– Женюсь на ней завтра же! – воскликнул он. – С каждым днем, Доббин, я люблю ее все больше.

## Глава XXII

### Свадьба и начало медового месяца

Самый упорный и храбрый враг не может устоять против голода. Поэтому Осборн-старший был довольно спокоен насчет своего противника в сражении, которое мы только что описали, и с уверенностью ждал безоговорочной сдачи Джорджа, едва лишь у того выйдут припасы. Жаль, конечно, что молодой человек запасся провиантом в тот самый день, когда произошло сражение. Но, по мнению старика Осборна, такая передышка была только временной и могла лишь отсрочить капитуляцию Джорджа. В течение нескольких дней между отцом и сыном не было никакого общения. Первый сердился на такое молчание, но не тревожился, потому что знал, каким образом можно принажать на Джорджа (так он выражался), и только ждал результатов этой операции. Он сообщил сестрам Джорджа, чем кончился их спор, но приказал им не обращать на это внимания и встретить Джорджа по его возвращении, как будто ничего не произошло. Прибор для Джорджа ставился каждый день, как обычно, и, может быть, старый джентльмен ожидал сына даже с некоторым нетерпением. Однако Джордж не появлялся. О нем спрашивались у Слотера, но там сказали, что он со своим другом, капитаном Доббином, выехал из города.

Как-то раз, в бурный, ненастный день в конце апреля – дождь так и хлестал по мостовой старинной улицы, где находилась кофейня Слотера, – в помещение этой кофейни вошел Джордж Осборн, очень осунувшийся и бледный, хотя одетый довольно щегольски – в синий сюртук с медными пуговицами и в нарядный желтый жилет по моде того времени. Там уже был его друг, капитан Доббин, тоже в синем сюртуке с медными пуговицами, расставшийся на сей раз с военным мундиром и серыми брюками, которые обычно облекали его долговязую фигуру.

Доббин провел в кофейне с час времени, если не больше. Он перебрал все газеты, но не мог ничего в них прочесть: он не меньше ста раз посмотрел на часы и столько же раз на улицу, где лил дождь и стучали деревянные галоши прохожих, отражавшихся в мокрых

плитах тротуара; он отбивал зорю по столу; сгрыз себе ногти почти до живого мяса (он привык украшать таким способом свои огромные руки); пытался уравновесить чайную ложку на крышке молочника; опрокинул его, и т. д., и т. д. Словом, обнаруживал все признаки беспокойства и прибегал ко всем тем отчаянным попыткам развлечься, к которым обращаются люди, когда они очень встревожены, или смущены, или чего-то ждут.

Кое-кто из его товарищей, завсегдатаев кофейни, подшутил над великолепием его костюма и над его возбужденным видом. Один даже спросил, не собирается ли Доббин жениться. Доббин засмеялся и сказал, что, когда это событие произойдет, он пошлет этому своему знакомому (майору Уогстафу из инженерных войск) кусок пирога. Наконец появился Джордж Осборн, очень изящно одетый, но страшно бледный и взволнованный, как мы уже упоминали. Он вытер свое бледное лицо большим желтым шелковым платком, сильно надушенным, пожал руку Доббину, взглянул на часы и приказал лакею Джону подать кюрасо. С нервной торопливостью он проглотил две рюмки этого ликера. Доббин осведомился о его здоровье.

– Не мог заснуть ни на минуту до самого рассвета, Доб, – пожаловался он. – Адская головная боль и лихорадка. Встал в девять часов и отправился в турецкие бани. Знаешь, Доб, я чувствую себя совершенно так же, как в то утро, в Квебеке, когда садился на Молнию перед скачкой.

– И я тоже, – отвечал Уильям. – Я черт знает как волновался в то утро, гораздо больше тебя. Помню, ты отлично позавтракал. Поешь и теперь чего-нибудь.

– Ты хороший парень, Уил. Я выпью за твое здоровье, дружище, и прощай тогда...

– Нет, нет! Двух рюмок достаточно, – перебил Доббин. – Эй, Джон, уберите ликеры! Возьми кайенского перцу к цыпленку. Впрочем, торопись, нам уже пора быть на месте.

Было около половины двенадцатого, когда происходила эта короткая встреча и разговор между обоими капитанами. У подъезда их ждала карета, в которую слуга капитана Осборна уложил шкатулку и чемодан своего хозяина. Оба джентльмена поспешно добежали под зонтиком до экипажа, а лакей взгромоздился на козлы, проклиная дождь и мокрого кучера рядом с собой, от которого валил пар.

– Мы найдем у церкви экипаж получше, – заявил он, – хоть это утешение.

И карета покатила по Пикадилли, где Эпсли-Хаус и больница Св. Георгия еще щеголяли красным одеянием<sup>[163]</sup>, где горели масляные фонари, где Ахиллес еще не появился на свет божий<sup>[164]</sup>; где еще не воздвигалась арка Пимлико и безобразное конное чудовище<sup>[165]</sup> не подавляло ее и всю окрестность, – и, миновав Бромптон, подъехали к некоей церкви вблизи Фулем-роу.

Здесь ожидала карета, запряженная четверкой, и рядом – парадный наемный экипаж. Из-за проливного дождя собралась лишь очень небольшая кучка зевак.

– Что за чертовщина! – воскликнул Джордж. – Ведь я заказал просто пару.

– Мой барин велел заложить четверку, – ответил слуга мистера Джозефа Седли, поджидавший их; он вместе с лакеем мистера Осборна проследовал за Джорджем и Уильямом в церковь, и оба ливрейных аристократа решили, что «свадьба совсем никудышная, нет ни завтрака, ни свадебных бантов».

– Ну, вот и вы, – сказал наш старый друг Джоз Седли, выходя им навстречу. – Ты опоздал на пять минут, милый Джордж. Что за погодка, а? Черт подери, точь-в-точь начало дождливого сезона в Бенгалии. Но ты увидишь, что моя карета непроницаема для дождя. Ну, идемте! Матушка с Эмми в ризнице.

Джоз Седли был великолепен. Он раздобыл еще больше. Воротничок его рубашки стал еще выше; лицо у него покраснело еще сильнее; брыжи пеной вздымались из-под пестрого жилета. Лакированная обувь тогда еще не была изобретена, но гессенские сапоги на его внушительных ногах сияли так, что их можно было принять за ту самую пару, перед которой брился джентльмен, изображенный на старинной картинке. А на светло-зеленом сюртуке Джоза красовался пышный свадебный бант, подобный огромной белой магнолии.

Словом, Джордж принял великое решение: он собирался жениться. Отсюда его бледность и взвинченность, его бессонная ночь и утреннее возбуждение. Многие мне признавались, что, проходя через это, они испытывали такие же точно чувства. Без сомнения,

проделав эту церемонию три-четыре раза, вы к ней привыкнете, но окунуться в первый раз – страшно, с этим согласится всякий.

Невеста была одета в коричневую шелковую ротонду (как потом сообщил мне капитан Доббин), а на голове у нее была соломенная шляпка с розовыми лентами. На шляпку была накинута вуаль из белых кружев шантильи – подарок невесте от мистера Джозефа Седли, ее брата. Капитан Доббин, в свою очередь, испросил позволения подарить ей золотые часы с цепочкой, которыми она и щеголяла, а мать подарила ей свою брильянтовую брошь, чуть ли не единственную драгоценность, которую ей удалось сохранить. Во время венчания миссис Седли сидела на скамье, заливаясь слезами, а ирландка-прислуга и миссис Клеп, квартирная хозяйка, утешали ее. Старик Седли не пожелал присутствовать. Посаженым отцом был поэтому Джоз, а капитан Доббин выступал в роли шафера своего друга Джорджа.

В церкви не было никого, кроме церковнослужителей, небольшого числа участников брачной церемонии да их прислуги. Оба лакея сидели поодаль с презрительным видом. Дождь хлестал в окна. В перерывы службы был слышен его шум и рыдания старой миссис Седли. Голос пастора мрачным эхом отдавался от голых стен. Слова Осборна: «Да, обещаю», – прозвучали глубоким басом. Ответ Эмми, сорвавшийся с ее губок, шел прямо от сердца, но его едва ли кто-нибудь расслышал, кроме капитана Доббина.

Когда служба окончилась, Джоз Седли выступил вперед и поцеловал сестру в первый раз за много месяцев. От меланхолии Джорджа не осталось и следа, вид у него был гордый и сияющий.

– Теперь твоя очередь, Уильям, – сказал он, ласково кладя руку на плечо Доббина. Доббин подошел и прикоснулся губами к щеке Эмилии.

Затем они прошли в ризницу и расписались в церковной книге.

– Бог да благословит тебя, старый мой друг Доббин! – воскликнул Джордж, схватив друга за руку, и что-то очень похожее на слезы блеснуло в его глазах.

Уильям ответил лишь кивком. Сердце его было так переполнено, что он не мог сказать ни слова.

– Пиши сейчас же и приезжай как можно скорее, слышишь? – промолвил Осборн.



Миссис Седли с истерическими рыданиями распрощалась с дочерью, и новобрачные направились к карете.

– Прочь с дороги, чертенята! – цыкнул Джордж на промокших мальчишек, облепивших церковные двери. Дождь хлестал в лицо молодым, когда они шли к экипажу. Банты фореиторов уныло болтались на их куртках, с которых струилась вода. Несколько ребятишек прокричали довольно печальное «ура», и карета тронулась, разбрызгивая грязь.

Уильям Доббин, стоя на паперти, провожал ее глазами, являя собой довольно-таки нелепую фигуру. Кучка зевак потешалась над ним. Но он не замечал ни их хохота, ни их самих.

– Поедем домой и закусим, Доббин, – раздался чей-то голос, пухлая рука легла ему на плечо, и честный малый очнулся от своих грез... Но душа у него не лежала к пиршеству с Джозом Седли. Он усадил плачущую миссис Седли вместе с ее спутницами и Джозом в карету и расстался с ними без всяких лишних слов. Эта карета тоже отъехала, и мальчишки опять прокричали ей вслед насмешливое напутствие.

– Вот вам, пострелята, – сказал Доббин и роздал им несколько медяков, а затем отправился восвояси один, под проливным дождем. Все кончено. Они повенчаны и счастливы, дай им этого бог! Никогда еще, со дня своего детства, он не чувствовал себя таким несчастным и одиноким. С болью в сердце он нетерпеливо ждал, когда пройдут первые несколько дней и он опять увидит Эмилию.

Дней через десять после только что описанной церемонии трое знакомых нам молодых людей наслаждались тем великолепным видом, какой Брайтон раскрывает перед путешественником: на стрельчатые окна с одной стороны и синее море – с другой. Иной раз восхищенный лондонец смотрит на океан, улыбающийся бесконечными морщинками ряби, испещренный белыми парусами, с сотнями кабинок для купания, лобзающих кайму его синей одежды. А то, наоборот, какой-нибудь чудак, которого человеческая природа интересуется больше, чем красивые виды, предпочитает обратить свои взоры на стрельчатые окна и на многообразную человеческую жизнь за ними. Из одного окна доносятся звуки фортепьяно, на котором молодая особа в локончиках упражняется по шести часов ежедневно, к

великой радости своих соседей. У другого окна смазливая нянька Полли укачивает на руках мистера Омниума, в то время как у окна этажом ниже Джекоб, его папаша, завтракает креветками и пожирает страницы «Таймс». Вот там, еще дальше, девицы Лири выглядывают из окон, поджидая, когда по берегу промаршируют молодые артиллерийские офицеры. А там – делец из Сити, с видом заправского моряка и с подзорной трубой, похожей на пушку-шестифунтовку, наводит свой снаряд на море и следит за каждой купальной кабинкой, за каждой лодкой для катанья, за каждой рыбачьей лодкой, которая приближается к берегу или отходит от него, и т. д. Но разве у нас есть досуг заниматься описанием Брайтона: Брайтона – этого чистенького Неаполя с благовоспитанными лаццарони, Брайтона, который всегда выйдет блестящим, веселым и праздничным, словно куртка арлекина; Брайтона, который во времена нашего повествования отстоял от Лондона на семь часов, теперь отделен от него только сотней минут и может приблизиться к нему еще бог знает насколько, если только не явится Жуанвиль<sup>[166]</sup> и не подвергнет его невзначай бомбардировке?

– Что за чертовски красивая девушка вот там, в квартире над модисткой! – обратился один из трех прогуливавшихся джентльменов к другому. – Честное слово, Кроули, вы заметили, как она мне подмигнула, когда я проходил мимо?

– Не разбивайте ей сердца, Джоз, плут вы этакий! – ответил другой. – Не играйте ее чувствами, этакий вы донжуан!

– Ах, полно! – сказал Джоз Седли, испытывая искреннее удовольствие и самым убийственным образом строя глазки горничной, о которой только что говорилось. В Брайтоне Джоз был еще великолепнее, чем на свадьбе своей сестры. На нем были роскошные жилеты, любой из коих мог бы послужить украшением записному франту. Фигуру его облекал сюртук военного образца, украшенный галуном, кисточками, черными пуговицами и шнурами. Последнее время он усвоил себе военную выправку и военные привычки. Он прогуливался со своими двумя друзьями офицерами, позвякивая шпорами, невероятно чванясь и бросая смертоубийственные взгляды на всех служанок, достойных погибнуть от его взоров.

– Что же мы станем делать, друзья, до возвращения дам? – спросил щеголь.

(Дамы поехали кататься в его коляске.)

– Давайте сыграем на бильярде, – предложил один из друзей – высокий, с нафабранными усами.

– Нет, к черту! Нет, капитан, – ответил Джоз, несколько встревоженный. – Сегодня никаких бильярдов, любезный мой Кроули! Достаточно вчерашнего дня!

– Вы очень хорошо играете, – заметил Кроули со смехом. – Как, по-вашему, Осборн? Ведь он замечательно срезал пятерку, а?

– Феноменально! – подтвердил Осборн. – Джоз дьявольски играет на бильярде, да и во всем другом столь же силен! Жаль, что здесь нельзя поохотиться на тигра, а то бы мы уложили несколько штук до обеда! (Смотри, какая идет хорошенькая девочка! Что за ножка, а, Джоз?) Расскажи-ка нам эту историю об охоте на тигра и как ты убил его в джунглях. Это изумительная история, Кроули! – Тут Джордж Осборн зевнул. – А здесь, надо сознаться, скучновато. Чем же мы займемся?

– Пойдемте посмотрим на лошадей, которых Снефлер привел с ярмарки в Льюисе, – предложил Кроули.

– А не пойти ли нам к Даттону поесть пирожного? – сказал проказник Джоз, испытывавший желание погнаться сразу за двумя зайцами. – Там у Даттона есть дьявольски хорошенькая девчонка!

– А не пойти ли нам встретить «Молнию»? Сейчас как раз время, – сказал Джордж. Это предложение одержало верх и над конюшнями, и над пирожным, и молодые люди направились к конторе пассажирских карет, чтобы поглазеть на прибытие «Молнии».

По дороге они повстречались с экипажем – открытой коляской Джоза Седли, украшенной пышными гербами, – с тем самым великолепным экипажем, в котором Джоз обычно разъезжал по Челтнему, сложив на груди руки и в шляпе набекрень, величественный и одинокий, или же, в более счастливые дни, в компании дам.

Сейчас дам в экипаже было две: одна – миниатюрная, с рыжеватыми волосами, одетая по последней моде; другая – в коричневой шелковой ротонде и в соломенной шляпке с розовыми лентами, с румяным круглым счастливым личиком, на которое радостно было смотреть. Она остановила экипаж, когда тот приблизился к трем джентльменам, но после такого проявления самостоятельности смутилась и покраснела самым нелепым образом.

– Мы чудно прокатились, Джордж, – сказала она, – мы... и мы так рады, что вернулись. А ты, Джозеф, пожалуйста, приходи с ним домой пораньше.

– Не вводите наших супругов в соблазн, мистер Седли, гадкий, гадкий вы человек! – добавила Ребекка, грозя Джозу прехорошеньким пальчиком в изящной французской лайковой перчатке. – Никаких бильярдных, никакого курения, никаких шалостей!

– Дорогая моя миссис Кроули... что вы! Честное слово! – вот все, что мог в ответ произнести Джоз. Но зато ему удалось принять живописную позу: он стоял, склонив голову на плечо, глядя с веселой улыбкой снизу вверх на свою жертву и заложив за спину руку, опирающуюся на трость, а другой (на которой было брильянтовое кольцо) теребя свои брыжи и жилеты. Когда экипаж отъезжал, он послал дамам воздушный поцелуй рукою, украшенной брильянтом. Ах, как ему хотелось, чтобы весь Челтнем, весь Чауринги, вся Калькутта видели его в этой позе, когда он махал рукой такой красавице, находясь в обществе такого знаменитого щеголя, как гвардеец Родон Кроули! Наши юные новобрачные выбрали Брайтон местом своего пребывания на первые несколько дней после свадьбы. Сняв комнаты в Корабельной гостинице, они наслаждались полным комфортом и покоем, пока к ним не присоединился Джоз. Но он был не единственным, кого они здесь встретили. Возвращаясь как-то днем к себе в гостиницу после прогулки по берегу моря, они неожиданно-негаданно столкнулись с Ребеккой и ее супругом. Все тотчас же узнали друг друга. Ребекка кинулась в объятия своей драгоценнейшей подруги, Кроули и Осборн обменялись довольно сердечным рукопожатием; и Бекки за один день добилась того, что Джордж позабыл о краткой, но неприятной беседе, которая как-то произошла между ними.

– Помните, как мы встретились с вами в последний раз у мисс Кроули и я так грубо обошлась с вами, дорогой капитан Осборн? Мне показалось, что вы недостаточно внимательны к нашей дорогой Эмилии. Это-то меня и рассердило! И я была с вами дерзка, неприветлива, бестактна! Простите меня, пожалуйста!

Тут Ребекка протянула ему руку с такой прямоотой, с такой подкупающей грацией, что Осборну лишь оставалось пожать эту руку. Смирением и открытым признанием своей неправоты чего только не

добьешься, сын мой! Я знавал одного джентльмена, весьма достойного участника Ярмарки Тщеславия, который нарочно чинил мелкие неприятности своим ближним, чтобы потом самым искренним и благородным образом просить у них прощенья. И что же? Мой друг Кроки Дил был повсюду любим и считался хоть и несколько несдержанным, но честнейшим малым. Так и Джордж Осборн принял смирение Бекки за искренность.

У обеих молодых парочек нашлось много о чем поговорить друг с другом. Был дан подробный отчет об обеих свадьбах; жизненные планы обсуждались с величайшей откровенностью и взаимным интересом. О свадьбе Джорджа должен был сообщить его отцу капитан Доббин, друг новобрачного, и молодой Осборн порядком трепетал в ожидании результатов этого сообщения. Мисс Кроули, на которую возлагал надежды Родон, все еще выдерживала характер. Не имея возможности получить доступ в ее дом на Парк-лейн, любящие племянник и племянница последовали за нею в Брайтон, где их эмиссары вечно торчали у тетушкиных дверей.

– Посмотрели бы вы на тех друзей Родона, которые вечно торчат у *наших* дверей, – со смехом сказала Ребекка. – Тебе приходилось когда-нибудь видеть кредиторов, милочка? Или бейлифа и его помощника? Двое этих противных субъектов всю прошлую неделю дежурили напротив нас, у лавочки зеленщика, так что мы до воскресенья не могли выйти из дому. Если тетушка не смилостивится, то что же мы будем делать?

Родон с громким хохотом рассказал с десяток забавных анекдотов о своих кредиторах и об умелом и ловком обращении с ними Ребекки. Он клялся самым торжественным образом, что во всей Европе нет женщины, которая так умела бы заговаривать зубы кредиторам, как его жена. Ее практика началась немедленно после их свадьбы, и супруг нашел в своей жене бесценное сокровище. У них был самый широкий кредит, но и счетов к оплате было видимо-невидимо. Наличных же денег почти никогда не хватало, и супругам приходилось всячески изворачиваться. Быть может, эти денежные затруднения плохо отражались на состоянии духа Родона? Ничуть. Всякий на Ярмарке Тщеславия, вероятно, замечал, как отлично живут те, кто увяз по уши в долгах, как они ни в чем себе не отказывают, как они жизнерадостны и легкомысленны. У Родона с женой были лучшие

комнаты в гостинице, хозяин, внося в столовую первое блюдо, низко кланялся им, как самым своим именитым постояльцам. Родон ругал обеды и вина с дерзостью, которой не мог бы превзойти ни один вельможа в стране. Долговременная привычка, благородная осанка, безукоризненная обувь и платье, прочно усвоенная надменность в обращении часто выручают человека не хуже крупного счета в банке.

Молодые супруги постоянно посещали друг друга в гостинице. После двух или трех встреч джентльмены сыграли как-то вечером в пикет, пока их жены сидели в стороне, занимаясь болтовней. Такое времяпрепровождение, а также приезд Джоза Седли, который появился в Брайтоне в своей большой открытой коляске и не замедлил сыграть с капитаном Кроули несколько партий на бильярде, в известной степени пополнили кошелек Родона и обеспечили ему некоторый запас наличных денег, без коих даже величайшие умы иной раз обрекаются на бездействие.

Итак, наши три джентльмена отправились встречать карету «Молния». С точностью до одной минуты, переполненная пассажирами внутри и снаружи, словно подгоняемая знакомыми звуками почтового рожка, «Молния» стремительно пролетела по улице и подкатила к конторе.

– Смотрите-ка! Старина Доббин! – в восторге закричал Джордж, усмотрев на империале своего старого приятеля, которого он уже давно поджидал.

– Ну, как поживаешь, старина? Вот хорошо, что приехал! Эмми будет так рада! – сказал Осборн, горячо пожимая руку своему товарищу, как только тот спустился на землю. А затем добавил более тихим и взволнованным голосом: – Что нового? Был ты на Расселсквер? Что говорит отец? Расскажи мне обо всем.

Доббин был очень бледен и серьезен.

– Я видел твоего отца, – ответил он. – Как здоровье Эмилии... миссис Джордж? Я расскажу тебе все, но я привез одну, самую главную, новость, и она заключается в том, что...

– Ну же, выкладывай, старина! – воскликнул Джордж.

– Мы получили приказ выступить в Бельгию. Уходит вся армия... гвардия и все. У Хэвитопа разыгралась подагра, и он в бешенстве, что не может двинуться с места. Командование полком переходит к О'Дауду, и мы отплываем из Чатема на будущей неделе.

Это известие громом разразилось над нашими влюбленными и заставило всех джентльменов очень серьезно задуматься.

## Глава XXIII

### Капитан Доббин вербует союзников

Что это за таинственный месмеризм, который присущ дружбе и под действием которого человек, обычно неповоротливый, холодный, робкий, становится сообразительным, деятельным и решительным ради чужого блага? Подобно тому, как Алексис после нескольких пассивов доктора Эллиотсона<sup>[167]</sup> начинает презирать боль, читает затылком, видит на расстоянии многих миль, заглядывает в будущую неделю и совершает прочие чудеса, на которые он не способен в обычном состоянии, – точно так же мы видим и в повседневных делах, как под влиянием магнетизма дружба скромник становится дерзким, лентяй – деятельным, застенчивый человек – самоуверенным, а человек вспыльчивый – осмотрительным и миролюбивым. С другой стороны, что заставляет законника отказываться от ведения собственного дела и обращаться за советом к ученому собрату? И что побуждает доктора, если он захворает, посылать за своим соперником, вместо того чтобы обследовать свой язык перед каминным зеркалом и написать самому себе рецепт за собственным письменным столом? Предлагаю ответить на эти вопросы рассудительным читателям, которые знают, какими мы бываем в одно и то же время легковверными и скептиками, уступчивыми и упрямыми, твердыми, когда речь идет о других, и нерешительными, когда дело касается нас самих. Во всяком случае, верно одно: наш друг Уильям Доббин, который обладал таким покладистым характером, что, если бы его родители нажали на него хорошенько, он, вероятно, пошел бы в кухню и женился бы на кухарке, и которому ради собственных интересов трудно было бы перейти через улицу, проявил такую энергию и рачительность в устройстве дел Джорджа Осборна, на какую не способен самый хитроумный эгоист, преследующий свои цели.

Пока наш друг Джордж и его молодая жена наслаждаются первыми безоблачными днями своего медового месяца в Брайтоне, честный Уильям оставался в Лондоне в качестве полномочного представителя Джорджа, чтобы довершить деловую сторону их брака.



На его обязанности было навещать старика Седли и его жену и поддерживать в отце Эмилии бодрость духа, затем теснее сблизить Джоза с зятем, дабы положение и достоинство коллектора Богли-Уолаха в какой-то мере искупили в глазах общества падение его отца и примирили с таким союзом старика Осборна; наконец ему предстояло сообщить последнему о браке сына таким образом, чтобы возможно меньше прогневить старого джентльмена.

И вот, прежде чем предстать перед главой дома Осборнов с означенной вестью, Доббин счел политичным обзавестись друзьями среди остальной части семейства и, если возможно, привлечь на свою сторону дам. «В душе они не могут сердиться, – думал он. – Никогда еще ни одна женщина не сердилась по-настоящему из-за романтического брака. Немножко пошумят, но потом непременно примирятся с братом. А затем мы втроем поведем атаку на старого мистера Осборна». И вот лукавый пехотный капитан, уподобясь Макиавелли, стал выискивать хитроумные способы или уловки, при помощи которых можно было бы осторожно и постепенно довести до сведения девиц Осборн тайну их брата.

Наведя кое-какие справки относительно приглашений, полученных матерью, он довольно скоро определил, кто из друзей миледи устраивает у себя приемы в этом сезоне и где он вероятнее всего может повстречаться с сестрами Осборн. И хотя к раутам и вечерним приемам он питал отвращение, какое, увы, наблюдается у многих разумных людей, однако на этот раз он проявил к ним большой интерес и вскоре выяснил, на каком из них должны были присутствовать девицы Осборн. Появившись на этом балу, протанцевал несколько раз с обеими сестрами и был с ними до крайности любезен, а затем набрался храбрости и попросил старшую сестру мисс Осборн уделить ему для беседы несколько минут на следующее утро, так как он имеет сообщить ей, как он выразился, чрезвычайно интересную новость.

Что же заставило мисс Осборн отшатнуться, устремить на мгновение взор на капитана Доббина, а потом опустить глаза долу и задрожать, точно она готова была упасть без чувств в его объятия и не сделала этого лишь потому, что Доббин очень кстати наступил ей на ногу и тем вернул сей девице самообладание? Почему мисс Осборн так ужасно взволновалась, услышав просьбу Доббина? Этого мы

никогда не узнаем. Но когда Доббин явился к ним на следующий день, то Марии не случилось в гостиной, а мисс Уирт ушла под предлогом позвать ее, так что капитан и мисс Джейн Осборн оказались вдвоем. Оба сидели так тихо, что было отчетливо слышно, как на камине тикают часы, украшенные жертвоприношением Ифигении.

– Какой чудесный был вчера бал, – начала наконец мисс Осборн, чтобы подбодрить гостя, – и как... и какие вы делали успехи в танцах, капитан Доббин! Наверное, кто-нибудь обучал вас, – добавила она с милым лукавством.

– Вы посмотрели бы, как я танцую шотландский танец с супругой майора О’Дауда из нашего полка или джигу... вы видели когда-нибудь джигу? Но, мне кажется, с вами всякий сумеет танцевать, мисс Осборн, ведь вы так отлично танцуете!

– А супруга майора молода и красива, капитан? – продолжала свой допрос прелестница. – Ах, как, должно быть, ужасно быть женой военного! Я удивляюсь, как это им хочется танцевать, да еще в такое страшное время, когда у нас война! О капитан Доббин, я трепещу при мысли о нашем дорогом Джордже и об опасностях, грозящих бедному солдату. А много у вас в полку женатых офицеров, капитан Доббин?

– Честное слово, это уж она чересчур в открытую играет, – пробормотала мисс Уирт. Но ее замечание было сделано как бы в скобках и не проникло сквозь щелку приоткрытой двери, у которой гувернантка произнесла его.

– Один из наших молодых офицеров только что женился, – ответил Доббин, подходя прямо к цели. – Это была очень старая привязанность, но молодые оба бедны, как церковные крысы!

– О, как восхитительно! О, как романтично! – воскликнула мисс Осборн, когда капитан сказал: «старая привязанность» и «бедны».

Ее сочувствие придало ему храбрости.

– Лучший офицер из всей нашей полковой молодежи, – продолжал Доббин. – Храбрее и красивее его не найдется в армии. А какая у него очаровательная жена! Как бы она вам понравилась! Как вы ее полюбите, когда узнаете поближе, мисс Осборн!

Собеседница его подумала, что решительная минута настала и что волнение Доббина, внезапно им овладевшее и проявлявшееся в подергиваниях лица и в том, как он постукивал по полу своей огромной ногой и быстро расстегивал и застегивал пуговицы мундира

и т. д. ... – словом, повторяю, мисс Осборн подумала, что, когда капитан оправится от смущения, он выскажется до конца, и с нетерпением приготовилась слушать. Но тут часы с Ифигенией начали после предварительных конвульсий уныло отбивать двенадцать, и мисс Осборн показалось, что бой их затянется до часу, – так долго они звонили, по мнению взволнованной старой девы.

– Но я пришел сюда не за тем, чтобы говорить о браке... то есть об этом браке... то есть... нет, я хочу сказать... дорогая моя мисс Осборн, это касается нашего дорогого друга Джорджа, – запинаясь, промолвил Доббин.

– Джорджа? – повторила она таким разочарованным тоном, что Мария и мисс Уирт расхохотались, стоя за дверью, и даже сам Доббин – подумайте, какой сердцеед нашелся! – едва сдержал улыбку, ибо и ему было кое-что известно об истинном положении дел. Джордж частенько отпускал на этот счет милые шуточки и поддразнивал его: «Черт возьми, Уил, почему ты не женишься на старушке Джейн? Она охотно за тебя пойдет, если ты посватаешься. Ставлю пять против двух, что пойдет!»

– Да, Джорджа, – продолжал Доббин. – У него вышла какая-то неприятность с мистером Осборном. А я так его люблю... ведь вы знаете, мы были с ним как братья... и я надеюсь... я молю бога, чтобы ссора была улажена. Мы отправляемся в заграничный поход, мисс Осборн. Ждем приказа о выступлении со дня на день. Кто знает, что может случиться во время кампании! Не волнуйтесь, дорогая мисс Осборн! Но, во всяком случае, отцу с сыном нужно расстаться друзьями.

– Никакой ссоры не было, капитан Доббин, произошла лишь обычная размолвка с папой, – заявила мисс Осборн. – Мы со дня на день поджидаем возвращения Джорджа. Папа желал ему добра. Пусть только он вернется, я уверена, что все отлично уладится. А милая Рода, хоть и уехала от нас в страшном, страшном гневе, простит его, я это знаю. Женщина, капитан, прощает даже слишком охотно!

– Такой ангел, как *вы*, конечно, простит, я в том уверен, – сказал мистер Доббин с адским коварством. – Но ни один мужчина не простит себе, если он причинит страдание женщине. Что бы вы почувствовали, если бы мужчина поступил с вами вероломно?

– Я погибла бы... Я выбросилась бы из окна... Я бы отравилась... Я бы зачахла... и умерла. Да, да, я бы умерла! – воскликнула мисс Осборн, которая, впрочем, пережила уже один или два романа, даже не помыслив о самоубийстве.

– Есть и другие, – продолжал Доббин, – наделенные таким же верным и нежным сердцем, как вы. Я говорю не о вест-индской наследнице, мисс Осборн, но о той девушке, которую полюбил Джордж и которая с самого своего детства росла с мыслью о нем одном. Я видел ее в бедности, когда сердце ее было разбито, но она не роптала, не жаловалась. Я говорю о мисс Седли. Дорогая мисс Осборн, можете ли вы, с вашим великодушным сердцем, сердиться на брата за то, что он остался ей верен? Простила ли бы ему его собственная совесть, если бы он ее бросил? Будьте ей другом... она всегда вас любила... Я пришел сюда по поручению Джорджа сообщить вам, что он почитает свои обязательства по отношению к ней своим священнейшим долгом, и буду умолять, чтобы по крайней мере вы были на его стороне.

Когда мистером Доббином овладевало сильное волнение, он мог после первых двух-трех смущенных слов говорить совершенно плавно. И было очевидно, что в данном случае его красноречие произвело известное впечатление на особу, к которой он обращался.

– Ну, знаете, – промолвила она, – все это... чрезвычайно странно... чрезвычайно прискорбно... совершенно необычайно... что скажет папа? Чтобы Джордж пренебрег такой великолепной партией, какая ему представлялась... Но, во всяком случае, он нашел отважного защитника в вашем лице, капитан Доббин. Впрочем, это ничему не поможет, – продолжала она, немного помолчав. – Я очень сочувствую бедной мисс Седли, от всей души... самым искренним образом, уверяю вас. Мы никогда не считали это хорошей партией, хотя всегда были ласковы к мисс Седли, когда она бывала у нас, – очень ласковы. Но папа ни за что не согласится, я это знаю. И всякая хорошо воспитанная молодая женщина, понимаете... со стойкими принципами... обязана... Джордж должен отказаться от нее, капитан Доббин, право же, должен.

– Значит, мужчина должен отказаться от любимой женщины как раз тогда, когда ее постигло несчастье? – воскликнул Доббин, протягивая руку. – Дорогая мисс Осборн! От вас ли я слышу такой

совет? Нет, невозможно, вы должны отнестись к ней по-дружески. Он не может от нее отказаться. Неужели вы думаете, что мужчина отказался бы от вас, если бы вы были бедны?

Этот ловко заданный вопрос немало растрогал сердце мисс Джейн Осборн.

– Не знаю, капитан, следует ли нам, бедным девушкам, верить тому, что говорите вы, мужчины, – ответила она. – Нежное сердце женщины так склонно заблуждаться. Боюсь, что вы жестокие обманщики, – тут Доббин совершенно безошибочно почувствовал пожатие руки, протянутой ему девицей Осборн.

Он выпустил эту руку в некоторой тревоге.

– Обманщики? – произнес он. – Нет, дорогая мисс Осборн, не все мужчины таковы. Вот ваш брат – не обманщик. Джордж полюбил Эмилию Седли еще в то время, когда они были детьми. Никакое богатство в мире не заставило бы его жениться на другой женщине! Неужели он должен теперь ее покинуть? Неужели вы бы ему это посоветовали?

Что могла ответить мисс Джейн на такой вопрос, да еще имея в виду собственные цели? Ей было нечего отвечать, и потому она уклонилась от ответа, сказав:

– Ну что же! Если вы не обманщик, то, во всяком случае, большой романтик. – Капитан Уильям пропустил это замечание без возражений.

Наконец, решив после еще некоторых тонких намеков, что мисс Осборн достаточно подготовлена к восприятию известия в целом, он открыл своей собеседнице всю правду.

– Джордж не мог отказаться от Эмилии... Джордж женился на ней.

И тут он описал все известные нам обстоятельства, приведшие к браку; как бедная девушка наверняка бы умерла, если бы ее возлюбленный не сдержал своего слова, как старик Седли наотрез отказался дать согласие на брак и пришлось выправить лицензию; как Джоз Седли приезжал из Челтнема, чтобы быть посаженным отцом, как затем новобрачные поехали в Брайтон в экипаже Джоза, на четверке лошадей, чтобы провести там свой медовый месяц, и как Джордж рассчитывает на то, что его дорогие, милые сестры примирят его с отцом, – а они, наверное, это сделают, как женщины любящие и

нежные. И затем, испросив разрешение (охотно данное) повидаться с мисс Осборн еще раз и справедливо полагая, что сообщенная им новость будет не позднее чем через пять минут рассказана другим двум дамам, капитан Доббин откланялся и покинул гостиную.

Едва он успел выйти из дому, как мисс Мария и мисс Уирт вихрем ворвались к мисс Осборн, которая и поведала им все подробности изумительной тайны. Нужно отдать им справедливость: ни та ни другая сестра не были особенно разгневаны. В тайных браках есть что-то такое, на что не многие женщины могут серьезно сердиться. Эмилия даже выросла в их глазах благодаря отваге, которую она проявила, согласившись на подобный союз. Пока они обсуждали эту историю и трещали о ней, высказывая предположения о том, что сделает и что скажет папенька, раздался громкий стук в дверь, от которого заговорщицы вздрогнули, как от карающего удара грома. «Это, должно быть, папенька», – подумали они. Но это был не он. Это был только мистер Фредерик Буллок, приехавший, по уговору, из Сити, чтобы сопровождать девиц на выставку цветов.

Само собой разумеется, что этот джентльмен недолго пребывал в неведении относительно великой тайны. Но когда он ее услышал, на его лице отразилось изумление, далеко не похожее на сентиментальное сочувствие сестер Осборн. Мистер Буллок был человеком светским и младшим компаньоном богатой фирмы. Ему было известно, что такое деньги, и он знал им цену. Восхитительный трепет надежды сверкнул в его глазах и заставил его улыбнуться своей Марии – при мысли, что благодаря такой глупости со стороны мистера Джорджа мисс Мария поднялась теперь в цене на тридцать тысяч фунтов, по сравнению с тем, что он рассчитывал получить за нею в приданое.

– Черт возьми, Джейн! – сказал он, поглядывая с некоторым интересом даже на старшую сестру. – Илз пожалеет, что пошел на попятный! Ведь вам теперь цена тысяч пятьдесят!

До этой минуты мысль о деньгах не приходила сестрам в голову; но Фред Буллок с изящной веселостью подшучивал над ними по этому поводу во время их предобеденной прогулки, и к тому времени, когда они, закончив утренний круг развлечений, возвращались обедать, обе девицы весьма выросли в собственных глазах. Пусть мой уважаемый читатель не поднимает крика по поводу такого эгоизма и

не считает его противоестественным. Не дальше как сегодня утром автор этой повести ехал в омнибусе из Ричмонда. Сидя на империале, он, пока меняли лошадей, обратил внимание на трех маленьких девочек, возившихся на дороге в луже, очень грязных, дружных и счастливых. К этим трем девочкам подбежала еще одна крошка. «Полли! – сообщила она. – *Твоей сестре Пегги дали пенни*». Тут все дети моментально вылезли из лужи и побежали подлизываться к Пегги. И когда омнибус трогался с места, я видел, как Пегги, сопровождаемая толпой ребятишек, с большим достоинством направлялась к лотку ближайшей торговки сладостями.

## **Глава XXIV,** ***в которой мистер Осборн снимает с полки семейную библию***

Подготовив таким образом сестер, Доббин поспешил в Сити выполнять вторую, более трудную часть принятой им на себя задачи. Мысль оказаться лицом к лицу со старым Осборном немало его тревожила, и он не раз уже подумывал о том, чтобы предоставить сестрам сообщить отцу тайну, которую, он был уверен, им не удастся долго скрывать. Но он обещал доложить Джорджу, как примет известие Осборн-старший. Поэтому, отправившись в Сити в отцовскую контору на Темз-стрит, он послал оттуда записку мистеру Осборну с просьбой уделить ему полчаса для разговора, касающегося дел его сына Джорджа. Посланный Доббина вернулся с ответом, что мистер Осборн велел кланяться и будет рад видеть капитана сейчас же; и Доббин незамедлительно отправился на свидание с ним.

Предвидя мучительное и бурное объяснение и внутренне поживаясь от невольных укоров совести, капитан вошел в контору мистера Осборна нерешительной походкой, с самым мрачным видом. Когда он проходил через первую комнату, где властвовал мистер Чоппер, этот последний приветствовал его из-за своей конторки веселым поклоном, что еще больше расстроило Доббина. Мистер Чоппер подмигнул, кивнул головой и, указав пером на хозяйскую дверь, произнес: «Вы найдете патрона в отличном расположении духа!» – вложив в эти слова совершенно непонятную приветливость.

В довершение всего Осборн поднялся со своего места, крепко пожал руку капитану и промолвил: «Как поживаете, дорогой мой?» – с такой сердечностью, что посланник бедняги Джорджа почувствовал себя кругом виноватым. Рука его, словно мертвая, не ответила на крепкое пожатие старого джентльмена. Доббин чувствовал, что он был в большей или меньшей степени причиной всего происшедшего. Ведь это он убедил Джорджа вернуться к Эмилии; это он поощрял, одобрял и чуть ли не сам заключил тот брак, о котором явился теперь докладывать отцу Джорджа. А тот принимает его с приветливой



улыбкой, похлопывает по плечу, называет «милым моим Доббином»! Да, посланцу Джорджа было от чего повесить голову.

Осборн был в полной уверенности, что Доббин явился сообщить ему о капитуляции его сына. Мистер Чоппер и его патрон беседовали о Джордже как раз в тот момент, когда прибыл посыльный от Доббина, и оба пришли к заключению, что Джордж решил принести повинную. Оба ждали этого уже несколько дней. «И, боже ты мой, Чоппер, какую мы теперь сыграем свадьбу!» – сказал мистер Осборн своему клерку; он даже прицелкнул толстыми пальцами и, побрякивая гинеями и шиллингами в своем огромном кармане, устремил на подчиненного торжествующий взгляд.

Все так же гремя деньгами в обоих карманах, Осборн с веселым многозначительным видом поглядел из своего кресла и на Доббина, когда тот уселся напротив него, бледный и безмолвный. «Что за увалень, а еще армейский капитан, – подумал старик Осборн. – Удивительно, как это Джордж не научил его лучшим манерам!»

Наконец Доббин призвал всю свою храбрость и начал:

– Сэр, я привез вам весьма важное известие. Я был сегодня утром в казармах конной гвардии и узнал достоверно, что нашему полку будет приказано выступить в заграничный поход и отправиться в Бельгию в течение этой недели. А вам известно, сэр, что мы не вернемся домой без потасовки, которая может оказаться роковой для многих из нас.

Осборн стал серьезен.

– Я не сомневаюсь, что мой с... то есть ваш полк, сэр, исполнит свой долг, – произнес он.

– Французы очень сильны, сэр, – продолжал Доббин. – Русским и австрийцам понадобится много времени, чтобы подтянуть свои войска. Нам придется выдержать первый натиск, сэр, и – будьте покойны – Бони позаботится о том, чтобы дело было жаркое!

– К чему вы это клоните, Доббин? – воскликнул его собеседник, беспокойно хмурясь. – Я полагаю, ни один британец не побоится каких-то треклятых французов, а?

– Я хочу лишь сказать, что, перед тем как нам уходить и принимая во внимание огромный и несомненный риск, которому каждый из нас подвергается... если у вас с Джорджем произошла размолвка... было бы хорошо, сэр, если бы... если бы вы пожали друг

другу руки, не так ли? Случись с ним что-либо, вы, как мне думается, никогда не простите себе, что не помирились с сыном.

Произнося эти слова, бедный Уильям Доббин покраснел до корней волос и почувствовал себя гнусным предателем. Если бы не он, этого разлада, быть может, никогда бы не произошло. Почему нельзя было отложить брак Джорджа? Какая была надобность так торопить его? Доббин сознавал, что Джордж, во всяком случае, расстался бы с Эмилией без смертельной боли. Эмилия тоже могла бы оправиться от удара, причиненного ей потерей жениха. Это его, Доббина, совет привел к их браку и ко всему тому, что вытекало отсюда. Почему же это произошло? Потому, что он любил Эмилию так горячо, что не в силах был видеть ее несчастной? А может, потому, что для него самого муки неизвестности были так невыносимы, что он рад был покончить с ними разом, – подобно тому, как мы, потеряв близкого человека, торопимся с похоронами или, в предвидении неизбежной разлуки с любимыми, не можем успокоиться, пока она не станет свершившимся фактом.

– Вы хороший малый, Уильям, – промолвил мистер Осборн более мягким тоном, – нам с Джорджем не следует расставаться в гневе, это так! Но послушайте меня. Я сделал для него столько, сколько не сделает для сына ни один отец. Ручаюсь вам, что он получал от меня втрое больше денег, чем вам когда-либо давал ваш батюшка! Но я не хвастаюсь этим. Как я трудился ради него, как работал, не жалея сил, об этом я говорить не буду. Спросите Чоппера. Спросите его самого. Спросите в лондонском Сити. И вот я предлагаю ему вступить в такой брак, каким может гордиться любой английский дворянин... Единственный раз в жизни я обратился к нему с просьбой – и он отказывает мне. Что же, разве я не прав? И разве это я затеял ссору? Чего же я ищу, как не его блага, ради которого я с самого его рождения тружусь, словно каторжник. Никто не может сказать, что во *мне* говорит какой-то эгоизм. Пусть он возвращается. Вот вам моя рука. Я говорю: все забыто и прощено! А о том, чтобы жениться теперь же, не может быть и речи. Пусть они с мисс Суорц помирятся, а пожениться могут потом, когда он вернется домой полковником, потому что он *будет* полковником, черт меня подери, обязательно будет, уж за деньгами дело не станет. Я рад, что вы его вразумили. Я знаю, это сделали вы, Доббин! Вы и прежде не раз выручали его из

беды. Пусть возвращается! Мы с ним поладим. Приходите-ка сегодня к нам на Рассел-сквер обедать – приходите оба. Прежний адрес, прежний час! Будет отличная оленина, и никаких неприятных разговоров.

Эти похвалы и доверие острой болью пронзили сердце Доббина. По мере того как разговор продолжался в таком тоне, капитан чувствовал себя все более и более виноватым.

– Сэр, – произнес он, – я боюсь, что вы себя обманываете. Я даже уверен, что это так. Джордж человек слишком возвышенных понятий, чтобы жениться на деньгах. В ответ на угрозу, что вы в случае неповиновения лишите его наследства, с его стороны может последовать только сопротивление.

– Черт возьми, сэр, какая же это угроза, – предложить ему ежегодный доход в восемь или десять тысяч фунтов? – заметил мистер Осборн все с тем же вызывающим добродушием. – Если бы мисс Суорц пожелала в супруги меня, я, черт подери, был бы к ее услугам! Я не обращаю особого внимания на оттенок кожи! – И старый джентльмен хитро подмигнул и разразился хриплым смехом.

– Вы забываете, сэр, о прежних обязательствах, принятых на себя капитаном Осборном, – сказал Доббин очень серьезно.

– Какие обязательства? На что вы, черт возьми, намекаете? Уж не хотите ли вы сказать, – продолжал мистер Осборн, вскипая гневом при внезапно осенившей его мысли, – уж не хотите ли вы сказать, что он такой треклятый болван, что все еще льнет к дочери этого старого мошенника и банкрота? Ведь не явились же вы сюда сообщить мне, что он хочет на ней жениться? Жениться на *ней* – еще чего! Чтобы мой сын и наследник женился на дочери нищего! Да черт бы его побрал, если он это сделает! Пусть тогда купит себе метлу и подметает улицы! Она всегда лезла к нему и строила ему глазки, я прекрасно помню. И, конечно же, по наущению старого пройдохи, ее папаши.

– Мистер Седли был вашим добрым другом, сэр, – перебил Доббин, с радостью чувствуя, что в нем тоже закипает гнев. – Было время, когда вы не называли его мошенником и негодяем. Этот брак – дело ваших рук! Джордж не имел права играть чувствами...

– Чувствами? – взревел старик Осборн. – Играть чувствами!.. Черт меня возьми, ведь это те же самые слова, которые произнес и

мой джентльмен, когда важничал тут в четверг, две недели назад, и вел разговоры о британской армии с отцом, который породил его. Так это вы настроили его, а? Очень вам благодарен, господин капитан! Так это вы хотите ввести в мою семью нищих! Весьма вам признателен, капитан! Еще чего – жениться на *ней!* Ха-ха-ха! Да на что это ему? Ручаюсь вам – она и без этого мигом к нему прибежит!

– Сэр, – произнес Доббин с нескрываемой яростью, вскакивая на ноги, – я никому не позволю оскорблять эту молодую особу в моем присутствии, и меньше всего – вам.

– Ах, вот как! Вы, чего доброго, еще на дуэль меня вызовете? Подождите, дайте я позвоню, чтобы нам подали пистолеты! Мистер Джордж прислал вас сюда затем, чтобы вы оскорбляли его отца? Так, что ли? – кричал мистер Осборн, дергая сонетку.

– Мистер Осборн, – возразил Доббин дрожащим голосом, – это вы оскорбляете лучшее в мире создание. Вам следовало бы пощадить ее, сэр, ведь она... жена вашего сына!

И, произнеся эти слова, Доббин вышел, чувствуя, что не в силах больше разговаривать, а мистер Осборн откинулся на спинку своего кресла, устремив вслед уходившему безумный взор. Вошел клерк, послушный звонку. И не успел капитан выйти на улицу со двора, где помещалась контора мистера Осборна, как его догнал мистер Чоппер, совсем запыхавшийся и без шляпы.

– Ради бога, что случилось? – воскликнул мистер Чоппер, хватая капитана за фалды. – Хозяину дурно! Скажите, что сделал мистер Джордж?

– Он женился на мисс Седли пять дней тому назад, – отвечал Доббин. – Я был у него шафером, мистер Чоппер, а вы должны остаться ему другом.

Старый клерк покачал головой.

– Если вы принесли такие вести, капитан, значит, дело плохо! Хозяин никогда ему этого не простит.

Доббин попросил Чоппера сообщить ему о дальнейшем в гостиницу, где он остановился, и угрюмо зашагал в западную часть города, сильно взволнованный мыслями о прошедшем и о будущем.

Когда обитатели дома на Рассел-сквер собрались в этот вечер к обеду, они застали главу семьи на обычном месте, выражение его лица было так мрачно, что домочадцы, хорошо знавшие это выражение, не

смели рта раскрыть. Девицы и мистер Буллок, обедавший у них, поняли, что новость доведена до сведения мистера Осборна. Его грозный вид так подействовал на мистера Буллока, что тот затих и присмирел и только был необычайно предупредителен к мисс Марии, рядом с которой сидел, и к ее сестре, занимавшей председательское место.

Мисс Уирт, таким образом, сидела в одиночестве на своей стороне стола, между нею и мисс Джейн Осборн оставалось пустое место. Это было место Джорджа, когда он обедал дома, и для него, как мы говорили, всегда был приготовлен прибор на случай возвращения блудного сына. За время обеда ничто не нарушало тишину, если не считать редких, шепотом произнесенных замечаний улыбавшегося мистера Фредерика да звона посуды и серебра. Слуги бесшумно двигались вокруг стола, исполняя свои обязанности. Факельщики на похоронах – и те не отличаются таким мрачным видом, какой был у лакеев мистера Осборна! Оленина, на которую он приглашал Доббина, была разрезана стариком в полнейшем молчании, но кусок дичины, взятый им себе, убрали со стола почти нетронутым; зато пил он много, и дворецкий усердно наполнял его стакан.

Наконец, когда было подано последнее блюдо, глаза мистера Осборна, которые он поочередно устремлял на каждого, остановились на приборе, поставленном для Джорджа. Мистер Осборн указал на прибор левой рукой. Дочери глядели на него, не понимая или не желая понять этот знак, да и лакеи сперва его не поняли.

– Убрать этот прибор! – крикнул он наконец, встал из-за стола и, с проклятием оттолкнув кресло, удалился к себе.

Позади столовой была комната, известная в доме под названием кабинета. Это было святилище главы семейства. Туда мистер Осборн обычно удалялся в воскресенье утром, когда ему не хотелось идти в церковь, и проводил здесь все утро, сидя в малиновом кожаном кресле и читая газету. Здесь стояли два-три стеклянных книжных шкафа с многотомными изданиями в прочных позолоченных переплетах: «Годичные ведомости», «Журнал для джентльменов», «Проповеди Блейра»<sup>[168]</sup> и «Юм и Смоллет». Годами мистер Осборн не снимал с полки ни одного из этих томов, но никто из членов семейства никогда ни под каким видом не посмел бы до них дотронуться. Исключением являлись те редкие воскресные вечера, когда не устраивалось званых

обедов. Большая Библия в красном переплете и молитвенник вынимались тогда из уголка, где они стояли рядом с «Книгой пэров», прислуга созывалась звонком в парадную гостиную, и Осборн читал своему семейству вечернюю службу неестественно громким и резким голосом. Никто в доме, ни чада, ни домочадцы, не входил в эту комнату без некоторого трепета. Здесь мистер Осборн проверял счета экономки и просматривал инвентарную книгу винного погреба, подаваемую дворецким. Отсюда ему была видна в глубине чистого, усыпанного гравием дворика задняя дверь конюшни, куда был проведен один из звонков. Кучер выходил в этот дворик, словно узник на казнь, и Осборн ругал его из окна кабинета. Четыре раза в год мисс Уирт являлась в эту комнату за своим жалованьем, а дочери мистера Осборна – за своими карманными деньгами. Джорджа, когда он был мальчиком, частенько драли в этой комнате, а мать сидела в это время на лестнице ни жива ни мертва, прислушиваясь к ударам плетки. Мальчик никогда не кричал, когда его пороли, а после наказания бедная женщина украдкой ласкала и целовала его и потихоньку давала ему денег.

Над камином висел семейный портрет, перенесенный сюда из столовой после смерти миссис Осборн: Джордж верхом на пони, старшая сестра подает ему букет цветов, а младшую мать держит за руку. Все с румяными щеками, большими красными ртами и глупо улыбаются друг другу, как принято изображать на семейных портретах. Мать лежала теперь в земле, давно всеми забытая; у сестер и у брата появились свои разнообразные интересы, и они стали совершенно чужими друг другу. Через несколько десятков лет, когда все изображенные на портрете состарились, какой горькой сатирой кажутся такие наивные хвастливые семейные портреты – вся эта комедия чувств и лживых улыбок, и невинности, столь застенчивой и столь самодовольной! Почетное место в столовой, освобожденное семейной группой, занял парадный портрет самого Осборна, его кресла и большой серебряной чернильницы.

Вот в этот-то кабинет и удалился теперь старик Осборн, к великому облегчению всего небольшого общества, которое он покинул. Когда слуги ушли, оставшиеся начали было беседовать оживленно, но вполголоса, а потом тихонько отправились наверх, причем мистер Буллок последовал за дамами, осторожно ступая в

своих скрипучих башмаках. У него не хватило духу в одиночестве пить вино, да еще так близко от страшного старого джентльмена, сидевшего рядом, у себя в кабинете.

Уже давно стемнело, когда дворецкий, не получая никаких распоряжений, решился постучать в дверь и подать в кабинет восковые свечи и чай. Хозяин дома сидел в кресле, делая вид, будто читает газету, и когда слуга, поставив около него свечи и чайный прибор, удалился, Осборн поднялся и запер за ним дверь на ключ. На этот раз не оставалось никаких сомнений: все домочадцы поняли, что надвигается какая-то страшная катастрофа и что мистеру Джорджу несдобровать.

В большом полированном бюро красного дерева у мистера Осборна был ящик, отведенный для дел и бумаг его сына. Здесь хранились все документы, касавшиеся Джорджа, с тех самых пор, как он был ребенком: здесь были его тетрадки и альбомы для рисования с похвальными отзывами, с пометками учителей; здесь были его первые письма, написанные крупным круглым почерком, с поцелуями папеньке и маменьке и с просьбой о присылке пирогов. Не раз упоминался в них его дорогой крестный Седли. Проклятия срывались с помертвевших губ старика Осборна, и страшная ненависть и злоба закипали у него в груди, когда он, просматривая письма, встречал это имя. Все бумаги были занумерованы, надписаны и перевязаны красной тесьмой. На них значилось: «От Джорджи с просьбой о 5 шиллингах, 23 апреля 18..; ответ – 25 апреля». Или: «Джорджи: относительно пони, 13 октября», и так далее. В другом пакете были: «Счета доктора С.», «Счета портного Джорджи и за экипировку; векселя на меня, выданные Дж. Осборном-младшим», и т. д. Его письма из Вест-Индии; письма его агента и газеты, в которых было напечатано о его производствах. Здесь же хранился детский хлыстик Джорджа, а в бумажке медальон с его локоном, который иногда носила его мать.

Несчастный провел много часов, перебирая эти реликвии и раздумывая над ними. Его самые честолюбивые мечты, самые заветные упования – все было здесь. Как он гордился своим мальчиком! Более красивого ребенка он не встречал. Все говорили, что он похож на сына настоящего аристократа. Одна из принцесс королевской крови заметила его на прогулке в садах Кью, поцеловала

и спросила, как его зовут. Какой еще делец из Сити мог похвастаться таким сыном? Ни об одном принце так не заботились, как о нем. Его сын имел все, что можно было приобрести за деньги. Сам Осборн приезжал в дни актов в школу на четверке лошадей, со слугами в новых ливреях, и одарял новенькими шиллингами учеников, товарищей Джорджа. А когда он отправился с Джорджем на судно его полка, перед тем как юноша отплыл в Канаду, он задал офицерам такой обед, что на нем мог бы присутствовать сам герцог Йоркский. Разве он отказывался когда-либо платить по векселям, которые Джордж выдавал на него? Вот они, и все оплачены беспрекословно! Не у всякого генерала были такие лошади, на каких ездил Джордж! Он вспоминал сына и самые различные периоды жизни, и тот вставал перед его глазами то после обеда, когда приходил в столовую, смелый, как лорд, и отпивал из отцовской рюмки, сидя рядом с ним во главе стола; то верхом на пони в Брайтоне, когда он перескочил через изгородь и не отставал от взрослых охотников; то в день, когда он был представлен принцу-регенту на парадном выходе и весь Сент-Джеймский двор не мог похвастаться другим таким молодцом! И вот конец всему! Жениться на дочери банкрота, пренебречь сыновьим долгом и богатством! Какое унижение и ярость, какое крушение честолюбивых надежд и любви, какую боль оскорбленного тщеславия и даже отцовской нежности познал теперь этот суетный старик!

Перебрав бумаги и посидев в задумчивости то над одной, то над другой, погруженный в горчайшую из всех беспомощных печалей – ту, с какой несчастные вспоминают о счастливых минувших временах, отец Джорджа вынул всю кипу документов из ящика, где он держал ее так долго, и запер в шкатулку, перевязав и запечатав своей печатью. Затем он открыл книжный шкаф и снял с полки большую красную Библию, о которой мы уже говорили, – пышно разукрашенную и редко раскрываемую книгу, сверкающую золотом. Ее фронтиспис изображал Авраама, приносящего в жертву Исаака. Здесь, на первом чистом листе, Осборн, согласно обычаю, записывал четким писарским почерком даты своего брака и смерти жены и дни рождения и имена своих детей: сперва шла Джейн, затем Джордж Седли Осборн, потом Мария Фрэнсис, и дни крещения каждого. Взяв перо, Осборн тщательно вычеркнул имя Джорджа, когда листок совершенно высох, поставил книгу обратно на место, откуда взял ее. Затем вынул из



другого ящика, где хранились его личные бумаги, какой-то документ, перечтя его, скомкал, зажег от одной из свечей и не спускал с него глаз, пока тот не сгорел дотла на каминной решетке. Это было его духовное завещание. Когда оно сгорело, Осборн присел к столу и написал какое-то письмо, потом позвонил слуге и велел ему доставить утром по адресу. А утро уже наступило: когда старик поднимался к себе в спальню, весь дом был залит солнечным светом и среди свежей зеленой листвы Рассел-сквер распевали птицы.

Забываясь о том, чтобы умиловить всех членов семейства мистера Осборна и их присных, и желая снискать Джорджу в час постигшей его невзгоды как можно больше друзей, Уильям Доббин, которому было известно, какое влияние оказывают на человеческую душу хороший обед и доброе вино, придя к себе в гостиницу, послал самое радушное приглашение Томасу Чопперу, эсквайру, прося этого джентльмена отобедать с ним на следующий день у Слотера. Письмо застало мистера Чоппера еще в Сити, и он немедленно написал ответ, гласивший, что «мистер Чоппер свидетельствует свое глубокое уважение капитану Доббину и будет иметь честь и удовольствие» и т. д. Приглашение и черновик ответа на него были показаны миссис Чоппер и его дочерям, как только старший клерк воротился вечером домой, в Семерстаун; и когда семейство уселось пить чай, то за столом только и было разговора, что о благородных офицерах и вест-эндских аристократах. Когда же девочки пошли спать, мистер и миссис Чоппер начали обсуждать странные события, происходящие в семействе хозяина. Никогда еще клерк не видел его таким взволнованным. Войдя к мистеру Осборну после ухода капитана Доббина, мистер Чоппер застал своего хозяина с почерневшим лицом и чуть ли не в обмороке. Старый конторщик был уверен, что между мистером Осборном и молодым капитаном произошла какая-то ужасная ссора. Чопперу было дано распоряжение составить выписку всех сумм, выплаченных капитану Осборну за последние три года. «И цифра получилась немаленькая», – заявил он, проникаясь еще большим уважением к своим хозяевам – и старому, и молодому – за ту щедрость, с какой они сорили гинейями. Спор вышел как будто бы из-за мисс Седли. Миссис Чоппер клятвенно заверяла, что ей очень жаль бедную девушку: подумать только – потерять такого красивого молодого человека, как капитан! Мистер Чоппер не питал особого

уважения к мисс Седли, как к дочери неудачливого спекулянта, и всегда-то платившего очень скудный дивиденд. Он уважал фирму Осборна превыше всех других в лондонском Сити, и его надеждой и желанием было, чтобы капитан Джордж женился на дочери какого-нибудь аристократа. Клерк спал в эту ночь гораздо спокойнее своего принципала. А после раннего завтрака (который он съел с отменным аппетитом, хотя его скромная чаша жизни подслащалась только сахарным песком) приласкал детей, нарядился в лучшее свое платье и рубашку с брыжами и отправился в контору, пообещав восхищенной его видом жене не очень налегать вечером на портвейн капитана Доббина.

Когда мистер Осборн явился в свое обычное время в Сити, вид его поразил всех подчиненных, привыкших, по вполне понятным причинам, наблюдать за выражением хозяйского лица, – до того он был бледен и утомлен. В двенадцать часов мистер Хигс (адвокатская контора «Хигс и Болтунигс» на Бедфорд-роу), явившийся по экстренному вызову, был проведен в кабинет мистера Осборна и беседовал с ним наедине свыше часа. Около часу дня мистер Чоппер получил записку, принесенную денщиком капитана Доббина, со вложением письма для мистера Осборна, которое клерк и передал по назначению, войдя в кабинет. Немного спустя туда снова были приглашены мистер Чоппер и мистер Берч, второй клерк, которым было предложено расписаться в качестве свидетелей на представленном им документе. «Я составил новое завещание», – сказал мистер Осборн, и вышеупомянутые джентльмены снабдили документ своими подписями. Совершилось это в полном молчании. У мистера Хигса был чрезвычайно серьезный вид, когда он вышел в помещение конторы; он строго поглядел на мистера Чоппера, но никаких объяснений не последовало. Было замечено, что мистер Осборн в тот день держал себя как-то особенно тихо и кротко, к великому изумлению тех, кто с самого утра ждал бури. Он никого не разносил, ни разу не выругался и рано оставил контору, а перед уходом еще раз вызвал к себе старшего клерка и, дав ему общие указания, спросил с видимой неохотой: не известно ли ему, в городе капитан Доббин или нет?

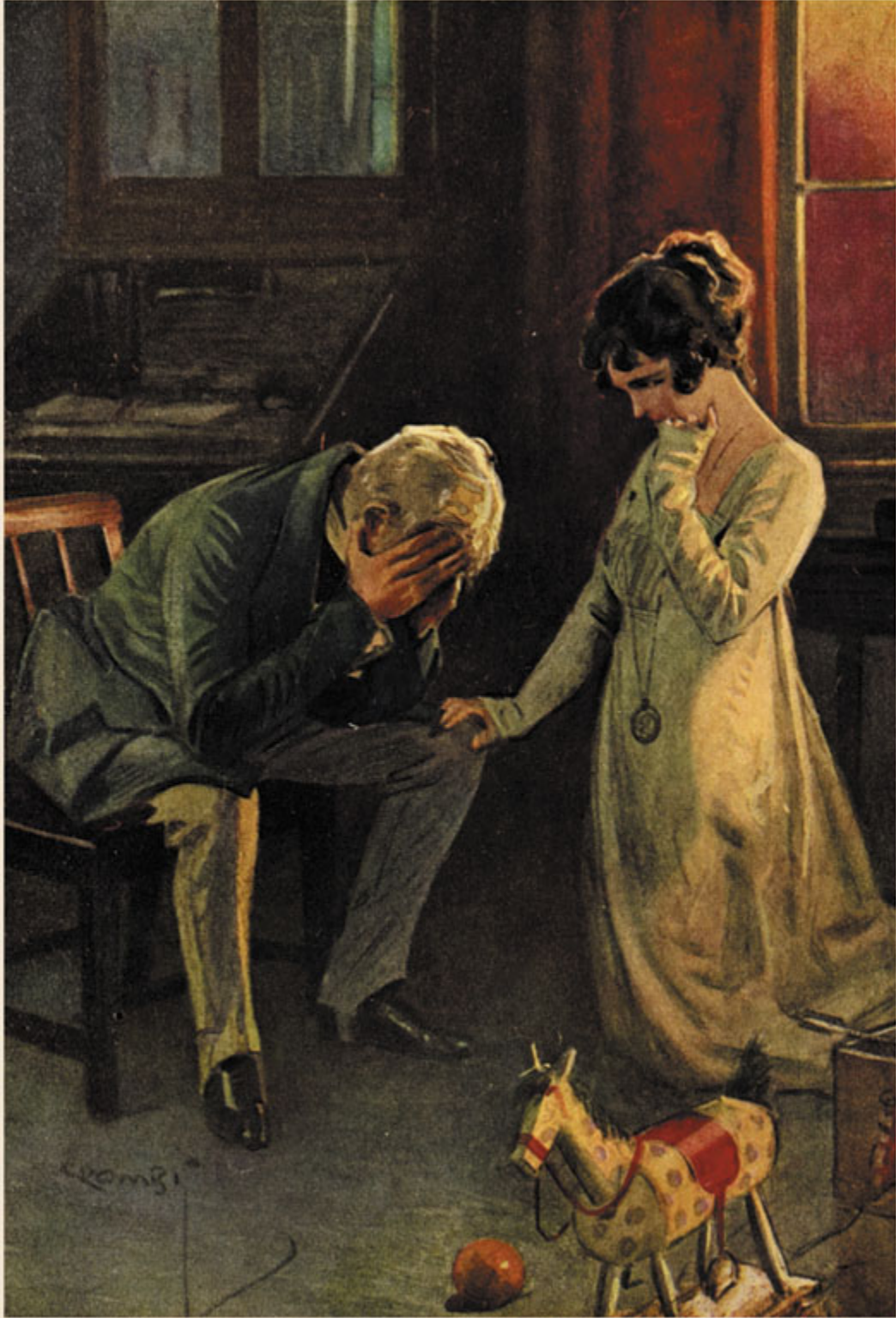
Чоппер ответил, что он, кажется, здесь. На самом деле это было прекрасно известно и тому и другому.

Осборн взял со стола письмо, адресованное этому офицеру, и, передав его клерку, попросил немедленно вручить Доббину в собственные руки.

– Теперь, Чоппер, – сказал он, берясь за шляпу и как-то странно глядя на клерка, – у меня будет легче на душе!

Ровно в два часа (несомненно, по предварительному уговору) явился мистер Фредерик Буллок, и они с мистером Осборном уехали вместе.

Командиром \*\*\* полка, в котором Доббин и Осборн командовали ротами, был старый генерал, проделавший свою первую кампанию в Квебеке под начальством Вульфа. Годы и болезни давно вывели его из строя, но он продолжал интересоваться полком, главой которого по-прежнему числился, и радушно приглашал кое-кого из своих молодых офицеров к столу, – гостеприимство, ныне, как мне кажется, отнюдь не распространенное среди его собратьев. Особенно любил старый генерал капитана Доббина. Доббин был начитан по своей части и мог беседовать о Фридрихе Великом, об императрице Терезии и об их войнах почти с таким же знанием дела, как и сам генерал, который был равнодушен к триумфам настоящего времени и все свои симпатии отдавал полководцам, прославившимся полвека тому назад. В то самое утро, когда мистер Осборн изменил свое духовное завещание, а мистер Чоппер надел лучшую свою рубашку с брыжами, генерал пригласил Доббина к себе позавтракать и за завтраком сообщил своему любимцу – дня за два до опубликования – о том, чего все ожидали: о приказе выступить в Бельгию. Приказ полку быть в готовности будет издан через день или два, а так как кораблей для перевозки войск вполне достаточно, то не пройдет и недели, как они будут уже на пути в Бельгию. В Чатеме полк пополнится новобранцами, и старый генерал выразил надежду, что полк, участвовавший в победоносном бою против Монкальма в Канаде и в разгроме мистера Вашингтона на Лонг-Айленде, сумеет показать себя и на нидерландских полях, бывших свидетелями многих кровопролитных сражений.



– Итак, мой добрый друг, если у вас есть какая-нибудь affaire là<sup>[169]</sup>, – сказал старый генерал, беря щепоточку табаку дрожащими старческими пальцами и затем указывая на то место под robe de

chambre<sup>[170]</sup>, где у него все еще слабо билось сердце, – если у вас есть какая-нибудь Филлида<sup>[171]</sup>, которую надо утешить, или если вам нужно попрощаться с папенькой и маменькой, или же составить завещание, – рекомендую вам заняться этим безотлагательно! – После чего генерал подал своему молодому другу палец для пожатия и добродушно кивнул ему головой в напудренном парике с косичкой. А когда дверь за Доббином закрылась, взялся за перо и написал poulet<sup>[172]</sup> (он кичился своим знанием французского языка) мадемуазель Аменаиде из Театра Его Величества.

Это известие заставило Доббина призадуматься. Он вспомнил о своих друзьях в Брайтоне и тут же устыдился, что Эмилия всегда занимала первое место в его думах (он думал о ней больше, чем об отце с матерью, о сестрах и служебном долге; всегда – и наяву, и во сне, и вообще в течение всего дня и ночи). Вернувшись к себе в гостиницу, он отправил мистеру Осборну коротенькую записку, доводя до его сведения о полученном известии, которое могло, как он надеялся, побудить отца к примирению с Джорджем.

Записка эта, отправленная с тем же посыльным, который отнес накануне приглашение Чопперу, немного встревожила достойного клерка. Она была адресована ему, и, вскрывая конверт, он трепетал при мысли, уж не откладывается ли, чего доброго, обед, на который он рассчитывал. У него сразу отлегло от сердца, когда он убедился, что для него самого в конверте было только напоминание. («Я буду ждать вас в половине шестого», – писал капитан Доббин.) Чоппер очень входил в интересы хозяйского семейства, – но que voulez-vous!<sup>[173]</sup> – парадный обед занимал его гораздо больше, чем чьи бы то ни было чужие дела.

Доббин был уполномочен генералом передать полученное сообщение всем офицерам полка, каких он мог увидеть во время своих скитаний по городу. Поэтому он рассказал новость прапорщику Стаблу, повстречавшись с ним у агента, и тот со свойственным ему воинственным пылом немедленно отправился покупать новую саблю у поставщика военного снаряжения. Там этот юноша, – который хотя и достиг всего лишь семнадцатилетнего возраста и ростом не превышал шестидесяти пяти дюймов, к тому же был хил от рождения и сильно расшатал свое здоровье неумеренным потреблением коньяка, но отличался несомненной отвагой и храбростью льва, – начал

взвешивать в руке, пробовать сгибать и примерять оружие, с помощью которого он намеревался сеять смерть и ужас среди французов. Выкрикивая «га, га!» и с необычайной энергией притопывая маленькой ножкой, он сделал два-три выпада, наставляя острие на капитана Доббина, который со смехом парировал его удары своей бамбуковой тростью.

Мистер Стабл, как можно было судить по его росту и худобе, принадлежал к легкой инфантерии. Зато прапорщик Спуни, юноша рослый, состоял в гренадерской роте (капитана Доббина), и он тут же занялся примеркой новой медвежьей шапки, в которой имел свирепый не по возрасту вид. Затем оба юнца отправились к Слотеру и, заказав обед на славу, уселись писать письма родителям – письма, полные любви, сердечности, отваги и орфографических ошибок. Ах! Много сердец тревожно билось тогда по всей Англии! И во многих домах возносились к небу слезные материнские молитвы!

Увидев юного Стабла, трудившегося над письмом за одним из столиков в общей зале «Слотера», причем слезы так и капали у него с носа на бумагу (он думал о своей маменьке и о том, что, может быть, никогда ее больше не увидит), Доббин, собиравшийся написать письмо Джорджу Осборну, призадумался и закрыл конторку.

«К чему писать? – сказал он себе. – Пусть она безмятежно поспит эту ночь. Завтра утром я навещу своих родителей, а потом сам съезжу в Брайтон».

Он встал, подошел к Стаблу и, положив свою большую руку ему на плечо, подбодрил юного воина, сказав, что если он бросит пить коньяк, то станет хорошим солдатом, так как всегда был благородным, сердечным малым. Глаза юного Стабла заблестели от этих слов, потому что Доббин пользовался большим уважением в полку, как лучший офицер и умнейший человек.

– Спасибо, Доббин, – ответил он, утирая глаза кулаками. – Я как раз и писал... как раз и писал ей, что брошу! Ах, сэр, она так меня любит!

Тут насосы опять заработали, и я не уверен, не замигали ли глаза и у мягкосердечного капитана.

Оба прапорщика, капитан и мистер Чоппер отобедали все вместе, за одним столом. Чоппер привез от мистера Осборна письмо, в котором тот в коротких словах свидетельствовал свое уважение

капитану Доббину и просил его передать вложенный в письме пакет капитану Джорджу Осборну. Больше Чоппер ничего не знал. Правда, он описал вид мистера Осборна, рассказал о его свидании с адвокатом, дивился тому, что его патрон никого в тот день не обругал, и высказывал самые разнообразные предположения и догадки, особенно когда вкруговую пошло вино. Но с каждым стаканом его рассуждения становились все более туманными и под конец сделались совсем непонятными. Поздно вечером капитан Доббин усадил своего гостя в наемную карету, между тем как тот только икал и клялся, что будет... ик!.. до скончания веков... ик!.. другом капитану. Мы уже говорили, что капитан Доббин, прощаясь с мисс Осборн, попросил у нее разрешения посетить ее еще раз, и старая дева на следующий день поджидала его в течение нескольких часов. Может быть, если бы он пришел и обратился к ней с тем вопросом, на который она готова была ответить, – может быть, она объявила бы себя другом своего брата, и тогда могло бы произойти примирение Джорджа с разгневанным отцом. Но сколько она ни ждала, капитан так и не пришел. У него было достаточно собственных дел: надо было посетить и утешить родителей, пораньше занять место на империале кареты «Молния» и съездить к друзьям в Брайтон. Днем мисс Осборн слышала, как отец отдал приказ не пускать к нему на порог этого надоедливого прохвоста капитана Доббина. Таким образом, всем надеждам, какие мисс Осборн могла питать про себя, разом был положен конец. Явился мистер Фредерик Буллок и был особенно нежен с Марией и внимателен к убитому горем старому джентльмену. Ибо хотя мистер Осборн и говорил, что у него станет легче на душе, но, по-видимому, средства, к которым он обратился, чтобы обеспечить себе душевный покой, оказались недействительными, и события минувших двух дней явно потрясли его.

## **Глава XXV, в которой все главные действующие лица считают своевременным покинуть Брайтон**

Когда Доббина привели к дамам в Корабельную гостиницу, он напустил на себя веселый и беспечный вид, который доказывал, что этот молодой офицер с каждым днем становится все более ловким лицемером. Он пытался скрыть свои личные чувства, вызванные, во-первых, видом миссис Джордж Осборн в ее новом положении, а во-вторых – страхом перед тем горем, какое ей, несомненно, доставит привезенная им печальная весть.

– Мое мнение таково, Джордж, – говорил он приятелю, – что не пройдет и трех недель, как французский император нагрянет на нас со всей своей конницей и пехотой и заставит герцога так поплясать, что в сравнении с этим испанская война покажется детской забавой. Но не надо, по-моему, говорить об этом миссис Осборн. В конце концов, нам, может быть, совсем не придется драться и наше пребывание в Бельгии сведется просто к военной оккупации. Многие так думают, Брюссель переполнен светской знатью и модницами. – И между приятелями было решено представить Эмилии задачи британской армии в Бельгии именно в таком безобидном свете.

Подготовив этот заговор, лицемер Доббин весьма весело приветствовал миссис Джордж Осборн, попытался отпустить ей два-три комплимента по поводу ее нового положения замужней дамы (впрочем, комплименты эти были чрезвычайно робки и неуклюжи), а затем стал распространяться насчет Брайтона, морского воздуха, местных развлечений, красот дороги и достоинств кареты «Молния» и лошадей – да так оживленно, что Эмилия ровно ничего не понимала, а Ребекка от души забавлялась, наблюдая за капитаном, как, впрочем, она наблюдала за всяким, с кем только сталкивалась.

Маленькая Эмилия, нужно в том признаться, была невысокого мнения о друге своего супруга, капитане Доббине. Он пришепетывал,



был некрасив, неотесан, чрезвычайно неуклюж и неловок. Она любила его за привязанность к мужу (конечно, заслуга тут невелика!) и считала, что Джордж очень великодушен и мил, раз удостоивает дружбой своего собрата по полку. Джордж частенько передразнивал в ее присутствии шепелявую речь Доббина и его забавные манеры, хотя, нужно отдать ему справедливость, всегда отзывался с похвалой о замечательных качествах своего друга. В дни недолгого своего триумфа Эмилия, будучи едва знакома с честным Уильямом, мало ценила его, и он отлично знал, какого она о нем мнения, и покорно с этим мирился. Пришло время, когда она узнала его лучше и переменялась к нему, но до этого было еще далеко.

Что же касается Ребекки, то не успел капитан Доббин пробыть и двух часов в их обществе, как она разгадала его тайну. Доббин ей не нравился, и она втайне его побаивалась. Да и сам он тоже не очень был к ней расположен: он был так честен, что ее уловки и ужимки на него не действовали, и он с инстинктивным отвращением сторонился ее. А так как Ребекка, подобно всем представительницам прекрасного пола, не чужда была зависти, то она еще больше невзлюбила Доббина за его обожание Эмилии. Тем не менее она была с ним очень почтительна и приветлива. Друг Осборнов! Друг дорогих ее благодетелей! Она клялась, что всегда будет искренне его любить. Она отлично помнит его по тому вечеру в Воксхолле, сказала она лукаво Эмилии и немножко поиздевалась над ним, когда обе дамы удалились переодеваться к обеду. Родон Кроули не обратил на Доббина почти никакого внимания, считая его добродушным простофилей и неотесанным купеческим сынком. Джоз покровительствовал ему с большим достоинством.

Когда Джордж и Доббин остались вдвоем в номере капитана, тот вынул из своей дорожной шкатулки письмо, которое мистер Осборн поручил ему передать сыну.

– Это не отцовский почерк, – сказал Джордж с тревогой. Так оно и оказалось. Письмо было от поверенного мистера Осборна и гласило следующее:

«Бедфорд-роу, мая 7, 1815 г.

Сэр, я уполномочен мистером Осборном уведомить вас, что он остается при решении, высказанном ранее вам лично,

и что вследствие брака, который вам угодно было заключить, он отныне перестает считать вас членом своего семейства. Это решение окончательно и отмене не подлежит.

Хотя денежные средства, истраченные на вас до наступления вашего совершеннолетия, равно как и векселя, которые вы за последние годы столь щедро выдавали на вашего батюшку, далеко превышают по общему итогу ту сумму, на каковую вы вправе притязать (она составляет третью часть состояния вашей матушки, покойной миссис Осборн, перешедшего после ее кончины к вам, к мисс Джейн Осборн и к мисс Марии Фрэнсис Осборн), однако я уполномочен мистером Осборном заявить вам, что он отказывается от всяких претензий на ваше имущество, и сумма в две тысячи фунтов, в четырехпроцентных бумагах, по курсу дня (то есть принадлежащая вам третья часть суммы в шесть тысяч фунтов) будет уплачена вам или вашим представителям под вашу расписку

вашим покорным слугой

*С. Хигсом.*

Р. S. Мистер Осборн просит меня заявить вам раз навсегда, что он заранее отказывается получать какие бы то ни было сообщения, письма или извещения от вас по сему предмету или по любому иному».

– Хорошо же ты уладил это дело! – сказал Джордж, свирепо глядя на Уильяма Доббина. – Вот, посмотри-ка! – и он бросил ему отцовское письмо. – Нищий, черт побери, и все из-за моей распроклятой чувствительности! Почему нельзя было подождать? Вполне возможно, что я погибну на войне, и что будет хорошего для Эмми, если она останется вдовой нищего? Все это ты наделал! Не мог успокоиться, пока не заставил меня жениться и не разорил! На какого дьявола мне две тысячи фунтов? Их не хватит и на два года! Я уже за то время, что мы здесь, продул Кроули сто сорок фунтов в карты и на бильярде. Нечего сказать, умеешь ты устраивать чужие дела!

– Нельзя отрицать, что положение трудное, – спокойно отвечал Доббин, прочтя письмо. – И, как ты говоришь, я отчасти тому причиной. Но есть люди, которые были бы не прочь поменяться с тобой, – добавил он с горькой усмешкой. – Сам подумай, много ли у нас в полку капитанов, имеющих две тысячи фунтов про черный день? Ты должен жить на жалованье, пока твой отец не смягчится, а если ты умрешь, то оставишь жене сто фунтов годового дохода.

– Неужели ты воображаешь, что человек с моими привычками в состоянии жить на жалованье и на какую-то сотню фунтов в год? – воскликнул Джордж в сердцах. – Надо быть дураком, чтобы так говорить, Доббин! Как мне, черт подери, поддерживать свое положение в свете на такие жалкие гроши? Я не могу изменить своих привычек! Я *должен* жить с удобствами! Я вскормлен не на овсянке, как Мак-Виртер, и не на картошке, как старый О’Дауд. Может, ты хочешь, чтобы моя жена занялась стиркой на солдат или ездила за полком в обозном фургоне?

– Ну, ладно, ладно, – сказал Доббин, по-прежнему добродушно. – Мы раздобудем для нее экипаж и получше! Но не забывай, милый мой Джордж, что ты сейчас всего лишь свергнутый с трона принц, и наберись спокойствия на то время, пока бушует буря. Она скоро пронесется. Пусть только твое имя будет упомянуто в «Газете», и я ручаюсь, что отец смилостивится к тебе.

– Упомянуто в «Газете»? – повторил Джордж. – А в каком отделе? В списке убитых и раненых, да еще, чего доброго, в самом начале его?

– Брось! Не оплакивай себя раньше времени, – заметил Доббин. – А если что-нибудь и случится, то ты знаешь, Джордж, что у меня кое-что есть, я жениться не собираюсь и не забуду своего крестника в духовном завещании, – прибавил он с улыбкой.

Спор их, как и десятки подобных разговоров между Осборном и его другом, закончился тем, что Джордж объявил, что на Доббина нельзя долго сердиться, и великодушно простил ему обиды, которые сам же нанес без всякого к тому основания.

– Послушай-ка, Бекки, – закричал Родон Кроули из своей туалетной комнаты жене, наряжавшейся к обеду у себя в спальне.

– Что? – раздался в ответ звонкий голос Бекки. Она гляделась через плечо в зеркало. С обнаженными плечами, в прелестном белом

платье с небольшим ожерельем и голубым поясом, она являла собою образ юной невинности и девического счастья.

– Как, по-твоему, что будет делать миссис Осборн, когда Осборн уйдет с полком? – спросил Кроули, входя в комнату; он исполнял на своей макушке дуэт двумя огромными головными щетками и с восхищением поглядывал из-под свисающих волос на свою хорошенькую жену.

– Наверно, выплечет себе глаза, – отвечала Бекки. – Она уже раз пять принималась хныкать при одном упоминании об этом, когда мы были вдвоем.

– А тебе, видно, решительно все равно, – сказал Родон, задетый за живое бесчувственностью своей жены.

– Ах ты, гадкий! Да разве ты не знаешь, что я намерена ехать с тобой? – воскликнула Бекки. – Кроме того, ты совсем другое дело! Ты идешь адъютантом генерала Тафто. Мы не состоим в строевых войсках! – сказала миссис Кроули, вздергивая головку с таким видом, что супруг пришел в восторг и, нагнувшись, поцеловал ее.

– Родон, голубчик... как ты думаешь... не лучше ли будет получить эти деньги с Купидона до его отъезда? – продолжала Бекки, прикалывая сногшибательный бантик. Она прозвала Джорджа Осборна Купидоном. Она десятки раз говорила ему о его красивой наружности. Она ласково поглядывала на него за экарте по вечерам, когда он забежал к Родону на полчаса перед сном.

Она часто называла Джорджа ужасным ветреником и грозилась рассказать Эмми о его времяпрепровождении и дурных сумасбродных привычках. Она подавала ему сигару и подносила огонь: ей был хорошо известен эффект этого маневра, так как в былые дни она испробовала его на Родоне Кроули. Джордж считал ее веселой, остроумной, лукавой, *distinguée*, восхитительной. Во время прогулок и обедов Бекки, разумеется, совершенно затмевала бедную Эмми, которая робко сидела, не произнося ни слова, пока ее супруг и миссис Кроули оживленно болтали, а капитан Кроули и Джоз (вскоре присоединившийся к новобрачным) в молчании поглощали еду.

В душе у Эмми шевелилось предчувствие чего-то недоброго со стороны подруги. Остроумие Ребекки, ее веселый нрав и таланты смущали ее и вызывали тягостную тревогу. Они женаты всего лишь неделю, а Джордж уже скучает с ней и жаждет другого общества! Она

трепетала за будущее. «Какой я буду ему спутницей, – думала она, – ему, такому умному и блестящему, когда сама я такая незаметная и глупенькая! Как было благородно с его стороны жениться на мне – отречься от всего и снизойти до меня. Мне следовало бы отказать ему, но у меня не хватило духу. Мне следовало бы остаться дома и ухаживать за бедным папой!» Она впервые вспомнила о своем небрежении к родителям (у бедняжки были, конечно, некоторые основания обвинить себя в этом) и покраснела от стыда. «О, я поступила так гадко, – думала она, – я показала себя эгоисткой, когда забыла о них в их горе... когда заставила Джорджа жениться на мне. Я знаю, что недостойна его... Знаю, что он был бы счастлив и без меня... и все же... но ведь я старалась, старалась от него отказаться».

Тяжело, когда такие мысли и признания тревожат молодую жену в первую же неделю после свадьбы. Но так оно было, и накануне приезда Доббина, в чудный, залитый лунным светом майский вечер, такой теплый и благоуханный, что все окна были открыты на балкон, с которого Джордж и миссис Кроули любовались спокойной ширью океана, пока Родон и Джоз были заняты в комнате игрою в триктрак, – Эмилия сидела в большом кресле, всеми забытая, и, глядя на обе эти группы, чувствовала отчаяние и угрызения совести, которые тяжким гнетом ложились на эту нежную одинокую душу. Всего неделя, а вот до чего дошло! Будущее, если бы она заглянула в него, представилось бы ей поистине мрачным. Но Эмми была слишком робка, если можно так выразиться, чтобы заглядывать туда и пускаться в плавание по этому безбрежному морю одной, без указчика и защитника. Я знаю, что мисс Смит невысокого о ней мнения. Но, дорогая моя мисс Смит, много ли найдется женщин, одаренных вашей изумительной твердостью духа?

– Что за чудесная ночь, как ярко светит месяц! – сказал Джордж, попыхивая сигарой и пуская дым к небесам.

– Как восхитительно пахнут сигары на открытом воздухе! Я обожаю их аромат! Кто бы мог подумать, что Луна отстоит от Земли на двести тридцать шесть тысяч восемьсот сорок семь миль, – прибавила Бекки, с улыбкой поглядывая на ночное светило. – Разве я не умница, что еще помню это? Да, да, мы все это учили в пансионе мисс Пинкертон. Как спокойно море, и воздух совсем прозрачный. Право же, я, кажется, могу разглядеть французский берег! – И взор ее

блестящих зеленых глаз устремился вдаль, пронзая ночной мрак, словно она действительно что-то видела вдали. – Знаете, что я собираюсь сделать в одно прекрасное утро? – продолжала она. – Я убедилась, что плаваю великолепно, и вот как-нибудь, когда компаньонка моей тетки Кроули... знаете, эта старушка Бригс, – вы ведь помните ее?.. такая особа с крючковатым носом, с длинными космами! – когда Бригс отправится купаться, я нырну к ней под кабинку и буду добиваться примирения в воде. Что, разве плохо придумано?

Джордж расхохотался при мысли о таком подводном свидании.

– Что у вас там? – крикнул им Родон, встряхивая стаканчик с костями. Эмилия же ни с того ни с сего расплакалась и быстро ушла к себе в комнату, где могла проливать слезы без помехи.

Нашей истории суждено в этой главе то возвращаться вспять, то забегать вперед самым беспорядочным образом; доведя рассказ до завтрашнего дня, мы будем вынуждены немедленно обратиться ко вчерашнему, чтобы читатель ничего не упустил из нашего повествования. Подобно тому, как на приемах у ее величества кареты послов и высших сановников без промедления отъезжают от подъезда, между тем как дамам капитана Джонса приходится долго ждать свой наемный экипаж; подобно тому, как в приемной министра финансов человек десять просителей терпеливо ждут своей очереди и их вызывают на аудиенцию одного за другим, но вдруг в комнату входит депутат парламента от Ирландии или еще какая-нибудь важная особа и направляется прямо в кабинет товарища министра буквально по головам присутствующих, – точно так же и романисту приходится в развитии повествования быть не только справедливым, но и пристрастным. Он обязан рассказать обо всем, вплоть до мелочей, но важным событиям мелочи должны уступать дорогу. И, разумеется, обстоятельство, которое привело Доббина в Брайтон, – то есть получение гвардией и линейной пехотой приказа о выступлении в Бельгию и сосредоточение всех союзных армий в этой стране под командованием его светлости герцога Веллингтона, – такое замечательное обстоятельство, говорю я, имело все права и преимущества перед остальными, меньшими по своему значению происшествиями, из коих главным образом и слагается наша повесть. Отсюда и произошли некоторый беспорядок и путаница, впрочем,

вполне извинительные и допустимые. И сейчас мы продвинулись во времени за пределы XXII главы лишь настолько, чтобы развести наших действующих лиц по их комнатам переодеться к обеду, который состоялся в день приезда Доббина в обычный час.

Джордж или был слишком мягкосердечен, или же чересчур увлекся завязыванием шейного платка, чтобы сразу сообщить Эмилии известие, привезенное ему из Лондона товарищем. Когда же он вошел к ней в комнату с письмом поверенного в руке, вид у него был такой торжественный и важный, что жена его, всегда готовая ждать беды, решила, что произошло нечто ужасное, и, подбежав к супругу, решила умолять своего миленького Джорджа рассказать ей все решительно. Получен приказ выступать за границу? На будущей неделе ждут сражения? Сердце ее чуяло, что так и будет!

Миленький Джордж уклонился от вопроса о заграничном походе и, покачав меланхолически головой, сказал:

– Нет, Эмми, дело не в этом. Не о себе я забочусь, а о тебе! Я получил дурные известия. Отец отказывается от всяких сношений со мной, он порвал с нами и обрек нас на бедность. Я-то легко могу с этим примириться, но ты, моя дорогая, как ты это перенесешь? Читай!

И он дал ей письмо.

Эмилия с нежной тревогой во взоре выслушала своего благородного героя, выразившего ей столь великодушные чувства, и, присев на кровать, стала читать письмо, которое Джордж подал ей с торжественным трагическим видом. Но по мере того как она читала, лицо ее прояснялось. Как мы уже имели случай упоминать, мысль разделить бедность и лишения с любимым человеком отнюдь не пугает женщину, наделенную горячим сердцем. Маленькой Эмилии такая перспектива даже была приятна. Но потом она, как всегда, устыдилась, что почувствовала себя счастливой в такой неподходящий момент, и, подавив свою радость, сдержанно проговорила:

– Ах, Джордж, у тебя, должно быть, сердце обливается кровью при мысли о разлуке с отцом!

– Ну конечно! – ответил Джордж с выражением муки на лице.

– Но он не будет долго сердиться на тебя, – продолжала она. – Разве на тебя можно сердиться! Он должен будет простить тебя, мой дорогой, мой милый муж! Я никогда себе этого не прошу.

– Меня беспокоит не мое несчастье, бедняжка моя Эмми, а твое, – сказал Джордж. – Что мне бедность! И к тому же, хоть я и не хочу хвастаться, но думаю, что у меня достаточно талантов, чтобы пробить себе дорогу в жизни.

– Разумеется! – перебила его жена и подумала, что война скоро кончится и Джорджа сейчас же произведут в генералы.

– Да, я пробью себе дорогу не хуже всякого другого, – продолжал Осборн. – Но ты, дорогая моя девочка? Как я перенесу, что ты лишена удобств и положения в обществе, на которые вправе рассчитывать моя жена? Моя девочка – в казармах; жена солдата, да еще в походе, где она подвергается всевозможным неприятностям и лишениям. Вот что разрывает мне сердце!

Эмми, совершенно успокоенная мыслью, что только это и тревожит ее мужа, взяла его за руку и с сияющим лицом стала напевать куплет из популярной песенки «Старая лестница в Уоппинге», в которой героиня, упрекнув своего Тома в холодности, обещает «и штаны ему штопать, и грог подавать», если он останется ей верен, будет с ней ласков и не бросит ее.

– Кроме того, – промолвила она, помолчав, с таким прелестным и счастливым видом, какого можно пожелать всякой молодой женщине, – две тысячи фунтов – это же целая куча денег! Разве нет, Джордж?

Джордж посмеялся ее наивности. Вскоре они сошли вниз к обеду, причем Эмилия, держа мужа под руку, продолжала напевать «Старую лестницу в Уоппинге», и на душе у нее было легче, чем все эти последние дни.

Таким образом, состоявшийся наконец обед против ожидания прошел весело и оживленно. Предвкушение похода отвлекало Джорджа от мрачных мыслей о суровом отцовском приговоре. Доббин по-прежнему балагурил без умолку. Он забавлял общество рассказами о жизни армии в Бельгии, где только и делают, что задают fêtes<sup>[174]</sup>, веселятся и модничают. Затем, преследуя какие-то свои особые цели, наш ловкий капитан принялся описывать, как супруга майора, миссис О'Дауд, укладывала свой собственный гардероб и гардероб мужа и как его лучшие эполеты были засунуты в чайницу, а ее знаменитый желтый тюрбан с райской птицей, завернутый в бумагу, был заперт в жестяной футляр из-под майоровой треуголки. Можно себе



представить, какой эффект произведет этот тюрбан при дворе французского короля в Генте или же на парадных офицерских балах в Брюсселе!

– В Генте? В Брюсселе? – воскликнула Эмилия, внезапно вздрогнув. – Разве получен приказ выступать, Джордж? Разве полк уже выступает?

Выражение ужаса пробежало по ее нежному улыбающемуся личику, и она невольно прижалась к Джорджу.

– Не бойся, дорогая! – промолвил он снисходительно. – Переезд займет всего двенадцать часов. Это совсем не страшно. Ты тоже поедешь, Эмми!

– Я-то непременно поеду, – заявила Бекки. – Ведь я сама почти офицер штаба. Генерал Тафто большой мой поклонник, не правда ли, Родон?

Родон расхохотался своим громоподобным смехом. Уильям Доббин покраснел до корней волос.

– Она не может ехать, – сказал он. «Подумайте об опасности», – хотел он добавить. Но разве не старался он доказать всеми своими речами, что никакой опасности нет? Он окончательно смешался и замолчал.

– Я должна ехать и поеду! – с жаром воскликнула Эмми. И Джордж, одоблив ее решительность, потрепал ее по щеке, спросил всех присутствующих за столом, видели ли они когда-нибудь такую задорную женушку, и согласился на то, чтобы она его сопровождала.

– Мы попросим миссис О'Дауд опекать тебя! – обещал он.

Какое ей было дело до всего остального, раз ее муж будет с нею? Казалось, им удалось отодвинуть разлуку. Да, впереди их ждала война и опасность, но могли пройти месяцы, прежде чем война и опасность надвинутся вплотную. Во всяком случае, это была отсрочка, и робкая маленькая Эмилия чувствовала себя почти такой же счастливой, как если бы война вовсе не предстояла. Даже у Доббина отлегло от сердца. Ведь для него возможность видеть Эмилию составляла величайшую радость и надежду его жизни, и он уже думал про себя, как он будет охранять ее и беречь. «Будь она моей женой, я не позволил бы ей ехать», – подумал он. Но ее владыкой был Джордж, и Доббин не считал себя вправе отговаривать товарища.

Обняв подругу за талию, Ребекка наконец увела ее от обеденного стола, за которым было обсуждено столько важных дел, а мужчины, оставшись одни в весьма приподнятом настроении, стали распивать вино и вести веселые разговоры.

Еще за обедом Родон получил от жены интимную записочку, и хотя он сейчас же скомкал ее и сжег на свечке, нам удалось прочесть ее, стоя позади Ребекки. «Великая новость! – писала она. – Миссис Бьют уехала. Получи у Купидона деньги сегодня же, так как завтра он, по всей вероятности, уедет. Не забудь об этом. Р.».

И вот, когда мужчины собрались перейти к дамам на кофе, Родон тронул Осборна за локоть и сказал ему ласково:

– Осборн, голубчик! Если вас не затруднит, я побеспокою вас насчет той безделицы!

Джорджа это очень даже затрудняло, но тем не менее он вручил Родону в счет долга порядочный куш банковыми билетами, которые достал из бумажника, а на остающуюся сумму выдал вексель на своих агентов сроком через неделю.

Когда этот вопрос был улажен, Джордж, Джоз и Доббин, закулив сигары, стали держать военный совет и договорились, что на следующий день всем нужно ехать в Лондон в открытой коляске Джоза. Джоз, вероятно, предпочел бы остаться в Брайтоне до отъезда Родона Кроули, но Доббин и Джордж уломали его, и он согласился отвезти всех в Лондон и велел запрячь четверку, как подобало его достоинству. На этой четверке они и отправились в путь на следующий день, после раннего завтрака. Эмилия поднялась спозаранку и очень живо и ловко уложила свои маленькие чемоданы, между тем как Джордж лежал в постели, скорбя о том, что у его жены нет горничной, которая могла бы ей помочь. Эмилия же только радовалась, что может сама справиться с этим делом. Смутная неприязнь по отношению к Ребекке переполняла ее; и хотя они расцеловались на прощанье самым нежнейшим образом, однако нам известно, что такое ревность, а миссис Эмилия обладала и этой добродетелью в числе других, свойственных ее полу.

Нам следует вспомнить, что, кроме этих лиц, посетивших Брайтон и теперь уехавших, там находился и еще кое-кто из наших старых знакомых, а именно мисс Кроули и ее свита. Хотя Родон с супругой проживали всего в нескольких шагах от квартиры, которую

занимала немощная мисс Кроули, однако двери ее оставались закрытыми для них так же неумолимо, как в свое время в Лондоне. Пока миссис Бьют Кроули была подле своей невестки, она принимала все меры к тому, чтобы ее возлюбленная Матильда не подвергалась волнениям, вызываемым встречами с племянником. Когда старая дева отправлялась кататься, верная миссис Бьют сопровождала ее в коляске. Когда мисс Кроули выносили в портшезе подышать чистым воздухом, миссис Бьют шла рядом с одной стороны, а честная Бригс охраняла другой фланг. И если им случалось встретить Родона и его жену, то, несмотря на то, что он всякий раз угодливо снимал шляпу, компания мисс Кроули проходила мимо него с таким холодным и убийственным безразличием, что Родон начал впадать в отчаяние.

– Мы могли бы с таким же успехом остаться в Лондоне, – говаривал капитан Кроули с удрученным видом.

– Удобная гостиница в Брайтоне лучше долгового отделения на Чансери-лейн, – отвечала его жена, обладавшая более жизнерадостным характером. – Вспомни двух адъютантов мистера Мозеса, помощника шерифа, которые целую неделю дежурили около нашей квартиры. Наши здешние друзья не блещут умом, мой милый Родон, но мистер Джоз и капитан Купидон все же лучше, чем агенты мистера Мозеса!

– Удивляюсь, как это исполнительные листы не прислали сюда вслед за мною, – продолжал Родон все так же уныло.

– Когда их пришлют, мы сумеем ускользнуть от них, – ответила отважная маленькая Бекки и затем указала своему супругу на великое удобство и выгоду встречи с Джозом и Осборном, в результате которой Родон весьма своевременно получил небольшую толику наличных денег.

– Их едва хватит для уплаты по счету гостиницы! – проворчал гвардеец.

– А зачем нам платить? – возразила супруга, у которой на все был готов ответ.

Через лакея Родона, который по-прежнему поддерживал знакомство с мужской половиной прислуги мисс Кроули и был уполномочен при всяком удобном случае ставить ее кучеру выпивку, каждый шаг старой мисс Кроули был отлично известен нашей молодой чете. Ребекке пришла в голову счастливая мысль заболеть, и

она пригласила того же аптекаря, который пользовал старую деву, так что, в общем, супруги были осведомлены неплохо. К тому же Бригс, хоть и вынужденная занять враждебную позицию, не питала злобы к Родону и его жене. По доброте сердечной она не умела долго таить обиду, и теперь, когда причина ревности отпала, ее неприязнь к Ребекке тоже исчезла, и она помнила только ее неизменно ласковые слова и веселый нрав. Не говоря уж о том, что и она сама, и горничная миссис Феркин, и все домочадцы мисс Кроули втайне стонали под игом торжествующего тирана – миссис Бьют.

Как нередко бывает, эта хорошая, но не в меру властная женщина хватила через край и немилосердно злоупотребляла своими преимуществами. За несколько недель она довела больную до такого безропотного послушания, что несчастная всецело подчинилась распоряжениям невестки и даже не смела жаловаться на свою рабскую зависимость ни Бригс, ни Феркин. Миссис Бьют с неукоснительной аккуратностью отмеряла стаканы вина, которые мисс Кроули ежедневно дозволялось выпивать, к великому неудовольствию Феркин и дворецкого, лишенных теперь возможности распорядиться даже бутылкой хереса. Она решала, в каком количестве и в каком порядке давать мисс Кроули печенку, цыплят и сладкое. Ночью ли, днем ли, утром ли – она подавала больной отвратительные лекарства, прописанные доктором, и та глотала их так безропотно и смиренно, что Феркин говорила: «Бедная моя хозяйка принимает лекарство покорно, что твой ягненок!» Она предписывала катанье в коляске или же прогулки в портшезе – одним словом, скрутила выздоравливающую старую леди так, как и подобает распорядительной, заботливой, высоконравственной женщине. Если ее пациентка делала слабые попытки сопротивляться и просила дать ей лишний кусочек за обедом или немножко меньше лекарства, сиделка грозила ей немедленной смертью, и мисс Кроули тотчас же сдавалась. «Совсем загрустила, бедняжка, – жаловалась Феркин компаньонке, – за три недели ни разу не назвала меня дурой!» В конце концов миссис Бьют решила уволить честную горничную, а также толстого дворецкого мистера Боулса и самое Бригс и выписать своих дочерей из пасторского дома, с тем чтобы потом перевезти дорогую страдалицу в Королевское Кроули, – как вдруг произошел прискорбный случай, вынудивший миссис Бьют отказаться от ее

приятных обязанностей. Преподобный Бьют Кроули, ее супруг, возвращаясь как-то вечером домой, упал с лошади и сломал себе ключицу. У него началась лихорадка, появились признаки воспаления, и миссис Бьют пришлось оставить Сассекс и отбыть в Хэмпшир. Она пообещала вернуться к своему дражайшему другу, как только поправится Бьют, и уехала, оставив строгие указы всему дому насчет ухода за хозяйкой. Но едва она заняла свое место в саутгемптонской карете, в доме мисс Кроули все вздохнули свободно и ощутили такую радость, какой не знали уже в течение многих недель. В тот же день мисс Кроули пропустила дневной прием лекарства; в тот же день, позже, Боулс откупорил особую бутылку хереса для себя и миссис Феркин; и в тот же вечер мисс Кроули и мисс Бригс разрешили себе партию в пикет вместо чтения одной из проповедей Портиаса. Произошло то же, что в старинной детской сказочке: палка позабыла бить собаку, и все мирно и счастливо вернулись к прерванным делам.

Два-три раза в неделю, в очень ранний утренний час, мисс Бригс имела обыкновение уходить к морю, занимать кабинку и плескаться в воде в фланелевом купальном костюме и клеенчатом чепце. Ребекке, как мы знаем, было известно это обстоятельство, и хотя она не выполнила своей угрозы нырнуть под кабинку и застигнуть Бригс врасплох, под священной сенью тента, однако решила атаковать компаньонку, когда та выйдет на берег, освеженная купаньем, набравшись новых сил и, вероятно, в хорошем расположении духа.

Поэтому, поднявшись наутро очень рано, Бекки принесла в гостиную, выходящую на море, подзорную трубу и навела ее на ряд кабинок. Она увидела, как Бригс показалась, вошла в купальню и погрузилась в морские волны. Бекки очутилась на берегу как раз в ту минуту, когда нимфа, на поиски которой она явилась, ступила на прибрежную гальку. Это была премилая картина: берег, лица купальщиц, длинный ряд утесов и зданий – все алело и сверкало в сиянии солнца. Выйдя из кабинки, Бригс увидела Ребекку, которая ласково, нежно улыбалась и протягивала ей свою хорошенькую белую ручку. Что оставалось Бригс, как не принять это приветствие?

– Мисс Ш... Миссис Кроули! – сказала она.

Миссис Кроули схватила ее руку, прижала к своему сердцу и, поддавшись внезапному порыву, обняла мисс Бригс и страстно ее

поцеловала.

– Дорогой, дорогой друг! – произнесла она с таким неподдельным чувством, что мисс Бригс, разумеется, сейчас же растаяла, и даже служанка при купальне размякла.

Ребекка без труда завязала с Бригс долгий восхитительный интимный разговор. Все, что произошло, начиная с того утра, когда Бекки внезапно покинула дом мисс Кроули на Парк-лейн, и кончая долгожданным отъездом миссис Бьют, – все это мисс Бригс изложила обстоятельно и с чувством. Все признаки болезни мисс Кроули и мельчайшие подробности относительно ее состояния и лечения были описаны с той полнотой и точностью, которыми упиваются женщины. Разве дамам надоедает когда-нибудь болтать друг с другом о своих недомоганиях и докторах? Бригс это никогда не надоедало, а Ребекка слушала ее без усталости. Какое счастье, что милой, доброй Бригс, что верной, бесценной Феркин было позволено оставаться с их благодетельницей во все время ее болезни! Да благословит ее небо! Правда, она, Ребекка, как будто бы нарушила свой долг по отношению к мисс Кроули, но разве не была ее вина естественной и извинительной? Разве могла она отказать человеку, завладевшему ее сердцем? В ответ на такой вопрос сентиментальная Бригс могла лишь возвести очи к небу, испустить сочувственный вздох, вспомнить, что она тоже много лет тому назад подарила кому-то свою привязанность, и согласиться, что Ребекка вовсе уж не такая преступница.

– Могу ли я когда-нибудь позабыть ту, которая так пригрела одинокую сиротку? Нет, – говорила Ребекка, – хоть она и оттолкнула меня, я никогда не перестану ее любить, я посвящу служению ей всю свою жизнь! Милая моя мисс Бригс, я люблю и обожаю мисс Кроули больше всех женщин в мире, как свою благодетельницу и как обожаемую родственницу моего Родона. А после нее я люблю всех тех, кто предан ей! Я никогда не стала бы обращаться с верными друзьями мисс Кроули так, как поступала эта противная интриганка миссис Бьют. Родон, – продолжала Ребекка, – у которого такое нежное сердце, хотя по своим манерам и виду он и может показаться грубым и равнодушным, – Родон сотни раз говорил со слезами на глазах, что он благословляет небо за то, что у его дражайшей тетушки есть две такие изумительные сиделки, как преданная Феркин и несравненная мисс Бригс. Если же, как он весьма опасается, махинации этой

ужасной миссис Бьют приведут к тому, что от одра мисс Кроули будут изгнаны все, кого она любит, и бедная леди останется во власти этих гарпий из пасторского дома, то Ребекка просит ее (мисс Бригс) помнить, что собственный дом Ребекки, при всей его скромности, будет всегда для нее открыт.

– Дорогой друг, – воскликнула она страстно, – *иные* сердца не забывают благодеяния; *не все* женщины похожи на миссис Бьют Кроули! Впрочем, мне ли на нее жаловаться, – прибавила Ребекка, – хоть я и была орудием и жертвой ее козней, но разве не ей я обязана моим дорогим Родоном?

И Ребекка разоблачила перед мисс Бригс все поведение миссис Бьют в Королевском Кроули, которое вначале было для нее загадкой, но достаточно объяснилось впоследствии, когда вспыхнула взаимная любовь, которую миссис Бьют поощряла всеми правдами и неправдами, когда двое невинных молодых людей угодили в сети, расставленные им супругой пастора, полюбили друг друга, поженились и оказались обездоленными благодаря ее хитрым проискам.

Все это было совершенно верно, и Бригс с полной ясностью поняла, что миссис Бьют сама подстроила брак Родона и Ребекки. Но хотя последняя и оказалась невинной жертвой, однако мисс Бригс не могла скрыть от нее своего опасения, что привязанность мисс Кроули безнадежно Ребеккой утрачена и старая леди никогда не простит племяннику столь неблагоприятного брака.

На этот счет у Ребекки имелось свое собственное мнение, и она по-прежнему не теряла мужества. Если мисс Кроули не простит их сейчас, то, возможно, смилостивится в будущем. Даже и сейчас между Родоном и титулом баронета стоит только хилый, болезненный Питт Кроули. Случись с ним что-нибудь, и все будет хорошо! Так или иначе, но для нее уже было удовлетворением раскрыть все козни миссис Бьют и как следует о ней позлословить. Это могло оказаться полезным и для Родона. И Ребекка, проболтав добрый час со своим вновь обретенным другом, покинула мисс Бригс, нежно заверив ее в своем уважении и любви и не сомневаясь, что происшедший между ними разговор будет в самом скором времени передан мисс Кроули.

Между тем Ребекке пора было возвращаться в гостиницу, где все вчерашнее общество собралось за прощальным завтраком. Ребекка и

Эмилия распрощались очень нежно, как подобает двум женщинам, преданным друг другу, словно сестры; и Ребекка, неоднократно прибегнув к помощи носового платка, расцеловав подругу так, точно они расставались навеки, и намахавшись из окна платком (кстати сказать, совершенно сухим) вслед отъезжавшей карете, вернулась к столу. Уплетая креветки с большим аппетитом, если принять во внимание ее волнение, она рассказала Родону, что произошло во время ее утренней прогулки между нею и Бригс. Исполненная самых радужных надежд, она и в нем пробудила надежду. Ей почти всегда удавалось передать мужу все свои мысли, как грустные, так и радостные.

– Теперь, мой милый, будьте любезны присесть к тому столу и написать письмецо мисс Кроули, в котором сообщите ей, что вы хороший мальчик, и все такое.

И Родон сел за стол и сразу написал:

«Брайтон, четверг.  
Дорогая тетушка!..»

Но на этом воображение доблестного офицера иссякло. Он только грыз кончик пера, заглядывая в лицо жене. Та невольно рассмеялась при виде его жалобной физиономии и, заложив руки за спину, стала расхаживать по комнате, диктуя письмо, которое Родон записал с ее слов.

– «Перед тем как покинуть отчизну и выступить в поход, который, может быть, окажется роковым...»

– Что? – удивился Родон, но, уловив все же юмор этой фразы, тотчас же записал ее, ухмыляясь.

– «...который, очень может быть, окажется роковым, я прибыл сюда...»

– Почему бы не сказать: «приехал сюда», Бекки? Приехал сюда» – тоже будет правильно, – прервал ее драгун.

– «...я прибыл сюда, – твердо повторила Бекки, топнув ножкой, – чтобы сказать прости своему самому дорогому и давнишнему другу. Умоляю вас разрешить мне до того, как я уеду, быть может, навсегда, еще раз пожать ту руку, которая в течение всей моей жизни расточала мне одни только благодеяния».



– Благодеяния, – отозвался эхом Родон, выводя это слово, в полном изумлении от своего умения сочинять письма.

– «Я прошу вас об одном: простимся друзьями. Я разделяю гордость, присущую моему семейству, хотя и не во всем. Я женился на дочери художника и не стыжусь этого союза...»

– Ни капельки, вот уж несколько, разрази меня гром! – воскликнул Родон.

– Ах ты, старый глупыш, – сказала Ребекка, ущипнув мужа за ухо, и заглянула ему через плечо: не наделал ли он ошибок в правописании. – «Умоляю» не пишется через «а», но «давнишний» – пишется!

И Родон переправил эти слова, преклоняясь перед глубокими познаниями своей маленькой хозяйки.

– «Я думал, что вы были осведомлены о моей привязанности, – продолжала Ребекка. – Я знал, что миссис Бьют Кроули всячески укрепляла и поощряла ее. Но я никого не упрекаю. Я женился на бедной девушке и не жалею об этом. Оставьте ваше состояние, милая тетя, кому захотите. Я *никогда* не посетую на то, как вы им распорядитесь. Поверьте, что я люблю вас, а не ваши деньги. Я желал бы помириться с вами, прежде чем покинуть Англию. Позвольте мне повидать вас до моего отъезда. Пройдет несколько недель, несколько месяцев, и, быть может, будет уже поздно. Меня убивает мысль, что придется покинуть родину, не услышав от вас ласкового прощального приветя».

– В *таком* письме она не узнает моего слога, – заметила Бекки. – Я нарочно придумывала фразы покороче и поэнергичнее.

И письмо было отправлено тетушке, в конверте, адресованном мисс Бригс.

Старая мисс Кроули рассмеялась, когда Бригс с большой таинственностью вручила ей это простодушное и искреннее послание.

– Теперь, когда миссис Бьют уехала, можно и почитать, что он пишет, – сказала она. – Прочтите мне, Бригс.

Когда Бригс закончила чтение, ее покровительница расхохоталась еще веселее.

– Как вы не понимаете, дуреха вы этакая, – сказала она Бригс, которую письмо, казалось, растрогало своей искренностью, – как вы

не понимаете, что сам Родон не писал тут ни единого слова! Он в жизни не писал мне ничего, кроме просьб о деньгах, и все его письма перемазаны, полны ошибок и отличаются дурным слогом. Это им вертит эта маленькая змея-гувернантка! («Все они одинаковы, – подумала про себя мисс Кроули. – Все они жаждут моей смерти и зарятся на мои деньги!») Я ничего не имею против свидания с Родоном, – прибавила она, немного помолчав, тоном полнейшего равнодушия. – Пожать руку или нет – мне все равно. Если только не будет никакой сцены, то почему бы нам и не встретиться? Пожалуйста. Но человеческое терпение имеет свои границы. И потому запомните, моя дорогая: я почтительно отказываюсь принимать миссис Родон... что другое, а это мне не по силам.

И мисс Бригс пришлось удовольствоваться тем, что ее хлопоты увенчались успехом лишь наполовину. Торопясь свести старуху с племянником, она решила предупредить Родона, чтобы он подждал тетюшку на Утесе, когда мисс Кроули отправится в своем портшезе подышать воздухом.

Там они и встретились. Не знаю, дрогнуло ли у мисс Кроули сердце при виде ее прежнего любимца, но она протянула ему два пальца с таким веселым и добродушным видом, словно они встречались всего лишь накануне. Что же касается Родона, то он покраснел, как кумач, и чуть не оторвал мисс Бригс руку, так обрадовала и смутила его эта встреча.

Быть может, его взволновали корыстные чувства, а быть может, и любовь; может быть, он был тронут той переменной, которую произвела в его тетюшке болезнь.

– Старуха всегда меня баловала, – рассказывал он потом жене, – и мне, понимаешь, стало как-то неловко и все такое. Я шел рядом с этим, как это называется... и дошел до самых ее дверей, а там Боулс вышел, чтобы помочь ей войти в дом. И мне тоже страшно хотелось зайти, но только...

– И ты *не зашел*, Родон! – взвизгнула его жена.

– Нет, моя дорогая! Хочешь верь, хочешь нет, но, когда до этого дошло, я испугался!

– Дурак! Ты должен был войти и уже никогда не уходить! – воскликнула Ребекка.

– Не ругай меня, – угрюмо проговорил гвардеец. – Может быть, я и дурак, Бекки, но тебе не следовало бы так говорить. – Взгляд, который он метнул на жену, свидетельствовал о неподдельном гневе и не сулил ничего хорошего.

– Ну, полно, полно, голубчик! – сказала Ребекка, стараясь успокоить своего разгневанного повелителя. – Но завтра ты опять ее подстереги и уж зайди к ней обязательно, даже если она тебя не пригласит. – На что Родон ответил, что поступит, как ему заблагорассудится, и будет весьма признателен, если она станет выражаться повежливее. Затем оскорбленный супруг удалился и провел все утро в бильярдной – мрачный, надутый и молчаливый.

Но не успел закончиться этот вечер, как Родону пришлось, по обыкновению, отдать должное высшей мудрости и дальновидности своей жены, ибо ее предчувствия относительно последствий допущенной им ошибки подтвердились самым печальным образом. Мисс Кроули, несомненно, взволновалась, встретившись с племянником и пожав ему руку после столь длительного разрыва. Она долго размышляла об этой встрече.

– Родон очень потолстел и постарел, Бригс, – сказала она компаньонке. – Нос у него стал красный, и весь он ужасно погрубел. Женитьба на этой женщине безнадежно его опошшила. Миссис Бьют уверяла меня, что оба они выпивают. И я не сомневаюсь, что так оно и есть. Да! От него разлило джином. Я это заметила. А вы?

Тщетно Бригс возражала, что миссис Бьют обо всех отзывается плохо; и если ей, Бригс, дозволено высказать свое скромное мнение, так ведь и сама миссис Бьют...

– Хитрая интриганка? Да, это правда, и она обо всех говорит только дурное, но я уверена, что та женщина спаивает Родона. Все эти люди низкого происхождения...

– Он был очень растроган, когда увидел вас, сударыня, – сказала компаньонка, – и если вы вспомните, что он отправляется на поле брани...

– Сколько он посулил вам, Бригс? – вскричала старая дева, взвинчивая себя до нервного иступления. – Ну вот, а теперь вы, конечно, разреветесь! Ненавижу сцены! За что только меня всегда расстраивают? Ступайте плакать к себе в комнату, а ко мне пришлите

Феркин... Нет, стойте! Садитесь за стол, высморкайтесь, перестаньте реветь и напишите письмо капитану Кроули!

Бедная Бригс послушно уселась за бювар, испещренный следами твердого, уверенного, быстрого почерка последнего секретаря старой девы – миссис Бьют Кроули.

– Начните так: «Дорогой мистер Кроули», или нет: «Дорогой сэр», – этак будет лучше, и напишите, что мисс Кроули... нет, доктор мисс Кроули, мистер Криммер, поручил вам сообщить, что здоровье мое в таком состоянии, что сильное волнение может мне быть опасно, и потому я вынуждена отказаться от всяких семейных переговоров и каких бы то ни было свиданий. Затем поблагодарите его за приезд в Брайтон и так далее и попросите не оставаться здесь дольше из-за меня. И еще, мисс Бригс, можете добавить, что я желаю ему *bon voyage*<sup>[175]</sup> и что, если он потрудится зайти к моим поверенным на Грейз-Инн-сквер, он найдет там для себя весточку. Да, это все. И это заставит его уехать из Брайтона.

Доброжелательная Бригс с величайшим удовольствием написала последнюю фразу.

– Захватить меня врасплох, чуть только уехала миссис Бьют! – возмущалась старуха. – Полнейшее неприличие! Бригс, дорогая моя, напишите миссис Кроули, чтобы она *не трудилась* приезжать. Да, да. Может не трудиться... нечего ей приезжать... Я не хочу быть рабой в собственном доме... не хочу, чтобы меня морили голодом и пичкали отравой. Все они хотят убить меня... все... все! – И одинокая старуха истерически разрыдалась.

Последняя сцена плачевной комедии, которую она играла на подмостках Ярмарки Тщеславия, быстро приближалась. Пестрые фонарики гасли один за другим, и темный занавес готов был опуститься.

Заключительная фраза письма, отсылавшая Родона к поверенному мисс Кроули в Лондоне и так охотно написанная мисс Бригс, несколько утешила драгуна и его супругу в их горе, вызванном отказом старой девы в примирении, и произвела то именно действие, на которое и была рассчитана, – то есть заставила Родона весьма поспешно выехать в Лондон.

Проигрышами Джоза и банковыми билетами Джорджа Осборна он уплатил по счету в гостинице, владелец которой, должно быть, и по сей день не знает, как легко он мог лишиться этих денег. Дело в том, что Ребекка, подобно генералу, который перед битвой отсылает свой обоз в тыл, предусмотрительно уложила наиболее ценные вещи и отослала их с почтовой каретой, под охраной лакея Осборнов, которому было поручено доставить в Лондон сундуки своих господ. Родон с супругой вернулись в город на следующий день в той же карете.

– Мне жаль, что я не повидал старушку перед отъездом, – сказал Родон. – Она так осунулась, так изменилась, что, наверно, долго не протянет. Интересно, какой же чек я получу у Уокси? Фунтов двести... наверно, не меньше двухсот... ты как думаешь, Бекки?

Памятуя частые визиты адъютантов мидлсекского шерифа, Родон с женой не вернулись к себе на квартиру в Бромптоне, а остановились в гостинице. Ребекке представился случай увидеть этих джентльменов на следующий день рано утром, по дороге к дому старой миссис Седли в Фулеме, куда она отправилась навестить свою милочку Эмилию и брайтонских друзей. Однако все они уже выехали в Чатем, а оттуда в Харидж, чтобы отплыть с полком в Бельгию, – дома была только старушка миссис Седли, одинокая и плачущая.

Когда Ребекка вернулась к себе в гостиницу, ее муж успел уже побывать в Грейз-Инне и узнать свою судьбу.

– Черт подери, Бекки, – крикнул он в бешенстве, – она дала мне всего двадцать фунтов!

Над ними жестоко подшутили, но шутка была так хороша, что Бекки громко рассмеялась, глядя на расстроенную физиономию Родона.

## Глава XXVI

### Между Лондоном и Чатемом

Покинув Брайтон, наш друг Джордж, как и подобало знатной особе, путешествующей в коляске четверкой, важно подкатил к прекрасной гостинице на Кэвендиш-сквер, где для этого джентльмена и его молодой жены был уже приготовлен ряд великолепных комнат и превосходно сервированный стол, окруженный полдюжиной безмолвных черных слуг. Джордж принимал Джоза и Доббина с видом вельможи, а робкая Эмилия в первый раз сидела на месте хозяйки «за своим собственным столом», по выражению Джорджа.

Джордж браковал вино и третировал слуг совсем по-королевски; Джоз с громадным наслаждением поглощал суп из черепахи. Суп разливал Доббин, потому что хозяйка, перед которой стояла миска, была так неопытна, что собиралась налить мистеру Седли супу, забыв положить в него столь лакомого черепашьего жиру.

Великолепие пира и апартаментов, в которых он происходил, встревожило мистера Доббина, и после обеда, когда Джоз уснул в большом кресле, он попробовал образумить своего друга. Но напрасно он восставал против черепахи и шампанского, уместных разве что на столе архиепископа.

– Я привык путешествовать как джентльмен, – возразил Джордж, – и моя жена, черт возьми, будет путешествовать как леди. Пока у меня есть хоть грош в кармане, она ни в чем не будет нуждаться, – сказал наш благородный джентльмен, вполне довольный своим великодушием. И Доббин отступился и не стал его убеждать, что для Эмилии счастье заключается не в супе из черепахи.

Вскоре после обеда Эмилия робко выразила желание съездить навестить свою мать в Фулеме, на что Джордж, немного поворчав, дал разрешение. Она побежала в огромную спальню, посреди которой стояла огромная, как катафалк, кровать («на ней спала сестра императора Александра, когда сюда приезжали союзные монархи»), и с чрезвычайной поспешностью и радостью надела шляпку и шаль. Когда она вернулась в столовую, Джордж все еще пил красное вино и не обнаружил ни малейшего желания двинуться с места.

– Разве ты со мной не поедешь, милый? – спросила она.

Нет, у «милого» были в этот вечер «дела». Его лакей наймет ей карету и проводит ее. Карета подкатила к подъезду гостиницы, и Эмилия, сделав Джорджу несколько разочарованный реверанс и напрасно взглянув раза два ему в лицо, печально спустилась вниз по большой лестнице. Капитан Доббин последовал за нею, усадил ее и проводил взглядом отъехавший экипаж. Даже лакей постыдился назвать кучеру адрес, пока его могли слышать гостиничные слуги, и обещал дать нужные указания дорогой.

Доббин пошел пешком на свою старую квартиру у Слотера, вероятно, думая о том, как восхитительно было бы сидеть в этой наемной карете рядом с миссис Осборн. У Джорджа, очевидно, были другие вкусы: выпив достаточное количество вина, он отправился в театр смотреть Кипа в роли Шейлока. (Капитан Осборн был записной театрал и сам успешно исполнял комические роли в гарнизонных спектаклях.) Джоз проспал до позднего вечера и проснулся лишь оттого, что слуга с некоторым шумом убирал со стола графины, опоражнивая те, в которых еще что-то плескалось; была вызвана еще одна карета, и тучного героя отвезли домой, прямо в постель.

Можете быть уверены, что, как только карета подкатила к маленькой садовой калитке, миссис Седли выбежала из дому навстречу плачущей и дрожащей Эмилии и прижала ее к сердцу с пылкой материнской нежностью. Старый мистер Клеп, работавший без сюртука в своем садике, смущенно скрылся. Молодая ирландка-прислуга выскочила из кухни и с улыбкой приветствовала гостью. Эмилия едва могла дойти до дверей и подняться по лестнице в гостиную своих родителей.

Если читатель обладает хотя бы малейшей чувствительностью, он легко себе представит, как раскрылись все шлюзы и как мать с дочерью плакали, обнимаясь в этом святилище. Да и когда женщины не плачут – в каких радостных, печальных или каких-нибудь иных случаях жизни? А уж после такого события, как свадьба, мать и дочь, конечно, имеют полное право дать волю своей чувствительности; это так сладостно и так облегчает! Я знал женщин, которые целовались и плакали по случаю свадьбы, даже будучи заклятыми врагами. Насколько же они больше волнуются, если любят друг друга! Добрые

матери вторично выходят замуж на свадьбах своих дочерей. Относительно же дальнейших событий – кто не знает, какими сверхматеринскими чувствами наделены все бабушки? В самом деле, пока женщина не сделается бабушкой, она часто не знает даже, что значит быть матерью. Не будем же мешать Эмилии и ее матери, которые шепчутся и охают, смеются и плачут в сумерках гостиной. Старый мистер Седли так и поступил. Он-то не догадался, кто был в карете, которая подъехала к их дому. Он не выбежал навстречу своей дочери, хотя горячо расцеловал ее, когда она вошла в комнату (где он был, по обыкновению, занят своими бумагами, счетами и документами), и, посидев немного с матерью и дочерью, благоразумно предоставил маленькую гостиную в их полное распоряжение.

Лакей Джорджа высокомерно взирал на мистера Клепа, в одном жилете поливавшего розы. Однако перед мистером Седли он снисходительно снял шляпу. Старик расспрашивал его о своем зяте, о карете Джоза, о том, брал ли тот своих лошадей в Брайтон, о коварном предателе Бонапарте и о войне, пока из дома не вышла девушка-ирландка с закуской и бутылкой вина. Тогда старый джентльмен угостил лакея и вдобавок дал ему золотую монету, которую лакей сунул в карман со смешанным чувством удивления и презрения.

– За здоровье вашего хозяина и хозяйки, Троттер, – сказал мистер Седли, – а вот на это выпейте за свое собственное здоровье, Троттер, когда вернетесь домой.

Всего лишь девять дней прошло с тех пор, как Эмилия покинула это смиренное жилище, а как далеко казалось то время, когда она простилась с ним! Какая пропасть легла между нею и этой прошлой жизнью! Теперь она могла оглянуться назад и словно со стороны увидеть молоденькую девушку, всецело поглощенную любовью и отвечающую на родительскую нежность нельзя сказать чтобы неблагодарностью, но равнодушием, в то время как все ее помыслы были сосредоточены на одной желанной цели. Воспоминание о тех днях, еще таких недавних, но уже ушедших так далеко, пробудило в ней чувство стыда, и вид добрых родителей наполнил ее раскаянием. Приз был выигран, небесное блаженство достигнуто, – так неужели же победителя по-прежнему терзали сомнения и неудовлетворенность? Когда герой и героиня переступают брачный



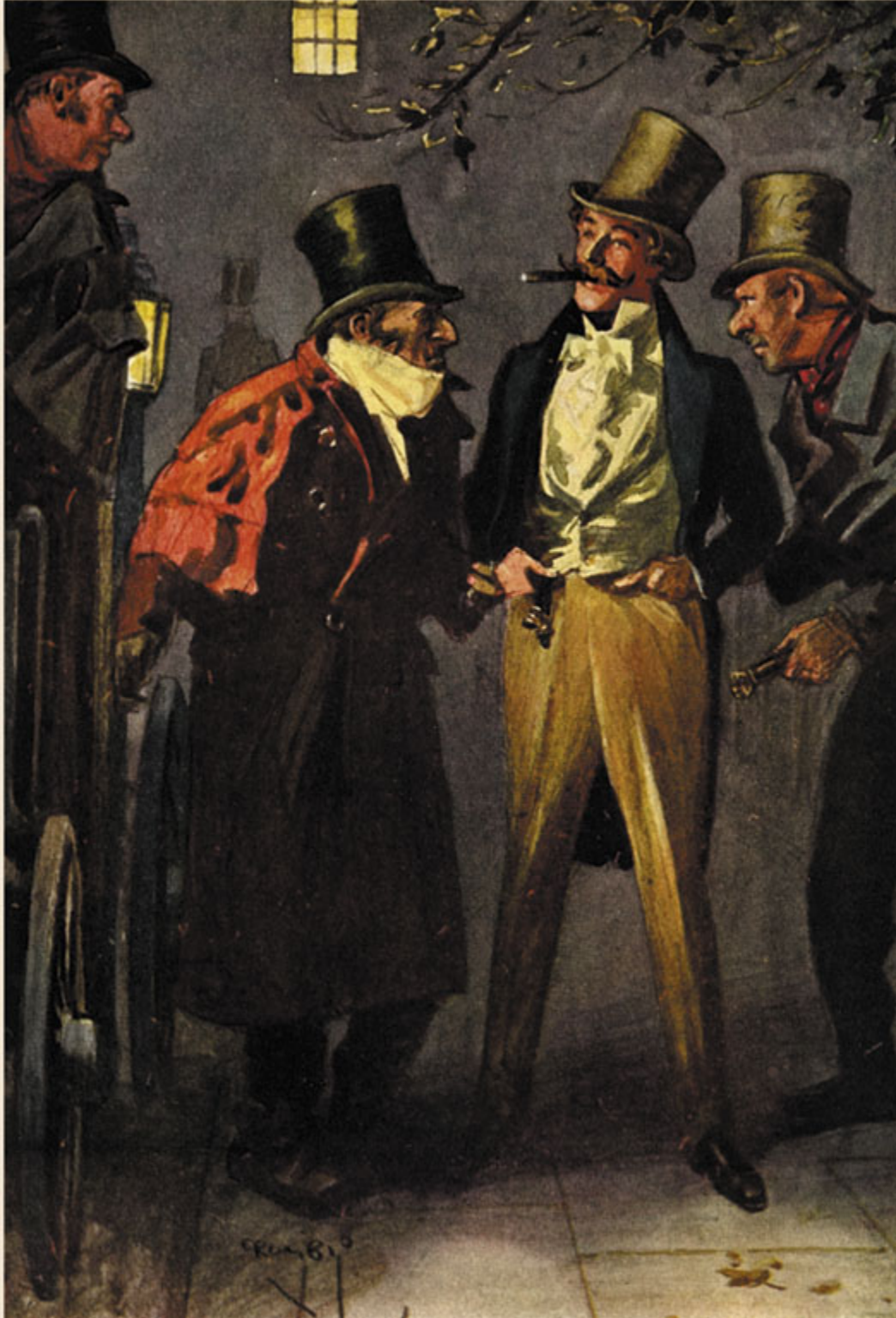
порог, романист обычно опускает занавес, как будто драма уже доиграна, как будто кончились сомнения и жизненная борьба, как будто супругам, поселившимся в новой, брачной стране, цветущей и радостной, остается только, обнявшись, спокойно шествовать к старости, наслаждаясь счастьем и полным довольством. А между тем наша маленькая Эмилия, едва ступив на берег этой новой страны, уже с тревогой оглядывалась назад, на покинутых друзей, посылавших ей прощальный привет с другого, далекого берега.

В честь приезда новобрачной мать сочла нужным приготовить праздничное угощение, а потому после первых же излиятий оставила на минуту миссис Джордж Осборн и побежала в подвальный этаж, в своего рода кухню-гостиную (где обитали мистер и миссис Клеп и куда по вечерам, закончив мытье посуды и сняв папильотки, приходила посидеть служанка мисс Фленниган); там она занялась приготовлением чая с разными вкусными вещами. У каждого есть свои способы выражать нежные чувства: миссис Седли казалось, что горячая сдобная булочка и апельсинное варенье на хрустальном блюдечке будут сейчас особенно приятны Эмилии.

Пока внизу готовились эти лакомства, Эмилия, покинув гостиную, поднялась вверх по лестнице и, сама не зная как, очутилась в комнатке, в которой жила до замужества, в том самом кресле, где она провела так много горьких часов. Она упала в кресло, как в объятия старого друга, и задумалась о минувшей неделе и о прежней своей жизни. Уже теперь печально и растерянно оглядываться назад, всегда томиться о чем-то и, достигнув желанного, испытать больше сомнений и скорби, чем радости, – вот что суждено было этой бедняжке, этой смиренной страннице, заблудившейся в огромной, шумной толпе на Ярмарке Тщеславия.

Так она сидела у себя в комнате, любовно воскрешая в мыслях образ Джорджа, перед которым преклонялась до замужества. Сознавала ли она, насколько отличался Джордж, каким он был в действительности, от великолепного юного героя, которого она боготворила? Должно пройти много-много лет, – да и человек должен быть уж очень плох, – чтобы гордость и тщеславие женщины позволили ей сознаться в этом. Затем перед мысленным взором Эмилии появились веселые зеленые глаза и неотразимая улыбка Ребекки, и ей стало страшно. Так просидела она еще несколько

времени, предаваясь обычным грустным мыслям о своей судьбе, – такая же печальная и безучастная, какой застала ее простодушная прислуга-ирландка в тот день, когда принесла письмо Джорджа, в котором он снова просил ее стать его женой.



Эмилия посмотрела на белую постельку, где она спала всего несколько дней назад, и подумала, как было бы хорошо поспать в ней эту ночь и, проснувшись утром, как прежде, увидеть мать,

склоненную над ней с улыбкой. Затем она с ужасом вспомнила громадный парчовый катафалк в большой торжественной спальне, ожидавший ее в роскошной гостинице на Кэвендиш-сквер. Милая белая постелька! Сколько долгих ночей проплакала она на ее подушках! Как она отчаивалась, как мечтала умереть! Но теперь разве не исполнились все ее желания и разве ее возлюбленный, соединиться с которым она уже потеряла надежду, не принадлежит ей навеки? Добрая мама! Как нежно и терпеливо дежурила она у этого изголовья! Эмилия подошла и опустилась на колени около постели. И эта болезненно-робкая, но кроткая и любящая душа пыталась найти утешение в том, в чем – нужно сознаться – она его редко искала. До сих пор ее религией была любовь; а теперь опечаленное, раненое, разочарованное сердце ощутило потребность в ином утешителе.

Имеем ли мы право повторять или подслушивать ее молитвы? Нет, друзья мои, это тайна, и нельзя разглашать ее на Ярмарке Тщеславия, о которой пишется наша повесть.

Однако следует сказать, что, когда Эмилию позвали наконец к чаю, наша юная леди чувствовала себя гораздо бодрее; она уже не приходила в отчаяние, не оплакивала свою судьбу, не думала о холодности Джорджа или о глазах Ребекки. Она сошла вниз, расцеловала отца и мать, поговорила со стариком и даже развеселила его. Потом уселась за фортепьяно, купленное для нее Доббином, и пропела отцу все его любимые старые песенки. Чай она нашла превосходным и расхвалила изысканный вкус, с каким варенье разложено по блюдецкам. Решив сделать всех счастливыми, она и сама почувствовала себя счастливой и вечером крепко заснула в своем огромном катафалке, а проснулась, улыбаясь, лишь тогда, когда Джордж вернулся из театра.

На следующий день у Джорджа было гораздо более важное «дело», чем смотреть мистера Кина в роли Шейлока. Тотчас по прибытии в Лондон он написал поверенным своего отца, милостиво сообщая о своем намерении увидеться с ними на следующий день. Счета в гостинице, а также проигрыши на бильярде и в карты капитану Кроули почти истощили кошелек молодого человека. Прежде чем отправиться в путешествие, его следовало пополнить, а у Джорджа не было других путей, как тронуть капитал в две тысячи фунтов стерлингов, который поверенным было поручено выплатить

ему. В глубине души Джордж был уверен, что отец скоро смягчится. Какой родитель мог устоять против такого совершенства, как он? Если же не удастся смягчить отца своими прошлыми заслугами, то Джордж решил так необычайно отличиться в предстоящей кампании, что старый джентльмен должен будет уступить. А если нет? Ну что ж – перед ним открыт весь мир. Может быть, ему начнет везти в карты, да и двух тысяч хватит надолго.

И вот он снова отправил Эмилию в карете к ее матери со строгим распоряжением и *carte blanche* обеим дамам закупить все необходимое для такой леди, как миссис Джордж Осборн, отправляющейся в заграничное путешествие. У них был на это всего один день, и можно себе представить, как оживленно они его провели. Разъезжая в карете, как в былые времена, торопясь от портнихи в магазин белья, провожаемая за порог раболепными приказчиками и услужливыми владельцами, миссис Седли словно воскресла и впервые со времени их разорения чувствовала себя по-настоящему счастливой. Да и самой миссис Эмилии не было чуждо удовольствие ездить по магазинам, торговаться, рассматривать и покупать красивые вещи. (Какой мужчина, пусть даже наиболее философски настроенный, даст два пенса за женщину, которая выше этого?) Исполняя приказания мужа, Эмилия сама наслаждалась и накупила гору дамских нарядов, обнаружив большой вкус и требовательность, как уверяли в один голос приказчики.

Что касается предстоящей войны, то миссис Осборн не очень ее боялась. Бонапарт, конечно, будет разбит почти без боя. Из Маргета ежедневно отходили суда, переполненные знатными джентльменами и леди, ехавшими в Брюссель и Гент. Люди отправлялись не столько на войну, сколько на увеселительную прогулку. Газеты глумились над недостойным выскочкой и проходимцем. Да разве этот жалкий корсиканец мог противостоять европейским армиям и гению бессмертного Веллингтона! Эмилия относилась к Бонапарту с полным презрением. Нечего и говорить, что это нежное и кроткое создание заимствовало свои взгляды от окружающих, в своей преданности она была слишком скромна, чтобы мыслить самостоятельно. В общем, она и миссис Седли провели восхитительный день в модных лавках, и Эмилия с большим

увлечением и с большим успехом дебютировала в лондонском элегантном мире.

Между тем Джордж, в фуражке набекрень, расправив плечи, с дерзким, воинственным видом отбыл на Бедфорд-роу и гордо вошел в контору поверенного, как будто был властителем всех бледнолицых клерков, работавших в ней. Он приказал известить мистера Хигса, что его ожидает капитан Осборн, причем говорил таким покровительственным и высокомерным тоном, как будто этот штафирка-адвокат, который был втрое умнее его, в пятьдесят раз богаче и в тысячу раз опытнее, являлся просто жалким подчиненным, обязанным немедленно бросить все дела, чтобы услужить капитану. Он не заметил презрительного смейка, пробежавшего по комнате от старшего клерка к практикантам, от практикантов к оборванным писцам и бледным посыльным в слишком узких куртках. Джордж сидел, постукивая тростью по сапогу и думая о том, какие они все жалкие твари. А жалкие твари были отлично осведомлены обо всех его делах. Они толковали о них с другими клерками, сидя по вечерам в трактирах за пинтой пива. Господи! Чего только не знают лондонские поверенные и их клерки! Ничто не скроется от их любопытства, и они, оставаясь в тени, на самом деле управляют нашей столицей.

Может быть, входя в кабинет мистера Хигса, Джордж ожидал, что этот джентльмен передаст ему поручение от отца, какие-нибудь условия для мировой сделки. Может быть, он хотел, чтобы его холодность и высокомерное обращение были приняты за энергию и решительность. Но, как бы там ни было, поверенный встретил его таким ледяным равнодушием, что надменные замашки Джорджа потеряли всякий смысл. Когда он вошел в комнату мистера Хигса, поверенный сделал вид, что занят составлением какого-то документа.

– Прошу садиться, сэр, – сказал он, – я через минуту займусь вашим дельцем. Мистер По, достаньте, пожалуйста, нужные бумаги! – И он снова погрузился в писание.

По принес бумаги; его принципал исчислил стоимость облигаций в две тысячи фунтов стерлингов по курсу дня и спросил капитана Осборна, желает ли он получить свои деньги в виде чека на банк или же даст распоряжение о покупке на эту сумму ценных бумаг.

– Одного из душеприказчиков покойной миссис Осборн нет сейчас в городе, – промолвил он равнодушно, – но мой клиент готов идти навстречу вашим желаниям и окончить дело как можно скорее.

– Дайте мне чек, сэр, – ответил угрюмо капитан. – К черту шиллинги и полупенсы, сэр! – добавил он, когда адвокат начал точно вычислять сумму чека; и, льстя себя надеждой, что этим великодушным жестом он пристыдил старого чудака, Джордж гордо вышел из комнаты с бумагой в кармане.

– Через два года этот молодец будет в долговой тюрьме, – заметил мистер Хигс мистеру По.

– А вы не думаете, сэр, что мистер Осборн смягчится?

– Вы еще спросите, не смягчится ли гранитная колонна! – отвечал мистер Хигс.

– Этот далеко пойдет, – сказал клерк. – Он женат всего неделю, а я видел, как вчера после спектакля он вместе с другими офицерами подсаживал в карету миссис Хайф-Лайер.

Тут доложили о другом клиенте, и мистер Джордж Осборн исчез из памяти этих почтенных джентльменов.

Чек был выдан на контору наших знакомых Халкера и Буллока на Ломбард-стрит, куда Джордж и направил путь, все еще воображая, что делает дело, и где получил свои деньги. Когда Джордж вошел в контору, Фредерик Буллок, эсквайр, склонив желтое лицо над бухгалтерской книгой, давал указания писавшему в ней что-то скромному клерку. Едва он увидел капитана, его желтое лицо приняло еще более восковой оттенок, и он виновато проскользнул в заднюю комнату. Джордж так жадно рассматривал полученные деньги (у него еще никогда не бывало в руках такой большой суммы), что не заметил ни мертвенно-бледной физиономии поклонника своей сестры, ни его поспешного бегства.

Фред Буллок, ежедневно обедавший теперь на Рассел-сквер, описал старику Осборну визит и поведение его сына.

– Он явился с нахальным видом, – закончил Фредерик, – и забрал все до последнего шиллинга. Надолго ли хватит такому молодцу нескольких сот фунтов стерлингов?

Осборн выругался и заявил, что ему дела нет до того, скоро ли его сын растратит деньги. Но Джордж в общем остался доволен тем, как устроил свои дела. Весь его багаж и обмундирование были быстро

собраны, и он с щедростью лорда оплатил покупки Эмилии чеками на своих агентов.



## Глава XXVII, *в которой Эмилия прибывает в свой полк*

Когда щегольская коляска Джоза подкатила к подъезду гостиницы в Чатеме, первое, что заметила Эмилия, было радостное лицо капитана Доббина, который уже целый час прогуливался по улице в ожидании приезда друзей. Капитан, в мундире с нашивками, в малиновом поясе и при сабле, имел такую воинственную осанку, что толстяк Джоз начал гордиться знакомством с ним и приветствовал капитана с сердечностью, которая сильно отличалась от его обращения в Брайтоне или на Бонд-стрит.

Рядом с капитаном стоял прапорщик Стабл; как только коляска приблизилась к гостинице, у него вырвалось восклицание: «Ох, какая красавица!» – выразившее чрезвычайное одобрение выбору мистера Осборна. И действительно, Эмилия, одетая в свою свадебную ротонду и шляпку с розовыми лентами, раздумывая от быстрой езды на чистом воздухе, была так прелестна и свежа, что вполне оправдывала комплимент прапорщика. Доббин мысленно готов был расцеловать Стабла. Помогая Эмилиии выйти из экипажа, Стабл заметил, какую прелестную ручку она подала ему и какая очаровательная ножка легко ступила на землю. Он густо покраснел и сделал самый изящный поклон, на какой только был способен. Эмилия, заметив номер \*\*\* полка, вышитый на его фуражке, вспыхнула и отвечала, с своей стороны, улыбкой и реверансом, что окончательно стубило прапорщика. Доббин с этого дня сделался особенно ласков к мистеру Стаблу и вызывал его на разговоры об Эмилиии, когда они вместе гуляли или навещали друг друга. Среди всей славной молодежи \*\*\* полка вошло в моду восхищаться миссис Осборн и обожать ее. Ее безыскусственные манеры и скромное, приветливое обращение завоевали их простые сердца; трудно описать всю ее скромность и очарование. Но кто из вас не наблюдал этих качеств в женщинах и не наделял их бездной и других достоинств, хотя единственное, что вы слышали от такой особы, было, что она уже приглашена на

следующую кадрили или что сегодня очень жарко? Джордж, и без того всегда и во всем первый в полку, еще больше поднялся во мнении полковой молодежи: он проявил благородство, женившись на бесприданнице, и к тому же выбрал себе прелестную спутницу жизни.

В гостиной, куда вошли наши путники, Эмилия, к своему удивлению, нашла письмо, адресованное супруге капитана Осборна. Это была треугольная записочка на розовой бумаге, щедро запечатанная голубым сургучом с оттиском голубка и оливковой ветви и надписанная крупным, хотя и неуверенным женским почерком.

– Это каракули Пегги О’Дауд, – сказал, смеясь, Джордж. – Узнаю письмо по сургучным кляксам! – Действительно, это была записка от жены майора О’Дауда, просившей миссис Осборн доставить ей удовольствие провести у нее этот вечер в дружеском кругу.

– Обязательно пойди, – сказал Джордж. – Там ты познакомишься со всем полком. О’Дауд командует нашим полком, а Пегги командует О’Даудом.

Но не успели они посмеяться над письмом миссис О’Дауд, как дверь распахнулась, и в комнату вошла полная и живая леди в амазонке в сопровождении двух «наших» офицеров.

– Я была просто не в состоянии дожидаться вечера. Джордж, милый друг, познакомьте меня с вашей женой! Сударыня, я счастлива познакомиться с вами и представить вам моего мужа, майора О’Дауда. – И веселая леди в амазонке горячо пожала руку Эмилии, которая сразу догадалась, что перед нею та самая особа, над которой так часто посмеивался Джордж.

– Вы, конечно, не раз слышали обо мне от вашего мужа, – оживленно сказала леди.

– Не раз слышали о ней, – как эхо, отозвался ее муж, майор.

Эмилия с улыбкой отвечала, что она действительно слышала о ней.

– И, конечно, он говорил вам обо мне всякие гадости, – продолжала миссис О’Дауд, прибавив, что «этот Джордж – негодный человек».

– В этом я готов поручиться, – сказал майор с таким хитрым видом, что Джордж расхохотался. Но тут миссис О’Дауд, взмахнув

стеком, велела майору замолчать, а затем попросила представить ее миссис Осборн по всей форме.

– Дорогая моя, – произнес Джордж торжественно, – это мой добрый, хороший и чудесный друг Орилия Маргарита, иначе Пегги...

– Истинная правда, – вставил майор.

– Иначе Пегги, супруга майора нашего полка, Майкла О’Дауда, и дочь Фицджералда Берсфорда де Бурго Мелони рода Гленмелони, в графстве Килдэр.

– И Мериан-сквер в Дублине, – добавила леди со спокойным достоинством.

– И Мериан-сквер, конечно, – пролепетал майор.

– Там вы и начали ухаживать за мной, мой милый майор, – сказала леди, и майор согласился с этим, как соглашался со всем, что говорила его супруга.

Майор О’Дауд, служивший своему королю во всех уголках земли и за каждое повышение по службе плативший более чем равноценными ратными подвигами, был очень скромный, молчаливый, застенчивый и мягкий человек, во всем послушный жене, как мальчик на побегушках. В офицерской столовой он сидел молча и много пил. Напившись, он также молча плелся домой. Говорил он только затем, чтобы со всеми во всем соглашаться. Таким образом, он безмятежно и легко проходил свой жизненный путь. Жгучее солнце Индии ни разу не заставило его разгорячиться, его спокойствия не могла поколебать даже валхеренская лихорадка<sup>[176]</sup>. Он шел на батарею так же невозмутимо, как к обеденному столу; с одинаковым удовольствием и аппетитом ел черепаховый суп и конину. У него была старушка мать, миссис О’Дауд из О’Даудстауна, которую он всегда во всем слушался, за исключением тех двух случаев, когда бежал из дому, чтобы поступить в солдаты, и когда решил жениться на этой ужасной Пегги Мелони.

Пегги была одной из пяти дочерей и одиннадцати чад благородного дома Гленмелони. Ее муж хотя и приходился ей родственником, но с материнской стороны и потому не обладал неопределимым преимуществом принадлежать к семейству Мелони, которое она считала самым аристократическим в мире. Проведя девять сезонов в Дублине и два в Бате и Челтнеме и не найдя там себе спутника жизни, мисс Мелони приказала своему кузену жениться на

ней, когда ей было уже около тридцати трех лет, и честный малый послушался и увез ее в Вест-Индию командовать дамами \*\*\* полка, в который он только что был переведен.

Не успела миссис О'Дауд провести и полчаса в обществе Эмилии (впрочем, это бывало и во всяком другом обществе), как уже выложила своему новому другу все подробности своего рождения и родословной.

– Дорогая моя, – сказала она добродушно, – когда-то мне очень хотелось, чтобы Джордж стал моим братом, – моя сестра Глорвина прекрасно подошла бы ему. Но что прошло, то прошло. Он оказался уже помолвлен с вами, так что вместо брата я нашла сестру, и я так и буду смотреть на вас и любить вас, как члена семьи. Честное слово, у вас такое прелестное доброе личико и обращение, что, я уверена, мы сойдемся и вы будете украшением нашей полковой семьи.

– Конечно, будет, – одобрительно подтвердил О'Дауд.

И Эмилия была немало удивлена и благодарна, неожиданно обрета столь многочисленных родственников.

– Мы все здесь добрые товарищи, – продолжала супруга майора. – Нет другого полка в армии, где бы вы нашли такое дружное общество или такое уютное офицерское собрание. У нас нет ни ссор, ни дразг, ни злословия, ни сплетен. Мы все любим друг друга.

– Особенно миссис Медженис, – сказал, смеясь, Джордж.

– С женой капитана Меджениса мы помирились, хотя она обращается со мной так, что есть от чего поседеть раньше времени.

– А ты-то купила себе такую великолепную черную накладку! – воскликнул майор.

– Мик, придержи язык, противный! Эти мужья вечно во все вмешиваются, дорогая миссис Осборн. А что касается моего Мика, я часто говорю ему, чтобы он открывал рот, только когда отдает команду да когда ест или пьет. Когда мы останемся одни, я расскажу вам про наш полк и предостерегу вас кой от чего. Теперь познакомьте меня с вашим братом; он бравый кавалер и напоминает мне моего кузена Дена Мелони (Мелони из рода Белимелони, моя дорогая, – знаете, того, что женился на Офелии Скулли из Устрис-Тауна, кухне лорда Поллуди). Мистер Седли, я счастлива познакомиться с вами. Надеюсь, вы обедаете сегодня в офицерском собрании? (Не забудь этого чертова доктора, Мик, и, ради бога, не напивайся до вечера.)

– Сегодня стопятидесятый полк дает нам прощальный обед, моя дорогая, – возразил майор. – Впрочем, мы достанем билет для мистера Седли.

– Бегите, Симпл (это прапорщик Симпл нашего полка, дорогая Эмилия, я забыла вам его представить), бегите скорей к полковнику Тэвишу, передайте ему поклон от миссис О’Дауд и скажите, что капитан Осборн привез своего шурина и приведет его в столовую стопятидесятого полка точно к пяти часам, а мы с вами, милочка, если вам угодно, слегка закусим здесь.

Прежде чем миссис О’Дауд закончила свою речь, юный прапорщик уже мчался вниз по лестнице исполнять поручение.

– Дисциплина – душа армии! Мы пойдем выполнять свой долг, а миссис О’Дауд останется и просветит тебя, Эмми, – сказал капитан Осборн. Затем они с Доббином заняли места на флангах майора и вышли с ним, перемигиваясь через его голову.

И вот, оставшись вдвоем с новой приятельницей, стремительная миссис О’Дауд с места выложила ей такое количество сведений, какого ни одна бедная маленькая женщина не в силах была бы удержать в памяти. Она рассказала тысячу подробностей о той многочисленной семье, членом которой оказалась изумленная Эмилия.

– Миссис Хэвитон, жена полковника, умерла на Ямайке от желтой лихорадки и от разбитого сердца, а все потому, что этот ужасный старик полковник, у которого и голова-то лысая, как пушечное ядро, строил там глазки одной мулатке. Миссис Медженис – добрая женщина, хотя и без образования, только язык у нее как у дьявола и за вистом она готова надуть родную мать. Жена капитана Кирка таращит свои рачьи глаза при одном упоминании о честной семейной игре в карты (тогда как мой отец – уж на что был набожный человек – и мой дядя, декан Мелони, и наш кузен, епископ, каждый вечер резались в мушку или вист). Впрочем, ни одна из них на этот раз не едет с нашим полком, – добавила миссис О’Дауд. – Фанни Медженис остается с матерью, а та у нее торгует углем и картофелем, кажется, в Излингтон-Тауне под Лондоном, хотя сама Фанни всегда хвастает кораблями своего отца и даже показывает их нам, когда они поднимаются вверх по реке. Миссис Кирк со своими ребятами поселится здесь, на площади Вифезды, чтобы быть поближе к своему

любимому проповеднику, доктору Рэмшорну. Миссис Банни в интересном положении, – впрочем, это ее обычное состояние, ведь она уже подарила поручику семерых. А жена прапорщика Поски, которая приехала к нам за два месяца до вас, моя дорогая, уже раз двадцать так ссорилась с Томом Поски, что их было слышно на всю казарму (говорят, дело у них дошло до битья посуды, и Том так и не мог объяснить, почему у него синяк под глазом); теперь она возвращается к своей матери, которая держит в Ричмонде пансион для девиц, – и поделом ей за то, что сбежала из дому. А вы где получили образование, дорогая? Я воспитывалась у мадам Фленахан, Илссус-Гров, Бутерс-Таун, возле Дублина, и на меня не жалели издержек. Правильному парижскому произношению нас обучала маркиза, а гимнастике – генерал-майор французской службы.

В этой нескладной семье ошеломленная Эмилия сразу оказалась желанной дочерью, с миссис О’Дауд в качестве старшей сестры. За чаем она была представлена остальным родственницам, и так как была тиха, добродушна и не слишком красива, то и произвела на них самое выгодное впечатление. Однако, когда приехали офицеры с обеда, который давал 150-й полк, они стали так восхищаться Эмилией, что ее сестры, конечно, тут же начали находить в ней недостатки.

– Надеюсь, Осборн успел перебеситься, – сказала миссис Медженис миссис Банни.

– Если верно, что раскаявшийся повеса – лучший из мужей, то она будет вполне счастлива с Джорджем, – заметила миссис О’Дауд, обращаясь к Поски, которая теряла теперь в полку положение новобрачной и досадовала на Эмилию, занявшую ее место. Что касается миссис Кирк, то, как ученица доктора Рэмшорна, она задала Эмилиии два-три богословских вопроса, чтобы выяснить, пробудилась ли ее душа, истинная ли она христианка и т. д.; убедившись из простодушных ответов миссис Осборн, что та пребывает еще в полной тьме, она сунула ей в руки три грошовые книжонки с картинками, а именно: «Вопль в пустыне», «Прачка Уондсуортской общины» и «Лучший штык английского солдата», призванные пробудить ее, прежде чем она уснет, ибо миссис Кирк умоляла Эмилию прочитать их в тот же вечер на сон грядущий.

Зато мужчины все, как один, столпились вокруг хорошенькой жены своего товарища и ухаживали за ней с истинно армейской

галантностью. Этот маленький триумф воодушевил Эмилию, глаза ее блестели, как звезды. Джордж гордился успехом жены и любовался тем, как живо и грациозно, хотя наивно и несколько робко, она принимает ухаживания мужчин и отвечает на их комплименты. А он в своем мундире – насколько он был красивее всех остальных! Она чувствовала, что он с нежностью следит за нею, и вся сияла от удовольствия.

«Я буду ласкова со всеми его друзьями, – решила она. – Я буду любить всех, как люблю его. Я буду стараться всегда быть веселой и довольной и создам ему счастливый дом».

Действительно, весь полк принял Эмилию с восторгом. Капитаны одобряли ее, поручики расхваливали, прапорщики ею восторгались. Старый доктор Катлер отпустил одну или две шутки, но, так как они были профессионального характера, повторять их не стоит; а Кудахт, его помощник, доктор медицины Эдинбургского университета, удостоил ее экзамена по литературе, проверив ее знания на своих трех излюбленных французских цитатах. Юный Стабл, переходя от одного к другому, шептал: «Ну, разве она не прелесть?» и не спускал с нее глаз, пока не подали пунш.

Что касается капитана Доббина, то он почти не говорил с нею в этот вечер. Зато он и капитан Портер из 150-го полка отвезли в гостиницу Джоза, который совсем раскис, после того как дважды с большим успехом рассказал об охоте на тигров – в офицерском собрании и на вечере у миссис О’Дауд, принимавшей гостей в своем тюрбане с райской птицей. Сдав чиновника на руки его слуге, Доббин стал прохаживаться около подъезда гостиницы, покуривая сигару. Между тем Джордж заботливо укутал жену шалью и увел ее от миссис О’Дауд после многочисленных рукопожатий юных офицеров, которые проводили ее до экипажа и прокричали ей вслед «ура». Эмилия, выходя из коляски, протянула Доббину ручку и с улыбкой попеняла ему за то, что он так мало обращал на нее внимания весь этот вечер.

Капитан продолжал губить свое здоровье, – он курил еще долго после того, как гостиница и улица погрузились в сон. Он видел, как погас свет в окнах гостиной Джорджа и зажегся рядом, в спальне. Только под утро он вернулся к себе в казарму. С реки уже доносился

шум и приветственные крики – там шла погрузка судов, готовившихся к отплытию вниз по Темзе.



## **Глава XXVIII,** *в которой Эмилия вторгается в Нидерланды*

Офицеры должны были отплыть со своим полком на транспортных судах, предоставленных правительством его величества; и спустя два дня после прощального пира в апартаментах миссис О'Дауд транспортные суда под конвоем военных взяли курс на Остенде, под громкие приветствия со всех ост-индских судов, находившихся на реке, и воинских частей, собравшихся на берегу; оркестр играл «Боже, храни короля!», офицеры махали шапками, матросы исправно кричали «ура». Галантный Джоз выразил согласие эскортировать свою сестру и майоршу, и так как большая часть их пожитков, включая и знаменитый тюрбан с райской птицею, была отправлена с полковым обозом, обе наши героини налегке поехали в Рамсгет, откуда ходили пакетботы, и на одном из них быстро переправились в Остенде.

Новая пора, наступавшая в жизни Джоза, была так богата событиями, что она послужила ему темой для разговоров на много последующих лет; даже охота на тигров отступила на задний план перед его более волнующими рассказами о великой ватерлооской кампании. Как только он решил сопровождать свою сестру за границу, все заметили, что он перестал брить верхнюю губу. В Чатеме он с большим усердием посещал военные парады и ученья. Он со всем вниманием слушал рассказы своих братьев-офицеров (как впоследствии он иногда называл их) и старался запомнить возможно большее количество имен видных военных, в каковых занятиях ему оказала неоценимую помощь добрая миссис О'Дауд. В тот день, когда они наконец сели на судно «Прекрасная Роза», которое должно было доставить их к месту назначения, он появился в расшитой шнурами венгерке, в парусиновых брюках и в фуражке, украшенной нарядным золотым галуном. Так как Джоз вез с собой свою коляску и доверительно сообщал всем на корабле, что едет в армию герцога Веллингтона, все принимали его за какую-то важную персону – за

интендантского генерала или, по меньшей мере, за правительственного курьера.

Во время переезда он сильно страдал от качки; дамы тоже все время лежали. Однако Эмилия сразу ожила, как только их пакетбот прибыл в Остенде и она увидела перевозившие ее полк транспортные суда, которые вошли в гавань почти в одно время с «Прекрасной Розой». Джоз, совсем обессиленный, отправился в гостиницу, а капитан Доббин, проводив дам, занялся вызволением с судна и из таможни коляски и багажа, – мистер Джоз оказался теперь без слуги, потому что лакей Осборна и его собственный избалованный камердинер сговорились в Чатеме и решительно отказались ехать за море. Этот бунт, вспыхнувший совершенно неожиданно и в самый последний день, так смутил мистера Седли-младшего, что он уже готов был остаться в Англии, но капитан Доббин (который, по словам Джоза, стал проявлять чрезмерный интерес к его делам) пробрал его и высмеял – зря, мол, он в таком случае отпустил усы! – и в конце концов уговорил-таки отправиться в путь. Вместо хорошо упитанных и вышколенных лондонских слуг, умевших говорить только по-английски, Доббин раздобыл для Джоза и его дам маленького смуглого слугу-бельгийца, который не умел выражать свои мысли ни на одном языке, но благодаря своей расторопности и тому обстоятельству, что неизменно величал мистера Седли «милордом», быстро снискал расположение этого джентльмена. Времена в Остенде переменились: из англичан, которые приезжают туда теперь, очень немногие похожи на лордов или ведут себя, как подобает представителям нашей наследственной аристократии. Большая часть их имеет потрепанный вид, ходит в грязноватом белье, увлекается бильярдом и коньяком, курит дешевые сигары и посещает второразрядные кухмистерские.

Зато каждый англичанин из армии герцога Веллингтона, как правило, за все платил щедрой рукой. Воспоминание об этом обстоятельстве, без сомнения, приятно нации лавочников. Для страны, где торговлю чтят превыше всего, нашествие такой армии покупателей и возможность кормить столь кредитоспособных воинов оказались поистине благом. Ибо страна, которую они явились защищать, не отличалась воинственностью. В течение долгих лет она предоставляла другим сражаться на ее полях. Когда автор этой

повести ездил в Бельгию, чтобы обозреть своим орлиным взором ватерлооское поле, он спросил у кондуктора дилижанса, осанистого человека, имевшего вид заправского ветерана, участвовал ли он в этом сражении, и услышал в ответ:

– Pas si bête!<sup>[177]</sup>

Такой ответ и такие чувства не свойственны ни одному французу. Зато наш фореитор был виконт, сын какого-то обанкротившегося генерала Империи, и охотно принимал дорогой подачки в виде грошовой кружки пива. Мораль, конечно, весьма поучительная.

Эта плоская, цветущая, мирная страна никогда не казалась такой богатой и благоденствующей, как в начале лета 1815 года, когда на ее зеленых полях и в тихих городах запестрели сотни красных мундиров, а по широким дорогам покатали вереницы нарядных английских экипажей; когда большие суда, скользящие по каналам мимо тучных пастбищ и причудливых живописных старых деревень и старинных замков, скрывающихся между вековыми деревьями, были переполнены богатыми путешественниками-англичанами; когда солдат, заходивший в деревенский кабачок, не только пил, но и платил за выпитое; а Доналд – стрелок шотландского полка<sup>[178]</sup>, квартировавший на фламандской ферме, – укачивал в люльке ребенка, пока Жан и Жанет работали на сенокосе. Так как наши художники питают сейчас склонность к военным сюжетам, я предлагаю им эту тему как наглядную иллюстрацию принципов «честной английской войны». Все имело такой блестящий и безобидный вид, словно это был парад в Хайд-парке. А между тем Наполеон, притаившись за щитом пограничных крепостей, готовил нападение, которое должно было ввергнуть этих мирных людей в пучину ярости и крови и для многих из них окончиться гибелью.

Однако все так безусловно полагались на главнокомандующего (ибо несокрушимая вера, которую герцог Веллингтон внушал английской нации, не уступала пылкому обожанию, с каким французы одно время взирали на Наполеона), страна, казалось, так основательно подготовилась к обороне, и на крайний случай под рукой имелась такая надежная помощь, что тревоги не было и в помине, и наши путешественники, из коих двое, естественно, должны были отличаться большой робостью, чувствовали себя, подобно прочим многочисленным английским туристам, вполне спокойно. Славный

полк, с многими офицерами которого мы познакомились, был доставлен по каналам в Брюгге и Гент, чтобы оттуда двинуться сухопутным маршем на Брюссель.

Джоз сопровождал наших дам на пассажирских судах – на тех судах, роскошь и удобство которых, вероятно, помнят все, кто прежде путешествовал по Фландрии. Поили и кормили на этих медлительных, но комфортабельных судах так обильно и вкусно, что сложилась даже легенда об одном английском путешественнике, который приехал в Бельгию на неделю и после первой же поездки по каналу пришел в такой восторг от местной кухни, что не переставая плавал между Гентом и Брюгге, пока не были изобретены железные дороги, а тогда, совершив последний рейс вместе со своим судном, бросился в воду и утонул. Джозу не была суждена подобного рода смерть, но наслаждался он безмерно, и миссис О’Дауд уверяла, что для полного счастья ему недостает только ее сестры Глорвины. Он целый день сидел на палубе и потягивал фламандское пиво, то и дело призывая своего слугу Исидора и галантно беседуя с дамами.

Храбрость его была безгранична.

– Чтобы Бони напал на *нас!* – восклицал он. – Голубушка моя Эмми, не бойся, бедняжка! Опасности никакой! Союзники будут в Париже через два месяца, поверь мне. Клянусь, я сведу тебя тогда пообедать в Пале-Рояль. Триста тысяч русских вступают сейчас во Францию через Майнц-на-Рейне – триста тысяч, говорю я, под командой Витгенштейна и Барклая де Толли, моя милая! Ты ничего не понимаешь в военных делах, дорогая! А я понимаю и говорю тебе, что никакая пехота во Франции не устоит против русской пехоты, а из генералов Бони ни один и в подметки не годится Витгенштейну. Затем есть еще австрийцы, их пятьсот тысяч, не меньше, и находятся они в настоящее время в десяти переходах от границы, под предводительством Шварценберга и принца Карла. Потом еще пруссаки под командой храброго фельдмаршала. Укажите мне другого такого начальника кавалерии – теперь, когда нет Мюрата! А, миссис О’Дауд? Как вы думаете, стоит ли нашей малютке бояться? Есть ли основания трусить, Исидор? А, сэр? Принесите мне еще пива!

Миссис О’Дауд отвечала, что ее Глорвина не боится никого, а тем более французов, и, выпив залпом стакан пива, подмигнула, давая этим понять, что напиток ей нравится.

Находясь постоянно под огнем неприятеля или, другими словами, часто встречаясь с дамами Челтнема и Бата, наш друг чиновник утратил значительную долю своей прежней робости и бывал необычайно разговорчив, особенно когда подкреплялся спиртными напитками. В полку его любили, потому что он щедро угощал молодых офицеров и забавлял всех своими военными замашками. И подобно тому, как один известный в армии полк брал во все походы козла и пускал его во главе колонны, а другой передвигался под предводительством оленя, так и \*\*\* полк, по утверждению Джорджа, не упускавшего случая посмеяться над шурином, шел в поход со своим слоном.

Со времени знакомства Эмилии с полком Джордж начал стыдиться некоторых членов того общества, в которое он вынужден был ее ввести, и решил, как он сказал Доббину (чем, надо полагать, доставил тому большую радость), перевестись в скором времени в лучший полк, чтобы жена его не общалась с этими вульгарными женщинами. Однако эта вульгарная склонность стыдиться того или иного общества гораздо более свойственна мужчинам, чем женщинам (исключая, конечно, великосветских дам, которым она очень и очень присуща), и миссис Эмилия, простая и искренняя, не знала этого ложного стыда, который ее муж называл утонченностью. Так, капитан Осборн мучительно страдал, когда его жена находилась в обществе миссис О'Дауд, носившей шляпу с петушиными перьями, а на животе большие часы с репетицией, которые она заставляла звонить при всяком удобном случае, рассказывая о том, как ей подарил их отец, когда она садилась в карету после свадьбы; Эмилия же только забавлялась эксцентричностью простодушной леди и нисколько не стыдилась ее общества.

Во время этого путешествия, которое с тех пор старался совершить почти каждый англичанин среднего круга, можно было бы встретить более образованных спутников, но едва ли хоть один из них мог превзойти занимательностью жену майора О'Дауда.

– Вы все хвалите эти суда, дорогая! А посмотрели бы вы на наши суда между Дублином и Беллинесло. Вот там действительно быстро путешествуют! А какой прекрасный там скот. Мой отец получил золотую медаль (сам его превосходительство отведал ломтик мяса и

сказал, что в жизни не едал лучшего) за такую телку, какой в этой стране нипочем не увидишь.

А Джоз со вздохом сознался, что такой жирной и сочной говядины, как в Англии, не найдется нигде на свете.

– За исключением Ирландии, откуда к вам привозят отборное мясо, – сказала жена майора, продолжая, как это нередко бывает с патриотами ее нации, делать сравнения в пользу своей страны. Когда речь зашла о сравнительных достоинствах рынков Брюгге и Дублина, майорша дала волю своему презрению.

– Вы, может быть, объясните мне, что означает у них эта старая каланча в конце рыночной площади? – говорила она с такой едкой иронией, что от нее могла бы рухнуть эта старая башня.

Брюгге был полон английскими солдатами. Английский рожок будил наших путников по утрам; вечером они ложились спать под звуки английских флейт и барабанов. Вся страна, как и вся Европа, была под ружьем, приближалось величайшее историческое событие, а честная Пегги О’Дауд, которой это так же касалось, как и всякого другого, продолжала болтать о Белинафеде, о лошадях и конюшнях Гленмелони и о том, какое там пьют вино; Джоз Седли прерывал ее замечаниями о карри и рисе в Думдуме, а Эмилия думала о муже и о том, как лучше выразить ему свою любовь, словно важнее этого не было на свете вопросов.

Люди, склонные отложить в сторону учебник истории и размышлять о том, что произошло бы в мире, если бы в силу роковых обстоятельств не произошло того, что в действительности имело место (занятие в высшей степени увлекательное, интересное и плодотворное!), – эти люди, несомненно, поражались тому, какое исключительно неудачное время выбрал Наполеон, чтобы вернуться с Эльбы и пустить своих орлов лететь от бухты Сен-Жуан к собору Парижской Богородицы. Наши историки говорят нам, что союзные силы были, по счастью, в боевой готовности и в любой момент могли быть брошены на императора, вернувшегося с Эльбы. У августейших торгашей, собравшихся в Вене<sup>[179]</sup> и перекраивавших европейские государства по своему усмотрению, было столько причин для ссор, что армии, победившие Наполеона, легко могли бы перегрызться между собой, если бы не вернулся предмет их общей ненависти и

страха. Один монарх держал армию наготове, потому что он выторговал себе Польшу и решил удержать ее; другой забрал половину Саксонии и не был склонен выпустить из рук свое приобретение; Италия являлась предметом забот для третьего. Каждый возмущался жадностью другого, и если бы корсиканец дождался в своем плену, пока все эти господа не передерутся между собой, он мог бы беспрепятственно занять французский трон. Но что бы тогда случилось с нашей повестью и со всеми нашими друзьями? Что случилось бы с морем, если бы испарились все его капли?

Между тем жизнь шла своим чередом, и по-прежнему люди искали удовольствий, как будто этому не предвиделось конца и как будто впереди не было неприятеля. Когда наши путешественники приехали в Брюссель, где был расквартирован их полк, – что все считали большой удачей, – они оказались в одной из самых веселых и блестящих маленьких столиц Европы, где балаганы Ярмарки Тщеславия манили взор самой соблазнительной роскошью. Здесь велась расточительная игра, здесь танцевали до упаду; пиры здесь приводили в восторг даже такого гурмана, как Джоз; здесь был театр, где пленительная Каталани восхищала слушателей своим пением; очаровательные прогулки верхом в обществе блестящих военных; чудесный старинный город с причудливой архитектурой и оригинальные костюмы – предмет удивления и восторгов маленькой Эмилии, которая никогда не бывала за границей. Поселившись в прекрасной квартире, за которую платили Джоз и Осборн – последний не стеснялся расходами и был полон нежного внимания к жене, – миссис Эмилия в течение двух недель, что еще длился ее медовый месяц, была так довольна и счастлива, как дай бог всякой юной новобрачной, совершающей свадебное путешествие.

Каждый день этого счастливого времени всем приносил что-нибудь новое и приятное. То нужно было осмотреть церковь или картинную галерею, то предстояла прогулка или посещение оперы. Полковые оркестры гремели с утра до ночи. Знатнейшие особы Англии прогуливались по парку. Это был нескончаемый военный праздник. Джордж, каждый вечер вывозивший жену в свет, был, как всегда, вполне доволен собой и клялся, что становится настоящим семьянином. Ехать куда-нибудь *с ним!* Уже это одно заставляло сердечко Эмилии радостно биться! Ее письма домой к матери в то

время были полны восторга и благодарности. Муж заставляет ее покупать кружева, наряды, драгоценности, всевозможные безделушки. О, это самый лучший, самый добрый, самый великодушный из мужчин!

Джордж глядел на лордов и леди, наводнявших город и появлявшихся во всех общественных местах, и его истинно британская душа ликовала. Здесь эти знатные люди сбрасывали с себя самодовольную надменность и заносчивость, которые нередко отличают их на родине, и, появляясь повсюду, снисходили до общения с простыми смертными. Однажды на вечере у командующего той дивизией, к которой принадлежал полк Джорджа, последний удостоился чести танцевать с леди Бланш Тислвуд, дочерью лорда Бейракса; он сбился с ног, доставая мороженое и прохладительные напитки для благородной леди и ее матери, и, растолкав слуг, сам вызвал карету леди Бейракс. Дома он так хвастался знакомством с графиней, что его собственный отец не мог бы превзойти его.

На следующий же день он явился к этим дамам с визитом, сопровождал их верхом, когда они катались в парке, пригласил всю семью на обед в ресторан и был в совершенном восторге, когда они приняли приглашение. Старый Бейракс, который не отличался большой гордостью, но зато имел отличный аппетит, пошел бы ради обеда куда угодно.

– Надеюсь, там не будет никаких других дам, кроме нас, – сказала леди Бейракс, размышляя об этом приглашении, принятом слишком поспешно.

– Помилосердствуйте, мама! Не думаете же вы, что он приведет свою жену? – взвизгнула леди Бланш, которая накануне вечером часами кружилась в объятиях Джорджа в только что вошедшем в моду вальсе. – Эти мужчины еще терпимы, но их женщины...

– У него жена, – он только что женился, – говорят, прехорошенькая, – заметил старый граф.

– Ну что ж, моя милая Бланш, – промолвила мать, – если папа хочет ехать, поедem и мы; но, конечно, нам нет никакой необходимости поддерживать с ними знакомство в Англии.

Итак, решив не узнавать своего нового знакомого на Бонд-стрит, эти знатные особы отправились к нему обедать в Брюсселе и, милостиво позволив ему заплатить за угощение, проявили свое



достоинство в том, что презрительно косились на его жену и не обменялись с ней ни словом. В таких проявлениях собственного достоинства высокорожденная британская леди не имеет себе равных. Наблюдать обращение знатной леди с другою, ниже стоящею женщиной – очень поучительное занятие для философски настроенного посетителя Ярмарки Тщеславия.

Это пиршество, на которое бедный Джордж истратил немало денег, было самым печальным развлечением Эмилии за весь их медовый месяц. Она послала домой матери жалобный отчет об этом празднике: написала о том, как графиня не удостаивала ее ответом, как леди Бланш рассматривала ее в лорнет и в какое бешенство пришел капитан Доббин от их поведения; как милорд, когда все встали из-за стола, попросил показать ему счет и заявил, что обед был никудышный и стоил чертовски дорого. Однако, хотя Эмилия рассказала в своем письме и про грубость гостей, и про то, как ей было тяжело и неловко, тем не менее старая миссис Седли была весьма довольна и болтала о приятельнице Эмми, графине Бейракрс, с таким усердием, что слухи о том, как Джордж угощал пэров и графинь, дошли даже до ушей мистера Осборна в Сити.

Те, кто знает теперешнего генерал-лейтенанта, сэра Джорджа Тафто, кавалера ордена Бани, и видели, как он, подбитый ватой и в корсете, почти каждый день во время сезона важно семенит по Пэл-Мэл в своих лакированных сапожках на высоких каблуках, заглядывая под шляпки проходящим женщинам, или гарцует на чудесном гнедом, строя глазки проезжающим в экипажах по Парку, – те, кто видел теперешнего сэра Джорджа Тафто, едва ли узнают в нем храброго офицера, отличившегося в Испании и при Ватерлоо. Теперь у него густые вьющиеся каштановые волосы и черные брови, а бакенбарды темно-лилового цвета. В 1815 году у него были светлые волосы и большая плешь; фигура у него была полнее, теперь же он сильно похудел. Когда ему было около семидесяти лет (сейчас ему под восемьдесят), его редкие и совсем белые волосы внезапно стали густыми, темными и вьющимися, а бакенбарды и брови приняли теперешний оттенок. Злые языки говорят, что его грудь подбита ватой, а его волосы – парик, так как они никогда не отрастают. Том Тафто, с отцом которого генерал рассорился много лет назад, говорил, будто *mademoiselle* де Жезей из Французского театра выдрала волосы его

дедушке за кулисами; но Том известный злопыхатель и завистник, а парик генерала не имеет никакого отношения к нашему рассказу.

Как-то раз, когда некоторые наши друзья из полка бродили по цветочному рынку Брюсселя после осмотра ратуши, которая, по словам миссис О'Дауд, оказалась далеко не такой большой и красивой, как пленмелонский замок ее отца, к рынку подъехал какой-то офицер высокого чина в сопровождении ординарца и, спешившись, выбрал самый прекрасный букет, какой только можно себе вообразить. Затем эти чудесные цветы были завернуты в бумагу, офицер снова вскочил на коня, препоручив букет ухмыляющемуся ординарцу, и поехал прочь с важным и самодовольным видом.

– Посмотрели бы вы, какие цветы у нас в Гленмелони! – говорила миссис О'Дауд. – У моего отца три садовника-шотландца и девять помощников. Оранжереи занимают целый акр, ананасы рождаются каждое лето, как горох. Виноградные грозди у нас весят по шести фунтов каждая, а цветы магнолии, говоря по чести и совести, величиной с чайник.

Доббин, никогда не задиравший миссис О'Дауд, что с восторгом проделывал негодный Осборн (к ужасу Эмилии, умолявшей его пощадить жену майора), отскочил вдруг в сторону, фыркая и захлебываясь, а потом, удалившись на безопасную дистанцию, разразился громким, пронзительным хохотом, к изумлению рыночной толпы.

– Чего этот верзила раскудахтался? – заметила миссис О'Дауд. – Или у него кровь из носу пошла? Он всегда говорит, что у него кровь носом идет, – этак из него вся кровь должна была бы вылиться. Разве магнолии у нас не с чайник величиной, О'Дауд?

– Совершенно верно, и даже больше, – подтвердил майор.

В это-то время беседа и была прервана появлением офицера, купившего букет.

– Ох, хороша лошадь, черт побери! Кто это такой? – спросил Джордж.

– Если бы вы видели Моласа, лошадь моего брата Моллоя Мелони, которая выиграла приз в Каррахе!.. – воскликнула жена майора и собиралась продолжать свою семейную хронику, но муж прервал ее словами:

– Да это генерал Тафто, который командует кавалерийской дивизией, – и затем прибавил спокойно: – Мы с ним оба были ранены в ногу при Талавере<sup>[180]</sup>.

– После этого вы и получили повышение по службе, – смеясь, добавил Джордж. – Генерал Тафто! Значит, дорогая, и Кроули приехали.

У Эмилии упало сердце – она сама не знала почему. Солнце словно светило уже не так ярко, и высокие старинные фронтоны и крыши сразу потеряли свою живописность, хотя закат был великолепен и вообще это был один из самых чудных дней конца мая.

## Глава XXIX

### Брюссель

Мистер Джоз нанял пару лошадей для своей открытой коляски и благодаря им и своему изящному лондонскому экипажу имел вполне приличный вид во время своих прогулок по Брюсселю. Джордж купил себе верховую лошадь и вместе с капитаном Доббином часто сопровождал коляску, в которой Джоз с сестрой ежедневно ездили кататься. В этот день они выехали в парк на свою обычную прогулку, и там предположение Джорджа о прибытии Родона Кроули и его жены подтвердилось. Среди маленькой кавалькады, сплошь состоявшей из английских офицеров в высоких чинах, они увидели Ребекку в очаровательной, плотно облегающей ее амазонке, верхом на прекрасной арабской лошадке, на которой она ездила превосходно (это искусство она приобрела в Королевском Кроули, где баронет, мистер Питт и сам Родон давали ей уроки); рядом с ней ехал доблестный генерал Тафто.

– Да это сам герцог! – закричала миссис О’Дауд Джозу, который тут же покраснел, как пион. – А это, на гнедом, лорд Аксбридж. Какой у него бравый вид! Мой брат Моллой Мелони похож на него как две капли воды.

Ребекка не подъехала к коляске; но, заметив сидевшую в ней Эмилию, приветствовала ее нежными словами и улыбкой, послала ей воздушный поцелуй, игриво помахала ручкой в сторону экипажа, а затем продолжала беседу с генералом Тафто. Генерал спросил:

– Кто этот толстый офицер в фуражке с золотым галуном?

И Ребекка ответила, что это «один офицер Ост-Индской армии».

Зато Родон Кроули, отделившись от своей компании, подъехал к ним, сердечно пожал руку Эмилии, сказал Джозу: «Как живете, приятель?» – и так уставился на миссис О’Дауд и на ее черные петушки перья, что той подумалось, уж не покорила ли она его сердце.

Джордж и Доббин, нагнавшие в это время коляску, отдали честь высокопоставленным особам, среди которых Осборн сразу заметил миссис Кроули. Он увидел, как Родон, фамильярно склонившись к его

коляске, разговаривал с Эмилией, и так обрадовался, что ответил на сердечное приветствие адъютанта с несколько даже излишней горячностью. Родон и Доббин обменялись сугубо сдержанными поклонами.

Кроули рассказал Джорджу, что они остановились с генералом Тафто в «Hôtel du Parc», и Джордж взял со своего друга обещание в самом скором времени посетить их.

– Страшно жалею, что не встретился с вами три дня назад, – сказал Джордж. – Я давал обед в ресторане... было очень мило. Лорд Бейракс, графиня и леди Бланш были так добры, что отобедали с нами. Жаль, что вас не было.

Сообщив таким образом старому знакомому о своих притязаниях на звание светского человека, Джордж расстался с Родоном, который поскакал по аллее вслед за блестящей кавалькадой, в то время как Джордж и Доббин заняли места по обе стороны экипажа Эмили.

– Ну не красавец ли герцог! – заметила миссис О’Дауд. – Вы знаете, Уэлсли<sup>[181]</sup> и Мелони в родстве. Но у меня, конечно, и в мыслях нет представить его светлости, разве что он сам вспомнит о наших родственных узах.

– Он замечательный воин, – сказал Джоз, чувствуя себя гораздо свободнее теперь, когда великий человек уехал. – Что может сравниться с победой при Саламанке? А, Доббин? Но где он научился своему искусству? В Индии, мой милый! Джунгли – отличная школа для полководца, заметьте это. Я ведь тоже с ним знаком, миссис О’Дауд; на одном балу в Думдуме мы оба танцевали с мисс Катлер, дочерью Катлера, который в артиллерии... чертовски хорошенькая девушка!

Появление высоких особ служило им темой для разговора во время всей прогулки, и за обедом, и позже, до самого того часа, когда все собрались ехать в оперу.

Казалось, они и не уезжали из старой Англии. Театр был переполнен знакомыми английскими лицами и туалетами того сорта, какими издавна славятся англичанки. Миссис О’Дауд занимала среди них не последнее место: на лбу у нее вился кокетливый локон, а ее убор из ирландских алмазов и желтых самоцветов затмевал, по ее мнению, все драгоценности, какие были в театре. Ее присутствие было пыткой для Осборна, но она неизменно появлялась на всех

сборищах, где бывали ее молодые друзья. Ей и в голову не приходило, что они не жаждут ее общества.

– Она была полезна тебе, дорогая, – сказал Джордж жене, которую он мог с более спокойной совестью оставлять одну в обществе жены майора. – Но как приятно, что приехала Ребекка: теперь ты будешь проводить время с нею, и мы можем отделаться от этой несносной ирландки.

Эмилия не ответила ни да ни нет, – и как нам знать, о чем она подумала?

Общий вид брюссельского оперного театра не произвел на миссис О’Дауд сильного впечатления, так как театр на Фишембл-стрит в Дублине был гораздо красивее, да и французская музыка, по ее мнению, не могла сравниться с мелодиями ее родной страны. Эти и другие наблюдения она громко высказывала своим друзьям, самодовольно обмахиваясь большим скрипучим веером.

– Родон, дорогой мой, кто эта поразительная женщина рядом с Эмилией? – спросила сидевшая в противоположной ложе дама (наедине она почти всегда была вежлива со своим мужем, а на людях – неизменно нежна). – Видишь, вон то существо в тюрбане с какой-то желтой штукой, в красном атласном платье и с огромными часами?

– Рядом с хорошенькой женщиной в белом? – спросил сидевший возле нее джентльмен средних лет с орденами в петлице, в нескольких жилетах и с туго накрахмаленным белым галстуком.

– Хорошенькая женщина в белом? Это Эмилия, генерал... Вы всегда замечаете всех хорошеньких женщин, негодный вы человек!

– Только одну, клянусь! – воскликнул восхищенный генерал, а дама слегка ударила его большим букетом, который держала в руке.

– А ведь это он, – сказала миссис О’Дауд, – и букет тот самый, который он купил тогда на рынке.

Когда Ребекка, поймав взгляд подруги, проделала свой маленький маневр с воздушным поцелуем, миссис О’Дауд, приняв приветствие на свой счет, ответила на него такой грациозной улыбкой, что несчастный Доббин фыркнул и выскочил из ложи.

По окончании действия Джордж сразу же отправился засвидетельствовать свое почтение Ребекке. В коридоре он встретил Кроули, с которым обменялся замечаниями относительно событий последних двух недель.

– Ну что, мой чек оказался в порядке? – спросил Джордж с многозначительным видом.

– В полном порядке, мой милый, – отвечал Родон. – Рад буду дать вам отыграться. Как папаша, смилостивился?

– Еще нет, – сказал Джордж, – но к тому идет; да у меня есть и свои деньги, полученные от матери. А тетушка ваша смягчилась?

– Подарила мне двадцать фунтов, проклятая старая скряга!.. Когда же мы увидимся? Генерал во вторник не обедает дома. Может быть, вы приедете во вторник?.. Да, заставьте вы Седли сбрить усы. Какого черта нужны штатскому усы и эта дурацкая венгерка? Ну, а затем до свидания. Постарайтесь быть во вторник. – И Родон двинулся прочь с двумя молодыми франтоватыми джентльменами, которые, так же как и он, состояли в штабе генерала.

Джордж остался не очень доволен приглашением на обед как раз в тот день, когда генерала не будет дома.

– Я зайду засвидетельствовать свое почтение вашей жене, – сказал он, на что Родон ответил:

– Гм... Если хотите. – Вид у него при этом был весьма мрачный, а оба юных офицера лукаво переглянулись. Джордж попрощался с ним и гордо проследовал по коридору к ложе генерала, номер которой он заранее себе заметил.

– Entrez<sup>[182]</sup>, – раздался звонкий голосок, и наш друг предстал перед Ребеккой. Та мигом вскочила, захлопала в ладоши и протянула Джорджу обе руки, так рада была она его видеть. Генерал с орденами в петлице грозно посмотрел на него, словно хотел сказать: «Кто вы такой, черт вас возьми?»

– Дорогой капитан Джордж! – воскликнула Ребекка в упоении. – Вот мило, что вы зашли! А мы тут с генералом скучали tête-à-tête. Генерал, это капитан Джордж, о котором я вам рассказывала.

– Да? – проговорил генерал с едва заметным поклоном. – Какого полка, капитан Джордж?

Джордж назвал \*\*\* полк и горько пожалел, что не служит в каком-нибудь блестящем кавалерийском корпусе.

– Вы, кажется, недавно из Вест-Индии? В последней кампании не участвовали? Здесь расквартированы, капитан Джордж? – продолжал генерал с убийственной надменностью.

– Вовсе не капитан Джордж, глупый вы человек! Капитан Осборн, – перебила его Ребекка.

Генерал хмуρο поглядывал то на капитана, то на Ребекку.

– Капитан Осборн, да? Родственник Осборнов из Л.?

– У нас один герб, – ответил Джордж. И это действительно было так: пятнадцать лет назад мистер Осборн, посоветовавшись с одним знатоком геральдики с Лонг-Акра, выбрал себе в «Книге пэров» герб Осборнов из Л. и украсил им свою карету. Генерал ничего не ответил на это заявление; он взял подзорную трубку – биноклей в то время еще не было – и сделал вид, что рассматривает зрительную залу. Но Ребекка отлично видела, что его не вооруженный трубкой глаз смотрит в ее сторону и бросает на нее и на Джорджа свирепые взгляды.

Она удвоила свою приветливость.

– Как поживает дорогая Эмилия? Впрочем, нечего и спрашивать, – она так прелестна! А кто эта добродушная на вид особа рядом с нею: ваша пассия? О вы, негодные мужчины! А вон мистер Седли кушает мороженое, и с каким наслаждением! Генерал, почему у нас нет мороженого?

– Прикажете пойти и принести вам? – спросил генерал, едва сдерживая бешенство.

– Позвольте мне пойти, прошу вас, – сказал Джордж.

– Нет, я хочу сама зайти в ложу к Эмилии. Дорогая, милая девочка! Дайте мне вашу руку, капитан Джордж! – И, кивнув головой генералу, Ребекка легкой походкой вышла в коридор. Очутившись с Джорджем наедине, она взглянула на него лукаво, словно хотела сказать: «Вы видите, какво положение дел и как я его дурачу». Но Джордж не понял этого, занятый своими собственными планами и погруженный в самодовольное созерцание своей неотразимости.

Проклятия, которыми вполголоса разразился генерал, как только Ребекка и ее похититель его покинули, были так выразительны, что, наверно, ни один наборщик не решился бы их набрать, хотя бы они и были написаны. Они вырвались у генерала прямо из сердца, – уму непостижимо, как человеческое сердце способно порождать подобные чувства и по мере надобности выбрасывать из себя такой огромный запас страсти и бешенства, ненависти и гнева!



Кроткие глаза Эмилии тоже были с беспокойством устремлены на парочку, поведение которой так раздосадовало ревнивого генерала. Однако Ребекка, войдя в ложу, бросилась к своей приятельнице с самыми бурными выражениями радости, несмотря на то, что это происходило в публичном месте; она обнимала свою милую подругу на виду у всего театра и главным образом на виду у подзорной трубки генерала, наведенной теперь на ложу Осборнов. С Джозом миссис Родон поздоровалась также очень приветливо, а от большой брошки миссис О'Дауд и ее чудесных ирландских алмазов пришла в восторг и не хотела верить, что они не прибыли прямым путем из Голконды<sup>[183]</sup>. Она суетилась, болтала, вертелась и кривлялась, улыбалась одному и кокетничала с другим, и все это на виду у ревнивой подзорной трубки, направленной на нее с противоположной стороны залы. А когда начался балет (в котором ни одна танцовщица не проявила столь совершенного искусства пантомимы и не могла сравняться с нею ужимками), она удалилась к себе, на этот раз опираясь на руку капитана Доббина. Нет, нет, Джорджа она ни за что не возьмет с собой: он должен остаться со своей дорогой, прелестной маленькой Эмилией.

– Что за ломака эта женщина, – шепнул честный Доббин Джорджу, вернувшись из ложи Ребекки, куда он проводил ее в полнейшем молчании и с мрачным видом могильщика. – Корчится, извивается, точно змея. Разве ты не видел, Джордж, что все время, пока она была здесь, она просто разыгрывала комедию для того генерала напротив?

– Ломака? Разыгрывала комедию? Глупости! Она самая очаровательная женщина в Англии, – отвечал Джордж, показывая свои белые зубы и покручивая надушенные усы. – Ты совершенно не светский человек, Доббин. Посмотри-ка на нее сейчас, она уже успела заговорить Тафто. Видишь, как он смеется? Господи, что у нее за плечи! Эмми, почему у тебя нет букета? У всех дам букеты.

– Так почему же вы ей не купили? – заметила миссис О'Дауд. Эмилия и Уильям Доббин были благодарны ей за это своевременное замечание. Но обе дамы заметно притихли. Эмилия была подавлена блеском, живостью и светским разговором своей соперницы. Даже миссис О'Дауд словно воды в рот набрала после блестящего

появления Бекки и за весь вечер не сказала больше ни слова о своем Гленмелони.

– Когда ты наконец бросишь игру, Джордж? Ведь ты уже мне обещал сотни раз! – сказал Доббин своему приятелю несколько дней спустя после вечера, проведенного в опере.

– А когда ты бросишь свои нравоучения? – последовал ответ. – И чего ты, черт возьми, беспокоишься? Играем мы по маленькой. Вчера я выиграл. Не думаешь же ты, что Кроули плутует. При честной игре в конце концов всегда одно на одно выходит.

– Но едва ли он сможет заплатить тебе, если проиграет, – сказал Доббин.

Однако его совет имел такой же успех, как и все вообще советы. Осборн и Кроули встречались теперь постоянно. Генерал Тафто почти всегда обедал вне дома. Джорджа радушно принимали в апартаментах, занимаемых адъютантом и его супругой (и расположенных очень близко к покоям генерала).

Поведение Эмилии, когда они с Джорджем явились в гости к Кроули и его жене, чуть не вызвало первой ссоры между супругами. Джордж сильно разбил жену за ее явную неохоту идти к ним и за высокомерное и гордое обращение с миссис Кроули, ее старой подругой. Эмилия не сказала ни слова в ответ, но во время второго визита, который они отдали миссис Родон, она, чувствуя на себе взгляд мужа и Ребекки, испытующе смотревшей на нее, держалась еще более неловко и застенчиво, чем в первый раз.

Ребекка, конечно, была сама любезность и словно не замечала холодности подруги.

– Эмми как будто загордилась с тех пор, как имя ее отца попало в... со времени неудач мистера Седли, – сказала Ребекка, участливо смягчая свои слова ради Джорджа. – Когда мы были в Брайтоне, мне казалось, что она делала мне честь ревновать вас ко мне; а теперь она, вероятно, считает неприличным, что Родон, я и генерал живем в одном доме. Но, дорогой мой, как бы мы при наших средствах могли жить здесь без друга, который делил бы с нами расходы? Или вы думаете, что Родон не в состоянии позаботиться о моей чести? Но все же я очень обязана Эмми, очень обязана, – добавила миссис Родон.

– Ну, какая там ревность! – отвечал Джордж. – Все женщины ревнивы...

– И все мужчины также. Разве вы не ревновали меня к генералу Тафто, а генерал к вам в тот вечер в опере? Ведь он готов был съесть меня за то, что я пошла с вами навестить вашу глупенькую жену, как будто мне есть дело до нее или до вас, – продолжала миссис Кроули, дерзко тряхнув головой. – Хотите остаться пообедать? Мой драгун обедает у главнокомандующего. Важные, волнующие новости. Говорят, французы перешли границу. Мы здесь пообедаем с вами спокойно.

Джордж принял приглашение, хотя жене его немного нездоровилось. Не прошло и шести недель, как они поженились, а другая женщина уже плумилась над нею, и он не сердился на это. Он не сердился даже на себя, этот добродушный малый.



«Конечно, это безобразие, – признавался он самому себе. – Но, черт возьми, если хорошенькая женщина вешается вам на шею, что же остается делать? Я довольно-таки смел с женщинами», – часто

говорил он, улыбаясь и многозначительно кивая Стаблу, Спуну и другим товарищам в офицерском собрании, которые уважали его за это удайство. После военных побед победы любовные с давних времен служили источником гордости для мужчин на Ярмарке Тщеславия, иначе почему бы школьники хвастались своими амурными делами, а Дон Жуан приобрел такую популярность?

Итак, мистер Осборн, твердо убежденный, что он неотразим и создан для того, чтобы побеждать женщин, не пытался противиться своей судьбе, а покорно подчинился ей. Но так как Эмми не возмущалась и не мучила его ревностью, а только молча страдала, Джордж воображал, что она не подозревает того, о чем все его знакомые были отлично осведомлены, а именно, что он отчаянно волочится за миссис Кроули. Он катался с нею верхом, когда она бывала свободна. Он врал Эмили про какие-то дела на службе (каковым небылицам она нисколько не верила) и, оставив ее одну или с братом, проводил вечера в обществе Кроули, проигрывая мужу деньги и теша себя мыслью, что жена изнывает от любви к нему. Весьма вероятно, что эти двое никогда прямо не сговаривались, что она будет завлекать юного джентльмена, а он – обыгрывать этого джентльмена в карты, – но они прекрасно понимали друг друга, и Родон добродушно позволял Осборну бывать у них сколько душе угодно.

Джордж был так занят своими новыми друзьями, что они с Уильямом Доббином проводили вместе далеко не так много времени, как раньше. Джордж избегал его и в обществе, и в полку, – как мы уже видели, он недолго любил нравоучения, которыми был не прочь угостить его старший приятель. Пусть некоторые поступки Джорджа и серьезно огорчали капитана Доббина, но какая польза была убеждать Осборна, что, несмотря на его пышные усы и высокое мнение о своей опытности, он еще мальчишка и что Родон сделал его своей жертвой, как многих других, и, выжав из него все возможное, отшвырнет от себя с презрением? Джордж его не слушал; и так как Доббин, заходя к Осборнам, имел мало случаев встречаться со своим старым другом, то они избегли многих тягостных и бесполезных разговоров. Таким образом, наш друг Джордж без помехи развлекался на Ярмарке Тщеславия.

Никогда еще со времени Дария<sup>[184]</sup> не было у армии такого блестящего обоза, как тот, что в 1815 году сопровождал армию герцога Веллингтона в Нидерландах и в сплошных танцах и пиршествах довел ее, можно сказать, до самого поля сражения. Бал, который дала некая благородная герцогиня в Брюсселе 13 июня вышеупомянутого года, вошел в историю. Приготовления к нему взбудоражили весь город, и я слышал от некоторых леди, живших в то время в Брюсселе, что дамы говорили о нем и интересовались им куда больше, чем наступлением неприятеля. Билеты на этот бал доставали ценою таких стараний, просьб и интриг, какие под стать только английским леди, жаждущим встретиться с высшей знатью своей страны.

Джоз и миссис О'Дауд, страстно мечтавшие попасть на этот бал, напрасно старались достать билеты; зато некоторым нашим друзьям повезло. Так, например, Джордж, благодаря влиянию лорда Бейракрса и как бы в отплату за обед в ресторане, получил пригласительный билет на имя капитана и миссис Осборн, каковое обстоятельство заставило его чрезвычайно возгордиться. Доббин пользовался покровительством генерала, командовавшего дивизией, к которой принадлежал его полк, поэтому, явившись как-то к миссис Осборн, он, смеясь, показал ей такое же приглашение, чем вызвал зависть Джоза и удивление Джорджа: как, черт возьми, Доббину удалось пролезть в общество? Мистер и миссис Родон тоже, разумеется, были приглашены – как друзья генерала, командующего кавалерийской бригадой.

В назначенный вечер Джордж, заказавший для Эмилии новое платье и всевозможные украшения, повез ее на знаменитый бал, где она не знала ни единой души. Разыскав леди Бейракрс, – которая даже не удостоила его поклоном, считая, что пригласительного билета для него вполне достаточно, – и усадив Эмилию на стул, он предоставил ее собственным попечениям, считая, что поступил весьма похвально, так как купил ей новое платье и привез на бал, где она вольна была развлекаться, как ей захочется. Ее размышления были не из приятных, и никто, кроме честного Доббина, их не нарушал.

Итак, великосветский дебют Эмилии оказался весьма неудачным (ее муж отметил это с глухим раздражением), но зато для миссис Родон Кроули этот вечер был сплошным триумфом. Она приехала очень поздно; лицо ее сияло, платье было совершенством; среди



собравшихся знатных особ и под направленными на нее лорнетками Ребекка казалась столь же хладнокровной и спокойной, как в прежнее время, когда водила в церковь воспитанниц мисс Пинкертон. С многими из мужчин она уже была знакома, и денди тотчас окружили ее. Что касается дам, то они шептались между собой о том, что Родон похитил ее из монастыря и что она сродни фамилии Монморанси. Она так прекрасно говорила по-французски, что эти сведения казались правдоподобными, и все соглашались, что манеры ее прелестны и что она *distinguée*. Пятьдесят кавалеров зараз толпились около нее, прося оказать честь танцевать с ними. Но она отвечала, что уже приглашена и намерена танцевать очень мало. Она направилась прямо к тому месту, где сидела Эмми, никем не замечаемая и глубоко несчастная. Чтобы dokonать бедняжку, миссис Родон бросилась к ней, восторженно приветствуя свою дорогую Эмилию, и сейчас же начала ей покровительствовать. Она разбранила платье подруги и ее прическу, подивилась, как она могла быть так *chaussée*<sup>[185]</sup>, и обещала прислать ей на следующее утро свою *corsetière*<sup>[186]</sup>. Она уверяла, что бал восхитительный, что тут собрались все, кого все знают, а таких, кого никто не знает, лишь очень, очень мало. За какие-нибудь две недели, после трех званных обедов, эта молодая особа как нельзя лучше усвоила светский жаргон; и только по ее прекрасному французскому выговору можно было догадаться, что она не родилась аристократкой.

Джордж, оставивший Эмми на стуле при входе в залу, не замедлил к ней вернуться, когда Ребекка осчастливила ее своим вниманием. Бекки как раз читала миссис Осборн нотацию по поводу безумств ее мужа.

– Ради бога, милочка, не давай ему играть, – говорила она, – иначе он себя погубит. Он и Родон каждый вечер играют в карты, а ведь ты знаешь, у него мало денег, и Родон вытянет из него все до последнего шиллинга, если он не образумится. Отчего ты не запретишь ему, беспечное ты существо! Отчего ты не приходишь к нам по вечерам, вместо того чтобы скучать дома в обществе этого капитана Доббина? Согласна, что он *très aimable*<sup>[187]</sup>, но разве может нравиться мужчина с такими громадными ногами? Вот у твоего мужа ноги – прелесть! А, да вот и он! Где вы были, негодный? Эмми тут без вас все глаза выплакала. Вы пришли пригласить меня на кадрили?

Она положила рядом с Эмилией шаль и букет и упорхнула танцевать с Джорджем. Только женщины умеют так ранить. Их маленькие стрелы отравлены ядом, который причиняет в тысячу раз больше боли, чем грубое мужское оружие. Наша бедная Эмми не умела ни ненавидеть, ни язвить – как ей было защищаться от своего безжалостного врага?

Джордж танцевал с Ребеккой два или три раза. Эмилия едва ли знала точно, сколько. Она сидела никем не замечаемая, в своем уголке, и только Родон подошел и довольно беспомощно попытался занять ее разговором; да позднее капитан Доббин, набравшись храбрости, принес ей прохладительного питья и сел около нее. Ему не хотелось спрашивать, почему она так печальна, но она сама, стараясь объяснить слезы, наворачивавшиеся ей на глаза, сказала, что ее расстроила миссис Кроули, сообщившая ей, что Джордж много играет.

– Удивительное дело: когда человек увлечется картами, он позволяет обманывать себя самым явным плутом, – сказал Доббин; и Эмми согласилась:

– Да, правда! – но думала она совсем о другом, и вовсе не потеря денег огорчала ее.

Наконец Джордж вернулся за шалью и цветами Ребекки. Она собиралась уезжать и даже не снизошла до того, чтобы подойти проститься с Эмилией. Бедная девочка ни слова не сказала мужу и только еще больше поникла головкой. Доббин в это время был отозван к своему другу, генералу дивизии, и о чем-то говорил с ним вполголоса, а потому не видел этого. Джордж удалился с букетом в руках, но, когда он передавал его владелице, в нем лежала записка, свернувшаяся, словно змея, посреди цветов. Ребекка сразу заметила ее. Она давно привыкла иметь дело с записками. Ребекка взяла цветы. Когда взгляды их встретились, Джордж понял, что она знает о содержимом букета. Муж торопил ее, по-видимому, слишком погруженный в свои мысли, чтобы заметить немой разговор между его женой и приятелем. Да и замечать было, в сущности, нечего. Ребекка подала Джорджу руку, бросив на него один из своих быстрых многозначительных взглядов, сделала реверанс и удалилась из зала. Джордж, склоненный над ее рукой, ничего не ответил на замечание Кроули, он даже не слышал его, так был взволнован и возбужден своей победой, – и, не сказав ни слова, дал им уйти.



Эмилия видела лишь первую часть сцены с букетом. Конечно, было естественно, что Джордж пришел по поручению Ребекки за ее шалью и цветами, за последние дни она почти привыкла к таким вещам. Но сейчас это переполнило чашу.

– Уильям, – сказала она, невольно цепляясь за Доббина, который снова был около нее, – вы такой добрый. Мне... мне нехорошо. Проводите меня домой.

Она не заметила, что назвала его по имени, как называл его Джордж. Доббин поспешно ушел с ней. Жила она поблизости; они пешком протискались через толпу, которая на улице была как будто еще гуще, чем в бальной зале.

Джордж несколько раз сердился на жену, когда, возвращаясь поздно домой, находил ее не в постели, поэтому Эмилия сразу же легла; но, хотя она не уснула, она не слышала непрерывного шума, гама и топота копыт на улице, – другие тревоги не давали ей покоя.

Между тем Осборн, в радостном возбуждении, подошел к карточному столу и начал безрассудно понтировать. Он все время выигрывал.

– Сегодня мне во всем везет, – сказал он. Но даже счастье в игре не могло успокоить его, и спустя некоторое время он вскочил, сунул в карман свой выигрыш и пошел к буфету, где выпил залпом несколько бокалов вина.

Здесь-то и нашел его Доббин в ту минуту, когда он, уже сильно навеселе, громко хохоча, рассказывал какую-то историю. У Доббина, уже давно бродившего между карточными столами в поисках своего друга, вид был настолько же бледный и серьезный, насколько Джордж был весел и разгорячен.

– Алло! Доб! Поди сюда, и выпьем, старина Доб! У герцога замечательное вино! Налейте-ка мне еще, сэ. – И он протянул дрожавший в его руке бокал.

– Уходи отсюда, Джордж! – промолвил Доббин все так же серьезно. – Не пей больше!

– Не пить? Да что может быть лучше! Выпей и ты, старина, ты что-то уж очень бледен. Твое здоровье!

Доббин подошел ближе и что-то прошептал ему. Джордж вздрогнул, дико прокричал «ура!» и, осушив бокал, стукнул им по столу. Затем он быстро вышел под руку с другом.

– Неприятель перешел Самбру, – вот что сказал ему Уильям, – и наш левый фланг уже введен в дело. Идем... Мы выступаем через три часа.

Джордж вышел на улицу, весь дрожа под впечатлением этого известия, столь давно ожидаемого и все же столь неожиданного. Что были теперь любовь и интриги? Быстро шагая домой, он думал о тысяче вещей, но только не об этом – он думал о своей прошлой жизни и надеждах на будущее, о жене, о ребенке, с которым он, возможно, должен расстаться, не увидев его. О, если бы он не совершил того, что совершил в эту ночь! Если бы мог, по крайней мере, с чистой совестью проститься с нежным невинным созданием, любовь которого он так мало ценил!

Он думал о своей короткой супружеской жизни. В эти несколько недель он сильно растратил свой маленький капитал. Как безумен и расточителен он был! Если с ним случится несчастье, что он оставит жене? Как он недостоин ее! Зачем он женился? Он не годится для семейной жизни. Зачем он не послушался отца, который ни в чем ему не отказывал? Надежда, раскаяние, честолюбие, нежность и эгоистические сожаления переполняли его сердце. Он сел и стал писать отцу, вспоминая то, что уже писал однажды, когда ему предстояло драться на дуэли. Полосы зари слабо окрасили небо, когда он кончил свое прощальное письмо. Он запечатал его и поцеловал конверт. Он подумал, что напрасно оскорбил своего великодушного отца, вспомнил тысячи благодеяний, которые оказал ему суровый старик.

Еще раньше, едва вернувшись домой, Джордж заглянул в спальню Эмилии; она лежала тихо, с закрытыми глазами; он рад был, что она уснула. Его денщик уже был занят приготовлениями к походу; он понял сделанный ему знак не шуметь, и все приготовления были очень быстро и бесшумно окончены. «Разбудить ли Эмилию, – думал Джордж, – или оставить записку ее брату, прося сообщить ей страшную весть?» Он пошел снова взглянуть на нее.

Она не спала, когда Джордж в первый раз входил в ее комнату, но не открывала глаз, чтобы даже этим не попрекнуть его. Но уже одно то, что он вернулся с бала так скоро после нее, успокоило ее робкое сердечко, и, повернувшись в его сторону, когда он осторожно выходил из комнаты, она задремала. Теперь Джордж вошел еще осторожней и

снова посмотрел на нее. При слабом свете ночника ему видно было ее нежное, бледное личико; покрасневшие веки с длинными ресницами были сомкнуты, круглая белая рука лежала поверх одеяла. Милосердный боже! Как она чиста, как хороша и как одинока! А он – какой он эгоист, грубый и бесчувственный! Охваченный жгучим стыдом, он стоял в ногах кровати и смотрел на спящую. Как он осмеливается, кто он такой, чтобы молиться за такое невинное создание? Бог да благословит ее! Он подошел к кровати, посмотрел на ручку, слабую, тихо лежавшую ручку, и бесшумно склонился над подушкой к кроткому, бледному личику.

Две прекрасные руки нежно обвили его шею.

– Я не сплю, Джордж, – проговорила бедняжка с рыданием, от которого готово было разорваться ее сердечко, прижавшееся теперь так близко к его сердцу. Она проснулась, но для чего? В эту минуту с плацдарма громко прозвучал рожок, подхваченный затем по всему городу; и от грохота барабанов пехоты и визга шотландских вольнок весь город проснулся.

## Глава XXX

### «Я милую покинул...»

Мы не претендуем на то, чтобы нас зачислили в ряды авторов военных романов. Наше место среди невоюющих. Когда палубы очищены для военных действий, мы спускаемся вниз и покорно ждем. Мы только мешали бы нашим храбрым товарищам, сражающимся у нас над головой. Поэтому мы не последуем за \*\*\* полком дальше городских ворот и, предоставив майору О'Дауду выполнять свой воинский долг, вернемся к его супруге, к дамам и обозу.

Майор и его жена, как мы уже говорили, не были приглашены на бал, на котором в прошлой главе присутствовали другие наши знакомые; поэтому они имели гораздо больше времени для здорового отдыха в постели, чем те, кто желал не только исполнять свой долг, но и веселиться.

– Помяни мое слово, милая Пегги, – заметил майор, мирно натягивая на уши ночной колпак, – что через день-другой здесь начнутся такие пляски, каких многие из этих плясунов в жизни не видывали.

Ему было гораздо приятнее улечься в постель после мирно выпитого стакана вина, чем идти куда-нибудь развлекаться. Пегги со своей стороны была бы рада щегольнуть на балу своим тюрбаном с райской птицей, но известия, принесенные мужем, настроили ее очень серьезно.

– Хорошо бы ты разбудила меня за полчаса до того, как протрубят сбор, – сказал майор жене. – Разбуди меня в половине второго, Пегги, милая, и посмотри, чтобы вещи были готовы. Может быть, я не вернусь к утреннему завтраку, миссис О'Дауд. – С этими словами, означавшими, что полк может выступить уже на следующее утро, майор замолчал и уснул.

Миссис О'Дауд, в папильотках и ночной кофточке, чувствовала, что, как хорошая хозяйка, она при создавшихся обстоятельствах должна действовать, а не спать.

– Успею выспаться, когда Мик уйдет, – решила она и принялась упаковывать его походную сумку, почистила плащ, фуражку и

остальное снаряжение и все развесила и разложила по местам. В карманы плаща она засунула некоторый, удобный в походе, запас провизии и плетеную фляжку, или так называемый «карманный пистолет», содержащий около пинты крепкого коньяку, который она и майор весьма одобряли. Как только стрелки ее «репетитора» показали половину второго, а их механизм пробил роковой час (звук этот, по утверждению миссис О'Дауд, был точь-в-точь как у соборного колокола), она разбудила мужа и приготовила ему чашку самого вкусного кофе, какой можно было найти в это утро в Брюсселе. И кто станет отрицать, что все эти приготовления достойной леди так же доказывали ее любовь, как слезы и истерики более чувствительных женщин, и что чашка кофе, выпитая в компании с женой, пока по всему городу рожки трубят сбор и бьют барабаны, не в пример полезнее и более к месту, чем пустые изливания чувств? Поэтому майор явился на плац опрятно одетый, свежий и бодрый, и его чисто выбритое румяное лицо вселяло мужество в каждого солдата. Все офицеры отдавали честь жене майора, когда полк проходил мимо балкона, на котором стояла эта славная женщина, приветливо махая им рукой; и можно смело сказать, что вовсе не отсутствие храбрости, а скорее женская стыдливость и чувство приличия помешали ей самолично повести в бой доблестный \*\*\* полк.

По воскресеньям и в других торжественных случаях миссис О'Дауд имела обыкновение с отменной серьезностью читать что-нибудь из огромного тома проповедей своего дядюшки-декана. Эти проповеди послужили ей большим утешением на корабле, когда они возвращались из Вест-Индии и чуть не потерпели крушение. После отбытия полка она обратилась к этой же книге, чтобы найти пищу для размышлений; вероятно, она не очень много понимала из того, что читала, и мысли ее бродили далеко, но лечь спать, когда тут же на подушке лежал ночной колпак бедного Мика, было невозможно. Так всегда бывает на свете. Джек и Доналд идут на ратные подвиги, с ранцем за плечами, весело шагая под звуки песни «Я милую покинул...», а «милая» остается дома и страдает – у нее-то есть время и думать, и грустить, и вспоминать.

Зная, как бесполезны сожаления и как чувствительность только делает людей более несчастными, миссис Ребекка мудро решила не давать воли своему горю и перенесла разлуку с супругом со

спартанским мужеством. Сам Родон был гораздо более растроган при прощании, чем стойкая маленькая женщина, с которой он расставался. Она подчинила себе эту грубую, жесткую натуру. Родон любил, обожал жену, безмерно восхищался ею. Во всю свою жизнь он не знал такого счастья, какое в эти последние несколько месяцев дала ему Ребекка. Все его прежние удовольствия: скачки, офицерские обеды, охота и карты, все прежние развлечения и ухаживания за модистками и танцовщицами и тому подобные легкие победы нескладного военного Адониса казались ему скучными и пресными по сравнению с законными супружескими радостями, какими он наслаждался в последнее время. Она всегда умела развлечь его, и он находил свой дом и общество жены в тысячу раз более интересным, чем любое другое место или общество, какое ему приходилось видеть. Он проклинал свои прошлые безумства и скорбел о своих огромных долгах, которые оставались непреодолимым препятствием для светских успехов его жены. Часто во время ночных бесед с Ребеккой он вздыхал по этому поводу, хотя раньше, когда был холост, долги нисколько его не беспокоили. Он сам этому поражался.

– Черт побери, – говорил он (иногда, может быть, употребляя и более сильное выражение из своего несложного лексикона), – пока я не был женат, мне дела не было, под каким векселем я подписывал свое имя, лишь бы Мозес согласился ждать или Леви – дать отсрочку. Но с тех пор как женился, я, честное слово, не прикасаюсь к гербовой бумаге, кроме, конечно, тех случаев, когда переписываю старые векселя.

Ребекка всегда умела рассеять его грусть.

– Ах ты, глупенький! – говорила она. – Ведь еще есть надежда на тетушку. А если она подведет нас, разве не останется того, что вы называете «Газетою»<sup>[188]</sup>? Или, постой, если умрет дядя Бьют, у меня есть еще один план. Приход всегда достается младшему сыну, – почему бы тебе не бросить армию и не пойти в священники?

При мысли о таком превращении Родон разразился хохотом; раскаты громового драгунского голоса разнеслись в полночь по всей гостинице. Генерал Тафто слышал их в своей квартире, этажом выше. Ребекка на другой день с большим одушевлением изобразила всю сцену, к огромному удовольствию генерала, и даже сочинила первую проповедь Родона.

Но все это было уже в прошлом. Когда пришло известие, что кампания началась и войска выступают в поход, Родон стал так серьезен, что Бекки принялась высмеивать его и даже несколько задела его гвардейские чувства.

– Надеюсь, ты не думаешь, Бекки, что я трушу? – сказал он с дрожью в голосе. – Но я – отличная мишень, и если пуля меня уложит, я оставлю после себя одно, а может быть, и два существа, которых я хотел бы обеспечить, так как это я вовлек их в беду. Здесь нет ничего смешного, миссис Кроули.

Ребекка ласками и нежными словами постаралась успокоить обиженного супруга. Злые насмешки вырывались у нее лишь в тех случаях, когда живость и чувство юмора брали верх в этой богатой натуре (что, впрочем, бывало довольно часто), но она умела быстро придать своему лицу выражение святой невинности.

– О милый! – воскликнула она. – Неужели ты думаешь, что у меня нет сердца? – И, быстро смахнув что-то с глаз, она с улыбкой заглянула в лицо мужу.

– Ну, так вот, – сказал он, – если меня убьют, посмотрим, с чем ты останешься. Мне здесь порядочно повезло, и вот тебе двести тридцать фунтов. У меня еще припасено в кармане десять наполеондоров. Мне этого вполне достаточно, потому что генерал за все платит по княжески. Если меня убьют, я тебе, по крайней мере, ничего не буду стоить... Не плачь, малютка: я еще, может быть, останусь жив, назло тебе. Лошадей я с собой не возьму, ни ту ни другую, – я поеду на генеральском вороном, так будет дешевле; я говорил ему, что мой конь захромал. Если я не вернусь, ты за эту пару лошадей кое-что выручишь. Григ вчера еще предлагал мне девяносто за кобылу, прежде чем пришли эти проклятые известия, а я был так глуп, что не хотел ее отдать меньше чем за сотню. За Снегиря всегда можно взять хорошую цену, но только лучше продай его здесь, а то у барышников слишком много моих векселей, так что не стоит везти его в Англию. За маленькую кобылу, которую тебе подарил генерал, тоже можно кое-что выручить; хорошо еще, что здесь нет проклятых счетов за содержание лошадей, как в Лондоне, – добавил Родон со смехом. – Вот этот дорожный несессер стоил мне двести фунтов, – то есть я задолжал за него двести; а золотые пробки и флаконы должны стоить тридцать-сорок фунтов. Будьте добры продать его, сударыня, а также

мои булавки, кольца, часы с цепочкой и прочие вещи. Они стоят немало денег. Я знаю, мисс Кроули заплатила за часы с цепочкой сто фунтов. Черт возьми! Флаконы с золотыми пробками! Жалею теперь, что не купил их побольше. Эдвардс навязывал мне серебряную машинку для снятия сапог, и я мог еще прихватить несесер с серебряной грелкой и серебряный сервиз. Ну, да что поделаешь, Бекки, обойдемся тем, что у нас есть.

Отдавая таким образом прощальные распоряжения, капитан Кроули, который до последнего времени, когда любовь овладела драгуном, редко думал о ком-нибудь, кроме самого себя, теперь перебирал свои небогатые пожитки, стараясь сообразить, что можно превратить в деньги для обеспечения жены на тот случай, если с ним что-нибудь произойдет. Ему доставляло удовольствие записывать карандашом, крупным ученическим почерком, различные предметы своего движимого имущества, которые можно было бы продать с выгодой для его будущей вдовы, например:

«Моя мантоновская двустволка, скажем, – 40 гиней; мой плащ для верховой езды, подбитый собольим мехом, – 50 фунтов; мои дуэльные пистолеты в ящике розового дерева (те, из которых я застрелил капитана Маркера) – 20 фунтов; мои седельные сумки и попона; то же самое системы Лори...» и т. д. И хозяйкой всего этого имущества он оставлял Ребекку.

Верный своему плану экономии, капитан надел самый старый, поношенный мундир и эполеты, оставив более новые на сохранение своей жене (или, может быть, вдове). И этот прославленный в Виндзоре и в Хайд-парке денди отправился в поход, одетый скромно, словно сержант, и чуть ли не с молитвой за женщину, которую он покидал. Он поднял ее на руки и с минуту держал в объятиях, крепко прижимая к бурно бьющемуся сердцу. Потом, весь красный, с затуманенным взглядом, опустил ее наземь и оставил одну. Он ехал рядом со своим генералом и молча курил сигару, пока они догоняли бригаду, выступившую раньше. И только когда они отъехали несколько миль от города, он перестал крутить усы и прервал молчание.

Ребекка, как мы уже говорили, благоразумно решила не давать воли бесполезной скорби при разлуке с мужем. Она помахала ему рукой и с минуту еще постояла у окна после того, как он скрылся из виду. Соборные башни и остроконечные крыши причудливых



старинных домов только что начали краснеть в лучах восходящего солнца. В эту ночь Ребекке не пришлось отдохнуть. Она все еще была в своем нарядном бальном платье; ее светлые локоны немного развились и обвисли, а под глазами легли темные круги от бессонной ночи.

– Какой у меня ужасный вид, – сказала она, рассматривая себя в зеркале, – и как бледнит меня розовый цвет!

Она сняла с себя розовое платье, и при этом из-за корсажа выпала записка; Ребекка с улыбкой подняла ее и заперла в шкатулку. Затем поставила свой букет в стакан с водой, улеглась в постель и сладко заснула.

В городе царил тишина, когда в десять часов утра она проснулась и выпила кофе, который очень подкрепил и успокоил ее после всех тревог и огорчений.

Позавтракав, она возобновила расчеты, которые простодушный Родон производил минувшей ночью, и обсудила свое положение. В случае несчастья она, принимая в соображение все обстоятельства, была довольно хорошо обеспечена. У нее были свои драгоценности и наряды, в добавление к тем, которые ей оставил муж. (Мы уже описывали и восхваляли щедрость, проявленную Родоном тотчас же после женитьбы.) Генерал, ее раб и обожатель, преподнес ей, помимо арабской кобылы, множество красивых подарков в виде кашемировых шалей, купленных на распродаже имущества вдовы обанкротившегося французского генерала, и многочисленных вещей из ювелирных магазинов, свидетельствовавших о вкусе и богатстве обожателя. Что касается «тикалок», как бедный Родон называл часы, то они тикали во всех углах ее комнат. Как-то раз вечером Ребекка мимоходом упомянула, что часы, которые ей подарил Родон, английского изделия и идут плохо, – и на следующее же утро ей были присланы прелестные часики фирмы Леруа, с цепочкой и крышкой, украшенной бирюзой, и еще одни – с маркой «Брегет», усыпанные жемчугом и размером не больше полукроны. Одни купил ей генерал Тафто, а другие галантно преподнес капитан Осборн. У миссис Осборн не было часов, хотя, нужно отдать справедливость Джорджу, если бы она попросила, он тотчас купил бы их ей; что же касается почтенной миссис Тафто, у нее в Англии были старинные часы, доставшиеся ей от матери, и они-то, пожалуй, могли бы заменить ту серебряную

грелку, о которой упоминал Родон. Если бы фирма «Хоуэл и Джеймс» опубликовала список покупателей, которым она продавала различные драгоценности, как удивились бы многие семейства; а если бы все эти украшения попали к законным женам и дочерям джентльменов, какое обилие их скопилось бы в благороднейших домах Ярмарки Тщеславия!

Вычислив стоимость всех этих ценностей, миссис Ребекка убедилась, не без острого чувства торжества и удовлетворения, что в случае чего она может для начала рассчитывать по меньшей мере на шестьсот-семьсот фунтов. Она провела все утро самым приятным образом, разбирая, приводя в порядок, рассматривая и запирая под замок свое имущество. Среди записок в бумажнике Родона она нашла чек на двадцать фунтов на банкира Осборна. Это заставило ее вспомнить о миссис Осборн.

– Пойду разменяю чек, – сказала она, – а потом навещу бедняжку Эмми.

Пусть это роман без героя, но мы претендуем, по крайней мере, на то, что у нас есть героиня. Ни один мужчина в британской армии, выступавший в поход, даже сам великий герцог, не мог быть хладнокровнее среди всех опасностей и затруднений, чем эта неунывающая маленькая адъютантша.

У нас есть и еще один знакомый, который не принял участия в военных действиях и поведение и чувства которого мы поэтому имеем право знать. Это наш друг, экс-коллектор Богли-Уолаха, покой которого, как и всех других, был в это раннее утро нарушен звуками военных рожков. Так как он был большой любитель поспать и понежиться в постели, то, вероятно, спал бы, как всегда, до полудня, несмотря на все барабаны, рожки и волынки британской армии, если бы сон его не был прерван, и притом не капитаном Джорджем Осборном, который жил с ним в одной квартире и, как всегда, был слишком поглощен собственными делами или горем от разлуки с женой, чтобы попрощаться со своим спящим шурином, – нет, не Джордж встал между сном и Джозом Седли, а капитан Доббин, который явился и поднял его, выразив желание пожать ему на прощание руку.

– Очень любезно с вашей стороны, – сказал Джоз, зевая и мысленно посылая капитана к черту.

– Я... я не хотел, видите ли, уехать, не простившись с вами, – проговорил бессвязно Доббин, – потому что, видите ли, кое-кто из нас, возможно, не вернется, и мне хотелось бы проститься... и все такое, видите ли...

– Что вы хотите сказать? – спросил Джоз, протирая глаза.

Капитан не расслышал – он и не смотрел на толстого джентльмена в ночном колпаке, к которому, по его словам, относился с таким теплым участием. Лицемер старательно прислушивался и смотрел в сторону апартаментов Джорджа, крупно шагая по комнате, опрокидывая стулья, барабанил пальцами, грызя ногти и обнаруживая другие признаки сильного внутреннего волнения.

Джоз всегда был неважного мнения о капитане, а теперь начал предполагать, что и храбрость его несколько сомнительна.

– Чем я могу вам быть полезен, Доббин? – спросил он насмешливым тоном.

– Вот чем, – ответил капитан, подходя к его кровати. – Через четверть часа мы выступаем, Седли, и, может быть, ни я, ни Джордж не вернемся. Помните же, что вы не должны двигаться из этого города, пока не убедитесь, как обстоят дела. Вы должны оставаться здесь, оберегать свою сестру, успокаивать ее, заботиться о ней. Если что-нибудь случится с Джорджем, помните – у нее никого нет на свете, кроме вас. Если армии придется плохо, вы обязаны доставить ее благополучно в Англию; и вы должны обещать мне под честным словом, что не покинете ее. Я верю, что вы иначе не поступите; что касается денег, вы всегда были достаточно щедры. Кстати, вам не нужно денег? Я хочу сказать, хватит у вас золота, чтобы уехать в Англию в случае несчастья?

– Сэр, – величественно заявил Джоз, – когда мне нужны деньги, я знаю, куда обратиться. Что касается сестры, *вам* нечего указывать мне, как я должен себя вести.

– Вы говорите как мужественный человек, Джоз, – сказал капитан добродушно, – и я рад, что Джордж может оставить жену в таких надежных руках. Значит, я могу передать ему ваше честное слово, что в случае крайности вы не оставите ее?

– Конечно, конечно, – отвечал мистер Джоз, щедрость которого в отношении денег Доббин оценил правильно.

– И в случае поражения вы увезете ее невредимой из Брюсселя?

– Поражения? Черт побери, сэр, этого не может быть! Не старайтесь запугать меня, – закричал из-под одеяла герой. Доббин почувствовал облегчение, когда Джоз так решительно признал свои обязанности по отношению к сестре.

«По крайней мере, – думал капитан, – у нее будет безопасное убежище, на случай если произойдет самое худшее».

Если капитан Доббин рассчитывал для собственного успокоения и удовольствия повидать еще раз Эмилию, прежде чем их полк выступит в поход, то он был наказан по заслугам за такой непростительный эгоизм. Дверь из спальни Джоза вела в гостиную, общую для всей семьи, и против этой двери была дверь в комнату Эмилии. Рожки разбудили всех, и теперь ни к чему уже было скрывать правду. Денщик Джорджа укладывал вещи в гостиную. Осборн то и дело выходил из смежной спальни, бросая денщику те предметы, которые могли пригодиться ему в походе. И Доббину представилась-таки возможность, на которую он надеялся, – еще раз увидеть лицо Эмилии. Но что это было за лицо! Такое бледное, растерянное и полное отчаяния, что память о нем преследовала его потом, как сознание тяжкой вины, а вид его возбудил в нем невыразимую тоску и жалость.

Эмилия была в белом утреннем капоте, волосы ее рассыпались по плечам, большие глаза потускнели и были устремлены в одну точку. Желая помочь в сборах и показать, что в такую серьезную минуту и она может быть полезна, Эмилия вынула из ящика офицерский шарф Джорджа и ходила взад и вперед за мужем с шарфом в руках, молча глядя, как он укладывается. Вот она вышла из комнаты и стала, прислонившись к стене и прижимая к груди шарф, на котором тяжелая красная бахрома алела, как кровь. Наш благородный капитан, взглянув на нее, почувствовал в сердце боль и раскаяние. «Милосердный боже! – подумал он. – И такое горе я осмелился подглядеть!» И нечем было помочь, нечем облегчить это безмолвное отчаяние. Он стоял с минуту и смотрел на нее, бессильный и терзаемый жалостью, как отец смотрит на своего страдающего ребенка.

Наконец Джордж взял Эмми за руку и увел ее в спальню, откуда через минуту вышел уже один. Прощание свершилось – он ушел.

«Слава богу, кончено, – подумал Джордж, спускаясь через три ступеньки по лестнице и придерживая саблю. Он быстро побежал к

сборному пункту, где строился полк и куда спешили солдаты и офицеры из своих квартир. Кровь стучала у него в висках, щеки пылали: начиналась великая игра – война, и он был одним из ее участников. Какой вихрь сомнений, надежд и восторга! Как много поставлено на карту! Что были в сравнении с этим все азартные игры, в которые он когда-то играл! Он с детства увлекался всеми состязаниями, требовавшими смелости и ловкости. Он был чемпионом и в школе, и в полку, всегда ему рукоплескали; на крикетном поле и на гарнизонных скачках – всюду он одерживал сотни побед, и всюду, где бы он ни появлялся, и женщины и мужчины любовались им и завидовали ему. Какие качества в мужчине нравятся больше, чем физическое превосходство, ловкость, отвага? Сила и мужество с давних времен служили темой для песен и баллад; со времен осады Трои и до наших дней поэзия всегда выбирала своим героем воина. Не потому ли, что люди – трусы в душе, они так восхищаются храбростью и считают, что воинская доблесть больше всех других качеств заслуживает похвал и поклонения?

Итак, заслышав волнуящий боевой призыв, Джордж вырвался из нежных объятий не без чувства стыда, что дал себя задержать (хотя у его жены едва ли хватило бы на это сил). Такое же горячее нетерпение испытывали все его товарищи, уже знакомые нам, – от бравого майора, который вел полк в поход, до маленького прапорщика Стабла, который должен был нести в этот день знамя.

Солнце только что стало всходить, когда войска выступили из города. Это было великолепное зрелище: впереди колонны шел оркестр, играя полковой марш, затем ехал командующий полком майор О’Дауд верхом на своем крепыше Пираме; за ним шли гренадеры во главе со своим капитаном; в центре развевались знамена, которые несли прапорщики; затем шел Джордж впереди своей роты. Он поднял голову, улыбнулся Эмилии и прошел дальше; и вскоре даже звуки музыки замерли вдали.

## **Глава XXXI, в которой Джоз Седли заботится о своей сестре**

Таким образом, все старшие офицеры были призваны к исполнению своего долга, и Джоз Седли остался во главе маленького гарнизона в Брюсселе, в состав которого входили больная Эмилия, слуга-бельгиец Исидор и девушка-прислуга. Хотя Джоз был расстроен и покой его был нарушен вторжением Доббина и всеми событиями этого утра, тем не менее он оставался в постели, ворочаясь без сна с боку на бок, пока не подошел его обычный час вставания. Солнце поднялось уже высоко, и наши доблестные друзья \*\*\* полка отшагали немало миль, прежде чем наш чиновник вышел к завтраку в своем цветастом халате.

Отсутствие шурина не очень огорчало Джоза. Может быть, он был даже доволен, что Осборн уехал, потому что в присутствии Джорджа он играл весьма второстепенную роль в доме и Осборн ни капельки не скрывал своего пренебрежения к толстяку штатскому. Но Эмми всегда была добра и внимательна к брату. Она заботилась о его удобствах, наблюдала за приготовлением его любимых блюд, гуляла или каталась с ним (для этого представлялось много, слишком много случаев, – ибо где был в это время Джордж?). Кроткое личико Эмилии заставляло ее брата умерять свой гнев, а мужа – прекращать насмешки. Несколько раз она робко упрекала Джорджа за его отношение к брату, но тот с обычной своей резкостью обрывал эти разговоры.

– Я человек прямой, – говорил он, – и то, что чувствую, то и показываю, как должен делать всякий честный человек. Какого черта ты хочешь, дорогая, чтобы я почтительно относился к такому дураку, как твой братец?

Итак, Джоз был рад отсутствию Джорджа. Штатская шляпа последнего и перчатки, оставленные на буфете, и мысль, что владелец их далеко, доставили Джозу какое-то смутное чувство торжества.

«Сегодня, – думал Джоз, – он уже не будет меня злить своим фатоватым видом и наглостью».

– Унесите шляпу капитана в переднюю, – сказал он слуге Исидору.

– Может быть, она ему больше не понадобится, – отвечал лакей, хитро взглянув на своего господина. Он тоже ненавидел Джорджа, – тот проявлял в обхождении с ним истинно английскую грубость.

– И спросите мадам, придет ли она к завтраку, – важно сказал мистер Седли, спохватившись, что заговорил со слугой о своем нерасположении к Джорджу. Хотя, надо правду сказать, он уже не раз бранил шурина в присутствии слуги.

Увы! Мадам не может прийти к завтраку и приготовить les tartines<sup>[189]</sup>, которые любит мистер Джоз. Мадам слишком больна, она с самого отъезда мужа находится в ужасном состоянии, – так доложила ее bonne<sup>[190]</sup>. Джоз выразил свое сочувствие тем, что налил ей огромную чашку чаю (это был его способ проявлять братскую нежность) и сделал даже больше: он не только послал ей завтрак, но стал придумывать, какие деликатесы будут ей всего приятнее к обеду.

Лакей Исидор мрачно наблюдал за тем, как денщик Осборна собирал своего капитана в дорогу, – прежде всего потому, что он ненавидел мистера Осборна, который обращался с ним, как и со всеми нижестоящими, очень высокомерно (слуги на континенте не мирятся с той грубостью, какую покорно терпят наши более благонаправные английские слуги), а кроме того, ему было обидно, что столько добра уплывает у него из рук, чтобы попасть в руки других людей, когда англичане оконфузятся. Относительно такого конфуза он, как и многие другие в Брюсселе и во всей Бельгии, не сомневался нисколько. Почти все были уверены, что император отрежет прусскую армию от английской, уничтожит одну вслед за другой и не позже как через три дня вступит в Брюссель. Тогда все имущество его теперешних хозяев, которые будут убиты, или обратятся в бегство, или попадут в плен, законным образом перейдет в собственность месье Исидора.

Помогая Джозу в утомительном и сложном ежедневном туалете, его верный слуга соображал, как он поступит с теми самыми предметами, с помощью которых он украшал особу своего господина. Эти серебряные флаконы с духами и туалетные безделушки пойдут в подарок одной девице, в которую он был влюблен; английский

бритвенный прибор и булавку с большим рубином он оставит себе: она будет так красиво выделяться на тонкого полотна сорочке с брыжами. А в этой сорочке, да еще в фуражке, обшитой золотым галуном, в венгерке, отделанной шнурами, которую нетрудно перешить по его фигуре, с тростью капитана, украшенной золотым набалдашником, с большим двойным кольцом с рубинами, которое он затем даст переделать в пару восхитительных сережек, он будет настоящим Адонисом и легко победит мадемуазель Рен.

«Как эти запонки пойдут мне! – думал он, застегивая манжеты на пухлых запястьях мистера Седли. – Я давно мечтаю о запонках. А капитанские сапоги с медными шпорами, что стоят в соседней комнате, – *parbleu!*<sup>[191]</sup> – какой эффект они произведут на *Allée Verte!*»<sup>[192]</sup>

Итак, пока месье Исидор своими бранными перстами придерживал нос господина и брил ему нижнюю часть лица, воображение уносило его на Зеленую аллею, где он в венгерке со шнурами разгуливал в обществе мадемуазель Рен: он мысленно бродил в тени деревьев по берегам канала, рассматривал проплывающие мимо баржи или освежался кружкой фара на скамейке пивной по дороге в Лакен.

Мистер Джоз Седли, к счастью для своего спокойствия, не подозревал, что происходило в голове его слуги, так же как почтенный читатель и я не знаем того, что думают о нас Джон или Мэри, которым мы платим жалованье. Что думают слуги о своих господах?.. Если бы мы знали, что думают о нас наши близкие друзья и дорогие родственники, жизнь потеряла бы всякое очарование и мы все время пребывали бы в невыносимом унынии и страхе. Итак, слуга Джоза намечал себе жертву, подобно тому как один из поваров мистера Пойнтера на Ледихолл-стрит украшает ничего не подозревающую черепаху карточкой, на которой написано: «Суп на завтра».

Служанка Эмилии была настроена далеко не так эгоистически. Мало кто из подчиненных этого милого, доброго создания не платил ей обычной дани привязанности и любви за ее кротость и доброту. И действительно, кухарка Полина утешила свою хозяйку гораздо лучше, чем кто-либо из тех, кого она видела в это злосчастное утро. Когда она заметила, что Эмилия, молчащая, неподвижная и измученная, уже



несколько часов сидит у окна, откуда она следила за исчезающими вдали последними штыками уходящей колонны, эта честная женщина взяла Эмилию за руку и сказала:

– Tenez, madame, est-ce qu'il n'est pas aussi à l'armée mon homme à moi?<sup>[193]</sup>

После чего она разразилась слезами, а Эмилия, упав к ней в объятия, тоже расплакалась, и обе стали жалеть и утешать друг друга.

Много раз в это утро слуга мистера Джоза Исидор бегал в город, к воротам отелей и домов, расположенных вокруг парка, где жило больше всего англичан, и там, толкаясь среди других слуг, курьеров и лакеев, собирал все новости и приносил домой бюллетени для осведомления своего хозяина. Почти все эти джентльмены были в душе приверженцами императора и имели собственное мнение относительно скорого окончания войны. Прокламация Наполеона, выпущенная в Авене, широко распространялась по Брюсселю. «Солдаты! – гласила она. – Настала годовщина Маренго и Фридланда, которые дважды уже решали судьбы Европы. Мы были тогда слишком великодушны, как и после Аустерлица и Ваграма. Мы поверили клятвам и обещаниям государей и оставили их на тронах. Так встретим же их снова лицом к лицу! Разве мы или они стали другими? Солдаты! Эти самые пруссаки, которые так дерзки сейчас, под Иеной шли на нас трое против одного, а под Монмирайлем шестеро против одного. Те из вас, кто был в плену в Англии, могут рассказать своим товарищам об ужасах английских понтонов. Безумцы! Случайный успех ослепил их. Но если они вступят во Францию, они найдут там только могилу!» А приверженцы Франции предсказывали еще более скорое истребление врагов императора, и все кругом соглашались, что пруссаки и англичане вернуться во Францию не иначе как пленниками в хвосте победоносной армии.

Таковы были известия, собранные в течение дня, и они не могли не оказать своего действия на мистера Седли. Ему донесли, что герцог Веллингтон выехал в армию, авангард которой французы сильно потрепали накануне вечером.

– Потрепали? Вздор! – сказал Джоз, мужество которого за завтраком всегда возрастало. – Герцог выехал в армию, чтобы разбить императора, как он раньше разбивал всех его генералов.

– Его бумаги сожжены, имущество вывезено, а квартира очищается для герцога Далматского<sup>[194]</sup>, – отвечал Исидор. – Я знаю это от его собственного дворецкого. Люди милорда герцога Ричмонда уже укладываются. Его светлость бежал, а герцогиня ожидает только, пока уложат серебро, чтобы присоединиться к французскому королю в Остенде.

– Французский король в Генте, – возразил Джоз, притворяясь, что не верит вздорным слухам.

– Он вчера ночью бежал в Брюгге, а сегодня отплывает в Остенде. Герцог Беррийский<sup>[195]</sup> взят в плен. Тем, кто хочет уцелеть, лучше уезжать поскорее, потому что завтра откроют плотины, – и как тогда бежать, раз вся страна будет под водой?

– Чепуха, сэр! Мы можем выставить вдвое против того, сэр, что выставит Бони! – запальчиво воскликнул мистер Седли. – Австрийцы и русские подходят. Он должен быть сокрушен и будет сокрушен! – заявил Джоз, ударяя рукой по столу.

– Пруссаков было трое против одного при Иене, а он в одну неделю взял всю их армию и королевство. Под Монмирайлем их было шестеро против одного, а он рассеял их, как овец. Австрийская-то армия наступает, но ведет ее императрица и Римский король<sup>[196]</sup>. А русские? Русские отступят. Англичанам не будет пощады, – все помнят, как они жестоко обращались с нашими героями на своих проклятых понтонах. Взгляните, здесь все напечатано черным по белому. Вот прокламация его величества, императора и короля, – сказал новоявленный приверженец Наполеона, не считавший более нужным скрывать свои чувства, и, вынув из кармана прокламацию, грубо сунул ее в лицо своему господину, – он уже смотрел на расшитую шнурами венгерку и другие ценности как на свою добычу.

Джоз не был серьезно напуган, но все же уверенность его поколебалась.

– Дайте мне пальто и фуражку, сэр, – сказал он, – и следуйте за мной. Я сам пойду и узнаю, насколько верны ваши рассказы.

Исидор пришел в бешенство, увидав, что Джоз надевает венгерку.

– Милорду лучше не надевать военного мундира, – заметил он, – французы поклялись не давать пощады ни одному английскому солдату.

– Молчать! Слышите! – воскликнул Джоз и все еще с решительным видом и с непобедимой твердостью сунул руку в рукав. За совершением этого геройского поступка его и застала миссис Родон Кроули, которая как раз явилась навестить Эмилию и, не позвонив, вошла в прихожую.

Ребекка была одета, как всегда, очень изящно и красиво; спокойный сон после отъезда Родона освежил ее; приятно было смотреть на ее розовые щечки и улыбку, когда у всех в городе в этот день лица выражали тревогу и горе. Она стала смеяться над положением, в котором застала Джоза, и над судорожными усилиями, с какими дородный джентльмен старался влезть в расшитую куртку.

– Вы собираетесь в армию, мистер Джозеф? – спросила она. – Неужели никто не останется в Брюсселе, чтобы защитить нас, бедных женщин?

Джозу наконец удалось влезть в венгерку, и он пошел навстречу своей прекрасной посетительнице, весь красный и бормоча извинения. Как она чувствует себя после всех событий сегодняшнего утра, после вчерашнего бала?

Monsieur Исидор исчез в соседней спальне, унося с собой цветастый халат.

– Как мило с вашей стороны справляться об этом, – сказала она, обеими ручками пожимая его руку. – До чего же у вас хладнокровный и спокойный вид, когда все так напуганы!.. Как поживает наша маленькая Эмми? Расставание, вероятно, было ужасно, ужасно?

– Ужасно! – подтвердил Джоз.

– Вы, мужчины, можете все перенести, – продолжала леди. – Разлука или опасность – вам все нипочем. Признавайтесь-ка, ведь вы собирались уехать в армию и бросить нас на произвол судьбы? Я знаю, что собирались, – что-то говорит мне об этом. Я так испугалась, когда эта мысль пришла мне в голову (ведь я иногда думаю о вас, когда остаюсь одна, мистер Джозеф), что немедленно бросилась просить, умолять вас не уезжать.

Эти слова можно было бы истолковать так: «Дорогой сэр, если с армией произойдет несчастье и придется отступить, у вас очень удобный экипаж, в котором я надеюсь получить местечко». Я не знаю, в каком смысле понял ее слова Джоз, но он был глубоко обижен невниманием к нему этой леди за все время их пребывания в

Брюсселе. Его не представили ни одному из знатных знакомых Родона Кроули; его почти не приглашали на вечера к Ребекке, ибо он был слишком робок, чтобы играть по крупной, и его присутствие одинаково стесняло и Джорджа, и Родона, которые, вероятно, предпочитали развлекаться без свидетелей.

«Вот как, – подумал Джоз, – теперь, когда я ей нужен, она приходит ко мне. Когда около нее никого больше нет, она вспомнила о старом Джозефе Седли!» Но, несмотря на эти сомнения, он был польщен словами Ребекки о его храбрости.

Он сильно покраснел и принял еще более важный вид.

– Мне хотелось бы посмотреть военные действия, – сказал он. – Каждому мало-мальски смелому человеку это было бы интересно. В Индии я кое-что видел, но не в таких больших размерах.

– Вы, мужчины, все готовы принести в жертву ради удовольствия, – заметила Ребекка. – Капитан Кроули простился со мною сегодня утром такой веселый, точно он отправлялся на охоту. Что ему за дело, что вам всем за дело до страданий и мук бедной покинутой женщины? («Господи, неужели этот ленивый толстый обжора действительно думал отправиться на войну?») Ах, дорогой мистер Седли! Я пришла искать у вас успокоения, утешения. Все утро я провела на коленях; я трепещу при мысли о той ужасной опасности, которой подвергаются наши мужья, друзья, наши храбрые войска и союзники. Я пришла искать убежища – и что же? – последний оставшийся у меня друг тоже собирается ринуться в эту ужасную битву!

– Сударыня, – отвечал Джоз, начиная смягчаться, – не тревожьтесь. Я только сказал, что мне хотелось бы там быть, – какой британец не хотел бы этого? Но мой долг удерживает меня здесь: я не могу бросить это бедное создание, – и он указал пальцем на дверь комнаты, где была Эмилия.

– Добрый, великодушный брат! – сказала Ребекка, поднося платок к глазам и вдыхая одеколон, которым он был надушен. – Я была к вам несправедлива – у вас есть сердце. Я думала, что у вас его нет.

– О, клянусь честью! – воскликнул Джоз, и рука его невольно потянулась к левой стороне груди. – Вы ко мне несправедливы, да, несправедливы... дорогая миссис Кроули!

– Да, теперь я вижу, что ваше сердце предано вашей сестре. Но я помню, как два года тому назад... по отношению ко мне... оно было так вероломно! – промолвила Ребекка и на минуту устремила взгляд на Джоза, а затем отвернулась к окну.

Джоз страшно покраснел. Тот орган, в отсутствии которого упрекала его Ребекка, усиленно забился. Он вспомнил дни, когда бежал от нее, и страсть, которая вспыхнула в нем однажды, – дни, когда он катал ее в своем экипаже, когда она вязала ему зеленый кошелек, когда он сидел очарованный и смотрел на ее белые плечи и блестящие глаза.

– Я знаю, что вы считаете меня неблагодарной, – продолжала Ребекка тихим, дрожащим голосом, отходя от окна и снова взглядывая на Джоза. – Ваша холодность, ваше нежелание замечать меня, ваше поведение за последнее время и сейчас, когда я вошла в комнату, – все это служит тому доказательством. Но разве у меня не было основания избегать вас? Пусть ваше сердце само ответит на этот вопрос. Или вы думаете, что мой муж был расположен принимать вас? Единственные недобрые слова, которые я слышала от него (я должна отдать в этом справедливость капитану Кроули), были из-за вас... И это были жестокие – да, жестокие слова!

– Господи! Да что же я сделал? – спросил Джоз, трепеща от смущения и удовольствия. – Что же я сделал, чтобы... чтобы...

– Разве ревность – ничто? – продолжала Ребекка. – Он мучил меня из-за вас. Но что бы ни было когда-то... теперь мое сердце всецело принадлежит ему. Я чиста перед ним. Не так ли, мистер Седли?

С дрожью восторга Джоз взирал на жертву своих чар. Несколько ловких слов, нежных многозначительных взглядов – и сердце его воспламенилось вновь, а горькие подозрения были забыты. Разве со времен Соломона женщины не дурачили и не побеждали лестью даже и более умных мужчин, чем Джоз?

«Ну, теперь, если даже случится самое худшее, – подумала Бекки, – отъезд мне обеспечен, и я получу удобное место в его коляске».

Неизвестно, к каким изъявлениям любви и преданности привели бы мистера Джозефа его мятежные страсти, если бы в эту минуту не вошел его слуга Исидор, чтобы навести в комнате порядок. Джоз,

только что собиравшийся выпалить признание, чуть не подавился чувствами, которые вынужден был сдерживать. Ребекка, со своей стороны, решила, что ей пора идти утешать свою драгоценную Эмилию.

– Au revoir<sup>[197]</sup>, – сказала она, посылая воздушный поцелуй мистеру Джозу, и тихонько постучала к его сестре. Когда она вошла туда и затворила за собой дверь, Джоз бессильно опустился в кресло и стал дико озираться, вздыхать и пыхтеть.

– Этот сюртук очень узок милорду, – заявил Исидор, все еще не спуская глаз с вожделенных шнуров. Но «милорд» не слушал: мысли его были далеко. Он то вспыхивал, мысленно созерцая очарованную Ребекку, то виновато ежилась, представляя себе ревнивого Родона Кроули с закрученными зловещими усами и его страшные заряженные дуэльные пистолеты.

Появление Ребекки поразило Эмилию ужасом и заставило отшатнуться. Оно вернуло ее к действительности и к воспоминаниям о вчерашнем вечере. В своем страхе о будущем она забыла Ребекку, ревность – все, кроме того, что Джордж уехал и находится в опасности. Пока эта оборотистая особа бесцеремонно не зашла к ней, не нарушила чар, не приоткрыла двери, мы не смели входить в эту печальную комнату. Сколько времени бедняжка простояла на коленях! Сколько часов провела она здесь в безмолвных молитвах и горьком унынии! Военные хроникеры, которые дают блестящие описания сражений и побед, едва ли расскажут нам об этом. Это слишком низменная сторона пышного зрелища, – и вы не услышите ни плача вдов, ни рыдания матери среди криков и ликования громкого победного хора. А между тем когда они не плакали – смиренные страдалницы с разбитым сердцем, чьи жалобы тонули в оглушительном громе победы?

После первого мгновения ужаса, охватившего Эмилию, когда перед ней сверкнули зеленые глаза Ребекки и та, шумя шелковыми юбками и блестящими украшениями, бросилась с протянутыми руками, чтобы обнять ее, – чувство гнева взяло верх, смертельно-бледное лицо ее вспыхнуло, и она ответила на взгляд Ребекки таким твердым взглядом, что соперница ее удивилась и даже немного оробела.

– Дорогая моя, тебе очень нехорошо, – сказала она, протягивая руку Эмили. – Что с тобой? Я не могу быть спокойна, пока не узнаю, как ты себя чувствуешь.

Эмилия отдернула руку. Еще никогда в жизни эта кроткая душа не отказывалась верить или отвечать на проявление участия или любви. Но теперь она отдернула руку и вся задрожала.

– Зачем ты здесь, Ребекка? – спросила она, по-прежнему глядя на гостью своими большими печальными глазами. Та смутилась от этого взгляда.

«Вероятно, она видела, как он передал мне письмо на балу», – подумала Ребекка.

– Не волнуйся, дорогая Эмилия, – сказала она, опустив глаза. – Я пришла только узнать, не могу ли я... хорошо ли ты себя чувствуешь?

– А ты себя как чувствуешь? – сказала Эмилия. – Думается мне, что хорошо. Ты ведь не любишь своего мужа. Если бы любила, ты не пришла бы сюда. Скажи, Ребекка, что я сделала тебе, кроме добра?

– Конечно, ничего, Эмилия, – отвечала та, не поднимая головы.

– Когда ты была бедна, кто тебя приголубил? Разве я не была тебе сестрой? Ты видела нас в более счастливые дни, прежде чем он женился на мне. Я была тогда всем для него, иначе разве он отказался бы от состояния и от семьи, чтобы сделать меня счастливой? Зачем же ты становишься между мною и моей любовью? Кто послал тебя, чтобы разделить тех, кого соединил бог, и отнять у меня сердце моего дорогого, моего любимого мужа? Неужели ты думаешь, что ты можешь его любить так, как люблю я? Его любовь для меня – все. Ты знала это, и ты хотела отнять его у меня. Стыдно, Ребекка! Злая, дурная женщина! Вероломный друг и вероломная жена!

– Эмилия, перед богом клянусь, я ни в чем не виновата перед своим мужем, – сказала Ребекка, отворачиваясь.

– А передо мной тоже не виновата, Ребекка? Тебе не удалось, но ты старалась. Спроси свое сердце – не так ли это?

«Она ничего не знает», – подумала Ребекка.

– Он вернулся ко мне. Я знала, что он вернется. Я знала, что никакая лезть, никакая ложь не отвратит его от меня надолго! Я знала, что он вернется! Я столько молилась об этом.

Бедняжка проговорила эти слова с такой стремительностью и воодушевлением, что Ребекка не нашлась, что ответить.

– Что я тебе сделала? – продолжала Эмилия уже более жалобным тоном. – За что ты старалась отнять у меня мужа? Ведь он мой всего только шесть недель. Ты могла бы пощадить меня, Ребекка, хотя бы на это время. Но в первые же дни после нашей свадьбы ты явилась и все испортила. Теперь он уехал, и ты пришла посмотреть, как я несчастна? – продолжала она. – Ты достаточно мучила меня последние две недели, пощадила бы хоть сегодня.

– Я... я... никогда не приходила сюда, – перебила Ребекка и некстати сказала правду.

– Верно, сюда ты не приходила, ты заманивала его к себе. Может быть, ты и сегодня пришла отнять его у меня? – продолжала Эмилия, словно в бреду. – Он был здесь, а теперь его нет. На этой самой кушетке, здесь, он сидел. Не прикасайся к ней! Здесь мы сидели и разговаривали. Я сидела у него на коленях и обнимала его, и мы читали «Отче наш». Да, он был здесь. И они пришли и увели его, но он обещал мне вернуться.

– И он вернется, дорогая, – сказала Ребекка, невольно тронутая.

– Посмотри, – продолжала Эмилия, – вот его шарф. Не правда ли, какой красивый цвет? – И, подняв бахрому, она поцеловала ее. Она еще утром обвязала его себе вокруг талии. Теперь она, по-видимому, забыла свой гнев, свою ревность и даже самое присутствие соперницы. Она молча подошла к кровати и с просветленным лицом стала гладить подушку Джорджа.

Ребекка, тоже молча, вышла из комнаты.

– Ну, как Эмилия? – спросил Джоз, который по-прежнему сидел в кресле.

– Ее нельзя оставлять одну, – отвечала Ребекка. – Мне кажется, ей очень нехорошо! – И она удалилась с весьма серьезным лицом, отвергнув просьбы Джоза остаться и разделить с ним ранний обед, который он заказал.

В сущности, Ребекка была женщина не злая и услужливая, а Эмилию она, пожалуй, даже любила. Упреки подруги были скорее лестны Ребекке, как жалобы побежденной. Встретив миссис О'Дауд, которую проповеди декана нисколько на этот раз не утешили и которая уныло бродила по парку, Ребекка подошла к ней, несколько удивив этим майоршу, не привыкшую к таким знакам внимания со стороны миссис Родон Кроули. Услышав, что бедняжка миссис



Осборн находится в отчаянном состоянии и почти лишилась от горя рассудка, добрая ирландка тотчас же решила навестить свою любимицу и постараться ее утешить.

– У меня и своих забот достаточно, – важно заметила миссис О’Дауд, – и я думала, что бедняжка Эмилия не очень нуждается сегодня в обществе. Но если ей так плохо, как вы говорите, а вы не можете остаться с ней, хотя так всегда ее любили, я, конечно, попробую ей чем-нибудь помочь. До свидания, сударыня.

С этими словами обладательница «репетитора» тряхнула головой и зашагала прочь от миссис Кроули, общества которой она нисколько не искала.

Бекки с улыбкой на устах смотрела ей вслед. Она была очень чувствительна ко всему смешному, и парфянский взгляд, брошенный через плечо удалявшейся миссис О’Дауд, почти рассеял тяжелое состояние духа миссис Кроули.

«Мое почтение, сударыня, очень рада, что вы так веселы, – подумала Пегги. – Уж вы-то, во всяком случае, не выплачете себе глаз от горя». И она быстрыми шагами направилась к квартире миссис Осборн.

Бедняжка все еще стояла возле кровати, где Ребекка оставила ее; она почти обезумела от горя. Жена майора, женщина более твердая духом, приложила все старания, чтобы утешить свою юную приятельницу.

– Надо крепиться, милая Эмилия, – сказала она. – А то вдруг вы расхвораетесь к тому времени, когда ваш муж пошлет за вами после победы. Ведь вы не единственная женщина, которая находится сегодня в руках божьих.

– Я знаю. Знаю, что я дурная и слабохарактерная, – ответила Эмилия. Она отлично сознавала свою собственную слабость. Присутствие ее более решительного друга подействовало на нее ободряюще. В обществе миссис О’Дауд ей сразу стало лучше. Они долго пробыли вместе; сердца их следовали все дальше и дальше за ушедшей колонной. Ужасные сомнения и тоска, молитвы, страх и невыразимое горе сопровождали полк. Это была дань, которую платили войне женщины. Война всех одинаково облагает данью: мужчины расплачиваются кровью, женщины – слезами.

В половине третьего произошло событие, чрезвычайно важное в повседневной жизни мистера Джозефа: подали обед. Воины могут сражаться и погибать, но он должен обедать. Он вошел в комнату Эмилии, чтобы уговорить ее поесть.

– Ты только попробуй, – сказал Джоз. – Суп очень хороший. Пожалуйста, попробуй, Эмми, – и он поцеловал ей руку. Он уже много лет не делал этого, за исключением того дня, когда она выходила замуж.

– Ты очень добр и ласков, Джозеф, – ответила Эмилия. – И все добры ко мне; только, пожалуйста, позволь мне сегодня остаться у себя в комнате.

Зато майорше О’Дауд аромат супа показался очень привлекательным, и она решила составить компанию мистеру Джозу. Они вдвоем уселись за стол.

– Господь да благословит эту пищу, – произнесла торжественно жена майора. Она думала о своем честном Мике, как он едет верхом во главе полка. – У бедных наших мужей будет сегодня плохой обед, – сказала она со вздохом, а потом, как истинный философ, принялась за еду.

Настроение Джоза поднималось по мере того, как он ел. Он пожелал выпить за здоровье полка или под любым иным предлогом разрешить себе бокал шампанского.

– Выпьем за О’Дауда и за доблестный \*\*\* полк, – сказал он, галантно кланяясь своей гостье. – Что вы скажете на это, миссис О’Дауд? Исидор, наполните бокал миссис О’Дауд.

Но Исидор внезапно вздрогнул, а жена майора выронила нож и вилку. Окна комнаты были раскрыты и обращены на юг, и оттуда донесся глухой, отдаленный гул, прокатившийся над освещенными солнцем крышами.

– Что это? – спросил Джоз. – Почему вы не наливаете, бездельник?

– C’est le feu!<sup>[198]</sup> – ответил Исидор, выбегая на балкон.

– Спаси нас господи! Это пушки! – воскликнула миссис О’Дауд и бросилась к окну. Сотни бледных, встревоженных лиц выплывали из других окон. И скоро чуть ли не все население города высыпало на улицу.

## **Глава XXXII, в которой Джоз обращается в бегство, а война подходит к концу**

Мы, жители мирного Лондона, никогда не видали и, бог даст, никогда не увидим такой ужасной суматохи и тревоги, какая царила в Брюсселе. Толпы народа устремились к Намюрским воротам, откуда доносился гул, а многие выезжали и дальше на гладкое шоссе, чтобы как можно раньше получить известия из армии. Все расспрашивали друг друга о новостях, и даже знатные английские лорды и леди нисходили до того, что разговаривали с незнакомыми людьми. Сторонники французов, обезумев от восторга, предсказывали победу императору. Купцы закрывали свои лавки и выходили на улицу, увеличивая разноголосый хор тревожных и торжествующих криков. Женщины бежали к церквям и заполняли часовни, преклоняли колени и молились на каменных плитах и на ступенях. А пушки вдали грохотали не смолкая. Вскоре экипажи с путешественниками стали поспешно покидать город через Гентскую заставу. Предсказания приверженцев Франции начинали сбываться.

– Он отрезал одну армию от другой, – говорили кругом.

– Он идет прямо на Брюссель; он разобьет англичан и к вечеру будет здесь.

– Он разобьет англичан, – кричал Исидор своему хозяину, – и к вечеру будет здесь!



Исидор выбегал на улицу и снова вбегал в дом, каждый раз возвращаясь с новыми подробностями бедствия. Лицо Джоза бледнело все больше и больше: тревога овладевала толстяком. Сколько

он ни пил шампанского, оно не прибавляло ему храбрости. Еще до того, как село солнце, нервозность его достигла такой степени, что у его друга Исидора сердце радовалось, на него глядя, – теперь-то венгерка со шнурами от него не уйдет!

Женщины все это время отсутствовали. Послушав с минуту пальбу, супруга майора вспомнила о своей приятельнице, находившейся в соседней комнате, и побежала туда, чтобы побыть с Эмилией и по возможности утешить ее. Мысль, что она должна поддержать это кроткое, беспомощное создание, еще усилила прирожденную храбрость честной ирландки. Она провела около пяти часов возле Эмили, то уговаривая ее, то развлекая оживленным разговором, но чаще храня молчание и мысленно воссылая к небу горячие мольбы.

– Я все время держала ее за руку, – говорила потом мужественная леди, – пока не село солнце и не прекратилась пальба.

Полина, la bonne, стояла на коленях в ближайшей церкви, молясь за son homme à elle<sup>[199]</sup>.

Когда грохот канонады смолк, миссис О’Дауд вышла из комнаты Эмили в гостиную, где Джоз сидел перед двумя пустыми бутылками. От храбрости его не осталось и следа. Раз или два он пробовал заглянуть в спальню сестры с потревоженным видом, словно собираясь что-то сказать, но супруга майора все сидела на своем месте, и он уходил, так и не облегчив душу. Джоз стыдился сказать ей, что хочет бежать. Но когда она появилась в столовой, где он сидел в сумерках в невеселом обществе пустых бутылок от шампанского, он решил открыть ей свое намерение.

– Миссис О’Дауд, – сказал он, – не будете ли вы добры помочь Эмили собраться?

– Вы хотите взять ее на прогулку? – спросила жена майора. – Помилуйте, она слишком слаба!

– Я... я приказал приготовить экипаж, – ответил он, – и... и почтовых лошадей. Исидор пошел за ними, – продолжал Джоз.

– Что это вы затеяли кататься на ночь глядя? – возразила дама. – Разве не лучше ей полежать в постели? Я только что уложила ее.

– Поднимите ее, – сказал Джоз, – она должна встать, слышите! – И он энергически топнул ногой. – Повторяю, лошади заказаны. Все кончено, и...

– И что? – спросила миссис О’Дауд.

– ...я еду в Гент, – заявил Джоз. – Все уезжают; место найдется и для вас. Мы уезжаем через полчаса.

Жена майора посмотрела на него с безграничным презрением.

– Я не двинусь с места, пока О’Дауд не пришлет мне маршрута, – сказала она. – Вы можете ехать, если хотите, мистер Седли, но, смею вас уверить, мы с Эмилией останемся здесь.

– Она поедет! – воскликнул Джоз, снова топнув ногой.

Миссис О’Дауд, подбоченясь, стала перед дверью спальни.

– Вы что, хотите отвезти ее к матери, – спросила она, – или сами хотите ехать к маменьке, мистер Седли? До свидания, желаю вам приятного путешествия. *Bon voyage*, как у них тут говорится; и послушайте моего совета: сбейте усы, не то они вас доведут до беды.

– А, черт! – завопил Джоз вне себя от гнева, страха и унижения. В это время вошел Исидор и с самого порога тоже стал чертыхаться.

– *Pas de chevaux, sacrebleu!*<sup>[200]</sup> – прошипел разъяренный слуга.

Все лошади были в разгоне. Не только Джозеф поддался в этот день панике в Брюсселе.

Но страху Джоза, и без того огромному и мучительному, суждено было за ночь дойти до крайних пределов. Как было уже упомянуто, Полина, *la bonne*, имела *son homme à elle* в рядах армии, высланной против императора Наполеона. Ее поклонник был бельгийский гусар и уроженец Брюсселя. Войска этой нации прославились в ту войну чем угодно, только не храбростью, а молодой Ван-Кутсум, обожатель Полины, был слишком хорошим солдатом, чтобы послушаться приказа своего полковника бежать с поля сражения. Когда гарнизон стоял в Брюсселе, молодой Регул<sup>[201]</sup> (он родился в революционные времена) с большим комфортом проводил почти все свободное время у Полины на кухне. Несколько дней тому назад он простился со своей рыдающей возлюбленной и отправился в поход, набив себе карманы и сумку множеством вкусных вещей из ее кладовой.

И вот теперь для полка Регула кампания была окончена. Этот полк входил в состав дивизии под начальством наследного принца Оранского<sup>[202]</sup>, и, если судить по длине усов и сабель и по богатству обмундирования и экипировки, Регул и его товарищи представляли



собой самый доблестный отряд, какому когда-либо трубили сбор военные трубы.

Когда Ней ринулся на авангард союзных войск, штурмуя одну позицию за другой, пока прибытие главных сил британской армии из Брюсселя не изменило хода сражения при Катр-Бра, бельгийские гусары, среди которых находился и Регул, проявили величайшую расторопность в отступлении перед французами – их последовательно выбивали с одной позиции на другую, которую они занимали с необыкновенным проворством. Отход их задержало лишь наступление британской армии с тыла. Таким образом, они вынуждены были остановиться, и неприятельская кавалерия (кровожадное упорство которой заслуживает самого сурового порицания) получила наконец возможность войти в соприкосновение с храбрыми бельгийцами; но те предпочли встретиться с англичанами, а не с французами и, повернув коней, поскакали сквозь английские полки, наступавшие сзади, и рассеялись во всех направлениях. Их полк перестал существовать; его нигде не было, не было даже штаба. Регул опомнился, когда уже скакал верхом за много миль от места сражения, совершенно один. И где ему было искать убежища, как не на кухне, в объятиях верной Полины, в которых он и раньше так часто находил утешение?

Около десяти часов на крыльце того дома, где, по континентальному обычаю, Осборны занимали один этаж, раздалось бряцанье сабли. Затем послышался стук в кухонную дверь, и Полина, только что вернувшаяся из церкви, чуть не упала в обморок, когда, открыв дверь, увидела перед собой своего измученного гусара. Он был бледен, как полночный драгун, явившийся тревожить Ленору<sup>[203]</sup>. Полина непременно бы завизжала, но, так как ее крик мог привлечь хозяев и выдать ее друга, она сдержалась и, введя своего героя в кухню, стала угощать его пивом и отборными кусками от обеда, к которому Джоз так и не притронулся. Гусар доказал, что он не привидение, уничтожив громадное количество мяса и пива, и тут же, с полным ртом, поведал страшную повесть.

Полк его выказал чудеса храбрости и некоторое время сдерживал натиск всей французской армии. Но под конец они были смяты, как и все британские части. Ней уничтожает полк за полком. Бельгийцы тщетно пытались помешать избиению англичан. Брауншвейгцы

разбиты и бежали, их герцог убит. Это поистине *une débâcle*<sup>[204]</sup>. Регул старался в потоках пива утопить свое горе по поводу поражения. Исидор, зашедший в кухню, услышал этот разговор и кинулся сообщить о нем своему хозяину.

– Все кончено! – закричал он Джозу. – Милорд герцог взят в плен, герцог Брауншвейгский убит, британская армия обращена в бегство; спасся только один человек, и он сейчас сидит на кухне. Подите послушайте его.

Джоз, шатаясь, вошел в кухню, где Регул все еще сидел на кухонном столе, крепко присосавшись к кружке пива. Собрав все свои знания французского языка, который он, скажем прямо, безбожно коверкал, Джоз упросил гусара рассказать ему снова всю историю. Бедствия увеличивались, по мере того как Регул рассказывал. Он один во всем его полку не остался на поле сражения. Он видел, как пал герцог Брауншвейгский, как бежали черные гусары, как шотландцы были сметены артиллерийским огнем.

– А \*\*\* полк? – задыхаясь, спросил Джоз.

– Изрублен в куски, – отвечал гусар; а Полина, услышав это, воскликнула:

– О моя госпожа, *ma bonne petite dame!*<sup>[205]</sup> – И ее крики и причитания разнеслись по всему дому.

Вне себя от ужаса, мистер Седли не знал, как и где искать спасения. Он ринулся из кухни назад в гостиную и бросил умоляющий взгляд на дверь Эмилии, которую миссис О’Дауд захлопнула и заперла на ключ перед самым его носом. Вспомнив, с каким презрением она отнеслась к нему, он прислушался и подождал некоторое время около двери, а затем отошел от нее и решил выйти на улицу, в первый раз за этот день. Схватив свечу, он начал искать свою фуражку с золотым позументом, которую нашел на обычном месте, на подзеркальнике в передней, где привык кокетничать, взбивая волосы на висках и надвигая шляпу слегка набекрень, прежде чем показаться людям. Такова сила привычки, что, несмотря на владевший им ужас, Джоз машинально стал взбивать волосы и прилаживать фуражку. Затем он с изумлением поглядел на свое бледное лицо и особенно на усы, пышно разросшиеся за семь недель, истекших с их появления на свет.



«А ведь меня и правда примут за военного», – подумал он, вспомнив слова Исидора о том, какая судьба уготована всей британской армии в случае поражения. Пошатываясь, он вернулся в спальню и стал неистово дергать звонок, призывая прислугу.

Исидор явился на этот призыв и остолбенел: Джоз сидел в кресле, его шейные платки были сорваны, воротник отогнут, обе руки подняты к горлу.

– Coupez-moi, Исидор! – кричал он. – Vite! Coupez-moi!<sup>[206]</sup>

В первый момент Исидор подумал, что Джоз сошел с ума и просит, чтобы ему перерезали горло.

– Les moustaches! – задыхался Джоз. – Les moustaches... coupy, rasy, vite!<sup>[207]</sup>

Так он изъяснялся по-французски – бегло, но отнюдь не безупречно.

Исидор вмиг уничтожил усы бритвой и с невыразимым восхищением услышал приказание своего хозяина подать ему шляпу и штатский сюртук.

– Ne porty ploo... habit militaire... bonny... bonny a voo, prenny dehors<sup>[208]</sup>, – пролепетал Джоз.

Наконец-то венгерка и фуражка были собственностью Исидора!

Сделав этот подарок, Джоз выбрал из своего запаса одежды простой черный сюртук и жилет, повязал на шею широкий белый платок и надел мягкую кастановую шляпу. Если бы он мог раздобыть широкополую шляпу, он надел бы ее. Но он и без того был похож на толстого, цветущего пастора англиканской церкви.

– Venny maintenong, – продолжал Джоз, – sweevy... ally... party... dang la roo<sup>[209]</sup>. – С этими словами он кубарем скатился вниз по лестнице и выбежал на улицу.

Хотя Регул клялся, что из всего его полка и чуть ли не из всей союзной армии он единственный не был искрошен Неем в куски, заявление это было, по-видимому, неверно, и еще немало предполагаемых жертв спаслось от бойни. Десятки товарищей Регула вернулись в Брюссель, и, так как все они сознались, что бежали, в городе быстро распространился слух о полном поражении союзников. Прибытие французов ожидалось с часу на час, паника продолжалась, и всюду шли приготовления к бегству.

«Нет лошадей», – с ужасом думал Джоз. Он сто раз заставил Исидора спросить у разных лиц, нельзя ли купить или нанять у них лошадей, и при каждом отрицательном ответе сердце его сжималось все мучительнее. Что же, уйти пешком? Но на такой поступок его не мог склонить даже страх.

Почти все гостиницы, занятые англичанами в Брюсселе, выходили в парк, и Джоз нерешительно бродил по этому кварталу в толпе других людей, охваченных, как и он, страхом и любопытством. Он видел семейства, которым повезло больше, чем ему, – они раздобыли себе лошадей и с грохотом выезжали из города. Другие же, как и он сам, несмотря ни на какие взятки или просьбы, не могли достать себе необходимые средства передвижения. Среди этих незадачливых беглецов Джоз заметил леди Бейракс с дочерью: они сидели в своем экипаже в воротах гостиницы, все их имущество было погружено, и единственным препятствием к их отъезду было то же отсутствие движущей силы, которое приковало к месту и Джоза.

Ребекка Кроули занимала помещение в той же гостинице, и у нее установились самые холодные отношения с дамами семейства Бейракс. Миледи Бейракс делала вид, что не замечает миссис Кроули, когда они встречались на лестнице, и везде, где упоминалось ее имя, неизменно плохо отзывалась о своей соседке. Графиню шокировала слишком близкая дружба генерала Тафто с женой его адъютанта. Леди Бланш избегала Ребекки, как зачумленной. Только сам граф тайком поддерживал с нею знакомство, когда оказывался вне юрисдикции своих дам.

Теперь Ребекка могла отомстить этим дерзким врагам. В гостинице стало известно, что капитан Кроули оставил своих лошадей, и, когда началась паника, леди Бейракс снизошла до того, что послала горничную к жене капитана с приветом от ее милости и с поручением узнать, сколько стоят лошади миссис Кроули. Миссис Кроули ответила запиской, где свидетельствовала свое почтение и заявляла, что не привыкла заключать сделки с горничными.

Этот короткий ответ заставил графа самолично посетить апартаменты Бекки. Но и он добился не большего успеха.

– Посылать ко мне горничную! – гневно кричала миссис Кроули. – Может быть, миледи еще прикажет мне оседлать лошадей?

Кто желает бежать из Брюсселя, леди Бейракрс или ее femme de chambre? – И это был весь ответ, который граф принес своей супруге.

Чего не сделаешь в крайности! После неудачи второго посланца графиня сама отправилась к миссис Кроули. Она умоляла Бекки назначить цену; она даже пригласила Бекки в Бейракрс-Хаус, если та даст ей возможность туда вернуться. Миссис Кроули только усмехнулась.

– Я не желаю, чтобы мне прислуживали судебные исполнители в ливреях, – заявила она, – да вы, вероятно, никогда и не вернетесь, по крайней мере, с брильянтами. Они останутся французам. Французы будут здесь через два часа, а я к тому времени уже проеду полдороги до Гента. Нет, я не продам вам лошадей даже за два самых крупных брильянта, которые ваша милость надевала на бал.

Леди Бейракрс задрожала от ярости и страха. Брильянты были зашиты у нее в платье и в подкладке сюртука милорда, а часть их спрятана в его сапогах.

– Мои брильянты у банкира, бесстыжая вы особа! И лошадей я добуду! – сказала она.

Ребекка рассмеялась ей в лицо. Взбешенная графиня сошла во двор и уселась в карету: ее горничная, курьер и супруг еще раз были разосланы по всему городу отыскивать лошадей, – и плохо пришлось тому из них, кто вернулся последним! Ее милость решила уехать тотчас же, как только откуда-нибудь достанут лошадей, – все равно, с супругом или без него.

Ребекка с удовольствием глядела из окна на графиню, сидевшую в экипаже без лошадей; устремив на нее взгляд, она громко выражала свое сочувствие по поводу затруднительного положения, в которое попала ее милость.

– Не найти лошадей! – говорила она. – И это в то время, когда все брильянты зашиты в подушках кареты! Какая богатая добыча достанется французам, когда они придут сюда! Я имею в виду карету и брильянты, а не миледи.

Все это она вслух сообщала хозяину гостиницы, слугам, постояльцам и бесчисленным зевакам, толпившимся во дворе. Леди Бейракрс готова была застрелить ее из окна кареты.

Наслаждаясь унижением своего врага, Ребекка заметила Джоза, который тотчас направился к ней, как только ее увидел. Его

изменившееся, испуганное жирное лицо сразу выдало ей его тайну. Он также хотел бежать и искал способа осуществить свое желание.

«Вот кто купит моих лошадей, – подумала Ребекка, – а я уеду на своей кобыле». Джоз подошел к ней и в сотый раз в течение этого часа задал вопрос: не знает ли она, где можно достать лошадей?

– Что это, и *вы* хотите бежать? – сказала со смехом Ребекка. – А я-то думала, что вы защитник всех женщин, мистер Седли.

– Я... я... не военный человек, – пробормотал он, задыхаясь.

– А Эмилия?.. Кто будет охранять вашу бедную сестричку? – продолжала Ребекка. – Неужели вы решаетесь ее покинуть?

– Какую пользу я могу ей принести в случае... в случае, если придет неприятель? – возразил Джоз. – Женщин они пощадят, но мой слуга сказал, что мужчинам они поклялись не давать пощады... мерзавцы!

– Ужасно! – воскликнула Ребекка, наслаждаясь его растерянностью.

– Да я и не хочу покидать ее, – продолжал заботливый брат. – Она не будет покинута. Для нее найдется место в моем экипаже, и для вас также, дорогая миссис Кроули, если вы пожелаете ехать... и если мы достанем лошадей! – вздохнул он.

– У меня есть пара лошадей, которую я могу продать, – сказала Ребекка.

Джоз чуть не бросился ей на шею.

– Выкатывайте коляску, Исидор! – закричал он. – Мы нашли... мы нашли лошадей.

– Мои лошади никогда не ходили в упряжи, – прибавила миссис Кроули. – Снегирь разобьет экипаж вдребезги, если вы его запряжете.

– А под седлом он смирен? – спросил чиновник.

– Смирен, как ягненок, и быстр, как заяц, – ответила Ребекка.

– Как вы думаете, выдержит он мой вес? – продолжал Джоз.

Он уже видел себя мысленно на лошади, совершенно забыв о бедной Эмилии. Да и какой любитель лошадей мог бы устоять перед подобным соблазном!

Ребекка в ответ пригласила его к себе в комнату, куда он последовал за нею, задыхаясь от нетерпения заключить сделку. Едва ли какие-нибудь другие полчаса в жизни Джоза стоили ему столько денег. Ребекка, исчислив стоимость своего товара в соответствии с

нетерпением покупателя и с нехваткой одного товара на рынке, заломила за лошадей такую цену, что даже Джоз отшатнулся. Она продаст обеих или вовсе не будет продавать, заявила она решительно. Родон запретил их отдавать за меньшую цену, чем она назначила. Лорд Бейракрс с удовольствием даст ей эти деньги; и при всей ее любви и уважении к семейству Седли, дорогой мистер Джозеф должен понять, что бедным людям тоже надо жить, – словом, никто на свете не мог бы быть любезнее и в то же время более твердо стоять на своем.

Как и следовало ожидать, Джоз кончил тем, что согласился. Сумма, которую он должен был заплатить, была так велика, что ему пришлось просить отсрочки, так велика, что представляла для Ребекки целое маленькое состояние, и она быстро высчитала, что с этой суммой и с тем, что она выручит от продажи имущества Родона, да еще с ее вдовьей пенсией, в случае если муж будет убит, она окажется вполне обеспеченной и может твердо глядеть в лицо своей вдовьей доле.

Раз или два в этот день она и сама подумывала об отъезде. Но рассудок подсказывал более здоровое решение.

«Предположим, французы придут, – думала Бекки, – что они могут сделать бедной офицерской вдове? Ведь времена осад и разграбления городов миновали. Нас спокойно отпустят по домам, или я смогу недурно жить за границей на свой скромный доход».

Между тем Джоз и Исидор отправились в конюшню посмотреть купленных лошадей. Джоз приказал немедленно оседлать их: он уедет сейчас же, в эту же ночь. И он оставил слугу седлать лошадей, а сам пошел домой собираться. Отъезд нужно держать в тайне; он пройдет в свою спальню с заднего хода. Ему не хотелось встречаться с миссис О'Дауд и Эмилией и сообщать им, что он задумал бежать.

Пока совершалась сделка Джоза с Ребеккой, пока осматривали лошадей, прошла добрая половина ночи. Но, хотя полночь давно миновала, город не успокоился: все были на ногах, в домах горели огни, около дверей толпился народ, на улицах не прекращалась суматоха. Самые разноречивые слухи передавались из уст в уста: одни утверждали, что пруссаки разбиты; другие говорили, что атакованы и побеждены англичане; третьи – что англичане твердо удерживают свои позиции. Последний слух передавался все упорнее.

Французы не появлялись. Отставшие солдаты приходили из армии, принося все более и более благоприятные вести. Наконец в Брюссель прибыл адъютант с донесением коменданту, который тотчас расклеил по городу афиши, сообщавшие об успехах союзников у Катр-Бра и о том, что французы под командой Нея отброшены после шестичасового боя. Адъютант, вероятно, прибыл в то время, когда Ребекка и Джоз совершали свою сделку или когда последний осматривал свою покупку. Когда Джоз вернулся к себе, многочисленные обитатели дома толпились у крыльца, обсуждая последние новости: не было никакого сомнения в их достоверности. И Джоз отправился наверх сообщить приятное известие дамам, бывшим на его попечении. Он не считал нужным сообщить им ни о том, что собирался их покинуть, ни о том, как он купил лошадей и какую цену заплатил за них.

Победа или поражение было, однако, делом второстепенным для тех, чьи мысли целиком были заняты судьбою любимых. Эмилия, услышав о победе, еще более взволновалась. Она готова была сейчас же ехать в армию и слезно умоляла брата проводить ее туда. Ее страхи и сомнения достигли высшей степени. Бедняжка, в течение нескольких часов бывшая словно в столбняке, теперь металась как безумная, – поистине жалкое зрелище! Ни один мужчина, жестоко раненный в пятнадцати милях от города, на поле битвы, где полегло столько храбрых, – ни один мужчина не страдал больше, чем она, – бедная, невинная жертва войны. Джоз не мог вынести ее страданий. Он оставил сестру на попечении ее более мужественной подруги и снова спустился на крыльцо, где толпа все стояла, разговаривая и ожидая новостей.

Уже совсем рассвело, а толпа не расходилась, и с поля сражения начали прибывать новые известия, доставленные самими участниками трагедии. В город одна за другой въезжали телеги, нагруженные ранеными; из них неслись душераздирающие стоны, и измученные лица печально выглядывали из соломы. Джоз Седли с мучительным любопытством устремил взгляд на одну из этих повозок, – стоны, доносившиеся из нее, были ужасны; усталые лошади с трудом тащили телегу.

– Стой! Стой! – раздался из соломы слабый голос, и телега остановилась около дома мистера Седли.

– Это он! Я знаю, это Джордж! – закричала Эмилия и бросилась на балкон, бледная как смерть, с развевающимися волосами. Однако это был не Джордж, но то, что ближе всего было с ним связано, – известия о нем.

Это был бедный Том Стабл, двадцать четыре часа тому назад так доблестно выступивший из Брюсселя, неся полковое знамя, которое он мужественно защищал на поле битвы. Французский улан ранил юного прапорщика в ногу пикой; падая, он крепко прижал к себе знамя. По окончании сражения бедному мальчику нашлось место в повозке, и он был доставлен обратно в Брюссель.

– Мистер Седли! Мистер Седли! – чуть слышно звал он, и Джоз, испуганный, подошел на его зов. Он сначала не мог узнать, кто его зовет. Маленький Том Стабл протянул из повозки свою горячую, слабую руку.

– Меня примут здесь, – проговорил он. – Осборн и... и Доббин говорили, что меня примут... Дайте этому человеку два наполеондора. Мама вам отдаст.

Во время долгих мучительных часов, проведенных в телеге, мысли юноши уносились в дом его отца-священника, который он покинул всего несколько месяцев назад, и в бреду он временами забывал о своих страданиях.

Дом был велик, обитатели его добры: все раненые из этой повозки были перенесены в комнаты и размещены по кроватям. Юного прапорщика внесли наверх, в помещение Осборнов. Эмилия и жена майора кинулись к нему, как только узнали его с балкона. Можете представить себе чувства обеих женщин, когда им сказали, что сражение окончено и что их мужья живы. С каким безмолвным восторгом Эмилия бросилась на шею своей доброй подруге и обняла ее и в каком страстном порыве она упала на колени и благодарила всевышнего за спасение ее мужа!

Нашей молоденькой леди, в ее лихорадочном, нервном состоянии, никакой врач не мог бы прописать более целебного лекарства, чем то, которое послал ей случай. Она и миссис О’Дауд неустанно дежурили у постели раненого юноши, который тяжело страдал. Обязанности, возложенные на нее судьбой, не давали Эмилии времени размышлять о своих личных тревогах или предаваться, как она имела обыкновение, страхам и мрачным предчувствиям. Юноша

просто и без прикрас рассказал им о событиях дня и подвигах наших друзей из доблестного \*\*\* полка. Они сильно пострадали. Они потеряли много офицеров и солдат. Во время атаки под майором была убита лошадь, и все думали, что он погиб и что Доббину придется, по старшинству, заменить его; и только после атаки, при возвращении на старые позиции, нашли майора, который сидел на трупе Пирама и подкреплялся из своей походной фляжки. Капитан Осборн сразил французского улана, ранившего прапорщика в ногу. (Эмилия так побледнела при этом сообщении, что миссис О'Дауд велела рассказчику замолчать.) А капитан Доббин в конце дня, хотя сам был ранен, взял юношу на руки и отнес его к врачу, а оттуда на повозку, которая должна была отвезти его в Брюссель. Это Доббин обещал вознице два золотых, если тот доставит раненого в город, к дому мистера Седли, и скажет жене капитана Осборна, что сражение окончено и что муж ее цел и невредим.

– А право, у этого Уильяма Доббина предоброе сердце, – сказала миссис О'Дауд, – хотя он всегда насмехается надо мной.

Юный Стабл клялся, что другого такого офицера нет в армии, и не переставал хвалить старшего капитана, его скромность, доброту и его удивительное хладнокровие на поле битвы. К этим его словам Эмилия отнеслась рассеянно, – она слушала внимательно лишь тогда, когда речь заходила о Джордже, а когда имя его не упоминалось, она думала о нем.

В заботах о раненом прапорщике и в мыслях о чудесном спасении Джорджа второй день тянулся для Эмилии не так томительно долго. Для нее во всей армии существовал только один человек; а пока он был невредим, ход военных действий, надо признаться, мало интересовал ее. Известия, которые Джоз приносил с улицы, лишь смутно доходили до ее ушей, хотя этих известий было достаточно, чтобы встревожить нашего робкого джентльмена и многих других в Брюсселе. Конечно, французы отброшены, но отброшены после трудного, жестокого боя, в котором к тому же участвовала только одна французская дивизия. Император с главными силами находится около Линьи, где он наголову разбил пруссаков, и теперь может бросить все свои войска против союзников. Герцог Веллингтон отступает к столице и под ее стенами, вероятно, даст большое сражение, исход которого более чем сомнителен. Все, на что



он может рассчитывать, это двадцать тысяч английских солдат, потому что немецкие войска состоят из плохо обученных ополченцев, а бельгийцы весьма ненадежны. И с этой горстью его светлость должен противостоять ста пятидесяти тысячам, которые вторглись в Бельгию под командой Наполеона. Наполеона! Какой полководец, как бы знаменит и искусен он ни был, может устоять в борьбе с ним?

Джоз думал обо всем этом и трепетал. Так же чувствовали себя и другие жители Брюсселя, ибо все знали, что сражение предыдущего дня было только прелюдией к неизбежной решительной битве. Одна из армий, действовавших против императора, уже рассеяна. Немногочисленный отряд англичан, который попытается оказать ему сопротивление, погибнет на своем посту, и победитель по трупам павших войдет в город. Горе тем, кого он там застанет! Уже были сочинены приветственные адреса, должностные лица втайне собирались для совещаний, готовились помещения и кроились трехцветные флаги и победные эмблемы, чтобы приветствовать прибытие его величества императора и короля.

Бегство жителей все продолжалось, одно семейство за другим, разыскав экипаж и лошадей, покидало город. Когда Джоз 17 июня явился в гостиницу к Ребекке, он увидел, что большая карета Бейракрсов уехала наконец со двора: граф каким-то образом раздобыл пару лошадей без помощи миссис Кроули и катил теперь по дороге в Гент. Людовик Желанный<sup>[210]</sup> в этом же городе упаковывал свой *portemanteau*<sup>[211]</sup>. Казалось, злая судьба никогда не устанет преследовать этого незадачливого изгнанника.

Джоз чувствовал, что вчерашняя передышка была только временной и что ему, конечно, скоро пригодятся его дорого купленные лошади. Весь этот день его терзания были ужасны. Пока между Брюсселем и Наполеоном стояла английская армия, не было необходимости в немедленном бегстве, но все-таки Джоз перевел своих лошадей из отдаленной конюшни в другую, во дворе его дома, чтобы они были у него на глазах и не подвергались опасности похищения. Исидор зорко следил за дверью конюшни и держал лошадей оседланными, чтобы можно было выехать в любую минуту. Он ждал этой минуты с великим нетерпением.

После приема, который Ребекка встретила накануне, у нее не было желания навещать свою дорогую Эмилию. Она подрезала стебли

у букета, который преподнес ей Джордж, сменила в стакане воду и перечла записку, которую получила от него.

– Бедняжка, – сказала она, вертя в руках записку, – как бы я могла сразить ее этим! И из-за такого ничтожества она разбивает себе сердце, – ведь он дурак, самодовольный фат, и даже не любит ее. Мой бедный, добрый Родон в десять раз лучше! – И она принялась думать о том, что ей делать, если... если что-либо случится с бедным, добрым Родоном, и какое счастье, что он оставил ей лошадей.

Ближе к вечеру миссис Кроули, не без гнева наблюдавшая отъезд Бейракрсов, вспомнила о мерах предосторожности, принятых графиней, и сама занялась рукоделием. Она зашила большую часть своих драгоценностей, векселей и банковых билетов в платье и теперь была готова ко всему – бежать, если она это найдет нужным, или остаться и приветствовать победителя, будь то англичанин или француз. И я не уверен, что она в эту ночь не мечтала сделаться герцогиней и Madame la Marechale<sup>[212]</sup>, в то время как Родон на Мон-Сен-Жанском биваке, завернувшись в плащ, под проливным дождем, только и думал, что об оставшейся в городе малютке-жене.

Следующий день был воскресенье. Миссис О’Дауд с удовлетворением убедилась, что после короткого ночного отдыха оба ее пациента чувствуют себя лучше. Сама она спала в большом кресле в комнате Эмилии, готовая вскочить по первому же зову, если ее бедной подруге или раненому прапорщику понадобится помощь. Когда наступило утро, эта неутомимая женщина отправилась в дом, где они с майором стояли на квартире, и тщательно принарядилась, как и подобало в праздничный день. И весьма вероятно, что, пока миссис О’Дауд оставалась одна в той комнате, где спал ее супруг и где его ночной колпак все еще лежал на подушке, а трость стояла в углу, – горячая молитва вознеслась к небесам о спасении храброго солдата Майкла О’Дауда.

Когда она вернулась, она принесла с собой молитвенник и знаменитый том проповедей дядюшки-декана, который неизменно читала каждое воскресенье, быть может, не все понимая и далеко не все правильно произнося, – потому что декан был человек ученый и любил длинные латинские слова, – но с большой важностью, с выражением и в общем довольно точно. «Как часто мой Мик слушал эти проповеди, – думала она, – когда я читала их в каюте во время

штиля!» Теперь она решила познакомить с ними паству, состоявшую из Эмилии и раненого прапорщика. Такое же богослужение совершалось в этот день и час в двадцати тысячах церквей, и миллионы англичан на коленях молили отца небесного о защите.

Они не слышали грохота, который встревожил нашу маленькую паству в Брюсселе. Гораздо громче, чем те пушки, что взволновали их два дня назад, сейчас – когда миссис О’Дауд своим звучным голосом читала воскресную проповедь – загремели орудия Ватерлоо.

Джоз, услышав эти зловещие раскаты, решил, что он не в силах больше терпеть такие ужасы и сейчас же уедет. Он влетел в комнату больного, где трое наших друзей только что прервали свои благочестивые занятия, и обратился со страстным призывом к Эмилии.

– Я не могу больше этого выносить, Эмми, – воскликнул он, – и не хочу! Ты должна ехать со мной. Я купил для тебя лошадь, – не спрашивай, сколько это стоило, – и ты должна сейчас же одеться и ехать со мною. Ты сядешь позади Исидора.

– Господи помилуй, мистер Седли, да вы действительно трус! – сказала миссис О’Дауд, отложив книгу.

– Я говорю – едем, Эмилия! – продолжал Джоз. – Не слушай ты ее! Зачем нам оставаться здесь и ждать, чтобы нас зарезали французы?

– А как же \*\*\* полк, дружище? – спросил со своей постели Стабл, раненый герой. – И... и вы ведь не бросите меня здесь, миссис О’Дауд?

– Нет, мой милый, – отвечала она, подходя к кровати и целуя юношу. – Ничего плохого с вами не будет, пока я возле вас. А я не двинусь с места, пока не получу приказа от Мика. И хороша бы я была, если бы уселась в седло позади такого молодца!

Представив себе эту картину, раненый рассмеялся, и даже Эмилия улыбнулась.

– Я и не приглашаю ее! – закричал Джоз. – Я прошу не эту... эту... ирландку, а тебя, Эмилия. И последний раз – поедешь ты или нет?

– Без моего мужа, Джозеф? – сказала Эмилия, удивленно взглянув на него и подавая руку жене майора.

Терпение Джоза истощилось.

– Тогда прощайте! – воскликнул он, яростно потрясая кулаком, и вышел, хлопнув дверью. На этот раз он действительно отдал приказ к отъезду и сел на лошадь. Миссис О’Дауд услышала стук копыт, когда всадники выезжали из ворот, и, выплянув в окно, сделала несколько презрительных замечаний по адресу бедного Джозефа, который ехал по улице, сопровождаемый Исидором в фуражке с галуном. Лошади, застоявшиеся за несколько последних дней, горячились и не слушались повода. Джоз, робкий и неуклюжий наездник, выпядел в седле отнюдь не авантажно.

– Эмилия, дорогая, посмотрите, он собирается въехать в окно! Такого слона в посудной лавке я никогда еще не видела!

Вскоре оба всадника исчезли в конце улицы, в направлении Гентской дороги. Миссис О’Дауд преследовала их огнем насмешек, пока они не скрылись из виду.

Весь этот день, с утра и до позднего вечера, не переставая грохотали пушки. Было уже темно, когда канонада вдруг прекратилась.

Все мы читали о том, что произошло в этот день. Рассказ этот постоянно на устах каждого англичанина, и мы с вами, бывшие детьми во времена знаменательной битвы, никогда не устаем слушать и повторять историю нашей славной победы. Память о ней до сих пор жжет сердца миллионам соотечественников тех храбрецов, которые в тот день потерпели поражение. Они только и ждут, как бы отомстить за унижение своей родины. И если новая война окончится для них победой и они, в свою очередь, возликуют, а нам достанется проклятое наследие ненависти и злобы, то не будет конца тому, что зовется славой и позором, не будет конца резне – удачной то для одной, то для другой стороны – между двумя отважными нациями. Пройдут столетия, а мы, французы и англичане, будем по-прежнему бахвалиться и убивать друг друга, следуя самим дьяволом написанному кодексу чести.

Все наши друзья геройски сражались в этой великой битве. Весь долгий день, пока женщины молились в десяти милях от поля боя, английская пехота стойко отражала яростные атаки французской конницы. Неприятельская артиллерия, грохот которой был слышен в Брюсселе, косила ряды англичан, но когда одни падали, другие, уцелевшие, смыкались еще крепче. К вечеру бешенство французских

атак, всякий раз встречавших столь же бешеное сопротивление, стало ослабевать, – либо внимание французов отвлекли другие враги, либо они готовились к последнему натиску. Вот он наконец начался; колонны императорской гвардии двинулись на плато Сен-Жан, чтобы одним ударом смести англичан с высот, которые они, несмотря ни на что, удерживали весь день; словно не слыша грома артиллерии, низвергавшей смерть с английских позиций, темная колонна, колыхаясь, подступала все ближе. Казалось, она вот-вот перехлестнет через гребень, но тут она внезапно дрогнула и заколебалась. Потом остановилась, но все еще грудью к выстрелам. И тут английские войска ринулись вперед со своих позиций, откуда неприятелю так и не удалось их выбить, и гвардия повернулась и бежала.

В Брюсселе уже не слышно было пальбы – преследование продолжалось на много миль дальше. Мрак опустился на поле сражения и на город; Эмилия молилась за Джорджа, а он лежал ничком – мертвый, с простреленным сердцем.

## **Глава XXXIII,** ***в которой родственники мисс Кроули*** ***весьма озабочены ее судьбой***

Пока отличившаяся во Фландрии армия движется к французским пограничным крепостям, с тем чтобы, заняв их, вступить во Францию, пусть любезный читатель вспомнит, что в Англии мирно проживает немало людей, которые имеют отношение к нашей повести и требуют внимания летописца.

Во время этих битв и ужасов старая мисс Кроули жила в Брайтоне, очень умеренно волнуясь по поводу великих событий. Несомненно, однако, что эти великие события придавали некоторый интерес ежедневной печати, и Бригс читала ей вслух «Газету», в которой, между прочим, на почетном месте упоминалось имя Родона Кроули и его производство в чин полковника.

– Какая жалость, что молодой человек сделал такой непоправимый шаг в жизни! – заметила его тетка. – При его чине и отличиях он мог бы жениться на дочери какого-нибудь пивовара, хотя бы на мисс Грейнс, и взять приданое в четверть миллиона, или породниться с лучшими семьями Англии. Со временем он унаследовал бы мои деньги – или, может быть, его дети, – я не спешу умирать, мисс Бригс, хотя вы, может быть, и спешите отделаться от меня... А вместо этого ему суждено оставаться нищим, с женой-танцовщицей!..

– Неужели, дорогая мисс Кроули, вы не бросите сострадательного взора на героя-солдата, чье имя занесено в летописи отечественной славы? – воскликнула мисс Бригс, которая была чрезвычайно возбуждена событиями при Ватерлоо и любила выражаться романтически, когда представлялся случай. – Разве капитан, то есть полковник, как я могу его теперь называть, не совершил подвигов, которые прославили имя Кроули?

– Бригс, вы дура, – ответила мисс Кроули. – Полковник Кроули втоптал имя Кроули в грязь, мисс Бригс. Жениться на дочери учителя рисования! Жениться на *dame de compagnie* (потому что она ведь была

лишь компаньонкой, Бригс, только и всего; она была тем же, что и вы, только моложе – и гораздо красивее и умнее!). Хотелось бы мне знать, были вы сообщницей этой отъявленной негодяйки, которая околдовала его и которую вы всегда так восхищались? Да, скорей всего вы были ее сообщницей. Но, уверяю вас, вы будете разочарованы моим завещанием... Будьте столь любезны написать мистеру Уокси и сообщить ему, что я желаю его немедленно видеть.

Мисс Кроули имела теперь обыкновение чуть не каждый день писать своему поверенному мистеру Уокси, потому что все прежние распоряжения относительно ее имущества были отменены и она была в большом затруднении, как распорядиться своими деньгами.

Старая дева, однако, значительно поправилась, что видно было по тому, как часто и как зло она стала издеваться над мисс Бригс; все эти нападки бедная компаньонка сносила с кротостью и трусливым смирением, наполовину великодушным, наполовину лицемерным, – словом, с рабской покорностью, которую вынуждены проявлять женщины ее склада в ее положении. Кому не приходилось видеть, как женщина тиранит женщину? Разве мучения, которые приходится выносить мужчинам, могут сравниться с теми ежедневными колкостями, презрительными и жестокими, какими донимают несчастных женщин деспоты в юбках? Бедные жертвы!.. Но мы отклонились от нашей темы. Мы хотели сказать, что мисс Кроули бывала всегда особенно раздражительна и несносна, когда начинала поправляться после болезни; так, говорят, и раны болят всего больше, когда начинают заживать.

Во время выздоровления мисс Кроули единственной жертвой, которая допускалась к больной, была мисс Бригс, но родичи, оставаясь в отдалении, не забывали своей дорогой родственницы и старались поддерживать память о себе многочисленными подарками, знаками внимания и любезными записочками.

Прежде всего мы должны упомянуть о ее племяннике Родоне Кроули. Несколько недель спустя после славной Ватерлооской битвы и после того, как «Газета» известила о храбрости и о производстве в высший чин этого доблестного офицера, дьеппское почтовое судно привезло в Брайтон, в адрес мисс Кроули, ящик с подарками и почтительное письмо от ее племянника-полковника. В ящике была пара французских эполет, крест Почетного легиона и рукоять сабли –

трофеи с поля сражения. В письме с большим юмором рассказывалось, что сабля эта принадлежала одному офицеру гвардии, который клялся, что «гвардия умирает, но не сдается», и через минуту после этого был взят в плен простым солдатом; солдат сломал саблю француза прикладом своего мушкета, после чего ею завладел Родон. Что касается креста и эполет, то они достались ему от полковника французской кавалерии, который пал от его руки во время битвы. И Родон Кроули не мог найти лучшего назначения для этих трофеев, как послать их своему любимому старому другу. Разрешит ли она писать ей из Парижа, куда направляется армия? Он мог бы сообщить ей интересные новости из столицы и сведения о некоторых ее друзьях, бывших эмигрантах, которым она оказала так много благодеяний во время их бедствий.

Старая дева велела Бригс ответить полковнику любезным письмом, поздравить его и поощрить к продолжению корреспонденции. Его первое письмо было так живо и занимательно, что она с удовольствием будет ждать дальнейших.

– Конечно, я знаю, – объясняла она мисс Бригс, – что Родон столь же не способен написать такое отличное письмо, как и вы, моя бедная Бригс, и что каждое слово ему продиктовала эта умная маленькая негодяйка Ребекка, – но почему бы моему племяннику не позабавить меня? Так пусть считает, что я отношусь к нему благосклонно.

Догадывалась ли она, что Бекки не только написала письмо, но собрала и послала трофеи, которые купила за несколько франков у одного из бесчисленных разносчиков, немедленно начавших торговлю реликвиями войны? Романист, который все знает, знает, конечно, и это. Как бы то ни было, любезный ответ мисс Кроули очень подбодрил наших друзей, Родона и его супругу: тетушка явно смягчилась, значит, можно надеяться на лучшее. Они продолжали развлекать ее восхитительными письмами из Парижа, куда, как и писал Родон, они имели счастье проследовать в рядах победоносной армии.

К жене пастора, которая уехала лечить сломанную ключицу своего мужа в пасторский дом Королевского Кроули, старая дева была далеко не так милостива. Миссис Бьют, бодрая, шумливая, настойчивая и властная женщина, совершила роковую ошибку в отношении своей золовки. Она не только угнетала ее и всех ее



домашних – она надоела мисс Кроули; будь у бедной мисс Бригс хоть капля характера, она была бы осчастливлена поручением, данным ей благодетельницей, – написать миссис Бьют Кроули и сообщить ей, что здоровье мисс Кроули значительно улучшилось с тех пор, как миссис Бьют оставила ее, и чтобы последняя ни в коем случае не трудилась и не покидала своей семьи ради мисс Кроули. Такое торжество над дамой, которая обращалась с мисс Бригс весьма высокомерно и жестоко, обрадовало бы многих женщин; но надо сказать правду: мисс Бригс была женщина без всякого характера, и как только ее врагиня оказалась в немилости, она почувствовала к ней сострадание.

«Как я была глупа, – думала миссис Бьют (и вполне основательно), – что намекнула о своем приезде в этом дурацком письме, которое мы послали мисс Кроули вместе с цесарками! Я должна была бы, не говоря ни слова, приехать к этой бедной, милой, выжившей из ума старушке и вырвать ее из рук простофили Бригс и этой хищницы, *femme de chambre*. Ах, Бьют, Бьют, зачем только ты сломал себе ключицу!»

Зачем, в самом деле? Мы видели, как миссис Бьют, имея в руках все козыри, разыграла свои карты чересчур тонко. Одно время она оказалась полной хозяйкой в доме мисс Кроули, но, как только ее рабам представился случай взбунтоваться, была бесповоротно оттуда изгнана. Однако сама она и ее домашние считали, что она стала жертвой ужасающего эгоизма и измены и что ее самоотверженное служение мисс Кроули встретило самую черную неблагодарность. Повышение Родона по службе и почетное упоминание его имени в «Газете» также обеспокоило эту добрую христианку. Не смягчится ли к нему тетка теперь, когда он стал полковником и кавалером ордена Бани? И не войдет ли снова в милость эта ненавистная Ребекка? Жена пастора написала для своего мужа проповедь о суетности военной славы и процветании нечестивых, которую достойный пастор прочел прочувствованным голосом, не поняв в ней ни слова. Одним из его слушателей был Питт Кроули, – Питт, пришедший со своими двумя сводными сестрами в церковь, куда старого баронета нельзя было теперь заманить никакими средствами.

После отъезда Бекки Шарп этот старый нечестивец, к великому негодованию всего графства и безмолвному ужасу сына, всецело предался своим порочным склонностям. Ленты на чепце мисс

Хорокс стали роскошнее, чем когда-либо. Все добродетельные семьи с опаской сторонились замка и его владельца. Сэр Питт пьянствовал в домах своих арендаторов, а в базарные дни распивал ром вместе с фермерами в Мадбери и в соседних местах. Он ездил с мисс Хорокс в Саутгемптон в семейной карете четверкой, и все население графства (не говоря уже о пребывающем в постоянном страхе сыне баронета) с недели на неделю ожидало, что в местной газете появится объявление о его женитьбе на этой девице. Поистине, мистеру Кроули приходилось нелегко. Его красноречие на миссионерских собраниях и других религиозных сборищах в округе, где он обыкновенно председательствовал и говорил часами, было теперь парализовано, ибо, начиная свою речь, он читал в глазах слушателей: «Это сын старого греховодника сэра Питта, который сейчас, скорее всего, пьянствует где-нибудь в соседнем трактире». А однажды, когда он говорил о царе Тимбукту, пребывающем во мраке невежества, и о многочисленных женах, также пребывающих во тьме, какой-то еретик спросил из толпы: «А сколько их в Королевском Кроули, друг-святоша?» Эта неуместная реплика вызвала переполох среди устроителей собрания, и речь мистера Питта позорно провалилась. Что же касается двух дочерей баронета, то они бы совсем одичали (потому что сэр Питт поклялся, что ни одна гувернантка не переступит его порог), если бы мистер Кроули угрозами не заставил старого джентльмена послать их в школу.

Но каковы бы ни были разногласия между родственниками, дорогие племянники и племянницы мисс Кроули, как мы уже говорили, были единодушны в любви к ней и в выражении знаков своего внимания. Миссис Бьют послала ей цесарок и замечательную цветную капусту, а также премиленький кошелек и подушечку для булавок – работу ее дорогих девочек, которые просили милую тетеньку сохранить для них хотя бы крошечное местечко в ее памяти, а мистер Питт посылал персики, виноград и оленину. Эти знаки привязанности обычно доставлялись мисс Кроули в Брайтон саутгемптонской каретой; а иногда она привозила и самого мистера Питта, потому что разногласия с сэром Питтом заставляли мистера Кроули часто покидать дом, да и, кроме того, Брайтон имел для него особую притягательную силу в лице леди Джейн Шипшенкс, о помолвке которой с мистером Кроули уже упоминалось в нашем

рассказе. Эта леди и ее сестра жили в Брайтоне со своей матерью, графиней Саутдаун, женщиной решительной и весьма уважаемой серьезными людьми.

Следует сказать несколько слов о миледи и ее благородном семействе, связанном узами родства, настоящего и будущего, с семейством Кроули. Про главу семейства Саутдаунов, Клемента Уильяма, четвертого графа Саутдауна, мало что можно сказать, кроме того, что он вошел в парламент (в качестве лорда Вулзи) под покровительством мистера Уилберфорса и некоторое время оправдывал рекомендацию своего политического крестного и считался безусловно дельным молодым человеком. Но нет слов, чтобы передать чувства его почтенной матери, когда она, очень скоро после смерти своего благородного супруга, узнала, что ее сын состоит членом многих светских клубов и весьма сильно проигрался у Уотъера и в «Кокосовой Пальме», что он занимает деньги под будущее наследство и уже сильно пощипал семейное состояние, что он правит четверкой и пропадает на скачках и, наконец, что у него в опере постоянная ложа, куда он приглашает весьма сомнительную холостую компанию. Упоминание его имени в обществе вдовствующей графини теперь всегда сопровождалось тяжелыми вздохами.

Леди Эмили была на много лет старше своего брата и занимала почетное место в мире серьезных людей как автор восхитительных брошюр, уже упоминавшихся здесь, многочисленных гимнов и других трудов духовного содержания. Зрелая дева, имевшая лишь смутные представления о браке, почти все свои чувства сосредоточила на любви к чернокожим. Если не ошибаюсь, именно ей мы обязаны прекрасной поэмой:

Далекий тропический остров  
Молитвы мои осеняют,  
Там синее небо смеется,  
А черные люди рыдают...

Она переписывалась с духовными лицами в большинстве наших ост- и вест-индских владений и втайне была равнодушна к

преподобному Сайласу Хорнблоуэру, которого дикари на Полинезийских островах изукрасили татуировкой.

Что касается леди Джейн, к которой, как было уже сказано, питал нежные чувства мистер Питт Кроули, то это была милая, застенчивая, робкая и молчаливая девушка. Несмотря на чудовищные грехи брата, она все еще оплакивала его и стыдилась, что до сих пор его любит. Она посылала ему нацарапанные наспех записочки, которые тайно относила на почту. Единственная страшная тайна, тяготившая ее душу, состояла в том, что она вместе со старой ключницей однажды навестила украдкой Саутдауна на его холостой квартире в Олбени, где застала его – своего погибшего, но милого брата! – с сигарой во рту, перед бутылкой кюрасо. Она восхищалась сестрой, она обожала мать, она считала мистера Кроули самым интересным и одаренным человеком после Саутдауна, этого падшего ангела. Ее мать и сестра – эти поистине выдающиеся женщины – руководили ею и относились к ней с тем жалостливым снисхождением, на которое выдающиеся женщины так щедры. Мать выбирала для нее платья, книги, шляпки и мысли. Она ездила верхом, или играла на фортепьяно, или занималась каким-либо другим видом полезной гимнастики, в зависимости от того, что находила нужным леди Саутдаун; и та до двадцати шести лет водила бы свою дочь в передничках, если бы их не пришлось снять, когда леди Джейн представлялась королеве Шарлотте.

Узнав, что эти леди приехали в свой брайтонский дом, мистер Кроули первое время посещал только их одних, довольствуясь тем, что завозил в дом тетки визитную карточку и скромно осведомлялся о здоровье больной у мистера Боулса или у младшего лакея. Встретив однажды мисс Бригс, возвращавшуюся из библиотеки с целым грузом романов под мышкой, мистер Кроули покраснел, что было для него совершенно необычно, остановился и пожал руку компаньонке мисс Кроули. Он познакомил мисс Бригс со своей спутницей – леди Джейн Шипшенкс, говоря:

– Леди Джейн, позвольте мне представить вам мисс Бригс, самого доброго друга и преданную компаньонку моей тетушки. Впрочем, вы уже знаете ее как автора прелестных «Трелей соловья», вызвавших у вас такое восхищение.

Леди Джейн тоже покраснела, протягивая свою нежную ручку мисс Бригс, проговорила что-то несвязное, но очень любезное о своей

мамаше и высказала намерение навестить мисс Кроули и удовольствие по поводу предстоящего знакомства с друзьями и родственниками мистера Кроули. Прощаясь, она посмотрела на мисс Бригс кроткими глазами голубки, а Питт Кроули отвесил ей глубокий, почтительный поклон, какой он обычно отвешивал ее высочеству герцогине Пумперникель, когда состоял атташе при ее дворе.

О, ловкий дипломат и ученик макиавеллического Бинки! Он сам дал леди Джейн томик юношеских стихов бедной Бригс: вспомнив, что он видел их в Королевском Кроули, с посвящением поэтессы покойной жене его отца, он прихватил этот томик с собой в Брайтон, прочитал его дорогой в саутгемптонской карете и сделал пометки карандашом, прежде чем вручить его кроткой леди Джейн.

И не кто иной, как он, изложил перед леди Саутдаун огромные преимущества, которые могут проистечь из сближения ее семьи с мисс Кроули, – преимущества как мирского, так и духовного свойства, говорил он, ибо мисс Кроули была в ту минуту совершенно одинока. Чудовищное мотовство и женитьба его брата Родона отвратили тетушку от этого пропащего молодого человека. Алчный деспотизм и скупость миссис Бьют Кроули заставили ее возмутиться против непомерных требований со стороны этой ветви семейства; и хотя он сам всю жизнь воздерживался от того, чтобы искать дружбы мисс Кроули, – быть может, из ложной гордости, – теперь он считал, что следует принять все возможные меры как для спасения ее души от гибели, так и для того, чтобы состояние ее досталось ему, главе дома Кроули.

Как женщина решительная, леди Саутдаун вполне согласилась с обоими предложениями своего будущего зятя и пожелала безотлагательно заняться обращением мисс Кроули. У себя дома, в Саутдауне и Троттерморкасле, эта рослая, суровая поборница истины разъезжала по окрестностям в коляске в сопровождении гайдуков, разбрасывала пакеты религиозных брошюр среди поселян и арендаторов и предписывала Гаферу Джонсу обратиться в истинную веру совершенно так же, как предписала бы Гуди Хиксу принять Джемсов порошок, – без возражений, без промедления, без благословения церкви. Лорд Саутдаун, ее покойный супруг, робкий эпилептик, привык поддакивать всему, что думала или делала его Матильда. Как бы ни менялась ее собственная вера (а на нее

оказывали влияние бесконечные учителя-диссиденты<sup>[213]</sup> всех толков), она, нимало не колеблясь, приказывала всем своим арендаторам и слугам верить одинаково с нею. Таким образом, принимала ли она преподобного Сондерса Мак-Нитра, шотландского богослова, или преподобного Луку Уотерса, умеренного уэслианца<sup>[214]</sup>, или преподобного Джайлса Джоулса, сапожника-иллюмината<sup>[215]</sup>, который сам себя рукоположил в священники, как Наполеон сам короновал себя императором, – все домочадцы, дети и арендаторы леди Саутдаун должны были вместе с ее милостью становиться на колени и говорить «аминь» после молитвы любого из этих учителей. Во время таких упражнений старому Саутдауну, ввиду его болезненного состояния, разрешалось сидеть у себя в комнате, пить пунш и слушать чтение газет. Леди Джейн, любимая дочь старого графа, ухаживала за ним и была ему искренне предана. Что касается леди Эмили, автора «Прачки Финчлейской общины», то ее проповеди о загробных карах (именно в этот период, потом она изменила свои убеждения) были так грозны, что до смерти запугивали робкого старого джентльмена – ее отца, и доктора утверждали, что его припадки всегда следовали непосредственно за проповедями леди Эмили.

– Я, конечно, навещу ее, – сказала леди Саутдаун в ответ на просьбы *pretendu*<sup>[216]</sup> ее дочери, мистера Питта Кроули. – Какой доктор лечит вашу тетушку?

Мистер Кроули назвал мистера Кримера.

– В высшей степени опасный и невежественный врач, мой дорогой Питт! Всевышний избрал меня своим орудием, чтобы изгнать его из многих домов, хотя в одном или двух случаях я опоздала. Я не могла спасти бедного генерала Гландерса, который умирал по милости этого невежественного человека – умирал! Он немного поправился от поджерсовских пилюль, которые я ему дала, но – увы! – было слишком поздно. Зато смерть его была прекрасна! Он ушел от нас в лучший мир... Ваша тетушка, мой дорогой Питт, должна расстаться с Кримером.

Питт выразил свое полное согласие. Он тоже испытал на себе энергию своей благородной родственницы и будущей тещи. Ему пришлось перепробовать Сондерса Мак-Нитра, Луку Уотерса, Джайлса Джоулса, пилюли Поджерса, эликсир Поки – словом, все

духовные и телесные лекарства миледи. Он никогда не уходил от нее иначе, как почтительно унося с собой груды ее шарлатанских брошюр и снадобий. О мои дорогие собратья и спутники – товарищи по Ярмарке Тщеславия! Кто из вас не знаком с такими благожелательными деспотами и не страдал от них! Напрасно вы будете говорить им: «Сударыня, помилосердствуйте, ведь в прошлом году я по вашему указанию принимал лекарство Поджерса и уверовал в него. Зачем же, скажите, зачем я буду от него отказываться и принимать пилюли Роджерса?» Ничто не поможет; упорная проповедница, если не убедит вас доводами, зальется слезами, и в конце концов протестующая жертва плотает пилюли и говорит: «Ну, ладно, ладно, пусть будет Роджерс!»

– А что касается ее души, – продолжала миледи, – то тут нельзя терять времени. Раз ее лечит Криммер, она может умереть в любой день, – и в каком состоянии, мой дорогой Питт, в каком ужасном состоянии! Я сейчас же пошлю к ней преподобного мистера Айронса... Джейн, напиши записочку в третьем лице его преподобию Бартоломью Айронсу и проси его доставить мне удовольствие пожаловать ко мне на чашку чая в половине седьмого. Он мастер пробуждать грешные души, и он должен повидаться с мисс Кроули сегодня же, прежде чем она ляжет спать. Эмили, дорогая, приготовь связочку брошюр для мисс Кроули. Положи туда: «Голос из пламени», «Иерихонскую трубу» и «Разбитые котлы с мясом, или Обращенный каннибал».

– И «Прачку Финчлейской общины», мама, – сказала леди Эмили. – Лучше начать с чего-нибудь успокоительного.

– Погодите, дорогие леди, – сказал дипломат Питт. – При всем моем уважении к мнению моей дорогой и уважаемой леди Саутдаун, я думаю, что еще слишком рано предлагать мисс Кроули такие серьезные темы. вспомните, как она больна и как непривычны для нее размышления, связанные с загробным блаженством.

– Тем более нужно начать по возможности скорее, Питт, – сказала леди Эмили, поднимаясь с места уже с шестью книжечками в руках.

– Если вы начнете так решительно, вы отпугнете ее. Я слишком хорошо знаю суетную натуру тетушки и уверен, что всякая чересчур энергичная попытка ее обращения приведет к самым плачевным результатам для этой несчастной леди. Вы только испугаете ее и

наскучите ей. Весьма вероятно, что она выкинет все книги и откажется от знакомства с теми, кто их прислал.

– Вы, Питт, такой же суетный человек, как и мисс Кроули, – сказала леди Эмили и выбежала из комнаты со своими книжками.

– Мне нечего говорить вам, дорогая леди Саутдаун, – продолжал Питт тихим голосом, словно и не слышал этого вводного замечания, – насколько роковым может оказаться недостаток осторожности и такта для тех надежд, которые мы питаем в отношении имущества моей тети. Вспомните, у нее семьдесят тысяч фунтов; подумайте о ее возрасте, ее нервозности и слабом здоровье. Я знаю, что она уничтожила завещание, написанное в пользу моего брата, полковника Кроули. Только лаской, а не запугиванием можем мы повести эту раненую душу по истинному пути, и, я думаю, вы согласитесь со мной, что... что...

– Конечно, конечно, – сказала леди Саутдаун. – Джейн, дорогая моя, можешь не посылать записку мистеру Айронсу. Если ее здоровье так слабо, что рассуждения только утомят ее, мы подождем, пока ей станет лучше. Я завтра же навещу мисс Кроули.

– И осмелюсь заметить, моя милая леди, – сказал Питт кротким голосом, – лучше вам не брать с собой нашу дорогую Эмили, – она слишком восторженна; лучше, если вас будет сопровождать наша милая и дорогая леди Джейн.

– Ну конечно, Эмили может испортить все дело, – сказала леди Саутдаун и на этот раз согласилась отступить от своей обычной практики, которая, как мы говорили, заключалась в том, что, прежде чем наброситься на очередную жертву, которую она собиралась прибрать к рукам, она обстреливала ее градом брошюр (так же, как у французов атаке предшествовала бешеная канонада). Повторяем, леди Саутдаун – щадя здоровье больной, или заботясь о конечном спасении ее души, или ради ее денег – согласилась потерпеть.

На следующий день огромная семейная карета Саутдаунов с графской короной и ромбовидным гербом на дверцах (на зеленом щите Саутдаунов три прыгающих ягненка, наискось – золотая перевязь с чернью и тремя червлеными табакерками – эмблема дома Бинки) торжественно подкатила к дому мисс Кроули, и высокий солидный лакей передал мистеру Боулсу визитные карточки ее милости для мисс Кроули и еще одну – для мисс Бригс. В тот же вечер леди Эмили,



помирившись на компромиссе, прислала на имя мисс Бригс и для ее личного потребления объемистый пакет, содержащий экземпляры «Прачки» и еще пять-шесть брошюр умеренного и нежного действия, а кроме того, несколько других, более сильно действующих, – «Хлебные крошки из кладовой», «Огонь и полымя» и «Ливрея греха» – в людскую, для прислуги.

## Глава XXXIV

### Трубка Джеймса Кроули вышвырнута в окно

Любезность мистера Кроули и ласковое обхождение леди Джейн сильно польстили мисс Бригс, и, когда старой мисс Кроули подали визитные карточки семьи Саутдаун, она нашла возможность замолвить доброе слово за невесту Питта. Карточка графини, оставленная лично для нее, Бригс, доставила немало радости бедной, одинокой компаньонке.

– Не понимаю, о чем думала леди Саутдаун, оставляя карточку для *вас*, Бригс, – сказала вольнолюбивая мисс Кроули, на что компаньонка кротко отвечала, что «она надеется, нет ничего плохого в том, что знатная леди оказала внимание бедной дворянке». Она спрятала карточку в свою рабочую шкатулку среди самых дорогих своих сокровищ. Мисс Бригс рассказала также, как она встретила накануне мистера Кроули, гулявшего со своей кузиной, с которой он давно обручен, какая она добрая и милая и как скромно – если не сказать просто – эта леди была одета; весь ее костюм, начиная со шляпки и кончая башмачками, она описала и оценила с чисто женской точностью.

Мисс Кроули позволила Бригс болтать и не спешила прерывать ее. Здоровье старой леди поправлялось, и она уже начала тосковать по людям. Мистер Криммер, ее врач, и слышать не хотел о ее возвращении к прежнему рассеянному образу жизни в Лондоне. Старая дева была рада найти какое-нибудь общество в Брайтоне, и на следующий же день не только было отправлено письмо с выражением благодарности за внимание, но Питт Кроули был любезно приглашен навестить тетку. Он явился с леди Саутдаун и ее дочерью. Вдовствующая леди ни слова не сказала о состоянии души мисс Кроули, но говорила с большим тактом о погоде, о войне и о падении этого чудовища Бонапарта, а больше всего о докторах-шарлатанах и о великих достоинствах доктора Поджерса, которому она в ту пору покровительствовала.

Во время этого визита Питт Кроули сделал ловкий ход, – такой ход, который показывал, что, если бы его дипломатическая карьера не была загублена в самом начале, он мог бы многого достигнуть на этом поприще. Когда вдовствующая графиня Саутдаун стала поносить корсиканского выскочку, что было в то время в моде, доказывая, что он чудовище, запятнанное всеми возможными преступлениями, что он трус и тиран, недостойный того, чтобы жить, что гибель его была предрешена и т. д., Питт Кроули вдруг стал на защиту этого «избранника судьбы». Он описал первого консула, каким видел его в Париже во время Амьенского мира, когда он, Питт Кроули, имел удовольствие познакомиться с великим и достойным мистером Фоксом, государственным мужем, которым – как сильно он сам, Питт Кроули, ни расходится с ним во взглядах – невозможно не восхищаться и который всегда был высокого мнения об императоре Наполеоне. Далее он с негодованием отозвался о вероломстве союзников по отношению к свергнутому императору, который, великодушно отдавшись на их милость, был обречен на жестокое и позорное изгнание, в то время как Франция оказалась во власти новых тиранов – шайки фанатичных католиков.

Такая ортодоксальная ненависть к католической ереси спасла Питти Кроули от гнева леди Саутдаун, а его восхищение Фоксом и Наполеоном чрезвычайно возвысило его в глазах мисс Кроули. (О ее дружбе с покойным английским сановником уже упоминалось.) Верная сторонница вигов, мисс Кроули в течение всей войны была в оппозиции; и хотя можно с уверенностью сказать, что печальный конец императора не слишком сильно взволновал старую леди, а плохое обращение с ним не лишило ее сна, все же похвала Питта обоим ее кумирам нашла отклик в сердце тетушки и очень содействовала тому, чтобы расположить ее в пользу племянника.

– А вы что об этом думаете, дорогая? – спросила мисс Кроули юную леди, которая с первого взгляда понравилась ей, как всегда нравились хорошенькие и скромные молодые особы; хотя нужно признаться, что ее симпатии остывали так же быстро, как и возникали.

Леди Джейн сильно покраснела и сказала, что «она ничего не понимает в политике и предоставляет судить о ней людям более умным, чем она; и хотя мама, без сомнения, права, но и мистер

Кроули говорил прекрасно». Когда гости стали прощаться, мисс Кроули выразила надежду, что «леди Саутдаун будет так добра отпускать к ней иногда леди Джейн, когда та будет свободна, чтобы утешить бедную больную и одинокую старуху». Обещание было любезно дано, и дамы расстались очень дружески.

– Не пускай ко мне больше леди Саутдаун, Питт, – сказала старая леди. – Она глупая и напыщенная, как и вся родня твоей матери; я их всегда терпеть не могла. Но эту прелестную маленькую Джейн приводи когда хочешь.

Питт обещал. Он не сказал графине Саутдаун, какое мнение его тетка составила о ее милости, и та, напротив, думала, что произвела на мисс Кроули самое приятное и величественное впечатление.

И вот леди Джейн, которая всегда готова была утешать болящих и, пожалуй, даже радовалась возможности время от времени избавляться от мрачных разглагольствований преподобного Бартоломью Айронса и от общества скучных приживальщиков, пресмыкавшихся у ног напыщенной графини, ее матери, – леди Джейн сделалась частой гостьей в доме мисс Кроули, сопровождала ее на прогулки и коротала с нею вечера. Она была по природе так добра и мягка, что даже Феркин не ревновала к ней, а безответной Бригс казалось, что ее покровительница обращается с нею не так жестоко в присутствии доброй леди Джейн. С этой юной леди мисс Кроули держала себя премило. Она рассказывала ей бесконечные истории о своей молодости, причем совсем в другом тоне, чем в свое время – маленькой безбожнице Ребекке, потому что в невинности леди Джейн было что-то такое, что делало неуместными легкомысленные разговоры, а мисс Кроули была слишком хорошо воспитана, чтобы оскорбить такую чистоту. Сама юная леди ни от кого не видела ласки, за исключением этой старой девы, своего отца и брата; и она отвечала на *engouement*<sup>[217]</sup> мисс Кроули неподдельной нежностью и дружбой.

В осенние вечера (когда Ребекка, самая веселая среди веселых победителей, блистала в Париже, а наша Эмилия, милая, сраженная горем Эмилия, – ах, где-то была она теперь?) леди Джейн сидела в гостиной мисс Кроули и нежно пела ей в сумерках свои простые песенки и гимны, пока солнце заходило, а море с шумом разбивалось о берег. Когда песенка кончалась, старая дева переставала дремать и

просила леди Джейн спеть что-нибудь еще. Что касается Бригс и количества счастливых слез, пролитых ею, пока она сидела тут же, делая вид, что вяжет, и смотрела на великолепный океан, темневший за окном, и на небесные огни, ярко разгоравшиеся вверху, – кто, скажите, может измерить счастье и умиление Бригс?

Питт тем временем сидел в столовой с брошюрой о хлебных законах или с миссионерским отчетом и отдыхал, как подобает и романтическим, и неромантическим мужчинам после обеда. Он тянул мадеру; строил воздушные замки; думал о том, какой он молодец; чувствовал, что влюблен в Джейн более, чем когда-либо за все эти семь лет, в течение которых они были женихом и невестой и в течение которых Питт не ощущал ни малейшего нетерпения; а после мадеры надолго засыпал. Когда наступало время пить кофе, мистер Боулс с шумом входил в столовую и, застав сквайра Питта в темноте, погруженного в брошюры, приглашал его наверх.

– Мне так хотелось бы, моя дорогая, найти кого-нибудь, кто сыграл бы со мной в пикет, – сказала мисс Кроули однажды вечером, когда названный слуга появился в комнате со свечами и кофе. – Бедная Бригс играет не лучше совы; она так глупа! – Старая дева не упускала случая обидеть мисс Бригс в присутствии слуг. – Мне кажется, я бы лучше засыпала после игры.

Леди Джейн зарделась, так что покраснели даже ее ушки и тонкие пальчики; и когда мистер Боулс вышел из комнаты и дверь за ним плотно закрылась, она сказала:

– Мисс Кроули, я умею немножко играть. Я часто играла... с бедным дорогим папа.

– Идите сюда и поцелуйте меня! Идите и сейчас же поцелуйте меня, милая, добрая малютка! – в восторге воскликнула мисс Кроули. И за этим живописным и мирным занятием мистер Питт застал старую и молодую леди, когда поднялся наверх с брошюрой в руках. Бедная леди Джейн, как она краснела весь вечер!

Нечего и говорить, что ухищрения мистера Питта Кроули не ускользнули от внимания его дорогих родственников из пасторского дома в Королевском Кроули. Хэмпшир и Сассекс находятся очень близко друг от друга, и у миссис Бьют были в Сассексе друзья, которые заботливо извещали ее обо всем – и даже больше, чем обо

всем, – что происходило в доме мисс Кроули в Брайтоне. Питт бывал там все чаще. Он месяцами не показывался у себя в замке, где его отвратительный отец целиком посвятил себя рому и мерзкому обществу Хороксов. Успехи Питта приводили семью пастора в ярость, и миссис Бьют больше чем когда-либо сожалела (хотя не признавалась в этом) об ужасной ошибке, которую она совершила, так оскорбив мисс Бригс и обнаружив такое высокомерие и скупость в обращении с Боулсом и Феркин, что среди домашних мисс Кроули не было никого, кто сообщил бы ей о том, что там делалось.

– И все это из-за ключицы Бьюта, – уверяла она. – Не сломай он ключицы, я ни за что бы отсюда не уехала. Я жертва долга и твоей, Бьют, несносной и неуместной для священника страсти к охоте.

– При чем тут охота? Глупости! Это ты, Марта, нагнала на нее страху, – возразил пастор. – Ты умная женщина, Марта, но у тебя дьявольский характер, и очень уж ты прижимиста.

– Тебя бы давно прижали в тюрьме, Бьют, если бы я не берегла твоих денег.

– Это я знаю, моя милая, – добродушно сказал пастор. – Ты умная женщина, но действуешь слишком уж круто.

И благочестивый муж утешился объемистой рюмкой портвейна.

– И какого дьявола нашла она в этом простофиле Питте Кроули? – продолжал пастор. – Ведь он последний трус. Я помню, как Родон – вот это настоящий мужчина, черт его возьми! – гонял его хлыстом вокруг конюшни, как какой-нибудь волчок, и Питт с ревом бежал домой к мамаше. Ха-ха! Любой из моих мальчиков одолеет его одной рукой. Джим говорит, что его до сих пор вспоминают в Оксфорде как «Мисс Кроули», этакий простофиля... Знаешь что, Марта... – продолжал его преподобие после паузы.

– Что? – спросила Марта, кусая ногти.

– Отчего бы нам не послать Джима в Брайтон? Может, он как-нибудь обойдет старуху. Он ведь скоро кончает университет. Он всего два раза проваливался на экзаменах – как и я, – но у него большие преимущества – Оксфорд, университетское образование... Он знаком там с лучшими ребятами. Гребет в восьмерке своего колледжа. Красивый мальчик... Черт возьми, сударыня, напустим его на старуху и скажем ему, чтобы отдул Питта, если тот будет что-нибудь говорить, ха-ха-ха!

– Джим, конечно, может съездить навестить ее, – согласилась хозяйка дома и добавила со вздохом: – Если бы нам удалось пристроить к ней хотя бы одну из девочек; но она их терпеть не может, потому что они некрасивы.

Пока мать говорила, эти несчастные образованные девицы, расположившись рядом в гостиной, деревянными пальцами барабанили на фортепьяно какую-то сложную музыкальную пьесу; целый день они или были заняты музыкой, или сидели с дощечкой за спиной, или зубрили географию и историю. Но какая польза от всего этого на Ярмарке Тщеславия, если девица низкоросла, бедна, некрасива и у нее дурной цвет лица? Единственный, на кого миссис Бьют могла рассчитывать, чтобы сбить с рук одну из дочерей, был младший приходский священник!

В это время в гостиную вошел вернувшийся из конюшни Джим с коротенькой трубкой, заткнутой за ремешок клеенчатой фуражки, и заговорил с отцом о сент-леджерских скачках. Разговор между пастором и его женой прервался.

Миссис Бьют не ждала ничего особенно хорошего от посольства своего сына Джеймса и проводила его в путь просто с горя. Да и юноша, после того как ему сказали, в чем будет состоять его миссия, также не ожидал от нее особенного удовольствия или выгоды; но он скоро утешился мыслью, что, может быть, старая дева преподнесет хорошенький сувенир, который даст ему возможность расплатиться с наиболее срочными долгами к началу предстоящего семестра, и потому беспрекословно занял место в саутгемптонской карете и в тот же вечер благополучно прибыл в Брайтон со своим чемоданом, любимым бульдогом Таузером и большой корзиной разных разностей с фермы и огорода: от любящего пасторского семейства – дорогой мисс Кроули. Решив, что слишком поздно беспокоить больную леди в первый же день приезда, он остановился в гостинице и отправился к мисс Кроули только в середине следующего дня.

Джеймс Кроули, когда тетушка видела его в последний раз, был долговязым мальчишкой, в том неблагоприятном возрасте, когда голос срывается с неземного дисканта на неестественный бас, а лицо нередко цветет украшениями, от которых рекомендуется в качестве лекарства «Калидор» Роленда; когда мальчики украдкой бреются ножницами сестер, а вид других молодых женщин повергает их в

неизъяснимый страх, когда большие руки и ноги торчат из слишком коротких рукавов и штанин; когда присутствие этих юношей после обеда пугает дам, шепчущихся в сумерках в гостиной, и несносно для мужчин за обеденным столом, которые перед лицом этой неуклюжей невинности должны удерживаться от свободной беседы и приятного обмена остротами; когда после второго стакана папаша говорит: «Джек, мой мальчик, поди посмотри, какова погода», – и юноша, радуясь, что можно уйти, но досадуя, что он еще не настоящий мужчина, покидает неоконченный банкет. Джеймс тогда был нескладным подростком, а теперь стал молодым человеком, получившим все преимущества университетского образования и отмеченным тем неопределимым лоском, который приобретается благодаря жизни среди золотой молодежи, долгам, временному исключению из университета и провалам на экзаменах.

Так или иначе, он был красивым юношей, когда явился представиться своей тетушке в Брайтоне, а красивая наружность всегда вызывала расположение капризной старой девы. Неловкость мальчика и способность постоянно краснеть усиливали это расположение: ей нравились эти здоровые признаки неиспорченности в молодом человеке.

Он заявил, что «приехал сюда на несколько дней повидаться с товарищем по колледжу и... и... засвидетельствовать вам, сударыня, свое почтение и почтение отца с матерью, которые надеются, что вы в добром здоровье».

Питт находился у мисс Кроули, когда доложили о юноше, и очень смутился при упоминании его имени. Старая леди с присущим ей чувством юмора наслаждалась замешательством своего корректного племянника. Она с большим интересом расспросила обо всем пасторском семействе и добавила, что хочет навестить их. Она принялась в лицо расхваливать мальчика, сказала, что он вырос и похорошел, и пожалела, что его сестры не так красивы. Узнав, что он остановился в гостинице, она не захотела об этом и слышать и просила мистера Боулса немедленно послать за вещами мистера Джеймса Кроули.

– Да, будьте добры, Боулс, – закончила она милостиво, – заплатите по счету мистера Джеймса.



Она бросила на Питта такой лукавый и торжествующий взгляд, что дипломат чуть не задохнулся от зависти. Как ни старался он расположить к себе тетку, она ни разу еще не приглашала его к себе погостить, а тут появился какой-то молокосос – и сразу стал желанным гостем.

– Прошу прощения, сэр, – сказал Боулс, выступая вперед с глубоким поклоном, – в каком отеле Томас должен взять ваш багаж?

– О черт! – воскликнул юный Джеймс и вскочил, явно чем-то встревоженный. – Я сам пойду.

– Куда? – спросила мисс Кроули.

– В трактир «Под гербом Тома Крибба<sup>[218]</sup>», – ответил Джеймс, густо краснея.

Услыхав это название, мисс Кроули расхохоталась. Мистер Боулс, как старый слуга семьи, фыркнул, но тут же подавил свою веселость; дипломат только улыбнулся.

– Я... я не знал, – добавил Джеймс, опустив глаза. – Я здесь в первый раз; это кучер присоветовал мне. – Юный лжец! На самом деле Джеймс Кроули познакомился накануне в саутгемптонской карете с Любимцем Татбери, который ехал в Брайтон на состязание с Ротингдинским Бойцом, и, восхищенный беседой с Любимцем, провел вечер в обществе этого ученого мужа и его друзей в упомянутом трактире.

– Я... я лучше пойду и расплачусь сам, – продолжал Джеймс. – Вы не беспокойтесь, сударыня, – прибавил он великодушно.

Эта деликатность еще больше развеселила тетку.

– Ступайте и оплатите счет, Боулс, – промолвила она, махнув рукой, – и принесите его мне!

Бедная леди: она не ведала, что творила!

– Там... там собачка, – сказал Джеймс с ужасно виноватым видом. – Лучше я сам схожу за ней. Она кусает лакеев за икры.

При таком заявлении все общество разразилось хохотом, – даже Бригс и леди Джейн, которые сидели молча во время разговора мисс Кроули с ее племянником; а Боулс, не говоря ни слова, вышел из комнаты.

Мисс Кроули, желая уязвить своего старшего племянника, продолжала оказывать милостивое внимание юному оксфордцу. Раз начав, она расточала ему любезности и похвалы без всякой меры.

Питту она сказала, что он может прийти к обеду, а Джеймса взяла с собой на прогулку и торжественно возила его взад и вперед по скалистому берегу, усадив на скамеечку коляски. Во время прогулки она удостоила его любезной беседы, цитировала сбитому с толку юноше итальянские и французские стихи, утверждала, что он отличный студент и она вполне уверена в том, что он получит золотую медаль и кончит первым по математике.

– Ха-ха-ха! – засмеялся Джеймс, ободренный этими комплиментами. – Первый по математике? Это из другой оперы!

– Как так из другой оперы, дитя мое? – сказала леди.

– Первых по математике отличают в Кембридже, а не в Оксфорде, – ответил Джеймс с видом знатока. Он пустился бы, вероятно, и в дальнейшие объяснения, если бы на дороге не показался шарабан, запряженный сытой лошадкой; в нем сидели в белых фланелевых костюмах с перламутровыми пуговицами его друзья – Любимец Татбери и Ротингдинский Боец, а с ними трое их знакомых джентльменов; и все они приветствовали бедного Джеймса, сидевшего в коляске. Эта встреча удручающе подействовала на пылкого юношу, и в продолжение всей остальной прогулки от него нельзя было ничего добиться, кроме «да» и «нет».

По возвращении домой он обнаружил, что спальня ему приготовлена и чемодан доставлен; он также мог бы заметить на лице мистера Боулса, провожавшего его в отведенную ему комнату, выражение строгости, удивления и сострадания. Но он меньше всего думал о мистере Боулсе. Он оплакивал ужасное положение, в котором оказался, – в доме, полном старух, болтающих по-французски и по-итальянски и декламирующих ему стихи.

«Вот влопался-то, честное слово!» – мысленно восклицал скромный юноша, который терялся, когда с ним заговаривала даже самая приветливая особа женского пола – даже мисс Бригс, а между тем мог бы превзойти самого бойкого лодочника на Ифлийских шлюзах по части жаргонного красноречия.

К обеду Джеймс явился, задыхаясь в туго затянутом шейном платке, и удостоился чести вести вниз в столовую леди Джейн, в то время как Бригс и мистер Кроули следом за ними вели старую леди со всем ее набором шалей, свертков и подушек. Половину времени за обедом Бригс занималась тем, что ухаживала за больной и резала

курицу для жирной болонки. Джеймс говорил мало, но считал своей обязанностью угощать дам вином; сам он не отставал от мистера Кроули и осушил большую часть бутылки шампанского, которую мистеру Боулсу было приказано подать в честь гостя. Когда дамы удалились и кузены остались вдвоем, экс-дипломат Питт сделался очень общительным и дружелюбным. Он расспрашивал Джеймса о занятиях в колледже, о его видах на будущее, желал ему всяческих успехов – словом, был откровенен и мил. Язык у Джеймса развязался под влиянием портвейна, и он рассказал кузену о своей жизни, о своих планах, о своих долгах, о неудачах на экзамене, о ссорах с начальством в колледже, все время подливая из бутылок, стоящих перед ним, и беззаботно мешая портвейн с мадерой.

– Главная радость для тетушки, – говорил мистер Кроули, наполняя свой стакан, – чтобы гости в ее доме делали все, что им нравится. Это храм свободы, Джеймс, и ты доставишь тетке самое большое удовольствие, если будешь поступать, как тебе нравится, и требовать себе все, что захочешь. Я знаю, все вы в деревне смеетесь надо мной за то, что я тори. Мисс Кроули достаточно либеральна, чтобы допускать всякие убеждения. Она республиканка по своим принципам и презирает титулы и чины.

– Почему же вы собираетесь жениться на дочери графа? – спросил Джеймс.

– Дорогой мой, не забудь, что леди Джейн не виновата в том, что она знатного рода, – дипломатично ответил Питт. – Она не может изменить свое происхождение. А кроме того, ты ведь знаешь, что я тори.

– О, что касается этого, – сказал Джеймс, – ничто не может сравниться с породой. Нет, черт возьми, ничто! Я-то не радикал, я понимаю, что значит быть джентльменом, черт подери! Возьмите хотя бы молодцов на гребных гонках! Или боксеров! Или собак-крысоловов! Кто всегда побеждает? Тот, у кого порода лучше. Принесите-ка еще портвейну, старина Боулс, пока я выдую этот графин до конца! Да, о чем бишь я говорил?

– Мне кажется, ты говорил о собаках-крысоловах, – кротко заметил Питт, подавая ему графин, который он обещал «выдуть до конца».

– О ловле крыс разве? Ну, а как вы сами, Питт, вы спортсмен? Хотите вы увидеть собаку, которая здорово душит крыс? Если хотите, пойдете со мной к Тому Кордюрою на Касл-стрит, и я покажу вам такого бультерьера!.. Фу, какой я дурак! – закричал Джеймс, раздражаясь хохотом над своей собственной глупостью. – Вам-то какое дело до собак и крыс! Все это чепуха! Вы, пожалуй, не отличите собаку от утки!

– Это верно. Кстати, – продолжал Питт все более ласково, – ты вот говорил о породе и о тех преимуществах, которые дает дворянское происхождение... А вот новая бутылка!

– Порода – великая вещь, – сказал Джеймс, жадно глотая портвейн, – да, порода – это все, сэр, и в лошадях, и в собаках, и в людях. Вот в последний семестр, как раз перед тем, как я был временно исключен из университета... то есть, я хочу сказать, перед тем, как я захворал корью, ха-ха! – я и Рингвуд из колледжа Крайст-Черч, Боб Рингвуд, сын лорда Синкбара, сидели за пивом в «Колоколе» близ Блейнгейм-Парка, когда лодочник из Бенбери предложил любому из нас сразиться с ним за кружку пунша. Я не мог: у меня рука была на перевязи; не мог даже сбросить сюртук. Проклятая кобыла упала вместе со мной за два дня до этого – когда я ездил в Эбингдон, – и я думал, рука у меня сломана... Да, сэр, я не мог с ним сразиться, а Боб сразу же – сюртук долой! Три минуты он обрабатывал бенберийца и покончил с ним в четыре раунда. Как он свалился, сэр! А почему так вышло? Порода, сэр, все порода!

– Ты ничего не пьешь, Джеймс, – сказал бывший атташе. – В мое время в Оксфорде мы, видно, умели пить лучше, чем теперешняя молодежь.

– Ну, ну! – сказал Джеймс, поднося к носу палец и подмигивая кузену пьяными глазами. – Без шуток, старина, нечего меня испытывать! Вы хотите меня загонять, но это не пройдет! *In vino veritas*<sup>[219]</sup>, старина, *Mars, Bacchus, Apollo virorum*<sup>[220]</sup>, а? Хотелось бы мне, чтобы тетушка послала этого вина родителю... шикарное вино!

– А ты попроси ее, – надоумил его Макиавелли, – и пока не теряй времени. Помнишь, что говорит поэт: «*Nuns vino pellite curas, Cras ingens iterabimus aequor*<sup>[221]</sup>», – и, процитировав эти слова с видом парламентского оратора, поклонник Бахуса жестом заправского пьяницы влил в себя крошечный плоточек вина.

Когда в пасторском доме откупоривали после обеда бутылку портвейна, юные леди получали по рюмочке смородиновки, миссис Бьют выпивала рюмочку портвейна, а честный Джеймс обычно две; и так как отец хмурил брови, если он покушался на третью, то добрый малый большей частью воздерживался и снисходил до смородиновки или до джина с водой тайком на конюшне, где он наслаждался обществом кучера и своей трубки. В Оксфорде количество вина не было ограничено, зато качество его было очень низкое; когда же, как в доме его тетки, были налицо и количество, и качество, Джеймс умел показать, что может воздать им должное, и едва ли нуждался в поощрениях кузена, чтобы осушить вторую бутылку, принесенную мистером Боулсом.

Но как только настало время для кофе и возвращения дам, перед которыми Джеймс трепетал, приятная откровенность покинула юного джентльмена, и, погрузившись в свою обычную мрачную застенчивость, он ограничивался весь вечер лишь словами «да» и «нет», хмуро смотрел на леди Джейн и опрокинул чашку кофе.

Однако если он не разговаривал, то зевал самым жалким образом, и его присутствие внесло уныние в скромное вечернее времяпрепровождение: мисс Кроули и леди Джейн за пикетом, а мисс Бригс за работой чувствовали устремленные на них осовелые глаза и испытывали неловкость под этим пьяным взглядом.

– Он, кажется, очень молчаливый, робкий и застенчивый юноша, – заметила мисс Кроули Питту.

– Он более разговорчив в мужском обществе, чем с дамами, – сухо отвечал Макиавелли, может быть, несколько разочарованный тем, что портвейн не развязал язык Джеймсу.

Первую половину следующего утра Джеймс провел за письмом к матери, в котором дал ей самый благоприятный отчет о приеме, оказанном ему у мисс Кроули. Но – ах! – он и не подозревал, сколько огорчений принесет ему наступающий день и как кратковременно будет его торжество! Джеймс позабыл об одном обстоятельстве, – пустячном, но роковом обстоятельстве, которое имело место в трактире «Под гербом Крибба» в вечер накануне посещения им дома тетушки. Произошло всего лишь следующее: Джим всегда отличался великодушным нравом, а когда бывал навеселе, то делался особенно гостеприимным. В тот вечер, угощая Любимца Татбери и

Ротингдинского Бойца вместе с их друзьями, он два или три раза заказывал джин, – так что в итоге мистеру Джеймсу Кроули было поставлено в счет не меньше восемнадцати стаканов этого напитка по восемь пенсов за стакан. Конечно, не сумма этих восьмипенсовиков, но количество выпитого джина оказалось роковым для репутации бедного Джеймса, когда дворецкий его тетушки, мистер Боулс, отправился, по приказу своей госпожи, уплатить по счету юного джентльмена. Хозяин гостиницы, боясь, как бы не отказались совсем уплатить, торжественно клялся, что молодой джентльмен сам поглотил все указанное в счете спиртное. В конце концов Боулс заплатил по счету, а вернувшись домой, показал его Феркин, которая пришла в ужас и отнесла счет к мисс Бригс (как личному счетоводу), которая в свою очередь сочла своим долгом упомянуть об этом обстоятельстве своей покровительнице мисс Кроули.

Если бы Джеймс выпил дюжину бутылок кларета, старая дева могла бы ему простить. Мистер Фокс и мистер Шеридан пили кларет. Джентльмены вообще пьют кларет. Но восемнадцать стаканов джина, выпитых с боксерами в гнусном кабаке, – это было отвратительное преступление, которое не так-то легко простить. Все, как назло, обернулось против юноши: он явился домой, пропитанный запахом конюшни, где навещал своего бульдога Таузера, а когда он вывел пса погулять, то встретил мисс Кроули с ее толстой бленгеймской болонкой, и Таузер разорвал бы несчастную собачку, если бы она с визгом не бросилась под защиту мисс Бригс, между тем как жестокий хозяин бульдога стоял подле, хохоча над этой бесчеловечной травлей.

В этот же день застенчивость изменила злополучному юноше. За обедом он был оживлен и развязен и отпустил несколько шуток по адресу Питта Кроули; он опять пил много вина, как и накануне, и, перебравшись в гостиную, начал развлекать дам отборными оксфордскими анекдотами. Он расписывал достоинства боксеров Молине и Сэма Голландца, игриво предлагал леди Джейн держать пари за Любимца Татбери против ротингдинца или наоборот – как ей угодно, и под конец предложил кузену Питту Кроули помериться с ним силами в перчатках или без перчаток.

– Еще скажите спасибо, любезный, что я предоставил вам выбирать, – сказал он с громким хохотом, хлопнув Питта по плечу. –

Мне и отец советовал с вами не церемониться, – он сам готов на меня поставить. Ха-ха-ха!

С этими словами обаятельный юноша хитро подмигнул бедной мисс Бригс и шутливо указал большим пальцем через плечо на Питта Кроули.

Питту, может быть, не слишком это нравилось, но в общем он был скорее доволен. Бедный Джеймс истощил наконец свой запас веселости и, когда старая леди собралась уходить, прошел, шатаясь, через комнату со свечой в руке и с нежнейшей пьяной улыбкой попытался расцеловать старушку. Потом он и сам отправился наверх, в свою спальню, вполне довольный собой и с приятной уверенностью, что тетушкины деньги будут оставлены ему лично, предпочтительно перед его отцом и остальными членами семьи.

Казалось бы, теперь, когда он очутился в своей комнате, он уже никак не мог еще больше испортить дело. Но злополучный юноша нашел для этого средство. Луна так ярко сияла над морем, и Джеймс, привлеченный к окну романтическим видом небес и океана, подумал, что недурно было бы любоваться всей этой красотой, покуривая трубку. Никто не услышит запаха табака, решил он, если отворить окно и высунуть голову с трубкой на свежий воздух. Так он и сделал. Но, возбужденный вином, бедный Джеймс совсем забыл, что дверь его комнаты открыта, а между тем легкий бриз, дувший в окно и образовавший приятный сквозняк, понес вниз по лестнице облака табачного дыма, которые, сохранив весь свой аромат, достигли мисс Кроули и мисс Бригс.

Трубка довершила дело, – семейство Бьюта Кроули так и не узнало, сколько тысяч фунтов она им стоила! Феркин ринулась вниз по лестнице к Боулсу, который в это время громким замогильным голосом читал своему адъютанту «Огонь и полымя». Феркин сообщила ему ужасную тайну с таким перепуганным видом, что в первую минуту мистер Боулс и его помощник подумали, что в доме грабители и Феркин, вероятно, увидела чьи-нибудь ноги, торчащие из-под кровати мисс Кроули. Однако, едва узнав, что случилось, дворецкий опрометью бросился вверх по лестнице, вбежал в комнату ничего не подозревавшего Джима и крикнул ему сдавленным от волнения голосом:

– Мистер Джеймс! Ради бога, сэр, бросьте трубку! О мистер Джеймс, что вы наделали! – добавил он с чувством, вышвыривая трубку в окно. – Что вы наделали, сэр: мисс Кроули не выносит табака!

– Так пускай она и не курит, – ответил Джеймс с безумным и неуместным смехом, считая весь эпизод превосходной шуткой. Однако на следующее утро настроение его сильно изменилось, когда помощник мистера Боулса, производивший манипуляции над сапогами гостя и приносивший ему горячую воду для бритья той бороды, появление которой мистер Джеймс так страстно призывал, подал ему в постель записку, написанную рукой мисс Бригс.

«Дорогой сэр, – писала она, – мисс Кроули провела чрезвычайно беспокойную ночь из-за того, что дом ее осквернен табачным дымом. Мисс Кроули приказала мне передать вам ее сожаление, что она по причине нездоровья не может повидаться с вами до вашего ухода, а главное – что убедила вас покинуть трактир, где вы, как она уверена, с гораздо большим удобством проведете те дни, которые вам еще осталось пробыть в Брайтоне».

На том и кончилась карьера достойного Джеймса как кандидата на милость тетушки. Он, сам того не зная, действительно сделал то, что угрожал сделать: он сразился с кузеном Питтом – и потерпел поражение.

Где же между тем находился тот, кто когда-то был первым фаворитом в этих скачках за деньгами? Бекки и Родон, как мы видели, соединились после Ватерлоо и проводили зиму 1815 года в Париже, среди блеска и шумного веселья. Ребекка была очень экономна, и денег, которые бедный Джоз Седли заплатил за ее лошадей, вполне хватило на то, чтобы их маленькое хозяйство продержалось по крайней мере в течение года; и не пришлось обращать в деньги ни «мои пистолеты, те, из которых я застрелил капитана Маркера», ни золотой несессер, ни плащ, подбитый собольим мехом. Бекки сделала себе из него шубку, в которой каталась по Булонскому лесу, вызывая всеобщее восхищение. Если бы вы видели сцену, происшедшую между нею и ее восхищенным супругом, к которому она приехала после того, как армия вступила в Камбре! Она распоролла свое платье и вынула оттуда часы, безделушки, банковые билеты, чеки и



драгоценности, которые запрятала в стеганую подкладку в то время, как замышляла бегство из Брюсселя. Тафто был в восторге, а Родон хохотал от восхищения и клялся, что все это, ей-богу, интереснее всякого театрального представления. А ее неподражаемо веселый рассказ о том, как она надула Джоза, привел Родона прямо-таки в сумасшедший восторг. Он верил в свою жену так же, как французские солдаты верили в Наполеона.

В Париже она пользовалась бешеным успехом. Все французские дамы признали ее очаровательной. Она в совершенстве говорила на их языке. Она сразу же усвоила их грацию, их живость, их манеры. Супруг ее был, конечно, глуп, но все англичане глупы, а к тому же в Париже глупый муж – всегда довод в пользу жены. Он был наследником богатой и *spirituelle*<sup>[222]</sup> мисс Кроули, чей дом был открыт для стольких французских дворян во время эмиграции. Теперь они принимали жену полковника в своих особняках.

«Почему бы, – писала одна знатная леди мисс Кроули, которая в трудные дни после революции, не торгуясь, купила у нее кружева и безделушки, – почему бы нашей дорогой мисс не приехать к своему племяннику и племяннице и к преданным друзьям? Весь свет без ума от очаровательной жены полковника и ее *espiègle*<sup>[223]</sup> красоты. Да, мы видим в ней грацию, очарование и ум нашего дорогого друга мисс Кроули! Вчера в Тюильри ее заметил король, и мы все завидовали вниманию, которое оказал ей *Monsieur*<sup>[224]</sup>. Если бы вы могли видеть, как досадовала некая глупая миледи Бейракрс (орлиный нос, ток и перья которой всегда торчат над головами всего общества), когда герцогиня Ангулемская, августейшая дочь и друг королей, выразила особое желание быть представленной миссис Кроули, как вашей дорогой дочери и *protégée*, и благодарила ее от имени Франции за все благодеяния, оказанные вами нашим несчастным изгнанникам! Она бывает на всех собраниях, на всех балах – да, она бывает на балах, но не танцует. И все же как интересна и мила эта прелестная женщина, которая скоро станет матерью! Поклонников у нее без числа. А послушать, как она говорит о вас, своей благодетельнице, своей матери, – даже злодей прослезился бы. Как она вас любит! Как мы все любим нашу добрейшую, нашу уважаемую мисс Кроули!»

Есть основания опасаться, что это письмо знатной парижанки не помогло миссис Бекки завоевать расположение ее добрейшей, ее

уважаемой родственницы. Напротив, бешенство старой девы не знало границ, когда ей стало известно об успехах Ребекки и о том, как она дерзко воспользовалась именем мисс Кроули, чтобы получить доступ в парижское общество. Слишком потрясенная и душой, и телом, чтобы написать письмо по-французски, она продиктовала Бригс яростный ответ на своем родном языке, где начисто отрекалась от миссис Родон Кроули и предостерегала общество от козней этой хитрой и опасной особы. Но так как герцогиня Х. провела в Англии всего лишь двадцать лет, она не понимала по-английски ни слова и удовольствовалась тем, что при следующей встрече известила миссис Родон Кроули о получении от *chère Mees*<sup>[225]</sup> очаровательного письма, полного благосклонных отзывов о миссис Кроули, после чего та стала серьезно надеяться, что старая дева смягчится.

Тем временем не было англичанки веселее и обаятельнее ее; вечерние приемы, которые она устраивала, были маленькими европейскими конгрессами: пруссаки и казаки, испанцы и англичане – весь свет был в Париже в эту памятную зиму. При виде того, сколько орденов и лент собиралось в скромном салоне Ребекки, вся Бейкер-стрит побледнела бы от зависти. Прославленные воины верхом сопровождали экипаж Бекки в Булонском лесу или толпились в ее скромной маленькой ложе в опере. Родон пребывал в отличнейшем состоянии духа. В Париже пока еще не было надоедливых кредиторов; каждый день избранное общество собиралось у Вери или Бовилье, игра шла вовсю, и Родону везло. Тафто, правда, был не в духе: миссис Тафто по собственному побуждению прибыла в Париж; кроме этого *contretemps*<sup>[226]</sup>, множество генералов толпилось теперь вокруг кресла Бекки, и когда она ехала в театр, она могла выбирать из десятка присланных ей букетов. Леди Бейракрс и подобные ей столпы английского общества, глупые и безупречные, переживали муки ада при виде успеха этой маленькой выскочки Бекки, ядовитые шутки которой больно ранили их целомудренные сердца. Но все мужчины были на ее стороне. Она воевала с женщинами с неукротимой храбростью, а они могли сплетничать о ней только на своем родном языке.

И так, в празднествах, развлечениях и довольстве, проводила зиму 1815/16 года миссис Родон Кроули, которая столь легко освоилась с жизнью высшего общества, точно ее предки целые

столетия вращались в свете. Благодаря своему уму, талантам и энергии она действительно заслужила почетное место на Ярмарке Тщеславия. Ранней весной 1816 года в газете «Галиньяни»<sup>[227]</sup>, в одном из занимательнейших ее столбцов, было помещено следующее сообщение: «26 марта супруга полковника лейб-гвардии Зеленого полка Кроули разрешилась от бремени сыном и наследником».

Известие об этом событии было перепечатано в лондонских газетах, откуда мисс Бригс и вычитала его для сведения мисс Кроули за завтраком в Брайтоне. Эта новость, хотя и не была неожиданной, вызвала перелом в делах семейства Кроули. Ярость старой девы дошла до высшей точки; она тотчас послала за своим племянником Питтом и за леди Саутдаун с Брансуик-сквер и потребовала немедленного бракосочетания, которое оба семейства так долго откладывали. При этом она объявила, что намерена выдавать молодой чете ежегодно тысячу фунтов в продолжение всей своей жизни, а по окончании оной завещает большую часть имущества племяннику и дорогой племяннице, леди Джейн Кроули. Уокси явился, чтобы официально закрепить эти распоряжения. Лорд Саутдаун был у сестры посаженным отцом; венчание совершал епископ, а не преподобный Бартоломью Айронс, что очень обидело этого самозванного прелата.

После свадьбы Питту хотелось предпринять свадебное путешествие, как и подобало людям в их положении, но привязанность старой леди к леди Джейн так сильно возросла, что, как она прямо в том призналась, она не могла расстаться со своей любимицей. Поэтому Питт и его жена переехали к мисс Кроули и поселились у нее; и к великой досаде бедного мистера Питта, который считал очень несправедливым, что ему приходится выносить, с одной стороны, капризы тетки, а с другой – тещи, леди Саутдаун, жившая в соседнем доме, властвовала теперь над всем семейством: над Питтом, леди Джейн, мисс Кроули, Бригс, Боулсом, Феркин и всеми вообще. Она безжалостно пичкала их своими брошюрами и лекарствами, дала отставку Кримеру и водворила Роджерса – и вскоре лишила мисс Кроули какой бы то ни было власти. Бедняжка так присмирела, что даже перестала изводить Бригс и с каждым днем все с большей нежностью и страхом привязывалась к племяннице. Мир тебе, добрая и эгоистичная, великодушная, суетная старая язычница! Мы больше тебя не увидим. Будем надеяться, что леди Джейн нежно

поддерживала ее и вывела своей любящей рукой из суеты и шума Ярмарки Тщеславия.

## Глава XXXV

### Вдова и мать

Известия о битвах при Катр-Бра и Ватерлоо пришли в Англию одновременно. «Газета» первая опубликовала эти славные донесения, и всю страну охватил трепет торжества и ужаса. Затем последовали подробности: извещения о победах сменил нескончаемый список раненых и убитых. Кто в силах описать, с каким страхом разворачивались и читались эти списки! Вообразите, как встречали в каждой деревушке, чуть ли не в каждом уголке всех трех королевств великую весть о битвах во Фландрии; вообразите чувства ликования и благодарности, чувства неутешного горя и безысходного отчаяния, когда люди прочли эти списки и стало известно, жив или погиб близкий друг или родственник. Всякий, кто возьмет на себя труд просмотреть эти газеты того времени, даже теперь вчуже почувствует этот трепет ожидания. Списки потерь печатались изо дня в день; вы останавливались посредине, как в рассказе, продолжение которого обещано в следующем номере. Подумайте только, с каким волнением ждали ежедневно этих листков по мере их выхода из печати! И если такой интерес возбуждали они в нашей стране – к битве, в которой участвовало лишь двадцать тысяч наших соотечественников, то подумайте о состоянии всей Европы в течение двадцати лет, предшествовавших этой битве, – там люди сражались не тысячами, а миллионами, и каждый из них, поразив врага, жестоко ранил чье-нибудь невинное сердце далеко от поля боя.

Известие, которое принесла знаменитая «Газета» семейству Осборнов, страшным ударом поразило обеих сестер и их отца. Но если девицы открыто предавались безудержной скорби, то тем горше было мрачному старику нести тяжесть своего несчастья. Он старался убедить себя, что это возмездие строптивцу за ослушание, и не смел сознаться, что он и сам потрясен суровостью приговора и тем, что его проклятие так скоро сбылось. Иногда он содрогался от ужаса, как будто и вправду был виновником постигшей сына кары. Раньше еще оставались какие-то возможности для примирения: жена Джорджа могла умереть или сам он мог прийти и сказать: «Отец, прости, я

виноват». Но теперь уже не было надежды. Его сын стоял на другом краю бездны, не спуская с отца грустного взора. Старик вспомнил, что видел однажды эти глаза – во время горячки, когда все думали, что юноша умирает, а он лежал на своей постели безмолвный, с устремленным куда-то скорбным взглядом. Милосердный боже! Как отец цеплялся тогда за доктора и с какой тоскливой тревогой внимал ему! Какая тяжесть свалилась с его сердца, когда после кризиса мальчик стал поправляться и в глазах его, обращенных на отца, снова затеплилось сознание! А теперь не могло быть никаких надежд ни на поправку, ни на примирение, а главное – никогда уже не услышит он тех смиренных слов, которые одни могли бы смягчить оскорбленное тщеславие отца и успокоить его отравленную яростью кровь. И трудно сказать, что больше терзало гордое сердце старика: то, что его сын находился за пределами прощения, или то, что сам он никогда не услышит той мольбы о прощении, которой так жаждала его гордость.

Однако, каковы бы ни были его чувства, суровый старик ни с кем не делился ими. Он никогда не произносил имени сына при дочерях, но приказал старшей одеть всю женскую прислугу в траур и пожелал, чтобы все слуги мужского пола тоже облеклись в черное. Приемы и развлечения были, конечно, отменены. Будущему зятю ничего не говорилось о свадьбе, и хоть день ее был уже давно назначен, один вид мистера Осборна удерживал мистера Буллока от расспросов или каких-либо попыток ускорить приготовления. Он порой шептался об этом с дамами в гостиной, куда отец никогда не заходил, проводя все время у себя в кабинете. Вся парадная половина дома была закрыта на время траура.

Недели через три после 18 июня старый знакомый мистера Осборна, сэр Уильям Доббин, явился на Рассел-сквер, очень бледный и взволнованный, и настоял на том, чтобы быть допущенным к главе семьи. Войдя в комнату и сказав несколько слов, которых не поняли ни сам говоривший, ни хозяин дома, посетитель достал письмо, запечатанное большой красной печатью.

– Мой сын, майор Доббин, – заявил олдермен с волнением, – прислал мне письмо с одним офицером \*\*\* полка, сегодня приехавшим в город. В письме моего сына было письмо к вам, Осборн. – Олдермен положил запечатанный пакет на стол, и Осборн минуту или две молча смотрел на посетителя. Взгляд этот испугал

посланца, он виновато посмотрел на убитого горем человека и поспешил уйти, не добавив ни слова.

Письмо было написано знакомым смелым почерком Джорджа. Это было то самое письмо, которое он написал на рассвете 16 июня, перед тем как проститься с Эмилией. На большой красной печати был оттиснут фальшивый герб с девизом «Рах in bello»<sup>[228]</sup>, заимствованный Осборном из «Книги пэров» и принадлежавший герцогскому дому, на родство с которым притязал тщеславный старик. Рука, подписавшая письмо, никогда уже не будет держать ни пера, ни меча. Самая печать, которой оно было запечатано, была похищена у Джорджа, когда он мертвый лежал на поле сражения. Отец не знал этого; он сидел и смотрел на конверт в немом ужасе, а когда поднялся, чтобы взять его в руки, едва не упал.

Были ли вы когда-нибудь в ссоре с близким другом? Какое мучение и какой укор для вас его письма, написанные в пору любви и доверия! Какое тяжкое страдание – задуматься над этими горячими излияниями умершего чувства! Какой лживой эпитафией звучат они над трупом любви! Какие это мрачные, жестокие комментарии к Жизни и Тщеславию! Большинство из нас получало или писало такие письма пачками. Это позорные тайны, которые мы храним и которых боимся. Осборн долго сидел, весь дрожа, над посланием умершего сына.

В письме бедного молодого офицера было сказано немного. Он был слишком горд, чтобы обнаружить нежность, которую чувствовал в сердце. Он только писал, что накануне большого сражения хочет проститься с отцом, и заклинал его оказать покровительство жене и, может быть, ребенку, которых он оставляет после себя. Он с раскаянием признавался, что вследствие своей расточительности и беспорядочности уже растратил большую часть маленького материнского капитала. Он благодарил отца за его прежнее великодушие и обещал – что бы ни сулил ему завтрашний день, жизнь или смерть на поле битвы, – не опозорить имени Джорджа Осборна.

Свойственная англичанину гордость, быть может, некоторое чувство неловкости не позволяли ему сказать больше. Отец не мог видеть, как он поцеловал адрес на конверте. Мистер Осборн уронил листок с горькой, смертельной мукой неудовлетворенной любви и мщения. Его сын был все еще любим и не прощен.

Однако месяца два спустя, когда обе леди были с отцом в церкви, они обратили внимание на то, что он сел не на свое обычное место, с которого любил слушать службы, а на противоположную сторону и что со своей скамьи он смотрит на стену над их головой. Это заставило молодых женщин также посмотреть в направлении, куда были устремлены мрачные взоры отца. И они увидели на стене затейливо разукрашенную мемориальную доску, на которой была изображена Британия, плачущая над урной; сломанный меч и спящий лев указывали, что доска эта водружена в честь павшего воина. Скульпторы того времени были очень изобретательны по части таких погребальных эмблем, в чем вы можете и сейчас убедиться при взгляде на стены собора Св. Павла, которые покрыты сотнями этих хвастливых языческих аллегорий. В течение первых пятнадцати лет нашего столетия на них был постоянный спрос.

Под мемориальной доской красовался пресловутый пышный герб Осборнов; надпись гласила: «Памяти Джорджа Осборна-младшего, эсквайра, покойного капитана его величества \*\*\* пехотного полка. Пал 18 июня 1815 года, 28 лет от роду, сражаясь за короля и отечество в славной битве при Ватерлоо. *Dulce et decorum est pro patria mori!*»<sup>[229]</sup>

Вид этой плиты так подействовал сестрам на нервы, что мисс Мария была вынуждена покинуть церковь. Молящиеся почтительно расступились перед рыдающими девушками, одетыми в глубокий траур, и с сочувствием смотрели на сурового старика отца, сидевшего против мемориальной доски.

– Простит ли он миссис Джордж? – говорили девушки между собой, как только прошел первый взрыв горя. Среди знакомых, которым было известно о разрыве между отцом и сыном из-за женитьбы последнего, тоже много говорилось о возможности примирения с молодой вдовой. Джентльмены даже держали об этом пари и на Рассел-сквер и в Сити.

Если сестры испытывали некоторое беспокойство относительно возможного признания Эмилии полноправным членом семьи, то это беспокойство еще увеличилось, когда в конце осени отец объявил, что уезжает за границу. Он не сказал куда, но дочери сразу сообразили, что путь его лежит в Бельгию; знали они и то, что вдова Джорджа все еще находится в Брюсселе, так как довольно аккуратно получали



известия о бедной Эмилии от леди Доббин и ее дочерей. Наш честный капитан был повышен в чине, заняв место погибшего на поле битвы второго майора полка, а храбрый О'Дауд, который отличился в этом сражении, как и во многих других боях, где он имел возможность выказать хладнокровие и доблесть, был произведен в полковники и пожалован орденом Бани.

Очень многие из доблестного \*\*\* полка, особенно пострадавшего во время двухдневного сражения, осенью находились еще в Брюсселе, где залечивали свои раны. В течение многих месяцев после великих битв город представлял собой обширный военный госпиталь. А как только солдаты и офицеры начали поправляться, сады и общественные увеселительные места наполнились увечными воинами, молодыми и старыми, которые, только что избегнув смерти, предавались игре, развлечениям и любовным интригам, как и все на Ярмарке Тщеславия. Мистер Осборн без труда нашел людей \*\*\* полка. Он отлично знал их форму, привык следить за производствами и перемещениями в полку и любил говорить о нем и его офицерах, как будто сам служил в нем. На другой же день по приезде в Брюссель, выйдя из отеля, расположенного против парка, он увидел солдата в хорошо знакомой форме, отдыхавшего под деревом на каменной скамье, и, подойдя к нему, с трепетом уселся возле выздоравливающего воина.

– Вы не из роты капитана Осборна? – спросил он и, помолчав, прибавил: – Это был мой сын, сэр!

Солдат оказался не из роты капитана, но здоровой рукой он с грустью и почтением прикоснулся к фуражке, приветствуя удрученного и расстроенного джентльмена, который обратился к нему с вопросом.

– Во всей армии не нашлось бы офицера лучше и храбрее, – сказал честный служака. – Сержант его роты (теперь ею командует капитан Реймонд) еще в городе. Он только что поправился от ранения в плечо. Если ваша честь пожелает, вы можете повидать его, и он расскажет все, что вам угодно знать о... о подвигах \*\*\* полка. Но ваша честь, конечно, уже видели майора Доббина, близкого друга храброго капитана, и миссис Осборн, которая тоже здесь и которая, как слышно, была очень плоха. Говорят, она была не в себе недель

шесть или даже больше. Но вашей чести это все, вероятно, уже известно, прошу прощения! – добавил солдат.

Осборн положил гиней в руку доброго малого и сказал, что он получит еще одну, если приведет сержанта в «Hôtel du Parc». Это обещание возымело действие, и желаемый человек очень скоро явился к мистеру Осборну. Первый солдат рассказал товарищам о том, какой мистер Осборн щедрый и великодушный джентльмен, после чего они отправились кутить всей компанией и изрядно повеселились, налегая на выпивку и закуску, пока не растратили до последней полушки деньги, доставшиеся им от удрученного старика отца.

В обществе сержанта, только что оправившегося после ранения, мистер Осборн предпринял поездку в Ватерлоо и Катр-Бра – поездку, которую совершали тогда тысячи его соотечественников. Он взял сержанта в свою карету, и по его указаниям они объездили оба поля сражения. Он видел то место дороги, откуда шестнадцатого числа полк двинулся в бой, и склон, с которого он сбросил французскую кавалерию, теснящую отступающих бельгийцев. Вот здесь благородный капитан сразил французского офицера, который схватился с юным прапорщиком из-за знамени, выпавшего из рук сраженного знаменосца. По этой вот дороге они отступали на следующий день, а вот здесь, вдоль этого поля, полк расположился на бивак под дождем в ночь на семнадцатое. Дальше была позиция, которую они заняли и удерживали целый день, причем снова и снова перестраивались, чтобы встретить атаку неприятельской конницы, или ложились под прикрытие вала, спасаясь от бешеной французской канонады. И как раз на этом склоне, когда к вечеру была отбита последняя атака и английские войска двинуты в наступление, капитан с криком «ура!» бросился вниз, размахивая саблей, и тут же упал, сраженный вражеской пулей.

– Это майор Доббин увез тело капитана в Брюссель, – промолвил тихо сержант, – и там похоронил его, как известно вашей чести.

Пока сержант рассказывал свою историю, крестьяне и другие охотники за реликвиями с поля битвы кричали вокруг них, предлагая купить на память о сражении кресты, орлы, эполеты и разбитые кирасы.

Осмотрев арену последних подвигов сына, Осборн распростился с сержантом и щедро наградил его. Место погребения он посетил уже

раньше, сейчас же по прибытии в Брюссель. Тело Джорджа покоилось на живописном Лекенском кладбище вблизи города. Когда-то вместе с веселой компанией капитан посетил это кладбище и беспечно выразил желание, чтобы тут была его могила. Здесь-то друг и похоронил его, в неосвященном углу сада, отделенном невысокой изгородью от храмов и мавзолеев, от цветочных насаждений и кустов, под которыми покоились умершие католического исповедания. Старику Осборну показалось оскорбительным, что для его сына, английского джентльмена, капитана славной британской армии, не нашлось места в земле, где лежат какие-то иностранцы. Трудно сказать, сколько тщеславия таится в наших самых горячих чувствах к ближним и как эгоистична наша любовь! Старик Осборн не раздумывал над смешанной природой своих ощущений и над тем, как боролись в нем отцовское чувство и эгоизм. Он твердо верил, что все, что ни делает, правильно, что во всех случаях жизни он должен поступать по-своему, и, подобно жалу осы или змеи, его злобная, ядовитая ненависть обрушивалась на все, что стояло на его дороге. Он и ненавистью своей гордился. Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь, – разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром?

На закате, приближаясь к городским воротам после своей поездки в Ватерлоо, мистер Осборн встретил другую открытую коляску, в которой сидели две дамы и джентльмен, а рядом ехал верхом офицер. Осборн отшатнулся, и сидевший рядом с ним сержант с удивлением посмотрел на своего спутника, отдавая честь офицеру, который машинально ответил на приветствие. В коляске была Эмилия рядом с хромым юным прапорщиком, а напротив сидела миссис О'Дауд, ее верный друг. Да, это была Эмилия, но как не похожа она была на ту свежую и миловидную девушку, которую помнил Осборн! Лицо у нее осунулось и побледнело, прекрасные каштановые волосы были разделены прямым пробором под вдовьим чепцом. Бедное дитя! Ее глаза неподвижно смотрели вперед, но ничего не видели. Она в упор посмотрела на Осборна, когда их экипажи поравнялись, но не узнала его. Он также не узнал ее, пока не увидел Доббина, сопровождавшего верхом коляску, и тогда только сообразил, кто это. Он ненавидел ее. Он даже не подозревал, что так сильно ее ненавидит, пока не встретил ее. Когда экипаж проехал, он уставился на

изумленного сержанта с таким вызовом и злобою в глазах, словно говорил: «Как вы смеете смотреть на меня? Будьте вы прокляты! Да, я ненавижу ее! Это она разбила мои надежды, растоптала мою гордость».

– Скажите этому мерзавцу, чтобы ехал быстрее! – приказал он лакею, сидевшему на козлах.

Но минутой спустя раздался стук копыт по мостовой, и коляску Осборна нагнал Доббин. Мысли честного Уильяма были где-то далеко, когда их экипажи встретились, и, только проехав несколько шагов, он понял, что то был Осборн. Доббин обернулся, чтобы посмотреть, произвела ли эта встреча какое-нибудь впечатление на Эмилию, но бедняжка по-прежнему ничего не замечала вокруг. Тогда Уильям, обычно сопровождавший ее во время прогулок, вынул часы и, сославшись на дело, о котором вдруг вспомнил, отъехал прочь. Эмилия не видела и этого; глаза ее были устремлены на незатейливый пейзаж, на темневший в отдалении лес, по направлению к которому ушел от нее Джордж со своим полком.

– Мистер Осборн! Мистер Осборн! – крикнул Доббин, подъезжая к экипажу и протягивая руку.

Осборн не потрудился ответить на приветствие и только раздраженно приказал слуге ехать дальше. Доббин положил руку на край коляски.

– Я должен поговорить с вами, сэр, – сказал он, – у меня есть к вам поручение.

– От этой женщины? – злобно выговорил Осборн.

– Нет, – отозвался Доббин, – от вашего сына.

При этих словах Осборн откинулся в угол коляски, Доббин, пропустив экипаж вперед, в молчании последовал за ним через весь город, до самой гостиницы, где остановился Осборн. Затем он поднялся вслед за Осборном в его комнаты. Джордж часто бывал здесь: это было то самое помещение, которое во время своего пребывания в Брюсселе занимали супруги Кроули.

– Пожалуйста, если у вас поручение ко мне, капитан Доббин... или, виноват, мне следовало сказать – майор Доббин... поскольку истинные храбрецы умерли и вы заняли их место... – промолвил мистер Осборн тем саркастическим тоном, который он иногда напускал на себя.

– Да, истинные храбрецы умерли, – отвечал Доббин. – А я хочу поговорить с вами об одном из них.

– Будьте кратки, сэр, – сказал Осборн и, ругнувшись про себя, мрачно взглянул на посетителя.

– Я пришел к вам в качестве его ближайшего друга и исполнителя его последней воли, – продолжал майор. – Он оставил завещание, перед тем как идти в бой. Известно ли вам, как ограничены были его средства и в каком стесненном положении находится вдова?

– Я не знаю никакой вдовы, сэр, – заявил Осборн, – пусть она возвращается к своему отцу.

Но джентльмен, к которому он обращался, решил не терять нить самообладания и, пропустив это замечание мимо ушей, продолжал:

– Знаете ли вы, сэр, в каком положении находится миссис Осборн? Ее жизнь и рассудок были в опасности. Бог весть, поправится ли она. Правда, некоторая надежда есть, и вот об этом-то я и пришел поговорить с вами. Она скоро будет матерью. Проклянете ли вы ребенка за грехи отца или простите ребенка в память бедного Джорджа?

Осборн разразился в ответ напыщенной речью, в которой самовосхваления чередовались с проклятиями. С одной стороны, он старался оправдать свое поведение перед собственной совестью, а с другой – преувеличивал непокорность Джорджа. Ни один отец в Англии не обращался с сыном более великодушно, и это не помешало неблагодарному восстать против отца. Он умер, не раскаявшись, – пусть же на него падут последствия непокорности и безрассудства. Что касается самого мистера Осборна, то его слово свято: он поклялся никогда не говорить с этой женщиной и не признавать ее женой своего сына.

– Это вы и передайте ей, – закончил он с проклятием, – и на этом я буду стоять до гробовой доски!

Итак, надежды не было. Вдова должна жить на свои ничтожные средства или на ту помощь, какую ей окажет Джоз.

«Я мог бы передать ей эти слова, но она не обратит на них внимания», – подумал опечаленный Доббин. Мысли бедняжки со времени постигшего ее удара витали далеко, и, угнетенная горем, она была одинаково равнодушна к добру и к злу. Так же равнодушно она

относилась к дружбе и ласке – безучастно принимала их и снова погружалась в свое горе.

Целый год прошел после только что описанной беседы. Первые месяцы этого года Эмилия провела в таком глубоком и безутешном горе, что даже мы, наблюдающие и описывающие каждое движение этого слабого и нежного сердца, должны отступить перед его страданиями. Молча обойдем мы это ложе скорби, прикроем осторожно дверь темной комнаты, где томится несчастная, как это делали добрые люди, ухаживавшие за нею в течение первых месяцев ее страданий и не покидавшие ее, пока наконец небеса не послали ей утешение. И вот наступил день, принесший трепетный восторг и изумление, когда бедная овдовевшая девочка прижала к своей груди ребенка, – ребенка с глазами покойного Джорджа, крошку сына, прекрасного, как херувим! Каким чудом был его первый крик! Как она плакала и смеялась, склонясь над ним! Как пробудились вновь любовь, надежды и молитва в груди, к которой прижался малютка! Она была спасена. Доктора, лечившие ее и опасавшиеся за ее жизнь и рассудок, с беспокойством ждали этой минуты, прежде чем поручиться за благополучный исход. Те, кто постоянно находился при ней в эти долгие месяцы сомнений и страха, были вознаграждены, когда увидели, что ее глаза засияли нежностью.

Одним из них был наш друг Доббин. Это он привез Эмилию обратно в Англию, в дом ее матери, когда миссис О'Дауд, получив настоятельное предписание от мужа-полковника, вынуждена была покинуть свою подопечную. Видеть, как Доббин носит на руках ребенка, и слышать торжествующий смех Эмилии, которая опасливо следит за ними, доставило бы удовольствие всякому, в ком теплится хотя бы искра юмора. Уильям был крестным отцом ребенка и выказал недюжинную изобретательность, покупая для своего маленького крестника стаканчики, ложки, рожки и коралловые кольца – точить зубки.

О том, как мать, жившая только им одним, кормила и пеленала младенца, как она отстраняла всех нянек и не позволяла ничьей руке, кроме своей, его касаться и считала, что оказывает величайшую милость его крестному отцу, Доббину, позволяя ему иногда понянчить ребенка, обо всем этом мы не будем здесь распространяться. Вся ее

жизнь была сплошная материнская ласка. Она окутывала слабое, беспомощное существо своей любовью и обожанием. Ребенок высасывал самую жизнь из ее груди. По ночам, одна в своей спальне, Эмилия испытывала тайные и бурные восторги материнской любви, какие господь в своей неизреченной милости дарует женщине, радости, недоступные разуму и в то же время его превышающие, – чудесное слепое обожание, знакомое только женскому сердцу. Уильям Доббин размышлял о переживаниях Эмилии и наблюдал движения ее души. А так как любовь помогала ему угадывать почти все чувства, волновавшие это сердце, он убеждался – увы! с роковой очевидностью, – что для него там нет места. Но, зная это, он не жаловался и не роптал на судьбу.

Мне думается, отец и мать Эмилии понимали майора и были даже не прочь поощрить его. Ведь Доббин приезжал ежедневно и сидел подолгу с ними, или с Эмилией, или с почтенным домохозяином мистером Клепом и его семьей. Он почти каждый день привозил всем подарки то под тем, то под другим предлогом, и хозяйская дочка, любимица Эмилии, прозвала его «майор Пряник». Эта маленькая девочка обычно исполняла роль церемониймейстера, докладывая о его приходе миссис Осборн. Однажды она встретила «майора Пряника» со смехом: он прибыл в Фулем в кебе и, сойдя, достал из него деревянную лошадку, барабан, трубу и другие солдатские принадлежности для маленького Джорджи, которому едва исполнилось шесть месяцев и для которого эти подарки были явно преждевременными.

Ребенок только что уснул.

– Тсс! – прошептала Эмилия, вероятно, досадуя на скрипевшие сапоги майора. Она протянула ему руку и улыбнулась, так как Уильям не мог пожать ее, пока не освободился от своих покупок.

– Ступай-ка вниз, крошка Мэри! – обратился он к девочке. – Мне нужно поговорить с миссис Осборн.

Эмилия посмотрела на него удивленно и положила сына в постельку.

– Я пришел проститься с вами, Эмилия, – сказал он, ласково беря ее худенькую ручку.

– Проститься? Куда же вы уезжаете? – спросила она с улыбкой.

– Направляйте письма моим агентам, – отвечал он, – они будут пересылать их дальше. Ведь вы будете писать мне? Я уезжаю надолго.

– Я буду писать вам о Джорджи, – сказала Эмилия. – Милый Уильям, как вы были добры к нему и ко мне!.. Взгляните на него! Правда, он похож на ангелочка?

Розовые пальчики машинально схватили палец честного солдата, и Эмилия с явной материнской радостью заглянула ему в лицо. Самый суровый взор не мог бы ранить Доббина больше, чем этот ласковый взгляд, отнимавший у него всякую надежду. Он склонился над ребенком и матерью. С минуту он не мог говорить и, только собрав все свои силы, заставил себя произнести:

– Храни вас бог!

– Храни вас бог! – ответила Эмилия и, подняв к нему лицо, поцеловала его. – Тсс! Не разбудите Джорджи, – добавила она, когда Доббин тяжелыми шагами направился к двери. Она не слышала шума колес отъезжавшего кеба: она смотрела на ребенка, который улыбался во сне.



## **Глава XXXVI**

### **Как можно жить – и жить припеваючи – неизвестно на что**

Пожалуй, на нашей Ярмарке Тщеславия не найдете человека, столь мало наблюдательного, чтобы не задуматься иногда над образом жизни своих знакомых, или столь милосердного, чтобы не удивляться тому, как его соседи, Джонс или Смит, умудряются сводить концы с концами. При всем моем уважении, например, к семейству Дженкинсов (я обедаю у них два-три раза в году), я не могу не сознаться, что появление их в Парке в открытой коляске, в сопровождении рослых лакеев, всегда будет для меня необъяснимой загадкой. Хоть я и знаю, что экипаж берется напрокат и вся прислуга у Дженкинсов живет на своих харчах, все же три человека и экипаж составляют годовой расход по меньшей мере в шестьсот фунтов. А тут еще их великолепные обеды, содержание двух сыновей в Итоне, дорогая гувернантка и учителя для девочек, осенняя поездка за границу или в Истберн и Уортинг, ежегодный бал с ужином от Гантера (который, кстати сказать, поставляет Дженкинсам большинство их парадных обедов, что мне хорошо известно, так как я был приглашен на один из них, когда понадобилось заполнить пустое место, и сразу заметил, что эти трапезы несравнимы с обычными обедами Дженкинсов для более скромных гостей), – кто, повторяю я, несмотря на самые доброжелательные чувства, не задастся вопросом: как Дженкинсы выходят из положения? В самом деле, кто такой Дженкинс? Мы все знаем, что это чиновник по ведомству Сургуча и Тесьмы с жалованьем в тысячу двести фунтов в год. Может быть, у его жены есть состояние? Какое там! Урожденная мисс Флинт – одна из одиннадцати детей мелкого помещика в Бакингемшире. Все, что она получает от своей семьи, – это индейка к Рождеству, и за это ей приходится содержать двух или трех своих сестер в глухое время года и оказывать гостеприимство братьям, когда они приезжают в столицу. Вы спросите, как Дженкинс справляется при таком бюджете? И я тоже спрашиваю, как должен спросить каждый из его друзей: как все это до

сих пор сходит ему с рук и как он мог (к всеобщему удивлению) вернуться в прошлом году из Булони?

«Я» введено здесь для олицетворения света вообще, это – миссис Гранди<sup>[230]</sup> в личном кругу каждого уважаемого читателя, которому, несомненно, знакомы семейства, живущие неизвестно на что. Я не сомневаюсь, что все мы выпили немало стаканов вина на обедах у гостеприимного хозяина, удивляясь в душе, как он, черт побери, заплатил за него!

Три или четыре года спустя после приезда из Парижа, когда Родон Кроули с женой водворились в очень маленьком уютном домике на Керзон-стрит, в Мэйфере, едва ли нашелся бы хоть один человек среди многочисленных друзей, посещавших их, который не задавал бы себе такого же вопроса применительно к этой интересной паре. Романист – как о том уже говорилось – знает все; и поскольку я могу рассказать уважаемой публике, как Кроули и его жена умудрялись жить на несуществующие доходы, то да будет мне позволено просить газеты, имеющие обыкновение заимствовать выдержки из всякого рода периодических изданий, не перепечатывать нижеприведенные точные выкладки и данные, ибо мне, как исследователю, впервые открывшему их ценою некоторых ощутительных издержек, принадлежит преимущественное право на все проистекающие отсюда льготы и выгоды.

«Сын мой, – сказал бы я, если бы судьба благословила меня сыном, – ты можешь путем постоянного общения с человеком и при некоторой доле пытливости узнать, каким образом ему удастся жить – и жить припеваючи – неизвестно на что. Но лучше не сближаться с подобными джентльменами и довольствоваться сведениями из вторых рук, как ты делаешь, пользуясь логарифмами: ибо вычислить их самому, поверь, окажется для тебя чересчур накладным».

Итак, Кроули с женой, не имея никакого дохода, жили в Париже счастливо и безбедно в течение двух или трех лет, о которых мы можем рассказать лишь очень кратко. В этот период Родон покинул гвардию и продал свой патент. И когда мы снова встречаемся с ним, усы и чин полковника, обозначенный на визитной карточке, – это все, что осталось от его военного звания.

Мы уже упоминали, что Ребекка вскоре после своего прибытия в Париж заняла видное место в столичном обществе и была радушно

встречена во многих домах воспрянувшей духом французской аристократии. Англичане из высшего света, проживавшие в Париже, также были к ней очень внимательны – к негодованию своих жен, которые терпеть не могли этой выскочки. В течение нескольких месяцев салоны Сен-Жерменского предместья<sup>[231]</sup>, в которых она утвердилась, и блеск нового двора, где она встречала радушный прием, кружили голову миссис Кроули и, пожалуй, несколько опьянили ее, – и в период этого восторженного состояния она даже склонна была третировать некоторых друзей, преимущественно молодых военных, составлявших постоянное общество ее супруга.

Полковник, в свою очередь, зевал среди герцогинь и важных придворных дам. Старухи, игравшие в экарте, поднимали такой шум из-за каждой пятифранковой монеты, что Родон считал потерю времени садиться с ними за карточный стол. Остроумия их разговоров он не мог оценить, так как не знал их языка. «И что за охота жене, – думал он, – из вечера в вечер делать реверансы всем этим принцессам?» Вскоре он предоставил Ребекке выезжать одной, а сам предался обычным своим развлечениям, проводя время среди добрых друзей, подобранных по собственному вкусу.

Когда мы говорим о джентльмене, что он живет роскошно неизвестно на что, мы употребляем слово «неизвестно» для обозначения чего-то неизвестного нам, желая дать понять, что мы не знаем, из каких источников наш джентльмен покрывает свои расходы. Что касается нашего приятеля полковника, то мы знаем, что у него была большая склонность ко всякого рода азартным играм, и так как ему приходилось постоянно иметь дело с картами, костями и кием, естественно предположить, что он приобрел гораздо большую ловкость в обращении с этими предметами, чем люди, берущиеся за них только от случая к случаю. Искусное владение бильярдным кием подобно владению карандашом, флейтой или рапирой: сразу овладеть такого рода орудием невозможно, и только благодаря повторным упражнениям и настойчивости, в соединении с природными способностями, человеку удастся достичь совершенства в пользовании ими. Так, Кроули из блестящего любителя бильярдной игры превратился в законченного артиста. Как у великого полководца, его гений возрастал вместе с опасностью, и когда счастье явно не благоприятствовало ему и против него уже держали пари, он с

поразительным искусством и смелостью делал вдруг несколько ловких ударов, изменявших ход игры, и выходил в конце концов победителем – к удивлению всех, то есть тех, кто незнаком был с его методой. Те же, кто знал его, с большой осторожностью ставили против человека, обладавшего такими неожиданными ресурсами и блестящим, непобедимым мастерством.

В карточной игре он был так же искусен, хотя в начале вечера постоянно проигрывал, понтируя столь небрежно и делая такие промахи, что вводил в заблуждение новичков. Но когда после нескольких мелких проигрышей он делался энергичнее и осторожнее, все замечали, что игра Кроули совершенно меняется, и тут уж можно было с уверенностью сказать, что он разобьет противника в пух, прежде чем кончится вечер. И действительно, очень немногие могли похвалиться, что им удавалось его обыграть.

Его успехи были настолько постоянны, что неудивительно, если завистники и побежденные иногда отзывались о нем со злобой. И как французы говорили о герцоге Веллингтоне, который никогда не терпел поражений, что только счастливое стечение обстоятельств доставляет ему победу, но все же допускали, что он сплутовал при Ватерлоо и лишь потому выиграл эту последнюю ставку, – так и в Англии, в штаб-квартире игроков, давно уже намекали на то, что неизменные успехи полковника Кроули объясняются, возможно, нечистой игрой.

Хотя к услугам игроков в Париже были Фраскатти и Салон, но мания игры распространилась столь широко, что игорных домов не хватало для удовлетворения общей потребности, и игра велась в частных домах с таким усердием, как будто не было публичных мест для утоления этой страсти. На очаровательных маленьких reunions<sup>[232]</sup> у Кроули и по вечерам тоже предавались этому роковому развлечению, к большой досаде добродушной маленькой миссис Кроули. Она говорила о страсти своего мужа к игре с крайним недовольством и жаловалась на это всем, кто посещал ее вечера. Она умоляла молодых людей никогда не прикасаться к игральным костям, а когда юный Грин из стрелкового полка проиграл очень значительную сумму, Ребекка провела целую ночь в слезах, как рассказывала ее горничная этому несчастному молодому джентльмену, и буквально валялась у мужа в ногах, умоляя его

простить долг и сжечь вексель. Но как мог он это сделать? Он сам проиграл столько же Блекстону из гусарского полка и графу Понтеру из ганноверской кавалерии. Грину можно дать отсрочку, но платить... конечно, заплатить он должен. Говорить о том, чтобы сжечь расписку, – это просто детская болтовня.

И другие офицеры – большей частью молодые, потому что вокруг миссис Кроули собиралась обычно молодежь, – уходили с этих вечеров с вытянутыми лицами, оставив более или менее значительные суммы за ее карточными столами. Ее дом стал приобретать печальную славу, и опытные игроки предупреждали менее опытных об опасности. Полковник О'Дауд \*\*\* полка, входившего в состав оккупационных войск в Париже, предостерег таким образом поручика Спунни того же полка. В «Café de Paris» между обедавшими там упомянутым пехотным полковником и его супругой, с одной стороны, и полковником Кроули и миссис Кроули – с другой, произошла ссора, наделавшая много шума. Обе дамы участвовали в стычке. Миссис О'Дауд щелкнула пальцами перед носом миссис Кроули и назвала ее мужа «форменным шулером». Полковник Кроули вызвал полковника О'Дауда, кавалера ордена Бани, на дуэль. Главнокомандующий, услышав о ссоре, пригласил к себе полковника Кроули, который уже готовил пистолеты – те самые, из которых он когда-то застрелил капитана Маркера, – и так убедительно побеседовал с ним, что дуэль не состоялась. Если бы Ребекка не упала на колени перед генералом Тафто, Кроули был бы отправлен в Англию. В течение нескольких недель после этого он играл только со штатскими.

Но, несмотря на неоспоримое искусство Родона и его неизменные успехи, Ребекка, поразмыслив, пришла к выводу, что их положение непрочно и что, хотя они почти никому не платят, их маленький капитал грозит в один прекрасный день обратиться в нуль.

– Карточная игра, дорогой мой, – говорила она, – хороша как дополнение к доходу, но не как доход сам по себе. Рано или поздно людям надоеет играть, и что же тогда нам делать?

Родону пришлось с ней согласиться. Он уже не раз замечал, что после нескольких приятных ужинов в их доме джентльменам и в самом деле надоедала игра с ним, и, несмотря на чары Ребекки, они не торопились повторить свое посещение.

Жизнь в Париже текла легко и приятно, но, в сущности, это была праздная забава и пустое развлечение, и Ребекка решила, что пора ей серьезно заняться судьбою мужа у себя на родине: необходимо было найти ему место или исхлопотать для него должность в Англии или в колониях. И она решила вернуться домой, как только для них будет расчищен путь. Для начала она заставила Кроули продать патент и выйти в отставку на пенсию. Его обязанности как адъютанта генерала Тафто прекратились еще раньше. Ребекка повсюду высмеивала Тафто – его тупей (который он соорудил себе по приезду в Париж), корсет, фальшивые зубы, а больше всего – его поползновения слыть сердцеedom и нелепое тщеславие, заставлявшее его видеть чуть ли не в каждой женщине, к которой он приближался, свою жертву. Теперь генерал перенес все свое внимание – букеты, обеды в ресторанах, ложи в опере и безделушки – на миссис Brent, густобровую жену комиссара Brentа. Бедная миссис Тафто не стала от этого счастливее и все так же проводила долгие вечера одна со своими дочерьми, зная, что ее генерал, завитой и надушенный, простоит весь спектакль за креслом миссис Brent. Конечно, у Бекки немедленно оказалась на его месте дюжина других поклонников, и ей было нетрудно своим остроумием уничтожить соперницу. Но, как мы уже говорили, эта праздная светская жизнь утомила ее. Ложи в театрах и обеды в ресторанах наскучили ей; из букетов нельзя было делать запасов на будущее, и она не могла жить на безделушки, кружевные носовые платки и лайковые перчатки. Ребекка чувствовала тщету удовольствий и стремилась к более существенным благам.

Как раз в это время пришло известие, которое мгновенно распространилось среди многочисленных кредиторов полковника в Париже и немало их успокоило: мисс Кроули, его богатая тетка, от которой он ожидает огромного наследства, при смерти; полковник должен спешить к одру умирающей. Миссис Кроули с ребенком останется в Париже, пока муж не приедет за ними. Родон отправился в Кале, куда и прибыл благополучно. Можно было думать, что оттуда он поедет в Дувр, но вместо того он взял место в дилижансе, направлявшемся в Дюнкерк, а там прямехонько проехал в Брюссель, куда его давно тянуло. Дело в том, что в Лондоне у него было еще больше долгов, чем в Париже, и он предпочитал обеим шумным столицам тихий бельгийский городок.

Тетка умерла. Миссис Кроули заказала глубокий траур для себя и для маленького Родона. Полковник был занят устройством дел о наследстве. Они могли теперь снять в гостинице комнаты в бельэтаже взамен маленьких антресолей, которые до сих пор занимали. Миссис Кроули и хозяин отеля устроили совещание по поводу новых драпировок и дружески пререкались о коврах. Наконец все было улажено – кроме денежного счета. Ребекка уехала в одной из карет отеля; с нею отбыли ее француженка-няня и сын. Любезный хозяин и хозяйка гостиницы на прощание улыбались ей, стоя у подъезда. Генерал Тафто неистовствовал, когда узнал, что Ребекка уехала, а миссис Брент неистовствовала оттого, что он неистовствует. Поручик Спуни был поражен в самое сердце. Хозяин стал готовить свои лучшие комнаты к возвращению прелестной маленькой женщины и ее супруга. Он увязал и тщательно хранил сундуки, которые она поручила его заботам. Мадам Кроули умоляла беречь их как зеницу ока. Однако, когда впоследствии они были вскрыты, в них не оказалось ничего особенно ценного.

Прежде чем присоединиться к мужу в бельгийской столице, миссис Кроули предприняла поездку в Англию, а своего маленького сына оставила на континенте, на попечении его французской няни.

Разлука матери с ребенком не причинила больших огорчений ни той ни другой стороне. По правде говоря, Ребекка уделяла не слишком много внимания юному джентльмену с самого его рождения. По милому обычаю французских матерей, она поместила его в деревне в окрестностях Парижа, у кормилицы, где маленький Родон благополучно провел первые месяцы своей жизни среди многочисленных молочных братьев, бегавших в деревянных башмаках. Отец нередко приезжал навещать его, и родительское сердце Родона-старшего радовалось при виде загорелого чумазого мальчугана, который весело визжал, делая из песка пирожки под наблюдением своей кормилицы, жены садовника.

Ребекка не очень-то стремилась видеть своего сына и наследника: однажды он испортил ей новую ротонду прелестного жемчужно-серого цвета. Материнским ласкам малыш предпочитал ласки нянюшки, и когда наконец ему пришлось покинуть свою веселую кормилицу и почти родительницу, он долго и громко плакал и утешился только тогда, когда мать обещала, что он вернется к

кормилице на следующий же день. Да и доброй крестьянке, которая, вероятно, также огорчилась разлукой, было сказано, что ребенок вскоре вернется к ней, и некоторое время она с нетерпением его ждала...

В сущности, наши друзья были, можно сказать, первыми из той стаи дерзких английских авантюристов, которые позднее наводнили континент, промышляя во всех европейских столицах. В те счастливые 1817–1818 годы уважение к богатству и достоинству англичан еще не было поколеблено. В то время они, как я слышал, еще не научились торговаться при покупках с той настойчивостью, которая отличает их теперь. Большие города Европы не были еще открыты для деятельности наших предприимчивых плутов. Если в настоящее время едва ли найдется город во Франции или в Италии, где бы вы не встретили наших благородных соотечественников, ведущих себя с тем беспечным чванством и наглостью, которые от нас неотъемлемы, надувающих хозяев отелей, сбывающих доверчивым банкирам фальшивые чеки, похищающих у каретников их экипажи, у ювелиров – драгоценности, у легкомысленных путешественников – деньги за карточным столом... и даже книги из общественных библиотек, – то тридцать лет назад за нами еще не установилась столь прочная репутация: любому «английскому милорду», путешествующему в собственном экипаже, повсюду оказывали кредит, и благородные джентльмены не столько обманывали, сколько сами оказывались обманутыми.

Хозяин гостиницы, где жили супруги Кроули во время своего пребывания в Париже, убедился, что понес значительные убытки, лишь когда с их отъезда прошло уже несколько недель – лишь после того, как к нему несколько раз заходила мадам Марабу, модистка, со счетом за вещи, которые она поставляла мадам Кроули, и не менее шести раз наведывался месье Дидло из Буль-д'Ор в Пале-Рояле узнать, не вернулась ли очаровательная миледи, которая покупала у него часы и браслеты. Оказалось, что даже бедной жене садовника, выкормившей ребенка миледи, только за первые шесть месяцев были оплачены молоко и материнская ласка, которые она щедро отдавала веселому и здоровому маленькому Родону. Повторяем, даже кормилице не было заплачено: Кроули слишком спешили, чтобы помнить о таком незначительном долге. Что же касается хозяина



гостиницы, то он до конца своей жизни нещадно ругал всю английскую нацию и расспрашивал проезжающих, не знают ли они некоего полковника, лорда Кроули, avec sa femme – une petite dame, très spirituelle<sup>[233]</sup>.

– Ah, monsieur, – добавлял он, – ils m’ont affreusement volé<sup>[234]</sup>.

Грустно было слушать, как жалобно он расписывал свое несчастье.

Цель путешествия Ребекки в Лондон заключалась в том, чтобы добиться полюбовного соглашения с многочисленными кредиторами Родона и, предложив им по девяти пенсов или по шиллингу за фунт, дать мужу возможность вернуться на родину. Мы не будем здесь входить в рассмотрение тех шагов, которые она предприняла для совершения этой трудной сделки. Доказав кредиторам с полной убедительностью, что сумма, которую она уполномочена им предложить, составляет весь наличный капитал ее мужа, уверив их, что полковник Кроули предпочтет постоянное пребывание на континенте жизни с непогашенными долгами у себя на родине и что у него не предвидится никаких денег из других источников и, стало быть, им нечего надеяться на лучшие условия, Ребекка добилась того, что кредиторы полковника единодушно согласились на ее предложение, и она таким образом за тысячу пятьсот фунтов наличными разделалась с долгами на сумму вдесятеро большую.

Миссис Кроули не пользовалась услугами юристов при заключении этой сделки: вопрос был настолько ясен – хотите – берите, не хотите – не надо, как она справедливо заметила, – что она предоставила поверенным кредиторов самим уладить дело. И мистер Льюис, представитель мистера Дэвидса с Ред-Лайон-сквер, и мистер Мос, действующий за мистера Монассе с Кэрситор-стрит (это были главные кредиторы полковника), наговорили его жене комплиментов, поздравили ее с блестящим ведением дела и заявили, что она побьет любого профессионала.

Ребекка приняла эти комплименты с подобающей скромностью; в невзрачную квартирку, где она остановилась, она велела подать бутылку хереса и пирог с изюмом, угостила поверенных своих врагов, на прощание сердечно пожала им руки и отправилась на континент к мужу и сыну, дабы сообщить первому радостное известие о его освобождении. Что касается сына, то он в отсутствие матери был в

полном небрежении у мадемуазель Женеви́ев, их французской няни, по той простой причине, что эта молодая женщина увлеклась солдатом из гарнизона Кале и забывала в его обществе о своих обязанностях. Маленький Родон едва не утонул у самого берега, где Женеви́ев оставила его, отлучившись, а потом потеряла.

Итак, полковник и миссис Кроули прибыли в Лондон, и здесь на Керзон-стрит, Мэйфер, они действительно показали высокое искусство, которым должен обладать тот, кто хочет жить упомянутым образом.

## Глава XXXVII

### Продолжение предыдущей

Прежде всего, и это в высшей степени важно, мы должны рассказать, как можно снимать дом, не внося при этом арендной платы. Некоторые особняки сдаются без мебели, и тогда, если у вас есть кредит у господ Гиллоу или Бантинг, вы можете великолепно убраться и отделать свой дом по собственному вкусу; другие сдаются с мебелью, что гораздо удобнее и проще для большинства нанимателей. Кроули с женой предпочли снять для себя именно такой особняк.

До вступления мистера Боулса в должность дворецкого у мисс Кроули домом и погребом этой леди на Парк-лейн заведовал мистер Реглс, – он родился в Королевском Кроули и был младшим сыном одного из тамошних садовников. Благодаря примерному поведению, красивой внешности, стройным икрам и важной осанке Реглс попал из кухни, где чистил ножи, на запятки кареты, а оттуда в буфетную. Прослужив немало лет в доме мисс Кроули, где он получал хорошее жалованье, имел обильные побочные доходы и полную возможность делать сбережения, мистер Реглс объявил о своем намерении вступить в брак с кухаркой, служившей раньше у мисс Кроули, а теперь существовавшей на вполне почтенные доходы от катка для белья и от маленькой зеленой, которую она держала по соседству. По правде говоря, союз этот был заключен уже несколько лет назад, но держался в таком секрете, что известие о женитьбе мистера Реглса было впервые принесено мисс Кроули мальчиком и девочкой, семи и восьми лет, постоянное пребывание которых на кухне привлекло внимание мисс Бригс.

Тогда мистер Реглс вынужден был уйти в отставку и лично вступил в управление маленькой зеленой. Он прибавил к прежним товарам молоко и сливки, яйца и отличную деревенскую свинину, довольствуясь продажей этих простых сельских продуктов, тогда как другие отставные дворецкие открывали трактиры и торговали спиртными напитками. У него были связи среди дворецких соседних домов и имелась уютная комната за лавкой, где они с миссис Реглс принимали своих собратьев, а потому молоко, сливки и яйца

предприимчивой четы имели хороший сбыт, и доходы их все росли. Год за годом они тихо и скромно наживали денежки, и наконец, когда уютный и хорошо обставленный на холостую ногу дом под № 201 на Керзон-стрит, бывшая резиденция достопочтенного Фредерика Дьюсэйса, уехавшего за границу, пошел с молотка со всей богатой и удобной мебелью, право аренды и обстановку приобрел не кто иной, как Чарльз Реглс. Правда, некоторую толику денег ему пришлось занять, и под довольно высокие проценты, у собрата-дворецкого, но большую часть он выложил из своего кармана, и миссис Реглс с немалой гордостью укладывалась спать на резное ложе красного дерева с шелковыми занавесями, созерцая перед собой огромное трюмо и гардероб, в который можно было бы поместить ее, Реглса и все их потомство.

Конечно, они не собирались оставаться в таком роскошном помещении. Реглс приобрел право аренды, чтобы пересдавать дом от себя, и, как только нашелся съемщик, опять удалился в свою зеленую; но ему доставляло огромное удовольствие, выйдя из лавочки, прогуливаться по Керзон-стрит и любоваться этим владением – собственным домом с геранями на окнах и с резным бронзовым молотком. Лакей, зазевавшийся у подъезда, с почтением кланялся ему; повар забирал у него зелень и называл его «господин владелец». И если бы Реглс захотел, он мог бы знать все, что делается у его жильцов, и какие блюда подаются у них к обеду.

Это был добрый человек, добрый и счастливый. Дом приносил ему столь значительный годовой доход, что он решил дать своим детям первоклассное образование, а потому, невзирая на издержки, поместил Чарльза в пансион доктора Порки в Шугеркейн-Лодже, а маленькую Матильду – к мисс Пековер, Лорентайлум-Хаус, в Клепеме.

Реглс любил и, можно даже сказать, боготворил семейство Кроули, этот источник всего его благосостояния. В уютной комнате за лавкой висел вырезанный из бумаги силуэт его бывшей хозяйки и рисунок ее работы, изображавший сторожку привратника в Королевском Кроули, а единственным добавлением, какое он внес в убранство дома на Керзон-стрит, была гравюра, на коей представлено было Королевское Кроули в Хэмпшире, резиденция сэра Уолпола Кроули, баронета; последний восседал на золотой колеснице,

запряженной шестью белыми конями, бегущими вдоль озера, где плавали лебеди и разъезжали лодки с дамами в кринолинах и музыкантами в париках. Реглс и в самом деле думал, что на всем свете нет другого такого дворца и такой знатной фамилии.

Когда Родон с женой вернулись в Лондон, дом Реглса случайно оказался свободным. Полковник хорошо знал и помещение, и его владельца: последний постоянно поддерживал связь с семьей Кроули, потому что помогал мистеру Боулсу, когда его хозяйка принимала гостей. И старик не только сдал дом полковнику, но также исполнял у него обязанности дворецкого во время больших приемов. Миссис Реглс хозяйничала на кухне и посылала наверх такие обеды, которые одобрила бы сама мисс Кроули.

Вот каким способом Кроули сняли дом, не заплатив ни гроша, ибо, хотя Реглсу приходилось уплачивать сборы и налоги, проценты по закладной собрату-дворецкому, взносы по страхованию своей жизни и за детей в школу, а также тратиться на съестные припасы и напитки, как для собственного потребления, так – одно время – и для семьи полковника, и хотя бедняга совершенно разорился от такого ведения дел и дети его оказались выброшенными на улицу, а сам он доведен был до Флитской тюрьмы, – но ведь должен же кто-то платить за джентльменов, которые живут неизвестно на что, – и вот несчастному Реглсу пришлось возмещать все нехватки в хозяйстве полковника Кроули.

Интересно было бы знать, сколько семейств ограблено и доведено до разорения великими надувалами вроде Кроули? Сколько знатных вельмож грабят мелких торговцев, снисходят до того, что обманывают своих бедных слуг, отнимая у них последние деньги и плутуя из-за нескольких шиллингов? Когда мы читаем, что такой-то благородный дворянин выехал на континент, а у другого благородного дворянина наложен арест на имущество, и что тот или другой задолжали шесть-семь миллионов, такие банкроты предстают перед нами в апофеозе славы, и мы даже проникаемся уважением к жертвам столь трагических обстоятельств. Но кто пожалует бедного цирюльника, который напрасно ждет уплаты за то, что пудрил головы ливрейным лакеям; или бедного плотника, сооружающего на свои средства павильоны и всякие другие затейливые штуковины для *déjeuner*<sup>[235]</sup> миледи; или беднягу портного, который по особой милости

управляющего получил заказ и заложил все, что мог, чтобы изготовить ливреи, по поводу которых милорд, в виде особенной чести, самолично с ним совещался? Когда рушится знатный дом, эти несчастные бесславно погибают под его обломками. Недаром в старых легендах говорится, что прежде, чем человек сам отправится к дьяволу, он спровадит туда немало других человеческих душ.

Родон и его жена оказывали самое широкое покровительство всем торговцам и поставщикам мисс Кроули, которые теперь предлагали им свои услуги. Охотников находилось немало, особенно из тех, кто победнее. Удивительно, с какой неумолимостью прачка из Тутинга каждую субботу прикатывала свою тележку и подавала счета, из недели в неделю остававшиеся неоплаченными. Зелень поставлял сам мистер Реглс. Счет за портер для прислуги из трактира «Военная Удача» являл собою подлинный курьез в хронике питейного дела. Слугам постоянно задерживали жалованье, и потому в их интересах было оставаться в доме. В сущности, не платили никому – ни слесарю, чинившему замок, ни стекольщику, вставлявшему стекла, ни каретнику, отдававшему внаем экипаж, ни груму, правившему этим экипажем, ни мяснику, привозившему баранину, ни лавочнику, поставлявшему уголь, на котором она жарилась, ни кухарке, готовившей ее, ни слугам, которые ее ели. И вот таким-то образом, мне кажется, люди умудряются жить в роскоши, не имея никакого дохода.

В маленьких городах такие вещи не могут пройти незаметно: там мы знаем, сколько молока берут наши соседи и какое мясо или птица подается у них за столом. Вполне возможно, что в № 200 и № 202 по Керзон-стрит было известно, что делается в доме, расположенном между ними, так как слуги общались между собой через дворовую ограду. Но ни Кроули, ни его жена, ни их гости знать не хотели ни № 200, ни № 202. Когда вы приходили в № 201, вас встречали очень радушно, ласковой улыбкой и хорошим обедом, и хозяин с хозяйкой приветливо жали вам руку, как будто чувствовали себя неоспоримыми владельцами трех-четырёх тысяч годового дохода. Да так оно и было, – только они располагали не деньгами, а продуктами и чужим трудом. Если они и не платили за баранину, она все-таки у них была, и если они не давали золота в обмен на вино, то откуда нам было это знать? Нигде не подавали к столу лучшего вина, чем у честного

Родона, и нигде не было таких веселых и изящно сервированных обедов. Его маленькие гостиные были самыми скромными и уютными комнатами, какие только можно вообразить. Ребекка украсила их с величайшим вкусом безделушками, привезенными из Парижа. А когда она садилась за фортепьяно и с беззаботной душой распевала романсы, гостю казалось, что он попал в домашний рай; и он готов был согласиться, что если муж несколько плуловат, то жена очаровательна, а их обеды – самые приятные на свете.

Остроумие, ловкость и смелость Ребекки быстро создали ей популярность в известных лондонских кругах. Около дверей ее дома часто останавливались солидные экипажи, из которых выходили очень важные люди. В Парке ее коляску всегда видели окруженной самой знатной молодежью. В маленькой ложе третьего яруса оперы всегда виднелось множество голов, сменявшихся как в калейдоскопе. Но нужно сознаться, что дамы держались от Ребекки в стороне и их двери были наглухо закрыты для нашей маленькой авантюристки.

Что касается мира светских женщин и их обычаев, то автор может говорить о них, конечно, только понаслышке. Мужчине так же трудно проникнуть в этот мир или понять его тайны, как догадаться, о чем беседуют дамы, когда они удаляются наверх после обеда. И только путем настойчивых расспросов удастся получить кое-какое представление об этих тайнах. Проявляя подобную любознательность, всякий гуляющий по тротуарам Пэл-Мэл или посещающий столичные клубы узнает, как из личного опыта, так и из рассказов знакомых, с которыми он играет на бильярде или завтракает, кое-что о высшем лондонском обществе, – а именно, что подобно тому, как есть мужчины (вроде Родона Кроули, о положении которого мы только что упоминали), представляющиеся важными особами лицам, не знающим света, или неопытным новичкам, еще не осмотревшимся в Парке и постоянно встречающим означенных джентльменов в обществе самой знатной молодежи, точно так же есть и леди, которых можно назвать любимицами мужчин, поскольку они пользуются успехом решительно у всех джентльменов, хотя и не вызывают никакого доверия и уважения у их жен. Такова, например, миссис Файрбрейс, леди с прекрасными белокурыми локонами, которую вы каждый день можете видеть в Хайд-парке, окруженную самыми знатными и прославленными денди нашей страны. Другая такая леди

– миссис Роквуд, о вечерах которой постоянно пишут великосветские газеты, ибо у нее обедают посланники и вельможи. Да и многих других дам можно было бы назвать, если бы они имели отношение к нашей повести. Но в то время как скромные люди, далекие от светской жизни, или провинциалы, тяготеющие к высшему кругу, любят в общественных местах на этих дам в их мишурном блеске или завидуют им издали, лица более осведомленные могли бы сообщить, что у этих особ, которым так завидуют, не больше шансов войти в так называемое «общество», чем у какой-нибудь мелкопоместной помещицы в Сомерсетшире, читающей о них в «Морнинг пост». Людям, живущим в Лондоне, известна эта печальная истина. Сколько раз вам приходилось слышать, как безжалостно исключаются из «общества» многие леди, казалось бы, занимающие высокое положение и богатые. Их отчаянные попытки проникнуть в этот круг, унижения, которым они подвергаются, оскорбления, которые терпят, ставят в тупик всякого, кто изучает род человеческий или женскую его половину; это стремление невзирая ни на что попасть в высший свет могло бы послужить благодарной темой для писателя, обладающего умом, досугом и превосходным знанием родного языка, необходимым для того, чтобы написать такую повесть.

Те немногие дамы, с которыми миссис Кроули встречалась за границей, теперь, когда она вернулась в Англию, не только не пожелали бывать у нее в доме, но при встрече намеренно не узнавали ее. Удивления достойно, как все светские леди вдруг забыли ее лицо, и, конечно, самой Ребекке было не очень-то приятно в этом убедиться. Когда леди Бейракрс встретила ее в фойе оперы, она собрала вокруг себя дочерей, как будто они могли заразиться от одного прикосновения Бекки, и, отступив на шаг или на два и устремив пристальный взгляд на своего маленького врага, заслонила их своей грудью. Но не так-то легко было смутить Ребекку; для этого требовался поистине разящий взгляд, а не то тупое оружие, какое представляли собой тусклые, холодные гляделки старухи Бейракрс. Когда леди де ля Моль, часто скакавшая верхом вместе с Бекки в Брюсселе, встретила открытую коляску миссис Кроули в Хайд-парке, ее милость вдруг ослепла и оказалась решительно не способна узнать свою прежнюю приятельницу. Даже миссис Бленкинсоп, жена банкира, отвернулась от нее в церкви. Теперь Бекки регулярно



посещала церковь; и назидательное это было зрелище – как она появлялась там вместе с Родоном, который нес два больших с золотым обрезом молитвенника, и затем покорно высиживала всю службу.

Вначале Родона сильно задевали оскорбления, которые наносились его жене. Он хмурился и приходил в неистовство, грозился вызвать на дуэль мужей и братьев этих дерзких женщин, которые отказывали в должном уважении его жене, – и только ее строжайшие приказания и просьбы удерживали его в границах приличия.

– Не можешь же ты ввести меня в общество выстрелами! – говорила она добродушно. – Вспомни, дорогой мой, ведь я как-никак была гувернанткой, а ты, мой бедный глупый муженек, пользуешься незавидной репутацией – тут и долги, и игра, и другие пороки. Со временем у нас будет сколько угодно друзей, а пока изволь быть хорошим мальчиком и слушаться своей наставницы во всем. Когда мы узнали, что тетка почти все завещала Питту с супругою, – помнишь, в какое ты пришел бешенство? Ты готов был раструбить об этом по всему Парижу, и если бы я тебя не удержала, где бы ты был сейчас? В долговой тюрьме Сент-Пелажи, а не в Лондоне, в чудесном, благоустроенном доме. Ты был в таком неистовстве, что способен был убить брата, злой ты Каин. Ну и что бы вышло, если бы ты продолжал сердиться? Сколько бы ты ни злился, это не вернет нам тетушкиных денег, – так не лучше ли быть в дружбе с семейством твоего брата, чем во вражде, как эти дураки Бьюты. Когда твой отец умрет, Королевское Кроули будет для нас удобным пристанищем на зиму. Если мы вконец разоримся, ты будешь резать жаркое за обедом и присматривать за конюшнями, а я буду гувернанткой у детей леди Джейн... Разоримся? Глупости! Я еще найду для тебя хорошее местечко; а может случиться, что Питт со своим сынком умрут, и мы станем – сэр Родон и миледи. Пока есть жизнь, есть и надежда, мой милый, и я еще намерена сделать из тебя человека. Кто продал твоих лошадей? Кто уплатил твои долги?

Родон должен был сознаться, что всем этим он обязан своей жене, и обещал и впредь полагаться на ее мудрое руководство.

И в самом деле, когда мисс Кроули переселилась в лучший мир и деньги, за которыми так усердно охотились все ее родичи, в конце концов попали в руки Питта, Бьют Кроули, узнав, что ему оставлено

всего лишь пять тысяч фунтов вместо двадцати, на которые он рассчитывал, пришел в такое бешенство, что с дикой бранью накинулся на племянника, и вражда, никогда не затихавшая между ними, привела к форменному разрыву. Напротив того, поведение Родона Кроули, получившего по духовной всего сто фунтов, изумило его брата и восхитило невестку, которая была доброжелательно настроена ко всем родственникам мужа. Родон написал брату откровенное, бодрое и веселое письмо из Парижа. Он знает, писал он, что из-за своей женитьбы лишился расположения тетки; и хотя крайне огорчен тем, что она отнеслась к нему так безжалостно, но все же рад, что деньги останутся во владении их семейства. Он сердечно поздравлял брата с удачей, посылал свой нежный привет сестре и выражал надежду, что она отнесется благосклонно к миссис Кроули. Письмо заканчивалось собственноручной припиской этой леди: она просила присоединить ее поздравления к поздравлениям мужа. Она всегда будет помнить доброту мистера Кроули, который обласкал ее в те далекие дни, когда она была беззащитной сиротой, воспитательницей его маленьких сестер, благополучие которых до сих пор близко ее сердцу. Она желала ему счастья в семейной жизни и просила разрешения передать привет леди Джейн (о доброте которой много слышала). Далее она выражала надежду, что ей будет позволено когда-нибудь представить дяде и тете своего маленького сына, и просила отнестись к нему доброжелательно и оказать ему покровительство.

Питт Кроули принял письмо очень милостиво, – более милостиво, чем принимала мисс Кроули прежние письма Ребекки, переписанные рукой Родона. Что касается леди Джейн, то она была очарована письмом и ожидала, что муж сейчас же разделит наследство тетки на две равные части и одну отошлет брату в Париж.

Однако, к удивлению миледи, Питт воздержался от посылки брату чека на тридцать тысяч фунтов. Но он обещал оказать брату поддержку, как только тот приедет в Англию и захочет ею воспользоваться, и, поблагодарив миссис Кроули за ее доброе мнение о нем и о леди Джейн, любезно выразил готовность быть полезным при случае ее маленькому сыну.

Таким образом, между братьями состоялось почти полное примирение. Когда Ребекка приехала в Лондон, Питта с супругой не

было в городе. Она не раз проезжала мимо старого подъезда на Парк-лейн, чтобы узнать, вступили ли они во владение домом мисс Кроули. Но новые владельцы еще не появлялись, и только от Реглса она кое-что о них узнавала: все слуги мисс Кроули были отпущены с приличным вознаграждением; мистер Питт приезжал в Лондон только один раз, – он на несколько дней остановился в доме, совещался со своими поверенными и продал все французские романы мисс Кроули букинисту с Бонд-стрит.

У Бекки были собственные причины желать прибытия новой родственницы. «Когда леди Джейн приедет, – думала она, – она введет меня в лондонское общество; а что касается дам... ну, дамы сами начнут приглашать меня, когда увидят, что мужчинам со мной интересно».

Для всякой леди в подобном положении принадлежностью, столь же необходимой, как коляска или букет, является компаньонка. До чего же трогательно, что нежные эти создания, которые не могут жить без привязанности, нанимают себе в подруги какую-нибудь на редкость бесцветную особу, с которой и становятся неразлучны. Вид этой неизбежной спутницы в выцветшем платье, сидящей в глубине ложи, позади своей дорогой приятельницы, или занимающей скамеечку в коляске, обычно настраивает меня на философический лад; это столь же приятное напоминание, как череп, фигурировавший на пирах египетских бонвиванов, – странное сардоническое memento<sup>[236]</sup> Ярмарки Тщеславия! Что и говорить: даже такая разбитная, наглая, бессовестная и бессердечная красавица, как миссис Файрбрейс, отец которой умер, не снеся ее позора; даже прелестная смелая мисс Вампир, которая возьмет верхом барьер не хуже любого мужчины в Англии и сама правит парюю серых в Парке (а мать ее до сих пор держит мелочную лавочку в Бате), – даже эти женщины, такие дерзкие, что им, кажется, сам черт не брат, и те не решаются показываться в обществе без компаньонки. Их любящие сердца просто зачахли бы без такой привязанности! И вы иначе не встретите их в публичном месте, как в сопровождении жалкой фигуры в перекрашенном шелковом платье, сидящей где-нибудь поблизости в укромном уголке.

– Родон, – сказала Бекки как-то раз поздно вечером, когда компания джентльменов сидела в ее гостиной (мужчины приезжали к ним заканчивать вечер, и она угощала их кофе и мороженым, лучшим в Лондоне), – я хочу завести овчарку.

– Что? – спросил Родон, подняв голову от стола, за которым он играл в экарте.

– Овчарку? – отозвался юный лорд Саутдаун. – Милая моя миссис Кроули, что за фантазия? Почему бы вам не завести датского дога? Я знаю одного – огромного, ростом с жирафу, честное слово. Его, пожалуй, можно будет впрячь в вашу коляску. Или персидскую борзую (мой ход, с вашего разрешения), или крошечного мопсика, который вполне уместится в одну из табакерок лорда Стайна. У одного человека в Бэйсуотере я видел мопса с таким носом, что вы могли бы (записываю короля и хожу)... что вы могли бы вешать на него вашу шляпу.

– Записываю взятку, – деловито произнес Родон. Он обыкновенно весь отдавался игре и вмешивался в разговор, только когда речь заходила о лошадях или о пари.

– И зачем это вам понадобилась овчарка? – продолжал веселый маленький Саутдаун.

– Я имею в виду *моральную* овчарку, – сказала Бекки, смеясь и поглядывая на лорда Стайна.

– Это что еще за дьявол? – спросил его милость.

– Собаку, которая охраняла бы меня от волков, – продолжала Ребекка, – компаньонку.

– Бедная невинная овечка, вам действительно нужна овчарка, – сказал маркиз и, выставив вперед подбородок, с отвратительной улыбкой уставился на Ребекку.

Именитый лорд Стайн стоял около камина, прихлебывая кофе. Огонь весело пылал и потрескивал за решеткой. На камине горело штук двадцать свечей во всевозможных причудливых канделябрах, золоченых, бронзовых и фарфоровых. Они восхитительно освещали Ребекку, которая сидела на софе, обитой пестрой материей. Ребекка была в розовом платье, свежем, как роза; ее безупречно белые руки и плечи сверкали из-под тонкого газового шарфа, которым они были полуприкрыты; волосы спускались локонами на шею; маленькая ножка выглядывала из-под упругих шуршащих складок шелка, –

прелестная маленькая ножка в прелестной крошечной туфельке и тончайшем шелковом чулке.

Свечи освещали и блестящую лысину лорда Стайна в венчике рыжих волос. У него были густые косматые брови и живые, налитые кровью глаза, окруженные сетью морщинок. Нижняя челюсть выдавалась вперед, и, когда он смеялся, два белых торчащих клыка хищно поблескивали. В этот день он обедал с особами королевской семьи, и потому на нем был орден Подвязки и лента. Его милость был низенький человек, широкогрудый и кривоногий, но он очень гордился изяществом своей ступни и лодыжки и постоянно поглаживал свое колено, украшенное орденом Подвязки.

– Значит, пастуха недостаточно, чтобы охранять овечку? – спросил он.

– Пастух слишком любит играть в карты и ходить по клубам, – ответила, смеясь, Бекки.

– Боже мой, что за распутный Коридон! – сказал милорд. – Только свирели не хватает.

– Бью тройкой, – произнес Родон за карточным столом.

– Послушайте-ка вашего Мелибея<sup>[237]</sup>, – проворчал благородный маркиз. – Какое в самом деле буколическое занятие: он стрижет барашка, невинного барашка. Черт возьми, какое белоснежное руно!

Глаза Ребекки сверкнули презрительной насмешкой.

– Но, милорд, – сказала она, – вы тоже рыцарь этого ордена.

На шее у милорда и вправду была цепь ордена Золотого Руна – дар испанских государей, вернувшихся на свой престол.

Лорд Стайн в молодости слыл отчаянным бретером и удачливым игроком. Однажды он два дня и две ночи просидел за игрой с мистером Фоксом. Он обыгрывал многих августейших особ Англии, и говорили, что даже свой титул маркиза он выиграл за карточным столом. Но достойный лорд не терпел намеков на эти грехи молодости. Ребекка заметила, что его густые брови угрожающе сдвинулись.

Она встала с софы, подошла к нему и с легким реверансом взяла у него чашку.

– Да, – проговорила она, – мне нужна сторожевая собака. Но на вас она лаять не будет.

И, перейдя в соседнюю гостиную, она села за рояль и запела французские песенки таким очаровательно звонким голоском, что смягчившийся лорд быстро последовал за нею, и видно было, как он, склонившись над Ребеккой, в такт кивал головой.

Между тем Родон и его приятель продолжали играть в экарте, пока им наконец не надоело это занятие. Полковник выиграл; но хотя он выигрывал часто и помногу, вечера, подобные этому, повторявшиеся несколько раз в неделю, – когда его жена была предметом общего поклонения, а он сидел в стороне и молчал, не принимая участия в беседе, ибо ни слова не понимал в их шутках, намеках и аллегориях, – такие вечера доставляли отставному драгуну мало радости.

– Как поживает супруг миссис Кроули? – приветствовал его лорд Стайн при встречах.

И правда, таково было теперь положение Родона. Он больше не был полковником Кроули, – он был супругом миссис Кроули.

Если до сих пор ничего не было сказано о маленьком Родоне, то лишь по той причине, что его сослали на чердак, и он только иногда в поисках общества сползал вниз в кухню. Мать почти не обращала на него внимания. Все дни ребенок проводил с француженкой-бонной, пока та оставалась в семье мистера Кроули, а когда она ушла, над малышом, плакавшим ночью в кровати, сжалилась одна из горничных: она взяла его из опустевшей детской к себе на чердак и там утешала, как могла.

Ребекка, милорд Стайн и еще один-два гостя сидели как-то после оперы в гостиной за чаем, когда над их головами раздался плач.

– Это мой херувим горюет о своей няне, – сказала Ребекка, но не двинулась с места посмотреть, что с ребенком.

– Вы лучше не ходите к нему, а не то еще расстроите себе нервы, – сардонически заметил лорд Стайн.

– Пустое! – ответила она, слегка покраснев. – Он наплачется и заснет.

И они снова заговорили об опере.

Однако Родон, выскользнув украдкой из гостиной, пошел взглянуть на своего сына и наследника и, только убедившись, что верная Долли занялась ребенком, вернулся к обществу. Туалетная

комната полковника помещалась в той же горней области, и там он потихоньку встречался с мальчиком. Каждое утро, когда полковник брился, у них происходили свидания: Родон-младший взбирался на сундук подле отца и с неизменным увлечением следил за операцией бритья. Они с отцом были большие приятели. Родон-старший приносил ему сласти, утаенные от собственного десерта, и прятал их в старом футляре для эполет, и ребенок ликовал, разыскав сокровище, – смеялся, но не громко, потому что маменька внизу спала и ее нельзя было беспокоить: она ложилась очень поздно и редко вставала раньше полудня.

Родон покупал сыну много книжек с картинками и завалил его детскую игрушками. Стены ее были все покрыты картинками, которые отец приобретал на наличные деньги и приклеивал собственноручно. Когда миссис Кроули освобождала его от обязанности сопровождать ее в Парк, он приходил к сыну и проводил с ним по несколько часов; мальчик, усевшись к нему на грудь, дергал его за длинные усы, как будто это были вожжи, и неумоимо прыгал и скакал вокруг него. Комната была довольно низкая, и однажды, когда ребенку не было еще пяти лет, отец, высоко подбросив его, так сильно стукнул бедного малыша головой о потолок, что, перепугавшись, чуть не выронил его из рук. Родон-младший уже приготовился громко заплакать – удар был так силен, что вполне оправдывал это намерение, – но только что он скривил рожицу, как отец зашикал на него: «Ради бога, Роди, не разбуди маму!» И ребенок, очень серьезно и жалобно посмотрев на отца, закусил губы, сжал кулачки и не издал ни звука. Родон рассказывал об этом в клубах, за обедом в офицерском собрании и всем и каждому в городе.

– Ей-богу, сэръ, – говорил он, – что за мальчишка у меня растет! Такой молодчина! Я чуть не прошиб его головенкой потолок, ей-богу, а он и не заплакал, боялся беспокоить мать.

Иногда – раз или два в неделю – Ребекка поднималась в верхние покои, где жил ребенок. Она приходила, словно ожившая картинка из модного журнала, мило улыбаясь, в прелестном новом платье, изящных перчатках и башмачках. Изумительные шарфы, кружева и драгоценности украшали ее. У нее всегда была новая шляпка, отделанная неувядающими цветами или великолепными страусовыми перьями, кудрявыми и нежными, как лепестки камелии. Она

покровительственно кивала мальчугану, который отрывался от обеда или от раскрашивания солдатиков на картинках. Когда она уходила, в детской еще долго носился запах розы или какое-нибудь другое волшебное благоухание. В глазах ребенка мать была неземным существом – гораздо выше отца... выше всего мира, – ей можно было только поклоняться издали. Кататься с матерью в экипаже казалось ему священнодействием: он сидел на скамеечке, не осмеливаясь произнести ни слова, и только глядел во все глаза на пышно разодетую принцессу, сидевшую против него. Джентльмены, гарцующие на великолепных конях, подъезжали к экипажу и, улыбаясь, разговаривали с нею. Как блестели ее глаза, когда эти кавалеры приближались! Как грациозно она помахивала им ручкой, когда они проезжали мимо! В таких случаях на мальчика надевали новенький красный костюмчик; для дома годился и старый, коричневого полотна. Изредка, когда мать уезжала и горничная Долли убирала ее постель, он входил в спальню. Ему эта комната казалась раем, волшебным царством роскоши и чудес. В гардеробе висели чудесные платья – розовые, голубые и разноцветные. Вот отделанная серебром шкатулка с драгоценностями и таинственная бронзовая рука на туалете, сверкающая сотнями колец. А вот трюмо – чудо искусства, – где он мог видеть свое удивленное личико и отражение Долли (странно измененное и витающее на потолке), когда она взбивала и разглаживала подушки на постели. Бедный, одинокий, заброшенный мальчуган! Мать – это имя божества в устах и в сердце ребенка, а этот малыш боготворил камень!

Родон Кроули, при всем своем беспутстве, обладал некоторым душевным благородством и еще был способен на любовь к женщине и любовь к ребенку. К Родону-младшему он питал тайную нежность, которая не ускользнула от Ребекки, хотя она никогда не говорила об этом мужу. Это не раздражало ее – она была слишком добродушна, – но только увеличивало ее презрение к нему. Он сам стыдился своих родительских чувств, скрывал их от жены и, только когда бывал наедине с мальчиком, давал им волю.

По утрам они вместе гуляли; сначала заходили в конюшни, а оттуда направлялись в Парк. Юный лорд Саутдаун – добрейший человек, способный отдать последнее и считавший своим главным занятием в жизни приобретение всяких безделушек, которые он потом



раздавал направо и налево, – подарил мальчику крошечного пони, немногим больше крупной крысы, как говорил сам даривший, и на этого вороного шотландского пони рослый отец маленького Родона с восторгом сажал сынишку и ходил рядом с ним по Парку. Ему доставляло удовольствие видеть старые казармы и старых товарищей-гвардейцев в Найтсбридже, – он вспоминал теперь холостую жизнь с чем-то вроде сожаления. Старые кавалеристы также были рады повидаться с прежним сослуживцем и понянчить маленького полковника. Полковнику Кроули приятно было обедать в собрании вместе с братьями-офицерами.

– Черт возьми, я недостаточно умен для нее... я знаю это! Она не заметит моего отсутствия, – говаривал он.

И он был прав: жена действительно не замечала его отсутствия.

Ребекка очень любила своего мужа. Она всегда была добродушна и ласкова с ним и лишь умеренно выказывала ему свое презрение, – может быть, он и нравился ей оттого, что был глуп. Он был ее старшим слугой и метрдотелем, ходил по ее поручениям, беспрекословно слушался ее приказаний, безропотно катался с нею в коляске, отвозил ее в оперу, а сам развлекался в клубе, пока шло представление, и возвращался за нею точно в надлежащее время. Он жалел, что она недостаточно ласкова к мальчику, но мирился и с этим.

– Черт возьми, она ведь, знаете ли, такая умница, – пояснял он, – а я неученый человек и все такое, знаете...

Как мы уже говорили, чтобы выигрывать в карты и на бильярде, не требуется большой мудрости, а на другие таланты Родон и не претендовал.

Когда в доме появилась компаньонка, его домашние обязанности значительно облегчились. Жена даже поощряла его обедать вне дома и освободила от обязанности провожать ее в оперу.

– Нечего тебе нынче вечером сидеть и томиться дома: ты будешь скучать, милый, – говорила она. – У меня соберется несколько человек, которые будут тебя только раздражать. Я бы их не приглашала, но, ты ведь знаешь, это для твоей же пользы. А теперь, когда у меня есть овчарка, ты можешь за меня не бояться.

«Овчарка-компаньонка! У Бекки Шарп – компаньонка! Разве не смешно?» – думала про себя миссис Кроули. Эта мысль очень забавляла ее.

Однажды утром, в воскресенье, когда Родон Кроули, его сынишка и пони совершали обычную прогулку в Парке, они встретили давнишнего знакомого и сослуживца полковника – капрала Клинк, который дружески беседовал с каким-то старым джентльменом, державшим на коленях мальчугана такого же возраста, как и маленький Родон. Мальчуган схватил висевшую на груди капрала медаль в память битвы при Ватерлоо и с восхищением рассматривал ее.

– Здравия желаю, ваша честь, – сказал Клинк в ответ на приветствие полковника: «Здорово, Клинк!» – Этот юный джентльмен – ровесник маленькому полковнику, сэр, – продолжал капрал.

– Его отец тоже сражался при Ватерлоо, – добавил старый джентльмен, державший мальчика на коленях, – верно, Джорджи?

– Да, – подтвердил Джорджи. Он и мальчуган, сидевший верхом на пони, пристально и важно рассматривали друг друга, как это бывает между детьми.

– В пехоте, – сказал Клинк покровительственным тоном.

– Он был капитаном \*\*\* полка, – продолжал не без гордости старый джентльмен. – Капитан Джордж Осборн, сэр. Может быть, вы его знали? Он пал смертью храбрых, сэр, сражаясь против корсиканского тирана.

Полковник Кроули вспыхнул.

– Я знал его очень хорошо, сэр, – сказал он, – и его жену, его славную женушку, сэр. Как она поживает?

– Это моя дочь, сэр, – отвечал старый джентльмен, спустив с рук мальчика и торжественно вынимая визитную карточку, которую и протянул полковнику. На ней стояло:

«Мистер Седли, доверенный агент компании «Черный алмаз, беззольный уголь». Угольная верфь, Темз-стрит и коттеджи Анна-Мария, Фулем-роуд».

Маленький Джорджи подошел и стал рассматривать шотландского пони.

– Хочешь прокатиться? – спросил Родон-младший с высоты своего седла.

– Хочу, – отвечал Джорджи.

Полковник, смотревший на него с некоторым интересом, поднял его и посадил на пони, позади Родона-младшего.

– Держись за него, Джорджи, – сказал он, – обхвати моего мальчугана за пояс; его зовут Родон!

И оба мальчика засмеялись.

– Пожалуй, во всем Парке не найдется более красивой пары, – заметил добродушный капрал.

И полковник, капрал и мистер Седли с зонтиком в руке пошли рядом с детьми.

## Глава XXXVIII

### Семья в крайне стесненных обстоятельствах

Предположим, что маленький Джордж Осборн от Найтсбриджа проехал до Фулема, – остановимся же и мы в этом пригороде и посмотрим, как поживают наши друзья, которых мы там оставили. Как чувствует себя миссис Эмилия после ватерлооской катастрофы? Жива ли она, здорова ли? Что стало с майором Доббином, чей кеб постоянно маячил около ее дома? Есть ли какие-нибудь известия о коллекторе Богли-Уолаха? Относительно последнего нам известно следующее.

Наш достойный друг, толстяк Джозеф Седли, вскоре после счастливого своего спасения возвратился в Индию. Кончился ли срок его отпуска, или же он опасался встречи со свидетелями своего бегства из Брюсселя, но, так или иначе, он вернулся к своим обязанностям в Бенгалии очень скоро после водворения Наполеона на острове Святой Елены, где нашему коллектору даже довелось увидеть бывшего императора<sup>[238]</sup>. Если бы вы послушали, что говорил мистер Седли на корабле, вы решили бы, что это не первая его встреча с корсиканцем и что сей штатский основательно посчитался с французским полководцем на плато Сен-Жан. Он рассказывал тысячу анекдотов о знаменитых баталиях, он знал расположение каждого полка и понесенные им потери. Он не отрицал, что сам причастен к этим победам, – что был вместе с армией и доставлял депеши герцогу Веллингтону. Он судил обо всем, что герцог делал или говорил в любой момент исторической битвы, с таким знанием всех поступков и чувств его милости, что всякому становилось ясно: этот человек делил лавры победителя и не разлучался с ним в течение всего того дня, хотя имя его, как лица невоенного, и не упоминалось в опубликованных документах. Вполне возможно, что со временем Джоз и сам этому поверил. Во всяком случае, в течение некоторого времени он гремел на всю Калькутту и даже получил прозвище «Седли Ватерлооского», каковое и оставалось за ним во все время его пребывания в Бенгалии.

Векселя, которые Джоз выдал при покупке злополучных лошадей, были беспрекословно оплачены им и его агентами. Он никому и словом не заикнулся об этой сделке, и никто не знал достоверно, что случилось с его лошадьми и как он отделался от них и от Исидора, своего слуги-бельгийца; последнего видели осенью 1815 года в Валансьене, где он продавал серую в яблоках лошадь, очень похожую на ту, на которой ускакал Джоз.

Лондонским агентам Джоза было дано распоряжение выплачивать ежегодно сто двадцать фунтов его родителям в Фулеме. Это была главная поддержка для старой четы, потому что спекуляции, предпринятые мистером Седли после его банкротства, никоим образом не могли восстановить его разрушенное благосостояние. Он пытался торговать вином, углем, был агентом по распространению лотерейных билетов и т. д., и т. п. Взавшись за что-нибудь новое, он немедленно рассылал проспекты друзьям, заказывал новую медную дощечку на дверь и важно заявлял, что он еще поправит свои дела. Но фортуна окончательно отвернулась от слабого, разбитого старика. Один за другим друзья покидали его – им надоедало покупать у него дорогой уголь и плохое вино, – и, когда он с утра тащился в Сити, только жена его еще воображала, что он вершит там какие-то дела. К концу дня старик тихонько брел обратно и вечера проводил в трактире, в маленьком местном клубе, где разглагольствовал о государственных финансах. Стоило послушать, с каким знанием дела он толковал про миллионы, про лаж и дисконт и про то, что делают Ротшильд и братья Беринги. Он с такой легкостью бросался огромными цифрами, что завсегда и клуб (аптекарь, гробовщик, подрядчик плотничных и строительных работ, псаломщик, который заглядывал сюда украдкой, и наш старый знакомый – мистер Клеп) проникались к нему уважением.

– Я знавал лучшие дни, сэр, – не упустил он случая сказать каждому посетителю. – Мой сын сейчас занимает высокий служебный пост в Ремгандже, в Бенгальском округе, и получает четыре тысячи рупий в месяц. Моя дочь могла бы стать полковницей хоть сию минуту, если бы только захотела. Я могу завтра же выдать вексель на моего сына на две тысячи фунтов, и Александер без всяких отсчитывает мне денежки. Но, заметьте, сэр, я слишком горд для этого. Седли всегда были горды.

И вы и я, дорогой читатель, можем оказаться в таком положении: разве мало наших друзей доходило до этого? Счастье может изменить вам, силы могут вас оставить, ваше место на подмостках займут другие актеры, помоложе и поискуснее, и вы окажетесь на мели. При встрече с вами знакомые постараются перейти на другую сторону или, что еще хуже, сострадательно протянут вам два пальца, и вы будете знать, что, едва пройдя мимо, приятель начнет рассказывать: «Бедняга, каких глупостей он наделал и какие возможности упустил!..» И все же собственный выезд и три тысячи годовых – это не предел благополучия на земле и не высшая награда небес. Если шарлатаны столь же часто преуспевают, как и терпят крах, если шуты благоденствуют, а негодяи пользуются милостями фортуны и vice versa, так что на долю каждого приходится и удачи, и неудачи, как это бывает и с самыми способными и честными среди нас, то, право же, брат мой, дары и развлечения Ярмарки Тщеславия не слишком многого стоят, и вероятно... Впрочем, мы уклонились от нашей темы.

Когда бы миссис Седли была женщиной энергической и не захотела сидеть сложа руки после разорения мужа, она могла бы снять большой дом и взять нахлебников. Придавленный судьбой, Седли отлично играл бы роль мужа хозяйки меблированных комнат – роль своего рода принца-супруга, номинального хозяина и господина, – резал бы жаркое за общим столом, исполнял бы должность домоправителя и смиренного мужа своей жены, восседающей на неприглядном хозяйском троне. Я видел людей неглупых и с хорошим образованием, которые когда-то много обещали, удивляя всех своей энергией, которые в молодости задавали пиры помещикам и держали охоту, а теперь покорно нарезают баранину для старых сварливых ведьм и делают вид, что занимают за их унылым столом почетное место. Но миссис Седли, как мы сказали, не обладала достаточной силой духа, чтобы хлопотать ради «немногих избранных пансионеров, желающих поселиться в приятном музыкальном семействе», как гласят подобного рода объявления в «Таймс». Она успокоилась на том, что оказалась на мели, куда ее выбросила фортуна; и, как видите, песня старой четы была спета.

Я не думаю, чтобы они были несчастны. Может быть, они были даже несколько более горды в своем падении, чем во времена процветания. Миссис Седли всегда оставалась важной особой в глазах

своей домохозяйки, миссис Клеп, к которой она часто спускалась вниз и с которой проводила долгие часы в ее опрятной кухне. Чепцы и ленты Бетти Фленниган, горничной-ирландки, ее нахальство, лень, чудовищная расточительность, с какой она сжигала на кухне свечи, истребляла чай и сахар и т. д., занимали и развлекали старую леди почти столько же, сколько поведение ее прежней челяди, когда у нее были и Самбо, и кучер, и грум, и мальчишка-посыльный, и экономка с целой армией женской прислуги, – об этом добрая леди вспоминала сотни раз на дню. А кроме Бетти Фленниган, миссис Седли наблюдала еще за всеми служанками в околотке. Она знала, аккуратно ли платит каждый наниматель за свой домик или задерживает плату. Она отступала в сторону, когда мимо нее проходила актриса миссис Ружемон со своим сомнительным семейством. Она задирала голову, когда миссис Песлер, аптекарша, проезжала мимо в одноконном тарантасе своего супруга, служившем ему для объезда больных. Она вела беседы с зеленщиком относительно грошовой брюквы для мистера Седли, следила за молочником и за мальчишкой из булочной и наведывалась к мяснику, которому, вероятно, доставляло меньше хлопот продать сотню туш другим хозяйкам, чем один бараний бок придиричивой миссис Седли; она вела счет картофелю, который подавался к жаркому в праздничные дни, и по воскресеньям, одетая в лучшее свое платье, дважды посещала церковь, а по вечерам читала «Проповеди Блейра».

По воскресным же дням – так как в будни «дела» мешали такому развлечению – мистер Седли любил совершать с маленьким Джорджи прогулки в соседние парки и в Кенсингтонский сад, смотреть на солдат или кормить уток. Джорджи был неравнодушен к красным мундирам, и дедушка рассказывал ему, каким храбрым воином был его отец, и знакомил мальчика с сержантами и другими военными, грудь которых была украшена ватерлооскими медалями и которым старый джентльмен торжественно представлял внука как сына капитана \*\*\* полка Осборна, геройски погибшего в славный день 18 июня. Старик иной раз угощал отставного служивого стаканом портера, а главное – обнаружил пагубную склонность закармливать Джорджи яблоками и имбирными пряниками, явно во вред его здоровью, так что Эмилия даже объявила, что не будет отпускать Джорджи с дедушкой, если тот не пообещает ей не давать ребенку ни

пирожных, ни леденцов, ни вообще каких-либо лакомств, приобретаемых с лотков.

Что касается миссис Седли, то между ней и дочерью установилась из-за мальчика некоторая холодность и тщательно скрываемая ревность. Однажды вечером, когда Джорджи был еще младенцем, Эмилия, сидевшая с работой в их маленькой гостиной и не заметившая, что старая леди вышла из комнаты, внезапно услышала крик ребенка, который до того спокойно спал. Бросившись в спальню, она увидела, что миссис Седли с помощью чайной ложки тайком вливает в рот ребенку эликсир Даффи. При виде такого посягательства на ее материнские права, Эмилия, добрейшая и кротчайшая из смертных, вся затрепетала от гнева. Щеки ее, обычно бледные, вспыхнули и стали такими же красными, какими они были у нее в двенадцать лет. Она вырвала ребенка из рук матери и схватила со стола склянку, чем немало разгневала старую леди, которая с изумлением смотрела на нее, держа в руке злополучную чайную ложку.

– Я не хочу, чтобы малютку отравляли, маменька! – закричала со сверкающими глазами Эмми и швырнула склянку в камин, а потом обхватила ребенка обеими руками и принялась укачивать его.

– Отравляли, Эмилия? – сказала старая леди. – И ты смеешь это говорить мне?!

– Ребенок не будет принимать никаких лекарств, кроме тех, которые присылает для него мистер Песлер; он уверял меня, что эликсир Даффи – это отравка.

– Ах, вот как! Значит, ты считаешь меня убийцей, – отвечала миссис Седли. – Так-то ты разговариваешь с матерью! Судьба достаточно насмеялась надо мною; я низко пала в жизни: когда-то я держала карету, а теперь хожу пешком. Но я до сих пор не знала, что я – убийца, спасибо тебе за такую новость!

– Маменька, – воскликнула бедная Эмилия, уже готовая расплакаться, – не сердитесь!.. У меня и в мыслях не было, что вы желаете вреда ребенку, я только сказала...

– Ну да, милочка... ты только сказала, что я – убийца; но в таком случае пусть меня лучше отправят в тюрьму. Хотя не отравила же я тебя, когда ты была малюткой, а дала тебе самое лучшее воспитание и самых дорогих учителей, каких только можно достать за деньги. Я



пятерых выкормила, хотя троих и схоронила; и самая моя ненаглядная доченька, из-за которой я ночей недосыпала, когда у нее резались зубки, и во время крупа, и кори, и коклюша, и для которой нанимала француженок, – поди сосчитай, сколько это стоило, – а потом еще и в пансион ее послала для усовершенствования, – ведь сама-то я ничего такого не видала, когда была девочкой, а почитала же отца с матерью, чтобы бог продлил дни мои на земле и чтобы, по крайней мере, приносить пользу, а не дуться целыми днями в своей комнате да разыгрывать из себя важную леди, – и вот эта дочь говорит мне, что я убийца!.. Миссис Осборн, – продолжала она, – желаю вам, чтобы вы не пригрели змею на своей груди – вот о чем будут мои молитвы!

– Маменька! Маменька! – кричала ошеломленная Эмилия, и ребенок у нее на руках вторил ей отчаянным плачем.

– Убийца! Надо же такое сказать! Стань на колени, Эмилия, и моли бога, чтобы он очистил твое злое, неблагодарное сердце, и да простит он тебя, как я прощаю.

С этими словами миссис Седли выбежала из комнаты, еще раз проговорив сквозь зубы: «Отрава!» – и тем закончив свое материнское благословение.

До самой смерти миссис Седли эта размолвка между нею и дочерью так и не забылась. Ссора дала старшей даме бесчисленные преимущества, которыми она не упускала случая пользоваться с чисто женской изобретательностью и упорством. Началось с того, что в течение нескольких недель она почти не разговаривала с Эмилией. Она предупреждала прислугу, чтобы та не прикасалась к ребенку, так как миссис Осборн будет недовольна. Она просила дочь прийти и удостовериться, что в кушанья, которые ежедневно приготавливались для маленького Джорджи, не подмешано яду. Когда соседи спрашивали о здоровье мальчика, она отсылала их к миссис Осборн. Сама она, видите ли, не осмеливается спросить о его здоровье. Она не позволяет себе прикоснуться к ребенку (хотя это ее внук и она в нем души не чает), так как не умеет обращаться с детьми и может причинить ему вред. А когда ребенка навещал мистер Песлер, она принимала доктора с таким саркастическим и презрительным видом, какого, по его словам, не напускала на себя даже сама леди Тислвуд, которую он имел честь пользоваться, – хотя со старой миссис Седли он не брал платы за лечение. Очень возможно, что Эмми, со своей

стороны, тоже ревновала ребенка. Да и какая мать не ревнует к тем, кто нянчится с ее детьми и может занять первое место в сердце ее сыночка? Достоверно только то, что, когда кто-нибудь возился с ее малюткой, она начинала беспокоиться и не давала ни миссис Клеп, ни прислуге одевать его или ухаживать за ним, как не позволяла им вытирать пыль с миниатюры Джорджа, висевшей над ее кроватью, той самой кроватью, с которой она рассталась, когда ушла к мужу, и к которой теперь вернулась на много долгих безмолвных, полных слез, но все же счастливых лет.

В этой комнате была вся любовь Эмилии, все самое дорогое в ее жизни. Здесь она пестовала своего мальчика и ухаживала за ним во время всех его болезней с неизменным страстным рвением. В нем как бы возродился старший Джордж, только в улучшенном виде, словно он вернулся с небес. Сотней неуловимых интонаций, взглядов, движений ребенок так напоминал отца, что сердце вдовы трепетало, когда она прижимала к себе малютку. Джорджи часто спрашивал мать, отчего она плачет. Оттого, что он так похож на отца, отвечала она чистосердечно. Она постоянно рассказывала ему о покойном отце и говорила о своей любви к нему, – с невинным, непонимающим ребенком она была откровеннее, чем в свое время с самим Джорджем или какой-нибудь близкой подругой юности. С родителями она никогда не говорила на эту тему: она стеснялась раскрывать перед ними свое сердце. Вряд ли маленький Джордж понимал ее лучше, чем поняли бы они, но ему, и только ему доверяла Эмилия свои сердечные тайны. Самая радость этой женщины походила на грусть или была так нежна, что единственным ее выражением становились слезы. Чувства Эмилии были так неуловимы, так робки, что, пожалуй, лучше не говорить о них в книге. Доктор Песлер (теперь популярнейший дамский врач, – он разъезжает в шикарной темно-зеленой карете, ждет скорого производства в дворянское достоинство и имеет собственный дом на Манчестер-сквер) рассказывал мне, что горе Эмилии, когда пришлось отнимать ребенка от груди, способно было растрогать сердце Ирода. В те времена доктор был еще очень мягкосердечен, и его жена и тогда, и еще долго спустя смертельно ревновала его к миссис Эмилии.

Быть может, докторша имела серьезные основания для ревности: почти все женщины, составлявшие кружок знакомых миссис Осборн,

разделяли с нею это чувство и сердились на восхищение, с каким относились к Эмилии представители другого пола, ибо почти все мужчины, которые знакомились с нею ближе, поклонялись ей, хотя, без сомнения, не могли бы сказать, за что именно. Она не была ни блестящей женщиной, ни остроумной, ни слишком умной, ни исключительно красивой. Но где бы она ни появлялась, она трогала и очаровывала всех мужчин так же неизменно, как пробуждала презрение и недоверие в лицах своего пола. Я думаю, что главное ее очарование заключалось в беспомощности, в кроткой покорности и нежности; казалось, она обращалась ко всем мужчинам, с которыми встречалась, с просьбою об участии и покровительстве. Мы уже видели, как в полковом собрании – хотя ей были известны лишь немногие товарищи Джорджа – все юные офицеры готовы были обнажить мечи, чтобы сразиться за нее. Точно так же в маленьком домике в Фулеме и в тесном кружке навещавших его друзей она всем нравилась и во всех возбуждала интерес. Будь она самой миссис Манго из знаменитой фирмы «Манго, Банан и К<sup>о</sup>» на улице Кратед-Фрайерс, – великолепной обладательницей виллы в Фулеме, дававшей здесь свои летние *déjeuners*, на которые съезжались герцоги и графы; миссис Манго, разъезжавшей по приходу с гайдуками в роскошных желтых ливреях и на паре гнедых, каких не найдется и в королевских кенсингтонских конюшнях, – повторяю, будь она самою миссис Манго или женою ее сына, леди Мэри Манго (дочерью графа Каслмоулди, которая соблаговолила выйти замуж за главу фирмы), то и тогда все соседние торговцы не могли бы оказывать ей больше почета, чем они оказывали кроткой молодой вдове, когда она проходила мимо их дверей или делала свои скромные покупки в их лавках.

И не только сам доктор, мистер Песлер, но и его молодой помощник, мистер Линтон, лечивший горничных и мелких торговцев – его всегда можно было застать читающим «Таймс» в докторской приемной, – открыто объявил себя рабом миссис Осборн. Этот видный из себя молодой джентльмен встречал в доме миссис Седли даже более радушный прием, чем его патрон, и если с Джорджи случалось что-нибудь, он забегал проведать мальчугана по два-три раза в день, даже и не думая о гонораре. Он извлекал из аптекарских ящичков мятные лепешки, тамаринд и другие снадобья для маленького

Джорджи и составлял сиропы и микстуры такой удивительной сладости, что ребенку даже нравилось болеть. Они с Песлером целых две ночи просидели около мальчика в ту памятную страшную неделю, когда Джорджи заболел корью и когда, глядя на ужас матери, можно было подумать, что ни один человек на земле никогда не болел такой болезнью. Для кого еще стали бы они это делать? Разве просиживали они все ночи у знатных соседей, когда Ральф Плантагенет, Гвендолина и Гуиневер Манго хворали той же самой детской болезнью? И разве сидели они около маленькой Мэри Клеп, дочери домохозяина, которая заразилась корью от Джорджи? Надо прямо сказать – нет, не сидели. Они преспокойно спали – во всяком случае, мысли о Мэри не тревожили их по ночам, – объявив, что корь у нее в легкой форме и пройдет без всякого лечения, и с полнейшим равнодушием, просто порядка ради, прислали девочке микстуры с добавлением хины, когда она уже стала поправляться.

Далее, жил напротив миссис Осборн скромный французский шевалье, преподававший свой родной язык в соседних школах. Вечерами можно было слышать, как он разыгрывал на разбитой скрипке старинные гавоты и менуэты. Когда этот учтивый старичок, носивший пудренный парик и никогда не пропускавший воскресной службы в хэммерсмитской монастырской часовне, – словом, ни в каком отношении, ни по образу мыслей, ни поведением, ни манерами, не похожий на своих диких бородатых соплеменников, которые и по сей час клянут коварный Альбион и косятся на вас поверх своих сигар, проходя по Риджент-стрит, – когда старый шевалье де Талонруж говорил о миссис Осборн, он сначала втягивал понюшку табаку, потом грациозным движением руки стряхивал приставшие к платью крошки, собирал все пальцы пучочком, подносил к губам и, поцеловав, распускал их, восклицая: «Ah! la divine creature!»<sup>[239]</sup> Он клялся и заявлял во всеуслышание, что, когда Эмилия гуляет по бромптонским улицам, под ее ногами вырастают в изобилии цветы. Он называл маленького Джорджи Купидоном и спрашивал у него новости о его маме Венере; он говорил изумленной Бетти Фленниган, что она одна из граций и любимая прислужница *Reine des Amours*<sup>[240]</sup>.

Еще много можно было бы привести примеров так легко приобретенной и невольной популярности. Разве мистер Бинни,

кроткий и любезный младший священник местной церкви, куда ходила семья Седли, не навещал усердно вдову, не качал на коленях ее мальчика и не предлагал учить его латыни, к негодованию старой девы, своей сестры, которая вела его хозяйство?

– В ней ничего нет, Билби, – уверяла его эта леди. – Когда она приходит к нам пить чай, от нее за весь вечер слова не услышишь. Это просто слабонервная дамочка! Я уверена, что у нее нет сердца. Только ее смазливое личико и привлекает вас, мужчин. У мисс Гритс, при ее пяти тысячах фунтов дохода да при ее надеждах на будущее, гораздо больше характера, и она гораздо милее, на мой вкус; будь она чуть покрасивее, я знаю, ты счел бы ее совершенством.

Возможно, что мисс Бинни была в известной степени права: хорошенькое личико всегда возбуждает симпатию мужчин – этих неисправимых вертопрахов. Женщина может обладать умом и целомудрием Минервы, но мы не обратим на нее внимания, если она некрасива. Каких безумств мы не совершаем ради пары блестящих глазок! Какая глупость, произнесенная алыми губками и нежным голоском, не покажется нам приятной! И вот дамы, с присущим им чувством справедливости, решают: раз женщина красива – значит, глупа. О дамы, дамы, сколько найдется среди вас и некрасивых, и неумных!

Все, что мы могли сообщить о жизни нашей героини, принадлежит к числу самых тривиальных событий. Ее повесть не изобилует чудесами, как, без сомнения, уже заметил любезный читатель: и если бы она вела дневник всех происшествий за семь лет со времени рождения сына, в нем мало нашлось бы событий, более замечательных, чем корь, о которой мы уже говорили на предыдущих страницах. Впрочем, однажды, к великому ее изумлению, преподобный мистер Бинни, только что упомянутый, попросил ее переменить фамилию Осборн на его собственную. На что она, вся вспыхнув, со слезами в голосе и на глазах поблагодарила его за честь и выразила признательность за все его внимание и к ней, и к ее бедному мальчику, но заявила, что никогда, никогда не в состоянии будет думать ни о ком... ни о ком, кроме мужа, которого она потеряла.

Двадцать пятого апреля и 18 июня – в день свадьбы и в день смерти мужа – она совсем не выходила из своей комнаты, посвящая эти дни (не говоря уже о бесконечных часах одиноких ночных

размышлений, когда малютка-сын спал рядом с ней в своей колыбели) памяти ушедшего друга. Днем она была более деятельна: учила Джорджи читать, писать и немного рисовать; читала книги, с тем чтобы потом рассказывать оттуда малышу разные истории. По мере того как под влиянием окружающего мира открывались его глаза и пробуждался ум, она учила ребенка, насколько позволяло ей ее разумение, познавать творца вселенной. Каждое утро и каждый вечер мать и сын (в великом и трогательном единении, которое, я думаю, умилило всякого, кто это видел или сам пережил) – мать и ее мальчик молились отцу небесному: мать вкладывала в молитву всю свою кроткую душу, а ребенок лепетал за нею слова, которые она произносила. И каждый раз они молили бога благословить дорогого папеньку, как будто он был жив и находился тут же с ними.

Много часов каждый день уходило у нее на то, чтобы умыть и одевать юного джентльмена, водить его на прогулку перед завтраком и уходом дедушки «по делам», шить для него самые удивительные и хитроумные костюмчики, для какой-то цели бережливая вдова перекраивала и переделывала каждый пригодный лоскут из нарядов, составлявших ее гардероб во времена замужества, ибо сама миссис Осборн (к большому огорчению ее матери, любившей наряжаться, особенно с тех пор как они разорились) всегда носила черные платья и соломенную шляпку с черной лентой. Остальное время она посвящала матери и старику отцу. Она не поленилась научиться игре в крибедж и часто играла со старым джентльменом в те вечера, когда он не ходил в клуб. Она пела, когда ему хотелось ее послушать; и это было хорошим знаком, потому что под музыку старик неизменно впадал в сладкий сон. Она переписывала ему бесчисленные записки, планы, письма и проспекты. Большинство прежних знакомых старого джентльмена получили уведомления, написанные ее рукой, о том, что он сделался агентом компании «Черный алмаз, беззольный уголь» и готов снабжать друзей и публику самым лучшим углем по столько-то шиллингов за чедрон<sup>[241]</sup>. Ему оставалось только подписать замысловатым росчерком эти проспекты и дрожащим канцелярским почерком написать адреса. Одна из этих бумаг была отправлена майору Доббину в \*\*\* полк, через господ Кокса и Гринвуда; но майор был в это время в Мадрасе и, следовательно, не имел особой надобности в угле. Однако он узнал руку, которою был написан

проспект. Господи боже! чего бы он не отдал, чтобы держать эту ручку в своей! Пришел и второй проспект, извещавший майора, что «Седли и К<sup>о</sup>» учредили в Опорто, Бордо и Сен-Мари агентства, которые имеют возможность предложить друзьям и публике самый лучший и изысканный выбор портвейна, хереса и красных вин по умеренным ценам и на особо выгодных условиях. Основываясь на этом извещении, Доббин надел на губернатора, главнокомандующего, на судей, на полковых товарищей и всех, кого только знал из начальствующих лиц, и послал фирме «Седли и К<sup>о</sup>» столько заказов на вина, что привел в полное изумление мистера Седли и мистера Клепа, который и составлял всю «К<sup>о</sup>» в названном предприятии. Но за этим взрывом удачи, под влиянием которого бедный старик уже собирался строить дом в Сити, обзавестись целым полком клерков, собственной пристанью и агентами во всех уголках земного шара, других заказов не последовало. Очевидно, старый джентльмен утратил прежний тонкий вкус к винам: на майора Доббина посыпались жалобы из всех офицерских столовых за скверные напитки, которые были выписаны по его рекомендации. В конце концов он скупил обратно огромное количество вин и продал с аукциона, с огромным для себя убытком. Что касается бывшего коллектора, получившего в это время место в управлении государственными сборами в Калькутте, то он был взбешен, когда почта принесла ему пачку этих вакхических проспектов с приватной припиской отца, извещавшей Джоза, что его родитель рассчитывает на него в этом предприятии и посылает ему партию отборных вин, указанных в накладной, а также выданные им от имени сына векселя на эту сумму – на покрытие расходов. Джоз, которому, кажется, легче было бы стерпеть, что его отца, отца Джоза Седли, члена управления государственными сборами, считают Джеком Кетчем<sup>[242]</sup>, нежели виноторговцем, выклянчивающим заказы, с возмущением отказался от векселей и написал старому джентльмену сердитое письмо, предлагая на будущее оставить его в покое. Опротестованные векселя пришли обратно, и «Седли и К<sup>о</sup>» вынуждены были оплатить их доходами от мадрасской операции, а частью и сбережениями Эмми.

Кроме пенсии в пятьдесят фунтов в год, у нее, по заявлению душеприказчика ее мужа, была еще сумма в пятьсот фунтов, находившаяся в момент смерти Осборна на руках у агентов; эту

сумму опекуна Джорджа, Доббин, предлагал поместить из восьми годовых процентов в одну индийскую контору. Мистер Седли, подозревавший майора в каких-то неблагоприятных расчетах на эти деньги, был категорически против предложенного плана. Он отправился к агентам, чтобы лично протестовать против такого помещения упомянутого капитала. Там он узнал, к своему изумлению, что никто им не доверял такой суммы, что все оставшиеся после покойного капитана средства не превышают ста фунтов, а названные пятьсот фунтов, по-видимому, составляют особую сумму, о которой известно только майору Доббину. Окончательно убедившись, что дело нечисто, старик Седли начал преследовать майора. Как самый близкий дочери человек, он потребовал отчета относительно средств покойного капитана. Доббин замялся, покраснел и стал давать невразумительные ответы. Это подтверждало подозрение старика, что он имеет дело с мошенником. Величественным тоном высказал он этому офицеру «всю правду в глаза», как он выразился, то есть попросту выразил убеждение, что майор незаконно присвоил деньги его покойного зятя.

Тут Доббин вышел из терпения, и, если бы его обвинитель не был так стар и жалок, между обоими джентльменами, сидевшими за столиком кофейни Слотера, где происходило их объяснение, непременно вспыхнула бы ссора.

– Подниметесь ко мне, сэръ, – пробормотал майор с сердцем, – я настаиваю на том, чтобы вы поднялись ко мне, и я покажу вам, кто оказался пострадавшей стороной: бедный Джордж или я.

И он потащил старика к себе в номер и достал из конторки счета и пачку долговых обязательств, выданных Осборном, который, надо отдать ему справедливость, охотно выдавал такие обязательства.

– Джордж оплатил свои векселя при отъезде из Англии, но, когда он пал в сражении, у него не осталось и сотни фунтов. Я и еще два товарища-офицера из своих сбережений собрали небольшую сумму, а вы осмеливаетесь говорить, что мы стараемся обобрать вдову и сироту.

Седли был очень сконфужен и притих, хотя в действительности Уильям Доббин изрядно насочинил старому джентльмену: это были его деньги, полностью все пятьсот фунтов, он на свои средства



похоронил друга и оплатил все расходы, связанные с его смертью и с переездом несчастной Эмилии.

Об этих издержках старый Осборн ни разу не дал себе труда подумать, да и никто из родственников Эмилии не вспомнил об этом, не говоря уж о ней самой. Вполне доверяя майору Доббину как бухгалтеру, она не вникала в его несколько запутанные расчеты и понятия не имела, как много она ему должна.

Два-три раза в год, верная своему обещанию, она писала ему письма в Мадрас, – письма, целиком наполненные маленьким Джорджи. Как дорожил Уильям этими письмами! Каждый раз, когда Эмилия писала ему, он отвечал ей, но по собственному почину никогда не писал. Зато он посылал ей и крестнику бесчисленные напоминания о себе. Так он заказал и выслал ей целый набор шарфов и великолепные китайские шахматы из слоновой кости. Пешками были зеленые и белые человечки с настоящими мечами и щитами, конями – всадники, а турами – башни на спинах слонов.

– Даже у миссис Манго шахматы далеко не такие роскошные, – заметил мистер Песлер.

Шахматы привели Джорджи в восхищение, и он в первом своем письме печатными буквами благодарил крестного за подарок. Доббин присылал также консервированные фрукты и маринады; когда юный джентльмен тайком отведал последних, достав их из буфета, он чуть не задохнулся, и решил, что это наказание за воровство: так они сожгли ему горло. Эмми с юмором описала майору это происшествие. Доббина обрадовало в ее письме то, что состояние духа у нее стало бодрее и что она уже может смеяться. Он прислал ей две шали: белую – для нее самой, и черную с пальмовыми листьями – для ее матери, а также два теплых зимних красных шарфа для старого мистера Седли и Джорджа. Шали стоили по меньшей мере по пятидесяти гиней каждая, как определила миссис Седли. Она надевала свою в церковь, и знакомые дамы поздравляли ее с роскошной обновкой. Белая шаль Эмми очень украшала ее скромное черное платье.

– Какая жалость, что она и слышать о нем не хочет, – сетовала миссис Седли, обращаясь к миссис Клеп и к другим своим приятельницам в Бромптоне. – Джоз никогда не присылал нам таких подарков, он жалеет для нас денег. Майор, очевидно, по уши влюблен, но, как только я намекну ей об этом, она краснеет, начинает плакать,

уходит к себе и сидит там со своей миниатюрой. Мне тошно смотреть на эту миниатюру. Желала бы я, чтобы мы никогда не встречались с этими противными, заносчивыми Осборнами.

Среди таких скромных событий и в таком скромном кругу протекало раннее детство Джорджа. Мальчик рос хрупким, чувствительным, изнеженным, властным по отношению к своей кроткой матери, которую он любил со страстной нежностью. Он командовал и всеми прочими членами своего маленького мирка. По мере того как он становился старше, взрослые удивлялись его высокомерным замашкам и полному сходству с отцом. Он приставал к ним с вопросами, как всегда делают пытливые дети, и, пораженный глубиной его замечаний и наблюдений, дедушка надоел всем в клубе рассказами о гениальности и учености мальчика. Бабушку мальчик принимал с добродушным безразличием. Тесный кружок его близких считал, что такого умницы еще не было на свете, и Джорджи, унаследовавший самомнение отца, думал, вероятно, что они не ошибаются.

Когда ему было около шести лет, Доббин вступил с ним в оживленную переписку. Майор спрашивал, собирается ли Джорджи поступать в школу, и выражал надежду, что он займет там достойное место, – или он предпочитает иметь хорошего учителя дома? А когда пришло время начинать учение, его крестный и опекун деликатно предложил взять на себя все издержки по воспитанию Джорджи, так как они будут тяжелы для скудных средств матери. Словом, майор всегда думал об Эмилии и ее маленьком сыне и приказал своим поверенным доставлять мальчику книжки с картинками, краски, парты и всевозможные пособия для занятий и развлечений.

За три дня до того, как Джорджу исполнилось шесть лет, какой-то джентльмен в сопровождении слуги подъехал на двуколке к дому мистера Седли и пожелал видеть мистера Джорджа Осборна. Это был мистер Булей, военный портной с Кондит-стрит, который явился по поручению майора, чтобы снять мерку с юного джентльмена и сшить ему суконный костюм. Он имел честь шить на капитана, отца юного джентльмена.

Иногда – и, без сомнения, также по желанию майора – его сестры, девицы Доббин, заезжали в фамильном экипаже, чтобы пригласить Эмилию и мальчика покататься. Покровительство и

любезность этих леди стесняли Эмилию, но она переносила это довольно кротко, потому что была по натуре уступчива; к тому же прогулка в роскошном экипаже доставляла маленькому Джорджу огромное удовольствие. Иногда девицы просили отпустить к ним ребенка на целый день, и он всегда с радостью ездил к ним, в их прекрасный дом с большим садом на Денмарк-Хилл, где в теплицах вызревал прекрасный виноград, а на шпалерах – персики.

Однажды девицы Доббин любезно явились к Эмилии с новостями, которые, они уверены, доставят ей удовольствие... нечто очень интересное, касающееся их дорогого Уильяма.

– Что такое? Не возвращается ли он домой? – спросила Эмилия, и в глазах ее блеснула радость.

О нет, совсем не то, – но у них есть основание думать, что милый Уильям скоро женится... на родственнице близкого друга Эмилии, мисс Глорвине О’Дауд, сестре сэра Майкла О’Дауда, приехавшей в гости к леди О’Дауд в Мадрас... на очень красивой и воспитанной девушке, как все говорят.

Эмилия только сказала: «О!» Какое в самом деле приятное известие. Правда, она и мысли не допускает, что Глорвина похожа на ее старую знакомую, женщину редкой доброты... но... но, право, она очень рада. И под влиянием какого-то необъяснимого побуждения она схватила в объятия маленького Джорджа и расцеловала его с чрезвычайной нежностью. Когда она отпустила мальчика, ее глаза были влажны и она не произнесла и двух слов во время всей прогулки... хотя, право же, была очень, очень рада!

## Глава XXXIX

### Глава циническая

Но вернемся ненадолго к нашим старым хэмпширским знакомым, чьи надежды на то, что они унаследуют имущество своей богатой родственницы, оказались так прискорбно обмануты. Для Бьюта Кроули, рассчитывавшего на тридцать тысяч фунтов, было тяжелым ударом получить всего лишь пять. Из этой суммы, после того как были уплачены его собственные долги и долги его сына Джима, учившегося в колледже, остался совершеннейший пустяк на приданое его четырем некрасивым дочерям. Миссис Бьют так никогда и не узнала, вернее – никогда не пожелала признаться себе в том, насколько ее собственное тиранство способствовало разорению мужа. Она клялась и уверяла, что сделала все, что только может сделать женщина. Разве ее вина, что она не обладает искусством низкопоклонничества, как ее лицемерный племянник Питт Кроули? Она желает ему того счастья, какое он заслужил своими бесчестными происками.

– По крайней мере, деньги останутся в семье, – соизволила она заметить. – Питт ни за что не истратит их, будьте покойны, потому что большего скряги не найти во всей Англии, и он так же гадок, но только в другом роде, как и его расточительный братец, этот распутник Родон.

Таким образом, миссис Бьют после первого взрыва ярости и разочарования начала приспособливаться, как могла, к изменившимся обстоятельствам, то есть принялась усердно наводить экономию и урезывать расходы. Она учила дочерей стойко переносить бедность и изобретала тысячи остроумнейших способов скрывать ее или не допускать до порога. С энергией, достойной всяческой похвалы, она возила их на вечера и на общественные собрания и даже в пасторском доме принимала гостей гораздо чаще, радушнее и любезнее, чем раньше, когда ей улыбалась надежда унаследовать состояние дорогой мисс Кроули. Никто не мог бы заподозрить по внешнему виду, что семья обманулась в своих ожиданиях, или, судя по ее частым появлениям в обществе, догадаться, насколько они стеснены в

средствах и даже недоедают дома. Ее дочери гораздо лучше наряжались, чем раньше. Они появлялись на всех вечерах в Винчестере и Саутгемптоне, добирались даже до Кауза, чтобы попасть на балы и празднества по случаю скачек и гребных гонок, и их карета с лошадьми, выпряженными прямо из плуга, постоянно была в разгоне, пока наконец чуть ли не все кругом поверили, что каждой из четырех сестер досталось состояние от тетки, имя которой произносилось в семье не иначе как с уважением и трогательной благодарностью. Я не знаю более распространенной лжи на Ярмарке Тщеславия, и всего замечательнее, что люди уважают себя за такое лицемерие и, обманывая других относительно размеров своих средств, видят в этом чуть ли не добродетель.

Миссис Бьют, конечно, считала себя одной из самых добродетельных женщин Англии, и вид ее счастливой семьи был для посторонних назидательным зрелищем. Девушки были так веселы, так любезны, так хорошо воспитаны, так скромны. Марта прелестно рисовала цветы и снабжала своими произведениями половину благотворительных базаров в графстве; Эмма была настоящим соловьем графства, и ее стихи в «Хэмпширском телеграфе» служили украшением его отдела поэзии; Фанни и Матильда пели дуэты, а мамаша аккомпанировала им на фортепьяно, между тем как две другие сестры, обнявшись, самозабвенно слушали. Никто не знал, как бедные девочки зубрили эти дуэты у себя дома, никто не видел, как мамаша муштровала их часами. Одним словом, миссис Бьют сносила с веселым лицом превратности судьбы и соблюдала внешние приличия самым добродетельным образом.

Миссис Бьют делала все, что могла сделать хорошая и почтенная мать. Она приглашала к себе яхтсменов из Саутгемптона, священников из Винчестерского собора и офицеров из местных казарм. Во время судебных сессий она пыталась заманить к себе молодых судейских и поощряла Джима приводить домой товарищей, с которыми он участвовал в охоте. Чего не сделает мать для блага своих возлюбленных чад!

Понятно, что между такой женщиной и ее деверем, ужасным баронетом из замка, не могло быть ничего общего. Разрыв между братьями был полный. Да и никто из соседей теперь знать не хотел сэра Питта, ибо старый баронет стал позором для всего графства. Его

отвращение к порядочному обществу усиливалось с каждым годом, и с тех пор как Питт и леди Джейн после свадьбы сочли своим долгом нанести ему визит, ворота его замка не отворялись ни для одного господского экипажа.

Это был неудачный, ужасный визит, о котором в семье вспоминали потом не иначе как с содроганием. Питт, сам не свой от стыда, просил жену никогда не упоминать о нем, и только через миссис Бьют, которая по-прежнему знала все, что делалось в замке, стали известны подробности приема, оказанного сэром Питтом сыну и невестке.

Пока они ехали по аллее парка в своей чистенькой, нарядной карете, Питт с негодованием и ужасом заметил большие вырубki между деревьев – его деревьев, – которые старый баронет рубил совершенно безбожно. Вид у парка был заброшенный и унылый. Проезжие дороги содержались дурно, и нарядный экипаж тащился по грязи и проваливался в глубокие лужи. Большая площадка перед террасой почернела и затянулась мхом; нарядные когда-то цветочные клумбы поросли сорной травой и заглохли. Почти по всему фасаду дома ставни были наглухо закрыты; засов у входной двери был отодвинут только после целого ряда звонков, и когда Хорокс ввел наконец наследника Королевского Кроули и его молодую жену в жилище предков, какое-то существо в лентах промелькнуло по почернулой дубовой лестнице и исчезло в верхних покоях. Он проводил их в так называемую «библиотеку» сэра Питта, и чем больше Питт и леди Джейн приближались к этой части здания, тем сильнее ощущали запах табачного дыма.

– Сэр Питт не совсем здоров, – виноватым тоном сказал Хорокс и намекнул на то, что его хозяин страдает прострелом.

Библиотека выходила окнами на главную аллею. Сэр Питт, стоя у открытого окна, орал на фореитора и слугу Питта, собиравшихся извлечь багаж из кареты.

– Не смейте тащить их сюда! – кричал он, указывая на чемоданы трубкой, которую держал в руке. – Это только утренний визит. Такер, олух ты этакий! Господи! Отчего это у правой задней лошади такие трещины на бабках? Неужто не нашлось никого в «Голове Короля», чтобы их смазать?.. Ну, как поживаешь, Питт? Как поживаете, милочка? Приехали навестить старика – так, что ли? Ба, да у вас

премилая мордочка! Вы не похожи на эту старую ведьму, свою мамашу. Идите сюда, будьте умницей и поцелуйте старого Питта.

Эти нежности смутили невестку, да и кого не смутят ласки небритого старого джентльмена, насквозь пропитанного табаком! Но она вспомнила, что ее брат, Саутдаун, тоже носит усы и курит сигары, и приняла эти знаки расположения как нечто должное.

– Питт потолстел, – сказал баронет после этих изъявлений родственных чувств. – Читает он вам длинные проповеди? Сотый псалом, вечерний гимн – а, Питт?.. Принесите рюмку мальвазии и бисквитов для леди Джейн, Хорокс! Болван, да не стойте тут, выкатив глаза, как жирный боров!.. Я не приглашаю вас погостить у меня, милочка: вы здесь соскучитесь, да и нам с Питтом это было бы ни к чему. Я человек старый, и у меня свои слабости: трубка, триктрак по вечерам...

– Я умею играть в триктрак, сэр, – ответила, смеясь, леди Джейн. – Я играла с папá и с мисс Кроули. Не правда ли, мистер Кроули?

– Леди Джейн умеет играть в игру, к которой вы чувствуете такое пристрастие, сэр, – произнес надменно Питт.

– Ну, для этого не стоит оставаться. Нет, нет, отправляйтесь-ка лучше назад в Мадбери и осчастливьте миссис Ринсер; или поезжайте обедать к Бьюту. Он будет в восторге от вашего приезда, могу вас уверить: ведь он вам так обязан за то, что вы заполучили все старухины деньги! Ха-ха! Часть из них пойдет на ремонт замка, когда меня не будет на свете.

– Я заметил, сэр, – сказал Питт, повышая голос, – что ваши люди рубят лес.

– Да, да, погода прекрасная и как раз подходящая по времени года, – отвечал сэр Питт, внезапно оглохнув. – Я старею, Питт. Да и тебе, впрочем, недалеко уже до пятидесяти. Он хорошо сохранился, моя милочка леди Джейн, не правда ли? А все трезвость, набожность и нравственная жизнь. Взгляните на меня, мне уже скоро восемь десятков стукнет. Ха-ха! – И он засмеялся, затем взял понюшку табаку, подмигнул невестке и ущипнул ее за руку.

Питт снова перевел разговор на лес, но баронет, как и в первый раз, тотчас оглох.

– Стар я, что и говорить, и весь этот год жестоко мучаюсь от прострела. Но я рад, что вы приехали, невестушка. Мне нравится ваше личико. В нем нет никакого сходства с этими противными скуластыми Бинки. Я подарю вам кое-что хорошенькое, что вы можете надеть ко двору.

И он потащился через комнаты к шкафу, откуда извлек старинную шкатулку с драгоценностями.

– Возьмите это, милочка! – сказал он. – Это принадлежало моей матери, а потом первой леди Кроули. Прекрасный жемчуг... я не стал дарить его дочери железоторговца. Нет, нет! Берите и спрячьте поскорей, – сказал он, сунув невестке футляр и поспешно захлопывая дверцу шкафа в тот момент, когда в комнату вошел Хорокс с подносом и угощением.

– Что вы подарили жене Питта? – спросило существо в лентах, когда Питт и леди Джейн уехали. Это была мисс Хорокс, дочь дворецкого, виновница пересудов, распространившихся по всему графству, – особа, почти самовластно царствовавшая в Королевском Кроули.

Возвышение и успех вышеозначенных Лент был отмечен с негодованием всей семьей и всем графством. Ленты завели свой текущий счет в отделении сберегательной кассы в Мадбери; Ленты ездили в церковь, завладев всецело экипажем и лошадкой, которые раньше были в распоряжении замковой челяди. Многие слуги были отпущены по ее желанию. Садовник-шотландец, еще остававшийся в доме, – он гордился своими теплицами и шпалерами и действительно получал недурной доход от сада, который он арендовал и урожай с которого продавал в Саутгемптоне, – застал в одно ясное солнечное утро Ленты за истреблением персиков около южной стены; когда он стал упрекать ее за это покушение на его собственность, он был награжден пощечиной. И вот садовнику, его жене-шотландке и их шотландским ребятишкам – единственным почтенным обитателям Королевского Кроули – пришлось выехать со всеми своими пожитками; покинутые роскошные сады постепенно гнохли и дичали, а цветочные клумбы заросли сорной травой. В розарии бедной леди Кроули царила мерзость запустения. Только двое или трое слуг дрожали еще в мрачной людской. Опустевшие конюшни и службы были заколочены и уже наполовину развалились. Сэр Питт жил



уединенно и каждый вечер пьянствовал с Хороксом – своим дворецким (или управляющим, как последний теперь себя называл) – и потерявшими стыд и совесть Лентами. Давно прошли те времена, когда она ездила в Мадбери в тележке и величала всех мелких торговцев «сэр». Может быть, от стыда или от отвращения к соседям, но только старый циник из Королевского Кроули теперь почти совсем не выходил за ворота парка. Он заочно ссорился со своими поверенными и письменно прижимал арендаторов, проводя все дни за корреспонденцией. Стряпчие и пристава, которым нужно было с ним повидаться, могли попасть к нему только через посредство Лент; и она принимала их у двери в комнату экономки, находившуюся около черного хода. Дела баронета запутывались с каждым днем, затруднения его росли и множились.

Нетрудно представить себе ужас Питта Кроули, когда до этого образцового и корректного джентльмена дошли слухи о старческом слабоумии его отца. Он постоянно трепетал, что Ленты будут объявлены его второй законной мачехой. После первого и последнего визита новобрачных имя отца никогда не упоминалось в приличном и элегантном семействе Питта. Это была позорная семейная тайна, и все молча и с ужасом обходили ее. Графиня Саутдаун, правда, проезжая в карете, забрасывала в привратницкую парка свои самые красноречивые брошюры – брошюры, от которых у всякого нормального человека волосы становились дыбом, – да миссис Бьют в пасторском доме каждую ночь высматривала из окна, нет ли красного зарева над вязами, скрывающими замок, не горит ли усадьба. Сэр Дж. Уопшот и сэр Х. Фадлстон, старые друзья дома, не пожелали сидеть на одной скамье с сэром Питтом во время квартальной сессии суда, и в Саутгемптоне, на Хай-стрит, величественно отвернулись от него, когда этот отщепенец протянул им грязные старческие руки. Но это мало задело его: он сунул руки в карманы и разразился хохотом, влезая обратно в свою карету, запряженную четверней; и точно так же хохотал он над брошюрами леди Саутдаун, хохотал над сыновьями, над всем светом и даже над Лентами, когда они сердились, что бывало нередко.

Мисс Хорокс водворилась в Королевском Кроули в качестве экономки и правила всеми домочадцами сурово и величественно. Слугам было приказано величать ее «мэм» или «мадам», а одна

маленькая горничная, желавшая к ней подслужиться, называла ее не иначе как «миледи», не встречая возражений со стороны грозной домоправительницы.

– Бывали леди лучше меня, а бывали и хуже, Эстер<sup>[243]</sup>, – отвечала мисс Хорокс на это обращение своей фаворитки. Так она управляла, держа в трепете всех, за исключением отца, хотя и с ним обращалась надменно, требуя, чтобы он не забывался в присутствии будущей супруги баронета. Она и в самом деле с огромным удовольствием репетировала эту лестную роль, к восторгу сэра Питта, который потешался над ее ужимками и гримасами и часами хохотал, глядя, как она важничает и подражает светскому обхождению. Он уверял, что это лучше всякого театра – смотреть, как она разыгрывает благородную даму. Однажды он даже заставил ее надеть придворное платье первой леди Кроули и, поклявшись, что оно удивительно к ней идет (с чем мисс Хорокс вполне согласилась), грозил, что сию же минуту повезет ее ко двору в карете четверней. Она рылась в гардеробах обеих покойных леди и перекраивала и переделывала оставшиеся наряды по своей фигуре и по своему вкусу. Ей очень хотелось завладеть также драгоценностями и безделушками, но старый баронет запер их в шкаф, и она ни лаской, ни лестью не могла выманить у него ключи. Установлено, что спустя некоторое время после отъезда этой особы из Королевского Кроули была найдена принадлежавшая ей тетрадь, из которой видно, какие она прилагала старания, чтобы научиться писать, а главное – подписывать собственное имя в качестве леди Кроули, леди Бетси Хорокс, леди Элизабет Кроули и т. д.

Хотя добрые люди из пасторского дома никогда не заходили в замок и чуждались ужасного, выжившего из ума старика, его владельца, однако они точно знали все, что там делается, и со дня на день ожидали катастрофы, на которую уповала и мисс Хорокс. Но завистливая судьба обманула ее надежды, лишив заслуженной награды столь беспорочную любовь и добродетель.

Однажды баронет застал «ее милость», как он шутливо называл ее, восседающей в гостиной за старым расстроенным фортепьяно, к которому никто не прикасался с тех пор, как Бекки Шарп играла на нем кадрили. Она сидела в самой торжественной позе и во все горло завывала, подражая тому, что ей когда-то доводилось слышать.

Маленькая горничная, желавшая выслужиться, стояла возле хозяйки и, в полном восторге от ее исполнения, кивала головой и восклицала: «Господи, мэм, как прекрасно!» – совершенно так же, как это проделывают элегантные льстецы в великосветской гостиной.

Увидев эту картину, баронет, по обыкновению, смеялся до упаду. В течение вечера он раз десять описывал ее Хороксу, к величайшему неудовольствию мисс Хорокс. Он барабанил по столу, как будто по клавишам музыкального инструмента, и завывал, подражая ее манере петь. Он клялся, что такой чудный голос надо обработать, и заявил, что наймет ей учителей пения, в чем она не нашла ничего смешного. Сэр Питт был очень в духе в тот вечер и выпил со своим приятелем дворецким непозволительное количество рома. Было очень поздно, когда верный друг и слуга отвел его в спальню.

Через полчаса в доме вдруг поднялся страшный переполох. В окнах старого пустынного замка, где только две-три комнаты были заняты его владельцем, замелькали огни. Мальчик верхом поскакал в Мадбери за доктором. А еще через час (и по этому мы можем судить, какие тесные отношения поддерживала превосходная миссис Бьют Кроули с господским домом) эта леди, в капоре и деревянных калошах, преподобный Бьют Кроули и его сын Джеймс Кроули дружно устремились к замку и, пробежав парком, вошли в дом через открытую парадную дверь.

Миновав сени и маленькую дубовую гостиную, где на столе стояли три стакана и пустая бутылка из-под рома, они проникли в кабинет сэра Питта и там застали ошалевшую мисс Хорокс в ее преступных лентах, – она подбирала ключи из связки к шкафчикам и конторке. Она выронила их с криком ужаса, когда глаза маленькой миссис Бьют сверкнули на нее из-под черного капора.

– Посмотрите-ка сюда, Джеймс и мистер Кроули! – завопила миссис Бьют, указывая на черноглазую преступницу, стоявшую перед ней в полной растерянности.

– Он сам мне их дал, сам мне их дал! – кричала она.

– Сам дал тебе, мерзкая тварь! – надрывалась миссис Бьют. – Будьте свидетелем, мистер Кроули, что мы застали эту негодную женщину на месте преступления, ворующей имущество вашего брата. Ее повесят, я всегда это говорила!

Мисс Хорокс в смертельном страхе бросилась на колени, заливаясь слезами. Но, как всем известно, ни одна поистине добрая женщина не торопится прощать, и унижение врага наполняет ее душу ликованием.

– Позвони в колокольчик, Джеймс! – сказала миссис Бьют. – Звони, пока не сбегутся люди.

Трое или четверо слуг, остававшихся в старом пустом замке, явились на этот голосистый и настойчивый зов.

– Посадите злодейку под замок, – приказала миссис Бьют, – мы поймали ее, когда она грабила сэра Питта. Мистер Кроули, вы составите указ о ее задержании... а вы, Бедоуз, отвезете ее утром в Саутгемптонскую тюрьму.

– Но, милая, – возразил судья и пастор, – ведь она только...

– Нет ли здесь ручных кандалов? – продолжала миссис Бьют, топая деревянными калошами. – Надо надеть ей наручники! Где негодный отец этой твари?

– Он дал их мне! – продолжала кричать бедная Бетси. – Разве нет, Эстер? Ты сама видела, как сэр Питт... ты знаешь, что он дал мне... уже давно, на другой день после мадберийской ярмарки; они мне не нужны. Берите их, если думаете, что они не мои!

Тут бедная злоумышленница вытащила из кармана пару больших, украшенных поддельными камнями башмачных пряжек, которые давно вызывали ее восхищение и которые она только что присвоила, достав их из книжного шкафа, где они хранились.

– Как вы смеете так безбожно врать, Бетси? – сказала Эстер, маленькая горничная, ее недавняя фаворитка. – И кому? – доброй, любезнейшей мадам Кроули и его преподобию! (Она присела.) Вы можете обыскать все мои ящики, мэм, сделайте одолжение, вот мои ключи; я честная девушка, хотя и дочь бедных родителей и воспитывалась в работном доме; и не сойти мне с этого места, если вы найдете у *меня* хоть один кусочек кружева или шелковый чулок из всего того, что *вы* натаскали.

– Давай ключи, негодяйка! – прошипела добродетельная маленькая леди в капоре.

– А вот и свеча, мэм; и если угодно, мэм, я могу вам показать ее комнату, мэм, и шкаф в комнате экономки, где у нее куча вещей, мэм! – кричала усердная маленькая Эстер, все время приседая.

– Сделай одолжение, придержи язык! Я отлично знаю комнату, которую занимает эта тварь. Миссис Браун, будьте добры пойти вместе со мной, а вы, Бедоуз, не спускайте глаз с этой женщины, – сказала миссис Бьют, схватив свечу. – Мистер Кроули, вы бы лучше отправились наверх и посмотрели, не убивают ли там вашего несчастного брата. – И капор в сопровождении миссис Браун отправился в комнату, которую, как миссис Бьют справедливо заметила, она отлично знала.

Пастор пошел наверх и нашел там доктора из Мадбери и перепуганного Хорокса, склонившихся над креслом сэра Питта Кроули. Они пробовали пустить ему кровь.

Рано утром к мистеру Питту Кроули был послан нарочный от жены пастора, которая приняла на себя командование всем домом и всю ночь сторожила старого баронета. До некоторой степени он был возвращен к жизни; но языка он лишился, хотя, по-видимому, всех узнавал. Решительная миссис Бьют ни на шаг не отходила от его постели. Казалось, эта маленькая женщина нимало не нуждалась во сне: она ни разу не сомкнула своих черных горящих глаз, хотя даже доктор храпел, сидя в кресле. Хорокс попытался было утвердить свою власть и поухаживать за хозяином, но миссис Бьют назвала его старым пьяницей и запретила ему показываться в доме, иначе он будет сослан на каторгу, так же как его негодьяка дочь.

Устрашенный ее угрозами, он скрылся вниз, в дубовую гостиную, где находился мистер Джеймс; последний, исследовав бутылку и убедившись, что в ней нет ничего, велел мистеру Хороксу достать еще бутылку рому, которую тот и принес вместе с чистыми стаканами. Пастор и его сын уселись перед нею, приказав Хороксу сейчас же сдать ключи и больше не показываться.

Окончательно спасовав перед такой твердостью, Хорокс сдал ключи и вместе с дочерью улизнул под покровом ночи, отрекшись от власти в Королевском Кроули.

## Глава XL, *в которой Бекки признана членом семьи*

Наследник старого баронета прибыл в замок, лишь только узнал о катастрофе, и с этого времени, можно сказать, воцарился в Королевском Кроули. Ибо, хотя сэра Питта прожил еще несколько месяцев, к нему уже не возвращалось полностью ни сознание, ни способность речи, так что управление имением перешло в руки старшего сына. Питт нашел дела родителя в весьма беспорядочном состоянии. Сэр Питт все время то прикупал, то закладывал землю; он состоял в сношениях с десятками деловых людей и с каждым из них ссорился: ссорился и заводил тяжбы со своими арендаторами, заводил тяжбы со стряпчими, с компаниями по эксплуатации копей и доков, совладельцем которых он был, и со всеми, с кем только имел дело. Распутать все эти кляузы и очистить имение было задачей, достойной аккуратного и настойчивого пумперникельского дипломата, и он принялся за работу с необычайным усердием. Вся его семья переселилась в Королевское Кроули, куда прибыла, конечно, и леди Саутдаун; она под носом у пастора принялась за обращение его прихожан и, к негодованию и досаде миссис Бьют, привезла с собой все свое неправовое духовенство. Сэр Питт не успел продать право на бенефицию с церковного прихода Королевского Кроули, и ее милость предложила, когда срок кончится, взять его под свое попечение и водворить в пасторском доме кого-нибудь из своих молодых protégés, на какое предложение Питт дипломатически промолчал.

Намерения миссис Бьют относительно мисс Хорокс не были приведены в исполнение, и Бетси не попала в Саутгемптонскую тюрьму. Она покинула замок вместе с отцом, и последний вступил во владение деревенским трактиром «Герб Кроули», который получил в аренду от сэра Питта. Таким же образом бывший дворецкий оказался обладателем клочка земли, что давало ему голос в избирательном округе. Другим голосом располагал пастор, и ими, да еще четырьмя людьми ограничивалось число избирателей, посылавших в парламент двух членов от Королевского Кроули.

Между дамами из пасторского дома и замка внешне установились вежливые отношения – по крайней мере, между младшим поколением, потому что миссис Бьют и леди Саутдаун никогда не могли встречаться без баталий и постепенно совсем перестали видеться. Когда обитательницы пасторского дома навещали родственников в замке, ее милость оставалась у себя в комнате, и, быть может, даже мистер Питт был не слишком этим недоволен. Он верил, что фамилия Бинки – самая знатная, умная и влиятельная на свете, и перед «ее милостью», то есть своей тещей, ходил по струнке; но иногда он чувствовал, что леди Саутдаун слишком уж им командует. Если вас считают молодым, это, без сомнения, лестно, но когда вам сорок шесть лет и вас третируют, как мальчишку, вам недолго и обидеться. Леди Джейн – та во всем подчинялась матери. Она только позволяла себе тайно любить своих детей, и, по счастью для нее, нескончаемые дела леди Саутдаун – совещания с духовными лицами и переписка со всеми миссионерами Африки, Азии и Австралии – отнимали у досточтимой графини так много времени, что она могла посвящать внучке, маленькой Матильде, и внуку, мистеру Питту Кроули, лишь считанные минуты. Последний был слабым ребенком, и только большими дозами каломели леди Саутдаун удавалось поддерживать его жизнь.

Что касается сэра Питта, то он был удален в те самые апартаменты, где когда-то угасла леди Кроули, и здесь мисс Эстер, горничная, так стремившаяся выслужиться, усердно и заботливо присматривала за ним. Какая любовь, какая верность, какая преданность могут сравниться с любовью, преданностью и верностью сиделок с хорошим жалованьем? Они опрашивают подушки и варят кашу; они, чуть что, вскакивают по ночам; они переносят жалобы и воркотню больного; они видят яркое солнце за окном и не стремятся выйти на улицу; они спят, приткнувшись на стуле, и обедают в полном одиночестве; они проводят длинные-длинные вечера, ничего не делая и только следя за углями в камине и за питьем больного, закипающим в кастрюльке; они целую неделю читают еженедельный журнал, а «Строгий призыв Лоу» и «Долг человека»<sup>[244]</sup> доставляют им чтение на год. И мы еще выговариваем им, когда их родные навещают их в воскресенье и приносят им немножко джину в корзинке с бельем. О милые дамы, какой мужчина, пусть даже самый

любящий, выдержит такую муку – ухаживать в течение целого года за предметом своей страсти! А сиделка возится с вами за какие-нибудь десять фунтов в три месяца, и мы еще считаем, что платим ей слишком много. По крайней мере, мистер Кроули изрядно ворчал, когда платил половину этого мисс Эстер, неусыпно ухаживавшей за его отцом.

В солнечные дни старого джентльмена выкатывали в кресле на террасу – в том самом кресле, которым пользовалась мисс Кроули в Брайтоне и которое было привезено сюда вместе с имуществом леди Саутдаун. Леди Джейн шла рядом с креслом старика, она явно была его любимицей – он усердно кивал ей головой и улыбался, когда она входила, а когда удалялась, испускал нечленораздельные жалобные стоны. Как только дверь за нею закрывалась, он начинал плакать и рыдать. В ответ на это лицо и манеры Эстер, чрезвычайно кроткой и ласковой в присутствии молодой леди, сразу же менялись, и она строила гримасы, грозила кулаком, кричала: «Замолчи, старый болван!» – и откатывала кресло больного от огня, на который он любил смотреть. Тогда он начинал плакать еще сильнее – ибо после семидесяти с лишним лет хитрости, надувательства, пьянства, интриг, греха и эгоизма теперь остался только хныкающий старый идиот, которого укладывали в постель и поднимали, умывали и кормили, как малого ребенка.

Наконец наступил день, когда обязанности сиделки окончились. Рано утром к Питту Кроули, сидевшему над расходными книгами управляющего и дворецкого, постучались, и перед ним предстала Эстер, доложившая с низким реверансом:

– С вашего позволения, сэра Питт, сэра Питт скончался нынче утром, сэра Питт. Я поджаривала ему гренки, сэра Питт, к его кашке, сэра Питт, которую он кушал каждое утро ровно в шесть часов, сэра Питт, и... и мне показалось... я услышала словно стон, сэра Питт... и... и... и... – Она опять сделала реверанс.

Отчего бледное лицо Питта багрово вспыхнуло? Не оттого ли, что он сделался наконец сэром Питтом с местом в парламенте и с возможными почестями впереди? «Теперь я очищу имение от долгов», – подумал он и быстро прикинул в уме, какова задолженность поместья и во что обойдется привести его в порядок.



До сих пор он боялся пускать в ход тетушкины деньги, думая, что сэра Питт может поправиться, и тогда его затраты пропали бы даром.

Все шторы в замке и в пасторском доме были спущены; колокол уныло гудел, и алтарь был задрапирован черным. Бьют Кроули не пошел на собрание по поводу скачек, а спокойно пообедал в Фадлстоне, где за портвейном поговорили об его покойном брате и о молодом сэре Питте. Мисс Бетси, которая тем временем вышла замуж за шорника в Мадбери, поплакала. Домашний доктор приехал выразить почтительное соболезнование и осведомиться о здоровье уважаемых леди. О смерти этой толковали в Мадбери и в «Гербе Кроули». Хозяин трактира помирился с пастором, который, как говорили, теперь захаживал в заведение мистера Хорокса отведать его легкого пива.

– Не написать ли мне вашему брату... или вы напишете сами? – спросила леди Джейн своего мужа, сэра Питта.

– Конечно, я сам напишу, – ответил сэра Питт, – и приглашу его на похороны; этого требует приличие...

– А... а... миссис Родон? – робко продолжала леди Джейн.

– Джейн! – сказала леди Саутдаун. – Как ты можешь даже думать об этом?

– Конечно, необходимо пригласить и миссис Родон, – произнес решительно Питт.

– Пока я в доме, этого не будет! – заявила леди Саутдаун.

– Я прошу вашу милость вспомнить, что глава этого дома – я, – сказал сэра Питт. – Пожалуйста, леди Джейн, напишите письмо миссис Родон Кроули и просите ее приехать по случаю печального события.

– Джейн! Я запрещаю тебе прикасаться к бумаге! – воскликнула графиня.

– Мне кажется, что глава дома – я, – повторил сэра Питт, – и как я ни сожалею о всяком обстоятельстве, которое может заставить вашу милость покинуть этот дом, я все же, с вашего разрешения, буду управлять им так, как считаю нужным.

Леди Саутдаун величественно поднялась, как миссис Сиддонс<sup>[245]</sup> в роли леди Макбет, и приказала запрягать свою карету: если сын и дочь выгоняют ее из дома, она скроет свою скорбь где-нибудь в уединении и будет молить бога о том, чтобы он вразумил их.

– Мы вовсе не выгоняем вас из дому, мама, – умоляюще сказала робкая леди Джейн.

– Вы приглашаете сюда такое общество, с которым добрая христианка не может встречаться. Я уезжаю завтра утром!

– Сделайте одолжение, пишите под мою диктовку, Джейн, – заявил сэр Питт, вставая и принимая повелительную позу, как на «Портрете джентльмена» с последней выставки. – Начинайте: «Королевское Кроули, четырнадцатое сентября тысяча восемьсот двадцать второго года. Дорогой брат...»

Услыхав эти решительные и ужасные слова, леди Макбет, которая ждала какого-нибудь признака слабости или колебания со стороны зятя, с испуганным видом покинула библиотеку. Леди Джейн посмотрела на мужа, как будто хотела пойти за матерью и успокоить ее, но Питт запретил жене двигаться с места.

– Она не уедет, – сказал он. – Она сдала свой дом в Брайтоне и истратила свой полугодовой доход. Графиня не может жить в гостинице, это неприлично. Я долго ждал случая, чтобы сделать такой... такой решительный шаг, моя дорогая: ведь вы понимаете, что в доме может быть только один глава. А теперь, с вашего позволения, будем продолжать: «Дорогой брат! Печальное известие, которое я считаю своим долгом сообщить всем членам семьи, не явилось для нас неожиданностью...»

Словом, Питт, воцарившись в замке и благодаря удаче – или благодаря своим заслугам, как он думал, – прибрав к рукам почти все состояние, на которое рассчитывали и другие родственники, решил обращаться с ними ласково и великодушно и возродить Королевское Кроули к новой жизни. Ему льстило считать себя главою семьи. Он предполагал воспользоваться обширным влиянием, которое скоро должен был приобрести в графстве благодаря своим выдающимся талантам и положению, чтобы найти брату хорошее место и прилично пристроить кузин. А может быть, он чувствовал легкие укоры совести, когда думал о том, что он – владелец всего богатства, на которое все они возлагали надежды. За три-четыре дня царствования тон Питта изменился и его планы вполне утвердились: он решил управлять честно и справедливо, низложить леди Саутдаун и быть по возможности в дружеских отношениях со всеми своими кровными родственниками.

Итак, он диктовал письмо брату Родону – торжественное и хорошо обдуманное письмо, содержащее глубокие замечания и составленное в напыщенных выражениях, поразивших его простодушного маленького секретаря.

«Каким оратором он будет, – думала она, – когда войдет в палату общин (об этом и о тирании леди Саутдаун Питт иногда намекал жене, лежа в постели). Как он умен и добр, какой гений мой муж! А я-то иногда считала его холодным. Нет, он добрый и гениальный!»

Дело в том, что Питт Кроули знал каждое слово этого письма наизусть, изучив его всесторонне и глубоко, словно дипломатическую тайну, еще задолго до того, как нашел нужным продиктовать его изумленной жене.

И вот письмо с широкой черной каймой и печатью было отправлено сэром Питтом Кроули брату-полковнику в Лондон. Родон Кроули не слишком обрадовался, получив его.

«Что толку нам ехать в эту дыру? – подумал он. – Я не в состоянии оставаться с Питтом вдвоем после обеда, а лошади туда и обратно обойдутся нам фунтов в двадцать».

Родон поднялся в спальню жены, как делал во всех затруднительных случаях, и отнес ей письмо вместе с шоколадом, который сам приготавливал и подавал ей по утрам. Он поставил поднос с завтраком и письмом на туалетный стол, перед которым Бекки расчесывала свои золотистые волосы. Ребекка взяла послание с траурной каймой, прочитала и, размахивая письмом над головой, вскочила с криком «ур-ра!».

– Ура? – спросил Родон, удивленно глядя на маленькую фигурку, прыгавшую по комнате в фланелевом капоте и с развевающимися спутанными рыжеватыми локонами. – Он нам ничего не оставил, Бекки! Я получил свою долю, когда достиг совершеннолетия.

– Ты никогда не будешь совершеннолетним, глупыш! – ответила Бекки. – Беги сейчас же к мадам Брюнуа, ведь мне необходим траур. Да добудь и повяжи креп вокруг шляпы и купи себе черный жилет, у тебя ведь, кажется, нет черного. Вели прислать все это завтра, чтобы мы могли выехать в четверг.

– Неужели ты думаешь ехать? – не выдержал он.

– Конечно, думаю! Я думаю, что леди Джейн представит меня в будущем году ко двору! Я думаю, что твой брат устроит тебе место в парламенте, милый ты мой дурачок! Я думаю, что ты и он будете голосовать за лорда Стайна и что ты сделаешься министром по ирландским делам, или губернатором Вест-Индии, или казначеем, или консулом, или чем-нибудь в этом роде!

– Почтовые лошади обойдутся нам дьявольски дорого, – ворчал Родон.

– Мы можем поехать в карете Саутдауна, она, верно, будет представлять его на похоронах, ведь он родственник. Ах нет, лучше нам ехать в почтовой карете. Это им больше понравится. Это будет скромнее...

– Роди, конечно, едет? – спросил полковник.

– Ни в коем случае: зачем платить за лишнее место. Он слишком велик, чтобы втиснуть его между нами. Пускай остается здесь, в детской; Бригс может сшить ему черный костюмчик. Ну, ступай и сделай все, о чем я просила. Да скажи своему лакею Спарксу, что старый сэра Питт скончался и что ты кое-что получишь, когда все устроится. Он передаст это Регису, пусть хоть это утешит беднягу, а то он все пристаёт с деньгами. – И Бекки принялась за свой шоколад.

Когда вечером явился преданный лорд Стайн, он застал Бекки с ее компаньонкою, которою была не кто иная, как наша Бригс. Они были очень заняты – пороли, вымеряли, кроили и прилаживали всевозможные черные лоскутки, какие нашлись в доме.

– Мы с мисс Бригс погружены в скорбь и уныние по случаю кончины нашего папа, – заявила Ребекка. – Сэр Питт Кроули скончался, милорд! Мы все утро рвали на себе волосы, а теперь рвем старые платья.

– О Ребекка, как можно!.. – только и выговорила Бригс, закатывая глаза.

– О Ребекка, как можно!.. – эхом отозвался милорд. – Итак, старый негодяй умер? Он мог бы быть пэром, если бы лучше разыграл свои карты. Мистер Питт чуть было не произвел его в пэры, но покойник всегда не вовремя изменял своей партии... Старый Силен!..

– Я могла бы быть вдовой Силен, – сказала Ребекка. – Помните, мисс Бригс, как вы подглядывали в дверь и увидели сэра Питта на коленях передо мною?

Мисс Бригс, наша старая знакомая, сильно покраснела при этом воспоминании и была рада, когда лорд Стайн попросил ее спуститься вниз и приготовить для него чашку чаю.

Бригс и была той сторожевой собакой, которую завела Ребекка для охраны своей невинности и доброго имени. Мисс Кроули оставила ей небольшую ренту. Она охотно согласилась бы жить в семье Кроули, при леди Джейн, которая была добра к ней – как и ко всем, впрочем, – но леди Саутдаун уволила бедную Бригс так поспешно, как только позволяли приличия, и мистер Питт (считавший себя обиженным неуместной щедростью покойной родственницы по отношению к особе, которая была преданной слугой мисс Кроули всего лишь двадцать лет) не возражал против этого распоряжения вдовствующей леди. Боулс и Феркин также получили свою долю наследства и отставку; они поженились и, по обычаю людей их положения, открыли меблированные комнаты.

Бригс попробовала жить с родственниками в провинции, но вскоре отказалась от этой попытки, так как привыкла к лучшему обществу. Родственники, мелкие торговцы в захолустном городке, ссорились из-за ее сорока фунтов ежегодного дохода не менее ожесточенно и еще более откровенно, чем родственники мисс Кроули из-за ее наследства. Брат Бригс, шапочник и владелец бакалейной лавки, радикал, называл сестру аристократкой, кичащейся своим богатством, за то, что она не хотела вложить часть своего капитала в товар для его лавки. Она бы, вероятно, и сделала это, если бы не ее сестра, жена сапожника-диссидента, которая была не в ладах с шапочником и бакалейщиком, посещавшим другую церковь, и которая доказала ей, что брат их на краю банкротства, и на этом основании временно завладела Бригс. Диссидент-сапожник хотел, чтобы мисс Бригс на свои средства отправила его сына в колледж и сделала из него джентльмена. Оба семейства вытянули у нее большую часть ее сбережений; и, сопровождаемая проклятиями обеих сторон, она в конце концов бежала в Лондон, решив снова искать рабства, ибо находила его менее обременительным, чем свобода. Поместив в газетах объявление, что «благородная дама с приятными манерами, вращавшаяся в лучшем обществе, ищет...» и т. д., она поселилась у мистера Боулса на Хафмун-стрит и стала ждать результатов.

Случай столкнул ее с Ребеккой. Нарядная коляска миссис Родон мчалась по улице как раз в тот день, когда усталая мисс Бригс добралась до дверей миссис Боулс после утомительной прогулки в контору газеты «Таймс» в Сити, куда она ходила, чтобы в шестой раз поместить свое объявление. Ребекка, сама правившая, сразу узнала благородную даму с приятными манерами; а поскольку Бекки, как нам известно, отличалась добродушием и питала уважение к Бригс, то она остановила лошадей у подъезда, передала вожжи груму и, выскочив из коляски, схватила Бригс за обе руки, прежде чем дама с приятными манерами очнулась от потрясения при виде старого друга.

Бригс расплакалась, а Бекки расхохоталась и расцеловала благородную даму, как только они вошли в прихожую, откуда они проследовали в гостиную миссис Боулс, с красными полушерстяными занавесями и зеркалом в круглой раме, с верхушки которой скованный орел устремлял взгляд на оборотную сторону билетика в окне, извещавшего, что: «Сдаются комнаты».

Бригс рассказала всю свою историю, прерывая рассказ теми непрошеными всхлипываниями и восклицаниями удивления, с какими чувствительные натуры всегда приветствуют старых знакомых, увидев их на улице; ибо хотя люди встречаются друг друга каждый день, некоторые смотрят на эти встречи, как на чудо, а женщины, даже когда они не любят друг друга, начинают плакать, вспоминая и сожалея о том времени, когда они последний раз поссорились. Словом, Бригс рассказала Бекки всю свою историю, а Бекки с присущей ей безыскусственностью и искренностью сообщила приятельнице о своей жизни.

Миссис Боулс, урожденная Феркин, стоя в прихожей, мрачно прислушивалась к истерическим всхлипываниям и хихиканью, которые доносились из гостиной. Бекки никогда не была ее любимицей. Водворившись в Лондоне, супруги часто навещали своих прежних друзей Реглсов и, слушая их рассказы, не могли одобрить *ménage*<sup>[246]</sup> полковника.

– Я бы не стал им доверять, Рег, голубчик, – говорил Боулс.

Поэтому и жена его, когда миссис Родон вышла из гостиной, приветствовала последнюю очень кислым реверансом, и пальцы ее напоминали сосиски – так они были безжизненны и холодны, – когда она протянула их миссис Родон, которая непременно захотела пожать

руку отставной горничной. Бекки покатила дальше в сторону Пикадилли, нежно улыбаясь и кивая мисс Бригс, а та, высунувшись из окна рядом с билетиком о сдаче комнат, также кивала ей; через минуту Бекки видели уже в Парке в обществе нескольких молодых денди, гарцевавших вокруг ее экипажа.

Узнав о положении приятельницы и о том, что она получила достаточное наследство от мисс Кроули, так что жалованье не имело для нее большого значения, Бекки быстро составила на счет нее маленький хозяйственный план. Бригс была как раз такой компаньонкой, в какой нуждалась Бекки, и она пригласила старую знакомую к обеду на тот же вечер, чтобы показать ей свое сокровище, малютку Родона.

Миссис Боулс предостерегала свою жилищу, чтобы та не ввергалась в логовище льва.

– Вы будете раскаиваться, мисс Бригс, попомните мои слова: это так же верно, как то, что меня зовут Боулс.

И Бригс обещала быть очень осторожной. В результате этой осторожности мисс Бригс уже на следующей неделе переселилась к миссис Родон, и не прошло шести месяцев, как она ссудила Родону Кроули шестьсот фунтов стерлингов.

## **Глава ХLI,** ***в которой Бекки вновь посещает замок предков***

Когда траурное платье было готово и сэра Питта Кроули извещен о приезде брата, полковник Кроули с женой взяли два места в той самой старой карете, в которой Ребекка ехала с покойным баронетом, когда девять лет назад впервые пустилась в свет. Как ясно помнился ей постоянный двор и слуга, которому она не дала на чай, и вкрадчивый кембриджский студент, который укутал ее тогда своим плащом! Родон занял наружное место и с удовольствием взялся бы править, но этого не позволял траур. Он вознаградил себя тем, что сел рядом с кучером и все время беседовал с ним о лошадях, о состоянии дороги, о содержателях постоянных дворов и лошадях для кареты, в которой он так часто ездил, когда они с Питтом были детьми и учились в Итоне. В Мадбери их ожидал экипаж с парой лошадей и кучером в трауре.

– Это тот же самый старый рыдван, Родон, – заметила Ребекка, садясь в экипаж. – Обивка сильно источена молью... а вот и пятно, из-за которого сэра Питт (ага! – железоторговец Досон закрыл свое заведение)... из-за которого, помнишь, сэра Питт поднял такой скандал. А ведь это он сам разбил бутылку вишневки, за которой мы ездили в Саутгемптон для твоей тетушки. Как время-то летит! Неужели это Полли Толбойс, – та рослая девушка, видишь, что стоит у ворот вместе с матерью? Я помню ее маленьким невзрачным сорванцом, она, бывало, полола дорожки в саду.

– Славная девушка! – сказал Родон, приложив два пальца к полоске крепа на шляпе в ответ на приветствия из коттеджа. Бекки ласково кланялась и улыбалась, узнавая то тут, то там знакомые лица. Эти встречи и приветствия были ей невыразимо приятны: ей казалось, что она уже не самозванка, а по праву возвращается в дом своих предков. Родон, напротив, притих и казался подавленным. Какие воспоминания о детстве и детской невинности проносились у него в голове? Какие смутные упреки, сомнения и стыд его тревожили?



– Твои сестры уже, должно быть, взрослые барышни, – сказала Ребекка, пожалуй, впервые вспомнив о девочках с тех пор, как рассталась с ними.

– Не знаю, право, – ответил полковник. – Эге, вот и старая матушка Лок! Как поживаете, миссис Лок? Вы, верно, помните меня? Мистер Родон, э? Черт возьми, как эти старухи живучи! Ей уже тогда лет сто было, когда я был мальчишкой.

Они как раз въезжали в ворота парка, которые сторожила старая миссис Лок. Ребекка непременно захотела пожать ей руку, когда та открыла им скрипучие железные ворота и экипаж проехал между двумя столбами, обросшими мхом и увенчанными змеей и голубкой.

– Отец изрядно вырубил парк, – сказал Родон, озираясь по сторонам, и надолго замолчал; замолчала и Бекки. Оба были несколько взволнованы и думали о прошлом. Он – об Итоне, о матери, которую помнил сдержанной, печальной женщиной, и об умершей сестре, которую страстно любил; о том, как он колачивал Питта, и о маленьком Роди, оставленном дома. А Ребекка думала о собственной юности, о ревниво оберегаемых тайнах тех рано омраченных дней, о первом вступлении в жизнь через эти самые ворота, о мисс Пинкертон, о Джозе и Эмилии.

Посыпанная гравием аллея и терраса теперь содержались чисто. Над главным подъездом повешен был большой, писанный красками траурный герб, и две весьма торжественные и высокие фигуры в черном широко распахнули обе половинки дверей, едва экипаж остановился у знакомых ступенек. Родон покраснел, а Бекки немного побледнела, когда они под руку проходили через старинные сени. Бекки стиснула руку мужа, входя в дубовую гостиную, где их встретили сэр Питт с женой. Сэр Питт был весь в черном, леди Джейн тоже в черном, а миледи Саутдаун в огромном черном головном уборе из стекляруса и перьев, которые развевались над головою ее милости, словно балдахин над катафалком.

Сэр Питт был прав, утверждая, что она не уедет. Она довольствовалась тем, что хранила гробовое молчание в обществе Питта и его бунтовщицы-жены и пугала детей в детской зловещей мрачностью своего обращения. Только очень слабый кивок головного убора и перьев приветствовал Родона и его жену, когда эти блудные дети вернулись в лоно семьи.

Сказать по правде, эта холодность не слишком их огорчила; в ту минуту ее милость была для них особою второстепенного значения, больше всего они были озабочены тем, какой прием им окажут царствующий брат и невестка.

Питт, слегка покраснев, выступил вперед и пожал брату руку, потом приветствовал Ребекку рукопожатием и очень низким поклоном. Но леди Джейн схватила обе руки невестки и нежно ее поцеловала. Такой прием вызвал слезы на глазах нашей маленькой авантюристки, хотя она, как мы знаем, очень редко носила это украшение. Безыскусственная доброта и доверие леди Джейн тронули и обрадовали Ребекку; а Родон, ободренный этим проявлением чувств со стороны невестки, закрутил усы и просил разрешения приветствовать леди Джейн поцелуем, отчего ее милость залилась румянцем.

– Чертовски миленькая женщина эта леди Джейн, – таков был его отзыв, когда он остался наедине с женой. – Питт растолстел, но держит себя хорошо.

– Тем более что это ему недорого стоит, – заметила Ребекка и согласилась с замечанием мужа, что «теща – старое пугало, а сестры – довольно милостивые девушки».

Они обе были вызваны из школы, чтобы присутствовать на похоронах. По-видимому, сэр Питт Кроули для поддержания достоинства дома и фамилии счел необходимым собрать как можно больше народу, одетого в черное. Все слуги и служанки в доме, старухи из богадельни, у которых сэр Питт-старший обманом удерживал большую часть того, что им полагалось, семья псаломщика и все приближенные, как замка, так и пасторского дома, облачились в траур; к ним следует еще прибавить десятка два факельщиков с плерезами на рукавах и шляпах, – во время обряда погребения они представляли внушительное зрелище. Но все это немые персонажи в нашей драме, и так как им не предстоит ни действовать, ни говорить, то им и отведено здесь очень мало места.

В разговоре с золовками Ребекка не делала попыток забыть свое прежнее положение гувернантки, а, напротив, добродушно и откровенно упоминала о нем, расспрашивала с большой серьезностью об их занятиях и клялась, что всегда помнила своих маленьких учениц и очень хотела узнать, как им живется. Можно было действительно

поверить, что, расставшись со своими воспитанницами, она только о них и думала. Во всяком случае, ей удалось убедить в этом как самое леди Кроули, так и ее молоденьких золовок.

– Она ничуть не изменилась за эти восемь лет, – сказала мисс Розалинда своей сестре мисс Вайолет, когда они одевались к обеду.

– Эти рыжие женщины всегда выглядят удивительно молодо, – отвечала та.

– У нее волосы гораздо темнее, чем были; наверно, она их красит, – прибавила мисс Розалинда. – И вообще она пополнела и похорошела, – продолжала мисс Розалинда, которая имела расположение к полноте.

– По крайней мере, она не важничает и помнит, что когда-то была у нас гувернанткой, – сказала мисс Вайолет, намекая на то, что все гувернантки должны помнить свое место, и начисто забывая, что сама она была внучкою не только сэра Уолпола Кроули, но и мистера Досона из Мадбери и, таким образом, имела на щите своего герба ведерко с углем. На Ярмарке Тщеславия можно каждый день встретить милейших людей, которые отличаются такой же короткой памятью.

– Наверно, неправду говорят кузины, будто ее мать была танцовщицей.

– Человек не виноват в своем происхождении, – отвечала Розалинда, обнаруживая редкое свободомыслие. – И я согласна с братом, что, раз она вошла в нашу семью, мы должны относиться к ней с уважением. А тетушке Бьют следовало бы помолчать: сама она мечтает выдать Кэт за молодого Хупора, виноторговца, и велела ему непременно самому приходиться за заказами.

– Интересно, уедет леди Саутдаун или нет? Она готова съесть миссис Родон, – заметила Вайолет.

– Вот было бы кстати: мне не пришлось бы читать «Прачку Финчлейской общины», – заявила Розалинда.

Беседуя таким образом и нарочно минуя коридор, в конце которого в комнате с затворенными дверями стоял гроб, окруженный неугасимыми свечами и охраняемый двумя плакальщиками, обе девицы спустились вниз к семейному столу, куда их призывал обеденный колокол.

Леди Джейн тем временем повела Ребекку в предназначенные для нее комнаты, которые, как и весь остальной дом, приняли гораздо

более нарядный и уютный вид с тех пор, как Питт стал у кормила власти, и здесь, убедившись, что скромные чемоданы миссис Родон принесены и поставлены в спальне и в смежном будуаре, помогла ей снять изящную траурную шляпу и накидку и спросила, не может ли она еще чем-нибудь быть ей полезна.

– Чего мне хотелось бы больше всего, – сказала Ребекка, – это пойти в детскую посмотреть ваших милых крошек.

Обе леди очень ласково посмотрели друг на друга и рука об руку отправились в детскую.

Бекки пришла в восторг от маленькой Матильды, которой не было еще четырех лет, и объявила ее самой очаровательной малюткой на свете, а мальчика – двухлетнего малыша, бледного, большеголового, с сонными глазами – она признала совершенным чудом по росту, уму и красоте.

– Мне хотелось бы, чтобы мама меньше пичкала его лекарствами, – со вздохом заметила леди Джейн. – Я часто думаю, что без этого все мы были бы здоровее.

Затем леди Джейн и ее новообретенный друг вступили в одну из тех конфиденциальных медицинских бесед о детях, к которым, как мне известно, питают пристрастие все матери да и большинство женщин вообще. Пятьдесят лет назад, когда пишущий эти строки был любознательным мальчиком, вынужденным после обеда удаляться из столовой вместе с дамами, разговоры их, помнится, главным образом касались всяких недугов. Недавно, беседуя об этом с двумя-тремя знакомыми дамами, я пришел к убеждению, что времена ничуть не изменились. Пусть мои прекрасные читательницы сами проверят это нынче же вечером, когда покинут после десерта столовую и перейдут священнодействовать в гостиную. Итак, через полчаса Бекки и леди Джейн сделались близкими друзьями, а вечером миледи сообщила сэру Питту, что она считает свою новую невестку доброй, прямодушной, искренней и отзывчивой молодой женщиной.

Завоевав, таким образом, без большого труда расположение дочери, неутомимая маленькая женщина взялась за величественную леди Саутдаун. Едва Ребекка очутилась наедине с ее милостью, как засыпала ее вопросами о детской и сообщила, что ее собственный мальчуган был спасен – буквально спасен! – неограниченными приемами каломели, когда от дорогого малютки отказались все

парижские врачи. Тут же упомянула она о том, как часто ей приходилось слышать о леди Саутдаун от превосходного человека, преподобного Лоренса Грилса, священника церкви в Мэйфере, которую она посещает; о том, как сильно ее взгляды изменились под влиянием тяжелых обстоятельств и несчастий и как горячо она надеется, что ее прошлая жизнь, потраченная на светские удовольствия и заблуждения, не помешает ей подумать серьезно о жизни будущей. Она рассказала, сколь многим в прошлом была обязана религиозным наставлениям мистера Кроули, коснувшись попутно «Прачки Финчлейской общины», которую прочла с огромной для себя пользой, и осведомилась о леди Эмили, талантливой авторше этого произведения, ныне леди Эмили Хорнблоуэр, проживавшей в Кейптауне, где ее супруг имел большие надежды сделаться епископом Кафрарии<sup>[247]</sup>.

Она окончательно утвердилась в расположении леди Саутдаун, когда после похорон, почувствовав себя расстроенной и больной, обратилась к ее милости за медицинским советом, и вдовствующая леди не только дала этот совет, но самолично, в ночном одеянии и более чем когда-либо похожая на леди Макбет, явилась в комнату Бекки с пачкой излюбленных брошюр и с лекарством собственного приготовления, которое и предложила своей пациентке выпить.

Бекки сначала взялась за брошюры и, листая их с большим интересом, завела с вдовствующей леди увлекательную беседу о содержании их и о спасении своей души, в тайной надежде, что это избавит от врачевания ее тело. Но когда религиозные предметы были исчерпаны, леди Макбет не покидала комнаты Бекки до тех пор, пока не была опорожнена чаша с целебным питьем; и бедная миссис Родон должна была с видом величайшей благодарности проглотить лекарство под бдительным оком неумолимой старухи, которая только тогда решилась оставить свою жертву, благословив ее на сон грядущий.

Это благословение не очень-то утешило миссис Родон, и муж, войдя, нашел ее в довольно жалком состоянии. Когда же Бекки с неподражаемым юмором – хотя на этот раз она смеялась над собой – описала все происшествие, в котором она сделалась жертвой леди Саутдаун, Родон, по своему обыкновению, разразился громким хохотом. Лорд Стайн и сын леди Саутдаун в Лондоне тоже немало

смеялись над этой историей, ибо, когда Родон с женой вернулись в свой дом в Мэйфере, Бекки изобразила перед ними всю сцену в лицах. Нарядившись в ночной капот и чепец, она произнесла с весьма серьезным видом длинную проповедь о достоинствах лекарства, которое она заставляла принимать мнимую больную, и проявила при этом такое бесподобное искусство подражания, что можно было думать, будто гнусавит сама графиня.

– Покажите нам леди Саутдаун с ее зельем! – восклицали гости в маленькой гостиной Бекки в Мэйфере. Впервые в своей жизни вдовствующая графиня Саутдаун служила поводом для веселого оживления в обществе.

Сэр Питт помнил те знаки почитания и уважения, которые Ребекка оказывала ему в прежние дни, и потому был милостиво к ней расположен. Женитьба, хотя и необдуманная, значительно исправила Родона, – это было видно из того, как изменились привычки и поведение полковника, – и разве не был этот брачный союз удачею для самого Питта? Хитрый дипломат посмеивался про себя, сознавая, что именно оплошности брата он обязан своим богатством, и понимая, что у него меньше, чем у кого бы то ни было, оснований ею возмущаться. Эту благожелательность только укрепляли в нем поведение Ребекки, ее обращение и разговоры.

Она удвоила свою почтительность, которая и раньше так очаровывала его и побуждала проявлять ораторские способности, удивлявшие его самого, ибо, хотя он и всегда был высокого мнения о своих талантах, славословия Ребекки еще укрепляли в нем эту веру. Своей невестке Ребекка с полной убедительностью доказала, что миссис Бьют Кроули сама устроила их брак, а потом сделала его предметом своего злословия. Только жадность миссис Бьют, надеявшейся получить все состояние мисс Кроули и лишить Родона расположения тетки, была причиною и источником всех отвратительных сплетен, которые распускались про бедняжку Бекки.

– Она добилась того, что мы сделали нищими, – говорила Ребекка с видом ангельской кротости, – но как я могу сердиться на женщину, которая дала мне одного из лучших на свете мужей? И разве ее собственная жадность не оказалась достаточно наказанной крушением всех ее надежд и потерей состояния, на которое она так сильно рассчитывала? Мы бедны! – восклицала она. – Ах, милая леди

Джейн, что значит для нас бедность! Я с детства привыкла к ней и часто думаю, как хорошо, что деньги мисс Кроули пошли на восстановление блеска благородной семьи, быть членом которой для меня такая честь. Я уверена, что сэр Питт употребит их куда лучше, чем Родон.

Конечно, все эти разговоры преданная жена передавала сэру Питту, и это настолько усилило приятное впечатление, произведенное Ребеккой, что на третий день после похорон, когда семья собралась за обедом, сэр Питт Кроули, разрезавший кур, сидя во главе стола, сказал, обращаясь к миссис Родон:

– Гм! Ребекка, разрешите положить вам крылышко? – и при этом обращении глаза маленькой женщины засверкали от удовольствия.

И все время, пока Ребекка была увлечена своими мыслями и планами, а Питт Кроули занимался приготовлениями к церемониалу похорон и устройством различных других дел, связанных с его будущим величием и успехами; пока леди Джейн возилась в детской, насколько ей позволяла мамаша, а солнце всходило и закатывалось и колокол на башенных часах замка призывал, как обычно, к обеду и к молитве, – тело умершего владельца Королевского Кроули покоилось в комнате, которую он занимал при жизни, безотлучно охраняемое приглашенными для этой цели профессиональными лицами. Несколько женщин, три-четыре служащих от гробовщика, лучшие, каких только мог предоставить Саутгемптон, в полном трауре и с приличествующей случаю бесшумной и скорбной повадкой, по очереди дежурили у гроба, а после дежурства собирались в комнате экономки, где потихоньку играли в карты и пили пиво.

Члены семьи и слуги держались в стороне от мрачного места, где останки благородного потомка древнего рода рыцарей и джентльменов дожидались последнего упокоения в фамильном склепе. Никто не оплакивал его, кроме разве бедной женщины, которая надеялась стать женой и вдовой сэра Питта и которая сбежала с позором из замка, где едва не сделалась признанной правительницею. Кроме нее да еще старого пойнтера, предмета нежной привязанности старика в пору его слабоумия, у сэра Питта не было ни одного друга, который мог бы пожалеть о нем, ибо за всю свою жизнь он не сделал ни малейшей попытки приобрести друзей.

Если бы лучший и добрейший из нас, покинув землю, мог снова навестить ее, я думаю, что он или она (при условии, что какие-нибудь чувства, распространенные на Ярмарке Тщеславия, существуют и в том мире, куда мы все направимся) испытали бы сильное огорчение, убедившись, как скоро утешились оставшиеся в живых! Так и сэр Питт был забыт, подобно добрейшим и лучшим из нас... только на несколько недель раньше.

Те, кто хочет, может последовать за останками умершего до самой могилы, куда они были отнесены в назначенный день с подобающими почестями. Их сопровождали: родственники в черных каретах, с носовыми платками, прижатыми к носу в ожидании слез, которые так и не появлялись; гробовщик и его факельщики с глубокой скорбью на лицах; избранные арендаторы с выражением подобострастного сочувствия к новому владельцу по случаю понесенной им утраты; приходский священник с неизменными словами «об отошедшем от нас дорогом брате». Траурный кортеж замыкали кареты соседних дворян, тащившиеся со скоростью трех миль в час, пустые, но внушавшие зрителям благоговейную печаль. Пока мы еще не расстались с телом умершего, мы разыгрываем над ним комедию Тщеславия, обставляя ее богатой бутафорией и пышными церемониями. Мы укладываем его в обитый бархатом гроб, забиваем золочеными гвоздями и в довершение всего возлагаем на могилу камень с лживой надписью. Помощник Бьюта, франтоватый молодой священник, окончивший Оксфорд, и сэр Питт Кроули вместе составили подобающую латинскую эпитафию для покойного баронета; франтоватый священник произнес классическую проповедь, призывая оставшихся в живых не предаваться горю и предупреждая их в самых почтительных выражениях, что в свое время и им предстоит пройти в мрачные и таинственные врата, которые только что закрылись за останками их дорогого брата. Затем арендаторы вскочили на коней, а часть осталась подкрепиться в трактире «Герб Кроули». После завтрака, который был предложен кучерам в людской замка, помещичьи экипажи разъехались по домам. Факельщики собрали веревки, покров, бархат, страусовые перья и прочий реквизит, взгромоздились на катафалк и укатили в Саутгемптон. И как только лошади, миновав ворота, пустились рысью по большой дороге, лица факельщиков приняли обычное выражение, а вскоре стайки их тут и



там усеяли чернильными пятнами крылечки трактиров, и оловянные кружки в их руках ярко заблестели на солнце. Больничное кресло сэра Питта было отправлено в сарай, где хранились садовые инструменты. Старый пойнтер первое время принимался изредка выть – и это было единственное проявление горя в замке, которым сэр Питт Кроули управлял почти шестьдесят лет.

Так как в имении водилось много дичи, а охота на куропаток как бы входит в обязанность английского джентльмена с наклоном к государственной деятельности, то, лишь только прошло первое потрясение от горя, сэр Питт Кроули, в белой шляпе с черными плерезами, начал понемногу выезжать и принимать участие в названном развлечении. Вид скошенных полей и плантаций, составлявших теперь его собственность, доставлял ему немало тайных радостей. Иногда в избытке смирения он не брал с собой иного оружия, как мирную бамбуковую трость, предоставляя Родону и егерям палить из ружей. Деньги и земли Питта производили на брата сильное впечатление. Не имевший ни пенни за душой, полковник был преисполнен подобострастия к главе семьи и уже больше не презирал «мокрой курицы Питта». Сочувственно выслушивал он планы старшего брата о посадках и осушении болот, давал советы относительно конюшен и рогатого скота, ездил в Мадбери осматривать верховую лошадь, которая, по его мнению, должна была подойти для леди Джейн, предлагал объездить ее и т. д. Мятежный драгун совсем присмирел, стушеввался и сделался вполне приличным младшим братом. Он получал из Лондона постоянные бюллетени от мисс Бригс об оставленном там маленьком Родоне; мальчик и сам присылал известия о себе. «Я жив-здоров, – писал он. – Надеюсь, что и ты жив-здоров. Надеюсь, что и мама здорова. Пони жив-здоров. Грэй берет меня кататься в Парк. Я научился скакать галопом. Я встретил того мальчика, с которым катался верхом. Он заплакал, когда поскакал. А я не плачу».

Родон читал эти письма брату и леди Джейн, которая приходила от них в восторг. Баронет обещал платить за мальчика в школу, а его добросердечная жена дала Ребекке банковый билет с просьбой купить подарок от нее маленькому племяннику.

День проходил за днем; дамы в замке проводили время в тихих занятиях и развлечениях, какими обычно довольствуются женщины,

живя в деревне. Колокол созывал их к молитве и к столу. Каждое утро после завтрака молодые девицы упражнялись на фортепьяно, и Ребекка давала им советы и указания. Затем они надевали башмаки на толстой подошве и гуляли в парке и в роще или, выйдя за ограду, в деревню, заходили в коттеджи и раздавали больным лекарства и брошюры леди Саутдаун. Сама леди Саутдаун выезжала в фаэтоне; Ребекка в этих случаях занимала место рядом с вдовствующей леди и с глубоким интересом слушала ее назидательные речи. По вечерам она пела Генделя и Гайдна и начала вязать большую шаль из шерсти, как будто родилась для таких занятий и как будто ей предстояло продолжать их, пока она не сойдет в могилу в преклонных летах, оставив после себя безутешных родственников и большое количество процентных бумаг, – как будто не было ни забот, ни назойливых кредиторов, ни интриг, уловок и бедности, карауливших за воротами парка, чтобы вцепиться в нее, как только она высунет нос наружу.

«Невелика хитрость быть женой помещика, – думала Ребекка. – Пожалуй, и я была бы хорошей женщиной, имей я пять тысяч фунтов в год. И я могла бы возиться в детской и считать абрикосы на шпалерах. И я могла бы поливать растения в оранжереях и обрывать сухие листья на герани. Я расспрашивала бы старух об их ревматизмах и заказывала бы на полкроны супу для бедных. Подумаешь, какая потеря при пяти-то тысячах в год! Я даже могла бы ездить за десять миль обедать к соседям и одеваться по моде позапрошлого года. Могла бы ходить в церковь и не засыпать во время службы или, наоборот, дремала бы под защитой занавесей, сидя на фамильной скамье и опустив вуаль, – стоило бы только попрактиковаться. Я могла бы со всеми расплачиваться наличными – для этого нужно лишь иметь деньги. А здешние чудотворцы этим и гордятся. Они смотрят с сожалением на нас, несчастных грешников, не имеющих ни гроша. Они гордятся тем, что дают нашим детям банковый билет в пять фунтов, а нас презирают за то, что у нас нет его».

Кто знает, быть может, Ребекка и была права в своих рассуждениях, и только деньгами и случаем определяется разница между нею и честной женщиной! Если принять во внимание силу соблазна, кто может сказать о себе, что он лучше своего ближнего? Пусть спокойное, обеспеченное положение и не делает человека

честным, оно, во всяком случае, помогает ему сохранить честность. Какой-нибудь олдермен, возвращающийся с обеда, где его угощали черепаховым супом, не вылезет из экипажа, чтобы украсть баранью ногу; но заставьте его поголодать – и посмотрите, не стащит ли он ковригу хлеба. Так утешала себя Бекки, соразмеряя шансы и оценивая распределение добра и зла в этом мире.

Старые любимые места, знакомые поля и леса, рощи, пруды и сад, комнаты старого дома, где некогда она провела целых два года, – все это Бекки обошла опять. Здесь она была молода, или сравнительно молода, – потому что она уже не помнила, когда была действительно молодой, – но она помнила свои мысли и чувства семилетней давности и сравнивала их с теперешними, когда она уже видела свет, общалась со знатными людьми и высоко поднялась по сравнению со своим первоначальным скромным положением.

«Я добилась этого, потому что у меня есть голова на плечах, – думала Бекки, – и потому, что мир состоит из дураков. Я не могла бы теперь вернуться назад и якшаться с людьми, с которыми встречалась в студии отца. Ко мне приезжают лорды со звездами и орденами Подвязки вместо бедных артистов с табачными крошками в кармане. У меня муж – джентльмен, у меня невестка – графская дочь, и я живу в том самом доме, где несколько лет тому назад мое положение мало чем отличалось от положения прислуги. Но лучше ли я обеспечена теперь, чем когда была дочерью бедного художника и выпрашивала чай и сахар в ближайшей лавочке? Если бы я вышла замуж за Фрэнсиса, который так любил меня, я и то не была бы беднее, чем сейчас. Ах, с каким удовольствием я променяла бы свое положение в обществе и все мои связи на кругленький капиталец в трехпроцентных бумагах!»

Вот каким образом воспринимала Бекки тщету человеческих дел, и вот в какой надежной пристани она мечтала бросить якорь.

Может быть, ей и приходило в голову, что, если бы она была честной и скромной женщиной, выполняла свои обязанности и шла в жизни прямым путем, она была бы сейчас не дальше от того счастья, к которому пробиралась окольными тропами. Но как дети в Королевском Кроули обходили ту комнату, где лежало тело их отца, так и Бекки, если эти мысли и возникали у нее, обходила их стороной.

Она избегала и презирала их, предпочитая следовать другим путем, сойти с которого представлялось ей уже невозможным. Мне лично кажется, что угрызения совести – наименее действенное из моральных чувств человека: если они и пробуждаются, подавить их легче всего, а некоторым они и вовсе не знакомы. Мы расстраиваемся, когда нас уличают, или при мысли о стыде и наказании; но само по себе чувство вины отравляет жизнь лишь очень немногим на Ярмарке Тщеславия.

Итак, Ребекка за время своего пребывания в Королевском Кроули приобрела столько друзей среди служителей мамоны, сколько было в ее власти. Леди Джейн и ее супруг простились с нею с самыми теплыми изъявлениями чувств. Они возлагали надежду на скорую встречу в Лондоне, когда фамильный дом на Гонт-стрит будет отремонтирован и отделан заново. Леди Саутдаун снабдила Ребекку небольшой аптечкой и послала через нее преподобному Лоренсу Грилсу письмо, в котором просила этого джентльмена спасти «подательницу сего» от вечного огня. Питт проводил их в карете четверкой до Мадбери, послав вперед на повозке их багаж вместе с запасом дичи.

– Как рады вы будете опять увидеть вашего милого мальчика! – сказала леди Джейн Кроули, прощаясь с родственницей.

– О да, так рада! – простонала Ребекка, закатывая свои зеленые глаза. Она была безмерно счастлива покинуть Королевское Кроули, но уезжать ей не хотелось. Правда, здесь можно пропасть от тоски, но все-таки воздух гораздо чище, чем тот, которым она привыкла дышать. Обитатели замка скучны, но каждый по-своему относился к ней хорошо.

«Это все результат длительного обладания трехпроцентными бумагами», – говорила себе Бекки и, вероятно, была права.

Как бы то ни было, лондонские фонари весело сияли, когда почтовая карета въехала на Пикадилли; на Керзон-стрит Бригс жарко растопила камин, и маленький Родон не ложился спать, чтобы самому встретить папу и маму.

## **Глава XLII,** *в которой речь идет о семье Осборн*

Много лет прошло с тех пор, как мы виделись с нашим почтенным другом, старым мистером Осборном с Рассел-сквер, и нельзя сказать, чтобы за это время он чувствовал себя счастливейшим из смертных. Произошли события, которые не способствовали улучшению его характера. Далеко не всегда удавалось ему поставить на своем, а всякое противодействие столь разумному желанию воспринималось этим джентльменом как личное оскорбление и сделалось для него тем более несносным, когда подагра, старость, одиночество и горечь многих разочарований сообща придавили его своей тяжестью. После смерти сына его густые темные волосы начали быстро седеть; лицо стало еще краснее; руки дрожали все сильнее, когда он наливал себе стакан портвейна. Он превратил жизнь своих конторщиков в Сити в сущий ад, да и домашним его жилось не легче. Я сомневаюсь, чтобы Ребекка, которая молила бога о процентных бумагах, променяла свою бедность вместе с отчаянным азартом и взлетами и падениями своей жизни на деньги Осборна и на беспросветный мрак, окружавший его. Он сделал предложение мисс Суорц, но был отвергнут кликою этой леди, которая выдала ее замуж за молодого отпрыска древнего шотландского рода. В сущности, Осборн не постоял бы за тем, чтобы жениться даже на женщине самого низкого звания, и потом отчаянно изводил бы ее, но, как на грех, ни одной такой подходящей особы ему не подвернулось, и потому он тиранил дома свою незамужнюю дочь. У мисс Осборн был чудесный экипаж и прекрасные лошади, она сидела во главе стола, уставленного превосходнейшим серебром; у нее была своя чековая книжка, образцовый ливрейный лакей, сопровождавший ее во время прогулок, и неограниченный всюду кредит; в лавках, где она забирала товар, ее встречали с поклонами – словом, она пользовалась всеми преимуществами богатой наследницы, но жизнь у нее была жалкая. Маленькие сиротки из приюта, метельщицы на перекрестках, самая бедная судомойка в людской были счастливицами в сравнении с этой несчастной, теперь уже немолодой девицей.

Фредерик Буллок, эсквайр, из фирмы «Буллок, Халкер и К<sup>о</sup>», женился-таки на Марии Осборн, но только после длительных торгов и брюзжания со стороны сего взыскательного джентльмена. Когда Джордж умер и был исключен из завещания отца, Фредерик настаивал, чтобы половина состояния старого коммерсанта была закреплена за Марией, и очень долго отказывался «ударить по рукам» (по собственному выражению этого джентльмена) на каких-либо иных условиях. Осборн указывал, что Фред согласился взять его дочь с приданым в двадцать тысяч и что он не считает нужным брать на себя дополнительные обязательства. Фред может получить то, что ему полагается, или отказаться, а тогда пусть убирается к черту! Фред, у которого зубы разгорелись, когда Джордж был лишен наследства, считал, что старый коммерсант бессовестно его обманул, и некоторое время делал вид, будто намерен вовсе отказаться от женитьбы. Осборн закрыл свой текущий счет у «Буллока и Халкера», ходил на биржу с хлыстом, клянясь, что огреет по спине одного негодяя, не называя его, однако, по имени, и вообще вел себя со свойственной ему свирепостью. Джейн Осборн выражала сочувствие своей сестре Марии по поводу этой семейной распри.

– Я говорила тебе, Мария, что он любит твои деньги, а не тебя, – утешала она сестру.

– Во всяком случае, он выбрал *меня* и мои деньги, а не *тебя* и твои деньги, – отвечала Мария, вскидывая голову.

Однако разрыв был только временный. Отец Фреда и старшие компаньоны фирмы советовали ему, в расчете на будущий раздел состояния, взять Марию даже с двадцатью тысячами приданого, половина которого выплачивалась сейчас, а половина – после смерти мистера Осборна. Итак, Фред «пошел на попятный» (опять же по его собственному выражению) и послал старого Халкера к Осборну с мировой. Это все его отец, уверял теперь Фред, это он не хотел свадьбы и чинил ему всякие затруднения, а сам он очень желает сохранить в силе их прежний уговор. Извинения жениха были угрюмо приняты мистером Осборном. Халкер и Буллок были известными фамилиями среди аристократии Сити и имели связи даже среди «вест-эндской знати». Старику было приятно, что он сможет говорить: «Мой сын, сэр, из фирмы «Буллок, Халкер и К<sup>о</sup>», сэр; кузина моей дочери, сэр, леди Мэри Манго, дочь distinguishedного

графа Каслмоулди». Воображение уже наполняло его дом знатными гостями. Поэтому он простил молодого Буллока и согласился на свадьбу.

Это было пышное празднество. Родные жениха устроили завтрак у себя, так как они жили около церкви Св. Георга, Ганновер-сквер, где происходило венчание. Была приглашена «вест-эндская знать», и многие из них расписались в книге. Тут были мистер Манго и леди Мэри Манго, а юные Гвендолина и Гуиневер Манго были подружками невесты; полковник Бледайер гвардейского полка (старший сын фирмы «Братья Бледайер» на Минсинг-лейн), кузен жениха, с достопочтенной миссис Бледайер; достопочтенный Джордж Боултер, сын лорда Леванта, с супругой, урожденной мисс Манго; лорд-виконт Каслтодди; достопочтенный Джеймс Мак-Мул и миссис Мак-Мул (урожденная мисс Суорц) и целый сонм знати, породнившейся с Ломбард-стрит и в значительной степени способствовавшей облагораживанию Корнхилла.

У молодой четы был дом близ Баркли-сквер и небольшая вилла в Роухемптоне, среди местной колонии банкиров. Дамы в семье Фреда считали, что он сделал мезальянс: хотя дед Буллоков воспитывался в приюте, но они через своих мужей породнились с лучшими представителями английской аристократии. И Марии пришлось, чтобы возместить недостаток происхождения, держаться особенно гордо и проявлять сугубую осторожность в составлении списка гостей; она чувствовала, что и отец с сестрою теперь не подходящая для нее компания.

Было бы нелепо предполагать, что она совершенно порвет со стариком, у которого можно было выцарапать еще несколько десятков тысяч. Фред Буллок никогда не допустил бы этого. Но она была еще молода и не умела скрывать свои чувства; и так как она приглашала своего папá и сестру на вечера третьего сорта, обращалась с ними очень холодно, когда они приходили, а сама избегала Рассел-сквер и бестактно просила отца покинуть эту ужасную вульгарную местность, то всем этим легкомысленно и опрометчиво поставила под сомнение свои шансы на получение наследства, – словом, так испортила дело, что его не могла поправить даже дипломатия Фреда.

– Так, значит, Рассел-сквер недостаточно хорош для миссис Марии, а? – говорил старый джентльмен, с шумом поднимая стекла в

кажете, когда они с дочерью ехали однажды вечером домой после обеда у миссис Фредерик Буллок. – Так она приглашает отца и сестру на другой день после своих званых обедов (черт меня возьми, если эти блюда или «онтри»<sup>[248]</sup>, как она их называет, не подавались у них вчера!) вместе с купчишками из Сити и какими-то писаками, а графов, графинь и всех «достопочтенных» приберегает для себя? Достопочтенные! Черт бы побрал этих достопочтенных! Я простой английский купец, а могу купить всех этих нищих собак оптом и в розницу. Лорды, подумай! На одном из ее суарэ я видел, как один из них разговаривал с каким-то жалким фитюлькой, с проходимцем-скрипачом, на которого я и смотреть не стал бы. Значит, они не желают приезжать на Рассел-сквер, так, что ли? Голову прозакладываю, что у меня найдется стакан лучшего вина, и заплачено за него больше, и что я могу выставить более роскошный серебряный сервиз и подать на стол лучший обед, чем им когда-либо приходилось видеть на своих столах, – низкопоклонные льстецы, самонадеянные дураки! Джеймс, гони во весь дух! Я хочу поскорее к себе, на Рассел-сквер, ха! ха! ха! – И он откинулся в угол кареты с бешеным хохотом. Такими рассуждениями о своих заслугах и достоинстве старик нередко утешал себя.

Джейн Осборн оставалось только согласиться с этим мнением относительно поведения сестры. И когда у миссис Фредерик родился первенец – Фредерик-Август-Говард-Стенли-Девере Буллок, – старый Осборн, приглашенный быть крестным отцом, ограничился тем, что послал младенцу золотой стаканчик и в нем двадцать гиней для кормилицы.

– Ручаюсь, что никто из ваших лордов не даст больше, – сказал он и отказался присутствовать при обряде.

Однако великолепие подарка произвело большое впечатление в семье Буллок. Мария решила, что отец ею очень доволен, а Фредерик стал ожидать всяческих благ для своего маленького сына и наследника.

Можно себе представить, какие мучения испытывала мисс Осборн в своем одиночестве на Рассел-сквер, читая «Морнинг пост», где имя ее сестры постоянно встречалось в отделе «Великосветских собраний» и где она имела возможность прочесть описание туалета миссис Ф. Буллок, которая была представлена ко двору своей



родственницей, леди Фредерик Буллок. В собственной жизни Джейн, как мы говорили, не было места такому величию. Это была ужасная жизнь! Она вставала рано в темные зимние утра, чтобы приготовить завтрак старому хмурому отцу, который разнес бы весь дом, если бы чай ему не был готов к половине девятого. Она молча сидела напротив него, прислушиваясь к шипению чайника и трепеща все время, пока отец читал газету и поглощал свою обычную порцию булочек к чаю. В половине десятого он вставал и отправлялся в Сити, и до обеда она была почти свободна – могла идти на кухню и браниться с прислугой; могла выезжать, заходить в магазины, где приказчики были с ней чрезвычайно почтительны, или завозить визитные карточки, свои и отца, в большие мрачные респектабельные дома друзей из Сити; или сидеть одна на диване в огромной гостиной – в ожидании визитеров, склонившись над каким-нибудь бесконечным вязаньем из шерсти и слушая, как часы с жертвоприношением Ифигении гулко и заунывно отсчитывают в мрачной комнате часы и минуты. Большое зеркало над камином и большое трюмо, стоявшее против него, в другом конце обширной гостиной, бесконечно множили, отражаясь друг в друге, чехол из сурового полотна, который покрывал свисавшую с потолка люстру; эти серые мешки терялись вдаль в бесконечной перспективе, и комната, где сидела мисс Осборн, казалась центром целой системы гостиных. Когда она снимала кожаный чехол с фортепьяно и решалась взять на нем несколько аккордов, они звучали жалобной грустью, пробуждая в доме унылое эхо. Портрет Джорджа был вынесен в чуланчик на чердаке, и хотя воспоминание о Джордже продолжало жить в их сердцах и отец с дочерью оба инстинктивно знали, когда другой думает о нем, имя когда-то любимого храброго сына не упоминалось в доме.

В пять часов мистер Осборн возвращался к обеду, который проходил у них в полном молчании (редко нарушаемом, за исключением тех случаев, когда он бранился и бесновался, если какое-нибудь блюдо было ему не по вкусу); два раза в месяц у них обедало угрюмое общество знакомых Осборна – люди его возраста и положения: старый доктор Галп с женою с Блумсбери-сквер; старый мистер Фраузер, адвокат с Бедфорд-роу, важная персона, вращавшаяся в силу своих профессиональных обязанностей в кругах «вест-эндской знати»; старый полковник Ливермор, когда-то служивший в

бомбейской армии, и миссис Ливермор с Аппер-Бедфорд-плейс; адвокат мистер Тоффи и миссис Тоффи, а иногда и старый судья сэра Томас Коффин и леди Коффин с Бедфорд-сквер. Сэр Томас был известен суровостью своих приговоров, и, когда он обедал у Осборна, к столу подавался особый темно-красный портвейн.

Все эти и подобные им господа, в свою очередь, давали напыщенному коммерсанту с Рассел-сквер такие же напыщенные обеды. Выпив вино, они поднимались наверх и торжественно играли в вист, а в половине одиннадцатого за ними приезжали их экипажи. Многие богатые люди, которым мы, бедняки, имеем привычку завидовать, постоянно ведут описанный образ жизни. Джейн Осборн почти не встречала в доме отца мужчин моложе шестидесяти лет, и, пожалуй, единственный холостяк, появлявшийся у них, был мистер Сморг, знаменитый дамский доктор.

Я не могу сказать, чтобы монотонность этого ужасного существования ничем не нарушалась. Дело в том, что в жизни бедной Джейн была тайна, воспоминание о которой заставляло отца беситься и хмуриться еще больше, чем его характер, гордость и неумеренность в еде. Эта тайна была связана с мисс Уирт, у которой был кузен-художник, некий мистер Сми, впоследствии прославленный портретист, член Королевской академии; было время, когда он довольствовался тем, что давал уроки рисования светским дамам. Теперь мистер Сми забыл, где находится Рассел-сквер, но в 1818 году он с удовольствием посещал его, давая уроки мисс Осборн.

Сми (ученик Шарпа с Флит-стрит, этого беспутного, беспорядочного человека, неудачника в личной жизни, но одаренного и сведущего художника) был, как мы сказали, кузеном мисс Уирт, и она познакомила его с мисс Осборн, рука и сердце которой после нескольких неудачных романов были абсолютно свободны. Он воспылал нежностью к этой леди и, по-видимому, зажег такие же чувства в ее груди. Мисс Уирт была поверенной их тайны. Не знаю, покидала ли она комнату, где учитель и ученица рисовали, чтобы дать им возможность обменяться клятвами и признаниями, чему так мешает присутствие посторонних лиц; не знаю, надеялась ли она, что ее кузен в случае женитьбы на дочери богатого коммерсанта уделит ей часть богатства, которое она помогла ему приобрести, – достоверно только то, что мистер Осборн, проведая каким-то образом об этом,

вернулся неожиданно из Сити и вошел в гостиную с бамбуковой тростью в руке, застал там учителя, ученицу и компаньонку, трясущихся и бледных, и выгнал учителя из дома, клянясь, что переломает ему все кости, а через полчаса уволил мисс Уирт: он сбросил с лестницы ее чемоданы, растоптал картонки и грозил ей вслед кулаком, пока наемная карета отъезжала от дома.

Джейн Осборн несколько дней не выходила из спальни. Ей не позволили больше держать компаньонку. Отец поклялся, что она не получит ни шиллинга, если выйдет замуж без его согласия. А так как ему необходима была женщина для ведения хозяйства, он вовсе не желал, чтобы она выходила замуж. Таким образом, ей пришлось отказаться от всяких планов насчет устройства своих сердечных дел. Пока жив был ее папá, она была обречена на образ жизни, только что описанный, и должна была довольствоваться положением старой девы. У Марии между тем, что ни год, появлялись дети, каждый раз со все более звучными именами, и связь между сестрами становилась все слабее.

– Джейн и я вращаемся в совершенно различных сферах, – говорила миссис Буллок. – Но, конечно, я смотрю на нее как на сестру.

Это значит... Впрочем, что это может значить, когда леди говорит, что она смотрит на Джейн как на сестру?

Мы уже говорили, что девицы Доббин жили с отцом в прекрасном доме на Денмарк-Хилл, где были чудесные теплицы с виноградом и персиковые деревья, восхищавшие маленького Джорджа Осборна. Сестры Доббин, которые часто ездили в Бромптон навещать нашу дорогую Эмилию, заезжали иногда с визитом и к своей старой знакомой, мисс Осборн, на Рассел-сквер. Я думаю, что они оказывали внимание миссис Джордж не иначе как по требованию брата, служившего майором в Индии (к которому отец их питал огромное уважение), потому что майор, как крестный отец и опекун маленького сына Эмилии, все еще надеялся, что дед ребенка, может быть, смягчится и признает внука в память сына. Сестры Доббин держали мисс Осборн в курсе дел Эмилии. Они рассказывали ей, как она живет с отцом и матерью, как они бедны, и упорно отказывались понять, что могли находить в этом ничтожестве мужчины, да еще такие, как их брат и дорогой капитан Осборн. Она все такая же размазня и

кривляка, но сын ее действительно очаровательнейшее создание, — ибо сердца всех женщин тают перед маленькими детьми, и даже самая кислая старая дева бывает приветлива с ними.

Однажды, после долгих просьб со стороны девиц Доббин, Эмилия позволила маленькому Джорджу поехать с ними на Денмарк-Хилл и провести там весь день, а сама просидела большую часть этого дня над письмом к майору в Индию. Она поздравила его со счастливой вестью, которую его сестры ей сообщили. Она молилась о его благополучии и о благополучии невесты, которую он избрал. Она благодарила его за тысячи, тысячи услуг и доказательств его неизменной дружбы к ней в ее горе. Она сообщала ему последние новости о маленьком Джорджи и о том, что как раз сегодня он поехал на целый день к его сестрам за город. Она густо подчеркивала отдельные места и подписалась: «Ваш любящий друг Эмилия Осборн». Она забыла послать привет леди О’Дауд, чего раньше с ней никогда не бывало, и не назвала Глорвину по имени, а только *невестою* майора (подчеркнув это слово), на которую она призывает *благословение*. И тем не менее известие о женитьбе позволило ей отбросить ту сдержанность, какую она обычно проявляла по отношению к майору Доббину. Она была рада возможности сознаться и самой почувствовать, с какой теплотой и с какой благодарностью она вспоминает его... — а что касается ревности к Глорвине (к Глорвине, о господи!), то Эмилия начисто отвергла бы такое предположение, хотя бы его подсказал ей ангел небесный.

В этот вечер, когда Джорджи вернулся — к своему великому восторгу, в экипаже, которым правил старый кучер сэра Уильяма Доббина, — у мальчика на шее висела изящная золотая цепочка с часами. Он сказал, что часы подарила ему старая некрасивая леди, она все плакала и без конца целовала его. Но он ее не любит. Он очень любит виноград. И он любит одну только маму. Эмилия вздрогнула и встревожилась: в ее робкую душу закралось страшное предчувствие, когда она узнала, что родные ребенка видели его.

Мисс Осборн вернулась домой к обеду. Отец в этот день совершил удачную спекуляцию в Сити и был в сносном расположении духа, так что даже удостоил заметить волнение, в котором находилась его дочь.

— В чем дело, мисс Осборн? — соблаговолил он спросить ее.

Девушка залилась слезами.

– О сэр! – сказала она. – Я видела маленького Джорджи. Он хорош, как ангел... и так похож на *него!*

Старик, сидевший против нее, не произнес ни слова, а только покраснел и задрожал всем телом.

## **Глава XLIII,** *в которой читателя просят обогнуть* *Мыс Доброй Надежды*

Теперь нам придется просить изумленного читателя перенестись с нами за десять тысяч миль, на военную станцию в Бандльгандже, в Мадрасском округе индийских владений Англии, где расквартированы наши доблестные старые друзья из \*\*\* полка под командой храброго полковника, сэра Майкла О'Дауда. Время милостиво обошлось с этим дородным офицером, как оно обычно обходится с людьми, обладающими хорошим пищеварением и хорошим характером и не слишком переутомляющими себя умственными занятиями. Он усердно действовал вилкой и ножом за завтраком и с таким же успехом снова пускал в ход это оружие за обедом. После обеих трапез он покурил свой кальян и так же невозмутимо выпускал клубы дыма, когда его пробирала жена, как шел под огонь французов при Ватерлоо. Годы и зной не уменьшили энергии и красноречия праправнучки благородных Мелони и Молоев. Ее милость, наша старая приятельница, чувствовала себя в Мадрасе так же хорошо, как и в Брюсселе, в военном поселке так же, как в палатке. В походе ее можно было видеть во главе полка, на спине царственного слона, — поистине величественное зрелище! Восседая на этом животном, она участвовала в охоте на тигров в джунглях. Ее принимали у себя туземные принцы, чествуя ее и Глорвину на женской половине своего дома, доступ куда открыт немногим, и подносили ей шали и драгоценности, от которых она, к своему огорчению, принуждена была отказываться. Часовые всех родов оружия отдавали ей честь всюду, где бы она ни появлялась, и в ответ на их приветствия она важно прикасалась рукой к своей шляпе. Леди О'Дауд была одной из первых дам в Мадрасском округе. В Мадрасе всем памятна ее ссора с леди Смит, женой сэра Майноса Смита, младшего судьи, когда супруга полковника щелкнула пальцами под носом у супруги судьи и заявила, что убейте ее, а она не пойдет к обеду позади жены какого-то жалкого штафирки. Еще и сейчас, хотя с тех пор прошло двадцать

пять лет, многие помнят, как леди О'Дауд плясала джигу в губернаторском доме, как она вконец умучила двух адъютантов, майора мадрасской кавалерии и двух джентльменов гражданской службы и только по настоянию майора Доббина, кавалера ордена Бани и второго по старшинству офицера \*\*\* полка, позволила увести себя в столовую, – *lassata nondum satiata recessit*<sup>[249]</sup>.

Итак, Пегги О'Дауд была все та же: добрая в помыслах и на деле, неугомного нрава, любительница покомандовать, тиран по отношению к своему Майклу, пугало для полковых дам, родная мать для молодых офицеров; она ухаживала за ними во время болезни, заступалась за них, когда они попадали в беду, и они платили за это леди Пегги безмерной преданностью. Жены младших офицеров и капитанов (майор был не женат) постоянно интриговали против нее. Они говорили, что Глорвина чересчур заносчива, а сама Пегги нестерпимо властолюбива. Она житья не давала маленькой пастве, которую собирала у себя миссис Кирк, и высмеивала полковую молодежь, ходившую слушать проповеди этой дамы, заявляя, что жене солдата нечего путаться в эти дела и что лучше бы миссис Кирк чинила белье своему супругу; если же полку угодно слушать проповеди, то к его услугам лучшие в мире проповеди – ее дядюшки-декана. Она решительно прекратила ухаживания лейтенанта своего полка Стабла за женой лекаря, пригрозив, что взыщет деньги, которые он у нее занял (ибо этот молодец был по-прежнему довольно сумасбродного нрава), если он не оборвет сразу свой роман и не уедет на мыс Доброй Надежды, взяв отпуск по болезни. С другой стороны, она приютила и укрыла у себя миссис Поски, которая однажды ночью прибежала из своего бунгало, преследуемая разъяренным супругом, бывшим под влиянием второй бутылки бренди. Впоследствии она буквально выходила этого офицера, заболевшего белой горячкой, и отучила его от пьянства – порока, с которым тот уже бессилён был бороться. Словом, в несчастье она была лучшим утешителем, а в счастье самым несносным другом, так как всегда держалась о себе высокого мнения и всегда хотела настоять на своем.

Так и теперь она забрала в голову, что Глорвина должна выйти замуж за нашего старого друга Доббина. Миссис О'Дауд знала, какие у майора блестящие перспективы; она ценила его хорошие качества и прекрасную репутацию, какой он пользовался в полку. Глорвина,

красивая молодая особа, черноволосая и голубоглазая, цветущего вида, которая прекрасно ездил верхом и могла разыграть сонату не хуже любой девицы из графства Корк, казалась ей самой подходящей кандидаткой, чтобы составить счастье Доббина, – гораздо более подходящей, чем маленькая слабохарактерная Эмилия, о которой он когда-то вздыхал.

– Вы только посмотрите на Глорвину, когда она входит в комнату, – говорила миссис О’Дауд, – и сравните ее с этой бедной миссис Осборн, которую и курица обидит. Глорвина для вас идеальная жена, майор, – вы человек скромный, тихий, и вам нужен кто-нибудь, кто бы мог за вас постоять. И хотя она не такого знатного рода, как Мелони или Молой, но все же, смею вас заверить, она из древней фамилии и окажет честь любому дворянину, который на ней женится.

Надо сознаться, что, прежде чем прийти к решению покорить майора, Глорвина много раз испытывала свои чары на других. Она провела сезон в Дублине, не говоря уже о бесчисленных сезонах в Корке, Киларни и Мелу, где кокетничала со всеми офицерами всех местных гарнизонов и холостыми помещиками из числа «подходящих женихов». У нее раз десять наклевывался жених в Ирландии, не говоря уж о пасторе в Бате, который так нехорошо поступил с ней. Всю дорогу до Мадраса она кокетничала с капитаном и старшим офицером корабля «Ремчандер» Ост-Индской компании и провела целый сезон в окружном городе с братом и миссис О’Дауд, которые оставили майора командовать полком. Все восхищались ею, все танцевали с нею, но никто заслуживающий внимания не делал ей предложения. Два-три чрезвычайно юных субалтерн-офицера вздыхали по ней и два-три безусых штатских, но она отвергла их, как не удовлетворяющих ее требованиям. А между тем другие, более юные девицы выходили замуж. Есть женщины, и даже красивые женщины, которым выпадает такая судьба. Они с необычайной готовностью влюбляются, катаются верхом, совершают прогулки чуть ли не с половиною наличного офицерского состава, и все же, хоть им уже под сорок, мисс О’Греди остается мисс О’Греди. Глорвина уверяла, что, не будь этой злосчастной ссоры леди О’Дауд с женой судьи, она сделала бы отличную партию в Мадрасе, где старый мистер Чатни, стоявший во главе гражданского ведомства, готов был сделать ей предложение (он потом женился на мисс Долби, юной леди, всего



лишь тринадцати лет от роду, только что приехавшей из Европы, где она училась в школе).

И вот, хотя леди О'Дауд и Глорвина ссорились по многу раз в день и почти по всякому поводу (право же, не обладай Мик О'Дауд ангельским характером, две такие женщины, постоянно находившиеся около него, непременно свели бы его с ума), однако они сходились в одном, – а именно в том, что Глорвина должна выйти замуж за майора Доббина, и решили не оставлять его в покое, пока не добьются своего. Глорвина, не смущаясь предыдущими сорока или пятьюдесятью поражениями, повела настоящую атаку на майора. Она распевала ему ирландские мелодии; она так часто и с таким чувством спрашивала, «придет ли он в беседку», что надо удивляться, как мужчина, не лишенный сердца, мог устоять перед таким приглашением; она неустанно допытывалась, «не омрачила ли грусть дней его юности», и готова была, как Дездемона, плакать, слушая рассказы майора об опасностях, которым он подвергался в походах. Мы уже говорили, что наш честный старый друг любил играть на флейте. Глорвина заставляла его исполнять с нею дуэты, и леди О'Дауд простодушно покидала комнату, предоставляя молодой паре без помехи предаваться этому занятию. Глорвина требовала, чтобы майор ездил с ней верхом по утрам. Весь военный поселок видел, как они вместе выезжали и возвращались. Она постоянно писала ему на дом записочки, брала у него книги и отмечала карандашом те чувствительные или смешные места, которые ей понравились. Она пользовалась его лошадьми, слугами, ложками и паланкином. Немудрено, что молва соединяла ее с ним и что сестры майора в Англии вообразили, что у них скоро будет невестка.

Между тем Доббин, подвергаясь такой настойчивой осаде, пребывал в состоянии самого возмутительного спокойствия. Он только смеялся, когда молодые товарищи по полку подшучивали над ним по поводу явного внимания к нему Глорвины.

– Пустяки! – говорил он. – Она просто упражняется на мне, как на фортепьяно миссис Тозер, – благо оно всегда под рукой. Что я? – дряхлый старик по сравнению с такой очаровательной молодой леди, как Глорвина.

Итак, он продолжал ездить с нею верхом, переписывал ей в альбом стихи и ноты и покорно играл с нею в шахматы. Многие

офицеры в Индии заполняют свой досуг этими скромными занятиями, пока другие, не склонные к домашним развлечениям, охотятся на кабанов, стреляют бекасов, играют в азартные игры, курят сигары и наливаются грогом. Что касается Майкла О'Дауда, то, хотя его супруга и сестра обе настаивали, чтобы он уговорил майора объясниться и не мучить столь бессовестно бедную невинную девушку, старый солдат решительно отказывался от всякого участия в этом заговоре.

– Право же, майор достаточно взрослый, чтобы самому сделать выбор, – заявлял сэр Майкл, – он сам посватается, если захочет.

Или обращал дело в шутку, говоря, что Доббин еще слишком молод, чтобы обзаводиться своим домом, и что он написал домой, испрашивая разрешения у мамы.

Мало того, в частных беседах с майором он предостерегал его, шутливо говоря:

– Берегитесь, Доб, дружище! Вы знаете, какие злодейки эти дамы: моя жена только что получила целый ящик платьев из Европы, и среди них есть розовое атласное для Глорвины, – оно прикончит вас, Доб, если только женщины и атлас способны вас расшевелить!

Но все дело в том, что ни красота, ни светские моды не могли победить майора. У нашего честного друга жил в душе только один женский образ, притом несколько не похожий на мисс Глорвину в розовом атласе. Это была изящная маленькая женщина в черном, с большими глазами и каштановыми волосами, которая сама редко говорила, разве только когда к ней обращались, и притом голосом, совсем не похожим на голос мисс Глорвины; нежная юная мать, с ребенком на руках, улыбкой приглашающая майора взглянуть на милого крошку; румяная девушка, с пением вбегающая в гостиную на Рассел-сквер, преданно и влюбленно виснувшая на руке Джорджа Осборна, – только этот образ не оставлял честного майора ни днем ни ночью и царил в его сердце. Весьма вероятно, что Эмилия и не походила на тот портрет, который рисовало воображение майора. Гостя у сестер в Англии, Уильям тихонько стащил у них из модного журнала одну картинку и даже приклеил ее изнутри на крышку своей шкатулки, усмотрев в ней некоторое сходство с миссис Осборн, хотя я видел ее и могу поручиться, что это был только рисунок платья с высокой талией и каким-то дурацким, кукольным, нелепо

улыбающимся лицом над платьем. Может быть, предмет мечтаний мистера Доббина не больше походил на настоящую Эмилию, чем эта нелепая картинка, которой он так дорожил. Но какой влюбленный счел бы себя вправе упрекнуть его? И разве он будет счастливее, если увидит и признает свое заблуждение? Доббин находился во власти таких чар. Он не надоедал друзьям и знакомым своими чувствами и не терял ни сна, ни аппетита. Его волосы слегка поседели с тех пор, как мы видели его в последний раз, и, может быть, серебряные нити вились и в ее шелковистых каштановых волосах. Но чувства его нисколько не менялись и не старели, и любовь его была так же свежа, как воспоминания взрослого мужчины о своем детстве.

Мы уже говорили, что обе мисс Доббин и Эмилия – европейские корреспондентки майора – прислали ему из Англии письма. Миссис Осборн от всего сердца поздравляла его с предстоящей женитьбой на мисс О’Дауд.

«Ваша сестра только что любезно навестила меня, – писала Эмилия, – и рассказала мне о *важном событии*, по поводу которого я прошу вас принять мои *искренние поздравления*. Я надеюсь, что юная леди, с которой вы должны сочетаться браком, окажется во всех отношениях достойной того, кто сам является олицетворенной добротой и честностью. Бедная вдова может только вознести свои молитвы и пожелать вам от всей души всякого *благополучия!* Джорджи посылает привет *своему дорогому крестному* и надеется, что он не забудет его. Я сказала ему, что вы собираетесь заключить союз с особой, которая, я уверена, заслуживает *вашей любви*; но хотя такие узы и должны быть самыми прочными и самыми священными и выше *всяких других*, все же я уверена, что вдова и ребенок, которым вы покровительствовали и которых любили, всегда *найдут уголок в вашем сердце*».

Послание это, о котором мы уже упоминали, продолжалось в таком же духе, в каждой строке выражая чрезвычайную радость писавшей.

Письмо прибыло с тем же кораблем, который доставил ящик с нарядами из Лондона для леди О’Дауд (и, конечно, Доббин распечатал его раньше всех других пакетов, пришедших с этой почтой). Оно привело майора в такое состояние, что Глорвина, ее розовый атлас и все до нее касающееся стали ему ненавистны. Майор проклял бабьи

сплетни и всю вообще женскую половину человеческого рода. Все в этот день раздражало его: и невыносимая жара, и утомительные маневры. Милосердный боже! Неужели разумный человек должен тратить всю свою жизнь день за днем на то, чтобы осматривать подсумки и портупей и проводить военные учения с какими-то болванами? Бессмысленная болтовня молодых людей в офицерской столовой больше чем когда-либо его тяготила. Какое дело ему, человеку, которому скоро стукнет сорок, до того, сколько бекасов подстрелил поручик Смит и какие фокусы выделывает кобыла прапорщика Брауна? Шутки за столом вызывали в нем чувство стыда. Он был слишком стар, чтобы слушать остроты младшего врача и болтовню молодежи, над которыми старый О'Дауд, с его лысой головой и красным лицом, только добродушно подсмеивался. Старик слышал эти шутки непрерывно в течение тридцати лет, да и Доббин слышал их уже лет пятнадцать. А после шумного и скучного обеда в офицерской столовой ссоры и пересуды полковых дам! Это было невыносимо, позорно!

«О, Эмилия, Эмилия, – думал он, – ты, которой я был так предан, упрекаешь меня! Только потому, что ты не отвечаешь на мои чувства, я влачу эту нудную жизнь. И вместо награды за долгие годы преданности ты благословляешь меня на брак с развязной ирландкой!»

Горечь и отвращение томили бедного Уильяма, более чем когда-либо одинокого и несчастного. Ему хотелось покончить с жизнью, с ее суетою – такой бесцельной и бессмысленной казалась ему всякая борьба, таким безрадостным и мрачным будущее. Всю ночь он лежал без сна, томясь по родине. Письмо Эмилии поразило его, как приговор судьбы. Никакая преданность, никакое постоянство и самоотверженность не могли растопить это сердце. Она даже не замечает, что он любит ее. Ворочаясь в постели, он мысленно говорил ей:

«Боже милосердный, Эмилия! Неужели ты не понимаешь, что я одну только тебя люблю во всем мире... тебя, которая холодна, как камень, тебя, за которой я ухаживал долгие месяцы, когда ты была сражена болезнью и горем, а ты простилась со мной с улыбкой на лице и забыла меня, едва за мною закрылась дверь!»

Слуги-туземцы, расположившиеся на ночь около веранды, с удивлением смотрели на взволнованного и угнетенного майора, которого они знали таким спокойным и ровным. Пожалела бы она его теперь, если бы увидела? Он снова и снова перечитывал ее письма – все, какие когда-либо получал: деловые письма относительно небольшой суммы денег, которую, по его словам, оставил ей муж, коротенькие пригласительные записочки, каждый клочок бумажки, который она когда-либо посылала ему, – как все они холодны, как любезны, как безнадежны и как эгоистичны!

Если бы рядом с ним оказалась какая-нибудь добрая, нежная душа, которая могла бы понять и оценить это молчаливое великодушное сердце, – кто знает, может быть, царству Эмилии пришел бы конец и любовь нашего друга Уильяма влилась бы в другое, более благоприятное русло. Но здесь он общался только с Глорвиною, обладательницею черных локонов, а эта элегантная девица не была склонна любить майора, а скорее мечтала увлечь его, – совершенно невозможная и безнадежная задача, по крайней мере, с теми средствами, какие были в распоряжении бедной девушки. Она завивала волосы и показывала ему свои плечи, как бы говоря: «Видали вы когда-нибудь такие черные локоны и такую белую кожу?» Она улыбалась ему, чтобы он мог видеть, что все зубы у нее в порядке, – но он не обращал внимания на все эти прелести. Вскоре после прибытия ящика с нарядами, а может быть, даже и в их честь, леди О’Дауд и другие дамы Королевского полка дали бал офицерам Ост-Индской компании и гражданским чинам поселка. Глорвина нарядилась в свое ослепительное розовое платье, но майор, бывший на балу и уныло слонявшийся по комнатам, даже не заметил этого розового великолепия. Глорвина в неистовстве носилась мимо него в вальсе со всеми молодыми субалтернами, а майор нимало не ревновал ее и ничуть не рассердился, когда ротмистр Бенгис повел ее к ужину. Ни кокетство, ни наряды, ни плечи не могли взволновать его, – а больше ничего у Глорвины не было.

Итак, оба они могли служить примером суетности нашей жизни, ибо мечтали о несбыточном. Эта неудача заставила Глорвину плакать от злости. Она надеялась на майора «больше, чем на кого-либо другого», признавалась она, рыдая.

– Он разобьет мне сердце, Пегги, – жаловалась она невестке, когда не ссорилась с нею. – Мне придется ушить все мои платья: скоро я превращусь в скелет.

Но – толстая или худая, смеющаяся или печальная, верхом ли на лошади или на табурете за фортепьяно – майору она была безразлична. А полковник, попыхивая трубкой и слушая ее жалобы, предлагал выписать из Лондона со следующей почтой несколько черных платьев для Глори и рассказал ей таинственную историю про одну леди в Ирландии, умершую от горя при утрате мужа, которого она еще не успела приобрести.

Пока майор продолжал подвергать ее мукам Тантала, не делая ей предложения и не выказывая никакого намерения влюбиться, из Европы пришел еще один корабль, доставивший письма и среди них несколько посланий для бессердечного человека. Это были письма из дому с более ранним почтовым штемпелем, чем предыдущие, и когда майор увидел на одном из них почерк сестры – той, что обычно писала «драгоценному Уильяму», исписывая четвертушку вдоль и поперек, причем собирала все, какие только могла, дурные новости, а также журила его и читала наставления с сестринской прямоотой, отравляя ему этими посланиями весь день, – то, по правде говоря, «драгоценный Уильям» не спешил взломать печать на письме своей сестрицы, поджидая более благоприятного для этого случая и состояния духа. Две недели тому назад он написал ей, разбранив ее за то, что она наговорила всяких глупостей миссис Осборн, а также отправил ответное письмо самой Эмили, опровергая дошедшие до нее слухи и уверяя ее, что «пока у него нет ни малейшего намерения жениться».

Дня три спустя после прибытия второй пачки писем майор довольно весело провел вечер в доме леди О'Дауд, и Глорвине даже показалось, что он благосклоннее, чем обычно, слушал «У слияния рек», «Юного менестреля»<sup>[250]</sup> и еще одну-две песенки, которые она ему спела (то была иллюзия, – он прислушивался к пению Глорвины не более внимательно, чем к вою шакалов за окнами). Сыграв затем с нею партию в шахматы (любимым вечерним развлечением леди О'Дауд было сразиться в крибедж с доктором), майор Доббин в обычный час попрощался с семьей полковника и вернулся к себе домой.

Там, на столе, красноречивым упреком лежало письмо сестры. Он взял его, пристыженный своей небрежностью, и приготовился провести неприятный часок с отсутствующей родственницей, заранее проклиная ее неразборчивый почерк...

Прошел, пожалуй, целый час после ухода майора из дома полковника; сэр Майкл спал сном праведника; Глорвина, по обыкновению, закрутила свои черные локоны в бесчисленные лоскутки бумаги; леди О'Дауд также удалилась в супружескую опочивальню в нижнем этаже и укрыла пологом свои пышные формы, спасаясь от докучливых moskitov, – когда часовой, стоявший у ворот, увидел при лунном свете майора Доббина, стремительно шагавшего по направлению к дому и, по-видимому, чем-то взволнованного. Миновав часового, он подошел прямо к окнам спальни полковника.

– О'Дауд... полковник! – кричал, надрываясь, Доббин.

– Господи, майор! – сказала Глорвина, высунув в окно голову в папильотках.

– В чем дело, Доб, дружище? – спросил полковник, предположив, что в лагере пожар или что из штаб-квартиры полка пришел приказ о выступлении.

– Я... мне нужен отпуск. Я должен ехать в Англию по самым неотложным личным делам, – сказал Доббин.

«Боже милосердный! Что случилось?» – подумала Глорвина, трепеща всеми папильотками.

– Я должен уехать... сейчас же... нынче, – продолжал Доббин.

Полковник встал и вышел, чтобы переговорить с ним.

В приписке к посланию мисс Доббин майор нашел следующие строки:

«Я ездила вчера повидать твою старую *приятельницу* миссис Осборн. Жалкую местность, где они живут с тех пор, как обанкротились, ты знаешь. Мистер С., если судить по *медной* дощечке на двери их лачуги (иначе не назовешь), торгует углем. Мальчуган, твой крестник, конечно, чудесный ребенок, хотя держится чересчур свободно и склонен к своеволию и дерзости. Но мы старались быть к нему внимательными, как ты этого хотел, и представили его

тетушке, мисс Осборн, которой он очень понравился. Может быть, его дедушку – не того, что обанкротился, тот почти впал в детство, но мистера Осборна с Рассел-сквер, – удастся смягчить по отношению к ребенку твоего друга, его *заблудшего* и *своевольного* сына. Эмилия будет, наверно, не прочь отдать его. Вдова утешилась и собирается выйти замуж за преподобного мистера Бинни, священника в Бромптоне. Жалкая партия! Но миссис О. стареет, я видела у нее много седых волос. Она заметно повеселела. А твой маленький крестник у нас объелся. Мама шлет тебе привет вместе с приветом от любящей тебя

*Энн Доббин».*



## Глава XLIV

### Между Лондоном и Хэмпширом

Фамильный дом наших старых друзей Кроули на Грейт-Гонт-стрит все еще сохраняет на фасаде траурный герб, вывешенный по случаю смерти сэра Питта Кроули; но эта геральдическая эмблема служит ему скорее великолепным и щегольским украшением, да и вообще весь дом принял более нарядный вид, чем при жизни покойного баронета. Почерневшая облицовка соскоблена с кирпичей, и стены сверкают свежей белизной, старинные бронзовые львы на дверном молотке красиво вызолочены, решетки вновь выкрашены, – словом, самый мрачный дом на Грейт-Гонт-стрит сделался самым кокетливым во всем квартале – еще до того как в Королевском Кроули свежая зелень сменила пожелтевшую листву на той аллее, по которой старый сэр Питт Кроули недавно проезжал в последний раз к месту своего упокоения.

Около этого дома нередко можно было видеть маленькую женщину в соответствующих размеров экипаже; кроме нее, здесь можно было ежедневно встретить пожилую деву в сопровождении мальчика. Это была мисс Бригс с маленьким Родоном; ей вменили в обязанность наблюдать за отделкой комнат в доме сэра Питта, надзирать за группой женщин, занятых шитьем штор и драпировок, разбирать и очищать ящики и шкафы от пыльных реликвий и хлама, накопленного совокупными трудами нескольких поколений всевозможных леди Кроули, а также составлять опись фарфора, хрусталя и другого имущества, хранившегося в шкафах и кладовых.

Миссис Родон Кроули была во всех этих переустройствах главнокомандующим, с неограниченными полномочиями от сэра Питта продавать, обменивать, конфисковать и покупать все для мебелировки, и она немало наслаждалась этим занятием, которое давало простор ее вкусу и изобретательности. Решение о ремонте дома было принято, когда сэр Питт в ноябре приезжал в город, чтобы повидаться со своими поверенными, и провел почти неделю на Керзон-стрит, в доме нежно любящих его брата и невестки.

Приехав, он сперва остановился в гостинице, но Бекки, как только узнала о прибытии баронета, сейчас же поехала туда приветствовать его и через час вернулась на Керзон-стрит вместе с сэром Питтом. Невозможно было отказаться от гостеприимства этого бесхитростного маленького создания, так откровенно и дружески она предлагала его и так ласково на нем настаивала. Когда сэр Питт согласился переехать к ним, Бекки в порыве благодарности схватила его руку.

– Спасибо, спасибо! – сказала она, сжимая ее и глядя прямо в глаза баронету, который сильно покраснел. – Как обрадуется Родон!

Она суетилась в спальне Питта, указывая прислуге, куда нести чемоданы, и со смехом сама притащила из своей спальни ведро с углем.

Огонь уже пылал в камине (кстати сказать, это была комната мисс Бригс, которую переселили на чердак в каморку горничной).

– Я знала, что привезу вас, – говорила она, глядя на него сияющими глазами. И она и вправду была счастлива, что у нее такой гость.

Раза два Бекки заставила Родона – под предлогом дел – обедать вне дома, и баронет провел эти счастливые вечера наедине с нею и Бригс. Бекки спускалась на кухню и сама стряпала для него вкусные блюда.

– Ну, что вы скажете о моем сальми? – говорила она. – Это я для вас так постаралась. Я могу приготовить вам блюда еще вкуснее, и буду готовить, только навещайте нас почаще.

– Все, что вы делаете, вы делаете прекрасно, – галантно отвечивал баронет. – Сальми действительно превосходное!

– Жена бедного человека должна уметь хозяйничать, – весело отозвалась Ребекка.

В ответ на это деверь стал уверять, что ей пристало быть женой императора и что умение вести хозяйство только украшает женщину. С чувством, похожим на огорчение, подумал сэр Питт о леди Джейн, которая однажды захотела сама испечь пирог к обеду, – дрожь пробрала его при этом воспоминании!

Кроме сальми, приготовленного из фазанов лорда Стайна, в изобилии водившихся в его имении Стилбрук, Бекки угостила деверя бутылкой белого вина, которое, как уверяла маленькая лгунья, Родон

вывез из Франции, купив там почти за бесценок; в действительности это был «Белый Эрмитаж» из знаменитых погребов маркиза Стайна, – вино, от которого кровь прилила к бледным щекам баронета и огонь разлился по его тщедушному телу.

Когда сэр Питт осушил бутылку этого petit vin blanc<sup>[251]</sup>, она взяла его под руку и повела в гостиную, где уютно усадила на диван перед горящим камином и с нежным, ласковым вниманием стала слушать его, усевшись рядом и подрубая рубашечку для своего милого мальчика. Всякий раз, как миссис Родон хотела казаться особенно скромной и добродетельной, она вытаскивала из рабочей корзинки эту рубашку, которая, кстати сказать, стала мала Родону задолго до того, как была окончена.

Итак, Ребекка ласково внимала сэру Питту, беседовала с ним, пела ему, льстила и угождала, так что ему день ото дня становилось приятнее возвращаться от своих поверенных из Грейз-Инн к пылающему камину на Керзон-стрит (радость эту разделяли и юристы, потому что разглагольствования их знатного клиента были весьма утомительны), и когда Питту пришлось уезжать, он почувствовал настоящую печаль разлуки. Как грациозно она посылала ему из коляски воздушные поцелуи и махала платочком, когда он садился в почтовую карету! Она даже приложила платок к глазам. А Питт, когда карета отъехала, нахлобучил на лоб свою котиковую шапку и, откинувшись на сиденье, стал думать о том, как она уважает его, и как он заслуживает этого, и какой дурак и тупица Родон, что не ценит своей жены, и как бесцветна и невыразительна его собственная жена в сравнении с этой блестящей маленькой Бекки! Надо полагать, сама Ребекка внушила ему эти мысли, но она сделала это так деликатно и тонко, что невозможно было сказать, где и когда именно. Перед отъездом оба они решили, что дом в Лондоне должен быть отремонтирован к ближайшему сезону и что семьи братьев снова встретятся в деревне на Рождестве.

– Жаль, что ты не перехватила у него хоть немного денег, – угрюмо сказал Родон жене, когда баронет уехал. – Мне хотелось бы заплатить что-нибудь старику Реглсу, честное слово! Нехорошо, знаешь, что мы вытянули у него все его деньги. Да и для нас это неудобно: он может сдать дом кому-нибудь другому.

– Скажи Реглсу, – отвечала Бекки, – что, как только сэр Питт устроит свои дела, все будет заплачено, а пока дай ему какой-нибудь пустяк в счет долга... Вот чек, который Питт подарил Роду, – и она достала из сумочки и отдала мужу чек, оставленный его братом для маленького сына и наследника младшей ветви Кроули.

По правде сказать, она сама позондировала почву, не дожидаясь советов мужа, – позондировала очень осторожно, но нашла ее скользкой. При первом же ее слабом намеке на денежные затруднения сэр Питт насторожился и забеспокоился. Он начал пространно объяснять невестке, что он и сам стеснен в средствах, так как арендаторы не платят; дела отца и издержки по похоронам совсем его запутали, хочется очистить имение от долгов, а между тем кредит его исчерпан; и в конце концов Питт Кроули отвертелся от невестки тем, что презентовал ей самую пустячную сумму для ее мальчика.

Питт знал, как беден брат и его семья. От внимания такого холодного и опытного дипломата не могло ускользнуть, что семье Родона не на что жить, и он должен был понимать, что квартира и экипаж даются не даром. Он отлично знал, что получил, или, вернее, захватил, деньги, которые, по всем расчетам, должны были достаться младшему брату, и, конечно, чувствовал иногда тайные угрызения совести, напоминавшие ему о том, что он обязан совершить акт справедливости, или, попросту говоря, компенсировать обиженных родственников. Как человек справедливый, порядочный, неглупый, как усердный христианин, знающий катехизис и всю жизнь внешне исполнявший свой долг по отношению к ближним, он не мог не сознавать, что его брат вправе рассчитывать на его помощь и что морально он должник Родона.

Когда на столбцах газеты «Таймс» время от времени приходится читать странные объявления канцлера казначейства, извещающие о получении пятидесяти фунтов от А. Б. или десяти фунтов от Т. У. – так называемых «совестных денег»<sup>[252]</sup> в счет уплаты налога, причитающегося с вышеупомянутых А. Б. и Т. У., – получение коих раскаявшиеся просят достопочтенного джентльмена подтвердить через посредство печати, то, конечно, и канцлер, и читатель отлично знают, что вышеназванные А. Б. и Т. У. платят лишь ничтожную часть того, что они действительно должны государству, и что человек, посылающий двадцатифунтовый билет, очевидно, должен сотни и

тысячи фунтов, в которых ему следовало бы отчитаться. Таково, по крайней мере, мое впечатление от этих явно недостаточных доказательств раскаяния А. Б. и Т. У. И я не сомневаюсь, что раскаяние, или, если хотите, щедрость, Питта Кроули по отношению к младшему брату, благодаря которому он получил так много выгод, была лишь ничтожным дивидендом на тот капитал, который он был должен Родону. Но не всякий пожелал бы платить даже столько. Расстаться с деньгами – это жертва, почти непосильная для всякого здравомыслящего человека. Вряд ли вы найдете среди живущих кого-нибудь, кто не считал бы себя достойным всяческой похвалы за то, что он дал своему ближнему пять фунтов. Беспечный человек дает не из чувства сострадания, а ради пустого удовольствия давать. Он не отказывает себе ни в чем: ни в ложе в оперу, ни в лошади, ни в обеде, ни даже в удовольствии подать Лазарю пять фунтов. Бережливый человек – добрый, разумный, справедливый, который никому ничего не должен, – отворачивается от нищего, торгуется с извозчиком, отрекается от бедных родственников. И я не знаю, который из двух более себялюбив. Разница лишь в том, что деньги имеют для них неодинаковую ценность.

Одним словом, Питт Кроули думал было сделать что-нибудь для брата, но потом решил, что это еще успеется.

Что же касается Бекки, то она была не такой женщиной, чтобы ждать слишком многого от великодушия своих ближних, и потому была вполне довольна тем, что Питт Кроули для нее сделал. Глава семьи признал ее. Если даже он не даст ей ничего, то, надо думать, все же со временем чем-нибудь ей поможет. Пусть она не получила от деверя денег – она получила нечто, столь же ценное, – кредит. Регис, видя дружеские отношения между братьями и заручившись небольшой суммой денег наличными и обещанием гораздо большей суммы в ближайшем времени, несколько успокоился. Ребекка сказала мисс Бригс, уплачивая ей перед Рождеством проценты на маленькую сумму, которую та одолжила ей, и делая это с такой нескрываемой радостью, словно у нее самой денег куры не клюют и она не чаёт, как от них избавиться, – Ребекка, повторяю, сказала по секрету мисс Бригс, что она советовалась с сэром Питтом – как известно, опытным финансистом – специально насчет нее: как наиболее выгодно поместить оставшийся у нее капитал. Сэр Питт после долгих

размышлений придумал очень выгодный и надежный способ помещения денег мисс Бригс. Он очень расположен к ней, как к преданному другу покойной мисс Кроули и всей семьи, и перед отъездом советовал ей держать деньги наготове, чтобы в благоприятный момент можно было купить акции, которые он имел в виду. Бедная мисс Бригс была тронута таким вниманием сэра Питта, – сама она ввек бы не додумалась до того, чтобы взять деньги, помещенные в государственные бумаги, а внимание сэра Питта тронуло ее даже больше, чем оказанная им услуга. Она обещала немедленно повидаться со своим поверенным и держать свой наличный капитал наготове.

Достойная Бригс была так благодарна Ребекке за ее помощь в этом деле и за доброту полковника, своего великодушного благодетеля, что сейчас же отправилась в лавку и истратила большую часть своего полугодового дохода на покупку черного бархатного костюмчика для маленького Родона, который, кстати сказать, уже вырос из таких костюмчиков, и ему по возрасту и росту гораздо больше подходили бы мужская жакетка и панталоны.

Родон был красивый мальчуган, с открытым лицом, голубыми глазами и вьющимися льняными волосами, крепкого сложения, с великодушным, нежным сердцем. Он горячо привязывался к каждому, кто был с ним добр, – к своему пони, к лорду Саутдауну, который подарил ему лошадку (он всегда краснел и вспыхивал, когда видел этого любезного джентльмена), к груму, который ухаживал за пони, к кухарке Молли, которая пичкала его на ночь страшными рассказами и сладостями от обеда, к Бригс, которую он нещадно изводил, и особенно к отцу, привязанность которого к сыну было любопытно наблюдать. В восемь лет этим кругом ограничивались все его привязанности. Прекрасный образ матери с течением времени поблек; на протяжении почти двух лет она едва достаивала мальчика разговором. Она не любила его. Он хворал то корью, то коклюшем. Он надоедал ей. Как-то раз, спустившись со своего чердака, он остановился на площадке, привлеченный голосом матери, которая пела для лорда Стайна; дверь гостиной внезапно распахнулась, обнаружив маленького соглядатая, восхищенно слушавшего музыку.

Ребекка выбежала из гостиной и вlepила ему две звонкие пощечины. Мальчик услышал за стеной смех маркиза (которого

позабавило это бесхитростное проявление нрава Бекки) и бросился вниз, в кухню, к своим друзьям, обливаясь горячими слезами.

– Я не из-за того плачу, что мне больно, – оправдывался, всхлипывая, маленький Родри, – только... только... – Бурные слезы и рыдания заглушили конец фразы. Сердце мальчика обливало кровью. – Только почему мне нельзя слушать ее пение? Почему она никогда не поет мне, а поет этому плешивому с огромными зубами? – Так в промежутках между рыданиями негодовал и жаловался бедный мальчик. Кухарка взглянула на горничную, горничная перемигнулась с лакеем, – грозная кухонная инквизиция, заседающая в каждом доме и обо всем осведомленная, в эту минуту судила Ребекку.

После этого случая нелюбовь матери возросла до ненависти; сознание, что ребенок здесь, в доме, было для нее тягостным упреком. Самый вид мальчика раздражал ее. В груди маленького Родона, в свою очередь, зародились сомнения, страх и обида. С того дня, как он получил пощечину, между матерью и сыном легла пропасть.

Лорд Стайн тоже терпеть не мог мальчика. Если по несчастной случайности они встречались, достойный лорд насмешливо раскланивался с ним, или отпускал иронические замечания, или же глядел на него злобными глазами. Родон, со своей стороны, пристально смотрел ему в лицо и сжимал кулачки. Он знал, кто ему враг, – из бывавших в доме гостей этот джентльмен больше всех раздражал его.

Как-то раз лакей застал мальчика в передней, когда тот грозил кулаком шляпе лорда Стайна. Лакей в качестве интересной шутки рассказал об этом случае кучеру лорда Стайна; тот поделился рассказом с камердинером лорда Стайна и вообще со всей людской. И вскоре после этого, когда миссис Родон Кроули появилась в Гонт-Хаусе, привратник, открывавший ворота, слуги во всевозможных ливреях, толпившиеся в сенях, джентльмены в белых жилетах, выкрикивавшие с одной лестничной площадки на другую имена полковника Кроули и миссис Родон Кроули, уже знали о ней все или воображали, что знают. Лакей, стоявший за ее стулом, уже обсудил ее личность с другим внушительным джентльменом в шутовском наряде, стоявшим рядом с ним. Von Dieu, как ужасен этот суд прислуги! На званом вечере вы видите в роскошной зале женщину, окруженную преданными обожателями, она бросает кругом сияющие взгляды, она

превосходно одета, завита, подрумянена, она улыбается и счастлива. Но вот к ней почтительно подходит Разоблачение в виде огромного человека в пудренном парике, с толстыми икрами, разносящего мороженое гостям, а за ним следует Клевета (столь же непреложная, как Истина) в виде неуклюжего молодца, разносящего вафли и бисквиты. Мадам, ваша тайна сегодня же вечером станет предметом пересудов этих людей в их излюбленных трактирах! Джеймс и Чарльз, посиживая за оловянными кружками и с трубками в зубах, поделаются сведениями о вас. Многим на Ярмарке Тщеславия следовало бы завести немых слуг, немых и не умеющих писать. Если вы виноваты – трепещите. Этот молодец у вас за стулом, может быть, янычар, скрывающий удавку в кармане своих плюшевых штанов. Если вы не виновны – заботьтесь о соблюдении внешних приличий, нарушение которых так же губительно, как и вина.

Виновна Ребекка или нет? Тайное судилище в людской вынесло ей обвинительный приговор!

И стыдно сказать: если бы они не верили в ее виновность, она не имела бы кредита. Именно вид кареты маркиза Стайна, стоящей у ее подъезда, и свет фонарей, светивших во мраке далеко за полночь, гораздо больше убеждали Реглса, как он потом говорил, чем все ухищрения и уговоры Ребекки.

Итак, Ребекка – возможно, что и невинная, – карабкалась и проталкивалась вперед, к тому, что называется «положением в свете», а слуги указывали на нее пальцем как на потерянную и погибшую. Так горничная Молли следит по утрам за пауком: он тклет свою паутину у дверного косяка и упорно взбирается вверх по ниточке, пока наконец ей не надоеет это развлечение; тогда она хватает половую щетку и сметает и паутину, и ткача.

За несколько дней до Рождества Бекки с мужем и сыном собрались ехать в Королевское Кроули, чтобы провести праздники в обители своих предков. Бекки предпочла бы оставить мальчугана дома и сделала бы это, если бы не настойчивые просьбы леди Джейн привезти мальчика и признаки недовольства со стороны Родона, возмущенного ее небрежным отношением к сыну.

– Ведь другого такого мальчика во всей Англии не сыщешь, – говорил отец с упреком, – а ты, Бекки, гораздо больше заботишься о



своей болонке. Роди не помешает тебе: там он будет все время в детской, а в дороге я за ним присмотрю; мы зайдем наружные места в карете.

– Куда ты сам садишься, чтобы курить свои противные сигары, – упрекнула его миссис Родон.

– Когда-то они тебе нравились, – отвечал муж.

Бекки засмеялась: она почти всегда бывала в хорошем расположении духа.

– То было, когда я добивалась повышения, глупый! – сказала она. – Бери с собой Родона и дай и ему сигару, если хочешь.

Родон, однако, не стал таким способом согреть своего маленького сына во время их зимней поездки; он вместе с Бригс укутал ребенка шалью и шерстяными шарфами, и в таком виде, ранним утром, при свете ламп «Погребка Белого Коня», мальчуган был почтительно водворен на крышу кареты и с немалым удовольствием смотрел оттуда, как занималась заря. Он совершал свое первое путешествие в то место, которое его отец все еще называл «домом». Для мальчика эта поездка была непрерывным удовольствием: все дорожные события были ему внове. Отец отвечал на его вопросы, рассказывал ему, кто живет в большом белом доме направо и кому принадлежит парк. Мать, сидевшая со своей горничной внутри кареты, в мехах и платках, с пузырьками и флакончиками, проявляла столько беспокойства, как будто никогда прежде не ездила в дилижансе; никто не подумал бы, что ее высадили из этой самой кареты, чтобы освободить место для платного пассажира, когда десять лет тому назад она совершила свое первое путешествие.

Уже стемнело, когда карета добралась до Мадбери, и маленького Родона пришлось разбудить, чтобы пересест в коляску его дяди. Он сидел и с удивлением смотрел, как раскрылись большие железные ворота, как замелькали светлые стволы лип, пока лошади наконец не остановились перед освещенными окнами замка, приветливо сиявшими яркими рождественскими огнями.

Входная дверь широко распахнулась; в большом старинном камине ярко пылал огонь, а выложенный черными плитками пол был устлан ковром.

«Это тот самый турецкий ковер, который лежал раньше в «Дамской галерее», – подумала Ребекка, и в следующую минуту она уже целовалась с леди Джейн.

С сэром Питтом она весьма торжественно обменялась таким же приветствием; но Родон, только что куривший, уклонился от поцелуя с невесткой. Дети подошли к кузену; Матильда протянула ему руку и поцеловала его, а Питт Бинки Саутдаун, сын и наследник, стоял поодаль и изучал гостя, как маленькая собачка изучает большого пса.

Приветливая хозяйка повела гостей в уютные комнаты, где ярко пылали каминьы. Затем к миссис Родон постучались обе молоденькие леди, будто бы для того, чтоб помочь ей, но, в сущности, им хотелось осмотреть содержимое ее картонок со шляпами и платьями, хотя и черными, но зато новейших столичных фасонов. Они рассказали ей, что в замке все переменялось к лучшему, что леди Саутдаун уехала, а Питт занял в графстве положение, какое и подобает представителю фамилии Кроули. Затем прозвучал большой колокол, и вся семья собралась к обеду, во время которого Родон-младший был посажен рядом с теткой, доброй хозяйкой дома. Сэр Питт был необыкновенно внимателен к невестке, занявшей место по правую его руку. Маленький Родон обнаружил прекрасный аппетит и вел себя как джентльмен.

– Мне нравится здесь обедать, – сказал он тетке, когда трапеза кончилась и сэр Питт произнес благодарственную молитву. Затем в столовую ввели юного сына и наследника и посадили на высокий стульчик рядом с баронетом, а его сестренка завладела местом рядом с матерью, где ей была приготовлена рюмочка вина.

– Мне нравится здесь обедать, – повторил Родон-младший, глядя в ласковое лицо тетки.

– Почему? – спросила добрая леди Джейн.

– Дома я обедаю на кухне, – отвечал Родон-младший, – или с Бригс.

Бекки была так поглощена разговором с баронетом – она льстила ему, и восторгалась им, и расточала комплименты по адресу юного Питта Бинки, которого называла красивым, умным, благородным мальчиком, удивительно похожим на отца, – что не слышала замечаний собственного отпрыска за другим концом обширного и роскошно убранного стола.

Как гостю, Родону-второму было разрешено в день приезда остаться со взрослыми до того времени, когда убрали чай и перед сэром Питтом положили на стол большую с золотым обрезом книгу; все домочадцы вошли в комнату, сэр Питт прочитал молитвы. Бедный мальчуган в первый раз присутствовал на этой церемонии, о которой раньше и не слыхивал.

Замок приметно изменился к лучшему за короткое правление баронета; Бекки осмотрела его вместе с гостеприимным хозяином и заявила, что все здесь великолепно, очаровательно, превосходно. А маленькому Родону, который знакомился с домом под руководством детей, он показался волшебным дворцом, полным чудес. Здесь были длинные галереи и старинные парадные опочивальни, картины, старый фарфор и оружие. Мимо комнат, где умирал дедушка, дети проходили с испуганными лицами.

– Кто был дедушка? – спросил Родон; и они объяснили ему, что дедушка был очень старый, его возили в кресле на колесиках; в другой раз ему показали это кресло, которое гнило в сарае, куда его убрали после того, как старого джентльмена увезли вон к той церкви, шпиль которой блестел над вязами парка.

Братья занимались по утрам осмотром новшеств, внесенных в хозяйство гением сэра Питта и его бережливостью. Совершая эти прогулки пешком или верхом, они могли беседовать, не слишком надоедая друг другу. Питт не преминул объяснить Родону, как много денег стоили все эти преобразования и как часто бывает, что человек, обладающий земельной собственностью и имеющий капитал в государственных бумагах, нуждается в каких-нибудь двадцати фунтах.

– Вот новая сторожка у ворот парка, – говорил Питт, указывая на нее бамбуковой тростью, – мне так же трудно уплатить за нее до получения январских дивидендов, как полететь.

– Я могу ссудить тебя деньгами, Питт, до января, – грустно предложил Родон.

Они зашли внутрь и осмотрели преображенную сторожку, на которой только что был высечен в камне фамильный герб и где у старой миссис Лок впервые за долгие годы была плотно закрывающаяся дверь, крепкая крыша и окна без разбитых стекол.

## Глава XLV

### Между Хэмпширом и Лондоном

Сэр Питт Кроули не ограничился починкою заборов и восстановлением развалившихся сторожек в Королевском Кроули. Как истинный мудрец, он принялся за восстановление пошатнувшейся репутации своего дома и начал заделывать бреши и трещины, оставленные на его фамильном имени недостойным и расточительным предшественником. Вскоре после смерти отца он был выбран представителем в парламент от своего избирательного местечка, и теперь, в качестве мирового судьи, члена парламента, крупнейшего землевладельца и представителя древней фамилии, считал своей обязанностью бывать в местном обществе, щедро подписывался на все благотворительные начинания, усердно навещал окрестных помещиков – словом, делал все, чтобы занять то положение в графстве, а затем и в королевстве, какое, по его мнению, подобало ему при его исключительных талантах. Леди Джейн получила предписание быть любезной с Фадлстонами, Уопшотами и другими благородными баронетами, их соседями. Теперь их экипажи то и дело можно было видеть на подъездной аллее в Королевском Кроули. Они часто бывали в замке (где обеды были так хороши, что, очевидно, леди Джейн редко прилагала к ним руку), и Питт с женою, в свою очередь, усердно разъезжали по обедам, невзирая на погоду и на расстояние. Ибо хотя Питт не любил застольных веселостей, так как был человеком холодным, со слабым здоровьем и плохим аппетитом, однако он решил, что гостеприимство и общительность необходимы в его положении; и когда у него трещала голова от затянувшихся послеобеденных возлияний, он чувствовал себя жертвой долга. Он беседовал об урожае, о хлебных законах, о политике с самыми видными помещиками графства. Он (раньше склонявшийся к прискорбному свободомыслию в этих вопросах) теперь с жаром выступал против браконьерства и поддерживал законы об охране дичи. Сам он не охотился, так как не был любителем спорта, а скорее кабинетным человеком с мирными привычками. Но он считал, что следует заботиться об улучшении породы лошадей в графстве и о

разведении лисиц, а потому, если его другу сэру Хадлстону Фадлстону угодно погонять лисиц на его полях и собраться с друзьями, как в былые времена, в Королевском Кроули, он, со своей стороны, будет рад иметь их у себя вместе с другими участниками охоты. К ужасу леди Саутдаун, он с каждым днем становился правовернее в своих взглядах: так, он перестал читать публичные проповеди и ходить на религиозные собрания, начал регулярно посещать церковь, навестил епископа и все винчестерское духовенство и не возражал, когда досточтимый епископ Трампер попросил составить ему партию в вист. Какие муки должна была испытывать леди Саутдаун и каким погибшим человеком она должна была считать своего зятя, допускавшего в своем доме безбожные развлечения! А когда семья вернулась как-то раз домой после оратории в Винчестерском соборе, баронет объявил своим молоденьким сестрам, что на будущий год он начнет вывозить их на балы, чем вызвал их безмерную благодарность. Джейн, как всегда, приняла его план беспрекословно, но, вероятно, и сама была рада повеселиться. Вдовствующая леди послала автору «Прачки Финчлейской общины» в Кейптаун самое ужасное описание поведения своей дочери, впавшей в мирскую суетность, и, воспользовавшись тем, что как раз освободился ее дом в Брайтоне, отбыла восвояси, а дети не слишком оплакивали ее отъезд. Мы думаем, что и Ребекка во время второго своего посещения Королевского Кроули не особенно грустила об отсутствии этой леди с ее аптечкой, хотя и написала ей к Рождеству поздравительное письмо, где почтительно напомнила о себе, с благодарностью отозвалась о беседах с ее милостью в первый свой приезд, распространялась о доброте ее милости к болящей страдальце и уверяла, что все в Королевском Кроули напоминает ей об отсутствующем друге.

Перемены в поведении сэра Питта в значительной мере объяснялись советами пронырливой маленькой леди с Керзон-стрит.

– *Вы* останетесь лишь баронетом... *вы* согласитесь быть просто помещиком? – говорила она ему, когда он гостил у нее в Лондоне. – Нет, сэр Питт Кроули, я вас лучше знаю. Я знаю ваши таланты и ваше честолюбие. Вы воображаете, что можете скрыть то и другое, но от меня вы ничего не скроете. Я показывала лорду Стайну вашу брошюру о солоде. Представьте, он знаком с нею и говорит, что, по мнению всего кабинета, это самая серьезная работа, когда-либо

написанная по этому вопросу. Министерство не упускает вас из виду, и я знаю, что вам нужно. Вам нужно отличиться в парламенте, – все говорят, что вы один из лучших ораторов Англии (ваши речи в Оксфорде до сих пор не забыты). Вам нужно сделаться представителем от графства, – при помощи своего голоса и при поддержке своего избирательного местечка вы можете добиться чего угодно. Вам нужно стать бароном Кроули из Королевского Кроули, – вы и будете им, и очень скоро. Я вижу все, я читаю это в вашем сердце, сэр Питт! Если бы мой муж не только носил ваше имя, но обладал вашим умом, я, может быть, не была бы недостойна его, но... но... теперь я ваша родственница, – добавила она со смехом. – Бедная, незаметная родственница, однако у меня есть и собственный маленький интерес, и – кто знает! – может быть, и мышка пригодится льву.

Питт Кроули был поражен и восхищен ее словами.

«Как эта женщина понимает меня! – думал он. – Я никогда не мог заставить Джейн прочесть и трех страниц моей брошюры о солоде. Она-то понятия не имеет ни о моих административных способностях, ни о моем тайном честолюбии... Значит, они помнят мои оксфордские речи, вот как! Канальи! Теперь, когда я являюсь представителем своего местечка и могу быть представителем графства, они наконец вспомнили обо мне! А в прошлом году на высочайшем приеме лорд Стайн не соизволил меня заметить. Теперь они начинают понимать, что Питт Кроули что-то значит. Да, но это тот же самый человек, которым они пренебрегали; нужен был только случай, и теперь уж я им покажу, что умею не только писать, но и говорить и действовать. Ахиллес до тех пор не проявлял себя, пока его не опоясали мечом. Сейчас меч у меня в руках, и мир еще услышит о Питте Кроули!»

Вот почему этот продувной дипломат сделался таким гостеприимным, таким внимательным к больницам и ораториям, таким любезным с духовенством, так щедро угощал обедами и сам принимал приглашения, так необычайно ласково обращался с фермерами в базарные дни и так интересовался делами графства. И вот почему эти Святки в замке были самыми веселыми за много-много лет.

В первый день Рождества собралось полностью все семейство. Все Кроули из пасторского дома явились к обеду. Ребекка была так откровенна и ласкова с миссис Бьют, как будто та никогда и не была ее врагом; она участливо расспрашивала о дорогих девочках и удивлялась успехам, каких они достигли в музыке. Она даже настояла на том, чтобы они повторили один дуэт из увесистого тома романсов, который бедному Джиму, несмотря на все его сопротивление, пришлось тащить под мышкой из дому. Все это заставило миссис Бьют соблюдать приличие в обращении с маленькой авантюристкой, но, оставшись одна с дочерьми, она дала волю своему языку, удивляясь тому нелепому уважению, с каким сэръ Питт относится к своей невестке. Зато Джим, сидевший за обедом рядом с Бекки, объявил, что она «молодчина», и вся семья пастора единодушно признала, что маленький Родон – прелестный ребенок. Они уже видели в этом мальчике возможного будущего баронета: между ним и титулом стоял только хилый, болезненный, бледный Питт Бинки.

Дети очень подружились; Питт Бинки был слишком маленьким щенком для того, чтобы играть с такой большой собакой, как Родон. Матильда была только девочка и не годилась, конечно, в товарищи юному джентльмену, которому было почти восемь лет и которому скоро предстояло носить жакетку и панталоны. Он сразу стал во главе маленькой компании: и мальчик, и девочка слушались его во всем, когда он снисходил до того, чтобы поиграть с ними. Сам он от души наслаждался жизнью в деревне. Ему ужасно нравился огород, цветники – меньше, зато птичий двор, голубятни и конюшни, когда ему позволяли туда ходить, приводили его в полное восхищение. Он уклонялся от объятий молоденьких мисс Кроули, но леди Джейн позволял себя целовать и любил сидеть рядом с нею, когда после поданного знака дамы удалялись в гостиную, оставив мужчин за кларетом. Он предпочитал ее соседство соседству матери. Ребекка, видя, что здесь в ходу нежности, как-то вечером подозвала к себе Родона, наклонилась и поцеловала его в присутствии всех дам.

Мальчик посмотрел ей в лицо, весь дрожа и сильно покраснев, как всегда с ним бывало, когда он волновался.

– Дома вы никогда не целуете меня, мама, – сказал он. Ответом на это было общее молчание и неловкость и далеко не ласковый огонек в глазах Бекки.

Родон-старший любил невестку за внимание к его сыну. Отношения же между леди Джейн и Бекки на этот раз были чуть более натянутыми, чем в первый визит, когда жена полковника только о том и старалась, чтобы понравиться. Слова ребенка поселили между ними холодок, да и сэр Питт, может быть, был чересчур уж внимателен к невестке.

Родон, как и подобало его возрасту и росту, предпочитал мужское общество женскому; он никогда не отказывался сопровождать отца в конюшни, куда полковник уходил курить свои сигары. Джим, сын пастора, иногда присоединялся к своему кузену в этом и в других развлечениях. Он и егерь баронета были большими друзьями: их сближала общая любовь к собакам. Однажды мистер Джеймс, полковник и егерь Хорн отправились стрелять фазанов и взяли маленького Родона с собою. В другое, еще более блаженное утро все четверо приняли участие в травле крыс в амбаре. Родон ни разу еще не видел этой благородной забавы. Они заткнули выходы нескольких дренажных труб, пустив туда с другого конца хорьков, и сами молча стали поодаль, вооружившись палками, а маленький насторожившийся терьер (Форсепс, знаменитая собака мистера Джеймса), задыхаясь от возбуждения, замер на трех лапах, прислушиваясь к слабому писку крыс. Наконец преследуемые животные осмелились в отчаянии выскочить наружу. Терьер прикончил одну крысу, егерь – другую. Родон от волнения промахнулся, но зато чуть не убил хорька.

Но самым замечательным был тот день, когда на лужайке в Королевском Кроули собралась охота сэра Хадлстона Фадлстона.

Для маленького Родона это было необычайное зрелище. В половине одиннадцатого на аллее показался Том Муди, егерь сэра Хадлстона Фадлстона; вот он едет рысью в сопровождении породистых гончих, держащихся собранной сворой. За ним два псаря в алых кафтанах, веселые рослые парни на поджарых чистокровных лошадях. Они с необыкновенной ловкостью концами своих длинных тяжелых бичей стегают по самым чувствительным местам тех собак, которые осмеливаются отделиться от своры или хотя бы повести мордой на выскочившего из-под самого их носа и порскнувшего в сторону зайца или кролика.



Затем подъезжает Джек, сын Тома Муди; он весит семьдесят фунтов, рост его – сорок восемь дюймов и никогда не станет больше. Он на мощном коне, наполовину закрытом объемистым седлом. Это любимая лошадь сэра Хадлстона Фадлстона – Ноб. То и дело появляются новые лошади; на них сидят маленькие грумы, в ожидании своих хозяев, которых ждут с минуты на минуту.

Том Муди подъезжает к двери замка; его приветствует дворецкий и предлагает выпить, но Том отказывается. Он удаляется со своей сворой на защищенный уголок лужайки, где собаки начинают кататься по траве, возиться и сердито ворчать друг на друга. Иногда они поднимают отчаянную грызню, но быстро утихают под окриком Тома, непревзойденного мастера ругаться, или под жалящим концом бича.

Прискакали юные джентльмены на породистых лошадях, забрызганные до колен грязью, они заходят в дом выпить вишневки и засвидетельствовать свое почтение дамам, а кто поскромнее и думает больше об охоте, снимает с себя покрытые грязью сапоги, пересаживается на охотничью лошадь и разогревает кровь предварительным галопом вокруг лужайки. Затем они собираются около собачьей своры и беседуют с Томом Муди о прошлой охоте, о достоинствах Плаксы и Алмаза, о состоянии полей и о том, что с выводками лисиц год от году все хуже.

Но вот появляется сэр Хадлстон верхом на красивом жеребце; он подъезжает прямо к замку, входит, учтиво приветствует дам, но, как человек, не троящий лишних слов, сейчас же приступает к делу. Собак подводят к самому подъезду, и маленький Родон спускается к ним, возбужденный и слегка напуганный бурными проявлениями их восторга: они похлопывают его хвостами и повизгивают, оскалив зубы, и поднимают такой разноголосый лай, что Тому Муди криками и бичом едва удастся их успокоить.

Между тем сэр Хадлстон тяжело садится на Ноба.

– Попробуйте начать с Саустеровской роши, Том, – предлагает баронет. – Фермер Менг говорил мне, что там видели двух лисиц.

Том трубит в рог и отъезжает рысью, сопровождаемый сворой, псарями, юными джентльменами из Винчестера, окрестными фермерами и созванными со всего прихода пешими работниками, для которых этот день – большой праздник. Сэр Хадлстон с полковником

Кроули составляют арьергард, и скоро люди, собаки и лошади исчезают в конце аллеи.

Преподобный Бьют Кроули не рискнул появиться на сборном пункте под самыми окнами племянника (Том Муди помнит его сорок лет назад стройным студентом богословия, скакавшим на самых горячих лошадях, перепрыгивавшим широчайшие рвы и бравшим самые новые плетни в окрестных полях), – итак, повторяю, его преподобие как бы случайно появляется из переулка, ведущего к пасторскому дому, как раз в ту минуту, когда сэр Хадлстон проезжает мимо. Тронув рослого вороного коня, он присоединяется к почтенному баронету. Охотники и собаки исчезают, а маленький Родон еще долго остается на ступеньках подъезда, пораженный и счастливый.

Во время этих памятных Святков маленький Родон если и не снискал особенной привязанности сурового и холодного дяди, вечно запиравшегося в своем кабинете и погруженного в судебные дела или в разговоры с арендаторами и управляющими, – зато завоевал симпатии теток, как замужней, так и незамужних, обоих детей в замке и Джима, которого сэр Питт прочил в женихи одной из молоденьких леди, давая ему понять, что он может рассчитывать на получение прихода после смерти своего папаши-спортсмена. Сам Джим воздерживался от охоты на лисиц, предпочитая стрелять уток и бекасов да баловаться безобидной травлей крыс. В этих мирных занятиях он и проводил теперь рождественские каникулы, после которых ему предстояло вернуться в университет и постараться с грехом пополам сдать последние экзамены. Он уже отказался от зеленых фраков, красных галстуков и других светских украшений, готовясь к новому жизненному поприщу. Таким дешевым и экономным способом сэр Питт старался заплатить долг своим семейным.

Еще до окончания этих веселых рождественских праздников баронет, кое-как собравшись с духом, снова дал брату чек на своих банкиров, не более не менее как на сто фунтов! И если это решение сперва стоило сэру Питту адских мук, то с тем большим удовольствием он вспоминал потом о собственном великодушии. Родону и его сыну грустно было уезжать из замка, но Бекки и дамы,

напротив, расстались с величайшей готовностью, и наша приятельница вернулась в Лондон, чтобы снова приняться за дела, за которыми мы ее застали в начале предыдущей главы. Благодаря ее заботам дом Кроули на Грейт-Гонт-стрит совершенно возродился и был готов к приему сэра Питта и его семьи, когда баронет прибыл в Лондон, чтобы исполнять свои обязанности в парламенте и добиться того положения в графстве, которое соответствовало бы его обширным талантам.

В первую сессию этот великий притворщик тайл свои планы про себя и ни разу не открыл рта, за исключением того случая, когда подавал петицию от Мадбери. Но он усердно являлся на свое место и внимательно присматривался к парламентским делам и порядкам. Дома он занимался изучением «Синих книг»<sup>[253]</sup>, к беспокойству и недоумению леди Джейн, которой казалось, что он убивает себя ночной работой и таким чрезмерным усердием. Он завязал знакомства с министрами и с лидерами своей партии, решив в ближайшие же годы завоевать место в их рядах.

Нежность и доброта леди Джейн внушали Ребекке такое презрение, что этой маленькой женщине стоило немалого труда скрывать его. Простодушие и наивность, которые отличали леди Джейн, всегда выводили из себя нашу приятельницу Бекки, и временами она не могла даже удержаться от презрительного тона в разговоре с невесткой. С другой стороны, и леди Джейн раздражало присутствие Бекки в доме. Муж постоянно беседовал с гостьей; казалось, они обмениваются какими-то знаками, понятными им одним, и Питт говорил с нею о таких вопросах, которые ему и в голову не пришло бы обсуждать с женой. Леди Джейн, быть может, и не поняла бы их, но все равно ей было обидно сидеть, сознавая, что ей нечего сказать, и слушать, как эта маленькая миссис Родон болтает обо всем на свете, находит слово для каждого мужчины и ни у кого не остается в долгу, – в молчании сидеть в собственном доме у камина совсем одной, в то время как все мужчины толпились вокруг ее соперницы.

В деревне леди Джейн, бывало, рассказывала сказки детям, собиравшимся у ее колен (с ними всегда был и маленький Родон, очень привязанный к тетке); но, когда в комнату входила Бекки и ее недобрые зеленые глаза загорались насмешкой, бедная леди Джейн

сейчас же замолкала под этим презрительным взглядом. Ее нехитрые выдумки в испуге разлетались, как феи в волшебных сказках перед могучим злым духом. Она не могла собраться с мыслями и рассказывать дальше, хотя Ребекка с неуловимым сарказмом в голосе просила ее продолжать эту очаровательную сказку. Добрые мысли и тихие удовольствия были противны миссис Бекки: они раздражали ее; она ненавидела людей, которым они нравились; она терпеть не могла детей и тех, кто любит их.

– Не выношу ничего пресного, – заявила она лорду Стайну, передразнивая леди Джейн и ее манеры.

– Как некая особа не выносит ладана, – отвечал милорд с насмешливым поклоном и хрипло захохотал.

Итак, обе леди не слишком часто виделись друг с другом, за исключением тех случаев, когда жене младшего брата нужно было что-нибудь от невестки, – тогда она ее навещала. Они называли друг друга «милочка» и «душечка», хотя заметно сторонились одна другой. Между тем сэр Питт, несмотря на свои многочисленные занятия, ежедневно находил время заехать к невестке.

В день, когда он впервые присутствовал на обеде в честь спикера, сэр Питт воспользовался случаем показаться невестке во всем параде – в старом мундире дипломата, который он носил, когда был атташе при пумперникельском посольстве.

Бекки наговорила ему кучу комплиментов по поводу его костюма и почти так же восхищалась им, как его жена и дети, когда он зашел к ним перед отъездом из дому. Бекки сказала, что только чистокровный дворянин может решиться надеть этот придворный костюм. Только люди древнего рода умеют носить *culotte courte*<sup>[254]</sup>. Питт с удовлетворением посмотрел на свои ноги, которые, по правде сказать, отличались не большей красотой и округлостью линий, чем придворная шпага, болтавшаяся у него на боку, – Питт, повторяем, посмотрел на свои ноги и решил в глубине души, что он неотразим.

Как только он ушел, Бекки нарисовала на него карикатуру и показала лорду Стайну, когда тот приехал. Его милость, восхищенный точно переданным сходством, взял набросок с собой. Он сделал сэру Питту Кроули честь встретиться с ним в доме миссис Бекки и был очень любезен с новым баронетом и членом парламента. Питт был поражен той почтительностью, с какой знатный пэр обращался с его

невесткой, легкостью и блеском ее разговора и восхищением, с каким все мужчины слушали ее. Лорд Стайн высказал уверенность, что баронет только начинает свою общественную карьеру, и жаждал послушать его как оратора. Так как они были близкие соседи (ибо Грейт-Гонт-стрит выходит на Гонт-сквер, одну сторону которого, как всем известно, занимает Гонт-Хаус), милорд выразил надежду, что, как только леди Стайн приедет в Лондон, она будет иметь честь познакомиться с леди Кроули. Через день или два лорд Стайн завез своему соседу визитную карточку; его предшественнику он никогда не оказывал такого внимания, несмотря на то, что они целый век жили рядом.

Среди этих интриг, аристократических собраний и блестящих персонажей Родон с каждым днем чувствовал себя все более одиноким. Ему не возбранялось целые дни просиживать в клубе, обедать с холостыми приятелями, приходить и уходить когда вздумается. Он и Родон-младший не раз отправлялись на Гонт-стрит и проводили время с миледи и детьми, между тем как сэр Питт навещал Ребекку, по пути в парламент или возвращаясь оттуда.

Бывший полковник часами сидел в доме брата, почти ничего не делая и ни о чем не думая. Он был рад, если ему давали какое-нибудь поручение: сходить узнать что-нибудь про лошадь или про прислугу или разрезать жареную баранину за детским столом. Выбитый из седла и усмиренный, он стал лентяем и совершенным тьюфом. Далила лишила его свободы и обрезала ему волосы. Смелый и беспечный гуляка, каким он был десять лет тому назад, теперь стал ручным и превратился в вялого, послушного толстого пожилого джентльмена.

А бедная леди Джейн чувствовала, что Ребекка пленила ее супруга; что, впрочем, не мешало им при встречах по-прежнему называть друг друга «душечкой» и «милочкой».

## Глава XLVI

### Невзгоды и испытания

Между тем наши друзья в Бромптоне встречали Рождество по-своему и не слишком весело.

Из ста фунтов, составлявших весь ее годовой доход, вдова Осборна обычно отдавала около трех четвертей отцу с матерью в уплату за содержание свое и Джорджи. Еще сто двадцать фунтов присылал Джоз, и, таким образом, семья, состоявшая из четырех человек, при единственной девушке-ирландке, обслуживавшей также и Клепа с женою, могла жить скромно, но прилично, не падая духом после перенесенных недавно невзгод и разочарований, и даже приглашать изредка к чаю кого-либо из друзей. Седли все еще сохранял свой авторитет в семье мистера Клепа, своего бывшего подчиненного. Клеп помнил время, когда он, сидя на кончике стула за богатым столом коммерсанта на Рассел-сквер, выпивал стаканчик за здоровье миссис Седли, мисс Эмми и мистера Джозефа в Индии. Сейчас, в воспоминаниях, прошлое это казалось еще более великолепным; каждый раз, когда почтенный конторщик приходил из своей кухни-приемной наверх в гостиную и пил с мистером Седли чай или грог, он говорил:

– Это не то, к чему вы когда-то привыкли, сэр, – и так же серьезно и почтительно пил за здоровье обеих дам, как в дни их наибольшего процветания. Он находил, что мисс Эмилия играет божественно, и считал ее самой изящной леди. Он никогда не садился раньше Седли даже в клубе и не позволял никому из членов общества непочтительно отзываться об этом джентльмене. Когда-то он видел, какие важные люди в Лондоне пожимали руку мистеру Седли.

– Я знал его в те времена, – говорил он, – когда его можно было встретить на бирже вместе с Ротшильдом, и лично я всем ему обязан.

Клеп со своей прекрасной репутацией и хорошим почерком вскоре же после разорения хозяина нашел себе другое место. Один из бывших компаньонов Седли был очень рад воспользоваться услугами мистера Клепа и положил ему приличное жалованье.

– Такая мелкая рыбешка, как я, может плавать и в лоханке, – говорил старый конторщик.

Короче говоря, Седли понемногу растерял всех своих богатых друзей, но этот прежний его подчиненный оставался ему верен.

Из той небольшой доли доходов, которую Эмилия удерживала для себя, она, бережливо рассчитывая каждый шиллинг, одевала своего дорогого мальчика так, как подобало сыну Джорджа Осборна, и платила за его обучение в школе, куда после долгих опасений и колебаний, после тайных страхов и мучительных сомнений решила отдать сына. До поздней ночи она блуждала в дебрях грамматики и географии, чтобы потом учить Джорджи. Она даже принялась за латынь, мечтая быть ему полезной в преодолении этой премудрости. Расставаться с ним на целый день, отдавать его на произвол учительской трости и грубости школьных товарищей – было для слабой, чувствительной матери почти то же, что снова отнимать его от груди. А Джордж с великой радостью убегал в школу. Он жаждал перемен. Эта детская радость ранила сердце матери, – ведь сама она так страдала, отпуская от себя сына. Ей хотелось, чтобы и он огорчился, а потом она начинала раскаиваться в своем эгоизме, в том, что хотела видеть родного сына несчастным.

Джорджи делал большие успехи в школе, директором которой был приятель верного поклонника его матери – преподобного мистера Бинни. Он приносил домой бесчисленные награды и похвальные отзывы. Каждый вечер он рассказывал матери бесконечные истории про своих школьных товарищей, – какой молодчина Лайонс и какой трус Сниффин; а отец Стила в самом деле поставляет в училище мясо, а мать Голдинга каждую субботу приезжает за ним в карете; у Нита панталоны со штрипками, нельзя ли и ему пришить штрипки? Булл-старший такой сильный (хотя читает еще только Евтропия<sup>[255]</sup>), что мог бы положить на обе лопатки самого мистера Уорда, помощника учителя. Так Эмилия перезнакомилась со всеми мальчиками в школе и знала их не хуже самого Джорджи. По вечерам она помогала ему делать письменные упражнения и так усердствовала над его уроками, как будто сама должна была утром отвечать учителю. Однажды, после драки со Смитом, Джордж вернулся к матери с синяком под глазом и ужасно хвастался перед нею и перед восхищенным старым дедушкой своими подвигами на поле брани, на котором он, говоря по правде,

показал себя далеко не героем и потерпел решительное поражение. Эмилия до сих пор не может простить этого Смигу, хотя он теперь мирно торгует в аптеке близ Лестер-сквер.

В таких тихих занятиях и безобидных хлопотах проходила жизнь кроткой вдовы; годы отметили свое течение двумя-тремя серебряными нитями в ее волосах да провели чуть заметную морщинку на ее чистом лбу. Но она с улыбкой смотрела на эти отпечатки времени. «Какое значение это имеет для такой старухи, как я?» – говорила она. Все ее надежды были сосредоточены на сыне, который должен стать знаменитым, прославленным, великим человеком, как он того заслуживает. Она хранила его тетради, его рисунки и сочинения и показывала их в своем маленьком кругу, словно они были чудом гениальности. Некоторые из них она доверила мисс Доббин, чтобы показать их мисс Осборн, тетке Джорджа, и даже самому мистеру Осборну: может быть, старик раскается в своем жестокосердии и злобе по отношению к тому, кого уже нет на свете. Все ошибки и недостатки своего мужа она похоронила вместе с ним. Она помнила только возлюбленного, который женился на ней, пожертвовав всем, благородного, прекрасного и храброго супруга, который обнимал ее в то утро, когда уходил сражаться и умирать за своего короля. И она верила, что герой улыбается, глядя с небес на это чудо в образе мальчика, оставленного ей на радость и утешение.

Мы уже видели, что один из дедушек Джорджа (мистер Осборн), восседая в своих креслах на Рассел-сквер, день ото дня становился все несдержаннее и раздражительнее, а дочь его, несмотря на свой прекрасный экипаж и прекрасных лошадей, несмотря на то, что ее имя значилось в половине списков благотворительных обществ столицы, была несчастной, одинокой, угнетенной старой девой. Снова и снова возвращалась она мыслью к прелестному мальчику, своему племяннику, которого ей однажды довелось увидеть. Она мечтала о том, чтобы ей позволили подъехать в своем прекрасном экипаже к дому, где он жил, и каждый день, одиноко катаясь по Парку, она смотрела по сторонам в надежде встретить его. Ее сестра, супруга банкира, иногда удаивалась навестить свой старый дом на Рассел-сквер и свою подругу детства. Она привозила с собой двух хилых детей в сопровождении чопорной няньки и, хихикая, жеманным голосом тараторила о светских знакомых, о том, что ее маленький



Фредерик – вылитый лорд Клод Лоллипоп, а ее милую Марию заметила сама баронесса, когда они катались в Роухемптоне в колясочке, запряженной осликом. Она просила сестру уговорить папá сделать что-нибудь для ее дорогих малюток. Ей хотелось, чтобы Фредерик пошел в гвардию; и если ему придется быть старшим в роде (мистер Буллок положительно во всем себе отказывает, из кожи лезет, чтобы купить поместье), то чем же будет обеспечена ее дорогая девочка?

– Я надеюсь на *тебя*, милочка, – говорила миссис Буллок, – потому что моя доля папиного наследства перейдет, как ты понимаешь, к главе семьи. Милейшая Рода Мак-Мул вызовет имение Каслтодди, как только умрет бедный милый лорд Каслтодди, а у него то и дело случаются припадки эпилепсии; и маленький Макдаф Мак-Мул будет виконтом Каслтодди. Оба мистера Бледайера с Минсинглейн закрепили свои состояния за маленьким сыном Фанни Бледайер. Ты понимаешь, как это важно, чтобы и мой крошка Фредерик был старшим в роду... и... и... попроси папá перенести свой текущий счет к нам на Ломбард-стрит. Хорошо, дорогая? Неловко, что у него счет у Стампи и Роди.

После такой беседы, где светская болтовня мешалась с грубой корыстью, и после поцелуя, похожего на прикосновение устрицы, миссис Фредерик Буллок забирала своих накрахмаленных птенцов и, все так же тараторя и хихикая, усаживалась в карету.

Каждый визит, который эта представительница хорошего тона наносила своим родным, только портил дело: отец увеличивал свои вложения у Стампи и Роди. Ее покровительственная манера становилась все более невыносимой. Бедная вдова в маленьком домике в Бромптоне, охраняя свое сокровище, не подозревала, как жадно кто-то зарится на него.

В тот вечер, когда Джейн Осборн сказала отцу, что видела его внука, старик ничего не ответил, но он не рассердился и, уходя к себе, довольно ласково пожелал ей доброй ночи. Вероятно, он много размышлял о том, что она сказала, а может быть, и навел у Доббинов некоторые справки о ее визите, ибо недели через две после этого он спросил, где ее французские часики с цепочкой, с которыми она обычно не расставалась.

– Я купила их на собственные деньги, сэр, – испуганно ответила мисс Джейн.

– Закажи себе другие такие же или еще лучше, если найдутся, – сказал старый джентльмен и погрузился в молчание.

За последнее время обе мисс Доббин несколько раз упрашивали Эмилию отпустить к ним Джорджа: он очень понравился тетке; может быть, и дедушка, намекали они, тоже решит наконец сменить гнев на милость, – Эмилия, конечно, не захочет мешать счастьем сына.

Нет, этого Эмилия не хотела, но она с тяжелым сердцем и большой опаской принимала их приглашения, положительно места себе не находила в отсутствие ребенка и встречала его, когда он возвращался, с таким чувством, словно он избавился от какой-то опасности. Он привозил домой деньги и игрушки, на которые вдова смотрела с беспокойством и ревностью. Она всегда спрашивала, не видал ли он там незнакомого старого джентльмена. Только старого сэра Уильяма, который катал его в фаэтоне, отвечал мальчик, да еще мистера Доббина, он приехал к вечеру на своей прекрасной гнедой – нарядный, в зеленом фраке, с розовым галстуком и с хлыстиком с золотым набалдашником; мистер Доббин обещал показать ему Тауэр<sup>[256]</sup> и взять его с собой на охоту с гончими.

Но однажды, возвратившись, он сказал:

– Был старый джентльмен с густыми бровями, в широкополой шляпе и с толстой цепочкой с печатками. (Мистер Осборн приехал как раз в то время, когда кучер катал Джорджа на сером пони вокруг лужайки.) Он очень долго смотрел на меня и весь дрожал. После обеда меня заставили прочитать: «Зовут меня Норвал»<sup>[257]</sup>. Тетя заплакала, она всегда плачет. – Таков был отчет Джорджа в этот вечер.

Эмилия поняла, что мальчик видел деда, и в страшном волнении стала ожидать предложений с его стороны, уверенная в том, что они должны последовать. И действительно, через несколько дней ее предчувствия сбылись. Мистер Осборн совершенно официально предлагал взять мальчика к себе и сделать его наследником всего состояния, которое раньше предназначалось его отцу. Он обязывался пожизненно выплачивать миссис Джордж Осборн сумму, достаточную, чтобы обеспечить ей приличное существование. Если миссис Джордж Осборн предполагает вторично выйти замуж – мистер Осборн слышал, что таково ее намерение, – выплата ей

обеспечения не будет прекращена. Но он ставил непременно условием, чтобы ребенок поселился у него на Рассел-сквер или в каком-либо другом месте по его выбору. Мальчику будет позволено время от времени навещать миссис Джордж Осборн по месту ее жительства. Письмо с этим сообщением было ей доставлено и прочтено, когда матери не было дома, а отец, по обыкновению, ушел в Сити.

Эмилия очень редко сердилась, быть может, два-три раза за свою жизнь, – и вот поверенному мистера Осборна посчастливилось увидеть ее во время одного из таких приступов гнева. Она поднялась, сильно покраснев и вся дрожа, лишь только мистер По прочел письмо и протянул его ей; она разорвала письмо на мелкие кусочки и растоптала их.

– «Чтобы я вторично вышла замуж? Чтобы я взяла деньги за разлуку с сыном? Какое ужасное оскорбление! Скажите мистеру Осборну, что это – подлое письмо, сэр... подлое письмо! Я не отвечу на него. До свиданья, сэр!» И она отпустила меня кивком головы, словно королева в какой-нибудь трагедии, – рассказывал потом поверенный.

Родители в тот день даже не заметили ее волнения, и она не стала передавать им свой разговор с поверенным. У них были свои дела, немало их заботившие, дела, которые самым непосредственным образом касались интересов этой невинной и ничего не подозревавшей леди. Старый джентльмен, ее отец, всегда был занят какими-нибудь спекуляциями. Мы видели, как он прогорел на торговле вином и углем. Но, шныряя усердно и неутомимо по Сити, он опять набрел на какую-то аферу и так увлекся ею, несмотря на предостережения мистера Клепа, что потом и не смел признаться, как далеко он зашел в этом предприятии. А так как у мистера Седли было правило не говорить о денежных делах с женой и дочерью, то они и не подозревали, какое бедствие грозит им, пока несчастный старик не вынужден был постепенно во всем признаться.

Прежде всего это сказалось на мелких хозяйственных счетах, которые уплачивались каждую неделю. «Перевод из Индии еще не пришел», – с расстроенным лицом говорил мистер Седли жене. И так как она всегда аккуратно платила по счетам, то торговцы, к которым бедная леди должна была обратиться с просьбой об отсрочке, приняли

это с большим неудовольствием, хотя со стороны других, менее аккуратных покупателей такие просьбы были для них делом привычным. Деньги, которые давала в семью Эмми – давала с легким сердцем и ни о чем не спрашивая, – позволяли семье кое-как перебиваться, хотя бы и на половинном пайке. И первые шесть месяцев прошли сравнительно легко: старый Седли все еще верил, что его акции должны подняться и что все устроится.

Однако и в конце полугодия те шестьдесят фунтов от Джоза, что могли бы выручить семью, не были получены, и дела ее шли все хуже. Миссис Седли, сильно постаревшая и утратившая бодрость духа, только молчала или уходила на кухню к миссис Клеп – поплакать. Мясник смотрел в сторону, бакалейщик дерзил. Раза два маленький Джордж ворчал по поводу обеда, и Эмилия, которая сама удовольствовалась бы ломтиком хлеба, не могла не заметить, что о сыне ее мало заботятся, и прикупала кое-что на свои личные небольшие средства, только бы мальчик был здоров.

Наконец родители сказали ей все или, вернее, рассказали нечто маловразумительное и путаное, как вообще рассказывают о себе люди, попавшие в затруднительное положение. Когда пришли ее собственные деньги, Эмилия, собираясь заплатить родителям, хотела удержать некоторую часть, так как заказала новый костюм для Джорджи.

Тут выяснилось, что Джоз им больше не помогает и что на хозяйство не хватает денег, – как Эмилия и сама должна была бы видеть, говорила мать, но ведь она ни о чем и ни о ком не думает, кроме Джорджи. Тогда Эмилия молча протянула через стол все свои деньги и ушла к себе в комнату, чтобы там выплакаться. Но особенно грустно было отказываться от костюмчика, который она с такой радостью готовила для рождественского подарка сыну и покрой и фасон которого долго обсуждала со скромной портнихой, своей приятельницей.

Труднее же всего ей было сказать об этом Джорджи, и Джорджи заявил шумный протест. У всех будут новые костюмы к Рождеству. Мальчики будут смеяться над ним. Ему нужен новый костюм. Ведь она обещала. У бедной вдовы нашлись в ответ только поцелуи. Со слезами она стала чинить его старый костюм. Потом порылась среди своих немногочисленных нарядов – нельзя ли что-нибудь продать,

чтобы приобрести желанную обновку, и наткнулась на индийскую шаль, которую прислал ей Доббин. Она вспомнила, как в былые дни ходила с матерью в прекрасную лавку с индийскими товарами на Ладгет-Хилл, где такие вещи можно было не только купить, но и продать и сдать на комиссию. Щеки ее разругались и глаза загорелись при этой мысли, и, весело улыбаясь, она расцеловала Джорджа перед его уходом в школу. Мальчик понял, что его ждет приятный сюрприз.

Завязав шаль в платок (тоже подарок доброго майора), она спрятала сверток под накидкой и прошла пешком, раскрасневшись и горя нетерпением, всю дорогу до Ладгет-Хилл; она так быстро шла вдоль ограды парка и так проворно перебегала через улицы, что мужчины оборачивались, когда она спешила мимо, и заглядывались на ее хорошенькое разгоряченное личико. Эмилия рассчитала, как ей истратить деньги, которые она выручит от продажи шали: кроме костюмчика, она может купить книги, о которых Джорджи мечтал, и заплатить за учебу в школе за полгода. Хватит и на то, чтобы подарить отцу новый плащ вместо его единственной старой шинели. Она не ошиблась в ценности подарка майора: шаль была прекрасная, очень тонкая, и купец сделал весьма выгодную покупку, заплатив ей двадцать гиней.

Восхищенная и взволнованная, Эмилия побежала со своим богатством в магазин Дартона, у собора Св. Павла, и купила там книжки «Помощник родителям» и «История Сэндфорда и Мертона»<sup>[258]</sup>, о которых мечтал Джорджи, затем села со своим пакетом в омнибус и весело покатила домой. Там она, присев за стол, с особым удовольствием вывела своим изящным мелким почерком на первом листке каждого томика: «Джорджу Осборну рождественский подарок от любящей матери». Томики эти с красивой аккуратной надписью сохранились до сих пор.

Она только что вышла из своей комнаты с книжками в руках, чтобы положить их на стол, где сын должен был их найти по приходе из школы, как в коридоре встретила с матерью. Семь маленьких томиков в тисненых золотом переплетах бросились в глаза старой леди.

– Это что? – спросила она.

– Книги для Джорджи, – ответила Эмилия, краснея. – Я... я... обещала подарить ему на Рождество.

– Книжки! – воскликнула старая леди с негодованием. – Книжки, когда вся семья сидит без хлеба! Книжки! Когда, для того чтобы содержать тебя и твоего сына в довольстве и спасти от тюрьмы твоего дорогого отца, я продала все до одной безделушки и индийскую шаль со своих плеч! Все, и даже ложки, лишь бы поставщики не могли оскорблять нас и мистер Клеп, который имеет на это право, получил свою плату; потому что он не какой-нибудь сквалыга-хозяин, а добрейший человек и отец семейства. Эмилия, тырываешь мне сердце своими книжками и своим сыном, которого губишь, потому что не хочешь с ним расстаться! О Эмилия, я молю бога, чтобы твой ребенок не доставил тебе столько горя, сколько я видела от своих детей. Джоз бросает отца на старости лет, а тут еще Джордж, который мог бы быть богатым и обеспеченным, ходит в школу, как лорд, с золотыми часами и цепочкой, когда у моего милого, дорогого старого мужа нет и... и... шиллинга!

Истериические всхлипывания и крики прервали речь миссис Седли; они, как эхо, разнеслись по всем комнатам маленького дома, обитатели которого слышали каждое слово этого разговора.

– Маменька, маменька! – воскликнула бедная Эмилия, обливаясь слезами. – Вы мне ничего не говорили. Я... я обещала ему книги. Я... я только сегодня утром продала свою шаль. Возьмите деньги... Возьмите все! – И дрожащими пальцами она достала серебро и соверены – свои драгоценные золотые соверены! – она совала их в руки матери, а они рассыпались и катились вниз по лестнице.

Потом она убежала к себе и бросилась на кровать в безмерном горе и отчаянии. Теперь она поняла. Она приносит мальчика в жертву своему эгоизму. Если бы не она, ее сыну досталось бы богатство, положение, образование; он мог бы занять место своего отца – то место, которого старший Джордж лишился из-за нее. Стоит ей сказать слово, и ее старый отец получит средства к жизни, а мальчик – целое состояние. Каково нежному раненому сердцу это сознавать!

## Глава XLVII

### Гонт-Хаус

Кто не знает, что городской дворец лорда Стайна помещается на Гонт-сквер, от которого идет Грейт-Гонт-стрит – та самая улица, куда мы в свое время, еще при жизни покойного сэра Питта Кроули, отвезли Ребекку. Загляните сквозь решетку, и за темными деревьями, в глубине сада, вы увидите нескольких жалких гувернанток, прогуливающихся с бледными питомцами по дорожкам вокруг унылого газона, в центре коего возвышается статуя лорда Гонта, сражавшегося при Миндене<sup>[259]</sup>, – он в парике с тремя косичками, но в одежде римского императора. Гонт-Хаус занимает почти целиком одну сторону сквера. Остальные состоят из особняков, знававших лучшие дни, – это высокие темные дома с каменными или окрашенными в более светлые тона карнизами. За узкими, неудобными окнами царят, вероятно, потемки. Гостеприимство отошло от этих дверей, как отошли времена расшитых галуном лакеев и мальчишек-проводников, которые гасили свои факелы в железных гасильниках, до сих пор сохранившихся возле фонарей у подъезда. Ныне в сквер проникли медные дверные дощечки: «Доктор», «Западное отделение Дидлсекского банка», «Англо-Европейское общество» и т. д. Все это являет мрачное зрелище – да и дворец милорда Стайна не менее мрачен. Я видел его только снаружи – высокую ограду с грубыми колоннами у массивных ворот, в которые иногда выплывает старый привратник с толстой и угрюмой красной физиономией, а над оградой – чердак и окна спален да трубы, из которых теперь редко вьется дым, ибо нынешний лорд Стайн живет в Неаполе, предпочитая вид залива, Капри и Везувия мрачному зрелищу ограды на Гонт-сквер.

В нескольких десятках ярдов дальше по Нью-Гонт-стрит, там, куда выходят службы Гонт-Хауса, прячется маленькая скромная боковая дверь; вы едва отличите ее от дверей конюшни, но немало изящных закрытых экипажей останавливалось в былые времена у этого порога, как сообщил мне мой осведомитель, маленький Том Ивз, который все решительно знает и который показывал мне эти места.

– В эту дверь не раз входили и выходили принц и Пердита<sup>[260]</sup>, – докладывал он мне. – Здесь с герцогом \*\*\* бывала Марианна Кларк<sup>[261]</sup>. Эта дверь ведет в знаменитые *petits appartements*<sup>[262]</sup> лорда Стайна; одна комната там вся отделана слоновой костью и белым атласом, другая – черным деревом и черным бархатом; там есть маленькая банкетная зала, скопированная с дома Салюстия в Помпее и расписанная Козуэем<sup>[263]</sup>, и игрушечная кухонька, где все кастрюли из серебра, а вертелы из золота. Здесь Эгалите<sup>[264]</sup>, герцог Орлеанский, жарил куропаток в ту ночь, когда они с маркизом Стайном выиграли сто тысяч фунтов в ломбер у некоей высокопоставленной особы. Часть этих денег пошла на французскую революцию, часть – на покупку лорду Гонту титула маркиза и ордена Подвязки, а остальное... – Но в наши планы не входит сообщать о том, на что пошло остальное, хотя Том Ивз, который знает все чужие дела, мог бы дать нам отчет в каждом шиллинге.

Кроме этого дворца в столице, маркиз владел в различных частях трех королевств многими замками и дворцами, описание которых можно найти в путеводителях: замок Стронгбоу с лесами на берегу Шеннона; Гонт-Касл в Кармартеншире, где был взят в плен Ричард II; Гонтли-Холл в Йоркшире, где было, как мне рассказывали, двести серебряных чайников для гостей, с соответствующей великолепной сервировкой, не говоря уж о Стилбруке в Хэмпшире – ферме милорда, этой сравнительно скромной резиденции, где стояла памятная нам всем мебель, – она продавалась с аукциона после смерти милорда знаменитым, ныне тоже умершим, аукционером.

Маркиза Стайн происходила из древнего и прославленного рода Керлайн, маркизов Камелот, которые сохраняли свою старую веру еще со времен обращения в христианство досточтимого друида, их предка, и род которых был известен в Англии задолго до прибытия на наши острова короля Брута<sup>[265]</sup>. Титул старших сыновей в этом доме – Пендрагон. Сыновья с незапамятных времен носили имена Артуров, Утеров, Карадоков. Многие из них сложили головы в верноподданнических заговорах. Елизавета предала казни современного ей Артура, который был камергером Филиппа и Марии<sup>[266]</sup> и отвозил письма шотландской королевы<sup>[267]</sup> ее дядьям Гизам. Его младший сын был офицером великого герцога<sup>[268]</sup>, одним



из деятельных участников знаменитой Варфоломеевской ночи. Все время, пока королева Мария томилась в тюрьме, фамилия Камелот непрестанно устраивала заговоры в ее пользу. Она понесла большие имущественные потери, как снаряжая войска против испанцев во времена Армады<sup>[269]</sup>, так и подвергаясь денежным штрафам и конфискациям по распоряжению Елизаветы – за укрывательство католических священников, за упорный нонконформизм и за папистские злодеяния. Один малодушный представитель этой семьи, живший во времена короля Иакова<sup>[270]</sup>, отрекся было от своей веры под влиянием доводов этого великого богослова, и вследствие такого отступничества имущественное положение рода несколько восстановилось. Но уже следующий граф Камелот, живший в царствование Карла, вернулся к вере отцов, и фамилия продолжала сражаться за нее и беднеть во славу ее до тех пор, пока оставался в живых хоть один Стюарт, способный замыслить или возглавить восстание.

Леди Мэри Керлайн воспитывалась в одном из парижских монастырей, ее крестной матерью была дофина Мария-Антуанетта<sup>[271]</sup>. В самом расцвете красоты ее выдали замуж за лорда Гонта – продали, как говорят, этому человеку, бывшему тогда в Париже и выигравшему огромные суммы у брата этой леди на банкетах Филиппа Орлеанского. Знаменитую дуэль графа Гонта с графом де ля Маршем, офицером «серых мушкетеров», молва приписывала в то время притязаниям этого офицера (бывшего пажом и оставшегося любимцем королевы) на руку красавицы леди Мэри Керлайн. Она вышла замуж за лорда Гонта, когда граф еще не оправился от полученных ранений, поселилась в Гонт-Хаусе и одно время была украшением блестящего двора принца Уэльского. Фокс провозглашал тосты в ее честь, Моррис и Шеридан воспевали ее в своих стихах; Малмсбери отвечивал ей самые изящные свои поклоны; Уолпол называл ее очаровательницей; Девоншир чуть ли не ревновал ее. Но ее пугали буйные развлечения общества, в которое она попала, и, родив двух сыновей, она замкнулась в благочестивой и уединенной жизни. Неудивительно, что лорда Стайна, любившего удовольствия и веселье, не часто видели рядом с этой трепещущей, молчаливой, суеверной и несчастной женщиной.

Упомянутый раньше Том Ивз (который не имеет никакого отношения к нашему рассказу, за исключением того, что знает весь лондонский свет, а также историю и тайны всех знатных фамилий) сообщил мне дальнейшие сведения относительно миледи Стайн, возможно, достоверные, а возможно, и выдуманные.

– Унижения, которым подвергалась эта леди у себя в доме, – рассказывал Том, – были ужасны. Лорд Стайн заставлял ее садиться за стол с такими женщинами, что я скорее умер бы, чем позволил миссис Ивз встречаться с ними, – с леди Крекенбери, с миссис Чипинхем, с мадам де ля Крюшкассе, женой французского секретаря (от любой из этих дам Том Ивз, который с наслаждением пожертвовал бы для них собственной женой, был бы счастлив получить поклон или приглашение на обед), – одним словом, со всеми царствовавшими фаворитками. И неужели вы думаете, что эта леди из такой фамилии, не уступающей в гордости самим Бурбонам, для которой Стайна просто лакеи, выскочки (ибо это, в сущности, не старинные Гонты, а младшая, сомнительная ветвь дома), – неужели вы думаете, говорю я (читатель не должен забывать, это говорит Том Ивз), что маркиза Стайн, самая надменная женщина в Англии, так покорилась бы своему супругу, если бы на то не было особых причин? Вздор! Поверьте мне, есть *тайные* причины! И я скажу вот что: эмигрировавший сюда аббат де ля Марш, участвовавший в Киберонском деле<sup>[272]</sup> вместе с Пюизе и Тентаньяком, был тот самый полковник «серых мушкетеров», с которым Стайн дрался на дуэли в восемьдесят шестом году, и вот... он снова встретился с маркизой. После того как преподобный полковник был убит в Бретани, леди Стайн предалась той набожной жизни, которую ведет до сих пор; она каждый день запирается со своим духовником и каждое утро посещает богослужение на Испанской площади. Я выследил ее там – то есть случайно встретил, – и будьте уверены, тут непременно скрывается тайна. Люди не бывают так несчастны, если им не в чем раскаиваться, – добавил Том Ивз, глубокомысленно покачивая головою, – будьте уверены, эта женщина никогда не была бы так покорна, если бы у маркиза не было меча, занесенного над ее головой.

Итак, если сведения мистера Ивза правильны, то этой леди, невзирая на ее высокое положение, приходилось выносить немало личных унижений и под наружным спокойствием скрывать много

тайного горя. Так давайте же, братья мои, чьи имена не вписаны в Красную книгу<sup>[273]</sup>, давайте утешаться приятной мыслью, что и те, кто поставлен выше нас, бывают несчастливы, что у Дамокла, сидящего на атласных подушках и обедающего на золоте, висит над головой грозный меч – в виде судебного пристава, наследственной болезни или фамильной тайны; этот меч, как некое привидение, то и дело выплывает из-за вышитых занавесей и в один прекрасный день обрушится и сразит несчастного.

И если сравнивать положение бедняка с положением знатного вельможи, то (опять-таки по словам Ивза) первый всегда найдет себе какой-то источник утешения. Поскольку вы не ждете наследства и никто не ждет его от вас, вы можете быть в наилучших отношениях с вашим отцом и сыном; а между тем наследник такого высокородного вельможи, как милорд Стайн, не может не злиться, ибо он чувствует себя в некотором роде отрешенным от власти и, следовательно, смотрит на своего соперника далеко не дружелюбным взглядом.

– Считайте за правило, – говорит мистер Ивз, этот старый циник, – что все отцы и старшие сыновья знатных фамилий ненавидят друг друга. Наследный принц всегда находится в оппозиции к короне или нетерпеливо протягивает к ней руки. Шекспир знал свет, дорогой мой сэра, и когда он изображает, как принц Хел (которого семья Гонтов числит своим предком, хотя они имеют не больше отношения к Джону Гонту, чем вы)... как принц Хел примеряет отцовскую корону<sup>[274]</sup>, он дает вам верное изображение всякого законного наследника. Если бы вы были наследником герцогства и тысячи фунтов в день, неужели вы не пожелали бы овладеть ими? Вздор! И совершенно понятно, что всякий знатный человек, испытавший эти чувства по отношению к своему отцу, отлично знает, что сын его питает те же чувства по отношению к нему самому; неудивительно, что они всегда относятся друг к другу недоверчиво и враждебно.

То же самое в отношении старшего сына к младшим. Вам должно быть как нельзя лучше известно, любезный сэра, что каждый старший брат смотрит на младших в доме как на естественных врагов, лишаящих его наличных денег, которые должны по праву принадлежать ему. Я часто слышал, как Джордж Мак-Турк, старший сын лорда Баязета, говорил, что, будь его воля, он, получив титул, сделал бы то, что делают султаны: очистил бы имение, сразу отрубив

головы всем младшим братьям. И все они так думают. Уверяю вас, каждый из них – турок в душе. Да, сэръ, они знают свет!

В эту минуту рядом проходил какой-то знатный вельможа, – шляпа Тома Ивза слетела с его головы, и он бросился вперед с поклоном и улыбкой. Это доказывало, что и он тоже знает свет – по-своему, по том-ивзовски, конечно. Вложив все свое состояние до единого шиллинга в ежегодную ренту, Том мог без злобы относиться к своим племянникам и племянницам, а по отношению к вышестоящим не питал других чувств, кроме постоянного и бескорыстного желания у них пообедать.

Между маркизой и естественным, нежным отношением матери к детям стояла суровая преграда в виде различия вероисповеданий. Самая ее любовь к сыновьям только увеличивала горе и страх этой набожной леди. Ее отделяла от детей роковая бездна. Она не могла протянуть свои слабые руки через эту бездну, не могла перетащить своих детей на тот ее край, где их, как она верила, ждало спасение. Пока сыновья еще были молоды, лорд Стайн, ученый человек и любитель казуистики, устраивал у себя в имении по вечерам, после обеда, за стаканом вина веселое развлечение, стравливая воспитателя своих сыновей, преподобного мистера Трэйла (ныне милорда епископа Илингского), с духовником миледи, отцом Модем, и напуская Оксфорд на Сент-Ашель<sup>[275]</sup>.

– Bravo, Летимер<sup>[276]</sup>! Хорошо сказано, Лойола<sup>[277]</sup>! – восклицал он по очереди.

Он обещал сделать Моля епископом, если тот перейдет в англиканство, и клялся употребить все свое влияние, чтобы добыть Трэйлу кардинальскую шапку, если он отступит от своей веры. Но ни один из богословов не сдавался. И хотя любящая мать надеялась, что ее младший и любимый сын вернется в лоно истинной церкви, церкви его матери, – ужасное, горькое разочарование ожидало набожную леди – разочарование, которое казалось возмездием за греховность ее замужества.

Лорд Гонт женился, как известно всякому, кто вращается в обществе пэров, на леди Бланш Тислвуд, дочери благородной фамилии Бейракрсов, упоминавшихся уже в этой правдивой повести. Молодой чете было отведено одно крыло Гонт-Хауса: ибо глава дома хотел властвовать и, пока царил, – царить безраздельно. Однако его

сын и наследник мало жил дома, не ладил с женой и занимал столько денег – с обязательством заплатить по получении наследства, – сколько ему было необходимо сверх тех скромных сумм, которые отец милостиво выдавал ему. Маркизу были хорошо известны все долги сына до последнего шиллинга. После его безвременной кончины оказалось, что маркиз был владельцем многих векселей своего наследника, скупленных его милостью и завещанных детям младшего сына.

К огорчению милорда Гонта и к злобной радости его естественного врага – отца, леди Гонт была бездетна; поэтому лорду Джорджу Гонту было предписано вернуться из Вены, где он был занят дипломатией и вальсами, и вступить в брачный союз с достопочтенной Джоанной, единственной дочерью Джона Джонса, только что пожалованного барона Хельвелина и главы банкирской фирмы «Джонс, Браун и Робинсон» на Треднидл-стрит. От этого союза произошли несколько сыновей и дочерей, жизнь и деяния которых не входят в нашу повесть.

На первых порах это был счастливый и благополучный брак. Милорд Джордж Гонт умел не только читать, но и сравнительно правильно писать. Он довольно бегло говорил по-французски и был одним из лучших танцоров Европы. Нельзя было сомневаться, что, обладая такими талантами и таким положением на родине, его милость достигнет на своем поприще высших ступеней. Миледи, его жена, чувствовала себя созданной для придворной жизни; ее средства давали ей возможность устраивать роскошные приемы в тех европейских городах, куда призывали мужа его дипломатические обязанности. Шли толки о назначении его посланником, у «Путешественников»<sup>[278]</sup> держали даже пари, что он вскоре будет послом, когда вдруг разнесся слух о странном поведении секретаря посольства: на большом дипломатическом обеде он вдруг вскочил и заявил, что *rôté de foie gras*<sup>[279]</sup> отравлен. Затем он явился на бал в дом баварского посланника, графа Шпрингбок-Гогенлауфена, с бритой головой и в костюме капуцина. А между тем это был отнюдь не костюмированный бал, как потом уверяли.

– Тут что-то неладно, – шептала молва. – С его дедом было то же самое. Это у них в семье.

Его супруга и дети вернулись на родину и поселились в Гонт-Хаусе. Лорд Джордж оставил свой пост на европейском континенте и был послан, как извещала «Газета», в Бразилию. Но людей не обманешь: он никогда не возвращался из поездки в Бразилию, никогда не умирал там, никогда не жил там и даже никогда там не был. Его, в сущности, нигде не было: он исчез.

– Бразилия, – передавал с усмешкою один сплетник другому, – Бразилия – это Сен-Джонс-Вуд. Рио-де-Жанейро – это домик, окруженный высокой стеной; и Джордж Гонт аккредитован при надзирателе, который наградил его орденом Смирительной рубашки.

Таковыми эпитафиями удостаивают друг друга люди на Ярмарке Тщеславия.

Два или три раза в неделю, рано утром, бедная мать, казнясь за грехи, ездила навещать беднягу. Иногда он смеялся при виде ее (и этот смех был для матери горше слез). Иногда она заставляла этого блестящего денди, участника Венского конгресса, за игрой: он возил по полу деревянную лошадку или нянчил куклу маленькой дочки надзирателя. Иногда он узнавал свою мать и отца Моля, ее духовника и спутника; но чаще он забывал о ней, как забыл жену, детей, любовь, честолюбие, тщеславие. Зато он помнил час обеда и ударялся в слезы, если его вино слишком разбавляли водой.

В его крови гнездилась таинственная отравка: бедная мать принесла ее из своего древнего рода. Зло это уже дважды заявляло о себе в семье ее отца, задолго до того, как леди Стайн согрешила и начала искупать свои грехи постом, слезами и молитвами. Гордость рода была сражена, подобно первенцу фараона. Темное пятно роковой гибели легло на этот порог – высокий старинный порог, осененный коронами и резными гербами.

Между тем дети отсутствующего лорда беспечно росли, не ведая, что и над ними тяготеет рок. Первое время они говорили об отце и строили планы о его возвращении. Затем имя живого мертвеца стало упоминаться все реже и наконец совсем забылось. Но убитая горем бабка трепетала при мысли, что эти дети унаследуют отцовский позор, так же как и его почести, и с болью ожидала того дня, когда на них обрушится ужасное проклятие предков.

Такое же мрачное предчувствие преследовало и лорда Стайна. Он пытался утопить в Красном море вина и веселья страшный призрак,

стоявший у его ложа; иногда ему удавалось ускользнуть от него в толпе, потерять его в вихре удовольствий. Но стоило лорду Стайну остаться одному, как призрак возвращался, и с каждым годом он, казалось, становился неотвязнее.

«Я взял твоего сына, – говорил он. – Почему я не могу взять тебя? Я могу заключить тебя в тюрьму, как твоего сына Джорджа. Завтра же я могу прикоснуться к твоей голове – и тогда прощай все удовольствия и почести, пиры, красота, друзья, льстецы, французские повара, прекрасные лошади, дома, – вместо этого тебе дадут тюрьму, сторожа и соломенный тюфяк, как Джорджу Гонту». И тогда милорд бросал вызов грозившему ему призраку; ибо ему было известно средство, как обмануть врага.

Итак, роскошь и великолепие царили за резными порталами Гонт-Хауса с его закоптелыми коронами и вензелями, но счастья там не было. Здесь давались самые роскошные в Лондоне пиры, но удовольствие они доставляли только гостям, сидевшим за столом милорда. Если бы он не был таким знатным вельможей, очень немногие посещали бы его, но на Ярмарке Тщеславия снисходительно смотрят на грехи великих особ. Nous regardons à deux fois<sup>[280]</sup> (как говорила одна француженка), прежде чем осудить такую особу, как милорд. Некоторые записные критики и придирчивые моралисты бранили лорда Стайна, но, несмотря на это, всегда рады были явиться, когда он приглашал их.

– Лорд Стайн просто невозможен, – говорила леди Слингстон, – но все у него бывает, и я, конечно, послежу за моими девочками, чтобы с ними там ничего не случилось.

– Я обязан его милости всем в жизни, – говорил преподобный доктор Трэйл, думая о том, что архиепископ сильно сдал; а миссис Трэйл и ее юные дочери готовы были скорее пропустить службу в церкви, чем хотя бы один из вечеров его милости.

– У этого человека нет ничего святого, – говорил маленький лорд Саутдаун сестре, которая обратилась к нему с кротким увещанием, так как мать передавала ей страшные рассказы о том, что творится в Гонт-Хаусе, – но у него, черт возьми, подается самое лучшее в Европе сухое силери.

Что касается сэра Питта Кроули, баронета, то сэру Питту, этому образцу порядочности, сэру Питту, который вел миссионерские

собрания, ни на минуту не приходило в голову отказываться от посещений Гонт-Хауса.

– Там, где встречаешься с такими особами, как епископ Илингский и графиня Слингстон, там, будьте уверены, Джейн, – говорил баронет, – не может быть задета наша честь. Высокий ранг и положение лорда Стайна дают ему право властвовать над людьми нашего положения. Лорд-наместник графства – уважаемое лицо, дорогая моя. Кроме того, мы когда-то дружили с Джорджем Гонтом; я был первым, а он вторым атташе при пумперникельском посольстве.

Одним словом, все бывали у этого великого человека, – все, кого он приглашал. Точно так же и вы, читатель (не возражайте, все равно не поверю), и я, автор, отправились бы туда, если бы получили приглашение.



## **Глава XLVIII,** ***в которой читателя вводят в высшее общество***

Наконец любезность и внимание Бекки к главе семьи ее мужа увенчались чрезвычайной наградой – наградой хотя, конечно, и не материальной, но которой маленькая женщина добивалась более усердно, чем каких-нибудь осязаемых благ. Если она и не питала склонности к добродетельной жизни, то желала пользоваться репутацией добродетельной особы, а мы знаем, что в светском обществе ни одна женщина не достигнет этой желанной цели, пока не украсит себя шлейфом и перьями и не будет представлена ко двору своего монарха. С этого августейшего свидания она уходит честной женщиной. Лорд-камергер выдает ей свидетельство о добродетели. И как сомнительные товары или письма проходят в карантине сквозь печь, после чего их опрыскивают ароматическим уксусом и объявляют очищенными, так и многие леди, имеющие сомнительную репутацию и разносящие заразу, пройдя через целительное горнило королевского присутствия, выходят оттуда чистые, как стеклышко, без малейшего пятна.

Пусть миледи Бейракрс, миледи Тафто, миссис Бьют Кроули в своем Хэмпшире и другие подобные им дамы, лично знавшие миссис Родон Кроули, кричат: «Позор!» – при мысли о том, что эта мерзкая авантюристка склонится в реверансе перед монархом, и пусть заявляют, что, будь жива добрая королева Шарлотта, она никогда не потерпела бы такой испорченной особы в своей целомудренной гостиной. Но если мы примем в соображение, что миссис Родон подверглась испытанию в присутствии первого джентльмена Европы и выдержала, так сказать, экзамен на репутацию, то, право же, будет явным нарушением верноподданнических чувств сомневаться и дальше в ее добродетели. Я, со своей стороны, с любовью и благоговением оглядываюсь на эту великую историческую личность. И как же высоко мы ценим на Ярмарке Тщеславия благородное звание джентльмена, если это высокочтимое августейшее лицо по

единодушному решению лучшей и образованнейшей части населения было облечено титулом «Первого Джентльмена» своего королевства. Помнишь ли, дорогой М., о друг моей юности, как в некий счастливый вечер, двадцать пять лет тому назад, когда на сцене шел «Тартюф» в постановке Элистана и с Дотоном и Листоном в главных ролях, два мальчика получили от верноподданных учителей разрешение уйти из школы Живодерни<sup>[281]</sup>, где они учились, чтобы присоединиться к толпе на сцене Друри-Лейнского театра, собравшейся приветствовать короля. *Короля?* Да, это был он. Лейб-гвардейцы стояли перед высочайшей ложей; маркиз Стайн (лорд Пудреной комнаты<sup>[282]</sup>) и другие государственные сановники толпились за его креслом, а *он* сидел толстый, румяный, увешанный орденами, в пышных локонах. Как мы пели «Боже, храни короля!». Как все здание сотрясалось и гремело от великолепной музыки! Как все надрывались, кричали «ура!» и махали носовыми платками! Дамы плакали, матери обнимали детей, некоторые падали в обморок от волнения. Народ задыхался в партере, крик и стон стояли над волнующейся, кричащей толпой, выражавшей такую готовность – и чуть ли не в самом деле готовой – умереть за него. Да, мы видели его. Этого судьба у нас не отнимет. Другие видели Наполеона. На свете живут люди, которые видели Фридриха Великого, доктора Джонсона, Марию-Антуанетту... Так скажем своим детям без ложного хвастовства, что мы видели Георга Доброго, Великолепного, Великого.

Итак, в жизни миссис Родон Кроули настал счастливый день, когда этот ангел был допущен в придворный рай, о котором он так мечтал. Невестка была как бы ее крестной матерью. В назначенный день сэр Питт с женой в большой фамильной карете (недавно заказанной по случаю ожидаемого получения баронетом высокой должности шерифа в своем графстве) подкатили к маленькому домику на Керзон-стрит, в назидание Реглсу, который, наблюдая из своей зеленой, увидел роскошные перья внутри кареты и огромные бутоньерки на груди лакеев в новых ливреях.

Сэр Питт в блестящем мундире, со шпагой, болтающейся между ног, вышел из кареты и направился в дом. Маленький Родон прильнул лицом к окну гостиной и, улыбаясь, кивал изо всех сил тетушке, сидевшей в карете. Вскоре Питт снова появился, ведя леди в пышных перьях на голове, закутанную в белую шаль и изящно

поддерживающую свой шлейф из великолепной парчи. Она вошла в карету, словно принцесса, привыкшая всю жизнь ездить ко двору, и милостиво улыбнулась лакею, распахнувшему перед ней дверцы, и сэру Питту, который сел вслед за ней.

Затем появился Родон в своем старом гвардейском мундире, который уже порядочно поистрепался и был ему тесен. Он должен был замыкать процессию и прибыть с визитом к своему монарху в наемном экипаже, но добрая невестка настояла на том, что они все поедут по-семейному: карета просторная, дамы не слишком полные и могут держать шлейфы на коленях, – в конце концов все четверо отбыли вместе. Их карета скоро присоединилась к веренице верноподданнических экипажей, двигавшихся по Пикадилли и Сент-Джеймс-стрит по направлению к старому кирпичному дворцу, где «Брауншвейгская Звезда»<sup>[283]</sup> готовился к приему своего дворянства и знати.

Бекки готова была из окна кареты благословлять всех прохожих: в таком приподнятом состоянии духа находилась она и так сильно было в ней сознание того высокого положения, какого она наконец достигла. Увы, даже у нашей Бекки были свои слабости. Как часто люди гордятся такими качествами, которых другие не замечают в них! Например, Комус твердо убежден, что он самый великий трагик в Англии; Браун, знаменитый романист, мечтает прославиться не как видный писатель, а как светский человек; Робинсон, известный юрист, нисколько не дорожит своей репутацией в Вестминстер-Холле, но считает себя несравненным спортсменом и наездником. Так и Бекки поставила себе целью быть и считаться уважаемой женщиной и добивалась этой цели с удивительным упорством, находчивостью и успехом. Как уже говорилось, временами она готова была и сама вообразить себя светской леди, забывая, что дома у нее в шкатулке нет ни гроша, что кредиторы толпятся у ворот, поставщиков приходится уговаривать и умягчать, – словом, что у нее нет твердой почвы под ногами. И вот сейчас, отправляясь в карете – в фамильной карете! – ко двору, она приняла такой величественный, самодовольный, непринужденный и внушительный вид, что это вызвало улыбку даже у леди Джейн. Она вошла в королевские покои, высоко подняв голову, как подобало бы королеве; и если бы Бекки сделалась королевой, я не сомневаюсь, она бесподобно сыграла бы свою роль.

Мы можем сказать с полной ответственностью, что *costume de cour*<sup>[284]</sup> миссис Родон Кроули по случаю ее представления ко двору был чрезвычайно элегантен и блестящ. Многие леди, которых мы видим, – мы, кто носит ленты и звезды и присутствует на сент-джеймских приемах, или же мы, кто топчется в грязных сапогах по тротуарам Пэл-Мэл и заглядывается в окна проезжающих карет на нарядную публику в шелках и перьях, – многие светские леди, повторяю, которых мы видим в дни утренних приемов около двух часов пополудни, когда оркестр лейб-гвардии в расшитых галуном мундирах играет триумфальные марши, сидя на своих буланых скакунах, как на живых табуретах, – многие леди вовсе не восхищают нас своей красотой в это раннее время дня. Какая-нибудь расплывшаяся графиня шестидесяти лет, декольтированная, подкрашенная, морщинистая и нарумяненная до самых век, со сверкающими брильянтами в парике, представляет зрелище скорее полезное и поучительное, чем привлекательное. Выглядит она как Сент-Джеймс-стрит ранним утром, когда половина фонарей погасла, а другая половина пугливо мерцает, словно духи, приготовившиеся бежать перед рассветом. Такие прелести, какие наш взгляд улавливает в проезжающей мимо карете ее милости, должны были бы показаться на улице только ночью. Если днем даже Цинтия<sup>[285]</sup> кажется бледной, – ибо именно такой приходилось нам наблюдать ее в нынешнем зимнем сезоне, когда Феб нахально заглядывался на нее с неба, – то как же может леди Каслмоулди высоко держать голову, когда солнце глядит в окно кареты, беспощадно выводя на свет божий все морщины и гусиные лапки, которыми время избороздило ее лицо? Нет, в придворных гостиных нужно устраивать приемы в ноябре или в туманный день; а может быть, престарелые султанши нашей Ярмарки Тщеславия должны передвигаться в закрытых носилках, выходить из них закутанными и делать свои реверансы монарху под защитой полумрака.

Однако наша милая Ребекка не нуждалась в таком благодетельном освещении; цвет лица у нее еще не боялся яркого солнечного света, а ее платье – правда, любой современной даме на Ярмарке Тщеславия оно показалось бы самым нелепым и фантастическим одеянием, какое только можно вообразить, но тогда, двадцать пять лет назад, этот наряд в ее глазах и глазах остального

общества казался столь же восхитительным, как и самый блестящий туалет прославленной красавицы нынешнего сезона... Пройдет десятка два лет, и это чудесное произведение портновского искусства отойдет в область предания вместе со всякой другой суетой сует... Но мы слишком отклонились в сторону. Туалет миссис Родон в знаменательный день ее представления ко двору был признан *charmant*<sup>[286]</sup>. Даже добрая леди Джейн вынуждена была с этим согласиться; глядя на миссис Бекки, она с грустью признавалась себе, что в ее собственном наряде гораздо меньше вкуса.

Она и не догадывалась, как много стараний, размышлений и выдумки затратила миссис Родон на этот туалет. У Ребекки был вкус не хуже, чем у любой портнихи в Европе, и такое необычайное умение устраиваться в жизни, о каком леди Джейн не имела представления. Последняя тотчас же заметила великолепную парчу на шлейфе у Бекки и роскошные кружева на ее платье.

Парча – это старый остаток, сказала Бекки, а кружева – необыкновенно удачное приобретение, они лежали у нее сто лет.

– Милая моя миссис Кроули, ведь они должны стоять целое состояние, – сказала леди Джейн, глядя на свои собственные кружева, которые были далеко не так хороши. Затем, приглядевшись к старинной парче, из которой был сшит придворный туалет миссис Родон, она хотела сказать, что не решилась бы сделать себе такое роскошное платье, но подавила в себе это желание, как недоброе.

Но если бы леди Джейн знала все, я думаю, что даже ее обычная кротость изменила бы ей. Дело в том, что, когда миссис Родон приводила в порядок дом сэра Питта, она нашла кружева и парчу – эту собственность прежних хозяек дома – в старых гардеробах и украдкой унесла эти сокровища домой, чтобы украсить ими собственную персону. Бригс видела, как Бекки их взяла, но не задавала вопросов и не поднимала шума; возможно, она даже посочувствовала ей, как посочувствовали бы многие честные женщины.

А брильянты...

– Откуда, черт возьми, у тебя эти брильянты, Бекки? – спросил ее муж, восхищаясь драгоценностями, которых он никогда не видел раньше и которые ярко сверкали у нее в ушах и на шее.

Бекки слегка покраснела и пристально взглянула на него. Питт Кроули также слегка покраснел и уставился в окно. Дело в том, что он сам подарил Бекки часть этих драгоценностей – прелестный брильянтовый фермуар, которым было застегнуто ее жемчужное ожерелье, – и как-то упустил случай сказать об этом жене.

Бекки посмотрела на мужа, потом с видом дерзкого торжества – на сэра Питта, как будто хотела сказать: «Выдать вас?»

– Отгадай! – ответила она мужу. – Ну, глупыш ты мой! – продолжала она. – Откуда, ты думаешь, я их достала – все, за исключением фермуара, который давно подарил мне один близкий друг? Конечно, взяла напрокат. Я взяла их у мистера Полониуса на Ковентри-стрит. Неужели ты думаешь, что все брильянты, какие появляются при дворе, принадлежат владельцам, как эти прекрасные камни у леди Джейн, – они, кстати сказать, гораздо красивее моих.

– Это фамильные драгоценности, – произнес сэр Питт, опять почувствовав себя неловко.

Пока продолжалась эта семейная беседа, карета катила по улице и наконец освободилась от своего груза у подъезда дворца, где монарх восседал уже в полном параде.

Брильянты, вызвавшие восторг Родона, не вернулись к мистеру Полониусу на Ковентри-стрит, да этот джентльмен и не требовал их возвращения. Они вернулись в маленькое тайное хранилище, в старинную шкатулку – давнишний подарок Эмилии Седли, где Бекки хранила немало полезных, а может быть, и ценных вещей, о которых муж ничего не знал. Ничего не знать или знать очень мало – это участь многих мужей. А скрывать – в характере скольких женщин? О дамы! кто из вас не скрывает от мужей счета своих модисток? У скольких из вас есть наряды и браслеты, которые вы не смеее показывать или носите с трепетом? С трепетом и улыбками ластитесь вы к мужу, который сидит рядом с вами и не может отличить новое бархатное платье от вашего старого или новый браслет от прошлогоднего и понятия не имеет о том, что похожий на тряпочку желтый кружевной шарф стоит сорок гиней и что от мадам Бобино каждую неделю приходят настойчивые письма с требованием денег!

Так и Родон ничего не знал ни о прекрасных брильянтовых серьгах, ни о брильянтовом медальоне, украшавшем грудь жены. Но лорд Стайн, который в качестве лорда Пудреной комнаты и одного из

важнейших сановников и славных защитников английского трона присутствовал здесь среди других вельмож во всем блеске своих звезд, орденов, подвязок и прочих регалий и явно выделял эту маленькую женщину из числа других, отлично знал, откуда у нее эти драгоценности и кто платил за них.

Наклонившись к ней с улыбкой, он процитировал всем известные прекрасные стихи из «Похищения локона»<sup>[287]</sup> о брильянтах Белинды, которые «еврей лобзать бы стал и обожать – неверный».

– Но, я надеюсь, ваша милость – правоверный? – сказала маленькая леди, вскинув голову.

Многие леди кругом нее шушукались и судачили, а многие джентльмены кивали головой и перешептывались, видя, какое явное внимание оказывает маленькой авантюристке этот вельможа.

Нет, наше слабое и неопытное перо не в силах передать подробности свидания Ребекки Кроули, урожденной Шарп, с ее царственным повелителем! Слепленные глаза зажмуриваются при одной мысли об этом величии. Верноподданнические чувства не позволяют нам даже мысленно бросить слишком пытливый и смелый взор в священный аудиенц-зал, но заставляют нас быстро и почтительно отступить, в благоговейном молчании отвешивая августейшему величеству низкие поклоны.

Достаточно сказать, что после этого свидания во всем Лондоне не нашлось бы более верноподданнического сердца, чем сердце Бекки. Имя короля было постоянно у нее на устах, и она заявляла, что он очаровательнейший из смертных. Она отправилась в магазин Кольнаги и заказала самый прекрасный его портрет, какой только могло создать искусство и какой можно было достать в кредит, – знаменитый портрет, где лучший из монархов, в кафтане с меховым воротником, в коротких панталонах и в шелковых чулках, изображен сидящим на софе и глупо ухмыляющимся из-под своего кудрявого каштанового парика. Она заказала себе брошку с миниатюрой короля и носила ее. Она забавляла своих знакомых и даже несколько надоела им постоянными разговорами о его любезности и красоте. Кто знает, может быть, маленькая женщина мечтала о роли новой Ментенон или Помпадур<sup>[288]</sup>.

Но интереснее всего было послушать после представления ко двору ее разговоры о добродетели. У Ребекки было несколько

знакомых дам, которые, надо сознаться, пользовались не слишком высокой репутацией на Ярмарке Тщеславия. И вот теперь, сделавшись, так сказать, честной женщиной, Бекки не хотела поддерживать знакомство с этими сомнительными особами: она не ответила леди Крекенбери, когда последняя кивнула ей из своей ложи, а встретив миссис Вашингтон-Уайт на кругу в Парке, и вовсе от нее отвернулась.

– Необходимо, мой милый, дать им почувствовать, кто я такая, – говорила она, – я не могу показываться с сомнительными людьми. Мне от души жаль леди Крекенбери, да и миссис Вашингтон-Уайт очень добрая женщина. Ты можешь ездить к ним и обедать у них, если тебе хочется поиграть в карты. Но я не могу и не хочу у них бывать. И, пожалуйста, будь добр, скажи Смиту, что меня ни для кого из них нет дома.

Описание туалета Бекки появилось в газетах – перья, кружева, роскошные брильянты и все прочее. Миссис Крекенбери с горечью прочитала эту заметку и пустилась в рассуждения со своими поклонниками о том, какую важность напускает на себя эта женщина. Миссис Бьют Кроули и ее юные дочери в Хэмпшире, получив из города номер «Морнинг пост», также дали волю благородному негодованию.

– Если бы у тебя были рыжие волосы, зеленые глаза и ты была дочерью французской канатной плясуньи, – говорила миссис Бьют старшей дочери (которая, напротив, была смуглой, низенькой и курносой девицей), – у тебя, разумеется, были бы роскошные брильянты и твоя кузина леди Джейн представила бы тебя ко двору. Но ты всего только родовитая дворянка, мое бедное дорогое дитя. В твоих жилах течет благороднейшая кровь Англии, а твое приданое – всего лишь добрые принципы и благочестие. Я сама – жена младшего брата баронета, а ведь мне никогда и в голову не приходило представляться ко двору, да и другим не пришло бы это в голову, если бы жива была добрая королева Шарлотта.

Таким образом достойная пасторша утешала себя, а ее дочери вздыхали и весь вечер просидели над Книгой пэров.

Через несколько дней после знаменитого представления ко двору добродетельная Бекки удостоилась другой великой чести: к подъезду Родона Кроули подкатила карета леди Стайн, и выездной лакей,



вместо того чтобы разнести двери, как можно было подумать по его громкому стуку, сменил гнев на милость и только вручил Смиту две визитные карточки, на которых были выгравированы имена маркизы Стайн и графини Гонт. Если бы эти кусочки картона были прекрасными картинами или если бы на них было намотано сто ярдов малинских кружев, стоящих вдвое большее число гиней, Бекки и то не могла бы рассматривать их с большим удовольствием. Могу вас уверить, что они заняли видное место в фарфоровой вазе на столе в гостиной, где хранились карточки ее посетителей. Боже! Боже! Как быстро бедные карточки миссис Вашингтон-Уайт и леди Крекенбери, которым несколько месяцев тому назад наша маленькая приятельница была так рада и которыми это глупенькое создание так гордилось, – боже! боже! – говорю я, – как быстро эти бедные двойки очутились в самом низу колоды при появлении знатных фигурных карт. Стайн! Бейракрс! Джонс Хельвелин и Керлайн Камелот! Можете быть уверены, что Бекки и Бригс отыскали эти высокие фамилии в Книге пэров и проследили эти благородные династии во всех разветвлениях генеалогического древа.

Часа через два приехал милорд Стайн; оплядевшись и все, по обыкновению, приметив, он увидел карточки своих дам, разложенные рукою Бекки, словно козыри в ее игре, и, как было свойственно этому старому цинику, усмехнулся при таком наивном проявлении человеческой слабости. Бекки тотчас спустилась к нему; всякий раз, когда эта дорогая малютка ожидала его милость, ее туалет бывал безукоризнен, волосы в совершенном порядке и платочки, переднички, шарфики, маленькие сафьяновые туфельки и прочие мелочи женского туалета в надлежащем виде; она сидела в изящной непринужденной позе, готовая принять его; если же он являлся неожиданно, она, конечно, спешила в свою комнату, чтобы бросить быстрый взгляд в зеркало, и потом уже сбегала вниз приветствовать знатного пэра.

Стоя в гостиной, он с усмешкой поглядывал на вазу с карточками. Бекки, пойманная с поличным, слегка покраснела.

– Благодарю вас, *monseigneur*, – сказала она. – Вы видите, что ваши дамы были здесь. Как вы добры! Я не могла выйти раньше: я занималась пудингом на кухне.

– Я это знаю: я видел вас в подвальном окне, когда подъехал к дому, – отвечал старый джентльмен.

– Вы все видите, – сказала она.

– Кое-что я вижу, но этого я не мог видеть, моя прелесть, – ответил он добродушно. – Ах вы, маленькая выдумщица! Я слышал, как вы ходили в спальне над моей головой, и не сомневаюсь, вы слегка подрумянились... Вы должны дать немного ваших румян леди Гонт: у нее отвратительный цвет лица... Потом я слышал, как дверь спальни отворилась и вы спустились по лестнице.

– Разве это преступление – повертеться перед зеркалом, когда вы приходите ко мне? – жалобно ответила миссис Родон и потерла щеку носовым платком, словно хотела показать, что на ней совсем нет краски, а только естественный скромный румянец. (Кто может сказать, как оно было на самом деле? Я знаю, есть румяна, которые не сходят, если их потереть платком, а некоторые так прочны, что даже слезы их не смывают.)

– Ну, – сказал старый джентльмен, играя карточкой своей жены, – вы, значит, собираетесь сделаться светской дамой. Вы мучаете бедного старика, заставляя его вводить вас в свет. Все равно вы там не удержитесь, маленькая вы глупышка, – у вас нет денег!

– Вы нам достанете место, – быстро вставила Бекки.

– У вас нет денег, а вы хотите тягаться с теми, у кого они есть. Вы, жалкий глиняный горшочек, хотите плыть по реке вместе с большими медными котлами. Все женщины одинаковы: все они жаждут того, чего не стоит и добиваться... Вчера я обедал у короля, и нам подавали баранину с репой. Обед из зелени часто бывает лучше, чем самая сочная говядина... Вы попадете в Гонт-Хаус. Вы покою не дадите бедному старику, пока не попадете туда! А ведь там и вполтину не так уютно, как здесь. Вам будет скучно. Мне там всегда скучно. Моя жена весела, как леди Макбет, а дочери жизнерадостны, как Регана и Гонерилья<sup>[289]</sup>. Я не решаюсь спать в так называемой моей опочивальне: кровать похожа на балдахин в соборе Святого Петра, а картины наводят на меня тоску. У меня в гардеробной есть маленькая медная кроватка и маленький волосяной матрац анахорета. Я анахорет. Хо! Хо! Вы получите приглашение к обеду на будущей неделе. Но *garé aux femmes!*<sup>[290]</sup> Будьте начеку! Как вас будут донимать женщины!

Это была очень длинная речь для немногоречивого лорда Стайна; и это не в первый раз он поучал Ребекку.

Бригс подняла голову из-за своего рабочего столика, за которым сидела в соседней комнате, и издала глубокий вздох, когда услышала, как легкомысленно маркиз отзывается о представительницах ее пола.

– Если вы не прогоните эту отвратительную овчарку, – сказал лорд Стайн, бросая через плечо яростный взгляд, – я отравлю ее.

– Я всегда кормлю собаку из собственной тарелки, – сказала Ребекка, задорно смеясь.

Выждав некоторое время и насладившись неудовольствием милорда, который ненавидел бедную Бригс за то, что она нарушала его tête-à-tête с прелестной женой полковника, миссис Родон наконец сжалилась над своим поклонником и, подзвав Бригс, похвалила погоду и попросила ее погулять с малышом.

– Я не могу прогнать ее, – помолчав немного, сказала Бекки печальным голосом; ее глаза наполнились слезами, и она отвернулась.

– Вы, наверно, задолжали ей жалованье? – спросил пэр.

– Хуже того, – сказала Бекки, не поднимая глаз, – я разорила ее.

– Разорили? Почему же вы не выгоните ее? – спросил джентльмен.

– Только мужчины могут так рассуждать, – с горечью ответила Бекки. – Женщины не настолько бессердечны. В прошлом году, когда у нас вышли все деньги, она отдала нам свои сбережения и теперь не оставит нас, пока и мы, в свою очередь, не разоримся, что, по-видимому, недалеко, – или пока я не выплачу ей все, до последнего фартинга.

– Черт возьми! Сколько же вы ей задолжали? – спросил пэр, и Бекки, приняв в соображение огромное богатство своего собеседника, назвала сумму, почти вдвое большую, чем та, которую она заняла у мисс Бригс.

В ответ лорд Стайн произнес короткое и энергичное слово, отчего Ребекка еще ниже опустила голову и горько заплакала.

– Я не виновата. У меня не было другого выхода, – сказала она. – Я не смею сказать мужу: он убьет меня, если узнает, что я натворила. Я первому вам это говорю... и то вы меня принудили. Ах, что мне делать, лорд Стайн? Я очень, очень несчастна!

Лорд Стайн не отвечал ни слова и только барабанил по столу и кусал ногти, а потом нахлобучил шляпу и выбежал из комнаты.

Ребекка сидела все в той же печальной позе, пока внизу не хлопнула дверь и не послышался шум отъезжавшего экипажа. Тогда она встала, и в ее глазах сверкнуло странное выражение, злобное и торжествующее. Раза два она принималась хохотать, сидя за работой. Потом, усевшись за фортепьяно, разразилась такой победной импровизацией, что прохожие останавливались под окном, прислушиваясь к ее блистательной игре.

В тот же вечер маленькой женщине были доставлены два письма из Гонт-Хауса. В одном было приглашение на обед от лорда и леди Стайн на следующую пятницу, а в другом находился листок сероватой бумаги с подписью лорда Стайна – на имя господ Джонса, Брауна и Робинсона на Ломбард-стрит.

Ночью Родон раза два слышал, как Бекки смеялась: она предвкушает удовольствие побывать в Гонт-Хаусе и встретиться с тамошними леди, пояснила она. На самом же деле ее занимало множество других мыслей: расплатиться ли ей со старой Бригс и отпустить ее? Или удивить Реглса и отдать ему долг за аренду дома? Лежа в постели, она перебирала все эти мысли; и на другое утро, когда Родон пошел, по обыкновению, в клуб, миссис Кроули (в скромном платье и под вуалью) поехала в наемной карете в Сити. Остановившись возле банка господ Джонса и Робинсона, она предъявила документ сидевшему за конторкой служащему, который спросил ее, в каком виде она желает получить деньги. Она скромно сказала, что ей хотелось бы получить «сто пятьдесят фунтов мелкими купюрами, а остальное одним банкнотом».

Затем, проходя по улице возле собора Св. Павла, она заглянула в магазин и купила для Бригс превосходное черное шелковое платье, которое с поцелуем и нежными словами презентовала простодушной старой деве.

После этого она отправилась к мистеру Реглсу, ласково расспросила его о детях и вручила ему пятьдесят фунтов в счет уплаты долга. Оттуда она пошла к содержателю конюшен, у которого брала напрокат экипажи, и вознаградила его такой же суммой.

– Я надеюсь, это послужит вам уроком, Спэйвин, – сказала она, – и к следующему приему во дворце моему брату сэру Питту не

придется ехать вчетвером в одной карете из-за того, что *мой* экипаж не был подан.

Ребекка намекала на прискорбное недоразумение, вследствие которого полковнику едва не пришлось явиться к своему монарху в наемном кебе.

Устроив все эти дела, Бекки поднялась наверх навестить упомянутую выше шкатулку, которую Эмилия Седли подарила ей много-много лет назад и в которой хранилось немало полезных и ценных вещей; в это секретное хранилище она спрятала банковый билет, который выдал ей кассир господ Джонса и Робинсона.

## **Глава XLIX,** ***в которой мы наслаждаемся тремя*** ***переменами блюд и десертом***

Когда дамы Гонт-Хауса сидели в то утро за завтраком, лорд Стайн (он вкушал шоколад у себя и редко беспокоил обитательниц своего дома, встречаясь с ними разве только в дни приемов, или в вестибюле, или в опере, когда он из своей ложи в партере созерцал их в ложе бельэтажа) – так вот, его милость появился среди дам и детей, собравшихся за чаем с гренками; и тут разыгралась генеральная баталия из-за Ребекки.

– Миледи Стайн, – сказал он, – мне хотелось бы взглянуть на список приглашенных к обеду в пятницу и вместе с тем попросить вас послать приглашение полковнику Кроули и миссис Кроули.

– Приглашения пишет Бланш... леди Гонт, – смущенно произнесла леди Стайн.

– Этой особе я писать не буду, – сказала леди Гонт, высокая статная дама, и, подняв на мгновение свой взор, тотчас снова опустила его. Неприятно было встречаться глазами с лордом Стайном тем, кто перечил ему.

– Вышлите детей из комнаты. Ступайте! – распорядился лорд Стайн, дернув за шнурок звонка.

Мальчуганы, очень боявшиеся деда, удалились. Их мать хотела было последовать за ними.

– Нет, – сказал лорд Стайн. – Оставайтесь здесь. Миледи Стайн, я еще раз спрашиваю: угодно ли вам подойти к этому столу и написать пригласительную записку на обед в пятницу?

– Милорд, я не буду на нем присутствовать, – сказала леди Гонт, – я уеду к себе домой.

– Прекрасно, сделайте одолжение! И можете не возвращаться. В Бейракрсе бейлифы будут для вас очень приятной компанией, а я избавлюсь от необходимости ссужать деньгами ваших родственников, а заодно и от вашей трагической мины, которая мне давно осточертела. Кто вы такая, чтобы командовать здесь? У вас нет денег,

недостает и ума. Вы здесь для того, чтобы рожать детей, а у вас их нет и не предвидится. Гонту вы надоели, и жена Джорджа – единственное в семье лицо, которое не хочет вашей смерти. Гонт женился бы вторично, если бы вы умерли.

– Я бы рада была умереть, – отвечала ее милость со слезами ярости на глазах.

– Рассказывайте! Вы корчите из себя добродетель, а между тем моя жена, эта непорочная святая, которая, как каждому известно, ни разу не оступилась на стезе добродетели, ничего не имеет против того, чтобы принять моего молодого друга, миссис Кроули. Миледи Стайн знает, что иногда о самых лучших женщинах судят на основании ложной видимости и что людская молва часто клеймит самых чистых и непорочных. Не угодно ли, сударыня, расскажу вам несколько анекдотов про леди Бейракрс, вашу матушку?

– Вы можете ударить меня, сэр, или бесчеловечно мучить... – произнесла леди Гонт.

Страдания жены и невестки всегда приводили лорда Стайна в превосходное расположение духа.

– Милая моя Бланш, – сказал он, – я джентльмен и никогда не позволю себе коснуться женщины иначе как с лаской. Мне только хотелось указать вам на кое-какие прискорбные недостатки в вашем характере. Вы, женщины, не в меру горды, и вам очень не хватает смирения, как, конечно, сказал бы леди Стайн патер Моль, будь он здесь. Не советую вам слишком заноситься, вы должны быть кротки и скромны, мои драгоценные! Как знать, может быть, эта несправедливо оклеветанная, простая, добрая и веселая миссис Кроули ни в чем не повинна, – она, может быть, невиннее самой леди Стайн. Репутация ее супруга нехороша, но она, право, не хуже, чем у Бейракрса, который и поигрывал, и проигрывая, очень часто не платил, и вас оставил без наследства, так что вы оказались нищая на моем попечении. Да, миссис Кроули не из очень знатного рода, но она не хуже знаменитого предка нашей Фанни, первого де ля Джонса.

– Деньги, принесенные мною в семью, сэр!.. – воскликнула леди Джордж.

– Вы приобрели благодаря им кое-какие надежды на право наследования в будущем, – мрачно заметил маркиз. – Если Гонт умрет, ваш супруг может вступить в его права; ваши сыновья могут

унаследовать их и, возможно, еще кое-что в придачу. А пока, дорогие мои, гордитесь и величайтесь своими добродетелями, но только не здесь, и не напускайте на себя важность передо мною. Что же касается доброго имени миссис Кроули, то я не стану унижать ни себя, ни эту безупречную и ни в чем не повинную женщину, допуская хотя бы намек на то, что ее репутация нуждается в защите. Будьте же любезны принять ее с величайшим радушием, наравне со всеми теми, кого я ввожу в этот дом. В этот дом? – Он рассмеялся. – Кто здесь хозяин? И что такое этот дом? Этот Храм добродетели принадлежит мне. И если я приглашу сюда весь Ньюгет или весь Бедлам<sup>[291]</sup>, то и тогда, черт возьми, вы окажете им гостеприимство!

После этой энергичической речи – одной из тех, какими лорд Стайн угощал свой «гарем», едва лишь в его семействе обнаруживались признаки неповиновения, – приунывшим женщинам оставалось только подчиниться. Леди Гонт написала приглашение, которого требовал лорд Стайн, после чего, затаив в душе горечь и обиду, самолично поехала в сопровождении свекрови завезти миссис Родон карточки, доставившие, как мы знаем, столько удовольствия этой невинной женщине.

В Лондоне были семьи, которые пожертвовали бы годовым доходом, лишь бы добиться такой чести от столь знатных дам. Например, миссис Фредерик Буллок проползла бы на коленях от Мэйфера до Ломбард-стрит, если бы леди Стайн и леди Гонт ждали ее в Сити, чтобы поднять с земли и сказать: «Приезжайте к нам в будущую пятницу», – не на один из тех многолюдных и пышных балов в Гонт-Хаусе, где бывали все, а на священный, недоступный, таинственный и восхитительный интимный прием, приглашение на который считалось завидной привилегией, честью и, разумеется, блаженством.

Строгая, безупречная красавица леди Гонт занимала самое высокое положение на Ярмарке Тщеславия, и изысканная вежливость в обращении с нею лорда Стайна приводила в восхищение всякого, кто его знал, заставляя даже самых придирчивых критиков соглашаться с тем, что он безукоризненный джентльмен и, что ни говори, сердце у него благородное.



Чтобы дать отпор общему врагу, дамы Гонт-Хауса призвали себе на помощь леди Бейракрс. Одна из карет леди Гонт отправилась на Хилл-стрит за матушкой миледи, так как все экипажи этой дамы были в руках бейлифов, и даже драгоценности и гардероб ее, по слухам, были захвачены неумолимыми израильтянами. Им принадлежал также и замок Бейракрс с его знаменитыми картинами, обстановкой и редкостями: великолепными Ван-Дейками; благородными полотнами Рейнольдса; блестящими и неглубокими портретами Лоренса, которые тридцать лет тому назад считались не менее драгоценными, чем произведения истинного гения; несравненную «Пляшущую нимфою» Кановы, для которой позировала в молодости сама леди Бейракрс – леди Бейракрс, в то время ослепительная красавица, окруженная ореолом богатства и знатности, теперь – беззубая и облысевшая старуха, жалкий, изношенный лоскут от некогда пышного одеяния. Ее супруг, на портрете Лоренса той же эпохи, размахивающий саблей перед фасадом Бейракрсского замка в форме полковника Тислвудского ополчения, был теперь высохшим, тощим стариком в длиннополом сюртуке и парике à la Brutus<sup>[292]</sup>, которого можно было видеть слоняющимся по утрам около Грейз-Инна<sup>[293]</sup> и одиноко обедающим в клубах. Он не любил теперь обедать со Стайном. В молодости они соперничали в погоне за развлечениями с неизменным преимуществом для Бейракрса. Но Стайн оказался крепче, и в конце концов победителем вышел он. Сейчас маркиз был в десять раз могущественнее того молодого лорда Гонта, каким он был в 1785 году, а Бейракрс уже сошел со сцены – старый, поверженный, разоренный и раздавленный. Он задолжал Стайну слишком много денег, чтобы находить удовольствие в частых встречах со старым приятелем. А тот, когда ему хотелось позабавиться, насмешливо осведомлялся у леди Гонт, отчего отец не навещает ее. «Он не был у нас уже четыре месяца, – говаривал лорд Стайн. – Я всегда могу сказать по своей чековой книжке, когда мне нанес визит Бейракрс. Как это удобно, мои милые: я банкир тестя одного из моих сыновей, а тесть другого сына – мой банкир».

О других именитых особах, с которыми Бекки имела честь встретиться во время своего первого выезда в большой свет, автору настоящей летописи незачем долго распространяться. Там был его светлость князь Петроварадинский с супругою – туго перетянутый

вельможа с широкой солдатской грудью, на которой великолепно сверкала звезда его ордена, и с красной лентой Золотого Руна на шее. Князь был владельцем бесчисленных стад баранов. «Взгляните на его лицо. Можно подумать, что он сам ведет свой род от барана», – шепнула Бекки лорду Стайну. И в самом деле: лицо у его светлости было длинное, важное, белое, и лента на шее еще усиливала его сходство с мордой почтенного барана, ведущего за собою стадо.

Был там и мистер Джон Поль Джефферсон Джонс, номинально состоявший при американском посольстве корреспондент газеты «Нью-йоркский демагог», который, желая доставить обществу удовольствие, во время паузы в обеденной беседе осведомился у леди Стайн, нравится ли его дорогому другу Джорджу Гонту Бразилия: они с Джорджем очень подружились в Неаполе и вместе поднимались на Везувий. Мистер Джонс составил об этом обеде подробный и обстоятельный отчет, который в должное время появился в «Демагоге». Он упомянул фамилии и титулы всех гостей, приведя краткие биографические сведения о наиболее важных особах. С большим красноречием описал он наружность присутствовавших дам, сервировку стола, рост и ливреи лакеев, перечислил подававшиеся за обедом блюда и вина, упомянул о резьбе на буфете и подсчитал вероятную стоимость столового серебра. По его вычислениям, такой обед не мог обойтись дешевле пятнадцати или восемнадцати долларов на человека. С той поры и до самого последнего времени мистер Джонс взял себе в обычай направлять своих protégés с рекомендательными письмами к нынешнему маркизу Стайну, поощряемый к тому дружбою, которою его дарил покойный лорд. Мистер Джонс очень возмущался, что какой-то ничтожный аристократишка, граф Саутдаун, перебил ему дорогу, когда вся процессия двинулась в столовую. «В ту минуту, когда я выступил вперед, чтобы предложить руку чрезвычайно приятной и остроумной светской даме, блестящей и несравненной миссис Родон Кроули, – писал он, – юный патриций втерся между нами и увлек мою Елену, даже не извинившись. Мне пришлось идти в арьергарде с полковником, супругом этой дамы, рослым, краснолицым воином, отличившимся в сражении при Ватерлоо, где ему повезло больше, чем некоторым из его собратий-красномундирников<sup>[294]</sup> под Новым Орлеаном».

При вступлении в это изысканное общество физиономия полковника покрылась таким же густым румянцем, какой заливает лицо шестнадцатилетнего юноши, когда он попадает в компанию школьных подруг своей сестры. Здесь уже упоминалось, что честный Родон ни в молодости, ни позже не имел случая привыкнуть к дамскому обществу. С мужчинами в клубе или в офицерском собрании он чувствовал себя прекрасно и мог ездить верхом, биться об заклад, курить или играть на бильярде наравне с самыми бойкими из них. В свое время он завязывал знакомства и среди женщин, но то было двадцать лет назад, и дамы эти были того же общественного положения, что и те, с которыми общался младший Марло в известной комедии, до того как был повергнут в смущение появлением мисс Хардкасл<sup>[295]</sup>. Время нынче такое, что никто не дерзает и словом упомянуть о той особой среде, в которой тысячи наших молодых людей на Ярмарке Тщеславия вращаются ежедневно, представительницы которой каждый вечер наполняют казино и танцульки, которая, как всем известно, существует наравне с колясками в Хайд-парке или паствой Сент-Джеймского прихода, но которую самое чопорное – если и не самое нравственное – общество в мире твердо решило не замечать. Словом, хотя полковнику Кроули было уже от роду сорок пять лет, ему не привелось встретиться на своем веку и с пятью порядочными женщинами, если не считать его образцовой жены. Все женщины до единой, кроме Ребекки и его доброй невестки леди Джейн, чей кроткий нрав покорила и приручила достойного полковника, пугали его. И потому на первом обеде в Гонт-Хаусе никто не слышал от него ни единого слова, кроме замечания о том, что погода стоит очень жаркая. Говоря по правде, Бекки охотно оставила бы его дома, но светские приличия требовали, чтобы супруг находился подле нее и служил охраной и защитой для робкой, перепуганной малютки при ее первом появлении в большом свете.

Как только Бекки вошла, лорд Стайн направился к ней, пожал ей руку, любезно приветствовал ее и представил леди Стайн и их милостям, ее дочерям. Их милости сделали три глубоких реверанса, и старшая из дам даже удостоила гостью рукопожатием, но рука ее была холодна и безжизненна, как мрамор.

Однако Бекки пожала эту руку смиренно и признательно и, делая реверанс, который оказал бы честь лучшему балетмейстеру, как бы склонилась к ногам леди Стайн со словами, что милорд был давним другом и покровителем ее отца и что она, Бекки, привыкла с самого нежного возраста почитать и благословлять семейство Стайн. Лорд Стайн и в самом деле однажды приобрел две-три картины у покойного Шарпа, и признательная сиротка не могла забыть этого благодеяния.

Затем Бекки была представлена леди Бейракрс, причем и перед нею супруга полковника присела весьма почтительно. Высокородная дама ответила ей поклоном, исполненным сурового достоинства.

– Я имела удовольствие познакомиться с вашей милостью в Брюсселе десять лет тому назад, – сказала Бекки самым пленительным тоном. – Я имела счастье встретиться с леди Бейракрс на балу у герцогини Ричмонд, накануне сражения при Ватерлоо. И я помню, как ваша милость и миледи Бланш, ваша дочь, сидели в карете под воротами гостиницы, дожидаясь лошадей. Надеюсь, брильянты вашей милости уцелели?

Все переглянулись. На пресловутые брильянты был наложен наделавший много шума арест, о котором Бекки, конечно, ничего не знала. Родон Кроули и лорд Саутдаун отошли к окну, причем последний залился неудержимым смехом, когда Родон рассказал историю о том, как леди Бейракрс не могла достать лошадей и «спасовала» перед миссис Кроули. «*Эта* женщина мне теперь, пожалуй, не страшна», – подумала Бекки. Действительно, леди Бейракрс обменялась с дочерью испуганным и сердитым взглядом и, отступив к столу, принялась весьма усердно рассматривать какие-то гравюры.

Когда появилась владетельная особа с берегов Дуная, разговор перешел на французский язык, и тут леди Бейракрс и младшие дамы, к своему великому огорчению, убедились, что миссис Кроули не только гораздо лучше их владеет этим языком, но что и выговор у нее гораздо правильнее. Бекки в бытность свою во Франции в 1816–1817 годах встречалась с другими венгерскими магнатами. Она с большим интересом стала расспрашивать о своих друзьях. Знатные иностранцы решили, что она какая-нибудь видная аристократка, и князь и княгиня с живейшим интересом осведомились у лорда Стайна и у маркизы,

когда шествовали с ними к столу, кто эта *petite dame*, которая так прекрасно говорит по-французски.

Наконец, когда процессия сформировалась в том порядке, как описал ее американский дипломат, гости проследовали в залу, где было сервировано пиршество. А так как я обещал, что читатель останется им доволен, то предоставляю ему полную свободу заказывать все в соответствии с собственными вкусами и желаниями.

Но вот дамы остались одни, и Бекки поняла, что сейчас начнутся военные действия! И действительно, тут маленькая женщина оказалась в таком положении, что была вынуждена по достоинству оценить всю правильность предупреждения лорда Стайна – остерегаться женщин, стоящих выше ее в обществе. Говорят, что самые яростные ненавистники ирландцев – сами же ирландцы; точно так же и жесточайшие мучители женщин – сами женщины. Когда бедная маленькая Бекки, оставшись одна с дамами, подошла к камину, где расположились знатные леди, – знатные леди немедленно отошли и завладели столом с гравюрами. Когда же Бекки последовала за ними к столу с гравюрами, они одна за другой опять отхлынули к камину. Она попыталась заговорить с маленьким Джорджем Гонтом (Ребекка на людях обожала детей), но маменька сейчас же отозвала его к себе. В конце концов самозванку стали третировать так жестоко, что сама леди Стайн сжалилась над нею и подошла поговорить с бедной, всеми покинутой женщиной.

– Лорд Стайн рассказывал мне, миссис Кроули, – начала ее милость, причем ее поблекшие щеки окрасились румянцем, – что вы отлично поете и играете. Пожалуйста, спойте нам что-нибудь.

– Я сделаю все, что может доставить удовольствие лорду Стайну или вам, – сказала Ребекка с искренней благодарностью и, усевшись за фортепьяно, принялась петь.

Она спела несколько духовных песнопений Моцарта, которые в давние времена любила леди Стайн, и пела с такой нежностью и чувством, что хозяйка дома, сперва в нерешительности остановившаяся у фортепьяно, села возле инструмента и слушала, пока на глазах у нее не показались слезы. Правда, оппозиционно настроенные дамы, собравшиеся на другом конце комнаты, непрерывно перешептывались и громко разговаривали, но леди Стайн не слышала посторонних звуков. Снова она была ребенком – и опять,

после сорокалетних скитаний в пустыне, очутилась в саду родного монастыря. Это были те самые мелодии, что исполняли тогда на церковном органе; сестра органистка, любимая ее наставница, разучивала их с ней в те далекие счастливые дни. Снова она была девочкой, и на какой-то миг снова расцвела краткая пора ее счастья. Она вздрогнула, когда двери, скрипнув, распахнулись и веселая компания мужчин вошла в комнату под громкий смех лорда Стайна.

С первого же взгляда он понял, что произошло в его отсутствие, и впервые почувствовал благодарность к жене. Он подошел к ней, заговорил и назвал ее по имени, что опять зажгло румянцем ее бледные щеки.

– Моя жена говорит, что вы пели, как ангел, – сказал он Бекки.

Но ангелы бывают двух сортов, и оба они, как говорят, очаровательны – каждый по-своему.

Какова бы ни была первая часть вечера, конец его превратился для Бекки в триумф. Она пела, как никогда, и пение ее было так восхитительно, что мужчины все до одного столпились вокруг фортепьяно. Женщины, ее враги, остались в полном одиночестве. И мистер Джон Поль Джефферсон Джонс, решив снискать расположение леди Гонт, подошел к ней и расхвалил первоклассное пение ее очаровательной приятельницы.

## Глава I

# Содержит рассказ об одном тривиальном происшествии

Пусть муза, вдохновляющая автора этого комического повествования, – кто бы она ни была, – теперь покинет аристократические выси, где она парила, и соблаговолит опуститься на низкую кровлю Джона Седли в Бромптоне и описать, какие события там происходят. И здесь также, в этом скромном жилище, обитают заботы, недоверие и горе. Миссис Клеп, оставшись на кухне вдвоем со своим супругом, ворчит из-за просроченной квартирной платы и подстрекает этого добрейшего человека восстать против старого друга и патрона, а ныне – жильца. Миссис Седли перестала посещать свою квартирную хозяйку в нижних сферах дома и, собственно говоря, находится в таком положении, когда ей уже нельзя больше обращаться к миссис Клеп покровительственно: как можно снисходить к женщине, которой вы задолжали сорок фунтов и которая постоянно делает вам намеки насчет этих денег? Прислуга-ирландка все так же ласкова и почтительна, но миссис Седли чудится, что она становится дерзкой и неблагодарной; и как вору в каждом кусте мерещится полицейский, так и ей во всех речах и ответах девушки слышатся вызывающие нотки и неприятные намеки. Маленькую мисс Клеп, теперь уже сильно подросшую, раздражительная старая леди считает несносной и нахальной вертушкой. Миссис Седли не в состоянии постичь, как это Эмилия может так любить ее, так часто пускаться к себе в комнату и постоянно ходить с нею гулять. Горечь бедности отравила жизнь этой когда-то веселой и добродушной женщины. Она не чувствует к Эмилии никакой благодарности за ее неизменно кроткое обращение, придирается к ней, когда та старается ей чем-нибудь помочь или услужить, бранит за то, что она глупо гордится своим ребенком, и упрекает за пренебрежение к родителям. Дома у Джорджи не очень весело с тех пор, как дядя Джоз перестал им помогать, и маленькое семейство живет почти что впроголодь.

Эмилия все думает, все ломает голову над тем, как бы увеличить жалкие доходы, на которые еле-еле существует семья. Не может ли она давать какие-нибудь уроки? расписывать подставки для визитных карточек? заняться вышиванием? Но она видит, что женщины, которые шьют лучше ее, работают не разгибая спины за два пенса в день. Эмилия покупает в художественном магазине два листа бристольского картона с золотым обрезом и расписывает их в меру своего умения: на одном изображается румяный улыбающийся пастушок в пунцовом камзоле на фоне живописного пейзажа, на другом – пастушка, переходящая через мостик, с собачкой, очень тонко заштрихованной. Рассматривая эти беспомощные произведения искусства, приказчик магазина сувениров и бромптонского художественного хранилища (где она купила экраны в тщетной надежде, что он приобретет их обратно, когда она разукрасит их своею рукой) не может скрыть презрительной усмешки. Искося взглянув на дожидаящуюся ответа даму, он заворачивает оба листа в оберточную бумагу и вручает их бедной вдове и мисс Клеп, которая никогда в жизни не видела ничего прекраснее и была совершенно уверена в том, что торговец заплатит за экраны по меньшей мере две гинеи. Затем, еще теша себя слабой надеждой, они пробуют обратиться в другие магазины в центре Лондона. «Не нужно!» – говорят в одном магазине. «Уходите!» – грубо отвечают в другом. Три шиллинга и шесть пенсов истрачены впустую. Экраны попадают в спальню мисс Клеп, которая продолжает считать их прелестными.

Потратив немало времени на составление текста и черновик, Эмилия пишет самым своим красивым почерком изящное объявление, извещая публику, что: «Леди, имеющая в своем распоряжении несколько свободных часов, желает заняться воспитанием девочек, которым она могла бы преподавать английский и французский языки, географию, историю и музыку. Обращаться к Э. О., по адресу мистера Брауна». Это объявление Эмилия вручает джентльмену в художественном хранилище, соблаговолившему дать разрешение положить его на прилавок, где оно постепенно покрывается пылью и засиживается мухами. Эмилия много раз печально проходит мимо дверей хранилища – в надежде, что мистер Браун сообщит ей какие-нибудь приятные известия, но он никогда не приглашает ее в магазин. Когда она заходит туда за какими-нибудь мелкими покупками,



никаких новостей для нее не оказывается. Бедная, скромная женщина, нежная и слабая, – тебе ли бороться с жестокой и беспощадной нуждой?

С каждым днем заботы и горе гнетут ее все сильнее; она не спускает с сына тревожного взора, значения которого мальчик не может понять. Она вскакивает по ночам и украдкой заглядывает в его комнату, чтобы удостовериться, что он спит и его не похитили. Сама она спит теперь мало. Ее мучают неотвязные думы и страхи. Как она плачет и молится в долгие безмолвные ночи! Как старается скрыть от себя самой мысль, которая снова и снова к ней возвращается, – мысль, что она должна расстаться с мальчиком, что она – единственная преграда между ним и его благополучием! Она не может, не может! Во всяком случае, не теперь; когда-нибудь в другое время. О, слишком тяжело думать об этом, и вынести это невозможно!

Ей приходит в голову одна мысль, от которой она краснеет и смущается: пусть ее пенсия остается родителям; младший священник женится на ней, – он даст приют ей и ребенку. Но портрет Джорджа и память о нем всегда с ней и горько ее упрекают. Стыд и любовь отвергают такую жертву. Эмилия вся сжимается, как от греховного прикосновения, и эти мысли не находят себе пристанища в ее чистом и нежном сердце.

Борьба, которую мы описываем в нескольких фразах, длилась в сердце бедной Эмилии много недель. И все это время она никому не поверяла своих терзаний. Она не могла этого сделать, как не могла допустить и мысли о возможности капитуляции, хотя все больше отступала перед врагом, с которым ей приходилось биться. Одна истина за другой молчаливо надвигались на нее и уже не сдавали позиций. Бедность и нужда для всех, нищета и унижение для родителей, несправедливость по отношению к мальчику – один за другим падали форты ее маленькой цитадели, где бедняжка ревниво охраняла единственную свою любовь и сокровище.

В начале этой борьбы Эмилия написала брату в Калькутту, слезно умоляя его не отнимать поддержки, которую он оказывал родителям, и в простых, но трогательных словах описывая их беспомощное и бедственное положение. Она не знала жестокой правды: пособие от Джоза выплачивалось по-прежнему регулярно, но деньги получал один из ростовщиков в Сити. Старик Седли продал пособие сына,

чтобы иметь средства для осуществления своих безрассудных планов. Эмми с нетерпением высчитывала время, которое должно пройти, пока письмо ее будет получено и на него придет ответ. Она отметила в своей записной книжечке день отсылки письма. Опекуну своего сына, доброму майору в Мадрасе, она не сообщала ни о каких своих огорчениях и заботах. Она не писала ему с тех пор, как послала письмо с поздравлением по поводу предстоящего брака. С тоской и отчаянием думала она о том, что этот друг – единственный друг, который питал к ней такую привязанность, – теперь для нее потерян.

Однажды, когда им приходилось особенно туго, – когда кредиторы наседали, мать от горя совсем потеряла голову, отец был мрачнее обыкновенного, члены семейства избегали друг друга и каждый втайне терзался своими несчастьями и обидами, – отец с дочерью случайно остались вдвоем, и Эмилия, чтобы утешить старика, рассказала ему о своем поступке: она написала письмо Джозефу; ответ должен прийти через три или четыре месяца. Джоз всегда был великодушен, хотя и недостаточно заботлив. Он не может отказать, когда узнает, в каком стесненном положении находятся его родители.

Тогда несчастный старик открыл Эмилии всю правду: его сын по-прежнему присылает деньги, но он лишился их по собственному своему безрассудству. Он не посмел рассказать об этом раньше. Он решил, что полный отчаяния и ужаса взгляд, который Эмилия устремила на него, когда он трепетным, виноватым голосом пролепетал свое признание, таит в себе укор за его скрытность.

– Ну вот, – произнес он дрожащими губами, отворачиваясь от нее, – ты теперь презираешь своего старого отца!

– О папа, нет! Не в этом дело! – воскликнула Эмилия, бросаясь ему на шею и целуя его. – Ты хороший и добрый. Ты хотел, чтобы всем нам было лучше. Я не из-за денег; это... О боже мой, боже мой! Сжался надо мной и дай мне сил перенести это испытание! – И она опять бурно поцеловала отца и выбежала из комнаты.

Но отец не понял ни смысла этих слов, ни взрыва отчаяния, с каким бедная женщина покинула его. Дело было в том, что она почувствовала себя побежденной. Приговор был произнесен: ребенок должен уехать от нее... к другим, забыть ее. Ее сердце, ее сокровище, ее радость, надежда, любовь, ее кумир – почти ее бог! Она должна

отказаться от него, а потом... потом она уйдет к Джорджу, и они вместе будут охранять ребенка и ждать его, пока он не придет к ним на небеса.

Едва сознавая, что делает, Эмилия надела шляпу и отправилась бродить по переулкам, по которым Джорджи возвращался из школы и куда она часто выходила навстречу ему. Был май, уроки в тот день кончались рано. Деревья уже покрывались листвой, погода стояла чудесная. Румяный, здоровенький мальчик подбежал к матери, напевая что-то; пачка учебников висела у него на ремне. Вот он! Обеими руками она обняла его. Нет, это невозможно. Неправда, что они должны расстаться!

– Что случилось, мама? – спросил мальчик. – Ты такая бледная.

– Ничего, дитя мое, – ответила она и, наклонившись, поцеловала сына.

В тот вечер Эмилия заставила мальчика прочесть ей историю пророка Самуила о том, как Анна, мать его, отняв ребенка от груди, принесла его к первосвященнику Илии для посвящения ребенка богу. И Джорджи прочел благодарственную песнь, которую пела Анна и в которой говорится о том, кто делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, и еще – что бедный будет поднят из праха и что не силою крепок человек. Затем мальчик прочел, как мать Самуила шила ему «одежду малую» и приносила ее ему ежегодно, приходя в храм для принесения положенной жертвы. А потом мать Джорджи бесхитростно и простодушно пояснила ему эту трогательную историю. «Анна, – говорила она, – хотя и сильно любила своего сына, но рассталась с ним, потому что дала такой обет. И она всегда думала о нем, когда сидела далеко от него, у себя дома, и шила ему «одежду малую». И Самуил, конечно, никогда не забывал своей матери. А как она, должно быть, была счастлива, когда наступило время ее встречи с сыном (ведь годы проходят быстро), и каким он стал большим, добрым и умным!»

Эту маленькую проповедь Эмилия произнесла тихим, проникновенным голосом и с сухими глазами, и только когда она дошла до рассказа о встрече матери с сыном, речь ее вдруг прервалась, нежное сердце переполнилось; прижав мальчика к груди, она качала его на руках и молча лила над ним слезы в святой своей скорби.

Придя к решению, вдова начала принимать меры, которые казались ей необходимыми для скорейшего достижения цели. Однажды мисс Осборн на Рассел-сквер (Эмилия десять лет не писала ни этого названия, ни номера дома, и ее юность, ее ранние годы вспомнились ей, когда она надписывала адрес) – однажды мисс Осборн получила от Эмилии письмо, при виде которого она сильно покраснела и бросила взгляд на отца, мрачно сидевшего на своем обычном месте на другом конце стола.

В простых выражениях Эмилия излагала причины, побудившие ее изменить свои прежние намерения относительно сына. Отца ее постигли новые злоключения, разорившие его вконец. Ее собственные средства так малы, что их едва хватит на жизнь родителям, а Джорджу она не сможет дать воспитание, какое ему подобает. Как ни тяжело ей будет расстаться с сыном, но с божьей помощью она все вынесет ради мальчика. Она знает, что те, к кому он уедет, сделают все возможное, чтобы составить его счастье. Она описала характер мальчика, каким он ей представлялся: живой, нетерпеливый, не выносящий резкого и властного обращения, но податливый на ласку и нежность. В заключение она ставила условием получение письменного обещания, что ей будет позволено видаться с мальчиком так часто, как она этого пожелает, – иначе она с ним не расстанется.

– Что? Выходит, госпожа гордячка взялась за ум? – сказал старик Осборн, когда мисс Осборн прочла ему это письмо дрожащим, взволнованным голосом. – Подтянуло от голода живот, а? Ха-ха-ха! Я так и знал, что этим кончится.

Он сделал попытку сохранить свое достоинство и заняться, по обыкновению, чтением газеты, но это не удавалось ему. Прикрывшись газетным листом, он самодовольно посмеивался и ругался вполголоса. Наконец он отложил газету и, хмуро взглянув на дочь, как это вошло у него в привычку, удалился в соседний кабинет, откуда сейчас же вышел снова, с ключом в руке. Он швырнул его мисс Осборн.

– Приготовьте комнату над моей спальней... его прежнюю комнату... – сказал он.

– Хорошо, сэр! – ответила дочь, дрожа всем телом.

Это была комната Джорджа. Ее не открывали больше десяти лет. В ней до сих пор еще оставались его носильные вещи, бумаги,

носовые платки, хлыстики, фуражки, удочки, спортивные принадлежности. Реестр армейских чинов 1814 года с именем Джорджа на обложке, маленький словарь, которым он пользовался, когда писал, и Библия, подаренная ему матерью, лежали на каминной доске рядом со шпорами и высохшей чернильницей, покрытой десятилетней пылью. Сколько дней и людей кануло в вечность с той поры, когда чернила в ней были еще свежи! На пропускной бумаге бювара, лежавшего на столе, сохранились следы строк, написанных рукою Джорджа.

Мисс Осборн сильно волновалась, когда впервые вошла в эту комнату в сопровождении служанок. С побледневшим лицом она опустилась на узкую кровать.

– Слава богу, мэм, слава богу! – сказала экономка. – Старое доброе время опять возвращается, мэм. Милый мальчик! Как он будет счастлив! Но кое-кто в Мэйфере, мэм, не очень-то будет доволен! – И, отодвинув оконный засов, она впустила в комнату свежий воздух.

– Надо послать этой женщине денег, – сказал мистер Осборн перед уходом. – Она не должна нуждаться. Пошли ей сто фунтов.

– И завтра мне можно съездить ее навестить? – спросила мисс Осборн.

– Это твое дело. Только помни, чтобы сюда она не показывалась! Ни в коем случае! Ни за какие деньги в Лондоне! Но нуждаться она теперь не должна. Так что смотри, чтобы все было как следует.

Произнеся эту краткую речь, мистер Осборн распростился с дочерью и отправился своим обычным путем в Сити.

– Вот, папа, немного денег, – сказала в этот вечер Эмилия, целуя старика, и вложила ему в руку стофунтовый банковый билет. – И... и, пожалуйста, мама, не будьте строги с Джорджи. Ему... ему уже недолго остается побыть с нами.

Больше она не могла ничего произнести и молча удалилась в свою комнату. Затворим за нею двери и предоставим ее молитвам и печали. Лучше нам не распространяться о такой великой любви и о таком горе.

Мисс Осборн приехала к Эмилии на следующий день, как и обещала в своей записке. Встретились они дружески. Бедной вдове достаточно было взглянуть на мисс Осборн и обменяться с ней несколькими словами, чтобы понять, что уж эта-то женщина, во

всяком случае, не займет первого места в сердце ее сына, – она неглупая и незлая, но холодная. Быть может, матери было бы больнее, будь ее соперница красивее, моложе, ласковее, сердечнее. Со своей стороны, мисс Осборн вспомнила о былом и не могла не растрогаться при виде жалкого положения бедной Эмилии; она была побеждена и, сложив оружие, смиренно покорилась. В этот день они совместно выработали предварительные условия капитуляции.

На другой день Джордж не ходил в школу и увиделся со своей теткой. Эмилия оставила их вдвоем, а сама ушла к себе в комнату. Она репетировала разлуку: так бедная нежная леди Джейн Грэй<sup>[296]</sup> ощупывала лезвие топора, который должен был, опустившись, оборвать ее хрупкую жизнь. Несколько дней прошло в переговорах, визитах, приготовлениях. Вдова очень осторожно сообщила великую новость Джорджу; она ждала, что он будет огорчен. Но он скорее обрадовался, чем опечалился, и бедная женщина грустно отошла от него. В тот же день мальчик уже хвастался перед своими товарищами по школе: он сообщил им, что будет теперь жить у своего дедушки, отца его папы, а не того, который приходит иногда в школу; что он будет очень богатым и у него будет свой экипаж и пони; что он перейдет в гораздо лучшую школу, а когда разбогатеет, то купит у Лидера пенал и уплатит свой долг пирожнице. «Мальчик – вылитый отец», – думала любящая мать.

Нет, лишь только я подумаю о нашей бедной Эмилии, перо валится у меня из рук и духу не хватает описать последние дни, проведенные Джорджем дома.

Наконец настал решительный час: подъехала карета, маленькие, скромные свертки с вещественными знаками любви и внимания были уже давно готовы и вынесены в прихожую. Джорджи был в новом костюмчике, для которого портной несколько дней тому назад приходил снимать с него мерку. Мальчик вскочил чуть свет и нарядился в новое платье. Из соседней комнаты, где мать его лежала без сна, в безмолвной тоске, она слышала его возню. Уже за много дней перед тем она стала готовиться к концу: накупила всякой всячины для мальчика, переметила его белье, написала книги, беседовала с ним и подготавливала его к предстоящей перемене в жизни, безрассудно воображая, что он нуждается в такой подготовке.

А ему было все равно, он страстно ждал одного – перемены. Не уставая болтать о том, что он станет делать, когда будет жить с дедушкой, мальчик показывал бедной вдове, как мало беспокоила его мысль о разлуке. Он будет часто приезжать на пони к своей мамочке, говорил Джордж, он будет заезжать за ней в коляске, они будут ездить кататься в Парк, и он подарит ей все, чего она только пожелает. Бедной матери приходилось довольствоваться такими себялюбивыми доказательствами сыновней привязанности, и она пыталась убедить себя, что сын искренне ее любит. Конечно, он ее любит! Все дети одинаковы, его влечет к себе новизна... нет, нет, он не эгоист, просто ему многого хочется. У него должны быть свои радости, свои честолюбивые стремления. Это она сама, движимая эгоизмом и безрассудной любовью, до сих пор отказывала мальчику в том, что принадлежало ему по праву.

Я не знаю ничего трогательнее такого боязливого самоунижения женщины. Как она твердит, что это она виновата, а не мужчина! Как принимает всю вину на себя! Как домогается примерного наказания за преступления, которых она не совершала, и упорно выгораживает истинного виновника! Жесточайшие обиды наносят женщинам те, кто больше всего видит от них ласки; это прирожденные трусы и тираны, и они терзают тех, кто всех смиреннее им подчиняется.

Так бедная Эмилия, затаив свое горе, собирала сына в дорогу и провела много-много долгих одиноких часов в приготовлениях к концу. Джорджи беззаботно взирал на хлопоты матери. Слезы капали в его ящики и картонки; в его любимых книгах подчеркивались карандашом наиболее интересные места; старые игрушки, реликвии, сокровища откладывались в сторону и упаковывались заботливо и тщательно, – всего этого мальчик не замечал. Ребенок уходит от матери, улыбаясь, тогда как материнское сердце разрывается от муки. Честное слово, грустно смотреть на безответную любовь женщин к детям на Ярмарке Тщеславия!

Прошло еще несколько дней, и роковое событие в жизни Эмилии совершилось. Никакой ангел не вмешался. Ребенок отдан на заклатие и принесен в жертву судьбе. Вдова осталась в полном одиночестве.

Разумеется, мальчик часто ее навещает. Он приезжает верхом на пони, в сопровождении конюха, к восхищению своего старого

дедушки Седли, который гордо шествует по улице рядом с ним. Эмилия выдает с сыном, но он уже больше не ее мальчик. Ведь он приезжает повидаться и с товарищами в маленькой школе, где он раньше учился, чтобы покрасоваться перед ними своим новым богатством и великолепием. В два дня он усвоил слегка повелительный тон и покровительственные манеры. «Он рожден повелевать, – думает она, – таким же был его отец».

Наступила чудесная погода. По вечерам, в те дни, когда Эмилия не ждет мальчика к себе, она совершает далекие прогулки пешком в город – доходит до самого Рассел-сквер и садится на камень у решетки сада против дома Осборна. Там так приятно и прохладно! Можно поднять голову и увидеть освещенные окна гостиной, а около девяти часов – комнаты в верхнем этаже, где спит Джорджи. Она знает: он рассказал ей. Когда в этом окне гаснет свет, она молится – молится, смиряясь сердцем, и идет домой, погруженная в свои думы. Домой она приходит очень усталая. Наверно, она лучше уснет после такой длинной, утомительной прогулки, и, может быть, ей приснится Джорджи.

Однажды, в воскресенье, когда в церквах звонили во все колокола, она гуляла по Рассел-сквер, в некотором отдалении от дома мистера Осборна (однако же так, чтобы не терять этот дом из глаз), и видела, как Джордж с теткой вышли из подъезда и направились в церковь. Какой-то маленький нищий попросил милостыню, и лакей, несший молитвенники, хотел прогнать его. Но Джорджи остановился и подал нищему монету. Да благословит бог мальчика! Эмми обежала кругом сквера и, подойдя к нищему, подала ему и свою лепту. Праздничные колокола звонили, и Эмилия, следом за теми двумя, направилась к церкви Воспитательного дома, куда и вошла. Там она заняла место, откуда могла видеть голову сына у подножия статуи, воздвигнутой в память его отца. Сотни чистых детских голосов звучали там и пели хвалу всевышнему; и душа маленького Джорджи трепетала от восторга при звуках торжественных песнопений. Некоторое время мать не могла его разглядеть сквозь пелену, застлавшую ее взор.



## **Глава LI, *где разыгрывается шарада, которая, быть может, поставит, а быть может, и не поставит читателя в тупик***

После появления Бекки в доме лорда Стайна на интимных приемах для избранных права этой достойной женщины в отношении света были утверждены, и перед нею распахнулись некоторые из самых огромных и самых величественных дверей в столице – дверей столь огромных и величественных, что любезному читателю и автору сей книги нечего и надеяться когда-либо в них войти. Дорогие братья, остановимся в трепете перед этими священными воротами! Я представляю себе, что их охраняют лакеи с пылающими серебряными трезубцами, которыми они пронзают всех тех, у кого не имеется разрешения на вход. Говорят, что честный малый, присланный из газеты, чтобы сидеть у подножия лестницы и записывать имена всех великих людей, допускаемых к этим пиршествам, спустя короткое время умирает: он не в состоянии долго выносить ослепительный блеск большого света, опаляющий его, подобно тому как появление Юпитера в полном парадном облачении испепелило бедную, неразумную Семелу<sup>[297]</sup>, эту легкомысленную бабочку, которая погубила себя, когда отважилась покинуть отведенные ей пределы. Многим из нас, и в Тайберне<sup>[298]</sup> и в Белгрейвии<sup>[299]</sup>, следовало бы призадуматься над этим мифом, а может, также и над историей Бекки. Ах, милые дамы! Спросите у преподобного мистера Тюрифера: разве Белгрейвия не медь звенящая, а Тайберния не кимвал бряцающий? Все это суэта. А она пройдет! Наступит день (слава богу, мы не доживем до него!), когда цветники Хайд-парка будут так же мало известны, как и знаменитые садоводства в пригородах Вавилона, а Белгрейв-сквер станет таким же безлюдным, как Бейкер-стрит или как затерянный в пустыне Тадмор<sup>[300]</sup>.

Милые дамы, известно ли вам, что на Бейкер-стрит жил великий Питт? Чего бы только не дали ваши бабушки за приглашение на вечер у леди Эстер в этом ныне запущенном особняке! Я сам обедал там, – да, *moi qui vous parle*<sup>[301]</sup>. Я населил комнату призраками великих мертвецов. И тени усопших явились и заняли свои места вокруг мрачного стола, за которым сидели мы, люди нынешнего века, скромно потягивая красное вино. Кормчий, выдержавший немало бурь, одним плотком осушал большие стаканы призрачного портвейна; призрак Дандаса бросало в дрожь от тени недопитого стакана; Эдингтон, кривясь в замогильной усмешке, самодовольно кивал головой и не отставал от других, когда бутылка бесшумно ходила вкруговую; Скотт<sup>[302]</sup> шурился из-под мохнатых бровей на фикцию осадка в старом вине; Уилберфорс сидел, подняв глаза к потолку, и, казалось, сам не знал, каким образом стакан попадает ему в рот полным и опускается на стол пустым, – сидел, подняв глаза к тому самому потолку, который был над нами только вчера и на который смотрели все великие люди минувшего века. Теперь в этом доме сдаются меблированные комнаты. Да, леди Эстер жила когда-то на Бейкер-стрит и покоится непробудным сном в пустыне. Эотен<sup>[303]</sup> видел ее там – не на Бейкер-стрит, а в другом ее уединенном убежище.

Все это, конечно, суета; но кто не признается в том, что в небольших дозах она приятна? Хотелось бы мне знать, какому разумному человеку не нравится ростбиф только потому, что он не вечен? Это тоже суета; но дай бог каждому из моих читателей, хотя бы их было пятьсот тысяч, всю свою жизнь съесть в обед хорошую порцию ростбифа. Садитесь, джентльмены, не стесняйтесь, желаю вам приятного аппетита. Вот с жирком, вот попостнее, вот подливка, а не угодно ли и хрену – не церемоньтесь. Еще стаканчик винца, мой милый Джонс, еще кусочек понежнее! Будем досыта вкушать от всего суетного и будем благодарны за это! И примем также с лучшей стороны великосветские развлечения Бекки, ибо и они, подобно всем другим радостям смертных, тоже преходящи!

Следствием приглашения Ребекки к лорду Стайну было то, что его высочество князь Петроварадинский воспользовался случаем возобновить свое знакомство с полковником Кроули, когда они

встретились на следующий день в клубе, и приветствовал миссис Кроули в Хайд-парке, почтительно сняв перед нею шляпу. Бекки и ее супруг были немедленно приглашены на один из интимных вечеров князя в Левант-Хаус, где проживал тогда его высочество, поскольку благородный владделец дома находился в отлучке за пределами Англии. После обеда Бекки пела самому избранному кругу гостей. Присутствовал и маркиз Стайн, отечески наблюдавший за успехами своей питомицы.

В Левант-Хаусе Бекки встретила с одним из самых блестящих джентльменов и величайших дипломатов, каких когда-либо породила Европа, – с герцогом де ля Жаботьером, в то время посланником христианнейшего<sup>[304]</sup> короля, а впоследствии министром того же монарха. Честное слово, я готов лопнуть от гордости, когда пишу эти прославленные имена. Подумайте, в каком блестящем обществе вращается моя дорогая Бекки! Она сделалась желанною гостьей во французском посольстве, где ни один прием не считался удавшимся без очаровательной мадам Родон Кроули.

Оба атташе посольства, господа де Трюфиньи (из рода Перигор) и Шампиньяк, были сражены чарами прекрасной полковницы, и оба заявляли, как свойственно их нации (ибо видел ли кто француза, вернувшегося из Англии, который не оставил бы там десяток обманутых мужей и не увез с собою в бумажнике столько же разбитых сердец?), – оба они, говорю я, заявляли, что были *au mieux*<sup>[305]</sup> с очаровательной мадам Родон.

Но я сомневаюсь в правильности этого утверждения. Шампиньяк увлекался экарте и целые вечера проводил с полковником за картами, в то время как Бекки пела лорду Стайну в соседней комнате. Что же касается Трюфиньи, то всем прекрасно известно, что он не смел показываться в «Клубе Путешественников», где задолжал лакеям, и, не будь у него дарового стола в посольстве, этому достойному джентльмену грозила бы голодная смерть. Поэтому, повторяю, я сомневаюсь, чтобы Бекки могла оказать кому-либо из этих молодых людей свое особое расположение. Они были у нее на побегушках, покупали ей перчатки и цветы, залезали в долги, платя за ее ложи в опере, и угождали ей на тысячу ладов. По-английски они объяснялись с обворожительной наивностью, и Бекки, к неизменной потехе лорда Стайна, передразнивала того и другого прямо в лицо и тут же с самым

серьезным видом говорила им комплименты насчет их успехов в английском языке, чем приводила в восторг своего язвительного покровителя. Чтобы завоевать симпатии наперсницы Бекки – Бригс, Трюфиньи подарил ей шаль, а затем попросил ее передать письмо, но простодушная старая дева вручила его при всех той особе, которой оно было адресовано. Произведение это весьма позабавило каждого, кто читал его. Читал его и лорд Стайн; читали все, кроме честного Родона: сообщать ему обо всем, что происходило в мэйферском домике, не считалось обязательным.

Вскоре Бекки начала принимать у себя не только «лучших иностранцев» (как говорится на нашем благородном светском жаргоне), но и лучших представителей английского общества. Я не разумею под этим людей наиболее добродетельных или даже наименее добродетельных, или самых умных, или самых глупых, самых богатых, или самых родовитых, но просто «лучших», – словом, людей, о которых не может быть двух мнений: таких, например, как знатная леди Фиц-Уиллис, эта святая женщина, патронесса Олмэка<sup>[306]</sup>; знатная леди Слоубор, знатная леди Гризель Макбет (урожденная леди Г. Глаури, дочь лорда Грэя Глаури) и тому подобные особы. Когда графиня Фиц-Уиллис (ее милость принадлежит к семейству с Кинг-стрит, – смотри справочники Дебрета и Берка<sup>[307]</sup>) благоволит к кому-нибудь, то предмет ее расположения, будь то мужчина или женщина, уже вне опасности. О них уже не может быть двух мнений. И не потому, чтобы леди Фиц-Уиллис была чем-либо лучше всякой другой женщины, – наоборот: это увядшая особа, пятидесяти семи лет от роду, некрасивая, небогатая и незанимательная; но все согласны в том, что она принадлежит к категории «лучших», – а значит, те, кто у нее бывает, тоже принадлежат к «лучшим». И, вероятно из-за старой вражды к леди Стайн (ибо в давние времена, когда ее милость, дочь графа Пуншихереса, любимца принца Уэльского, была еще юной Джорджиной Фредерикой, она сама мечтала стать леди Стайн), эта славная руководительница светского общества соблаговолила признать миссис Родон Кроули. Она сделала ей изысканнейший реверанс на многолюдном собрании, которое возглавляла, и не только поощряла своего сына, Сент-Китса (получившего должность стараниями лорда Стайна), посещать дом миссис Кроули, но

пригласила ее к себе и во время обеда на глазах у всех дважды удостоила разговором. Этот важный факт в тот же вечер стал известен всему Лондону. Люди, отзывавшиеся о миссис Кроули пренебрежительно, умолкли. Уэнхем, остряк, поверенный и правая рука лорда Стайна, повсюду расхваливал Бекки. Многие из тех, кто до сих пор колебался, стали ее горячими сторонниками: так, маленький Том Тодди, который раньше не советовал Саутдауну бывать у женщины со столь сомнительной репутацией, теперь сам добивался чести быть ей представленным. Словом, Бекки была допущена в круг «лучших» людей. Ах, мои возлюбленные читатели и братья, не завидуйте бедной Бекки раньше времени: говорят, такая слава мимолетна. Ходит упорный слух, что даже в самых избранных кругах люди ничуть не счастливее, чем бедные скитальцы, которым нет туда доступа. И Бекки, проникшая в самое сердце светского общества и видевшая лицом к лицу великого Георга IV, признавалась потом, что и там тоже были Суэта и Тщеславие.

Нам приходится быть краткими в описании этой части ее карьеры. Подобно тому как я не берусь описывать франкмасонские таинства, — хотя и твердо убежден, что это чепуха, — так непосвященный пусть лучше не берется за изображение большого света и держит свое мнение при себе, каково бы оно ни было.

Бекки в последующие годы часто говорила о той поре своей жизни, когда она вращалась в самых высоких кругах лондонского света. Ее успехи радовали ее, кружили ей голову, но потом наскучили. Сперва для нее не было более приятного занятия, чем придумывать и раздобывать (замечу кстати, что при тех ограниченных средствах, какими располагала миссис Родон Кроули, последнее было нелегким делом и требовало большой изобретательности) — раздобывать, говорю я, новые наряды и украшения; ездить на обеды в изысканное общество, где ее гостеприимно встречали великие мира сего, а с пышных обедов спешить на пышные вечера, куда являлись те же, с кем она обедала и кого встречала накануне вечером и увидит завтра, — безукоризненно одетые молодые люди, с красиво повязанными галстуками, в блестящих сапогах и белых перчатках; пожилые, солидные толстяки, с медными пуговицами, с благородной осанкой, любезные и болтливые; девицы, белокурые, робкие, все в розовом; мамыши, разодетые, торжественно важные, все в брильянтах. Они

беседовали по-английски, а не на скверном французском языке, как в романах. Они обсуждали свои домашние дела и злословили о своих ближних совершенно так же, как Джонсы злословят о Смидах. Прежние знакомые Бекки ненавидели ее и завидовали ей, а бедная женщина сама зевала от скуки. «Хоть бы покончить со всем этим, – думала она. – Лучше бы мне быть замужем за священником и обучать детей в воскресной школе, чем вести такую жизнь; или же быть женой какого-нибудь сержанта и разъезжать в полковой фуре; или... всего веселее было бы надеть усыпанный блестками костюм и танцевать на ярмарке перед балаганом!»

– У вас это отлично бы вышло, – сказал со смехом лорд Стайн. Бекки простодушно поверяла великому человеку свои *ennuis*<sup>[308]</sup> и заботы; это забавляло его.

– Из Родона получился бы отличный шталмейстер... церемониймейстер... как это называется?... такой человек в больших сапогах и мундире, который ходит по арене и пощелкивает бичом. Он рослый, дородный, и выправка у него военная. Помню, – продолжала Бекки задумчиво, – когда я была еще ребенком, отец как-то повез меня в Брук-Грин на ярмарку. После этого я смастерила себе ходули и отплясывала в отцовской мастерской на удивление всем ученикам.

– Хотелось бы мне на это поглядеть! – сказал лорд Стайн.

– Хотелось бы мне так поплясать теперь, – подхватила Бекки. – Вот удивилась бы леди Блинки, вот ужаснулась бы леди Гризель Макбет! Тс! тише! Паста сейчас будет петь!

Бекки взяла себе за правило быть особенно вежливой с профессиональными артистками и артистами, выступавшими на этих аристократических вечерах; она отыскивала их по углам, где они молча сидели, пожимала им руки и улыбалась на виду у всех. Ведь она сама артистка, замечала она, – и совершенно справедливо: в манере, с какой она признавалась в своем происхождении, чувствовались откровенность и скромность, которые возмущали, обезоруживали или забавляли зрителей, смотря по обстоятельствам. «Какое бесстыдство проявляет эта женщина, – говорили одни, – какой напускает на себя независимый вид, когда ей следовало бы сидеть смиреннько и быть благодарной, что с ней разговаривают!» – «Что за честное и добродушное создание!» – говорили другие. «Какая хитрая кривляка!» – говорили третьи. Все они, вероятно, были правы; но

Бекки поступала по-своему и так очаровывала артистов, что те, забыв о простуженном горле, выступали у нее на приемах и даром давали ей уроки.

Да, Бекки устраивала приемы в маленьком доме на Керзон-стрит. Десятки карет, сверкая фонарями, забивали улицу, к неудовольствию дома № 200, который не знал покоя от громкого стука в двери, и дома № 202, который не мог уснуть от зависти. Рослые выездные лакеи гостей не поместились бы в маленькой прихожей Бекки, поэтому их расквартировывали по соседним питейным заведениям, откуда посыльные вызывали их по мере надобности, отрывая от пива. Первейшие лондонские денди, сталкиваясь нос к носу на тесной лестнице, смеясь спрашивали друг друга, как они здесь очутились; и много безупречных и тонных дам сиживало в маленькой гостиной, слушая пение профессиональных певцов, которые, по своему обыкновению, пели так, словно им хотелось, чтобы из оконных рам повылетели стекла. А на следующий день в газете «Морнинг пост» среди описания светских reunions<sup>[309]</sup> появлялась заметка такого содержания:

«Вчера у полковника и миссис Кроули в их доме в Мэйфере состоялся званый обед для избранного общества. Присутствовали их сиятельства князь и княгиня Петроварадинские, его превосходительство турецкий посланник Папуш-паша (в сопровождении Кибоб-бея, драгомана посольства), маркиз Стайн, граф Саутдаун, сэр Питт и леди Джейн Кроули, мистер Уэг и др. После обеда у миссис Кроули состоялся раут, который посетили: герцогиня (вдовствующая) Стилтон, герцог де ля Грюйер, маркиза Чеширская, маркиз Алессандро Стракино, граф де Бри, барон Шапцугер, кавалер Тости, графиня Слингстоун и леди Ф. Македем, генерал-майор и леди Г. Макбет и две мисс Макбет; виконт Пэддингтон, сэр Хорес Фоги, почтенный Бедуин Сэндс, Бобачи Беховдер и др.». Читатель может продолжать этот список по своему усмотрению еще на десяток строк убористой печати.

В своих сношениях с великими людьми наша приятельница обнаруживала то же прямодушие, каким отличалось ее обращение с людьми ниже стоящими. Раз как-то, будучи в гостях в одном очень знатном доме, Ребекка (вероятно, не без умысла) беседовала на



французском языке со знаменитым тенором-французом, а леди Гризель Макбет хмуро глядела через плечо на эту парочку.

– Как отлично вы говорите по-французски, – сказала леди Макбет, сама говорившая на этом языке с весьма своеобразным эдинбургским акцентом.

– Это неудивительно, – скромно ответила Бекки, потупив глазки. – Я преподавала французский язык в школе, и моя мать была француженкой.

Леди Гризель была побеждена ее смиренностью, и чувства ее по отношению к маленькой женщине смягчились. Она приходила в ужас от пагубных веяний нашего века, когда стираются все грани и люди любого класса получают доступ в высшее общество; однако же не могла не признать, что данная особа, по крайней мере, умеет себя вести и никогда не забывает своего места. Леди Гризель была очень хорошей женщиной – доброй по отношению к бедным, глупой, безупречной, доверчивой. Нельзя ставить в вину ее милости то, что она считает себя лучше нас с вами: в течение долгих веков люди целовали край одежды ее предков; говорят, еще тысячу лет тому назад лорды и советники покойного Дункана лобызали клетчатую юбочку главы ее рода, когда сей славный муж стал королем Шотландии.

После сцены у рояля сама леди Стайн не устояла перед Бекки и, быть может, даже почувствовала к ней некоторую симпатию. Младших дам семейства Гонт тоже принудили к повиновению. Раз или два они напускали на Бекки своих приспешников, но потерпели неудачу. Блестящая леди Станингтон попробовала было помериться с нею силами, но была разбита наголову бесстрашной маленькой Бекки. Когда на нее нападали, Бекки ловко принимала вид застенчивой *ingenue*<sup>[310]</sup> и под этой маской была особенно опасна: она отпускала ядовитейшие замечания самым естественным и непринужденным тоном, а потом простодушно просила извинения за свои промахи, тем самым доводя их до всеобщего сведения.

Однажды вечером, по наущению дам, в атаку на Бекки двинулся мистер Уэг, прославленный остряк, прихлебатель лорда Стайна. Покосившись на своих покровительниц и подмигнув им, как бы желая сказать: «Сейчас начнется потеха», он напал на Бекки, которая беззаботно наслаждалась обедом. Маленькая женщина, всегда бывшая во всеоружии, мгновенно приняла вызов, отпарировала удар и



ответила таким выпадом, что Уэга даже в жар бросило от стыда. После чего она продолжала есть суп с полнейшим спокойствием и с тихой улыбкой на устах. Великий покровитель Уэга, кормивший его обедами и иногда ссужавший ему немного денег за хлопоты по выборам и по газетным и иным делам, бросил на несчастного такой свирепый взгляд, что Уэг едва под стол не свалился и не расплакался. Он жалобно посматривал то на милорда, который за весь обед не сказал ему ни единого слова, то на дам, которые, разумеется, отступились от него. В конце концов сама Бекки сжалась над ним и попыталась вовлечь его в разговор. После этого Уэга не приглашали обедать в течение шести недель; и Фичу, доверенному лицу милорда, за которым Уэг, конечно, усердно ухаживал, было приказано довести до его сведения, что если он еще раз посмеет сказать миссис Кроули какую-нибудь дерзость или сделать ее мишенью своих глупых шуток, то милорд передаст для взыскания все его векселя, и тогда пусть не ждет пощады. Уэг разрыдался и стал молить своего дорогого друга Фича о заступничестве. Он написал стихи в честь миссис Р. К. и напечатал их в ближайшем номере журнала «Набор слов», который сам же издавал. При встречах с Бекки на вечерах он всячески к ней подлизывался. Он раболепствовал и заискивал в клубе перед Родоном. Спустя некоторое время ему было разрешено вновь появиться в Гонт-Хаусе. Бекки была всегда добра к нему, и всегда весела, и никогда не сердилась.

Мистер Уэнхем, великий визирь и главный доверенный его милости (имевший прочное место в парламенте и за обеденным столом милорда), был гораздо благоразумнее мистера Уэга как по своему поведению, так и по образу мыслей. При всей своей ненависти ко всяким парвеню (сам мистер Уэнхем был непреклонным тори, отец же его – мелким торговцем углем в Северной Англии), этот адъютант маркиза не выказывал никаких признаков враждебности по отношению к новой фаворитке. Напротив, он донимал ее вкрадчивой любезностью и лукавой и почтительной вежливостью, от которых Бекки порою ежилась больше, чем от явного недоброжелательства других людей.

Каким образом чета Кроули добывала средства на устройство приемов для своих великосветских знакомых, было тайной, в свое время возбуждавшей немало толков и, может быть, придававшей этим

маленьким раутам известный оттенок пикантности. Одни уверяли, что сэр Питт Кроули выдает своему брату порядочный пенсион; если это верно, то, значит, власть Бекки над баронетом была поистине огромна и его характер сильно изменился с возрастом. Другие намекали, что у Бекки вошло в привычку взимать контрибуцию со всех друзей своего супруга: к одному она являлась в слезах и рассказывала, что в доме описывают имущество; перед другим падала на колени, заявляя, что все семейство вынуждено будет идти в тюрьму или же кончить жизнь самоубийством, если не будет оплачен такой-то и такой-то вексель. Говорили, что лорд Саутдаун, тронутый столь жалкими словами, дал Ребекке не одну сотню фунтов. Юный Фелтхем \*\*\* драгунского полка (сын владельца фирмы «Тайлер и Фелтхем», шапочники и поставщики военного обмундирования), которого Кроули ввели в фешенебельные круги, также упоминался в числе данников Бекки; ходили слухи, что она брала деньги у разных доверчивых людей, обещая выхлопотать им ответственный пост на государственной службе. Словом, каких только историй не рассказывалось о нашем дорогом и невинном друге! Верно лишь одно: если бы у Ребекки были все те деньги, которые она будто бы выклянчила, заняла или украдала, то она могла бы составить себе капитал и вести честную жизнь до могилы, между тем как... но мы забегаем вперед.

Правда и то, что при экономии и умении хозяйничать, скупко расходуя наличные деньги и почти не платя долгов, можно ухитриться, хотя на короткое время, жить на широкую ногу при очень ограниченных средствах. И вот нам кажется, что пресловутые вечера Бекки, которые она в конце концов устраивала не так уж часто, стоили этой леди немногим больше того, что она платила за восковые свечи, освещавшие ее комнаты. Стилбрук и Королевское Кроули снабжали ее в изобилии дичью и фруктами. Погреба лорда Стайна были к ее услугам, знаменитые повара этого вельможи вступали в управление ее маленькой кухней или же, по приказу милорда, посылали ей редчайшие деликатесы домашнего изготовления. Я считаю, что очень стыдно порочить простое, бесхитростное существо, как современники порочили Бекки, и предупреждаю публику, чтобы она не верила и одной десятой доле всего того, что болтали об этой женщине. Если мы вздумаем изгонять из общества всякого, кто залезает в долги, если мы начнем заглядывать в личную жизнь каждого, проверять его доходы и

отворачиваться от него, чуть только нам не понравится, как он тратит деньги, то какой же мрачной пустыней и несносным местопребыванием покажется нам Ярмарка Тщеславия! Каждый будет тогда готов поднять руку на своего ближнего, дорогой мой читатель, и со всеми благами цивилизации будет покончено. Мы будем ссориться, поносить друг друга, избегать всякого общения. Наши дома превратятся в пещеры, и мы начнем ходить в лохмотьях, потому что всем будет на всех наплевать. Арендная плата за дома понизится. Не будет больше званных вечеров. Все городские торговцы разорятся. Вино, восковые свечи, сласти, румяна, кринолины, брильянты, парики, безделушки в стиле Людовика XIV, старый фарфор, верховые лошади и великолепные рысаки – одним словом, все радости жизни – полетят к черту, если люди будут руководствоваться своими глупыми принципами и избегать тех, кто им не нравится и кого они бранят. Тогда как при некоторой любви к ближнему и взаимной снисходительности все идет как по маслу: мы можем ругать человека, сколько нашей душе угодно, и называть его величайшим негодяем, по которому плачет веревка, – но разве мы хотим, чтобы его и вправду повесили? Ничуть не бывало! При встречах мы пожимаем ему руку. Если у него хороший повар, мы всё прощаем ему и едем к нему на обед, рассчитывая, что и он поступит так же по отношению к нам. Таким образом, торговля процветает, цивилизация развивается, все живут в мире и согласии, еженедельно требуются новые платья для новых приемов и вечеров, а прошлогодний сбор лафитовского винограда приносит обильный доход почтенному владельцу, насадившему эти лозы.

Хотя в ту эпоху, о которой мы пишем, на троне был великий Георг и дамы носили рукава *gigots*<sup>[311]</sup>, а в прическах – огромные гребни наподобие черепаховых лопат, вместо простеньких рукавов и изящных веночков, какие сейчас в моде, однако нравы высшего света, сколько я понимаю, не отличались существенно от нынешних, и развлечения его были примерно те же, что и теперь. Нам, сторонним наблюдателям, глазеющим через плечи полицейских на ослепительных красавиц, когда те едут ко двору или на бал, они кажутся какими-то неземными созданиями, наслаждающимися небывалым счастьем, для нас недостижимым. В утешение этим завистникам мы и рассказываем о борьбе и триумфах нашей дорогой

Бекки, а также о разочарованиях, которых ей выпало на долю не меньше, чем другим достойным особам.

В то время мы только что позаимствовали из Франции веселое развлечение – разыгрывание шарад. Оно вошло в моду у нас в Англии, так как давало возможность многим нашим дамам, наделенным красотой, выставлять в выгодном свете свои прелести, а немногим, наделенным умом, – обнаруживать свое остроумие. Бекки, вероятно считавшая, что она обладает обоими названными качествами, уговорила лорда Стайна устроить в Гонт-Хаусе вечер, в программу которого входило несколько таких маленьких драматических представлений. Мы будем иметь удовольствие ввести читателя на это блестящее reunion, причем отметим с грустью, что оно будет одним из самых последних великосветских сборищ, какие нам удастся ему показать.

Часть великолепной залы – картинной галереи Гонт-Хауса – была приспособлена под театр. Ею пользовались для театральных представлений еще в царствование Георга III, и до сих пор сохранился портрет маркиза Гонта с напудренными волосами и розовой лентой на римский манер, как тогда говорили, – в роли Катона в одноименной трагедии мистера Аддисона, разыгранной в присутствии их королевских высочеств принца Уэльского, епископа Оснабрюкского и принца Уильяма Генри в бытность их всех детьми примерно того же возраста, что и сам актер. Кой-какую старую бутафорию извлекли с чердаков, где она валялась еще с того времени, и освежили для предстоящих торжеств.

Распорядителем праздника был молодой Бедуин Сэндс, в ту пору блестящий денди и путешественник по Востоку. В те дни путешественников по Востоку уважали, и отважный Бедуин, выпустивший *in quarto*<sup>[312]</sup> описание своих странствий и проведенный несколько месяцев в палатке в пустыне, был особой немаловажной. В книге было помещено несколько портретов Сэндса в различных восточных костюмах, а появлялся он везде с черным слугой самой отталкивающей наружности, совсем как какой-нибудь Бриан де Буа Гильбер<sup>[313]</sup>. Бедуин, его костюмы и черный слуга были восторженно встречены в Гонт-Хаусе как весьма ценное приобретение.

Бедуин открыл вечер шарад. Военного вида турок с огромным султаном из перьев (считалось, что янычары до сих пор существуют, и

потому феска еще не вытеснила старинного и величественного головного убора правоверных) возлежал на диване, делая вид, что пускает клубы дыма из кальяна, в котором, однако, из уважения к дамам курилась только ароматическая лепешка. Ага зеваает, проявляя все признаки скуки и лени. Он хлопает в ладоши, и появляется нубиец Мезрур, с запястьями на обнаженных руках, с ятаганами и всевозможными восточными украшениями, – жилистый, рослый и безобразный. Он почтительно приветствует своего господина.

Дрожь ужаса и восторга охватывает собрание. Дамы перешептываются. Этот черный раб был отдан Бедуину Сэндсу одним египетским пашой в обмен на три дюжины бутылок мараскина. Он зашил в мешок и спихнул в Нил несметное количество одалисок.

– Введите торговца невольниками, – говорит турецкий сластолюбец, делая знак рукой. Мезрур вводит торговца невольниками; тот ведет с собой закутанную в покрывало женщину. Торговец снимает покрывало. Зал разражается громом аплодисментов. Это миссис Уинкворт (урожденная мисс Авессалом), черноокая красавица с прекрасными волосами. Она в роскошном восточном костюме: черные косы перевиты бесчисленными драгоценностями, платье сверкает золотыми пиастрами. Гнусный магометанин говорит, что он очарован ее красотой. Она падает перед ним на колени, умоляя отпустить ее домой, в родные горы, где влюбленный в нее черкес все еще оплакивает разлуку со своей Зулейкой. Но никакие мольбы не могут растрогать черствого Гасана. При упоминании о женихе-черкесе он разражается смехом. Зулейка закрывает лицо руками и опускается на пол в позе самого очаровательного отчаяния. По-видимому, ей уже не на что надеяться, как вдруг... как вдруг появляется Кизляр-ага.

Кизляр-ага привозит письмо от султана. Гасан берет в руки и возлагает на свою голову грозный фирман<sup>[314]</sup>. Смертельный ужас охватывает его, а лицо негра (это опять Мезрур, уже успевший переменить костюм) озаряется злобной радостью.

– Пощады, пощады! – восклицает паша, а Кизляр-ага со страшной улыбкой достает... шелковую удавку.

Занавес падает в тот момент, когда нубиец уже собирается пустить в ход это ужасное орудие смерти. Гасан из-за сцены кричит:

– Первые два слога!

Миссис Родон Кроули, которая тоже будет участвовать в шараде, подходит к миссис Уинкворт и осыпает ее комплиментами, восторгаясь изумительным изяществом и красотой ее костюма.

Начинается вторая часть шарады. Действие снова происходит на Востоке. Гасан, уже в другом костюме, сидит в нежной позе рядом с Зулейкой, которая совершенно с ним примирилась. Кизляр-ага превратился в смиренного черного раба. Восход солнца в пустыне; турки обращают свои взоры к востоку и кланяются до земли. Верблюдов под рукой не имеется, поэтому оркестр весело играет «А вот идут дромадеры». Огромная голова египтянина появляется на сцене. Голова эта обладает музыкальными способностями и, к удивлению восточных путешественников, исполняет куплеты, написанные мистером Уэгом. Восточные путешественники пускаются в пляс, подобно Папагено и мавританскому королю в «Волшебной флейте».

– Последние два слога! – кричит голова.

Разыгрывается последнее действие. На сей раз это греческий шатер. Какой-то рослый мужчина отдыхает в нем на ложе. Над ним висят его шлем и щит. Они ему больше не нужны. Илион пал. Ифигения убита. Кассандра в плену и находится где-то во внешних покоях. Владыка мужей, «анакс андрон» (это полковник Кроули, который, конечно, не имеет никакого представления ни о разграблении Илиона, ни о пленении Кассандры), спит в своей опочивальне в Аргосе. Светильник отбрасывает на стену огромную колеблющуюся тень спящего воина; поблескивают в полумраке троянский меч и щит. Оркестр играет грозную и торжественную музыку из «Дон Жуана» перед появлением статуи командора.

В шатер входит на цыпочках бледный Эгист. Чье это страшное лицо мрачно следит за ним из-за полога? Эгист поднимает кинжал, чтобы поразить спящего, который поворачивается на постели и словно подставляет под удар свою широкую грудь. Но он не может нанести удар спящему военачальнику! Клитемнестра<sup>[315]</sup>, словно привидение, быстро проскальзывает в опочивальню; ее белые руки обнажены, золотистые волосы рассыпались по плечам, лицо смертельно бледно, а глаза сияют такой страшной улыбкой, что у зрителей сжимается сердце.

Трепет пробегает по зале.

– Великий боже! – произносит кто-то. – Это миссис Родон Кроули!

Презрительным жестом она вырывает кинжал из рук Эгиста и приближается к ложу. Клинок сверкает у нее над головой в мерцании светильника; светильник гаснет, раздается стон – и все погружается в мрак.

Темнота и самая сцена напугали публику. Ребекка сыграла свою роль так хорошо и так естественно, что зрители онемели. Но вот снова загорелись сразу все лампы, и тут разразилась буря восторгов. «Браво, браво!» – заглушал все голоса резкий голос старого Стайна. «Черт подери, она и правда способна на такую штуку!» – пробормотал он сквозь зубы. Вся зала гремела криками. «Режиссера! Клитемнестру!» *Агамемнон* не пожелал показаться в своей классической тунике и держался на заднем плане вместе с Эгистом и другими исполнителями. Мистер Бедуин Сэндс вывел вперед Зулейку и Клитемнестру. Некий член королевской фамилии потребовал, чтобы его представили очаровательной Клитемнестре.

– Ну что? Пронзили его насквозь? Теперь можно выйти замуж за кого-нибудь другого? – таково было удачное замечание, сделанное его королевским высочеством.

– Миссис Родон Кроули была неподражаема, – заметил лорд Стайн.

Бекки засмеялась, бросила на него веселый и дерзкий взгляд и сделала очаровательный реверанс.

Слуги внесли подносы, уставленные прохладительными лакомствами, и актеры скрылись, чтобы подготовиться ко второй шараде.

Три слога этой шарады изображались как три действия одной пьесы, и представление было разыграно в таком виде:

**Первый слог.** Полковник и кавалер ордена Бани Родон Кроули, в шляпе с широкими полями и в длинном плаще, с посохом и с фонарем, взятым для этого случая из конюшни, проходит через сцену, громко выкрикивая что-то, как бы оповещающая жителей о позднем часе. В окне нижнего этажа видны два странствующих торговца, видимо, играющие в крибедж и усердно зевающие за игрой. К ним подходит некто, смахивающий на коридорного (почтенный Дж. Рингвуд), – какую роль молодой джентльмен провел в совершенстве, – и

стаскивает с них сапоги. Появляется служанка (достопочтенный лорд Саутдаун) с двумя подсвечниками и грелкой. Служанка поднимается в верхний этаж и согревает постель. С помощью этой же грелки она отваживает не в меру любезных торговцев. Служанка уходит. Торговцы надевают ночные колпаки и опускают шторы. Выходит коридорный и закрывает ставни на окнах нижнего этажа. Слышно, как он изнутри задвигает засовы и закрывает дверь на цепочку. Все огни гаснут. Музыка играет «Dormez, dormez, chers Amours!»<sup>[316]</sup>. Голос из-за занавеса говорит:

– Первый слог.

**Второй слог.** Лампы сразу загораются. Музыка играет старую мелодию из «Иоанна Парижского»: «Ah, quel plaisir d'être en voyage!»<sup>[317]</sup> Декорация та же. На фасаде дома, между первым и вторым этажом, вывеска, на которой нарисован герб Стайнов. По всему дому беспрерывно звонят звонки. В нижнем помещении один человек показывает другому длинную полосу бумаги; тот машет кулаком, грозит и клянется, что это грабеж. «Конюх, подавайте мою коляску!» – кричит кто-то третий у дверей. Он треплет горничную (достопочтенного лорда Саутдауна) по подбородку; та, по-видимому, горюет, провожая его, как горевала Калипсо, провожая другого знаменитого путешественника, Улисса. Коридорный (почтенный Дж. Рингвуд) проходит с деревянным ящиком, в котором стоят серебряные жбаны, и выкрикивает: «Кому пива?» – так смешно и естественно, что вся зала разражается аплодисментами и актеру бросают букет цветов. За сценой раздаётся щелканье бича. Хозяин, горничная, слуга бросаются к дверям. Но в тот момент, когда подъезжает какой-то именитый гость, занавес падает и невидимый режиссер спектакля кричит:

– Второй слог!

– Мне кажется, это означает «отель», – говорит лейб-гвардеец капитан Григ.

Общий хохот: капитан очень недалек от истины.

Пока идет подготовка к третьему слогу, оркестр начинает играть морское попури: «Весь в Даунсе флот на якорь стал», «Уймись, Борей суровый», «Правь, Британия», «Там, в Бискайском заливе, эй!» Ясно, что будут происходить какие-то события на море. Звонит колокол, занавес раздвигается. «Джентльмены, сейчас отчаливаем!» –



воскликает чей-то голос. Люди начинают прощаться. Они со страхом указывают на тучи, которые изображаются темным занавесом, и боязливо качают головами. Леди Сквимс (достопочтенный лорд Саутдаун) со своей собачкой, сундуками, ридикюлями и супругом занимает место и крепко вцепляется в какие-то канаты. Очевидно, это корабль.

Входит капитан (полковник и кавалер ордена Бани Кроули) в треугольной шляпе, с подзорной трубой; придерживая шляпу, он смотрит вдаль: фалды его мундира развеваются как бы от сильного ветра. Когда он отнимает от шляпы руку, чтобы взять подзорную трубу, шляпа с него слетает под гром аплодисментов. Ветер крепчает. Музыка гремит и свистит все громче и громче. Матросы ходят по сцене пошатываясь, словно корабль страшно качает. Буфетчик (почтенный Дж. Рингвуд), едва держась на ногах, приносит шесть тазиков. Быстро подставляет один тазик лорду Сквимсу. Леди Сквимс дает пинка собаке, та поднимает жалобный вой, дама прикладывает к лицу носовой платок и стремительно убегает как бы в каюту. Музыка изображает высшую степень бурного волнения, и третий слог заканчивается.

В то время был в моде небольшой балет «Le Rossignol»<sup>[318]</sup> (в котором отличились Монтесю и Нобле). Мистер Уэг переделал его в оперу для английской сцены, сочинив к прелестным мелодиям балета свои стихи, на что он был великий мастер. Опера шла в старинных французских костюмах, и на этот раз изящный лорд Саутдаун появился преобразенный в старуху, ковлявшую по сцене с клюкой в руке.

Из маленькой картонной хижины, увитой розами и плющом, доносятся рулады и трели. «Филомела, Филомела!»<sup>[319]</sup> – кричит старуха. И появляется Филомела.<sup>[320]</sup>

Взрыв аплодисментов: это миссис Родон Кроули – восхитительная маркиза в пудренном парике и с мушками.

Смеясь и напевая, входит она, порхает по сцене со всей грацией театральной юности, делает реверанс. «Мама» ей говорит: «Дитя мое, ты, как всегда, смеешься и распеваешь?» И она поет «Розу у балкона»:

Пунцовых роз душистый куст у моего балкона  
Безлиствен был все дни зимы и ждал: когда весна?

Ты спросишь: что ж он рдеет так и дышит так влюбленно?  
То солнце на небо вошло, и песня птиц слышна.

И соловей, чья трель звенит все громче и чудесней,  
Безмолвен был в нагих ветвях под резкий ветра свист.  
И если, мама, спросишь ты причину этой песни:  
То солнце на небо вошло и зелен каждый лист.

Так, мама, все нашли свое: певучий голос – птицы,  
А роза, мама, – алый цвет к наряду своему;  
И в сердце, мама, у меня веселый луч денницы,  
И вот я рдею и пою, – ты видишь, почему?<sup>[321]</sup>

В промежутках между куплетами этого романса добродушная особа, которую певица называла мамой и у которой из-под чепца выплывали пышные бакенбарды, очень старалась выказать свою материнскую любовь, заключив в объятия невинное создание, исполнявшее роль дочери. Каждую такую попытку публика встречала взрывами сочувственного смеха. Когда певица кончила и оркестр заиграл симфонию, изображая как бы щебетание птичек, вся зала единодушно потребовала повторения номера. Аплодисментам и букетам не было конца. Лорд Стайн кричал и аплодировал громче всех. Бекки – соловей – подхватила цветы, которые он ей бросил, и прижала их к сердцу с видом заправской актрисы. Лорд Стайн был вне себя от восторга. Его гости дружно ему вторили. Куда девалась черноокая гурия, появление которой в первой шараде вызвало такие восторги! Она была вдвое красивее Бекки, но та совершенно затмила ее своим блеском. Все голоса были отданы Бекки. Стивенс, Карадори, Ронци де Бенъис – публика сравнивала ее то с одной из них, то с другой и приходила к единодушному выводу – вероятно, вполне основательно, – что, будь Бекки артисткой, ни одна из этих прославленных певиц не могла бы ее превзойти. Бекки достигла вершины своего торжества, ее звонкий голосок высоко и радостно взлетал над бурей похвал и рукоплесканий. После спектакля начался бал, и все устремились к Бекки, как к самой привлекательной женщине в этой огромной зале. Особа королевской фамилии

клятвенно заверяла, что Бекки – совершенство, и снова и снова вступала с нею в разговор. Осыпаясь этими почестями, маленькая Бекки задыхалась от гордости и счастья; она видела перед собой богатство, славу, роскошь. Лорд Стайн был ее рабом; он ходил за нею по пятам и почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал, оказывая ей самое явное предпочтение. Она все еще была одета в костюм маркизы и протанцевала менуэт с господином де Трюфиньи, атташе господина герцога де ля Жаботьера. И герцог, верный традициям прежнего двора, заявил, что мадам Кроули вполне могла бы учиться у Вестриса и блистать на балах в Версале. Только чувство собственного достоинства, подагра и строжайшее сознание долга удержали его светлость от намерения самому потанцевать с Бекки. И он провозгласил во всеуслышание, что дама, которая умеет так говорить и танцевать, как миссис Родон, достойна быть посланницей при любом европейском дворе. Он успокоился, только когда услышал, что она по рождению наполовину француженка. «Никто, кроме моей соотечественницы, – объявил его светлость, – не мог бы так исполнить этот величественный танец».

Затем Бекки выступила в вальсе с господином Клингеншпором, двоюродным братом и атташе князя Петроварадинского. Восхищенный князь, обладавший меньшей выдержкой, чем его французский коллега – дипломат, тоже пожелал пригласить очаровательное создание на тур вальса и кружился с Бекки по зале, теряя брильянты с кисточек своих сапог и гусарского ментика, пока совсем не запыхался. Сам Папуш-паша был бы не прочь поплясать с Бекки, если бы такое развлечение допускалось обычаями его родины. Гости образовали круг и аплодировали Бекки так неистово, словно она была какой-нибудь Нобле или Тальони. Все были в полном восторге, не исключая, разумеется, и самой Бекки. Она прошла мимо леди Станингтон, смерив ее презрительным взглядом. Она покровительственно разговаривала с леди Гонт и с ее изумленной и разобиженной невесткой, она буквально сокрушила всех своих соперниц. Что же касается бедной миссис Уинкворт и ее длинных кос и больших глаз, имевших такой успех в начале вечера, то где она была теперь? Она осталась за флагом. Она могла бы вырвать все свои длинные волосы и выплакать свои большие глаза, и ни один человек не обратил бы на это внимания и не посочувствовал бы ей.

Самый большой триумф ждал Бекки за ужином. Ее посадили за особый стол вместе с его королевским высочеством – тем самым членом царствующего дома, о котором мы уже упоминали, – и прочими знатными гостями. Ей подавали яства на золотых блюдах. Как новая Клеопатра, она могла бы повелеть, чтобы в ее бокале с шампанским растворили жемчуг, а владетельный князь Петроварадинский отдал бы половину брильянтов, украшавших его ментик, за ласковый взгляд ее сверкающих глаз. Жаботьер написал о Бекки своему правительству. Дамы за другими столами, где ужин подавался на серебре, заметили, какое внимание лорд Стайн оказывает Бекки, и в один голос заявили, что такое ослепление с его стороны чудовищно и оскорбительно для всякой женщины благородного происхождения. Если бы сарказм мог убивать, леди Станингтон сразила бы Бекки на месте.

Родона Кроули эти триумфы пугали. Казалось, они все больше отдаляли от него жену. С чувством, очень близким к боли, он думал о том, как ему далеко до Бекки.

Когда настал час разъезда, целая толпа молодых людей вышла провожать Бекки до кареты, вызванной для нее лакеями; крик лакеев подхватили дежурившие за высокими воротами Гонт-Хауса слуги с фонарями, которые желали счастливого пути каждому гостю, выезжавшему из ворот, и выражали надежду, что его милость приятно провел время.

Карета миссис Родон Кроули после должных выкриков подъехала к воротам, прогрохотала по освещенному двору и подкатила к крытому подъезду. Родон усадил жену в карету, и она уехала. Самому полковнику мистер Уэнхем предложил идти домой пешком и угостил его сигарой.

Они закурили от фонаря одного из слуг, стоявших за воротами, и Родон зашагал по улице рядом со своим другом Уэнхемом. Два каких-то человека отделились от толпы и последовали за обоими джентльменами. Пройдя несколько десятков шагов, один из этих людей приблизился и, дотронувшись до плеча Родона, сказал:

– Простите, полковник: мне нужно поговорить с вами по секретному делу.

В ту же минуту его спутник громко свистнул, и по его знаку к ним быстро подкатил кеб – из тех, что стояли у ворот Гонт-Хауса. Тот,

кто позвал карету, обежал кругом и занял позицию перед полковником Кроули.

Бравый офицер сразу понял, что с ним приключилось: он попал в руки бейлифов. Он сделал шаг назад – и налетел на того человека, который первым тронул его за плечо.

– Нас трое: сопротивление бесполезно, – сказал тот.

– Это вы, Мосс? – спросил полковник, очевидно, узнав своего собеседника. – Сколько надо платить?

– Чистый пустяк, – шепнул ему мистер Мосс с Кэрситор-стрит, Чансери-лейн, чиновник мидлсекского шерифа. – Сто шестьдесят шесть фунтов шесть шиллингов и восемь пенсов по иску мистера Натана.

– Ради бога, одолжите мне сто фунтов, Уэнхем, – сказал бедняга Родон. – Семьдесят у меня есть дома.

– У меня нет за душой и десяти, – ответил бедняга Уэнхем. – Спокойной ночи, мой милый.

– Спокойной ночи, – уныло произнес Родон.

И Уэнхем направился домой, а Родон Кроули докурил свою сигару, когда кеб уже оставил позади фешенебельные кварталы и въехал в Сити.

## **Глава LII, в которой лорд Стайн показывает себя с самой привлекательной стороны**

Когда лорд Стайн бывал к кому-нибудь расположен, он ничего не делал наполовину, и его любезность по отношению к семейству Кроули свидетельствовала о величайшем такте в проявлении такой благосклонности. Милорд распространил свое благоволение и на маленького Родона: он указал родителям мальчика на необходимость помещения его в закрытую школу; Родон уже достиг того возраста, когда соревнование, начатки латинского языка, бокс и общество сверстников могут принести ему величайшую пользу. Отец возражал, говоря, что не настолько богат, чтобы отдать ребенка в хорошую закрытую школу; мать указывала, что Бригс – отличная наставница для мальчика и достигла с ним замечательных успехов (так оно и было в действительности) в английском языке, основах латинского и других предметах. Но все эти возражения не могли сломить великодушной настойчивости маркиза Стайна. Его милость был одним из попечителей знаменитого старого учебного заведения, носившего наименование «Уайтфрайерс»<sup>[322]</sup>. В давние времена, когда на поле Смитфилд еще устраивались турниры, рядом находился цистерцианский монастырь. Сюда привозили закоренелых еретиков, которых удобно было сжигать по соседству, все на том же Смитфилде. Генрих VIII, защитник веры, захватил монастырь со всеми его угодьями и перевешал и замучил тех из монахов, которые не могли приспособиться к темпу его реформ. В конце концов какой-то крупный купец купил здание монастыря и прилегавшие к нему земли и при содействии других богатых людей, пожертвовавших землю и деньги, основал там знаменитый приют-богадельню для стариков и детей. При этом почти монашеском учреждении выросло потом училище, существующее до сих пор и сохранившее свои средневековые одеяния и обычаи. Все цистерцианцы<sup>[323]</sup> молятся о его дальнейшем процветании.

Попечителями этого знаменитого учреждения состоят некоторые из знатнейших английских вельмож, прелатов и сановников; и так как мальчики живут там с большими удобствами, хорошо питаются и обучаются и впоследствии получают стипендии в университетах и церковные приходы, то многих маленьких джентльменов посвящают духовной профессии с самого нежного возраста, и добиться зачисления в эту школу не так-то легко. Первоначально она предназначалась для сыновей бедных и заслуженных духовных особ или мирян, но многие из знатных ее попечителей, благосклонность которых проявлялась в более широких размерах или, пожалуй, носила более капризный характер, выбирали и другого рода объекты для своей щедрости. Бесплатное образование и гарантия обеспеченного существования и верной карьеры в будущем были так заманчивы, что этим не гнушались и многие богатые люди. И не только родственники великих людей, но и сами великие люди посылали своих детей в эту школу. Прелаты посылали туда своих родственников или сыновей подчиненного им духовенства, а, с другой стороны, некоторые высокопоставленные особы не считали ниже своего достоинства оказывать покровительство детям своих доверенных слуг; таким образом, мальчик, поступавший в это заведение, оказывался членом очень разношерстного общества.

Хотя сам Родон Кроули за всю жизнь не изучил ни одной книги, кроме Календаря скачек, и хотя его воспоминания о школе связывались главным образом с порками, которые он получал в Итоне в ранней юности, однако он, подобно всем английским джентльменам, искренно уважал классическое образование и радовался при мысли, что его сын будет обеспечен, а может быть, даже станет ученым человеком. И хотя мальчик был его единственной отрадой и верным товарищем, хотя их связывали тысячи невидимых уз, о которых Родон предпочитал не разговаривать с женой, всегда выказывавшей полнейшее равнодушие к сыну, все же Родон сразу согласился на разлуку и ради блага мальчугана отказался от своего величайшего утешения. Он и сам не знал, как дорог ему ребенок, пока не пришлось с ним расстаться. Когда мальчик уехал, Родон тосковал больше, чем мог бы в этом признаться, – гораздо больше самого мальчика, который даже радовался вступлению в новую жизнь и обществу сверстников. Бекки разражалась громким смехом, когда полковник пытался, как

всегда неуклюже и бессвязно, выразить свою скорбь по поводу отъезда сына. Бедняга чувствовал, что у него отняли самую его большую радость, самого дорогого друга. Он печально поглядывал на пустую кровать, стоявшую в его туалетной, где обычно спал ребенок. Он больно чувствовал его отсутствие по утрам и во время своих одиноких прогулок по Парку. Пока не уехал сынишка, Родон не знал, как он одинок. Он полюбил тех, кто был расположен к мальчику, и целыми часами просиживал у своей ласковой невестки, леди Джейн, беседуя с нею о хорошем характере мальчика, о его красоте и прочих достоинствах.

Тетка юного Родона очень его любила, так же как и ее дочурка, которая горько плакала, провожая кузена в школу. Старший Родон был благодарен матери и дочери за их любовь. Самые лучшие и благородные чувства обнаруживались в безыскусственных излияниях отцовской любви, к которым поощряло его сочувствие леди Джейн и ее дочери. Он снискал не только симпатию леди Джейн, но и ее искреннее уважение за проявленные им чувства, которым он не мог дать волю перед собственной женой. Две эти дамы встречались как можно реже. Бекки ядовито насмеялась над чувствительностью и мягкосердечием Джейн, а та, при своей доброте и кротости, не могла не возмущаться черствостью невестки.

Это отдаляло Родона от жены больше, чем он сам себе в том признавался. Жenu такое отчуждение ничуть не огорчало. Родон был ей глубоко безразличен. Она смотрела на него как на своего посыльного или как на покорного раба. Каким бы он ни был мрачным или печальным, Бекки не обращала на это внимания или только насмеялась над ним. Она думала лишь о своем положении, о своих удовольствиях и успехах в обществе. Поистине, она была достойна занять в нем видное место!

Укладкой скромного багажа, который мальчику нужно было взять в училище, занялась честная Бригс. Горничная Молли рыдала в коридоре, когда он уезжал, – добрая, верная Молли, которой уже давно не платили жалованья. Миссис Бекки не позволила мужу взять ее карету, чтобы отвезти мальчика в школу. Гонять лошадей в Сити! Неслыханная вещь! Пусть наймут кеб. Бекки даже не поцеловала сына на прощание; да и он не выразил желания обнять ее, но зато поцеловал старую Бригс (перед которой обычно стеснялся выразить



свои чувства) и утешил ее, сказав, что будет приезжать домой по субботам и это даст ей возможность видаться с ним. Когда кеб покотил по направлению к Сити, карета Бекки помчалась в Парк. Бекки болтала и смеялась с толпой молодых денди на берегу Серпентайна, когда отец с сыном въезжали в старые ворота училища, где Родон оставил мальчика и откуда ушел с таким чувством, печальнее и чище которого этот несчастный, никчемный человек не знал, вероятно, с тех пор, как сам вышел из детской.

Весь путь домой он проделал пешком, в очень грустном настроении, и пообедал вдвоем с Бригс. Он был очень ласков с нею и благодарил ее за любовь к мальчику и заботы о нем. Совесть мучила его за то, что он взял у Бригс деньги в займы и помог обмануть ее. Они беседовали о маленьком Родоне долго, потому что Бекки вернулась домой только для того, чтобы переодеться и уехать на званый обед. А затем, не находя себе места, он отправился к леди Джейн пить чай и сообщить ей обо всем происшедшем: что маленький Родон расстался с ним молодцом, что он будет теперь носить мантию и штанишки до колен и что юный Блекбол, сын Джека Блекбола, прежнего товарища по полку, взял мальчика под свою защиту и обещал не обижать его.

В первую же неделю юный Блекбол сделал маленького Родона своим фагом<sup>[324]</sup>, заставлял чистить ему сапоги, поджаривать гренки на завтрак, посвятил его в таинства латинской грамматики и раза три-четыре вздул, но не очень жестоко. Славная, добродушная мордочка мальчугана вызывала к нему невольные симпатии. Били его не больше, чем то было для него полезно. Что же касается чистки сапог, поджаривания гренков и вообще исполнения обязанностей фага, то разве эти обязанности не считаются необходимой частью воспитания каждого английского джентльмена?

В нашу задачу не входит писать о втором поколении и о школьной жизни юного Родона, иначе мы бы никогда не закончили эту повесть. Полковник спустя короткое время отправился проведать сына и нашел мальчугана достаточно здоровым и счастливым, – одетый в форменную черную мантию и короткие брючки, он весело смеялся и болтал.

Отец предусмотрительно задобрил Блекбола, вручив ему соверен, и обеспечил доброе расположение этого юного джентльмена к своему фагу. Вероятно, школьные власти также были склонны относиться к

ребенку достаточно внимательно, как к protégé знатного лорда Стайна, племяннику члена парламента и сыну полковника и кавалера ордена Бани, чье имя появлялось на столбцах «Морнинг пост» в списках гостей, присутствующих на самых фешенебельных собраниях. У мальчика было вдоволь карманных денег, которые он тратил с королевской щедростью на угощение своих товарищей пирогами с малиной. Его часто отпускали по субботам домой к отцу, и тот всегда устраивал в этот день настоящий праздник. Если он бывал свободен, он водил мальчика в театр, а не то посылал его туда с лакеем. По воскресеньям маленький Родон ходил в церковь с Бригс, леди Джейн и ее детьми. Полковник с увлечением слушал рассказы мальчика о школе, о драках и о заботах фага. Очень скоро он не хуже сына знал фамилии всех учителей и наиболее замечательных школьников. Он брал к себе из школы однокашника маленького Родона и после театра закармливал обоих детей пирожными и устрицами с портером. Он с видом знатока разглядывал латинскую грамматику, когда маленький Родон показывал ему, «докуда» они прошли в школе по латинскому языку.

– Старайся, милый мой, – говаривал он сыну с большой серьезностью. – Нет ничего лучше классического образования... ничего!

Презрение Бекки к супругу росло с каждым днем.

– Делайте, что хотите: обедайте, где угодно, наслаждайтесь лимонадом и опилками у Астли<sup>[325]</sup> или пойте псалмы с леди Джейн, – только не ждите *от меня*, чтобы я возилась с мальчишкой. Мне нужно заботиться о ваших делах, раз вы сами не можете о них позаботиться. Интересно знать, где бы вы сейчас были и в каком вращались бы обществе, если бы я за вами не смотрела?

Следует сказать, что никто не интересовался бедным старым Родоном на тех званых вечерах, которые посещала Бекки. Ее теперь часто приглашали без него. Ребекка говорила о великих людях так, словно Мэйфер был ее вотчиной; а когда при дворе объявляли траур, она всегда одевалась в черное.

Пристроив маленького Родона, лорд Стайн, проявлявший такой родственный интерес к делам этого милого бедного семейства, решил, что Кроули могут сильно сократить свои расходы, отказавшись от

услуг мисс Бригс, и что Бекки достаточно сметлива, чтобы самостоятельно вести свое домашнее хозяйство. В одной из предыдущих глав было рассказано о том, как благосклонный вельможа дал своей protégée денег для уплаты ее маленького долга мисс Бригс, которая, однако, по-прежнему осталась жить у своих друзей. Из этого милорд вывел прискорбное заключение, что миссис Кроули употребила доверенные ей деньги на какую-то иную цель. Однако лорд Стайн не был так груб, чтобы поделиться своими подозрениями на этот счет с самой миссис Бекки, чувства которой могли быть больно задеты всякими разговорами о деньгах; у нее могло быть множество прискорбных причин для того, чтобы иначе распорядиться щедрой ссудой милорда. Но он решил выяснить истинное положение дел и предпринял необходимое расследование в самой осторожной и деликатной форме.

Прежде всего он при первом же удобном случае расспросил мисс Бригс. Это была нетрудная операция: самого ничтожного поощрения бывало достаточно, чтобы заставить эту достойную женщину говорить без устали и выкладывать все, что было у нее на душе. И вот однажды, когда миссис Родон уехала кататься (как легко узнал доверенный слуга его милости мистер Фич на извозничьем дворе, где Кроули держали свой экипаж и лошадей, или, лучше сказать, где содержатель двора держал экипаж и лошадей для мистера и миссис Кроули), милорд заехал в дом на Керзон-стрит, попросил Бригс угостить его чашкой кофе, сообщил, что имеет хорошие вести из школы о маленьком Родоне, и через пять минут выведал у экономки, что миссис Родон ничего ей не дала, кроме черного шелкового платья, за которое мисс Бригс бесконечно ей благодарна.

Лорд Стайн смеялся про себя, слушая этот бесхитростный рассказ. Дело в том, что наш дорогой друг Ребекка преподнесла ему самый обстоятельный доклад о том, как счастлива была Бригс, получив свои деньги – тысячу сто двадцать пять фунтов, – и в какие процентные бумаги она их обратила. И как жалко было самой Бекки выпустить из рук столько денег. «Как знать, – вероятно, думала при этом милая женщина, – быть может, он мне еще что-нибудь прибавит?» Однако милорд не сделал плутовке никакого такого предложения, по всей вероятности, считая, что и так уже проявил достаточную щедрость.

Затем он любопытствовал, в каком состоянии находятся личные дела мисс Бригс, и та чистосердечно рассказала его милости все: как мисс Кроули оставила ей наследство; как Бригс отдала часть его своим родственникам; как полковник Кроули забрал другую часть, поместив деньги под вернейшее обеспечение и хорошие проценты, и как мистер и миссис Родон любезно взялись договориться с сэром Питтом, который озаботится наиболее выгодным помещением остальных ее денег, когда у него будет время. Милорд спросил, какую сумму полковник уже поместил от ее имени, и мисс Бригс правдиво поведала ему, что сумма эта составляет шестьсот с чем-то фунтов.

Но, рассказав все это, болтливая Бригс тотчас раскаялась в своей откровенности и начала умолять милорда не сообщать мистеру Кроули о сделанных ею признаниях. Полковник был так добр... Мистер Кроули может обидеться и вернуть деньги, а тогда она уж нигде больше не получит за них таких хороших процентов.

Лорд Стайн со смехом обещал сохранить их беседу в тайне, а когда они с мисс Бригс расстались, он посмеялся еще веселее.

«Вот чертенок! – думал он. – Какая замечательная актриса и какой делец. На днях она своими уловками едва не вытянула у меня еще такую же сумму. Она оставляет за флагом всех женщин, каких я знавал за всю свою с толком прожитую жизнь. Они просто дети по сравнению с нею! Я и сам перед нею молокосос и дурак, старый дурак! Лжет она неподражаемо!» Преклонение его милости перед Бекки неизмеримо возросло после такого доказательства ее ловкости. Получить деньги нетрудно, но получить вдвое больше, чем ей было нужно, и никому не заплатить – вот это мастерский ход! А Кроули, думал милорд, Кроули уж вовсе не такой дурак, каким он выпядит и прикидывается. Он тоже ловко обделал это дельце! Никто бы не заподозрил по его лицу и поведению, что ему хоть что-нибудь известно об этой афере, а ведь это он научил жену и деньги, конечно, сам растратил. Мы знаем, что милорд ошибался, придерживаясь такого мнения, но оно сильно повлияло на его отношение к полковнику Кроули, с которым он начал обходиться даже без того подобия уважения, какое выказывал ему раньше. Покровителю миссис Кроули и в голову не приходило, что маленькая леди могла сама прикарманить денежки; и весьма возможно, если уж говорить правду, что лорд Стайн судил о полковнике Кроули по своему опыту с

другими мужьями, которых он знал в течение своей долгой и с толком прожитой жизни, познакомившей его со многими слабостями человеческого рода. Милорд купил на своем веку столько мужей, что, право, его нельзя винить, если он предположил, будто узнал цену и этому.

Он пожурил Бекки, когда встретился с нею наедине, и добродушно поздравил ее с блестящим умением получать больше денег, чем ей нужно. Бекки смутилась только на мгновение. Кривить душой было не в обычае этого милого создания, если ее не принуждала к тому крайняя необходимость, но в таких чрезвычайных обстоятельствах она врала без зазрения совести. И вот в один миг у нее была готова новая, вполне правдоподобная и обстоятельная история, которую она и преподнесла своему покровителю. Да, все, что она ему рассказывала раньше, – выдумка, злостная выдумка! Она в этом признается. Но кто заставил ее лгать?

– Ах, милорд, – говорила она, – вы не знаете, сколько мне приходится молча сносить и терпеть. Вы видите меня веселой и счастливой, когда я с вами... но какие муки я терплю, когда рядом со мной нет моего покровителя! Муж угрозами и грубейшим обхождением заставил меня обратиться к вам с просьбой о тех деньгах, относительно которых я вас обманула. Это он, предвидя, что меня могут спросить о назначении этих денег, заставил меня придумать объяснение, которое я вам дала. Он взял деньги. Он сказал мне, что уплатил долг мисс Бригс. Я не считала возможным, я не смела не поверить ему! Простите зло, которое должен был причинить вам человек, дошедший до крайности, и пожалейте жалкую, жалкую женщину. – И она залилась слезами. Никогда еще гонимая добродетель не являла такого обворожительного скорбного вида!

Между ними произошел долгий разговор, пока они круг за кругом катались по Риджент-парку в карете миссис Кроули, – разговор, подробности которого нам незачем повторять. Но привел он к тому, что Бекки, вернувшись домой, с сияющим лицом бросилась к своей милой, дорогой Бригс и объявила, что хочет сообщить ей очень хорошие вести. Лорд Стайн поступил в высшей степени благородно и великодушно. Он всегда только и думает о том, как бы сделать кому-нибудь добро. Теперь, когда маленький Родон в школе, ей, Бекки, уже больше не нужна ее дорогая помощница и подруга. Она горюет свыше

всякой меры при мысли о разлуке с Бригс, но их средства требуют строжайшей экономии, а печаль миссис Кроули смягчается сознанием, что ее щедрый покровитель может устроить дорогую Бригс гораздо лучше, чем она в своем скромном доме. Миссис Пилкингтон, экономка в Гонтли-Холле, совсем одряхла и страдает ревматизмом, она уже не в состоянии справляться с работой по управлению таким огромным домом, поэтому приходится подыскивать ей преемницу. Это блестящее положение! Семейство лорда наезжает в Гонтли не чаще одного раза в два года. Все остальное время экономка – первый человек в этом великолепном дворце. Четыре раза в день ей подается отменная еда, ее посещают духовные особы и самые уважаемые люди графства, – в сущности, она хозяйка Гонтли. Две последние экономки, служившие до миссис Пилкингтон, вышли замуж за пасторов в Гонтли. Сама миссис Пилкингтон не могла последовать их примеру, будучи теткой нынешнего пастора. Место это еще не закреплено за мисс Бригс, но она может съездить туда, навестить миссис Пилкингтон и посмотреть, подойдет ли ей эта должность.

Какими словами можно описать восторженную благодарность Бригс! Она поставила только одно условие: чтобы маленькому Родону было разрешено приезжать к ней в Гонтли-Холл погостить. Бекки обещала это... все, что угодно. Она выбежала навстречу мужу, когда тот вернулся домой, и сообщила ему радостную новость. Родон обрадовался, чертовски обрадовался: с его совести свалился тяжелый камень – вопрос о деньгах бедной Бригс. Во всяком случае, она теперь устроена, но... но на сердце у Родона скребли кошки. Что-то здесь было неладно. Он рассказал о предложении лорда Стайна молодому Саутдауну, и тот смерил его очень странным взглядом.

Полковник рассказал и леди Джейн об этом новом проявлении щедрости лорда Стайна, и она тоже посмотрела на Родона как-то странно и тревожно. Так же отнесся к его сообщению и сэр Питт.

– Она слишком умна и... бойка, чтобы позволить ей разъезжать по званым вечерам без компаньонки, – заявили оба супруга. – Ты должен выезжать с нею, Родон, и *должен* иметь кого-нибудь при ней... ну, скажем, одну из девочек из Королевского Кроули, хотя это и довольно легкомысленные телохранительницы!

Кто-то должен был быть при Бекки. Но вместе с тем было ясно, что достойной Бригс не следует упускать случая прожить в довольстве остаток своих дней. И вот она собралась, уложила чемоданы и отправилась в путь. Таким образом, двое из часовых Родона оказались в руках неприятеля.

Сэр Питт побывал у невестки и попытался вразумить ее относительно отставки Бригс и других щекотливых семейных дел. Тщетно Бекки доказывала ему, что покровительство лорда Стайна необходимо ее бедному супругу и что с их стороны было бы жестоко лишать Бригс предложенного ей места. Заискивание, лесть, улыбки, слезы – ничто не могло убедить сэра Питта, и между ним и Бекки, которой он некогда так восхищался, произошло нечто очень похожее на ссору. Он заговорил о семейной чести, о незапятнанной репутации фамилии Кроули, с негодованием отметил, что Бекки напрасно принимает у себя этих молодых французов – распутную светскую молодежь, да и самого лорда Стайна, карета которого всегда стоит у дверей Бекки, который ежедневно проводит с нею по нескольку часов и своим постоянным пребыванием в ее доме вызывает в обществе разные толки. В качестве главы рода он умоляет Ребекку быть более благоразумной. Общество уже отзывается о ней неуважительно. Лорд Стайн хотя и вельможа и обладает выдающимися талантами, но это человек, внимание которого может скомпрометировать любую женщину; сэр Питт просит, умоляет, настаивает, чтобы его невестка была осмотрительнее при встречах с этим сановником.

Бекки пообещала Питту все, чего тому хотелось, но лорд Стайн все так же часто посещал ее дом; и гнев сэра Питта разгорался все сильнее. Не знаю, сердилась или радовалась леди Джейн, видя, что ее супруг наконец нашел недостатки у своей любимицы Ребекки! Поскольку визиты лорда Стайна продолжались, его собственные прекратились; и жена его готова была отказаться от всякого дальнейшего общения с этим сановником и отклонить приглашение на вечер с шарадами, которое прислала ей маркиза. Но сэр Питт решил, что это приглашение необходимо принять, так как на вечере будет присутствовать его королевское высочество.

Сэр Питт был на упомянутом вечере, но он покинул его очень рано, да и жена его была рада поскорее уехать. Бекки почти не разговаривала с Питтом и едва замечала невестку. Питт Кроули

заявил, что поведение Бекки в высшей степени непристойно, и в резких выражениях осуждал театральные представления и маскарады как совершенно неподобающее времяпрепровождение для англичанки. По окончании шарад он задал жестокий нагоняй своему брату Родону за то, что тот и сам участвовал в таких неприличных игрищах, и позволил жене принять в них участие.

Родон сказал, что больше участвовать в подобных забавах она не будет. Быть может, под влиянием внушений со стороны старшего брата и невестки он уже и так стал примерным семьянином. Он забросил клубы и бильярдные. Никуда не выезжал один. Ездил кататься вместе с Бекки; усердно посещал с нею все званые вечера. Когда бы ни приезжал к ним лорд Стайн, полковник всегда оказывался дома. А когда Бекки предполагала выехать куда-нибудь без него или же получала приглашения только для себя, он решительно требовал, чтобы она отказывалась от них, – и в тоне нашего джентльмена было что-то такое, что внушало повиновение. Маленькая Бекки, надо отдать ей справедливость, была очарована галантностью Родона. Он иногда бывал не в духе, зато Бекки всегда была весела. И при гостях, и наедине с мужем у Бекки неизменно находилась для него ласковая улыбка, всегда она заботилась о его удобствах и удовольствиях. Словно вернулись первые дни их брачной жизни: то же отличное расположение духа, *prévenances*<sup>[326]</sup>, приветливость, безыскусственная откровенность и внимание.

– Насколько же приятнее, – говаривала Бекки, – когда рядом со мной в карете сидишь ты, а не эта глупая старуха Бригс! Давай, дорогой Родон, будем и впредь так жить! Как это было бы чудесно, какое это было бы счастье, будь только у нас деньги!

После обеда Родон засыпал в кресле; он не видел лица сидевшей против него жены – хмурого, измученного и страшного. Когда Родон просыпался, оно озарялось свежей, невинной улыбкой. Жена весело его целовала. Полковник изумлялся, как это у него могли возникнуть подозрения! Да у него никогда и не было никаких подозрений: эти смутные опасения и предчувствия, смущавшие его, – все это было просто беспричинной ревностью. Бекки любит его, она всегда его любила. А если она блистает в высшем свете, в том нет ее вины! Она создана, чтобы блистать. Какая другая женщина умеет так говорить, так петь или вообще делать что-либо так, как Бекки? Если бы только



она любила сынишку! Так думал Родон. Но мать и сын никогда не могли ужиться.

И в то самое время, когда Родон терзался такими сомнениями и недоуменными вопросами, произошел случай, о котором мы рассказали в предыдущей главе, и несчастный полковник оказался пленником, отторгнутым от своего дома.

## Глава LIII

### Спасение и катастрофа

Наш друг Родон подкатил к особняку мистера Мосса на Кэрситор-стрит и был должным образом введен под гостеприимные своды этого мрачного убежища. Стук колес пробудил эхо на Чансерилейн, над веселыми крышами которой уже занималось утро. Заспанный мальчишка-еврей с золотисто-рыжей, как утренняя заря, шевелюрой отпер дверь, и мистер Мосс – провожатый и хозяин Родона – любезно пригласил полковника в покои нижнего этажа и осведомился, не пожелает ли он выпить после прогулки стаканчик чего-нибудь горяченького.

Полковник был не так удручен, как был бы удручен иной смертный, который, покинув дворец и placens ихог<sup>[327]</sup>, оказался бы запертым в доме бейлифа, – ибо, сказать по правде, Родону уже приходилось раза два гостить в учреждении мистера Мосса. Мы не считали нужным в предшествующих главах этой повести упоминать о таких мелких домашних неурядицах, но заверяем читателя, что они неизбежны в жизни человека, живущего неизвестно на что.

В первый раз полковник, тогда еще холостяк, был освобожден из дома мистера Мосса благодаря щедрости тетки. Во второй раз малютка Бекки с величайшим присутствием духа и любезностью заняла некоторую сумму денег у лорда Саутдауна и уговорила кредитора своего мужа (это, к слову сказать, был ее поставщик шалей, бархатных платьев, кружевных носовых платочков, безделушек и побрякушек) удовольствоваться частью требуемой суммы и взять на остальную обязательство Родона уплатить деньги в определенный срок. Таким образом, в обоих этих случаях все заинтересованные стороны проявили величайшую деликатность и предупредительность, и поэтому мистер Мосс и полковник были в наилучших отношениях.

– Вам приготовлена ваша старая кровать, полковник, со всеми удобствами, – заявил мистер Мосс, – могу вас в этом заверить по совести. Вы не сомневайтесь, мы ее постоянно проветриваем и предоставляем только людям из самого лучшего общества. Прошлую ночь на ней почивал достопочтенный капитан Фэмиш пятидесятого

драгунского полка. Мамаша выкупила его через две недели, говорит – это ему просто для острастки. Но, видит бог, уж и дал он острастку моему шампанскому! И каждый-то вечер у него гости – все одни козыри, из клубов да из Вест-Энда: капитан Рэг, достопочтенный Дьюсэйс, что живет в Темпле, и другие, которые тоже понимают толк в добром стакане вина! Честное слово! Наверху у меня помещается доктор богословия, и пятеро джентльменов – в общей столовой. Миссис Мосс кормит за табльдотом в половине шестого, а после устраиваются разные развлечения – картишки или музыка. Будем весьма счастливы, если и вы придете.

– Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится, – сказал Родон и спокойно направился в свою спальню.

Как мы уже говорили, он был старый солдат и не смущался, когда судьба угощала его щелчками. Более слабый человек тут же послал бы письмо жене. «Но зачем смущать ее ночной покой? – подумал Родон. – Она не будет знать, у себя я или нет. Успею написать, когда она выспится, да и я тоже. Речь идет всего о каких-то ста семидесяти фунтах, черт побери, неужели мы этого не осилим?» И вот, с думами о маленьком Родоне (полковнику было бы очень тяжело, если бы мальчик узнал, в каком странном месте он находится), он улегся в постель, которую еще недавно занимал капитан Фэмиш, и крепко уснул. Было десять часов, когда он проснулся, и рыжеволосый юнец с нескрываемой гордостью поставил перед ним прекрасный серебряный туалетный прибор, с помощью которого Родон мог совершить церемонию бритья. Вообще дом мистера Мосса был хотя и грязноват, но зато обставлен великолепно. На буфете стояли *en permanence*<sup>[328]</sup> грязные подносы и ведерки с остатками льда; на забранных решетками окнах, выходивших на Кэрситор-стрит, висели огромные грязные золоченые карнизы с грязными желтыми атласными портьерами; из широких грязных золоченых рам смотрели картины духовного содержания или сцены из охотничьей жизни, – все они принадлежали кисти величайших мастеров и высоко оценивались при вексельных операциях, во время которых они многократно переходили из рук в руки. Завтрак был подан полковнику также в нечищенной, но великолепной посуде. Мисс Мосс, черноглазая девица в папильотках, явилась с чайником и, улыбаясь, осведомилась у полковника, как он почивал. Она принесла ему и номер газеты «Морнинг пост» с полным

списком именитых гостей, присутствовавших накануне на званом вечере у лорда Стайна. В газете содержался также отчет об этом блестящем празднестве и о замечательном исполнении прекрасной и талантливой миссис Родон Кроули сыгранных ею ролей.

Поболтав с хозяйской дочкой (которая уселась на край сервированного для завтрака стола в самой непринужденной позе, выставляя напоказ спустившийся чулок и бывший когда-то белым атласный башмачок со стоптанным каблуком), полковник Кроули потребовал перьев, чернил и бумаги. На вопрос, сколько ему надо листков, он ответил: «Только один», каковой мисс Мосс и принесла ему, зажав между большим и указательным перстами. Много таких листков приносила эта темноглазая девица; много несчастных узников царапали и марали на них торопливые строчки с мольбами о помощи и расхаживали по этой ужасной комнате, пока посланный не приносил им ответа. Бедные люди всегда прибегают к услугам посыльных, а не почты. Кто из нас не получал писем с еще сырой облаткой и с сообщением, что человек в прихожей ожидает ответа!

В успехе своего обращения Родон не сомневался.

«Дорогая Бекки! – писал он. – Надеюсь, ты спала хорошо. Не пугайся, что не я подаю тебе твой кофий. Вчера вечером, когда я возвращался домой покурывая, со мной случился акцидент. Меня сцапал Мосс с Кэрситор-стрит – в его позолоченной и пышной гостиной я и пишу это письмо, – тот самый, который уже забирал меня ровно два года тому назад. Мисс Мосс подавала мне чай; она очень растолстела, и, как всегда, чулки свалеваются у нее до пяток.

Это по иску Натана – сто пятьдесят фунтов, а с издержками – сто семьдесят. Пожалуйста, пришли мне мой письменный прибор и немного платья – я в бальных башмаках и белом галстуке (он уже похож на чулки мисс Мосс), – у меня там семьдесят фунтов. Как только получишь это письмо, поезжай к Натану, предложи ему семьдесят пять фунтов и попроси переписать вексель на остальную сумму. Скажи, что я возьму вина, – нам все равно надо покупать к обеду херес; но картин не бери – слишком дороги.

Если он заупрямится, возьми мои часы и те из своих безделушек, без которых ты можешь обойтись, и отошли в ломбард – мы должны, конечно, получить деньги еще до вечера. Нельзя откладывать это дело,

завтра воскресенье; кровати здесь не очень чистые, да и, кроме того, против меня могут возбудить еще новые дела. Радуюсь, что Родон не дома в эту субботу. Храни тебя бог.

Очень спешу.

Поторопись и приезжай!

*Твой Р. К.».*

Это письмо, запечатанное облаткой, было отправлено с одним из посыльных, постоянно болтающихся около владений мистера Мосса. Убедившись, что письмо отослано, Родон вышел во двор и выкурил сигару в довольно сносном состоянии духа, несмотря на решетку над своей головой, – ибо двор мистера Мосса загорожен со всех сторон решетками, как клетка, чтобы джентльменам, проживающим у него, не пришла, чего доброго, фантазия покинуть его гостеприимный кров.

Три часа, рассчитывал Родон, это самый большой срок, который потребуется, чтобы Бекки приехала и вызволила его. И он недурно провел это время в курении, чтении газеты и беседе в общей столовой с одним знакомым, капитаном Уокером, который тоже оказался тут и с которым Родон несколько часов играл в карты по шести пенсов, с переменным успехом.

Но время шло, а посыльный не возвращался; не приезжала и Бекки. «Табльдот» мистера Мосса был сервирован точно в половине шестого. Те из проживавших в доме джентльменов, которые были в состоянии платить за угощение, уселись за стол в описанной нами выше парадной гостиной, с которой сообщалось временное жилище мистера Кроули. Мисс М. (мисс Хем, как называл ее папаша) явилась к обеду уже без папильоток; миссис Хем предложила вниманию собравшихся отличную баранью ногу с репой. Полковник ел без особенного аппетита. На вопрос, не поставит ли он бутылку шампанского для всей компании, Родон ответил утвердительно, и дамы выпили за его здоровье, а мистер Мосс учтивейшим образом с ним чокнулся.

Но вот в середине обеда зазвонил колокольчик у входных дверей. Рыжий отпрыск Мосса поднялся из-за стола с ключами и пошел отворять; вернувшись, он сообщил полковнику, что посланный

прибыл с чемоданом, письменной шкатулкой и письмом, которое юноша и передал Родону.

– Без церемоний, полковник, прошу вас, – сказала миссис Мосс, делая широкий жест рукой, и Родон с легким трепетом вскрыл письмо. Это было чудесное письмо, сильно надушенное, на розовой бумаге и с светло-зеленой печатью.

«*Mon pauvre cher petit*<sup>[329]</sup>, – писала миссис Кроули. – Я не могла уснуть *ни на одно мгновение*, думая о том, что случилось *с моим противным старым чудовищем*, и забылась сном только утром, после того как послала за мистером Бленчем (меня лихорадило), и он дал мне успокоительную микстуру и оставил Финет указание, чтобы меня не будили *ни под каким видом*. Поэтому посыльный моего бедного старичка, – у этого посыльного, по словам Финет, *bien mauvaise mine*<sup>[330]</sup> и *il sentait le Genièvre*<sup>[331]</sup>, – просидел в прихожей несколько часов в ожидании моего звонка. Можешь представить себе мое состояние, когда я прочитала твое милое бедное безграмотное письмо!

Хотя мне нездоровилось, я сейчас же вызвала карету и, как только оделась (я не могла выпить и капли шоколада, – уверяю тебя, не могла, потому что мне принес его не мой *monstre*<sup>[332]</sup>), помчалась *ventre à terre*<sup>[333]</sup> к Натану. Я видела его... молила... плакала... припадала к его гнусным стопам. Ничто не могло смягчить этого ужасного человека. Либо подавай ему все деньги, сказал он, либо мой бедный муженек останется в тюрьме. Я поехала домой с намерением нанести *une triste visite chez mon oncle*<sup>[334]</sup> (все мои безделушки будут отданы в твое распоряжение, хотя за них не выручить и ста фунтов; часть из них, как ты знаешь, уже находится у *se cher oncle*<sup>[335]</sup>) и застала у нас милорда вместе с болгарским чудовищем, которые приехали поздравить меня со вчерашним успехом. Приехал и Пэдингтон и, как всегда, мямлил, сюсюкал и дергал себя за волосы. Затем явился Шампиньяк со своим шефом – все с *foison*<sup>[336]</sup> комплиментов и прекрасных речей – и мучили

меня, бедную, а я только о том и мечтала, как бы поскорее избавиться от них, и *ни на минуту* не переставала думать о *mon pauvre prisonnier*<sup>[337]</sup>.

Когда они уехали, я бросилась на колени перед милордом, рассказала ему, что мы собираемся все заложить, и просила и молила его дать мне двести фунтов. Он яростно фыркал и шипел, заявил мне, что закладывать вещи глупо, и сказал, что посмотрит, не может ли он одолжить мне денег. Наконец он уехал, пообещав прислать деньги утром, и тогда я привезу их моему бедному старому чудовищу с поцелуем от его любящей

*Бекки.*

Пишу в постели. О, как у меня болит голова и как ноет сердце!»

Когда Родон прочел это письмо, он так покраснел и насупился, что общество за табльдотом легко догадалось: полковник получил дурные вести. Все подозрения, которые он гнал от себя, вернулись. Она даже не могла съездить и продать свои безделушки, чтобы освободить мужа! Она может смеяться и болтать, выслушивать комплименты, в то время как он сидит в тюрьме. Кто посадил его туда? Уэнхем шел вместе с ним. Не было ли здесь... Но Родон не мог допустить даже мысли об этом. Он поспешно оставил комнату и побежал к себе, открыл письменный прибор, торопливо набросал две строчки, адресовал их сэру Питту или леди Кроули и велел посыльному немедленно доставить письмо на Гонт-стрит, – пусть наймет кеб, и – гинею на чай, если через час вернется с ответом.

В записке он умолял дорогих брата и сестру, ради господ бога, ради маленького Родона и ради его собственной чести, приехать к нему и выручить его из беды. Он в тюрьме; ему нужно сто фунтов, чтобы выйти на свободу, – он умоляет и заклинает приехать к нему.

Отправив посыльного, полковник вернулся в столовую и потребовал еще вина. Он смеялся и болтал с каким-то странным оживлением, как показалось собеседникам. Время от времени он, словно безумный, хохотал над своими собственными опасениями и

еще целый час продолжал пить, все время прислушиваясь, не подъезжает ли карета, которая должна была привезти решение его судьбы.

По истечении этого срока у ворот послышался шум колес. Молодой привратник пошел отворять. Прибыла леди, которую он и впустил в дверь.

– К полковнику Кроули, – сказала дама с сильной дрожью в голосе.

Юноша, оценив посетительницу опытным взглядом, закрыл за ней наружную дверь, затем отпер и раскрыл внутреннюю и, крикнув: «Полковник, вас спрашивают!» – провел даму в заднюю гостиную, которую занимал Кроули.

Родон вышел из столовой, где остальные продолжали бражничать; луч слабого света проник вслед за ним в помещение, где дама ждала его, все еще сильно волнуясь.

– Это я, Родон, – застенчиво сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал весело. – Это я, Джейн!

Родон был потрясен этим ласковым голосом и появлением невестки. Он бросился к ней, обнял ее, бормоча бессвязные слова благодарности, и чуть не расплакался у нее на плече. Она не поняла причины его волнения.

Векселя мистера Мосса были быстро погашены, возможно к разочарованию этого джентльмена, рассчитывавшего, что полковник пробудет у него в гостях по меньшей мере все воскресенье, и Джейн, сияя счастливой улыбкой, увезла с собой Родона из дома бейлифа в том самом кебе, в котором она поспешила к нему на выручку.

– Питта не было дома, когда принесли ваше письмо, – сказала Джейн, – он на обеде с другими членами парламента; поэтому, милый мой Родон, я... я поехала сама.

И она вложила в его руку свою нежную ручку. Быть может, для Родона Кроули и лучше было, что Питт поехал на этот обед. Родон благодарил свою невестку с таким жаром, что эта мягкосердечная женщина была растрогана и даже встревожилась.

– О, вы... вы не знаете, – сказал он, как всегда грубовато и простодушно, – до чего я переменялся с тех пор, как узнал вас и... и полюбил маленького Роди! Мне... мне хотелось бы начать другую жизнь. Знаете, я хочу... я хочу стать...



Он не закончил фразы, но Джейн поняла смысл его слов. И в тот вечер, расставшись с Родоном и сидя у кровати своего маленького сына, она смиренно помолилась за этого бедного, заблудшего грешника.

Простившись с невесткой, Родон быстро зашагал домой. Было девять часов вечера. Он пробежал по улицам и широким площадям Ярмарки Тщеславия и наконец, едва переводя дух, остановился у своего дома. Он поднял голову – и в испуге, весь дрожа, отступил к решетке: окна гостиной были ярко освещены, а Бекки писала, что она больна и лежит в постели! Родон несколько минут простоял на месте; свет из окон падал на его бледное лицо.

Он достал из кармана ключ от входной двери и вошел в дом. Из верхних комнат до него донесся смех. Родон был в бальном костюме, – в том виде, в каком его арестовали. Он медленно поднялся по лестнице и прислонился к перилам верхней площадки. Никто во всем доме не шевельнулся – все слуги были отпущены со двора. Родон услышал в комнатах хохот... хохот и пение. Бекки запела отрывок из песенки, которую исполняла накануне; хриплый голос закричал: «Браво! Браво!» Это был голос лорда Стайна.

Родон открыл дверь и вошел. Маленький стол был накрыт для обеда – на нем поблескивало серебро и графины. Стайн склонился над софой, на которой сидела Бекки. Негодная женщина была в вечернем туалете, ее руки и пальцы сверкали браслетами и кольцами, на груди были брильянты, подаренные ей Стайном. Милорд держал ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать ей пальчики, как вдруг Бекки слабо вскрикнула и вскочила – она увидела бледное лицо Родона. В следующее мгновение она попыталась улыбнуться, как бы приветствуя вернувшегося супруга, – ужасная то была улыбка; Стайн выпрямился, бледный, скрипя зубами и с яростью во взоре. Он, в свою очередь, сделал попытку засмеяться и шагнул вперед, протягивая руку.

– Как! Вы уже вернулись?.. Здравствуйте, Кроули! – произнес он, и рот у него перекосялся, когда он попробовал улыбнуться непрошеному гостю.

Что-то в лице Родона заставило Бекки кинуться к мужу.

– Я невинна, Родон! – сказала она. – Клянусь богом, невинна! – Она цеплялась за его платье, хватала его за руки. Ее руки были сплошь покрыты змейками, кольцами, браслетами. – Я невинна! Скажите же, что я невинна! – взмолилась она, обращаясь к лорду Стайну.

Тот решил, что ему подстроена ловушка, и ярость его обрушилась на жену так же, как и на мужа.

– Это вы-то невинны, черт вас возьми! – завопил он. – Вы невинны! Да каждая побрякушка, что на вас надета, оплачена мною! Я передавал вам тысячи фунтов, которые тратил этот молодец и за которые он вас продал. Невинны, дьявол... Вы так же невинны, как ваша танцовщица-мать и ваш сводник-супруг. Не думайте меня запугать, как вы запугивали других... С дороги, сэр! Дайте пройти! – И лорд Стайн схватил шляпу и, с бешеной злобой глянув в лицо своему врагу, двинулся прямо на него, ни на минуту не сомневаясь, что тот даст ему дорогу.

Но Родон Кроули прыгнул и схватил его за шейный платок. Полузадушенный Стайн корчился и извивался под его рукой.

– Лжешь, собака! – кричал Родон. – Лжешь, трус и негодяй! – И он дважды наотмашь ударил пэра Англии по лицу и швырнул его, окровавленного, на пол.

Все это произошло раньше, чем Ребекка могла вмешаться. Она стояла подле, трепеща всем телом. Она любовалась своим супругом, сильным, храбрым – победителем!

– Подойди сюда! – приказал он.

Она подошла к нему.

– Сними с себя это.

Вся дрожа, она начала неверными руками стаскивать браслеты с запястий и кольца с трясущихся пальцев и подала все мужу, вздрагивая и робко поглядывая на него.

– Брось все здесь, – сказал тот, и она выпустила драгоценности из рук.

Родон сорвал у нее с груди брильянтовое украшение и швырнул его в лорда Стайна. Оно рассекло ему лысый лоб. Стайн так и прожил с этим шрамом до могилы.

– Пойдем наверх! – приказал Родон жене.

– Не убивай меня, Родон! – взмолилась она.

Он злобно захохотал.

– Я хочу убедиться, лжет ли этот человек насчет денег, как он налгал на меня. Он давал тебе что-нибудь?

– Нет, – отвечала Ребекка, – то есть...

– Дай мне ключи, – сказал Родон. И супруги вышли из комнаты.

Ребекка отдала мужу все ключи, кроме одного, в надежде, что Родон этого не заметит. Ключ этот был от маленькой шкатулки, которую ей подарила Эмилия в их юные годы и которую Бекки хранила в укромном месте. Но Родон вскрыл все ящики и гардеробы, вышвырнул из них на пол горы пестрых тряпок и наконец нашел шкатулку. Ребекка вынуждена была ее отпереть. Там хранились документы, старые любовные письма, всевозможные мелкие безделушки и женские реликвии. А кроме того, там лежал бумажник с кредитными билетами. Некоторые из них были тоже десятилетней давности, но один был совсем еще новенький – банкнот в тысячу фунтов, подаренный Бекки лордом Стайном.

– Это от него? – спросил Родон.

– Да, – ответила Ребекка.

– Я отошлю ему деньги сегодня же, – сказал Родон (потому что уже занялся новый день: обыск тянулся несколько часов), – заплачу Бригс, она была так ласкова с мальчиком, и покрою еще некоторые долги. Ты мне укажешь, куда тебе послать остальное. Ты могла бы уделить мне сотню фунтов, Бекки, из стольких-то денег, – я всегда с тобой делился.

– Я невинна, – повторила Бекки. И муж оставил ее, не сказав больше ни слова.

О чем она думала, когда он оставил ее? После его ухода прошло несколько часов, солнце заливало комнату, а Ребекка все сидела одна на краю постели. Все ящики были открыты и содержимое их разбросано по полу: платья и перья, шарфы и драгоценности – обломки крушения тщеславных надежд! Волосы у Бекки рассыпались по плечам, платье разорвалось, когда Родон срывал с него брильянты. Она слышала, как он спустился по лестнице и как за ним захлопнулась дверь. Она знала: он не вернется. Он ушел навсегда. «Неужели он убьет себя? – подумала она. – Нет, разве что после дуэли с лордом Стайном...» Она задумалась о своей долгой жизни и о всех печальных ее событиях. Ах, какой она показалась Бекки унылой,

какой жалкой, одинокой и неудачной! Не принять ли ей опиум и тоже покончить с жизнью – покончить со всеми надеждами, планами, триумфами и долгами? В таком положении и застала ее француженка-горничная: Ребекка сидела как на пожарище, стиснув руки, с сухими глазами. Горничная была ее сообщницей и состояла на жалованье у Стайна.

– Mon Dieu, madame! Что случилось? – спросила она.

Да, *что* случилось? Была она виновна или нет? Бекки говорила – нет, но кто мог бы сказать, где была правда в том, что исходило из этих уст, и было ли на сей раз чисто это порочное сердце? Столько лжи и выдумки, столько эгоизма, изворотливости, ума – и такое банкротство! Горничная задернула занавеси и просьбами и показной лаской убедила хозяйку лечь в постель. Затем она отправилась вниз и подобрала драгоценности, валявшиеся на полу с тех пор, как Ребекка бросила их там по приказу мужа, а лорд Стайн удалился.

## Глава LIV

### Воскресенье после битвы

Особняк сэра Питта Кроули на Грейт-Гонт-стрит только что начал совершать свой утренний туалет, когда Родон в бальном костюме, который был на нем уже двое суток, напугав своим видом служанку, мывшую крыльцо, прошел мимо нее прямо в кабинет к брату. Леди Джейн уже встала и сидела в капоте наверху в детской, наблюдая за одеванием детей и слушая, как малютки, прижавшись к ней, читают утренние молитвы. Каждое утро она и дети исполняли этот долг у себя, до публичного церемониала, который возглавлял сэр Питт и на котором полагалось присутствовать всем домашним. Родон опустился в кресло в кабинете перед столом баронета, где были в образцовом порядке разложены Синие книги, письма, аккуратно помеченные счета и симметричные пачки брошюр, а запертые на замочек счетные книги, письменные приборы и ящички с депешами, Библия, журнал «Трехмесячное обозрение» и «Придворный справочник» выстроились в ряд, как солдаты в ожидании смотра.

Сборник семейных проповедей – сэр Питт преподносил их своему семейству по утрам в воскресенье – лежал в полной готовности на столе, дожидаясь, чтобы его владелец выбрал в нем нужные страницы. А рядом со сборником проповедей лежал номер газеты «Наблюдатель», еще сырой и аккуратно сложенный, предназначавшийся для личного пользования сэра Питта. Один лишь камердинер позволял себе просматривать газету, прежде чем положить ее на хозяйский стол. В это утро, перед тем как отнести газету в кабинет, он прочитал красочный отчет о «празднествах в Гонт-Хаусе» с перечислением всех именитых особ, приглашенных маркизом Стайном на вечер, удостоенный присутствия его королевского высочества. Обсудив это событие с экономкой и ее племянницей, с которыми он рано утром пил чай и ел горячие гренки с маслом в комнате названной леди, и выразив удивление, каким это образом справляются Родоны Кроули со своими делами, камердинер подержал газету над паром и снова сложил ее так, чтобы к приходу хозяйина дома она имела совершенно свежий и нетронутый вид.

Бедный Родон взял газету и попробовал было заняться чтением, но строчки прыгали у него перед глазами, и он не понимал ни единого слова. Правительственные известия и назначения (сэр Питт, как общественный деятель, был обязан их просматривать, иначе он ни за что не потерпел бы у себя в доме воскресных газет), театральная критика, состязание на приз в сто фунтов между Баркингским Мясником и Любимцем Татбери, даже хроника Гонт-Хауса, содержащая самый похвальный, хотя и сдержанный отчет о знаменитых шарадах, в которых отличалась миссис Бекки, – все это проплыло в какой-то дымке перед Родоном, пока он сидел в ожидании главы рода Кроули.

Едва кабинетные часы черного мрамора начали резко отзванивать девять, появился сэр Питт, свежий, аккуратный, гладко выбритый, с чистым желтоватым лицом, в тугом воротничке, с зачесанными и напомаженными остатками волос; он величественно спустился с лестницы, в накрахмаленном галстуке и сером фланелевом халате, полируя на ходу ногти и являя собою образец подлинного английского джентльмена старых времен, образец опрятности и всяческой благопристойности. Он вздрогнул, когда увидел у себя в кабинете бедного Родона, в измятом костюме, растрепанного, с налитыми кровью глазами. Питт подумал, что брат его выпил лишнего и провел всю ночь в какой-нибудь оргии.

– Милосердный боже, Родон! – сказал он в изумлении. – Что привело тебя сюда в такой ранний час? Почему ты не дома?

– Дома? – произнес Родон с горьким смехом. – Не пугайся, Питт. Я не пьян. Закрой дверь: мне надо поговорить с тобой.

Питт закрыл дверь, затем, подойдя к столу, опустился в другое кресло – в то самое, которое было поставлено здесь для приемов управляющего, агента или какого-нибудь доверенного посетителя, приходившего побеседовать с баронетом по делу, – и стал еще усерднее подчищать ногти.

– Питт, я конченный человек, – сказал полковник, немного помолчав. – Я погиб.

– Я всегда говорил, что так и будет! – раздраженно воскликнул баронет, отбивая такт своими аккуратно подстриженными ногтями. – Я предупреждал тебя тысячу раз. Не могу больше ничем тебе помочь. Все мои деньги рассчитаны до последнего шиллинга. Даже те сто

фунтов, которые Джейн отвезла тебе вчера, были обещаны моему поверенному на завтрашнее утро, и отсутствие их создаст для меня большие затруднения. Не хочу сказать, что я вовсе отказываю тебе в помощи. Но заплатить твоим кредиторам сполна я не могу так же, как не могу заплатить национальный долг. Ждать этого от меня – безумие, чистейшее безумие! Ты должен пойти на сделку. Для семьи это тягостно, но все так поступают. Вот, например, Джордж Кайтли, сын лорда Регленда, судился на прошлой неделе и вышел, как они, кажется, называют это, обеленным. Лорд Регленд не дал бы ему и шиллинга и...

– Мне не деньги нужны, – перебил его Родон. – Я пришел говорить не о себе. Неважно, что будет со мной...

– Тогда в чем же дело? – сказал Питт с некоторым облегчением.

– Мой мальчик... – произнес Родон хриплым голосом. – Я хочу, чтобы ты обещал мне, что будешь о нем заботиться, когда меня не станет. Твоя милая, добрая жена всегда относилась к нему хорошо, он любит ее гораздо больше, чем свою... Нет, к черту! Слушай, Питт... Ты знаешь, что я должен был получить деньги мисс Кроули. Меня воспитывали не так, как воспитывают младших братьев, и всегда поощряли быть сумасбродом и лодырем. Не будь этого, я мог бы стать совсем другим человеком. Я не так уж плохо нес службу в полку. Ты знаешь, почему деньги уплыли от меня и кто их получил.

– После всех жертв, принесенных мною, и той поддержки, которую я тебе оказал, я считаю подобного рода упреки излишними, – сказал сэр Питт. – Не я же тебя толкал на этот брак.

– С ним теперь покончено! – ответил Родон. Эти слова вырвались у него с таким стоном, что сэр Питт вздрогнул и выпрямился.

– Боже мой! Она умерла? – воскликнул он голосом, полным неподдельной тревоги и жалости.

– Хотел бы я сам умереть! – отвечал Родон. – Если бы не маленький Родон, я сегодня утром перерезал бы себе горло... да и этому мерзавцу тоже.

Сэр Питт мгновенно угадал всю правду и сообразил, на чью жизнь готов был покуситься Родон. Полковник кратко и несвязно изложил старшему брату все обстоятельства дела.

– Она была в сговоре с этим негодяем, – сказал он. – На меня напустили бейлифов, меня схватили, когда я выходил из его дома.

Когда я попросил ее достать денег, она написала, что лежит больная и выручит меня на другой день. А когда я пришел домой, то застал ее в брильянтах, наедине с этим мерзавцем.

Затем он в нескольких словах описал свое столкновение с лордом Стайном. В делах такого рода, сказал он, существует только один выход. И после беседы с братом он предпримет необходимые шаги для устройства дуэли, которая должна воспоследовать.

– И так как я не знаю, останусь ли я в живых, – произнес Родон упавшим голосом, – а у моего мальчика нет матери, то мне приходится оставить его на попечение твое, Питт, и Джейн... только у меня будет спокойнее на душе, если ты пообещаешь быть ему другом.

Старший брат был очень взволнован и пожал Родону руку с сердечностью, которую редко обнаруживал. Родон провел рукой по своим густым бровям.

– Спасибо, брат, – сказал он. – Я знаю, что могу верить твоему слову.

– Клянусь честью, я исполню твою просьбу! – ответил баронет. И таким образом между ними без лишних слов состоялся этот уговор.

Затем Родон извлек из кармана маленький бумажник, обнаруженный им в шкатулке Бекки, и вынул пачку кредитных билетов.

– Вот шестьсот фунтов, – сказал он, – ты и не знал, что я так богат. Я хочу, чтобы ты вернул деньги Бригс, которая дала их нам займы... Она была так добра к мальчику... и мне всегда было стыдно, что мы забрали деньги у бедной старухи. Вот еще деньги, – я оставляю себе всего несколько фунтов, а это надо отдать Бекки на прожитье.

С этими словами он достал из бумажника еще несколько кредиток, чтобы отдать их брату, но руки у него дрожали, и он был так взволнован, что уронил бумажник, и из него вылетел тысячефунтовый билет – последнее приобретение злополучной Бекки.

Питт, изумленный таким богатством, нагнулся и подобрал деньги с пола.

– Нет, эти не тронь. Я надеюсь всадить пулю в человека, которому они принадлежат. – Родону представлялось, что это будет славная месть – завернуть пулю в билет и убить ею Стайна.



После этого разговора братья еще раз пожали друг другу руки и расстались. Леди Джейн услышала о приходе полковника и, чуя женским сердцем беду, дожидалась своего супруга рядом, в столовой. Дверь в столовую случайно осталась открытой, и, конечно, леди Джейн вышла оттуда, как раз когда братья показались на пороге кабинета. Джейн протянула Родону руку и выразила удовольствие, что он пришел к утреннему завтраку, хотя по измученному, небритому лицу полковника и мрачному виду мужа она могла заметить, что им обоим было не до завтрака. Родон пробормотал какую-то отговорку насчет важного дела и крепко стиснул робкую ручку, которую ему протянула невестка. Ее умоляющие глаза не могли прочесть у него на лице ничего, кроме горя, но он ушел, не сказав ей больше ни слова. Сэр Питт тоже не удостоил ее никакими объяснениями. Дети подошли к нему поздороваться, и он поцеловал их холодно, как всегда. Мать привлекла обоих детей к себе и держала их за ручки, когда они преклоняли колени во время молитв, которые сэр Питт читал членам семьи и слугам, чинно сидевшим рядами, в праздничных платьях и ливреях, на стульях, поставленных по другую сторону стола с кипевшим на нем большим чайником. Завтрак так запоздал в этот день вследствие неожиданной помехи, что семья еще сидела за столом, когда зазвонили в церкви. Леди Джейн сказала слишком нездоровой, чтобы идти в церковь, но и во время семейной молитвы мысли ее были совсем не о божественном.

Между тем Родон Кроули уже оставил позади Грейт-Гонт-стрит и, ударив молоточком по голове большой бронзовой медузы, стоявшей на крыльце Гонт-Хауса, вызвал краснорожего Силена в малиновом жилете с серебром, исполнявшего в этом дворце должность швейцара. Швейцар тоже испугался, увидев полковника в таком растрепанном виде, и преградил ему дорогу, словно боясь, что тот ворвется в дом силой. Но полковник Кроули только достал свою карточку и особо наказал швейцару передать ее лорду Стайну – заметить написанный на ней адрес и сказать, что полковник Кроули будет весь день после часу в «Риджент-клубе» на Сент-Джеймс-стрит, а не у себя дома. Жирный, краснолицый швейцар удивленно посмотрел вслед Родону, когда тот зашагал прочь; оглядывались на него и прохожие в праздничном платье, вышедшие на улицу спозаранок, приютские мальчуганы с дочиста отмытыми лицами, зеленщик, прислонившийся

к дверям своей лавки, и владелец питейного заведения, закрывавший на солнышке ставни, ибо в церквах уже начиналась служба. Зеваки, собравшиеся у извозчичьей биржи, отпустили не одну шутку по поводу наружности полковника, когда тот нанимал экипаж и давал вознице адрес – Найтсбриджские казармы.

Воздух гудел от колокольного звона, когда Родон приехал на место. Если бы он выпянул из экипажа, он мог бы увидеть свою старую знакомую, Эмилию, шедшую из Бромптона к Рассел-сквер. Целые отряды школьников направлялись в церковь, чисто подметенные тротуары и наружные места карет были заполнены людьми, спешившими на воскресную прогулку. Но полковник был слишком занят своими думами, чтобы обращать на все это внимание, и, прибыв в Найтсбридж, быстро поднялся в комнату своего старого друга и товарища капитана Макмердо, которого, к своему удовольствию, и застал дома.

Капитан Макмердо, старый служака, участник сражения при Ватерлоо, большой любимец полка, в котором он только из-за недостатка средств не мог достигнуть высших чинов, наслаждался утренним покоем в кровати. Накануне он был на веселом ужине, устроенном капитаном Джорджем Синкбарзом в своем доме на Бромптон-сквер для нескольких молодых офицеров и большого количества дам из кордебалета, и старый Мак, который чувствовал себя отлично с людьми всех возрастов и рангов и водился с генералами, собачниками, танцовщицами, боксерами – словом, со всякими решительно людьми, – отдыхал после ночных трудов и, не будучи дежурным, лежал в постели.

Его комната была сплошь увешана картинами, посвященными боксу, балету и спорту и подаренными ему товарищами, когда те выходили в отставку, женились и переходили к спокойному образу жизни. И так как капитану было теперь лет пятьдесят и двадцать четыре из них он провел на военной службе, то у него подобрался своеобразный музей. Он был одним из лучших стрелков в Англии и одним из лучших, для своего веса, наездников. Они с Кроули были соперниками, когда тот служил в полку. Короче сказать, мистер Макмердо лежал в постели, читая в «Белловой жизни» отчет о том самом состязании между Любимцем Татбери и Баркингским Мясником, о котором мы упоминали выше. Это был почтенный вояка,

с маленькой, коротко остриженной седой головой, в шелковом ночном колпаке, румяный и красноносый, с длинными крашеными усами.

Когда Родон сообщил капитану, что нуждается в друге, тот отлично понял, какого рода дружеская услуга от него требуется. Ему довелось провести для своих знакомых десятки таких дел весьма осмотрительно и искусно. Его королевское высочество, незабвенной памяти покойный главнокомандующий, питал за это величайшее уважение к Макмердо, и капитан был всеобщим прибежищем для джентльменов в беде.

– Ну, в чем дело, мой милый Кроули? – спросил старый вояка. – Еще какая-нибудь картежная история? Вроде той, когда мы ухлопали капитана Маркера, а?

– Нет, теперь это... теперь это из-за моей жены, – отвечал Кроули, потупив взор и сильно покраснев.

Тот только свистнул.

– Я всегда говорил, что она тебя бросит, – начал он (и действительно, в полку и в клубах заключались пари насчет того, какая участь ожидает полковника Кроули, – такого невысокого мнения были его товарищи и свет о добродетельности миссис Кроули), но, увидев, каким свирепым взглядом Родон отвечал на его замечание, Макмердо счел за благо не развивать эту тему.

– И что же, неужели другого выхода нет, мой милый? – продолжал капитан серьезным тоном. – Что это: только, понимаешь, подозрение или... или что еще? Какие-нибудь письма? Нельзя ли замять дело? Лучше не поднимать шума из-за такой истории, если это возможно!

«Здорово! Он, значит, только теперь ее раскусил», – подумал капитан и вспомнил сотни разговоров в офицерской столовой, когда имя миссис Кроули смешивалось с грязью.

– Выход только один, – отвечал Родон, – и одному из нас придется отправиться этим выходом на тот свет. Понимаешь, Мак, меня устранили с дороги, арестовали; я застал их вдвоем. Я сказал ему, что он лжец и трус, сбил его с ног и вздул.

– Так ему и надо, – сказал Макмердо. – Кто это?

Родон ответил, что это лорд Стайн.

– Черт! Маркиз! Говорят, он... то есть, говорят, ты...

– Какого дьявола ты мямлишь? – взревел Родон. – Ты хочешь сказать, что тебе уже приходилось слышать какие-то намеки по адресу моей жены и ты не сообщил мне об этом?

– Свет любит позлословить, старина, – отвечал тот. – Ну к чему я стал бы тебе рассказывать о том, что болтают всякие дураки?

– Черт возьми, Мак, это было не по-приятельски, – сказал Родон, совсем подавленный, и, закрыв лицо руками, дал волю своему волнению, чем глубоко тронул грубого старого служаку.

– Держись, старина! – сказал он. – Важный он человек или не важный, мы всадим в него пулю, черт его побери! А что касается женщин, так они все одинаковы.

– Ты не знаешь, как я любил ее, – сказал Родон, едва выговаривая слова. – Ведь я ходил за нею по пятам, как лакей. Я отдал ей все, что у меня было. Я нищий теперь, потому что женился на ней. Клянусь тебе, я закладывал часы, чтобы купить ей, что ей хотелось. А она... она все это время копила деньги для себя и пожалела сто фунтов, чтобы вызволить меня из каталажки.

Тут он горячо и несвязно, с волнением, в каком друг никогда его не видел, рассказал Макмердо все обстоятельства дела. Последний ухватился за некоторые неясные черточки в рассказе.

– А может быть, она и вправду невинна? – сказал он. – Она это утверждает. Стайн и прежде сотни раз оставался с нею наедине в вашем доме.

– Может быть и так, – сумрачно отвечал Родон, – но вот это выпядит не очень невинно. – И он показал капитану тысяchefунтовый билет, найденный в бумажнике Бекки. – Вот что он дал ей, Мак, а она от меня это утаила. И, имея такие деньги дома, отказалась выручить меня, когда я очутился под замком.

Капитан не мог не согласиться, что с деньгами получилось некрасиво.

Пока шло это совещание, Родон отправил слугу капитана Макмердо на Керзон-стрит с приказом своему лакею выдать чемодан с платьем, в котором полковник сильно нуждался. А тем временем Родон и его секундант с величайшим трудом и с помощью джонсоновского словаря, сослужившего им большую службу, составили письмо, которое Макмердо должен был послать лорду Стайну. Капитан Макмердо имеет честь от лица полковника Родона

Кроули свидетельствовать свое почтение маркизу Стайну и доводит до его сведения, что он уполномочен полковником предпринять любые шаги для встречи, требовать которой, он в том не сомневается, входит в намерения его милости и которую обстоятельства сегодняшнего утра делают неизбежной. Капитан Макмердо в самой учтивой форме просил лорда Стайна указать со своей стороны какого-нибудь друга, с которым он (капитан М.) мог бы снестись, и высказывал пожелание, чтобы встреча произошла по возможности без промедлений. В постскриптуме капитан сообщал, что в его распоряжении находится банковый билет на крупную сумму, причем полковник Кроули имеет основания предполагать, что эти деньги являются собственностью маркиза Стайна. И ему, по поручению полковника, желательно было бы передать билет владельцу.

К тому времени, как это письмо было составлено, слуга капитана вернулся с Керзон-стрит, но без саквояжа и чемодана, за которыми его посылали, – вид у него был растерянный и смущенный.

– Там ничего не хотят выдавать, – доложил он. – В доме сущий кавардак, все перевернуто вверх дном. Явился домохозяин и завладел всем. Слуги пьянствуют в гостиной. Они говорят... они говорят, что вы сбежали со столовым серебром, полковник, – добавил слуга, помолчав немного. – Одна из горничных уже съехала. А Симпсон, ваш лакей, очень шумел и, притом совершенно пьяный, твердит, что не даст ничего вынести из дому, пока ему не заплатят жалованья.

Отчет об этой маленькой революции в Мэйфере изумил их и внес некоторое веселье в весьма печальный доселе разговор. Оба офицера расхохотались над поражением, постигшим Родона.

– Я рад, что мальчугана нет дома, – сказал Родон, кусая ногти. – Ты помнишь, Мак, как я приводил его в манеж? Каким молодцом он сидел на коне, а?

– Да, он у тебя молодец! – подтвердил добродушный капитан.

Маленький Родон в это время сидел в часовне школы «Уайтфрайерс», среди пятидесяти таких же наряженных в мантии мальчиков, и думал не о проповеди, а о поездке домой в ближайшую субботу, когда отец, наверное, подарит ему что-нибудь, а может быть, даже поведет в театр.

– Он у меня молодчина, – продолжал Родон, все еще думая о сыне. – Вот что, Мак, если случится какая-нибудь беда... если меня

ухлопают... мне хотелось бы, чтобы ты... знаешь, навестил его и передал ему, что я очень его любил, ну, и так далее!.. И еще... фу ты, напасть!.. отдай ему, старый дружище, вот эти золотые запонки; это все, что у меня осталось.

Он закрыл лицо грязными руками, слезы покатались по ним, оставляя белые полосы. Макмердо тоже пришлось снять шелковый ночной колпак и протереть им глаза.

– Ступайте вниз и закажите нам чего-нибудь позавтракать, – приказал он своему слуге громким и бодрым голосом. – Что ты хочешь, Кроули? Скажем, почки под острым соусом и селедку? И еще, Клей, достаньте полковнику что-нибудь из платья. Мы с тобой всегда были почти одинакового роста, милый мой Родон, и ни одному из нас уже не скакать с той легкостью, которой мы отличались, когда поступали в полк.

С этими словами Макмердо оставил полковника совершать туалет, а сам повернулся лицом к стене и продолжал читать «Беллову жизнь», пока его приятель не оделся, после чего и сам капитан мог приступить к одеванию.

Эта операция была проведена с особой тщательностью, так как капитану Макмердо предстояло свидание с лордом. Он нафабрил усы, приведя их в состояние полнейшего блеска, и надел крахмальный галстук и нарядный жилет кофейного цвета. Вследствие этого все молодые офицеры в столовой, куда капитан вошел вскоре после своего друга, встретили его громкими приветствиями и спрашивали, уж не к венцу ли он собрался.

## Глава LV, *в которой развивается та же тема*

Бекки очнулась от оцепенения и растерянности, в которые ее бесстрашный дух был повергнут событиями минувшей ночи, только когда колокола церковей на Керзон-стрит зазвонили к послеполуночной службе. Поднявшись с постели, она тоже принялась усиленно звонить в колокольчик, призывая к себе француженку-горничную, оставившую ее за несколько часов перед тем.

Миссис Родон Кроули звонила долго и тщетно, и хотя в последний раз она позвонила с такою силою, что оборвала шнурок сонетки, однако мадемуазель Фифин не соизволила появиться, – не появилась она и тогда, когда ее госпожа, с сонеткой в руках и с рассыпавшимися по плечам волосами, в гневе выбежала на площадку лестницы и стала призывать к себе камеристку громкими криками.

Дело в том, что та уже несколько часов как скрылась, позволив себе удалиться «на французский манер», как это у нас называется. Подобрав в гостиной драгоценности, мадемуазель поднялась к себе наверх, уложила и перевязала чемоданы, сбегала за кебом, собственноручно снесла вниз свои пожитки, даже не прибегнув к помощи других слуг, которые, вероятно, отказались бы ей помочь, потому что ненавидели ее от всего сердца, и, ни с кем не попрощавшись, покинула дом на Керзон-стрит.

По ее мнению, игра в этом уютном семейном мирке была окончена. Фифин укатила в кебе, как поступали в подобных обстоятельствах и более высокопоставленные ее соотечественники; но более, чем они, предусмотрительная или более удачливая, она забрала не только свои собственные вещи, но и кое-что из хозяйских (если, впрочем, про ее хозяйку можно сказать, что у нее была какая-либо собственность), – и увезла не только упомянутые выше драгоценности и несколько платьев, на которые давно уже зарилась: нет, вместе с мадемуазель Фифин из дома на Керзон-стрит исчезли также четыре позолоченных подсвечника в стиле Людовика XIV, шесть золоченых альбомов, кипсеков и альманахов, золотая эмалированная табакерка, принадлежавшая когда-то мадам Дюбарри, чудеснейшая маленькая

чернильница и перламутровый бювар, которыми пользовалась Бекки, составляя свои изящные розовые записочки, а кстати, и все серебро, какое было на столе по случаю маленького *festin*<sup>[338]</sup>, прерванного появлением Родона. Серебряную посуду мадемуазель оставила на месте, вероятно, как слишком громоздкую; и, несомненно, по той же причине она не взяла каминных щипцов, зеркал и маленького фортепьяно палисандрового дерева.

Впоследствии какая-то дама, очень на нее похожая, держала модную мастерскую на улице Гельдер в Париже, где она жила в большом почете, пользуясь покровительством милорда Стайна. Особа эта всегда отзывалась об Англии как о самой предательской стране в мире и рассказывала своим молодым ученицам, что она была *affreusement volée*<sup>[339]</sup> обитателями этого острова. Очевидно, именно из сострадания к таким несчастьям достойной *madame de Saint-Amaranthe* маркиз Стайн и осыпал ее своими милостями. Да процветает она и впредь, как того заслуживает, – она уже не появится на тех дорогах Ярмарки Тщеславия, по которым мы бродим.

Услышав снизу голоса и возню и негодуя на бесстыдство слуг, не отвечающих на ее зов, миссис Кроули накинула капот и величественно спустилась в столовую, откуда доносился этот шум.

Там на прекрасной, обитой кретоном софе восседала чумазая кухарка рядом с миссис Реглс и потчевала ее мараскином. Паж с блестящими пуговицами, разносивший розовые записочки Бекки и с такой резвостью прыгавший около ее изящной кареты, теперь упоенно макал пальцы в блюдо с кремом; лакей беседовал с Реглсом, лицо которого выражало смущение и горе; однако, хотя дверь стояла открытой и Бекки громко взывала к слугам раз пять, находясь от них на расстоянии нескольких шагов, никто не повиновался ее призыву!

– Выпейте рюмочку, миссис Реглс, сделайте милость, – говорила кухарка в тот момент, как Бекки в развевающемся белом кашемировом капоте вошла в гостиную.

– Симпсон, Троттер! – закричала хозяйка дома в страшном гневе. – Как вы смеете торчать здесь, когда слышите, что я вас зову? Как вы смеете сидеть в моем присутствии? Где моя горничная?

Паж, на мгновение испугавшись, вынул пальцы изо рта, но кухарка взяла рюмку мараскина, от которой отказалась миссис Реглс, и, нагло взглянув на Бекки через край позолоченной рюмки,



опрокинула ее себе в рот. Как видно, напиток придал смелости гнусной мятежнице.

– Вот и сидим, софа-то не ваша! – сказала кухарка. – Я сижу на софе миссис Реглс. Не трогайтесь с места, миссис Реглс, мэ. Я сижу на софе мистера и миссис Реглс, которую они купили на свои кровные денежки и при этом заплатили хорошую цену, да! И если я буду сидеть здесь, пока мне не заплатят жалованья, то придется мне просидеть тут довольно-таки долго, миссис Реглс; и буду сидеть... ха-ха-ха!

С этими словами она налила себе вторую рюмку ликера и выпила ее с отвратительной насмешливой гримасой.

– Троттер! Симпсон! Гоните эту нахальную пьяницу вон! – взвизгнула миссис Кроули.

– И не подумаю, – отвечал лакей Троттер, – сами гоните. Заплатите нам жалованье, а тогда гоните, и меня тоже. Нам-то что, мы уйдем с большим удовольствием!

– Вы что же, собрались здесь, чтобы оскорблять меня? – закричала Бекки в бешенстве. – Вот вернется полковник Кроули, тогда я...

При этих словах слуги разразились грубым хохотом, к которому, однако, не присоединился Реглс, по-прежнему сохранявший самый меланхоличный вид.

– Он не вернется, – продолжал мистер Троттер. – Он присылал за своими вещами, а я не позволил ничего взять, хотя мистер Реглс и собирался выдать. Да и полковник он, скорее всего, такой же, как я. Он сбежал, и вы, наверно, тоже за ним последуете. Оба вы жулики, и больше ничего. Не орите на меня! Я этого не потерплю. Заплатите нам жалованье. Жалованье нам заплатите!

По раскрасневшейся физиономии мистера Троттера и нетвердой интонации его речи было ясно, что он тоже почерпнул храбрость на дне стакана.

– Мистер Реглс, – сказала Бекки, уязвленная до глубины души, – неужели вы позволите этому пьянице оскорблять меня?

– Перестаньте шуметь, Троттер, довольно! – произнес паж Симпсон. Он был тронут жалким положением хозяйки, и ему удалось удержать лакея от грубого ответа на эпитет «пьяница».

– Ох, сударыня, – сказал Реглс, – не думал я, что доживу до такого дня! Я знаю семейство Кроули с тех пор, как себя помню. Я служил дворецким у мисс Кроули тридцать лет, и мне и в голову не приходило, что один из членов этого семейства разорит меня... да, разорит, – произнес несчастный со слезами на глазах. – Вы мне-то думаете заплатить или нет? Вы прожили в этом доме четыре года. Вы пользовались моим имуществом, посудой и бельем. Вы задолжали мне по счету за молоко и масло двести фунтов, а еще требовали у меня яиц из-под кур для разных ваших яичниц и сливок для болонки!

– Ей и горя было мало, что ест и пьет ее собственная кровь и плоть, – вмешалась кухарка. – Он двадцать раз помер бы с голоду, кабы не я.

– Он теперь приютский мальчик, – сказал мистер Троттер с пьяным хохотом.

А честный Реглс продолжал, чуть не плача, перечислять свои беды. Все, что он говорил, было правдой, Бекки и ее супруг разорили его. На следующей неделе ему нужно платить по срочным векселям, а платить нечем. Все пойдет с молотка, его выгонят вон из лавки и из дома, а все потому, что он доверился семейству Кроули. Его слезы и причитания еще больше раздосадовали Бекки.

– Кажется, вы все против меня, – сказала она с горечью. – Что вам надо? Я не могу расплатиться с вами в воскресенье. Приходите завтра, и я уплачу вам все сполна. Я думала, что полковник Кроули уже рассчитался с вами. Ну, значит, рассчитается завтра. Заверяю вас честным словом, что он сегодня утром ушел из дому с полутора тысячами фунтов в бумажнике. Меня он оставил без гроша. Обратитесь к нему. Позвольте мне надеть шляпу и шаль и дайте только съездить за ним и отыскать его. Мы с ним сегодня повздорили. По-видимому, вам это известно. Даю вам слово, что вам всем будет уплачено. Полковник получил хорошее место. Дайте мне только съездить за ним и отыскать его.

Это смелое заявление заставило Реглса и других удивленно переглядываться. С тем Бекки их и покинула. Она поднялась к себе и оделась, на сей раз без помощи француженки-горничной, затем прошла в комнату Родона и увидела там уложенный чемодан и саквояж, а при них записку с указанием, чтобы их выдали по первому требованию. После этого она поднялась на чердак, где помещалась

француженка: там все было чисто, все ящики опорожнены. Бекки вспомнила о драгоценностях, брошенных на полу, и у нее не осталось сомнений, что горничная сбежала.

– Боже мой! Кому еще так не везет, как мне! – воскликнула она. – Быть так близко к цели и все потерять! Неужели уже слишком поздно? Нет, один шанс еще оставался.

Она оделась и вышла из дому – на этот раз без всяких помех, но одна. Было четыре часа. Бекки быстро шла по улицам (у нее не было денег, чтобы нанять экипаж), нигде не останавливаясь, пока не очутилась у подъезда сэра Питта Кроули на Грейт-Гонт-стрит. Где леди Джейн Кроули? Она в церкви. Бекки не опечалилась. Сэр Питт был у себя в кабинете и приказал, чтобы его не беспокоили. Но она должна его видеть! Ребекка быстро проскользнула мимо часового в ливрее и очутилась в комнате сэра Питта раньше, чем изумленный баронет успел отложить газету.

Он покраснел и, отшатнувшись от Ребекки, устремил на нее взгляд, полный тревоги и отвращения.

– Не смотрите на меня так! – сказала она. – Я не виновна, Питт, дорогой мой Питт! Когда-то вы были мне другом. Клянусь богом, я не виновна! Хотя видимость против меня... Все против меня. И, ах! в такую минуту! Как раз когда все мои надежды начали сбываться, как раз когда счастье уже улыбалось нам!

– Значит, это правда, что я прочел в газете? – спросил сэр Питт. Одно газетное сообщение в этот день весьма удивило его.

– Правда! Лорд Стайн сообщил мне это в пятницу вечером, в день этого рокового бала. Ему уже полгода обещали какое-нибудь назначение. Мистер Мартир, министр колоний, передал ему вчера, что все устроено. Тут произошел этот несчастный арест, эта ужасная встреча. Я виновата только в слишком большой преданности служебным интересам Родона. Я принимала лорда Стайна наедине сотни раз и до того. Сознаюсь, у меня были деньги, о которых Родон ничего не знал. А разве вы не знаете, как он беспечен? Так могла ли я решиться доверить их ему?

Таким образом, у нее начала складываться вполне связная история, которую она и преподнесла своему озадаченному родственнику.

Дело якобы обстояло так: Бекки признавала с полной откровенностью, но с глубоким раскаянием, что, заметив расположение к себе со стороны лорда Стайна (при упоминании об этом Питт вспыхнул) и будучи уверена в своей добродетели, она решила обратить привязанность знатного пэра на пользу себе и своему семейству.

– Я добивалась звания пэра для вас, Питт, – сказала она (Питт опять покраснел). – Мы беседовали об этом. При вашем таланте и при посредничестве лорда Стайна это было бы вполне возможно, если бы страшная беда не положила конец всем нашим надеждам! Но прежде всего, признаюсь, целью моей было спасти моего дорогого супруга, – я люблю его, несмотря на дурное обращение и ничем не оправданную ревность, – избавить его от бедности и нищеты, грозящих нам. Я видела расположение лорда Стайна ко мне, – сказала она, потупив глазки. – Признаюсь, я делала все, что было в моей власти, чтобы понравиться ему и, насколько это возможно для честной женщины, обеспечить себе его... его уважение. Только в пятницу утром было получено известие о смерти губернатора острова Ковентри<sup>[340]</sup>, и милорд немедленно закрепил это место за моим дорогим супругом. Было решено, что ему будет устроен сюрприз: он должен был прочесть об этом в газетах сегодня. Даже после того как произошел этот ужасный арест (все издержки по которому лорд Стайн великодушно предложил взять на себя, так что мне в некотором роде помешали броситься выручать моего мужа), милорд смеялся и говорил, что драгоценный мой Родон, сидя в этой отвратительной яме... в доме бейлифа, утешится, когда прочтет в газете о своем назначении. А затем... затем... он вернулся домой. У него пробудились подозрения... и страшная сцена произошла между милордом и моим жестоким, жестоким Родоном... и, боже мой, боже мой, что же теперь будет? Питт, дорогой Питт! Пожалейте меня и помирите нас! – С этими словами она бросилась на колени и, заливаясь слезами, схватила Питта за руку и начала ее страстно целовать.

В этой самой позе и застала баронета и его невестку леди Джейн, которая, вернувшись из церкви и услышав, что миссис Родон Кроули находится в кабинете ее мужа, сейчас туда побежала.

– Я поражаюсь, как у этой женщины хватает наглости входить в наш дом, – сказала леди Джейн, трепеща всем телом и смертельно побледнев. (Ее милость сейчас же после завтрака послала горничную расспросить Реглса и прислугу Родона Кроули, которые рассказали ей все, что знали, да притом еще немало присочинили, сообщив попутно и некоторые другие истории.) – Как смеет миссис Кроули входить в дом... в дом честной семьи?

Сэр Питт отшатнулся, изумленный таким энергичным выпадом. Бекки все стояла на коленях, крепко уцепившись за руку сэра Питта.

– Скажите ей, что она не все знает. Скажите, что я невинна, дорогой Питт, – простила она.

– Честное слово, моя дорогая, мне кажется, ты несправедлива к миссис Кроули, – начал сэр Питт. При этих словах Бекки почувствовала большое облегчение. – Я, со своей стороны, убежден, что она...

– Что она? – воскликнула леди Джейн, и ее звонкий голос задрожал, а сердце страшно забилося. – Что она гадкая женщина... бессердечная мать, неверная жена? Она никогда не любила своего славного мальчика, он сколько раз прибегал сюда и рассказывал мне о ее жестоком обращении. Она во всякую семью, с которой соприкасалась, приносила несчастье, делала все, чтобы расшатать самые священные чувства своей преступной лестью и ложью. Она обманывала своего мужа, как обманывала всех! У нее черная, суетная, тщеславная, преступная душа. Я вся дрожу, когда она близко. Я стараюсь, чтобы мои дети ее не видели. Я...

– Леди Джейн! – воскликнул сэр Питт, вскакивая с места. – Право, такие выражения...

– Я была вам верной и честной женой, сэр Питт, – бесстрашно продолжала леди Джейн, – я блюла свой брачный обет, данный перед богом, и была послушной и кроткой, как подобает жене. Но всякое повиновение имеет свои пределы, и я заявляю, что не потерплю, чтобы эта... эта женщина опять была под моим кровом: если она войдет сюда, я уеду и увезу детей. Она недостойна сидеть вместе с христианами. Вам... вам придется выбирать, сэр, между ею и мною. – И с этими словами миледи, трепеща от собственной смелости, стремительно вышла из комнаты, а изумленный сэр Питт остался один с Ребеккой.

Что касается Бекки, то она не обиделась; напротив, она была довольна.

– Это все из-за брильянтовой застежки, которую вы мне подарили, – сказала она сэру Питту, протягивая ему руку. И, прежде чем она покинула его (можете быть уверены, что леди Джейн дожидалась этого события у окна своей туалетной комнаты в верхнем этаже), баронет обещал отправиться на поиски брата и всячески постараться склонить его к примирению.

В полковой столовой Родон застал несколько молодых офицеров, и те без особого труда уговорили его разделить с ними трапезу и подкрепиться цыпленком с перцем и содовой водой, которыми угощались эти джентльмены. Затем они повели беседу, приличествующую времени года и своему возрасту: о предстоящей стрельбе по голубям в Бэттерси с заключением пари в пользу Росса или Осбалдистона; о мадемуазель Ариан из Французской оперы, о том, кто бросил ее и как она утешилась с Пантером Каром; о состязании между Мясником и Любимцем и о возможности допущенного при этом плутовства. Молодой Тендимен, семнадцатилетний герой, усердно старавшийся отрастить усы, самолично видел это состязание и говорил о схватке и о качествах боксеров в самых ученых выражениях. Это он привез Мясника на место состязания в своем экипаже и провел вместе с ним всю минувшую ночь. Если бы тут не было подвоха, Мясник непременно победил бы! Там все эти жулики спелись между собой, и он, Тендимен, не станет платить... нет, черт возьми, платить он не станет! Всего лишь год тому назад сей юный корнет, ныне специалист по боксу и страстный поклонник Крибба, сосал леденцы и подвергался в Итоне сечению розгами.

Так они продолжали беседовать о танцовщицах, состязаниях, выпивке и дамах сомнительного поведения, пока в столовую не вошел Макмердо и не присоединился к их разговорам. По-видимому, он не задумывался над тем, что их юному возрасту следовало бы оказывать уважение: старый служака сыпал такими анекдотами, за которыми не угнаться было и самому юному из собравшихся тут повес; ни его седые волосы, ни их безусые лица не останавливали его. Старый Мак славился своими анекдотами. Строго говоря, он не был светским

кавалером; иными словами, мужчины предпочитали приглашать его обедать к своим любовницам, а не к матерям. Можно, пожалуй, сказать, что он вел поистине низменный образ жизни, но он был вполне доволен своей судьбой и жил, никому не желая зла, просто и скромно.

Когда Мак окончил свой обильный завтрак, большинство офицеров уже вышло из-за стола. Юный лорд Варинес курил огромную пенковую трубку, а капитан Хьюз занялся сигарой; неугомонный чертенок Тендимен, зажав между коленями своего маленького бультерьера, с великим азартом играл в орлянку (этот молодец вечно во что-нибудь играл) с капитаном Дьюсэйсом, а Мак и Родон отправились в клуб, за все время ни единым намеком не коснувшись вопроса, занимавшего их умы. Напротив, оба они довольно весело участвовали в общей беседе, да и к чему было расстраивать ее? Пирры, попойки, разгул и смех идут рука об руку со всеми другими занятиями на Ярмарке Тщеславия. Народ толпами валил из церквей, когда Родон и его приятель проходили по Сент-Джеймс-стрит и поднимались на крыльцо своего клуба.

Старые щеголи и habitués<sup>[341]</sup>, которые часами простаивают у огромного окна клуба, глядя на улицу, еще не заняли своих постов; в читальне почти никого не было. Одного из джентльменов, сидевших там, Родон не знал, другому он кое-что задолжал по висту и, следовательно, не чувствовал особого желания с ним встречаться; третий читал за столом воскресную газету «Роялист» (славившуюся своей скандальной хроникой и приверженностью церкви и королю). Взглянув на Кроули с некоторым интересом, этот последний сказал:

– Поздравляю вас, Кроули!

– С чем это? – спросил полковник.

– Об этом уже напечатано в «Наблюдателе», а также и в «Роялисте», – сказал мистер Смит.

– Что такое? – воскликнул Родон, сильно покраснев. Он подумал, что история с лордом Стайном попала в газеты. Смита и удивило и позабавило, с каким волнением полковник схватил дрожащей рукой газету и стал читать.

Мистер Смит и мистер Браун (тот джентльмен, с которым у Родона были не закончены карточные расчеты) беседовали о полковнике перед его приходом в клуб.

– Это подоспело в самый раз! – говорил Смит. – У Кроули, насколько мне известно, нет ни гроша за душой.

– Это для всех удачно, – сказал мистер Браун. – Он не может уехать, не заплатив мне двадцати пяти фунтов, которые он мне должен.

– Какое жалованье? – спросил Смит.

– Две или три тысячи фунтов, – отвечал Браун. – Но климат там такой паршивый, что это удовольствие ненадолго. Ливерсидж умер через полтора года, а его предшественник, я слышал, протянул всего лишь шесть недель.

– Говорят, его брат очень умный человек. Мне он всегда казался нудной личностью, – заявил Смит. – Впрочем, у него, должно быть, хорошие связи. Вероятно, он и устроил полковнику это место?

– Он? – воскликнул Браун с усмешкой. – Чепуха! Это лорд Стайн ему устроил.

– То есть как?

– Добродетельная жена – клад для своего супруга, – отвечал собеседник загадочно и погрузился в чтение газет.

В «Роялисте» Родон прочитал следующее поразительное сообщение:

«Пост губернатора на острове Ковентри.

Корабль его величества «Йеллоуджек» (капитан Джандерс) доставил письма и газеты с острова Ковентри. Его превосходительство сэр Томас Ливерсидж пал жертвой лихорадки, свирепствующей в Гнилтауне. Процветающая колония скорбит об этой утрате. Мы слышали, что пост губернатора предложен полковнику Родону Кроули, кавалеру ордена Бани, отличившемуся в сражении при Ватерлоо. Для управления нашими колониями нам нужны люди не только признанной храбрости, но и наделенные административными талантами. Мы не сомневаемся, что джентльмен, выбранный министерством по делам колоний для замещения вакансии, освободившейся на острове Ковентри вследствие столь плачевного события, как нельзя лучше подходит для ответственного поста, который ему предстоит занять».



– Остров Ковентри! Где он находится? Кто указал на твою кандидатуру правительству? Возьми меня к себе в секретари, дружище! – сказал Макмердо со смехом.

И пока Кроули и его друг сидели, озадаченные прочитанным сообщением, клубный лакей подал полковнику карточку, на которой стояло имя мистера Уэнхема, и доложил, что этот джентльмен желает видеть полковника Кроули.

Полковник и его адъютант вышли навстречу Уэнхему в полной уверенности, что тот явился эмиссаром от лорда Стайна.

– Как поживаете, Кроули? Рад вас видеть, – произнес мистер Уэнхем с улыбкой и сердечно пожал Родону руку.

– Я полагаю, вы пришли от...

– Совершенно верно, – ответил мистер Уэнхем.

– В таком случае, вот мой друг, капитан Макмердо лейб-гвардии Зеленого полка.

– Очень счастлив познакомиться с капитаном Макмердо, – сказал мистер Уэнхем и протянул руку секунданту с такой же обворожительной улыбкой, как перед тем – его принципалу. Мак протянул мистеру Уэнхему один палец, обтянутый замшевой перчаткой, и очень холодно поклонился ему, едва нагнув голову над своим крахмальным галстуком. Вероятно, он был недоволен, что ему приходится иметь дело со «штафиркой», и считал, что лорду Стайну следовало прислать к нему по меньшей мере полковника.

– Так как Макмердо действует от моего имени и знает, чего я хочу, – сказал Кроули, – мне лучше удалиться и оставить вас вдвоем.

– Конечно, – подтвердил Макмердо.

– Ни в коем случае, дорогой мой полковник! – сказал мистер Уэнхем. – Свидание, о котором я имел честь просить, должно быть у меня лично с вами, хотя присутствие капитана Макмердо не может не быть также чрезвычайно для меня приятно. Иными словами, капитан, я надеюсь, что наша беседа приведет к самым отрадным результатам, весьма отличным от тех, которые, по-видимому, имеет в виду мой друг полковник Кроули.

– Гм! – произнес капитан Макмердо. «Черт бы побрал этих штатских! – подумал он про себя. – Вечно они говорят сладкие слова и стараются все уладить».

Мистер Уэнхем сел в кресло, которого ему не предлагали, вынул из кармана газету и начал:

– Вы видели это лестное сообщение в сегодняшних газетах, полковник? Правительство приобрело для себя очень ценного слугу, а вам обеспечивается прекраснейшее место, если вы, в чем я не сомневаюсь, примете предлагаемую вам должность. Три тысячи в год, восхитительный климат, отличный губернаторский дворец, полная самостоятельность и верное повышение в чине. Поздравляю вас от всего сердца! Смеею думать, вам известно, джентльмены, кому мой друг обязан таким покровительством?

– Понятия не имею! – сказал капитан, принципал же его страшно покраснел.

– Одному из самых великодушных и добрых людей на свете, и к тому же из самых знатных, – моему превосходному другу, маркизу Стайну.

– Будь я проклят, если приму от него место! – зарычал Родон.

– Вы раздражены против моего благородного друга, – спокойно продолжал мистер Уэнхем. – А теперь, во имя здравого смысла и справедливости, скажите мне: почему?

– *Почему?* – воскликнул изумленный Родон.

– Почему? Черт подери! – повторил и капитан, стукнув тростью об пол.

– Хорошо, пусть будет «черт подери», – сказал мистер Уэнхем с самой приятной улыбкой. – Но взгляните на дело, как человек светский... как честный человек, и посмотрите, не ошиблись ли вы. Вы возвращаетесь домой из поездки и застаете – что?.. Милорд Стайн ужинает с миссис Кроули в вашем доме на Керзон-стрит. Что это, какое-нибудь странное или необычайное происшествие? Разве он и раньше не бывал у вас сотни раз при таких же точно обстоятельствах? Клянусь честью, даю вам слово джентльмена (здесь мистер Уэнхем жестом парламентария положил руку на жилет), что ваши подозрения чудовищны, совершенно необоснованны и оскорбительны для достойного джентльмена, доказавшего свое расположение к вам тысячью благодеяний, и для безупречной, совершенно невинной леди.

– Не хотите же вы сказать, что... что Кроули ошибся? – спросил мистер Макмердо.

– Я убежден, что миссис Кроули так же невинна, как и моя жена, миссис Уэнхем, – заявил мистер Уэнхем весьма энергично. – Я убежден, что наш друг, ослепленный безумной ревностью, наносит удар не только немощному старику, занимающему высокое положение, своему неизменному другу и благодетелю, но и своей жене, собственной чести, будущей репутации своего сына и собственному преуспеянию в жизни. Я сообщу вам, что произошло, – продолжал мистер Уэнхем серьезно и внушительно. – Сегодня утром за мной послали от милорда Стайна, и я застал его в плачевном состоянии, – мне едва ли нужно осведомлять полковника Кроули, что в таком состоянии окажется всякий пожилой и немощный человек после личного столкновения с мужчиной, наделенным вашей силой. Скажу вам прямо: вы поступили жестоко, воспользовавшись преимуществом, которое дает вам такая сила, полковник Кроули! Не только телу моего благородного и превосходного друга была нанесена рана, но и сердце его, сэр, сочилось кровью! Человек, которого он осыпал благодеяниями, к которому питал приязнь, подверг его столь позорному оскорблению. Разве назначение, опубликованное сегодня в газетах, не является свидетельством его доброты к вам? Когда я приехал к его милости сегодня утром, я застал его поистине в плачевном состоянии, больно было на него смотреть. И он, подобно вам, жаждал отомстить за нанесенное ему оскорбление – смыть его кровью. Вам, полковник Кроули, я полагаю, известно, что милорд на это способен?

– Он храбрый человек, – заметил полковник. – Никто никогда не говорил, что он трус.

– Его первым приказом мне было написать вызов и передать его полковнику Кроули. «Один из нас, – сказал он, – не должен остаться в живых после того, что произошло минувшей ночью».

Кроули кивнул головой.

– Вы подходите к сути дела, Уэнхем, – сказал он.

– Я приложил все старания, чтобы успокоить лорда Стайна. «Боже мой, сэр! – сказал я. – Как я сожалею, что миссис Уэнхем и я сам не приняли приглашения миссис Кроули отужинать у нее!»

– Она приглашала вас к себе на ужин? – спросил капитан Макмердо.

– После оперы. Вот пригласительная записка... стойте... нет, это другая бумага... я думал, что захватил ее с собой; но это не имеет значения, – заверяю вас честным словом, что я ее получил. Если бы мы пришли, – а нам помешала только головная боль миссис Уэнхем: моя жена страдает головными болями, в особенности весной, – если бы мы пришли, а вы вернулись домой, то не было бы никакой ссоры, никаких оскорблений, никаких подозрений. И, таким образом, исключительно из-за того, что у моей бедной жены болела голова, вы хотели подвергнуть смертельной опасности двух благородных людей и погрузить два знатнейших и древнейших семейства в королевстве в пучину горя и бесчестья.

Мистер Макмердо взглянул на своего принципала с видом человека, глубоко озадаченного, а Родон почувствовал глухую ярость при мысли, что добыча ускользает от него. Он не поверил ни единому слову во всей этой истории, но как ее опровергнуть?

Мистер Уэнхем продолжал все с тем же неудержимым красноречием, к которому он так часто прибегал во время своих выступлений в парламенте.

– Я просидел у ложа лорда Стайна целый час, если не больше, убеждая, умоляя лорда Стайна отказаться от намерения требовать поединка. Я указывал ему, что обстоятельства дела, в сущности говоря, подозрительны, – они действительно возбуждают подозрение. Я признаю это, всякий мужчина на вашем месте мог обмануться. Я сказал, что человек, охваченный ревностью, – тот же сумасшедший, и на него так и следует смотреть, что дуэль между вами должна повести к бесчестию для всех заинтересованных сторон, что человек, занимающий столь высокое положение, как его милость, не имеет права идти на публичный скандал в наши дни, когда среди черни проповедуются самые свирепые революционные принципы и опаснейшие уравнилельные доктрины, и что, хотя он ни в чем не виноват, молва будет упорно его порочить. В конце концов я умолил его не посылать вызова.

– Я не верю ни одному слову из всей этой истории, – сказал Родон, скрежеща зубами. – Я убежден, что это бессовестная ложь и вы помогли ее сострять, мистер Уэнхем. Если я не получу вызова от лорда Стайна, я сам его вызову, черт подери!

Мистер Уэнхем побледнел как полотно при этом яростном выпаде полковника и стал поглядывать на дверь.

Но он обрел себе помощника в лице капитана Макмердо. Джентльмен этот поднялся с места и, крепко выругавшись, упрекнул Родона за такой тон.

– Ты поручил свое дело мне, ну и веди себя, как я считаю нужным, а не как тебе хочется! Ты не имеешь никакого права оскорблять мистера Уэнхема подобными словами, черт возьми! Мистер Уэнхем, мы должны просить у вас извинения. А что касается вызова лорду Стайну, то ищи кого-нибудь другого, – я ничего не стану передавать! Если милорд, получив трепку, предпочитает сидеть смиренно, то и черт с ним! А что касается истории с... миссис Кроули, то вот мое твердое убеждение: ровным счетом ничего не доказано. Жена твоя невинна, как и сказал мистер Уэнхем. И, во всяком случае, дурак ты будешь, если не возьмешь предложенного места и не станешь держать язык за зубами!

– Капитан Макмердо, вы говорите как разумный человек! – воскликнул мистер Уэнхем, чувствуя, что у него отлегло от сердца. – Я готов забыть все слова, сказанные полковником Кроули в минуту раздражения.

– Я был в этом уверен, – сказал Родон с злобной усмешкой.

– Помалкивай, старый дуралей, – произнес добродушно капитан. – Мистер Уэнхем не станет драться, и к тому же он совершенно прав.

– Я считаю, – воскликнул эмиссар Стайна, – что это дело следует предать глубочайшему забвению. Ни одно слово о нем не должно выйти за пределы этого дома! Я говорю в интересах как моего друга, так и полковника Кроули, который упорно продолжает считать меня своим врагом.

– Лорд Стайн едва ли будет болтать, – сказал капитан Макмердо, – да и нам оно ни к чему. История эта не из красивых, как на нее ни посмотри, и чем меньше о ней говорить, тем будет лучше. Поколотили вас, а не нас. И если вы удовлетворены, то к чему же нам искать удовлетворения?

Тут мистер Уэнхем взялся за шляпу, а капитан Макмердо пошел его проводить и затворил за собой дверь, предоставив Родону побушевать в одиночестве. Когда оба джентльмена очутились за

дверью, Макмердо в упор посмотрел на посланца лорда Стайна, и в эту минуту его круглое приветливое лицо выражало что угодно, но только не почтение.

– Вы не смущаетесь из-за пустяков, мистер Уэнхем, – сказал он.

– Вы льстите мне, капитан Макмердо, – отвечал тот с улыбкой. – Но я заверяю вас по чести и совести, что миссис Кроули приглашала нас на ужин после оперы.

– Разумеется! И у миссис Уэнхем разболелась голова... Вот что: у меня есть билет в тысячу фунтов, который я передам вам, если вы сообразовите выдать мне расписку. Я вложу билет в конверт для лорда Стайна. Мой друг не будет с ним драться. Но брать его деньги мы не желаем.

– Это все недоразумение, дорогой сэра, только недоразумение, – отвечал Уэнхем самым невинным тоном, и капитан Макмердо с поклоном проводил его до клубной лестницы, как раз в ту минуту, когда по ней поднимался сэра Питт Кроули. Оба эти джентльмена были немного знакомы, и капитан, направляясь вместе с баронетом обратно в ту комнату, где оставался его брат, сообщил сэру Питту, что ему удалось уладить дело между лордом Стайном и полковником.

Сэра Питт, разумеется, был очень обрадован этим известием и горячо поздравил брата с мирным исходом дела, присовокупив соответствующие нравственные замечания касательно зла, приносимого дуэлями, и порочности такого способа улаживать споры.

А после этого вступления он пустил в ход все свое красноречие, чтобы добиться примирения между Родоном и его женой. Он повторил все, что говорила Бекки, указал на правдоподобность ее слов и добавил, что сам твердо уверен в ее невинности.

Но Родон ничего не хотел слушать.

– Она прятала от меня деньги целых десять лет, – твердил он. – Она еще вчера клялась, что не получала денег от Стайна. Когда я их нашел, она сразу поняла, что все кончено. Даже если она мне не изменяла, Питт, от этого не легче. И я не хочу ее видеть, не хочу!

Голова его поникла на грудь, горе совсем его сломило.

– Бедняга! – сказал Макмердо и покачал головой.

Сперва Родон Кроули и думать не хотел о том, чтобы занять пост, на который его устроил столь гнусный покровитель, и даже собирался

взять сына из школы, в которую мальчик был помещен стараниями лорда Стайна. Однако брат и Макмердо уговорили его принять эти благодеяния. Больше всего подействовали на него доводы капитана, предложившего ему вообразить, в какую ярость придет Стайн при мысли, что его враг обязан карьерой его же содействию!

Когда маркиз Стайн поправился настолько, что стал выезжать из дому, министр по делам колоний встретил его однажды и с поклоном поблагодарил от своего имени и от имени министерства за такое замечательное назначение. Можно себе представить, как приятно было лорду Стайну выслушивать эти комплименты!

Тайна ссоры между ним и полковником Кроули была предана глубочайшему забвению, как сказал Уэнхем, то есть ее предали забвению секунданты и их доверители. Но в тот же вечер о ней судили и рязали за пятьюдесятью обеденными столами на Ярмарке Тщеславия. Один маленький Кеклби побывал на семи званых вечерах и всюду рассказывал эту историю с подходящими поправками и дополнениями. Как упивалась ею миссис Вашингтон-Уайт! Супруга епископа Илингского не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. Епископ в тот же день поехал с визитом в Гонт-Хаус и начертал свое имя в книге посетителей. Маленький Саутдаун был огорчен; огорчилась и сестра его, леди Джейн, – очень огорчилась, уверяю вас. Леди Саутдаун написала обо всем своей другой дочери, на мыс Доброй Надежды. По крайней мере три дня об этой истории говорил весь город, и в газеты она не попала только благодаря стараниям мистера Уэга, действовавшего по наущению мистера Уэнхема.

Судебные исполнители наложили арест на имущество бедного Реглса на Керзон-стрит, а куда девалась прелестная нанимательница этого скромного особняка? Кто скажет? Кому спустя несколько дней еще было до нее дело? Была ли она виновна? Нам всем известно, как снисходителен свет и каков бывает приговор Ярмарки Тщеславия в сомнительных случаях. Некоторые говорили, что Ребекка уехала в Неаполь вдогонку за лордом Стайном; другие утверждали, что милорд, услышав о приезде Бекки, покинул этот город и бежал в Палермо; кто-то передавал, что она проживает в Бирштадте и сделалась *dame d'honneur*<sup>[342]</sup> королевы болгарской; иные говорили,

что она в Булони, а некоторые, что она живет в меблированных комнатах в Челтнеме.

Родон определил ей сносное ежегодное содержание, а Бекки была из тех женщин, что умеют извлечь много даже из небольшой суммы денег. Он уплатил бы все свои долги при отъезде из Англии, согласись хоть какое-нибудь страховое общество застраховать его жизнь, но климат острова Ковентри настолько плох, что полковник не мог занять под свое жалованье ни гроша. Впрочем, он аккуратнейшим образом переводил деньги брату и писал своему сынишке с каждой почтой. Он снабжал Макмердо сигарами и присылал леди Джейн огромное количество раковин, кайенского перцу, крепких пикулей, варенья из гуавы и разных колониальных товаров. Он присылал своему брату в Англию «Гнилтаунскую газету», восхвалявшую нового губернатора в самых восторженных выражениях, тогда как «Гнилтаунский часовой» (жена его не была приглашена в губернаторский дом) объявлял, что его превосходительство – тиран, в сравнении с которым Нерона можно назвать просвещенным филантропом. Маленький Родон любил брать эти газеты и читать о его превосходительстве.

Мать не делала никаких попыток повидаться с сыном. На воскресенье и на каникулы мальчик приезжал к тетке; скоро он уже знал все птичьи гнезда в Королевском Кроули и выезжал на охоту с гончими сэра Хадлстона, которыми так восхищался еще во время первого памятного пребывания в Хэмпшире.



## Глава LVI

### *из Джорджи делают джентльмена*

Джорджи Осборн прочно обосновался в особняке деда на Рассел-сквер, занимал отцовскую комнату в доме и был признанным наследником всех тамошних великолепий. Привлекательная внешность, смелый и бойкий нрав и джентльменские манеры мальчика завоевали сердце мистера Осборна. Он так же гордился внуком, как некогда старшим Джорджем.

Ребенок видел больше роскоши и баловства, чем в свое время его отец. Торговля Осборна процветала за последние годы, его богатство и влияние в Сити сильно возросли. В былые дни он радовался возможности поместить старшего Джорджа в хорошую частную школу, а приобретение для сына чина в армии было для него источником немалой гордости. Но для маленького Джорджи старик метил значительно выше! Он сделает из мальчика настоящего джентльмена, – так постоянно говорил мистер Осборн. Мысленно он видел внука студентом, членом парламента, быть может, даже баронетом. Старик считал, что умрет спокойно, если будет знать, что его Джорджи находится на пути к достижению таких почестей. Для воспитания мальчика он не хотел приглашать никого, кроме первоклассного преподавателя с университетским образованием, – не каких-то там шарлатанов и самозванцев, нет, нет! Когда-то он яростно поносил всех священников, ученых и тому подобных людишек, уверял, что это шайка обманщиков и шарлатанов, способных зарабатывать себе кусок хлеба только зубрежкой латыни да греческого, свора надменных псов, взирающих свысока на британских купцов и джентльменов, хотя те могут покупать их сотнями. Теперь же он сетовал на то, что его самого учили плохо и мало, и постоянно обращался к Джорджи с напыщенными тирадами о необходимости и преимуществах классического образования.

Когда они встречались за обедом, дед расспрашивал мальчугана о его чтении и занятиях и с большим интересом слушал рассказы внука, делая вид, что понимает все, что говорит ему маленький Джорджи. Но он допускал сотни промахов и не раз обнаруживал свое невежество.

Это не содействовало уважению к нему со стороны ребенка. Быстрый ум и превосходство в образовании очень скоро показали Джорджи, что его дед – тупица, и он начал помыкать им и смотреть на него свысока, ибо прежнее воспитание мальчика, как ни было оно скромно и ограничено, помогло сделать из него джентльмена больше, чем любые планы дедушки. Джорджи воспитала добрая, слабая и нежная женщина, которая если и гордилась чем-нибудь, то только своим сыном; чье сердце было так чисто, а поведение так скромно, что уже это одно делало ее настоящей леди. Она жила для других, исполняла свой долг тихо и незаметно, и если никогда не высказывала никаких блестящих мыслей, то зато никогда не говорила и не думала ничего плохого. Простодушная и бесхитростная, любящая и чистая – могла ли наша бедная маленькая Эмилия не быть настоящей благородной женщиной?

Юный Джорджи властвовал над этой мягкой и податливой натурой. И контраст между ее простотой и деликатностью и грубой напыщенностью тупого старика, с которой мальчику вскоре пришлось столкнуться, сделал его властелином и над дедом. Будь он даже принцем королевской крови, и тогда ему не могли бы внушить более высокого мнения о самом себе!

Пока его мать тосковала и думала о нем целыми днями (а вероятно, и в долгие, унылые часы одиноких ночей), этот юный джентльмен среди удовольствий и развлечений, доставлявшихся ему во множестве, весьма легко переносил разлуку с нею. Маленькие мальчики, с ревом отправляющиеся в школу, режут потому, что едут в очень неприятное место. Лишь немногие плачут оттого, что расстаются с домом. И если вспомнить, что в детстве у вас высохали слезы при виде имбирного пряника, а пирог с черносливом служил утешением за муки расставания с матерью и сестрами, то выходит, что и вам, мой друг и брат, не следует слишком уверенно рассуждать о своих тонких чувствах.

Итак, мистер Джордж Осборн пользовался всеми удобствами и роскошью, которыми считал нужным окружать его богатый и щедрый дед. Кучеру было приказано приобрести для мальчика самого красивого пони, какого только можно было найти за деньги. И на этой лошадке Джорджи сперва обучался ездить верхом в манеже, а затем, после удовлетворительной сдачи испытания в езде без стремян и

прыжках через барьер, был допущен к катанью в Риджент-парке и, наконец, в Хайд-парке, где он появлялся во всем параде, в сопровождении грума. Старик Осборн, который был теперь меньше занят в Сити, где он предоставил вести дела младшим совладельцам фирмы, часто выезжал на прогулку вместе с мисс Осборн, следуя по тому же модному маршруту. И когда маленький Джорджи подъезжал к ним галопом, с замашками настоящего денди, оттянув пятки вниз, дед подталкивал локтем Джейн и говорил: «Посмотри-ка, мисс Осборн!» Он хохотал, лицо у него краснело от удовольствия, и он кивал мальчику из окна кареты; грум раскланивался с экипажем, а лакей отвешивал поклон мистеру Джорджу. Здесь же во время катания другая тетка мальчика, миссис Фредерик Буллок (чья карета с гербами, изображавшими золотых быков, и с тремя маленькими бледными Буллоками в кокардах и перьях, глазающими из окон, ежедневно появлялась в Хайд-парке) – миссис Фредерик Буллок, повторяю, метала на маленького выскочку взоры, исполненные лютой ненависти, когда тот проезжал мимо, подбоченясь и заломив шляпу набекрень, с гордым видом заправского лорда.

Хотя мистеру Джорджу было от роду не больше одиннадцати лет, однако он уже носил штрипки и чудеснейшие сапожки, как взрослый мужчина. У него были позолоченные шпоры, хлыстик с золотой ручкой, дорогая булавка в шейном платке и самые изящные лайковые перчатки, какие только могли выйти из мастерской Лема на Кондит-стрит. Мать дала ему с собой два шейных платка и сама сшила и выстрочила ему несколько рубашечек. Но когда ее маленький Самуил приехал повидаться с вдовой, эти рубашки были заменены более тонким бельем. На пластроне батистовой рубашки блестели пуговицы из драгоценных камней. Скромные подарки Эмилии были отложены в сторону, – кажется, мисс Осборн отдала их сыну кучера. Эмилия старалась убедить себя, что ей приятна такая перемена. Право же, она была очень счастлива, что сын у нее такой красавчик!

У Эмилии был маленький силуэт сына, сделанный за шиллинг; он висел над ее постелью рядом с другим дорогим портретом. Однажды мальчик приехал навестить ее, – как всегда, он проскакал галопом по узенькой бромптонской улице, где все жители бросались к окнам, чтобы полюбоваться его великолепием, – и торопливо, с улыбкой торжества вытащив из кармана шинельки (премиленькой

белой шинельки с капюшоном и бархатным воротником) красный сафьяновый футляр, подал его матери.

– Я купил это на собственные деньги, мама, – сказал он. – Я думаю, тебе понравится.

Эмилия раскрыла футляр и, вскрикнув от восторга, обняла мальчика и стала осыпать его несчетными поцелуями. В футляре оказался портрет самого Джорджи, очень мило исполненный (хотя на самом деле Джорджи вдвое красивее, – так, конечно, подумала вдова). Дедушка пожелал заказать портрет внука одному художнику, работы которого, выставленные в витрине магазина Саутгемптон-роу, обратили на себя внимание старого джентльмена. Джордж, у которого денег было много, решил спросить у художника, сколько будет стоить копия портрета, заявив, что уплатит собственными деньгами и что он хочет преподнести подарок матери. Восхищенный живописец сделал копию за небольшую плату. А старик Осборн, узнав об этом, прорычал что-то в знак одобрения и подарил мальчику вдвое больше соверенов, чем тот заплатил за миниатюру.

Но что значило удовольствие деда по сравнению с исступленным восторгом Эмилии? Подобное доказательство любви к ней мальчика привело ее в полнейшее восхищение, и она решила, что во всем мире нет другого такого доброго ребенка, как ее сын. В течение многих недель она была счастлива мыслью о такой его любви и доброте. Она крепче спала, когда портрет лежал у нее под подушкой, а сколько, сколько раз она целовала его, плакала и молилась над ним! Самая незначительная ласка со стороны тех, кого она любила, всегда наполняла это робкое сердце благодарностью. Со времени своей разлуки с Джорджем она еще не знала такой радости, такого утешения.

В своем новом доме мистер Джордж был полным властелином; за обедом он с необычайным хладнокровием предлагал дамам вина и сам лихо пил шампанское, тем приводя старого мистера Осборна в полный восторг.

– Поглядите-ка на него, – говаривал старик, весь покрасневшись от гордости и подталкивая локтем соседа, – видали вы такого молодца? Да он, того и гляди, купит себе туалетный прибор и заведет бритвы, ей-богу!

Однако друзья мистера Осборна отнюдь не разделяли его восторгов по поводу кривляния мальчика. Судья Коффин не испытывал никакого удовольствия, когда Джорджи вмешивался в разговор и не давал досказать начатую историю. Полковнику Фоги неинтересно было смотреть на подвыпившего мальчугана. Супруга адвоката Тоффи не испытывала чувства особой благодарности, когда Джорджи, задев локтем стакан, пролил портвейн на ее желтое атласное платье и весело расхохотался над ее несчастьем. Не очень понравилось ей и то, как Джорджи отдубасил на Рассел-сквер ее третьего сына (юного джентльмена, годом старше Джорджи, приехавшего на праздники домой из училища доктора Тикльуса в Илинге). Зато дедушка Джорджи, восхищенный этим подвигом, подарил внуку два соверена и пообещал и впредь награждать его всякий раз, как он поколотит мальчика выше себя ростом и старше годами. Трудно сказать, что хорошего видел старик в подобных битвах. Ему смутно представлялось, что драки закаляют мальчиков, а тиранство – полезная наука, которой им следует обучаться. Так воспитывается английская молодежь с незапамятных времен, и среди нас есть сотни тысяч людей, оправдывающих и приветствующих несправедливость, грубость и жестокость, которые мы так часто видим в отношениях между детьми.

Упоенный похвалами и победой над мистером Тоффи, Джорджи, вполне естественно, пожелал продолжать и далее свои военные подвиги, и вот однажды, когда он прогуливался возле церкви Св. Панкратия, щеголяя своим франтовским новым костюмчиком, мальчишка из булочной отпустил язвительное замечание насчет его внешности. Наш юный патриций с большим воодушевлением скинул с себя щегольскую курточку и, отдав ее на сохранение сопровождавшему его другу (мистеру Тодду с Грейт-Корем-стрит, Рассел-сквер, сыну младшего компаньона фирмы «Осборн и К<sup>о</sup>»), попробовал отдубасить маленького пекаря. Но на этот раз военное счастье ему изменило, и маленький пекарь отдубасил Джорджи. Он вернулся домой со здоровым фонарем под глазом, и вся грудь его тонкой рубашки была залита кровью, хлынувшей из его собственного носа. Он рассказал дедушке, что сражался с каким-то великаном, и напугал свою бедную мать в Бромптоне подробным, но отнюдь не достоверным отчетом о битве.

Упомянутый выше юный Тодд с Корем-стрит, Рассел-сквер, был большим другом и поклонником мистера Джорджа. Оба они любили рисовать театральных героев, лакомиться леденцами и пирогами с малиной, кататься на санках и на коньках в Риджент-парке и на Серпентайне, если позволяла погода, и ходить в театр, куда их частенько водил по распоряжению мистера Осборна Роусон, личный слуга и телохранитель мистера Джорджа, и где они все вместе с большим удобством устраивались в задних рядах партера.

В сопровождении этого джентльмена они посетили все главные театры столицы; они знали по фамилии всех актеров от «Друри-Лейн» до «Сэдлерс-Уэлз» и, разумеется, представляли в склеенном из картона театрике многие из виденных пьес семейству Тодд и своим юным друзьям. Лакей Роусон, человек с широкими замашками, когда бывал при деньгах, частенько после представления угощал своего юного хозяина устрицами и стаканом рома с водой на сон грядущий. Можно не сомневаться, что мистер Роусон со своей стороны извлекал выгоду из щедрости своего юного хозяина и его благодарности за удовольствия, которые доставлял ему его слуга.

Для украшения особы маленького Джорджа был приглашен знаменитый портной из Вест-Энда, – мистер Осборн не пожелал иметь дела с какими-нибудь мазилками, как он выражался, из Сити или Холборна (хотя его самого вполне удовлетворял портной из Сити), – и этому чародею было сказано, чтобы он не жалел никаких затрат. Поэтому мистер Вулси с Кондит-стрит дал волю своему воображению и посылал ребенку на дом брюки-фантази, жилеты-фантази и куртки-фантази в количествах, достаточных для экипировки целой школы маленьких франтов. У Джорджи были белые жилетики для званных вечеров, открытые бархатные жилетики для обедов и очаровательный теплый халатик, точь-в-точь как у взрослого. Он ежедневно переодевался к обеду, «словно настоящий вест-эндский щеголь», как говорил его дедушка. Один из лакеев состоял в личном у него услужении, помогал ему одеваться, являлся на его звонок и подавал письма всегда на серебряном подносе.

После утреннего завтрака Джорджи усаживался в кресло в столовой и читал «Морнинг пост», совсем как взрослый.

– А как он здорово ругается! – восклицали слуги, восхищенные такой скороспелостью. Те из них, которые еще помнили его отца,

заявляли, что «мистер Джордж – вылитый папаша». Он оживлял дом своей непоседливостью, властностью, разносами прислуге и добродушием.

Воспитание Джорджа было поручено жившему по соседству ученому, частному педагогу, «готовящему молодых аристократов и джентльменов в университет, к законодательной деятельности и к ученым профессиям; в его учебной системе не применяются унижительные телесные наказания, все еще принятые в старинных учебных заведениях, а в его семействе ученики обретут лоск высшего общества и встретят заботу и ласку, как в родном доме». Так преподобный Лоренс Вил с Харт-стрит, Блумсбери, капеллан графа Бейракраса, вместе со своей супругой миссис Вил старался заманить к себе учеников.

При помощи подобных заявлений в газетах и всяких иных ухищрений капеллану и его супруге удавалось залучить двух-трех учеников, за которых платили большие деньги и которые считались отлично пристроенными. Так, в пансионе жил уроженец Вест-Индии, которого никто не навещал, – верзила с бронзовым лицом, курчавый и невероятно франтоватый; затем еще один неуклюжий парень лет двадцати трех, образование которого было запущено и которого мистер и миссис Вил должны были ввести в высший свет; и еще – два сына полковника Бенгласа, служившего в Ост-Индской компании. В то время, когда Джорджи познакомился с пансионом миссис Вил, эти четверо жили у нее и столовались.

Сам Джорджи, подобно десятку других учеников, был только проходящим: он приезжал по утрам под охраной своего друга, мистера Роусона, и, если стояла хорошая погода, уезжал после обеда верхом на пони в сопровождении грума. В школе считалось, что дедушка мальчика сказочно богат. Преподобный мистер Вил сам поздравил Джорджа с этим обстоятельством, указывая ему, что он предназначен судьбой к занятию видного положения и ему следует, проявляя усердие и прилежание в юности, подготавливаться к высоким обязанностям, к которым он будет призван в зрелом возрасте, ибо послушание ребенка – лучший залог его способности повелевать, когда он станет мужчиной. Поэтому он просит Джорджи не привозить в школу леденцов и не расстраивать здоровье молодых Бенгласов,

которые получают все, что им нужно, за изысканным и обильным столом миссис Вил.

Что касается обучения, то curriculum<sup>[343]</sup> его, как любил выражаться мистер Вил, был чрезвычайно обширен, и молодым джентльменам на Харт-стрит приходилось обучаться понемногу всем известным миру наукам. У преподобного мистера Вила была заводная модель звездного неба, электрическая машина, токарный станок, театр (в прачечной), несколько пробирок и колб и то, что он называл избранной библиотекой, заключавшей в себе все творения лучших авторов древности и нашего времени на всех языках. Он водил мальчиков в Британский музей и разглагольствовал там о древностях и образцах по отделу естествознания, так что вокруг него собирались толпы слушателей, и все в Блумсбери восхищались им как удивительно образованным человеком. И когда бы он ни говорил (а говорил он почти без передышки), он старался подбирать самые красивые и самые длинные слова, какие только мог почерпнуть из словаря, справедливо рассуждая, что эти красивые, полновесные и звучные слова обходятся ему не дороже, чем всякая односложная мелочь.

Так он, например, говорил Джорджу в школе:

– Возвращаясь домой после ученого собеседования, коим меня удостоил вчера вечером мой превосходный друг, доктор Балдерс – истинный археолог, джентльмены, истинный археолог, – я заметил, что окна несравненно-роскошного особняка вашего всеми почитаемого дедушки на Рассел-сквер были освещены как бы по причине праздника. Правильно ли я умозаключаю из этого, что вчера вокруг пышного стола мистера Осборна собиралось общество избранных умов?

Маленький Джорджи, не лишенный чувства юмора и передразнивавший мистера Вила прямо в лицо с большой отвагой и ловкостью, отвечал, что мистер Вил совершенно прав в своей догадке.

– В таком случае, джентльмены, я готов биться об заклад, что у друзей, имевших честь пользоваться гостеприимством мистера Осборна, не было никаких причин жаловаться на угощение. Я сам не раз пользовался благосклонностью этого радушного хозяина... Кстати, мистер Осборн, вы приехали сегодня утром с небольшим опозданием и неоднократно уже грешили в этом отношении... Итак,



джентльмены, я сам, несмотря на всю свою скромность, не был сочтен недостойным того, чтобы воспользоваться изысканным гостеприимством мистера Осборна. И хотя я пиршествовал с великими и знатными мира сего – ибо считаю, что могу причислить к их сонму своего превосходного друга и покровителя, высокопочтенного графа Джорджа Бейракрса, – однако заверяю вас, что стол английского негоцианта был не менее богато сервирован, а прием, оказанный гостям, не менее любезен и благороден... А теперь, мистер Блэк, я попрошу вас продолжать чтение отрывка из Евтропия, которое было прервано поздним прибытием мистера Осборна.

Вот этому-то великому человеку и было доверено на некоторое время воспитание Джорджа. Эмилию ошеломляли его высокопарные фразы, но она считала его чудом учености. Бедная вдова подружилась с миссис Вил, – на то у нее были свои причины. Она любила бывать в этом доме и видеть, как Джордж приезжает туда учиться. Она любила получать приглашения к миссис Вил на *conversazioni*<sup>[344]</sup>, которые устраивались раз в месяц (как сообщала вам розовая карточка с выгравированным на ней словом АӨНН<sup>[345]</sup>) и на которых профессор угощал своих учеников и их друзей жидким чаем и ученой беседой. Бедная Эмилия никогда не пропускала ни одного такого собрания и считала их восхитительными, раз с нею рядом сидел Джорджи. Она приходила пешком из Бромптона в любую погоду, а когда гости расходились и Джорджи уезжал со своим слугой мистером Роусоном, бедная миссис Осборн надевала накидку, закутывалась в шали, готовясь к обратному путешествию домой, и целовала миссис Вил со слезами благодарности за чудесно проведенный вечер.

Если говорить о знаниях, которые впитывал в себя Джорджи под руководством этого ценного и разностороннего наставника, то, судя по еженедельным отчетам, которые мальчик привозил деду, успехи его были замечательны. На особой карточке были напечатаны одно под другим названия по крайней мере двух десятков полезных наук, и успех ученика в каждой из них отмечался учителем в особой графе. По греческому языку у Джорджи значилось *aristos*<sup>[346]</sup>, по латинскому – *optimus*<sup>[347]</sup>, по французскому – *très bien*<sup>[348]</sup> и т. д., а в конце года все ученики по всем предметам получали награды. Даже мистер Суорц, курчавый молодой джентльмен, сводный брат почтенной миссис Мак-Мул, и мистер Блэк, двадцатитрехлетний недоросль из сельского

округа, и этот ленивый юный повеса – уже упоминавшийся выше мистер Тодд – получали восемнадцатипенсовые книжечки с напечатанным на них словом АӨНН и пышной латинской надписью от учителя его юным друзьям.

Все члены семьи мистера Тодда состояли прихлебателями в доме Осборна. Старый джентльмен возвысил Тодда с должности клерка до младшего совладельца своей фирмы. Мистер Осборн был крестным отцом юного мистера Тодда (который в последующей своей жизни печатал на визитных карточках «мистер Осборн Тодд» и сделался весьма светским человеком), а мисс Осборн воспринимала от купели мисс Марию Тодд и ежегодно, в знак своего расположения, дарила крестнице молитвенник, коллекцию назидательных брошюр, томик духовных стихов или еще какую-нибудь памятку в этом роде. Мисс Осборн иногда вывозила Тоддов на прогулку в своем экипаже; когда они болели, ее лакей, в коротких плюшевых штанах и жилете, приносил с Рассел-сквер на Корем-стрит варенье и разные лакомства. Корем-стрит, разумеется, трепетала и взирала на Рассел-сквер снизу вверх. Миссис Тодд, большая искусница по части вырезывания из бумаги украшений для бараньих окороков и умевшая также делать отличные цветы, уточек и т. д. из репы и моркови, частенько ходила на «Сквер», как она говорила, и принимала участие в приготовлениях к званому обеду, не допуская даже мысли о своем присутствии на самом обеде. Если в последнюю минуту какой-нибудь гость не являлся, тогда приглашали обедать Тодда. Миссис же Тодд приходила с Марией вечером, робко стучалась у подъезда, и к тому времени, когда мисс Осборн и находившиеся под ее конвоем дамы входили в гостиную, мать и дочь оказывались там, готовые петь дуэты, пока не появятся джентльмены. Бедная Мария Тодд, бедная девушка! Сколько ей приходилось работать и пыхтеть над этими дуэтами и сонатами у себя дома, прежде чем они исполнялись публично на Рассел-сквер!

Таким образом, словно самой судьбой было предназначено, чтобы Джорджи владычествовал над каждым, с кем он соприкасался, а все друзья, родственники и слуги преклоняли бы перед ним колени. Нужно признаться, что он весьма охотно мирился с подобным положением. Мало кто с этим не мирится. И Джорджи нравилось играть роль властелина, к которой у него, возможно, была врожденная склонность.

В доме на Рассел-сквер все трепетали перед мистером Осборном, а мистер Осборн трепетал перед Джорджи. Бойкие манеры мальчика, его развязная болтовня о книгах и учении, его сходство с отцом (что лежал мертвый и непрощенный в далеком Брюсселе) пугали старика и отдавали его во власть мальчику. Старик вздрагивал при каком-нибудь передавшемся по наследству жесте или интонации мальчугана, и ему мерещилось, что перед ним снова отец Джорджи. Он старался снисходительностью к внуку загладить свою жестокость по отношению к старшему Джорджу. Все удивлялись его ласковому обращению с ребенком. Он, как и прежде, ворчал и кричал на мисс Осборн, но улыбался, когда Джорджи опаздывал к завтраку.

Мисс Осборн, тетушка Джорджа, была увядшей старой девой, сильно сдавшей под бременем более чем сорокалетней скуки и грубого обращения. Смышленому мальчику ничего не стоило поработить ее. И когда Джорджу что-нибудь было от нее нужно, – от банки варенья в буфете до потрескавшихся и высохших красок в плоском ящичке (старом ящичке, который сохранился у нее с той поры, когда она училась у мистера Сми и была еще почти молодой и цветущей), – он завладевал предметом своих желаний, а добившись своего, попросту переставал замечать тетку.

Его друзьями и наперсниками были напыщенный старый школьный учитель, льстивший мальчику, и подлиза, который был несколько его старше и которого он мог колотить. Славная миссис Тодд с восторгом позволяла Джорджу играть со своей младшей дочерью, Розой Джемаймой, очаровательной восьмилетней девочкой. «Малышам так хорошо вместе», – говаривала миссис Тодд (разумеется, не обитателям «Сквера!»). «Кто знает, что может случиться! Ну, не чудесная ли парочка!» – думала про себя любящая мать.

Дед с материнской стороны, дряхлый, упавший духом старик, тоже был в подчинении у маленького тирана. Он не мог не чувствовать почтения к мальчику, у которого такое красивое платье, который ездит верхом в сопровождении грума. С другой стороны, Джорджи постоянно слышал грубую брань и насмешки, расточаемые по адресу Джона Седли его безжалостным старым врагом, мистером Осборном. Осборн иначе не называл его, как старым нищим, старым угольщиком, старым банкротом и многими другими подобными же

грубо-презрительными наименованиями. Как же было маленькому Джорджу уважать столь низко павшего человека? Через несколько месяцев после переселения мальчика на Рассел-сквер умерла миссис Седли. Между нею и ребенком никогда не было близости. Он не постарался хотя бы притвориться огорченным. Он приехал в красивом новом траурном костюмчике навестить мать и был очень недоволен, что ему не позволили пойти в театр на представление, о котором он давно мечтал.

Болезнь старой леди поглощала все время Эмилии и, пожалуй, послужила ей во спасение. Что знают мужчины о мученичестве женщин? Мы сошли бы с ума, если бы нам пришлось претерпевать сотую долю тех ежедневных мучений, которые многие женщины переносят так смиренно. Нескончаемое рабство, не получающее никакой награды; неизменная кротость и ласка, встречаемая столь же неизменной жестокостью; любовь, труд, терпение, заботы – и ни единого доброго слова в награду. Сколько их, что должны переносить все это спокойно и появляться на людях с ясным лицом, словно они ничего не чувствуют! Нежно любящие рабыни, как им приходится лицемерить!

Мать Эмилии в один прекрасный день слегла и уже больше не вставала. Миссис Осборн не отходила от ее постели, кроме тех случаев, когда спешила на свидание с сыном. Старуха ворчала на нее даже за эти редкие отлучки; когда-то, в дни своего благополучия, она была доброй, ласковой матерью, – бедность и болезни сломили ее. Но холодность матери и уход за нею не тяготили Эмилию. Скорее они помогали ей переносить другое, неотступное горе, от мысли о котором ее отвлекали нескончаемые призывы больной. Эмилия терпела ее капризы с полнейшей кротостью; поправляла подушку, всегда имела наготове ласковый ответ на беспокойную воркотню и упреки, утешала страдальицу словами надежды, какие могла найти в своем простом благочестивом сердце; и сама закрыла глаза, когда-то глядевшие на нее с такой нежностью.

А затем она все свое время и заботы посвятила осиротевшему старику отцу, который был сражен обрушившимся на него ударом и остался совершенно один на белом свете. Его жена, его честь, его богатство – все, что он любил больше всего, было отнято навсегда. У него осталась только Эмилия – она одна могла теперь поддерживать

своими нежными руками немощного старика с разбитым сердцем. Мы не будем писать об этом подробно – слишком это грустная и неинтересная повесть. Я уже вижу, как Ярмарка Тщеславия зевает, читая ее.

Однажды, когда молодые джентльмены собрались в кабинете преподобного мистера Вила и капеллан высокопочтенного графа Бейракрса, по обыкновению, разглагольствовал перед ними, к подъезду, украшенному статуей Афины, подкатил изящный экипаж и из него вышли два джентльмена. Молодые Бенглсы кинулись к окну со смутной мыслью, не приехал ли из Бомбея их отец. Двадцатитрехлетний верзила, плакавший тайком над отрывком из Евтропия, прижался своим грязным носом к оконному стеклу и глядел на запряжку, пока ливрейный лакей спрыгивал с козел и помогал седокам выйти из экипажа.

– Один толстый, а другой худой, – сказал мистер Блак, и в эту минуту раздался громкий стук в дверь.

Все оживились, начиная с самого капеллана, который уже возымел надежду, что перед ним отцы его будущих учеников, и кончая мистером Джорджем, который рад был любому предлогу, чтобы отложить книгу.

Мальчик в тесной, потертой ливрее с потускневшими медными пуговицами, которую он напяливал на себя, когда приходилось открывать дверь, вошел в кабинет и доложил:

– Два джентльмена желают видеть мистера Осборна.

У наставника в то утро был с этим юным джентльменом не совсем приятный разговор, вызванный несходством мнений об уместности в школьном помещении хлопушек, но лицо его приняло обычное выражение кроткой вежливости, и он сказал:

– Мистер Осборн, я даю вам разрешение повидаться с вашими друзьями, прибывшими в коляске, коим прошу вас передать почтительный привет как от меня лично, так и от миссис Вил.

Джорджи вышел в приемную и, увидев там двух незнакомцев, стал рассматривать их, задрав голову, со своей обычной надменной манерой. Один был толстяк с усами, а другой – тощий и длинный, в синем сюртуке, загорелый, с сильной проседью.

– Боже мой, как похож! – сказал длинный джентльмен. – Ты догадываешься, кто мы такие, Джордж?

Лицо мальчика вспыхнуло, как всегда бывало, когда он волновался, и глаза заблестели.

– Того джентльмена я не знаю, – сказал он, – а вы, должно быть, майор Доббин.

И правда, это был наш старый друг. Его голос дрожал от радости, когда он здоровался с мальчиком, и, взяв его за обе руки, он притянул юнца к себе.

– Значит, мама тебе рассказывала обо мне, да? – спросил он.

– Еще бы, – отвечал Джордж, – сколько раз!

## Глава LVII

### Эотен

Одной из многих причин для чувства гордости, которым тешил себя старик Осборн, было сознание, что Седли, старинный его соперник, враг и благодетель, в конце своей жизни дошел до такого унижения, что вынужден принимать денежные подачки из рук человека, который больше всех преследовал и оскорблял его. Процветающий делец ругательски ругал старого нищего, но время от времени оказывал ему помощь. Снабжая Джорджи деньгами для его матери, он грубыми и неуклюжими намеками давал мальчику понять, что его другой дед – жалкий старый банкрот и приживальщик и что Джон Седли обязан благодарить человека, – которому он уже и без того должен столько денег, – за помощь, ныне великодушно ему оказываемую. Джорджи вместе с деньгами передавал эти самодовольные заявления своей матери и сломленному горем старику вдовцу, заботиться и ухаживать за которым стало теперь главным занятием в жизни Эмилии. Мальчуган оказывал покровительство слабому, отчаявшемуся старику.

Быть может, Эмилия обнаруживала недостаток «надлежащей гордости», принимая помощь от врага своего отца. Но «надлежащая гордость» никогда не была свойственна этой страдальце. С тех пор как кончилось ее детство – со времени ее несчастного брака с Джорджем Осборном, – уделом этой простой и слабой женщины была смиренная бедность, ежедневные лишения, грубые слова и неблагодарность в ответ на ее любовь и услуги. О вы, вззирающие на то, как ваши ближние изо дня в день несут такой позор, безропотно страдают под ударами судьбы, ни в ком не встречая сочувствия и только презираемые за свою бедность, – разве вы когда-нибудь снисходите к ним с высоты своего благополучия и обмываете ноги этим бедным усталым нищим? Одна мысль о них вам противна и унижительна. «Классы должны существовать, должны быть и богатые, и бедные», – говорит богач, смакуя красное вино (хорошо еще, если он посылает крохи со стола своему бедному Лазарю, сидящему под окном). Совершенно верно! Но подумайте только, как таинственна и

часто непостижима бывает жизненная лотерея, которая одному дает порфиру и виссон, а другому посылает лохмотья вместо одежды и псов вместо утешителей.

Итак, я должен признать, что Эмилия без особых терзаний – наоборот, с чувством, близким к благодарности, – принимала крохи, которые свекор время от времени бросал ей, и кормила ими своего родителя. Таков был характер этой молодой женщины (милые дамы, Эмилии сейчас всего лишь тридцать лет, и мы позволяем себе называть ее молодой женщиной), – так вот, говорю я, таков был характер Эмилии, что она всю себя приносила в жертву и повергала все, что имела, к ногам любимого существа. Сколько долгих безотрадных ночей она трудилась для маленького Джорджи, когда тот жил дома с нею; какие удары, упреки, лишения, нужду выносила ради отца и матери! И в этой жизни, полной незаметных жертв и отречений, она уважала себя ничуть не больше, чем уважал ее свет, – в глубине сердца она, вероятно, считала себя ничтожной, заурядной женщиной, которой повезло больше, чем она того заслуживала. Бедные женщины! Бедные мученицы и жертвы, чья жизнь – сплошная пытка, каждую ночь вы терпите муки на своем ложе, каждый день кладете голову на плаху в гостиных. Всякий мужчина, взирающий на ваши мучения или заглядывающий в те мрачные места, где вас пытаются, должен пожалеть вас и... и возблагодарить господа бога за свою бороду! Помню, много лет тому назад я видел в тюрьме для слабоумных и сумасшедших в Бисетре, вблизи Парижа, несчастное существо, согбенное под игом заточения и болезни. Кто-то из нас дал ему щепотку грошового табаку в бумажном фунтике. Такая милость была слишком велика для бедного идиота: он заплакал от восторга и благодарности; мы с вами не были бы так тронуты, если бы кто подарил нам тысячу фунтов годового дохода или спас нам жизнь. И вот, если должным образом тиранить женщину, можно увидеть, как грошовый знак внимания трогает ее, вызывает слезы на ее глазах, словно вы ангел, оказывающий ей благодеяние!

Вот такие-то благодеяния и были самым отрадным, что фортуна посылала в дар бедной маленькой Эмилии. Жизнь ее, начавшаяся так счастливо, свелась к тюремному существованию, к долгому унижительному рабству. Маленький Джордж иногда навещал мать, освещая ее тюрьму слабыми вспышками радости. А границей ее



тюрьмы была Рассел-сквер: она могла время от времени ходить туда, но на ночь всегда должна была возвращаться в свою камеру, чтобы выполнять унылые обязанности, бодрствовать у постели больных, переносить придирки и тиранство ворчливых, во всем отчаявшихся стариков. Сколько тысяч людей, главным образом женщин, осуждено влачить такое долгое рабство! Это больничные сиделки, не получающие жалованья, – сестры милосердия, если вы предпочтете их так называть, но без романтических мыслей о самоотверженном служении людям; они терпят нужду и голод, не спят ночей, выбиваются из сил и увядают в жалкой безвестности. Непостижимой и грозной силе, определяющей человеческие судьбы, угодно принижать и повергать в прах нежных, добрых и умных и возносить себялюбцев, плутов и негодяев! О брат мой, будь смиренен в своем благополучии! Будь ласков с теми, кто менее счастлив, хотя и более заслуживает счастья. Подумай, какое ты имеешь право презирать, – ты, чья добродетель – лишь отсутствие искушений, чей успех, возможно, – дело случая, чье высокое положение – заслуга далекого предка, чье благополучие, по всей вероятности, – злая шутка судьбы.

Мать Эмилии похоронили на бромптонском кладбище, в такой же дождливый, пасмурный день – вспомнилось Эмилии, – как когда она впервые приезжала сюда, чтобы обвенчаться с Джорджем. Сынишка, в новом пышном траурном платье, сидел рядом с нею. Она вспомнила старую сторожиху и причетника. Пока священник читал, она жила мыслями в прошедшем. Не будь сейчас в ее руке руки Джорджи, она, пожалуй, не прочь была бы поменяться местами с... Но тут, как обычно, она устыдилась своих себялюбивых дум и вознесла молитву о ниспослании ей сил для исполнения своего долга.

И вот Эмилия решила приложить все силы и старания, чтобы скрасить жизнь старика отца. Она работала не покладая рук, штопала, чинила и стряпала, пела старику Седли и играла с ним в триктрак, читала ему вслух газеты, водила его гулять в Кенсингтонский сад или на Бромптонский бульвар, слушала его рассказы, не уставая улыбаться и ласково лицемерить, или же сидела, задумавшись, рядом с ним, предаваясь своим мыслям и воспоминаниям, пока слабый и ворчливый старик грелся на солнышке и болтал о своих горестях и невзгодах. Как печальны, как безотрадны были думы вдовы! Дети, бегавшие по склонам и по широким дорожкам бульвара, напоминали

ей о Джорджи, отнятом у нее. Первый Джордж был тоже у нее отнят, – ее эгоистичная, грешная любовь в обоих случаях была отвергнута и жестоко наказана. Она старалась убедить себя в том, что заслуженно понесла такую кару: жалкая, несчастная грешница! Она была совсем одна на свете.

Я знаю, что повесть о таком одиночном заключении невыносимо скучна, если ее не оживляют какие-нибудь веселые или смешные черточки: например, чувствительный тюремщик, болтливый комендант крепости, мышонок, выбегающий из норки и резвящийся в бороде и бакенбардах Латюда, или подземный ход, прорытый Тренком<sup>[349]</sup> под стеною замка при помощи собственных ногтей и зубочистки. Но летописцу, повествующему о пленении Эмилии, нечем оживить свой рассказ. Прошу вас помнить, читатель, что в эту пору ее жизни она была очень печальна, но всегда готова улыбнуться, если с нею заговорят; жила очень скромно, в большой бедности, пожалуй, даже в нужде; пела песни, месила пудинги, играла в карты, штопала носки – все для старика отца. Итак, пожалуйста, не ломайте себе голову над тем, героиня Эмилия или нет. А нам с вами, когда мы будем старыми, сварливыми и банкротами, дай бог найти на склоне наших дней нежное плечо, на которое можно будет опереться, и ласковую руку, которая поправит нам, подагрикам, смятую подушку.

Старик Седли очень привязался к дочери после смерти жены. А дочь находила утешение в исполнении своих обязанностей по отношению к старику отцу.

Но мы не собираемся долго оставлять этих двух людей в столь унижительных и неприличных условиях существования. Им суждено было узнать лучшие дни, поскольку дело идет о мирском благополучии. Быть может, проницательный читатель догадался, кто был тот полный джентльмен, который вместе с нашим старым другом, майором Доббином, приезжал в школу навестить Джорджа. Это был еще один наш старый знакомый, вернувшийся в Англию, и притом в такое время, когда его присутствие там должно было оказаться весьма полезным для его родственников.

Майору Доббину легко удалось получить от своего доброго командира разрешение съездить по неотложным личным делам в Мадрас, а оттуда, вероятно, и далее, в Европу; и он скакал без передышки днем и ночью, и так спешил, что прибыл в Мадрас в

сильнейшей лихорадке. Сопровождавшие майора слуги привезли его в бреду в дом одного из друзей, у которого он предполагал пожить до своего отъезда в Европу. В течение многих, многих дней считалось, что он вообще никогда и никуда не поедет дальше кладбища при церкви Св. Георгия, где солдаты дадут прощальный залп над его могилой и где не один доблестный офицер похоронен в чужой земле, вдали от родины.

Те, кто ухаживал за бедным Доббином, могли услышать, как он, сжигаемый лихорадкой, произносил в бреду имя Эмилии. Мысль о том, что он никогда больше ее не увидит, угнетала его и в минуты просветления. Он думал, что пришел его последний час, и торжественно приготовился покинуть этот мир: привел в порядок свои земные дела и оставил свое небольшое состояние тем, кому больше всего на свете желал быть полезным. Друг, в доме которого он лежал, засвидетельствовал его завещание. Доббин выразил желание быть похороненным с цепочкой, сплетенной из каштановых волос, которую он носил на шее и которую, если сказать по правде, он получил от горничной Эмилии в Брюсселе, когда молодой вдове остригли волосы во время болезни, свалившей ее с ног после смерти Джорджа Осборна на Сен-Жанском плато.

Доббин пришел в сознание, поправился немного и опять заболел, – только его железный организм и мог вообще выдержать такое количество кровопусканий и каломели. От него остался один скелет, и от слабости он не мог пошевелить рукой, когда его посадили на корабль «Ремчандер» под командой капитана Брэга, зашедший в Мадрас на пути из Калькутты. Друг, вышедший Доббина в своем доме, пророчил, что тот не перенесет путешествия и в одно прекрасное утро полетит за борт, завернутый во флаг и матросскую койку, унося с собой на дно моря реликвию, хранившуюся у него на сердце. Но было ли то под действием морского воздуха или от вновь всколыхнувшихся надежд, – только с того самого дня, как корабль распустил паруса и взял курс *к дому*, наш друг стал чувствовать себя лучше, а к тому времени, как они достигли мыса Доброй Надежды, он был совсем здоров (хотя и худ, как борзая).

– Кирк будет разочарован – майорский чин на этот раз ему не достался, – говорил он, улыбаясь. – А он-то надеется прочесть в «Газете» о своем повышении, когда полк вернется.

Нужно пояснить, что пока наш майор лежал больным в Мадрасе, куда ему так не терпелось попасть, доблестный \*\*\* полк, прошедший много лет за пределами родины и по возвращении из Вест-Индии прервавший свою стоянку в Англии из-за кампании, закончившейся Ватерлоо, а затем переброшенный из Фландрии в Индию, теперь получил приказ вернуться домой. Таким образом, майор мог бы совершить весь путь вместе со своими товарищами, пожелай он только дожждаться их прибытия в Мадрас.

Быть может, сейчас, когда он был так истощен, ему не улыбалось вновь оказаться под опекой Глорвины.

– Пожалуй, если бы мисс О’Дауд ехала вместе с нами, она тут бы меня и прикончила, – говорил он со смехом одному своему спутнику. – А утопив меня, она взялась бы за вас, можете быть в этом уверены, и привезла бы вас с собой в Саутгемптон в качестве приза, – так-то, мой милый Джоз!

В самом деле, этим пассажиром на борту «Ремчандера» был не кто иной, как наш толстый приятель. Он провел в Бенгалии десять лет. Бесконечные обеды, завтраки, светлое пиво и красное вино, чрезмерные труды по службе и коньяк с водою, к которому ему приходилось прибегать для подкрепления сил, оказали свое действие на Седли Ватерлооского – поездка в Европу была признана для него необходимой. Отслужив в Индии свой полный срок на отличном содержании, что позволило ему отложить значительную сумму денег, Джоз был волен ехать домой и остаться жить в Англии с хорошей пенсией или же вернуться в Индию и поступить на службу, приняв должность, на какую ему давали право его многолетние заслуги и редкостные дарования.

Он немного похудел, с тех пор как мы видели его в последний раз, но зато приобрел больше величественности и важности в обхождении. Как ветеран Ватерлоо, он снова отпустил усы и расхаживал по палубе в великолепной бархатной фуражке с золотым галуном, разукрасив свою особу множеством всяких булавок и драгоценных камней. Он завтракал у себя в каюте, а перед тем как выйти на палубу, одевался так тщательно, словно ему предстояло фланировать по Бонд-стрит или по Корсо в Калькутте. Он вез с собою слугу-туземца, который был его лакеем, готовил ему кальян и носил на тюрбане серебряный герб семейства Седли. Этому слуге трудно

приходилось у такого тирана, как Джоз Седли. Джоз следил за своей внешностью, словно женщина, и проводил за туалетом не меньше времени, чем какая-нибудь увядающая красавица. Пассажиры помоложе – юный Чэфферс 150-го полка и бедняжка Рахитс, возвращавшийся домой после третьего приступа лихорадки, – любили раззадорить Седли за столом в кают-компании и вызвать его на рассказы о поразительных подвигах, свершенных им во время охоты на тигров и войны с Наполеоном. Джоз был великолепен, когда, стоя у могилы императора в Лонгвуде<sup>[350]</sup>, описывал этим джентльменам и молодым офицерам корабля (благо майор Доббин при этом не присутствовал) всю битву при Ватерлоо и едва ли не утверждал, что Наполеон вообще не оказался бы на острове Святой Елены, если бы не он, Джоз Седли.

Когда отплыли с острова Святой Елены, он щедро угостил всех вином и мясными консервами из судовых запасов, а также содовой водой из больших бочонков, взятых им в дорогу для личного наслаждения. Дам на корабле не было. Майор передал право старшинства Джозу, так что тот занимал первое место за столом, и капитан Брэг и офицеры «Ремчандера» обращались с мистером Седли со всем уважением, какое подобало его рангу. Но вот разыгралась двухдневная буря, и Джоз с некоторой поспешностью скрылся к себе в каюту и велел заколотить досками иллюминатор. Все это время он пролежал на койке, читая «Прачку Финчлейской общины», оставленную на борту «Ремчандера» высокопочтенной леди Эмили Хорнблоуэр, супругой преподобного Сайлеса Хорнблоуэра, когда они совершали путь к мысу Доброй Надежды, где этот джентльмен был миссионером. Но для каждодневного чтения Джоз вез с собой запас романов и пьес, которыми снабжал всех желающих; он заслужил общую приязнь своей любезностью и обходительностью.

Много, много вечеров просидели мистер Седли и майор на квартердеке, беседуя о доме, пока судно несло вперед, разрезая бушующее темное море, а месяц и звезды сияли в небе и колокол отбивал вахты. Майор покуривал сигару, а чиновник пускал клубы дыма из кальяна, который приготавливал ему слуга.

Просто удивительно, с каким постоянством и как искусно майор Доббин наводил разговор на Эмилию и ее маленького сына. Джоз, которому немного надоели злоключения отца и его бесцеремонные

просьбы о помощи, смягчался, когда майор напоминал ему о печальной судьбе его родителей и их преклонном возрасте. Вероятно, Джозу не очень-то улыбается мысль поселиться вместе со стариками: их привычки и жизненный уклад могут не совпасть с привычками более молодого человека, вращающегося в совсем ином обществе (Джоз поклонился при этом комплименте); однако, указал майор, насколько лучше было бы для Джоза Седли, если бы он обзавелся собственным домом в Лондоне, а не устраивался по-холостяцки, как прежде! Сестра его Эмилия самое подходящее лицо, чтобы вести такой дом; как она элегантна, как мила и какие у нее прекрасные и утонченные манеры! Майор без конца рассказывал о том, каким успехом пользовалась миссис Джордж Осборн в былые дни в Брюсселе и в Лондоне, где ею восторгались люди, принадлежавшие к самым высшим светским кругам. Затем он намекнул, как мило было бы со стороны Джоза отдать Джорджи в какую-нибудь хорошую школу и сделать из него человека, потому что мать и ее родители, наверное, избалуют его. Одним словом, наш хитрый майор добился от Джоза обещания принять на себя заботы об Эмилии и ее сиротке-сыне. Он еще не знал, какие события произошли в маленьком семействе Седли: что смерть лишила Эмилию матери, а богатство отняло у нее Джорджа. Но одно верно: ежедневно и ежечасно этот уязвленный любовью джентльмен средних лет думал о миссис Осборн, и сердце его изнывало от желания сделать ей добро. Он увещал, уламывал, захваливал, задабривал Джоза Седли с упорством и сердечностью, которых, весьма возможно, и сам не замечал. Но многие мужчины, у которых есть незамужние сестры или даже дочери, припомнят, как необычайно предупредительны к отцам и братьям бывают джентльмены, когда они ухаживают за дочерьми и сестрами! Быть может, и этого плута Доббина подстегивало такое же лицемерие!

Сказать по правде, майор Доббин, прибыв на борт «Ремчандера» совсем больным, в те три дня, что корабль стоял на мадрасском рейде, еще не начал поправляться. Не очень подбодрила его и встреча со старым знакомым, мистером Седли, пока между ними не произошел однажды разговор, когда майор лежал на палубе, очень вялый и слабый. Он сказал тогда, что, кажется, его смерть близка; он завещал кое-что – пустяки – своему крестнику и надеется, что миссис Осборн

не станет поминать его лихом и будет счастлива в браке, в который она собирается вступить.

– Брак? Ничего подобного, – отвечал Джоз. Он получил от нее письмо, она не упоминала ни о каком браке, и, кстати, – вот любопытно! – она сообщала, будто майор Доббин собирается жениться, и выражала надежду, что *он* будет счастлив.

От какого числа были письма, полученные Седли из Европы? Джоз сходил за ними в каюту. Они были написаны на два месяца позднее писем, полученных майором. После этого корабельный доктор поздравил себя с лечением, назначенным им своему новому пациенту, которого мадрасский врач передал ему, высказав лишь очень слабую надежду на выздоровление. Ибо с этого самого дня, с того дня, когда доктор прописал новую микстуру, майор Доббин начал поправляться. И таким-то образом прекрасный офицер, капитан Кирк, не получил майорского чина.

Когда корабль миновал остров Святой Елены, майор Доббин настолько повеселел и окреп, что ему изумлялись все его спутники. Он проказничал с мичманами, фехтовал с помощниками капитана, бегал по вантам, как мальчишка, спел однажды вечером смешные куплеты, к восхищению всего общества, собравшегося за грогом после ужина, и стал таким жизнерадостным и милым, что даже капитан Брэг, не видевший в своем пассажире ничего особенного и считавший его сперва глуповатым малым, вынужден был признать, что майор сдержанный, но отлично образованный и достойный офицер.

– Манеры-то у него неважные, черт возьми, – заметил Брэг старшему помощнику, – он не годится для губернаторского дома, где его милость – как и леди Уильям – был так любезен со мной, пожал мне руку перед всем обществом и за обедом, в присутствии самого главнокомандующего, предложил мне выпить с ним пива. Манеры у него не того... но все-таки в нем что-то есть.

Выразив такое мнение, капитан Брэг показал, что он умеет не только командовать кораблем, но и здраво разбираться в людях.

Но вот, когда до Англии оставалось еще десять дней пути, корабль попал в штиль, и Доббин стал до того нетерпелив и раздражителен, что товарищи, лишь недавно восхищавшиеся его живостью и хорошим характером, только диву давались. Он оправился лишь тогда, когда снова подул бриз, и пришел в чрезвычайно возбужденное состояние,

когда на корабль поднялся лоцман. Боже мой, как забилося его сердце при виде знакомых шпилей Саутгемптона!



## Глава LVIII

### Наш друг майор

Наш майор завоевал себе такую популярность на борту «Ремчандера», что, когда они с мистером Седли спускались в долгожданный баркас, который должен был увезти их с корабля, весь экипаж – матросы и офицеры во главе с самим капитаном Брэгом – прокричал троекратное «ура» в честь майора Доббина, а он в ответ только густо покраснел и втянул голову в плечи. Джоз, по всей вероятности, решивший, что приветствия относятся к нему, снял фуражку с золотым галуном и величественно помахал ею своим друзьям. Затем пассажиры были доставлены к пристани, где они и высадились с большим достоинством и откуда проследовали в гостиницу «Ройал Джордж».

Хотя зрелище великолепного ростбифа и серебряного жбана, говорящего о настоящем английском эле и портере, которое неизменно ласкает взор путника, возвращающегося из чужих краев и вступающего в общий зал «Ройал Джорджа», – хотя это зрелище так отрадно и восхитительно, что всякому, кто войдет в эту уютную, тихую гостиницу, наверно, захочется провести тут несколько дней, однако Доббин сейчас же заговорил о дорожной карете и, едва очутившись в Саутгемптоне, уже стремился в Лондон. Джоз, однако, не хотел и слышать о продолжении поездки в тот же вечер. Чего ради он будет проводить ночь в карете, когда к его услугам широкая, мягкая, удобная пуховая постель вместо отвратительной узкой койки, в которую тучный бенгальский джентльмен втискивался во время путешествия? Он и думать не может об отъезде, пока не будет досмотрен его багаж, и не поедет дальше без своего кальяна. Таким образом, майору пришлось переждать эту ночь, и он отправил с почтой письмо родным, извещая их о своем приезде. Он и Джоза уговаривал написать его друзьям. Джоз пообещал, но не исполнил обещания. Капитан, врач и кое-кто из пассажиров с корабля явились в гостиницу и отобедали с нашими джентльменами. Джоз превзошел самого себя в пышности заказанного обеда и пообещал майору на следующий день отбыть с ним в столицу. Хозяин гостиницы заявил,

что одно удовольствие смотреть, как мистер Седли пьет свою первую пинту портера. Будь у меня время и посмей я уклониться от темы, я бы написал целую главу о первой пинте портера, выпитой на английской земле. Ах, как она вкусна! Стоит уехать из дому на год, чтобы потом иметь возможность насладиться этим первым плотком.

На следующее утро майор Доббин вышел из своей комнаты, по обыкновению, тщательно выбритый и одетый. Было еще так рано, что во всем доме никто не вставал, кроме коридорного, который, как и все его собраты, по-видимому, совсем не нуждался в сне. Поскрипывая сапогами, майор бродил по темным коридорам, слушая громкий храп разношерстных обитателей дома. Затем появился бессонный коридорный и зашмыгал от одной двери к другой, собирая блюхеры, веллингтоны, оксфорды и всякого другого рода обувь, выставленную наружу. Затем поднялся туземец-слуга Джоза и начал приводить в готовность тяжеловесный аппарат хозяйского туалета и неизменный кальян. Затем встали горничные и, встретясь в коридоре с чернолицым человеком, подняли визг, так как приняли его за черта. Доббин и индус спотыкались о ведра, пока горничные драили палубы «Ройал Джорджа». Когда же появился первый взъерошенный лакей и снял засовы с входных дверей гостиницы, майор решил, что пора пускаться в путь, и велел немедленно подавать карету.

Затем он направился в комнату мистера Седли и раздвинул полог большой широкой двуспальной кровати, с которой доносился храп мистера Джоза.

– Вставайте, Седли! – крикнул майор. – Пора ехать, карета будет подана через полчаса!

Из-под пуховика раздалось глухое ворчанье: это Джоз спрашивал, который час. Вырвав наконец из уст покрасневшего майора (тот никогда не лгал, даже если это было ему выгодно) признание относительно действительного положения часовых стрелок, Джоз разразился градом ругательств, которых мы не будем здесь повторять. При помощи их мистер Седли дал понять Доббину, что он, Джоз, будет проклят, если встанет в такую рань, что майор может убираться ко всем чертям, что он не желает ехать с ним и что чрезвычайно невежливо и не по-джентльменски беспокоить человека и будить его без всякой надобности. После этого майору пришлось отступить в замешательстве, оставив Джоза продолжать свой прерванный сон.

Тем временем подъехала карета, и майор не стал больше дожидаться.

Будь Доббин английским аристократом, путешествующим ради собственного удовольствия, или журналистом, везущим срочные депеши (правительственные указы обычно перевозятся с значительно меньшей спешкой), он и тогда не мог бы ехать быстрее. Форейторы дивились размерам чаевых, которые майор раздавал им. Какой веселой и зеленой казалась местность, по которой карета неслась от одного дорожного столба к другому, через чистенькие провинциальные городки, где хозяева гостиниц выходили на улицу, приветствуя Доббина улыбками и поклонами; мимо хорошеньких придорожных харчевен, где вывески висели на вязах, а лошади и возчики пили под их узорчатой тенью; мимо старинных замков и парков; мимо скромных деревушек, жмущихся к древним серым церквям. Ах, этот милый, приветливый английский пейзаж! Есть ли что-нибудь в мире, подобное ему? Путешественника, возвращающегося домой, он встречает так ласково – он словно пожимает вам руку, когда вы проносите мимо. Однако майор Доббин промчался от Саутгемптона до Лондона, ничего почти не замечая по дороге, кроме дорожных столбов. Вы понимаете, ему так не терпелось увидеться со своими родителями в Кемберуэле!

Доббин пожалел даже о времени, потраченном на проезд от Пикадилли до его прежнего пристанища у Слотера, куда он направился по старой памяти. Долгие годы прошли с тех пор, как он был здесь в последний раз, с тех пор, как они с Джорджем, еще молодыми людьми, устраивали здесь кутежи и пирушки. Теперь Доббин был старым холостяком. Волосы у него поседели; поседели и многие страсти и чувства его молодости. Но вот в дверях стоит старый лакей, все в той же засаленной черной паре, с таким же двойным подбородком и дряблым лицом, с тою же огромной связкой печаток на цепочке от часов; он все так же побрякивает деньгами в кармане и встречает майора с таким видом, словно тот уехал всего лишь неделю тому назад.

– Отнесите вещи майора в двадцать третий номер, это его комната, – сказал Джон, не обнаруживая ни малейшего изумления. – К обеду, наверно, закажете жареную курицу? Вы не женились? Говорили, что вы женаты, – у нас стоял ваш доктор-шотландец. Нет,

капитан Хамби из тридцать третьего полка, который квартировал с \*\*\* полком в Индии. Не угодно ли теплой воды? А зачем вы карету нанимали? Для вас что, дилижансы недостаточно хороши?

И с этими словами верный лакей, который знал и помнил каждого офицера, останавливавшегося в этой гостинице, и для которого десять лет промелькнули, как один день, провел Доббина в его прежнюю комнату, где стояла та же большая кровать с шерстяным пологом, лежал тот же потертый ковер; чуть более грязный, и красовалась прежняя черная мебель, обитая выцветшим ситцем, – все это майор помнил еще со времен своей молодости.

Доббин вспомнил, как Джордж накануне свадьбы расхаживал взад и вперед по этой комнате, кусая ногти и клянясь, что родитель должен же образумиться, а если нет – то ему, Джорджу, все равно. Майору казалось, что вот-вот хлопнет дверь и сам Джордж...

– А вы не помолодели! – заметил Джон, спокойно изучая друга прежних дней.

Доббин засмеялся.

– Десять лет и лихорадка не молодят человека, Джон, – сказал он. – Вот зато вы всегда молоды... или, вернее, всегда стары.

– Что случилось со вдовой капитана Осборна? – спросил Джон. – Прекрасный был молодой человек. Господи боже мой, как он любил швырять деньги! Он больше у нас не бывал с того самого дня, когда поехал отсюда венчаться. Он до сих пор должен мне три фунта. Вот взгляните, у меня записано: «Десятого апреля тысяча восемьсот пятнадцатого года, за капитаном Осборном три фунта». Интересно, уплатил бы мне за него его отец?

И Джон из номеров Слотера вытащил ту самую записную книжку в сафьяновом переплете, в которую он занес долг капитана и где на засаленной, выцветшей страничке запись эта бережно сохранялась вместе со многими другими корявыми заметками, касавшимися былых завсегдатаев гостиницы.

Проведя своего постояльца в комнату, Джон спокойно удалился. А майор Доббин, краснея и мысленно подшучивая над собственной глупостью, выбрал из своих штатских костюмов самый нарядный и расхохотался, рассматривая в тусклом зеркальце на туалетном столе свое желто-зеленое лицо и седые волосы.

«Я рад, что старый Джон не забыл меня, – подумал он. – Надеюсь, она меня тоже узнает».

И, выйдя из гостиницы, он направил свои стопы в Бромптон.

Все мельчайшие подробности его последней встречи с Эмилией оживали в памяти этого преданного человека, когда он шел по направлению к дому миссис Осборн. Арка и статуя Ахиллеса были воздвигнуты уже после того, как он в последний раз был на Пикадилли; сотни перемен произошли за это время, взор и ум его смутно их отмечали. Доббина бросило в дрожь, когда он зашагал от Бромптона по переулку – знакомому переулку, который вел к улице, где она жила. Выходит она замуж или нет? Если он встретит ее вместе с мальчиком... боже мой, что ему тогда делать? Он увидел какую-то женщину, шедшую ему навстречу с ребенком лет пяти... Уж не она ли это? Доббин задрожал при одной мысли о такой возможности. Когда наконец он подошел к дому, в котором жила Эмилия, он ухватился рукой за калитку и замер. Он слышал, как колотится у него сердце. «Да благословит ее бог, что бы ни случилось! – произнес он про себя. – Эх, да что я! Может, она уже уехала отсюда!» И он вошел в калитку.

Окно гостиной, в которой обычно проводила время Эмилия, было открыто, но в комнате никого не было. Майору показалось, что он как будто узнает фортепьяно и картину над ним – ту же, что и в былые дни, – и волнение охватило его с новой силой. Медная дощечка с фамилией мистера Клепа по-прежнему красовалась на входной двери рядом с молотком, при помощи которого Доббин и возвестил о своем прибытии.

Бойкая девушка лет шестнадцати, румяная, с блестящими глазами, вышла на стук и удивленно взглянула на майора, прислонившегося к столбику крыльца.

Он был бледен, как привидение, и едва мог пролепетать слова:

– Здесь живет миссис Осборн?

С минуту девушка пристально смотрела на него, а затем, в свою очередь, побледнела и воскликнула:

– Боже мой! Да это майор Доббин!

Она радостно протянула ему обе руки.

– Неужели вы меня не помните? – сказала она. – Я называла вас «майор Пряник».

В ответ на это майор – я уверен, что он вел себя так впервые за всю свою жизнь, – схватил девушку в объятия и расцеловал ее. Девушка взвизгнула, засмеялась, заплакала и, крича во весь голос: «Ма! Па!» – вызвала этих почтенных людей, которые уже наблюдали за майором из оконца парадной кухни и были до крайности изумлены, увидев в коридорчике свою дочь в объятиях какого-то высоченного человека в синем фраке и белых полотняных панталонах.

– Я старый друг, – сказал он не без смущения. – Неужели вы не помните, миссис Клеп, каким вкусным печеньем вы, бывало, угощали меня за чаем? А вы, Клеп, узнаете меня? Я крестный Джорджа и только что вернулся из Индии.

Последовали сердечные рукопожатия; миссис Клеп не помнила себя от радостного волнения – сколько раз она в этом самом коридорчике молила бога о помощи!

Хозяин и хозяйка дома провели почтенного майора в комнату Седли (где Доббин помнил все предметы обстановки, от старого, отделанного бронзой фортепьяно работы Стотарда, когда-то блиставшего нарядной полировкой, до экранов и миниатюрного гипсового надгробного памятника, в центре которого тикали золотые часы мистера Седли). И там, усадив гостя в пустое кресло жильца, отец, мать и дочь, прерывая свой рассказ бесчисленными восклицаниями и отступлениями, поведали майору Доббину все, что мы уже знаем, но чего он еще не знал, а именно: о смерти миссис Седли, о примирении Джорджа с дедушкой Осборном, о том, как вдова горевала, расставаясь с сыном, и о разных других событиях, касавшихся Эмилии. Несколько раз Доббин порывался спросить о ее планах, но у него не хватало духу. Он не мог решиться открыть свое сердце перед этими людьми. Наконец ему сообщили, что миссис Осборн отправилась гулять со своим папашей в Кенсингтонский сад, куда они всегда ходят после обеда в хорошую погоду (он стал теперь очень слабым и ворчливым, дочери с ним нелегко, хотя она заботится о нем, как ангел, ей-богу!).

– Я сейчас очень тороплюсь, – сказал майор, – у меня на вечер есть важные дела. Но мне бы хотелось повидать миссис Осборн. Может быть, мисс Мэри проводит меня и покажет дорогу?

Мисс Мэри и удивилась, и обрадовалась такому предложению. Дорога ей известна. Она проводит майора Доббина. Она сама часто

гуляет с мистером Седли, когда миссис Осборн уходит... уходит на Рассел-сквер. Ей известна и скамейка, на которой любит сидеть старый джентльмен.

Девушка убежала к себе и очень скоро вернулась в самой своей красивой шляпке и желтой шали миссис Клеп, заколотой большой агатовой брошью, – то и другое она позаимствовала, чтобы быть достойной спутницей майору.

И вот наш офицер, облаченный в синий фрак, натянул замшевые перчатки, подал юной особе руку, и они очень весело пустились в путь. Доббин был рад, что около него есть друг, он побаивался предстоящего свидания. Он засыпал свою спутницу вопросами об Эмилии. Его доброе сердце печалилось при мысли, что миссис Осборн пришлось расстаться с сыном. Как она перенесла разлуку? Часто ли она его видит? Есть ли теперь у мистера Седли все необходимое? Мэри отвечала, как умела, на все эти вопросы «майора Пряника».

Но тут случилось одно обстоятельство, само по себе совершенно пустяковое, но тем не менее приведшее майора Доббина в величайший восторг. Навстречу им по переулку шел какой-то бледный молодой человек с жиденькими бакенбардами, в накрахмаленном белом галстуке. Шел он между двумя дамами, ведя их под руку. Одна из них была высокая, властного вида женщина средних лет, чертами и цветом лица похожая на англиканского пастора, рядом с которым она шествовала. А вторая – невзрачная, смуглолицая маленькая особа в красивой новой шляпке с белыми лентами, в изящной накидке и с золотыми часами на груди. Джентльмен, зажатый между этими двумя леди, тащил еще зонтик, шаль и корзиночку, так что руки у него были совершенно заняты, и он, конечно, не имел возможности снять шляпу в ответ на реверанс, которым приветствовала его мисс Мэри Клеп.

Он только кивнул ей головой, и обе дамы в свою очередь с покровительственным видом ответили девушке, бросив в то же время строгий взгляд на субъекта в синем фраке и с бамбуковой тростью, сопровождавшего ее.

– Кто это? – спросил майор, когда позабавившая его троица, которой он уступил дорогу, прошла мимо них по переулку.

Мэри взглянула на него не без лукавства.

– Это наш приходский священник, преподобный мистер Бинни (майора Доббина передернуло), и его сестра, мисс Бинни. Боже мой, как она пилила нас в воскресной школе! А другая леди – маленькая, косоглазая и с красивыми часами – это миссис Бинни, дочь мистера Гритса. Ее папенька был бакалейным торговцем и содержал в Кенсингтоне чайную под вывеской «Настоящий Золотой Чайник». Они поженились месяц тому назад и только что вернулись из Маргета. У нее состояние в пять тысяч фунтов; но они с мисс Бинни уже ссорятся, хотя мисс Бинни сама их сосватала.

Если майор и перед тем нервничал, то теперь он вздрогнул и так выразительно стукнул своей бамбуковой тростью о землю, что мисс Клеп вскрикнула «ой!» и расхохоталась. С минуту он стоял молча, с разинутым ртом, глядя вслед уходившей молодой чете, пока мисс Мэри рассказывала ему их историю; но он не слышал ничего, кроме упоминания о браке преподобного джентльмена, – голова у него кружилась от счастья. После этой встречи он зашагал вдвое быстрее, – и все же ему показалось, что они чересчур скоро (ибо он трепетал при мысли о свидании, о котором мечтал в течение десяти лет) миновали бромптонские переулки и вошли в узкие старые ворота в стене Кенсингтонского сада.

– Вон они, – сказала мисс Мэри и опять почувствовала, как Доббин вздрогнул, сжав ее руку.

Она сразу сообразила, в чем тут дело. Все ей стало так понятно, словно она прочла это в одном из любимых своих романов: «Сиротка Фанни» или «Шотландские вожди».

– Бегите вперед и скажите ей, – попросил майор.

И Мэри побежала так, что ее желтая шаль надулась на ветру, словно парус.

Старик Седли сидел на скамье, разложив на коленях носовой платок, и, по своему обыкновению, рассказывал какую-то старую историю о давно прошедших временах, которой Эмилия уже много, много раз внимала с терпеливой улыбкой. За последнее время она научилась думать о своих собственных делах и улыбалась или как-нибудь иначе показывала, что следит за болтовней отца, не слыша почти ни слова из того, что он ей рассказывал. Когда Мэри подбежала к ним, Эмилия, увидев ее, вскочила со скамьи. Первой ее мыслью было, что случилось что-нибудь с Джорджи, но вид оживленного и



счастливого лица девушки рассеял страх в робком материнском сердце.

– Новости! Новости! – закричала вестница майора Доббина. – Он приехал! Приехал!

– Кто приехал? – спросила Эмми, все еще думая о сыне.

– Вон, посмотрите, – ответила мисс Клеп, повернувшись и указывая пальцем. Взглянув в ту сторону, Эмилия увидела тощую фигуру Доббина и его длинную тень, ползущую по траве. Эмилия в свою очередь вздрогнула, залилась румянцем и, конечно, заплакала. Ведь *grandes eaux*<sup>[351]</sup> непременно играли всякий раз, как в жизни этого бесхитростного создания случались праздники.

Доббин смотрел на Эмилию – о, с какой любовью! – пока она бежала к нему, протягивая ему навстречу руки. Она не изменилась. Она была немного бледнее, чуть пополнела. Глаза у нее остались прежними: нежные, доверчивые глаза. В мягких каштановых волосах были каких-нибудь две-три серебряные нити. Она подала майору обе руки, сквозь слезы, с улыбкой глядя на его честное, такое знакомое лицо. Он взял обе ее ручки в свои и крепко держал их. С минуту он оставался безмолвным. Почему он не схватил ее в объятия и не поклялся, что не оставит ее никогда? Она, наверное, сдалась бы, она не могла бы противиться ему.

– Мне... мне нужно сообщить вам, что я приехал не один, – сказал он после короткого молчания.

– Миссис Доббин? – спросила Эмилия, отодвигаясь от него. Почему он ничего ей не говорит?

– Нет! – произнес он, выпуская ее руки. – Кто передал вам эти выдумки? Я хотел сказать, что на одном корабле со мной прибыл ваш брат Джоз. Он вернулся домой, чтобы всех вас сделать счастливыми.

– Папа, папа! – закричала Эмилия. – Какие новости! Брат в Англии! Он приехал, чтобы позаботиться о тебе. Здесь майор Доббин!

Мистер Седли вскочил на ноги, дрожа всем телом и стараясь собраться с мыслями. Затем он сделал шаг вперед и отвесил старомодный поклон майору, которого назвал мистером Доббином, выразив надежду, что его батюшка, сэр Уильям, в добром здоровье. Он все намеревается заехать к сэру Уильяму, который недавно оказал ему честь своим посещением. Сэр Уильям не навещал старого

джентльмена уже целых восемь лет, – на этот-то визит и собирался ответить старик.

– Он очень сдал, – шепнула Эмми, когда Доббин подошел к нему и сердечно пожал ему руку.

Хотя у майора в этот день были неотложные дела в Лондоне, он согласился отложить их, когда мистер Седли пригласил его зайти к ним и выпить у них чашку чаю. Эмилия взяла под руку свою юную приятельницу в желтой шали и пошла вперед, так что на долю Доббина достался мистер Седли. Старик шел очень медленно и все рассказывал о себе самом, о своей бедной Мэри, о прежнем их процветании и о своем банкротстве. Его мысли были в далеком прошлом, как это всегда бывает с дряхлеющими стариками. О настоящем – если не считать недавно постигшего его удара – он почти не думал. Майор охотно предоставил ему болтать. Взор его был устремлен на шедшую впереди фигуру – фигуру женщины, неизменно занимавшей его воображение, всегда поминавшейся в молитвах и витавшей перед ним в грезах во сне и наяву.

Эмилия весь этот вечер была очень весела и оживленна и выполняла свои обязанности хозяйки с изумительной грацией и благородством, как казалось Доббину. Он все время следил за ней взглядом. Сколько раз он мечтал об этой минуте, думая об Эмилиии вдали от нее, под знойными ветрами, во время утомительных переходов, представляя ее себе кроткой и счастливой, ласково исполняющей все желания стариков, украшающей их бедность своим безропотным подчинением, – такую, какую он видел ее сейчас. Я не хочу этим сказать, что у Доббина был особо возвышенный вкус или что люди большого ума обязаны довольствоваться простеньким счастьем, которое вполне удовлетворяло нашего невзыскательного старого друга, – во всяком случае, его желания, худо ли это или хорошо, не простирались дальше, и, когда Эмилия угощала его, он готов был пить чай без конца – как в свое время доктор Джонсон.

Подметив в Доббине такую склонность, Эмилия со смехом поощряла ее и поглядывала на майора с невыразимым лукавством, наливая ему чашку за чашкой. Правда, она не знала, что майор еще не обедал и что у Слотера для него накрыт стол и поставлен прибор в знак того, что этот стол занят, – тот самый стол, за которым майор не

раз бражничал с Джорджем, когда Эмилия была еще совсем девочкой и только что вышла из пансиона мисс Пинкертон.

Первое, что миссис Осборн показала майору, была миниатюра Джорджи, за которой она сбегала к себе наверх, как только они вернулись домой. Разумеется, на портрете мальчик совсем не такой красивый, как в жизни, но не благородно ли было с его стороны подумать о таком подарке для матери! Пока отец не заснул, Эмилия мало говорила о Джорджи. Слушать о мистере Осборне и Расселсквер было неприятно старику, по всей вероятности, не сознававшему, что последние несколько месяцев он существует только благодаря щедрости своего богатого соперника. Мистер Седли страшно раздражался, когда кто-нибудь хоть словом упоминал о его враге.

Доббин рассказал старику все и даже, может быть, немного больше о том, что произошло на борту «Ремчандера», преувеличивая благие намерения Джоза насчет отца и его желание лелеять отцовскую старость. Дело в том, что во время плавания майор горячо внушал своему спутнику мысль о родственном долге и вырвал у него обещание позаботиться о сестре и ее ребенке. Он развеял досаду Джоза, вызванную векселями, которые старый джентльмен выдал на него, смеясь, рассказал, что и сам попался, когда старик Седли прислал ему ту знаменитую партию скверного вина, и в конце концов привел Джоза, который был вовсе не злым человеком, когда ему говорили приятные вещи и умеренно льстили, в очень благодушное настроение по отношению к его родственникам.

К стыду своему, я должен сказать, что майор далеко зашел в искажении истины: он сообщил старику Седли, будто Джоза снова привело в Европу главным образом желание повидаться с родителями.

В обычный свой час мистер Седли задремал в кресле, и тогда пришел черед Эмилии вести разговор, что она и сделала с великой радостью. Беседа шла исключительно о Джорджи; Эмилия ни словом не обмолвилась о своих муках при расставании с сыном, ибо эта достойная женщина, хотя и сраженная почти насмерть разлукой с ребенком, продолжала считать, что очень дурно с ее стороны роптать на эту утрату. Но зато она высказала все, что касалось сына, его добродетелей, талантов и будущей карьеры. Она описала его ангельскую красоту, привела сотни примеров благородства и великодушия, проявленных Джорджи, когда он жил с нею; рассказала,

как герцогиня королевской крови, залюбовавшись мальчиком, остановила его в Кенсингтонском саду; как замечательно ему сейчас живется; какие у него грум и пони; как он сообразителен и умен и какая необычайно образованная и восхитительная личность его преподавание Лоренс Вил, наставник Джорджа.

– Он знает *все!* – заявила Эмилия. – Он устраивает изумительные вечера. Вы, такой образованный, такой начитанный, такой умный, – пожалуйста, не качайте головой и не отрицайте: *он* всегда так о вас отзывался, – вы будете просто очарованы, когда побываете на вечерах у мистера Вила. Последний вторник каждого месяца. Он говорит, что нет такой должности в суде или в сенате, на которую не мог бы рассчитывать Джорджи. Да вот, например, – с этими словами она подошла к фортепьяно и вынула из ящика сочинение, написанное Джорджи. Этот гениальный труд, до сих пор хранящийся у матери Джорджа, был такого содержания:

*«О себялюбии. Из всех пороков, унижающих личность человека, себялюбие самый гнусный и презренный. Чрезмерная любовь к самому себе ведет к самым чудовищным преступлениям и служит причиной величайших бедствий как в государственной жизни, так и в семейной. Подобно тому как себялюбивый человек обрекает на нищету свое семейство и часто доводит его до разорения, так и себялюбивый король разоряет свой народ и часто вовлекает его в войну.*

*Примеры:* Себялюбие Ахилла, как отмечено у поэта Гомера, обрекло греков на тысячу бедствий:  $\mu\upsilon\rho\acute{\iota}\ \text{'}\text{Αχαιοῖς}\ \acute{\alpha}\lambda\upsilon\epsilon'\ \acute{\epsilon}\theta\eta\kappa\epsilon$ <sup>[352]</sup> (Гом. Ил. I, 2). Себялюбие покойного Наполеона Бонапарта послужило причиной бесчисленных войн в Европе и привело его самого к гибели на жалком острове – на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

Мы видим на этих примерах, что нам следует считаться не с одними собственными своими интересами и честолюбием, а принимать во внимание также интересы других людей.

*Джордж Осборн.*

*Школа «Афины»,*

*24 апреля 1827 года».*

– Подумайте только, что за почерк! И в таком раннем возрасте уже цитирует греческих поэтов! – сказала восхищенная мать. – О Уильям, – добавила она, протягивая руку майору, – каким сокровищем наградило меня небо в лице этого мальчика! Он утешение моей жизни, и он так похож на... на того, кто ушел от нас!

«Неужели я должен сердиться на нее за то, что она верна ему? – подумал Уильям. – Неужели я должен ревновать к моему погибшему другу или огорчаться, что такое сердце, как у Эмилии, может любить только однажды и на всю жизнь? О Джордж, Джордж, как плохо ты знал цену тому, чем ты обладал!»

Эти мысли пронеслись в голове Уильяма, пока он держал за руку Эмилию, закрывшую глаза платком.

– Дорогой друг, – произнесла она, пожимая ему руку. – Каким добрым, каким ласковым были вы всегда ко мне! Погодите, кажется, папа проснулся... Вы съездите завтра к Джорджи, повидаться с ним?

– Завтра не могу, – сказал бедняга Доббин. – У меня есть дела.

Ему не хотелось признаться, что он еще не побывал у родителей и у своей дорогой сестрицы Энн, – упущение, за которое, как я уверен, каждый добропорядочный человек побранит майора. И вскоре он откланялся, оставив свой адрес для передачи Джозу, когда тот придет. Итак, первый день был прожит, и Доббин повидался с нею.

Когда он вернулся к Слотеру, жареная курица, разумеется, давно остыла, – такой и съел ее Доббин на ужин. Зная, что дома у них все ложатся рано, и не считая нужным нарушать покой родителей в столь поздний час, майор Доббин отправился в Хэймаркетский театр, куда явился с опозданием и где, как мы надеемся, приятно провел время.

## Глава LIX

### Старое фортепьяно

Визит майора поверг старого Джона Седли в сильнейшее волнение. В тот вечер дочери не удалось усадить старика за обычные занятия. Он все рылся в своих ящиках и коробках, развязывая дрожащими руками пачки бумаг, сортируя и раскладывая их к приезду Джоза. Они хранились у него в величайшем порядке: перевязанные и подшитые счета, переписка с поверенными и агентами, бумаги, относящиеся к Винному проекту (который не удался из-за какой-то необъяснимой случайности, хотя поначалу сулил блестящие перспективы); к Угольному проекту (только недостаток капиталов помешал ему стать одним из самых удачных предприятий, когда-либо предлагавшихся публике); к проекту Патентованной лесопилки с использованием древесных опилок и так далее, и так далее. Весь долгий вечер он провел в подготовке этих документов, бродя неверными шагами из одной комнаты в другую с оплывающей свечой в дрожащей руке.

– Вот винные бумаги, вот древесные опилки, вот угольные дела; вот мои письма в Калькутту и Мадрас и ответы на них майора Доббина, кавалера ордена Бани, и мистера Джозефа Седли. У меня, Эмми, он не найдет никакого беспорядка! – говорил старик.

Эмми улыбнулась.

– Я не думаю, чтобы Джозу захотелось рассматривать эти бумаги, папа, – сказала она.

– Ты, моя милая, ничего не понимаешь в делах! – отвечал ее родитель, с важным видом покачивая головой. Надо сознаться, что в этом отношении Эмми и вправду была полнейшей невеждой; и очень жаль, что зато некоторые другие люди бывают слишком хорошо осведомлены.

Разложив все свои никчемные бумажки на столе, старик Седли аккуратно покрыл их чистым пестрым платком (одним из подарков майора Доббина) и строго наказал горничной и хозяйке не трогать этих бумаг, приготовленных к утру, к приезду мистера Джозефа Седли.

– ...Мистера Джозефа Седли – чиновника бенгальской службы досточтимой Ост-Индской компании!

На следующий день Эмилия застала отца на ногах с самого раннего утра, – он был еще слабее и еще больше возбужден, чем накануне.

– Я плохо спал, дорогая моя Эмми! – сказал он. – Все думал о бедной моей Мэри. Ах, если бы она была жива, могла бы опять покататься в экипаже Джоза! У нее был свой собственный, и она была в нем очень хороша!

И слезы выступили у него на глазах и заструились по морщинистому старческому лицу. Эмилия отерла их, с улыбкой поцеловала отца, завязала ему шейный платок нарядным бантом и вколола красивую булавку в жабо его лучшей рубашки. В этой рубашке и праздничной траурной паре старик и сидел с шести часов утра в ожидании приезда сына<sup>[353]</sup>.

На главной улице Саутгемптона есть несколько великолепных портновских мастерских, где в прекрасных зеркальных витринах висят всевозможные роскошные жилеты – шелковые и бархатные, золотые и пунцовые, и выставлены модные картинки, на которых изумительные джентльмены с моноклями ведут за руку кудрявых маленьких мальчиков с непомерно большими глазами и подмигивают дамам в амазонках, скачущим на конях мимо статуи Ахиллеса у Эпсли-Хауса. Хотя Джоз и запасся несколькими роскошными жилетами – лучшими, какие можно было найти в Калькутте, – однако он решил, что для столицы этого мало, и потому выбрал себе еще два: малиновый атласный, вышитый золотыми бабочками, и черно-красный из бархатного тартана с белыми полосками и отложным воротником. Прибавив к ним еще и пышный атласный синий галстук с золотой булавкой, изображавшей барьер с пятью перекладинами, через который прыгал всадник из розовой эмали, Джоз счел, что теперь он может совершить свой въезд в Лондон с известным достоинством. Прежняя застенчивость Джоза, заставлявшая его вечно краснеть и заикаться, уступила место более откровенному и смелому утверждению своей значительности.

– Скажу без обиняков, – говаривал герой Ватерлоо своим друзьям, – люблю хорошо одеваться.

И хотя он чувствовал себя неловко, когда дамы рассматривали его на балах в губернаторском доме, и краснел и смущенно отворачивался под их взорами, однако он избегал женщин, главным образом, из боязни, как бы они не стали объясняться ему в любви, – ибо он питал отвращение к браку. Но я слышал, что во всей Калькутте не встречалось другого такого франта, как Седли Ватерлооский: у него был самый красивый выезд, он устраивал самые лучшие холостые обеды и обладал самым роскошным серебром во всем городе.

Чтобы сшить жилеты для человека такого роста и сложения, понадобится целый день, и часть этого времени Джоз употребил на наем слуги для обслуживания как себя, так и своего туземца и на отдачу распоряжений агенту, получавшему в таможене его багаж: сундуки, книги, которых Джоз не читал, ящики с манго, индийскими пикулями и порошками карри, шали, предназначенные для подарка дамам, с которыми он еще не был знаком, и весь прочий его *persicos apparatus*<sup>[354]</sup>.

Наконец на третий день он двинулся не спеша в Лондон – в новом жилете. Дрожащий туземец, стуча зубами, кутался в платок, сидя на козлах рядом с новым слугой-европейцем; Джоз попыхивал трубкой в карете и выглядел столь величественно, что мальчишки кричали ему «ура», и многие считали, что он, должно быть, генерал-губернатор. Могу заверить вас: проезжая чистенькие провинциальные городки, он-то не отклонял угодливых приглашений содержателей гостиниц выйти из экипажа и подкрепиться. Обильно позавтракав в Саутгемптоне рыбой, рисом и крутыми яйцами, он к Винчестеру так отдохнул, что стал подумывать о стакане доброго хереса. В Олтоне он, по совету слуги, вылез из экипажа и влил в себя некоторое количество эля, которым славится это место. В Фарнеме он остановился, чтобы посмотреть на епископский замок и скушать легкий обед, состоявший из тушеных угрей, телячьих котлет с фасолью и бутылки красного вина. Он промерз, проезжая Богшотским нагорьем, где его туземец дрожал больше прежнего, а потому Джоз-саиб выпил несколько плотков коньяка. В результате при въезде в Лондон Джоз был так же наполнен вином, пивом, мясом, пикулями, вишнежкой и табаком, как каюта буфетчика на пароходе. Был уже вечер, когда его карета с грохотом подкатила к скромной двери в Бромптоне, куда этот отзывчивый человек направился прежде всего,



даже не заехав в номер, который мистер Доббин снял для него у Слотера.

Во всех окнах на улице показались лица; маленькая служанка побежала к калитке. Мать и дочь Клеп выглянули из оконца парадной кухни; Эмми в волнении металась в коридоре среди шляп и плащей, а старик Седли сидел в гостиной, дрожа всем телом. Джоз вышел из кареты, величественно спустившись по скрипучим ступеням откинутой подножки, поддерживаемый под руки новым лакеем из Саутгемптона и дрожащим туземцем, коричневое лицо которого посинело от холода, приняв цвет индюшьего зоба. Он произвел сенсацию в передней, куда явились миссис и мисс Клеп, – вероятно, для того, чтобы послушать у дверей гостиной, – и где они нашли Лола Джеваба, трясущегося от холода под грудой верхнего платья, – он странно и жалобно стонал, показывая свои желтые белки и белые зубы.

Как видите, мы ловко закрыли дверь за Джозом, его стариком отцом и бедной кроткой сестричкой и утаили от вас их встречу. Старик был сильно взволнован; так же, конечно, волновалась и его дочь, да и у Джоза сердце было не каменное. За долгое десятилетнее отсутствие самый себялюбивый человек задумается о доме и родственных узах. Расстояние освящает и то и другое. От многолетних размышлений утраченные радости кажутся слаще. Джоз был непритворно рад увидеть отца и пожать ему руку, – хотя в прошлом отношения между ними не отличались теплотой, – рад был и свиданию с сестрой, которую помнил такой хорошенькой и веселой, и посетовал на перемену, произведенную временем, горем и несчастьями в сломленной жизнью старике. Эмми, в черном платье, встретила его у дверей и шепнула ему о смерти их матери, предупреждая, чтобы он не упоминал об этом в разговоре с отцом. Это было ненужное предупреждение, потому что старший Седли сам сейчас же заговорил о печальном событии, без умолку твердил о нем и горько плакал. Это сильно потрясло нашего индийца и заставило его меньше обычного думать о себе.

Результаты свидания, вероятно, были очень отрадны, потому что, когда Джоз вновь уселся в карету и направился к себе в гостиницу, Эмми нежно обняла отца и с торжеством спросила: не говорила ли она всегда, что у брата доброе сердце?

И действительно, Джозеф Седли, тронутый жалким положением, в котором он застал родных, и расчувствовавшись под впечатлением первой встречи, заявил, что они никогда больше не будут терпеть нужды, что он, Джоз, во всяком случае, проведет некоторое время в Англии, в течение которого его дом и все, что у него есть, к их услугам, и что Эмилия будет очень мила в качестве хозяйки за его столом... пока не устроит себе собственного дома.

Эмилия печально покачала головой и, по обыкновению, залилась слезами. Она поняла, что хотел сказать брат. Со своей юной наперсницей, мисс Мэри, они вдоволь наговорились на эту тему в тот самый вечер, когда их посетил майор. Пылкая Мэри не вытерпела и тогда же рассказала о сделанном ею открытии и описала удивление и радостный трепет, которыми майор Доббин выдал себя, когда мимо прошел мистер Бинни с женою и майор узнал, что ему не приходится больше опасаться соперника.

– Разве вы не заметили, как он весь вздрогнул, когда вы спросили, не женился ли он, и при этом сказал: «Кто передал вам эти выдумки?» Ах, сударыня, – говорила Мэри, – ведь он с вас ни на минуту глаз не спускал, он, наверно, и поседел-то потому, что все о вас думал!

Но Эмилия, взглянув на стену, где над кроватью висели портреты ее мужа и сына, попросила свою юную protégée никогда, никогда больше не упоминать об этом. Майор Доббин был самым близким другом ее мужа. Как добрый, преданный опекун, он заботится о ней самой и о Джорджи. Она любит его, как брата, но женщина, бывшая замужем за таким ангелом, – она указала на стену, – не может и помышлять ни о каком другом союзе. Бедняжка Мэри вздохнула: что ей делать, если молодой мистер Томкинс из соседней больницы, – он всегда так смотрит на нее в церкви, и ее робкое сердечко, повергнутое в смущение одними этими взглядами, уже готово сдаться, – что ей делать, если он умрет? Ведь он чахоточный, это все знают: щеки у него такие румяные, а сам худой как щепка...

Нельзя сказать, чтобы Эмилия, осведомленная о страсти честного майора, оказала ему хоть сколько-нибудь холодный прием или была им недовольна. Подобная привязанность со стороны такого верного и порядочного джентльмена не может рассердить женщину. Дездемона не сердилась на Кассио, хотя весьма сомнительно, чтобы она не

замечала нежного расположения лейтенанта (что касается меня, то я уверен, что в этой грустной истории были кое-какие подробности, о которых не подозревал достойный мавр). Даже Миранда была очень ласкова с Калибаном<sup>[355]</sup>, и, наверное, по тем же самым причинам. Правда, она ничуть его не поощряла – бедного неуклюжего уроды, – конечно, нет! Точно так же не хотела поощрять своего поклонника-майора и Эмми. Она готова оказывать ему дружеское уважение, какого заслуживают его высокие качества и верность; она готова держаться с ним приветливо и просто, пока он не попробует с ней объясниться. А тогда еще будет время поговорить с ним и положить конец несбыточным надеждам.

Поэтому она отлично проспала ту ночь после беседы с мисс Мэри и наутро чувствовала себя веселее, чем обычно, несмотря на то, что Джоз запаздывал. «Я рада, что он не собирается жениться на этой мисс О’Дауд, – думала она. – У полковника О’Дауда не может быть сестры, достойной такого прекрасного человека, как майор Уильям».

Кто же среди небольшого круга ее знакомых годится ему в жены? Мисс Бинни? Нет, она слишком стара, и у нее скверный характер. Мисс Осборн? Тоже стара. Маленькая Мэри чересчур молода... Миссис Осборн так и уснула, не подыскав для майора подходящей жены.

Однако в положенное время явился почтальон и рассеял все сомнения: он принес Эмилии письмо, в котором Джоз извещал ее, что чувствует себя немного усталым после путешествия и потому не в состоянии выехать в тот же день, но на следующий день выедет из Саутгемптона рано утром и к вечеру будет у отца с матерью. Эмилия, читавшая это письмо отцу, запнулась на последнем слове. Брат, очевидно, не знал о событии, происшедшем у них в семье. Да и не мог знать. Дело в том, что, хотя майор справедливо подозревал, что его спутник не двинется с места за такой короткий срок, как двадцать четыре часа, а найдет какой-нибудь предлог для задержки, он все же не написал Джозу и не известил его о несчастье, постигшем семейство Седли: он заговорился с Эмилией и пропустил час отправления почты.

В то же утро и майор Доббин в гостинице Слотера получил письмо от своего друга из Саутгемптона: Джоз просил дорогого Доба извинить его за то, что он так рассердился накануне, когда его

разбудили (у него отчаянно болела голова, и он только что уснул), и поручал Добу заказать удобные комнаты у Слотера для мистера Седли и его слуг. За время путешествия майор стал Джозу необходим. Он привязался к нему и не отставал от него. Все другие пассажиры уехали в Лондон. Юный Рахитс и маленький Чэфферс отбыли с почтовой каретой в тот же день, причем Рахитс сел на козлы и отобрал у кучера вожжи; доктор отправился к своему семейству в Портси; Брэг поехал в Лондон к своим компаньонам, а первый помощник занялся разгрузкой «Ремчандера». Мистер Джоз почувствовал себя очень одиноким в Саутгемптоне и пригласил хозяина гостиницы «Джордж» разделить с ним стакан вина. В этот же самый час майор Доббин обедал у своего отца, сэра Уильяма, и сестра успела выведать у него (майор совершенно не умел лгать), что он уже побывал у миссис Джордж Осборн.

Джоз с таким комфортом устроился на Сент-Мартинс-лейн, так спокойно наслаждался там своим кальяном и, когда приходила охота, так беззаботно отправлялся оттуда в театр, что он, вероятно, и совсем остался бы у Слотера, если бы возле него не было его друга майора. Этот джентльмен ни за что не хотел оставить бенгальца в покое, пока тот не выполнит своего обещания создать домашний очаг для Эмилии и отца. Джоз был человек покладистый, а Доббин умел проявлять чудеса энергии в чьих угодно интересах, кроме своих собственных. Поэтому наш чиновник без труда поддался на нехитрые уловки этого добряка и дипломата и был готов сделать, купить, нанять или бросить все, что его приятель сочтет нужным. Лол Джеваб, над которым мальчишки с Сент-Мартинс-лейн жестоко потешались, когда его черная физиономия показывалась на улице, был отправлен обратно в Калькутту на корабле «Леди Киклбери», совладельцем которого был сэр Уильям Доббин. Перед отъездом он обучил европейского слугу Джоза искусству приготовления карри, пилавов и кальяна. Джоз с большим интересом наблюдал за сооружением изящного экипажа, который они с майором заказали тут же поблизости, на улице Лонг-Экр. Была нанята и пара красивых лошадей, на которых Джоз катался по Парку во всем параде или навещал своих индийских приятелей. Во время таких прогулок рядом с ним нередко сидела Эмилия, а на скамеечке экипажа можно было увидеть и майора Доббина. Иногда коляской пользовался старый Седли с дочерью; и мисс Клеп,

частенько сопровождавшая свою приятельницу, испытывала огромное удовольствие, если ее, восседающую в экипаже и облаченную в знаменитую желтую шаль, узнавал юный джентльмен из больницы, лицо которого обычно виднелось за оконными шторами, когда девица проезжала мимо.

Вскоре после первого появления Джоза в Бромптоне грустная сцена произошла в том скромном домике, где Седли провели последние десять лет своей жизни. Однажды туда прибыл экипаж Джоза (временный, а не та коляска, которая еще сооружалась) и увез старого Седли с дочерью, – увез навсегда. Слезы, пролитые при этом событии хозяйкой дома и хозяйской дочерью, были, вероятно, самыми искренними из всех, что лились на протяжении нашей повести. За все время их долгого знакомства обе хозяйки не слышали от Эмилии ни единого грубого слова. Она была олицетворением ласковости и доброты, всегда благодарная, всегда милая, даже когда миссис Клеп выходила из себя и настойчиво требовала платы за квартиру. Теперь, когда миссис Осборн готовилась уехать навсегда, хозяйка горько упрекала себя за каждое резкое слово. А как она плакала, наклеивая облатками на окно объявление, извещавшее о сдаче внаем комнаток, которые так долго были заняты! Никогда уже у них не будет таких жильцов! Это скорбное пророчество сбылось, и миссис Клеп мстила за падение нравов, взимая со своих locataires<sup>[356]</sup> свирепые контрибуции за подачу чая и баранины. Большинство жильцов бранилось и ворчалось, некоторые из них не платили за квартиру; никто не заживался долго. Хозяйка имела все основания оплакивать старых друзей, которые покинули ее.

Что же касается мисс Мэри, то ее горе при отъезде Эмилии я просто не берусь описать. С самого детства она виделась с Эмилией ежедневно и так страстно привязалась к этой милой, хорошей женщине, что при виде поместительной коляски, которая должна была увезти Эмилию к роскоши и довольству, мисс Клеп лишилась чувств в объятиях своего друга, а сама Эмилия разволновалась едва ли не меньше этой славной девочки. Она любила ее, как родную дочь. На протяжении одиннадцати лет девочка была ее неизменным другом. Разлука с ней очень огорчала Эмилию. Но, конечно, было решено, что Мэри будет часто гостить в большом новом доме, куда уезжала миссис Осборн и где, по уверению Мэри, она никогда не будет так счастлива,

как была в их смиренной хижине, – так мисс Клеп называла родительский дом на языке своих любимых романов.

Будем надеяться, что она ошибалась. Счастливых дней в этой смиренной хижине у бедной Эмми было очень мало. Суровая судьба угнетала ее там. Эмилии никогда уж не хотелось возвращаться в этот дом и видеть хозяйку, которая тиранила ее, когда бывала в дурном настроении или не получала денег за квартиру, а в хорошие дни держалась с грубой фамильярностью, едва ли менее противной. Теперь, когда счастье снова улыбнулось Эмми, угодливость и притворные комплименты прежней хозяйки тоже были ей не по душе. Миссис Клеп ахала от восторга в каждой комнате нового дома, превознося до небес каждый предмет обстановки, каждое украшение; она ощупывала платья миссис Осборн и высчитывала их стоимость, она клялась и божилась, что такой прелестной леди к лицу любая роскошь. Но в этой пошлой лицемерке, теперь угодничающей перед нею, Эмми по-прежнему видела грубую тиранку, которая много раз унижала ее и которую ей приходилось умолять повременить с квартирной платой, которая ругала ее за расточительность, если Эмилия покупала какие-нибудь лакомства для немощных отца с матерью, которая видела ее унижение и попирала ее ногами.

Никто никогда не слышал об этих огорчениях, выпавших на долю бедной маленькой женщины. Она держала их в тайне от своего отца, безрассудство которого было причиной многих ее бедствий. Ей приходилось выносить все попреки за его ошибки, и она была до того кротка и смиренна, словно сама природа предназначила ей роль жертвы.

Я надеюсь, что Эмилии не придется больше страдать от грубого обращения. А поскольку, как говорят, можно найти утешение в любом горе, я тут же упомяну, что бедная Мэри, которая после отъезда своего друга совсем расхворалась от слез, поступила на попечение того самого молодого человека из больницы и благодаря его заботам вскоре поправилась. Покидая Бромптон, Эмми подарила Мэри всю обстановку своей квартиры, увезя с собой только портреты (те два портрета, что висели у нее над кроватью) и фортепьяно – то самое маленькое фортепьяно, которое теперь достигло преклонного возраста и жалобно дребезжало, но которое Эмилия любила по причинам, известным ей одной. Она была ребенком, когда впервые играла на

нем, – ей подарили его родители. Оно вторично было подарено ей, как, наверное, помнит читатель, когда отцовский дом рассыпался в прах и инструмент был извлечен из обломков этого крушения.

Майор Доббин, наблюдавший за устройством дома для Джоза и старавшийся, чтобы новое помещение было красиво и удобно, страшно обрадовался, когда из Бромптона прибыл фургон с чемоданами и баулами переселенцев и в нем оказалось также и старое фортепьяно. Эмилия захотела поставить его наверху в своей гостиной, миленькой комнатке, примыкавшей к отцовской спальне, – старый Седли сидел в этой гостиной по вечерам.

Когда носильщики стали перетаскивать старый музыкальный ящик и Эмилия распорядилась поставить его в вышеупомянутую комнату, Доббин пришел в полный восторг.

– Я рад, что вы его сохранили, – сказал он прочувствованным голосом. – Я боялся, что вы к нему равнодушны.

– Я ценю его выше всего, что у меня есть на свете, – отвечала Эмилия.

– *Правда, Эмилия?* – воскликнул майор Доббин.

Дело в том, что так как он сам его купил, хотя никогда не говорил об этом, то ему и в голову не приходило, что Эмми может подумать о каком-либо ином покупателе. Доббин воображал, что Эмили известно, кто сделал ей этот подарок.

– *Правда, Эмилия?* – сказал он, и вопрос, самый важный из всех вопросов, уже готов был сорваться с его уст, когда Эмми ответила:

– Да может ли быть иначе? Разве это не его подарок!

– Я не знал, – промолвил бедный старый Доб, и лицо его омрачилось.

Эмми в то время не заметила этого обстоятельства; не обратила она внимания и на то, как опечалился честный Доббин. Но потом она призадумалась. И тут у нее внезапно явилась мысль, причинившая ей невыносимую боль и страдание. Это Уильям подарил ей фортепьяно, а не Джордж, как она воображала! Это не был подарок Джорджа, единственный, который она думала, что получила от своего жениха и который ценила превыше всего, – самая драгоценная ее реликвия и сокровище. Она рассказывала ему о Джордже, играла на нем самые любимые пьесы мужа, просиживала за ним вечерние часы, по мере своих скромных сил и умения извлекая из его клавиш меланхоличные

аккорды, и плакала над ним в тишине. И вот оказывается, что это не память о Джордже. Инструмент утратил для нее всякую цену. В первый же раз, когда старик Седли попросил дочь поиграть, она сказала, что фортепьяно отчаянно расстроено, что у нее болит голова, что вообще она не может играть.

Затем, по своему обыкновению, она стала упрекать себя за взбалмошность и неблагодарность и решила вознаградить честного Уильяма за ту обиду, которую она хотя и не высказала ему, но нанесла его фортепьяно. Несколько дней спустя, когда она сидела в гостиной, где Джоз с большим комфортом спал после обеда, Эмилия произнесла дрогнувшим голосом, обращаясь к майору Доббину:

– Мне нужно попросить у вас прощения за одну вещь.

– За что? – спросил тот.

– За это... за маленькое фортепьяно. Я не поблагодарила вас, когда вы мне его подарили... много, много лет тому назад, когда я еще не была замужем. Я думала, что мне его подарил кто-то другой. Спасибо, Уильям.

Она протянула ему руку, но сердце у бедняжки обливалось кровью, а что касается глаз, то они, конечно, принялись за обычную свою работу.

Но Уильям не мог больше выдержать.

– Эмилия, Эмилия! – воскликнул он. – Да, это я купил его для вас! Я любил вас тогда, как люблю и теперь. Я должен все сказать вам. Мне кажется, я полюбил вас с первого взгляда, с той минуты, когда Джордж привез меня к вам в дом, чтобы показать мне Эмилию, с которой он был помолвлен. Вы были еще девочкой, в белом платье, с густыми локонами; вы сбежали к нам вниз, напевая, – вы помните? – и мы поехали в Воксхолл. С тех пор я мечтал только об одной женщине в мире – и это были вы! Мне кажется, не было ни единого часа за все минувшие двенадцать лет, чтобы я не думал о вас. Я приезжал к вам перед отъездом в Индию, чтобы сказать об этом, но вы были так равнодушны, а у меня не хватило смелости заговорить. Вам было все равно, останусь я или уеду.

– Я была очень неблагодарной, – сказала Эмилия.

– Нет, только безразличной! – продолжал Доббин с отчаянием. – Во мне нет ничего, что могло бы вызвать у женщины интерес ко мне. Я знаю, что вы чувствуете сейчас. Вас страшно огорчило это открытие



насчет фортепьяно; вам больно, что оно было подарено мною, а не Джорджем. Я забыл об этом, иначе никогда бы не заговорил. Это я должен просить у вас прощения за то, что на мгновение, как глупец, вообразил, что годы постоянства и преданности могли склонить вас в мою пользу.

– Это вы сейчас жестоки! – горячо возразила Эмилия. – Джордж – мой супруг и здесь, и на небесах. Могу ли я любить кого-нибудь другого? Я по-прежнему принадлежу ему, как и в те дни, когда вы впервые увидели меня, дорогой Уильям. Это он рассказал мне, какой вы добрый и благородный, и научил меня любить вас, как брата. И разве вы не были всем для меня и для моего мальчика? Нашим самым дорогим, самым верным, самым добрым другом и защитником? Если бы вы вернулись в Англию на несколько месяцев раньше, вы, может быть, избавили бы меня от этой... от этой страшной разлуки. О, она едва не убила меня, Уильям! Но вы не приезжали, хотя я желала этого и молилась о вашем приезде, и мальчика тоже отняли у меня... А разве он не чудесный ребенок, Уильям? Будьте же по-прежнему его другом и моим...

Тут ее голос оборвался, и она спрятала лицо на плече у Доббина.

Майор обнял Эмилию, прижал ее к себе, как ребенка, и поцеловал в лоб.

– Я не изменюсь, дорогая Эмилия, – сказал он. – Я не прошу ни о чем, кроме вашей любви. Пусть все останется так, как было. Только позвольте мне быть около вас и видеть вас часто.

– Да, часто, – сказала Эмилия.

И вот Уильяму было предоставлено смотреть и томиться, – так бедный школьник, у которого нет денег, вздыхает, глядя на лоток пирожницы.

## Глава LX

### Возвращение в благородное общество

Фортуна начинает улыбаться Эмилии. Мы с удовольствием увлекаем ее из низших сфер, где она прозябала до сих пор, и вводим в круг людей избранных – правда, не столь аристократический и утонченный, как тот, в котором вращалась другая наша приятельница, миссис Бекки, но все же с немалыми претензиями на аристократизм и светскость. Друзья Джоза были все из трех президентств<sup>[357]</sup>, и его новый дом находился в благоустроенном англо-индийском районе, центром которого является Мойра-плейс. Минто-сквер<sup>[358]</sup>, Грейт-Клайв-стрит, Уоррен-стрит, Гастингс-стрит, Октерлони-плейс, Плеси-сквер, Ассей-террас (меткое слово «сады» в 1827 году еще не применялось к оштукатуренным домам с асфальтовыми террасами по фасаду) – кто не знает этих респектабельных пристанищ отставной индийской аристократии, этого района, который мистер Уэнхем называет «Черной ямой»<sup>[359]</sup>! Общественное положение Джоза было недостаточно высоко, чтобы дать ему право занять дом на Мойра-плейс, где могут жить только отставные члены совета Компании да владельцы индийских торговых фирм (которые банкротятся, после того как переведут на своих жен тысяч сто капитала, и удаляются на покой в скромное поместье с жалким доходом в четыре тысячи фунтов). Джоз нанял комфортабельный дом второго или третьего ранга на Гилспай-стрит, накупил ковров, дорогих зеркал и красивой мебели работы Седдонса у агентов мистера Скейпа, недавно вступившего компаньоном в крупный калькуттский торговый дом «Фогл, Фейк и Краксмен», в который бедный Скейп всадил семьдесят тысяч фунтов – все сбережения своей долгой и честной жизни – и где занял место Фейка, удалившегося на покой в роскошное имение в Сассексе (Фоглы давно уже вышли из фирмы, и сэр Хорес Фогл будет, кажется, возведен в пэры и получит звание барона Банданна), – вступившего, говорю я, в крупную фирму «Фогл и Фейк» за два года до того, как она лопнула с миллионным убытком, обрекши половину англо-индийской публики на нищету и разорение.

Честный, убитый горем Скейп, разорившись в шестьдесят пять лет, поехал в Калькутту ликвидировать дела фирмы. Уолтер Скейп был взят из Итона и отдан на службу в какой-то торговый дом. Флоренс Скейп, Фанни Скейп и их матушка украдкой отбыли в Булонь, и о них никто больше не слышал. Короче говоря, Джоз занял их дом, скупил их ковры и буфеты и любовался собою в зеркалах, в которых когда-то отражались хорошенькие женские личики. Поставщики Скейпов, с которыми те полностью рассчитались, оставили свои карточки и усердно предлагали снабжать товарами новое хозяйство. Рослые официанты в белых жилетах, прислуживавшие на званых обедах у Скейпов – по своей приватной профессии зеленщики, посыльные, молочники, – сообщали свои адреса и втирались в милость к дворецкому. Мистер Чамми, трубочист, чистивший в доме трубы при трех последних семействах жильцов, пытался умаслить дворецкого и его малолетнего помощника, на обязанности которого было, нарядившись в куртку со множеством пуговиц и в брюки с лампасами, сопровождать в качестве телохранителя миссис Эмилию, когда ей угодно было выйти погулять.

Лишней прислуги в доме не держали. Дворецкий был в то же время камердинером Джоза и напивался не больше всякого другого дворецкого в маленькой семье, питающего должное уважение к хозяйскому вину. При Эмми находилась горничная, возвращенная в загородном поместье сэра Уильяма Доббина, – хорошая девушка, доброта и кротость которой обезоружили миссис Осборн, сперва испугавшуюся мысли, что у нее будет своя служанка. Эмилия совершенно не знала, как ей пользоваться услугами горничной, и всегда обращалась к прислуге с самой почтительной вежливостью. Но эта горничная оказалась очень полезной в домашнем обиходе, – она искусно ухаживала за старым мистером Седли, который почти не выходил из своей комнаты и никогда не принимал участия в веселых собраниях, происходивших в доме.

Много народу приезжало повидать миссис Осборн. Леди Доббин с дочерьми были в восторге от перемены в ее судьбе и явились к ней с визитом. Мисс Осборн с Рассел-сквер приехала в своей великолепной коляске с пышным чехлом на козлах, украшенным гербами лидских Осборнов. Говорили, что Джоз необычайно богат, и старик Осборн не

видел препятствий к тому, чтобы Джорджи в добавление к его собственному состоянию унаследовал еще и состояние дяди.

– Черт возьми, мы сделаем человека из этого парнишки! – говаривал старик. – Я еще увижу его членом парламента. Я разрешаю вам навестить его мать, мисс Осборн, хотя сам я никогда не допущу ее к себе на глаза!

И мисс Осборн поехала. Можете быть уверены, что Эмми очень обрадовалась свиданию с ней и возможности быть ближе к Джорджу. Этому молодому человеку было разрешено навещать мать гораздо чаще. Раз или два в неделю он обедал на Гилспай-стрит и командовал там слугами и родственниками точно так же, как и на Рассел-сквер.

Впрочем, к майору Доббину Джорджи всегда относился почтительно и в его присутствии держал себя гораздо скромнее. Джорджи был умный мальчик и побаивался майора. Он не мог не восхищаться простотой своего друга, его ровным характером, его разнообразными познаниями, которыми Доббин без лишнего шума делился с мальчиком, его неизменной любовью к правде и справедливости. Джордж еще не встречал такого человека на своем жизненном пути, а настоящие джентльмены всегда ему нравились. Он страстно привязался к своему крестному, и для него было большой радостью гулять с Доббином по паркам и слушать его рассказы. Уильям рассказывал Джорджу об его отце, об Индии и Ватерлоо, обо всем решительно, – но только не о себе самом. Когда Джордж бывал сверх обыкновенного дерзок и заносчив, майор подшучивал над ним, причем миссис Осборн считала такие шутки очень жестокими. Однажды, когда они отправились вместе в театр и мальчик не пожелал занять место в партере, считая это вульгарным, майор взял для него место в ложе, оставил его там одного, а сам спустился в партер. Очень скоро он почувствовал, что кто-то берет его под руку, и затянута в лайковую перчатку ручка маленького франта стиснула Доббину локоть: Джорджи понял глупость своего поведения и спустился из высших сфер. Нежная улыбка озарила лицо старого Доббина и мелькнула в его взоре, когда он взглянул на маленького блудного сына. Доббин любил мальчика, как любил все, что принадлежало Эмилии. Она же была в полном восторге, услышав о таком прекрасном поступке Джорджа! Глаза ее глядели на Доббина ласковее обычного. Ему показалось, что она покраснела, взглянув на него.

Джорджи не уставал расхваливать майора своей матери.

– Я люблю его, мама, потому что он знает такую уйму всяких вещей; и он не похож на старого Вила, который всегда хвастается и употребляет такие длинные слова. Ведь правда? Мальчишки называют его в школе «Длиннохвостым». Это я выдумал прозвище! Здорово? Но Доб читает по-латыни, как по-английски, и по-французски тоже, и повсякому. А когда мы с ним гуляем, он рассказывает мне о папе и никогда ничего не говорит о себе. А я слышал у дедушки, как полковник Баклер говорил, что Доббин – один из храбрейших офицеров в армии и очень отличился. Дедушка был страшно удивлен и сказал: «*Этот* молодец? А я думал, что он и комара не обидит!» Но я-то знаю, что он обидит. Ведь верно, мама?

Эмми рассмеялась, подумав, что, по всей вероятности, на это-то майора хватит!

Если между Джорджем и майором существовала искренняя приязнь, то между мальчиком и его дядей, нужно сознаться, не было особенной любви. Джордж усвоил манеру раздувать щеки, засовывать пальцы в карманы жилета и говорить: «Разрази меня господь, не может быть!» – так похоже на старого Джоза, что просто невозможно было удержаться от хохота. Во время обеда слуги прыскали со смеху, когда мальчик, обращаясь с просьбой подать ему что-нибудь, чего не было на столе, делал эту гримасу и пускал в ход любимую фразу дяди. Даже Доббин раздражался хохотом, глядя на мальчика. Если маленький озорник не передразнивал дядю перед его же носом, то только потому, что его сдерживали строгие замечания Доббина и мольбы перепуганной Эмилии. А достойный чиновник, терзаемый смутным подозрением, что мальчуган считает его ослом и выставляет на посмешище, сильно робел в присутствии Джорджи и оттого, конечно, еще пуще важничал и пыжился. Когда становилось известно, что молодого джентльмена ожидают к обеду на Гилспай-стрит, мистер Джоз обычно вспоминал, что у него назначено свидание в клубе. Нужно думать, что никто особенно не огорчился его отсутствием. В такие дни мистера Седли уговаривали выйти из его убежища в верхнем этаже, и в столовой устраивалось небольшое семейное сборище, участником которого по большей части бывал и майор Доббин. Он был *ami de la maison*<sup>[360]</sup> – другом старика Седли, другом Эмми, другом Джорджи, советником и помощником Джоза.

– Мы так редко его видим, что для нас он все равно что в Мадрасе! – заметила как-то мисс Энн Доббин в Кемберуэле.

Ах, мисс Энн, неужели вам не приходило в голову, что майор не на вас мечтал жениться!

Джозеф Седли проводил жизнь в полной достоинства праздности, как и подобало особе его значения. Разумеется, первым его шагом было пройти в члены «Восточного клуба», где он просиживал целые утра в компании со своими индийскими собратями, где он обедал и откуда привозил гостей к себе обедать.

Эмилия должна была принимать и занимать этих джентльменов и их дам. От них она узнавала, скоро ли Смит будет советником; сколько сотен тысяч рупий увез с собою в Англию Джонс; как торговый дом Томсона в Лондоне отказался принять к оплате векселя, выданные на него бомбейской фирмой «Томсон, Кибобджи и К°», и как все считают, что калькуттское отделение фирмы также должно прогореть; как безрассудно – если не сказать более – миссис Браун (супруга Брауна, офицера иррегулярного Ахмеднагарского полка) вела себя с юным Суонки из лейб-гвардейского: просиживала с ним на палубе до поздней ночи и заблудилась вместе с этим офицером, когда они ездили кататься верхом во время стоянки на мысе Доброй Надежды; как миссис Хардимен вывезла в Индию своих тринадцать сестер, дочерей деревенского vicar, преподобного Феликса Рэбитса, и выдала замуж одиннадцать из них, причем семь сделали очень хорошую партию; как Хорнби рвет и мечет, потому что его жена пожелала остаться в Европе, а Троттер назначен коллектором в Амерапуре. Вот такие или подобные им разговоры происходили обычно на всех званых обедах. Все беседовали об одном и том же; у всех была одинаковая серебряная посуда, подавалось одинаковое седло барашка, вареные индейки и entrées. Политические вопросы обсуждались после десерта, когда дамы удалялись наверх и заводили там беседу о своих недомоганиях и о своих детях.

Mutato nomine<sup>[361]</sup> – везде одно и то же. Разве жены стряпчих не беседуют о делах судебного округа? Разве военные дамы не сплетничают о полковых делах? Разве жены священников не рассуждают о воскресных школах и о том, кто кого замещает? И разве самые знатные дамы не ведут бесед о небольшой клике, к которой они принадлежат? Почему бы и нашим индийским друзьям не вести своих

особых разговоров? Хотя я согласен, что это малоинтересно для людей непосвященных, которым иной раз приходится сидеть молча и слушать.

Вскоре Эмми обзавелась книжечкой для записи визитов и регулярно выезжала в карете, навещая леди Бладайер (жену генерал-майора сэра Роджера Бладайера, кавалера ордена Бани, службы бенгальской армии); леди Хафф, жену сэра Дж. Хаффа, бомбейского генерала; миссис Пайс, супругу директора Пайса, и т. д. Мы быстро привыкаем к жизненным переменам. Карету ежедневно подавали на Гилспай-стрит; мальчик с пуговицами вскакивал на козлы и соскакивал с них, разнося визитные карточки Эмми и Джоза. В определенные часы Эмми и карета появлялись у клуба, чтобы захватить Джоза и увезти его подышать воздухом; или же, усадив в экипаж старика Седли, Эмилия возила его покататься по Риджент-парку. Собственная горничная, коляска, книжка для записывания визитов и паж в пуговицах – все это вскоре стало для Эмилии так же привычно, как раньше – бедность и скука бромптонской жизни. Она приспособилась ко всему этому, как приспособлялась раньше к другому. Если бы судьба определила ей быть герцогиней, она исполнила бы и этот долг. Дамы, составлявшие общество Джоза, единогласно постановили, что Эмилия довольно приятная молодая особа, – ничего особенного в ней нет, но она мила и все такое!

Мужчинам, как и всегда, нравилась бесхитростная приветливость Эмилии и ее простые, но изящные манеры. Галантные индийские щеголи, проводившие в Англии отпуск, – невероятные щеголи, обвешанные цепочками, усачи, разъезжающие в бешено мчащихся кебах, завсегдатаи театров, обитатели вест-эндских отелей, – восторгались миссис Осборн, охотно отвешивали поклон ее карете в Парке и бывали рады чести нанести Эмилии утренний визит. Сам лейб-гвардеец Суонки, этот опасный молодой человек, величайший фронт во всей индийской армии, ныне пребывающий в отпуску, был однажды застигнут майором Доббином tête-à-tête с Эмилией, которой он с большим юмором и красноречием описывал охоту на кабанов. После этого он долго рассказывал об одном треклятом офицере, вечно торчащем в доме, – таком длинном, тощем, пожилым чудаке, при котором человеку просто невозможно поговорить.

Обладай майор хотя бы немного большим тщеславием, он, наверное, приревновал бы Эмилию к такому опасному молодому франту, как этот обворожительный бенгальский капитан. Но Доббин был слишком прост и благороден, чтобы хоть сколько-нибудь сомневаться в Эмилии. Он радовался, что молодые люди оказывают ей внимание, что все восхищаются ею. Ведь почти с самого ее замужества ее обижали и не умели ценить! Майор с удовольствием видел, как ласковое обращение выявляло все лучшее, что было в Эмилии, и как она расцвела с тех пор, как ей стало легче житься. Все, кто ценил Эмилию, отдавали должное здравому суждению майора, – если только о человеке, ослепленном любовью, вообще можно сказать, что он способен на здравые суждения!

После того как Джоз был представлен ко двору, куда он – можете в том не сомневаться – отправился как истый верноподданный (предварительно показавшись в полном придворном костюме в клубе, куда Доббин заехал за ним в потертом старом мундире), наш чиновник, всегда-то бывший заядлым роялистом и сторонником Георга IV, стал таким ревностным тори и таким столпом государства, что решил обязательно взять с собою и Эмилию на один из дворцовых приемов. Джоз пришел к убеждению, что его долг – поддерживать общественное благополучие и что монарх не будет счастлив, пока Джоз Седли и его семейство не соберутся вокруг него в Сент-Джеймском дворце.

Эмми смеялась:

– Не надеть ли мне фамильные брильянты, Джоз?

«Ах, если бы вы позволили мне купить вам брильянты, – подумал майор. – Лишь бы удалось найти такие, которые достойны вас!»



## **Глава LXI,** ***в которой гаснут два светильника***

Настал день, когда благопристойные развлечения, которым предавалось семейство мистера Джоза Седли, были прерваны событием, какие случаются в очень многих домах. Поднимаясь по лестнице вашего дома от гостиной к спальням, вы, должно быть, обращали внимание на небольшую арку в стене прямо перед вами, которая пропускает свет на лестницу, ведущую из второго этажа в третий (где обычно находятся детская и комнаты слуг), и вместе с тем имеет и другое полезное назначение, – о нем вам могут сообщить люди гробовщика. К этой арке они прислоняют гробы, и она же позволяет им повернуть, не потревожив холодных останков человека, мирно спящего в темном ковчеге.

Ах, эта арка второго этажа в лондонских домах, освещающая сверху и снизу лестничный пролет, господствующая над главным путем сообщения, которым пользуются обитатели дома! Этим путем тихонько пробирается еще до зари кухарка, направляясь в кухню чистить свои горшки и кастрюли; этим путем, оставив в прихожей сапоги, крадучись, поднимается юный хозяйский сын, возвращаясь на рассвете домой с веселого вечера в клубе; по этой лестнице спускается молоденькая мисс в кружевах и лентах, шурша кисейными юбками, сияющая и красивая, приготовившаяся к победам и танцам; по ней скатывается маленький мистер Томми, предпочитающий пользоваться в качестве средства передвижения перилами и презирающий опасность; по ней супруг нежно несет вниз на своих сильных руках улыбающуюся молодую мать, твердо ступая со ступеньки на ступеньку, в сопровождении сиделки из родильного покоя, в тот день, когда врач объявляет, что прелестная пациентка может спуститься в гостиную; вверх по ней пробирается к себе Джон, зевая над брызгающей сальной свечой, чтобы потом, еще до рассвета, собрать сапоги, ожидающие его в коридорах. По этой лестнице носят вверх и вниз грудных детей, водят стариков, по ней торжественно выступают гости, приглашенные на бал, священник идет на крестины, доктор – в комнату больного, а люди гробовщика – в верхний этаж.

Какое memento о жизни, смерти и суете всего земного такая лестница и арка на ней – если хорошенько вдуматься, сидя на площадке и поглядывая то вверх, то вниз! И ко мне и к вам, о мой друг в колпаке с бубенцами, поднимется в последний раз доктор! Сиделка, раздвинув полог, заглянет к вам, но вы уже не заметите этого, а потом она широко распахнет окна и проветрит спальню. Потом ваши родные опустят шторы по всему фасаду дома и перейдут жить в задние комнаты, а потом пошлют за стряпчим и другими людьми в черном и т. д. Ваша комедия, как и моя, будет сыграна, и нас увезут – о, как далеко! – от громких труб, и криков, и кривляния! Если мы дворяне, то на стену нашего бывшего жилища прибьют траурный герб с позолоченными херувимами и девизом, гласящим, что существует «покой на небесах». Ваш сын обставит дом заново или, быть может, сдаст его внаем, а сам переедет в какой-нибудь более модный квартал; ваше имя на будущий год появится в списке «скончавшихся членов» вашего клуба. Как бы горько вас ни оплакивали, все же вашей вдове захочется, чтобы ее траурное платье было сшито красиво; кухарка пошлет узнать или сама поднимется спросить насчет обеда; оставшиеся в живых скоро смогут без слез смотреть на ваш портрет над камином, а потом его уберут с почетного места, чтобы повесить там портрет царствующего сына.

Кого же из умерших оплакивают с наибольшей печалью? Мне кажется, тех, кто при жизни меньше всего любил своих близких. Смерть ребенка вызывает такой взрыв горя и такие отчаянные слезы, каких никому не внушит ваша кончина, брат мой читатель! Смерть малого дитяти, едва ли узнававшего вас как следует, способного забыть вас за одну неделю, поразит вас гораздо больше, чем потеря ближайшего друга или вашего старшего сына – такого же взрослого человека, как вы сами, и имевшего собственных детей. Мы строги и суровы с Иудой и Симеоном, – но наша любовь и жалость к младшему, к Вениамину<sup>[362]</sup>, не знает границ. Если же вы стары, мой читатель, – стары и богаты или стары и бедны, – то в один прекрасный день вы подумаете: «Все, кто меня окружает, очень добры ко мне, но они не будут горевать, когда я умру. Я очень богат, и они ждут от меня наследства»; или: «Я очень беден, и они устали содержать меня».

Едва истек срок траура после смерти миссис Седли и Джоз только-только успел сбросить с себя черные одежды и облечься в свои

любимые цветные жилеты, как для всех, окружавших мистера Седли, стало очевидным, что назревает еще одно событие и что старик вскоре отправится на поиски жены в ту страну мрака, куда она ушла раньше его.

– Состояние здоровья моего отца, – торжественно заявлял Джоз Седли в клубе, – не позволяет мне в этом году устраивать *большие* вечера. Но, может быть, вы, дружище Чатни, без особых церемоний придете ко мне как-нибудь в половине седьмого и отобедаете у меня с двумя-тремя приятелями из нашей старой компании? Я всегда буду рад вас видеть!

Итак, Джоз и его друзья в молчании обедали и пили свой кларет, а тем временем в часах жизни его старика отца пересыпались уже последние песчинки. Дворецкий бесшумно вносил в столовую вино; после обеда гости садились играть в карты; иногда в игре принимал участие и майор Доббин; бывали случаи, что вниз спускалась и миссис Осборн, когда ее больной, заботливо устроенный на ночь, забывался тем легким, тревожным сном, что слетает к постели стариков.

За время своей болезни старый Седли особенно привязался к дочери. Он принимал лекарства и пил бульон только из рук Эмилии. Заботы о старике сделались чуть ли не единственным занятием в ее жизни. Постель ее была поставлена у самой двери, выходящей в комнату старика, и Эмилия вскакивала при малейшем шуме или шорохе, доносившемся с ложа капризного больного. Хотя надо отдать ему справедливость: иногда он часами лежал без сна, молча и не шевелясь, не желая будить свою заботливую сиделку.

Он любил теперь свою дочь так, как, вероятно, не любил с самых ранних дней ее детства. И никогда эта кроткая женщина не была так хороша, как когда выполняла свой дочерний долг. «Она входит в комнату тихо, словно солнечный луч», – думал мистер Доббин, наблюдая за Эмилией; ласковая нежность светилась на ее лице, она двигалась бесшумно и грациозно. Кто не видел на лицах женщин нежного ангельского света любви и сострадания, когда они сидят у колыбели ребенка или хлопчут в комнате больного!

Так утихла тайная вражда, длившаяся несколько лет, и произошло молчаливое примирение. В эти последние часы своей жизни старик, растроганный любовью и добротой дочери, забыл все причиненные

ею огорчения, все проступки, которые они с женой обсуждали не одну долгую ночь: как Эмилия отказалась от всего ради своего мальчика; как она была невнимательна к престарелым и несчастным родителям и думала только о ребенке; как нелепо и глупо, как неприлично она горевала, когда у нее взяли Джорджи. Старый Седли забыл все эти обвинения, подводя свой последний итог, и воздал должное маленькой мученице, кроткой и безответной. Однажды ночью, тихонько войдя в комнату больного, Эмилия застала его бодрствующим, и немощный старик сделал дочери признание.

– Ох, Эмми! Я все думал, как мы были нехороши и несправедливы к тебе! – сказал он, протягивая ей холодную, слабую руку.

Эмилия опустилась на колени и стала молиться у постели отца, который тоже молился, не выпуская ее руки. Друг мой, когда настанет наш черед, дай нам бог, чтобы кто-то так же молился рядом с нами!

Быть может, в эту бессонную ночь перед мысленным взором старика проходила вся его жизнь: молодость с ее борьбой и надеждами, успех и богатство в зрелом возрасте, страшная катастрофа, постигшая его на склоне лет, и нынешнее его беспомощное положение. И никаких шансов отомстить судьбе, одолевшей его; нечего завещать – ни имени, ни денег... Даром прожитая, неудавшаяся жизнь, поражения, разочарования – и вот конец! Что, по-вашему, лучше, брат мой читатель: умереть преуспевающим и знаменитым или бедным и отчаявшимся? Все иметь и быть вынужденным отдать или исчезнуть из жизни, проиграв игру? Должно быть, странное это чувство, когда в один прекрасный день нам приходится сказать: «*Завтра* успех или неудача не будут значить ничего; взойдет солнце, и все люди пойдут, как обычно, работать или развлекаться, а я буду далеко от всех этих треволнений!»

И вот настало утро, когда солнце взошло и весь мир поднялся от сна и занялся своими делами и развлечениями, – весь мир, кроме старого Джона Седли, которому не надо было более бороться с судьбою, питать надежды, строить планы: ему оставалось лишь добраться до тихого, безвестного приюта на бромптонском кладбище, где уже покоилась его жена.

Майор Доббин, Джоз и Джорджи проводили его в карете, обтянутой черным сукном. Джоз специально для этого приехал из

«Звезды и Подвязки» в Ричмонде, куда он удалился после печального события. Ему не хотелось оставаться в доме вместе с... при таких обстоятельствах, вы понимаете? Но Эмми осталась и выполнила свой долг, как всегда. Смерть отца не явилась для нее особенно тяжелым ударом, и держалась она скорее серьезно, чем печально. Она молилась о том, чтобы ее кончина была такой же мирной и безболезненной, и с благоговением вспоминала слова, которые слышала от отца во время его болезни и которые свидетельствовали о его вере, покорности судьбе и надежде на будущую жизнь.

Да, в конце концов, такая смерть, пожалуй, лучше всякой другой. Предположим, вы богаты и обеспечены, и вот вы говорите в этот последний день: «Я очень богат; меня хорошо знают; я прожил свою жизнь в лучшем обществе и, благодарение богу, происхожу из самой почтенной семьи. Я с честью служил своему королю и отечеству. Я несколько лет подвизался в парламенте, где, смею сказать, к моим речам прислушивались и принимали их очень хорошо. Я никому не должен ни гроша; напротив, я дал займы старому школьному товарищу, Джеку Лазарю, пятьдесят фунтов, и мои душеприказчики не будут торопить его с уплатой. Я оставляю дочерям по десять тысяч фунтов – очень хорошее приданое; я завещал все серебро, обстановку и дом на Бейкер-стрит, вместе с законной долей наследства, в пожизненное владение жене, а мои земли, ценные бумаги и погреб с отборными винами в доме на Бейкер-стрит – сыну. Я оставляю двадцать фунтов ежегодного дохода своему камердинеру и ручаюсь, что после моей смерти никто не сыщет предлога, чтобы очернить мое имя!»

Или, предположим, ваш лебедь запоем совсем другую песню, и вы скажете: «Я бедный, горемычный, во всем отчаявшийся старик, всю мою жизнь мне не везло. Я не был наделен ни умом, ни богатством. Сознаюсь, что я совершил сотни всяких ошибок и промахов, что я не раз забывал о своих обязанностях. Я не могу уплатить свои долги. На смертном ложе я лежу беспомощный и униженный, и я молюсь о прощении мне моей слабости и с сокрушенным сердцем повергаю себя к стопам божественного милосердия».

Какую из этих двух речей вы бы выбрали для надгробного слова на ваших похоронах? Старик Седли произнес последнюю. И в таком

смиренном состоянии духа, держа за руку дочь, ушел из жизни, оставив позади всю мирскую суету и огорчения.

– Вот видишь, – говорил старик Осборн Джорджу, – как вознаграждаются заслуги, трудолюбие и разумное помещение денег! Взять хотя бы меня, – какой у меня счет в банке. Теперь возьми своего бедного дедушку Седли с его заложенными. А ведь двадцать лет тому назад он был куда богаче меня – на целых десять тысяч фунтов!

Кроме этих людей и семьи мистера Клепа, приехавшей из Бромптона выразить свои соболезнования, ни одна душа не поинтересовалась старым Джоном Седли и даже не вспомнила о существовании такого человека.

Когда старик Осборн (о чем уже сообщал нам Джорджи) впервые услышал от своего друга полковника Баклера, какой выдающийся офицер майор Доббин, он отнесся к этому с презрительным недоверием и наотрез отказался понять, как может такой субъект обладать умом и пользоваться хорошей репутацией. Но ему пришлось услышать отличные отзывы о майоре и от других своих знакомых. Сэр Уильям Доббин был весьма высокого мнения о своем сыне и рассказывал много историй, подтверждавших ученость майора, его храбрость и лестное мнение света о его достоинствах. Наконец имя майора появилось в списке приглашенных на званые вечера в самом высшем обществе, и это обстоятельство оказало прямо-таки волшебное действие на старого аристократа с Рассел-сквер.

Поскольку майор был опекуном Джорджи, а Эмили пришлось отдать мальчика деду, между обоими джентльменами состоялся ряд деловых свиданий, и во время одного из них старик Осборн, отличный делец, просматривая отчеты майора по делам опекаемого и его матери, сделал поразительное открытие, которое и огорчило его, и порадовало: часть средств, на которые существовала бедная вдова и ее ребенок, шла из собственного кармана Уильяма Доббина.

Когда Осборн потребовал от Доббина объяснений, тот, как человек, совершенно не умеющий лгать, покраснел, начал что-то плести и в конце концов признался.

– Брак Джорджа, – сказал он (при этих словах лицо его собеседника потемнело), – в значительной степени был делом моих рук. Я считал, что мой бедный друг зашел так далеко, что отступление

от взятых им на себя обязательств опозорит его и убьет миссис Осборн. И когда она оказалась без всяких средств, я просто не мог не поддержать ее в меру своих возможностей.

– Майор Доббин, – сказал мистер Осборн, глядя на него в упор и тоже заливаясь краской, – вы нанесли мне большое оскорбление, но позвольте сказать вам, сэр, что вы честный человек! Вот моя рука, сэр, хотя мне никогда не приходило в голову, что собственная моя кровь и плоть жила на ваши средства...

И они пожали друг другу руки, к великому смущению лицемера Доббина, чье великодушие оказалось разоблаченным.

Доббин сделал попытку смягчить старика и примирить его с памятью сына.

– Джордж был такой молодец, – сказал он, – что все мы любили его и готовы были сделать для него что угодно. Я, в те дни еще молодой человек, был польщен свыше всякой меры тем предпочтением, которое Джордж мне оказывал, и не променял бы его общества даже на самого главнокомандующего! Я никогда не видел никого, кто сравнился бы с ним в храбрости или в других качествах солдата. – И Доббин рассказал старику отцу все, что мог припомнить о доблести и подвигах его сына. – А как Джорджи похож на него! – добавил майор.

– Он так похож на него, что мне иной раз просто страшно становится, – признался дед.

Раза два майор приезжал к мистеру Осборну обедать (это было во время болезни мистера Седли), и, оставшись вдвоем после обеда, они беседовали о почившем герое. Отец, по обыкновению, хвастался сыном, самодовольно перечисляя его подвиги, но чувствовалось, что он смягчился, что его гнев против бедного молодого человека остыл, и доброе сердце майора радовалось такой перемене в суровом старике. На второй вечер старый Осборн уже называл Доббина Уильямом, как в те времена, когда Доббин и Джордж были мальчиками. И честный наш майор усмотрел в этом доброе предзнаменование.

На следующий день за завтраком, когда мисс Осборн с резкостью, свойственной ее возрасту и характеру, рискнула слегка пройтись насчет внешности и поведения майора, хозяин дома перебил ее:

– Ты сама с удовольствием подцепила бы его, голубушка! Но зелен виноград! Ха-ха-ха! Майор Уильям прекрасный человек!

– Вот это правда, дедушка, – сказал одобрительно Джорджи и, подойдя к старому джентльмену, забрал в горсть его длинные седые бакенбарды, ласково улыбнулся ему и поцеловал его. А вечером передал весь этот разговор своей матери, и та полностью согласилась с мальчиком.

– Конечно, он превосходный человек! – сказала она. – Твой дорогой отец всегда это говорил: Доббин – один из лучших и справедливейших людей.

Очень скоро после этой беседы Доббин забежал к ним, что, должно быть, и заставило Эмилию вспыхнуть. А юный повеса смутил мать еще больше, передав Доббину вторую часть их утреннего разговора.

– Знаете, Доб, – заявил он, – одна необычайно прелестная девушка хочет выйти за вас замуж. У нее куча денег, она носит накладку и ругает прислугу с утра до ночи!

– Кто же это? – спросил Доббин.

– Тетя Осборн! – ответил мальчик. – Так сказал дедушка. Ах, Доб, вот было бы здорово, если бы вы стали моим дядей!

В эту минуту дребезжащий голос старика Седли слабо окликнул из соседней комнаты Эмилию, и смех прекратился.

Что настроение старого Осборна изменилось, было совершенно ясно. Он иногда расспрашивал Джорджа о его дядюшке и смеялся, когда мальчик изображал, как Джоз говорит: «Разрази меня господь!» – и жадно плотает суп. Однажды старик сказал:

– Это непочтительно с вашей стороны, сэр, что вы, молокосос, передразниваете родственников. Мисс Осборн! Когда поедете сегодня кататься, завезите мою карточку мистеру Седли, слышите? С ним-то я никогда не ссорился.

Была послана ответная карточка, и Джоз с майором получили приглашение к обеду – самому роскошному и самому нелепому из всех, какие когда-либо устраивал даже мистер Осборн. Все семейное серебро было выставлено напоказ, присутствовало самое именитое общество. Мистер Седли вел к столу мисс Осборн, и та была к нему очень благосклонна; зато она почти не разговаривала с майором, который сидел по другую руку от мистера Осборна и сильно робел. Джоз с большой важностью заметил, что такого черепахового супа он



не ел за всю свою жизнь, и осведомился у мистера Осборна, где он покупает мадеру.

– Это из погреба Седли, – шепнул дворецкий хозяину.

– Я купил эту мадеру давно и заплатил за нее хорошую цену, – громко сказал мистер Осборн своему гостю. А потом шепотом сообщил соседу, сидевшему справа, как он приобрел вино «на распродаже у старика».

Старик Осборн неоднократно расспрашивал майора о... о миссис Джордж Осборн, – тема, на которую майор мог при желании говорить весьма красноречиво. Он рассказал мистеру Осборну о ее страданиях, о ее страстной привязанности к мужу, чью память она чтит до сей поры, о том, как заботливо она поддерживала родителей и как отдала сына, когда, по ее мнению, долг велел ей так поступить.

– Вы не знаете, что она выстрадала, сэр! – сказал честный Доббин с дрожью в голосе. – И я надеюсь и уверен, что вы примиритесь с нею. Пусть она отняла у вас сына, зато она отдала вам своего. И как бы горячо вы ни любили своего Джорджа, поверьте – она любила своего в десять раз больше!

– Честное слово, вы хороший человек, сэр! – вот все, что сказал мистер Осборн. Ему никогда не приходило в голову, что вдова могла страдать, расставаясь с сыном, или что его богатство могло причинить ей горе. Чувствовалось, что примирение должно произойти непременно, и притом в самом скором времени; и сердце Эмилии уже начало усиленно биться при мысли о страшном свидании с отцом Джорджа.

Однако этому свиданию так и не суждено было состояться: помешала затянувшаяся болезнь, а потом смерть старика Седли. Это событие и другие обстоятельства, должно быть, повлияли на мистера Осборна. Он очень сдал за последнее время, сильно постарел и весь ушел в свои мысли. Он посылал за своими поверенными и, вероятно, кое-что изменил в своем завещании. Врач, осмотревший старика, нашел, что он очень слаб и возбужден, и поговаривал о небольшом кровопускании и поездке на море, но старик Осборн отказался от того и другого.

Однажды, когда он должен был спуститься к завтраку, слуга, не найдя его в столовой, вошел к нему в туалетную комнату и увидел старика на полу у туалетного столика. С ним случился удар. Вызвали

мисс Осборн, послали за врачами, задержали Джорджи, уезжавшего в школу. Больному пустили кровь, поставили банки, и он пришел в сознание, но так уж и не мог больше говорить, хотя раз или два делал к тому мучительные попытки. Через четыре дня он умер. Доктора спустились по лестнице, люди гробовщика поднялись по ней; все ставни на стороне дома, обращенной к саду на Рассел-сквер, были закрыты. Буллок примчался из Сити.

– Сколько денег он оставил мальчишке? Не половину же? Наверное, поровну между всеми тремя?

Минута была тревожная.

Что же такое тщетно старался высказать бедный старик? Я надеюсь, что ему хотелось повидать Эмилию и, перед тем как покинуть этот мир, примириться с верной женой своего сына. Очень вероятно, что так оно и было, ибо его завещание показало, что ненависть, которую он так долго лелеял, исчезла из его сердца.

В кармане его халата нашли письмо с большой красной печатью, написанное ему Джорджем из Ватерлоо. Очевидно, старик пересматривал и другие свои бумаги, имевшие отношение к сыну, потому что ключ от ящика, где они хранились, оказался также у него в кармане. Печати были сломаны, а конверты вскрыты, по всей вероятности, накануне удара, – потому что, когда дворецкий подавал старику чай в его кабинет, он застал хозяина за чтением большой семейной Библии в красном переплете.

Когда вскрыли завещание, оказалось, что половина состояния отказана Джорджу, остальное поровну обеим сестрам. Мистеру Буллоку предоставлялось продолжать вести дела торгового дома – в общих интересах всех наследников – или же выйти из фирмы, если на то будет его желание. Ежегодный доход в пятьсот фунтов, взимаемый с части Джорджа, завещался его матери, «вдове моего возлюбленного сына Джорджа Осборна»; ей предлагалось снова вступить в исполнение опекунских обязанностей по отношению к своему сыну.

«Майор Уильям Доббин, друг моего возлюбленного сына», назначался душеприказчиком, «и так как он, по своей доброте и великодушию, поддерживал на свои личные средства моего внука и вдову моего сына, когда они оказались без всяких средств (так гласило дальше завещание), то я сим благодарю его сердечно за его любовь и приязнь к ним и прошу его принять от меня такую сумму, которая

будет достаточно для покупки чина подполковника, или же располагать этой суммой по своему усмотрению».

Когда Эмилия узнала, что свекор примирился с нею, сердце ее растаяло и исполнилось признательности за состояние, оставленное ей. Но когда она узнала, что Джорджи возвращен ей, и как это произошло, и благодаря кому, а также и о том, что великодушный Уильям поддерживал ее в бедности, что это Уильям дал ей и мужа, и сына, – о, тут она упала на колени и молила небо благословить это верное и доброе сердце! Она смиренно склонилась во прах перед такой прекрасной и великодушной любовью.

И за эту несравненную преданность и за все щедроты она могла заплатить только благодарностью – одной лишь благодарностью! Если у нее и мелькнула мысль о какой-то иной награде, образ Джорджа вставал из могилы и говорил: «Ты моя, только моя, и ныне и присно!»

Уильяму были известны ее чувства, – разве он не провел всю свою жизнь в том, чтобы их угадывать?

Назидательно отметить, как выросла миссис Осборн во мнении людей, составлявших круг ее знакомых, когда стало известно содержание духовной мистера Осборна. Слуги Джоза, позволявшие себе оспаривать ее скромные распоряжения и говорить, что «спросят у хозяина», теперь и не думали о подобной апелляции. Кухарка перестала насмехаться над ее поношенными старыми платьями (которые, конечно, никуда не годились по сравнению с изящными нарядами этой особы, когда она, разрядившись, шла в воскресенье вечером в церковь); лакей не ворчал больше, когда раздавался звонок Эмилии, и торопился на него откликнуться. Кучер, брюзжавший, что незачем тревожить лошадей и превращать карету в больницу ради этого старикашки и миссис Осборн, теперь гнал во весь дух и, боясь, как бы его не заменили кучером мистера Осборна, спрашивал: «Разве эти кучера с Рассел-сквер знают город и разве они достойны сидеть на козлах перед настоящей леди?» Друзья Джоза – как мужчины, так и женщины – вдруг стали интересоваться Эмилией, и карточки с выражениями соболезнования горами лежали на столе в ее прихожей. Сам Джоз, считавший сестру добродушной и безобидной нищей, которой он обязан был давать пропитание и кров, стал относиться с величайшим уважением к ней и к богатому мальчику,

своему племяннику, уверял, что «бедной девочке» нужны перемена и развлечения после ее тревог и испытаний, и начал выходить к завтраку и любезно спрашивать, как Эмилия располагает провести день.

В качестве опекуни Джорджи Эмилия, с согласия майора, своего соопекуна, предложила мисс Осборн оставаться в доме на Рассел-сквер, пока ей будет угодно там жить. Но эта леди, выразив свою признательность, заявила, что она и в мыслях не имела оставаться в этом мрачном особняке, и, облачившись в глубокий траур, переехала в Челтнем с двумя-тремя старыми слугами. Остальным было щедро заплачено, и их отпустили. Верный старый дворецкий, которого мисс Осборн предполагала оставить у себя, отказался от места и предпочел вложить свои сбережения в питейный дом (мы надеемся, что дела его пошли неплохо). Когда мисс Осборн отказалась жить на Рассел-сквер, миссис Осборн, посоветовавшись с друзьями, также не пожелала занять этот мрачный старый особняк. Дом был закрыт, – пышные портьеры, мрачные канделябры и унылые потускневшие зеркала уложены и спрятаны, богатая обстановка гостиной розового дерева укутана в солому, ковры скатаны и перевязаны веревками, маленькая избранная библиотека прекрасно переплетенных книг упакована в два ящика из-под вина, и все это имущество отвезено в нескольких огромных фургонах в Пантехникон<sup>[363]</sup>, где оно должно было оставаться до совершеннолетия Джорджи. А большие, тяжелые сундуки с серебряной посудой отправились к господам Стампи и Рауди и, до наступления того же срока, исчезли в подвальных кладовых этих знаменитых банкиров.

Однажды Эмми, вся в черном, взяв с собой Джорджи, отправилась навестить опустевший дом, в который не вступала со времени своего девичества. Улица перед домом, где грузились фургоны, была усеяна соломой. Эмилия с сыном вошла в огромные пустые залы с темными квадратами на стенах там, где раньше висели картины и зеркала. Они поднялись по широкой пустынной каменной лестнице в комнаты второго этажа, заглянули в ту, где умер дедушка, как шепотом сказал Джордж, а потом еще выше – в комнату самого Джорджа. Эмилия по-прежнему держала за руку сына, но думала она

и о ком-то другом. Она знала, что задолго до Джорджи в этой комнате жил его отец.

Эмилия подошла к одному из открытых окон (к одному из тех окон, на которые она, бывало, смотрела с болью в сердце, когда у нее отняли сына) и увидела из-за деревьев Рассел-сквер старый дом, где она сама родилась и где провела так много счастливых дней своей благословенной юности. Все воскресло в ее памяти: веселые праздники, ласковые лица, беззаботные, радостные, невозвратные времена; а за ними бесконечные муки и испытания, придавившие ее своей тяжестью. Эмилия задумалась о них и о том человеке, который был ее неизменным покровителем, ее добрым гением, ее единственным другом, нежным и великодушным.

– Смотри, мама, – сказал Джорджи, – на стекле нацарапаны алмазом буквы «Дж. О»; я их раньше не видел... и это не я писал!

– Это была комната твоего отца задолго до того, как ты родился, – сказала Эмилия и, покраснев, поцеловала мальчика.

Она была очень молчалива на обратном пути в Ричмонд, где они на время сняли дом, куда суетливые, улыбающиеся стряпчие являлись проводить миссис Осборн (свои визиты они, разумеется, ставили ей потом в счет!) и где, конечно, была комната и для майора Доббина, часто приезжавшего туда верхом, ибо у него было много дел в связи с опекой над маленьким Джорджем.

Джорджи разрешили некоторое время отдохнуть от ученья и взяли его из заведения мистера Вила, а этому джентльмену поручили составить надпись для красивой мраморной плиты, которую должны были поместить в церкви Воспитательного дома у подножия памятника Джорджу Осборну.

Миссис Буллок, тетка Джорджи, хотя и ограбленная этим маленьким чудовищем на половину суммы, которую она надеялась получить от отца, тем не менее доказала свою незлобивость, примирившись с матерью и сыном. Роухемптон недалеко от Ричмонда; и вот однажды к дому Эмилии в Ричмонде подъехала карета с золотыми быками на дверцах и с худосочными детьми на подушках. Семейство Буллок вторглось в сад, где Эмилия читала, Джоз сидел в беседке, безмятежно погружая землянику в вино, а майор в индийской куртке подставлял спину Джорджи, которому

пришло в голову поиграть в чехарду. Мальчик перекувырнулся и влетел прямо в стайку маленьких Буллоков с огромными бантами на шляпах и грандиозными черными кушаками, шествовавших впереди своей облаченной в траур мамы.

«Он очень подходит по возрасту для Розы», – подумала любящая мать и бросила взгляд на свою дочку – болезненную семилетнюю девицу.

– Роза, подойди и поцелуй своего двоюродного братца, – сказала миссис Фредерик. – Ты не узнаешь меня, Джордж? Я твоя тетя.

– Я знаю вас очень хорошо, – сказал Джордж, – но я не люблю целоваться! – И он уклонился от ласк послушной кузины.

– Проводи меня к своей мамочке, шалунишка, – сказала миссис Фредерик; и обе дамы встретились после многолетнего перерыва. Пока Эмми терзали заботы и бедность, миссис Буллок ни разу не подумала о том, чтобы навестить ее, но теперь, когда Эмилия заняла достаточно видное место в свете, ее золовка, разумеется, считала свой визит в порядке вещей.

Явились и многие другие. Наша старая приятельница мисс Суорц и ее супруг с шумом и треском прискакали из Хемптон-Корта со свитой лакеев, разодетых в пышные желтые ливреи, и мулатка по-прежнему изливалась Эмилии в своей пылкой любви. Нужно отдать справедливость мисс Суорц: она неизменно любила бы Эмми, если бы могла с нею видаться. Но *que voulez vous?* – в таком огромном городе людям некогда бегать и разыскивать своих друзей. Стоит им выйти из рядов, и они исчезают, а мы маршируем дальше без них. Разве чье-либо отсутствие замечается на Ярмарке Тщеславия?

Как бы там ни было, но еще до истечения срока траура по мистеру Осборну Эмми оказалась в центре светского круга, члены которого были твердо уверены, что каждый, кто допускается в их общество, должен почитать себя осчастливленным. Среди них едва ли нашлась бы хоть одна леди, не бывшая в родстве с каким-нибудь пэром, хотя бы супруг ее был простым москательщиком в Сити. Некоторые из этих леди были очень учены и осведомлены: они читали произведения миссис Сомервилль<sup>[364]</sup> и посещали Королевский институт<sup>[365]</sup>. Другие были суровыми особами евангелического толка и придерживались Эксетер-Холла<sup>[366]</sup>. Нужно сознаться, что Эмми чувствовала себя очень неловко, внимая их пересудам, и ужасно

измучилась, когда раз или два была вынуждена принять приглашение миссис Буллок. Эта леди упорно покровительствовала ей и весьма любезно решила заняться ее воспитанием. Она подыскивала для Эмилии портних, вмешивалась в ее распоряжения по хозяйству и следила за ее манерами. Она постоянно приезжала из Роухемптона и развлекала невестку бесцветной светской болтовней и жиденькими придворными сплетнями. Джоз любил послушать миссис Буллок, но майор в сердцах удалялся при появлении этой женщины с ее потугами на светскость. Доббин однажды уснул после обеда под самым носом у лысого Фредерика Буллока на одном из лучших его званых вечеров (Фред все домогался, чтобы осборновские капиталы перекочевали из банкирского дома Стампи и Рауди к его фирме); а тем временем Эмилия, не знавшая латинского языка, не слыхавшая, кто написал последнюю нашумевшую статью в «Эдинбургском обозрении», и нимало не обеспокоенная (словно это ее вовсе не касалось) неожиданным ходом мистера Пиля при обсуждении злополучного законопроекта об эмансипации католиков, – сидела, не раскрывая рта, среди дам в обширной гостиной, глядя в окно на бархатные лужайки, аккуратно посыпанные гравием дорожки и сверкающие крыши оранжерей.

– По-видимому, она добродушна, но простовата, – сказала миссис Рауди. – А этот майор, кажется, чрезвычайно ею epris<sup>[367]</sup>.

– Ей страшно не хватает бонтонности, – заметила миссис Холиок. – Вам, милочка, никогда не удастся воспитать ее!

– Она чудовищно невежественна или ко всему равнодушна, – сказала миссис Глаури замогильным голосом и мрачно покачала головой, украшенной тюрбаном. – Я спросила у нее, когда, по ее мнению, произойдет падение римского папы: в тысяча восемьсот тридцать шестом году, как считает мистер Джоулс, или в тысяча восемьсот тридцать девятом, как полагает мистер Уопшот. А она говорит: «Бедный папа! Надеюсь, что с ним ничего не случится... Что он сделал плохого?»

– Она вдова моего брата, – отвечала миссис Фредерик, – и мне кажется, дорогие мои друзья, что уже одно это обязывает нас оказывать ей всяческое внимание и руководить ее вступлением в высший свет. Вы, разумеется, понимаете, что у тех, чьи *разочарования* так хорошо известны, не может быть *корыстных* соображений!

– Бедняжка эта милая миссис Буллок, – сказала миссис Рауди, обращаясь к миссис Холиоку, с которой они уезжали вместе, – вечно она что-то замышляет и подстраивает! Ей хочется, чтобы счет миссис Осборн был переведен из нашего банка в ее. А ее старания подладиться к этому мальчику и держать его при своей подслеповатой Розочке положительно смешны!

– Хоть бы эта Глаури подавилась своим «Греховным человеком» и «Битвой Армагеддона»! – воскликнула ее собеседница; и карета покатила через Патнийский мост.

Но такое общество было чересчур изысканным для Эмми, и поэтому все запрыгали от радости, когда было решено предпринять заграничную поездку.



## Глава LXII

### Am Rhein

[368]

В одно прекрасное утро, через несколько недель после довольно обыденных событий, описанных выше, когда парламент закрылся, лето было в разгаре и все приличное лондонское общество собиралось покинуть столицу в поисках развлечений или здоровья, пароход «Батавец» отчалил от Тауэрской пристани, нагруженный изрядным количеством английских беглецов. На палубе были подняты тенты, скамьи и переходы заполнили десятки румяных детей, хлопотливые няньки, дамы в прелестнейших розовых шляпках и летних платьях, джентльмены в дорожных фуражках и полотняных жакетах (только что отпустившие себе усы для предстоящего путешествия) и дородные, подтянутые старые ветераны в накрахмаленных галстуках и отлично вычищенных шляпах – из тех, что наводняют Европу со времени заключения мира и привозят национальное Goddem<sup>[369]</sup> во все города континента. Над ними высились горы шляпных картонок, брамовских шкатулок<sup>[370]</sup> и несессеров. Были среди пассажиров жизнерадостные кембриджские студенты, отправлявшиеся с воспитателем заниматься науками в Нонненверт или Кенигсвинтер; были ирландские джентльмены с лихими бакенбардами, сверкавшие драгоценностями, болтавшие неустанно о лошадях и необычайно вежливые с молодыми дамами, которых кембриджские юнцы и их бледнолицый воспитатель, наоборот, избегали с чисто девической застенчивостью. Были старые фланеры с Пэл-Мэл, направлявшиеся в Эмс и Висбаден на лечение водами – чтобы смыть обеды минувшего сезона – и для легонькой рулетки и trente et quarante<sup>[371]</sup> – чтобы поддержать в себе приятное возбуждение. Был тут и старый Мафусаил, женившийся на молодой девушке, а при нем – капитан гвардии Папильон, державший ее зонтик и путеводители. Был и молодой Май, отбывавший в свадебное путешествие (его супруга была раньше миссис Зимни и училась в школе с бабушкой мистера Мая). Был тут сэр Джон и миледи с десятком ребят и

соответствующим количеством нянек; и знатнейшее из знатнейших семейство Бейракрс, сидевшее особняком у кожуха, глаза на всех и каждого, но ни с кем не вступая в разговоры. Их кареты, украшенные гербами, увенчанные грудями багажа, помещались на фордеке вместе с десятком таких же экипажей. Пробраться среди них было нелегко, и бедным обитателям носовых кают едва оставалось место для передвижения. В числе их было несколько еврейских джентльменов с Хаундсдич<sup>[372]</sup>, которые везли с собой собственную провизию и могли бы закупить половину веселой публики в большом салоне; несколько работяг с усами и папками, которые, не пробыв на пароходе и получаса, уже принялись за свои наброски; две-три французские *femmes de chambre*, которых укачало еще до того, как пароход миновал Гринвич; и два-три грума, которые слонялись по соседству со стойлами лошадей, находившихся на их попечении, или же, наклонившись через борт у парового колеса, беседовали о том, какие лошади годятся для Леджера<sup>[373]</sup> и сколько им самим предстоит выиграть или проиграть на Гудвудских скачках.

Все курьеры, обследовав корабль и разместив своих хозяев в каютах или на палубе, собрались в кучку и начали болтать и курить. Еврейские джентльмены, присоединившись к ним, разглядывали экипажи. Там была большая карета сэра Джона, вмещавшая тринадцать человек; экипаж милорда Мафусаила; коляска, бричка и фургон милорда Бейракрса, за которые он предоставлял платить кому угодно. Изумительно, как милорд вообще добывал наличные деньги для дорожных расходов! Еврейские джентльмены знали, как он их добывал. Им было известно, сколько у его милости денег в кармане, какой он заплатил за них процент и кто дал ему их. Наконец, был там очень чистенький, красивый дорожный экипаж, заинтересовавший курьеров.

– À qui cette voiture là?<sup>[374]</sup> – спросил один проводник-толмач, с большой сафьяновой сумкой через плечо и с серьгами в ушах, у другого, с серьгами в ушах и с большой сафьяновой сумкой.

– C'est à Kirsch, je pense – je l'ai vu toute à l'heure – qui prenait des sangviches dans la voiture<sup>[375]</sup>, – отвечал тот на чистейшем германо-французском языке.

В это время Кирш вынырнул из трюма, где он, уснащая свою речь ругательствами на всех языках мира, громко командовал

матросами, занятыми размещением пассажирского багажа. Подойдя к своим собратьям-толмачам, он осведомил их, что экипаж принадлежит сказочно богатому набобу из Калькутты и Ямайки, которого он нанялся сопровождать во время путешествия. И как раз в эту минуту какой-то юный джентльмен, которого попросили удалиться с мостика между кожухов, прыгнул на крышу кареты лорда Мафусаила, оттуда пробрался по другим экипажам на свой собственный, спустился с него и влез в окно внутрь кареты под возгласы одобрения взиравших на это курьеров.

– Nous allons avoir une belle traverse<sup>[376]</sup>, monsieur Джордж, – сказал курьер, ухмыляясь и приподняв свою фуражку с золотым галуном.

– К черту ваш французский язык! – сказал молодой джентльмен. – А где галеты?

На это Кирш ответил ему по-английски, или на такой имитации английского языка, с какой мог справиться, потому что, хотя monsieur Кирш обращался свободно со всеми языками, он не знал как следует ни одного и говорил на всех одинаково бегло и неправильно.

Властный молодой джентльмен, жадно поглощавший галеты (ему действительно уже пора было подкрепиться, так как он завтракал в Ричмонде, целых три часа тому назад), был нашим молодым другом Джорджем Осборном. Дядя Джоз и мать мальчика сидели на юте вместе с джентльменом, с которым они проводили большую часть времени, – все четверо отправлялись в летнее путешествие.

Джоз расположился на палубе под тентом, чуть-чуть наискосок от графа Бейракса и его семейства, которые всецело занимали внимание бенгальца. Оба благородных супруга выглядели несколько моложе, чем в достопамятном 1815 году, когда Джоз видел их в Брюсселе (разумеется, в Индии он всегда заявлял, что близко знаком с ними). Волосы леди Бейракс, в то время темные, теперь были прекрасного золотисто-каштанового цвета, а бакенбарды лорда Бейракса, прежде рыжие, теперь почернели и на свету отливали то красным, то зеленым. Но как ни изменилась эта благородная чета, все же она целиком занимала мысли Джоза. Присутствие лорда заморозило его, и он не мог смотреть ни на что другое.

– По-видимому, эти господа вас сильно интересуют, – сказал Доббин, глядя на Джоза с улыбкой. Эмилия тоже рассмеялась. Она

была в соломенной шляпке с черными лентами и в траурном платье, но веселая суэта, обычная во время путешествия, радовала и волновала ее, поэтому вид у нее был особенно счастливый.

– Какой чудесный день, – сказала Эмми и добавила, проявляя большую оригинальность: – Надеюсь, переезд будет спокойный.

Джоз махнул рукой, пренебрежительно покосившись на знатных особ, сидевших напротив.

– Доведись тебе побывать там, где *мы* плавали, – сказал он, – ты не стала бы беспокоиться насчет погоды!

Однако, хотя он и был старым морским волком, он все же отчаянно страдал от морской болезни и провел ночь в карете, где курьер отпаивал его грогом и всячески за ним ухаживал.

В положенное время эта веселая компания высадилась на роттердамской пристани, откуда другой пароход доставил их в Кельн. Здесь экипаж и все семейство были спущены на берег, и Джоз, к немалой своей радости, убедился, что о его прибытии кельнские газеты оповестили так: «Herr Graf Lord von Sedley nebst Begleitung aus London»<sup>[377]</sup>.

Джоз привез с собой придворный костюм; он же уговорил Доббина захватить в дорогу все свои военные регалии. Мистер Седли заявил о своем намерении представляться иностранным дворам, чтобы свидетельствовать свое почтение государям тех стран, которые он почитит своим посещением.

Где бы ни останавливалась наша компания, мистер Джоз при всяком удобном случае завозил свою визитную карточку и карточку майора «нашему посланнику». С большим трудом удалось его уговорить не надевать треуголку и панталоны с чулками в гости к английскому консулу в вольном городе Юденштадте, когда этот гостеприимный чиновник пригласил наших путешественников к себе на обед. Джоз вел путевой дневник и прилежно отмечал недостатки или достоинства гостиниц, в которых останавливался, и вин и блюд, которые вкушал.

Что касается Эмми, то она была очень счастлива и довольна. Доббин носил за нею складной стул и альбом для рисования и любовался рисунками простодушной маленькой художницы, как никто никогда не любовался ими раньше. Эмилия усаживалась на палубе и рисовала скалы и замки или садилась верхом на ослика и

поднималась к старинным разбойничьим башням в сопровождении своих двух адъютантов, Джорджи и Доббина. Она смеялась – смеялся и сам майор – над его забавной фигурой, когда он ехал верхом на осле, касаясь земли своими длинными ногами. Доббин служил переводчиком для всего общества – он хорошо изучил немецкий язык по военной литературе – и вместе с восхищенным Джорджем вспоминал во всех подробностях знаменитые кампании на Рейне и в Пфальце. За несколько недель Джордж, благодаря постоянным беседам на козлах экипажа с герром Киршем, сделал изумительные успехи в усвоении верхненемецкого диалекта и болтал со слугами в гостиницах и с форейторами так бойко, что приводил в восторг свою мать и потешал опекуна.

Мистер Джоз редко принимал участие в послеобеденных экскурсиях своих спутников. По большей части он после обеда спал или нежился в беседках очаровательных гостиничных садов. Ах, эти сады на Рейне! Тихий, залитый солнцем пейзаж, лиловатые горы, отраженные в величественной реке, – кто, повидав вас хоть раз, не сохранит благодарного воспоминания об этих картинах безмятежного покоя и красоты? Отложить перо и только подумать об этой прекрасной Рейнской земле – и то уже чувствуешь себя счастливым! Летним вечером стада спускаются с гор, мыча и позвякивая колокольчиками, и бредут к старому городу с его древними крепостными рвами, воротами, шпильями и густыми каштанами, от которых тянутся по траве длинные синие тени. Небо и река под ним пылают багрянцем и золотом. Уже выпянул месяц и бледно светит на закатном небе. Солнце садится за высокие горы, увенчанные замками; ночь наступает внезапно, река все больше темнеет; свет из окон старых укреплений, струясь, отражается в ней, и мирно мерцают огоньки в деревнях, что приютились у подножия холмов на том берегу.

Итак, Джоз любил хорошенько поспать, прикрыв лицо индийским платком, а потом прочитывал известия из Англии и всю, от слова до слова, замечательную газету «Галиньяни» (да починут на основателях и владельцах этого пиратского листка благословения всех англичан, когда-либо побывавших за границей!). Но бодрствовал Джоз или спал, его друзья легко без него обходились. Да, они были очень счастливы! Часто по вечерам они ходили в оперу – на те милые,

непритязательные оперные представления в немецких городах, где дворянское сословие проливает слезы и вяжет чулки, сидя по одну сторону, а бюргерское сословие – по другую, и его лучезарность герцог со своим лучезарным семейством – все такие жирные, добродушные – являются и рассказываются посредине в большой ложе; а партер заполняют офицеры с осиными талиями, с усами цвета соломы и с окладом – два пенса в день. Здесь для Эмми был неисчерпаемый источник радости, здесь впервые ей открылись чудеса Моцарта и Чимарозы<sup>[378]</sup>. О музыкальных вкусах майора мы уже упоминали и одобряли его игру на флейте. Но, быть может, больше всего удовольствия во время исполнения этих опер ему доставляло созерцание восхищенной Эмми. Эти божественные музыкальные произведения явились для нее новым миром любви и красоты. Эмилия обладала тончайшей чувствительностью, – могла ли она оставаться равнодушной, слушая Моцарта? Нежные арии Дон Жуана пробуждали в ней столь дивные восторги, что она, становясь на молитву перед отходом ко сну, задавалась вопросом: не грех ли чувствовать такое упоение, каким переполнялось ее кроткое сердечко, когда она слушала «Vedrai Carino» или «Batti Batti»? Но майор, к которому обратилась она по этому поводу, как к своему советнику по богословским вопросам (сам он был человеком благочестивым и набожным), сказал Эмили, что его лично всякая красота в искусстве и в природе исполняет не только счастья, но и благодарности и что удовольствие, получаемое от прекрасной музыки, как и при созерцании звезд на небе или красивого пейзажа и картины, составляет благо, за которое мы должны благодарить небо столь же искренне, как и за всякие иные земные дары. И в ответ на кое-какие слабые возражения миссис Эмили (почерпнутые из теологических трудов, вроде «Прачки Финчлейской общины» и других произведений той же школы, каковыми миссис Осборн снабжали во время ее жизни в Бромптоне) Доббин рассказал ей восточную басню о филине, который считал, что солнечный свет невыносим для глаз и что соловья сильно переоценивают.

– Одним свойственно петь, другим ухать, – сказал он, смеясь, – но вам с таким сладким голоском, конечно, подобает быть среди соловьев!

Я с удовольствием останавливаюсь на этой поре ее жизни, и мне приятно думать, что Эмми была весела и довольна. Ведь до сих пор ей почти не приходилось вести такую жизнь, а окружавшая ее обстановка мало содействовала развитию в ней ума и вкуса. До последнего времени ее подавляли вульгарные умы. Таков жребий многих женщин. И так как каждая особа прекрасного пола – соперница всех других себе подобных, то в их милостивом суждении робость выдается за недомыслие, а доброта за тупость: суровее же всего инквизиторши осуждают молчание, которое есть не что иное, как безмолвный протест, робкое отрицание несносного апломба власть имущих. Точно так же, мой дорогой и образованный читатель, окажись мы с вами сегодня вечером, скажем, в обществе зеленщиков, едва ли наша беседа блистала бы остроумием. И с другой стороны, окажись зеленщик за вашим изысканным и просвещенным чайным столом, где каждый говорит умные вещи, а каждая светская и именитая дама грациозно обливает грязью своих подруг, возможно, что этот чужак также не отличался бы особой разговорчивостью и никого не заинтересовал бы, да и сам никем бы не заинтересовался.

Кроме того, надо вспомнить, что бедняжка Эмилия до сих пор не встречалась с настоящими джентльменами. Может быть, эта разновидность человеческого рода попадаетея реже, чем кажется на первый взгляд. Кто из нас найдет среди своих знакомых много людей, чьи цели благородны, чья честность неизменна, и не только неизменна в себе самой, но и является честностью высшего порядка; людей, которых отсутствие подлости делает простыми; людей, которые могут прямо смотреть в лицо всем, с одинаковой мужественной приязнью к великим и к малым? Все мы знаем сотни людей, у которых отлично сшиты сюртуки, десятка два, обладающих отличными манерами, и одного или двух счастливцев, которые вращаются, так сказать, в избранных кругах и сумели оказаться в самом центре фешенебельного мира, – но сколько в их числе настоящих джентльменов? Давайте возьмем клочок бумаги, и каждый пусть составит список!

В свой список я без всяких колебаний заношу моего друга майора. У него были очень длинные ноги и желтое лицо, и он немного пришепетывал, отчего при первом знакомстве казался чуть-чуть смешным, но судил он о жизни здраво, голова у него работала



исправно, жизнь он вел честную и чистую, а сердце имел горячее и кроткое. Конечно, у него были очень большие руки и ноги, над чем много смеялись оба Джорджа Осборна, любившие изображать Доббина в карикатурном виде. Их насмешки, возможно, мешали бедной маленькой Эмилии оценить майора по достоинству. Но разве мы все не заблуждались насчет своих героев и не меняли своих мнений сотни раз? Эмми в это счастливое время убедилась, что ее мнение о Доббине изменилось очень сильно.

Пожалуй, это было самое счастливое время в жизни обоих, но едва ли они это сознавали. Кто из нас может вспомнить какую-нибудь минуту в своей жизни и сказать, что это – кульминационная точка, вершина человеческой радости? Но, во всяком случае, эти двое были довольны и наслаждались веселой летней поездкой не меньше, чем всякая другая чета, покинувшая Англию в том году. Джорджи всегда ходил с ними в театр, но после представления на Эмми набрасывал шаль майор. А во время прогулок мальчуган убегал вперед и взбирался то на какую-нибудь башню, то на дерево, в то время как Эмми с майором спокойно оставались внизу: он невозмутимо покуривал сигару, она срисовывала пейзаж или развалины. Именно во время этого путешествия я, автор настоящей повести, в которой каждое слово – правда, имел удовольствие впервые увидеть их и познакомиться с ними.

Полковника Доббина и его спутников я встретил впервые в уютном великогерцогском городке Пумперникеле<sup>[379]</sup> (том самом, где сэр Питт Кроули когда-то блистал в качестве атташе, но то было в стародавние дни, еще до того, как известие о битве при Аустерлице обратило в бегство всех английских дипломатов, бывших в Германии). Они прибыли в карете с переводчиком-проводником, остановились в отеле «Erbprinze»<sup>[380]</sup>, лучшем в городе, и обедали за табльдотом. Все обратили внимание на величественную осанку Джоза и на то, как он с видом знатока потягивал, или, вернее, посасывал иоганисбергер, заказанный к обеду. У маленького мальчика был тоже, как мы заметили, отменный аппетит, и с отвагой, делавшей честь его нации, он уплетал Schinken, Braten, Kartoffeln<sup>[381]</sup>, клюквенное варенье, салат, пудинги, жареных цыплят и печенку. После пятнадцатого, кажется, блюда он закончил обед десертом, часть которого даже унес с собой. Дело в том, что какие-то юнцы за столом потешались над



хладнокровием мальчугана и его смелыми и независимыми манерами и посоветовали ему сунуть себе в карман горсть миндального печенья, каковое он и грыз по дороге в театр, куда ходили все обитатели этого веселого немецкого городка. Дама в черном, мать мальчика, смеялась, краснела и, по-видимому, была чрезвычайно довольна, хотя и взирала на выходки своего сына с некоторым смущением. Я помню, что полковник – он весьма скоро потом был произведен в этот чин – подшучивал над мальчиком и с самым серьезным видом дразнил его, указывая на те блюда, которых тот еще не пробовал, и умоляя не сдерживать своего аппетита, а брать по второй порции.

В тот вечер в великогерцогском пумперникельском придворном театре шел так называемый гастрольный спектакль, и мадам Шредер-Девриен<sup>[382]</sup>, тогда еще в расцвете красоты и таланта, исполняла роль героини в изумительной опере «Фиделио». Из кресел партера мы видели четырех своих друзей по табльдоту в ложе, которую владелец отеля «Erbprinz», Швендлер, абонировал для самых почетных своих постояльцев. И я не мог не заметить, какое впечатление производили чудесная актриса и музыка на миссис Осборн – так называл ее, как мы слышали, полный джентльмен с усами. Во время замечательного хора пленников, над которым прелестный голос певицы взлетал и парил в восхитительной гармонии, на лице у английской леди появилось выражение такого изумления и восторга, что даже этот циник-атташе, маленький Фипс, который разглядывал ее в бинокль, удивленно просюсюкал:

– Божже мой, право, приятно видеть женщину, способную на такие чувства!

А в сцене в тюрьме, где Фиделио, бросаясь к своему супругу, восклицает: «Nichts, nichts, mei Florestan»<sup>[383]</sup>, Эмилия, позабыв обо всем на свете, даже закрывала лицо носовым платочком. В эту минуту все женщины в театре всхлипывали, но, – вероятно, потому, что мне было суждено написать биографию именно этой леди, – я обратил внимание только на нее.

На следующий день шла другая вещь Бетховена – «Die Schlacht bei Vittoria»<sup>[384]</sup>. В начале пьесы вводится песенка про Мальбрука – намек на стремительное продвижение французской армии. Затем – барабаны, трубы, гром артиллерии, стоны умирающих, и, наконец, торжественно и мощно звучит «God save the King»<sup>[385]</sup>.

В зале было десятка два англичан, не больше, но при звуках этой любимой и знакомой мелодии все они – мы, молодежь в креслах партера, сэр Джон и леди Булминстер (нанявшие в Пумперникеле дом для воспитания своих девятерых детей), толстый джентльмен с усами, долговязый майор в белых парусиновых брюках и леди с маленьким мальчиком, которых майор так ласково опекал, даже проводник Кирш, сидевший на галерее, – все поднялись со своих мест и встали навтыжку, утверждая свою принадлежность к милой старой британской нации. А Солитер, charge d'affaires<sup>[386]</sup>, встал во весь рост и раскланивался и улыбался так, словно представлял всю империю. Солитер был племянником и наследником старого маршала Типтофа, появлявшегося в этой книге незадолго перед битвой при Ватерлоо под именем генерала Типтофа, командира \*\*\* полка, в котором служил майор Доббин, – осыпанный почестями, он умер в том же году, поев заливного с куликовыми яйцами. После смерти генерала его величество всемилостивейше препоручил полк полковнику сэру Майклу О'Дауду, кавалеру ордена Бани, который уже командовал этим полком во многих славных сражениях.

Солитер, должно быть, встречался с полковником Доббином в доме маршала, полкового командира полковника, потому что узнал его в тот вечер в театре. И вот представитель его величества проявил необычайную благосклонность: он вышел из ложи и публично обменялся рукопожатием со своим новообретенным знакомым.

– Взгляните-ка на этого чертова хитреца Солитера, – шепнул Фипс, наблюдавший за своим начальником из кресел. – Чуть где-нибудь появится хорошенькая женщина, он тотчас туда втирается. Но скажите, для чего же иного и созданы дипломаты?

– Не имею ли я чести обращаться к миссис Доббин? – спросил посол с обворожительной улыбкой.

Джорджи громко расхохотался и воскликнул:

– Вот это здорово, честное слово!

Эмми и майор густо покраснели (мы видели их из первых рядов партера).

– Эта леди – миссис Джордж Осборн, – сказал майор, – а это ее брат, мистер Седли, выдающийся чиновник бенгальской гражданской службы. Позвольте мне представить его вашей милости.

Милорд совершенно сразил Джоза, удостоив его любезнейшей улыбки.

– Вы намерены пожить в Пумперникеле? – спросил он. – Скучное место! Но нам нужны светские люди, и мы постараемся, чтобы вы провели здесь время как можно приятнее. Мистер... кха-кха... миссис... гм-гм! Буду иметь честь навестить вас завтра в вашей гостинице.

И он удалился с парфянской улыбкой и взглядом, которые, по его убеждению, должны были убить миссис Осборн наповал.

По окончании представления мы столпились в вестибюле и видели, как общество разъезжалось. Вдовствующая герцогиня уехала в своей дребезжащей старой колымаге, в сопровождении двух верных сморщенных старушек фрейлин и маленького, засыпанного нюхательным табаком камергера на журавлиных ножках, в коричневом паричке и зеленом мундире, покрытом орденами, среди которых ярче всего сияла звезда и широкая желтая лента ордена Св. Михаила Пумперникельского. Пророкотали барабаны, гвардия отдала честь, и старый рыдван укатил.

Затем появились его лучезарность герцог и все лучезарное семейство в окружении главных должностных лиц государства. Герцог благосклонно кланялся всем. Гвардия снова отдала честь, ярко вспыхнули факелы в руках скороходов, одетых во все красное, и лучезарные кареты покатали к старому герцогскому дворцу, венчавшему своими башнями и шпилями гору Шлоссберг. В Пумперникеле все знали друг друга. Не успевал там появиться иностранец, как уже министр иностранных дел или какое-нибудь другое крупное или мелкое должностное лицо ехали в отель «Erbprinz» и осведомлялись об имени вновь прибывших.

Итак, мы наблюдали за разездом из театра. Солитер отправился домой пешком, закутавшись в плащ, с которым всегда стоял наготове его огромный лакей, и как нельзя более похожий на Дон Жуана. Супруга премьер-министра только что втиснулась в свой портшез, а ее дочь, очаровательная Ида, только что надела капор и деревянные калошки, когда к подъезду направилась знакомая нам компания англичан. Мальчик зевал, майор старался приладить шаль на голове миссис Осборн, а мистер Седли шел, заломив набекрень парадный шапокляк и заложив руки за борт объемистого белого жилета. Мы

сняли шляпы и раскланялись со своими знакомыми по табльдоту, и леди в ответ наградила нас милой улыбкой и реверансом, которые у кого угодно вызвали бы чувство благодарности.

Гостиничная карета под надзором хлопотливого мистера Кирша ждала у театра, чтобы отвезти всю компанию домой. Но толстяк заявил, что пойдет пешком и по дороге выкурит сигару. Остальные трое, посылая нам поклоны и улыбки, уехали без мистера Седли. Кирш, с сигарным ящиком под мышкой, последовал за своим хозяином.

Мы все пошли вместе и завели с тучным джентльменом беседу об agréments<sup>[387]</sup> городка. Для англичан здесь много интересного и приятного: устраиваются охотничьи выезды и облавы; гостеприимный двор постоянно дает балы и вечера; общество, в общем, хорошее; театр отличный, а жизнь дешева.

– А наш посланник, видимо, чрезвычайно любезный и обходительный человек, – сказал наш новый знакомый. – При таком представителе и... и хорошем враче, пожалуй, это местечко нам подойдет. Спокойной ночи, джентльмены!

И под Джозом затрещали ступеньки лестницы, ведущей к его опочивальне, куда он и проследовал в сопровождении Кирша со светильником. А мы уже мечтали о том, что его хорошенькая сестра соблазнится подольше пробыть в этом городе.

## **Глава LXIII,** ***в которой мы встречаемся со старой знакомой***

Столь отменная любезность со стороны лорда Солитера произвела, разумеется, самое благоприятное впечатление на мистера Седли, и на следующее же утро за завтраком Джоз высказал мнение, что Пумперникель лучшее из всех местечек, которые они посетили за время своего путешествия. Уразуметь мотивы и уловки Джоза было нетрудно, и лицемер Доббин тихонько посмеивался, догадавшись по глубокомысленному виду бывшего коллектора и по уверенности, с какой тот разглагольствовал о замке Солитеров и о других членах этой фамилии, что Джоз еще рано утром успел заглянуть в «Книгу пэров», которую повсюду возил с собой. Да, он встречался с высокопочтенным графом Бэгуигом, отцом его милости. Наверное, встречался – он видал его... на высочайшем выходе... Разве Доб не помнит этого? И когда посланник, верный своему обещанию, явился к ним с визитом, Джоз принял его с такими почестями и поклонами, какие редко выпадали на долю этого заштатного дипломата. По прибытии его превосходительства Джоз мигнул Киршу, и тот, заранее получив инструкции, вышел распорядиться, чтобы подали угощение в виде холодных закусок, заливных и прочих деликатесов, которые и внесли в комнату на подносах и которые Джоз стал настоятельно предлагать вниманию своего благородного гостя.

Солитер готов был задержаться у них на любых условиях, лишь бы иметь возможность вдоволь полюбоваться на ясные глазки миссис Осборн (ее свежее личико удивительно хорошо переносило дневной свет). Он задал Джозу два-три ловких вопроса об Индии и тамошних танцовщицах, спросил у Эмилии, кто этот красивый мальчик, который был с нею, поздравил изумленную маленькую женщину с той сенсацией, которую произвело ее появление в театре, и пытался обворожить Доббина, заговорив о последней войне и о подвигах пумперникельского отряда под командой наследного принца, ныне герцога Пумперникельского.

Лорд Солитер унаследовал немалую толику фамильной галантности и искренне верил, что каждая женщина, на которую ему угодно было бросить любезный взгляд, уже влюблена в него. Он расстался с Эмми вполне убежденный, что сразил ее своим остроумием и прочими чарами, и отправился к себе домой, чтобы написать ей любовную записочку. Но Эмми не была очарована, ее лишь озадачили его улыбочки, хихиканье, его надушенный батистовый носовой платочек и лакированные сапоги на высоких каблуках. Она не поняла и половины его комплиментов. При своем малом знании людей она никогда еще не встречала профессионального дамского угодника и потому смотрела на милорда как на нечто скорее курьезное, чем приятное, и если не восхищалась им, то уж, наверное, изумлялась, на него глядя. Зато Джоз был в полном восторге.

– Как приветлив милорд! – говорил он. – Как было любезно со стороны милорда обещать прислать мне своего врача! Кирш, сейчас же отвезите наши карточки графу де Шлюссельбаку. Мы с майором будем иметь величайшее удовольствие как можно скорее засвидетельствовать наше почтение при дворе. Достаньте мой мундир, Кирш!.. Обоим нам мундиры! Свидетельствовать свое почтение иностранным государям, как и представителям своей родины за границей, – это знак вежливости, которую обязан проявлять в посещаемых им странах всякий английский джентльмен!

Когда явился врач, присланный Солитером, – доктор фон Глаубер, лейб-медик его высочества герцога, – он быстро убедил Джоза в том, что минеральные источники Пумперникеля и специальное лечение, применяемое доктором, непременно возвратят бенгальцу молодость и стройность фигуры.

– Ф прошлый год, – рассказывал он, – к нам приехали генераль Бюлькли, английский генераль, два раз так тольсты, как ви, сэр. Я послал его домой софсем тонкий через три месяц, а через два он уже танцеваль з баронесс Глаубер!

Решение было принято: источники, доктор, двор и charge d'affaires убедили Джоза, и он предложил провести осень в этой восхитительной местности. Верный своему слову, charge d'affaires на следующий же день представил Джоза и майора Виктору

Аврелию XVII; на аудиенцию к этому монарху их провожал граф де Шлюссельбак, министр двора.

Они тут же получили приглашение на придворный обед, а когда стало известно их намерение прожить в городе подольше, то самые светские дамы столицы немедленно явились с визитом к миссис Осборн. И так как ни у одной из них, как бы она ни была бедна, не было титула ниже баронессы, то восторг Джоза не поддается описанию. Он послал письмо Чатни, члену своего клуба, и сообщил ему, что чины бенгальской службы пользуются в Германии большим почетом, что он, Джоз, собирается показать своему другу, графу де Шлюссельбаку, как охотятся на кабанов в Индии, и что его августейшие друзья, герцог и герцогиня, – олицетворенная доброта и учтивость.

Эмми тоже была представлена августейшей фамилии, и так как в известные дни ношение траура при дворе не разрешается, то она появилась в розовом креповом платье с брильянтовым аграфом на корсаже, подаренным ей братом, и была так хороша в этом наряде, что герцог и двор (мы уже не говорим о майоре – он едва ли когда раньше видел Эмилию в вечернем туалете и клялся, что она выглядит не старше двадцати пяти лет) восхищались ею сверх всякой меры.

В этом платье она на придворном балу прошла в полонезе с майором Доббином, и в том же несложном танце мистер Джоз имел честь выступить с графиней фон Шлюссельбак, старой дамой, немного горбатой, но зато имевшей в семейном гербе не менее шестнадцати эмблем и девизов и связанной родством с половиной царствующих домов Германии.

Пумперникель расположен в веселой долине, по которой текут, сверкая на солнце, плодоносные воды Пумпа, чтобы слиться где-то с Рейном, – у меня под рукой нет карты, и я не могу точно сказать, где именно. В некоторых местах река настолько глубока, что по ней ходит паром; в других она только-только вертит колеса мельниц. В самом Пумперникеле пред-пред-предпоследняя его лучезарность, великий и прославленный Виктор Аврелий XIV, выстроил грандиозный мост, на котором воздвигнута его собственная статуя, окруженная наядами и эмблемами победы, мира и изобилия. Ногой своей он попирает вью поверженного турка, – история повествует, что при освобождении Вены Собесским<sup>[388]</sup> он вступил в бой с янычаром и пронзил его

насквозь. Нимало не смущаясь страданиями этого поверженного магометанина, в муках извивающегося у его ног, герцог кротко улыбается и указывает жезлом по направлению к Aurelius Platz<sup>[389]</sup>, где он начал воздвигать новый дворец, который стал бы чудом своего века, если бы только у славного герцога хватило средств для окончания постройки. Но завершение Монплезира (честные немцы называют его Монблезиром) было отложено из-за отсутствия свободных денег, и ныне дворец и его парк и сад находятся в довольно запущенном состоянии и по своим размерам только в десять раз превышают потребности двора царствующего монарха.

Разбитые здесь сады должны были соперничать с версальскими, и среди террас и роцц до сих пор красуется несколько огромных аллегорических фонтанов, которые в дни празднеств извергают чудовищные пенные струи, пугая зрителей таким разгулом водной стихии. Есть там и грот Трофония<sup>[390]</sup>, где свинцовые тритоны при помощи какого-то хитрого устройства могут не только извергать воду, но и извлекать ужаснейшие стоны из своих свинцовых раковин; есть и купальня нимф и Ниагарский водопад, которым окрестные жители не устают восхищаться, когда собираются на ежегодную ярмарку при открытии ландтага или на празднества, которыми этот счастливый народец до сих пор отмечает дни рождения или бракосочетания своих владетельных правителей.

Тогда из всех городов герцогства, простирающегося почти на десять миль, – из Болкума, лежащего у его западной границы и угрожающего Пруссии; из Грогвица, где у князя есть охотничий домик и где его владения отделяются рекою Пумп от владений соседнего князя Поцентальского; из всех деревенок, рассеянных по этому счастливому княжеству, с ферм и мельниц вдоль Пумпа поселянки в красных юбках и бархатных головных уборах и поселяне в треугольных шляпах и с трубками в зубах стекаются в столицу и принимают участие в ярмарочных развлечениях и празднествах. Тогда театры устраивают даровые представления; тогда играют фонтаны Монблезира (к счастью, ими любитесь целое общество, а то смотреть на них в одиночестве страшно); тогда приезжают акробаты и бродячие цирки (всем известно, как его лучезарность увлекся одной из цирковых наездниц, причем распространено мнение, что *la petite vivandière*<sup>[391]</sup>, как ее называли, была шпионкой и собирала сведения в



пользу Франции), и восхищенному народу разрешают проходить по всему великогерцогскому дворцу, из комнаты в комнату, и любоваться скользким паркетом, богатыми драпировками и плевательницами у дверей бесчисленных покоев. В Монблезире есть один павильон, построенный Аврелием Виктором XV – великим государем, но чересчур падким на удовольствия; мне говорили, что этот павильон – чудо фривольной элегантности. Он расписан эпизодами из истории Вакха и Ариадны, а стол в нем вкатывается и выкатывается при помощи ворота, что избавляло обедающих от вмешательства прислуги. Но помещение это было закрыто Барбарой, вдовой Аврелия XV, суровой и набожной принцессой из дома Болкумов и регентом герцогства во время славного малолетства ее сына и после смерти супруга, взятого могилой в расцвете слишком веселой жизни.

Пумперникельский театр известен и знаменит в этой части Германии. Он пережил полосу упадка, когда нынешний герцог во дни своей юности настоял на исполнении в театре своих собственных опер. Рассказывают, что однажды, сидя в оркестре и слушая репетицию, герцог пришел в бешенство и разбил фагот о голову капельмейстера, который вел оперу в слишком медленном темпе. В эту же пору герцогиня София писала комедии, которые, должно быть, невыносимо было смотреть. Но теперь герцог исполняет свою музыку в интимном кружке, а герцогиня показывает свои пьесы только знатным иностранцам, посещающим ее гостеприимный двор.

Двор содержится с немалым комфортом и пышностью. Когда устраивают балы, то, будь даже за ужином четыреста приглашенных, все же на каждом из четырех гостей полагается один лакей в алой ливрее и кружевах и всем подают на серебре. Празднества и развлечения следуют одно за другим без перерыва. У герцога есть свои камергеры и шталмейстеры, а у герцогини – свои статс-дамы и фрейлины, точь-в-точь как у других владетельных князей, более могущественных.

Конституция предусматривает, или предусматривала, умеренный деспотизм, ограниченный ландтагом, который мог быть, а мог и не быть избран. Сам я в бытность свою в Пумперникеле ни разу не слышал, чтобы он собирался на заседания. Премьер-министр жил в третьем этаже, а министр иностранных дел занимал удобную квартиру над кондитерской Цвибака. Армия состояла из великолепного оркестра, который также выполнял свои обязанности и

на сцене, где было чрезвычайно приятно видеть этих достойных молодцов, марширующих в турецких костюмах, нарумяненных, с деревянными ятаганами в руках, или в виде римских воинов с офиклеидами и тромбонами, – приятно, говорю я, было увидеть их опять вечером, после того как вы все утро слышали их на Augellus Platz, где они играли напротив кафе, в котором вы завтракали. Кроме оркестра, был еще пышный и многочисленный штаб офицеров и, кажется, несколько солдат. Три или четыре солдата в гусарской форме, вдобавок к постоянным часовым, несли дежурство во дворце, но я никогда не видал их верхом на лошади. Да и что было делать кавалерии во времена безмятежного мира? И куда, скажите на милость, могли бы гусары ездить?

Все члены общества, – конечно, мы говорим о благородном обществе, ибо что касается бюргеров, то никто от нас не ожидает, чтобы мы обращали на них внимание, – ездили друг к другу в гости. Ее превосходительство мадам де Бурст принимала у себя раз в неделю, ее превосходительство мадам де Шнурбарт тоже имела свой приемный день, театр был открыт дважды в неделю, раз в неделю происходили всемилостивейшие приемы при дворе; таким образом, жизнь превращалась в нескончаемую цепь удовольствий в непритязательном пумперникельском духе.

Что в городе бывали распри – этого никто не может отрицать. Политикой в Пумперникеле занимались с большой страстностью, и партии жестоко враждовали между собой. Существовала фракция Штрумф и партия Ледерлунг; одну поддерживал наш посланник, другую – французский charge d'affaires месье де Макабо. И стоило только нашему посланнику высказаться за мадам Штрумф, которая, несомненно, пела лучше, чем ее соперница мадам Ледерлунг, и считала в своем диапазоне на три ноты больше, – стоило только, говорю я, нашему посланнику высказать хоть *какое-нибудь* мнение, чтобы французский дипломат сейчас же занял противоположную позицию.

Все жители города примыкали к той или к другой из этих двух партий. Ледерлунг, что и говорить, была милovidным созданием и голос имела если и не большой, то очень приятный, а Штрумф, вне всякого сомнения, была уже не первой молодости и не в расцвете красоты и к тому же чересчур полна: например, когда она выходила в

последней сцене в «Сомнамбуле»<sup>[392]</sup> в ночной рубашке, с лампой в руке и ей нужно было вылезать из окна и пробираться по доске через ручей у мельницы, она с трудом протискивалась в окно, а доска сгибалась и трещала под ее тяжестью. Но зато как она пела в финале! И с каким бурным чувством кидалась в объятия Эльвино, – кажется, еще немного – и она задушила бы его! Между тем как маленькая Ледерлунг... но довольно сплетничать, – важно то, что эти дамы были знаменами французской и английской партий в Пумперникеле, и все общество делилось на приверженцев одной из этих двух великих наций.

На нашей стороне были министр внутренних дел, шталмейстер, личный секретарь герцога и наставник наследного принца, тогда как к французской партии примыкали министр иностранных дел, супруга главнокомандующего, служившего при Наполеоне, и гофмаршал со своей супругою, которая была рада возможности получать из Парижа последние фасоны и всегда выписывала их и свои шляпки через курьера месье де Макабо. Секретарем его канцелярии был маленький Гриньяк – молодой человек, лукавый, как сатана, и рисовавший всем в альбомы карикатуры на Солитера.

Их штаб-квартира и табльдот находились в отеле «Pariser Hof»<sup>[393]</sup>, второй из городских гостиниц; и хотя на людях эти джентльмены были, разумеется, вынуждены соблюдать все приличия, однако они постоянно ранили друг друга эпитаграммами, острыми, как бритва, – так двое борцов, которых я видел в Девоншире, нещадно колотили друг друга по ногам, в то время как лица их оставались невозмутимо спокойными. Ни Солитер, ни Макабо никогда не отправляли своим правительствам депеш, не подвергая соперника яростным нападкам. Например, наша сторона писала так:

«Интересам Великобритании в этом государстве, да и во всей Германии, грозит серьезная опасность в связи с деятельностью нынешнего французского посланника. У этого человека столь гнусный характер, что он не остановится ни перед какой ложью, ни перед каким преступлением ради достижения своих целей. Он отравляет умы здешнего двора, настраивая их против английского посланника, представляет поведение Великобритании в самом злом и отвратительном свете и, к несчастью, пользуется

поддержкой министра, невежество которого общеизвестно, а влияние тлетворно».

Французы же высказывались следующим образом:

«Господин де Солитер продолжает придерживаться своей системы плутого островного высокомерия и пошлых инсинуаций по адресу величайшей в мире нации. Вчера мы слышали его легкомысленные отзывы о ее королевском высочестве герцогине Беррийской<sup>[394]</sup>; ранее он оскорбительно говорил о доблестном герцоге Ангулемском<sup>[395]</sup> и осмелился инсинуировать, будто его королевское высочество герцог Орлеанский замышляет заговор против августейшего трона Лилий. Он щедрою рукою сыплет золото всем, кого не могут запугать его бессмысленные угрозы. Тем или иным средством он сманил на свою сторону продажных любимцев здешнего двора, – словом, Пумперникель не дождется покоя, Германия – порядка, Франция – уважения, а Европа – мира, пока эта ядовитая гадина не будет раздавлена...» – и так далее. Когда та или другая сторона посылала особенно пикантную депешу, слухи об этом неизменно просачивались наружу.

В начале зимы Эмми до того осмелела, что назначила свой приемный день и стала устраивать вечера, крайне благопристойные и скромные. Она обзавелась французом-учителем, осыпавшим свою ученицу комплиментами и хвалившим чистоту ее произношения и способность к изучению языка. Дело в том, что Эмилия уже училась когда-то давно, а потом повторила грамматику, чтобы обучать Джорджа. Мадам Штрумф давала Эмми уроки пения, и та пела вокализы так хорошо и так музыкально, что у майора, который жил напротив, как раз под квартирой премьер-министра, окна всегда бывали открыты, чтобы было слышно, как Эмилия берет уроки. Многие из немецких дам, сентиментальных и не слишком взыскательных, влюбились в Эмилию и сразу стали говорить ей *du*<sup>[396]</sup>. Все это мелкие, неважные подробности, но они относятся к счастливым временам. Майор взял на себя воспитание Джорджа, читал с ним Цезаря, занимался математикой; был у них и учитель немецкого языка, а по вечерам они выезжали на прогулки верхом, сопровождая экипаж Эмми – сама она всегда была трусихой и страшно пугалась каждого движения верховой лошади. Она ездила

кататься с одной из своих приятельниц-немок и с Джозом, дремавшим на скамеечке открытой коляски.

Джоз начал было ухаживать за графиней Фанни де Бутерброд, очень милой, скромной и добросердечной женщиной, страшно родовитой, но едва ли имевшей хотя бы десять фунтов годового дохода. Со своей стороны, Фанни уверяла, что иметь сестрой Эмилию было бы величайшей радостью, какую только может ниспослать ей небо. И Джоз мог бы присоединить герб и корону графини к собственному гербу, изображенному на его карете и вилках, но... но тут произошли некоторые события, и начались пышные празднества по поводу бракосочетания наследного принца Пумперникельского с обворожительной принцессой Амалией Гомбург-Шлиппеншлоппенской.

Этот праздник был обставлен с таким великолепием, какого в маленьком германском государстве не видали со времен расточительного Виктора XIV. Были приглашены все соседние принцы, принцессы и вельможи. Цены на кровати в Пумперникеле поднялись до полукроны в сутки, армия выбилась из сил, выставляя почетные караулы для разных высочеств, светлостей и превосходительств, прибывавших отовсюду. Принцессу повенчали в резиденции ее отца заочно, с уполномоченным жениха в лице графа де Шлюссельбака. Табакерки раздавались кучами (как мы узнали от придворного ювелира, который продавал, а затем снова скупал их), а ордена Святого Михаила Пумперникельского рассылались придворным сановникам целыми мешками, взамен чего нашим вельможам привозили корзины лент и орденов Колеса св. Екатерины Шлиппеншлоппенской. Французский посланник получил оба ордена.

– Он покрыт лентами, как призовой першерон, – говорил Солитер, которому правила его службы не разрешали принимать никаких знаков отличия. – Пусть себе получает ордена – победа-то все равно за нами!

Дело в том, что этот брак был триумфом британской дипломатии: французская партия всячески изощрялась, чтобы устроить брак с принцессой из дома Поцтаузенд-Доннерветтер, против которой, разумеется, интриговали мы.

На свадебные празднества были приглашены все. В честь новобрачной через улицы были перекинуты гирлянды и воздвигнуты

триумфальные арки. Фонтан Св. Михаила извергал струи необычайно кислого вина, фонтан на Артиллерийской площади пенился пивом. Большие фонтаны в парке тоже играли, а в садах поставлены были столбы, на которые счастливые поселяне могли взбираться сколько их душе угодно, чтобы снимать с самой верхушки часы, серебряные вилки, призовые колбасы и т. п., висевшие там на розовых ленточках. Джорджи тоже получил приз; он сорвал его с верхушки столба, на который вскарабкался, к восторгу зевак, соскользнув потом вниз с быстротой водопада. Но он сделал это только ради славы. Мальчик отдал колбасу крестьянину, который и сам чуть-чуть не схватил ее и стоял теперь у подножия столба, сетуя на свою неудачу.

Помещение, занятое французской канцелярией, было иллюминировано на шесть лампиков пышнее, чем наше. Но чего стоила вся французская иллюминация по сравнению с нашим транспарантом, изображавшим шествие юной четы и улетающий прочь Раздор, до смешного похожий на французского посланника! Не сомневаюсь, что именно за этот транспарант Солитер вскоре после того получил повышение и орден Бани.

На празднества прибыли целые толпы иностранцев, включая, разумеется, англичан. Кроме придворных балов, давались балы в ратуше и редуте, а в первом из вышеупомянутых мест иждивением одной крупной немецкой компании из Эмса или Аахена было отведено помещение и для *trente et quarante* и рулетки – только на неделю празднеств. Офицерам и местным жителям не разрешалось играть в эти игры, но иностранцы, крестьяне и дамы допускались, как и всякий иной, кому угодно было проиграть или выиграть.

Маленький озорник Джорджи Осборн, у которого карманы всегда были набиты деньгами, проводив старших на придворный бал, тоже явился в ратушу с курьером своего дяди, мистером Киршем; и так как в Баден-Бадене ему удалось только мимоходом заглянуть в игорную залу – он был там с Доббином, который, конечно, не разрешил ему играть, – то теперь он первым делом устремился к месту этих развлечений и стал вертеться около столов, где расположились крупье и понтеры. Играли женщины, некоторые из них были в масках, – такая вольность дозволялась в разгульные дни карнавала.

За одним из столов, где играли в рулетку, сидела белокурая женщина в сильно декольтированном платье не первой свежести и в

черной маске, сквозь прорезы которой как-то странно поблескивали ее глаза; перед нею лежала карточка, булавка и несколько флоринов. Когда крупье выкрикивал цвет и число, она аккуратно делала на карточке отметки булавкой и решалась ставить деньги на цвета лишь после того, как красное или черное выходило несколько раз подряд. Странное она производила впечатление.

Но как она ни старалась, она ни разу не отгадала верно, и последние ее два флорина один за другим были подхвачены лопаточкой крупье, невозмутимо объявлявшего выигравший цвет и число. Дама вздохнула, передернула плечами, которые и без того уже очень сильно выступали из платья, и, проткнув булавкой карточку, лежавшую на столе, несколько минут сидела, барабаня по ней пальцами. Затем она оглянулась и увидела славное личико Джорджи, плазевшего на эту сцену. Маленький бездельник! Чего ему тут надо?

Увидев мальчика и сверкнув на него глазами из-под маски, она сказала:

– Monsieur n'est pas joueur?<sup>[397]</sup>

– Non, madame, – ответил мальчик, но она, должно быть, по его выговору узнала, откуда он родом, потому что ответила ему по-английски с легким иностранным акцентом:

– Вы никогда еще не играли, – не окажете ли мне маленькой любезности?

– Какой? – спросил Джорджи, краснея. Мистер Кирш тем временем тоже занялся rouge et noir и не видел своего юного хозяина.

– Сыграйте, пожалуйста, за меня; поставьте на любой номер.

Она вынула из-за корсажа кошелек, достала из него золотой – единственную монету, лежавшую там, – и вложила его в руку Джорджи. Мальчик засмеялся и исполнил ее просьбу.

Номер, конечно, выпал. Говорят, есть какая-то сила, которая устраивает это для новичков.

– Спасибо, – сказала дама, пододвигая к себе деньги. – Спасибо. Как вас зовут?

– Меня зовут Осборн, – сказал Джорджи и уже полез было в карман за деньгами; но только он хотел попытать счастья, как появились майор в парадном мундире и Джоз в костюме маркиза, приехавшие с придворного бала. Кое-кто из гостей, наскучив герцогскими развлечениями и предпочитая повеселиться в ратуше,

покинул дворец еще раньше. Но майор и Джоз, очевидно, заезжали домой и узнали там об отсутствии мальчика, потому что Доббин сейчас же подошел к нему и, взяв за плечо, быстро увел подальше от соблазна. Затем, оглядевшись по сторонам, он увидел Кирша, погруженного в игру, и, подойдя к нему, спросил, как он смел привести мистера Джорджа в такое место.

– *Laissez-moi tranquille*, – отвечал мистер Кирш, сильно возбужденный игрой и вином. – *Il faut s’amuser, parbleu! Je ne suis pas au service de monsieur*<sup>[398]</sup>.

Увидев, в каком он состоянии, майор решил не вступать с ним в спор и удовольствовался тем, что увел Джорджа, спросив только у Джоза, уходит он или остается. Джоз стоял около дамы в маске, которая теперь играла довольно удачно, и с большим интересом следил за игрой.

– Пойдемте-ка лучше по домам, Джоз, – сказал майор, – вместе со мной и Джорджем.

– Я побуду здесь и вернусь с этим негодяем Киршем, – ответил Джоз. И Доббин, считая, что при мальчике не следует говорить лишнего, оставил Джоза в покое и отправился с Джорджем домой.

– Ты играл? – спросил майор, когда они вышли из ратуши.

Мальчик ответил:

– Нет.

– Дай мне честное слово джентльмена, что никогда не будешь играть!

– Почему? – спросил мальчик. – Это же очень весело!

Тут майор весьма красноречиво и внушительно объяснил Джорджу, почему тот не должен играть; он мог бы подкрепить свои наставления ссылкой на отца Джорджа, но не захотел ни единым словом опорочить память покойного. Отведя мальчика домой, майор отправился к себе и вскоре увидел, как погас свет в комнатке Джорджа рядом со спальней Эмилии. Через полчаса и Эмилия потушила у себя свет. Право, не знаю, почему майор отметил это с таким дотошным вниманием!

А Джоз остался у игорного стола. Он не был записным игроком, но не гнушался иной раз испытать легкое возбуждение, вызываемое игрой. Несколько наполеондоров позвякивало в карманах его вышитого жилета. Протянув руку над белым плечиком дамы,



сидевшей перед ним, он поставил золотой и выиграл. Дама чуть подвинулась влево и, словно приглашая Джоза сесть, сбросила оборки своего платья со свободного стула рядом.

– Садитесь и принесите мне счастье, – произнесла она все еще с иностранным акцентом, сильно отличавшимся от того «спасибо», которым она приветствовала удачный [соур<sup>\[399\]</sup>](#) Джорджа. Наш дородный джентльмен, посмотрев по сторонам, не наблюдает ли за ним кто-нибудь из именитых особ, опустился на стул и пробормотал:

– Ну что ж, право, разрази меня господь, мне везет! Я уверен, что принесу вам счастье, – затем последовали комплименты и другие смущенно-нелепые слова.

– Вы часто играете? – спросила незнакомка.

– Ставлю иногда один-два наполеондора, – ответил Джоз, небрежно швыряя на стол золотую монету.

– Ну конечно, это интереснее, чем воевать с Наполеоном! – лукаво сказала маска. Но, заметив испуганный взгляд Джоза, продолжала со своим милым французским акцентом: – Вы играете не для того, чтобы выиграть. И я также. Я играю, чтобы забыться, но не могу... не могу забыть былых времен, *monsieur*! Ваш маленький племянник – вылитый отец. А вы... вы не изменились... Нет, вы изменились... все люди меняются, все забывают, ни у кого нет сердца!

– Господи боже, кто это? – спросил ошеломленный Джоз.

– Не узнаете, Джозеф Седли? – сказала маленькая женщина печальным голосом и, сняв маску, взглянула на Джоза. – Вы позабыли меня!

– Боже милосердный! Миссис Кроули! – пролепетал Джоз.

– Ребекка, – произнесла дама, кладя свою руку на руку Джозефа, но продолжая внимательно следить за игрой.

– Я остановилась в гостинице «Слон», – сказала она. – Спросите мадам де Родон. Сегодня я видела мою милочку Эмилию. Какой она мне показалась прелестной и счастливой! И вы тоже! Все счастливы, кроме меня, Джозеф Седли!

И она передвинула свою ставку с красного на черное – как бы случайным движением руки, пока вытирала слезы носовым платочком, обшитым рваным кружевом.

Опять вышло красное, и она проиграла.

– Пойдемте отсюда! – сказала она. – Пройдемтесь немного. Мы ведь старые друзья, не так ли, дорогой мистер Седли?

И мистер Кирш, проигравший тем временем все свои деньги, последовал за хозяином по озаренным луною улицам, где догорала иллюминация и едва можно было различить транспарант над помещением нашего посольства.

## Глава LXIV

### Неприкаянная глава

Мы вынуждены опустить часть биографии миссис Ребекки Кроули, проявив всю деликатность и такт, каких требует от нас общество – высоконравственное общество, которое, возможно, ничего не имеет против порока, но не терпит, чтобы порок называли его настоящим именем.

На Ярмарке Тщеславия мы много чего делаем и знаем такого, о чем никогда не говорим: так поклонники Аримана молятся дьяволу, не называя его вслух. И светские люди не станут читать достоверное описание порока, подобно тому как истинно утонченная англичанка или американка никогда не позволит, чтобы ее целомудренного слуха коснулось слово «штаны». А между тем, сударыня, и то и другое каждодневно предстает нашим взорам, не особенно нас смущая. Если бы вы краснели всякий раз, как они появляются перед вами, какой был бы у вас цвет лица! Лишь когда произносятся их недостойные имена, ваша скромность считает нужным чувствовать себя оскорбленной и бить тревогу; поэтому автором настоящей повести с начала до конца руководило желание строго придерживаться моды нашего века и лишь намекать иногда на существование в мире порока, намекать легко, грациозно, приятно – так, чтобы ничьи тонкие чувства не оказались задетыми. Пусть кто-нибудь попробует утверждать, что наша Бекки, которой, конечно, нельзя отказать в кое-каких пороках, не была выведена перед публикой в самом благородном и безобидном виде! Автор со скромной гордостью спрашивает у своих читателей, забывал ли он когда-нибудь законы вежливости и, описывая пение, улыбки, лесть и коварство этой сирены, позволял ли мерзкому хвосту чудовища показываться над водою? Нет! Желающие могут заглянуть в волны, достаточно прозрачные, и посмотреть, как этот хвост мелькает и кружится там, отвратительный и липкий, как он хлопает по костям и обвивает трупы. Но над поверхностью воды разве не было все отменно прилично и приятно? Разве может ко мне придраться даже самый щепетильный моралист на Ярмарке Тщеславия? Правда, когда сирена исчезает, ныряя в глубину, к мертвецам, вода над нею становится

мутной, и потому, сколько ни вглядывайся в нее, все равно ничего не увидишь. Сирены довольно привлекательны, когда они сидят на утесе, бренчат на арфах, расчесывают себе волосы, поют и манят вас, умоляя поддержать им зеркало; но когда они погружаются в свою родную стихию, то, поверьте мне, от этих морских дев нельзя ждать ничего хорошего, и лучше уж нам не видеть, как эти водяные людоедки пляшут и угощаются трупами своих несчастных засоленных жертв. Итак, будьте уверены, что, когда мы не видим Бекки, она занята не особенно хорошими делами, – и чем меньше говорить об этих ее делах, тем, право же, будет лучше.

Если бы мы дали полный отчет о поведении Бекки за первые несколько лет после катастрофы на Керзон-стрит, то у публики, пожалуй, нашлись бы основания сказать, что наша книжка непристойна. Поступки людей очень суетных, бессердечных, гонящихся за удовольствиями, весьма часто бывают непристойными (как и многие ваши поступки, мой друг, с важной физиономией и безупречной репутацией, – но об этом я упоминаю просто к слову). Каких же поступков ждать от женщины, не имеющей ни веры, ни любви, ни доброго имени! А я склонен думать, что в жизни миссис Бекки было время, когда она оказалась во власти не угрызений совести, но какого-то отчаяния, и совершенно не берегла себя, не заботясь даже о своей репутации.

Такое *abattement*<sup>[400]</sup> и нравственное падение наступили не сразу, они появились постепенно – после ее несчастья и после многих отчаянных попыток удержаться на поверхности. Так человек, упавший за борт, цепляется за доску, пока у него остается хоть искра надежды, а потом, убедившись, что борьба напрасна, разжимает руки и идет ко дну.

Пока Родон Кроули готовился к отъезду во вверенные ему заморские владения, Бекки оставалась в Лондоне и, как полагают, не раз предпринимала попытки повидаться со своим зятем, сэром Питтом Кроули, с целью заручиться его поддержкой, которой она перед тем почти успела добиться. Однажды, когда сэр Питт и мистер Уэнхем направлялись в палату общин, последний заметил, что около дворца законодательной власти маячит миссис Родон в шляпке под черной вуалью. Встретившись глазами с Уэнхемом, она быстро

скользнула прочь, да и после этого ей так и не удалось добраться до баронета.

Вероятно, в дело вмешалась леди Джейн. Я слышал, что она изумила супруга твердостью духа, проявленной ею во время ссоры, и своей решимостью не признавать миссис Бекки. Она по собственному почину пригласила Родона прожить у них все время до его отъезда на остров Ковентри, зная, что при такой надежной охране миссис Бекки не посмеет ворваться к ним в дом, и внимательно изучала конверты всех писем, адресованных сэру Питту, чтобы в случае чего пресечь переписку между ним и его невесткой. Разумеется, вздумай Ребекка ему написать, она могла бы это сделать, но она не пыталась ни повидаться с сэром Питтом, ни писать ему на дом и после одной или двух попыток согласилась на его просьбу направлять ему всю корреспонденцию касательно своих семейных неурядиц только через посредство адвоката.

Дело в том, что Питта сумели восстановить против Ребекки. Вскоре после несчастья, постигшего лорда Стайна, Уэнхем побывал у баронета и познакомил его с некоторыми подробностями биографии миссис Бекки, которые сильно удивили члена парламента от Королевского Кроули. Уэнхем знал о Бекки все: кем был ее отец, в каком году ее мать танцевала в опере, каково было ее прошлое и как она себя вела во время своего замужества. Поскольку я уверен, что большая часть этого рассказа была лжива и продиктована личным недоброжелательством, я не буду повторять его здесь. Но после этого Ребекке уже нечего было надеяться обелить себя в глазах почтенного землевладельца и родственника, некогда дарившего ее своей благосклонностью.

Доходы губернатора острова Ковентри невелики. Часть их его превосходительство откладывал для оплаты кое-каких неотложных долгов и обязательств; само его высокое положение требовало значительных расходов; и в конце концов оказалось, что Родон не может выделить жене более трехсот фунтов в год, каковую сумму он и предложил платить ей, при условии, что она никогда не будет его беспокоить, – в противном случае воспоследуют скандал, развод, Докторс-Коммонс<sup>[401]</sup>. Впрочем, и мистер Уэнхем, и лорд Стайн, и Родон прежде всего заботились о том, чтобы удалить Бекки из Англии и замять это крайне неприятное дело.

Должно быть, Бекки была так занята улаживанием деловых вопросов с поверенными мужа, что забыла предпринять какие-либо шаги относительно своего сына, маленького Родона, и даже ни разу не выразила желания повидать его. Юный джентльмен был оставлен на полное попечение дяди и тетки, которая всегда пользовалась большой любовью мальчика. Его мать, покинув Англию, написала ему очень милое письмо из Булони, в котором советовала ему хорошо учиться и сообщала, что уезжает в путешествие на континент и будет иметь удовольствие написать ему еще. Но написала она только через год, да и то лишь потому, что единственный сын сэра Питта, болезненный ребенок, умер от коклюша и кори. Тут мамаша Родона отправила чрезвычайно нежное послание дорогому сыночку, который после смерти своего кузена оказался наследником Королевского Кроули и стал еще ближе и дороже для доброй леди Джейн, чье нежное сердце уже до того усыновило племянника. Родон Кроули, превратившийся теперь в высокого красивого мальчика, вспыхнул, получив это письмо.

– Вы моя мама, тетя Джейн, – воскликнул он, – а не... а не она! – Но все-таки написал ласковое и почтительное письмо миссис Ребекке, жившей тогда в дешевом пансионе во Флоренции.

Однако мы забегаем вперед.

Для начала наша милочка Бекки упорхнула не очень далеко. Она опустилась на французском побережье в Булони, этом убежище многих невинных изгнанников из Англии, и там вела довольно скромный вдовый образ жизни, обзаведясь *femme de chambre* и занимая две-три комнаты в гостинице. Обедала она за табльдотом, где ее считали очень приятной женщиной и где она занимала соседей рассказами о своем брате, сэре Питте, и знатных лондонских знакомых и болтала всякую светскую чепуху, производящую столь сильное впечатление на людей неискушенных. Многие из них полагали, что Бекки особа с весом; она устраивала маленькие сборища за чашкой чая у себя в комнате и принимала участие в невинных развлечениях, которым предавалась местная публика: в морских купаниях, катании в открытых колясках, в прогулках по берегу моря и в посещении театра. Миссис Берджойс, супруга типографа, поселившаяся со всем своим семейством на лето в гостинице, – ее Берджойс приезжал к ней на субботу и воскресенье, – называла Бекки очаровательной, пока этот негодяй Берджойс не

вздумал приволокнуться за нею. Но ничего особенного не произошло, – Бекки всегда бывала общительна, весела, добродушна, в особенности с мужчинами.

В конце сезона толпы англичан уезжали, как обычно, за границу, и Бекки, по поведению своих знакомых из большого лондонского света, имела полную возможность убедиться в том, какого мнения придерживается о ней «общество». Однажды, скромно прогуливаясь по булонскому молу, в то время как утесы Альбиона сверкали в отдалении за полосой глубокого синего моря, Бекки встретила лицом к лицу с леди Партлет и ее дочерьми. Леди Партлет мановением зонтика собрала всех своих дочерей вокруг себя и удалилась с мола, метнув свирепый взгляд на бедную маленькую Бекки, оставшуюся стоять в одиночестве.

Однажды к ним прибыл пакетбот. Дул сильный ветер, а Бекки всегда доставляло удовольствие смотреть на уморительные страдальческие лица вымотанных качкой пассажиров. В этот день на пароходе оказалась леди Слингстоун. Ее милость весь переезд промучилась в своей коляске и едва была в состоянии пройти по сходням с корабля на пристань. Но едва она увидела Бекки, лукаво улыбающуюся из-под розовой шляпки, слабость ее как рукой сняло: бросив на Ребекку презрительный взгляд, от которого съежилась бы любая женщина, леди проследовала в здание таможни без всякой посторонней помощи. Бекки только рассмеялась, но не кажется мне, чтобы она была довольна. Она почувствовала себя одинокой, очень одинокой, а сиявшие вдаль утесы Англии были для нее неодолимой преградой.

В поведении мужчин тоже произошла какая-то трудно определяемая перемена. Как-то раз Гринстоун противно оскалил зубы и фамильярно расхохотался в лицо Бекки. Маленький Боб Сосунок, который три месяца тому назад был ее рабом и прошел бы под дождем целую милю, чтобы отыскать ее карету в веренице экипажей, стоявших у Гонт-Хауса, разговаривал однажды на набережной с гвардейцем Фицуфом (сыном лорда Хихо), когда Бекки прогуливалась там. Маленький Бобби кивнул ей через плечо, не снимая шляпы, и продолжал беседу с наследником Хихо. Том Рейкс попробовал войти в ее гостиную с сигарой в зубах, но Бекки захлопнула перед ним дверь и, наверное, заперла бы ее, если бы только пальцы гостя не попали в

щель. Ребекка начинала чувствовать, что она в самом деле одна на свете. «Будь он здесь, – думала она, – эти негодяи не посмели бы оскорблять меня!» Она думала о «нем» с большой грустью и, может, даже тосковала о его честной, глупой, постоянной любви и верности, его неизменном послушании, его добродушии, его храбрости и отваге. Очень может быть, что Бекки плакала, потому что она была особенно оживленна, когда сошла вниз к обеду, и подрумянилась чуть больше обычного.

Она теперь постоянно румянилась, а... а ее горничная покупала для нее коньяк – сверх того, который ей ставили в счет в гостинице.

Однако еще тягостнее, чем оскорбления мужчин, было, пожалуй, для Бекки сочувствие некоторых женщин. Миссис Кракенбери и миссис Вашингтон-Уайт проезжали через Булонь по дороге в Швейцарию. (Они ехали под охраной полковника Хорнера, молодого Бомори и, конечно, старика Кракенбери и маленькой дочери миссис Уайт.) Эти дамы не избегали Бекки. Они хихикали, кудахтали, болтали, соболезновали, утешали и покровительствовали Бекки, пока не довели ее до бешенства. «Пользоваться *их* покровительством!» – подумала она, когда дамы уходили, расцеловавшись с ней и расточая улыбки. Она услышала хохот Бомори, доносившийся с лестницы, и отлично поняла, как надо объяснить это веселье.

А после этого визита Бекки, аккуратно, каждую неделю платившая по счетам гостиницы, Бекки, старавшаяся быть приятной всем и каждому в доме, улыбавшаяся хозяйке, называвшая лакеев *monsieur* и расточавшая горничным вежливые слова и извинения, чем сторицей искупалась некоторая скупость в отношении денег (от которой Бекки никогда не была свободна), – Бекки, повторяю, получила от хозяина извещение с просьбой покинуть гостиницу. Кто-то сообщил ему, что миссис Кроули совершенно неподходящая особа для проживания у него в доме; английские леди не пожелают сидеть с нею за одним столом. И Бекки пришлось переселиться на частную квартиру, где скука и одиночество действовали на нее удручающе.

Все же, несмотря на эти щелчки, Бекки держалась, пробовала создать себе хорошую репутацию вопреки всем сплетням. Она не пропускала ни одной службы в церкви и пела там громче всех; она заботилась о вдовах погибших рыбаков, жертвовала рукоделия и рисунки для миссии в Квошибу; она участвовала в подписках на



благотворительные балы, но сама никогда не вальсировала, – словом, вела себя в высшей степени пристойно; и потому-то мы останавливаемся на этой поре ее жизни с большим удовольствием, чем на последующих, менее приятных эпизодах. Она видела, что люди ее избегают, и все-таки усердно улыбалась им; глядя на нее, вы никогда бы не догадались, какие муки унижения она испытывает.

Ее история так и осталась загадкой. Люди отзывались о ней по-разному. Одни, взявшие на себя труд заняться этим вопросом, говорили, что Бекки преступница; между тем как другие клялись, что она невинна, как агнец, а во всем виноват ее гнусный супруг. Многих она покорила тем, что ударялась в слезы, говоря о своем сыне, и изображала бурную печаль, когда упоминалось его имя или когда она встречала кого-нибудь похожего на него. Именно так она пленила сердце доброй миссис Олдерни, которая была королевой британской Булони и чаще всех задавала обеды и балы: Ребекка расплакалась, когда маленький Олдерни приехал из учебного заведения доктора Порки провести каникулы у матери.

– Ведь они с Родоном одного возраста и *так* похожи! – произнесла Бекки голосом, прерывающимся от муки.

В действительности между мальчиками была разница в пять лет и они были похожи друг на друга не больше, чем уважаемый читатель похож на вашего покорного слугу! Уэнхем, проезжая через Францию по пути в Киссинген, где он должен был встретиться с лордом Стайном, просветил миссис Олдерни на этот счет и заверил ее, что он может описать маленького Родона гораздо лучше, чем его мамаша, которая его терпеть не может и никогда не навещает; что мальчику тринадцать лет, тогда как маленькому Олдерни только восемь; он белокур, между тем как ее милый мальчуган темноволос, – словом, заставил почтенную даму пожалеть о своей доброте.

Стоило Бекки ценою невероятных трудов и усилий создать вокруг себя небольшой кружок, как кто-нибудь появлялся и грубо разрушал его, так что ей приходилось начинать все сначала. Ей было очень тяжело... очень тяжело... одиноко и тоскливо.

На некоторое время ее пригрела некая миссис Ньюбрайт, плененная сладостным пением Бекки в церкви и ее правоверными взглядами на разные серьезные вопросы, – миссис Бекки очень наострилась на них в былые дни в Королевском Кроули. Так вот: она

не только брала брошюры, но и читала их; она шила фланелевые юбки для Квошибу и коленкоровые ночные колпаки для индейцев с Кокосовых островов; раскрашивала веера в интересах обращения в истинную веру римского папы и евреев; заседала под председательством мистера Раулса по вторникам и мистера Хаплтона по четвергам; посещала воскресные богослужения дважды в день, а кроме того, по вечерам ходила слушать мистера Боулера, дарбиита, – и все напрасно. Миссис Ньюбрайт пришлось как-то вступить в переписку с графиней Саутдаун по вопросу о «Фонде для покупки грелок обитателям островов Фиджи» (обе леди были членами дамского комитета, управляющего делами этого прекрасного благотворительного общества), и так как она упомянула о «милом своем друге» миссис Родон Кроули, то вдовствующая графиня написала ей такое письмо о Бекки, с такими подробностями, намеками, фактами, выдумками и пожеланиями, что с той поры всякой близости между миссис Ньюбрайт и миссис Кроули настал конец. И все серьезные люди в Туре, где произошло это несчастье, немедленно перестали знаться с отверженной. Те, кто знаком с колониями англичан за границей, знают, что мы возим с собой свою гордость, свои пилюли, свои предрассудки, харвейскую сою, кайенский перец и других домашних богов, создавая маленькую Британию всюду, где мы только устраиваемся на жительство.

Бекки с тяжелым сердцем кочевала из одной колонии в другую: из Булони в Дьепп, из Дьеппа в Кан, из Кана в Тур, всячески стараясь быть респектабельной, но – увы! – в один прекрасный день ее непременно узнавали какие-нибудь *настоящие* галки и долбили клювами, пока не выгоняли вон из клетки.

Однажды в ней приняла участие миссис Хук Иглз – женщина безупречной репутации, имевшая дом на Портмен-сквер. Она проживала в гостинице в Дьеппе, куда бежала Бекки, и они познакомились сперва у моря, где вместе купались, а потом в гостинице за табльдотом. Миссис Иглз слыхала – да и кто не слыхал? – кое-что о скандальной истории со Стайном, но после беседы с Бекки заявила, что миссис Кроули – ангел, супруг ее – злодей, а лорд Стайн – человек без чести и совести, что, впрочем, всем известно, и весь шум, поднятый против миссис Кроули, результат

позорного злокозненного заговора, устроенного этим мерзавцем Уэнхемом.

– Если бы у вас, мистер Иглз, была хоть капля мужества, вы должны были бы надавать этому негодю пощечин в первый же раз, как встретитесь с ним в клубе, – заявила она своему супругу. Но Иглз был всего лишь тихим старым джентльменом, супругом миссис Иглз, любившим геологию и не обладавшим достаточно высоким ростом, чтобы дотянуться до чьих-либо щек.

И вот миссис Иглз стала покровительствовать миссис Родон, пригласила ее погостить в ее собственном доме в Париже, поссорилась с женой посла, не пожелавшей принимать у себя ее protégée, и делала все, что только во власти женщины, чтобы удержать Бекки на стезе добродетели и сберечь ее доброе имя.

Сперва Бекки вела себя примерно, но вскоре ей осточертела эта респектабельная жизнь. Каждый день был похож на другой – тот же опостылевший комфорт, то же катание по дурацкому Булонскому лесу, то же общество по вечерам, та же самая проповедь Блейра в воскресенье – словом, та же опера, неизменно повторявшаяся. Бекки изнывала от скуки. Но тут, к счастью для нее, приехал из Кембриджа молодой мистер Иглз, и мать, увидев, какое впечатление произвела на него ее маленькая приятельница, тотчас выставила Бекки за дверь.

Тогда Бекки попробовала жить своим домом вместе с одной подругой, но этот двойной ménage<sup>[402]</sup> привел к ссоре и закончился долгами. Тогда она решила перейти в пансион и некоторое время жила в знаменитом заведении мадам де Сент-Амур на Рю-Рояль в Париже, где и начала пробовать свои чары на потрепанных франтах и сомнительного поведения красавицах, посещавших салоны ее хозяйки. Бекки любила общество, положительно не могла без него существовать, как курильщик опиума не может обходиться без своего зелья, и в пансионе ей жилось неплохо.

– Здешние женщины так же забавны, как и в Мэйфере, – говорила она одному старому лондонскому знакомому, которого случайно встретила, – только платья у них не такие свежие. Мужчины носят чищенные перчатки и, конечно, страшные жулики, но не хуже Джека такого-то и Тома такого-то. Хозяйка пансиона несколько вульгарна, но не думаю, чтобы она была так вульгарна, как леди... – И тут она назвала имя одной модной львицы, но я скорее умру, чем открою его!

Увидев как-нибудь вечером освещенные комнаты мадам де Сент-Амур, мужчин с орденами и лентами за столиками для игры в экарте и дам в некотором отдалении, вы и в самом деле могли бы на мгновение подумать, что находитесь в хорошем обществе и что мадам – настоящая графиня. Многие так и думали, и Бекки некоторое время была одной из самых блестящих дам в салонах графини.

Но, по всей вероятности, старые кредиторы времен 1815 года отыскивали ее и заставили покинуть Париж, потому что бедной маленькой женщине пришлось неожиданно бежать из французской столицы, и тогда она переехала в Брюссель.

Как хорошо она помнила этот город! С усмешкой взглянула она на низкие антресоли, которые когда-то занимала, и в памяти ее возникло семейство Бейракрс, как они хотели бежать и отчаянно искали лошадей, а их карета стояла под воротами гостиницы. Она побывала в Ватерлоо и в Лекене, где памятник Джорджу Осборну произвел на нее сильное впечатление. Она сделала с него набросок.

– Бедный Купидон! – сказала она. – Как сильно он был влюблен в меня и какой он был дурак! Интересно, жива ли маленькая Эмилия? Славная была девочка. А этот толстяк, ее брат? Изображение его жирной особы до сих пор хранится где-то у меня среди бумаг. Это были простые, милые люди.

В Брюссель Бекки приехала с рекомендательным письмом от мадам де Сент-Амур к ее приятельнице, мадам графине де Бородино, вдове наполеоновского генерала, знаменитого графа де Бородино, оставшейся после кончины этого героя без всяких средств, кроме тех, которые давал ей табльдот и стол для игры в экарте. Второсортные денди и *goués*<sup>[403]</sup>, вдовы, вечно занятые какими-то тяжбами, и простоватые англичане, воображавшие, что встречаются в таких домах «континентальное общество», играли или питались за столами мадам де Бородино. Галантные молодые люди угощали общество шампанским, ездили кататься верхом с женщинами или нанимали лошадей для загородных экскурсий, покупали сообща ложи в театр или в оперу, делали ставки, нагибаясь через прелестные плечи дам во время игры в экарте, и писали родителям в Девоншир, что возвращаются за границей в самом лучшем обществе.

Здесь, как и в Париже, Бекки была королевой узкого пансионского мирка. Она никогда не отказывалась ни от шампанского, ни от

букетов, ни от поездки за город, ни от места в ложе, но всему предпочитала экарте по вечерам – и играла очень смело. Сперва она играла только по маленькой, потом на пятифранковики, потом на наполеондоры, потом на кредитные билеты; потом не могла оплатить месячного счета в пансионе, потом стала занимать деньги у юных джентльменов, потом опять обзавелась деньгами и стала помыкать мадам де Бородино, перед которой раньше лебезила и угождала, потом играла по десять су ставка и впала в жестокую нищету; потом подоспело ее содержание за четверть года, и она расплатилась по счету с мадам де Бородино и опять начала ставить против месье де Россиньоля или шевалье де Раффа.

С прискорбием нужно сознаться, что Бекки, покидая Брюссель, осталась должна мадам де Бородино за трехмесячное пребывание в пансионе. Об этом обстоятельстве, а также о том, как она играла, пила, как стояла на коленях перед преподобным мистером Маффом, англиканским священником, вымаливая у него деньги, как любезничала с милордом Нудлем, сыном сэра Нудля, учеником преподобного мистера Маффа, которого частенько приглашала к себе в комнату и у которого выигрывала крупные суммы в экарте, – об этом, как и о сотне других ее низостей, графиня де Бородино осведомляет всех англичан, останавливающихся в ее заведении, присовокупляя, что мадам Родон была просто-напросто *une vipère*<sup>[404]</sup>.

Так наша маленькая скиталица раскидывала свой шатер в различных городах Европы, не ведая покоя, как Улисс или Бемфилд Мур Кэрю<sup>[405]</sup>. Ее вкус к беспорядочной жизни становился все более заметным. Скоро она превратилась в настоящую цыганку и стала знаться с людьми, при встрече с которыми у вас волосы встали бы дыбом.

В Европе нет сколько-нибудь крупного города, в котором не было бы маленькой колонии английских проходимцев – людей, чьи имена мистер Хемп, судебный исполнитель, время от времени оплачивает в камере шерифа, – молодых джентльменов, часто сыновей весьма почтенных родителей (только эти последние не желают их знать), завсегдатаев бильярдных зал и кофеен, покровителей скачек и игорных столов. Они населяют долговые тюрьмы, они пьянствуют и шумят, они дерутся и бесчинствуют, они удирают, не заплатив по счетам, вызывают на дуэль французских и немецких офицеров,

обыгрывают мистера Спунни в экарте, раздобывают деньги и уезжают в Баден в великолепных бричках, пускают в ход непогрешимую систему отыгрышей и шныряют вокруг столов с пустыми карманами – обтрепанные драчуны, нищие франты, – пока не надуют какого-нибудь еврея-банкира, выдав ему фальшивый вексель, или не найдут какого-нибудь нового мистера Спунни, чтобы ограбить его. Забавно наблюдать смену роскоши и нищеты, в которой проходит жизнь этих людей. Должно быть, она полна сильных ощущений. Бекки – признаться ли в этом? – вела такую жизнь, и вела ее не без удовольствия. Она переезжала с этими бродягами из города в город. Удачливую миссис Родон знали за каждым игорным столом в Германии. Во Флоренции она жила на квартире вместе с мадам де Крюшкассе. Говорят, ей предписано было выехать из Мюнхена. А мой друг, мистер Фредерик Пижон, утверждает, что в ее доме в Лозанне его опоили за ужином и обыграли на восемьсот фунтов майор Лодер и почтенный мистер Дьюсэйс. Как видите, мы вынуждены слегка коснуться биографии Бекки; но об этой поре ее жизни, пожалуй, чем меньше будет сказано, тем лучше.

Говорят, что, когда миссис Кроули переживала полосу особого невезения, она давала кое-где концерты и уроки музыки. Какая-то мадам де Родон действительно выступала в Вильдбаде на *matinée musicale*<sup>[406]</sup>, причем ей аккомпанировал герр Шпоф, первый пианист господаря Валахского; а мой маленький друг, мистер Ивз, который знает всех и каждого и путешествовал повсюду, рассказывал, что в бытность его в Страсбурге в 1830 году некая *madame Rébecque*<sup>[407]</sup> пела в опере «*La Dame Blanche*»<sup>[408]</sup> и вызвала ужаснейший скандал в местном театре. Публика освистала ее и прогнала со сцены, отчасти за никудышное исполнение, но главным образом из-за проявлений неуместной симпатии со стороны некоторых лиц, сидевших в партере (туда допускались гарнизонные офицеры); Ивз уверяет, что эта несчастная *débutante*<sup>[409]</sup> была не кто иная, как миссис Родон Кроули.

Да, она была просто бродягой, скитавшейся по лицу земли. Когда она получала от мужа деньги, она играла, а проигравшись, все же не умирала с голоду. Кто скажет, как ей это удавалось? Передают, что однажды ее видели в Санкт-Петербурге, но из этой столицы ее ускоренным порядком выслала полиция, так что совсем уже нельзя верить слухам, будто она потом была русской шпионкой в Теплице и в

Вене. Мне даже сообщали, что в Париже Бекки отыскала родственницу, не более и не менее как свою бабушку с материнской стороны, причем та оказалась вовсе не Монморанси, а безобразной старухой, капельдинершей при каком-то театре на одном из бульваров. Свидание их, о котором, как видно из дальнейшего, знали и другие лица, было, вероятно, очень трогательным. Автор настоящей повести не может сказать о нем ничего достоверного.

Как-то в Риме случилось, что миссис де Родон только что перевели ее полугодовое содержание через одного из плавных тамошних банкиров, а так как каждый, у кого оказывалось на счету свыше пятисот скуди, приглашался на балы, которые этот финансовый туз устраивал в течение зимнего сезона, то Бекки удостоилась пригласительного билета и появилась на одном из званых вечеров князя и княгини Полониа. Княгиня происходила из семьи Помпилиев<sup>[410]</sup>, ведших свой род по прямой линии от второго царя Рима и Эгерии из дома Олимпийцев, а дедушка князя, Алессандро Полониа, торговал мылом, эссенциями, табаком и платками, был на побегушках у разных господ и помаленьку ссужал деньги под проценты. Все лучшее общество Рима толпилось в гостиных банкира – князя, герцоги, послы, художники, музыканты, монсеньоры, юные путешественники со своими гувернерами – люди всех чинов и званий. Залы были залиты светом, блистали золочеными рамами (с картинами) и сомнительными антиками. А огромный позолоченный герб хозяина – золотой гриб на пунцовом поле (цвет платков, которыми торговал его дедушка) и серебряный фонтан рода Помпилиев – сверкал на всех потолках, дверях и стенах дома и на огромных бархатных балдахинах, готовых к приему пап и императоров.

И вот Бекки, приехавшая из Флоренции в дилижансе и остановившаяся в очень скромных номерах, получила приглашение на званый вечер у князя Полониа. Горничная нарядила ее старательнее обычного, и Ребекка отправилась на бал, опираясь на руку майора Лодера, с которым ей привелось путешествовать в то время. (Это был тот самый Лодер, который на следующий год застрелил в Неаполе князя Раволи и которого сэр Джон Бакскин избил тростью за то, что у него в шляпе оказалось еще четыре короля, кроме тех, которыми он играл в экарте.) Они вместе вошли в зал, и Бекки увидела там немало



знакомых лиц, которые помнила по более счастливому времени, когда была хотя и не невинна, но еще не поймана. Майора Лодера приветствовали многие иностранцы – бородатые остроглазые господа с грязными полосатыми орденскими ленточками в петлицах и весьма слабыми признаками белья. Но соотечественники майора явно избегали его. У Бекки тоже нашлись знакомые среди дам – вдовы-француженки, сомнительные итальянские графини, с которыми жестоко обращались их мужья... Фуй! стоит ли нам говорить об этих отбросах и подонках, – нам, вращавшимся на Ярмарке Тщеславия среди самого блестящего общества! Если уж играть, так играть чистыми картами, а не этой грязной колодой. Но всякий входивший в состав бесчисленной армии путешественников видал таких мародеров, которые, примазываясь, подобно Ниму и Пистолю<sup>[411]</sup>, к главным силам, носят мундир короля, хвастаются купленными чинами, но грабят в свою пользу и иногда попадают на виселицу где-нибудь у большой дороги.

Итак, Бекки под руку с майором Лодером прошла по комнатам, выпила вместе с ним большое количество шампанского у буфета, где гости, а в особенности иррегулярные войска майора, буквально дрались из-за угощения, а затем, изрядно подкрепившись, двинулась дальше и дошла до гостиной самой княгини в конце анфилады (там, где статуя Венеры и большие венецианские зеркала в серебряных рамах). В этой комнате, обтянутой розовым бархатом, стоял круглый стол, и здесь княжеское семейство угощало ужином самых именитых гостей. Бекки вспомнилось, как она в таком же избранном обществе ужинала у лорда Стайна... И вот он сидит за столом у Полониа, и она увидела его.

На его белом, лысом, блестящем лбу алел шрам от раны, нанесенной брильянтом; рыжие бакенбарды были перекрашены и отливали пурпуром, отчего его бледное лицо казалось еще бледнее. На нем была цепь и ордена, среди них орден Подвязки на голубой ленте. Из всех присутствовавших он был самым знатным, хотя за столом находились и владетельный герцог, и какое-то королевское высочество, – каждый со своими принцессами; рядом с милордом восседала красавица графиня Белладонна, урожденная де Гландье, супруг которой (граф Паоло делла Белладонна), известный обладатель



замечательных энтомологических коллекций, уже давно находился в отсутствии, будучи послан с какой-то миссией к императору Марокко.

Когда Бекки увидела его знакомое и столь прославленное лицо, каким вульгарным показался ей майор Лодер и как запахло табаком от противного капитана Рука! Мгновенно в ней встрепенулась светская леди, и она попыталась и выглянуть, и держать себя так, точно снова очутилась в Мэйфере. «У этой женщины вид глупый и злой, – подумала она, – я уверена, что она не умеет развлечь его. Да, она, должно быть, ему страшно наскучила; со мной он никогда не скучал».

Много таких трогательных надежд, опасений и воспоминаний трепетало в ее сердечке, когда она смотрела на прославленного вельможу своими блестящими глазами (они блестели еще больше от румян, которыми она покрывала себе лицо до самых ресниц). Надевая на парадный прием орден Звезды и Подвязки, лорд Стайн принимал также особо величественный вид и смотрел на всех и говорил с важностью могущественного владыки, каковым он и был. Бекки залюбовалась его снисходительной улыбкой, его непринужденными, но утонченными манерами. Ах, *bon Dieu*, каким он был приятным собеседником, как он блестящ и остроумен, как много знает, как прекрасно держится! И она променяла все это на майора Лодера, провонявшего сигарами и коньяком, на капитана Рука, с его кучерскими шуточками и боксерским жаргоном, и на других, им подобных!

«Интересно, узнает ли он меня!» – подумала она. Лорд Стайн, улыбаясь, беседовал с какой-то знатной дамой, сидевшей рядом с ним, и вдруг, подняв взор, увидел Бекки.

Она страшно смутилась, встретившись с ним глазами, изобразила на своем лице самую очаровательную улыбку, на какую была способна, и сделала его милости скромный, жалобный реверансик. С минуту лорд Стайн взирал на нее с таким же ужасом, какой, вероятно, охватил Макбета, когда на его званом ужине появился дух Банко; раскрыв рот, он смотрел на нее до тех пор, пока этот отвратительный майор Лодер не потянул ее за собою из гостиной.

– Пройдемтесь-ка в залу, где ужинают, миссис Ребекка, – заметил этот джентльмен. – Мне тоже захотелось пожрать, когда я увидел, как лопают эти аристократишки. Надо отведать хозяйского шампанского.

Бекки подумала, что майор уже и без того выпил более чем достаточно.

На другой день она отправилась гулять в Монте-Пинчо – этот Хайд-парк римских фланеров, – быть может, в надежде еще раз увидеть лорда Стайна. Но она встретила там с другим своим знакомым: это был мистер Фич, доверенное лицо его милости. Он подошел к Бекки, кивнул ей довольно фамильярно и дотронувшись одним пальцем до шляпы.

– Я знал, что мадам здесь, – сказал он. – Я шел за вами от вашей гостиницы. Мне нужно дать вам совет.

– От маркиза Стайна? – спросила Бекки, собрав все остатки собственного достоинства и замирая от надежды и ожидания.

– Нет, – сказал камердинер, – от меня лично. Рим очень нездоровое место.

– Не в это время года, месье Фич, только после Пасхи.

– А я заверяю, мадам, что и сейчас. Здесь многие постоянно болеют малярией. Проклятый ветер с болот убивает людей во все времена года. Слушайте, мадам Кроули, вы всегда были *bon enfant*<sup>[412]</sup>, и я вам желаю добра, *parole d'honneur*<sup>[413]</sup>. Берегитесь! Говорю вам, уезжайте из Рима, иначе вы заболете и умрете.

Бекки расхохоталась, хотя в душе ее клочотала ярость.

– Как! Меня, бедняжку, убьют? – сказала она. – Как это романтично! Неужели милорд возит с собой наемных убийц вместо проводников и держит про запас стилеты? Чепуха! Я не уеду, хотя бы ему назло. Здесь есть кому меня защитить.

Теперь расхохотался месье Фич.

– Защитить? – проговорил он. – Кто это вас будет защищать? Майор, капитан, любой из этих игроков, которых мадам выдает здесь, лишат ее жизни за сто луидоров. О майоре Лодере (он такой же майор, как я – милорд маркиз) нам известны такие вещи, за которые он может угодить на каторгу, а то и подальше! Мы знаем все, и у нас друзья повсюду. Мы знаем, кого вы видели в Париже и каких родственниц нашли там. Да, да, мадам может смотреть на меня сколько угодно, но это так! Почему, например, ни один наш посланник в Европе не принимает мадам у себя? Она оскорбила кое-кого, кто никогда не прощает, чей гнев еще распалился, когда он увидел вас. Он просто с ума сходил вчера вечером, когда вернулся домой. Мадам де

Белладонна устроила ему сцену из-за вас, рвала и метала так, что сохрани боже!

– Ах, так это происки мадам де Белладонна! – заметила Бекки с некоторым облегчением, потому что слова Фича сильно ее напугали.

– Нет, она тут ни при чем, она всегда ревнует. Уверяю вас, это сам монсеньор. Напрасно вы попались ему на глаза. И если вы останетесь в Риме, то пожалеете. Запомните мои слова. Уезжайте! Вот экипаж милорда, – и, схватив Бекки за руку, он быстро увлек ее в боковую аллею. Коляска лорда Стайна, запряженная бесценными лошадьми, мчалась по широкой дороге, сверкая гербами; развалиясь на подушках, в ней сидела мадам де Белладонна, черноволосая, цветущая, надутая, с болонкой на коленях и белым зонтиком над головой, а рядом с нею – старый маркиз, мертвенно-бледный, с пустыми глазами. Ненависть, гнев, страсть иной раз еще заставляли их загораться, но обычно они были тусклы и, казалось, устали смотреть на мир, в котором для истаскавшегося, порочного старика уже почти не оставалось ни красоты, ни удовольствий.

– Монсеньор так и не оправился после потрясений той ночи, – шепнул месье Фич, когда коляска промчалась мимо и Бекки выплянула вслед из-за кустов, скрывавших ее.

«Хоть это-то утешение!» – подумала Бекки.

Действительно ли милорд питал такие кровожадные замыслы насчет миссис Бекки, как говорил ей месье Фич (после кончины монсеньора он вернулся к себе на родину, где и жил, окруженный большим почетом, купив у своего государя титул барона Фиччи), но его фактотуму не захотелось иметь дело с убийцами, или же ему просто было поручено напугать миссис Кроули и удалить ее из города, в котором его милость предполагал провести зиму и где лицезрение Бекки было бы ему в высшей степени неприятно, – это вопрос, который так и не удалось разрешить. Но угроза возымела действие, и маленькая женщина не пыталась больше навязываться своему прежнему покровителю.

Все читали о грустной кончине этого вельможи, происшедшей в Неаполе; спустя два месяца после французской революции 1830 года достопочтенный Джордж Густав, Маркиз Стайн, Граф Гонт из Гонт-Касла, Пэр Ирландии, Виконт Хелборо, Барон Пичли и Грилсби, Кавалер высокоблагородного ордена Подвязки, испанского ордена

Золотого Руна, русского ордена Святого Николая первой степени, турецкого ордена Полумесяца, Первый Лорд Пудреной Комнаты и Грум Черной Лестницы, Полковник Гонтского, или Собственного его высочества регента, полка милиции, Попечитель Британского музея, Старший брат гильдии Святой Троицы, Попечитель колледжа Уайтфрайерс и Доктор гражданского права, скончался после ряда ударов, вызванных, по словам газет, потрясением, каким явилось для чувствительной души милорда падение древней французской монархии.

В одной еженедельной газете появился красноречивый перечень добродетелей маркиза, его щедрот, его талантов, его добрых дел. Его чувствительность, его приверженность славному делу Бурбонов, на родство с которыми он притязал, были таковы, что он не мог пережить несчастий своих августейших родичей. Тело его похоронили в Неаполе, а сердце – то сердце, что всегда волновали чувства возвышенные и благородные, – отвезли в серебряной урне в Гонт-Касл.

– В лице маркиза, – говорил мистер Уэг, – бедняки и изящные искусства потеряли благодетеля и покровителя, общество – одно из самых блестящих своих украшений, Англия – одного из величайших патриотов и государственных деятелей, и так далее, и так далее.

Его завещание долго и энергично оспаривалось, причем делались попытки заставить мадам де Белладонна вернуть знаменитый брильянт, называвшийся «Глаз иудея», который его светлость всегда носил на указательном пальце и который упомянутая дама якобы сняла с этого пальца после безвременной кончины маркиза. Но его доверенный друг и слуга месье Фич доказал, что кольцо было подарено упомянутой мадам де Белладонна за два дня до смерти маркиза, точно так же, как и банковые билеты, драгоценности, неаполитанские и французские процентные бумаги и т. д., обнаруженные в секретере его светлости и значившиеся в иске, вчиненном его наследниками этой безвинно опороченной женщине.

## **Глава LXV,** *полная дел и забав*

На следующий день после встречи за игорным столом Джоз разрядился необычайно тщательно и пышно и, не считая нужным хоть слово сказать кому-либо относительно событий минувшей ночи и не спросив, не хочет ли кто составить ему компанию, рано отбыл из дому, а вскоре уже наводил справки у дверей гостиницы «Слон». По случаю празднеств гостиница была полна народу, за столиками на улице уже курили и распивали местное легкое пиво, общие помещения тонули в облаках дыма. Мистера Джоза, когда он с важным видом осведомился на своем ломаном немецком языке, где ему найти интересующую его особу, направили на самый верх дома – выше комнат бельэтажа, где жило несколько странствующих торговцев, устроивших там выставку своих драгоценностей и парчи; выше апартаментов третьего этажа, занятых штабом игорной фирмы; выше номеров четвертого этажа, снятых труппой знаменитых цыганских вольтижеров и акробатов; еще выше – к маленьким каморкам на чердаке, где среди студентов, коммивояжеров, разносчиков и поселян, приехавших в столицу на празднества, Бекки нашла себе временное гнездышко – самое грязное убежище, в каком когда-либо скрывалась красота.

Бекки нравилась такая жизнь. Она была на дружеской ноге со всеми постояльцами – с торговцами, игроками, акробатами, студентами. У нее была беспокойная, ветреная натура, унаследованная от отца и матери – истых представителей богемы и по вкусам своим, и по обстоятельствам жизни. Если под рукой не было какого-нибудь лорда, Бекки с величайшим удовольствием болтала с его курьером. Шум, оживление, пьянство, табачный дым, гомон евреев-торговцев, важные, спесивые манеры нищих акробатов, жаргон заправил игорного дома, пение и буйство студентов – весь этот неумолчный гам и крик, царивший в гостинице, веселил и забавлял маленькую женщину, даже когда ей не везло и нечем было заплатить по счету. Тем милее была ей вся эта суэта теперь, когда кошелек у нее был

набит деньгами, которые маленький Джорджи выиграл ей накануне вечером.

Когда Джоз, отдуваясь, одолел последнюю скрипучую лестницу и, едва переводя дух, остановился на верхней площадке, а затем, отерев с лица пот, стал искать нужный ему № 92, дверь в комнату напротив, № 90, была открыта, и какой-то студент в высоких сапогах и грязном шлафроке лежал на кровати, покуривая длинную трубку, а другой студент, с длинными желтыми волосами и в расшитой шнурами куртке, чрезвычайно изящной и тоже грязной, стоял на коленях у двери № 92 и выкрикивал через замочную скважину мольбы, обращенные к особе, находившейся в комнате.

– Уходите прочь, – произнес знакомый голос, от которого Джоза пронизала дрожь. – Я жду кое-кого... Я жду моего дедушку. Нельзя, чтобы он вас здесь застал.

– Ангел Engländerin!<sup>[414]</sup> – вопил коленопреклоненный студент с белобрысой головой и с большим кольцом на пальце. – Сжальтесь над нами! Назначьте свидание! Отобедайте со мной и Фрицем в гостинице в парке. Будут жареные фазаны и портер, плумпудинг и французское вино. Мы умрем, если вы не согласитесь!

– Обязательно умрем! – подтвердил юный дворянин на кровати.

Этот разговор и услышал Джоз, хотя не понял из него ни слова по той простой причине, что никогда не изучал языка, на котором он велся.

– Newmero kattervang dooze, si vous plait!<sup>[415]</sup> – сказал Джоз тоном вельможи, когда обрел наконец дар речи.

– Quater fang tooce! – повторил студент и, вскочив на ноги, ринулся в свою комнату; дверь захлопнулась, и до Джоза донесся громкий взрыв хохота.

Бенгальский джентльмен стоял неподвижно, озадаченный этим происшествием, как вдруг дверь № 92 сама собою отворилась, и из комнаты выплянуло личико Бекки, полное лукавства и задора. Взгляд ее упал на Джоза.

– Это вы? – сказала она, выходя в коридор. – Как я ждала вас! Стойте! Не входите... через минуту я вас приму.

За эту минуту она сунула к себе в постель баночку румян, бутылку коньяку и тарелку с колбасой, наскоро приладила волосы и наконец впустила своего гостя.

Ее утренним нарядом было розовое домино, немножко выцветшее и грязноватое, местами запачканное помадой. Но широкие рукава не скрывали прекрасных, ослепительно белых рук, а пояс, которым была перехвачена ее тонкая талия, выгодно подчеркивал изящную фигуру. Бекки за руку ввела Джоза к себе в каморку.

– Входите! – сказала она. – Входите, и давайте побеседуем. Садитесь вот здесь. – И, слегка пожав руку толстому чиновнику, она со смехом усадила его на стул. Сама же уселась на кровать – конечно, не на бутылку и тарелку, на которых мог бы расположиться Джоз, если бы он вздумал занять это место. И вот, сидя там, Бекки начала болтать со своим давнишним поклонником.

– Как мало годы изменили вас! – сказала она, бросив на Джоза взгляд, полный нежного участия. – Я узнала бы вас где угодно; как приятно, живя среди чужих людей, опять увидеть честное, открытое лицо старого друга!

Если сказать правду, честное, открытое лицо выражало в этот момент что угодно, но только не прямодушие и честность. Наоборот, оно было весьма смущенным и озадаченным. Джоз оглядел странную комнатку, в которой нашел свою былую пассию. Одно из ее платьев висело на спинке кровати, другое свешивалось с гвоздя, вбитого в дверь; шляпка наполовину загораживала зеркало, а на подзеркальнике валялись очаровательные башмачки бронзового цвета. На столике у кровати лежал французский роман рядом со свечою – не восковой. Бекки собиралась было сунуть и ее в постель, но спрятала туда только бумажный колпачок, которым тушила свечку, отходя ко сну.

– Да, я узнала бы вас где угодно, – продолжала она, – женщина никогда не забывает некоторых вещей. А вы были первым мужчиной, которого я когда-либо... когда-либо видела!

– Да неужели? – произнес Джоз. – Разрази меня господь, не может быть, да что вы говорите!

– Когда я приехала к вам из Чизика вместе с вашей сестрой, я была еще совсем ребенком, – сказала Бекки. – Как поживает моя ненаглядная милочка? О, ее муж был ужасно испорченный человек, и, конечно, бедняжка ревновала его ко мне. Как будто я обращала на него внимание, когда существовал кто-то другой... но нет... не будем говорить о былом. – И она провела по ресницам носовым платочком с разодранными кружевами.

– Разве не странно, – продолжала она, – найти в таком месте женщину, которая жила в совершенно другом мире? Я перенесла столько горя и несчастий, Джозеф Седли! Мне пришлось так ужасно страдать, что иногда я просто с ума сходила! Я нигде не могу отдохнуть, я должна вечно скитаться, не зная ни покоя, ни счастья. Все мои друзья меня предали – все до одного. Нет на свете честных людей. Я была верной, безупречной женой, хотя и вышла замуж назло, потому что кто-то другой... но не будем об этом вспоминать! Я была верна ему, а он надо мной надругался и бросил меня. Я была нежнейшей матерью, у меня было только одно дитя, одна любовь, одна надежда, одна радость, его я прижимала к своему сердцу со всей нежностью матери, он был моей жизнью, моей молитвой, моим... моим благословением... и они... они отняли его у меня... отняли у меня! – И жестом, исполненным отчаяния, она прижала руку к сердцу и на минуту зарылась лицом в постель.

Бутылка с коньяком, лежавшая под одеялом, звякнула о тарелку с остатками колбасы. Обе, несомненно, были растроганы проявлением столь сильного горя. Макс и Фриц стояли за дверью, с удивлением прислушиваясь к рыданиям миссис Бекки. Джоз также порядком перепугался, увидев свою бывшую пассию в таком состоянии. И тут она начала излагать свою историю – повесть столь бесхитростную, правдивую и простую, что, слушая ее, становилось совершенно ясно: если когда-либо ангел, облаченный в белоснежные ризы, спускался с небес и здесь, на земле, становился жертвой коварных происков и сатанинской злобы, то это незапятнанное создание, эта несчастная непорочная мученица находилась в ту минуту перед Джозом – сидела на постели на бутылке с коньяком.

Между ними произошел очень долгий, дружеский и конфиденциальный разговор, во время которого Джоз Седли был осведомлен (но так, что это его ничуть не испугало и не обидело) о том, что сердце Бекки впервые научилось трепетать в присутствии его, несравненного Джоза Седли, что Джордж Осборн, конечно, ухаживал за ней без всякой меры и это могло возбудить ревность Эмилии и привело к их небольшой размолвке; но что Бекки решительно никогда и ничем не поощряла несчастного офицера и не переставала помышлять о Джозе с первого дня, как его увидела, хотя, разумеется, долг и обязанности замужней женщины она ставила



превыше всего и всегда соблюдала и будет соблюдать до своего смертного часа или до тех пор, пока вошедший в поговорку дурной климат той местности, где проживает полковник Кроули, не освободит ее от ярма, которое жестокость мужа сделала для нее невыносимым.

Джоз отправился домой, вполне убежденный в том, что Ребекка не только самая очаровательная, но и самая добродетельная женщина, и уже перебирал в уме всевозможные планы для устройства ее благополучия. Гонениям на Ребекку должен быть положен конец; она должна вернуться в общество, украшением которого призвана служить. Он посмотрит, что нужно будет сделать. Она должна выехать из этой скверной гостиницы и поселиться в тихой, спокойной квартире. Эмилия должна навестить ее и приласкать. Он все это уладит и посоветуется с майором. Бекки, прощаясь с Джозом, вытирала слезы непритворной благодарности и крепко пожала ему руку, когда галантный толстяк, изогнувшись, поцеловал ее пальчики.

Она проводила Джоза из своей каморки так церемонно, словно была владетельницей родового замка; а когда грузный джентльмен исчез в пролете лестницы, Макс и Фриц вышли из своей норы с трубками в зубах, и Бекки принялась потешаться, изображая им Джоза, а заодно жевала черствый хлеб и колбасу и прихлебывала свой излюбленный коньяк, слегка разведенный водой.

Джоз торжественно направился на квартиру к Доббину и там поведал ему трогательную историю, с которой только что ознакомился, не упомянув, однако, о том, что произошло за игорным столом накануне вечером. И в то время как миссис Бекки заканчивала свой прерванный *déjeuner à la fourchette*<sup>[416]</sup>, оба джентльмена стали совещаться и обсуждать, чем они могут быть ей полезны.

Какими судьбами попала она в этот городок? Как случилось, что у нее нет друзей и она скитается по свету одна-одинешенька? Маленькие мальчики в школе знают из начального учебника латинского языка, что по Авернской тропинке очень легко спускаться<sup>[417]</sup>. Обойдем же молчанием этот этап постепенного падения Ребекки. Она не стала хуже, чем была в дни своего благоденствия, – просто от нее отвернулась удача.

Что же касается миссис Эмилии, то она была женщиной с таким мягким и нелепым характером, что стоило ей услышать о чем-либо

несчастье, как она всем сердцем тянулась к страдальцу. А так как сама она никогда не помышляла ни о каких смертных грехах и не была в них повинна, то и не чувствовала того отвращения к пороку, которым отличаются более осведомленные моралисты. Если она безнадежно избаловывала всех, кто находился вблизи нее, своим вниманием и лаской; если она просила прощения у своей служанки за то, что побеспокоила ее звонком; если она извинялась перед приказчиком, показывавшим ей кусок шелка, или приседала перед метельщиком улиц, поздравляя его с прекрасным состоянием доверенного ему перекрестка, – а Эмилия, пожалуй, была способна на любую такую глупость, – то мысль, что ее старая знакомая несчастна, конечно же, должна была тронуть ее сердце; о том же, что кто-нибудь может быть наказан по заслугам, она и слышать не хотела. В мире, где законы издавала бы Эмилия, вероятно, было бы не очень удобно жить. Но мало встречается женщин, подобных Эмилии, – во всяком случае, среди правителей! Мне кажется, эта леди упразднила бы все тюрьмы, наказания, кандалы, плети, нищету, болезни, голод. Она была созданием столь ограниченным, что – мы вынуждены это признать – могла даже позабыть о нанесенной ей смертельной обиде.

Когда майор Доббин услышал от Джоза о сентиментальном приключении, которое последний только что пережил, он, скажем прямо, не проявил к нему такого же интереса, как наш бенгальский джентльмен. Наоборот, волнение его было отнюдь не радостным; он выразился кратко, но не вполне пристойно по адресу бедной женщины, попавшей в беду:

– Значит, эта вертихвостка опять объявилась?

Он всегда ее недолюбливал и не доверял ей с тех пор, как она впервые плюнула на него своими зелеными глазами и отвернулась, встретившись с его взглядом.

– Этот чертенок приносит с собою зло всюду, где только ни появится, – непочтительно заявил майор. – Кто знает, какую она вела жизнь и чем занимается здесь, за границей, совсем одна? Не говорите мне о гонениях и врагах; у честной женщины всегда есть друзья, и она не разлучается со своей семьей. Почему она оставила мужа? Может быть, он и был скверным, бесчестным человеком, как вы рассказываете. Он всегда был таким. Я отлично помню, как этот плут заманивал и надувал беднягу Джорджа. Кажется, был какой-то

скандал в связи с их разводом? Как будто я что-то слышал! – воскликнул майор Доббин, не очень-то интересовавшийся светскими сплетнями.

И Джоз тщетно старался убедить его, что миссис Бекки во всех отношениях добродетельная и безвинно обиженная женщина.

– Ну, ладно, ладно! Давайте спросим миссис Джордж, – сказал наш архидипломат майор. – Пойдемте к ней и посоветуемся с нею. Вы согласитесь, что кто-кто, а она хороший судья в таких делах.

– Гм! Эмми, пожалуй, годится, – сказал Джоз – ведь он-то не был влюблен в свою сестру.

– Пожалуй, годится? Черт возьми, сэр, она самая лучшая женщина, какую я только встречал в своей жизни! – выпалил майор. – Одним словом, идемте к ней и спросим, следует ли видаться с этой особой. Как она скажет, так и будет.

Этот противный, хитрый майор не сомневался, что играет наперняка. Он помнил, что одно время Эмми отчаянно и с полным основанием ревновала к Ребекке и никогда не упоминала ее имени без содрогания и ужаса. «Ревнивая женщина никогда не прощает», – думал майор. И вот наши два рыцаря направились через улицу к дому миссис Джордж, где та беспечно распевала романсы со своей учительницей мадам Штрумф.

Когда эта дама удалилась, Джоз приступил к делу с обычной своей высокопарностью.

– Дорогая моя Эмилия, – сказал он. – Со мной только что произошло совершенно необычайное... да... разрази меня господь... совершенно необычайное приключение. Один твой старый друг... да, весьма интересный старый друг, – друг, могу сказать, со стародавних пор, – только что прибыл сюда, и мне хотелось бы, чтобы ты с нею повидалась.

– С нею! – воскликнула Эмилия. – А кто это? Майор Доббин, не ломайте, пожалуйста, мои ножницы.

Майор крутил их, держа за цепочку, на которой они иногда висели у пояса хозяйки, и тем самым подвергал серьезной опасности свои глаза.

– Это женщина, которую я очень не люблю, – угрюмо заметил майор, – и которую вам также не за что любить.

– Это Ребекка, я уверена, что это Ребекка! – сказала Эмилия, краснея и приходя в сильнейшее волнение.

– Вы правы, как всегда, правы, – ответил Доббин.

Брюссель, Ватерлоо, старые-старые времена, горести, муки, воспоминания сразу ожили в нежном сердце Эмилии.

– Я не хочу ее видеть, – продолжала она. – Не могу.

– Что я вам говорил? – сказал Доббин Джозу.

– Она очень несчастна и... и всякая такая штука, – настаивал Джоз. – Она в страшной бедности, беззащитна... и болела... ужасно болела... и этот негодяй муж ее бросил.

– Ах! – воскликнула Эмилия.

– У нее нет ни одного друга на свете, – продолжал Джоз не без догадливости, – и она говорила, что она думает, что может довериться тебе. Она такая жалкая, Эмми! Она чуть с ума не сошла от горя. Ее рассказ страшно меня взволновал... честное слово, взволновал... могу сказать, что никогда еще такие ужасные гонения не переносились столь ангельски терпеливо. Семья поступила с ней крайне жестоко.

– Бедняжка! – сказала Эмилия.

– И она говорит, что если она не найдет дружеской поддержки, то, наверно, умрет, – продолжал Джоз тихим, дрожащим голосом. – Разрази меня господь! Ты знаешь, она покушалась на самоубийство! Она возит с собой опиум... я видел пузырек у нее в комнате... такая жалкая комнатка... в третьеразрядной гостинице «Слон», под самой крышей, на самом верху. Я ходил туда.

По-видимому, это не произвело впечатления на Эмми. Она даже улыбнулась слегка. Быть может, она представила себе, как Джоз пыхтел, взбираясь по лестнице.

– Она просто убита горем, – снова начал он. – Страшно слушать, какие страдания перенесла эта женщина. У нее был мальчуган, ровесник Джорджи.

– Да, да, я как будто припоминаю, – заметила Эмми. – Ну и что же?

– Красивейший ребенок, – сказал Джоз, который, как все толстяки, легко поддавался сентиментальному волнению и был сильно растроган повестью Ребекки, – сущий ангел, обожавший свою мать. Негодяи вырвали рыдающего ребенка из ее объятий и с тех пор не позволяют ему видеться с нею.

– Дорогой Джозеф, – воскликнула Эмилия, вскакивая с места, – идем к ней сию же минуту!

И она бросилась к себе в спальню, впопыхах завязала шляпку и, выбежав с шалью на руке, приказала Доббину идти с ними.

Доббин подошел и накинул ей на плечи шаль – белую кашемировую шаль, которую сам прислал ей из Индии. Он понял, что ему остается только повиноваться. Эмилия взяла его под руку, и они отправились.

– Она в номере девяносто втором, до него восемь маршей, – сказал Джоз, вероятно, не чувствовавший большой охоты опять подниматься под крышу. Он поместился у окна своей гостиной, выходящего на площадь, на которой стоит «Слон», и наблюдал, как наша парочка шла через рынок.

Хорошо, что Бекки тоже увидела их со своего чердака, где она балагурила и смеялась с двумя студентами. Те подшучивали над наружностью дедушки Бекки, прибытие и отбытие которого видели сами, но Бекки успела выпроводить их и привести в порядок свою комнатку, прежде чем владелец «Слона», знавший, что миссис Осборн жалуют при светлейшем дворе, и потому относившийся к ней с почтением, поднялся по лестнице, подбодряя миледи и герра майора на крутом подъеме.

– Милостивая леди, милостивая леди! – сказал хозяин, постучавшись в дверь к Бекки (накануне еще он называл ее просто мадам и обращался с нею без всяких церемоний).

– Кто там? – спросила Бекки, высовывая голову, и тихо вскрикнула. Перед нею стояли трепещущая Эмми и Доббин, долговязый майор с бамбуковой тростью.

Он стоял молча и наблюдал, заинтересованный этой сценою, ибо Эмми с распростертыми объятиями бросилась к Ребекке, и тут же простила ее, и обняла, и поцеловала от всего сердца. Ах, несчастная женщина, когда запечатлевались на твоих губах такие чистые поцелуи?

## Глава LXVI

### Amantium Irae [\[418\]](#)

Прямодушие и доброта, проявленные Эмилией, способны были растрогать даже такую закоренелую нечестивицу, как Бекки. На ласки и нежные речи Эмми она отвечала с чувством, очень похожим на благодарность, и с волнением, которое хотя и длилось недолго, но в то мгновение было почти что искренним. Рассказ о «рыдающем ребенке, вырванном из ее объятий», оказался удачным ходом со стороны Ребекки. Описанием этого душераздирающего события она вернула себе расположение подруги, и, конечно, оно же послужило одной из первых тем, на которые наша глупенькая Эмми заговорила со своей вновь обретенной приятельницей.

– Значит, они отняли у тебя твое милое дитя! – воскликнула наша простушка. – Ах, Ребекка, дорогой мой друг, бедная страдальца! Я знаю, что значит потерять сына, и могу сочувствовать тем, кто утратил его. Но, даст бог, твой сын будет возвращен тебе, так же как милосердное провидение вернуло мне моего мальчика.

– Дитя, мое дитя?.. О да, страдания мои были ужасны, – подтвердила Бекки, ощутив, однако, мимолетное чувство стыда. Ей стало как-то не по себе при мысли, что в ответ на такое полное и простодушное доверие она вынуждена сразу же начать со лжи. Но в том-то и беда тех, кто хоть раз покривил душой! Когда одна небылица принимается за правду, приходится выдумывать другую, чтобы не подорвать доверия к выданным раньше вексям; и, таким образом, количество лжи, пущенной в обращение, неизбежно увеличивается, и опасность разоблачения растет с каждым днем.

– Когда меня разлучили с сыном, – продолжала Бекки, – мои страдания были ужасны (надеюсь, она не сядет на бутылку!). Я думала, что умру... К счастью, у меня открылась горячка, так что доктор уже потерял надежду на мое выздоровление. Но я... выздоровела, и... вот я здесь, в бедности и без друзей.

– Сколько ему лет? – спросила Эмми.

– Одиннадцать, – ответила Бекки.

– Одиннадцать! – воскликнула гостья. – Но как же так? Ведь он родился в один год с Джорджи, а Джорджи...

– Я знаю, знаю! – воскликнула Бекки, которая совершенно не помнила возраста маленького Родона. – От горя я много чего перезабыла, дорогая моя Эмилия. Я очень сильно изменилась, иной раз совсем как безумная. Ему было одиннадцать, когда его отняли у меня. Да благословит господь его милую головку! Я его с тех пор не видела.

– Он белокурый или темненький? – продолжала плупышка Эмми. – Покажи мне его волосы.

Бекки чуть не расхохоталась над ее наивностью.

– Не сегодня, голубчик... когда-нибудь в другой раз, когда придут из Лейпцига мои сундуки, – ведь я оттуда приехала. Я покажу тебе и портрет его, который сама нарисовала еще давно, в счастливую пору.

– Бедная Бекки, бедная Бекки! – сказала Эмми. – Как же я-то должна быть благодарна! – (Хотя это благочестивое правило, внушаемое нам нашими родственницами с юных лет, – благодарить всевышнего за то, что нам гораздо лучше, чем кому-то другому, – не кажется мне особенно разумным.) И тут она, по своему обыкновению, подумала о том, что сын ее самый красивый, самый добрый и самый умный мальчик во всем свете.

– Вот ты увидишь моего Джорджи! – Лучше этого Эмми ничего не могла придумать для утешения Бекки. В самом деле, чем еще ее можно было бы успокоить!

Так обе женщины беседовали в течение часа или больше, и за это время Бекки успела полно и обстоятельно изложить подруге историю своей жизни. Она поведала Эмми, что семья мужа всегда смотрела на их брак с Родоном Кроули в высшей степени враждебно; что ее невестка (злокозненная женщина) настраивала Родона против нее; что муж стал заводить мерзкие связи, а ее совсем разлюбил; что она сносила бедность, пренебрежение, холодность со стороны существа, любимого ею больше всего на свете, – и все это ради счастья ее ребенка; наконец, что ей было нанесено гнуснейшее оскорбление, почему она и была вынуждена уехать от мужа: этот негодяй не постыдился требовать, чтобы она пожертвовала своим добрым именем ради должности, которую мог ему предоставить один весьма важный

и влиятельный, но беспринципный человек – маркиз Стайн. Ужаснейший изверг!

Эту часть своей богатой событиями истории Бекки рассказала с величайшей, чисто женской деликатностью и с видом негодующей добродетели. Нанесенное ей оскорбление заставило ее покинуть кров супруга, но негодяй отомстил ей, отняв у нее ребенка. И вот, закончила Бекки, теперь она скиталица – нищая, беззащитная, без друзей и без счастья.

Лица, знакомые с характером Эмми, легко могут себе представить, как она приняла эту историю, рассказанную довольно пространно. Она трепетала от негодования, слушая о поведении злодея Родона и изверга Стайна. Во взгляде ее появлялись знаки восклицания к каждой фразе, в которой Бекки описывала преследования со стороны своих аристократических родственников и охлаждение своего мужа. (Бекки его не порицала. Она говорила о нем скорее горестно, чем злобно. Она любила его слишком горячо; и разве он не отец ее мальчика!) А когда дело дошло до сцены разлуки с ребенком, Эмми надолго спряталась за своим носовым платочком, так что наша трагическая актриса должна была остаться очень довольна тем, какое впечатление ее игра производит на публику.

Пока дамы были заняты разговором, верный телохранитель Эмилии, майор (не хотевший, разумеется, мешать их беседе), устал ходить взад-вперед по узкому скрипучему коридорчику, потолок которого ерошил ворс на его шляпе, и, спустившись в нижний этаж гостиницы, попал в большую общую залу «Слона», откуда и шла лестница вверх. Это помещение всегда полно табачного дыма и обильно забрызгано пивом. На грязном столе стоят десятки одинаковых медных подсвечников с сальными свечами для постояльцев, а над подсвечниками рядами висят ключи от комнат. Эмми, когда направлялась к Бекки, покраснела от смущения, проходя через эту комнату, где собрались самые разношерстные люди: тирольские перчаточники и дунайские торговцы полотном со своими тюками; студенты, подкреплявшиеся бутербродами и мясом; бездельники, игравшие в карты или в домино на липких, залитых пивом столах; акробаты, отдохавшие в перерыве между двумя представлениями, – словом, *fumus* и *strepitus*<sup>[419]</sup> немецкой гостиницы в ярмарочное время. Лакей, не дожидаясь заказа, подал майору



кружку пива. Доббин вынул сигару и решил развлечься этим губительным зельем и газетою в ожидании, когда за ним придет вверенная его попечениям особа.

Вскоре по лестнице, позвякивая шпорами, спустились Макс и Фриц в шапочках набекрень и с трубками, разукрашенными гербами и пышными кисточками. Они повесили на доску ключ от № 90, заказали себе порцию бутербродов и пива и, усевшись неподалеку от майора, завели беседу, отрывки которой долетели до слуха Доббина. Разговор шел главным образом о «фуксах» и «филистерах»<sup>[420]</sup>, о дуэлях и попойках в соседнем шопенгаузенском университете, прославленном рассаднике просвещения, откуда они только что приехали в Eilwagen<sup>[421]</sup>, по-видимому, вместе с Бекки, чтобы присутствовать на свадебных торжествах в Пумперникеле.

– Эта маленькая Engländerin, кажется, попала en bays de gonnoissance<sup>[422]</sup>, – сказал Макс, знавший французский язык, своему товарищу Фрицу. – После ухода толстяка дедушки к ней явилась хорошенькая соотечественница. Я слышал, как они болтали и охали в комнате у малютки.

– Нужно взять билеты на ее концерт, – заметил Фриц. – У тебя есть деньги, Макс?

– Вот еще! – воскликнул тот. – Этот концерт – концерт in nubibus<sup>[423]</sup>. Ганс рассказывал, что она в Лейпциге объявляла о таком концерте, и бурши взяли много билетов. Но она уехала, не выступив. Вчера в карете она рассказывала, что ее пианист заболел в Дрездене. Я уверен, что она просто не умеет петь: голос у нее сипит так же, как у тебя, о пропившаяся знаменитость!

– Да, он у нее сипит; я слышал из окна, как она разделявала какую-то schreckliche<sup>[424]</sup> английскую балладу под названием: «De Rose upon de Balgony»<sup>[425]</sup>.

– Saufen und singen<sup>[426]</sup> вместе не уживаются, – заметил красноречивый Фриц, очевидно, предпочитавший первое из этих занятий. – Нет, не нужно брать у нее никаких билетов. Вчера вечером она выиграла в trente et quarante. Я видел ее: она заставила играть за себя какого-то английского мальчугана. Спустим твои денежки там же или в театре, а то угостим ее французским вином или коньяком в саду

Аврелия, а билеты брать ни к чему... Что скажешь? Еще по кружке пива?

И, по очереди окунув свои белокурые усы в омерзительное пойло, они подкрутили их и отбыли на ярмарку.

Майор, видевший, как вешали на крючок ключ от № 90, и слышавший беседу университетских фатов, не мог не понять, что их разговор относился к Бекки. «Чертенок, опять она принялась за свои старые штучки!» – подумал он и улыбнулся, вспомнив былые дни, когда он был свидетелем ее отчаянного заигрывания с Джозом и уморительного конца этой затеи. Они с Джорджем часто смеялись над этим впоследствии, пока – через несколько недель после женитьбы Джорджа – тот и сам не попал в тенета маленькой Цирцеи и не вошел с ней в какое-то соглашение, о чем товарищ его, конечно, догадывался, но предпочитал не спрашивать. Уильяму было слишком больно или стыдно выведывать эту позорную тайну, но однажды Джордж, видимо, в порыве раскаяния, сам намекнул на нее. Было это в утро сражения при Ватерлоо, когда молодые люди стояли впереди своих солдат, наблюдая сквозь пелену дождя за темными массами французов, занимавших расположенные напротив высоты.

– Я впутался в глупую интригу с одной женщиной, – сказал тогда Джордж. – Хорошо, что мы выступили в поход. Если меня убьют, то Эмми, надеюсь, никогда не узнает об этой истории. Эх, если бы ничего этого не было!

Уильям любил вспоминать и не раз утешал бедную вдову Джорджа рассказами о том, как Осборн, расставшись с женой, в первый день после сражения у Катр-Бра прочувствованно говорил об отце и жене. Это обстоятельство Уильям особенно подчеркивал в своих беседах с Осборном-старшим, и таким образом ему удалось склонить старого джентльмена хотя бы на самом закате дней примириться с памятью покойного сына.

«Итак, эта чертовка все еще продолжает свои козни, – думал Уильям. – Хотел бы я, чтобы она была за сотни миль отсюда! Она всюду приносит с собой зло».

Сжав руками виски и не видя у себя под носом «Пумперникельской газеты» недельной давности, Доббин сидел, погруженный в эти мрачные предчувствия и неприятные мысли, как

вдруг кто-то дотронулся зонтиком до его плеча. Доббин поднял голову и увидел миссис Эмилию.

У этой женщины была привычка тиранить майора Доббина (ибо и самому слабому человеку хочется над кем-нибудь властвовать), и она командовала им, заставляла его носить поноску и изредка гладила, словно он был большим ньюфаундлендским псом. Ему же нравилось, так сказать, бросаться в воду, когда Эмилия кричала: «Доббин, гоп!» – и трусить за нею рысцой, держа в зубах ее ридикюль. Наше повествование не достигло цели, если читатель до сих пор не заметил, что майор был порядочным простофилей.

– Почему вы не дождались меня, сэръ, чтобы проводить по лестнице? – сказала она, вздернув головку и насмешливо приседая перед Доббином.

– Я не мог выпрямиться в этом коридоре, – ответил майор, глядя на нее с забавно виноватым выражением и обрадованный возможностью подать Эмилии руку и вывести ее из этого ужасного, насквозь прокуренного помещения. Он вышел бы из гостиницы, даже не вспомнив про лакея, если бы тот не побежал за ним вдогонку, не остановил на пороге «Слона» и не заставил заплатить за пиво, к которому Доббин и не притронулся. Эмми весело смеялась; она заявила, что Доббин гадкий человек – хотел сбежать не расплатившись, и сделала несколько шутливых замечаний по поводу местного пива. Она была в прекрасном расположении духа и проворно перебежала Рыночную площадь. Ей нужно сию же минуту повидаться с Джозом. Майор посмеялся над проявлением таких бурных чувств: в самом деле, не очень часто бывало, чтобы миссис Эмилия хотела увидеть своего брата «сию же минуту».

Они застали коллектора в его гостиной в бельэтаже. Пока Эмми сидела запершись со своей подругой на чердаке, а майор отбивал барабанную дробь на липких столах в общей зале, Джоз, разгуливая по комнате и грызя ногти, то и дело поглядывал через Рыночную площадь на гостиницу «Слон». Ему тоже не терпелось повидаться с миссис Осборн.

– Ну, что же? – спросил он.

– Бедная, несчастная, как она настрадалась! – сказала Эмми.

– О да, разрази меня господь! – произнес Джоз, качая головой, так что его щеки затряслись, словно желе.

– Она займет комнату Пейн, а Пейн может перейти наверх, – продолжала Эмми.

Пейн была степенная англичанка-горничная при особе миссис Осборн. Проводник Кирш, как полагается, ухаживал за нею, а Джорджи изводил ее страшными рассказами о немецких разбойниках и привидениях. Занималась она главным образом тем, что ворчала, помыкала своей хозяйкой и грозила завтра же вернуться в свою родную деревню Клепем.

– Она займет комнату Пейн, – сказала Эмми.

– Вы хотите сказать, что собираетесь поселить эту женщину у себя в доме? – выпалил майор, вскочив на ноги.

– Да, собираемся, – ответила Эмилия самым невинным тоном. – Не злитесь и не ломайте мебель, майор Доббин! Конечно, мы собираемся поселить ее здесь.

– Конечно, моя дорогая, – сказал Джоз.

– Бедняжка так намучилась, – продолжала Эмми, – ее ужасный банкир прогорел и сбежал; ее муж – такой негодяй – бросил ее и отнял у нее ребенка! (Тут она стиснула кулачки и выставила их вперед, приняв самую грозную позу. Майор был очарован зрелищем столь отважной воительницы.) Бедная моя девочка! Совершенно одна, вынуждена давать уроки пения ради куска хлеба... Как же не устроить ее у нас!

– Берите у нее уроки, дорогая моя миссис Джордж, – воскликнул майор, – но не приглашайте к себе жить! Умоляю вас!

– Вздор! – фыркнул Джоз.

– Вы всегда такой добрый и отзывчивый... во всяком случае, вы таким были... я изумляюсь вам, майор Уильям! – вскричала Эмилия. – Когда же и помочь ей, как не сейчас, когда она так несчастна! Теперь-то и нужно оказать ей помощь. Самый старинный друг, какой у меня есть, и не...

– Она не всегда была вам другом, Эмилия, – сказал майор, не на шутку разгневанный.

Этого намека Эмилия не в силах была стерпеть. Взглянув почти с яростью в лицо майору, она сказала:

– Стыдитесь, майор Доббин! – и удалилась из комнаты, захлопнув дверь за собой и за своим оскорбленным достоинством.

– Намекать на это! – воскликнула она, когда дверь закрылась. – О, как это было жестоко с его стороны! – И она взглянула на портрет Джорджа, висевший, как обычно, в ее спальне, над портретом сына. – Это было жестоко. Если я простила, то ему и подавно следовало молчать. И ведь из его же собственных уст я узнала, какой гадкой и необоснованной была моя ревность и что ты чист... о да! Ты был чист, мой святой, вознесшийся на небеса!

Она прошла по комнате, вся дрожа от негодования. Потом оперлась на комод, над которым висело изображение мужа, и долго, не отрываясь, смотрела на него. Глаза Джорджа, казалось, глядели на нее с упреком, и взгляд их становился все печальнее. Давние бесценные воспоминания о краткой поре их любви опять нахлынули на нее. Рана, едва затянувшаяся с годами, снова сочилась кровью, – о, как мучительно! Эмилия не в силах была вынести укоризненного взгляда своего мужа. Это невозможно!.. Нет, нет!

Бедный Доббин! Бедный старый Уильям! Одно злосчастное слово уничтожило кропотливый труд стольких лет – здание, воздвигнутое бог знает на каких тайных и скрытых основаниях, где таились сокровенные страсти, нескончаемая борьба, неведомые жертвы... Произнесено одно слово – и рушится в прах дивный дворец надежды; одно слово – и прочь улетает птичка, которую ты всю свою жизнь старался приманить!

Уильям хотя и видел по выражению лица Эмилии, что наступила критическая минута, однако продолжал в самых энергических выражениях умолять Седли остерегаться Ребекки и не принимать ее. Он молил Джоза хотя бы навести о ней справки, рассказал, как ему довелось услышать, что она знается с игроками и всякими подозрительными людьми; напомнил, сколько зла она причинила в былые дни: как она вместе с Кроули обирала бедного Джорджа. Теперь она, по ее же собственному признанию, живет врозь с мужем, – и, быть может, на это есть причины... Как опасно будет ее общество для Эмилии, которая ничего не понимает в житейских делах! Уильям заклинал Джоза не допускать Ребекку в свою семью со всем красноречием, на какое только был способен, и с гораздо большей энергией, чем обычно выказывал этот невозмутимый джентльмен.

Будь Доббин менее порывист и более ловок, ему, возможно, удалось бы уговорить Джоза, но коллектор немало досадовал на майора, который, как ему казалось, постоянно подчеркивал свое превосходство над ним (он даже поделился своим мнением с мистером Киршем, курьером, а так как майор Доббин всю дорогу проверял счета мистера Кирша, тот вполне согласился со своим хозяином). И Джоз разразился хвастливой речью о том, что он сам сумеет защитить свою честь, и просит не вмешиваться в его дела, и не намерен слушать майора... Но тут их разговор – довольно продолжительный и бурный – был прерван самым естественным образом, а именно: прибыла миссис Бекки в сопровождении носильщика из гостиницы «Слон», нагруженного тощим багажом гостыи.

Она приветствовала хозяина с ласковой почтительностью; майору Доббину, который, как сразу же подсказало ей чутье, был врагом и только что пытался восстановить против нее Джоза, она поклонилась дружески, но сдержанно. На шум, вызванный ее прибытием, вышла из своей комнаты Эмми. Она подошла к госте и с жаром расцеловала ее, не обращая внимания на майора, если не считать того, что на него был брошен гневный взгляд, – вероятно, самый презрительный и самый несправедливый взгляд, в каком была повинна эта кроткая женщина со дня своего рождения. Но у нее имелись на это свои причины, она намерена была продолжать сердиться на Доббина. И Доббин ушел, негодуя на такую несправедливость (а не на свое поражение) и отвесив Эмили столь же высокомерный поклон, сколь высокомерен был убийственно вежливый реверанс, которым маленькой женщине угодно было с ним попрощаться.

Когда он удалился, Эмми стала особенно оживленной и нежной с Ребеккою и принялась хлопотать и устраивать свою гостью в отведенной для нее комнате с таким пылом и энергией, какие при своем спокойном характере редко обнаруживала. Но когда людям, в особенности людям слабым, нужно совершить какой-нибудь несправедливый поступок, то лучше уж, чтобы он совершился быстро. К тому же Эмми воображала, что своим поведением она выказывает большую твердость и надлежащую любовь и уважение к памяти покойного капитана Осборна.

К обеду явился с гуляния Джорджи и увидел, что стол накрыт, как обычно, на четыре прибора, но одно место занято не майором Доббином, а какой-то дамой.

– О! А где Доб? – спросил юный джентльмен, выражаясь, по своему обыкновению, чрезвычайно просто.

– Майор Доббин, должно быть, обедает в городе, – ответила ему мать и, притянув мальчика к себе, осыпала поцелуями, откинула ему волосы со лба и представила его миссис Кроули.

– Это мой сын, Ребекка! – произнесла миссис Осборн с таким выражением, словно хотела сказать: «Может ли что на свете сравниться с ним?»

Бекки упоенно взглянула на Джорджи и нежно пожала ему руку.

– Милый мальчик! – сказала она. – Как он похож на моего...

Волнение помешало ей договорить, но Эмилия и без слов поняла, что Бекки подумала о своем собственном обожаемом ребенке. Впрочем, общество приятельницы утешило миссис Кроули, и она пообедала с большим аппетитом.

Всякий раз, как она что-нибудь говорила, Джорджи внимательно смотрел на нее и прислушивался. За десертом Эмми вышла из-за стола отдать какое-то распоряжение по хозяйству; Джоз дремал в глубоком кресле над номером «Галиньяни»; Джорджи и гостья сидели друг возле друга; мальчик продолжал хитро поглядывать на нее и наконец отложил в сторону щипцы для орехов.

– Послушайте, – сказал Джорджи.

– Что такое? – ответила Бекки, смеясь.

– Ведь вы та дама, которую я видел в маске за rouge et noir!

– Тс! Ах ты, маленький проказник! – ответила Бекки, беря его руку и целуя ее. – Твой дядя там тоже был, и твоя мамочка не должна этого знать.

– О нет... ни в коем случае, – ответил мальчуган.

– Видишь, мы уже совсем подружились! – сказала Бекки, обращаясь к Эмми, когда та вернулась в столовую.

Что и говорить, миссис Осборн ввела к себе в дом очень подходящую и милую компаньонку!

Пылая негодованием, хотя еще и не ведая, сколь гнусная против него замышляется измена, Уильям бесцельно бродил по городу, пока не наткнулся на посланника Солитера, который и пригласил его

обедать. Во время обеда он как бы невзначай спросил посланника, не слышал ли тот про некую миссис Родон Кроули, которая, как ему помнится, наделала немало шуму в Лондоне. И тут Солитер, разумеется, знакомый со всеми лондонскими сплетнями и к тому же состоявший в родстве с леди Гонт, преподнес изумленному майору такую историю о Бекки и ее супруге, которая совершенно его ошеломила, а заодно сделала возможным наше повествование (ибо за этим-то столом много лет тому назад автор настоящей книги и имел удовольствие слышать сей увлекательный рассказ). Тафто, Стайн, семейство Кроули – все, связанное с Бекки и ее прежней жизнью, – все получило должную оценку в устах язвительного дипломата. Он знал все решительно – и даже больше – обо всем на свете! Словом, он сделал простодушному майору самые изумительные разоблачения. Когда же Доббин сказал, что миссис Осборн и мистер Седли приняли миссис Кроули в свой дом, дипломат расхохотался так, что майора покорило, и заявил, что с тем же успехом можно было бы послать в тюрьму пригласить оттуда одного из тех бритоголовых джентльменов в желтых куртках, которые, скованные попарно, подметают улицы Пумперникаля, предоставить им кров и стол и поручить им воспитание маленького сорванца Джорджи!

Эти сведения немало изумили и перепугали майора. Еще утром (до свидания с Ребеккой) было решено, что Эмилия отправится вечером на придворный бал. Вот там-то он и поговорит с нею. Майор пошел домой, надел парадный мундир и появился при дворе, надеясь увидеть миссис Осборн. Она не приехала. Когда майор вернулся к себе, все огни в помещении, занятом Седли, были потушены. Доббин не мог повидаться с нею до утра. Уж не знаю, хорошо ли он отдохнул наедине со своей страшной тайной.

Утром, в самый ранний час, какой позволяло приличие, майор послал своего слугу через улицу с записочкой, в которой писал, что ему необходимо побеседовать с Эмилией. В ответ пришло сообщение, что миссис Осборн чувствует себя очень плохо и не выходит из спальни.

Эмилия тоже не спала всю ночь. Она думала все о том же, что волновало ее ум уже сотни раз. Сотни раз, уже готовая сдаться, она отказывалась принести жертву, представляющуюся ей непосильной. Она не могла решиться, несмотря на его любовь и постоянство,



несмотря на свою собственную привязанность, уважение и благодарность. Что проку в благодеяниях? Что проку в постоянстве и заслугах? Один завиток девичьих локонов, один волосок бакенбард мгновенно перетянет чашу весов, хотя бы на другой лежали все эти достоинства. Для Эмми они имели не больше веса, чем для других женщин. Она подвергла их испытанию... хотела их оценить... не могла... И теперь безжалостная маленькая женщина нашла предлог и решила стать свободной.

Когда майор был наконец допущен к Эмили, то вместо сердечного и нежного приветствия, к какому он привык за столько долгих дней, его встретили вежливым реверансом, и ему была подана затянутая в перчатку ручка, которую тотчас же вслед за тем и отдернули.

Ребекка находилась тут же и пошла навстречу майору, улыбаясь и протягивая ему руку. Доббин в смущении сделал шаг назад.

– Прошу... прошу извинить меня, сударыня, – сказал он, – но я обязан предупредить вас, что явился сюда не в качестве вашего друга.

– Вздор! О черт, оставим это! – воскликнул встревоженный Джоз, до смерти боявшийся всяких сцен.

– Интересно знать, что может майор Доббин сказать против Ребекки? – произнесла Эмилия тихим, ясным, чуть дрогнувшим голосом и с весьма решительным видом.

– Я не допущу никаких таких вещей у себя в доме! – опять вмешался Джоз. – Повторяю, не допущу. И, Доббин, прошу вас, сэр, прекратите все это!

Он густо покраснел, огляделся по сторонам и, дрожа и пыхтя, направился к двери своей комнаты.

– Дорогой друг, – произнесла Ребекка ангельским голосом, – выслушайте, что майор Доббин имеет сказать против меня.

– Я *не желаю* этого слушать! – взвизгнул Джоз срывающимся голосом и, подобрав полы своего халата, удалился.

– Остались только две женщины, – сказала Эмилия. – Теперь вы можете говорить, сэр!

– Такое обращение со мной едва ли подобает вам, Эмилия, – высокомерно ответил майор, – и, я думаю, мне никто не поставит в вину грубого обращения с женщинами. Мне не доставляет никакого удовольствия исполнить тот долг, который привел меня сюда.

– Так, пожалуйста, исполните его поскорее, прошу вас, майор Доббин, – сказала Эмилия, раздражаясь все больше и больше. Выражение лица у Доббина, когда она заговорила так повелительно, было не из приятных.

– Я пришел сказать... и раз вы остались здесь, миссис Кроули, то мне придется говорить в вашем присутствии... что я считаю вас... что вам не подобает быть членом семейства моих друзей. Общество женщины, живущей врозь со своим мужем, путешествующей под чужим именем, посещающей публичные азартные игры...

– Я приехала туда на бал! – воскликнула Бекки.

– ...не может быть подходящим для миссис Осборн и ее сына, – продолжал Доббин. – И я могу прибавить, что здесь есть люди, которые вас знают и заявляют, что им известны такие вещи о вашем поведении, о которых я даже не желаю говорить в присутствии... в присутствии миссис Осборн.

– Вы избрали очень скромный и удобный вид клеветы, майор Доббин, – сказала Ребекка. – Вы оставляете меня под тяжестью обвинения, которого, в сущности говоря, даже не предъявили. В чем же оно состоит? Я неверна мужу? Неправда! Пусть кто угодно попробует доказать это, хотя бы вы сами! Моя честь так же незапятнанна, как и честь тех, кто чернит меня по злобе. Может быть, вы обвиняете меня в том, что я бедна, всеми покинута, несчастна? Да, я виновна в этих преступлениях, и меня наказывают за них каждый день. Позволь мне уехать, Эмми. Стоит только предположить, что я с тобой не встречалась, и мне будет не хуже сегодня, чем было вчера. Стоит только предположить, что ночь прошла и бедная страдальца снова пустилась в путь... Помнишь песенку, которую мы певали в былые дни – милые былые дни? Я с тех самых пор скитаюсь по свету – бедная, отверженная, презираемая за свои несчастья и оскорбляемая, потому что я одинока. Позволь мне уехать: мое пребывание здесь мешает планам этого джентльмена!

– Да, сударыня, мешает, – сказал майор. – Если мое слово что-нибудь значит в этом доме...

– Ничего оно не значит! – перебила Эмилия. – Ребекка, ты останешься у меня. Я-то тебя не покину из-за того, что все тебя преследуют, и не оскорблю из-за того... из-за того, что майору Доббину заблагорассудилось так поступить. Пойдем отсюда, милочка!

И обе женщины направились к двери.

Уильям распахнул ее. Однако, когда дамы выходили из комнаты, он взял Эмилию за руку и сказал:

– Пожалуйста, останьтесь на минуту поговорить со мной!

– Он не хочет говорить с тобой при мне, – сказала Бекки с видом мученицы. Эмилия в ответ стиснула ей руку.

– Клянусь честью, я намерен говорить не о вас, – сказал Доббин. – Эмилия, вернитесь! – И она вернулась. Доббин отвесил поклон миссис Кроули, затворяя за нею дверь. Эмилия глядела на него, прислонившись к зеркалу. Лицо и даже губы у нее побелели.

– Я был взволнован, когда говорил здесь давеча, – начал майор после короткого молчания, – и напрасно упомянул о своем значении в вашем доме.

– Совершенно верно, – сказала Эмилия; зубы у нее стучали.

– Во всяком случае, у меня есть право на то, чтобы меня выслушали, – продолжал Доббин.

– Это великодушно – напоминать, что мы вам многим обязаны! – ответила Эмми.

– Право, которое я имею в виду, предоставлено мне отцом Джорджа, – сказал Уильям.

– Да! А вы оскорбили его память. Оскорбили вчера. Вы сами это знаете. И я вам никогда этого не прощу... никогда! – сказала Эмилия.

Каждая короткая гневная фраза звучала как выстрел.

– Так вот вы о чем, Эмилия! – грустно отвечал Уильям. – Вы хотите сказать, что эти нечаянно вырвавшиеся слова могут перевесить преданность, длившуюся целую жизнь? Мне кажется, что память Джорджа ни в чем не была оскорблена мною, и если уж нам начать обмениваться упреками, то я, во всяком случае, не заслуживаю ни одного от вдовы моего друга, матери его сына. Подумайте над этим потом, когда... когда у вас будет время, – и ваша совесть отвергнет подобное обвинение. Да она уже и сейчас его отвергает!

Эмилия поникла головой.

– Не моя вчерашняя речь взволновала вас, – продолжал Доббин. – Это только предлог, Эмилия, или я зря любил вас и наблюдал за вами пятнадцать лет! Разве я не научился за это время читать ваши чувства и заглядывать в ваши мысли? Я знаю, на что способно ваше сердце: оно может быть верным воспоминанию и лелеять мечту, но оно не

способно чувствовать такую привязанность, какая была бы достойным ответом на мою любовь и какой я мог бы добиться от женщины более великодушной. Нет, вы не стоите любви, которую я вам дарил! Я всегда знал, что награда, ради которой я бился всю жизнь, не стоит труда; что я был просто глупцом и фантазером, выменивавшим всю свою верность и пыл на жалкие остатки вашей любви. Я прекращаю этот торг и удаляюсь. Я вас ни в чем не виню. Вы очень добры и сделали все, что было в ваших силах. Но вы не могли... не могли подняться до той привязанности, которую я питал к вам и которую с гордостью разделила бы более возвышенная душа. Прощайте, Эмилия! Я наблюдал за вашей борьбой. Надо ее кончать: мы оба от нее устали.

Эмилия стояла безмолвная, испуганная тем, как внезапно Уильям разорвал цепи, которыми она его удерживала, и заявил о своей независимости и превосходстве. Он так долго был у ее ног, что бедняжка привыкла попирать его. Ей не хотелось выходить за него замуж, но хотелось его сохранить. Ей не хотелось ничего ему давать, но хотелось, чтобы он отдавал ей все. Такие сделки нередко заключаются в любви.

Вылазка Уильяма совершенно опрокинула и разбила ее. *Ее* же атака еще раньше потерпела неудачу и была отражена.

– Должна ли я понять это в том смысле, что вы... что вы уезжаете... Уильям? – сказала она.

Он печально рассмеялся.

– Я уезжал уже однажды и вернулся через двенадцать лет. Мы были молоды тогда, Эмилия. Прощайте. Я потратил достаточную часть своей жизни на эту игру.

Пока они разговаривали, дверь в комнату миссис Осборн все время была приоткрыта: Бекки держалась за ручку и повернула ее, как только Доббин ее отпустил. Поэтому она слышала каждое слово приведенного выше разговора. «Какое благородное сердце у этого человека, – подумала она, – и как бесстыдно играет им эта женщина!» Бекки восхищалась Доббином; она не питала к нему зла за то, что он выступил против нее. Это был ход, сделанный честно, в открытую. «Ах, – подумала она, – если бы у меня был такой муж... человек, наделенный сердцем и умом! Я бы и не посмотрела на его большие ноги!..» И, быстро что-то сообразив, Ребекка убежала к себе и

написала Доббину записочку, умоляя его остаться на несколько дней... отложить отъезд... она может оказать ему услугу в деле с Э.

Разговор был окончен. Еще раз бедный Уильям дошел до двери – и на этот раз удалился. А маленькая вдовушка, виновница всей этой кутерьмы, добилась своего, одержала победу, – и теперь ей оставалось по мере сил наслаждаться плодами этой победы. Пусть дамы позавидуют ее триумфу!

В романтический час обеда появился мистер Джорджи и снова обратил внимание на отсутствие «старого Доба». Обед прошел в полном молчании. Appetit Джоза не уменьшился, но Эмми ни к чему не притрагивалась.

После обеда Джорджи развалился на подушках дивана у большого старинного окна фонарем, выходявшего одной створкой на Рыночную площадь, где находится гостиница «Слон»; мать сидела рядом с сыном и что-то шила. Вдруг мальчик заметил признаки движения перед домом майора через улицу.

– Смотрите! – воскликнул он. – Вот рыдван Доба... его выкатили со двора.

«Рыдваном» назывался экипаж, приобретенный майором за шесть фунтов стерлингов. Все вечно потешались над ним по поводу этой покупки.

Эмми слегка вздрогнула, но ничего не сказала.

– Вот так штука! – продолжал Джорджи. – Фрэнсис выходит с чемоданами, а по площади идет Кунц, одноглазый фореитор, и ведет трех Schimmels<sup>[427]</sup>. Посмотрите-ка на его сапоги и желтую куртку: чем не чучело? Что такое? Они запрягают лошадей в экипаж Доба? Разве он куда-нибудь уезжает?

– Да, – сказала Эмми, – он уезжает в путешествие.

– В путешествие? А когда он вернется?

– Он... он не вернется, – ответила Эмми.

– Не вернется! – воскликнул Джорджи, вскакивая на ноги.

– Оставайтесь здесь, сэр! – взревел Джоз.

– Остаься, Джорджи! – произнесла мать, и лицо ее было печально.

Мальчик остановился, потом начал прыгать по комнате, то вскакивая коленями на подоконник, то спрыгивая на пол, и выказывал все признаки беспокойства и любопытства.

Лошадей впрягли. Багаж увязали. Фрэнсис вышел из дому с хозяйской саблей, тростью и зонтиком, связанными вместе, и уложил их в багажный ящик, а письменный прибор и старую жестяную коробку для треугольной шляпы поставил под сиденье. Вынес Фрэнсис и старый синий плащ на красной камлотовой подкладке, который не раз за эти пятнадцать лет укутывал своего владельца и hat manchen Sturm erlebt<sup>[428]</sup>, как говорилось в популярной песенке того времени. Он был куплен для ватерлооской кампании и укрывал Джорджа и Уильяма в ночь после битвы у Катр-Бра.

Показался старик Бурке, хозяин квартиры, затем Фрэнсис еще с какими-то пакетами... последними пакетами... затем вышел майор Уильям. Бурке хотел расцеловаться с ним, – майора обожали все, с кем он имел дело. С большим трудом удалось ему избавиться от таких проявлений приязни.

– Ей-богу, я пойду! – завизжал Джорджи.

– Передай ему вот это! – сказала Бекки, с интересом наблюдавшая за приготовлениями к отъезду, и сунула мальчику в руку какую-то бумажку. Тот стремглав ринулся вниз по лестнице и мигом перебежал улицу; желтый фореитор уже пощелкивал бичом.

Уильям, высвободившись из объятий хозяина, усаживался в экипаж. Джорджи вскочил вслед за ним, обвил руками его шею (это хорошо было видно из окна) и засыпал его вопросами. Затем он порылся в жилетном кармане и передал Доббину записку. Уильям торопливо схватил ее и вскрыл дрожащими руками, но выражение его лица тотчас изменилось, он разорвал бумажку пополам и выбросил из экипажа. Потом поцеловал Джорджи в голову, и мальчик с помощью Фрэнсиса вылез из коляски, утирая глаза кулаками. Он не отходил, держась рукой за дверцу. Fort, Schwager!<sup>[429]</sup> Желтый фореитор яростно защелкал бичом, Фрэнсис вскочил на козлы, лошади тронули. Доббин сидел понутив голову. Он так и не поднял глаз, когда проезжал под окнами Эмилии. А Джорджи, оставшись один на улице, залился громким плачем на глазах у всех.

Ночью горничная Эмми слышала, как он опять рыдал и всхлипывал, и принесла засахаренных абрикосов, чтобы утешить его. Она тоже поплакала вместе с ним. Все бедные, все смиренные, все честные, все хорошие люди, знавшие майора, любили этого доброго и простого человека.

А что касается Эмилии, то разве она не исполнила своего долга?  
Ей в утешение остался портрет Джорджа.

## **Глава LXVII,** ***трактующая о рожденьях, браках и*** ***смертях***

Какие бы ни лелеяла Бекки тайные планы, согласно которым преданная любовь Доббина должна была увенчаться успехом, маленькая женщина считала, что разглашать их пока не следует; к тому же, отнюдь не будучи заинтересована в чьем бы то ни было благополучии больше, чем в своем собственном, она хотела сперва обдумать множество вопросов, касавшихся ее самой и волновавших ее гораздо больше, чем земное счастье майора Доббина.

Нежданно-негаданно она очутилась в уютной, удобной квартире, окруженная друзьями, лаской и добродушными, простыми людьми, каких давно уже не встречала; и хотя она была бродягой и по склонности, и в силу обстоятельств, однако бывали минуты, когда отдых доставлял ей удовольствие. Как арабу, всю жизнь кочующему по пустыне на своем верблюде, приятно бывает отдохнуть у родника под финиковыми пальмами или заехать в город, погулять по базару, понежиться в бане и помолиться в мечети, прежде чем снова приняться за свои набег, так шатры и пилав Джоза были приятны этой маленькой измаильтянке. Она стреножила своего скакуна, сняла с себя оружие и с наслаждением грелась у хозяйского костра. Передышка в этой беспокойной бродячей жизни была ей невыразимо мила и отрадна.

И оттого, что самой ей было так хорошо, она изо всех сил старалась угодить другим; а мы знаем, что в искусстве делать людям приятное Бекки порой достигала подлинной виртуозности. Что касается Джоза, то даже во время краткого свидания с ним на чердаке гостиницы «Слон» Бекки ухитрилась вернуть себе значительную часть его расположения. А через неделю коллектор сделался ее рабом и восторженным поклонником. Он не засыпал после обеда, как бывало прежде – в гораздо менее веселом обществе Эмилии. Он выезжал с Бекки на прогулки в открытом экипаже. Он устраивал небольшие вечера и выдумывал в ее честь всякие празднества.



Солитер, поверенный в делах, столь жестоко поносивший Бекки, явился на обед к Джозу, а потом стал приходить ежедневно – свидетельствовать свое уважение блистательной миссис Кроули. Бедняжка Эмми, которая никогда не отличалась разговорчивостью, а после отъезда Доббина стала еще более унылой и молчаливой, совершенно перед нею стушеввалась. Французский посланник был так же очарован Бекки, как и его английский соперник. Немецкие дамы, снисходительные во всем, что касается морали, особенно у англичан, были в восторге от талантов и ума обворожительной приятельницы миссис Осборн. И хотя она не добивалась представления ко двору, однако сами августейшие и лучезарные особы прослышали о ее чарах и не прочь были с нею познакомиться. Когда же стало известно, что Бекки дворянка, из старинного английского рода, что муж ее гвардейский полковник, его превосходительство и губернатор целого острова, а с женой разъехался из-за пустяковой ссоры, каким придают мало значения в стране, где до сих пор читают «Вертера» и где «Сродство душ» того же Гете считается назидательной и нравственной книгой, то никто в высшем обществе маленького герцогства и не подумал отказать ей от дома; а дамы были склонны говорить ей «du» и клясться в вечной дружбе даже больше, чем Эмилии, которой они в свое время оказывали те же неоценимые почести. Любовь и Свободу эти простоватые немцы толкуют в таком смысле, которого не понять честным жителям Йоркшира или Сомерсетшира; и в некоторых философски настроенных и цивилизованных городах дама может разводиться сколько угодно раз и все-таки сохранить свою репутацию. С тех пор как Джоз обзавелся собственным домом, там никогда еще не бывало так весело, как теперь, благодаря Ребекке. Она пела, она играла, она смеялась, она разговаривала на трех языках, она привлекала в дом всех и каждого и внушала Джозу уверенность, что это его выдающиеся светские таланты и остроумие собирают вокруг него местное высшее общество.

Что касается Эмми, которая совсем не чувствовала себя хозяйкой в собственном доме, кроме тех случаев, когда приходилось платить по счетам, то Бекки скоро открыла способ услаждать и развлекать ее. Она постоянно беседовала с нею об опальном майоре Доббине, не уставала восхищаться этим замечательным, благородным человеком и уверять Эмилию, что та обошлась с ним страшно жестоко. Эмми

защищала свое поведение и доказывала, что оно было подсказано ей высокими религиозными правилами, что женщина, которая однажды... и так далее, да еще за такого ангела, как тот, за кого она имела величайшее счастье выйти замуж, остается его женою навсегда. Но она охотно предоставляла Бекки расхваливать майора и даже сама по многу раз в день наводила ее на разговор о Доббине.

Средства завоевать расположение Джорджи и слуг были найдены легко. Горничная Эмилии, как уже говорилось, была всей душой предана великодушному майору. Сперва она невзлюбила Бекки за то, что из-за нее Доббин разлучился с ее хозяйкой, но потом примирилась с миссис Кроули, потому что та показала себя самой пылкой поклонницей и защитницей Уильяма. И во время тех ночных совещаний, на которые собирались обе дамы после званых вечеров, мисс Пейн, расчесывая им «волоса», как она называла белокурые локоны одной и мягкие каштановые косы другой, всегда вставляла словечко в пользу этого милого, доброго джентльмена, майора Доббина. Ее заступничество сердило Эмилию так же мало, как и восторженные речи Ребекки. Она постоянно заставляла Джорджи писать ему и велела приписывать в постскриптуме, что «мама шлет привет». И когда по ночам она смотрела на портрет мужа, он уже не упрекал ее, – быть может, она сама упрекала его теперь, когда Уильям уехал.

Нельзя сказать, чтобы Эмми чувствовала удовлетворение от своей героической жертвы. Она была очень *distraite*<sup>[430]</sup>, нервна, молчалива и капризна. Родные никогда не видели ее такой раздражительной. Она побледнела и прихварывала. Не раз она пробовала петь некоторые романсы (одним из них был «Einsam bin ich und alleine»<sup>[431]</sup> – этот нежный любовный романс Вебера, который в стародавние дни, о юные дамы, когда вы только-только родились на свет, доказывал, что люди, жившие до вас, тоже умели и петь, и любить), – некоторые романсы, повторяю, к которым питал пристрастие майор. Напевая их в сумерках у себя в гостиной, она вдруг смолкала, уходила в соседнюю комнату и там, без сомнения, утешалась созерцанием миниатюры своего супруга.

После отъезда Доббина осталось несколько книг, помеченных его фамилией: немецкий словарь с надписью «Уильям Доббин \*\*\* полка» на первом листе, путеводитель с его инициалами и еще один-два

тома, принадлежавших ему. Эмми поставила их на комод, где, под портретами обоих Джорджей, помещались ее рабочая коробка, письменный прибор, Библия и молитвенник. Кроме того, майор, уезжая, забыл свои перчатки; и вот Джорджи, роясь как-то в материнских вещах, нашел аккуратно сложенные перчатки, спрятанные в так называемом потайном ящичке.

Не интересуясь обществом и скучая на балах, Эмми больше всего любила в летние вечера совершать с Джорджи далекие прогулки (на это время Бекки оставалась в обществе мистера Джозефа), и тогда мать с сыном беседовали о майоре в таком духе, что даже мальчик улыбался. Эмилия говорила сыну, что не знает человека лучше майора Уильяма – такого благородного, доброго, храброго и скромного. Снова и снова она твердила ему, что они обязаны всем, что только у них есть, вниманию и заботам этого доброго друга, что он помогал им в минуту их бедности и несчастий, пекся о них, когда никому не было до них дела; что все его товарищи восторгались им, хотя сам он никогда не упоминал о своих подвигах; что отец Джорджи доверял ему больше, чем кому-либо другому, и всегда пользовался дружбой доброго Уильяма.

– Твой папа часто рассказывал мне, – говорила она, – как еще в школе, когда он был маленьким мальчиком, Уильям не дал его в обиду одному забияке и драчуну. И дружба между ними не прекращалась с того самого дня и до последней минуты, когда твой дорогой отец пал на поле брани.

– А Доббин убил того человека, который убил папу? – спросил Джорджи. – Я уверен, что убил или убил бы, если бы только поймал его. Правда, мама? Когда я буду солдатом, и буду же я ненавидеть французов! Вот увидишь!

В таких беседах мать и сын проводили большую часть своего времени, когда оставались вдвоем. Бесхитростная женщина сделала мальчика своим наперсником. Он был таким же другом Уильяма, как и всякий, кто хорошо знал его.

Тем временем миссис Бекки, чтобы не отстать в проявлении чувств, тоже повесила у себя в комнате портрет, чем вызвала немало веселого удивления среди своих знакомых и великую радость самого оригинала, которым был не кто иной, как наш приятель Джоз.

Осчастливив семейство Седли своим вторжением, маленькая женщина, прибывшая с более чем скромным багажом, должно быть, стыдилась невзрачного вида своих чемоданов и картонок и потому часто с большим уважением упоминала о вещах, оставшихся в Лейпциге, откуда она собиралась их выписать. Если путешественник постоянно твердит о своем роскошном багаже, который по чистой случайности оказался не при нем, – остерегайся такого путешественника, о сын мой! В девяти случаях из десяти это жулик.

Ни Джоз, ни Эмми не знали этого важного правила. Им казалось совершенно несущественным, вправду ли у Бекки есть множество прекрасных платьев в ее невидимых сундуках. Но так как ее наличный гардероб был чрезвычайно поношен, Эмми снабжала ее вещами из собственных запасов или возила к лучшей в городе портнихе и там заказывала ей все необходимое. Теперь, будьте покойны, на Бекки не было рваных кружев и выцветших шелков, сползающих с плеча! С переменой своего положения она изменила и свои привычки: баночка с румянами была заброшена; другое возбуждающее средство, к которому Бекки пристрастилась, также было забыто, или, вернее, она обращалась к нему только в исключительных случаях – например, когда Джоз летним вечером, в отсутствие Эмми и мальчика, ушедших на прогулку, уговаривал ее выпить рюмочку. Но если Бекки строго себя ограничивала, то нельзя утверждать того же о Кирше: этого каналью невозможно было удержать от бутылки, и он никогда не мог сказать, сколько выпил. Иной раз он сам поражался, почему так быстро убывает французский коньяк мистера Седли. Но оставим эту щекотливую тему!.. По всей вероятности, Бекки злоупотребляла напитками значительно меньше, чем до своего переезда в приличное семейство.

Наконец из Лейпцига прибыли пресловутые сундуки, числом три, но ничуть не огромные и не роскошные. Да и что-то не похоже было, чтобы Бекки доставала из них какие-нибудь наряды или украшения. Но из одной шкатулки, содержащей кучу разных бумаг (это была та самая шкатулка, которую перерыл Родон Кроули в бешеных поисках денег, спрятанных Ребеккой), она с торжеством извлекла какую-то картину, а затем приколотла ее булавками к стене в своей комнате и подвела к ней Джоза. То был портрет джентльмена, исполненный карандашом, только физиономия его удостоилась окраски в розовый

цвет. Джентльмен ехал на слоне, удаляясь от нескольких кокосовых пальм и пагоды. Это была сцена из восточной жизни.

– Разрази меня господь! Да ведь это я! – вскричал Джоз.

Да, это был он сам в цвете молодости и красоты, в нанковой куртке покроя 1804 года. Это была старая картинка, висевшая когда-то в доме на Рассел-сквер.

– Я купила его, – сказала Бекки голосом, дрожащим от волнения. – Я тогда отправилась посмотреть, не могу ли я чем-нибудь помочь моим милым друзьям. Я никогда не расстанусь с этим портретом – и никогда не расстанусь!

– В самом деле? – воскликнул Джоз, преисполненный невыразимого восторга и гордости. – Значит, вам он действительно так дорог... из-за меня?

– Вы и сами это отлично знаете! – сказала Бекки. – Но к чему говорить... к чему вспоминать... оглядываться назад? Слишком поздно!

Для Джоза этот вечерний разговор был полон сладости. Эмми, как только вернулась домой, легла спать, чувствуя себя очень усталой и нездоровой. Джоз и его прекрасная гостья остались в очаровательном tête-à-tête, и сестра мистера Седли, лежа без сна в своей комнате, слышала, как Ребекка пела Джозу старые романсы времен 1815 года. В эту ночь Джоз, против обыкновения, спал так же плохо, как и Эмилия.

Стоял июнь, а следовательно, в Лондоне был самый разгар сезона. Джоз, каждый день читавший от слова до слова несравненного «Галиньяни» (лучшего друга изгнанников), за завтраком угощал дам выдержками из своей газеты. Еженедельно в ней помещается полный отчет о военных назначениях и перебросках воинских частей – новости, которыми Джоз, как человек, понюхавший пороху, особенно интересовался. И вот однажды он прочел: «Прибытие \*\*\* полка. – Грейвзэнд. 20 июня. – «Ремчандер», судно Ост-Индской компании, вошла сегодня утром в устье Темзы, имея на борту 14 офицеров и 132 рядовых этой доблестной части. Они отсутствовали из Англии 14 лет, будучи отправлены за море в первый год после битвы при Ватерлоо, в каком-то славном сражении принимали деятельное участие, а затем отличились в бирманской войне. Ветеран-полковник сэръ Майкл

О'Дауд, кавалер ордена Бани, со своей супругой и сестрой, высадились здесь вчера вместе с капитанами Поски, Стаблом, Мекро, Мелони, поручиками Смитом, Джонсом, Томпсоном, Ф. Томпсоном, прапорщиками Хиксом и Греди. На пристани оркестр исполнил национальный гимн, и толпа громогласно приветствовала доблестных ветеранов на их пути в гостиницу Уэйта, где в честь защитников Старой Англии был устроен пышный банкет. Во время обеда, на сервировку которого Уэйт, само собой разумеется, не пожалел трудов, продолжали раздаваться такие восторженные приветственные клики, что леди О'Дауд и полковник вышли на балкон и выпили за здоровье своих соотечественников по бокалу лучшего уэйтовского кларета».

В другой раз Джоз прочитал краткое сообщение: майор Доббин прибыл в \*\*\* полк, в Чатем; затем он огласил отчет о представлении на высочайшем приеме полковника сэра Майкла О'Дауда, кавалера ордена Бани, леди О'Дауд (представленной миссис Молой Мелони из Белимелони) и мисс Глорвины О'Дауд (представленной леди О'Дауд). Очень скоро после этого фамилия Доббина появилась в списке подполковников, потому что старый маршал Типтоф скончался во время переезда \*\*\* полка из Мадраса, и король соизволил произвести полковника сэра Майкла О'Дауда, по его возвращении в Англию, в чин генерал-майора, с указанием, чтобы он оставался командиром доблестного полка, которым уже так долго командовал.

О некоторых из этих событий Эмилия уже была осведомлена. Переписка между Джорджем и его опекуном отнюдь не прекращалась. Уильям даже писал раза два самой Эмили, но в таком непринужденно холодном тоне, что бедная женщина почувствовала в свой черед, что утратила власть над Доббином и что он, как и говорил ей, стал свободен. Он покинул ее, и она была несчастна. Воспоминания о его бесчисленных услугах, о возвышенных и нежных чувствах вставали перед нею и служили ей укором и днем и ночью. По свойственной ей привычке она целыми часами предавалась этим воспоминаниям; она понимала, какой чистой и прекрасной любовью пренебрегла, и корила себя за то, что отвергла такое сокровище.

Да, его больше не было. Уильям растратил его. Он уже не любит Эмилию, думал он, так, как любил раньше. И никогда не полюбит! Такую привязанность, какую он предлагал ей в течение многих лет, нельзя отбросить, разбить вдребезги, а потом снова склеить так, чтобы

не видно было трещин. Беспечная маленькая тиранка именно так и разбила его любовь. «Нет, – снова и снова думал Уильям, – я сам себя обманывал и тешил надеждой: будь она достойна любви, которую я предлагал ей, она ответила бы на нее давно. Это была глупая ошибка. Но разве вся наша жизнь не состоит из подобных ошибок? А если бы даже я добился своего, то не разочаровался бы я на другой же день после победы? Зачем же мучиться или стыдиться поражения?» Чем больше Доббин думал об этой долгой поре своей жизни, тем яснее видел, как глубоко он заблуждался. «Пойду опять служить, – говорил он себе, – и буду исполнять свой долг на том жизненном поприще, на которое небу угодно было меня поставить. Буду следить за тем, чтобы пуговицы у рекрутов были как следует начищены и чтобы сержанты не делали ошибок в отчетах. Буду обедать в офицерской столовой и слушать анекдоты нашего доктора-шотландца. Когда же состарюсь, выйду на половинный оклад, и мои старухи сестры будут пилить меня. Ich habe gelebt und geliebt<sup>[432]</sup>, как говорит та девушка в «Валленштейне»<sup>[433]</sup>. Я человек конченный...» – Уплатите по счету, и дайте мне сигару, да узнайте, что сегодня идет в театре, Фрэнсис; завтра мы отплываем на «Батавце».

Вышеприведенную речь, из которой Фрэнсис слышал только последние три строчки, Доббин произносил, расхаживая взад и вперед по Боомпъес<sup>[434]</sup> в Роттердаме. «Батавец» стоял в порту. Доббин мог рассмотреть то место на палубе, где он сидел с Эмми в начале своего счастливого путешествия. Что хотела ему сказать эта маленькая миссис Кроули? Э, да что там! Завтра он отплывает в Англию – домой, к своим обязанностям!

В начале июля маленький придворный кружок Пумперникеля распадался: члены его, в силу порядка, принятого у немцев, разъезжались по многочисленным городкам, где они пили минеральные воды, катались на осликах, а у кого были деньги и склонность – играли в азартные игры, вместе с сотнями себе подобных насыщались за табльдотами и так коротали лето. Английские дипломаты ехали в Теплиц и Киссинген, их французские соперники запирали свою chancellerie<sup>[435]</sup> и мчались на милый их сердцу Ганский бульвар. Лучезарная владетельная фамилия также отправлялась на воды или в свои охотничьи поместья. Уезжали все, кто только притязал на принадлежность к высшему свету, а с ними

вместе, конечно, и доктор фон Глаубер, придворный врач, и его супруга-баронесса. Купальный сезон был самым прибыльным в практике доктора: он соединял приятное с полезным и, обычно выбирая местом своего пребывания Остенде, усердно посещаемый немцами, лечил как себя самого, так и свою супругу морскими купаниями.

Его интересный пациент Джоз был для доктора настоящей дойной коровой, и он без труда убедил коллектора провести лето в этом отвратительном приморском городке как ради здоровья самого Джоза, так и ради здоровья его очаровательной сестры, которое действительно пошатнулось. Эмми было совершенно все равно, куда ехать. Джорджи запрыгал от радости при мысли о переезде на новые места. Что касается Бекки, то она, само собой разумеется, заняла четвертое место в прекрасной карете, приобретенной мистером Джозом; двое слуг поместились впереди на козлах. У Бекки были кое-какие опасения насчет вероятной встречи в Остенде с друзьями, которые могли порассказать о ней довольно-таки некрасивые истории. Но нет! Она достаточно сильна, чтобы не дать себя в обиду. Она обрела теперь такой надежный якорь в лице Джоза, что нужен был бы поистине сильный шторм, чтобы сорвать ее и бросить в волны. Эпизод с портретом доконал Джоза. Бекки сняла со стены своего слона и уложила его в шкатулку, полученную в подарок от Эмилии много лет тому назад; Эмми тоже пустилась в путь со своими «ларами» – своими двумя портретами, – и в конце концов все наши друзья остановились на жительство в чрезвычайно дорогой и неудобной гостинице в Остенде.

Здесь Эмилия стала брать морские ванны, пытаясь извлечь из них какую возможно пользу; и хотя десятки людей, знакомых с Бекки, проходили мимо и не кланялись ей, однако миссис Осборн, всюду появлявшаяся с нею вместе и никого не знавшая, не подозревала о таком отношении к приятельнице, которую она столь рассудительно избрала себе в компаньонки; сама же Бекки не считала нужным сообщить ей, что происходит перед ее невинным взором.

Впрочем, некоторые знакомые миссис Родон Кроули узнавали ее довольно охотно, – быть может, охотнее, чем она сама того желала бы. Среди них был майор Лодер (никакого полка) и капитан Рук (бывший стрелок); их можно было видеть в любой день на набережной, где они



курили и глазели на женщин. Очень скоро они проникли в избранный кружок мистера Джозефа Седли. Они не признавали никаких отказов: они врываются в дом – все равно, была там Бекки или нет, проходили в гостиную миссис Осборн, наполняя комнату запахом своих сюртуков и усов, называли Джоза «старым пшютом», совершали набеги на его обеденный стол и хохотали и пили часами.

– Что это может значить? – спрашивал Джорджи, не любивший этих джентльменов. – Я слышал, как майор говорил вчера миссис Кроули: «Нет, нет, Бекки, вам не удастся одной завладеть старым пшютом. Дайте и нам на него поставить, не то я, черт возьми, вас выдам!» Что майор хотел сказать, мама?

– Майор! Не называй *его* майором! – сказала Эмми. – Право, я не знаю, что он хотел сказать.

Присутствие Лодера и его друга внушало бедной Эмили невыносимый ужас и отвращение. Они отпускали ей пьяные комплименты, нагло разглядывали ее за обедом, а капитан делал ей авансы, от которых ее бросало в дрожь; и она боялась встречаться с ним, если рядом не было Джорджа.

Ребекка – нужно отдать ей справедливость – также не разрешала этим господам оставаться наедине с Эмилией, тем более что майор был в то время свободен и поклялся, что завоюет ее расположение. Два негодяя дрались между собой за это невинное создание, отбивали ее друг у друга за ее же столом. И хотя Эмилия не знала, какие планы эти мерзавцы строили на ее счет, она испытывала в их присутствии мучительную неловкость и страстно хотела одного – бежать.

Она просила, она молила Джоза вернуться домой. Куда там! Он был тяжел на подъем, его удерживал доктор, а может, и еще кое-какие соображения. Бекки, во всяком случае, не стремилась в Англию.

Наконец Эмми приняла серьезное решение – бросилась с головой в воду: она написала письмо одному своему другу, жившему за морем; письмо, о котором никому не сказала ни слова, которое сама отнесла под шалью на почту, так что никто ничего не заметил. Лишь при виде Джорджи, который вышел встречать ее, Эмилия покраснела и смутилась, а вечером особенно долго целовала и обнимала мальчика. Вернувшись с прогулки, она весь день не выходила из своей комнаты. Бекки решила, что ее напугали майор Лодер и капитан.

«Нельзя ей тут оставаться, – рассуждала Бекки сама с собой. – Она должна уехать, плуышка этакая. Она все еще хнычет о своем болване-муже, хоть он уже пятнадцать лет как в могиле (и поделом ему!). Она не выйдет замуж ни за одного из этих господ. Какая дрянь этот Лодер! Нет, она выйдет за бамбуковую трость, я это устрою сегодня же вечером».

И вот Бекки понесла Эмилии чашку чаю к ней в комнату, где застала ее в обществе портретов и в самом меланхолическом и нервном состоянии. Бекки поставила чашку на стол.

– Спасибо, – сказала Эмилия.

– Послушай меня, Эмилия, – начала Бекки, расхаживая по комнате и поглядывая на приятельницу с какой-то презрительной нежностью. – Мне нужно с тобой поговорить. Ты должна уехать отсюда, от дерзости этих людей. Я не желаю, чтобы они тебя изводили; а они будут оскорблять тебя, если ты останешься здесь. Говорю тебе: они мерзавцы, которым место только на каторге. Не спрашивай, откуда я их знаю. Я знаю всех. Джоз не может тебя защитить: он слишком слаб и сам нуждается в защите. В житейских делах ты беспомощна, как грудной ребенок. Ты должна выйти замуж, иначе и ты сама, и твой драгоценный сын – оба вы пропадете. Тебе, дурочка, нужен муж. И один из лучших джентльменов, каких я когда-либо видела, предлагал тебе руку сотни раз, а ты оттолкнула его, глупое ты, бессердечное, неблагодарное создание!

– Я старалась... старалась изо всех сил! Право, я старалась, Ребекка, – сказала Эмилия молящим голосом, – но я не могу забыть... – И она, не договорив, обратила взор к портрету.

– Не можешь забыть *его!* – воскликнула Бекки. – Этого себялюбца и пустозвона, этого невоспитанного, вульгарного денди, этого никчемного олуха, человека без ума, без воспитания, без сердца, который против нашего друга с бамбуковой тростью – все равно что ты против королевы Елизаветы! Да ведь он тяготился тобой и, наверное, надул бы тебя, если бы этот Доббин не заставил его сдерживать слово! Он признался мне в этом. Он никогда тебя не любил. Он вечно подсмеивался над тобою, я сама сколько раз слышала, и через неделю после вашей свадьбы начал объясняться мне в любви.

– Это ложь! Это ложь, Ребекка! – закричала Эмилия, вскакивая с места.

– Смотри же, дурочка! – сказала Бекки все с тем же вызывающим добродушием и, вынув из-за пояса какую-то бумажку, развернула ее и бросила на колени к Эмми. – Тебе известен его почерк. Он написал это мне... хотел, чтобы я бежала с ним... передал мне записку перед самым твоим носом, за день до того, как его убили, и поделом ему! – повторила Ребекка.

Эмми не слушала ее, она смотрела на письмо. Это была та самая записка, которую Джордж сунул в букет и подал Бекки на балу у герцогини Ричмонд. Все было так, как говорила Бекки: шалый молодой человек умолял ее бежать с ним.

Эмми поникла головой и, кажется, в последний раз, что ей полагается плакать на страницах нашей повести, приступила к этому занятию. Голова ее упала на грудь, руки поднялись к глазам, и некоторое время она отдавалась своему волнению, а Бекки стояла и смотрела на нее. Кто поймет эти слезы и скажет, сладки они были или горьки? Скорбела ли она о том, что кумир ее жизни рухнул и разлетелся вдребезги у ее ног, или негодовала, что любовь ее подверглась такому поруганию, или радовалась, что исчезла преграда, которую скромность воздвигла между нею и новым, настоящим чувством? «Теперь ничто мне не мешает, – подумала она. – Я могу любить его теперь всем сердцем. О, я буду, буду любить его, только бы он мне позволил, только бы простил меня!» Сдается мне, что это чувство затопило все другие, волновавшие ее нежное сердечко.

Сказать по правде, она плакала не так долго, как ожидала Бекки, которая утешала ее и целовала, – редкий знак симпатии со стороны миссис Бекки. Она обращалась с Эмми, словно с ребенком, даже гладила ее по головке.

– А теперь давай возьмем перо и чернила и напишем ему, чтобы он сию же минуту приезжал, – сказала она.

– Я... я уже написала ему сегодня утром, – ответила Эмми, страшно покраснев.

Бекки взвизгнула от смеха.

– Un biglietto, – запела она, подобно Розине<sup>[436]</sup>, – eccolo quà!<sup>[437]</sup>  
– Весь дом зазвенел от ее пронзительного голоса.

На третье утро после этой сценки, хотя погода была дождливая и ветреная, а Эмилия провела ночь почти без сна, прислушиваясь к

завыванию бури и с жалостью думая обо всех путешествующих на суше и на море, она все же встала рано и пожелала пройтись с Джорджи на набережную. Здесь она стала прогуливаться взад и вперед; дождь бил ей в лицо, а она все смотрела на запад – за темную полосу моря, поверх тяжелых валов, с шумом и пеной ударявшихся о берег. Мать и сын почти все время молчали; лишь изредка мальчик обращался к своей робкой спутнице с несколькими словами, ласковыми и покровительственными.

– Я надеюсь, что он не пустился в море в такую погоду, – промолвила Эмми.

– А я ставлю десять против одного, что пустился, – ответил мальчик. – Смотри, мама, дым от парохода! – И действительно, вдали показался дымок.

Но ведь его могло и не быть на пароходе... он мог не получить письма... он мог не захотеть... Опасения одно за другим ударялись о ее сердечко, как волны о камни набережной.

Вслед за дымом показалось судно. У Джорджи была подзорная труба, он ловко навел ее на цель и, по мере того как пароход подходил все ближе и ближе, то ныряя, то поднимаясь над водой, отпускал подобающие случаю замечания, достойные заправского моряка. На мачте пристани взвился и затрепетал сигнальный вымпел: «Приближается английский корабль». Точно так же, надо полагать, трепетало и сердце миссис Эмили.

Она посмотрела в трубу через плечо Джорджи, но ничего не увидела, – только какое-то черное пятно прыгало у нее перед глазами.

Джордж опять взял у нее трубу и направил на пароход.

– Как он зарывается носом! – сказал он. – Вон волна перехлестнула через борт. На палубе только двое, кроме рулевого. Один лежит, а другой... другой в плаще... Ура! Это Доб, честное слово! – Он захлопнул подзорную трубу и бурно обнял мать. Что касается этой леди, то о ней мы скажем словами излюбленного поэта: *δάκρυό εν γελῶ σῦσα*<sup>[438]</sup>. Она не сомневалась, что это Уильям. Это не мог быть никто иной. Когда она выражала надежду, что он не поедет, это было чистым лицемерием. Конечно, он должен был приехать, – что же ему еще оставалось? Она знала, что он приедет!

Корабль быстро приближался. Когда они повернули к пристани, чтобы встретить его, у Эмми так дрожали ноги, что она едва могла

двигаться. Ей хотелось тут же упасть на колени и возблагодарить бога. О, думала она, как она будет благодарить его всю жизнь!

Погода была такая скверная, что на пристани совсем отсутствовали зеваки, которые обычно толпами встречают каждый пароход; даже зазывалы из гостиниц не дежурили в ожидании пассажиров. Сорванец Джордж тоже куда-то скрылся, так что, когда джентльмен в старом плаще на красной подкладке ступил на берег, едва ли кто мог бы рассказать, что там произошло. А произошло, говоря вкратце, вот что.

Леди, в промокшей белой шляпке и в шали, протянув вперед руки, подошла к джентльмену и в следующее мгновение совершенно исчезла в складках старого плаща и что было сил целовала одну руку джентльмена, между тем как другая, по всей вероятности, была занята тем, что прижимала оную леди к сердцу (которого она едва достигала головой) и не давала ей свалиться с ног. Она бормотала что-то вроде: «Простите... Уильям, милый... милый, милый, дорогой друг...» – чмок, чмок, чмок – и прочую несусветную ерунду в том же духе.

Когда Эмми вынырнула из-под плаща, все еще крепко держа Уильяма за руку, она посмотрела ему в лицо. Это было грустное лицо, полное нежной любви и жалости. Она поняла написанный на нем упрек и поникла головой.

– Вы долго ждали, прежде чем позвать меня, дорогая Эмилия, – сказал он.

– Вы больше не уедете, Уильям?

– Нет, никогда, – ответил он и снова прижал к сердцу свою нежную подругу.

Когда они выходили из помещения таможни, откуда-то выскочил Джорджи и навел на них свою подзорную трубу, приветствуя Доббина громким, радостным смехом. Всю дорогу домой он плясал вокруг них и выделывал самые причудливые пируэты. Джоз еще не вставал; Бекки не было видно (хотя она подглядывала из-за гардины). Джорджи побежал справиться, готов ли завтрак. Эмми, сдав в прихожей свою шаль и шляпку на руки мисс Пейн, стала расстегивать пряжку на плаще Уильяма и... с вашего позволения, мы пойдем вместе с Джорджем позаботиться о завтраке для полковника. Корабль – в порту. Он добился приза, к которому стремился всю жизнь. Птичка наконец прилетела. Вот она, положив головку ему на плечо, щебечет и

воркует у его сердца, распушив свои легкие крылышки. Об этом он просил каждый день и час в течение восемнадцати лет, по этому томился. Вот оно – вершина – конец – последняя страница третьего тома. Прощайте, полковник! Храни вас господь, честный Уильям! Прощайте, дорогая Эмилия! Зеленой опять, нежная повилика, обвиваясь вокруг могучего старого дуба, к которому ты прильнула!

Может быть, из стыда перед простым и добрым существом, которое первым стало на ее защиту, может, из отвращения ко всяким сентиментальным сценам, – но только Ребекка, удовлетвовавшись той ролью, которую она уже сыграла в этом деле, не показалась на глаза полковнику Доббину и его жене. Объяснив, что ей необходимо съездить «по неотложным делам» в Брюгге, она отправилась туда, и только Джорджи и его дядя присутствовали при венчании. Но после свадьбы, когда Джордж с родителями уехал в Англию, миссис Бекки вернулась (всего на несколько дней), чтобы утешить одинокого холостяка, Джозефа Седли. Он сказал, что предпочитает жизнь на континенте, и отклонил предложение поселиться вместе с сестрой и зятем.

Эмми была рада, что написала мужу прежде, чем прочла то письмо Джорджа или узнала о его существовании.

– Я все это знал, – сказал Уильям, – но разве мог я пустить в ход такое оружие против памяти бедняги? Вот почему мне было так больно, когда ты...

– Никогда больше не говори об этом! – воскликнула Эмми так смиренно и униженно, что Уильям переменял разговор и стал рассказывать о Глорвине и милой старой Пегги О'Дауд, у которых он сидел, когда получил письмо с призывом вернуться. – Если бы ты не послала за мною, – прибавил он со смехом, – кто знает, как была бы теперь фамилия Глорвины!

В настоящее время ее зовут Глорвина Поски (ныне майорша Поски). Она вступила в этот брак после смерти первой жены майора, решив, что может выйти замуж только за однополчанина. Леди О'Дауд тоже столь привязана к своему полку, что, по ее словам, если что-нибудь случится с Миком, она, ей-богу, вернется и выйдет за кого-нибудь из своих офицеров. Но генерал-майор чувствует себя прекрасно; он живет очень пышно в О'Даудстауне, держит свору

гончих и (если не считать, пожалуй, их соседа Хоггарти из замка Хоггарти) почитается первым человеком в графстве. Ее милость до сих пор танцует джигу и на последнем балу у лорда-наместника выразила желание потанцевать с обер-шталмейстером. И она, и Глорвина утверждали, что Доббин обошелся с последней бессовестно; но, когда подвернулся Поски, Глорвина утешилась, а великолепный тюрбан из Парижа умирил гнев леди О'Дауд.

Когда полковник Доббин вышел в отставку (а сделал он это сразу после свадьбы), он арендовал премиленькую усадьбу в Хэмпшире, недалеко от Королевского Кроули, где сэр Питт, после проведения билля о реформе<sup>[439]</sup>, безвыездно жил со своим семейством. Все его надежды на звание пэра рухнули, так как оба его места в парламенте были потеряны. Эта катастрофа отразилась и на его кармане, и на состоянии духа, здоровье его стало сдавать, и он пророчил близкую гибель империи.

Леди Джейн и миссис Доббин сделались большими друзьями; между замком и «Миртами», домом полковника (который он снял у своего друга майора Понто, жившего с семьей за границей), постоянно мелькали коляски и шарабаны. Миледи была восприемницей дочери миссис Доббин; девочку назвали в честь крестной – Джейн, а крестил ее преподобный Джеймс Кроули, получивший приход после своего отца; между обоими мальчиками – Джорджем и Родоном – завязалась тесная дружба; во время каникул они вместе охотились, поступили в один и тот же колледж в Кембридже и ссорились из-за дочери леди Джейн, в которую оба, конечно, были влюблены. Обе матери лелеяли планы касательно брака Джорджа и этой юной леди, но я слышал, что сама мисс Кроули питает склонность к своему кузену.

Имя миссис Родон Кроули не упоминалось ни в том, ни в другом семействе. Для этого были свои причины. Ибо, куда бы ни направлялся мистер Джозеф Седли, туда же следовала и она; и этот несчастный человек был настолько ею увлечен, что превратился в ее послушного раба. Поверенные полковника сообщили ему, что его шурин застраховал свою жизнь на крупную сумму, откуда можно было заключить, что он добывал деньги для уплаты долгов. Он взял долгосрочный отпуск в Ост-Индской компании – и действительно, его недуги с каждым днем множились.

Услышав, что брат ее застраховал свою жизнь, Эмилия изрядно перепугалась и упросила мужа съездить в Брюссель, где в то время находился Джоз, и разузнать о состоянии его дел. Полковнику не хотелось уезжать из дому (он был погружен в свою «Историю Пенджаба», которую и сейчас еще не дописал, и к тому же сильно беспокоился за свою дочурку, которую боготворит и которая в то время только что стала поправляться после ветряной оспы), но тем не менее он отправился в Брюссель и разыскал Джоза в одной из громадных гостиниц этого города. Миссис Кроули, которая имела собственный выезд, принимала много гостей и вообще жила на широкую ногу, занимала несколько комнат в той же гостинице.

Полковник, конечно, не имел желаний встречаться с этой леди и о своем приезде в Брюссель известил только Джоза, послав к нему лакея с запиской. Джоз попросил полковника зайти к нему в тот же вечер, когда миссис Кроули будет на *soirée* и они могут повидаться *с глазу на глаз*. Доббин застал шурина тяжело больным и в великом страхе перед Ребеккой, хотя он и расточал ей горячие похвалы: она самоотверженно ухаживала за ним во время целого ряда неслыханных болезней; она была для него настоящей дочерью.

– Но... но... ради бога, поселитесь где-нибудь недалеко от меня и... и... навешайте меня иногда, – прохныкал несчастный.

Полковник нахмурился.

– Это невозможно, Джоз, – сказал он. – При нынешних обстоятельствах Эмилия не может у вас бывать.

– Клянусь вам... клянусь, – прохрипел Джоз и потянулся к Библии, – что она невинна, как младенец, так же безупречна, как ваша собственная жена.

– Пусть так, – мрачно возразил полковник, – но Эмми не может приехать к вам. Будьте мужчиной, Джоз: порвите эту некрасивую связь. Возвращайтесь домой, к нам. Мы слышали, что ваши дела запутаны.

– Запутаны? – воскликнул Джоз. – Кто распускает такую клевету? Все мои деньги помещены самым выгодным образом. Миссис Кроули... то есть... я хочу сказать... они вложены под хороший процент.

– Значит, у вас нет долгов? Зачем же вы застраховались?



– Я думал... небольшой подарок ей, если бы что-нибудь случилось; ведь вы знаете, я себя так плохо чувствую... понимаете, простая благодарность... Я собираюсь все оставить вам... я могу выплачивать страховые взносы из моего дохода, честное слово, могу! – восклицал бесхарактерный шурин Уильяма.

Полковник умолял Джоза бежать сейчас же – уехать в Индию, куда миссис Кроули не могла последовать за ним; сделать все, чтобы порвать связь, которая может привести к самым роковым последствиям.

Джоз стиснул руки и воскликнул, что вернется в Индию, что сделает все, – но только нужно время.

– Нельзя ничего говорить миссис Кроули; она... она убьет меня, если узнает. Вы понятия не имеете, какая это ужасная женщина, – говорил бедняга.

– Так уезжайте вместе со мной, – сказал на это Доббин.

Но у Джоза не хватало смелости. Он хотел еще раз повидаться с Доббином утром; и тот ни в коем случае не должен говорить, что был здесь. А теперь пусть уходит: Бекки может войти. Доббин покинул его, полный дурных предчувствий.

Он никогда больше не видел Джоза. Три месяца спустя Джозеф Седли умер в Аахене. Выяснилось, что все его состояние было промотано в спекуляциях и обращено в ничего не стоящие акции различных дутых предприятий. Ценность представляли только те две тысячи, на которые была застрахована его жизнь и которые и были поровну поделены между его «возлюбленной сестрой Эмилией, супругой полковника и прочее, и прочее, и его другом и неоценимой сиделкой во время болезни – Ребеккой, супругой полковника Родона Кроули, кавалера ордена Бани», каковая назначалась душеприказчицей.

Поверенный страхового общества клялся, что это самое темное дело в его практике, и поговаривал о том, чтобы послать в Аахен комиссию для обследования обстоятельств смерти; общество отказывалось платить по полису. Но миссис, или, как она себя титуловала, леди Кроули немедленно явилась в Лондон (в сопровождении своих поверенных, г.г. Берка, Тэртела и Хэйса из Тевиз-Инна) и потребовала от общества выплаты денег. Ее поверенные соглашались на обследование; они объявили, что миссис

Кроули – жертва возмутительного заговора, отравившего всю ее жизнь, и наконец восторжествовали. Деньги были выплачены, и ее репутация восстановлена; но полковник Доббин отослал свою долю наследства обратно страховому обществу и наотрез отказался поддерживать какие-либо отношения с Ребеккой.

Ей не пришлось сделаться леди Кроули, хотя она продолжала так величать себя. Его превосходительство полковник Родон Кроули, к великой скорби обожавших его подданных, скончался от желтой лихорадки на острове Ковентри за полтора месяца до кончины своего брата, сэра Питта. Поместье и титул достались, таким образом, нынешнему сэру Родону Кроули, баронету.

Он тоже не пожелал видеть свою мать, которой, впрочем, выплачивает щедрое содержание и которая, по-видимому, и без того очень богата. Баронет постоянно живет в Королевском Кроули с леди Джейн и ее дочерью, между тем как Ребекка – леди Кроули – по большей части обретается в Бате и Челтнеме, где множество прекрасных людей считают ее несправедливо обиженной. Есть у нее и враги. У кого их нет? Ответом им служит ее жизнь. Она погрузилась в дела милосердия. Она посещает церковь, всегда в сопровождении слуги. Ее имя значится на всех подписных листах. «Нищая торговка апельсинами», «Покинутая прачка», «Бедствующий продавец пышек» нашли в ее лице отзывчивого и щедрого друга. Она всегда торгует на благотворительных базарах в пользу этих обездоленных созданий. Эмми, ее дети и полковник, которые вернулись недавно в Лондон, встретили ее случайно на одном из таких базаров. Она скромно опустила глаза и улыбнулась, когда они бросились прочь от нее; Эмми – под руку с Джорджем (ныне превратившимся в чрезвычайно элегантного молодого человека), а полковник – подхватив маленькую Джейн, которую он любит больше всего в мире, больше даже, чем «Историю Пенджаба».

«Больше, чем меня», – думает Эмми и вздыхает. Но он ни разу не сказал ей неласкового или недоброго слова и старается выполнить всякое ее желание, лишь только узнает о нем.

Ах, *vanitas vanitatum!*<sup>[440]</sup> Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет

большого?.. Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Чизик – в то время лондонский пригород с большим парком.

*...хэммерсмитская Семирамида...* – Хэммерсмит – лондонский пригород, расположенный рядом с Чизиком; Семирамида – легендарная царица Ассирии, которой предания приписывают необыкновенный ум и энергию.

*Доктор Джонсон* Сэмюел (1709–1784) – поэт и историк литературы, был непререкаемым авторитетом в области литературных вкусов Англии второй половины XVIII в. Прославился капитальным «Словарем английского языка».

*Миссис Шапон* (1727–1801) – английская писательница, автор книги «Об образовании ума», предназначенной для воспитания девиц в духе буржуазных добродетелей.



5

Мадемуазель, я пришла проститься с вами (*фр.*).

Да здравствует Франция! Да здравствует император! Да здравствует Бонапарт! *(фр.)*

7

*Сохо* – район Лондона, где селилось много иностранцев.

Белой горячки (*лат.*).

Простушки (*фр.*).

*Лоренс* Томас (1769–1830) – английский придворный художник-портретист.

*Уэст* Бенджамин (1738–1820) – художник, один из основателей Королевской академии художеств, с 1792 г. – ее президент.

*Набоб* – первоначально титул правителей провинций в империи Великих Моголов\*. Потом так стали называть богатых индийцев и разбогатевших в Индии европейцев.

\**Великий Могол* – титул властителя империи Великих Моголов – феодальной деспотии, существовавшей в Индии с XVI по XVIII в.



*Биллингсетский рынок – рыбный рынок в Лондоне.*

«*Синяя Борода*» – опера французского композитора Гретри (1741–1813).

*Ост-Индская компания* – частная акционерная компания, основанная в Англии в начале XVII в. для торговли с Индией и Индонезией. Превратившись «из торговой державы в державу военную и территориальную» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 9, с. 152), Ост-Индская компания стала одним из средств колониального порабощения. В 1858 г. была ликвидирована, а Индия официально сделалась колонией Англии.

*Коллектор* – здесь: чиновник Ост-Индской компании, собиравший налоги с местного населения и выполнявший также некоторые административные обязанности.

*Парк.* – Здесь и дальше имеется в виду Хайд-парк, самый большой и старинный парк в Лондоне.

*Браммел* – известный щеголь начала XIX в., друг принца-регента (будущего Георга IV), законодатель мод и «изящных вкусов» великосветской Англии.

*Сикоракса и Калибан* – персонажи драмы Шекспира «Буря».  
Сикоракса – старая колдунья, мать дикаря и уроды Калибана.

*Карри* – индийское мясное блюдо с пряностями.



*Чили* – красный стручковый перец.

*«Сорок разбойников»*. – Видимо, имеется в виду опера Керубини «Али-Баба и сорок разбойников». Здесь анахронизм: эта опера была написана только в 1833 г.

*Воксхолл* – загородный увеселительный сад на южном берегу Темзы, был открыт в 1660 г. и просуществовал до 1859 г. Территория его уже давно вошла в черту города и застроена.

*Бони.* – Так англичане называли Бонапарта.

*Олдермен* – старший член городского самоуправления.

Жажда любви (нем.).

Слезы, вздохи и восторги (*ит.*).

*Доницеттиева музыка* – легко запоминающиеся мелодии опер, романсов, дуэтов итальянского композитора Доницетти (1797–1848).



*«Звучный голос ее задрожал».* – Намек на широко известные в то время сентиментальные стихи второстепенного поэта Томаса Бейли «Мы встретились в шумной толпе», где есть такие строки:

Были слова его холодны и в улыбке – презренье,  
Но звучный голос его задрожал, выдавая сердца волненье.

**30**

Хорошо воспитанная (*фр.*).

*Ковент-Гарденский рынок* – рынок в Лондоне, где продаются цветы, овощи и фрукты.

Любовная записка (*фр.*).

С глазу на глаз (*φρ.*).

*Итон* – городок на Темзе, в графстве Бакингемшир, известный своей закрытой школой, основанной в XV в., где и до сих пор обучаются мальчики из аристократических и буржуазных семейств.

*Кин* Эдмунд (1789–1833) – знаменитый английский актер-трагик, прославившийся исполнением ролей шекспировских героев (Отелло, Шейлока, Ричарда III, Гамлета). Здесь опять анахронизм: Кин дебютировал в Лондоне только в 1814 г.

*Кембл* Джон (1757–1823) – известный актер, тоже игравший героев шекспировских трагедий.



*Голиаф и Давид* – библейские герои: юный пастух Давид не устранился великана Голиафа и убил его камнем из пращи.

*Непир* Уильям (1785–1860) – английский историк, автор многотомной «Истории войн на Пиренейском полуострове и на юге Франции с 1807 по 1814 год».

«*Беллова жизнь*» – иллюстрированный еженедельник, названный по имени его редактора Белла; выходил в XIX в. в Лондоне и был посвящен спорту, главным образом боксу.

*...то была колонна Нея, грудью шедшая на Ля-Эй-Сент...* – В битве при Ватерлоо (1815 г.) наполеоновский маршал Ней отбил у противника ферму Ля-Эй-Сент.

«Телемак» – «Приключения Телемака, сына Улисса», нравоучительный роман французского писателя Фенелона (1651–1715).

*...неуклюжий Орсон* (от **франц.** ourson – «медвежонок»)... – герой народного сказания, юноша, воспитанный медведицей в лесу; *Валентин* – его брат-близнец, воспитанный при дворе.

*Бедфорд* – известный в то время ресторан в Лондоне.

А, мой красавчик! (*фр.*)



*...пожинали военные лавры на Пиренейском полуострове. – В 1808–1813 гг. английские войска действовали на Пиренейском полуострове против войск Наполеона.*

*Веллингтон* (1769–1852) – английский полководец и государственный деятель.

*«Газета»* («Лондонская газета») – орган английского правительства, в котором публикуются известия о назначениях на государственные посты, награждениях, банкротствах, а в военное время – также списки убитых и раненых.

Горничная (*фр.*).

Маленького пажа (*фр.*).

Вы носите громкое имя! (*фр.*)

Тридцать тысяч проклятий! (*фр.*)

Мгновенной боли (*фр.*).



Повеса (*φρ.*)

Совсем не дорого, черт возьми! *(нем.)*

*Симпсон* – известный в то время устроитель увеселений в Воксхолле.

Лишний (*фр.*).

*Прекрасная Розамонда* – возлюбленная английского короля Генриха II, по преданию отравленная из ревности королевой Элеонорой в 1176 г.

*...чаша вина была причиной смерти Александра Великого.* – Александр Македонский умер на тридцать третьем году жизни от малярии, но некоторые историки, без особых к тому оснований, утверждали, что он был отравлен Антипатром, своим наместником в Македонии.

*Лемприер* Джон (1765–1824) – английский писатель, автор «Классической библиотеки» (словаря античности).

*Дэниел Ламберт* – феноменальный толстяк, которого за деньги показывали в лондонских балаганах.



*Ламбет, Ламбетский дворец* – лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского. Джоз Седли хотел сказать, что немедленно получит у архиепископа разрешение на брак с Бекки.

*Молине* – известный в то время боксер.

*Холборн – холм и улица неподалеку от Рассел-сквер.*

*Сестрица Анна... на сторожевой башне...* – персонаж сказки французского писателя XVII в. Перро «Синяя борода».

*Челтнем* – фешенебельный английский курорт.

*Спенсер* – короткий жакет.

*Королева Бесс* – английская королева Елизавета, царствовавшая с 1558 по 1603 г.

*...парламентского местечка, когда его обычно именуют «гнилым»...* – Гнилыми местечками называли в Англии захудалые городки и местечки с ничтожным количеством жителей, а иногда и вовсе исчезнувшие (занятые под пастбища или затопленные водой), но сохранившие, на основе старых привилегий, избирательные права и посылавшие в парламент депутатов.



*Великий коммонер* – Вильям Питт-старший (1708–1778), известный государственный деятель, вождь вигов, кумир крупной буржуазии, чьи интересы он выражал. Коммонер – член палаты общин.

*Ведомство Сургуча и Тесьмы* – правительственное учреждение, выдуманное Теккереем.

*Знаменитый военачальник эпохи царствования королевы Анны – Джон Черчилль, герцог Мальборо (1650–1722), английский полководец, одержавший ряд побед над французами.*

*Бьют* Джон Стюарт (1713–1792) – в 1761 г. сменил Питта на посту премьер-министра.

*Дандас* Генри (1742–1811) – виконт, государственный деятель.

*Дарованный нам небом министр* – Вильям Питт-младший (1759–1806), сын Питта-старшего, реакционный премьер-министр, непримиримый враг Наполеона и французской революции.

*Родон-Гастингс, Фрэнсис* (1754–1826) – генерал, одно время генерал-губернатор Индии.

*Гонт-сквер* и *Грейт-Гонт-стрит* – названия, выдуманные Теккереем, таких улиц в Лондоне нет.



*Челси* – раньше деревушка, а теперь район Лондона, где находится богадельня для престарелых солдат; *Гринвич* – пригород Лондона, известный своей обсерваторией; здесь находится богадельня для престарелых моряков.

*Старый Уэллер* – персонаж романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба», кучер пассажирской кареты, отец Сэма Уэллера, слуги мистера Пиквика.

*Ниневия* – столица древнего Ассирийского государства.

*Джек Шенпард* – известный разбойник, повешенный в 1724 г., герой многих баллад и романов.

*Буцефал* – легендарный конь Александра Македонского.

*Черная Бесс* – кобыла разбойника Дика Терпина, не менее известного, чем Джек Шеппард.

«*Сесилия*» – роман английской писательницы Фрэнсис Берни (1752–1840).

*Лорд Орвиль* – герой романа Фрэнсис Берни «Эвелина».



*Бенефиция* – церковный приход и доходы приходского священника.

*Удольфский замок* – мрачный, таинственный замок в романе «Удольфские тайны» Анны Радклиф (1764–1823).

Баранина с репой (*фр.*).

Бараний суп по-шотландски (*фр.*).

Вареный картофель и цветная капуста (*фр.*).

*Хлебные законы.* – Принятые в 1815 г. хлебные законы облагали высокой пошлиной ввозимый из-за границы хлеб. Эти законы, изданные в интересах крупных землевладельцев, чрезвычайно ухудшали и без того бедственное положение неимущих классов.

Ах, негодяй! Ах, чудовище! (*фр.*)

Гнусных англичан (*фр.*).



*Силен (греч. миф.)* – лысый, всегда пьяный, добродушный старый сатир, спутник бога вина Вакха.

*Генрих VIII* (1491–1547) – английский король из династии Тюдоров, был женат шесть раз, двух жен казнил.

*Крайст-Черч* («Христова церковь») – один из старинных колледжей Оксфордского университета.

*Пумперникель* – придуманное Теккереем шуточное название немецкого государства (см. прим. к стр. 649).

*Уилберфорс Уильям* (1759–1833) – общественный и политический деятель, активно боровшийся за отмену работорговли.

*Индепенденты* («независимые») – члены религиозных сект, представляющих крайние течения английского протестантизма.

Полной свободой действий (*фр.*).

Стремящийся к чужому упускает свое (*лат.*).



*Верховный шериф* – главное административное и судебное лицо в графствах Англии.

*Кребийон-младший* (1707–1777) – французский писатель, автор скабрёзных романов.

*Грэй* Томас (1716–1771) – английский поэт, предшественник романтиков.

*Его история скучновата, но хотя бы не столь опасна, как история мистера Юма.* – Речь идет об «Истории Англии» писателя Тобиаса Смоллета (1721–1771) и об «Истории Великобритании» философа Юма (1711–1776).

*«Хамфри Клинкер»* – роман Смоллета.

*Камилла* – дева-воительница, персонаж «Энеиды» Вергилия.

*Монморанси* – французский дворянский род, многие представители которого играли выдающуюся роль в истории Франции.

*Триктрак* – один из видов игры в шашки.



Острой на язык (*фр.*).

*Сен-Жюст* Луи (1767–1794) – член французского Национального конвента и Комитета общественного спасения, казнен вместе с Робеспьером.

*Фокс* Чарльз Джеймс (1749–1806) – английский политический деятель, защищал в парламенте североамериканские колонии, боровшиеся за независимость, и французскую буржуазную революцию.

И обратно (*лат.*).

*Бейлиф* – чиновник шерифа, на обязанности которого лежало арестовывать должника по иску займодавца и препровождать к себе домой, где должник содержался некоторое время, а затем либо, в случае уплаты долга, выходил на волю, либо его переводили в долговую тюрьму.

Новые туалеты (*фр.*).

*Вулич* – пригород Лондона, где находится арсенал и старинная артиллерийская школа и стоит гарнизон.

*...размазня-методист...* – Методисты – секта протестантской церкви.



Находка (*φρ.*).

*...джентльменам в мантиях.* – Судьи и адвокаты в Англии во время заседаний суда надевают длинные мантии и парики.

По уши в долгах (*фр.*).

*Уотьер* – повар принца Уэльского (будущего короля Георга IV); основал клуб, где кутила лондонская золотая молодежь и проигрывались целые состояния.

*...клянутся его именем!* – К этой фразе в первом издании романа была дана сноска Теккерея, впоследствии им снятая: «Если кто-нибудь считает, что, рисуя благородное и влиятельное сословие, автор сгустил краски, я отсылаю читателей к свидетельствам современников – например, к мемуарам Байрона, в каковой наглядной иллюстрации к Ярмарке Тщеславия вы обнаружите нравственность кардинала Ришелье и изящество боксера Сэма-Голландца».

*«Вопросы мисс Меннол»* – популярный в начале XIX в. учебник для девиц, составленный школьной учительницей Ричмалль Меннол (1769–1820) и дававший самые поверхностные сведения о разных предметах.

*...в духе герцовских...* – Герц Анри (1806–1888) – французский пианист и композитор, автор салонных пьес для фортепьяно.

Смазливое личико (*фр.*).



*Ломбард-стрит* – улица в лондонском Сити, где издавна сосредоточились ссудные лавки и банки; *Корнхилл* – одна из старейших торговых улиц в Сити.

*Карлтон-Хаус* – дворец принца Уэльского, будущего Георга IV. Происходившие там пиры и празднества стоили огромных денег и служили постоянной пищей для сплетен.

*Виттория.* – В 1813 г. англичанам удалось разбить при Виттории французов, которые после этого покинули Пиренейский полуостров.

*Сражение под Лейпцигом...* – В 1813 г. Наполеон был разбит под Лейпцигом объединенными силами России, Англии, Австрии, Пруссии, и его армия вынуждена была отступить в пределы Франции.

*...тревожилась за исход боев под Бриенном и Монмирайлем...* –  
В сражениях при Бриенне и Монмирайле в 1814 г. Наполеон разбил союзников, но эти последние победы не могли задержать его падения.

*Чатем* – порт и крепость на берегу реки Медуэй на юге Англии.

*Иакимо* – персонаж драмы Шекспира «Цимбелин»; пробравшись тайно в комнату Имогены, он похитил ее браслет и представил его мужу как доказательство измены жены.

*Чудо-Крайтон* (1560–1585) – шотландец, получивший степень магистра в четырнадцать лет. Был наделен редкими способностями к языкам, участвовал в ученых диспутах в Англии и на континенте. Убит в Италии в пьяной драке. Имя его стало в Англии нарицательным для обозначения исключительно одаренного человека.



*...как блистательная фея Титания с неким афинским ткачом.* – В комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», в которой изображаются причуды любви, королева эльфов, красавица Титания, влюбленная в ткача, ласкает и целует надетую на него ослиную голову.

*«Комедия ошибок»* – комедия Шекспира.

«*Старый Слотер*» – известная в то время кофейня и гостиница в Лондоне.

*...жертвоприношение Ифигении (греч. миф.)...* – Дочь царя Агамемнона Ифигения была обречена на заклание, чтобы умиловить богиню Артемиду, пославшую грекам безветрие на их пути в Трою.

«Юная Эмилия» (фр.).

Без дам (*фр.*).

Между нами (*фр.*).

Воскресну (*лат.*).



*Пико-Лебрен* (1753–1835) – французский драматург и автор легкомысленных романов.

Моя тетушка (*фр.*).

*Лорд Эддон* (1751–1838) – известный юрист и реакционный государственный деятель, занимавший пост лорд-канцлера всю первую четверть XIX в. Был заклеймен Байроном в «Оде авторам билля против разрушителей станков».

*Разве Ахилл и Аякс не были влюблены в своих служанок? –* Наложницей Ахилла, храбрейшего героя Троянской войны, была его пленница Бризеида; подругой Аякса, другого героя Троянской войны, была также его пленница – Текмесса.

*Роттен-роу* – дорожка для верховой езды в Хайд-парке.

*...Геркулесов, держащихся за юбки Омфал (греч. миф.)... – Геркулес (Геракл), влюбленный в лидийскую царицу Омфалу, в женской одежде пряд шерсть у ее ног, выполняя все ее прихоти.*

*...Самсонов, лежащих у ног Далил.* – Библейский герой Самсон был обманут коварной Далилой, подкупленной его врагами. Ослепленный любовью, Самсон признался Далиле, что его сила заключается в волосах. Когда Самсон спал, Далила обрезала ему волосы и тем самым лишила его силы.

*Гретна-Грин* – шотландская деревня на границе Англии, где заключались браки между англичанами: по шотландским законам, для заключения брака не требовалось согласия родителей и некоторых других формальностей.



*Корнелия* (II в. до н. э.) – добродетельная римлянка, мать народных трибунов Кая и Тиберия Гракхов; после смерти мужа отказалась вторично выйти замуж, всецело посвятив себя воспитанию детей.

*Потифар* (иначе – Пентефрий) – по библейскому преданию, египтянин, которому был продан в рабство целомудренный Иосиф Прекрасный. Жена Потифара тщетно пыталась соблазнить Иосифа и оклеветала юношу перед мужем.

Хозяйство (фр.).

*...наш рассказ неожиданно попадает в круг прославленных лиц и событий...* – Речь идет о бегстве Наполеона с острова Эльбы. Высадившись 1 марта 1815 г. на юге Франции, Наполеон 20 марта вступил в Париж, где был восторженно встречен населением. Король Людовик XVIII бежал. Наполеон процарствовал «100 дней». Разбитый союзниками при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), он был подвергнут вторичной и последней ссылке на остров Святой Елены.

Охоту на орла (*фр.*).

В 1808–1813 гг. английские войска действовали на Пиренейском полуострове против войск Наполеона.

*Алексис Суайе* – знаменитый повар того времени, автор книг по кулинарии.

*Гигея* – богиня здоровья у древних греков.



*Серпентайн* – цепь прудов в Хайд-парке.

*...коленипреклоненную Эсфирь...* – По библейскому преданию, жена персидского царя Артаксеркса Эсфирь на коленях просила мужа спасти ее единоверцев-евреев от истребления. Тронутый Артаксеркс внял ее мольбам.

*Сент-Джеймский двор* – двор английских королей.

*...герцог уже в Бельгии...* – Герцог Веллингтон в 1815 г. был назначен командующим союзными войсками в Бельгии, которые совместно с прусской армией Блюхера разбили Наполеона при Ватерлоо.

Прекрасная дикарка (*фр.*).

«Река Тахо» (фр.).

*...Эпсли-Хаус и больница Св. Георгия еще щеголяли красным одеянием... – Эпсли-Хаус (дворец герцога Веллингтона) и больница Св. Георгия, построенные из красного кирпича, в то время еще не были облицованы.*

*...Ахиллес еще не появился на свет божий...* – Так называемая «статуя Ахиллеса» (на самом деле – фигура укротителя диких коней) была воздвигнута в Хайд-парке, недалеко от начала Пикадилли, в 1822 г. в честь Веллингтона и его соратников.



*...конное чудовище...* – конная статуя Веллингтона, в 1912 г. замененная статуей Мира с четверкой коней.

*Жуанвиль* (1818–1900) – сын французского короля Луи-Филиппа, был в 1840-х годах вице-адмиралом французского флота. Побывав в Англии в 1843 г., написал статью «Состояние военно-морских сил Франции», в которой бряцал оружием против Англии. Теккерей ответил ему на страницах «Панча» издевательским письмом под заглавием «Дилетантское вторжение в Англию принца Жуанвиля» («Панч», 1 июня 1844 г.).

*Доктор Эллиотсон* (1791–1868) – врач Теккеря, которому последний посвятил свой роман «Пенденнис». Видимо, Эллиотсон лечил гипнозом.

*Проповеди Блейра*, шотландского профессора и священника (1718–1800), были изданы в пяти томах еще при его жизни и пользовались большим успехом у читателей.

Интрижка (*фр.*).

Халатом (*фр.*).

*Филлида* – имя, часто встречающееся в античной мифологии и лирике, – тип идеальной девушки, возлюбленной поэта.

Любовную записку (*фр.*).



Что вы хотите! (*фр.*)

Празднества (*фр.*).

Счастливого пути (*фр.*).

*Валхеренская лихорадка.* – В 1809 г., во время войны с Наполеоном, англичане высадили десант на голландском острове Валхерене и начали осаду города Флиссингена. Однако операция эта не увенчалась успехом, потому что в английских войсках распространилась болотная лихорадка, которая вывела из строя около половины солдат.

Я не так глуп! (*фр.*)

Этот случай упомянут в «Истории Ватерлооского сражения» мистера Глейга.

*...августейших торгашей, собравшихся в Вене...* – Европейские монархи и дипломаты собрались в 1814 г. на Венском конгрессе, имевшем целью передел Европы после Наполеоновских войн и ссылки Наполеона на остров Эльбу.

*Талавера* – испанский город, где в 1809 г. англичане разбили французов.



*Уэлсли* – фамилия Веллингтона, до того как он получил титул герцога Веллингтона.

Войдите (*фр.*).

*Голконда* – город в Индии, знаменитый алмазами, которые там шлифовали. Отсюда выражение «сокровища Голконды».

*Дарий I* (521–485 гг. до н. э.) – персидский царь, объединивший под своей властью всю Переднюю Азию и Египет.

Обута (*фр.*).

Корсетницу (*фр.*).

Очень мил (*фр.*).

*...того, что вы называете «Газетою»...* – то есть объявить себя банкротом, о чем публикуется в «Газете»



Тартинки (*фр.*).

Горничная (*фр.*).

Черт побери! (*фр.*)

Зеленой алле (фр.).

Ах, сударыня, а мой-то кавалер разве не в армии? *(фр.)*

*Герцог Далматский* (1769–1851) – титул наполеоновского маршала Сульта.

*Герцог Беррийский* (1778–1820) – наследник французского престола, сын графа д'Артуа, будущего короля Карла X; был убит бонапартистом, шорником Лувелем.

*Императрица и Римский король – жена и сын Наполеона I.*



До свидания (*фр.*).

Это артиллерийский огонь! (*фр.*)

Своего кавалера (*фр.*).

Нет лошадей, черт возьми! (*фр.*)

*Молодой Регул.* – Во время первой французской революции многим детям давали имена прославленных героев республиканского Рима. Регул – римский полководец (III в. до н. э.).

*Принц Оранский* – титул старшего сына и наследника нидерландского короля.

*Ленора* – героиня одноименной знаменитой баллады немецкого поэта Бюргера (1747–1794), в которой призрак жениха, павшего на поле брани, является за своей невестой.

Разгром (*фр.*)



Моя миленькая госпожа! (*фр.*)

Режьте мне, Исидор! Скорей! Режьте! (Джоз говорит на ломаном французском языке. – *Ред.*)

Усы! Усы! Режьте! Брейте скорей! (*искаж. фр.*)

Не буду больше носить военный мундир... шапку тоже... отдаю вам... унесите прочь (*искаж. фр.*).

Теперь идите... следуйте... ступайте... уходите на улицу (*искаж. фр.*).

*Людовик Желанный* – прозвище французского короля Людовика XVIII, которое дали ему роялисты-эмигранты.

**211**

Чемодан (*фр.*).

Супругой маршала (*фр.*).



*Диссидент* – член одной из протестантских сект, не признающих господствующей в Англии англиканской церкви.

*Уэслианцы* – члены религиозной секты, основанной в XVIII в. Джоном Уэсли.

*Иллюминаты* – члены религиозно-политических обществ, возникших в разных странах Европы в XVIII в.

Жениха (*фр.*).

**217**

Увлечение (*фр.*).

*Том Крибб* – известный в свое время боксер.

Истина в вине (*лат.*).

Марс, Вакх, Аполлон [принадлежат] мужам (*лат.*).



**221**

Теперь вином отгоните заботы, завтра в широкое пустимся море  
(Гораций, кн. 1, ода 7) *(лат.)*.

Остроумной (*фр.*).

Шаловливой (фр.).

Сударь (в данном случае – титул, дававшийся во Франции младшему брату короля) (*фр.*).

Дорогой мисс (*фр.*).

Помехи (*фр.*).

*Газета «Галиньяни» («Вестник Галиньяни») – газета, выходившая на английском языке в Париже, для проживающих на континенте англичан (была основана в 1814 г. итальянцем Галиньяни).*

«Мир во время войны» (*лат.*).



«Почет и слава – пасть за отечество!» (*лат.*) – Строка из Горация (Оды, III, 2).

*Миссис Гранди.* – Выражение: «Что скажет миссис Гранди?» – то есть как на это посмотрит высший свет, вошло в Англии в поговорку благодаря популярной пьесе Мортонна (1764–1838), в которой персонажи постоянно задают этот вопрос.

*Сен-Жерменское предместье* – аристократический район  
Парижа.

Собраниях, встречах (*фр.*).

**233**

С женой, очень остроумной маленькой особой (*фр.*).

Ах, сударь, они меня безбожно обокрали (*фр.*).

Завтрака (*фр.*).

Напоминание (*лат.*).



*Коридон, Мелибей* – идиллические пастухи, персонажи «Буколик» Вергилия.

*...где нашему коллектору... довелось увидеть бывшего императора.* – В первой половине XIX в. английские суда, курсировавшие между Индией и Англией, огибали мыс Доброй Надежды и заходили в порт острова Святой Елены – места последней ссылки Наполеона. Заходил туда и корабль, на котором шестилетнего Теккеря везли из Индии, где он родился, в Англию, где его сразу же отдали в закрытую школу.

О божественное создание! (*фр.*)

Царицы любви (*фр.*).

**241**

**Челдрон** – мера для угля, около 1220 килограммов.

*Джек Кетч* – английский палач XVII в.; имя его стало в Англии нарицательным.

*Леди Эстер* Стенхоп (1776–1839) – племянница Питта, премьер-министра Англии. После его смерти уехала в Ливан, где стала своего рода королевой одного из кочевых племен.

*Лоу Уильям* (1686–1761) – богослов и ученый. Его трактат «Суровый призыв к святой и благочестивой жизни» (1726) необычайно высоко ценили современники, в том числе такой авторитет, как Сэмюел Джонсон. «*Долг человека*» – трактат неизвестного автора, опубликованный в 1658 г. и долго бывший настольной книгой в множестве английских семей.



*Сиддонс Сара* (1775–1831) – английская трагическая актриса.

Семейной жизни (*фр.*).

*Кафрария* – область в Юго-Восточной Африке; ее центр – город Ист-Лондон.

Исковерканное французское entrée – блюдо, подаваемое в начале обеда.

Усталая, но все еще неудовлетворенная, отступила (*лат.*). –  
Строка из «Сатир» Ювенала, относящаяся к развратной жене  
императора Клавдия Мессалине, проведенной ночь в публичных домах  
Рима.

*«У слияния рек»* и *«Юный менестрель»* – стихотворения поэта-романтика Томаса Мура (1799–1852) из цикла «Ирландские мелодии».

**251**

Легкого белого вина (*фр.*).

*Совестные деньги* – деньги, посылавшиеся в министерство финансов (большой частью анонимно) лицами, ранее уклонившимися от уплаты налогов.



«*Синие книги*» – сборники официальных документов, издающиеся английским парламентом (обычно в синих обложках).

Короткие панталоны (*фр.*).

*Евтропий* – римский историк IV в., автор «Краткого очерка римской истории», который изучался в английских начальных школах.

*Тауэр* – замок, бывший на протяжении столетий попеременно крепостью, дворцом, тюрьмой для государственных преступников. Теперь открыт для осмотра как музей.

*«Зовут меня Норвал»*. – Вошедший в хрестоматии монолог из трагедии «Дуглас», написанной Джоном Хоумом (1722–1808) на сюжет шотландской баллады.

«*Помощник родителям*» – книга нравоучительных детских рассказов Марии Эджуорт (1767–1849); «*История Сэндфорда и Мертонна*» – детская повесть Дзя (1748–1789), сторонника педагогических идей Руссо.

*При Миндене.* – Близ Ганновера в 1759 г. англичане под командованием Фердинанда Брауншвейгского разбили французов в Семилетней войне.

*Принц и Пердита* – принц Уэльский, будущий король Георг IV, и его фаворитка актриса Мэри Робинзон (1758–1800), игравшая роль Пердиты в драме Шекспира «Зимняя сказка».



*Герцог \*\*\* и Марианна Кларк – брат принца Уэльского герцог Йоркский и его возлюбленная Мэри Анна Кларк.*

Интимные апартаменты (*фр.*).

*Козуэй* Ричард (1740–1821) – придворный живописец и портретист.

*Эгалите*, герцог Орлеанский (1747–1793) – герцог Луи-Филипп-Жозеф, отец французского короля Луи-Филиппа; принимал участие во французской революции конца XVIII в., за что и получил прозвище Эгалите (Равенство). В 1793 г., заподозренный в измене, был казнен.

*Король Брут* – легендарный завоеватель и король Англии.

*Филипп и Мария.* – Испанский король Филипп II (1527–1598) был в течение короткого времени мужем английской королевы Марии Тюдор (1516–1558), прозванной Кровавой за свирепую расправу с протестантами.

*Шотландская королева* – Мария Стюарт (1542–1587), француженка по матери, принадлежавшей к роду Гизов. Претендовала на английский престол. Была заточена в тюрьму королевой Елизаветой и по ее приказу казнена.

*Великий герцог* – Генрих I Гиз (1550–1588), один из наиболее фанатичных участников Варфоломеевской ночи (массовой резни гугенотов, учиненной католиками в Париже в ночь под праздник св. Варфоломея 24 августа 1572 г.).



*Армада* – испанский флот, известный в истории под названием Непобедимой Армады, был в 1588 г. отправлен Филиппом II к берегам Англии, где потерпел полное поражение.

*Иаков* – Иаков I (1566–1625) – английский король, сын Марии Стюарт. *Карл* – Карл I (1600–1649) – его сын, английский король, был казнен во время английской революции.

*Дофина Мария-Антуанетта* (1755–1793) – жена дофина (наследника), будущего короля Людовика XVI.

*Киберонское дело.* – Во время первой французской революции, в 1795 г., контрреволюционный отряд французских эмигрантов при помощи английского флота высадился в Бретани на полуострове Киберон и был разбит там революционными войсками под командованием Гоша.

*Красная книга* – справочник английской титулованной знати.

*...принц Хел примеряет отцовскую корону...* – См.: Шекспир.  
Генрих IV (ч. II, акт IV, сц. 4).

*...напуская Оксфорд на Сент-Ашель.* – Речь идет о богословской школе Оксфордского университета и об основанной в годы Реставрации католической иезуитской школе во французской деревне Сент-Ашель.

*Летимер* (ок. 1485–1555 гг.) – протестантский проповедник, сожженный на костре в царствование Марии Кровавой.



*Лойола* Игнатий (1491–1556) – основатель ордена иезуитов.

*«Путешественники»* – название аристократического клуба, основанного в Лондоне в начале XIX в.

**279**

Паштет из гусиной печени (*фр.*).

Мы еще очень и очень подумаем (*фр.*).

*Школа Живодерня.* – Так Теккерей и его товарищи прозвали школу Чартерхаус, где они учились, за царившие там жестокие нравы.

*Пудренная комната.* – Так во дворцах и дворянских домах назывались комнаты, где пудрили парики.

*«Брауншвейгская Звезда»* – король Георг IV. Принадлежал к Ганноверской династии, царствующей в Англии с 1714 г. и ведущей свой род от курфюрста Брауншвейгского.

Придворный туалет (*фр.*).



*Цинтия* – одно из имен Дианы, богини Луны в римской мифологии.

Очаровательным (*фр.*).

*«Похищение локона»* – героико-комическая поэма Александра Попа (1688–1744); речь идет о «сверкающем кресте» на груди Белинды, героини поэмы.

*Ментенон*, маркиза (1635–1719) – фаворитка Людовика XIV.  
*Помпадур*, маркиза (1721–1764) – фаворитка Людовика XV.

*Регана и Гонерилья* – жестокосердые дочери короля в трагедии Шекспира «Король Лир».

Берегитесь женщин! (*фр.*)

*Ньюгет* – старинная лондонская тюрьма, существовавшая до начала XX в. *Бедлам* – лондонская больница для умалишенных.

В подражание Бруту (его причёске) (*фр.*).



*Грейз-Инн* – одна из старинных судебных коллегий в Лондоне.

*Красномундирники* – английские солдаты. Под Новым Орлеаном английские войска были разбиты американцами в 1815 г.

*Младший Марло* и *мисс Хардкасл* – персонажи комедии Оливера Гольдсмита (1728–1774) «Она смиряется, чтобы победить, или Ночь ошибок». Молодой Марло, чрезвычайно робкий в обществе светских девушек, развязен и предприимчив со служанками. Мисс Хардкасл, переодевшись служанкой, покоряет молодого человека и женит его на себе.

*Леди Джейн Грэй* (1537–1554) – королева Англии, казненная Марией Кровавой.

*Семела (греч. миф.)* – возлюбленная Зевса, погибшая, когда громовержец по ее просьбе явился ей в своем истинном обличье.

*Тайберн* – район Лондона, где с XII по XVIII в. совершались публичные казни.

*Белгрейвия* – аристократический район Лондона.

*Тадмор* – то же, что Пальмира, прославленный в древности город, от которого сейчас сохранились лишь развалины в оазисе Сирийской пустыни.



**301**

Я, говорящий с вами (*фр.*).

*Дандас, Эдингтон, Скотт* – английские государственные деятели, друзья и единомышленники Питта-младшего.

*Эотен* – имя героя книги «Эотен» («На рассвете»), принадлежащей перу друга Теккерея Кинглейка (1809–1891) и посвященной его путешествиям по Востоку.

*Христианнейший* – титул, дарованный в XV в. папой французским королям.

В наилучших отношениях (*фр.*).

*Патронесса Олмэка.* – В залах Олмэка устраивались развлечения и лекции для лондонской знати. В 1851 г. Теккерей читал здесь свои лекции об английских юмористах.

*Справочники Дебрета и Берка* – генеалогические словари английской аристократии.

Докуки (*фр.*).



Собраний *(фр.)*.

**310**

Простушки (*фр.*).

**311**

Буфами (*фр.*).

В четвертую долю листа (*лат.*).

*Бриан де Буа Гильбер* – рыцарь-тамплиер в романе Вальтера Скотта «Айвенго».

*Фирман* – указ султана.

*Эгист и Клитемнестра.* – По греческому мифу, использованному Эсхилом в трагедии «Агамемнон», аргосский царь Агамемнон был убит своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгистом.

«Спите, спите, любимые!» *(фр.)*



«О, как приятно быть в пути!» (*фр.*)

«Соловей» (*фр.*).

*Филомела (греч. миф.)* – царевна, превращенная богами в соловья. В поэзии это имя часто упоминалось в значении «соловей».

Разгадка шарад: Агамемнон – 1) ага (на Востоке – господин). 2) Мемнон. – По древнему преданию, голова статуи эфиопского царя Мемнона на восходе солнца издавала мелодичные звуки.

*Соловей* – по-английски nightingale; в шараде 1) night (ночь), 2) inn (гостиница), 3) gale (шторм).

**321**

Перевод М. Л. Лозинского.

*Уайтфрайерс* (белые братья) – название средневекового монашеского ордена, члены которого носили белые плащи.

*Цистерцианцы* – монашеский орден, основанный в XI в.

*Фаг* – младший воспитанник в английской закрытой школе, обязанный прислуживать старшему, который, со своей стороны, оказывает ему покровительство.



*Астли* – цирк Астли; существовал в Лондоне до второй половины XIX в.

Предупредительность (*φρ.*).

**327**

Милую супругу (*лат.*). – Намек на строку из Горация «Оставишь землю и дом, и милую сердцу супругу» (Оды, II, 14).

Постоянно (*фр.*).

Мой бедный малыш (*фр.*).

**330**

Довольно подозрительный вид (*фр.*).

**331**

От него несло джином (*фр.*).

Чудовище (*фр.*).



**333**

Во весь дух (*фр.*).

Печальный визит моему дяде (то есть ростовщичу) *(фр.)*.

Этого дорогого дяди (*фр.*).

Изобилием (*фр.*).

**337**

Моем бедном узнике (*фр.*).

Пиршества (*фр.*).

**339**

Зверски обворована (*фр.*).

*Остров Ковентри* – вымысел автора, такого острова нет. Английское выражение «услать в Ковентри» означает «подвергнуть бойкоту, изгнать из общества».



Завсегдатаи (*фр.*).

Придворной дамой (*фр.*).

**343**

Программа (*лат.*).

**344**

Вечера (*итал.*).

**345**

Афина (*греч.*).

**346**

Отличный, хороший (*греч.*).

**347**

Наилучший (*лат.*).

**348**

Очень хорошо (*фр.*).



*Латюд и Тренк* – известные авантюристы XVIII в.

*Лонгвуд* – мыза на острове Святой Елены, где провел последние годы жизни и был первоначально похоронен Наполеон.

Версальские фонтаны (*фр.*).

Ахейнам тысячи бедствий соделал (*греч.*).

*...сидел с шести часов утра в ожидании приезда сына.* – Наборщиками первого издания здесь был допущен недосмотр, не исправленный в спешке и автором: после этой фразы должны были следовать два абзаца, набранные (в нашем издании) на стр. 618, от слов: «Однако в положенное время явился почтальон» и до «...что он уже побывал у миссис Джордж Осборн». Ни в одном английском издании эти абзацы не переставлены на свое место; не переставляем их и мы. В письме к матери от 5 июня 1848 г., когда только что появился очередной месячный выпуск романа, Теккерей писал: «Несколько человек заметили, как небрежно выпущен последний № «Ярм. Тщ.», но почти все им восторгаются и считают автора гением. Ох, идиоты!»

Персидская роскошь (*лат.*).

*Миранда и Калибан* – персонажи драмы Шекспира «Буря».

Жильцов (*фр.*).



*...из трех президентств...* – Президентствами назывались во времена существования Ост-Индской компании три административные провинции Индии: Мадрас, Бомбей и Бенгалия.

*Мойра-плейс, Минто-сквер* и другие названия улиц и площадей англо-индийского квартала выдуманы Теккереем. Он использовал для них имена английских генералов и губернаторов, подвизавшихся в Индии, или места сражений, утвердивших там английское могущество.

*«Черная яма».* – В 1756 г., во время борьбы индийских правителей против Ост-Индской компании, бенгальский набоб Сирадж-уд-Доула, захватив Калькутту, заключил в военную тюрьму в форте Уильям 146 англичан, из которых 123 в первую же ночь погибли от духоты. Эта тюрьма получила название Калькуттской черной ямы.

**360**

Другом дома (*фр.*).

Если изменить имя (*лат.*).

*Иуда, Симеон, Вениамин* – сыновья библейского патриарха Иакова; младший, Вениамин, был его любимцем.

*Пантехникон* – мебельный склад в Лондоне.

*Сомервилль Мэри* (1780–1872) – женщина-математик, известная в Англии главным образом как популяризатор естественных наук.



*Королевский институт* – основанное в 1799 г. общество для распространения научных знаний.

*Эксетер-Холл* – здание на Стрэнде, где происходили религиозные собрания.

**367**

Увлечен (*фр.*).

На Рейне (нем.).

**369**

Черт возьми (*англ.*).

**370**

*Брамовские шкатулки* – шкатулки с особым замком, изобретенным англичанином Джозефом Брама.

**371**

Тридцать и сорок – азартная карточная игра (*фр.*).

*Хаундсдич* – улица в Лондоне, где издавна селились евреи.



*Леджер* – сентябрьские скачки, происходят близ города Донкастера.

**374**

Чей это экипаж? (*фр.*).

Кирша. Кажется, я его сейчас видел – он закусывал сэндвичами в экипаже (*искаж. фр.*).

**376**

Предстоит прекрасный переезд (*фр.*).

Господин граф лорд фон Седли из Лондона со свитой (*нем.*).

*Чимароза* Доменико (1749–1801) – итальянский композитор.

*Пумперникель* – распространенный в Германии сорт черного хлеба. Под этим вымышленным названием Теккерей изображает город Веймар, столицу герцогства Саксен-Веймар-Эйзенахского, где он сам прожил некоторое время в молодости.

«Наследный принц» *(нем.)*.



**381**

Ветчину, жаркое, картофель *(нем.)*.

*Шредер-Девриен* Вильгельмина (1804–1860) – известная оперная певица, прославившаяся созданием роли Фиделио в опере Бетховена «Фиделио».

Ничего, ничего, мой Флорестан (*нем.*).

«Битва при Виттории» *(нем.)*.

«Боже, храни короля» *(англ.)*.

Поверенный в делах (*фр.*).

Развлечениях (*фр.*).

*Собесский Ян* (1624–1696) – польский король; в союзе с австрийцами в 1683 г. одержал победу над турками под Веной.



**389**

Площадь Аврелия (*нем.*).

*Трофоний (греч. миф.)*. – строитель храма в Дельфах.

**391**

Маленькая маркитантка (*фр.*).

*«Сомнамбула»* – опера Беллини (1801–1835).

«Парижское подворье» (нем.).

*Герцогиня Беррийская* – вдова сына Карла X, убитого в 1820 г. Пьером Лувелем; после Июльской революции 1830 г. вместе с Карлом X отправилась в Англию, где пыталась подготовить восстание против Луи-Филиппа Орлеанского, ставшего королем после свержения Карла X.

*Герцог Ангулемский* (1775–1844) – старший сын Карла X; после революции 1830 г. вместе с отцом уехал в Англию.

**396**

Ты (*нем.*).



**397**

Вы не играете? (*фр.*)

Оставьте меня в покое. Надо же человеку развлечься, черт возьми! Я не у вас состою на службе (*фр.*).

**399**

Удар, ход (*фр.*).

**400**

Уныние, упадок сил (*фр.*).

*Докторс-Коммонс* – судебное учреждение, ведавшее делами по заключению и расторжению браков, церковными, адмиралтейскими и др.; упразднено во второй половине XIX в.

**402**

Домашнее хозяйство (*фр.*).

Плуты (*φρ.*).

Гадюка (*фр.*).



*Бемфилд Мур Кэрю* (1693–1770?) – сын священника, убежал из школы и много лет скитался с цыганами. Побывал в Ньюфаундленде, по возвращении был судим за бродяжничество и сослан в Американские колонии, но бежал и вернулся в Англию.

Утреннем концерте (*фр.*).

Госпожа Ребекка (*фр.*).

«*La Dame Blanche*» («Белая дама») – комическая опера французского композитора Буалдьё (1775–1834).

**409**

Дебютантка; артистка, впервые выступающая перед публикой  
(фр.).

*Помпилий* Нума – один из семи легендарных римских царей; согласно мифу, нимфа *Эгерия*, его супруга, помогала ему своими советами в управлении царством.

*Ним и Пистоль* – персонажи комедии Шекспира «Виндзорские кумушки» и исторической хроники «Генрих IV», беспутные гуляки и прихлебатели Фальстафа.

**412**

Сговорчивым человеком (*фр.*).



Честное слово (*фр.*).

**414**

Англичанка (*нем.*).

**415**

Номер девяносто второй, пожалуйста! (*искаж. фр.*)

Легкий завтрак (*фр.*).

*...по Авернской тропинке очень легко спускаться.* – Авернское озеро в Италии, из которого поднимаются серные испарения, в древности считалось спуском в ад. Отсюда латинское выражение *Facilis descensus Averni* (легкий спуск Авернский).

Гнев влюбленных (*лат.*) – начало известной фразы из комедии римского драматурга Теренция «Андрия» (II в. до н. э.) – «Гнев влюбленных есть возобновление любви».

**419**

ДЫМ и шум (*лат.*).

**420**

*Фукс* (на жаргоне немецких студентов) – первокурсник;  
*филистер* – посторонний, не студент.



**421**

В дилижансе (*нем.*).

**422**

В среду знакомых (*искаж. фр.*).

**423**

В облаках (*лат.*).

Ужасную (нем.).

**425**

«Роза на балконе» (*искаж. англ.*).

**426**

Пить и петь (*нем.*).

**427**

Белых, или сивых, лошадей (*нем.*).

**428**

Испытал немало бурь (*нем.*).



**429**

Погоняй, ямщик! *(нем.)*

**430**

Рассеянна (*фр.*).

**431**

«Я одинока и одна» *(нем.)*.

**432**

Я жила и любила (*нем.*).

«*Валленштейн*» – трилогия Шиллера. Во второй части трилогии – «*Пикколомини*» – Текла поет песенку, кончающуюся словами «Я жила и любила».

*Боомпъес* («Деревца») – название набережной в Роттердаме.

**435**

Канцелярию (*фр.*).

*...подобно Розине* – героине оперы «Севильский цирюльник» Россини. На предложение Фигаро написать влюбленному в нее Альмавиве Розина показывает уже готовую любовную записку.



**437**

Записка – вот она! (*ит.*)

Сквозь слезы смеялась (*греч.*). – См.: Гомер. Илиада, песнь VI («...дитя к благовонному лону прижала мать, улыбаясь сквозь слезы»).

*Билль о реформе.* – По парламентской реформе 1832 г. были уничтожены «гнилые местечки».

**440**

Суета сует! (*лат.*)